

VISIT...

LANZAROTE
Caliente.COM

АЛЕКСАНДР ПРОХАНОВ
ПОЛИТОЛОГ



Annotation

В новом романе Александра Проханова, главного редактора газеты «Завтра» и лауреата премии «Национальный бестселлер», читателя ожидает встреча с масштабной фантаσμαгорией современной российской политики. Главный герой романа, политолог Стрижайло, оказывается в самом центре фантастической политической интриги, в которой легко узнается совсем недавняя история страны — выборы в Думу и Президента, суд над опальным олигархом и трагедия на Кавказе.

Легко узнаваемы и персонажи романа, нарисованные автором с ядовитым сарказмом. Но чем дальше разворачивается сюжет политического памфлета, тем больше смеха автора начинает напоминать смех сквозь слезы, а сатира оборачивается трагедией.

- [Александр Проханов](#)
 -
 - [часть первая. «Пахарь»](#)
 - [глава первая](#)
 - [глава вторая](#)
 - [глава третья](#)
 - [глава четвёртая](#)
 - [глава пятая](#)
 - [глава шестая](#)

- [глава седьмая](#)
- [глава восьмая](#)
- [глава девятая](#)
- [часть вторая. «Сеятель»](#)
 - [глава десятая](#)
 - [глава одиннадцатая](#)
 - [глава двенадцатая](#)
 - [глава тринадцатая](#)
 - [глава четырнадцатая](#)
 - [глава пятнадцатая](#)
 - [глава шестнадцатая](#)
 - [глава семнадцатая](#)
- [часть третья. «Жнец»](#)
 - [глава восемнадцатая](#)
 - [глава девятнадцатая](#)
 - [глава двадцатая](#)
 - [глава двадцать первая](#)
 - [глава двадцать вторая](#)

- глава двадцать третья
- глава _____ двадцать четвертая
- часть четвертая. «Мельник»
 - глава двадцать пятая
 - глава двадцать шестая
 - глава двадцать седьмая
 - глава двадцать восьмая
 - глава двадцать девятая
 - глава тридцатая
 - глава тридцать первая
 - глава тридцать вторая
- часть пятая. «Пекарь»
 - глава тридцать третья
 - глава _____ тридцать четвертая
 - глава тридцать пятая
 - глава тридцать шестая

- [глава тридцать седьмая](#)
 - [глава тридцать восьмая](#)
 - [часть шестая. «Едок»](#)
-

Александр Проханов

Политолог

*«Если я скажу вам
одно из слов, которые Он
сказал мне, вы возьмете
камни, бросите в меня,
огонь выйдет из камней и
сожжет вас».*

*Евангелие от
Фомы*

часть первая.

«Пахарь»

глава первая

Михаил Львович Стрижайло, сорокалетний, статный, в легком весеннем плаще, двигался в тесной колонне, среди красных знамен и транспарантов. В его темных, чуть нависают, глазах перламутрово переливались синее небо, прозрачная зелень лип, огненный поток демонстрантов. Прямой, с маленькой, сладострастной горбинкой нос жадно вдыхал запах сырой гвоздики. Сочные свежие губы слегка шевелились, с улыбкой подхватывая слова революционной песни. В петлице пламенел алый бант, который делал его не гостем, не

соглядатаем, а участником марша оппозиции, отмечавшей свой коммунистический Первомай.

Колонна зародилась из огромного медлительного водоворота у памятника Ленину на Октябрьской площади. Вязко, мощно текла по Якиманке, к Центру, к Театральной площади, где у памятника Марксу была установлена трибуна с громкоговорителями, и предполагался протестный митинг. Стрижайло пытливо и весело поглядывал на окружавших его демонстрантов, на пылающие кумачи, на гневные лозунги. Возникла игривая, легкомысленно-ироничная мысль, — толпа получила

от бронзового Ленина письмо, запечатанное в красный конверт. Несет гранитному Марксу, который ждет послание своего единомышленника и ученика. В запечатанном красном конверте содержится ленинский план новой, четвертой по счету, революции в России.

Радостно усмехнулся своей беззлобной шутке. Преуспевающий политолог, модный политтехнолог, виртуозный манипулятор и успешный игрок, он был приглашен руководством компартии создать «стратегию победы» на предстоящих думских выборах. Использовать накопившуюся в народе «красную

энергию», сфокусировать ее в плазменный луч, прожечь препоны и барьеры, возводимые лукавой властью на пути к избирательным урнам. Осенью, на сырых облаках, над изумленной страной загорится алая аббревиатура — «КПРФ».

Стрижайло шел во главе колонны, не в первом ряду, где величественно, окруженные охраной и свитой, выступали вожди оппозиции, а в четвертом или пятом, где коммунистическая элита, — думские депутаты, секретари обкомов постепенно смешивались с рядовыми участниками шествия, — московским людом, партийными активистами, неутомимыми и

преданными участниками любых оппозиционных торжеств. Плотная, огненная голова кометы вытягивала за собой бесконечно-длинный, размытый хвост, с астрономической точностью, четыре раза в году, повисавший над Москвой.

Рядом вышагивал, чуть прихрамывая, престарелый генерал в потертой форме, с тускло-золотыми погонами, в поблекших, но все еще горевших орденских колодках. Красный лампас сильно ломался от хромающего шага. Мужественное лицо избороздили морщины и шрамы, напоминая карту военных действий то ли в районе Ржева, то ли в предместьях Кенигсберга.

— Если бы не сидели на печках, вышло бы на улицу полмиллиона, эти суки трусливые из Кремля бы побежали, — произнес генерал, видя в Стрижайло единоверца, нуждаясь в его солидарности.

— Ничего, — ободряюще ответил Стрижайло, — Сейчас сто тысяч, завтра двести, а послезавтра миллион. Наша задача — поддерживать в людях огонь. Чтобы свеча не погасла.

Генерал соглашался, шагал, что есть мочи, благодарный незнакомому спутнику за единомыслие, веру в победу, которую пытаются украсть у народа кремлевские предатели. Стрижайло испытал счастливое

веселье лицедея, неузнаваемого под театральной маской. Генерал принял его за боевого соратника, доверял сокровенную мечту. Они вместе несли ее под алыми флагами. Стрижайло с верящим вдохновенным лицом помогал генералу поддерживать священную ношу, — погребальную урну с горсткой красного праха.

Впереди вышагивал знаменосец. Одутловатый, в заношенных, с чужого плеча одеждах, с перекинутой через плечо нищенской сумой, сжимал засаленное древко. Пускал по ветру огненное полотнище, которое скользило по его плечам, накрывало лицо, превращая окрестный мир в

пылающее алое свечение. Отрешился от утлой коморки, мусорных баков, беспросветной, впроголодь жизни, вышел «на люди». Дышал одним с ними воздухом, выкрикивал непокорные лозунги, продлевал свою жизнь, пропитываясь алым цветом.

— Да здравствует Советский Союз! — повернул к Стрижайло одутловатое лицо в синих потеках неизлечимой болезни. Стрижайло истово, в знак солидарности, воздел сжатый кулак. Почти уверовал в их единство, нерасторжимую общность, служение великой цели. Знаменосец, признавая в нем брата, благодарно повел полотнищем. По губам Стрижайло скользнула алая ткань,

СЛОВНО ОН ПОЦЕЛОВАЛ СВЯЩЕННОЕ
ЗНАМЯ.

Тут же усмехнулся своему
тонкому артистизму. Был неотличим
от других, принят в их строй,
вовлечен в ритуальное шествие. Был
зоркий наблюдатель, внедренный
разведчик, добывающий драгоценное
знание. Но если он будет опознан,
если будет сорвана маска, его
растерзает толпа. Затопчет в
колонне, забьет деревянными
древками. Пройдет по нему тысячью
топочущих ног, оставляя на асфальте
расплющенную красную кляксу,
какая остается от раздавленной
грузовиками собаки. И от этой
угрозы испытал мучительное

наслаждение, тайные нелюбовь и страх к окружающим людям.

Мастер политических интриг, знаток технологий, в преддверии думских выборов он был приглашен коммунистами создать «стратегию победы». Использовать накопленный в народе протест, неуголенную ненависть, бушующее чувство реванша. Провести в депутаты максимальное число коммунистов, добиться главенства в Думе, сломать существующий курс. Он был конструктор, изобретатель «политического двигателя», который следовало разместить в потоках социальной энергии, как помещают турбину в потоках реки. Река

вращает турбину, электричество питает машины и механизмы, преобразует мир материи. Энергия масс поступает в «политический двигатель», давит на избирательные урны, меняет политический курс. Он вошел в ряды демонстрантов, чтобы ощутить дуновение «красной энергии». Взять пробы топлива, которое должно раскрутить его многотактный мотор, не разорвав при этом цилиндры и поршни.

В голове колонны, окруженные охраной, двигались вожди оппозиции. Председатель компартии Дышлов, плотный, в кожаной куртке, с тяжелым затылком, ступал вразвалку, словно под ним была

палуба. Из-под кепки чуть тревожно смотрели синие глаза, считали количество знамен, число телекамер, ревниво оглядывали стоящую на тротуарах толпу, скандирующую: «Дышлов!... Дышлов!...». Толпа пыталась прорвать цепь дружинников и обменяться рукопожатиями с лидером. У Дышлова был большой утиный нос на широком белом лице, делавший его похожим на снеговика. Это располагало к нему, прибавляло народности. Стрижайло думал, как лучше использовать в наглядной агитации этот народный, крестьянский образ.

По левую руку от Дышлова

двигался маленький легконогий Грибков, с умной некрасивой головкой, бегающими молодыми глазками. Экономист, академик, редкий среди коммунистов интеллектual, еще недавно слыл демократом. В поисках быстрой карьеры примыкал то к одной, то к другой, увы, проигрывающей на выборах партии, пока ни пристал к коммунистам. Пришелся к месту, возвысился, получил поддержку в областях «красного пояса». Слыл преемником Дышлова, отличаясь от последнего молодостью, осмысленной оригинальностью речи, знанием экономики. Стрижайло прикидывал, в какую

форму облечь экономические взгляды Грибкова, чтобы превратить их в манифест, сокрушающий кремлевских олигархов, столь ненавидимых народом.

Справа от Дышлова шагал Семиженов, с непокрытой, надменно поднятой головой, на которой вздымался великолепный, обработанный шампунем и феном кок. Резкое, неприятно-выразительное лицо с большими знойными бровями и алым ртом казалось бледным от честолюбия и тайного, неутолимого порока. Он был богач, именовался в прессе «красным олигархом», оплачивал из своего кармана политические мероприятия

партии и личные расходы вождей, за что с их помощью получил пост вице-спикера Думы. Стрижайло примерял его в первую «тройку» избирательного списка компартии. Народный лидер Дышлов, апеллирующий к широким протестным слоям. Экономист Грибков, популярный среди патриотической интеллигенции. «Красный бизнесмен» Семиженов, привлекающий представителей мелкого и среднего бизнеса. Эта «тройка» была важнейшим блоком «политического двигателя», реализующего «стратегию победы».

Колонна продвигалась по Якиманке, мимо «Храма Иоанна

Воина», французского посольства, вялая, рыхлая и нестройная. Вдоль тротуаров, взявшись за руки, с повязками на рукавах, шли дружинники, словно тянули бредень с огромной сонной рыбиной. Перед колонной катила милицейская машина, расплескивая красно-синие брызги. У фасадов группами стояли милиционеры, сотрудники ФСБ в штатском, то ли охраняли колонну, то ли остерегались ее мерного слепого движения. Стрижайло чувствовал рыхлость демонстрации, рассеянность «красной энергии», которая не звала к борьбе и победе, а носила траурный, поминальный характер. Словно процессия

сопровождала медлительный артиллерийский лафет, на котором покоился мертвый генсек с плоским восковым лицом, черными кустами бровей, волосатыми, на провалившемся носе, ноздрями. За этим лафетом торжественно и печально вышагивали соратники усопшего, несли на подушечках бесчисленные ордена и медали, отдавали дорогому покойнику последние почести.

Рядом со Стрижайло шла группа высоких молодых людей в черном. На красных стягах был изображен автомат и выведено — «АКМ». Лица парней наполовину закрывали черные косые платки, над которыми

возбужденно блестели глаза. Юноши напоминали палестинских фedaинов, готовых на смерть. Однако, слишком изящными выглядели их стройные тела, по театральному были завязаны шелковые повязки, весело и лукаво блестели глаза. От них не исходила угроза удара и смерти. Они были артисты театра под открытым небом. По сигналу предводителя начинали энергично декламировать: «АКМ!.. АКМ!..», а слышалось: «КВН!.. КВН!..»

Демонстрация двигалась мимо роскошных магазинов, где в витринах сверкали бриллианты и разложенные на черном бархате драгоценности. Мимо банков, стеклянных, в

переливах и блесках, с помпезными порталами и вызывающими, из яркого металла, надписями. Мимо автомобильных салонов, где драгоценно и божественно сияли «мерседесы», «фольксвагены», «вольво», похожие на волшебные, всплывшие из моря раковины. Из витрин и окон смотрели на демонстрацию банкиры, выглядывали клерки и продавцы. Богатые торговцы и буржуа с интересом, дружелюбно, без страха и раздражения, разглядывали коммунистическую толпу, гневные транспаранты, портреты Сталина, гербы СССР. Слушали несущиеся из динамиков революционные и

военные песни, мегафонные
стенания и рокоты. С тротуаров
иностранные туристы
фотографировали процессию, —
какие-то поджарые американские
старухи, сытые немцы в тирольских
шляпах, — без всякого страха, с
любопытством пялились на
дикушинное московское зрелище.
Стрижайло подумал, что протестное
«красное» шествие уже не грозило
восстанием. Было задумано, как
зрелищное мероприятие,
экзотическая
достопримечательность Москвы, —
как карнавал в Рио-де-Жанейро,
индейский праздник в резервации,
как День города с каруселями,

аттракционами, шествием
бутафорских персонажей истории.
Вожди, возглавлявшие шествие,
довольствовались этой карнавальной
ролью. Не давали «красной энергии»
собраться в сгусток, суливший взрыв
и восстание.

Впереди колонны, намного
опережая головной ряд, одиноко, на
пустом голубоватом асфальте шагала
женщина с флагом. Стройная,
изящно одетая, в короткой юбке, с
длинными грациозными ногами,
выступала, держа на плече легкое
древко, шелковый пронизанный
солнцем стяг. Как манекенщица на
подиуме, умело играла бедрами,
великолепно ставила ноги на

высоких каблуках. Знала, что на виду, что ею любуются. Извлекала из этого утонченное эротическое наслаждение.

«Мисс КПРФ», — усмехнулся Стрижайло, жадно оглядывая женщину-знаменосца, мысленно оглаживая ее стройную спину, плавные бедра, длинные ноги, чувствуя тепло ее кожи, шелковистость волос, шелест белья под юбкой. Это острое влечение обострило чувственность, усилило зоркость и проницательность. Энергия, витавшая над толпой, была неоднородной, состояла из множества несливавшихся струй и потоков.

Колонна остановилась, поджидая растянувшийся хвост. Наступил момент, который ожидала многочисленная толпа журналистов. Дружинники разомкнули цепь, пропуская операторов с телекамерами, фоторепортеров, корреспондентов газет и радио. К Дышлову потянулись косматые, похожие на артиллерийские банники микрофоны, нетерпеливые руки с диктофонами, мерцали вспышки, нацелились глазки телекамер. Свита сомкнулась за спиной лидера, символизируя плотный строй единомышленников. Грибков и Семиженов ревниво выпустили Дышлова вперед, соблюдая протокол,

позволяя вождю единолично говорить от имени партии.

— Господин Дышлов, какие перспективы у вашей партии на предстоящих думских выборах? — спрашивал журналист центрального телеканала, отделенный от крупного лица с утиным носом длинной штангой с косматым клубком, похожим на ангорского котенка. — Вы надеетесь добиться конституционного большинства, чтобы остановить реформы правительства?

— У коммунистов хорошие перспективы на выборах, — властно напрягая скулы, рокотал Дышлов. — Власть своими губительными

реформами плодит наших сторонников. Уже сегодня, по мнению политологов, нас поддерживает более пятидесяти процентов избирателей. У нас есть программа, понятная народу, есть сильная организация, готовая реализовать программу, и есть стратегия, которая позволит объединить коммунистов и патриотов, аграриев и интеллигенцию, культуру и церковь. Уверен, мы добьемся большинства в Думе и изменим антинародный курс Президента...

Стрижайло остро наблюдал мизансцену. Чувствовал, как в «тройке» лидеры напряглись

невидимые струны честолюбия, гордыни, ревности. Оттесненные на полшага назад, Грибков и Семиженов, переполненные желанием говорить, стремлением попасть в телекамеру, чуть заметно, болезненно улыбались. Дышлов, исполненный неутолимой жажды публичности, казался себе сильным, непреклонным политиком, Тельманом, выразителем железной воли масс, бескомпромиссным противником власти. Глаза, еще недавно неуверенные, бегающие по сторонам, подсчитывающие число демонстрантов и флагов, количество телекамер и журналистов, теперь обрели волевою жесткость, мерцали

статью. Он произносил истертые, много раз повторяемые фразы, привнося в них металлические интонации политика, добывающего власть, которую получит из рук верящего в него народа. Стрижайло знал, что никакой стратегии не было, ее только предстояло создать. Упоминание о победоносной стратегии было блефом, но подобными блефами пользовались лидеры других партий, включая «партию власти» и самого Президента. Эта краткая остановка среди полыхающих знамен и революционных песнопений использовалась Стрижайло для профессиональных наблюдений. Он

не праздновал Первомай, он работал. Его место среди транспарантов и возбужденных оппозиционеров было рабочим местом.

Внезапно сквозь стенку охраны прорвалась женщина, немолодая, черноволосая, с комсомольской стрижкой двадцатых годов, в поношенном френче, сплошь увешанном значками, медалями, эмблемами спортивных обществ, знаками давно забытых юбилеев. Истерично кинулась к Дышлову, хватая его за руки:

— Товарищ Дышлов, держись!.. Не дай себя сломить!.. — припадала к рукам Дышлова, целовала, словно это был священник. Дышлов

смущался, но не убирал рук, подставляя их под губы обожательницы. Охрана отрывала женщину от лидера, оттесняла за цепь дружинников, а та продолжала издалека кланяться Дышлову, посылала воздушные поцелуи.

Колонна колыхнулась, пошла. Зашумела флагами, зашаркала тысячами ног, взрываясь музыкой маршей и мегафонных призывов. Стрижайло чувствовал таинственные, происходящие в толпе перемены. Демонстрация уже не напоминала погребальную процессию, провожающую в последний путь катафалк. В ней появилась истовость, напряженное

ожидание, страсть. Это был крестный ход с красными хоругвями, с иконами большевистских вождей, с письменами священного «красного завета». Шествовало впереди духовенство, вымаливая благодать у «красного божества». Шагали изнуренные мученики в веригах прожитых лет и перенесенных страданий. Бесчисленные прихожане катакомбной «красной церкви», гонимой и попираемой, вышли из своих подземелий, вели по Москве крестный ход, совершая религиозное таинство. Славили отцов и святителей «красной церкви», превозносили ее святомучеников. Праздновали «красное» Успение и

Вознесение, «красную» Пасху и Рождество, веруя, что состоится Коммунистическое Второе Пришествие, что после всех избиений и богоборств возродится, исполненная красоты и цветения, «красная» церковь, воспрянет Советский Союз, молитва их будет услышана.

Стрижайло чувствовал мистический, религиозный характер шествия. Его будущая стратегия учтет незабываемый народом «Символ красной веры», стремление в обетованную землю — Советский Союз. Дышлов был не политический лидер, не коммунистический вождь, а Моисей, ведущий свой «красный

народ» из египетского плена по
знойной пустыне в землю чистых рек
и душистых плодов.

— Понагнали войска, боятся, —
произнес один из высоких парней, у
которого над черной повязкой
недобро хмурились брови и блестели
глаза.

По мере приближения к центру
все больше на тротуарах
скапливалось милиционеров. Стояли
цепи солдат внутренних войск в
касках, с резиновыми дубинками.
Расхаживали группы штатских,
поднося к губам миниатюрные
радиостанции. Поодаль виднелись
военные грузовики с войсками,
серые автобусы с бойцами ОМОНа.

— Боятся, костоломы, народного гнева, — сказал вышагивающий долгоногий мужчина, играя желваками так, словно вид резиновых дубин и омоновских шлемов вызывал у него незабытую боль и ненависть, быть может, со времен расстрела Парламента и баррикадных боев.

Стрижайло испытал приближение опасности. Его упитанное, ухоженное тело сквозь тонкую материю изысканных одежд ощутило железо касок, тугие набалдашники резиновых дубин, скобы и бамперы военных грузовиков. Войска изготовились не для защиты, а для нападения. Агенты

ФСБ передавали по рациям сведения о таинственном ковчеге, потаенном ларце, что двигался вместе с толпой, сберегаемый, как драгоценные мощи, как частицы «красного креста». В этом ларце хранились загадочные кристаллы рубинового цвета, крупницы волшебного метеорита, прилетевшего на землю из неведомых глубин мироздания и упавшего среди русских равнин. В месте падения возник СССР, волны удара побежали по миру, закрашивая континенты и страны в рубиновый цвет. Теперь, после краха коммунизма, ковчег с кристаллами оставался хранилищем «красного смысла». Кристаллик упадет в малый

ручей, растворится, как марганцовка.
Окрасит в багряный цвет озера и
реки, океанские и морские пучины, и
коммунизм возродится.

Стрижайло испытал
метафизический трепет,
убежденность в существовании
ковчега. Быть может, его нес на
груди, под набором колодок, хромой
генерал. Или ларец таился под
кожаной курткой активиста с
зачехленным лицом. Или скрывался в
нищенской суме болезненного
знаменосца. Агенты ФСБ были не в
силах его обнаружить. Сейчас
раздастся команда, войска нападут
на толпу, начнется кровавая бойня,
повторяя библейскую резню, когда

воины Ирода искали святого младенца, учиня избиение детей. С окровавленного тела сорвут кипарисовую шкатулку, погрузят в машину с мигалкой, помчат на Лубянку.

Стрижайло прогнал наваждение, оглядываясь на конных милиционеров, гарцевавших на холеных лошадях.

Из каменной теснины, над которой трепетала неоновая бабочка и затейливая надпись: «Эльдорадо», демонстрация, как лава из кратера, вылилась на Каменный мост. Мощно, неотвратимо втекала на вершину моста, откуда вдруг открылся розовый восхитительный Кремль,

блеск реки, огромный, как гора с золотой вершиной, Храм Христа, просторная сияющая голубизна, под которой переливалась Москва, нежно зеленели деревья, плыли белые корабли, текла, шевелилась, колыхала бессчетными красными флагами толпа.

— Гляньте, сколько нас!.. Силища!.. — болезненный знаменосец оглянулся, озирая валивший на мост людской поток, хвост которого еще невидимо извивался по Якиманке, а голова вознеслась над рекой и приблизилась к розовым башням и звездам. И казалось, синеватые пятна болезни, сошли с его восхищенного лица.

Стрижайло обернулся, погружая
взор в скопище флагов,
транспарантов, портретов, изумляясь
этому неиссякающему людскому
поток. Вдруг испытал свою с ним
общность, счастливо ощутил свою
связь с этой народной толпой, в
которую из небес, из весенних
сияющих далей, с золотых куполов и
рубиновых звезд дунула незримая
сила, прыгнула свежая энергия жизни.
Ярче покраснели стяги,
преобразились и помолодели лица,
исполнились радостью сердца. Толпа
увеличилась, заливала улицы,
площади, набережную, словно вся
Москва вышла из своих домов,
вливалась в демонстрацию.

— Нас не победить никогда! —
бодро произнес генерал, выпрямляя
согбенную спину, пружиня шаг,
словно чудодейственно исцелился от
хромоты, и лампас его при каждом
шаге пылал, как алая струя.

Молодой активист в черной
куртке опустил черную,
клиновидную повязку, и стало видно
его свежее, красивое, наивно-
радостное лицо, обращенное к
Кремлю. Казалось, он шепчет какие-
то восторженные, нежные слова.

Стрижайло чувствовал эту
мистическую энергию,
преобразившую толпу. Так
солнечный свет проникает в
холодную древесную почку, и она

разбухает и лопается. Так сухое зерно падает в теплую влагу, умягчается и пускается в рост. Так дрожжи, брошенные в теплое тесто, оплодотворяют его, наполняя животворящей силой. Толпа стала вместилищем могучих энергий. Над каждой головой, вокруг каждого флага прозрачно трепетало сияние. Дышлов, с порозовевшим лицом, расправив плечи, мощно, победно вышагивал, и вокруг его головы сиял розоватый нимб.

— Товарищи, держите шаг!.. Не растягиваться!.. — гудел в мегафон идущий впереди активист, мембранными звуками, словно невидимым металлическим жезлом,

управляя толпой.

Шествие достигло вершины моста, стало стекать вниз. Одолев перевал, напоминало могучее воинство с наклоненными пиками, боевыми стягами. Грозно, мощно втягивалось в узкую горловину у Пашкова дома. Сжималось, взбухало, распирало теснины, шелестело, скребло фасады. По законам гидравлики, сжатое, ускорило свое продвижение, как река, покидая равнину, втягивается в узкое ущелье, где начинает мчаться, вскипать, пузыриться. Задние давили на передних, мегафон истошно кричал, ряды мешались, охрана с трудом сдерживала натиск людей.

Стрижайло, стиснутый, чувствовал, как энергия света, пропитавшая толпу на вершине моста, преобразается в энергию непреклонного, злого стремления. Лица людей стали злыми, мускулы напряглись. Подхватывали друг друга под локти, превращались в могучий таран, будто влекли огромное тупое бревно, волокли стенобитную машину, устремляя на Кремль.

Он испытывал восторг и мистический страх. Энергия, которая закипала в толпе, была той энергией, что питала огромные «машины политики». Первородная, дикая, рожденная в темных глубинах народа, сотворяла революции, войны,

превращалась в лавины конных армий, в наступление грозных фронтов, в великие стройки, прорывы в Космос. Изощренная власть управляла этой опасной энергией, гасила ее в ГУЛАГе, вовлекала в социальные тупики и ловушки, где та иссякала, остывала, превращалась в мертвые шлаки. Неумелая власть, никчемные и дурные политики, управлявшие «машинами власти», допускали аварии. Утечки социальной энергии приводили к взрывам, сметали уклады, порождали катастрофы восстаний и террористических актов. Он, политолог, изучал законы этой энергии, тайны ее превращений.

Конструировал реакторы, в которых первородная энергия, как сырая нефть, распадалась на множество фракций, от черного мазута, сгоравшего в грубых топках, до прозрачных тончайших эфиров, питавших изящные механизмы политики.

Шагая среди угрюмой толпы, среди вскипавших бурунов, он испытывал профессиональное восхищение, соприкасаясь с первичной, дикой стихией, определявший смысл его профессии, ее риски, смертельные угрозы, упоительное наслаждение и ни с чем не сравнимый восторг.

Такой же восторг и ужас

переживают вулканологи, размещая лабораторию на краю огнедышащего кратера, брызгающего расплавленной магмой. Ядерные физики, захватившие ядовитую плазму в хрупкие магнитные ловушки. Исследователи ледового океана, поставившие палатку на осколке льдины, покрытой хрустящими трещинами. Виртуозный игрок, утонченный политолог, здесь, на московских улицах, он ставил свой опасный эксперимент, добывая драгоценное знание.

Шествие, как черный вар, дымилось, валило вдоль белоснежного Манежа. Красные транспаранты и флаги казались

сгустками пламени, пылали над черной толпой.

— Дали бы мне автомат, я бы их всех порешил!.. — зло хрипел костистый, жилистый малый, дрожа желваками. Стискивал у груди побелевшие от ненависти кулаки.

— Кто тебе даст? Сам возьми! Мы в окружении нападали на немцев, добывали себе оружие! — зло огрызнулся генерал с почернелыми морщинами, подпрыгивая на хромой ноге.

— Товарищи, соблюдайте равнение!.. Первый ряд, теснее сплотиться!.. — яростно гремел мегафон.

Стрижайло чувствовал, как

слезятся от напряжения глаза. Мускулы упруго округлились. Сердце страстно и жарко билось. Он был частью толпы. Был пронизан ее жгучими токами. Заряжался ее ненавистью. Двигался толчками и судорогами ее перистальтики. Он больше не был исследователем, — был расплавленной жидкой каплей в потоке горячего вара.

Вожди не возглавляли толпу. Она несла их, толкала впереди себя. Они торопились, боясь быть раздавленными. Толпа нагоняла, давила в спины, колотила их древками, хлестала флагами. Они бежали под рев мегафонов, под бурные звуки громогласных маршей.

«Творческая энергия масс... — повторял он в сладостном помрачении. — Революционная воля народа...»

Манеж остался сзади. Они вывалились на Манежную площадь, где стал виден близкий влажно-розовый Кремль, янтарный, с белыми кружевами дворец, далекое взгорье у Исторического музея, выложенное камнями. Близость Кремля, влекущий таинственный блеск брусчатки, недоступность желанной, вожделенной Красной площади взволновало, взбурлило толпу. Еще недавняя пустота, сквозь которую великолепно и пышно желтел дворец, нежно и возвышенно розовел

Кремль, рябила черным блеском
брусчатка, открывая на Красную
площадь путь войскам, колоннам
танков, нескончаемой, ликующей
демонстрации, — теперь это пустое
квадратное пространство было
застроено. Торчали мелкотравчатые
балюстрады, античные колонками,
нелепые скульптурки и фонарики.
Ненавистный московский мэр
изуродовал площадь с единственной
целью отнять ее у народа, навсегда
закупорить вход на святую землю с
мавзолеем, Спасской башней,
храмом Василия Блаженного.
Замысел мэра был очевиден, был
направлен против толпы, оскорблял
ее, дразнил. Демонстрация

свиrepела, сжималась, как катапульта, готовая метнуть через мерзкие колонки и балюстрады комья расплавленного вара.

Стрижайло чувствовал появление в толпе новых видов энергии, в которых копился взрыв, бурлила разрушительная свирепая сила. Разъедала тонкие удерживающие оболочки, готовая полыхнуть и ударить. Ужасался, ликовал, боялся взрыва, торопил его. Ему, политологу, «социальному энергетик», открывалась возможность увидеть стихию восстания, воочию наблюдать народный бунт, плазму революции, которая разрушает ущербные,

сдерживающие исторический процесс облочки, изливается слепым, испепеляющим все огнем.

Он испытал странное жжение в теле. Не в сердце, грохотавшем от возбуждения. Не в глубине глазниц, где вскипали разноцветые, огненные зрелища. Не в сердцевине черепа, где множились восторженные образы. А в животе, в паху, где начинало томить и тонко жечь, словно выделялись невидимые токсины, разливались слабые яды. Казалось, в нем проснулся дремлющий червь, проголодавшаяся личинка, требующая для своего роста и развития усиленного питания, жарких калорий, потребляющая эти

калории из ненавидящей,
раскаленной толпы.

— Суки!.. Кровавые твари!.. —
хрипел парень, и на его неистовом
лице гуляли малиновые пятна
ненависти.

— Кремль — народу!.. Кремль
— народу!.. — скандировали
молодые активисты, блестя сквозь
черные маски ненавидящими
глазами.

— Даешь Красную площадь!.. —
выкрикнул хромой генерал, и его
призыв подхватили тысячи
разгневанных глоток.

Стрижайло смотрел на
Дышлова. Это был его миг, его святая
секунда, способная из картонного

политического деятеля, бутафорского думского говоруна сотворить огненного народного лидера, героя восстания. Запечатлеть в русской истории, отчеканить лик, сделать имя бессметным.

У гостиницы «Москва» стояли турникеты, толпились солдаты внутренних войск с металлическими щитами, лоснились кожаные тужурки ОМОНа. Отсекали толпу от выхода на Красную площадь. Толпа при виде щитов и касок, изготовленных дубин и турникетов взревела негодованием.

— Позор!.. Позор!.. — гремели возгласы, вздымались стиснутые кулаки, шумели знамена.

Червь, наполнявший чрево
Стрижайло, извивался, взбухал.
Распирал желудок, втискивался в
лабиринты кишечника, толкался
наружу. Стрижайло испытывал
мучительное наслаждение, сладкое
помрачение, томительную похоть и
свирепую, побуждающую к насилию
страсть. Толпа струилась, как
огромный, выпавший из его паха
змей, бугрилась, проталкивала
вперед свое мускулистое чешуйчатое
туловище. Впереди, обольстительная,
играла бедрами, переставляла
стройные ноги, колыхала грудью
женщина с шелковым флагом, за
которой устремлялся змей, силился
догнать, ужалить, обвитья вокруг ее

пленительного тела. «Блудница КПРФ...» — шептал Стрижайло, вождедея.

Толпа силилась изменить маршрут, свернуть с Охотного ряда, прорываться на Красную площадь.

Стрижайло торопил толпу, умолял совершить историческое действие, ждал от Дышлова мессианского поступка. Был готов вместе с другими проламываться сквозь турникеты, продираться сквозь щиты и побои, разрывать руками тела солдат и омоновцев. Выбегать по брусчатке на простор Красной площади, мчаться, задыхаясь, мимо мавзолея, к Спасским воротам. Биться,

колотиться, уклоняясь от пулеметных очередей, отскакивая от истерзанных пулями тел. Просадить ворота, ревушим валом ворваться в Кремль, затопить Ивановскую площадь, схватиться насмерть с кремлевской охраной, окровавить белые стены соборов, золото кремлевских дворцов. По лестнице, под хлопки пистолетных выстрелов, влететь в желтый дворцовый корпус, на второй этаж, где в кабинете, среди малахитовых часов и помпезной мебели трепещет маленький, бледный от ужаса человечек, у которого истекли его бесславные последние минуты, и его ждет винтовая лестница колокольни Ивана

Великого, паденье из-под золотого купола сквозь свистящий воздух, на блестящие черные камни.

Стрижайло смотрел на Дышлова, для которого оставались последние исторические мгновение, сужался зазор, сквозь который он мог проскользнуть в вечность, изменить ход истории, стать носителем божественного промысла, управляющего судьбой человечества.

Дышлов был малиновый от возбуждения. Чувствовал ускользающую микросекунду. Игольное ушко, за которым открывался неоглядный простор. Видел, как носится над ним красный ангел, готовый влететь в его душу,

вселиться в тело священным огнем. Качнулся к турникетам, собираясь увлечь толпу. Но робость подкосила его. С дрожащими губами, с алым бантом в петлице, прошагал мимо, утягивая за собой неистовое шествие. Ангел тоскливо прянул и исчез в синеве.

Толпа, озлобленная, обманутая, сердито бурлила, валила мимо гостиницы «Москва», мимо Думы, к памятнику Марксу. Рокотала, как поток, который отвели от главного русла, направили в обводной, искусственно прорытый канал.

Стрижайло испытал разочарование и усталость. Будто резко упало атмосферное давление, и

он почувствовал головокружение и немощь. Змей глянцеви́той струей уползал из толпы. Его хвост поблескивал у колонн Большого театра, растворялся в сиреновом тумане зацвета́вшего весеннего сквера.

Перед памятником Марксу был установлен грузовик с ретрансляторами. Охрана подпускала к нему лишь избранных ораторов. Остальная толпа заполняла площадь между «Метрополем» и Большим театром. Все еще клокотала, ожидая от ораторов откровений, проповеди «десяти красных заповедей» Дышлов величественно взошел на трибуну, пылая алым бантом. Грозно,

уверенно загрохотал в микрофон, но слова, которые он выдыхал, срываясь с его шевелящихся волевых губ, превращались в длинные обрезки оцинкованного железа.

«Антинародный режим»...

«Непродуманные реформы»...

«Ограбление пенсионеров»...

«Выиграть думские выборы»...

Жестяные бесцветные фразы летели в толпу, как отходы кровельщика, и люди ежились, уклонялись от этих вибрирующих обрезков. Энергия, клокотавшая в толпе, улетучивалась. Толпа, еще недавно напоминавшая расплавленную магму, остывала, покрывалась коростой. В ней возникали трещины, отламывались

ломти, превращались в холодные частички, которые рассыпались и распылялись по окрестным улицам. Толпа уменьшалась, сворачивала флаги.

Стрижайло испытывал разочарование. Драгоценная энергия, накопленная в толпе, бессмысленно таяла, улетала в туманную синеву. Так сквозь дыры горячий воздух уходит из воздушного шара, превращая сияющую летучую сферу в сморщенный грязный чехол. Дышлов и был той дырой, сквозь которую улетучивался нагретый воздух, не давая шару взлететь. Являлся пробоиной в коже оппозиции. Это было огорчительное открытие, но

оно было открытием, которое он, политолог, использует в своем конструировании.

Прожорливый, поселившийся в желудке червяк был утолен и насыщен. Задремал, свернувшись в горячей слизистой глубине. Не было жжения, утихла неутоленная похоть. Только во рту была легкая горечь, словно лизнул мухомор.

Стрижайло изумлялся своим недавним переживаниям, безумному возбуждению, слиянию с толпой. К нему вернулись обычные цинизм и ирония. Письмо, которое доставила демонстрация от Ленина Марксу, содержало не революционные тезисы, а жалобу на плохой уход за

памятником, на бесцеремонных птиц, сающихся на бронзовые плечи и голову, покрывающих памятник белым пометом. Стрижайло посмотрел на гранитный монумент основоположнику революционного учения. На голове Маркса сидел голубь и чистил перышки.

Подошел вежливый, аккуратный помощник Дышлова. На груди его пламенел бант.

— Шеф приглашает вас принять участие в маленьком праздничном фуршете. Вот адрес, — он протянул Стрижайло бумажку. — Все немного устали и проголодались. Есть хороший повод для дружеской встречи.

глава вторая

Указанный помощником адрес вел к небольшому особняку на Садовой, где размещалась резиденция Семиженова. Стрижайло пешком проделал путь от памятника Марксу до Большого театра, где его поджидал темно-синий «фольксваген-пассат». У шофера Василия была круглая ершистая голова с оттопыренными ушами, колючие кошачьи усики и выпуклые, рыжие глаза, что позволяло Стрижайло именовать его «Дон Базилио». Как всегда он был прекрасно осведомлен обо всех дорожно-транспортных

происшествиях в округе:

— Представляете, Михаил Львович, ехал по бульварам, — «бездорожник» врезался в «вольво». Напополам. Как ездят, черти!

Стрижайло не стал поддерживать любимую тему «Дона Базилио», сунул бумажку с адресом:

— Культурная программа продолжается.

В голове шофера негромко щелкнуло, на лбу высветилась компьютерная карта Москвы и на ней, как в приборе бомбометания, обозначилась указанная в адресе точка.

Они мчались по праздничной Москве с умытыми фасадами и

зеленым туманом бульваров, на которых вспыхивали клумбы алых тюльпанов. На Садовом кольце их обогнала шелестящая «аудио» с фиолетовой мигалкой и тяжеловесный, оскаленный джип сопровождения. Затормозили у белого ампирного особняка. Охрана «джипа» вывалила на тротуар, обеспечивая прикрытие важному пассажиру «аудио», которым оказался Дышлов. Энергично, важно прошествовал от машины к подъезду. Стрижайло успел разглядеть жизнелюбивое лицо с выражением властной утоленности, — многолюдное народное шествие, которое он провел по Москве,

протестный митинг, во время которого его снимали телекамеры центральных каналов, лихой, на великолепных машинах, пролет по городу, в котором его знали, обожали, видели в нем народного трибуна и крупного политика.

К особняку одна за другой подкатывали фешенебельные автомобили. К подъезду шагали лидеры коммунистов, депутаты, уже без алых бантов, в предвкушении аппетитной еды.

Стрижайло прошел в особняк, где повсюду, — в вестибюле, на лестницах, на этажах, — стояла молчаливая, оснащенная рациями охрана. Очутился в просторной зале,

где в достославные времена барской, задушевной Москвы собирались гости, играл клавесин, барышни и кавалеры танцевали мазурку, а теперь драгоценно, отреставрированный, сиял плафон с купидонами, блистали люстры, были расставлены широкие, без стульев, столы. Эти столы ломились от яств, поражая воображение затейливыми цветниками и клумбами, в которые были превращены лепестки нежно-алой, бело-розовой, золотисто-прозрачной рыбы, узорные ломти копченого мяса и вареных языков, пирамиды, цилиндры, усеченные конусы и спиралевидные фигуры, вырезанные из буженины и балыка,

блюда с красной и черной икрой, хрустальные вазы, наполненные румяными яблоками, янтарными грушами, свисающими гроздьями фиолетового винограда. Посреди этого великолепия, напоминая небольшие, искусно высеченные скульптуры, были расставлены осетр на блюде с заостренным клювом и зубчатым позвоночником, вдоль которого струей майонеза было начертано: «1-ое мая». Жаренный глянцевитый поросенок с запекшейся кровью в ноздрях смешного и милого пятачка, стоящий на коленях, подогнув костяные копытца. Барашек, побывавший на жертвенной жаровне, с

мечтательным взглядом запеченных глаз, с кроткой шеей, на которой краснела ленточка с колокольчиком. Мускулистая индейка с надменно поднятой головой, на которой красовался бумажный тюрбан, с вызывающе поднятой гузкой, увенчанной бумажным плюмажем.

Над всем витали купидоны. Сверкал фарфор, искрился хрусталь. На тележках перед угодливыми барменами стояли флаконы и бутылки, взлетали рубиновые и золотые искры, звякал подхваченный серебряными щипцами лед, плескались сочные душистые струи.

Стрижайло ликовал, разглядывая все это великолепие. Не потому, что

был голоден и торопился вкушать
яств. А потому, что к этим
великолепным столам его привело
протестное шествие, революционные
песни и марши, негодующий
пролетариат, орденосные
ветераны. Политология, которой он
занимался, умела объяснить
перетекание народной демонстрации
в банкет вождей, потускнелые
лампасы хромого генерала в нежно-
алые ленты семги, железное лицо
ненавидящего тощего парня в
лоснящийся бок жареного
поросенка. Стрижайло озирает
рыбные и мясные скульптуры, весело
придумывая для них имена. «Осетр
Ленин». «Барашек Сталин».

«Поросенок Хрущев». «Индейка Брежнев». Вожди, поедая вкусную плоть тотемных животных, приобщались к истории партии.

— Товарищи, прошу наполнить бокалы!.. — на правах хозяина приглашал Семиженов, властно и дружелюбно поощряя гостей.

Еще в машинах, подъезжая к особняку, вожди оппозиции скинули простецкие плащи, пролетарские куртки, отцепили красные банты. Теперь, под античными купидонами ампирной залы, они были в великолепных костюмах от «Версаче», «Сен Лорана» и «Дольче и Габбана». На сорочках от «Ферре» и «Кавалли» красовались галстуки от

«Гуччи». Ноги, вольно поставленные, облекали туфли от «Альберто Гардиани» и «Пачиотти». На запястьях рук неброско сияли браслеты «Патек Филиппа» и «Роллекса». Каждое выдержанное в сдержанных тонах облачение равнялось бюджету небольшой среднерусской губернии. Подтверждали респектабельность и значимость деятелей оппозиции, которая порвала с люмпенами подворотен, истерическими старухами и остервенелыми буянами, битыми многократно в уличных потасовках. Оппозиция заседала в парламенте, имела своих губернаторов, встречалась с

Президентом, выезжала на парламентские ассамблеи Европы. Она одевалась в дорогих бутиках Охотного ряда, лечилась в закрытых клиниках, строила дачи в районе Успенского шоссе, с видом на Москва-реку, по соседству с особняками видных чиновников и олигархов. Машины, на которых мчались оппозиционные лидеры в Думу, Кремль и Правительство, были изготовлены на лучших заводах Европы, Америки и Японии, их окружали фиолетовые трепещущие нимбы, за ними мощно, как черные лакированные шкафы, колыхались «джипы» охраны, им отдавали честь постовые.

— Друзья, — Семиженов держал перед грудью рубиновый бокал с французским вином из драгоценной серии «Шато Гараж», блистая цыганскими глазами, воздев черный щегольской кок над белым высоким лбом, — Я счастлив принять вас в моей скромной резиденции, которую прошу считать интеллектуальным штабом оппозиции, — он повел бокалом, заключая в окружность осетра, поросенка, индейку, щедро преподнося их гостям. — Поздравляю вас с праздником народного сопротивления, который объединил в нашем шествии тысячи и тысячи сторонников, рождая ужас

власти, зависть противников.

Семиженов говорил с аффектацией, возбуждаясь от собственных слов, как если бы невидимая рука гладила ему под рубашкой грудь.

— Не секрет, что притягательность наших идей и действий во многом связана с нашим замечательным лидером, чье имя — «Дышлов» вполне может украсить борт атомного ледокола или послужить названием города-миллионника в «красном поясе» России. — Это была заготовка, которую он пронес через всю Москву и теперь использовал, как тонкий эликсир обольщения, — Именно это

имя объединяет сегодня все силы оппозиции, которая, не сомневаюсь, победит на предстоящих думских выборах, — он сделал решительный жест, который накануне мог шлифовать перед зеркалом, держа пустой бокал. — Исход думских баталий предопределит выборы Президента, и нет нужды говорить, кто пойдет на выборы от нашего с вами движения, — он жарко, страстно взглянул на Дышлова, источая из бокала волну рубинового света. — Заверяю вас, моих друзей и соратников, что заключенный между нами союз соблюдаю свято. Все мое достояние, все экономическое и организационное влияние отдаю

компартии. Вижу себя ее верным членом и работником. С праздником, товарищи! — он завершил тост воодушевленно, с невольным грузинским акцентом. Его лицо побледнело, черный кок отливал синевой, как оперенье грача. Он обходил собравшихся, начиная с Дышлова, чокался, заглядывал жарко в глаза, и его красные губы нервно улыбались на белом, бескровном лице.

Стрижайло восхищенно смотрел на Семиженова, как рентгенолог смотрит на черно-белый негатив с дымчатыми костями скелета, полупрозрачными вздутиями и аномалиями, притаившимися

тромбами и тайными гематомами. Семиженов был понятен ему, проницаем для его лучей, прозрачен для прозорливого знания. В досье, как в истории болезни, хранились данные о происхождении его капиталов, о связях с криминальным миром и Администрацией Президента, о тайных встречах с олигархами и генералами ФСБ. Психологические характеристики аттестовали его, как истерика и неуголимого честолобца, вероломного заговорщика и мстительного ненавистника. Его зодиакальным символом был Козерог с витыми рогами, которыми тот остервенело бодался с

препятствиями. Фрейдистские
комплексы питались
прогрессирующей импотенцией,
которую он преодолевал
садистскими наклонностями и
женоненавистничеством. Он

ненавидел Дышлова, презирал в нем
простолюдина и «деревенщину»,
плел интригу, мечтая занять его
место в партии.

Стрижайло, делая глоток
французского вина, ощутил свою
тайную власть над честолубцем. Тот
двигался среди гостей, как «живая
бомба». Ее можно было тут же
взорвать, заляпав плафон с
купидонами ошметками
коммунистических лидеров.

Вторым взял слово Грибков, маленький, щуплый, с круглой головкой, в которую были вставлены бегающие вишневые глазки, некрасивые беспокойно шевелящиеся губы:

— Я бы добавил к произнесенной моим товарищем здравице. Пусть именем «Дышлов» назовут не только ледоколы и города-миллионники, но пусть за это имя открыто во всех православных храмах служатся молебны, ибо это имя является синонимом союза коммунистов и православных, «красных» и «белых» патриотов. Что и обеспечит нам грядущую победу на выборах. В моих многочисленных

поездках по России я постоянно встречаюсь с духовенством, объясняя ему, что современный коммунизм не имеет ничего общего с безбожным большевизмом. Это христианский социализм, где экономическими законами управляет православная этика и добротолюбие. В своей предвыборной агитации я использую тезис о передаче земель монастырям и храмам, как об одном из важнейших пунктов коммунистической программы. Наша сила — в единстве всех направлений патриотизма, в борьбе с компрадорскими олигархами, в единении вокруг нашего несомненного, неоспоримого

лидера! — Грибков протянул свою небольшую руку к Дышлову, чокаясь с ним. Его вишневые глазки забежали и чутко заиграли в неровно подстриженной, с оттопыренными ушами, голове.

Стрижайло и его любил, нежно и сентиментально, как конструктор японских роботов любит свое миниатюрное оригинальное изделие. Под дорогим костюмом, белоснежной рубахой и шелковым галстуком Грибкова была не теплая человеческая кожа, покрытая редкими волосками, а пластмассовый твердый чехольчик с кнопками и антеннами. Можно было мизинцем нажать на кнопки, или

дистанционным пультом
переключать программы, меняя
поведение кибернетической
игрушки, которая приспособлялась
к изменившимся условиям. К
перепадам политической
температуры и давления. К смене
политического климата. К
формулировкам идеологических
доктрин и партийных программ.
Этот игрушечный аппарат имел
резиновую присосочку, которой
прикреплялся к крупной
политической личности. Некоторое
время двигался вместе с ней, питаюсь
ее соками и репутацией. Прodelывал
вместе с ней и за ее счет очередной
отрезок своей карьеры, а потом,

когда личность теряла популярность, аппарат откреплялся. Некоторое время оставался в одиночестве, сканируя окрестность, отыскивая новую, насыщенную политическими калориями фигуру. Быстро к ней устремлялся, прикреплялся присоской, тянул полезную жидкость. Теперь, сменив многократно патронов, увеличив за их счет свой вес и размеры, он прицепился к компартии, к неуклюжему теплокровному Дышлову. Дышлов считался с ним, заимствовал его экономические идеи, любил появляться в присутствии эрудированного академика-экономиста. Но

неизбежно приближался момент, когда смысленый робот отцепит от Дышлова свою присоску, оставит на жилистой шее разочарованного коммуниста маленькую красную ранку, двинется дальше, озирая мир тревожными умными глазками.

Стрижайло знал всю его подноготную. Мучительную страсть к деньгам, неутолимое сладострастие, число незаконных детей и брошенных, незарегистрированных жен. Знал о его стремлении стать Президентом. О постоянном напряжении, в котором пребывали его неуверенная душа и маленькое неразвитое тело, — напряжении, что внезапно

разрешалось в слезной истерике, в близком к самоубийству припадке.

Третьим говорил казначей партии Крес, мягкий, влажный, с розовыми глазами, с колыханием большого студенистого тела. Его лицо было покрыто чудесным морским загаром, который достается счастливым обладателем яхт, скользящих по адриатической лазури.

— Хочу поблагодарить нашего хозяина за великолепный стол, праздничный прием, за вклад, который он вносит в борьбу нашей партии. У нас, скажу откровенно, мало талантливых хозяйственников, «красных бизнесменов», «красных банкиров». Мы научились

парламентским речам, научились проводить митинги и демонстрации, но не научились торговать, как призывал нас к тому великий Ленин. Каждый опытный хозяйственник, грамотный финансист в нашей среде — на вес золота. В буквальном и переносном смысле — «золото партии». Некоторые, так называемые «революционеры» хотят поссорить партию с Правительством и Президентом, а это лишает нас выгодных заказов, бюджетных средств, добрых отношений с промышленностью и капиталом. Хочу поблагодарить нашего лидера за тонкое понимание финансовой политики, без которой нам не

выиграть выборы! — Крес обвел окружающих розовыми глазами, какие бывают у осьминога, когда тот всплывает на закате в зеленых волнах океана.

Стрижайло ликовал, любуясь этим «моллюском компартии», у которого был собственный строительный трест, банк с отделениями в оффшорах Кипра, два расторопных сына-банкира, побуждавших отца бросить, наконец, свою курьезную «красную партию», обрести лицо респектабельного капиталиста. Отец не внимал настояниям молодых и неопытных хищников. Пользовался связями партии для изыскания выгодных

контрактов, последним из которых было массовое строительство в разоренной Чечне. Объекты в Грозном и Ведено подвергались нападениям боевиков, едва восстановленные, тут же превращались в руины. Бюджетные деньги, спасенные из огня, омывали строительный трест, оседали в партии, шли на поддержание региональных организаций и партийной печати, на личные расходы вождей, а так же бесследно утекали на Кипр, что порождало множество слухов и прокурорских проверок. Последние, благодаря связям партии в Прокуратуре, спускались на тормозах. Однако,

уязвимость строительной организации Креса делало уязвимым и партию. В разгар предвыборной кампании власть могла начать очередное расследование, арестовать «казначея», скомпрометировать коммунистов. Стрижайло знал величину нецелевых расходов Креса, сумму его задолженностей перед бюджетом, криминальные связи с подрядчиками-чеченцами, а быть может, и с боевиками, наносившими удары по незавершенным стройкам. Страсть к молодым танцовщицам, с которыми тот отправлялся на морские курорты Средиземного моря, где его розовые глаза любовались играми молодых,

обнаженных наследниц Сафо.

Честь произнести тост была предоставлена верному союзнику Дышлова, аграрию Карантинову, которого в среде друзей, за пристрастие к международным кинофестивалям, называли «Карантино». Плотный, лобастый, напоминавший желудь, окающий, с хитрецей в глазах, он не преминул напомнить о своем крестьянском происхождении:

— Должен вам сказать, дорогие товарищи, что мы, как всегда, забываем о деревне, а ведь именно через деревенские проселки лежит путь к нашей с вами победе. Пусть там слякоть, грязь, не то, что на

московских паркетах. А как говорят в народе? «Сей в грязь, будешь князь». Вот мы и должны сеять слово партии в суглинок, в чернозем, а то и в навоз. Навоз, он чистый, от него хлеб родится. Я в моих неустанных поездках по селу говорю крестьянам: «Голосуйте за партию Дышлова. Она остановит раскрестьянивание России, сохранит за крестьянином землю, не пустит в русскую деревню иностранца и мироеда. А не то — к топору зовите Русь!» Мы, товарищи, должны сделать все, чтобы привлечь на нашу сторону крестьянство. Тогда на наших столах всегда будут такие замечательные поросята, барашки и индюшки, выращенные

трудолюбивыми селянами. За трудовое крестьянство! — он высоко поднял бокал французского вина, и в этом неожиданном жесте было что-то гусарское, лихое, готовность выпить до дна, грохнуть об пол звонкое стекло.

Это восхитило Стрижайло. Простой крестьянский парень, попав в орбиту большой политики, усложнялся и рос на глазах. Обожал позировать перед телекамерами. Охотно, на правах глубокомысленного деревенского мудреца, участвовал в телешоу с разбитными сексуальными телеведущими, среди которых выделялась дочь африканского

вождя. Стал эмблемой кинофестивалей, заседа в жюри вместе с Никитой Михалковым, который пригласил его в свой очередной антисоветский фильм на роль полковника НКВД. Карантинов так вошел в роль, что недавно выступил в Думе с инициативой восстановить на Лубянской площади памятник Дзержинскому, что слегка покорило общество «Мемориал», но вызвало восторг у телеведущих программы: «Скажи, кто твой друг...». Среди последних аристократических пристрастий агрария значилась поездка в Африку на сафари, где тот застрелил страуса, а чучело гордой птицы поставил в

своём думском кабинете. Стрижайло было известно, что Карантинов владеет небольшим перерабатывающим предприятием в Подмосковье, в доле с немецким бизнесменом, выкупив под выпасы и посевы несколько сотен гектар.

Тосты и славословья сопровождались поеданием яств. Взлетали наколотые на вилки, оранжевые и розовые соцветья, сложенные из лепестков семги. Мелькали в воздухе вырезанные из буженины и карбоната геометрические фигурки, пропадая в открытых ртах. Поедание не затрагивало тотемных животных партии, — осетра, барашка,

поросенка, индейку. Их не спешили разделявать, дожидаясь выступления Дышлова. В этом чудилось что-то жреческое, превращало трапезу в жертвоприношение, что забавляло Стрижайло, веселило его артистический ум.

Дышлов приподнял бокал, и это мгновенно было замечено. Все умолкли и расступились, давая простор для предстоящих речений.

Дышлов был крупный, гладкий, белолицый, с заостренным носом снеговика, которому в руку вставили бокал французского вина, опоясали запястье золотым браслетом, накинули на плечи темно-синий пиджак от «Хьюго Босса». Он был

властный, величественный,
насыщенный животворными
калориями произнесенных в его
честь славословий. Усваивал эти
калории, полагая, что таким образом
питает не только себя, но и партию,
нуждавшуюся в сильном,
харизматическом лидере, а так же
народ, чью волю и протестную
непреклонность выражает
авангардная партия. Он нуждался в
постоянных похвалах, искал их
повсюду, помещал себя в такую среду,
где эти похвалы, обожание,
преданное служение были ему
гарантирована. Напоминал ищущее
света растение. Избегал
обстоятельств, где мог натолкнуться

на критику, поношение, едкую неприязнь. Как растение, не мог жить в темноте, начинал хиреть. Эту чувствительность к похвале замечали партийные аппаратчики, играли на ней, использовали для карьерного роста, добиваясь от вождя нужных аппаратных решений.

— Сегодняшняя демонстрация была на редкость многолюдна. По сведениям МВД было около ста тысяч. В Кремле очень встревожены... — он произнес это строго и угрожающе, посылая из банкетной залы предостережение кремлевской власти. — Должен сказать, мои поездки по стране, выступления в различных аудиториях

показывают, что народ начинает прозревать. Повсюду залы битком, губернаторы непременно устраивают прием. Последний раз встречался с военными, все генералы, включая командующего округом, подходили и жали руки... — упоминание о великолепных приемах увеличивало значение Дышлова не только в глазах собравшихся, но и в его собственных. Это был массаж, который он устраивал себе самому. Было видно, как на его белом лице появились розовые пятна удовольствия. — На прошлой неделе встречался с Президентом в Кремле. Тот очень озабочен обстановкой, со многим соглашался, но эта либеральная

публика держит его в руках, и у него нет пространства для маневра... — этим заявлением Дышлов ставил себя вровень с хозяином Кремля, который нуждался в нем, искал его советов. Дышлов не выражал к Президенту враждебности, но сожаление, даже сочувствие, — сочувствие к пленному, несамостоятельному, зависимому человеку, от которого он сам отличался независимостью, свободой, поддержкой народа. — Мы должны победить на выборах, собрав до пятидесяти процентов поддержки. Для этого необходимо сложить усилия коммунистов, патриотов, аграриев, ветеранов, деятелей науки и культуры. У нас есть идеология,

организационная структура, есть «стратегия победы», — он говорил кафедрально, стратег, теоретик, продолжатель коммунистического движения, где по праву занимал то место, которое до него занимали Сталин, Ленин, основатели партии и государства. — Мы должны победить, во что бы то ни стало. Ибо сейчас на карту поставлена судьба страны, судьба партии, судьба народа... — на его крупном лбу обозначилась тяжелая складка, надбровные дуги выпукло укрупнились, глаза твердо, почти жестоко оглядели присутствующих, подтверждая превосходство над ними, непререкаемую власть,

несгибаемую волю. Все соглашались с этими знаками превосходства, признавали его неоспоримое первенство. Внезапно глаза Дышлова потеплели, смешливо сузились. Грозная складка на лбу расправилась, — А теперь анекдот для разрядки... Одна женщина говорит другой: «Знаешь, я своему мужу собачий корм покупаю. Дешево и питательно. Сперва упирался, а потом ничего, стал есть». Проходит месяц, снова встречаются: «Представляешь, беда, мой-то умер!» — «А что случилось?» — «Да шею сломал, когда начал яйца себе лизать» — не дожидаясь, когда все засмеются, Дышлов громко

захохотал. Все грохнули следом. Сгибались от смеха, хлопали себя по бокам. Потакали вождю, поощряя его остроумие. Дышлов, видимо, не первый раз рассказывал этот анекдот. С его помощью резко менял интонацию делового, политического разговора. Стрижайло отдал должное этому искусному приему, помогавшему сгладить впечатление от тяжелых, деревянных речений, надоевших штампов, что превращало кафедрального Дышлова в народного лидера, понимающего площадной смак просторечия.

Все наперебой чокались с вождем. Пили французское вино, продолжая посмеиваться

фривольному анекдоту.

Из боковых комнат, торжественно ступая, вышли служители в малиновых фраках с медными геральдическими пуговицами. Держали в белых перчатках большие блестящие ножи и хромированные трезубцы. Их лица были просветленными и сосредоточенными. Они напоминали гладиаторов, оснащенных оружием ближнего боя. В их походке была обреченность и смирение перед волей богов. Приблизились к столу, на котором возвышались «осетр Ленин», «барашек Сталин», «поросенок Хрущев», «индейка Брежнев». Замерли, протянув к

тотемным животным ритуальные инструменты. Одновременно вонзили трезубцы, погрузили отточенные ножи в мягкую плоть. Разрезали животных на поперечные ломти, хрустя рассекаемыми костями, выдавливая из-под лезвий капельки сока и жира. Завершили расчленение плоти, отступили, освобождая дорогу гостям, которые с чистыми тарелками, вооруженные вилками, потянулись к столам. Цепляли, кто рыбу, кто индейку, кто молочного поросенка, кто теплого, в нежных испарениях, барашка. Молча поедали, пережевывали, старательно проглатывали, двигая скулами, шеями, закрывая глаза. Казалось, они

не просто насыщались, а сосредотачивались на еде, придавая поеданию священный, религиозный характер. Через это ритуальное поедание приобщались к великим предшественникам, к исчезнувшей грандиозной эпохе, заветы которой хранили в рядах обмелевшей, обезлюдившей партии, не давая разомкнуться связи времен.

Те, кто поедал осетра, становились вместилищем ленинизма. Писали «Апрельские тезисы». Двигались в plombированном вагоне через Европу в революционный Петроград. Забирались на клепаную сталь броневика. Мчались в буденовках,

сверкая саблями, по полям Гражданской войны. В Горках, среди янтарного солнца, ослабевшей рукой писали завещание.

Те, кто предпочел молочного барашка, приобщались к подвижническим свершениям Сталина. Возводили домны и электростанции. Пускали конвейеры с танками и самолетами. Смотрели фильмы «Волга-Волга» и «Трактористы». Громили троцкистско-зиновьевский блок на процессах в Колонном зале. Всаживали отточенный ледоруб в череп страстного, неумного еврея. Провожали с мавзолея полки под Волоколамск. Наносили по армиям

вермахта «десять сталинских ударов». Провозглашали победный тост за великий русский народ. Сажали лесозащитные полосы. Боролись с коварными космополитами. Писали историческую работу о языкознании.

Тем, кто вкушал поросенка, передавалась энергия противоречивой и яркой эпохи Хрущева. Они взрывали водородную бомбу на Новой Земле. Колотили туфлей в трибуну ООН. Читали наизусть стихи Евтушенко. Обнимали вернувшегося из Космоса Гагарина. Распахивали необъятную казахстанскую степь. Заглядывая в томик Евангелия, писали «Десять

заповедей Строителя Коммунизма».

Гости, чьи идеалы и убеждения коренились в брежневской эпохе «застоя», отдавали предпочтение индейке. Вкушая белое мясо домашней птицы, они строили атомный флот, проектировали космическую станцию «Мир», принимали в Москве олимпийские игры. Ратовали за разрядку. Вводили «ограниченный контингент» в таинственную страну, лежащую южнее Кушки. Добродушно и печально посмеиваясь, позволяли соратниками вешать себе на грудь очередную «Звезду Героя». Усталой склеротической рукой перелистывали книжку «Малая

земля», написанную каким-то очередным сукиным сыном.

Стрижайло наблюдал ритуал поедания, преобразование плоти тотемных животных в бестелесный дух мистической «красной эры», которую помещали в себя ее наследники и хранители. Усваивали каждой клеточкой, каждой живой молекулой, куда тонкой спиралькой залетал «генетический код коммунизма», превращая лидеров оппозиции в апостолов бессмертного учения.

Это был не просто фуршет, а священнодействие. Праздничная служба в «красной церкви», куда был допущен Стрижайло, жадно

наблюдавший религиозный «обряд приобщения». Лидеры старательно обсасывали хрупкие позвонки агнца, розовые свиные хрящики, индюшачьи косточки, клейкую осетровую хорду. Бережно клали на край тарелки, усматривая в них останки вождей, которые были достойны погребения в Кремлевской стене. Тарелки забирались служителями в малиновых фраках и белых перчатках. Уносились в глубину здания, где производилось бальзамирование одних останков и кремирование других.

«Теперь ты видел, как передаются из поколения в поколения слова «красного завета», а

потому имя твое не Стрижайло, а Скрижайло», — он попробовал поерничать над самим собой, чтобы освободиться от воздействия магического ритуала. Но оставалось легкое головокружение, какое случается, если долго смотреть на звездное небо.

Он двигался среди жующих гостей, мысленно приобщаясь к трапезе. Они поедали плоть священных животных, а он поедал их. Они были его пищей, его питательным кормом. Он поглощал их духовные монады, усваивал их сущности. Политолог, он изучал существующие среди них противоречия, проникал в тайные

конфликты, исследовал порочащие их связи. Каждый из них был живой клеточкой политического тела, которое могло либо наполниться мощью, совершить стремительный рывок, либо одряхлеть, болезненно исчахнуть и рухнуть, в зависимости от того, как соединятся между собой эти «элементарные частицы» политики. Он был приглашен в их круг, чтобы создать из этих мелких, несовершенных людей «великана оппозиции», способного расшвырять соперников и выиграть думские выборы.

«Я их ем, но яйца себе лизать не буду», — усмехнулся он, вспоминая анекдот Дышлова.

Уже давно заметил среди гостей стройную красавицу, ту, что вышагивала длинными ногами впереди демонстрантов, овеваемая алым знаменем. Только теперь, после отзвучавших тостов и ритуального приятия пищи, он подошел к той, кого назвал «Мисс КПРФ».

— Ведь вы Елена Баранкина, член Центрального Комитета? — галантно поклонился он, изображая благоговение, при этом весело и жадно заглянул в ее изумрудные глаза.

— А вы знаменитый Михаил Стрижайло, директор фабрики, где изготавливают политических лидеров различных размеров и

стоимостей? — ответила «мисс», успев наградить его ласковым взглядом морской царевны.

— Вас не покоробил мужицкий анекдот Дышлова, предназначенный скорее для солдатской курилки, чем для общества, где присутствуют дамы?

— Мои товарищи не видят во мне женщину, а только бойца оппозиции.

— Должен признаться, я любовался вами во время шествия. Вы эстетизировали демонстрацию, придавали ей революционный романтизм. Если бы вы понесли свое знамя на Кремль, я первый бросился бы вслед за вами на штурм

ненавистной цитадели. Мы бы разобрали этот оплот реакции по кирпичику, и вновь все увидели, как над Москвой реет красное знамя победы.

— Вы отводите мне роль женщины на революционных баррикадах, как на картине Делакруа?

— А разве она не великолепна, среди порохового дыма, с обнаженной грудью, овеянная революционным стягом?

— Но иногда так хочется отдохнуть от баррикад. Хочется интимной тишины, подальше от глаз людских.

— Давайте убежим. Куда-нибудь

в подмосковную гостиницу «Холидей инн», в какую-нибудь старую усадьбу, с липовыми аллеями, зацветающей сиренью, ночным соловьем.

Он шутливо ее обольщал, стараясь воскресить пережитое в толпе вожделение, когда любовался ее волнистым шагом, колыханием стройных ног, которые хотелось обнять, провести по ним страстной, шелестящей ладонью.

— Быть может, я и соблазнилась бы, ибо в вас, не скрою, присутствует магнетизм, как во всяком чародее и маге, — отвечала Баранкина, пленительно мерцая зеленью глаз. — Однако, мое присутствие здесь необходимо. Я умягчаю сердца.

«Троица» наших лидеров, как вы, должно быть, убедились — конструкция непрочная. Это нетвердо стоящий треножник. Его может покачать неосторожное слово, невыверенный жест или взгляд. Вот тут-то я и нужна, оправдывая мою партийную кличку: «Единство партии».

Стрижайло видел близкие, в малиновой помаде губы, с легчайшими жилками, какие бывают на лепестках цветка. Дрожащие, в металлическом налете веки с черными, в клейкой туши, ресницами. Таинственный, влажно-стеклянный зрачок, уходящий в зелено-розовое мерцание. «Бабочка,

садовый цветок, морской
моллюск...» — думал Стрижайло,
чувствуя, как возвращается душное
вожделение, туманная слабость,
обморочная страсть. Между ним и
этой женщиной начинала трепетать
прозрачная раскаленная плазма.
Сквозь сорочку грудью он чувствовал
ее близкую голую грудь.
Напряженными бедрами ощущал ее
восхитительные подвижные бедра.
Отверделым животом прижимался к
ее округлому, с темным пупком
животу. По-звериному, жадно вдыхал
запах ее духов, горячих подмышек,
накаленного паха. Пережил подобье
обморока. Плазма окатила его с
головы до ног и ушла, как молния, в

землю. Женщина смотрела на него всепонимающе и насмешливо.

— Возьмите, — она извлекла из кармашка визитную карточку и протянула Стрижайло, — Нам предстоит работать в одной команде.

Он принял карточку благоговейно, с церемонным поклоном, сравнивая случившееся с неудачей в лаборатории ядерного синтеза. Не удержавшись в магнитной ловушке, плазма истекла из синтезатора, так и не согрев ледяную Вселенную.

Пробираясь сквозь группы вкушавших и алкавших гостей, Стрижайло раскланивался с известными депутатами, знакомился

с секретарями провинциальных обкомов, раздаривал визитки, принимал в ответ глянцевиные карточки с двуглавыми орлами, геральдикой ассоциаций и фондов, эмблемами малоизвестных, с помпезными названиями, организаций. Приблизился к хозяину особняка Семиженову, чей вороненый, с синим отливом кок царственно трепетал среди благообразных стрижек, пристойных лысин, пепельной седины утомленных оппозиционной борьбой политиков.

— Замечательный фуршет, великолепные повара, благородный особняк, — Стрижайло тонко

польстил хозяину, располагая его к себе. И эта безыскусная, ничего не стоившая лесть подействовала на Семиженова, как прикосновение лезвия к накалиной консервной банке, из которой брызнула едкая горячая жидкость.

— Поросянка придется отрабатывать! Французское вино и осетрину придется отрабатывать! Деньги, на которые я организовал демонстрацию, придется отрабатывать! Из своего кармана я оплачиваю расходы компартии, личные траты руководства, чеки на покупку костюмов, часов и обуви! Все, что находится на них и внутри них, оплачено мною, и это все

придется им отрабатывать!..

Стрижайло был поражен воспаленностью слов, безумным несоответствием дежурного комплимента и яростной откровенности Семиженова. В этом была уязвимость «красного олигарха», незащищенность и опасная ослепленность, в которой тот не различал друзей и врагов, преувеличивал свою роль, не умел скрыть намерений. Его лицо побледнело, как от приступа душевной болезни. Красные губы пламенели, словно были нарисованы на белой маске из комедии дель арте. Фиолетовые цыганские глаза сверкали шариками ртути. В белках

появилась малярийная желтизна, словно в крови размножался ядовитый плазмодий.

— Деньги, которые вам предлагает компартия за создание выборной стратегии, — это мои деньги! Вы должны отдавать себе отчет, что, работая на компартию, вы работаете на меня! От меня вы будете получать указания. Мне станете докладывать о результатах работы. Хочу, чтобы между нами установились доверительные отношения, с пониманием истинных ролей и задач...

Стрижайло чутко вслушивался. В бледном, с огненными глазами, человеке бушевало неуголимое

честолюбие. Свистела и хрипела загадочная дудка, из которой брызгала больная слюна, неслись тоскливые звуки близких сражений, большинство из которых будет проиграно. Ослепляющая страсть, наркотическое упоение властью помещали этого человека еще при жизни на адскую сковороду, под которой невидимый истопник, посмеиваясь, помешивал угли. Это был редкий случай самосожжения, превращавший Семиженова в пациента. Стрижайло испытал к нему нежность и сердоболие. Почувствовал себя врачом на обходе, в белом халате и шапочке, с зеркальным кругом на лбу.

— Выборы следует организовать так, чтобы в новой, «коммунистической» Думе я стал спикером, передав мой нынешний пост вице-спикера какому-нибудь Грибкову или Карантинову. Но и здесь, имейте в виду, я не намерен долго засиживаться. На президентских выборах я выступлю единым кандидатом от всех патриотических сил, и уж поверьте, мой кремлевский кабинет я обставлю с не меньшим вкусом, чем этот особняк. Вы еще увидите мой портрет под президентским штандартом...

Его кок раздувался, словно парус, в который дул ветер истории.

Он был опьянен ядовитым напитком, заставлявшим содрогаться его красные губы. Бредил наяву, словно надышался сладкой пылью конопли. В фиолетовых безумных зрачках сверкал золотой, беломраморный зал, по которому он шествовал властной походкой. Губернаторы, члены правительства встречали его поклоном. Патриарх в облачении поднимал навстречу усыпанный алмазами крест. Стрижайло боялся спугнуть в нем этот восхитительный припадок тщеславия.

— Я вас понимаю, — поощрял он Семиженова, воспроизводя подобострастный поклон, каким бы

встречали его в день инаугурации губернаторы — узкоглазый саратовский плут, малодушный ростовский проныра, бойкий ярославский хитрец. — Какой вы видите новую стратегию партии?

— Да поймите же вы, наконец, компартия доживает последние дни! Это квелая картофельная ботва, какая остается на огороде, когда выкапывают и уносят клубни! Клубни истории давно выкопали, сварили и съели, а остались одни гниющие стебли. Партию надо немедленно модернизировать, соскоблить с нее ржавчину ленинизма, очистить коросту сталинизма, превратить в социал-

демократию европейского типа. Только тогда мы получим современную организацию, куда вольется молодежь, полноценные творческие люди, а не скелеты, которые, гремя костями, собираются на свои партсобрания. Эту модернизацию смогу провести только я, а не Дышлов, на котором костюм от «Версаче» сидит, как дерюга на орловском мерине!..

Он с ненавистью посмотрел в сторону Дышлова, который вальяжно и барственно держал секретаря обкома за лацкан пиджака и что-то иронично втолковывал.

— Политологическое сообщество видит в вас

единственного лидера, кто может возглавить партию и вытащить ее из болота, — Стрижайло осторожно подливал ему в чашу галлюциногенный отвар, окуривал сладким дымом тлеющей конопли.

— Дышлов — толстозадая деревенщина. Уселся жирными ягодицами в партийное кресло и все подкладывает, чтобы мягче было. На него есть такой компромат, что «прокурорские девочки» покажутся верхом целомудрия. Или он добровольно, с честью, уйдет, отдав мне партию, или я вытащу в прессу такие факты, что старые коммунисты скорее проголосуют за Абрамовича с Березовским, чем за него...

Ненависть, с которой он смотрел на Дышлова, имела звук, — свист циркулярной пилы. Имела цвет — фиолетового радиоактивного яда. Имела вкус — разъедающего глотка кислоты. Стрижайло чувствовал, как начинает дымиться от ненависти его дорогой пиджак, раскаляется золотой браслет на запястье. Верил слухам, что Семиженов, сколачивая свое состояние, прибегал к услугам снайперов, расчищал завалы экономических противоречий с помощью пластита. Он мог убить Дышлова, как убивали, деля ленинское наследие, отцы-основатели партии.

— Я думаю, у Дышлова в партии

много скрытых конкурентов, которые тайно примеряют на себя сюртук Председателя, — Стрижайло тонко управлял ненавистью Семиженова, направляя ее испепеляющий луч на гостей, среди которых укрывались претенденты на первые партийные роли.

— Кто? Этот маленький сперматозоид Грибков, который никак не доберется до заветной яйцеклетки? Этот банный грибок, поселившийся под ногтями Дышлова? В его сплющенной головке копошатся две-три экономические банальности, которые он пытается облечь в тексты священного писания. Он берет у меня деньги на

предвыборную агитацию, на проституток и на лечение язвы желудка, которую заработал на фуршетах во всех политических партиях, где столовался до момента их исчезновения.

— Ну а как вы рассматриваете перспективы Креса? Его финансы могут поспорить с вашими. Многие секретари обкомов находятся под его влиянием.

— В его банке лежитдохлая крыса, и некому ее подцепить совочком. Все деньги партии давно превращены в «феррари» для его сыновей, в недвижимость на Кипре и греческом архипелаге. Камера в Бутырке, куда его поместят, будет

оснащена черно-белым телевизором и учебником по банковскому делу, которым его снабдят друзья-чеченцы.

— А Карантинов? Он так предан Дышлову, что если возникнет внутрипартийный раскол, он примет его сторону.

— Карантино, как и «банный грибок», мечтает стать Президентом. Ратуя за восстановление памятника Дзержинскому он о каждом своем шаге докладывает в ФСБ. Если «чекисты» дадут ему ампулу с цианидом и попросят затолкать в котлету Дышлова, он сделает это при всей своей любви к последнему. Он станет президентом «Общества охраны памятников Дзержинскому».

Семиженов саркастически улыбался, растворяя красные губы, в которых блестели мокрые резцы. В нем было яростное нетерпение, неутолимое вождение власти, вера в свое предназначение. Власть была неземной страстью, делавшая его религиозным человеком. Для достижения властной мечты он использовал культовую силу денег, людские пороки, нарезное оружие и таинственную силу тотемных животных, душа которых переселялась в людскую плоть, совершая ее претворение в задуманную Семиженовым сторону.

Стрижайло вполне наслаждался беседой. Ее поучительный смысл

сводился к тому, что в компартии «периода заката», как и на ее алой утренней заре, существовало непримиримое соперничество лидеров. В этом банкетном зале, в иных обличьях, в костюмах, сшитых другими портными, расхаживали и переговаривались все те же Каменев и Троцкий, Зиновьев и Бухарин, Радек и Сталин. Их кажущееся дружелюбие и сплоченность обернутся смертельной схваткой за власть. Объединившись все против одного, начнут истреблять друг друга, пока ни уцелеет единственный. Поскрипывая сапожками, прижимая к френчу усохшую руку, станет выковыривать из-под ногтей кровь

неудачников. Стрижайло предполагал момент, когда все чинное собрание, произносящее комплиментарные тосты, вдруг превратится в осиный рой, жаля и убивая друг друга. И из этого роя, из вороха мертвых, высыхающих на солнце ос, выступит Дышлов, усталый, распухший от укусов, стряхивая с дорогого костюма прозрачные крылышки, оторванные ножки и усики.

— Мы встретимся в ближайшее время и обсудим стратегию, — произнес Семиженов тоном властелина. — Я буду платить вам отдельные деньги в конверте, помимо оговоренного партийного

гонорара.

Семиженов двинулся в гущу гостей, и его черный кок трепетал, как наполненный ветром парус.

В задачу Стрижайло, ту, за которую ему платили большие деньги, входило — сгладить противоречия лидеров, выстроить их в иерархию, создать для каждого привлекательный образ, чтобы партия обрела волевой, интеллектуальный и одновременно народный облик. Победила на выборах серых чиновников власти, трескучую ЛДПР, демократических снобов и выскочек. В этой работе центральной фигурой оставался председатель компартии Дышлов. К

нему и устремился Стрижайло.

Дышлов возвышался, по-матросски расставив ноги, массивный, упертый, слегка откинув лысую, носатую голову, держа перед грудью бокал с вином. «Именно таким его поместят в музей восковых фигур», — подумал Стрижайло, мысленно перенося стеариновую раскрашенную фигуру в сокровенный зал, где были расставлены герои постсоветской эпохи. Многие из них уже были забыты. У других на лбу краснели сочные дырочки. Третьи, мертвенно закатив глаза, были покрыты пятнами проступивших загадочных ядов. Четвертые, похожие на раскопки Помпей, застыли в

нелепых позах, как их застигло извержение незримого кратера.

— Нахожусь под впечатлением сегодняшней манифестации, — произнес Стрижайло, зная, чем расположить к себе Дышлова, — Столько энергии, энтузиазма! Такая красочность, мощь! Верный признак того, что «левое движение» на подъеме.

Дышлов удовлетворено кивнул, принимая эту похвалу на свой счет, быстро поглощая порцию калорий, которые не утолили голод, а лишь раздражили аппетит:

— Ну а как тебе мое выступление? — он называл Стрижайло на «ты», по-партийному

просто, этим обращением уравнивая с собой собеседника. Однако, немногие смели панибратски обращаться к вождю, что создавало иерархию, безо всяких усилий возвышало вождя над собеседником. — Как меня принимал народ?

— Великолепно! Это были те слова, которых ждали. Волевые, лаконичные, одновременно и лозунги и емкий политический анализ. Думаю, среди нынешних политиков — вы лучший оратор.

Дышлов чуть заметно кивнул, благосклонно принимая дар, положенный к его ногам. Их было много, подаренных бумажных

цветочков, конфетных фантиков, раскрашенных воздушных шариков, которые приносили льстецы, создавая легковесный цветастый ворох, вполне способный скрыть в глубине фугас.

— У нас есть все данные, чтобы выиграть выборы. Надо сложить усилия коммунистов, патриотов, аграриев, — он начал суммировать свои излюбленные штампы, напоминая деревенского каменщика, укладывающего на раствор кирпичи. Строение получалось крепким, но кособоким, с расплюснутыми некрасивыми швами. Это не раздражало Стрижайло. Для этого он и был приглашен, политолог, стратег,

политический дизайнер, чтобы использовать новейшие технологии, современные материалы, искусных архитекторов и строителей. Вместо погреба для хранения огурцов и капусты построить «Дворец Победы».

«Стиль Дышлов», — тонко усмехнулся Стрижайло.

— Мы должны с тобой в ближайшее время встретиться в спокойном месте, чтобы нас не отвлекали, ну хоть у меня на даче, и обсудить стратегию. Я подключу свои аналитические центры, группу юристов, информаторов. Мы должны предпринять мозговой штурм, — Дышлов говорил важно, рокочущим

басом, демонстрируя свою основательность и значимость, ожидая от собеседника подтверждения этой значимости. Стрижайло проворно откликнулся на этот запрос:

— Условия успеха налицо. Политическая воля вождя, его харизма, нарастающая энергия масс. Дело за малым, — создать оригинальную концепцию.

Как летучая мышь окружает предмет волнами ультразвука, получая представление о его размерах и форме, так Стрижайло, наблюдая белесые шевелящиеся брови Дышлова, розовые поры кожи, дрожащие настороженные зрачки,

получал подтверждение свойствам, отмеченным в досье.

Блестящий аппаратный игрок, мастер партийных интриг, Дышлов обыгрывал соперников в закулисной, невидимой миру борьбе, на всех съездах и пленумах подтверждая свое лидерство в партии. Но терялся при острых кризисах, проявлял малодушие, отказывался от единоборства. Так было в октябре 93-его, когда Дышлов призвал народ не участвовать в уличных схватках, обеспечив разгром Парламента. Так было в 96-ом, когда он выиграл президентские выборы, но уступил угрозам и давлению, — к ужасу сторонников объявил о своем

поражении, поздравил с победой ненавистного «Царя Бориса». Мягкий, бархатный, склонный к компромиссам, сторонник тактических союзов с либералами и «партией власти», он становился непреклонно-жестким к товарищам, если те посягали на его лидерство, — комбинациями искусного шахматиста вынуждал их покинуть партию. По образованию сельский учитель, провинциальный интеллигент, в ходе партийной карьеры он много и охотно учился. Поверхностно усваивал идеи и веяния, но так и не обрел глубинной основы, — не владел политической и философской культурой, боялся

новшеств, оставался провинциалом, что делало провинциальной и партию. Обладая крепкой мужицкой статью, широкой костью, мужественными манерами, он был психологически неустойчив, боялся страданий, мучительно переносил нападки прессы, уходил от лобовых столкновений. Нуждался в душевном комфорте, в постоянных калорийных вливаниях, что роднило его с недоношенным ребенком, которого постоянно прикармливают, заворачивают в вату, оберегая от прохладных дуновений. Он был чуток к похвале, искал постоянных подтверждений своей значительности, старался быть

народным любимцем, будто в детстве, которое провел в послевоенной голодной деревне, его недокормили, и всю остальную жизнь он добирал недополученные в детстве калории, — любил красоваться перед телекамерами, участвовал во всех общественно-важных событиях от православных конгрессов до легкомысленных кинофестивалей, норовя хоть мимолетно мелькнуть на экране. Он вел политическую родословную никак не от Сталина, в чем обвиняли его антикоммунисты, но от Горбачева, — та же мягкость, склонность к аппаратной интриге, недостаток мужества,

преувеличенная тяга к популярности и публичной славе.

Все это мгновенно прочитал Стрижайло на своем электронном сайте, задаваясь вопросом, — с какого момента, от какой невидимой точки в коммунистической партии стал иссякать тип большевика-революционера, сменяясь осторожным консерватором и откровенным перерожденцем-сибаритом.

— Все-таки, скажи, в каком направлении нам следует действовать? — Дышлов вздул на широком лбу толстую энергичную складку, словно освобождал место для новых идей.

— Нам следует привлечь в нашу предвыборную кассу деньги крупнейших олигархов, чьи интересы краткосрочно совпадают с интересами компартии. Нам следует устроить свару во властных элитах, что отвлечет ресурс власти от борьбы с коммунистами. И, наконец, нам следует тщательно выверить образ партийного лидера, окружив его созвездием союзников, каждый из которых популярен в своей политической нише, — Стрижайло кратко и эффектно сформулировал тезисы, которые разворачивались в систему оригинальных технологий и манипуляций. Он уже азартно над ними работал, получив от Дышлова

крупный денежный аванс,
мобилизовав для этого свой
политологический центр.
Дальнейшие тонкости они обсудят с
Дышловым на специальной встрече,
быть может, на даче вождя, в тихом
подмосковном поселке.

— Я думал в этом
направлении, — многозначительно
произнес Дышлов, не позволяя
Стрижайло одному остаться автором
оригинальных идей, — Особенно
продуктивно стравливание властных
элит. Пусть сцепятся, как скорпионы
в банке, а мы тем временем выиграем
выборы.

Стрижайло тайно усмехнулся,
глядя на лоб Дышлова, где взбухла

крупная складка, будто в ней поместились проглоченные идеи, которые Дышлову предстояло длительное время усваивать.

Он вдруг ощутил холодок во рту, будто под языком оказалась ментоловая таблетка. Испытал головокружение, словно воздух стал стеклянно дрожать, как над трубой теплохода. Почувствовал жжение в желудке, как если бы проглотил дольку чеснока. Что-то слабо напряглось в его чреве, чуть слышно толкнулось, как бывает у беременных женщин в момент пробуждения эмбриона. Эта проснулась неведомая личинка, свилась и распрямилась скользкая змейка. Тайнственное,

обитавшее в нем существо росло, увеличивалось, расширяло бока, наполняло его второй, самостоятельной жизнью. Вбрасывало в кровь токсины, от которых он пьянел, испытывал веселый азарт, безумное наслаждение, ощущение своего могущества и всемогущества.

Люди, чинно расхаживающие в зале, их депутатские значки, дорогие галстуки, многозначительные речи, исполненные достоинства позы, — все было в его власти. Он знал их истинную цену, — их пороки и слабости, уязвимые места и тайные связи. Мог спутать эти связи, исказить отношения ложными

слухами, замутнить фальшивыми сплетнями, разбудить мнительность. Мог отравить их завистью, напугать разоблачениями, подкупить несбыточными обещаниями. И тогда все чинное, вальяжное общество превратится в визжащий ком. Начнут истреблять друг друга, бить кулаками в лицо, выцарапывать глаза, душить галстуками, бить модными штиблетами в пах.

Стрижайло испытывал странное перевоплощение, словно вместо костюма его тело было обтянуто шелковым трико, под которым рельефно бугрились мускулы, гибко извивалась спина, упруго дрожали щиколотки. Он превратился в

жонглера, канатоходца, балансировал у потолка под самыми купидонами, держа на весу шест, на котором были подвешены марионетки, раскрашенные куклы, дурацкие игрушки. Он их дергал, теребил, заставлял сталкиваться, наносить друг другу удары. Это было упоительно и артистично. Доставляло несравнимое наслаждение. Превращало политику в великолепное шапито, вертепный театр, зрелище марионеток.

Все это длилось только мгновение, пока шевелилась на лбу Дышлова сократовская складка. Безумье кончилось. Перед глазами смыкалось стеклянная лунка воздуха,

куда улетала скользкая разноцветная змейка.

— Ну, Семиженов дает! Раньше так не кормили на первомайских примах в Кремле! — эти слова восхищения произнес Дышлов, когда служители в малиновых фраках вкатывали в зал тележку. На ней возвышался мороженный торт, сделанный из трех белых шаров пломбира. Водруженные один на другой, они изображали снеговика. В глаза снеговика были вставлены синие виноградины. Утиный нос слеплен из шоколада. Голову украшала мармеладная кепка. На груди прозрачно краснел марципановый бант. Все

заторопились к снеговику с ложками и тарелками.

Стрижайло ахнул. Снеговик был вылитый Дышлов, — то же белое круглое лицо, заостренный нос, кепка на лысой голове, первомайский бантик в петлице. Никто не заметил сходства. Все подходили, втыкали в мороженое ложки, выхватывали ломти, поедали. Стрижайло восхищался, наблюдая, как партийцы поедали своего вождя, не ведая, что исполняют магический замысел Семиженова. Тот в отдалении, сверкая глазами, торжествовал, глядя, как исчезает в желудках гостей тело ненавистного конкурента.

К торту подошел Дышлов.
Похохатывая, сунул ложку в
мороженое, вырезая из торта
красный марципан. Ел свое
собственное сердце.

глава третья

Когда Стрижайло вышел после банкета на улицу, его не оставляло нервное возбуждение. Он не сел в машину, из которой выглядывало лукавое кошачье лицо «Дона Базилио». А двинулся среди праздничной, красивой толпы, под нежной зеленью распускавшихся лип. Садовое кольцо, невзирая на праздник, было переполнено автомобилями, которые мчались, как глянцевитые жуки. Шелестели, хрустели хитином, отливали на солнце металлическими телами. Скапливались в заторах, налезали один на другого, совокуплялись. Тут

же начинали размножаться, превращая затор в шевелящееся глянцевитое скопище, которое вдруг лопалось, с треском рассыпалось, открывая пустой асфальт с каплями клейкой жидкости.

Он перешел Крымский мост, поместив себя в его стальную синусоиду, которая воспроизводила кардиограмму его нервного, беспокойного сердца. Ленинский проспект был наполнен зеленым туманом, из которого поднимались розовые, золотые, нежно-синие купы Нескучного сада, будто его нарисовали акварелью на влажном листе бумаге. Красота города не увлекала его. Сердце болезненно

колотилось, в крови разбегались яды, от которых звенело в ушах и горели щеки. Его ум обострился, органы чувств жадно поглощали впечатления. Душа напряглась, словно ожидала знамения. Казалось, что разум, проникая в суть вещей, выстраивая иерархии и пирамиды явлений, силится совершить открытие. Находится на пороге новой реальности, которая отделена от мозга тонкой сеткой кровяных сосудов. Вот-вот хлынет, минуя органы чувств, ослепляя мозг кровоизлиянием истины. Он был не готов к открытию. Для освоения истины не хватало душевных и физических сил. Страшился, что она

испепелит его, вырвет за пределы разумного, ввергнет в необратимое безумие.

Он торопился, почти бежал по проспекту. Здание Академии наук высилось в стороне, каменное, огромное, ободранное, с колючим латунным венцом, — мученический образ отечественной науки, поднятой на Голгофу. «Градская больница», янтарно-белая и прекрасная, чудно светилась сквозь чугун решетки, и со ступенек белокаменной церкви сносили покойника. Весенний город в каждом своем фасаде, в зацветающей клумбе, в нежно-зеленом дереве таил беспокойство, опасную возможность, подстерегал

неожиданностью.

Близость откровения, пугающий свет прозрения исходили отовсюду, — из далекого, фиолетового тумана проспекта, в котором светилась металлическая пыльца еще невидимого, памятника Гагарину, изваянного из космического металла. Из прозрачного, чуть замутненного неба, между распустившейся липой и рекламным щитом, на котором нежилась полуобнаженная женщина, вытянув голые ноги на итальянской тахте. Из прогалин улиц, где трепетала жизнь, мелькали автомобили, давали о себе знать невидимый Донской монастырь и

стальная Шуховская мачта, —
прозрачный металлический сачок,
запущенный в московское небо.
Стрижайло ждал, что разверзнутся
небеса, полыхнет беззвучная
вспышка, и в бесцветном пятне
атомного взрыва будет явлена
невыносимая для разума истина.

Это походило на
помешательство. Пережитые с утра
впечатления, множество встреч,
произнесенных и услышанных слов,
разбудили в нем нездоровую
энергию. Будто каждая встреча
заряжала электричеством. Каждое
касание, рукопожатие, голос
передавали заряды, от которых сухо
потрескивали руки, прозрачно

светились пальцы, и к ним, словно они были сделаны из янтаря, приставали пылинки, бумажки уличного сора, рассеянные в воздухе частицы.

В нем накалялся неведомый реактор, плавилась защитные оболочки, сулили взрыв. Требовалось немедленно погасить реактор, удалить избыточные, не находящие применения энергии, отудить накалиный разум, не готовый для откровения.

Он искал газетный киоск. Один, к которому он подбежал, оказался закрытым, — сквозь стекло недоступно переливались глянцевые журналы с мускулистыми самцами и

пленительными, полураздетыми
самками, нарядный и
привлекательный мусор бульварного
чтива. В другом киоске, как в
стеклянной норке, сидела
продавщица, показывая из сумерек
острую влажную мордочку.

— Журнал «Рандеву», —
попросил Стрижайло. Отдал деньги,
схватив с прилавка журнал-сводню.
Торопился, перелистывая на ходу
путеводитель по московским
борделям, тайным притонам,
интимным саунам, эротическим
клубам, салонам массажа,
мазохистским застенкам. Страницы
были поделены на мелкие
разноцветные ячейки, в каждой из

которых, как в баночках с краской, притаился разноцветный разврат. Распутный художник черпал из баночек красное, фиолетовое, желтое, разрисовывал Москву цветами пороков и извращений.

«Жрицы любви», «Русские красавицы», «VIP-девушки», «Все будет незабываемо», «Сказка с вашим концом», «Леди», «Возможно все» — рябило в глазах от телефонов, от распростертых наложниц, от сладострастных красавиц. Провинциальные барышни из русских городков, темнокожие дочери Африки, смуглые островитянки Полинезии, прелестные обезьянки вьетнамских

джунглей, беглянки из гаремов Самарканда, — Москва была столицей разврата, Вавилонской блудницей, супермаркетом пороков и похотей. Среди ампирных дворцов, золоченых куполов, чопорных чиновничьих гнезд денно и нощно шла неустанная оргия, свальный грех, утоление извращений и больных вожделений.

Стрижайло, задыхаясь, листал журнал, одновременно улавливая разбегавшиеся по телу волны ядовитых энергий. Выцеживал из отравленных кровотоков, поворачивал вспять летучие, жалящие языки. Загонял их в ловушку, — в низ живота, в пах, где

все клокотало, словно в загон набился дикий табун мустангов.

Глаза натолкнулись на фиолетовую ячейку с томной декадентской надписью: «Блоковская дама». Выхватил мобильник, набрал телефон:

— «Блоковская незнакомка»? — спросил он, услышав женщину, которая была диспетчером похотей и эротических маний, распределяла их по уютным квартиркам в разных районах города, где ждали телефонных звонков готовые к соитиям самки.

— Что вы хотели? — любезно, как секретарша в приличном офисе, ответила женщина.

— У вас есть апартаменты в районе Ленинского проспекта? — он оглядывал улицу, по которой пробегал. — В районе площади Гагарина...

— Есть. Вам позвонят. Как вас зовут?

— Михаил.

Стрижайло не стал скрывать свое подлинное имя, известное тому, кто пристально взирал на него с высоты. «Михаил», — было начертано на малиновой магне изливавшейся из него похоти.

Через квартал, который он слепо пробежал, отражаясь в витринах ресторанов и дорогих магазинов, зазвонил телефон. Утомленный, чуть

печальный голос спросил Михаила. Стрижайло, вслушиваясь в низкие, бархатные звучания, представил альков с кушеткой, на которой, облокотившись на витое изголовье, зябко поджав ноги в батистовых чулках, в фиолетовом тесном платье, лежит худошавая женщина. Темноволосая, с черным завитком у виска, уронила на кушетку томик раскрытых стихов. Курит длинную, с золотым ободком сигарету, выпускает под декадентский, из наборных стекол, абажур зыбкий сиреневый дым.

Женщина указала номер дома, подъезд и квартирный код.

Дом был пятиэтажный,

известково-белый, «хрущевский», с железной дверью, похожей на печную заслонку. Кнопки кода были покрыты многолетним застывшим жиром бесчисленных прикосновений. Стрижайло,

волнуясь, нажал упомянутый код. Ждал с нетерпением, когда распахнется бронированная дверь, защищавшая от разбойников нежное создание, которому он направил телефонное признание в любви — «послал черную розу в бокале золотого, как небо, ай».

Дверь хрустнула, громко растворилась, и на пороге возникла огромная коническая баба с короткой шеей, тучными плечами, наворотами

мяса, которые, расширяясь, переходили в огромные бедра и толстые, широко расставленные ноги. Она была завернута в какую-то клеенчатую материю, наподобие фартука, в какую заворачивают себя рыночные торговки, продающие на ветру свиное мясо. Ее глаза выпукло и равнодушно рассматривали Стрижайло, как одного из тех, кто пришел купить мяса на отбивную, холодец или фарш. Она была похожа на блоковскую незнакомку так же, как Блок был похож на мясника с Черемушкинского рынка, огромного, заплывшего фиолетовым салом, с жирным загривком, тупо застывшим над мокрой малиновой плахой.

Это несоответствие с образом «Незнакомки» поразило Стрижайло, но не отвратило, а восхитило своим зверским обманом. Должно быть, в других районах Москвы, куда рассылала мечтательных клиентов любезная диспетчерша, в таких же «хрущевских» домах поджидали чудовищных размеров бабы, со слоновьими ногами, гигантскими грудями, распухшими животами, некоторые из которых могли быть горбаты, одноноги, одноглазы, с мраморными прожилками тления на больных телах. Этот жуткий театр, созданный талантливым режиссером-извращенцем, еще больше возбудил Стрижайло, у

которого заняло в паху.

— Ну что, пойдём? — спросила баба, держа приоткрытой тяжёлую дверь.

— Почему бы и нет, — ответил Стрижайло, глядя, как схватила железную плиту толстопалая, в красных цыпках, рука.

Квартира из двух комнат и тесной кухни, была из тех, в которых праздновали своё новоселье счастливые граждане шестидесятых годов, переезжая из многолюдных коммуналок, ветхих бараков, заводских общежитий. Надеясь такими квартирками своих терпеливых подданных, власть впервые отдавала долги за

крошечные труды на «великих стройках», на каторгах ГУЛАГа, в нищих колхозах, в окровавленных армиях Второй Мировой. Позднее, в таких же квартирках собирались на кухнях тихие бунтари и смутьяны и вполголоса, чтобы не слышали агенты КГБ за стеной, распевали песни Окуджавы и Галича, казавшиеся «песнями баррикад», если их петь под водочку с сырком и колбаской. Теперь в этих квартирах ютились «гастарбайтеры» из Молдовы и Азербайджана, проститутки из русской провинции.

— Сюда, — указала бабушка, проводя Стрижайло в комнату, где всю площадь занимала крепкая,

похожая на топчан кровать и ютился столик, на котором стояло разбитое зеркало, несколько флаконов и тюбиков медицинского назначения и огромный гуттаперчевый фаллос, — то ли инструмент любви, то ли божок, которому поклонялась обитательница жилища.

— Откуда сама? — спросил Стрижайло, глядя, как совлекает с себя фартук и рабочий комбинезон «блоковская дама», оставаясь в домашнем халате, из которого выпирала необузданная, рыхлая плоть.

— Из Верхней Туры.

— Кем работала?

— Медсестрой.

— Видно, мало там зарабатывала, — Стрижайло вешал на гвоздь пиджак, жадно, по-бычьи, поглядывая, как обнажается огромное, в складках и жировых отложениях тело.

— Разве двух дочерей прокормишь? Да еще тетка в параличе, лекарства ей покупать.

— Ну и грудь у тебя, — хмыкнул Стрижайло, когда из-под халата выкатились две огромных студенистых сферы с фиолетовыми тенями, с воспаленными сосками, похожими на большие пальцы, обведенные кофейным пигментом.

— Двух выкормила, — гордо сказала «дама», подхватывая

ладонями груди и поигрывая ими, как толкательница ядер.

Стрижайло бизоньими, набухшими глазами рассматривал диво русской провинции. Не надо было ехать туда, где лежали обезлюдившие деревни, гнилые поселки, рухнувшие заводы. Не надо были видеть треснувшие дома, ржавые трубы, зловонные лестницы. Не надо было встречаться с одичалыми, звероподобными обитателями в грязных хламах, с экземными детьми, безумными старухами, колченогими ветеранами, которые из последних сил размахивали у входа на закрытую фабрику выцветшим красным

знаменем. Провинция, с тухлыми свалками, огромными кладбищами, с бетонными символами былого величия, от которого осталась ржавая арматура, торчащая из отбитой головы сталевара, — эта провинция прислала в ослепительную, беззаботную Москву своего ходока. Не к белокаменному Дому Правительства, не к Спасским воротам Кремля, не к помпезному подъезду Думы, а в эту утлую комнатушку с деревянным топчаном. Теперь эта посланница трудового Урала сбрасывала с плеч застиранный халат, открывала огромные нездоровые тела, похожая на гренландского кита,

вставшего на задние ласты.

«Я вижу стан, шелками схваченный...» — думал Стрижайло, мучительно любуясь представшим уродством. У нее был непомерный, вздутый живот, покрытый рябью жировых отложений, среди которых в желтых складках чернел набрякший пупок. «Девушка пела в церковном хоре...» Ее бока, как у носорога, были в наплывах вислой, тяжелой плоти. «Та, кого любил ты много, поведет рукой любимой в Елисейские поля...» Ноги с толстенными ляжками, сизыми коленями, стояли врозь, как у штангиста. «Запорошенные колонны, Елагин мост, и два огня, и голос

женщины влюбленной, и скрип саней, и храп коня...» Грязно-желтый клоч спутанных на лобке волос казался зажатой между ног мочалкой.

Стрижайло возбуждало это деформированное естество, олицетворявшее изуродованную, животную жизнь бескрайних пространств, в которых разлагалось бытие. Этому разложению владелец притонов придал жуткую эстетику распада, разукрасив покойника бумажными розами блоковских стихов, побрызгав зловонное тело тончайшими, дорогими духами. «Балаганчик» Блока, в постановке Мейерхольда игрался в этой тесной

квартирке, на топчане с несвежими
тюфяками, с дымящими
силикатными трубами ТЭЦ за окном.

— Ложись, — приказал
Стрижайло, чувствуя, как мучительно
переполняет его расплавленный
свинец похоти.

Женщина неуклюже опустилась
на топчан, который жалобно
хрустнул, оседая под непомерной
тяжестью. Ее тело расплылось и
осело, заняло все пространство
топчана. Казалось, она
расплющивается под собственной
тяжестью, как выброшенный на
берег гренландский кит.
Разрываются внутри ее органы,
переполненные дурной кровью и

непереваренным планктоном.

Он смотрел на нее сверху, — на распавшиеся, ошпаренные окорока бедер, на съехавшие с боков груди, похожие на огромные вареные свеклы, на короткую влажную шею с серебряной цепочкой. Навалился грубо и яростно, словно погрузился в огромное корыто, полное несвежего студня. Колыхался, захлебывался. Вырывался на поверхность на вершине скользкого живота. Проваливался вглубь желеобразного варева, которое смыкалось над ним липкой гущей.

Видя ее равнодушные, осоловевшие глаза, чувствуя ее жесткое, складчатое, как

хозяйственная сумка, чрево, он
освобождался от едкого,
скопившегося в нем электричества.
Сбрасывал в нее больные яды.
Избавлялся от избыточной, не
находившей применения энергии.
Красные транспаранты и флаги.
Хромающий, с морщинистым лицом
генерал. Мост, серая машина
«Ударника», бескрайнее, черно-
красное шествие. Вожди оппозиции,
величаво ступающие по асфальту.
Желто-белая колоннада Манежа.
Кипящие водовороты толпы.

Все это он сбрасывал в
женщину, как сбрасывают в
мусорный бак пустые короба и
упаковки, консервные банки и

пищевые отходы. Набивал ее утробу ненужными, израсходованными эмоциями, высыпал на свалку ее разъятых воспаленных промежностей.

Устало лежал на ней, чувствуя, как мерно вздымается ее живот, ухает огромное сердце, дышат сиплые легкие, шевелятся желудок и печень.

— Покажи, какая у тебя спина, — сказал он.

Она послушно, медленно, с тяжеловесной грацией слона, перевернулась, и он увидел ее спину, напоминавшую гору розовой глины с едва заметной потной ложбиной, ягодицы, громадные, как колоды, с

темной косматой щелью, куда устремилась его ярость, похожая на ненависть и отвращение.

Банкетный зал с купидонами. Столы с остроносым осетром, наивным поросенком, жареным барашком. Дышлов, поднимающий бокал с французским вином. Семиженов с пожелтевшими от ненависти белками. Аграрий Карантинов, поправляющий на запястье «Роллекс», «Мисс КПРФ» с зелеными глазами морской царевны.

Все это он вталкивал в пустоты огромной женщины. Набивал ее, как огромный мусоровоз. Использовал, как трубу, куда множество мужчин до него сливали нечистоты. И в ней, как

в закрытом желобе, урчали мутные потоки, сочилась больная влага.

Он бился в нее, хватал скользкие бедра, оставляя белые борозды пальцев, которые медленно заплывали брусничным вареньем. И когда в нем лопнул рыбий пузырь, и толчками вытекла раскаленная блестящая ртуть, он упал на женщину и повис на ней, как мертвый альпинист на скале.

Вяло оделся, видя, как валит из силикатных труб блеклый дым. Кинул на столик деньги. Ушел, слыша вслед:

— Приходите еще...

Двигался по весенней улице пустой, без переживаний и мыслей,

зная, что где-то за железной дверью работает завод по переработке отходов, в жаркой тьме чавкают угрюмые механизмы, сгорает в утробе мусор, блеклый дым излетает из силикатных труб.

глава четвёртая

Политологи, к кому причислял себя Стрижайло, походили на древних колдунов, которые предсказывали судьбу, исследуя очертание облаков. Облака постоянно меняли кромки, сталкивались, расслаивались, превращались в черно-синие, наполненные ливнями тучи, озарялись слепящими молниями. В их очертаниях чудились мифологические птицы, священные животные, царственные витязи, уродливые чародеи. Используя особые приемы магии, концентрируя волю, произнося заклинания, можно

было управлять облаками. Изгонять их с неба, добиваясь солнечной лазури, что сулило ослепительный успех царю, затевавшему битву. Или сгущать небесные пары до черной тьмы, когда по небу, подгоняемая вихрями, летит ужасная каракатица, изрыгая чернила, роняя на землю непроглядную муть, посыпая головы незадачливого правителя испепеляющими молниями.

Политические события, случавшиеся тысячами каждый день внутри страны и за рубежом, меняли контуры политических образований, состоявших из центров власти, точек влияния, границ экспансии, в которую были вовлечены партии,

крупные корпорации, институты государственной власти. Каждое из образований не было целостным. Расслаивалось и расщеплялось внутри себя, создавало бесчисленные противоречия, стремилось к эффективным союзам или уродливым альянсам. Использовало для своего преуспевания массированные компании в прессе, лоббировало парламентариев и министров, подкупало суды и силовиков. Пользовалось тайными приемами разведки, сокрушая экономического противника руками государства, или влияло на государство средствами экономического давления. Все это

напоминало клубящиеся облака, перистые, кучевые, грозовые, застывшие высоко в поднебесье или летящие над самой землей, среди которых вдруг открывалась ослепительная лазурь, возникали загадочные светящиеся явления, трепетали небесные короны и радуги, взрывались шаровые молнии и сгустки плазмы.

Стрижайло, модный политолог, основатель «Центра эффективных стратегий», зарекомендовал себя, как успешный прогнозист, смелый и оригинальный игрок, мастер тайных интриг и скандальных компаний, что позволило нескольким губернаторам добиться своих постов, стоило

репутации крупному
самонадеянному банкиру, привело к
расколу молодой
националистической партии,
превращало скучные семинары и
симпозиумы в театрализованные
увлекательные зрелища. Его
известность росла. К его услугам
прибегали все более крупные и
влиятельные структуры, что
превращало «Центр эффективных
стратегий» в интеллектуальный
штаб, фабрику креативных
технологий, лабораторию новых,
изобретаемых постоянно методик.

Для сбора информации
Стрижайло имел разветвленную
разведывательную сеть, —

«источники» в Правительстве, Думе, силовых структурах, политических партиях, в банковской сфере, которые за плату продавали ему драгоценные, эксклюзивные факты, постоянно обновлявшие «карту политики». Знакомство с продюсерами крупнейших телевизионных каналов, с модными журналистами ведущих газет позволяло ему создавать внезапные сокрушительные «налеты» на неудобных деятелей, запускать тревожащие слухи, возбуждать интерес публики к новой политической «звезде». Анализируя быстродействующие, скоротечные процессы, отслеживая рвущиеся и

возникавшие связи, он пользовался методами тензорного анализа, услугами математиков и математических логиков. Прибегал к предсказаниям астрологов и рецептами психоаналитиков, составлявших гороскопы лидеров, сексуальные портреты амбициозных вождей и деятелей. Имел консультантов в кругах православной церкви, эзотерических кружках, экстрасенсорных лабораториях.

В своей работе он опирался на рациональное, тщательно проверенное знание. На интуицию, позволявшую в хаосе событий отыскать слабую, едва звучащую тенденцию, которая вдруг

превращалась в громогласную доминанту. Им двигало сладостное упоение увлекательной и опасной игрой, превращавшей жизнь в нескончаемый театр с фантастическими декорациями, с талантливыми актерами, с множеством спецэффектов, на которые наталкивало его неиссякаемое воображение. В своей профессии он чувствовал себя разносторонним ученым, гениальным режиссером, могущественным колдуном и магом, наподобие древних авгуров, изучавших кромки летящих по небу туч. Эти синоптики древности витали в облаках, предсказывая

судьбу царей и полководцев, урожаи и засухи, рождение долгожданного наследника или пресечение династии. Их колдовство было небезопасным для них самих. Залетая слишком высоко в фиолетовые грозовые тучи в своих остроконечных колпаках и расшитых золотом красных одеждах, они становились мишенью потревоженных и разгневанных молний, падали обугленными на землю. И тогда взлохмаченная, с кровавыми волосьями и выпученными глазами голова авгура появлялась перед дворцом царя, насаженная на копье.

Полученный от коммунистов заказ на проведение предвыборной кампании был престижным и денежным, выводил его в когорту самых влиятельных политологов. Но не менее прельстительным было приглашение к сотрудничеству, которое поступило от крупнейшего нефтяного магната, главы нефтяной корпорации «Глюкос», Арнольда Маковского, который прислал приглашение Стрижайло посетить его загородный дом и «без галстуков» обсудить тонкие материи экономики и политики.

Жилище Маковского находилось среди дивных реликтовых сосняков, восхитительных лугов, нежно-

зеленых холмов, в которых незамутненно и полноводно, с серебряными кругами от играющих рыб, текла Москва-река. Успенское шоссе, шелестя под колесами синим асфальтом, открывало великолепии средневековых замков и ампирических особняков, барочных дворцов и готических соборов, буддийских пагод и мавританских базилик. В них обитала знать, своими капризами и пристрастиями сочинившая в Подмосковье причудливую симфонию архитектурных стилей, где Парфенон соседствовал с Кельнским собором, а Версаль с «Храмом Василия Блаженного». Здесь жили министры и главы

криминальных кланов, генералы милиции и звезды эстрады, чиновники таможенной службы и торговцы наркотиками, директора банков и чеченские авторитеты, иерархи церкви и держатели игорных домов. Жили дружно, одной большой семьей, любя Россию безответной любовью, что вынуждало их не подпускать слишком близко к своим усадьбам «бюджетников». Такое название, с легкой руки министра Починка, получил русский народ, загадочный и угрюмый, не способный ценить рафинированную архитектуру в стиле «Барвиха», «Горки», «Николина гора», розово-белую, с колоннадами, золотыми

крышами и мраморными основаниями, с лебедиными прудами и оленьими вольерами, — всем тем, чему суждено бесследно исчезнуть среди будущих революций и гражданских войн.

Так легкомысленно и мечтательно думал Стрижайло, подъезжая к жилищу Маковского. Чугунная изгородь из заостренных копий, строгая и величественная, не скрывала красневший за ней сосновый бор. Едва заметные электрические провода на фарфоровых изоляторах держали под током весь огромный заповедный участок. Неосторожно присевшая птица или не в меру разыгравшаяся

белка, коснувшись проводов, превращались в трескучую вспышку, легкий опадающий пепел. Ворота, оснащенные камерами слежения, ультразвуковыми и инфракрасными датчиками, рентгеновскими лучами, открывались торжественно и медлительно, пропуская автомобиль сквозь строй охраны с рациями, пистолетами, короткоствольными автоматами. Узкий асфальт, усыпанный сосновыми шишками, струился среди смоляных стволов, которые вдруг расступались, открывая огромный солнечный луг, посреди которого стояла резиденция Маковского.

Она ничем не напоминала

безвкусовые дорогостоящие копии,
взятые из учебников по истории
архитектуры. Казалось, строение не
касалось земли, оставляя под собой
живую, поросшую цветами и травами
землю. Парило в воздухе, словно
фантастический инопланетный
корабль, опираясь на тонкий,
сверкающий луч. В нем чудились
палубы, хрустальные иллюминаторы,
обтекаемые поверхности крыльев и
стабилизаторов, создававших
подъемную силу, управлявших
воздушными потоками. Не
ощущалась тяжесть, не
присутствовала гравитация,
побеждался закон тяготения.
Казалось, раздастся тончайший

свист, затрепещет исходящий из
днища луч, и вся громадная
конструкция, сверкая сплавами,
переливаясь радугами, воспарит над
лугом, повиснет на мгновение среди
сосновых вершин, а потом умчится в
синеву, не оставив после себя
помятых цветов и сожженной травы,
не распугав перелетающих бабочек и
шмелей.

— Вас ждут, — с усилием
стараясь выглядеть любезным,
встретил Стрижайло служитель,
великанского роста, с могучим
торсом, косноязычный, — по-
видимому, один из членов экипажа
инопланетного корабля, еще с трудом
владеющий земным языком.

Холл был спроектирован так, что создавал иллюзию многомерного пространства, которое удалялось, распахивалось, винтообразно скручивалось, рассекалось параболами. Являло собой часть сферы, цилиндра, усеченной пирамиды. Влекло, обманывало, сладко кружило голову. Казалось, попадая сюда, ты теряешь вес, тебя подхватывает, перевортывает, раскачивает в невесомости. Мягко кувыркаясь, ты плывешь из одного объема в другой, поднимаешься вверх по стене, шагаешь по потолку вниз головой. Это напоминало опьянение, когда теряются оси симметрии, мир искривляется, и хочется расставить

ноги, как на палубе во время морской качки. Стрижайло отметил это удивительное свойство архитектуры, созданной на основе какой-то неземной, неэвклидовой геометрии, согласно которой две параллельные прямые в бесконечности сплетаются, образуя скрипичный ключ.

— Прошу сюда, — служитель указал на дверцу лифта, в которой мягко горел индикатор. Они вошли в хрустальную капсулу и пока поднимались, в кристаллических гранях переливался луг с пышным фонтаном, матовые вершины сосен, голубая река с солнечной полосой от плывущей лодки.

Они оказались в гостиной,

объем и форма которой определялись общей конструкцией здания. Несколько сложных поверхностей пересекались, создавая причудливые, плавные линии тригонометрической теоремы. Однако отделка комнаты должна была сгладить конструктивистский максимализм, создать на космическом корабле образ земного жилища. Теплое золотистое дерево стен. Мраморный камин с живым огнем. Книжная полка с небольшим количеством отобранных для длительного путешествия томов, — «Библия», «Война и мир», «Цветы зла», «Сказки народов Севера» — вот некоторые названия, прочитанные

Стрижайло на корешках. Тут же стояли застекленные простые шкафы, где на полках лежали предметы, которые в длительном межпланетном полете должны были напоминать о земной цивилизации и истории. Золотой скифский кубок со звериным орнаментом. Медная кираса лейб-гвардейского полка. Скрипка Страдивари. Немецкий фаустпатрон. Парчовый корсет елизаветинской фрейлины. Телефонный аппарат со слуховой трубкой, из тех, что стояли в кабинетах Временного правительства. На стенах висело несколько фотографий, несомненные шедевры мастеров двадцатого века.

Ленин, расслабленный, накрытый пледом, в кресле-качалке. Эйнштейн, высунувший свой знаменитый мокрый язык. Фрагмент киноленты Лени Рифеншталь «Триумф воли», где фюрер, вытянув руку, напутствует несметные колонны арийских воинов. Юрий Гагарин в домашнем палисаднике сажает цветок, привезенный им из Вселенной.

Все в этой комнате имело глубокий смысл, протягивало бесконечные нервущиеся нити, соединяющие звездолет с голубой каплей Земли.

Арнольд Маковский вышел из-за портьеры, домашний, приветливый, протягивая Стрижайло теплую

большую ладонь. Он был в легком джемпере, в рубашке «апаш», удобных джинсах, гостеприимно указывая Стрижайло на глубокое кресло, лицом к камину. Сам же, с милой, чуть застенчивой улыбкой устроился напротив, созерцая гостя с таким видом, словно оригинал самым счастливым образом соответствовал воображаемому идеалу.

— Спасибо, что откликнулись на мое приглашение, — произнес Маковский. Статный, с крепким спортивным телом, с широколобой, коротко стриженной головой, он имел сильный, чуть загнутый нос, волевой подбородок и слегка негроидные

губы, перешедшие к нему через многие поколения от пращуров, обитавших в Месопотамии и Галилее, совершавших переход через Чермное море, останавливающих взглядом солнце в Нубийской пустыне, пригоршнями поедавших «манну небесную». Лишь много позже, перенеся бесчисленные невзгоды истории, распяв Христа, они создали в России революционную Красную Армию, а в Америке, в рамках проекта «Манхеттен», построили атомную бомбу.

— У вас удивительное жилище, — комплиментарно, но не лукавя, сказал Стрижайло, зная, что

этим замечанием сделает хозяину приятное. — Тот, кто его проектировал, чувствует мелодию пространств. Такое чувство, что в каждой линии, в каждом объеме звучит своя космическая гармоника, уловленная «музыка сфер».

— Вы очень близки к истине. Этот дом проектировал архитектор, который в советское время работал в закрытой лаборатории над созданием космических поселений. Создавал эстетику, свободную от гравитации. Геометрию космических лучей и радуг. Этим проектам не суждено было воплотиться, но я приблизил его к себе, и сейчас он работает в наших северных нефтяных городах.

Создает в вечной мерзлоте, среди полярной тьмы, ослепительные «города счастья».

— О ваших северных «городах счастья» ходят легенды, возрождающие миф о Беловодье, сказочной заполярной стране, где люди обретают долгожданный рай. Тысячи и тысячи русских людей стремятся в вашу северную страну, спасаясь от напастей бытия, и там, наконец, обретают вечное блаженство. Говорят, что если в ясный морозный день подняться на вершину Останкинской башни и посмотреть на север, то, благодаря рефракции воздуха, можно увидеть отблеск этих волшебных поселений,

их прозрачное зарево под Полярной звездой.

Они смотрели один на другого дружелюбно, нравились друг другу все больше и больше. Стрижайло ощущал приятное освобождение, ублажающую легкость в теле, какая появляется в теплой морской воде, где можно вольно лежать на спине среди успокоительных колыханий и плесков.

— Я не напрасно выбрал вас. Не напрасно остановился на вашем «Центре эффективных стратегий». Эффективность ваших стратегий — в эстетизации политики. Вы превращаете тривиальный политологический доклад в

«Божественную комедию». Предвыборную кампанию заурядного губернатора — в «Ист-сайдскую историю». Вы учитываете архетипы русского народа, поэтому вам удастся опоэтизировать бандюка, делая из него Кудеяра-разбойника. Оправдать слюнявого олигофрена и заику, выдавая его за блаженного. И наоборот, провалить на выборах интеллигентного человека, проводя аналогию между ним и Троцким...

Стрижайло вкушал комплименты, принимая их на блюде, где они лежали, словно стекающий сотовый мед. И, странное дело, в воздухе стал разливаться запах нектара, сладких цветов, какой

возникает возле зацветающей ивы, где качаются на ветру тысячи золотых горящих свечей.

— Мне хотелось поближе познакомиться с вами, изложить ряд соображений, которые, если вы согласитесь, могли бы стать содержанием нашего совместного проекта, — Маковский был приветлив, чуть застенчив. Желал, чтобы гость не чувствовал разницу их социальных статусов, несопоставимость финансовых возможностей, степени влияний на жизнь государства и общества. Стрижайло был ему благодарен. Перед ним сидел человек его интеллекта, способный оценить

виртуозную мысль и изысканный образ. Электронная память выбрасывала на дисплей досье Маковского, где была прочерчена ослепительная траектория его восхождения.

— Мне кажется, настал момент, когда необходимо создавать положительный образ тех, кого стараниями политологов принято называть «олигархами». Крупный бизнес в России демонизирован. Сатанизация «олигархов» принесла богатство и славу целым политологическим сообществам, и одновременно осложняет положение бизнеса в России. Дает повод недобросовестным популистам

жонглировать общественным
мнением. Делает «олигархов»
громоотводом общественного
недовольства, которое часто есть
результат дурной или преступной
политики. Согласен, олигархи
нередко сами дают веский резон для
ненависти. Оргии в Куршевеле,
которые транслируются по
телевидению. Роскошные
приобретения и покупки, которыми
кичатся на всю страну представители
высшего класса. Они не учитывают
бедственного положения населения.
Не считаются с пуританской этикой
русского народа. Оскорбляют в нем
чувство справедливости...

Стрижайло предвкушал

выгодный и увлекательный заказ, который поднимет его в иерархии политологов, поставит вровень с теми немногими, кто свил «политологические гнезда» за кремлевской стеной. Сотрудничество с Маковским сулило огромные деньги, простор возможностей, неограниченную фантазию и изобретательность. Стрижайло чувствовал, как трепещут его ноздри, вдыхая новые упоительные запахи, — на этот раз утонченных духов, словно мимо прошла невидимая, чудная женщина.

— Вы понимаете мою мысль?..

Стрижайло понимал глубину олигархической мысли, опережая

интуицией услышанное. Электронная летописная строчка бежала, бесшумно пересказывая «повесть временных лет», когда комсомольский вожак Маковский участвовал в молодежном международном движении. Посещал закрытые профилактории Крыма, где, под бдительным оком КГБ, среди симпозиумов, спортивных состязаний и оргий, завязывались связи разведки, финансировались фестивали и презентации. Там же возник ослепительный замысел по созданию кооператива «Глюкос», — странное имя аргентинской девушки, дарившей свое смуглое тело группе неутомимых комсомольцев. Первые

деньги, заработанные на торговле компьютерами, были той узенькой Волгой, что течет ручейком в валдайских болотах, лишь позднее, выходя на равнину, превращается в великую русскую реку.

— Наша корпорация — прямая наследница СССР. Мы пришли на нефтяные поля Сибири к моменту, когда они были превращены в залежи ржавых труб, поваленных буровых, в озера разлившейся нефти. В городах исчезли тепло и свет, и они выглядели, как бетонные морги. Недавние передовики производства, почетные нефтяники, герои соцтруда превратились в заросших шерстью неандертальцев, добывающих огонь

трением и пожирающих бездомных собак и кошек. Мы явились в Сибирь, как «Весна Священная». Тундра озарилась алмазными огнями буровых. Трущобные поселения стали «Городами счастья». Мы спасли от разорения драгоценное наследие СССР, ставшее залогом великого русского будущего. Такие корпорации, как наша, объединившись, положат начало новой полноценной России, вернувшей себе утраченные территории и утраченное величие...

Эти патетические слова сопровождались чудесным запахом сладкого дыма, как если бы невидимый священник пронес через

комнату курящее кадило с красным угольком и тлеющей капелькой ладана. Стрижайло догадался, что запахи поступают в комнату вместе с воздухом кондиционера, создавая восхитительные галлюцинации, столь желанные для звездоплавателей.

«Глюки» — вот что таилось в глубине аргентинского имени «Глюкос», волшебнo переселилось в название нефтяной корпорации, и теперь витало в душистом воздухе комнаты.

Память Стрижайло, соединенная модемной связью с электронным досье Маковского, подпитывалась информацией.

Рождение коммерческого банка «Глюкос», куда стекались деньги табачных «теневигов», грузинских мафиози, «красных директоров» автомобильных заводов, а так же беспроцентные и безвозвратные кредиты Центробанка, на огромном, мертвенном теле которого поселилось суетливое множество банков-упырьков, возглавляемых недавними комсомольцами и офицерами внешней разведки. Банк Маковского изобретательными стараниями молодого банкира превратился в легальный «общак» отставных генералов КГБ и действующих министров правительства, он проводил

операции: «нефть в обмен на детское питание», «хлеб в обмен на наркотики», «оружие в обмен на демократию», «либеральные ценности в обмен на фальшивые авизо». Тогда же на небоскребах Нового Арбата загорелась огромная, стоцветная, как ночная радуга, надпись «Глюкос». В холодных дождях, на ее перевернутом отражении, собирались продрогшие проститутки, чтобы ненадолго, перед тем, как их разберут по саунам и бандитским притонам, оказаться в перламутровом зареве счастья.

— Преуспевание нашей корпорации, конечно же, основано на современных технологиях добычи

и транспортировки нефти. Конечно же, на блистательном менеджменте, к которому мы привлекаем лучшие силы России, Европы, Америки. Не только на глубинном, геостратегическом прогнозе мировой экономики, с учетом возможных кризисов, войн, иссякания углеводородов земли. Наше преуспевание базируется, прежде всего, на философии «либеральных ценностей», на категории «свободы», которая, являясь достоянием отдельного человека, перетекает в коллектив, в корпорацию, а оттуда — в общество. Свобода обеспечивает нам самые высокие показатели труда, развитие того, что в советское время

называлось «человеческим фактором». Именно в наших «Городах счастья» человек по капле выдавливает из себя раба. По нефтяной капле, если угодно. Именно в нашей корпорации, на нефтяных полях Заполярья, происходит подлинная реабилитация узников ГУЛАГа, их истинное, пусть и посмертное освобождение, — через свободный труд их потомков, раскрепощенную волю народа, благоденствие личности, корпорации, Родины...

Стрижайло понимал, что перед ним разворачиваются тезисы предстоящего проекта, к которому привлекает его Маковский, надеясь,

что каждый тезис будет превращен в
фейерверк заказных статей,
интернет-компаний,
политологических симпозиумов, где
средствами высоколобых докладов,
комиксов «политарта», эстрадных
гастролей, а также тонких
инсинуаций и интриг, возникнет
новый образ олигарха-радетеля,
искупающего своим великолепным
явлением все мракобесие и ужас
«реформ». Как если бы на гнилой
свалке отбросов, расшвыривая мусор
и прах, поднялся сияющий пророк и
спаситель, озаряя ночь. Тезисы
предлагались в компактной,
пригодной для усвоения форме. Само
же усвоение стимулировалось

системой запахов, располагающих слушателя к прекрасному, помещая в это неназойливое «прекрасное» предназначенный для усвоения тезис.

Сейчас в комнате пахло холодным арбузом и той восхитительной свежестью, какой веет от первого снега. Этот чудесный запах породил образ нежной девственной белизны, среди которой сочно краснел разрезанный надвое арбуз, алый, с черными семечками, где в сладкой холодной мякоти были спрятаны предлагаемые суждения. Стрижайло поглощал эти суждения вместе с розовыми сочными дольками, отделяя их ножом от

полумесяца с зеленым лакированным ободком. Однако не забывал при этом считывать из досье информацию.

Переход от банка «Глюкос» к нефтяной корпорации того же названия был связан с увлекательной придворной интригой, в которой участвовали седовласый, с рюмкой охлажденной водки, завернутый в белую простыню Президент, однажды, по высокой протекции, пригласивший Маковского в баню, а также сильная духом и здоровая упитанным телом дочь Президента, в ту пору напряженно решавшая, какой тип мужчины является оптимальным для России «переходного периода».

Она искала этот тип среди журналистов, бизнесменов, министров, актеров «Театра сатиры», шоферов службы охраны, а также среди заезжих венецианских жонглеров и африканских пигмеев, приглашенных, за их рост и уровень развития, на «Конгресс малых народов Севера», где дочь и познакомилась с Маковским. Результатом этого краткого, энергоемкого знакомства было приобретение банком «Глюкос» нефтяных полей в Западной Сибири, которые в ту пору были начисто разворованы демократическими чиновниками Минтопэнерго, а также посредниками, перепродающими

нефть на западные рынки. Маковский, облетая вертолетом свои новые владения, ужасался зрелищу разрушенной советской цивилизации. Там же, сквозь шум вертолетных винтов, дал приказ начальнику безопасности, чеченцу Арби уничтожать посредников, словно ненасытных волков. Это выглядело, как сибирский «блицкриг», во время которого тундра озарялась северным сиянием автоматных очередей, разноцветными взрывами фугасов, заволаживающими пожарами нефтедобывающих контор и офисов. Когда пришла долгожданная весна, и стали сходить снега, множество

неопознанных трупов, изгрызенных лисами и росомахами, обнаружились на поверхности зацветающей тундры.

— Я только что назвал систему «либеральных ценностей» философией. Я оговорился. Это религия. Во всех мировых религиях, — христианстве, иудаизме, исламе, — свобода является основополагающим догматом. Христос, Моисей, Магомет проповедовали свободу человеческой воли, которая только одна, через великие труды и свершения, приближает человека к абсолютному блаженству и счастью. Каждый баррель нефти, добытый свободными

людьми корпорации «Глюкос», увеличивает свободу мира, приближая, говоря языком старомодным, «Рай на земле». «Города счастья», где пока что проживает избранная, ограниченная часть человечества, транслируют свободу через магистральные нефтепроводы в самые отдаленные регионы земли, пополняют копилку «либеральных ценностей». Таким образом, из страны традиционного деспотизма Россия превращается в кладезь свободы. Недаром мы построили в столице нашей нефтяной империи, на берегу Оби, православный храм, мечеть и синагогу...

Перечисляемые тезисы, выстроенные в пирамидальном порядке, приближали Стрижайло к завершающей цели, ради которой могущественный, с блестящим умом и несметным состоянием олигарх, изменяя правилу олигархического уклада, пригласил его домой, предпочтя домашнюю беседу ужину в дорогом ресторане. Эта цель еще не была видна, но уже посылала магические вспышки, волшебные лучи и восхитительные ароматы. В гостиной нежно и чарующе пахло жасмином. Стрижайло, поддавшись иллюзии, стал искать глазами куст, усыпанный белыми, как сливки, цветами.

Досье, подключенное к серому веществу головного мозга, продолжало закачивать в Стрижайло бесшумную информацию, от которой взволнованно переливались нейроны, делая похожим мозг на мерцающие огни большого города с разноцветными рекламами ночных клубов, отелей и супермаркетов.

Следующая волна экспансии «Глюкоса» была направлена на захват нефтеперегонных заводов Сибири, Поволжья, Центральной России. Территории, покрытые нержавеющей сталью реакторов, колонн, вьющихся труб, фантастические сферы, цилиндры, ажурные мачты переходили под

контроль Маковского, как переходят под пяту полководца поверженные города. Убитых было немного. Их тайно хоронили в бульдозерных рвах, опускали в цистерны с соляной кислотой, заливали жидким бетоном. Захват портовых терминалов на Черном и Баренцевом морях совершился почти безболезненно, стоило выкрасть дочь директора новороссийского порта, а также, проведя энергичную выборную кампанию, сменить мэра Мурманска. Нефтеперегонные мощности в Литве достались Маковскому почти даром, после пожертвования миллиона долларов в предвыборный фонд Президента. Повсеместно, куда

приходила победоносная компания, возникал осмысленный порядок, — «орднунг», как говорили менеджеры. Росло производство, улучшались условия жизни. И повсюду, — над крышами городов, над буровыми и нержавеющей башнями, на ложках в рабочих столовых, на золотых сувенирах для отличившегося персонала, — везде красовалась эмблема «Глюкоса».

Равнобедренный треугольник с помещенным в центр всевидящим оком, рыжим, зорким, с мерцающим острым зрачком.

Стрижайло неслышно охнул, рассматривая лицо Маковского. Мягкое, благовидное, с чертами

благородной гармонии, оно имело одну аномалию, а именно — правый глаз. Отличный от левого, карего, под темной пушистой бровью, этот правый был рыжий, ястребиный, беспощадно-пронзительный. Зрачок трепетал. Гневно выгибалась рыжая жесткая бровь. Этот глаз был недремлющим оком хищной, нахохленной птицы. Именно этот глаз, заключенный в магический треугольник, был изображен на эмблеме «Глюкоса». Озирались несметные богатства компании, смотрел на каждого работника из фарфоровой чашки, брезентовой робы, с экрана корпоративного телевидения. «Глаз вопиющего в

пустыне» — подумал Стрижайло, представив раскаленную Нубийскую пустыню, среди которой пылал, издавал нечеловеческий вопль желтый глаз незримой космической птицы.

— Мы проделали огромный путь из царства деспотии в царство свободы, путь тернистый, с множеством потерь и лишений. И вот теперь, когда главные тернии позади, и дорога все лучезарней, наш Президент задумал поворот с полпути назад. Этот поворот столь же неуютен и неразумен, как пресловутый поворот северных рек. Его отказ от либеральных ценностей реакционен и нуждается в серьезной

коррекции. С каждой нефтяной каплей мы выдавливаем из себя раба, а он вновь закачивает в нас рабство, как закачивают в нефтяной пласт воду. Мы тратим огромные средства, чтобы перекодировать исторически несвободное население России. Превратить его из патриотов-государственников, видящих в центре русской жизни деспотическое государство, в патриотов-либералов, исповедующих либеральную Россию свободных граждан. Эта «перекодировка» связана с изменением генетического кода, требует терпения, последовательности и любви к соотечественникам. Чего напрочь

лишен наш Президент, выходец из
архаических, изживших себя
структур, к которым я отношу органы
государственной безопасности...

Рыжий глаз хищной
разгневанной птицы одиноко мерцал
в раскаленной пустыни, издавая
нечеловеческий вопль, от которого
высыхали оазисы, рушились храмы,
падали замертво верблюды и
погонщики караванов. Взгляд этой
вещей птицы остановился на
Стрижайло. Выбрал для какой-то
роковой и неизбежной задачи, смысл
которой медленно всплывал среди
неторопливых речений. И чтобы
избавить Стрижайло от палящего
зноя пустыни, уберечь его слух от

невыносимого вопля, в комнате разлилась свежая прохлада, какая бывает после летней грозы, когда воздух пропитан озоном, в небе стоит великолепная радуга, а помятая трава под ногами — в каплях воды, в слипшихся колокольчиках и ромашках.

Досье, этот электронный информатор, продолжало обогащать Стрижайло сведениями о вельможном собеседнике. Маковский был главным спонсором, обеспечившим победу на выборах седовласого, с прогнившим сердцем Президента над мягкотелым коммунистом Дышловым. На деньги «Глюкоса» был выписан из Америки

старый, как библейский ворон, кардиолог и доставлено сердце абиссинского бабуина, которое вшили в разъятую грудь Президента. После чего тот вскочил с операционного стола, изгрыз зубами аппарат искусственного дыхания, вырвал с корнем стариковскую руку из щуплого тела кардиолога. Представители «Глюкоса» встретились с Дышловым, чей перевес на выборах был зафиксирован секретными службами, и убедили его признать поражение, поздравить с победой соперника. При этом закачали в партийную кассу коммунистов двадцать миллионов долларов отступных. Эти

траты окупились сполна, когда Маковский из президентского круга узнал о дефолте за два дня до рокового крушения. Провернул комбинацию, на которой заработал четыре миллиарда долларов, из которых половину составлял кредит Международного Валютного Фонда, исчезнувший в русских снегах, как армия Наполеона.

— Я веду переговоры с представителями крупного бизнеса, с «великолепной десяткой», в чьих руках сосредоточена финансовая мощь России. После ожесточенной конкуренции, битвы за советскую собственность наступает период гармонического сотрудничества,

координации усилий, превращения «олигархического клуба» в инструмент неодолимой экономической и политической экспансии. Зоны нашего влияния охватывают нефтяные и газоносные районы Сибири и Крайнего Севера. Лесные массивы Евразии. Сталелитейные заводы и медеплавильные производства на всей территории прежнего СССР. Энергетические установки и линии передач от Памира до Балкан. Железнодорожные, шоссейные и авиационные коммуникации от пустыни Гоби до центральной Европы. Оборонные заводы, полигоны, военные округа, океанские

флоты и орбитальные группировки во всем Северном Полушарии. Миграционные потоки Европы, Азии и Африки. Вся эта, еще недавно разрозненная и неорганизованная мощь приобретает вид рациональной, управляемой системы, воздействующей на судьбу континентов. Речь идет о воссоздании великой геополитической империи, составляющей суть всей русской истории, теперь, после крушения коммунизма, обретающей новую форму для своего воплощения. Назовем ее условно «либеральная империя» Евразии. Мы, «олигархи», демонизированные, нареченные

врагами русского народа,
разрушителями русской
государственности, продолжаем
вековечное имперское дело России,
делаем все, чтобы «свеча не
погасла»...

Стрижайло находился под
воздействием грозных и
пленительных смыслов. Их усвоению
способствовал восхитительный запах
грибного леса, где у теплых стволов,
в поникшей траве с лесными
гераньками, пахучими
муравейниками, проблеском
стеклянных стрекоз, вдруг
открывается бархатный гриб, его
плотная седая ножка, глазированная
голова, на которой блаженно застыла

лесная улитка. Стрижайло испытывал головокружение. Досье сквозь невидимые волноводы впрыскивало в его восхищенное сознание бестелесные вспышки.

Как солнце вырывается из-за тучи, стремительно бежит по земле, зажигая ослепительным светом озера, поля, далекие лесные опушки, россыпи деревень с белыми колокольнями, так корпорация «Глюкос» расширяла свое влияние. Подчиняла контролю Правительство, Парламент, губернаторов, захватывала газеты и телеканалы, расставляла генералов в армии, МВД и разведке. Сталкивалась на кромках влияния с другими корпорациями

олигархов. Невозможно было забыть схватку Маковского с олигархом Верхарном. Недавние друзья, поочередно обнимавшие полный стан президентской дочери, вливавшие золотое вино в кожаные мехи предвыборного президентского фонда, они рассорились из-за такой малости, как право владеть нефтяными шельфами Баренцева и Охотского моря, приватизировать атомный ледокольный флот, пробивающий в полярных льдах дорогу нефтетанкерам. Россия с замирающим сердцем следила за войной телеканалов, принадлежащих Маковскому и Верхарну. В ироничной передаче «Ку-клукс-клан»

Маковский представлял то голым негритянским каннибалом, поедающим русских младенцев, то северным шаманом, камланиями оживляющим труп Президента. Канал Маковского, не опускаясь до грубых комиксов, в спокойной аналитической манере рассказывал, как деньги чеченских боевиков проходят через банки Верхарна, как Верхарн наладил торговлю заложниками, вначале поощряя чеченцев на захват представителей российской власти, а затем побуждая власть выкупать несчастных за многие миллионы долларов. Венцом этих разоблачений была передача, в которой доказывалось, что убийство

известного редактора русско-американского журнала «Фокус-мокус», показавшего, как Верхарн уводит деньги в оффшоры, — это зверское убийство осуществлено Верхарном. После чего не замедлил взорваться бронированный «мерседес» Маковского, и взрывом оторвало шоферу голову. После чего из гранатометов обстреляли особняк Верхарна в центре Москвы. После чего, оживив все тайные связи в Генпрокуратуре и ФСБ, подарив пять процентов акций компании «Глюкос» помощникам Президента, Маковский добился возбуждения уголовного дела против Верхарна. Выдавил недавнего друга в Лондон.

Объявил его через «Интерпол» в розыск, прибирая к рукам обездоленную корпорацию Верхарна.

Об этом напоминали Стрижайло бестелесные вспышки электронного досье. Об этом мягко оповещали грибные ароматы подмосковных березняков и дубрав. Об этом истошно вопиял в пустыни ястребиной глаз беспощадной космической птицы.

— Политическая система России, именуемая «шампур власти» и «шашлык губернаторов», которую пытается навязать нам Президент-«кагэбэшник», противоречит либеральным ценностям, противоречит мировому

развитию, становится тормозом
либеральной империи и возрождения
России. Мы начинаем демонтаж
архаической президентской
республики, наделяющей
ограниченного Президента
неограниченной властью. Мы
желаем видеть Россию
парламентской республикой, с
сильными, конкурирующими
партиями, либеральным
парламентом, с Президентом,
получающим власть из рук
либеральных парламентариев. Мы
хотим усилить влияние «Глюкоса» во
всех парламентских партиях,
включая коммунистическую, чтобы
выбор будущего Президента России

не противоречил либеральным тенденциям. Мы не хотим оставаться в стороне от предстоящих думских выборов и последующих за ними выборах Президента. Поэтому я и пригласил вас к себе, надеясь на ваш креатив, на способность улавливать нюансы и превращать политику в увлекательное всенародное шоу.

Маковский стал подниматься, прикрывая свое рыжее вопиющее око, что совпало с исчезновением чарующих запахов, последним из которых был аромат ананаса, разрезанного на янтарные, отекающие соком доли.

— Предлагаю продолжить беседу во время прогулки. Там я

завершу свои мысли и выслушаю
ваши.

Они покинули гостиную, вышли из дворца и направились через луг к сосновому бору с красными смоляными стволами, голубыми вершинами, полными белок и дятлов. За ними, на почтительном расстоянии, следовал все тот же инопланетный великан, не отбрасывая тени. Углубились в бор по песчаной дорожке, через которую перебежали полосатые бурундучки и ежи. Впереди, сквозь стволы что-то засветлело, мягкое, туманно-белое, напоминавшее лесное озеро. Но когда приблизились, Стрижайло с

изумлением увидел, что это длинный самолет с алюминиевым фюзеляжем, широко распростертыми крыльями, четырьмя старомодными двигателями, на которых висели закопченные лопасти. Вид самолета был странным и сюрреалистическим, ибо сосны росли вплотную к фюзеляжу, окружали крылья, стояли перед застекленной кабиной, будто самолет приземлился здесь полвека назад и вокруг него успел вырасти бор. На фюзеляже были различные полустертые бортовые номера, латинские литеры, опознавательные знаки американских ВВС. Сам самолет, когда Стрижайло осмотрел

его волнующие старомодные формы, мощные моторы, тусклое сияние алюминия с чуть заметными вмятинами и ожогами, какими бывают покрыты отслужившие век боевые машины, оказался бомбардировщиком Б-29, «знаменитой летающей крепостью» Второй Мировой войны.

— Вы не ошиблись, — произнес Маковский, которому было приятно изумление гостя. — Это та самая машина, с бортовым номером «44-8629», которая, под управлением полковника Пола Тиббетса, нанесла ядерный удар по Хиросиме. На корпусе, вы видите, имя матери пилота «Энола Гей», которое

начертал нежный, любящий сын. Самолет достался мне благодаря дружеским отношением с внучатым племянником Трумэна, который был связан с утилизацией устаревших машин на авиационной базе Гуам.

Это ошеломило Стрижайло. Белый, в солнечных вмятинах алюминий, был ободран о японское небо, осыпан осколками японских зениток, опален бесцветной атомной вспышкой, из которой навстречу самолету взлетали тысячи душ. Хватались за крылья, грызли пропеллеры, соскребали ногтями ненавистное женское имя, колотились лбами о стеклянные ромбы кабины, за которыми, уже

безумный, сидел экипаж. Созерцание самолета тоже приближало к безумию. Были несовместимы статичные, окружавшие самолет деревья и длинный, приспособленный к скоростям и открытому небу фюзеляж. Казалось невозможным увидеть в Подмосковье алюминиевую машину, ослепленную бесцветным огнем, на которую из сосен с нежным звяканьем падают шишки, осыпаются сухие иглы.

— Этот самолет завершил христианскую цивилизацию. Положил начало новой, «либеральной истории». Атомный взрыв — это оргазм, оплодотворивший «либеральную

эру». Приглашаю на борт... — широким жестом Маковский указал на шаткий, в виде стремянки, трап, ведущий с земли в овальную дверь самолета. Пропустил вперед Стрижайло.

Тот вошел, предполагая увидеть облупленную приборную доску, мятые кресла, ободранные шпангоуты и заклепки. Но оказался в великолепном, белоснежном интерьере, с мягко-разлитым освещением, где на длинных, нежно скругленных стенах светились экраны, мерцали индикаторы, бегали электронные лучи, как это бывает в диспетчерских, управляющих атомными станциями или

космическими полетами.

— Вот смотрите, — Маковский уселся в удобное кресло перед панелью с клавишами, напоминавшими электронное пианино. — Отсюда видна нефтяная политика мира. Отсюда я принимаю участие в нефтяной стратегии земного шара, которая и есть подлинная история человечества в «либеральную эру». Мои партнеры по «Бритиш Петролеум», «Эксон», «Тексако» или «Шелл» подключили российскую нефть к мировой нефти, сделали меня, российского нефтевладельца, членом кабинета «Мирового нефтяного правительства».

Маковский нажимал на клавиши, как искусный пианист, и в ответ загоралось множество экранов, возникали электронные табло, начинали танцевать электронные цифры, разбегались графики, окружая огромную, во всю стену, электронную карту мира. На этой карте были отмечены нефтяные месторождения на земле и море, нефтепроводы, протянутые через континенты, нефтехранилища и нефтеперегонные заводы, маршруты танкеров и нефтеналивных цистерн. Маковский помещал электронную стрелку в ту или иную точку земли, и возникали таблицы стоимостей бензина и нефти, объемы

потребления топлива, название продающих и перерабатывающих компаний. Он давил клавиши, и возникали описания экономических и военных рисков, имена национальных лидеров, обслуживающие банки, основные потребители топлива. Он бил пальцем в переключатель и считывал прогнозы социологов, краткое изложение возможных социальных конфликтов, криминальных скандалов, правительственных кризисов.

Стрижайло видел землю, словно из Космоса. Она была суперкомпьютером, электронным мозгом, в котором туманились

воспоминания о великом прошлом, мерцали образы великого будущего, трепетало и искрилось настоящее. Нефть объединяла землю в единый, меняющийся организм, и Маковский казался диспетчером, управлявшим из неба мировой жизнью.

— Надеюсь, теперь вы лучше понимаете смысл нашей встречи?

Этот смысл угадывался, вызывал у Стрижайло головокружение, как если бы он смотрел в бездонную пропасть, наполненную синим туманом, с едва заметной, слюдяной жилкой реки. Маковский был футуролог, формировал будущее, претендовал на мировые роли.

— «Камень, брошенный в море,

меняет все море». Так полагал Паскаль. Ничтожное событие в зоне добычи, переработки или транспортировки нефти меняет содержание всей истории. Имеет денежный эквивалент в стоимости барреля.

Маковский нажал клавишу. На карте, где был обозначен Ирак, возникли кадры «Си-Эн-Эн» в масштабе реального времени. Американские «апачи» ведут атаку на Эль-Фалуджу, дырявят снарядами золотой купол мечети. Боевик «Армии Мухаммеда» отрезает голову заложнику из Канады, — тянет за волосы человека с завязанными глазами, обнажает длинную шею,

резко проводит ножом. Тут же возникала цена на баррель, — на черном фоне подскакивал блестящий столбик, указывая отметку в 35 долларов. Словно струйка ртути в термометре под мышкой у негритянки.

Еще нажатие клавиши. Венесуэла, беспорядки в Каракасе. Жгут портрет президента Чавеса. Полиция разгоняет толпу. И снова скачек цены. Баррель — 36 долларов. Негритянка разглядывает ртутную струйку, высунула красный язык, блестя голубыми белками.

Нигерия. Племенная резня. На асфальте под пальмами уложены длинноногие трупы, чуть прикрытые

разноцветной ветошью. Солдаты в камуфляже и касках грациозным жестом вскидывают «М-16», куда-то стреляют. Новый скачок. Баррель — 37 долларов. Шелковистая, пахнущая потом подмышка, сгусток мокрых волос, столбик блестящей ртути.

Авария на плавучей буровой в Северном море. Вышка накренилась и рухнула. Сыплются люди в воду. Вертолет навис над красным пожаром. За баррель — 38 долларов. Коричневая, в капельках пота, грудь, фиолетовый вздутый сосок. Негритянка прячет под мышкой градусник, прижимает полным предплечьем, на котором, словно отпечаток ракушки, —

перламутровый шрамик от оспины.

Чечня. КаМАЗ с динамитом
врезается в военный госпиталь.
Поднимает на воздух бетонные
этажи, обрушивает на головы
раненых. Окровавленный кусок
перекрытия. Из-под плиты
недвижная, с растопыренными
пальцами пятерня. Баррель — 39
долларов.

Стрижайло был на грани
обморока, словно у него, как у
больной негритянки, поднимался
жар. Маковский нажимал на
клавиши, исторгая из
мегакомпьютера грохочущую
ритуальную музыку, под которую
танцевал обезумевший мир. Это он,

нефтяной император, посылал вертолет на купол золоченой мечети, отдавал приказ террористам перерезать горло канадцу. Он разжигал племенную рознь, устилая красную африканскую землю длинноногими трупами. Он закладывал пакеты тротила в плавучую буровую, глядя, как наклоняется подломленная железная башня. Он усаживал в заминированный грузовик опоясанного взрывчаткой шахида, направлял на таран. Огромная негритянка танцевала безумный танец, колыхала черными, как нефть грудями, отекала коричневым потом, — топотала босыми пятками,

высовывала красный язык,
выпучивала белки, трясла на бедрах
расцвеченной тряпкой.

— Наш нынешний Президент не
эффективен. Жертва рудиментарного
сознания, он отстаивает приоритет
государства. В то время, как мир
выстраивается в глобальную
«либеральную империю»,
преодолевают государственные
реликты, национальные пережитки,
политический провинциализм.
Россия не может оставаться
провинцией. Наш проект
заключается в том, чтобы мирным
путем, избегая потрясений и
кризисов, сменить Президента, для
чего на предстоящих выборах следует

лишить его парламентской базы, наводнить Парламент сторонниками либеральных ценностей. Для этого я вас пригласил, чтобы мы вместе отправились в наш полет.

Стрижайло услышал нарастающий металлический гул, почувствовал вибрацию пола. Маковский оставил свое место перед мегакомпьютером, прошел в головную часть самолета, увлекая за собой Стрижайло. В кресле пилота, окруженный ромбами прозрачной кабины, сидел великан-охранник в комбинезоне и шлеме, нажимал на кнопки, перебрасывал тумблеры. Из кабины виднелись алюминиевые бивни крыльев, жужжащие

пропеллеры, превращенные в
солнечные блюдца. Из патрубков
сыпались искры, выплескивался
синий огонь. Сосны, окружавшие
бомбардировщик, качались и
трепетали от вихрей. Из них улетали
испуганные синицы и дятлы,
перескакивали ошалевшие белки.

Маковский поднял вверх
большой палец, командуя «взлет».
Деревья, обступившие
бомбардировщик, упали на сторону,
плоско сложились, как если бы их
нарисовал на фанере художник.
Лесная подстилка стала
расступаться, как если бы
расстегивалась бесконечная
«молния», — под синтетическим

паласом, изображавшим подстилку, открывалась бетонная, уходящая вдаль полоса. Самолет качнулся, пошел. Тяжело поднялся, оставляя в воздухе мутную копоть. Шел высоко, неся в алюминии слепое отражение солнца.

Стрижайло казалось, что это сон. Из бесконечной высоты, сквозь голубую дымку, он видел блеск океана, водную рябь, на которой оставался белый след плывущего авианосца. Возник зеленый курчавый остров, окруженный пеной прибоя. Среди изумрудных лесов и коричневых гор потянулись дымы городов, стеклянно замерцала, металлически заблестела земля,

покрытая чешуей строений, бесчисленными сотами жизни. Под крылом была Хиросима. К самолету с земли полетели разрывы зениток. Не достигали машины, покрывая небо пушистыми комочками хлопка.

Маковский опустил большой палец вниз, отдавая приказ на «бомбометание». Корпус машины вздрогнул, облегченно прынул вверх. От него отделилась кубышка. «Малыш» раскрыл парашют, плавно устремился к земле. Там, где зеленело, где перламутрово и нежно туманилось, возникла слепящая вспышка, белый сочный пузырь. Стал подниматься вверх, выбрасывал косматые вихри, клубы раскаленного

пара. Огромное, застилающее небо
бельмо лопнуло, и в нем открылся
рыжий громадный глаз. Жутко
дрожал, мерцал беспощадным
зрачком жестокой космической
птицы. «Глаз, вопиющий в пустыни»,
сверкал над землей, превращая
планету в пустыню, по которой из
края в край неся металлический
воплъ.

Они шли по чудесному
сосновому бору, и Стрижайло не
знал, было ли то сном или явью.
Стоял ли, окруженный деревьями,
алюминиевый бомбардировщик с
полустертой надписью «Энола Гей».
Или он, Стрижайло, надышался в

гостиной Маковского
галлюциногенными запахами, что и
породило виденья. Маковский,
элегантный, спортивный, в
джермпере, в джинсах, ступал по
тропинке мягкими итальянскими
туфлями. Беззаботно рассказывал:

— Эти реликтовые подмосковные сосны мы бережем, как зеницу ока. Их не касается топор дровосека. Каждая внесена в «национальную книгу сосен», каждой присвоено женское имя. Вот эта сосна — «Ирина», — он обнял золотистый ствол, нежно поцеловал кору, в которой, казалось, открылись алые губы, отвечая на поцелуй. — А эта сосна — «Антонина», — он

провел ладонью по живому стволу, в котором на секунду открылась белая дышащая грудь.

Еще недавно технократ,
футуролог, управляющий
мегакомпьютером, сейчас
Маковский был пантеистом, видел в
каждом дереве бога, в каждом
лесном цветке — дух земли.

— Здесь, в лесу, я устроил
небольшой зоопарк под открытым
небом, где собраны редкие виды
животных, которых мы, под
присмотром зоологов, спасаем от
вымирания, стараемся получить от
них потомство.

Стрижайло увидел прясла,
окружающие просторные вольеры,

терявшиеся в деревьях. В одном вольере расхаживали косматые бизоны, похожие на тех, что изображались на наскальных рисунках, — те же огромные тела, тупые морды, резные копыта. Среди взрослых, черно-бурых особей топтался малиновый, с розовым носом детеныш, подтверждая надежды на восстановление истребленного вида. В соседнем вольере разгуливали две антилопы с остроконечными витыми рогами, обитательницы африканской саванны. Самец пытался взгромоздиться на самку, бил в костистую спину копытами, промахивался мимо нервного

короткого хвоста фиолетовым детородным органом, который одним своим размером не оставлял сомнений, что редкая разновидность будет сохранена и умножена. В следующем ограждении разгуливал страус с лысой пупырчатой шеей и надменно воздетой головой, с приспущенным плюмажем великолепных хвостовых перьев, из-под которых торчали мускулистые ноги известной балерины, уволенной за вес и размер из Большого театра. Второй страус сидел на гнезде, подслеповато поглядывая по сторонам, напоминая финансиста Ясина, высиживающего золотые яйца. В четвертом вольере бегали два

огромных дикобраза, сердито
фыркали, злобно бормотали.
Натыкались один на другого, и тогда
их иглы страшно расширялись,
топорщились, дрожали
непримиримой ненавистью. Они
напоминали участников
телепередачи «К барьеру», и если
прислушаться к их фырканиям и
чиханию, то можно было понять, что
они матерятся.

— Здесь же, вдохновленные
нашими зоологическими
экспериментами, мы развиваем
успех, — не скрывая гордости и
самодовольства, Маковский указал
на ограждение, за которым, на
открытой поляне, стояли

остроконечные чумы, вился дымок, несколько мужчин в оленьих шкурах были заняты ремеслами. Один вытапливал из мертвого тюленя густой желтый жир, смазывал себе лицо и волосы. Другой сшивал шкуры нерп, протыкал края иглой, сделанной из рыбьей кости, продергивал дратву, скрученную из оленьей жилки. Третий вырезал по белому моржовому бивню, покрывая его изображениями охоты и рыбной ловли. Тут же трудилась женщина с коричневым лицом и смоляными косицами, чистила песком огромный медный котел. Играли ребятишки, швыряя друг другу в глаза пригоршни песка, добывали трением огонь,

норовили подложить тлеющий уголек под зад увлеченному косторезу.

— Компания «Глюкос» спонсирует несколько «либеральных» проектов, один из которых направлен на сохранение вымирающих народов севера. Депопуляция их столь стремительна, что мы вынуждены перевозить родительские пары из суровой северной тундры в Подмосковье. Здесь они живут под присмотром опытных диетологов, следящих за тем, чтобы в рационе питания присутствовали привычные для них компоненты, — мелко растертый ягель, рыбий клей, костяная мука. В начале, надо признаться, они плохо

переносили жизнь в районе Барвихи, но потом не только привыкли, но и стали размножаться в неволе. Мы поим детенышей сливками Останкинского молочного комбината, добавляем в пищу целебные добавки Брынцалова. Детеныши развиваются столь стремительно, что на третий месяц после рождения начинают курить трубку, на пятый — свободно говорят по-английски, а на седьмой принимаются ходить и бегать. Окрепших детенышей самолетами мы доставляем на север и выпускаем в тундру, где они начинают жить и кормиться самостоятельно. Было несколько неудачных попыток

поселить их в «Городе счастья», в великолепных квартирах, с пентхаузами и зимними садами. Увы, не приживаются, — начинают разводить костры на паркете, вялят на лестничных площадках рыбу, чего не выносят другие обитатели дома. В конце концов, когда зацветает тундра и прилетают лебеди, мы выпускаем их на свободу, давая с собой месячный запас пасты «Бленд-а-мед». Впрочем, один из них прижился в «Городе счастья». Он порвал с традиционной религией — шаманизмом, — перешел в иудаизм и теперь регулярно посещает синагогу на радость местного раввина, тоже, надо сказать, наполовину ханта.

Они миновали вольеры и вышли на опушку леса, где помещалось капище. Высился высокий, крытый шкурами чум. На шестах висели белый череп оленя, привязанная за лапы тушка полярной совы. Маковский остановился перед чумом, замер, словно коснулся прозрачной преграды. Его сильное, облаченное в джинсы и джемпер тело, напряглось, черты лица изменились. Вместо смуглой негроидности появилась загадочная желтизна монголоидности. Он скакнул на одну ногу, как если бы под другой оказалась мина. Отпрыгнул в сторону, выбирая безопасное место. Кинулся вперед,

прошуршав по траве. Бросками ломал траекторию, выбирая сложный, одному ему ведомый путь, словно боялся натолкнуться на незримые лазерные лучи. Добрался до чума и нырнул в темный треугольный прогал.

Несколько минут его не было. Затем из прогала показался облаченный в шкуры шаман, в оленьих, расцвеченных пимах, в короткой, из серебристого меха безрукавке, с голыми руками, покрытыми синей ритуальной татуировкой. Лицо колдуна было закрыто маской из древесной коры с клыками росомахи, с раскрашенными гусиными перьями.

В руках шамана бился и грохотал бубен из моржовой кожи, издавая глухие удары, как если бы в бубне билось ухающее сердце моржа.

Шаман выскочил на поляну, стал подпрыгивать, перескакивая с ноги на ногу, грохоча колдовским инструментом. Совершал обороты, приседал, скакал на одной ноге, крутился волчком, убыстряя движения, усиливая грохот и стон.

Стрижайло изумленно смотрел. Колдун завораживал. Удары бубна входили в ритм его собственного тела, которое стало вдруг содрогаться. Ноги топотали, ударяя о землю. Руки вздымались, совершая вращение. Это были ритмы его

сотрясенного сердца, испуганных кровотоков, трепещущих внутренних органов. Бубен гремел, захватывал в свой колдовской резонанс окрестную природу, — течение рек и ручьев, шум ветра, колыхание вершин. Улетал в бестелесную пустоту, где парили светила, летали метеоры, проскальзывали орбиты невидимых планет. Это был проснувшийся дух камней, подземных минералов и руд, прозрачных лучей. Дух древесных чащоб, птичьих кликов, звериных стенаний. Вызванный грохотом бубна, дух управлял мирозданием, — зажигал и гасил светила, гнал в океане косяки стремительных рыб, топил корабли, стирал империи,

уводил с насиженных мест народы, венчал на царства и умерщвлял сильных мира сего.

Стрижайло чувствовал, что кто-то, дремавший в нем, пробуждается, разбуженный бубном. Увеличивается и заполняет сосуды, вторгается в полости тела, проникает в глазницы, взбухает в полушариях мозга. Дух вырастал из него, становился огромным, а он сам уменьшался, оказывался в утробе духа, как малая личинка.

Стрижайло был шаманом, огромным, выше сосен. Скакал, облаченный в шкуры. Перепрыгивал с ноги на ногу. Колотил себя в грудь. Завывал под ритуальной маской. Два

великана в шкурах скакали на поляне, и от их камланий в каждом камне открывались глаза, в каждом цветке шевелились губы, в каждом древесном стволе хохотала и визжала обнаженная женщина, плескались ее белые груди, рассыпались рыжие волосы.

Бубен смолк. Шаман нырнул в чум. Через минуту из-под шкур появился Маковский, утомленный, задыхающийся. Отряхивал с итальянского джемпера ворсинки оленьего меха.

— Я хотел убедиться, что нас связывает духовное родство. Убедился. Мы будем творчески и плодотворно работать. Я изложил

вам суть моих представлений. Остальное додумаете сами. Скоро я отправляюсь на Север, на нефтяные поля, в «Города счастья». Приглашаю вас с собой. Там и продолжим обсуждение проекта. Мой охранник проводит вас к машине и передаст аванс на предварительные расходы. Остальное по завершении проекта.

Он протянул Стрижайло руку, сердечно пожал и направился к дворцу, не оглядываясь, тут же забывая о госте.

Появился инопланетный охранник с кожаной сумкой. Проводил до ворот, где поджидал «фольксваген». Протянул в салон сумку. Когда машина поехала,

Стрижайло распустил молнию, —
сумка была набита долларами. На
вес их было тысяч сто.

глава пятая

Уселся на заднем кресле «фольксвагена», у правой двери, так чтобы его мог видеть бдительный «Кот Базилио».

— Сейчас, Михаил Львович, протащили «аудио» на эвакуаторе. Лепешка! Банка для килек! Ну, ездят, — шофер пробовал завязать разговор, но мысли Стрижайло были об ином.

Возвращались в Москву. Рублевское шоссе швыряло навстречу весенние деревья, рекламные щиты, помпезные новостройки Крылатского. Мысли его были о недавнем визите, и рука ощупывала

твердые бруски, распиравшие тонкую кожаную сумку. Необычные переживания, сопровождавшиеся наркотическими ароматами, откровенные высказывания, в которых присутствовали недомолвки, полет на «Б-29», с которого он наблюдал «оргазм новой, постхристианской эры», вольеры редких животных, в которых переселились души некоторых известных политиков, и, наконец, неистовый танец шамана под грохот вещего бубна, — все это убедило Стрижайло, что Маковский желает стать президентом. Для этого он хочет установить контроль над парламентом, присутствуя во всех

политических партиях, включая коммунистов, которых впереди ждала несомненная победа на думских выборах. А затем, используя влияние партий, выиграть президентские выборы.

Это было увлекательно, фантастично, реально. Сулило огромные деньги, выплеск гигантских энергий, безграничное творчество. Было посильно только ему, лучшему политологу и фантасту, на которого неслучайно пал выбор могущественнейшего из олигархов, — футуролога «либерального будущего», шамана древней религии. Он, Стрижайло, работая одновременно с Дышловым и

Маковским, сочетает их интересы. Сопоставит несопоставимое, соединит несоединимое, — «антилиберальных коммунистов» и «антикоммунистических либералов». Так в физическом мире высоких энергий соприкасаются материя и антиматерия, вещество и антивещество, порождая невиданной силы взрыв, освобождая океан энергии, которая, если ее точно направить, произведет неслыханные разрушения, сдвинет тектонические пласты политики, сметет прежние авторитеты и догмы, откроет путь самым смелым новациям. В недрах этого взрыва, среди политической неразберихи и хаоса, будет развернут

проект «Президент Маковский». Новый взгляд на роль олигарха в русской истории. «Локомотив развития», созвучный чаяниям истосковавшегося по прогрессу народа. «Человеческий фактор», напоминающий о недавних коммунистических лозунгах. Мифологические «Города счастья», столь понятные мечтающей о рае православной душе. «Либеральная империя», утоляющая поруганную идеологию державников. «Национальная книга сосен», мечта экологов, философия пантеизма, созвучная глубинным языческим архетипам русского человека, который увидит в Маковском

служителя Перуна или Сварога.

Он мчался по Кутузовскому проспекту, среди памятников бывшего величия, — Триумфальной арки, Бородинской панорамы, Поклонной горы, вовлекая эти немеркнущие символы славы в свое новое творчество. Его фантазия рождала тексты интернет-докладов, идеи философских симпозиумов, замыслы газетных и телевизионных дискуссий. Он моделировал тайные встречи Дышлова и Маковского, методы внедрение сторонников «Глюкоса» в депутатскую фракцию коммунистов. Вершиной этой стомерной работы, — из пиар-компаний, денежных вливаний,

перевербовки политиков,
нейтрализации спецслужб, —
венцом этого увлекательного,
обращенного к народу творчества
станет мюзикл. Ослепительный, с
зажигательными танцами,
захватывающими песнями,
завораживающими декорациями, —
«Город счастья».

Он сидел в несущемся
«фольксвагене» среди светофоров,
реклам, бесчисленных вспышек и
блесков, но его восхищенный разум
создавал мюзикл, играл его на
самой престижной, кремлевской
сцене.

Первое действие — московская
средняя школа, где учится скромный

еврейский мальчик Мак. В то время, как его одноклассники курят в туалетах, уезжают с девицами на загородные пикники, поют под гитару дурацкие туристические песни, мечтатель Мак, презирая дискотеки и уроки военной подготовки, грезит о «Городе счастья». Там все любят друг друга, дома напоминают «летающие тарелки», в райских вольерах соседствуют волки и антилопы, бизоны и львы, дети северных народов ханты и манси учатся читать по книге Шолом-Алейхема. Эти мечты Мак воплощает в рисунках, где синим карандашом рисует сказочные города. Внезапно появляются

марширующие шеренги, то ли нацисты, то ли войска НКВД. Звучит «Хорст Вессель», и «Вместо сердца пламенный мотор». Боевики набрасываются на Мака, жестоко избивают, разрывают рисунки с дивными голубыми городами.

Второе действие — комсомольский лагерь на берегу Черного моря, где юноша Мак знакомится с прекрасной аргентинской девушкой Глюкос, племянницей Че Гевары. Они влюбляются друг в друга, вместе хотят посвятить жизни избавлению человечества от бедности, несправедливости, смертельных болезней. Мак рассказывает Глюкос

о своих «голубых городах». Они вместе из сырого песка возводят на морском берегу фантастические башни, великолепные дворцы, лучезарные храмы. Он целует ее, она отдается ему среди этих райских «городов любви». Но внезапно налетает буря, чудовищная морская волна падает на песчаный город, уносит Глюкос. Мак кидается в пучину, хочет спасти любимую девушку. Но она, увы, утонула. Он выносит ее из моря, кладет прекрасное бездыханное тело там, где еще недавно был их «райский город».

Действие третье — Мак понимает, что «Город счастья»

можно построить только кропотливым трудом. В память о безвременно ушедшей возлюбленной он открывает кооператив «Глюкос», с помощью которого устанавливает в избах русских крестьян тайваньские компьютеры, связывая вологодскую и костромскую глухомань с мировой цивилизацией. Этот созидательный процесс прерывает путч ГКЧП, во время которого танки маршала Язова давят ветхие избы и хрупкие компьютеры. Мак, оказавшись в центре путча, спасает Президента Ельцина, за которым гонятся жестокие «чекисты». Мак помещает Президента в багажник своего старенького «форда» и вывозит из

проповедует им свою мечту о «Городе счастья». Говорит, что вместе, объединенные в корпорацию, исповедуя либеральные ценности, они построят среди полярной тьмы хрустальный город, о котором мечтала аргентинская девушка Глюкос. Вдохновленные его мечтой, аборигены отрекаются от пороков, избирают «свободный труд свободно собравшихся людей». Бригады строителей и нефтяников восстанавливают разрушенную цивилизацию Севера. Мак выбирает из местных хантов наиболее продвинутых и делает их православным священником, муфтием и раввином. Приходит

старый шаман. Он поверил Маку и хочет открыть ему место, где залегают самая лучшая в мире нефть. Ударяет в бубен, бьет ногой в поросшую ягелем тундру. Из земли вырывается нефтяной фонтан. Летит в небеса, наполняя небо восхитительным салютом, преображая черную нефть в хрустальный светоносный «Город счастья».

Пятое действие — выборы Президента России. Проходят дебаты между прежним Президентом, выходящим из спецслужб, и Маком, на чьей стороне симпатии большинства избирателей. Дебаты протекают в формате телепередачи «К барьеру».

На стороне действующего
Президента — офицеры ФСБ,
скинхеды, «охотнорядцы»,
юмористы, певицы из «Фабрики
звезд». На стороне Мака — молодые
банкиры, цвет интеллигенции,
нежные еврейские девушки,
правозащитники и «солдатские
матери», чьи сыновья никогда не
служили в армии. Дебаты ведет
известный судья собачьих боев,
безрукий и безногий, у которого
бультерьеры и члены ЛДПР отгрызли
конечности. Дебаты проходят с
блеском, противники кидают друг в
друга помидоры, пакеты с
майонезом, кремовые торты.
Казалось, Мак, под натиском

спецслужб, начинает уступать. Но тут мистически является душа аргентинской девушки Глюкос, надевает на голову действующего Президента ведро с заварным кремом, и победа достается Маку.

Действие шестое — «Город счастья», воплощенная мечта Мака. Хрустальный купол защищает город от лютой полярной ночи. Счастливые люди гуляют среди цветущих деревьев, хотя по другую сторону купола минус 30 градусов. Начинается празднество. Батюшка, муфтий и раввин служат общий экуменический молебен. Молебен сменяется танцем восьми шаманов. Облаченные в шкуры, в масках с

клыками росомахи, они скачут, бью в бубны, созывают ударами все население города, всех счастливых и свободных людей. Внезапно удары бубна смолкают. Шаманы сбрасывают шкуры, и все видят, что это «восьмерка» крупнейших мировых лидеров, приехавших в «Город счастья», и среди них Президент России Мак. Он улыбается дорогим гостям, дарит им ценные подарки из Алмазного фонда, и все поют «Оду либеральных ценностей». Повсюду в небе сверкают эмблемы «Глюкос», горит, выложенное алмазными звездами, волшебное слово «либерализм».

«Фольксваген» проносился по

Драгомиловской, и эти последние сцены мюзикла были столь явны, что Стрижайло слышал чудесные мелодии, сочиненные сэром Элтоном Джоном, видел костюмы, сшитые в домах высокой моды Сен-Лорана и Гуччи, восхищался декорациями, написанными по эскизам Михаила Шемякина. Его творческое возбуждение было столь велико, что хотелось немедленно, самому, сделать несколько эскизов.

Он приказал шоферу остановиться у художественного салона. Вошел в магазин, где набору кистей и красок мог бы позавидовать любой импрессионист. Не долго раздумывая, купил несколько кистей

для гуаши и темперы. Выбрал коробку, в которую были уложены алюминиевые тубики, перепоясанные цветными наклейками. Вдыхал вкусный, пряный, стоцветный запах, какой источает лужайка на холсте Ренуара, куда на весенний пикник собрались подвыпившие художники и их полуобнаженные натурщицы. Вернулся в машину, собираясь ехать домой.

Но возбуждение, которое он испытывал, было такого свойства, что мешало немедленно приступить к рисованию. В ушах все еще звучал магический бубен, с которым выскочил из чума Маковский. Ноги и

руки хранили слабую дрожь, словно повторяли скачки и кружения, которые он совершал на поляне. Языческий дух, разбуженный камланиями, до сих пор не уснул, — утратил свой исполинский рост, сжался, вернулся в утробу, но существовал там, как крохотный косматый шаман, продолжая пляски, ударяя изнутри в стенки живота шерстяными пимами, издавая едва различимые удары бубна. Этот демон подлежал укрощению. Его следовало изгнать из возбужденного тела. Вытопить из всех пор. Очистить плоть, если не молитвой, то горячей сауной, огненным паром, контрастным душем, когда розовое

накаленное тело погружается в голубую прохладу бассейна.

Заветный номер журнала «Рандеву» был тут же, в машине, в кармане сиденья. Стрижайло перелистывал клетчатые, разноцветные страницы, пока ни отыскал адрес сауны, находящейся в районе Плющихи. Звонок по сотовому телефону подтвердил, что сауна в этот час оставалась свободной. Тюбики с краской и цветная палитра журнала содержали одну и ту же стихию цвета, предвещали гедонические наслаждения и творчество. Он сложил их вместе, приказал шоферу вести его в сауну, и когда вышел

перед аккуратным, без
опознавательных знаков строением,
то, повинаясь внутреннему голосу, —
голосу недремлющего демона, —
прихватил с собой в сауну журнал и
краски.

Его встретил, судя по виду,
спортсмен, огромный, квадратный, с
бритой шишковатой головой, с
глазами вышибалы, банщика и
работоторговца. В комнатке, откуда он
появился, виднелось еще две
подобных головы, и у Стрижайло
возникла веселая мысль, что он
оказался в логове преступной
группировки, но ему ничто не грозит,
как не грозит воробью,
поселившемуся в гнезде орла. Парень

смотрел на него взглядом предупредительного слуги и хозяина застенка.

— Два часа к вашим услугам. Мыло, шампунь на месте, — он протянул волосатую лапу с бицепсом по направлению к двери, откуда сочились влажные струйки банных благовоний. — Больше ничего не желаете?

— Бутылку французского вина, фрукты, шоколад можете принести? — это спросил не Стрижайло, а его устами — маленький, оживленный колдун, который из чрева прислушивался к диалогу.

— Нет проблем, — произнес

банщик, — Девочек не желаете?

— Ассортимент? — колдун-малютка не думал засыпать, но, напротив, оживлялся все больше, настроенный на шалость.

— По вкусу. Что бы хотели?

Весельчак топотал внутри у Стрижайло маленькими когтистыми лапками, похожий на уморительную обезьянку. Стрижайло почувствовал, как он сделал забавный кувырок, оттолкнувшись упругими пяточками, и вновь приземлился на дне желудка, саданув коготками:

— Рост — сто семьдесят, грудь — четвертый, талия — шестьдесят пять. Блондинка.

— По каталогу посмотрим,

доставим. Что еще?

— Потребностей больше нет.

— С легким паром.

Банщик-тяжеловес отворил заветную дверь, впуская Стрижайло в заведение.

В просторном помещении, занимая всю площадь, застыл литой, лазурный бассейн, создавая восхитительную прохладу и странную гулкую акустику, где каждый вздох порождал чуть слышное эхо. У кафельной кромки бассейна стояли ложе, круглый столик и несколько шезлонгов. В комнате для отдыха утомленные жаром клиенты могли подремать на широких лежаках, накрытых белыми

простынями. Одна застекленная дверь вела в кафельную душевую с набором флаконов и мыльниц. Другая, непрозрачно-стеклянная, вела в парилку и, казалось, слабо звенела, накаливая изнутри нестерпимым жаром.

Все нравилось Стрижайло, все отвечало вкусам и намерениям недремлющего демона, озиравшего из темной утробы прелестный уголок. Разделся, совлекая одежду с крупного, ухоженного тела, с рельефными мускулами, начинавшими слегка заплывать необременительной полнотой, — злоупотребление вкусной едой, избыточной неподвижностью,

временным отсутствием
интеллектуальных и нервных
перегрузок, которые скоро вернутся и
сожгут излишние калории, возвратят
его облику нервическую страстность
и экспансивность. Рассматривал в
высокое зеркало свое красивое,
слегка надменное лицо, гладкие
каштановые волосы, коричневые
влажные глаза с блестящими точками
смеха, плотоядные губы с
дрожащими уголками, готовыми
раздвинуться в насмешливой улыбке.
Этот облик приятного, отлично
сложенного, лишенного одежд
господина скрывал загадочную
сущность, поселившуюся в нем в
виде крохотного эмбриона,

дремлющей личинки, сонного червячка. Этот зародыш вдруг просыпался, начинал стремительно развиваться, принимал в утробе всевозможные формы. Рвался наружу, управляя поступками и страстями захваченной им плоти. Являлся источником побед и успехов, экстравагантных прозрений и неумоимого творчества, что и делало Стрижайло одним из самых оригинальных политологов, увеличивало его влияние, вело к вершинам успеха. Стрижайло не тяготился своей постоянной беременностью, доверял вселившемуся духу, подчинялся его капризам и прихотям. Был коконом, в

котором нашла приют загадочная, экзотическая куколка. Был женщиной, которая вынашивала таинственный плод. Был дуплом, где свила гнездо мистическая, залетевшая птица.

Услышал упругие негромкие шаги. Выглянул, — банщик с грацией дрессированного гризли косолапо приблизился к столу. Поставил поднос, сгружая с него бутылку вина, два бокала, вазу с виноградом, тарелку с плиткой шоколада. Удалился, а Стрижайло прислушался к внутреннему голосу, который радовался, хихикал, по-птичьи верещал. Принадлежал маленькому дурашливому скомороху, в которого

превратилась обезьянка, нацепив на голову красный колпачок, рубаху с длиннющими рукавами, увешанную бубенцами. Скоморох пританцовывал, корчил смешные рожицы, позвякивал бубенцами, ударяя в стенки утробы загнутыми шутовскими чувяками.

«Стадия обезьянки» сменилась «стадией скомороха», что соответствовало последовательности, в какой менял свои обличия дух-оборотень. Стрижайло снова слышал звуки, на этот раз звонкие, цокающие по кафелю, какие возникают от соприкосновения с плиткой острых каблучков, под сильной женской

ногой.

— Кто там? Войдите! —
голосом веселого шута и забавника
произнес Стрижайло. Выступил из
комнаты во всей своей великолепной
нагоде. Навстречу шла девушка
весеннего вида, в синей юбке, белой
целомудренной блузке, с милым
лицом гимназистки, невинно и
застенчиво отбрасывая за плечо
золотистую прядь. На голове была
трогательная девичья шляпка с
букетиком фиолетовых матерчатых
цветов, что придавало ей сходство с
барышней дореволюционной поры.
Заметив это, скоморох совершил в
утробе сальто-мортале, скинулся
через плечо и превратился в

маленького Ивана Бунина, — сухого, с желчным лицом эмигранта, в мягкой шляпе, с ореховой тростью, того, что заканчивал эротический цикл «Темные аллеи», как раз собираясь писать «Смарагд». Было видно, что Бунину нравится барышня, напоминает ему прототип, с которым встречался в номерах арбатской гостиницы.

— Добрый день, сударыня. Пожалуйста. Чем обязан? — галантно раскланиваясь, Стрижайло чуть выставил босую ногу, как если бы так встречал когда-то молодой писатель влюбленных в него курсисток. Именно к этому побуждала Стрижайло «стадия

Бунина», которую переживал дух утробы.

— Пришла, чтобы скрасить ваше одиночество. Вдруг подумала, что вам не хочется быть одному, — ответ был прост, чуть насмешлив, выдавал в барышне способность к импровизации, психологическую подвижность. Маленький Иван Бунин вдруг преобразился в Сократа, лобастого, лысого, в ветхой тоге, того, что спустился по каменной лестнице из Афин в Пирей и вел беседу с софистом. Восхвалял возраст почтенной старости, когда мужчину, наконец, оставляют похоти, и он незамутненно наслаждается красотой мысли, розовым мрамором

акрополя, морской лазурью, по которой скользит галеон. Так же бескорыстно, не испытывая вожделения, Стрижайло любовался гостьей, отмечая вкус, с каким был подобран ее туалет.

— Видно, вы общительны и радушны. Природа наделила вас не только миловидностью, но и способностью легкого общения. Поверьте, это редкий дар. — Стрижайло хотел казаться галантным кавалером, ибо именно в такого кавалера превратился его внутренний демон. Стал похож на спикера Совета Федерации Сергея Миронова, — лупоглазый, настырный, щетинистый, с темпераментом

терьера, верноподданно
вздрагивающий при имени
Президента, жадно, голодными
глазами, провожающий всякую юбку,
будто в нее обернуты не женские
ноги, а обрезки собачьей колбасы.
«Стадия спикера», — так
обозначался этот выразительный, но
быстро проходящий момент.

— Я привыкла общаться, —
сказала девушка, — Работала
учительницей в младших классах.
Преподавала рисование. К каждому
ребенку нужно было найти подход.

— Мужчины, с которыми вам
теперь приходится общаться, — тоже
дети. Иногда дурные, глупые, злые,
но все равно — дети.

— Вы очень интересный, содержательный человек, — произнесла девушка, оглядывая Стрижайло, как барышни оглядывают мраморную статую в «Летнем саду», ища на ней и не находя фиговый лист.

За время этого краткого диалога неутомимый и неутомонный дух пробовал множество ролей, менял множество обличей, словно в желудке у Стрижайло находилась костюмерная, которой умело пользовался крохотный оборотень. Последовательно принимал образ монаха вновь открытой Соловецкой обители, маршала Жукова в период наступления на Зееловские высоты,

премьера Великобритании Дизраэли, вождя курдов Оджалана. Прodelав все эти головокружительные трансформации, он превратился, наконец, в лидера компартии Дышлова, напоминавшего снеговика. Будто там, на банкете у Семиженова, весь мороженый торт с марципанами и шоколадом достался Стрижайло и не таял все это время в желудке.

— Ну что ж, — по-простому, снижая уровень разговора, сказал Стрижайло. — Раздевайся. Давай-ка попаримся. Говорят, в баньке парок в самый раз.

Она мило улыбнулась, удалилась в комнату. Сквозь открытую дверь, глядя в лазурную глубину бассейна,

Стрижайло слышал, как нежно цокнули упавшие на пол туфельки, зашуршала одежда. Через несколько минут на пороге появилась девушка, стройная, с узкой талией, овальными, как у виолончели бедрами, приподнятыми, сохранившими сферичность грудями, серебристыми подмышками, которые она обнажила, забрасывая за плечи распущенные волосы. Стояла, сжав колени, будто стискивала бедрами золотистого котенка. Улыбалась, позволяя любоваться собой. Восхищение Стрижайло было восторгом внутреннего демона, который перескочил из «стадии Дышлова» в «стадию Жванецкого», — маленький

толстопузик растопырил в чреве короткие ножки, заглядывал в рукопись, поднимая от бумажки глаза, переводя их на девушку. Толстенные щеки раздулись, и он издал опустошающий его звук: «Пуфф!». Стрижайло воспроизвел этот звук восхищения, тихо ахнув:

— Купальщица с картины Бенуа, где он нарисовал маркизу в укромном бассейне Версаля... Скорее в сауну...

Он прихватил из комнаты простыню, взял обнаженную гостью за руку. Изысканно, пританцовывая менуэтом, провел ее к застекленной двери, отворил. Из прохладного просторного объема они оказались в

тесной, светящейся от жара сауне. Дощатые полки побелели от раскаленного воздуха. Повсюду витал прозрачный огонь. Ноздри обжигало душистое пламя.

— Занимайте место на нижней полке, — Стрижайло постелил простыню, которая высохла еще на лету, словно ее прогладили утюгом. Видел, как девушка улеглась на живот, пряча лицо в локтях, — круглые ягодицы, подвижные лопатки, длинные ноги с розовыми круглыми пятками. Была видна придавленная грудь. Выглядывал из-под волос испуганно-восхищенный глаз.

— Предадимся молчаливому

наслаждению, — произнес
Стрижайло, залезая на верхний ярус,
подкладывая под себя не успевшую
накалиться досочку.

Замер, чувствуя, как все тело
покрывается бесчисленными,
сладостными ожогами, словно по
сауне летало прозрачное огненное
существо, покрывая его с ног до
головы поцелуями. Кожа становилась
влажной, бархатной, нежно розовой.
Глаза туманились, разглядывая
лежащую у его ног девушку. В грудь с
каждым вздохом залетало душистое
пламя, и он казался себе глотателем
огня.

Девушка лежала недвижно,
покрываясь стеклянным блеском.

Ложбина спины покрылась бисером. Ноги стали смуглыми, а пятки порозовели. Она казалась изделием стеклодува. Стрижайло нагнулся, провел ладонью по шелковистым плечам, влажным ключицам, круглым глянцевитым ягодицам, продлевая свое ласкающее прикосновение до узких худых лодыжек с горячими, белыми косточками.

Она не шевельнулась, лишь приоткрыла благодарный, дремлющий глаз. Его потаенный демон совершил очередное перевоплощение. Теперь это был художник Гоген, который лежал на раскаленном песке лагуны, рядом

нежилась смуглая дикарка, дремотно забывшись на солнцепеке, положив на спину цветок водяной лилии. Стрижайло любовался дикаркой, и ему хотелось рисовать ее среди тропических цветов, — вот она сидит, выставив коричневое колено, ее грудь украшает ожерелье из раковин, и спрашивает фиолетовыми губами: «А ты ревнуешь?»

— Для первого раза достаточно, — сказал Стрижайло, соскакивая с полки. Поднял свою спутницу, выводя в прохладную залу с овальным лазурным бассейном, — Остудим тела в лагуне.

Они кинулись в бассейн, в его шуршащую, синюю прохладу, охая,

нежась, загребая шумную воду, ныряя и перевертываясь. Он чувствовал животом скольжение ее гладкого быстрого тела.

Вышли из бассейна, отекая водой. Она стояла, отжимая влагу из потемневших волос, трогательно наклоняя голову, не стыдясь наготы. Он восхищался ее сложением, не испытывая страсти и вожделения, а лишь любясь соразмерностью плеч, груди, бедер.

— Вы созданы по законам «золотого сечения». Так древние греки создавали свои бессмертные статуи.

— А вы знаете, что эти белые мраморные статуи изначально были

раскрашены? Но краска сошла, и они остались белыми. Нам рассказывали в пединституте.

— Да что вы говорите? У меня есть краски. Давайте я вас распишу, как греческую статую!

— Почему бы и нет? — засмеялась она.

Художник Гоген настойчиво сохранял свой образ, не желал превращаться ни в спикера нижней палаты Грызлова, похожего на утомленную овчарку, стерегущую свое бестолковое стадо. Ни в Шамиля Басаева, задумчиво выискивающего на карте России, где бы еще совершить теракт. Стрижайло был поощряем изнутри, действовал

не по своему побуждению, а по воле маленького, поселившегося в нем демиурга.

Прошлепал в комнату отдыха, вернувшись с коробкой красок. Тюбики в алюминиевых оболочках были тяжелыми, блестящими, с пластмассовыми крышечками и цветными наклейками. От них исходил чуть слышный запах пряных цветов.

— Сначала мы выпьем вина, — Стрижайло штопором откупорил бутылку, разлил по бокалам вино, оказавшееся чилийским «Терра Андина». Чокнулся с девушкой, пил, чувствуя, как проливается внутрь терпкая, душистая струя.

Притаившийся в нем художник Гоген, пьяница и наркоман, был благодарен за угощение, — тут же восхитительно опьянел, потянулся к тюбикам темперы.

— Ложись, — предложил Стрижайло, указывая барышне на лежак, на котором та улеглась лицом вверх, влажная, пленительная, готовая к прихотям пригласившего ее мужчину. — Ну что ж приступим?

Он высыпал тюбики на стол, перебирая плотные, литые цилиндрики. Выбрал один с золотистой наклейкой и надписью «охра золотистая». Свинтил крышечку и заостренным концом штопора проткнул металлическую

фольгу, которая, как девственная плевра, прикрывала горловину тюбика. При легком нажатии из тюбика показался мягкий золотистый червячок, и слабо запахло нектаром.

— Закрой глаза, — сказал Стрижайло, выдавливая ей на щеку краску, на одну, на другую. Отложил тюбик и осторожно, нежно стал растирать, покрывая щеки тончайшим золотым слоем, втирая его в подглазья, окружая губы, раскрашивая подбородок. Выражение лица изменилось, словно на него надели золотую маску с отверстиями для глаз, носа и рта. — Замечательно. Еще несколько легких мазков, — он

раскупорил тубик с надписью «кобальт синий», распечатал целомудренное лоно, выдавил густую, яркую синеву и обвел ею девичьи глаза, провел вдоль носа глянцевитую полосу, окружил губы синим сочным овалом. Вытер пальцы о простыню. Отодвинулся, любуясь творением.

— На кого я похожа? — спросила девушка, глядя смеющимися глазами из мертвенно-золотой, с синими линиями маски.

— Ты похожа на царицу ацтеков в момент праздника новолуния. Твоя ритуальная маска сделана из чистого золота с инкрустациями яшмы и бирюзы.

Он оглядывал ее близкое, дышащее тело, отданное ему в наслаждение. Самым прекрасным и привлекательным на этом теле показалась ему молодая грудь, млечно-белая у основания, постепенно темнеющая к заостренным наконечникам, к розовым нежным соскам, окруженным смуглой тенью. Взял тюбик с красной наклейкой и надписью «киноварь». Выдавил на указательный палец огненный завиток. Стал окружать грудь ярким овалом, сужая его, превращая в спираль, охватывая этой спиралью теплую, дышащую выпуклость, чувствуя, как от его прикосновения

вздрагивает и набухает сосок. В наброшенных спиралях груди заострились, стали похожи на пропеллеры, ввинчивались, раскручивались, придавали телу страстную устремленность.

— А теперь на кого похожа? — спросила девушка, которой нравилась игра, прикосновения нежных, чувственных пальцев.

— Теперь ты похожа на танцовщицу из «Мулен Руж», по которой сходит с ума весь Париж.

Стрижайло выбрал тюбик с надписью: «травянисто-зеленый», выдавил на ладонь клейкую изумрудную лужицу. Опустил на ее живот и стал растирать, разглаживал,

чувствуя, как дрожит от прикосновений ее кожа, выпукло, словно весенний холм, зеленеет живот. Из тюбика с желтой краской прыснул на пупок сочную розетку, которая казалась огненно-желтым цветком одуванчика, распустившимся среди свежей травы.

— А теперь на кого похожа?

— На языческую богиню плодородия, лоно которой не устает плодоносить и рожать.

Он расцвечивал ее, выдавливая краску прямо на шею, делая из нее птицу-снегиря. Пятнал, как попало, бедра, ляжки, превращая их в палитру, на которой темпераментный художник мешает цвета, и ноги ее

горели, словно альпийский луг, покрытый дикими маками, тюльпанами и гиацинтами. Выкрасил ей ступни и каждый палец в фиолетовый цвет, отчего ее ноги получили странное сходство с лапками саламандры или тритона, и во всем ее облике появилось нечто волшебное, драконье, земноводное. Выдавил красную краску на лобок, скручивая волосы в острые липучие иглы, как на голове у панка, отчего казалось, что на животе у нее выросла морская актиния, выставила чуткие щупальца.

— А теперь на кого похожа?

— На Марию Кюри-

Склодовскую, — ответил Стрижайло,

выпрямляя на лобке два слипшихся, огненно-красных лепестка.

Попросил ее встать, повернуться спиной. Выдавливал тюбики на затылок и лопатки, поясницу и ягодицы, густо, жирно. Смешивал, растирал. Желтое с белым, как глазунью. Розовое с голубым, как смородинное варенье. Зеленое, алое, синее, как жирные пласты пластилина. Спина была перламутровой, чешуйчатой, переливалась. Сжатые, изумрудно-зеленые ноги казались хвостом русалки, начинавшимся от ягодиц.

— А теперь на кого похожа?

— На даму большой политики, губернатора Санкт-Петербурга, —

ответил Стрижайло, вытирая о простыню измазанные руки, любуясь своим твореньем, которое переливалось, словно ваза цветного стекла.

Девушка выгибала бедра, осматривала себя, старалась заглянуть под поднятую руку, узнать, как выглядит она сзади. Эти движения были так пленительны, плавны, в них было столько странной музыки, что демиург, еще недавно прикидывавшийся художником Гогеном, вдруг превратился в ведущего телевизионной программы Варгафтика, который приглашает в свою «Оркестровую яму» утонченных меломанов.

— Ты так грациозна. Так восхитительно владеешь телом. Вся убрана цветами, шелками. Похожа на «Весну» Боттичелли.

Девушка приблизилась к бассейну. Встала у края, приподнявшись на цыпочках, делая пленительный взмах рукой.

— Я мечтаю стать топ-моделью, — произнесла она сквозь синий овал рта, поворачивая золотую маску, выставляя зеленое плодоносящее лоно с ярким цветком одуванчика, перебирая фиолетовыми лапками тритона, отчего шевелилась красная актиния на ее животе. — Я похожа на топ-модель?

Варгафтик в утробе,

миниатюрный, облаченный во фрак, с галстуком-бабочкой, с пышной, как кудрявый дым шевелюрой, обычно милый и трогательный, вдруг вскипел и свирепо вскрикнул:

— «Топ-модель» — от слова «топить»! — это был крик Стрижайло, который кинулся к девушке и толкнул ее в воду. Она упала навзничь, раскрыв руки, поднимая ворохи брызг. Вода расступилась, принимая испуганное гибкое тело, а потом сомкнулась, превращая ее в разноцветную рыбу, радужную змею, пятнистого волшебного тритона. Она не успела выплыть из-под воды, как Стрижайло, поощряемый неистовым

меломаном, бросился в бассейн.

Нырря, он видел ее переливающееся, перламутровое тело, словно в огромном аквариуме плавало морское диво, водяная царевна, сказочное существо океанских глубин. Это взволновало Стрижайло. Он подплыл к русалке, охватил под водой ее бедра, стал целовать изумрудный живот, подбираясь в золотому цветку. Из рта вырывались серебряные пузыри, текли вдоль ее лона к красным спиралям, в которые были уловлены белые груди. Он вынырнул в фонтане яростных брызг. Увидел близко ее золотое лицо с синим овалом, в котором хохотали розовые губы,

блестели белые зубы.

— «Топ-модель» — от слова «топить»! — крикнул Стрижайло, обнимая девушку за перламутровые плечи. Заталкивал под воду, видя округлившиеся, испуганно-радостные глаза, фыркающие губы. Она билась под водой, желая освободиться. Хватала его за руки, но он с силой давил вниз. Видел, как мотаются волосы, извивается цветное, гибкое тело, касаясь его ног, груди, пытаясь вырваться из объятий. Не пускал, удерживал под водой, испытывая наслаждение. Это напоминало морскую охоту, когда в коралловых рифах пловец с трезубцем ударяет в разноцветную

рыбу, и она трепещет, насаженная на гарпун.

Стрижайло убрал руки. Девушка вылетела на поверхность с тоскливым воплем. Глаза, выпученные от удушья, бешено крутились. Рот, окруженный синим кругом, пытался что-то выкрикнуть.

— «Топ-модель» — от слова «топить»! — ликуяще возгласил Стрижайло. Мощно погрузил ее скользкое тело в воду. Слышал, как она дрожит, как больно скребут ее ногти. Краска таяла в воде, окружала их мутно-розовыми пятном, какое бывает вокруг раненного в море тюленя. Стрижайло держал ее под водой, чувствуя, как свирепеет, как

разгорается в нем животная страсть, питаемая ее судорогами, ее ужасом, ее разбухшим от удушья сердцем, ее переполненным водой животом.

В нем поселился маленький жестокий эсесовец в черном мундире с серебряным черепом на кокарде, с красной перевязью на рукаве, с черной свастикой в белом гнезде. «Стадия Кальтенбрунера» была последней в перевоплощениях утробного оборотня. Тощий фашист со шрамом на впалой щеке пытал в застенке жертву.

Безумная, с размазанной краской, выпученными глазами, девушка выскочила из-под воды. Жадно, с хрипом, хватала воздух.

Кашляла, крутила головой с налипшими волосами. В свирепом безумии Стрижайло прижимал ее к лазурному кафелю, грубо овладевал, чувствуя ее судороги, ужас, гибнущую жизнь. Терзал, хлюпая водой, выталкивал на поверхность по плечи, так что в любую секунду мог снова погрузить под воду. Обезумевший шеф гестапо, выдрался из плоти Стрижайло, впился в девушку, слился с ней, как сливаются жертва и палач, образуя нерасторжимое онтологическое единство. Дух Третьего Рейха, «Золото Рейна», «Завещание Гитлера», «Гибель богов» Рихарда Вагнера, — все это ломилось в истерзанную жертву,

переполняя космическим ужасом.

Стрижайло отпал от нее. Медленно подплыл к хромированным поручням. Вылез из бассейна. Видел, как в мутном пятне, похожая на большую лягушку, колышется опостылевшая проститутка. Кашляет, плачет, отбрасывает липкие, поределые волосы.

Встал под душ, поливая себя шампунем, смывая грязь. Тщательно отер полотенцем утоленное, освобожденное от похоти тело. Оделся. Кинул на шляпку с матерчатыми фиалками триста долларов, что составляло двойную таксу. На выходе столько же дал

бритоголовому банщику, со словами:

— Смените воду в аквариуме.

Ехал по Москве, думая о том,
как лучше и выгодней сочетать
предвыборную кампанию
коммунистов с интересами олигарха
Маковского.

глава шестая

Его великолепная двухкомнатная квартира находилась в сталинском доме в Замоскворечье, с видами на кадашевскую церковь и ампирные особняки. Из одного окна виднелся красный фасад Третьяковской галереи, а из другого, над зеленой крышей соседнего дома, выглядывал краешек золотого навершия с рубиновой кремлевской звездой. Квартира принадлежала когда-то вельможному советскому поэту, писавшему патристические поэмы о сталеварах и обличительные стихи о космополитах. Была выкуплена Стрижайло у его разросшейся,

обедневшей родни. Стрижайло сделал в квартире евроремонт, оставив старомодную лепнину на потолке и дубовые паркетные полы, по которым когда-то расхаживал обличитель еврейского коварства, рифмуя язвительно-нерусское: «Ипполит» и беспощадно-уничижительное: «космополит». Стрижайло нравилось думать об этой рифме. Нравилось смотреть на оранжевый лоскут картинной галереи. Нравилось рассматривать рубиновую звезду, продравшую остриями жестяную кровлю. Летом здесь летало множество стрижей, свивших гнезда на кадашевской колокольни. Их разящие вихри в

жарком московском небе
напоминали Стрижайло, что в его
фамилии присутствует этот
стремительный проблеск и
свистящий птичий полет.

В квартире была просторная
кухня, служившая одновременно
столовой, — с итальянским
кухонным гарнитуром,
венецианскими керамическими
блюдами на стене, с затейливой
люстрой в виде летательного
аппарата Леонардо Да Винчи, —
перепончатой крылатой ладьей.

Здесь все было итальянским, —
посуда, приборы, деревянный бар,
стилизованный под «Палаццо
дожей». В коллекции сухих вин

преобладали итальянские.

Кабинет был обставлен тяжеловесной роскошной мебелью из карельской березы, — массивный стол, кресла, книжный шкаф, диван, — везде присутствовало желтое, как янтарь, светящееся дерево с окаменелой рябью. Здесь Стрижайло работал с компьютером, спал на просторном диване, смотрел телевизор, тянулся к шкафу, доставая с полки то Священное писание, то трактат Маккиавели, или футурологию Тоффлера, или философские парадоксы Фукуямы.

Просторная гостиная являла собой небольшую картинную галерею, где были собраны творения

современных экстравагантных художников. Тут был Шерстюк с его сумасшедшей «Русской рулеткой», безумными стреляющимися офицерами. Тишков с даблоидами, изображавшими вырванную печень, желудок и сердце, которые, покинув тело, розовые, влажные, шествовали по дороге, как паломники. Художник Сальников воспроизводил гениталии, похожие на перламутровых моллюсков. Анзельм, немец по происхождению, нарисовал подвыпившего Гитлера в компании полураздетых стюардесс. Гоша Острецов начертил чеченских террористов в виде камуфлированных, вставших на

задние лапы волков, с гранатометами и автоматами. Другой художник, Каллима, родом терский казак, проделав странную метаморфозу и утратив мировоззрение предков, превратился в поклонника воинственных чеченцев, воспевал шахидок в масках, с горящими лисьими глазами. Чуть странно смотрелась картина примитивистки Люси Вороновой, где нарисованный ею черный барак казался последним строением обезлюдившей земли.

Стрижайло любил свою квартиру, редко приглашал гостей, предпочитая встречаться в ресторанах и офисах. Поддерживал в доме безукоризненную чистоту, для

чего трижды в неделю приглашал миловидную, шестидесятилетнюю Веронику Степановну, вдову адмирала, с голубоватой пышной сединой и печальным выцветшим лицом. Нуждаясь в средствах, она приходила убирать квартиру Стрижайло.

Вот и теперь, лежа на диване, он слышал, как мягко шелестит пылесос в гостиной. Читал газету «Завтра», чтобы лучше понять лево-патриотические настроения, удивляясь шизофреничности передовой статьи, которая звучала, как вой шакала, уловленный в гулкий кувшин.

На пороге появилась Вероника

Степановна, в аккуратном передничке, похожая на милую пожилую женщину, изображенную на молочном пакете «Домик в деревне».

— Простите, я вас отвлеку, Михаил Львович, — произнесла она смущенно, боясь, что потревожила Стрижайло. — Мне сегодня снился удивительный сон. Будто мой муж, Анатолий Георгиевич, явился ко мне, такой молодой, радостный, в парадной форме, когда еще был капитаном первого ранга и ходил на эсминце в Средиземном море. Лицо такое молодое, загорелое, влюбленное. Протягивает мне подарок, большую розовую раковину, какая, знаете, изображена на картине

«Рождение Афродиты». Протягивает мне раковину и так нежно, так ласково смотрит. Проснулась в слезах. Что-то он хотел мне сказать, а что, не пойму.

— Должно быть, что любит вас и ждет. Наши близкие смотрят на нас из другой, потусторонней жизни, наблюдают за нами и иногда посылают знаки, —
глубокомысленно ответил Стрижайло, привставая с дивана. Вероника Степановна, благодарная за то, что ее выслушали и посочувствовали, слегка порозовела. Ее припухлое, испещренное морщинками, припудренное лицо обнаружило следы былой

привлекательности. Так в обветшалую часовню залетает косой вечерний луч солнца, на один только миг коснется облупленной стены, и на ней зацветет старинная фреска.

Вероника Степановна ушла, притворив за собою дверь. Стрижайло снова улегся на диван, больше не касаясь газеты.

Иногда его посещала странная форма самосознания. Концентрируясь на себе, он представлял себя не в виде бестелесного «Я», отделенного от плоти и существующего где-то вне тела. Не в форме разума, наполненного гулом клубящихся

мыслей, способного сжаться в концентрированную жаркую точку, из которой раскручивается галактическая спираль. Не в виде одной, самодовлеющей части тела, становящейся вдруг центром всего организма, как, например, нестерпимо ноющий зуб, в который переместилось страдающее «Я», или возбужденный похотью пах, в котором «Я», расщепленное на множество обезумевших клеток, слиплось в раскаленную плазму.

Это было особое самоощущение, когда он сознавал себя на молекулярном уровне. Он — разделен на бесчисленное множество равнозначных живых

пузырьков, крохотных беспокойных частичек, в каждой из которых во всей полноте присутствует его личность. Истребленная в одной части тела, которое может быть подвергнуто ампутации, — лишено конечности, глаза, почки или полушария мозга, — его личность с исчерпывающей целостностью сохраняется в других молекулах, как крохотный лик в медальоне, как отражение в зеркальном калейдоскопе. Он чувствовал себя нарисованным портретом, где каждый мазок является уменьшенной копией общего изображения.

Испытывая эти гносеологические откровения, не

встречая упоминаний о них ни в философских трактатах, ни в медитативных инструкциях, Стрижайло полагал, что ему дано особое сознание, на уровне генетического кода, который и является истиннымместилищем личности, — ее текущей фазы, а также всех фаз, от рождения до смерти. И если развить в себе это уникальное самосознание, то можно проникнуть в свою «преджизнь», а также в «постжизнь», пережить идею бессмертия.

Он лежал на диване и чувствовал себя скопищем бесчисленных пузырьков, как если бы был ванной с кипящей

минеральной водой. Пузырьки взлетали и лопались, сливались и измельчались, кружили по странным орбитам и переливались, ввергнутые в броуновское движение. И в каждом пузырька был он сам, как в крохотной икринке, — перевертывался, смещался, сталкивался с самим собой. Эти видения сопровождались таинственной музыкой. Каждая молекула издавала свой особенный звук, источала микроскопическую гармонику, которая, сливаясь с соседней, превращалась в немолкнувший хор, какой вдруг наполняет огромное дерево с мириадами поющих цикад. Звук не

был бессмысленным шумом. В нем присутствовала мелодия, тема, музыкальное повествование о его, Стрижайло, жизни, о его неповторимой судьбе.

Ему казалось, что если записать эту музыку на чувствительный прибор, исследовать и расшифровать, то можно угадать его характер, свойства натуры, духовные и телесные немощи, тайные побуждения и страхи. Предсказать его судьбу, предначертать ожидающие его потрясения. Этой музыкой, если ее перенести на пленку, усилить и ненароком транслировать в пространство, где он находился, можно управлять его поступками,

определять ход мыслей, влиять на судьбу. В руках друга эта музыка могла оказаться целительным средством. Но, оказавшись в руках врага, превращалась в оружие, способное его погубить, направить на путь катастрофы.

Утонченный меломан, вслушиваясь в музыку молекул, мог выделить сложные хоралы, которые звучали в той или иной части тела. Особую музыку источало сердце, — иногда это была «Маленькая серенада» Моцарта, а иногда «Аппассионата» Бетховена. По-особому звучал зрачок, — то были фортепьянные этюды Скарлатти. Пах был наполнен музыкой Скрябина.

Печень звучала, как Брамс. Легкие исполняли «Фугу» Баха. Зуб, если он болел, звучал, как «Свадебный марш» Мендельсона. Поясница, когда в нее вдруг «ступало», играла симфонию Шостаковича. А пульсирующая на горле артерия повторяла Прокофьева.

Стрижайло казалось, что в биоинженерной лаборатории, на стерильных стеллажах стоят стеклянные банки с физиологическим раствором, в котором продолжают жить извлеченные из тела органы. Красное, с обрезанными трубочками, сердце. Млечно-серые, пузырящиеся легкие с разъятыми воздуховодами. Фиолетовая, с прожилками печень.

Матка с вывернутым складчатым
раструбом. К органам подведены
электроды. Снимаются
электрические гармоники.
Пропущенные через микрофон,
превращаются в произведения
классической музыки,
транслируются по «Радио России».

Вот почему
патологоанатомические картины
Тишкова имели для Стрижайло
музыкальный аналог в виде
концертной программы
Консерватории.

Стрижайло был убежден, что
великие открытия в области
генетики, биоинженерии и
клонирования были сделаны

музыкантами, создающими экспериментальную музыку. «Музыке сфер» в макром мире, где каждая планета, астероид и комета издают небесную мелодию, — этой космической симфонии в микромире соответствует «музыка молекул». Композиторы Шнитке и Артемьев, изумлявшие публику своими несуразными, малопонятными творениями, на самом деле перекладывали на ноты, записывали в партитуры «адажио» циррозной печени, «концерто гроссе» инфарктного сердца, «скерцо» инсультного мозга. Именно так, сутками просиживая в анатомических театрах, не спуская

глаз со стеклянных банок, где, похожие на морских осьминогов и кальмаров, плавали иссеченные органы, эти композиторы написали лучшие свои произведения, ставшие сегодня классикой. Там же, среди драгоценных банок, записывая «музыку молекул», они открыли геном человека. Расшифровали генетический код, создав его музыкальный аналог. В последнее время работы композиторов-экспериментаторов были засекречены, сами они исчезли из вида, их имена пропали из концертных программ. Поговаривали, что их всех поместили в «шарашку» ФСБ, где, в прекрасных

условиях, с новейшей электронно-акустической аппаратурой, они создают «музыкальную бомбу», — новейший вид оружия, способного полностью перекодировать генетический код человека. На закрытом полигоне под Вологдой на столбах были закреплены репродукторы, сквозь которые транслировалась «экспериментальная музыка». В результате патриархальные крестьяне окрестных деревень утратили славянскую внешность, обрели сходство с кавказцами, бойко говорят на чеченском, торгуют оружием и наркотиками.

Сейчас он лежал на спине,

закрыв глаза. Медитировал, воображая свой генетический код. Свой «электронный портрет», каким бы изобразил его новый Шилов, художник технотронного века.

Этот портрет представлялся ему в виде двух спиралей, совершающих винтообразные движения в противоположные стороны. Одна спираль, ярко-красная, неоновая, воплощала в себе страстные, креативные силы его натуры, среди которых напрочь отсутствовали этика, моральные побуждения, долг. Творческая энергия, увлекательная игра, неутолимое наслаждение заставляли вращаться эту неоновую спираль, пылающую над ним

подобно ночной рекламе. Вторая спираль была едва очерчена, туманно-голубая и блеклая. Чуть заметно вращалась, готовая остановиться. С этой спиралью были связаны печальные воспоминания детства, где присутствовали нежность к бабушке, болезненная беззащитность, безымянная, не имеющая воплощения любовь. Эта спираль напоминала вьющуюся струйку дыма, которую вот-вот снесет и развеет ветер.

Две эти сути, — явная, доминирующая, управляющая его побуждениями и поступками, и тайная, непроявленная, живущая на далекой периферии личности, — эта

двойственность была для него загадкой, иногда забавной, иногда мучительной. Как если бы у сильной, стремительной рыбы, господствующей в океане, присутствовали недоразвитые, ненужные плавники. В определенных условиях, при высыхании океана, они могли преобразоваться в крылья. Превратить рыбу в птицу. Продлить ее существование в измененной среде.

Неоновая спираль, которая извивалась в нем, как неутомимый, пульсирующий червячок, рубиново-красный мотыль, и была тем таинственным зародышем, что вдруг

бурно разрастался, превращался в гигантского, набрякшего красными соками червя. Толкал в авантюры, в безжалостные, аморальные предприятия, побуждал к бесчеловечным поступкам. «Дьявольская энергия», «дьявольская изобретательность», «дьявольская везучесть» — так говорили о нем за спиной. Иногда он верил, что в нем действительно поселился дьявол, — всемогущий демиург, носитель восхитительного зла, блистательный интеллектual преисподней, гений ночного неба. Он создал свою мифологию, в которой был отмечен момент, когда в него вселился дьявол. Его размышления были

прерваны Вероникой Степановной. Она смущенно появилась на пороге кабинета, все в том же наивном фартучке, с фиолетовым дымом пышных седых волос, держа в руках желтые резиновые перчатки:

— Хотела спросить, Михаил Львович, я могу убратся в кухне, протереть пол? Вы не собираетесь обедать или пить кофе?

— Нет, нет, — ответил Стрижайло, раздосадованный ее появлением, желая продолжить свои размышления. — Протирайте пол на здоровье.

Домработница ушла, притворив дверь, а он снова предался воспоминаниям и обдумываниям.

Он вспоминал дом на Палихе, где прошло его детство, без родителей, под присмотром бабушки, которая была ему и отцом, и матерью. Билась над ним, как наседка, взращивала, вскармливала, выхватывая из болезней, из тайных сиротских печалей, вымаливая у Бога благополучие для милого Мишеньки. Дом был четырехэтажный, без лифта, с тяжелой входной дверью, с полутемным сырым подвалом, от которого вверх возносилась лестница с деревянными перилами. Этот подвал былместилищем его детских ужасов. В черной сырой глубине, в захламленном бомбоубежище, куда не ступала нога жильцов, таилось

сонмище злых существ, таинственных беспощадных духов, подстерегавших его. Эти духи были не из детских сказок, не из опыта действительной жизни, где существовало много опасностей, — хулиганы из соседнего двора, пьяный детина, выбегавший с топором на улицу, болезни, доводившие его до мучительного бреда. Эти страхи были безымянны, сопровождали его с младенчества. Существовали за пределами его души, являясь в жизнь, чтобы захватить, испугать и замучить. Эти духи свили гнездо в подвале. Там сторожили его, наполняли тьму бесформенным дымом, запахом тлена, из которого

вдруг вспыхивали глаза ночной кошки, тянулись костлявые руки ведьмы. Открывая парадную дверь, входя в полутемный подъезд, он немедленно сталкивался с этими духами. Испытывал истощный ужас, кидался мимо подвала на лестницу. Взяв ввысь, перелетал через ступени, слыша, как духи гонятся следом. Отрывались только тогда, когда он достигал второго этажа, где начинались двери квартир.

Это длилось годами и было невыносимо. Превратилось в детскую религию зла, в ощущение злого полюса мира, откуда исходят на него все напасти, все нынешние и грядущие беды, от которых он

преждевременно и страшно
погибнет. В его детстве, как и у всех
сверстников, были шахматы,
собираание монет и марок, увлечение
дворовым футболом, походы всем
двором в Тимирязевский парк, где
купались в солнечном, теплом пруду,
сновали между деревьев, и он
впервые испытал к соседской
девочке нечто, напоминавшее
слезную, счастливую нежность,
желание пожертвовать собой ради ее
милого, веснущатого лица. Но при
этом оставался черный подвал,
вместилище ужаса. Почти уже
юноша, едва он ступал в подъезд, как
несся сломя голову на лестницу,
чувствуя за собой зеленые кошачьи

глаза, костлявые руки, мертвенное дуновение преисподней.

В конце концов, он решил с этим покончить. Или погибнуть от духов, или убедиться, что они не существуют, являются кошмарной фантазией его измученной с детства души. Он решил войти в подвал.

Возвращался из школы, неся в портфеле дневник с двумя пятерками — по истории и русскому языку. Представлял, как обрадуется бабушка, увидев две каллиграфические цифры, выведенные красными чернилами, — восхитится, поцелует его в лоб под пышный хохолок. Двор был в осенних, пронизанных солнцем

кленах. Две соседки, поставив сумки, оживленно беседовали. Он приблизился к подъезду, намереваясь совершить свой религиозный подвиг, «сошествие во ад», — отдать себя на растерзание духов или победить их своим бесстрашием.

Отворил тяжелую, на пружине дверь. Свет улицы озарил длинный проход, слабо светящиеся ступени, линию деревянных перил, вдоль которых он обычно взлетал на второй этаж. Правее, неразлично, черной, уходящей в бездну дырой, зиял подвал. Уставился в него слепой ненавистью, будто читал его мысли, угадал его бунт, гипнотизировал безымянной волей. Захотелось шире

распахнуть дверь, и пока она медленно закрывается, промчаться мимо подвала, ускользая от протянутых рук, взметнуться по лестнице, и к моменту, когда дверь тяжко ухнет, гася последний свет, он уже будет вне опасности, у квартир второго этажа, где, невидимые, копошатся жильцы, пахнет едой, ветхой утварью, чуть слышны голоса и шаги.

Одолеl искушение. Отпустил дверь, ухнувшую за спиной. Стоял в темноте, чувствуя, как из подвала льются холодные ручейки тьмы, трогают его лицо, пытаюсь по-слепецки, наощупь, разглядеть смельчака, посягнувшего на

могущество тьмы. Сделал несколько шагов, привыкая к мраку. В подвал вели две ступеньки, за которыми была бесформенная тьма, контуры каких-то обломков, и в этих обломках притаились духи. Зазывали к себе, мягко влекли, опутывали невидимой паутиной, клейкой сетью, обволакивали ужасом. Он трепетал, беззвучно повторяя:

«Не боюсь... Вас нет... Вы просто дрянь, мусор...»

Спустился вниз по ступенькам, чувствуя под ногами скользкую мокроту, липкую ветошь, от которой исходили запахи умершей материи. Так должна была пахнуть могила с тлеющими останками, в которые

упирались его ноги. Эта могила сжималась, становилась тесней, была готова сомкнуться над ним, завалить мокрым, холодным тленом.

Он испытал ужас. Хотел рвануться обратно, но был парализован. Не мог шевельнуться, чувствуя, как под одежду проникают осторожные щупальца, готовые присосаться к груди, пить живые соки, впрыскивать парализующие яды. Пытался рвануться, но щупальца не пускали. Он понял, что умирает. Смерть, которая являлась во время болезненных бредов, была теперь с ним. Прижала к его груди холодные присоски.

Умирая, теряя дыхание,

взмолился о пощаде. Обращался не к Богу солнечных небес, о котором говорила бабушка, а к черным духам преисподней, к которым вознамерился спуститься и попал под их власть. Мольба была бессловесна. Умолял отпустить его обратно в жизнь. Обещал находиться под вечной властью духов тьмы. Предлагал в обмен на жизнь все самое дорогое, чем владел. Коллекцию марок, красивый, выращенный бабушкой фикус, новые, парадные, купленные ему бабушкой ботинки, и в последний момент, безумной, преступной мыслью, — и саму бабушку, отдавая ее вместо себя злым духам, откупаясь ею перед

лицом погибели.

Он не мог сказать, что это было. Из тьмы подвала, из бесформенной груды мусора что-то прыгнуло, словно стремительный вихрь, свистящий пронзительный ветер. Вонзилось в него. На мгновение задержало свое острие. Превратило сердце в огромный ком тьмы, окруженный сверкающим блеском. Пронзив насквозь, унеслось из подвала. Он почувствовал, как освободились его ноги, как свободно вздохнула грудь. Вышел из подвала, раскрепощенный, улыбаясь. Медленно, не испытывая страха, стал подниматься по лестнице, держась за перила, туда где звякнула дверь на втором этаже, и

раздались голоса соседок.

Это был момент, отмеченный его мифологической памятью, когда он зафиксировал вселившегося в него дьявола. В обычной жизни он не думал об этом. А думая, иронизировал, прятал в иронию таинственно мерцающую точку. Но иногда, в полудреме, между явью и сном, прежде чем впасть в забытие, верил в то, что стал избранником дьявола. Духи подвала переселились в него, стали двигать его поступками.

С тех пор он стремительно изменился. Утратил отроческую робость и муку, сомнение в своих силах, ощущение странной, окружавшей его тайны. Обрел

веселую уверенность, страстное нетерпение, ощущение жизни, как неутомимой игры и неутолимого творчества. Его взросление было непрерывным преуспеванием, восхождением от успеха к успеху. Ему везло. Напасти, готовые его сокрушить, проносились мимо, как шальные пули у виска, поражая других. Он отмечал в себе эту перемену. Исполнился гордыней, чувством превосходства и избранности. Он отмахнулся от детства и отрочества, в которых присутствовали боль и вина. Отрезал себя от этих мешающих, останавливающих его состояний.

Очень скоро после встречи с

духами преисподней умерла бабашка. Он тайно знал, что ее забрали духи, прияли его жертву, он повинен в бабушкиной смерти. И чтобы не испытывать эту вину, он постарался побыстрее забыть о бабушке. В крематории, где с бабушкой прощались немногочисленные родственники, и где ее маленькое тело поглотила геенна огненная, он даже не забрал урну с прахом. Так и оставил ее в распоряжении служителей крематория, которые развеяли пепел в подмосковных туманах.

Лежа на диване, занимаясь медитацией, он видел свой генетический код, свой

«молекулярный портрет». Две спирали вращались в разные стороны. Огненно-красная, похожая на пылающую ночную рекламу, — иероглиф его успеха, ненасытный червь наслаждений, формула блистательного таланта и неиссякаемых возможностей. И слабый голубой завиток, робкое облачко в лазури, готовое исчезнуть, — притаившиеся в душе сострадание, упование на добро и любовь, нежное воспоминание о бабушке.

Он услышал звук, похожий на жужжание жука, который влетает в окно, ударяется о настольную лампу,

падает на стол вверх ногами. Шевелится, силится раскрыть хитиновые надкрылья, хочет перевернуться, издавая тревожное жужжание. Это верещал и вибрировал «сотовый» телефон, три месяца молча пролежавший на столе. Секретный, «законсервированный» номер, предназначенный для одного единственного абонента, — находящегося в Лондоне Роя Верхарна, опального олигарха, который, спасаясь от тюрьмы, эмигрировал в Англию. Подвергнутый в России демонизации, преданный друзьями, оставленный испуганными сотоварищами, он рассылал из

Лондона молнии своей ненависти к Президенту, вынашивал планы возмездия. Стрижайло был из немногих, кто не отвернулся от злосчастливого миллиардера, не включился в хор травли, высказывал в его адрес публичные, сдержанно-комплиментарные характеристики. Телефон был куплен для экстренной связи. Еще не засвеченный «прослушкой», недоступный всеведующему уху ФСБ, стал «горячей линией» между Верхарном и Стрижайло. Молчал долгие месяцы и вдруг заверещал, как шевелящийся майский жук.

— Ну, как вы там, Мишель, поживаете? Слежу за московской

политикой, анализирую предстоящие выборы. Мне кажется, у коммунистов есть грандиозный шанс. Бездарная и пошлая власть делает все, чтобы народ валом повалил к коммунистам. У них есть исторический шанс взять реванш за поражение девяносто первого года. Это говорю вам я, стопроцентный враг коммунистов. Они должны использовать этот шанс.

— Согласен, Рой. Я разрабатываю для них выборную стратегию. Но коммунисты — это те, кто постоянно не используют свой шанс.

Стрижайло держал около уха урчащую лепешечку телефона, с удовольствием представляя Верхарна

по другую сторону земли. Узкое, стеариново-желтое лицо. Редкий начес волос на лысеющий череп. Маленький стиснутый рот. Чуткий нос, напоминающий нервный хоботок. Бегающие, как у зверька, пронзительно-умные глаза, которые вдруг замирали, превращались в блестящие черные шарики, а потом начинали скакать, мерцать, разбегаться в разные стороны, что соответствовало разным стадиям мыслительного процесса, приближению или удалению гениального решения.

— Им надо помочь использовать шанс, потому что парадокс заключается в том, что это

одновременно и шанс для демократии. Только коммунисты способны сохранить демократические завоевания и остановить сползание России к фашистской диктатуре. Это говорю вам я, который дважды в минувшее десятилетие останавливал коммунистов, не давал им прорваться к власти. Сейчас необходимо в их дряблое, но обильное тесто, в их коммунистическую квашню, добавить дрожжей, чтобы они быстрее созрели.

— Вы хотите сказать, что в пекарнях Лондона появились хорошие дрожжи?

Голос Верхарна, неискаженный

мембраной, звучал близко, с непередаваемыми блеющими интонациями, с частым заиканием. Как будто торопящаяся, бурно извергаемая мысль не умещалась в слова, опережала их, натыкалась на ограниченную в своих размерах фразу, стремилась продырявить ее конец, где и возникал срыв речи, блеяние бекаса, конфликт слова и мысли, предвестник микроинсульта.

— Потуги Маковского влиять на выборный процесс смехотворны. Говорю вам не потому, что он мой противник, а потому что он объективно слаб. Его сила основывалась на близости к Президенту, пока он делился с

Кремлем доходами и не помышлял о собственной политической роли. Теперь же он рискует возбудить против себя ненависть этого маленького, мнительного человечка, который ничего никому не прощает. И неизвестно, где окажется Маковский, — здесь, в Лондоне, или в Бутырской тюрьме. Чтобы победить в России, надо убивать, а он проповедует. Проповедников в России вешают за яйца.

— Вы удивительно прозорливы, Рой. Я только что был у Маковского. Он хочет использовать мои возможности. По-моему, он собирается стать Президентом.

Стрижайло представлял

Верхарна на каменной площадке перед его великолепным викторианским замком в предместьях Лондона. Вид на необъятный зеленый газон с громадными деревьями, под которыми перебегают пугливые лани. Зеркальные пруды, с которых взлетают казарки. И над синими туманами весенних дубрав парит самолет, снижаясь к аэропорту «Хитроу».

— Вы обратили внимание на рыжий, ястребиный глаз Маковского? Мак силен и прозорлив до той поры, пока в глазном яблоке у него мерцает око хищной птицы. Кто вырвет глаз, тот и победит Маковского.

— «Глаз вопиющего в пустыне» произвел на меня огромное впечатление. Именно этим глазом он вас сглазил, Рой?

Стрижайло восхитило мифологическое сознание Верхарна. Как лишенный бороды Черномор терял свою сказочную мощь, как оторванный от земли Антей утрачивал свою неодолимость, так и Маковский, по утверждению Верхарна, лишившись глаза, превращался в немощного карлика. Глаз Маковского был его «ахиллесовой пятой», уязвимой точкой могущества. Этот языческий мифологизм придавал Верхарну оттенок безумия, столь необходимого

для любого творчества. Именно это безумие сближало Стрижайло с Верхарном, указывало на их таинственное родство, как если бы в детстве у Верхарна был свой подвал — убежище духов тьмы, которые переселились в измученную душу ребенка.

— Мишель, поверьте мне, Маковскому никогда не стать президентом. Я — специалист по изготовлению президентов. Когда прошлый Президент превратился в груду опилок, на которую мочилась любая собачка, я собрал опилки в совочек, высушил и насыпал в новый чехол. После этого Президент еще три года правил Россией. Нынешнего

Президента я выстругал из
деревянной чурки, которую
подобрал, прогуливаясь на даче в
Барвихе.

— Это всем известно, Рой. Вы
изготовили нашего Президента, как
папа Карла изготовил Буратино, но
неблагодарная кукла стала тут же
долбить вас своим деревянным
носом. В вас говорит оскорбленное
отцовство.

Легкая ирония была допустима в
их отношениях. В период гонений,
когда за Верхарном охотились
спецслужбы, прокурор грозил
казнью, «Интерпол» требовал выдачи
беглеца, а интеллигенция, еще
недавно кормившаяся от щедрот

олигарха, отвернулась от благодетеля и, желая снискать милостей у Кремлевского Мстителя, кинулась поносить Верхарна, — Стрижайло им не последовал. Сохраняя чистоту игры и возвышенность творчества, не отвернулся от гонимого мученика, оказывал ему знаки сочувствия.

— Действительно, я придумал эту механическую куклу, собрал ее из пружинок, колесиков, древесных стружек, кусочков промокашки, лоскутков материи. Я сделал эту куклу президентом, справедливо полагая, что наш языческий народ станет молиться на любую чурку, если ее покрасить и позолотить. Но теперь я готов исправить ошибку.

Разобрать эту зловредную куклу на исходные материалы. Вы должны приехать в Лондон, и мы обсудим мой план. Есть несколько идей, которыми я желаю с вами поделиться, ибо по-прежнему считаю вас самым ярким представителем нашей политической культуры.

— Вы хотите поучаствовать в выборной компании? Хотите вступить в игру?

Стрижайло слышал, как в голосе Верхарна начинает звучать бекас. Это нервное блеяние свидетельствовало об усиленной работе сознания, которое разрывало подвернувшиеся слова, превращало их в вибрирующие

осколки. Эта интеллектуальная страсть, нетерпеливый азарт передались Стрижайло по электромагнитной волне. Долетели из предместья Лондона в Замоскворечье. Сочетали необъятный зеленый газон викторианского парка и рубиновую звезду над зеленой московской крышей. И все это, вместе взятое, вызвало у Стрижайло предощущение великолепной и опасной авантюры.

— Видите ли, Мишель, я никогда не уходил из игры. Они считают, что выдавили меня из России. Но я присутствую в каждой газетной статье и телепрограмме. Мои люди продолжают работать в

Правительстве, ФСБ, в прессе и банковской сфере. Мой бизнес продолжает приносить доходы, и я не пожалею денег, чтобы достичь цели. Моя цель религиозна. Я чувствую вину перед Россией, я каюсь, я готов искупить мой грех. Я породил эту механическую куклу, знаю, как она устроена, где у нее под лоскутками и тряпочками таится секретная кнопка, которую я нажимаю, и наш забавный непослушный болванчик разлетится вдребезги.

— Конечно, Рой, все знают, что вы мастер клеить забавных уродцев, знаете, где у них находится кнопка. Но до этой кнопки вам нужно дотянуться из Лондона. Вы тянетесь

к кукле, а она тянется к вам. Хочет найти вашу кнопку, вашу «ахиллесову пяту», ваш «глаз вопиющего в пустыне».

Стрижайло слышал в бекасином бляении вибрацию ненависти. Так посвистывает готовая к укусу змея. Шелестит в воздухе пуля. Тихо шипит покидающий ножны клинок. Верхарн модулировал своей ненавистью электромагнитную волну, которая взлетала с каменной террасы викторианского замка, настигала летящий по орбите спутник, отражалась от космических ретрансляторов и вонзалась в ухо Стрижайло, создавая в барабанной перепонке вибрацию. Стрижайло

чутко ловил трепет ненавидящей души, которая чуть слышно потрескивала, как тугой, раскрывающийся бутон. Это и было творчество, это и было цветение, сулившие Стрижайло восхитительные наслаждения.

— Вы правы, Мишель, они хотят меня устранить. Подсылают наемных убийц, как к несчастному Яндарбиеву. Прослушивают мои разговоры. Мой парк поставлен под усиленную охрану Скотланд-Ярда. Мой повар прошел проверку в английских спецслужбах. Мои охранники взяты из французского Иностранного легиона по рекомендации Жака Ширака.

Специалисты МОССАДа установили электронную защиту моих апартаментов. Я знаю, в лабораториях ФСБ готовят яд, чтобы намазать им жало ледоруба и вложить его в руку скромного секретаря, которого порекомендует мне какой-нибудь доброжелательный друг. Опыт Троцкого мною досконально изучен. Если лань приближается к моему замку ближе, чем на двести метров, ее расстреливает сидящий на крыше снайпер.

— Мне все это больно слышать, Рой. Я сопереживаю вам. Непременно приеду и выслушаю ваши идеи. Заранее предвижу их

неповторимый блеск. Маленькая просьба. Когда стану приближаться к вашему замку и пересеку двухсотметровую отметку, пусть снайпер в меня не стреляет.

— Но вы же не лань, мой дорогой Мишель. Вы — лев.

— Я не лев, я — Львович, — засмеялся Стрижайло, слыша, как рассыпчато хохочет человек в лондонском предместье, играя темными глазками, которые видят великолепный изумрудный газон, тенистые деревья, блеск прудов, взлетающих казарок, — золотой отсвет на их изогнутых крыльях.

Отложил «секретный телефон»,

в котором стихал блеющий звук. Возбужденно зашагал по кабинету, от стола карельской березы, напоминающего глыбу янтаря, до изящного шкафчика из того же великолепного дерева, где окаменело солнце минувших лет. Удача в который раз, полетав над миром, опускалась ему на голову. Видимо, удаче было удобно вить гнездо на его голове, в которой содержалось множество отменных, пригодных для строительства материалов, — талант, трудолюбие, веселая изобретательность, бесстрашие. Из всего этого будет построено гнездо, в которое усядется мистическая птица, отложит яйцо, свесив лазурный

хвост. Именно такой головной убор видел когда-то Стрижайло на картине художника Тышлера, большого мастера по части дамских шляп и еврейских семисвечников.

Он получал три грандиозных заказа, связанных с думскими выборами. Коммунисты ждали от него нетривиальных решений. Могущественный хозяин «Глюкоса» приблизил его к себе так близко, что становились видны рыжие, опасные кристаллики глаз. Верхарн приглашал его в Лондон, где цвели каштаны, и каждый благоухающий цветок был пропитан ядом ненависти.

Это и являлось настоящей

игрой, истинным творчеством, подлинной агрессией, когда одна, запущенная из шахты ракета с разделяющимися головными частями поражала одновременно несколько целей. Именно это роднило политологию с ракетной атакой, когда комбинированным неотразимым ударом менялся весь политический ландшафт. Ракета такого класса именовалась «Сатаной». Политолог такого уровня именовался Стрижайло. Стрижайло и был «Сатаной», вместилищем «духов тьмы», которые сообщали ему космическую скорость, непревзойденную точность, защиту от противоракетных систем

противника. Найдя эту аналогию превосходной, он сжал плечи, вытянул руки по швам, уподобляясь ракете, выходящей из тесной шахты. «Я — «Сатана»» — внушал он себе, фиксируя бортовым компьютером координаты трех выбранных целей.

Деньги, которые он мог получить, были огромны. Влияние, которое он обретал, умножалось стократ. Наслаждение, которое сулила игра, было неопишимо. Красная спираль генетического кода стремительно и страстно вращалась, будто над городом извивался алый, набрякший мотыль. «Музыка возбужденных молекул» казалась то коммунистическим

«Интернационалом», то звоном шаманского бубна, то концертом битлов, где отчетливо проступал мотив «Yellow Submarine».

От возбуждения Стрижайло не находил себе места. Приблизился к заветному шкафчику карельской березы, повернул в дверце ключик. Открыл, созерцая тайное собрание. Здесь была собрана драгоценная коллекция фетишей, оставшихся после любовных встреч, после которых женщина оставляла ему знак своей симпатии, напоминание о наслаждениях, невинный сувенир, хранивший пленительный образ владелицы.

Здесь был бюстгальтер с

забавными вырезами для сосков, —
презент экстравагантной поп-звезды.
Кружевные трусики,
принадлежавшие умной и
влиятельной даме из «Фонда
Карнеги». Тонкие розовые «бикини»,
в которых так чудесно смотрелась
стройная и не слишком молодая
телеведущая, знающая толк в
человеческих инстинктах.
Прозрачный, со стрекозиным
блеском пеньюар, из которого
выпорхнула миниатюрная
писательница, автор многотиражных
бестселлеров. Сиреневые колготки с
маленькой дырочкой на ягодице, —
дар чемпионки по фигурному
катанию. Носовой платок со

смешными, сделанными помадой каракулями, — их оставила на платке дама вице-спикер, большая, бело-розовая, парная, со складками на животе, сидевшая на краю скомканной постели. Черная ночная сорочка с бретельками, — ее кинула на спинку стула известная в Москве гадалка и ворожея. Остроносая туфля с отточенным каблуком, в которую упиралась сильная, гневная нога банкирши, — демонстрируя свое превосходство, она поставила ногу на грудь поверженного Стрижайло и больно надавила каблуком. Милый домашний тапочек из парчи с серебряной нитью, — его забыла в номере загородной гостиницы дочка

министра. Золотой брелок,
украшавший вянущую грудь
эффектной, неутомимой в
наслаждениях дамы-сенатора.
Нательный крестик с дешевой
цепочкой — наивный подарок
продавщицы из Подольска.
Пластмассовая заколка от волос,
светящаяся в темноте, как реклама
Лас-Вегаса, — ее забыла в машине
легкомысленная стриптизерша,
приводя в порядок свое
восхитительное, растревоженное
Стрижайло тело. Шелковая ленточка,
которой сельская учительницы
связывала на затылке свои льняные
волосы. Кожаная сумочка с духами,
помадой и пудрой, забытая в доме

Стрижайло пугливой женой
дипломата.

Эта коллекция была дорога
Стрижайло, возбуждала его
воображение, благоухала
тончайшими запахами запретных
вожделений и греховных утех.
Шкафчик был хранилищем
талисманов и фетишей, каждый из
которых, если произнести
заклинание, мог превратиться в
живую женщину, одарить
неповторимой усладой.

Он смотрел в глубину шкафчика,
как в кунсткамеру своего любовного
опыта. «Музыка молекул» звучала все
настойчивей, словно в паху у него
собрался весь ансамбль легендарных

битлов, — застреленный Джон Леннон, умерший от рака Джордж Харрисон, продолжающие здоровствовать Пол Маккартни и Ринго Старр. Раскачивая гитарами, вставая то на носки, то на пятки, поворачиваясь в разные стороны, они исполняли песню о таинственной желтой подложке. Что-то флотское, знакомое чудилось в этой мелодии. Сон домработницы Вероники Степановны, которой привиделся муж-флотоводец, подаривший во сне перламутровую раковину Афродиты. Это мучительно томило Стрижайло. Хотелось увидеть Веронику Степановну, стоящую босиком на сверкающей раковине посреди

морской стихии.

Вышел из кабинета в прихожую. Дверь на кухню была открыта. Вероника Степановна, спиной к нему, старательно терла пол, намотав на щетку влажную тряпку. Ее руки в желтых резиновых перчатках сжимали щетку. Кругом на стенах мерцала венецианская майолика. Дубовый бар повторял архитектуру «Палаццо дожей». Горела над столом фантастическая люстра, — летающая ладья Леонардо. Вероника Степановна терла пол, уперев сильные и упрямые, в форме бутылок, ноги. Ее полную талию опоясывала тесемка фартука, которая колебалась вместе с пухлыми,

тугими ягодицами. Фиолетовая седина струилась, словно ее раздувал морской ветер. За стойкой бара, слегка размытый, окруженный матовым светом, стоял морской офицер в черном мундире, с серебряными погонами. Молча протягивал большую, как блюдо, перламутровую раковину.

Стрижайло приблизился сзади к Веронике Степановне и положил ей одну ладонь на затылок, а другую на выпуклое бедро.

— Ах! — слабо воскликнула домработница, поворачивая выцветшее, с дряблыми щечками лицо, такое же, как на молочном пакете «Домик в деревне», — Что вы

делаете, Михаил Львович?

— Ваш муж подарил вам раковину, желая, чтобы вы стали молодой и прекрасной, как Афродита. Я помогу вам, Вероника Степановна, — он с силой, грубо нагнул ее сиреневую, пышноволосую голову, и она, выронив щетку, уперлась в край стола растопыренными, в желтых перчатках, пальцами. — Так надо, такова его воля, — произнес Стрижайло, резко задирая ее подол, обнажая обтянутые колготками, деформированные, оплывшие жиром полушария. — Мы придерживаемся добрых флотских традиций, не правда ли? — он свирепо рванул

колготки, видя уродливый, оставленный резинкой, розовый рубец, сизые, с натертыми мозолями ягодицы, большое, бесформенное бедро с черно-фиолетовым рисунком склеротических вен, напоминавших дельту Волги. — Все будет в согласии с флотским уставом, заверяю вас, Вероника Степановна!

Он овладел ей с отвращением, свирепея оттого, что ее отвыкшее от любви, иссохшее лоно напоминало кожаный складчатый кошель, отороченный лежалым войлоком. Он продирался сквозь жесткую кошму, кожаные морщины, как обезумевший путник продирается сквозь заросли верблюжьей колючки и наждачные

ложбины пустыни, надеясь добраться до оазиса с озерком невысохшей влаги, незасыпанным родничком. В ее растопыренных желтых перчатках было что-то от лягушачьих лапок. Крестец казался оплывшим куском стеарина. Флотский офицер из-за стойки молчаливо наблюдал их соитие. Оно проходило в формате морского боя, когда Пятая Средиземноморская эскадра схватилась с кораблями Шестого Американского флота.

Подводная лодка посылала в авианосец торпеду за торпедой. Выталкивала из аппаратов бурлящие снаряды, которые вторгались в стальные борта, продирались сквозь

оболочки, взрывались в глубине, вышвыривая из пробоин фонтаны огня и пара, черную копоть взрывов.

«Так точно, адмирал...» — бормотал Стрижайло, всматриваясь в близкое лицо флотоводца, в его немигающие глаза.

«Противолодочник» засек локатором лодку, обстреливал из глубинного бомбомета. Гроздья бомб летели над морем, падали с легкими всплесками, опускались вглубь и рвались, расталкивая взрывами воду, выбивая на поверхность водяные столбы. Взрывная волна ударяла в лодку, сминала корпус, рвала шпангоуты, и матросы, одурев от ужаса, забивали в пробоину кляп.

«Никак нет, адмирал...» — Стрижайло в азарте боя успевал рапортовать флотоводцу, видя, как светится серебро на черном парадном кителе.

Крейсер выпускал из контейнера крылатую ракету. Она мчалась на огненной метле, попадала в эсминец, разрывала надвое палубу, вышвыривала наружу горящие сгустки стали. Пораженный корабль медленно оседал на корму, окруженный кипятком и огнем.

«Будет исполнено, адмирал...» — Стрижайло откликался на приказ флотоводца, командовавшего морским сражением.

Самолеты пикировали на

эскадренный миноносец, посылали вихри ракет и бомб. Корабль, стеная от попаданий, огрызался зенитно-ракетным комплексом. Пускал в самолет отточенное острие. В небе плыл раскаленный шар взрыва, в море падали клочья огня и металла.

«Слышу вас, адмирал...» — это звучало, как последнее «прости». Стрижайло, подброшенный взрывом, вознесся в небо. Перед тем как ослепнуть, увидел огромное море, столбы и фонтаны воды, падающие из небес самолеты, тонущие корабли, и повсюду, в липком огне, барахтались люди. А потом все померкло.

Он устало оттолкнулся от вялых,

несвежих окороков, видя, как перебирает Вероника Степановна своими желтыми лягушачьими лапками. Она тяжело распрямлялась, шла, прихрамывая, в дальний угол кухни, пытаясь привести в порядок растерзанную одежду. Всхлипывала, поправляла сбитую сиреневую седину. Стойка бара была пустой, флотоводец исчез.

Стрижайло прошагал в кабинет, притворил дверь. Его сознание, пустое и светлое, было очищено от случайных эмоций, не обременено преждевременным творчеством. Лег на диван, подоткнул под голову персидскую, шитую золотом подушку.

глава седьмая

Утром ему позвонил персонаж по фамилии Веролей, таинственное существо, чем-то напоминающее гибкую водоросль, оторванную от морского дна, которая неожиданно всплывает, переносится с места на место, светится в ночи мертвенным голубоватым светом. Он находился в общении со всеми, — с левыми, правыми, радикальными, либералами, отъявленными фашистами. Всем помогал, кому лаской, кому незначительными услугами. Пригревал гонимых, как это было после августа 91-го и октября 93-го. Связывал разорванные

концы, восстанавливал отношения, был осведомлен в тайнах политики и партийных сплетнях. Был безобидным, добрым. Его бабье, безволосое, неведающее бритвы лицо озарялось болезненной улыбкой, как если бы ему делали больно, и он недоумевал и стыдился этих злых проявлений в свой адрес. Возможно, он был агентом спецслужб, сразу нескольких, и в его функцию входило бессистемное непрерывное общение, что обеспечивало огромный круг знакомств, перепутанность связей, хаотические и неожиданные потоки информации, из которых каждый мог черпать на свой вкус.

— Дорогой Михаил Львович,

смею напомнить о себе. С тех пор, как мы чудесным образом встретились на фуршете в отеле «Славянская», наблюдаю вас только по телевизору. Я выполнил вашу просьбу, поговорил с помощником Латвийского Президента. Они очень заинтересовались вашим предложением.

— Виталий Семенович, несказанно рад. Я слышал, вы помогли бедным «лимоновцам» избежать очередного громкого процесса. Это благородно. Надо помогать братьям нашим меньшим, даже если это гадкие, испорченные мальчишки.

— Вы просили меня, Михаил

Львович, о встрече с Николаем Николаевичем. Тогда он не мог, еще был связан обязательствами. Но теперь окончательно выведен за штат и готов повидаться. Генералы щепетильны, не то, что мы, штатские.

— Мне кажется, я могу сделать Николаю Николаевичу лестное предложение. Его опыт, связи и репутация обеспечат ему видное место в политике.

— Очень хорошо, Михаил Львович. Не могли бы мы повидаться?

— Разумеется. Где и когда?

— Что если вы пожалуете сегодня в гольф-клуб «Морской

конек»?

— Сегодня? Мне не слишком удобно, Виталий Семенович.

— Предложение повидаться исходит не только от меня, но и от очень влиятельного лица.

— От кого же? От балетмейстера Большого театра?

— От балетмейстера сáмого большого театра.

Стрижайло не стал переспрашивать, кто имеется в виду. Вдруг почувствовал, что появление человека-водоросли знаменует приближение могучих безымянных течений, морских потоков, повернувших вдруг в его сторону. Эти течения, подобно Гольфстриму, несут

с собой огромные массы тепла, кислорода, питательного планктона, состоящего из креветок и водорослей, которыми питаются киты. Появление этой струящейся морской травы могло означать, что скоро, в тусклом сиянии, на горизонте возникнет фонтан воды, сверкнет и канет глянцевитое тело кита.

К вечеру, оснащенный пригласительной картой, одетый комифо, в костюме от «Хьюго Босс», в туфлях от «Барбер», он появился в гольф-клубе «Морской конек», который скрылся от посторонних глаз в зеленой ложбине неподалеку от иностранных

посольств, в том месте, где кончаются особняки, и земля образует глубокую мягкую складку с миниатюрным озером, изысканным дворцом, чудесным благоухающим газоном, среди которого белеют камни, то ли природные, отшлифованные ледником валуны, то ли абстрактные скульптуры, повторяющие пластику женского тела.

Стрижайло заметил обилие охраны. Его дважды, у двух шлагбаумов, останавливали, сверяя пригласительный билет и паспорт. Повсюду виднелись молодцы, зачехленные в темную форму, с рациями и пистолетами. Кое-где, на

крыше дворца, на склонах ложбины ему померещились снайперы. Возник и скрылся стрелок, несущий на плече переносной зенитно-ракетный комплекс, на случай, если сверху, в зеленую чашу начнут планировать дельтапланы, и тогда их встретит заградительный огонь автоматчиков, пуск ракеты. Все это могло означать одно, — ожидалось посещение какой-то значительной персоны, возможно, самого Президента. Шофер, отыскав свободное место рядом с вишневым «бентли», поставил автомобиль на площадке, где было тесно от великолепных иномарок, черных, кварцевых «джипов» охраны, и возвышались

окаменелые группы телохранителей, похожие на дольмены.

Здание клуба, изящно вписанное в зеленый ландшафт, мягко светилося теплым деревом, переливалось стеклом, было наполнено нежным оранжевым светом. Состояло из ресторана, отдельных кабинетов, конференц-зала. Уютный бар соединялся с открытыми верандами, куда можно было выйти с собеседником и, попивая коктейль, любоваться блеском воды, переливом фонтана, отражением московской зари.

Гости были в сборе, наполняли бар, вестибюль. Медленно перемещались, образуя небольшие

группы. Соединялись, распадались, переходили от одной группы к другой. Любезно улыбались и острили, ненавязчиво выпрашивали и намекали, обращались с просьбами и злословили, вынюхивали новости и обменивались сплетнями. Принадлежа к высшему кругу, были тщательно отобранны, отшлифованы, притерты друг к другу. Понимали с полуслова, посылали молчаливый знак, слабый жест, чуть двигали бровями. Казалось, все были осыпаны легчайшей пылью, помечены благоухающими каплями, по которым узнавали себе подобных, метили один другого незаметно, во время шуток и злословий, касаясь

лацканами пиджака, обмениваясь рукопожатиями. Пересыпали эту пыльцу с пиджака на пиджак, переносили клейкие ароматные капли с ладони на ладонь. И все исподволь, нетерпеливо и ревностно поглядывали на центральные двери, в которых должна была появиться ожидаемая высокая персона. И тогда все обернутся к ней, стараясь первыми попасть на глаза, поймать ее улыбку, радостно и преданно пожать протянутую руку.

Стрижайло присоединился к гостям, двинулся, описывая окружности разной величины, словно попал внутрь часового механизма, состоящего из колесиков,

шестеренок, каждая из которых цепляла другую, передавая невидимое драгоценное время.

Официанты картинно стояли перед тележками, угощая гостей фирменным коктейлем «Морской конек». В бокалы с шампанским добавлялась ложка цветного ликера, лился коньяк, и когда в стекле начинало кипеть, мерцать, вспыхивал мистический подводный цвет, официант серебряными щипцами эффектно выхватывал из аквариума морского конька, кидал в бокал. Морское существо начинало пульсировать среди пузырьков, скручивало спиральку хвоста, растопыривала перепонки,

приобретало таинственные
расцветки. Гости подносили к губам
бокалы, видя игру света на чешуйках
морского дива.

Первым, кто уронил бесцветную
благоухающую капельку на рукав
Стрижайло, был его вечный
соперник, удачливый
недоброжелатель, обольстительный
плут, — кремлевский политолог
Петропавловский. Мягкий и
бархатный, словно кот, с ласковым
лицом, масляными глазками,
которые лучились, теплились,
переливались, будто их хозяин
подглядывал в замочную скважину за
переодевающей женщиной.
Женщина была хороша, поставила на

стул обнаженную ногу, медленно совлекала чулок. Петропавловский, наблюдая, облизывал красные губы сладострастным язычком.

— Я согласен с вашей теорией архетипов русского народа, — произнес он с легким превосходством, которое обеспечивал ему статус самого влиятельного политтехнолога страны. — Русские воспринимают не умом, но сердцем. Не рациональную теорию, но фантастический миф. Все действующие ныне политики имеют в народном сознании образы сказочных героев. Губернатор Санкт-Петербурга — Баба Яга. Министр экономразвития — Кощей

Бессмертный. Председатель Счетной палаты — Водяной. Лидер ЛДПР — Домовой. Глава МЧС — Леший. Они хоть и отрицательные персонажи, но не страшны, не враждебны. Народ живет с ними, как жил тысячу лет назад. Я использовал на президентских выборах образ Георгия Победоносца, поражающего зло бедности, коррупции, несправедливости. Так витязь поражает дракона. Эти героические черты я транслировал в народное сознание с помощью новейших психологических методик. И, как видите, добился успеха. Жаль, что вы работаете на коммунистов, и мы не можем соединить наши усилия.

В бокале Петропавловского среди пузырьков переливался морской конек, приобретая рубиновый, изумрудный, лазоревый цвет. Петропавловский выпил коктейль, облизнул влажные губы. Выловил из бокала морского конька, надкусил с хвоста и сочно, с чмоканьем высосал, оставляя потускневшую, поблекшую шкурку. Кинул останки водяного существа в бокал. Поставил на поднос проходящего официанта.

Стрижайло был уязвлен. Соперник не стеснялся демонстрировать превосходство. Не пускал на пьедестал, с которого ему было видно дальше, чем Стрижайло.

Расправа с морским коньком выглядела тайной угрозой, которой он предостерегал конкурента от необдуманного вмешательства. Вялый бесцветный чехольчик, из которого были выпиты соки, намекал на возможность расправы. Испытывая ревность, близкую к ненависти, пряча ее за любезной улыбкой, Стрижайло раскланялся, переходя к соседнему гостю.

Молодой и веселый фат с жестами, выдававшими теннисиста, темноглазый, с кавказской горбинкой носа, он весь исходил энергией, нетерпением, обаянием преуспевающего ловкача. Это был могущественный чиновник

Администрации Президента Чебоксаров, с бесовской ловкостью управлявший бестолковыми депутатами Думы, чванливыми губернаторами, неповоротливыми лидерами партий. Обольщая, стравливая, осыпая то деньгами, то компроматом, Чебоксаров обращался с политической элитой, как умный и жестокий псарь обращается с озлобленной сворой. Жертва, которую он выбирал, напоминала затравленного зайца. Он же, непокусанный, разгоряченный охотой, кидал окровавленного зверька к ногам своего Хозяина.

— Почему я вас не вижу в Кремле, дорогой Стрижайло? Мне

так не хватает идей, не хватает креативных советников. Столько тупой, непроходимой скуки и глупости. Вы из немногих, от кого исходит непрерывное творчество. Петропавловский, говорю вам с сожалением, иссяк. Повторяется, имитирует. Все больше становится публичным софистом, а не политехнологом. А ведь предстоят великие перемены. Окончилась либеральная революция, и мы должны деликатно отвинтить дантонам и робеспьерам их революционные головы. Я ношусь с великим планом преобразования России, который может соперничать со столыпинским. Из плоской, как

блин, дырявой и кислой власти мы построим незыблемую пирамиду, определив в ней иерархию сословий, рангов, регионов, партий. Господству олигархов, таким, как Верхарн или даже Маковский, приходит конец. Самодурству губернаторов и президентов в папах положен предел. Личность Президента, после каждого свидания с Патриархом, приобретает черты помазанника. Вот чем заняты мои мысли, дорогой Стрижайло. Я нуждаюсь в вас. Этот проект должен быть завершен раньше, чем страну потряхнет очередной взрыв Басаева. Разгребая последствия теракта, мы заодно пустим бульдозер по всем трухлявым

постройкам российской власти. Когда пыль осядет, когда смолкнут погребальные оркестры, все увидят великолепный кристалл новой российской государственности, рожденной из крови и слез.

Он говорил откровенно, не делая тайны из своего грандиозного замысла, как человек силы и неограниченной власти. Эта власть не была облечена в тяжеловесные золоченые ризы, или в помпезный военный мундир. Она была сшита по индивидуальному заказу в ателье «Поль Цилери», выглядела неповторимо изящной, легкой и неотразимой, с кавказской горбинкой носа, с золотым «Брегетом» и

великолепным беспощадным
цинизмом, в котором запах
французского одеколona смешивался
с горьковатой сладостью гексогена.

Стрижайло испытывал перед
ним восхищение, дорожил его
расположением. Ему хотелось
спросить, где купил Чебоксаров свой
шелковый, оранжево-золотистый
галстук. Не тот ли это знаменитый
фасон, что воспроизводит расцветку
коллекции Фаберже.

Чебоксаров изящно, маленькими
глотками допил коктейль. Не
считаясь с условностями, вытряхнул
на ладонь розового морского конька.
Сдавил ему грудку, умертвляя
пульсирующее, с выпученными

глазками, животное. Бережно открутил ему голову. Выдавил из него, как из тубика, клейкую зеленоватую струйку. Слизнул, отирая руки батистовым платком. Незаметно уронил конька на пол, чтобы кто-нибудь наступил на зверька, поскользнулся и сломал себе ногу.

Следующий гость, к которому повлекло Стрижайло по невидимой орбите, был окружен слушателями, подобострастно внимающими каждому слову. Это был спикер Совета Федерации, мордастый, страстный, с пылким взглядом спаниеля, с горячим дыханием неистового рта, откуда-то и дело по-

собачьи вываливался красный язык. В его тщательно невыбритой щетине было то же нечто собачье, отчего глаз начинал искать ошейник, но находил темно-алый галстук из бутика «Европа» с бриллиантовой булавкой. Его страсть, неутомимое говорение, щедрое расходование обильных, полученных от вкусной еды калорий были направлены на обожание Президента, на изъявление верноподданных чувств. Казалось, он все время, высунув язык и роняя жаркую слюну, бежит по следу, ловит запахи обожаемого существа, ищет своего властелина, а найдя, кидается опрометью на его штиблеты, трется о них щетиной, отчего штиблеты

начинают солнечно сиять.

— Наш Президент, — я говорю «наш», потому что он действительно наш, — озабочен состоянием нравственности в обществе. Просил меня выступить с законодательной инициативой, запрещающей называть «блядьми» матерей-одиночек. У нашего Президента, — повторяю, он именно «наш», по менталитету, по образу жизни, пониманию основополагающих ценностей русской жизни, — у него есть три, я бы сказал, страсти, или точнее, государственных заботы. Чтобы бедность хоть понемногу, но отступала. Чтобы авторитет России на международной арене рос. И

чтобы с международным терроризмом, в том числе, и в Совете Федерации, было покончено. Надеюсь, вы понимаете, о чем я говорю? Ведь некоторые сенаторы с кавказским акцентом еще недавно дружили с Басаевым. — он жаркодохнул, показав и спрятав длинный язык. Оглянулся, как это делает пес, готовый приступить к поеданию сладкой косточки. Сгорбил спину, как если бы под дорогим пиджаком у него встал загривок. При этом зоркие глазки продолжали следить за дверью, не появится ли точеная фигурка обожаемого человека, чтобы нестись навстречу, жадно ловить взгляд.

Спикер осушил бокал, где золотился морской конек, похожий на амулет из коллекции скифского золота. Не стал извлекать животное. Смотрел, как лишенное питательной среды, оно иссыхает и чахнет. Как мучительно вздрагивает спиралевидный хвост, трепещут перепонки, меркнут и наполняются мутью страдальческие глаза. Дождался, когда морской божок сдох. Передал бокал с трупиком одному из вежливых собеседников.

Кружась по залу, Стрижайло не мог не подойти к колоритному господину, напоминавшему купца из старообрядцев. Бородатое степенное лицо. Старомодная «тройка» с

золотой цепью от карманных часов. «Окающая» речь, нарочито звучащая среди сюсюкающего, грассирующего и картавящего окружения. Впрочем, не хватало картуза, колесного парохода и трактирного слуги с полотенцем наперевес, присутствующих на рекламе пива «Сибирская корона». Борода, золотая цепь и «окающая» речь принадлежали известному банкиру Пужалкину, чье православие, близость к Президенту, конкуренция с еврейским капиталом снискали любовь в патриотических кругах и тайную враждебность в стане олигархов, считавших его, и не без основания, антисемитом.

— Это, я вам скажу, истинное чудо Господне! Владыка отговаривает плыть на Афон: «Буря, девятый вал, того и гляди корабль утонет, и окажешься ты, аки Иона во чреве кита». Я же, уповая на Господа, отплыл. Верите, нет, братие, как только показался святой остров, так ветер стих. По морю, яко посуху, достигли мы дивного острова. Как ступил на берег, так сразу же в обители преподобного Паисия заказал молебен по случаю чудесного спасения среди пучины морской. Настоятель, принимая от меня дар, спросил, не желаю ли еще о чем попросить Отца Небесного. Я ему сказал: «Твоя молитва, отче, дойдет

до Бога быстрее моей. Попроси Господа, пусть избавит Россию от жидов и поможет нашему православному Президенту додушить олигархов!»

Окружавшие Пужалкина молодые люди семинарской внешности с военной выправкой согласно кивали. Их русые головы, расчесанные на прямой пробор и смазанные лампадным маслом, истово светились. Банкир перекрестился, набрал воздух, залпом осушил бокал. Вытряхнул бьющегося морского конька на большую ладонь. Схрумкал его вместе с кожурой, брызгая соком, демонстрируя пристрастие к дарам

моря. Служка в подряснике протянул полотенчко, которым купец отер патриархальные усы и бороду.

Стрижайло двигался в медленных водоворотах, оставляя слабо светящийся, долго негаснущий свет. Так переливается призрачным светом планктон, потревоженный плавником рыбы. Он искал среди присутствующих Веролея, обещавшего конфиденциальную встречу с важной персоной. Веролея не было. Персоны, явившиеся в гольф-клуб, были, несомненно, важны, но ни одна из них не обнаруживала особую пристрастность к Стрижайло. Как и он к ним. Они являлись средой его

обитания. Кормовой базой, которая поставляла ему неограниченные калории. Объектами его изучения, занесенными в картотеку с описанием их гороскопов, сексуальных наклонностей, криминальных связей, банковских счетов, телефонных компроматов. Он знал историю их возникновения из социального праха и политической пыли, когда, под воздействием загадочных сжатий, из мусора возникало молодое светило. Начинало блистать, излучало энергию, эффектно всходило на небосклоне, чтобы вдруг померкнуть, мгновенно остыть, обратиться в комочек пыли, рассыпаться

горстками мусора. Он был подобен астрологу, изучавшему рождение и гибель небесных тел. Подобен алхимику, познававшему тайны перехода одного вещества в другое, — вульгарного металла в драгоценное золото, и бесценной платины в рыхлую ржавчину. Он не тяготился отсутствием Веролея. Наслаждался созерцанием именитых персон, как писатель наслаждается созерцанием прототипов будущего романа.

Два министра — Оборона и Иностранных дел, — носившие одинаковые фамилии «Сидоров», одинаковые туфли «Барбер», одинаковые золотые часы «Корум

Койн Уотч», вели заинтересованную
беседу. Сидоров-оборонщик
жаловался Сидорову-
международнику:

— Представляешь, на последних
учениях в Северокавказском военном
округе я выпил сырую воду из ручья,
и весь покрылся болячками. Под
мышками, в паху, на животе, на
ягодицах, между лопатками. Сначала
я поверил нашим микробиологам,
будто Басаев, узнав о моем
прибытии, вылил в ручей раствор
«сибирской язвы». Но потом одна
знахарка сказала, что это просто
сглаз. Меня сглазил министр
обороны Рамсфельд, когда мы
встречались на саммите «Россия —

НАТО». Знахарка смешала обычный ружейный порох с луком и конской мочой и заставила выпить. Почти все болячки сошли, только на ягодицах осталась. Вот и стою, как мудак.

— Мы в таком переломном возрасте, что надо очень и очень следить за здоровьем. Я, к примеру, использую несколько оздоровительных методик, которым научился у аккредитованных в Москве дипломатов. Проснувшись, ложусь на полчаса в ванную со льдом, как мне посоветовал посол Исландии. Затем обкладываю себя листьями табака, заваренными в кипятке, как рекомендовал посол Кубы, лежу около часа. Затем

выпиваю сок манго, смешанный с мясом паука-птицееда, что вызывает бурное действие желудка, — рекомендация посла Мозамбика. Освободившись от шлаков, съедаю кусочек ягеля, запивая литром рыбьего жира, что замечательно промывает печень, — совет посла Норвегии. И только затем приступаю к дыхательной гимнастике, по методике посла Индии, и к бегу прыжками, — методика посла Чили. Ну а уж после этого ебу и ебу этих мерзких япошек, чтобы не приставали с проблемой Курильской гряды.

Оба сочувствовали друг другу. Подняли бокалы с морскими

коньками, пятнистыми, черно-зелеными, как в камуфляже. Пожелав друг другу здоровья, выпили. Министр обороны выплеснул своего морского конька в бокал министра обороны. Оба молча смотрели, как сцепились в смертельной схватке два водяных дракончика, хлещут друг друга хвостами, секут плавниками, беспощадно долбят носами.

Еще одна вельможная пара дружески разглагольствовала, — председатель Центризбиркома Черепов и советник Президента по информационной политике Ясперс. Главный специалист по выборам производил странное впечатление, — в его костяной голове, мертвенно-

голой, оправдывающей фамилию
хозяина, безумно сверкали голубые
карбункулы глаз. Так выглядит маска
смерти, когда вскрывают саркофаг и
в черепной коробке, оскаленной, без
носа и десен, в пустых глазницах
сияют камни небесного цвета, отчего
археологи сходят с ума или падают
замертво. Ясперс напоминал
длинноголового дятла с упрямым
носом, плоским лбом и сдвинутыми
к затылку глазами. Монотонно,
однообразно он продавливал дыры в
общественном мнении еще во
времена Первого Президента России.
Продолжал заниматься тем же при
его преемнике. Дыр было много. Под
каждой лежала труха истребленных

истин. Этой же трухой был забит клюв, отчего его владелец говорил слегка в нос. Сдвинутые к затылку глаза позволяли видеть опасность в то время, когда долбящий нос был погружен в дупло. Он был во всем черном, с фиолетовым галстуком, с таким же платком, торчащим из нагрудного кармана. Известный франт и дамский угодник, прятал в безупречно сшитом костюме другое неутомимое долото.

— Демократия, по моему глубокому убеждению, это религия, — сверкал карбункулами Черепов. — Если угодно, язычество, когда толпа возводит и низвергает кумиров. Центризмбирком с

компьютерами, подсчитывающими голоса, — это капище, а я верховный жрец.

На капище, как известно, приносятся жертвы. Каждый раз, перед думскими выборами я отправляюсь в Африку на сафари и охочусь на кенийского козла. Это неописуемой зрелище, — саванна, малиновый рассвет, загонщики стучат в тамтамы, на заре летят бесчисленные птицы. И вдруг выскакивает козел, огромный, с витыми рогами, шерстяной, яростный, и ты его бьешь из автомата несколькими пулями, слыша, как чмокают попадания. Тут же, пока он еще бьется, я пью из раны его кровь.

Носильщики подвязывают его за ноги к шесту и несут в лагерь. Сливают кровь в сосуды, сдирают шкуру, разделывают. Самолетом я отправляю тушу в Москву и в главном компьютерном зале совершаю обряд помазания. Мажу черной кровью козла компьютеры, электронные табло, терминалы. Жареное мясо поедаю с сотрудниками. Шкуру отдаю скорняку, и из кожи козла делают переплет Конституции. И тогда во все наши подсчитывающие и передающие системы вселяется дух африканского козла, покровителя демократии.

— Умоляю вас, — с долбящими

движениями головы и с легким прононсом отвечал ему Ясперс, — пусть об этом никто не знает, — ни пресса, ни партии, ни мажоритарные кандидаты. И особенно церковь. Хотя иерархи лояльны к власти, но в низах, на приходах, распространяется мнение, что в главный компьютер страны вселился дьявол, заложено число 666, которому и соответствует образ козла, то есть, Зверя. Если бы вы знали, как трудно мне было уверить общественное мнение, что Первому Президенту пересадили сердце, а не семенники абиссинского бабуина. Хотя, должен вам сказать, через неделю после пересадки он уже гонялся за медсестрами ЦКБ,

опираясь по-обезьяньи на передние лапы, и не было ни одной, кто бы от него увернулся.

Оба не притронулись к предложенным бокалам, в которых, среди пузырьков, продолжали пульсировать морские коньки. Один отражал голубые карбункулы, другой — фиолетовый бант.

Стрижайло, озирая зал и наполнявшие его группы, различал неформальные центры влияния, конкурирующие союзы, противоборствующие объединения. Но среди этих неявных группировок существовали два яростных, непримиримых полюса, посылавшие один другому молнии ненависти. Две

красавицы в разных концах зала наблюдали одна за другой, испепеляя сверкающими глазами. Одна, известная балерина Колобкова, недавно капризно покинувшая сцену Большого театра, пышная и прелестная, с гордо посаженной головой, с ампирной красотой узкой талии и высокой груди, отыскивала соперницу большими гневно-прекрасными очами, требующими, чтобы та исчезла, испарилась, превратилась в морского конька. Другая, точеная, искусительно-прекрасная Дарья Лизун, с нервным порочным лицом, круглыми коленями, напоказ сияющими из-под короткой юбки, дочь известного

российского либерала. Первопроходец реформ, вернувший Санкт-Петербургу его исконное имя, любитель тонких усад, во время оргии он был заперт в раскаленной сауне, где при температуре двести градусов сварился, как рак. Однако был похоронен, как просветитель и национальный гений. Обе женщины были возлюбленные Президента, но вступали в свою должность поочередно, сменяя одна другую в дни новолунья. Как только полная луна шла на ущерб, балерина уступала место сопернице, и та всходила на августейшее ложе. Сегодня был второй день новолунья, все ждали Президента, и было

неясно, кого он увезет из гольф-клуба под светом полной луны.

Стрижайло был знаком с Дарьей Лизун, флиртовал с ней однажды и даже подвез в лимузине к дискотеке. Успел в темноте салона провести рукой по длинной ноге от сухой лодыжки до напряженного бедра. Он уже хотел, было, приблизиться к женщине, чтобы скрасить ее одиночество, но двери распахнулись, словно их толкнул шквал ураганного ветра, и в зал влетела буря.

Это был Директор ФСБ Потрошков, именуемый за глаза «Потрошитель», могущественный, баснословно богатый. Управляя спецслужбой, через ее

всепроникающую структуру он влиял на каждую малую точку жизни и на все бытие в целом. Без его соизволения писатель не мог стать лауреатом премии, магнат не смел перевести в оффшоры криминальные деньги, ни одна «дама сердца» не решалась переступить порог интимных покоев Президента. Еще вчера по его приказу был взорван в Эмиратах чеченский лидер, писавший оскорбительные стихи в адрес ФСБ. А сегодня, как извещали газеты, астрономы Пулковской обсерватории открыли новую небольшую планету, передав ее в распоряжение Потрошкова для загадочной, пугающей общество

цели. Высокий, костлявый, с тяжелой, напоминающей грушу головой, во всем черном, он вошел так, словно был облачен в ботфорты, нес на голове медный кивер, был опоясан перевязью с палахом. За его плечами бушевали вихри преодоленных пространств, стенали души истребленных врагов государства. Воздух перед ним расступался, образуя безвоздушное пространство, в котором начинали задыхаться и падать в обморок оказавшиеся на пути неудачники. С порога раскланивался, блестел глазами, похожими на бронзовых жуков. Никому не подал руки, удалился на второй этаж клуба, где

размещались отдельные кабинеты, а, быть может, и камеры смертников.

Все были потрясены его внезапным явлением. Чувствовали себя виноватыми в каком-то, еще не совершенном преступлении. Были готовы к явке с повинной. Понимали, — вот он, настоящий хозяин страны, подлинный лидер нации, теневой правитель России. Официанты бросились поднимать нескольких упавших в обморок гостей, среди которых был похожий на молочного поросенка олигарх, владелец «Бета-банка», утаивший от Потрошкова банковский счет на Кипре.

Стрижайло не удивился, увидев

подле себя Веролея. Тот проструился между гостей, как гибкая безвольная водоросль. Бледный, безволосый, с мучительной улыбкой изгоя, он представился, извиняясь:

— Вот он и я.

Это не требовало пояснений. И так было видно, что он — водоросль, принесенная потоком, где только что проплыл кит. Ударил хвостом, оставляя водоворот, в котором кружился оборванный стебель травы.

— Вас приглашают, Михаил Львович. Я вас проведу.

Они поднялись на второй этаж, где смолкли голоса и звоны бокалов. По мягким коврам приблизились к двери красного дерева. Верoley

отворил без стука, пропуская вперед Стрижайло и тут же пятясь назад. Дверь бесшумно прикрылась, и Стрижайло оказался с глазу на глаз с Потрошковым в мягко освещенном пространстве, где малиновая, шитая золотом парча, смуглое резное дерево, бронзовые, в виде лотосов, канделябры создавали убранство в стиле «барокко».

— Садитесь, — тусклым голосом произнес Потрошков, дожидаясь, когда визитер разместится в удобном кресле по другую сторону овального лакированного стола. Не было кофейного сервиза, отсутствовали рюмки и пепельницы, — только

зеркальный овал, в котором перевертывалось, отрезанное по пояс, отражение Потрошкова, что создавало ощущение огромной игральной карты.

Молчали, и это молчание Стрижайло использовал, чтобы рассмотреть всемогущего шефа ФСБ, которого можно было достать ударом кинжала.

Теперь, при ближайшем рассмотрении, он уже не был похож на грозного кирасира. Примечательно было его лицо. Голова, на макушке узкая, иссеченная из неживого камня, спускаясь ниже, постепенно расширялась, размягчалась, наполнялась цветами

жизни. Губы, окруженные фиолетовой кожей, шевелились, словно постоянно процеживали воду. Щеки завершались толстым отвислым подбородком, в котором не было челюсти, а в кожаном розоватом мешке что-то переливалось, студенисто плескалось, перекачивалось желеобразными комьями. Нос, мясистый, лиловый, свисал наподобие короткого хобота, который при желании мог удлиняться, чутко щупал пространство. Во лбу, в выточенных каменных нишах, окруженные белыми ресницами, ярко блестели глаза, — два немигающих черно-зеленых слитка.

Это была голова осьминога, и Стрижайло не удивился, если бы под столом свивались тяжелые, покрытые присосками щупальца.

Чем дольше они молчали, тем безвольней становился Стрижайло, попадая под воздействие загадочного магнетизма, свойственного существам подводного мира. Недаром моряки вдруг ощущают беспричинный ужас, или мертвящую усталость, или безумное беспричинное веселье, когда их корабль проплывает над незримым чудовищем, которое посылает из бездны свой поцелуй.

— Я отложил все дела, чтобы поближе познакомиться с одним из

самых блестящих интеллектуалов, чье влияние на российскую политику оценивается не долларами, а каратами, — прервал молчание Потрошков. Его голос донесся до Стрижайло, как из-под воды, в которой колыхалось всплывшее из преисподней чудовище.

— Я не смел и подумать, что моя скромная личность заинтересует столь выдающегося политика и стратега, коим являетесь вы, — пролепетал Стрижайло, едва справляясь с цепенящими силами, от которых язык с трудом выговаривал слова.

— Я не торопился познакомиться с вами лично. Долгое

время наблюдал ваши успехи со стороны. Изучал ваш стиль, проверял ваши методики и прогнозы. Сейчас наступил момент, когда я счел за благо лично познакомиться с вами и изложить ряд идей, чтобы услышать ваше мнение...

Стрижайло понимал, что находится под воздействием гипноза. Лицо Потрошкова обладало гипнотической силой, природа которой крылась в непрерывном шевелении губ, слабом подергивании носа, блеске немигающих глаз, но главное, — в странном поведении подбородка. Кожаный мешок раздувался, опадал, менял оттенки, от нежно-розового до изумрудно-

зеленого, повторяя галлюциногенные
цвета ночных дискотек, в которых
наркотическая молодежь
погружается в транс, управляемая
переливами лазерного луча,
порхающими зайчиками света.

— Наш Президент —
непредвиденное чудо России.
Нежданное избавление от
неминуемой гибели. Страна сгнивала
дотла, в ней не было ни единой
здоровой клетки, ни одной
жизнеспособной молекулы. Все
кипело в смраде распада. Наш
Президент — последнее зерно в
драгоценном генофонде Вавилова,
хранящее бесценные свойства
пшеницы. Это зерно мы прятали в

самых секретных, потаенных отделах
ФСБ, где оно дремало, сбереженное
Великим Генетиком. Наш Президент
— носитель небывалого «Плана
России». «Плана», о котором никто
не ведает, основанного не на
мертвенной красной пыли
исчезнувшего коммунизма, не на
белой пудре навсегда испарившегося
царизма, а на сакральной философии
XXI века, собравшей в себя идеи
генной инженерии, разгаданного
генома, «молекулярной музыки»,
неисчерпаемой энергии
искусственно сотворенной,
бессмертной плоти. Этому «Плану»
чинятся препятствия.
Международные террористы с

бородой ваххабита и выучкой ЦРУ
пытаются убить Президента.
Олигархи ненавидят Президента,
который стремится вернуть нефть
народу, использовать ее для создания
гигантов генной индустрии.
Губернаторы, привыкшие к анархии,
боятся централизма, без которого
неосуществим «План». Либералы,
вечные враги России, продолжают
отравлять организм страны,
натравливают на Президента
Америку. Коммунисты, пользуясь
несчастьями предшествующего
правления, готовят всенародный
бунт. Все вместе объединяются,
входят в заговор, готовы реализовать
его на предстоящих думских и

президентских выборах. Или они победят, сорвут «План России», приведут страну к необратимой гибели. Или мы победим и продолжим готовить условия для осуществления великого «Плана»...

Стрижайло испытывал гипнотическое опьянение. Подбородок Потрошкова мягко увеличивался, разбухал, перетекал с одной стороны лица на другую. То становился багряно-красным, как вечерняя заря, то начинал зеленеть, как зимнее небо, где загорается первая ледяная звезда. Переливы цветов сопровождались музыкой, исходившей то ли из глубины подбородка, как печальные вздохи

раковины, то ли из сердца Стрижайло, являясь «музыкой влюбленных молекул». Опьянение было сладостным, побуждало любить таинственного гипнотизера, который выбрал его из тысячи, приблизил к себе, открыл сокровенную тайну, наградил безграничным доверием.

— Мне известны ваши последние деяния. Вы сошлись коммунистами, получили от Дышлова заказ разработать предвыборную стратегию, чтобы «красные» получили большинство в Думе и выдвинули Дышлова в Президенты. Мне известен ваш визит к Маковскому, этому агенту демократической партии США,

который ненавидит Россию, стремится лишить ее политической воли, превратить в жалкое подобие парламентской республики с вечным хаосом обезумевших партий, и, став Президентом, передать иностранцам нефтяные кладовые России. Мне известен ваш разговор с Верхарном по «секретному» телефону, номер которого давно уже значится в моей телефонной книжке. Верхарн, люто ненавидящий Президента, спонсирующий киллеров, которых мы регулярно отлавливаем на маршрутах президентского кортежа, — этот лондонский шизофреник хочет использовать ваш ум, талант, непредсказуемую

изобретательность, чтобы сокрушить Россию, не дать осуществиться «Плану». И вот я думал, кто вы? Сознательный враг страны или творец, который нуждается в творчестве и поэтому, как великие художники Ренессанса, принимает заказы, не задумываясь, от кого они исходят? Как поступить с вами? Сделать так, чтобы ваш «фольксваген-пассат» упал с эстакады и взорвался? Или чтобы в вашей квартире обнаружился след цианистых испарений, а ее хозяин лежал в постели с мертвым оскаленным ртом? Или чтобы вы бесследно исчезли, погребенный на свалке под грудой гнилого мусора, и

над вами ходил каток, утрамбовывая
пластмассовые бутылки и гнилые
молочные пакеты? Как мне быть?..

Стрижайло испытал
космический ужас. Подбородок
Потрошкова увеличился до
невероятных размеров, черно-
лиловый, с дрожащим ртутным
отливом, как гневная морская
пучина, над которой несется буря,
как крошечный Космос, где мерцают
зарницы иных миров. Музыка,
которую издавал черно-синий
раздутый кошель, была «музыкой
ужаснувшихся молекул», симфонией
гибнущего мироздания. В ней
отчетливо звучала мелодия
большевистской песни: «Мы

железным конем все поля обойдем». В парализованном разуме, среди разбухших, готовых лопнуть сосудов пучились реликтовые страхи, метались генетические ужасы. Тюремные камеры, полные стонов. Ночные допросы в свете слепящей лампы. Гулкие шаги коридоров и сиплые крики охраны. Этапы и пересылки, лесоповалы и гнилые бараки. Изможденные лица истребленной родни, и кто-то приставляет к затылку холодный ствол нагана, и кто-то командует «пли». Стрижайло умирал под взглядом жутких немигающих глаз всплывшего из бездны чудовища.

— Но нет, вы — не враг, вы —

гений. Непревзойденный художник, импровизатор, побеждающий энтропию омертвелых форм своей пассионарной экспансией. Ошибка власти, что она до сих пор не предложила вам богатырскую задачу, которая была бы по вашему молодецкому плечу. Этот Чебоксаров выродился в жалкого манипулятора и софиста. Догоняет события, пытается дать наименование тому, что уже совершилось. Вы не просто угадываете будущее, вы его формируете. Управляете будущим, когда оно еще в чреве матери, искусственно оплодотворяете его своими идеями. Вы — мистик, религиозный мыслитель. Вовлекаете

в политику природные коды, реликтовые знаки, культурные прототипы. Гениален проект, когда вы решили для создания партии использовать русский тотемный образ медведя, пригласили на партийный съезд тяжелоатлетов с фамилией «Медведев», провели учредительный съезд в Медведкове, изобразили на партийной эмблеме Большую Медведицу, — вот и родилась самая перспективная «партия власти». Великолепна выдумка, когда на выборах в Нижнем Новгороде вы напугали избирателей тем, что в случае победы прежнего губернатора наступит конец света, случится падение звезд. Лучшие

астрологи и звездочеты предрекали губительный звездопад, огненный метеорный дождь, от которого вскипит Волга и сгорят хлеба. За несколько дней до выборов вы подняли ночной самолет, распыливший в небе кристаллы магния. Сгорая, они наполняли небо бесчисленными бенгальскими огнями, прекрасными и в то же время ужасными. И ваш недруг-губернатор не прошел. Или снятый по вашему заказу блестящий фильм «Бампер» с поэтикой уголовного мира. В нескольких регионах, где крутили этот фильм, к власти пришли «братки». Нам пришлось их убирать, где с помощью суда, а где и

с помощью снайпера. Вы лучший из всех, кого я знаю. Восхищаюсь вами. Вы — национальное достояние, как Волга, как «Евгений Онегин», как автомат «Калашников»...

Ужас, который минуту назад испытывал Стрижайло, сменился ликованием и восторгом. Подбородок Потрошкова округлился, наполнился ослепительным светом, будто в нем всходило солнце. Был золотой, восхитительный, в нем звучала увертюра Мусоргского «Рассвет над Москва-рекой». Сердце Стрижайло переполняла бодрость, свежая сила, непочатая радость, а вместе с ней — благодарность к этому прекрасному ликом человеку, очаровательному,

благородному, кто угадал его гениальность, назвал великим, протянул свою властную, щедрую руку.

— Хочу предложить вам проект. Неограниченные деньги, помощь спецслужб, телевидение, полномочия, — все это будет в вашем распоряжении. Вы должны разрушить заговор, обращенный против Президента. Должны разрушить предвыборные стратегии Дышлова, Маковского и Верхарна. Вы работаете с ними, проектируете их предвыборные «машины». Все трое вам доверяют. Заложите в эти «машины» невидимые дефекты. Пусть они стартуют и после взлета

взорвутся. Пусть на предвыборном небосклоне мы увидим три взрыва, и на землю упадут обломки коммунистов и олигархов-заговорщиков. Вам это под силу. Вы присутствуете сразу в трех проектах и можете поразить их одной ракетой с разделяющейся боеголовкой. Вы ведь сами ракета «Сатана», не так ли? Мы расчистим эти обломки, выиграем выборы, и тогда, утвердив Президента, станем реализовывать небывалые по размаху задачи. Вы получите ведущую роль в трансформации российской власти, в создании централизма, без которого невозможен «План России». Я подробно посвящу вас в этот

секретный, грандиозный по глубине и размаху «План», в котором вам уготована роль главного политолога...

Подбородок Потрошкова утратил форму, сверкал, ослепительное сиял, заслоняя этим сиянием остальное лицо. Вместо лица у него была пылающая звезда, плодоносящее светило, из которого рождались вселенские миры и галактики, излетали волны творящего света, звучала оратория «Сотворение мира». Стрижайло испытывал небывалое наслаждение, слепящий восторг. Его переполняли силы космического творчества. Сам Господь сделал его соучастником

творения. С той же силой и красотой, с тем же божественным светом происходило зачатие мира, и Вселенная оглашалась музыкой оплодотворенных светил.

Еще находясь под гипнозом, но не в омертвлении чувств, а в творческом упоении, Стрижайло воскликнул:

— Я думал об этом. Есть несколько средств, с помощью которых можно оторвать коммунистов от их онтологической основы. Перекрыть доступ космической энергии, и они обессилят. Необходимо отменить празднование 7 ноября, сакрального дня коммунистической революции.

Необходимо снять с кремлевских башен красные звезды. Необходимо вынести из мавзолея тело Ленина. Если провести эти действия до выборов, они не дойдут до избирательных урн, и их можно будет сметать в совочек, как осенних мух.

— Я знал, что вы полны идей, — глаза Потрошкова, зеленые, в белых ресницах, были похожи на бронзовых солнечных жуков, присевших в белые соцветия, — Ну а чем же мы заменим звезды на башнях?

— Водрузим морских коньков.

— Вы бьете налету, как стриж, — рассмеялся Потрошков. — Однако не будем импровизировать. Продумайте проект глубоко и дайте

мне знать. У нас на связи будет Веролей. Он надежный человек, безбородый скопец. А значит, противник не сможет подослать ему женщину. Покинем этот кабинет порознь и будем считать, что мы заключили союз.

Он вынул из-под зеркального стола руку, протянул Стрижайло. И тому померещилось, что рука на глазах образовалась из мясистого розового щупальца, покрытого присосками.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Стрижайло вернулся в зал, пребывая в необычайном воодушевлении. Хотелось немедленно покинуть собрание, чтобы приступить к размышлению. Оказаться в тиши кабинета, среди любимых предметов и фетишей. Или в политологическом центре, среди компьютеров, графиков и досье. Или на природе среди весенних рощ и цветущих холмов, где во время прогулки его посетит озарение. Однако, клубный вечер продолжался, и Стрижайло, боясь утратить ощущение чуда, уединился в стороне, наблюдая гостей.

Потрошков уже был в зале, окружен вниманием, ничем не напоминал недавнего многоцветного моллюска. Элегантный и светский, говорун и шутник, взял под локти обеих министров Сидоровых, прогуливался и над чем-то заразительно хохотал. Подошел под благословение архиепископа, тучного, в черной рясе, всем видом изображая смирение, готовность подчиниться духовному авторитету. С банкиром Пужалкиным наотмашь ударили по рукам, будто заключали сделку. С советником по информации Ясперсом о чем-то зашептались, и Потрошков покрутил у виска пальцем, называя кого-то

сумасшедшим. Не замечал Стрижайло, ничем не выдавал их общую тайну, делавшую обоих почти что братьями.

По-прежнему в разных концах зала две красавицы, балерина Колобкова и Дарья Лизун, поглядывая на огромную, вставшую в вечернем небе луну, обменивались ненавидящими взглядами. Словно использовали одна против другой боевые лазеры.

Стрижайло, ощущая свою молодую силу, неотразимость, плотность и свежесть мускулов, остроту ума, приблизился к Дарье Лизун и галантно поклонился:

— Надеюсь, вы меня помните,

Даша?

Лицо красавицы, удлинненное, прелестное, покрытое средиземноморским загаром, капризно к нему повернулось. В розовой мочке уха переливался бриллиант. В тонкую, как лепесток, ноздрю была продето золотое колечко с бриллиантовой каплей. Полуодетая, с округлыми, цвета персика, плечами, в нежнейшем, напоказ бюстгальтере, с обольстительным животом, на котором сверкал алмаз, она узнала Стрижайло, но, раздраженная соперницей, пожелала его уязвить:

— Кажется, вы известный мукомол из Краснодара?

— Почти вспомнили. Я торговец рыбой из Мурманска.

— И почему нынче норвежская сельдь и шведская семга?

— Цены колеблются. Сейчас полнолуние. В цену входят летающие рыбы и танцующие феи.

— Если вы имеете в виду Колобкову, то она принадлежит к классу танцующих слоних.

Мимо них проходил посол Голландии, белокурый молодой человек. Поклонился Дарье Лизун и с акцентом произнес:

— Добрый вечер, Кассиопея.

— Это верно, что Колобкову уволили из Большого театра, потому что все ее напарники-танцоры, в

конце концов, ломали себе крестцы, когда старались ее поднять? — Стрижайло знал, чем расположить к себе Лизун.

— Еще бы, в театре был создан специальный травматологический пункт, — язвительно подхватила красавица, благодарная Стрижайло за колкость в адрес соперницы. — В травмопункте оказывались все балетные танцоры, с кем она выходила на сцену. За один спектакль она ломала хребет двум или трем солистам. Большинство из них ходит в корсетах, а одного похоронили с эпитафией: «Он танцевал легко и лихо, его расплющила слониха».

Мимо проходил вице-спикер

Думы, статный, слегка
прихрамывающий, похожий на
раненного в бою офицера:

— Кассиопея, рад вас видеть, —
загадочно улыбнулся он, проходя. —
Я сочинил экспромт, который вам
посвящаю. «Среди затмений лун и
новолуний мне нравится шалунья из
шалуний» — Стрижайло
продекламировал случайно
сложившийся стих, гадая, почему
проходящие мужчины называют
Дарью не по имени, а употребляют
название созвездия, — алмазное
«дабл-ю», сверкающее в небесах.

— Как поживаете,
Кассиопея? — это был еврейский
миллиардер с двойным

гражданством, скупавший якутские алмазы. Мягко прошел, загадочно улыбаясь румяными губами.

— Я ваш платонический поклонник, Дарья. Благородство и пылкость вашего знаменитого отца и несравненная красота вашей матери позволили природе в вашем лице достичь совершенства. — Стрижайло нарочито потупил глаза, как если бы боялся, что Лизун заметит в них необузданную страсть. А сам с усмешкой вспомнил, как в загородном отеле, на пышной кровати обнимал пухлое тело женщины-сенатора, вдовы известного либерала Лизуна, и та издавала пронзительные крики

испуганной чайки.

— Мой вам поклон,
Кассиопея, — это произнес
Председатель Центризбиркома
Черепов, пронося мимо маску
смерти, украшенную голубыми
карбункулами.

Стрижайло собирался узнать,
как соотносится его собеседница с
небесным созвездием, но среди
гостей вдруг обнаружилось
движение. Все двинулись к
стеклянным дверям, стали выходить
из зала на воздух.

Там, снаружи, на зеленом
вечернем газоне, под огромной
круглой луной танцевала Колобкова.
Одна, не замечая зрителей,

погруженная в сладостное кружение, легко перебегала босыми ногами. Ее длинное, нежно-серебристое платье, с открытой грудью, сшитое великолепным кутюрье, было прозрачно, пронизано лунным сиянием. Она мягко подпрыгивала и мгновение держалась в невесомости, не касаясь травы. И тогда казалось, что ее удерживает лунное притяжение, она стремится к луне, как ночная бабочка. Она была легка, бестелесна, словно дух Елисейских полей, куда прилетает после земной юдоли, освободившись от бременной материи. Ее танец был лунатический. Было видно, что веки ее закрыты, голова склонилась на стройной шее,

будто она дремлет в полете. Возносила, ударяя стопой о стопу, замирала, как если бы ее удерживал лунный свет, а потом приземлялась на гибкие пальцы. Вздыхала обнаженную руку, склоняла голову, расчесанную на прямой пробор, и казалось, что это античная статуя белеет на зеленом лугу. Статуя оживала, поворачивалась на одной ноге, восхитительно стройная, грациозная, сотворенная из прозрачных теней. Не было музыки, но чудилось, — звучат струнные инструменты, поют нежные мелодичные дудки. Это звучал растревоженный ее движениями воздух, пел лунный свет, струился

зеленый луг, трепетало в зеркальном пруду блестящее отражение луны. Хотелось целовать следы ее ног на траве, ловить губами поколебленный ее движениями лунный свет, вдыхать переливы прозрачного платья. Ее танец был исполнен любви. Она призывала любимого, сулила ему блаженство, увлекала в бесконечную красоту весенней ночи, где им вдвоем будет так чудесно.

Она была услышана. Глянцевито сверкая, к краю газона подкатил черный бронированный «мерседес». Распахнулись дверцы, телохранители заняли защитную позицию, и на газон ступил Президент, невысокий, изящный, с бледной мягковолосой

головой, в легком пиджаке и рубашке «апаш». Его выпуклые полудетские губы, тонкая, отливающая синевой переносица, большие пустоватые глаза производили впечатление мягкости, кротости и застенчивости. Что многих вводило в заблуждение, в том числе и жителей Грозного, не переживших вакуумные бомбы, установки залпового огня, взрывы «Ураганов». Теперь же его появление напоминало сказку, — волшебная луна, танцующая во сне балерина и принц, который явился, чтобы спасти зачарованную красавицу.

Все обступили его, добивались внимания, норовили попасть на глаза. Спикер Совета Федерации,

жарко дыша языком, был готов кинуться в ноги и щетиной довести до блеска его туфли. Оба министра Сидоровы, желали первыми сделать доклад, один — о боеготовности войск, другой — об успехах внешней политики.

Политолог Петропавловский моргал сладкими карамельками глаз, не позволяя им склеиться, делал вид, что имеет сообщить Президенту нечто чрезвычайно важное. Советник Ясперс скосил долгоносую голову, изображая настороженного дятла, готовясь долбануть клювом всякого, кто нарушит протокол. Православный банкир по-купчески расправил усы и бороду, готовясь к

троекратному поцелую.
Архиепископ, крупный, зачехленный
в мантию, издалека посылал
Президенту крестные знамена,
оберегая его от порчи. И только
Потрошков остался недвижим,
посылая Президенту молниеносный,
сверкающий взгляд, природу
которого не успел разгадать
Стрижайло, столь стремительно
зажглась и погасла блестящая линия,
соединяющая две их головы.

Президент застенчиво
улыбнулся, извиняясь пред всеми за
причиненный переполох.

— Право, я не хотел нарушать
ваше милое времяпрепровождение.
Заехал по пути с одной только целью.

Сообщить благородному собранию приятное известие. Астрономы Пулковской обсерватории после долгих вычислений и исследований навели, наконец, телескоп на искомую точку и обнаружили в этом месте небольшую планету, которой присвоили имя — «Балерина Колобкова». Я приехал, чтобы поздравить нашу замечательную танцовщицу и увезти ее в Академию Наук, где ей будет вручен диплом с фотографией названной в ее честь планеты.

Все восхитились, захлопали в ладони, обратили взоры на балерину. Та стояла под огромной луной, потупив очи, бессильно опустив

плечи, беззащитная, босоногая, на холодной росистой траве, и возникло ощущение, что ее сейчас подхватят невесомые духи луны, унесут навсегда с земли, опустят на одинокую маленькую планету, где она превратится в статую, будет нестись в безвоздушном пространстве, поражая своей мертвенной красотой воображение молодых астрономов.

Президент сделал знак телохранителю. Телохранитель шагнул к «мерседесу», извлек из салона шубу из голубого песка, передал Президенту. Тот ступил на луг, приблизился к балерине и накинул на ее продрогшие голые

плечи струящийся, пушистый покров. Осторожно приобнял, повлек к машине. Охранники бережно, поддерживая дышащие меха, усадили Колобкову на заднее сиденье. Президент обернулся к публике, махнул на прощанье рукой, погрузился в салон. Стрижайло вновь заметил молниеносно сверкнувший луч, — из глаз Потрошкова к президентскому лицу. Тончайший световод, наполненный загадочными сигналами. Вырвал из пространства луч, спрятал в глубину своей памяти. Так отламывают тонкую, в перламутровых переливах сосульку, чтобы принести ее в дом, рассмотреть замороженную в нее

радугу. «Мерседес» укатил. Остался пустой, темно-зеленый луг, огромная луна, которая призрачно озаряла пустоту, где еще недавно стояла прекрасная женщина.

— Уебище! — простонала стоящая рядом со Стрижайло Дарья Лизун. Он увидел, как вонзились ее острые зубки в пунцовую губу, и под ними выступили капельки крови. Пленительная, нежная, она вдруг стала уродливой, злой, с жестоким оскалом, круглыми ртутными глазами, похожая на своего покойного отца, когда тот вернулся из Тбилиси, получив от русского десантника удар саперной лопаткой по темени. — Уебище непотребное!

Все, кто присутствовал на фуршете, бросали на нее сочувствующие и злорадные взгляды.

— Бедная, прекрасная Кассиопея, — произнес Ясперс, вытягивая шею и наклоняя клюв, будто хотел заглянуть ей в бюстгалтер.

— Увезите меня отсюда! — Дарья Лизун повисла на локте Стрижайло, — Иначе я начну бить посуду!

Он усадил ее в «фольксваген», бросил «Дону Базилио» короткое: «Езжай!» Гладил ей руку, успокаивал:

— Эта лошадь, этот орловский рысак в юбке, эта скифская баба не

стоит вашего розового прелестного ушка с бриллиантовой звездочкой. — Она была в его власти. Оскорбленная, бешенная, лишенная бдительности, готовая к безумным поступкам, была беззащитна перед его искусством обольщения, его мужской вкрадчивостью, неотвратимой настойчивостью. Она нуждалась в реванше, должна была отомстить вероломному любовнику, — И этот хорош — гений лунного света, продавец астероидов, Президент Ночной Туфли, — сочувствовал ей Стрижайло, овладевая ее волей.

— Боже, как бы я хотела напиться!

— Едем ко мне. Мой бар в

вашем распоряжении.

Они приехали в Замоскворечье. Стрижайло впустил Дарью Лизун в свою роскошную квартиру, которая радостно вздохнула всеми картинами, керамическими блюдами, шелковыми подушками, приветствуя гостью. Усадил ее в гостиную, среди картин:

— Здесь вы в безопасности. Здесь вы у друга. Здесь вам поклоняются, служат вам раболепно.

Стрижайло окружал ее обожанием, печально сострадал, шел навстречу ее капризам.

— Сейчас напьемся. Что будем пить?

— Виски со льдом, но без

содовой, — сказала она, яростно отсекая содовую, как если бы эта содовая была синонимом Колобковой, подвергалась отторжению и ампутации.

Стрижайло пошел на кухню, к холодильнику. Прежде чем насыпать в серебряное ведро ледяные кубики, извлек из потаенных глубин памяти похищенный в гольф-клубе отрезок луча. Фрагмент световода, хрупкую трубочку льда, куда был заморожен взгляд Потрошкова, устремленный на Президента. Странный перламутровый проблеск мартовской сосульки, которую бережно положил в морозильник, чтобы позднее извлечь, внимательно

рассмотреть переливы света, изучить
наплывы льда, исследовать
запаянные пузырьки и частицы, —
расшифровать таинственное
содержание взгляда.

Вернулся в гостиную. Поставил
перед гостьей несколько бутылок
виски, лед, толстые, с хрустальной
насечкой стаканы, блюдо с арахисом
и миндалем. Плеснул в стаканы
светло-золотой «Макаллан»,
полыхнувший огнем. Кинул
серебряными щипцами драгоценные
брусочки льда.

— Дорогая Дарья, я лишен
поэтического дара, но наделен
эстетическим чувством. Природа
долго оттачивала свое мастерство,

прежде чем в вашем лице достигла совершенства. За вашу красоту, ваше превосходство, вашу способность облагораживать мир! — он не заботился о содержании тоста, а только об интонации преданности, обожания, беззаветного служения. Чокнулись. Он видел, как жадно, захлебываясь, выпила она виски, отталкивая губами кусочки льда. Потребовалась минута, чтобы янтарный огонь обежал все ее прелестное тело от влажных губ до пальчиков ног и зажег в глазах две злые желтые точки.

— Я не большой знаток женщин, — сказал Стрижайло. — Но мне кажется, что Колобкова —

надувная женщина, которую берут с собой в дальнее плавание моряки. Ее можно раздуть до величины аэростата, и в этом природа ее невесомости.

— Напротив, — взвилась Дарья Лизун, послушно и страстно устремляясь в ту сторону, куда указывал ей Стрижайло. — Она жутко набирает вес, обрастает мускулами, укрепляет кости. В ней происходят мутации, меняется пол, она превращается в мужчину-тяжелоатлета. У нее начинают расти усы, и появляются мужские половые признаки. У нее неумный аппетит, словно она беременна бегемотом. Сжирает за обед несколько тарелок

супа, холодец, рыбное заливное, свиные рулеты, говяжьи вырезки, долму, хинкали, пельмени в сметане. Обязательно на десерт — сладкий торт, пирожное, чашку крема, миску сбитых сливок. Каждый день прибавляет по два килограмма, как свиноматка. Скоро достигнет убойного веса, когда я зарублю ее топором! — эта яростная тирада восхитила Стрижайло, он едва ни рассмеялся, но изобразил на лице негодование, отвращение к этой непомерной плотоядности, ведущей к перерождению пола.

— Если бы вы знали обстановку в Большом театре перед ее увольнением, — продолжала

язвительная Дарья Лизун. — Партнеры, вынужденные с ней танцевать, подали петицию балетмейстеру и дирекции, грозя забастовкой, срывом зарубежных гастролей, обращением в Комиссию по правам человека. Там говорилось, что эту балерину невозможно поднять. Что легче танцевать со статуей «Родина-мать», что на Мамаевом кургане, чем с этой бетонной глыбой. Что в ее действиях усматриваются признаки садизма и умышленного членовредительства, когда она разбегается на сцене и с огромной скоростью бросается на танцора, который ловит ее налету. Весь зал слышит, как хрустят его

кости. Из последних сил он уносит ее за кулисы и падает с переломом позвоночника, после чего его тут же гипсуют. Ее называют: «Терминатор русского балета». Дважды на нее подавали в суд, заводя уголовное дело, и только вмешательство Генпрокурора по просьбе нашего Президента Ва-Ва, не давало ход расследованию.

Лизун бурно хохотала, вожаденно поглядывая на бутылку виски. Стрижайло открыл «Грантс», темно-коричневый, с сумрачным золотом, плеснул в бокалы. Смотрел, как жадно глотала она пылающий огонь, словно слизывала язычки солнца на смуглом дереве.

— Остается пожалуй нашего ненаглядного Ва-Ва, который стал пленником ее сырой рыхлой плоти. Хрупкий, прозрачный на свет, с пузырьками выпученных глаз, он напоминает креветку, на которую навалился гренландский кит. Вы завтра увидите, каким он явится на Совет Безопасности. Плоский, расплющенный, превращенный в фольгу, как будто бы его пропустили сквозь прокатный стан, били по нему огромной кувалдой. Это Колобкова подмяла его под себя и станцевала на нем Сен-Санса «Умиравший лебедь». Я обращалась к Потрошкову, предупреждая, что страна может остаться без Президента, но этот

упырь только посмеивался и норовил залезть мне под юбку.

Глаза ее горели рыжим рысьим огнем. Мочка уха, в которой сверкал бриллиант, стала пунцовой, и Стрижайло, мысленно теребя ее губами, чувствовал, какая она горячая. Ноздри, где переливался второй бриллиант, страстно выдыхали прозрачный жар ненависти. Стрижайло добавил в стаканы «Гленгойн», чувствуя, как распахнулось пространство, посветлело в комнате, будто зажгли люстру. Картины на стенах увеличились, зашевелились, запылали красками.

— Но наш-то, наш-то Ва-Ва! Как

он мог предпочесть эту летающую корову вам? Патология? Отсутствие вкуса? Или воздействие злых чар, с помощью которых она «присушила» его?

— Понимаете, — Лизун жадно опустошила стакан, задохнувшись от пламени. Приоткрыла рот, позволяя избыточному огню выйти наружу, возвращая себе дар речи. — Он просто уебище, наш Ва-Ва. Он чудовищно невежественен, невосприимчив к прекрасному и сложному. Ищет в политике и жизни примитивных решений. Сколько раз я пыталась растолковать ему смысл теории Фукуямы о «конце истории», сущность концепции Хантингтона о

«войне цивилизаций», устройство электронного фаллоимитатора. Ни в какую. Устает от серьезного. Читает только Коэлью о мальчике, который в огороде нашел свое счастье. России не везет с Президентами, а мне не везет с любовниками. Зачем мне моя красота?

— Повезет, дорогая, —
Стрижайло гладил ее тонкие пальцы. — Вы — эксклюзив!

Он влил в стаканы струю «Блэк лейбл», цвета еловой смолы, и когда чокнулись, выпили, Стрижайло показалось, что края стакана полыхнули плазмой, как край тучи, за которую спряталось солнце, и на выпуклых веках Дарьи Лизун

засверкали бесчисленные
разноцветные блески, словно пыль
морозных рождественских небес.
Опьянение было подобно прозрению.
Он был одарен свыше, избран среди
бесчисленных, не наделенных даром
существ, как единственный,
неповторимый носитель дара,
всемогущий кудесник, избранник
сильных мира сего, которые вручают
ему свою судьбу, и он волен
поступить с ними по своей прихоти
и капризу. Надеть на их утомленные,
изрезанные пороками лица
великолепные маски, прельщающие
своей красотой. Или отыскать в
каждом тщательно охраняемую,
уязвимую точку и вонзить

убивающую иглу. Ему принадлежат великолепные дворцы на побережье Средиземного моря. Скоростные белоснежные яхты «Рива», скользящие у острова Бали. Бесшумные лимузины «майбах», летящие по синему асфальту Калифорнии. Изящные самолеты «фалькон», доставляющие его на африканское сафари. Прелестнейшие женщины мира, с которыми плывет в гондоле по изумрудной воде Канале-Гранде. Ювелирные шедевры фирмы «Бушерон» и излюбленные им для рождественских подарков зеленые, розовые и голубые бриллианты фирмы «Графф». Его ждут в интеллектуальных салонах мира,

закрытых избранных клубах, тайных ложах, на частных аудиенциях у августейших особ. И эта, сидящая перед ним красавица пребывает в полной его власти, он может сделать ее счастливейшей женщиной мира или заставить умереть.

— Но, может быть, все-таки Колобкова обладает каким-нибудь прельстительным свойством, которого нет у вас, дорогая Дарья? — Стрижайло взирал на близкую женщину, чьи движения стали неверны, а глаза то сжимались до узких зеленых скважин, то внезапно расширялись в желтые безумные жерла. — Каким-нибудь секретиком, который она стыдливо прячет между

колен, допуская до него только президента Ва-Ва?

— Да ну вас к черту! — рассердилась Лизун. — Над ее «секретиками» смеются в гинекологических кабинетах Москвы!

— Но, может быть, провинциальная непосредственность и пышная русскость делают ее столь привлекательными для Ва-Ва, который сделал ставку на «Русскую идею»? — не унимался Стрижайло, видя, как досаждают он Лизун, как наливаются ненавистью зеленые просветы ее глаз, как вспыхивают бешенством ее рыжие, рысьи глазища. — Вы все-таки слишком

европейская, — «мисс Евросоюз», «леди ВТО», «фройляйн НАТО». А в Колобковой — эта млечность русских снегов, плавность и задумчивость среднерусских пейзажей.

— Она мордва, меря, чудь белоглазая! Набитая дура, которая думает ногами. Сжимает крохотную голову Ва-Ва своими чугунными коленями, пока ни затрещат черепные кости, а потом диктует перечень украшений, которые он должен заказать для нее у ювелира Стивена Вебстера. Она делает из Президента дебила с деформированным черепом, о чем осторожно написала «Франкфуртер

альгемайне». К тому же, по утверждению «Гардиан», передает добытые в постели сведения эмиссару Масхадова в Лондоне Ахмеду Закаеву, — Лизун была пьяна, бешенство ее было замешено на четырех сортах виски и тонких ядах, которые подсыпал ей Стрижайло. Она ревновала, негодовала. Прищуренные глаза ее переполнялись слезами изумрудного цвета и тут же высыхали от рыжей ненависти.

— Я ломаю себе голову, почему Ва-Ва выбрал ее, а не вас? — Стрижайло упивался ее страданиями. Делал ей тонкие болезненные надрезы, не отнимавшие жизнь, но

причинявшие нестерпимую боль. —
Может быть, секрет в ее танцах? Она
непревзойденная танцовщица.
Языком танца она объясняется ему в
любви, поет нескончаемую «Песнь
песней».

— Она — танцовщица?
Окончила детскую балетную школу в
деревне Ярцево Усть-Кутского
района, где выправляла кривизну
своих рахитичных ног! Это я —
танцовщица! Получила приз на
лучший танец в Лас-Вегасе.

— Потанцуйте, моя дорогая, —
восхищенно воскликнул Стрижайло,
указывая ей на стол, снимая с него
бутылки. Прошел к проигрывателю,
поставил компакт-диск «Нирваны» с

Куртом Кобейном. Уселся в кресло, чувствуя, как наркотически, под действием музыки, расслаивается сознание. В драгоценном, из нержавеющей сплавов реакторе из сырой вязкой нефти выделялись легкие фракции. Прозрачные бензины, летучие огненные эфиры, бестелесные духи земли. Дремлющий, тягучий вар подсознания источал невесомый факел голубого огня.

Дарья Лизун сбросила легкие узконосые туфельки, ударившие о пол заостренными шпильками. Шагнула на кресло, переступая босыми ногами на стол, едва удержав равновесие. Стрижайло кинулся

подхватывать, успел восхититься видом сброшенных туфель, подошва которых была чуть намята и стерта ее босой стопой, а также близкими, у самых глаз, на столе, голыми пальцами ног с серебристым педикюром. Лизун пьяно колыхалась, двигала плечами и бедрами, ловила музыку, как парус ловит капризный ускользающий ветер. Картины на стенах воззрились на нее, окружая яркими, огненными пятнами. Стрижайло откинулся в кресле в позе эстета и меломана, который не мало потрудился, запустив великолепную театральную постановку, и теперь готовился насладиться зрелищем.

Дарья танцевала, превращая гибкое тело в плавный винт, слегка приседала, выставляя колени, а потом выпрямлялась, поднимаясь на цыпочки, резко поворачивала голову, осыпая на лицо густые волосы. Освободила плечи от легкого блузона, выхватывая голые руки из рукавов, метнула ненужный блузон в угол гостиной, предстала стройная, с голым животом, обнаженной шеей, волнуя под зыбкой тканью свободной, не стесненной бюстгальтером грудью. Три бриллианта, — в мочке уха, в ноздре, в темной ложбинке пупка, — драгоценно сверкали, образуя треугольник, в котором метался

восхищенный взгляд Стрижайло. Офицеры на картине Шерстюка «Русская рулетка», отбросили пистолеты и взирали на танцовщицу, явившуюся им в глуши туркестанского гарнизона.

Дарья возносила к потолку обнаженные руки, сплетала в запястьях, словно ее подвесили на цепях, силилась вырваться, мучительно и страстно толкалась вперед животом, выбрасывала длинную ногу с узкой смуглой стопой. Стрижайло ловил губами душистый, поднятый ее телом ветер. Она скрестила на животе руки, ухватила края короткого полупрозрачного топики, потянула

вверх, пропуская сквозь ткань рассыпанные волосы, метнула ненужную оболочку в другой угол гостиной, представ обнаженной по пояс, сочно-женственная, золотисто-загорелая, с прелестной линией плечей и бедер, с заостренной грудью, на которой, у розового соска засверкал еще один бриллиант, превращая треугольник в драгоценный параллелограмм, каждую вершину которого целовали губы Стрижайло. Адольф Гитлер на картине художника Анзельма грозно озирает танцовщицу, словно сравнивал ее с Евой Браун, которая мирно гуляла на веранде альпийского замка.

Дарья сжималась, приседала, прятала голову в коленях, словно закрывалась от настигающего несчастья, уклонялась от хлещущих ударов бича. Бурно распрямлялась, распахивала руки и выгибала спину, будто ее распинали, растягивали веревками на кресте, и она билась в муке, дрожала бедрами, стараясь соскользнуть с распятия. Короткая юбка едва скрывала подвижные бедра. Она потянула мохнатый пеньковый пояс, юбка упала, она переступила бесформенную горку материи, спихнула ногой со стола. Во всей ослепительной женственности, окруженная светящимся воздухом, в узких, отороченных кружевом

трусиках, под которыми выпукло выделялся лобок, закружилась, поворачиваясь спиной, играла лопатками, вращала круглыми ягодицами, между которых пропадала, становилась невидимой матерчатая ленточка. Даблоиды Тишкова, — шагающие по дороге лиловая печень, розовое извлеченное сердце, залитый желчью желудок, — замерли, тоскуя по целостности и красоте совершенного тела, из которого их насильственно вырвали, разъяли божественную красоту.

Пробежала на цыпочках до края стола, удерживаясь на последней грани. Повернулась, побежала обратно, останавливаясь на обрыве,

пленная, заключенная в магический
круг, уловленная невидимой сетью,
опутанная волокнами музыки,
запечатанная огненными печатями
развешанных по стенам картин.
Остановилась, воздев голову, словно
силилась подпрыгнуть, пробиться
сквозь потолок, скользнуть сквозь
железную кровлю, помчаться над
вечерней Москвой к рубиновой
кремлевской звезде, усесться на нее
верхом, держась за лучи, обвив
голыми ногами светящийся камень.
Ухватила на бедрах тонкие полосы
материи, поочередно продымая
колени, освободилась от трусиков,
метнула их в лицо Стрижайло.
Обнаженная, не стесненная

покровами, восхитительная, как купальщица, томно закрыв глаза, воздела локти, спрятав в волосах ладони. Стрижайло увидел пятый бриллиант на лобке, драгоценно и магически сверкающий в ложбинке, от которой вверх поднималась полоска золотистого меха. Пятый бриллиант то возникал, то прятался, переливался, как утренняя капля росы, брызгал голубыми, малиновыми, золотыми лучами. Был волшебной звездой, путеводным светиллом, за которым хотелось идти, молиться, ловить чудотворное излучение. На картине Люси Вороновой, в черном обугленном доме, где никто никогда не жил,

вдруг зажглось золотое окно.

Стрижайло в галлюциногенном созерцании, в пленительном помрачении вдруг прозрел, взирая на бриллианты танцовщицы. Пять алмазных звезд, геометрия искусного пирсинга, складывались в созвездие, в алмазную Кассиопею, превращая земную женщину в небесное диво. Пленительная мочка уха, чуткое крыльце носа, прелестно-наивный сосок, таинственная лунка пупка, нежная складка лобка — образовали драгоценное «дабл-ю» сверкавшее на черном сафьяне небес, бриллиантовое кольцо, созданное небесным ювелиром. Это кольцо, открывшееся восхищенному взору

Стрижайло, было ведомо и другим. Всем, кто недавно на рауте подходил к Дарье Лизун, загадочно произносил название созвездия. Белокурый посол Голландии, вице-спикер Думы, похожий на раненого офицера, еврейский миллионер с симпатичной лысинкой и румяными губами, Председатель Центризбиркома Черепов с маской смерти, — все они созерцали созвездие, были астрономами, звездочетами, наблюдали в ночных небесах алмазное «дабл-ю».

Танец длился. Космическая танцовщица танцевала для Стрижайло, выбрав его, единственного, среди бессчетного

множества смертных. Совлекла покровы, открыла пленительную тайну. О чем-то взывала, на чем-то страстно настаивала, сулила блаженство. Она была Саломея, танцевавшая в царском чертоге, требуя головы пророка, непокорного смутьяна, опасного вольнодумца, проповедующего дремучую веру. Он, Стрижайло, был царь. В его руках был меч. Ему было не жаль пророка. Он целовал душистый воздух, в котором извивалось прельстительное тело и сверкали бриллианты. В его опьяненной голове, под музыку «Нирваны», под космические вопли Курта Кобейна, возник и тянулся сладостный бесконечный стих: «Вот

голову его на блюде царю плясунья подает...»

Он видел, как в царский чертог, под высокие колонны и своды, три служителя в долгополых халатах, остроконечных, отороченных мехом шапках вносят три блюда. Края серебряных блюд покрыты халдейскими надписями, ассирийским орнаментом, тайными иудейскими знаками. На каждом блюде — отрубленная голова. На первом — круглая, долгоносая голова Дышлова, словно отломили у снеговика верхний шар с морковкой носа, с металлическими пуговицами глаз, в которых застыло отражение просверкавшего меча. На другом

блюде — голова Маковского, коротко стриженная, с выпуклым лбом, волевым сильным носом. Один глаз ушел в подлобье, и вместо него мертвенно голубело бельмо. Другой, ястребиный, с янтарной желтизной, — «глаз вопиющего в пустыне», — зло, беспощадно взирал из блюда. На третьем блюде лежала голова Верхарна, с заостренным теменем, в редких волосках. Приоткрытый рот обнажал желтые, как у зайца, резцы. В черных глазках замученного зверька остановилось выражения неуслышанной мольбы. Служители внесли отсеченные головы, лежащие в жидком вишневом варенье. Плясунья исполняла «танец

отсеченных головах», которые преподнес ей Стрижайло.

Он откинулся в кресле, вдыхая запахи иудейских благовоний, ароматных курений, парной дух рассеченной человеческой плоти. В нем проснулся маленький демон, где-то под теменем, как на вершине высокого дерева. Стал цепко спускаться по веткам, вдоль ствола, пока ни обосновался в корнях, внизу живота, в области паха. Демон имел вид хамелеона с тугой чехольчатой кожей, спиралевидным хвостом, упрямой тупой головкой, устремленной на танцовщицу. Переливался многоцветно, становился то рубиново-красным, то

малахитовым, светился, как бирюза, зеленел, как яшма. Жег, беспокоил, рвался наружу, завивал нервный хвост. Стрижайло мимолетно подумал, что демон был той же природы, что и подбородок Потрошкова. Так же нервно, непредсказуемо менял расцветку, как радужное пятно расплывшейся нефти.

Музыка кончилась. Дарья Лизун замерла беспомощно, часто дышала, изумленно, пьяно оглядывалась. Напоминала наяду, выброшенную из моря на сушу, задыхалась без музыки водных глубин. Стрижайло протянул ей руку, помог спуститься на пол.

— Как божественно ты

танцевала, Кассиопея. Разве можно сравнить твой космический танец с дурацким притопыванием каменной бабы, установленной скульптором Церетели на безвоздушной планете. Разве может управлять Россией Президент, если он не в силах отличить Афродиту от гипсовой великанши, от «Девушки с веслом», что когда-то высилась в Центральном парке культуры имени Горького. Тебе нужно отправится в ванную и принять освежающий душ, — он попробовал обнять ее плечи. Она пьяно отшатнулась.

— Иди к черту, дурак! — шатко нагнулась, подобрала юбочку с пеньковым пояском, отправилась в

ванную. Он весело смотрел, как наступают на дубовый паркет ее неверные стопы, поблескивает сребристый педикюр.

Сидел в кресле, слыша, как шуршит вода в ванной. Представлял купальщицу под туманно-блестящими струями, ее мокрые потемнелые волосы, розовые губы, хватающие капли воды, пять влажных бриллиантов, трепещущих на золотистом теле. Внезапно сквозь шелест донеслись странные звуки, напоминающие курлыканье и урчанье дельфинов. Быть может, наяда воззвала к морским животным, и те явились за ней, чтобы унести в родную Элладу. Улыбаясь, он

направился в ванную.

Среди блестящего кафеля, хромированных кранов, слепящих зеркал, в ванной, осыпанная искрящейся водой, извивалась и корчилась Дарья. Ее шея была затянута в пеньковую петлю, другой конец ремешка был прикреплен к хромированному крюку, на котором держался душ. Она задышалась, пыталась просунуть пальцы под мокрую, ставшую скользкой петлю. Была похожа на несчастную добычу, попавшую в ловушку искусного охотника. На морское диво, залетевшее в сеть рыбака и перенесенное в его кафельную ванну. Он стоял, восхищаясь зрелищем

охваченной суицидом плоти.

Разделся до нага. Взял с подзеркальника ножницы. Переступил через край ванны. Подхватил Дарью под мокрую талию, поддернул вверх, перерезал пеньковый шнурок. Она обвалилась, обрушилась ему на руки, и он опустил ее на дно ванны, глядя, как сыплются ей на лицо блестящие брызги, как бурно дышат ее грудь и живот, и пять бриллиантов, затуманенные водой, сверкают и переливаются на страдающем теле. Она хрипела, кашляла, рыдала, хваталась за шею, на которой вздувался пунцовый рубец.

Он навалился на нее, подмял,

вдавил в округлое днище ванны. Толкал, мучил, гнал ей в утробу разноцветного нетерпеливого хамелеона. Господствуя над ее беспомощной плотью, он господствовал над всемогущим Президентом, у которого отнял возлюбленную. Над Председателем Центризбиркома Череповым с водянистыми карбункулами глаз. Над белокурым дипломатом из Амстердама. Над хромым притворой, вице-спикером Думы. Над трескучим и никчемным демократом, который вернул Петербургу его истинное имя и был отцом этой рваной сучки, а также лидером Межрегиональной депутатской группы. Он ебал эту

группу и входившего в ее состав академика Андрея Дмитриевича Сахарова, который в молодости дружил с Лаврентием Берия и в шутку называл его «Лавровый мой венец». Трахал сердечного друга Сахарова Михаила Сергеевича Горбачева и его манерную чванливую леди. А также Первого Президента России и ту потаскуху, ради которой тот упал с моста в «Соснах». Он трахал Кассиопею, Малую и Большую Медведицу, созвездие Рака и множество других небесных раскоряченных тел, комет, астероидов, включая недавно открытую карликовую планету, где возвышалась известковая

толстоногая баба, в которую было невозможно загнать хамелеона, а только тереться о ее шершавый каменный живот. Он обладал Саломеей, Иродиадой, злосчастливым Иродом и всеми, умерщвленными младенцами Иудеи, а также женщинами древнего мира, средневековья и нового времени, включая всех, нарисованных Ренуаром парижанок и молодых комсомолок последнего съезда ВЛКСМ. Изнемогая, в последнем рывке, он лишил девственности самку дельфина, отпуская ее, белобрюхую, в прозрачно-зеленое море. Видя, как мертвенно выпучены глаза Лизун, он спустил с поводка

хрипящего злого зверька с разноцветным загравком, который ворвался в ее темное лоно, превратился в праздничный многоцветный фонтан.

Стрижайло устало поднялся. Выключил душ. Ступил из ванной на теплый кафельный пол. Неохотно отер мохнатым полотенцем измученную, безвольную гостью. Помог ей одеться. Проводил до подъезда, где поджидал «фольксваген» с преданным «Доном Базилио», умевшим хранить тайны хозяина. Вернулся домой.

Подобрал в ванной мокрый перерезанный ремешок. Открыл заповедный шкафчик, где хранились

трофеи любви, фетиши наслаждений, божки греховной страсти, жрецом которой он был. Положил ремешок рядом с золотым талисманом, что оставила в его постели пышногрудая дама-сенатор, родившая от малахольного демократа красивую Дарью Лизун.

глава девятая

Задание, которое он получил от Потрошкова, сулило не просто несметные деньги, не только ослепительный взлет карьеры, не ограничивалось громадным ростом личного влияния и престижа. Это задание, если оно будет выполнено, сулило новое качество личности, новую глубину в постижении мира, другую степень близости с Верховным Божеством, которое когда-то вселилось в него в полутемном сыром подвале. В случае победы непомерно возвышался не только он, политолог Михаил Львович Стрижайло, но возвышалось

поселившееся в нем Божество, реализующее через него, Стрижайло, свое безграничное творчество.

Следовало создать три уникальных предвыборных стратегии, — для коммуниста Дышлова, нефтяного магната Маковского, лондонского олигарха Верхарна. Следовало эти три неповторимых стратегии соединить в одну сверхстратегию, в которой переплетались и питали одна другую все три составляющих. Следовало в каждую из составляющих внести незаметную порчу, тайный дефект, невидимую для глаз ущербность, чтобы каждая из победных стратегий обернулась поражением, крахом,

разрушила и повергла заказчика. Следовало все три поражения свести в одну катастрофу, чтобы в ней погибло историческое время, исчез политический период, стерлись навсегда имена политиков, улетучились идеологии и партии.

Это была комбинация из множества уравнений, стереометрическая фигура из множества конфигураций и форм, где одни пересекались с другими, создавали фантастические объемы, невиданные пересечения, формировали пространство, куда Стрижайло, как в ловушку, должен был заманить луч света, заставить его метаться, отражаться от

внутренних стенок, чтобы он исчах, утратил свою энергию, навсегда погас. Задание, которое он получил, подразумевало ловушку, в которую должны залететь и необратимо погаснуть ослепительные лучи политического интеллекта, молнии социальной энергии.

Это предполагало огромные знания, использование новейших теорий, наличие политологического центра с талантливыми сотрудниками. Их коллективный мозг, управляемый интеллектом Стрижайло, должен был оформить эту мегазадачу, отшлифовать и обработать настолько, чтобы ее можно было ввести в компьютер,

превратить в алгоритм, поручить машине управлять сверхсложным процессом.

Но в основе этой грандиозной рациональной задачи лежала вспышка. Мыслилось откровение. Иррациональное озарение, когда в индивидуальное творчество вдруг врывается могучий Творец, отнимает у художника кисть и перо, перехватывает резец и циркуль, и возникают безумные по красоте картины, богооткровенные тексты, нерукотворные дворцы и храмы, снизошедшие с небес учения.

Эту вспышку ожидал Стрижайло. Готовился к чуду внеразумного постижения. Копил в

душе крохотные мерцания и искры, исходившие из неуправляемых разумом биений и токов. Каждая молекула, из которой он состоял, была источником этих микроскопических вспышек. Источала едва различимые звуки, сливавшиеся в «музыку дремлющих молекул», в таинственные гулы приближавшегося откровения. Так туча копит небесное электричество, наполняясь в темной своей глубине зарядом. Плышет над полями, слабо рокоча и сгущаясь, пока внезапно ни озарится слепящим блеском, ни прорвется оглушительным громом, ни ударит пронзающей молнией, обнаружив в черных разрывах

восхитительный и ужасный,
моментально блеснувший лик.

Он посетил свой
политологический центр,
именуемый «Центр эффективных
стратегий», небольшой особняк в
арбатских переулках, — лепной
фронтон, белокаменные колонны,
трогательные ампирные барельефы с
изображением нимф и тритонов. В
кабинетах, где раньше располагались
барские гостиные, столовые,
спальни, детские, людские, чуланы,
кухни, танцевальные залы, теперь
помещались сотрудники, ведающие
различными направлениями
деятельности.

Вспыхивали, пузырились,

разноцветно бурлили телеэкраны, перед которыми сидел полубезумный сотрудник, изучавший телевизионные игры. Десятки телеведущих требовали от зрителей угадать мелодию, выиграть миллион, назвать знаменитого английского герцога, найти в голове соседа вошку, тонкой струйкой помочиться в бутылку «пепси», переночевать в клетке с крокодилом, переспать с африканской людоедкой, отведать жареных тарантулов, пукнуть на горстку муки таким образом, чтобы в результате образовался профиль Президента. Сотрудник дергался, повизгивал, кусал себя за локоть, раздевался донага, пел шлягер

«Птица в море». При этом что-то записывал в черную, погребального вида, тетрадь с надписью «Умерщвление социального времени».

Другой сотрудник, ведущий тему «Некрофильские основы избирательных технологий», отслеживал телесюжеты ведущих каналов. На экранах, его окружавших, возникали обезображенные трупы, расчлененные тела, растерзанные дети, вскрытые, с неистлевшими останками, могилы, подвешенные на цепях мученики, инструменты средневековых пыток, крупным планом — лица, облитые серной

кислотой, обгоревшие на пожарах, изуродованные взрывами. Сотрудник засовывал себе в рот бутерброд с чем-то синюшным, липко-зеленым, тянул оскаленными зубами кровавую жилу, при этом что-то бегло набивал в ноутбук.

В третьей комнате сидели взлохмаченные звездочеты в остроконечных колпаках с кабалистическими знаками. На столе было рассыпано зерно, один из колдунов держал за бока изумрудно-золотого петуха, заставлял клевать зерна. Огненный гребень трепетал, зерна летели в разные стороны, и волхвы рассматривали рисунок рассыпанных зерен, стараясь угадать

в нем эмблемы политических партий.

В конференц-зале шла «мозговая атака». Профессорского вида эксперты, очкастые референты, плешивые аналитики, достигнув высшей степени возбуждения, матерились, оскорбляли друг друга, плескали в лицо соседу воду из стаканов, норовили ногой достать под столом обидчика. Шло обсуждение темы «Коллективное бессознательное в период обострения предвыборной агитации», и в напитки участников, с их согласия, был добавлен «тяжелый наркотик».

Экстравагантность

исследовательских методик не смущала Стрижайло, напротив, им поощрялась. Только в неординарном, непредсказуемом таилось открытие. Абсурдистский мир, в котором он действовал, требовал шизофренических подходов, параноидальных прозрений, эпилептических вдохновений. Многие из его сотрудников состояли на учете в психиатрических клиниках. После интенсивных «круглых столов», «интеллектуальных штурмов», развернутых пиар-компаний нуждались в психиатрической поддержке. Избиратели, лидеры партий, идеологи и активисты

движений, — все были пациентами, к которым Стрижайло подходил, как врач. Принцип «Не навреди!» свято им соблюдался, когда его усилиями избирался в губернаторы уголовник или мэром становился пьющий артист эстрады. Заповедь «Не убий!» неукоснительно им исповедовалась, когда в результате его интриг разрушалась политическая партия или пускал себе пулю в лоб очередной бизнесмен.

Однако, главным сокровищем его политологического центра, средоточием его методик был «Мобил». Тщательно сберегаемый, скрытый от глаз конкурентов, он был результатом грандиозной работы,

кропотливого коллекционирования, изящного моделирования. В танцевальной зале, где еще сохранились мраморные колонны и балюстрада оркестра, в современном интерьере, напоминавшем стерильную операционную, был установлен огромный экран. Соединенный с мощной компьютерной группой, он воспроизводил сиюминутную картину политики, экономики и культуры. Давал представление, как взаимодействуют между собой корпорации и банки, политические партии и теневые центры влияния. Как пересекаются отдельно взятые личности, представленные в разведке

и армии, Правительстве и Государственной Думе. Чем заняты интеллектуальные и культурные клубы, вырабатывающие идеологическую моду и политический дизайн.

Легкое нажатие клавиши с надписью «Экономика», и на млечном экране возникала разветвленная схема из тысяч светящихся точек, значков, условных эмблем и иероглифов. Так выглядит с высоты ночной мегаполис в бриллиантовых переливах и вспышках, легчайших траекториях, млечных туманностях, где каждый проблеск означает банк или фирму, движение капиталов и стоимость

активов, пересечение интересов и близость к банкротству, теневые сделки и прогнозы развития. Нажатие кнопки с надписью «Политика» вызывало на экране другую картину, напоминавшую всплывающую из тумана галактику с мириадами звезд, спиралями и завихрениями, сгустками света и провалами тьмы. Здесь были отмечены крупнейшие партии, их лидеры, партийные программы и инициативы. Центральные и региональные элиты в их конфликтах и взаимодействии. Источники финансирования и связи с зарубежными фондами. Законопроекты и лоббирующие их

группировки. На схеме, если укрупнить отдельный ее фрагмент, можно было узнать подробности о каждом политике, его биографию, пристрастия, компромат, рейтинг влияния. Третья кнопка «Культура» создавала на экране зрелище, напоминавшее срез головного мозга под электронным микроскопом. Разноцветные пятна, ячейки, струящиеся линии, радужные переливы. Тут были отмечены культурные и идеологические тенденции, театральные коллективы и издательские сообщества, лауреаты премий и скандалы культуры. Можно было узнать, кто из художников обслуживает ту или иную партию,

участвует в выборной пропаганде, пишет сценарии для политических мюзиклов и агитационных поэм. Деятели искусств были представлены в их связях с меценатами и покровительствующими олигархами. Вскрывалась степень их ангажированности властью, сексуальная ориентация, участие в телевизионных программах.

Эти три модели были электронными портретами сложнейших социальных явлений, каждая точка которых двигалась, изменялась, меняла место. Вся исследовательская мощь коллектива была направлена на слежение,

уточнение, дописывание этих электронных картин. При желании один «портрет» накладывался на другой, и возникала прозрачность явления, которое до этого казалось туманным и зашифрованным. Можно было узнать, как связаны между собой табачные корпорации и церковь, рекламные фирмы и нелегальные торговцы наркотиками, думские фракции и сообщества педофилов и бисексуалов. «Мобил» являлся предметом гордости Стрижайло. Был инструментом работы и гарантом побед. Отпечатком электронного пальца, который оставляет на орудии убийства ускользающее от

понимания общество.

Получив от Потрошкова задание, Стрижайло постарался как можно больше узнать о заказчике, исследуя его с помощью «Мобила». К тому, что было уже известно, добавились новые сведения.

Выяснилось, что Потрошков в юности писал стихи о бессмертии и любил гулять по Миусскому кладбищу, где был похоронен известный русский космист Федоров, — проповедник бессмертия. В разведке, куда он поступил после окончания биофака, он сначала занимался историей масонских лож в России, а потом, когда уехал за границу, исследовал

засекреченный «Римский клуб» и «Трехстороннюю комиссию», — эти могущественные предтечи «Мирового правительства». Участвовал в переговорном процессе по разоружению, на младших ролях, в секции, обсуждавшей экзотические виды вооружений — «этническое» и «расовое» оружие, создаваемое на основе биотехнологий. В 91 году, незадолго до путча, встречался на островах Адриатики с Максвеллом, медиамагнатом и «двойным агентом» — ЦРУ и «МОССАДа», с кем предположительно обсуждалась возможность путча, что намекало на причастность Потрошкова к изменению политического строя в

СССР. Делая карьеру в рядах ФСБ, на определенном этапе стал заниматься коммерцией, открыл в Москве сеть супермаркетов, получив от Верховина, тогдашнего всемогущего фаворита, стартовый, безвозвратный кредит. Позже возник интерес в нефтяном бизнесе, свидетельство тому — небольшая компания, занятая разработкой скромного месторождения на Оби, со странным названием: «Зюганнефтегаз». Постоянно лоббирует в Думе увеличение бюджетных расходов на нужды ФСБ, большая часть которых тратится не на борьбу с терроризмом, а на развертывание секретных лабораторий по клонированию и

генной инженерии. Потрошкову принадлежит статья в американском журнале «Нейшен», вышедшая под псевдонимом «Марк Ливерпуль», в которой события «11 сентября» трактуются, как грандиозный американский проект по «перекодированию» человечества, где «удар ужаса» способствует созданию «нового глобального социума». Потрошков является самым близким к Президенту лицом, курирует его финансовые дела, обеспечивая присутствие в акциях алмазо- и газодобывающих компаний. Увлекается евангельскими апокрифами и учением гностиков, выкупил для библиотеки ФСБ один

из кумранских свитков. Иницирует экспедицию антропологов в неисследованные зоны Горного Алтая, где, согласно алтайскому фольклору, проживает племя бессмертных людей. К причудам можно отнести гастрономические изыски, такие как сушеные бабочки в густом виноградном сиропе и пустынные кузнечики в меду диких пчел.

В досье Потрошкова было много поучительного и много загадочного. Загадочна была полифония цветов на подбородке. Загадочным казался замороженный луч света, хранившийся в морозильнике Стрижайло, — тончайший световод,

наполненный корпускулами, в которых заключалась тайна отношений Потрошкова и Президента.

Стрижайло внимательно изучил досье, не стараясь делать глубоких умозаключений. Готовясь к открытию, собирал в себе мерцающие вспышки молекул и невнятную глубинную музыку. Решил погрузиться в среду, близкую Потрошкову. Посетить громадные, принадлежащие ему магазины, где витал дух хозяина и где, возможно, под воздействием таинственных сил, случится озарение.

Он ехал по Кольцевой дороге, в

дымном металлическом месиве. Далеко за обочиной, в стороне от трассы, в распахнутых подмосковных лесах возникали фантастические видения. Непомерные пузыри, выдавленные из влажной земли. Гигантские грибы, возросшие на сырых холмах. Слабо светились, переливались зыбкими пленками, были окутаны испарениями таинственной жизни. Это были магазины Потрошкова, обступившие город, словно вокруг Москвы проползло неведомое чудовище, отложило громадные яйца, и они вызревали, слабо шевелились, вынашивали сонных личинок. Созреют, разорвут покровы и пленки,

и наружу вылупятся тысячи пауков, влажных скорпионов, глянцевитых гигантских муравьев. Всем множеством, покрывая холмы чешуйчатой, шевелящейся броней, двинутся на Москву.

Стрижайло жадно смотрел, чувствуя, как откликается его «геном», красная, в неутомимом вращении спираль, словно в этих гнездах винтообразно вращались подобные червеобразные личинки, все в одну сторону, закрученные космическим вихрем.

Съехал с трассы, приближаясь к сооружениям. Теперь они выглядели полупрозрачными сферами, надутыми кольцами, ребристыми

параболоидами. Соединялись друг с другом пленочными переходами, перетекали одно в другое. Так выглядят внеземные поселения, орбитальные города, надувные космические станции, парящие в невесомости, озаряемые закатами и восходами, в отсветах космических зорь, в мерцании звездной пыли.

Стрижайло ощущал в этой архитектуре отсутствие гравитации, зыбкое парение, привнесенность в земную жизнь. Обитатели этих летающих тарелок и парящие городов выполняют связанный с Землей эксперимент, — возьмут пробы грунта, образцы пород, экземпляры живых существ и улетят в

беспредельный Космос, оставив на подмосковных лугах отпечаток своего пребывания, — мятую траву, легкий пепел несуществующего на земле вещества.

Он подкатывал вплотную к огромным магазинам, и вблизи они казались инсталляцией художника-фантаста, — желтые, гигантских размеров, мочевые пузыри, фиолетовые, разбухшие от газов кишки, пузырящиеся прозрачные легкие, фиолетовые печень и сердца, складчатый, огромных размеров, мозг. Так выглядит анатомический стол, где разложены внутренности великана. Стрижайло волновала антропоморфная архитектура,

дизайн разъятой плоти. Его «ген» напряженно вращался, питаемый источником неведомой энергии, что таился в слоистых оболочках и сферах.

Вышел из машины перед входом в супермаркет, — огромное голубоватое вздутие, похожее на живот беременной женщины. Вход был необычен, напоминал растворенное женское лоно, возбужденные выпуклости, развернутые гениталии. За выпуклыми губами чудилось сумрачное влагалище, губчатые стенки, гигантская складчатая матка. Это был вход в языческий храм, где исповедовались религия

плодоношения, неутомимого
совокупления, культ животворящей
Богини. Великанша с голубым
животом, набрякшими молочными
железами, ждала многократного
оплодотворения, ненасытного
утоления плоти. Над входом, на
стене, разбегаясь, во все стороны,
виднелись значки и иероглифы, — то
ли клинопись, то ли руны, то ли
кибернетические знаки
компьютерной кабалы. Стрижайло
взирал на знаки, стараясь разгадать
волшебные речения. Их
непрочитанный храмовый смысл
проникал в него, как таинственная
вибрация. Возбуждала молекулы,
исторгала из них едва различимые

звуки, которые сливались в хорал, в языческое песнопение, в хвалу плодоносящей Богини. Настенные знаки символизировали геном, который откликался усиленным вращением, возбужденным звучанием, — предвестником озарения.

Он вошел в супермаркет. Над ним вознеслись просторные своды, выпуклые и вогнутые потолки, из которых струился нежный свет, опадали вкусные ароматы, веяли теплые ветерки. Было безлюдно, двигались мягко шелестящие эскалаторы, мерцали электронные табло. Световые указатели помогали странствию по бесконечным

лабиринтам, бесчисленным этажам, плавным переходам. Из розового гигантского яйца в тугой зеленоватый пузырь. Из алого надувного кольца в золотистый пленочный небоскреб. Из черного, стянутого перепонками ангара в голубоватый, светящийся гриб.

И повсюду, в безлюдном и казавшемся бескрайним пространстве размещались товары.

Это были изделия, утолявшие человеческую тягу к комфорту, к неограниченным удобствам, неустанным наслаждениям. Были воплощением красоты, столь разнообразной и мучительно-изысканной, что в ней терялось

первоначальное назначение предмета, и он становился произведением искусств, объектом поклонения, религиозным атрибутом. Каждый предмет, выполняя ту или иную функцию, был бесчисленно повторен, усложнен, снабжен дополнительными свойствами, умноженными удобствами, признаками комфорта и красоты. Словно биологический вид, подвергался бесконечной эволюции, менял пластику, форму, цвет, подтверждая теорию дарвинизма, согласно которой вид, совершенствуясь, обретает все новые свойства, достигает своей вершины и, срываясь, рождает новую ветвь

эволюции, отражает новое состояние Вселенной.

Эти ряды и ансамбли одного и того же, беспредельно размноженного вида свидетельствовали о неутомимом творчестве, о наличии бескорыстного художника. В гениальной мастерской избыточно и счастливо, забыв о потребителе, давно превысив все человеческие потребности, Творец создает свои шедевры.

Если это были светильники, то они покрывали все потолки и стены, создавая подобье звездного неба, где драгоценные хрустальные люстры, лампы и лампы из цветного стекла, источники лучистых потоков и

волнующих мягких теней создавали космическую симфонию, порождали бесконечные формы блаженства, использовали оптику для райского ощущения счастья, утоляя ненасытность зрачков, игру сознания с мельчайшим лучиком света.

Если это была мебель, то одни только диваны подразумевали в покупателе задумчивого мудреца, ленивого сибарита, сосредоточенного дельца, сластолюбивого развратника, капризного истерика, терпеливого труженика, играющего самозабвенно ребенка, лежащего на смертном одре старика. Если эти диваны запустить на орбиту, они, подобно метеорному

поясу, создадут летящее вокруг земли
кольцо, и астроном, наблюдая в
подзорную трубу, увидит
разнообразие шелковых мутак,
кожаных подушек, парчовых обивок,
тяжеловесных спинок, изящных
изгибов, тигровых шкур, сафьяновых
покровов, и на каждом диване будет
лежать то обнаженная красавица, то
дремлющий лентяй, то испускающий
дух свидетель исчезнувшей эпохи.

Стрижайло испытывал
опьянение, как если бы ему
впрыснули легкий наркотик.
Молекулы его трепетали, будто в
каждую попала микроскопическая
пьянящая брызга. Музыка звучала,
будто в душе, как в оркестровой яме,

играл великолепно́ый оркестр.
Откровение приближалось.
Открытие, которое он выкликал,
витало здесь, под сводами, среди
бесчисленного разнообразия товаров,
которые не имели цены, а были
предложены ему в дар щедрым и
бескорыстным Творцом.

По серебристому, струящемуся
эскалатору он переместился в зал,
где продавались автомобили. Зал был
необозрим. Озаренные мягким
светом, великолепные изделия на
пухлых шинах сияли лаком,
драгоценными сплавами,
зеркальными стеклами, отливали
всеми цветами радуги.

Источали особый

восхитительный запах искусственно
сотворенной жизни, —
одухотворенного металла,
обожествленной резины,
очеловеченного лака,
опоэтизированного пластика. Так
благоухают инопланетные цветы,
пленительно пахнут женщины-
марсианки, распространяют
влекущий головокружительный запах
фантастические бабочки.

Стрижайло, в предчувствии
озарения, созерцал автомобили,
словно изображения богов в
языческом храме, где каждый кумир
по красоте и гармонии соперничал с
античными статуями, был
вместилищем высших представлений

человечества о красоте, мироздании, мистике.

Малиновые, вишневые, темно-зеленые «Бентли» напоминали лепестки фантастического соцветия. Перламутровые, бесчисленных оттенков «бугатти», были похожи на маникюр светской львицы. «Роллс-ройсы», золотые, серебряные, платиновые, были драгоценными украшениями, которые надевала на обнаженную грудь принцесса Диана. «Феррари», алые, огненно-красные, нежно-лазурные, были раковинами теплых морей, в каждой из которых таилась жемчужина. «БМВ» своей пластикой повторяли струнные инструменты, — скрипки,

виолончели, сладкозвучные арфы, от которых воздух чудесно и нежно звучал. «Мерседес-бенц» и «Астон-Мартин» воспроизводили своей эстетикой совершенное оружие древности, — изящные арбалеты, отшлифованные бумеранги, отточенные клинки с украшениями из серебра и кости. «Порш» был подобием мощной, стремительной рыбы, несущейся в мировом океане. «Ситроен» с выпученными хрустальными глазами, был морским чудом, всплывающем в ионической лазури. «Мицубиси», «тойоты», «судзуки» были образцами мужской красоты, — накаченных бицепсов, упругих торсов, мускулистых

животов и могучих плеч. «Альфа-Ромео» источали сладострастие, нежность, стремительность соития, греховность неуголенных вожделений, облеченный в красоту инстинкт смерти. «Линкольны» и «кадиллаки» были символами золотых кладовых, культа «золотого тельца», экипажами замкнутых мрачных жрецов. «Форды» и «понтиаки» были богами победы, воплощением бури и натиска, неизбежного ослепительного успеха. «Джипы», «лендроверы» и «лендкрузеры» воплощали упорство, неутомимую деятельность, неодолимую волю. Множество других автомобилей, — «опели»,

«пежо», «фиаты», «шкоды» были богами в этом величественном пантеоне, покровительствовали благополучию, богатству, плодородию и плодоношению.

Отдельно ото всех, в свете аметистовых прожекторов, стояла «Волга» ГАЗ-3110. Корпус из прозрачного стекла. Двигатель из золотого слитка 99-ой пробы. Колеса из лакированной осины, окованной титановыми обручами. Кресла плетеные, венские, с ремнями безопасности из сыромятной моржовой кожи. Подвески из сухожилий северного оленя. Топливо на базе стволовых клеток разгоняет машину до 700 километров в час по

ЛУННОМУ ГРУНТУ.

Стрижайло благоговел,
испытывал к машинам религиозное
чувство, молился, просил приблизить
миг озарения. Чувствовал исходящую
от них благодать, теплый отклик,
приближавший в его душе
откровение.

Собранные здесь боги управляли жизнью людей, были человекоподобны. Но при этом, как и античные боги, жили самостоятельной жизнью, забывая о людях. Влюблялись друг в друга, ссорились, воевали, устраивали пиры и свадьбы, уводили друг у друга неверных жен, устраивали состязания, в которых мчались с

умопомрачительной скоростью, разбиваясь в прах, учиняли оргии, восседали на вершине священной горы в голубом мироздании величественной семьей небожителей.

Когда он рассматривал фиолетовый «ламборджини» — 12 цилиндров, мощность 580 лошадиных сил, скорость 320 километров в час, — к нему приблизился вежливый служитель. Статный, могучее телосложение, распухшая от кобуры подмышка, предусмотрительно расстегнутый пиджак. Боксерский подбородок слабо переливался цветами нефтяного пятна, что выдавало в нем

сотрудника Потрошкова.
Насмешливо, с нагловатой
любезностью, спросил Стрижайло:

— Вам завернуть?

— Не весь, — отозвался
Стрижайло. — Грамм на триста
отрежьте и отправьте по адресу, —
протянул служителю визитную
карточку и шагнул на шелестящий
эскалатор.

Следующее помещение было
выполнено амфитеатром, с
полукруглыми рядами, один выше
другого, напоминало Совет
Федерации, где места сенаторов
занимали шедевры сантехники, —
разнообразные унитазы. Каждый не
повторял соседа, отличался от него

цветом, формой, материалом изготовления, множеством разнообразных причуд и ухищрений. Каждый являл собой личность, характер, был неповторим, независим, что еще больше придавало им сходство с сенаторами, а все собрание казалось талантливой инсталляцией на тему «Федеративное устройство России».

Стрижайло и здесь изумлялся избыточному разнообразию. Естественная физиологическая функция, одинаковая у всех людей, та, которая считалась неприличной, пряталась от глаз, вычеркивалась из любого повествования о человеке, кроме истории желудочных и

кишечных заболеваний, — эта функция была возведена в религиозный культ. Унитазы были языческими идолами, которым приносились жертвы, что обожествляло саму эту изменную функцию, разрушало в человеке иерархию «подлого» и «возвышенного», «материального» и «духовного».

Гедонизм и гурманство, стремление к деликатесам, к утонченным приправам и блюдам, разнообразие гастрономических школ и национальных кухонь дополнялось драгоценными сервизами, изысканной посудой, великолепными изделиями из стекла

и фарфора. Та же изысканность и великолепия, перенесенная из сервизов в унитазы, делало их посудой, продолжало трапезу. Ликвидировало несправедливый разрыв между поглощаемой пищей, наделяющей человека жизненными калориями, несравненными вкусовыми впечатлениями, и пищей израсходованной, покидающей человека, чтобы влиться в круговращение природного вещества, вновь стать частью вечно прекрасной природы. Эти шедевры сантехники восстанавливали попорченную справедливость, утверждали тезис о том, что в человеке все прекрасно, что в любой его части содержится

человек во всей полноте, любая клетка, взятая из самой пошлой, неинтересной части тела может быть использована для клонирования всего человека, у которого щеки ничем не превосходят ягодицы, оральный секс не выше анального, а праздничная трапеза не отличается от интимного пребывания в туалете.

Стрижайло, оглядывая товары, постигал философию, которую они выражали. Переходя с одного ряда амфитеатра на другой, проникался метафизикой, которую исповедовал Потрошков. Угадывал замысел «нового гуманизма», сущность сокровенного «Плана Россия».

Поражало многообразие

материалов, из которых были изготовлены унитазаы. Ослепительный хрусталь, будто роскошная люстра, лучился спектрами и сочными радугами. Белый, голубой, нежно-розовый фаянс напоминал севрский фарфор. Глазированная майолика рождала сходство с изразцами, которыми обкладывались старинные печи. Белая нержавеющей сталь роднила унитаз с операционной, с набором хирургических инструментов для удаления геморроя. Сияющий титан был тот же, что и у реактивных сопел сверхзвуковых самолетов, что делало обычную сантехнику средоточием скорости, огня, ревущего звука.

Белый мрамор с аканфом и цветными розетками превращал унитаз в коринфскую капитель. Малахит с голубоватыми прожилками, обработанный уральскими мастерами, напоминал сказы Бажова. Мореный дуб, способный служить сто лет, создавал образ коньячной бочки. Золото, платина при скромном дизайне были воплощением ленинской мечты. И нечто, абсолютно достойное академиков Сахарова и Харитона, великих Эйнштейна и Оппенгеймера, являл собой унитаз, выточенный из глыбы обогащенного урана, воздух вокруг которого светился голубоватой плазмой и неустанно,

как осенние кузнечики, трещали счетчики Гейгера.

Стрижайло мимолетно подумал, что должно было измениться в России, как мутировала «русская идея», чтобы пуританская страна, которая весь век проносила гимнастерки и ватники, совершала мировые дела, пользуясь дощатыми нужниками с небрежно выточенным «очком», теперь выбирала между унитазом, высеченным из остатков тунгусского метеорита, и сидалищем, выточенным из тысячелетнего ливанского кедра.

Он двигался вдоль изделий, и они утрачивали свою функциональность, приобретали вид

скульптур, от абстрактно антропоморфных до обладающих портретным сходством. В одних воплощалась пластика торса и ягодиц, другие казались величественными бюстами.

Нарочито мощно, тяжеловесными массами были изваяны зады экс-премьера России, газового магната, посла в соседней республики. Бывшего Председателя Центрального банка, острослова и бонвивана. Известной правозащитницы, отшлифовавшей многострадальную задницу на скамье подсудимых. Модной либеральной писательницы, сочинившей космогоническую

повесть «Брысь». Женщины вице-спикера, умеющей растолкать ягодицами наседающую толпу коммунистов и бешенных либерал-демократов.

Еще проще было узнать в бюстах представителей политической элиты. В гладкой, сияющей пластике унитаза легко просматривалась безволосая голова известного мэра, кепку которого заменяла кожаная, с козырьком крышка. Антично-величественной, императорской смотрелась голова спикера Совета Федерации, а накрывавшее ее курчавое шерстяное сидалище ассоциировалось с его неопрятно-щегольской щетиной. Каждый по-

своему, кто из фаянса, кто из гранита
и мрамора, кто из бронзы и чугуна,
выглядели полые, срезанные поверху,
с изящными добавлениями сливных
бачков, головы чиновника
Администрации Чебоксарова,
Председателя Центризбиркома
Черепова, обоих министров
Сидоровых, банкира-старообрядца
Пужалкина. И хотя на скульптурах не
было ни золотой цепи от карманных
часов, ни прозрачно-голубых
карбункулов, ни фатовских галстуков
с бриллиантовыми булавками, все
были узнаваемы. У Стрижайло даже
возникло ощущение, что он все еще
находится на рауте в гольф-клубе, и
скоро появится долгожданный

Президент, чья узкая голова с продолговатым белесеньким теменем, изящно срезанная выше бровей, накрыта прозрачным шлемом стратосферного летчика.

Сюрреалистическое ощущение усиливалось от бесконечных ухищрений, делавших пребывание на толчке не просто удобным, но усладительным, полезным, общественно значимым. Звуки сливного бачка напоминали песни Кобзона и Лаймы Вайкуле, бессмертные шлягеры Макаревича и Гребенщикова, пение лесных птиц, рыканье нильского крокодила, рев бенгальского тигра. Толчок мог быть подсвечен изнутри и тогда

напоминал здание Государственного университета в миниатюре, или Триумфальную арку, или памятник Тимирязева на Тверском бульваре. Совмещенные с унитазом электронные часы и табло с курсом доллара не оставляли сомнение, что все это рассчитано на бизнесмена. Телескоп и знаки Зодиака приглашали сделать покупку астронома. Руль и педали могли привлечь автогонщика. А огромное «колесо смеха», которое при желании могло вознести пользователя высоко над Москвой, на обозрение завсегдатаев «Парка культуры и отдыха», было рассчитано на «экстремалов».

Отдельно от остальных, на мраморном возвышении стояло изделие, вырезанное из громадной глыбы бадахшанского лазурита, усыпанное алмазами и сапфирами, с золотыми змейками Клеопатры, испещренное письменами неведомого священного языка, инкрустированное камушками из пирамиды Хеопса, храма Артемиды и Ангкор-вата, пластикой напоминающее Верховного Бога ацтеков, окутанное благовониями востока, издающее звуки китайской песни «Алеет восток». Это был алтарь, образ божества, предмет поклонения, перед которым Стрижайло захотелось встать на

колени, целовать его божественный лик, доверить самое сокровенное, стать адептом новой религии, нести ее на кончике обнаженного меча до океанского побережья, а там плыть, вознося высоко меч новой веры, туда где «румяной зарею покрылся восток, в селе за рекою погас огонек». Он совсем, было, пал ниц, но приблизился служитель, — черный костюм, разбухшая подмышка, незастегнутые пуговицы, подбородок цвета павлиньего пера. Иронично спросил:

— Будете брать за полную цену или в рассрочку?

— В рассрочку, — буркнул Стрижайло с досадой, говоря со

служителем на языке, который был тому понятен. Ступил на эскалатор, уносящей его от хамоватого фээсбэшника.

Он был в заповедном царстве Потрошкова, в его священном граде. В таинственной лаборатории, где сотворяются эликсиры новой религии. В храме, уставленном идолами и кумирами нового вероисповедания. Эта загадочная, неизреченная религия находила отклик в душе Стрижайло. Будила его дремлющие силы, тревожила псалмами разбуженные молекулы. Побуждала к творчеству, к сотворению огромной, необъятной метафоры, в которой соединялось

несоединимое, — небесное и подземное, гений и злодейство, преданность и вероломство, первородный младенческий плач и сардонический хохот. В метафоре, которую он взращивал, должно было возникнуть прозрение, обнаружиться совершенное знание, — политологический проект и мистический заговор, меняющие ход истории.

Теперь он оказался в зале, где были выставлены на продажу гробы. Все, что он увидел, опровергало представление о смерти, как о форме «всеобщего равенства и братства», одной на всех, уравнивающей богача и нищего, злодея и праведника,

молодого и старого, превращающей плоть в прах, все в ничто. Смерть была поделена на оттенки, на множество составляющих. Описана бесчисленным количеством уравнений, выражена множеством формул, поименована тысячами именами. Была «неисчерпаемой, как электрон». Гробы иллюстрировали это необъятное разнообразие смерти, неисчислимы ее проявления.

Тут были гробы бравурно-радостные, наивно-веселые, обтянутые детским ситчиком с цветочками и в горошек. Были мрачные каменные саркофаги, на подобие египетских, с символами загробного мира. Были изящные,

выложенные изнутри сафьяном, повторяющие силуэт человека, в которые покойник укладывался, как скрипка в футляр. Были строго-величественные, чиновно-помпезные, как дорогие комоды красного дерева, с бронзовыми ручками, багетами, дорогими замками. Были гробы из стекла, в которых мертвец казался заливной рыбой. Были прозрачные наполовину, из которых покойник смотрел, как водитель сквозь лобовое стекло. Одни напоминали долбленое каноэ, в которой усопший плыл по реке смерти до Ниагарского водопада загробной жизни. Другие выглядели, как медицинская капсула с жидким

азотом, куда помещался труп, чтобы потом его забросили на орбиту и он вечно вращался в мировой пустоте. Были гробы с подогревом, с температурным режимом, с подсветкой, с набором продуктов, необходимых покойнику на первое после погребения время. Были с плеерами, с проигрывателями и комплектом компакт-дисков, с видеомагнитофонами и набором видеофильмов. С вмонтированной телекамерой, кабелем и передающей антенной, чтобы близкие родственники могли наблюдать истлевание любимого человека. Были такие, в которых предусматривался массаж, стрижка ногтей,

опрыскивание благовоениями,
размещение рядом с покойником
мумии любимой кошки или собаки.
Был золотой гроб — для олигарха.
Войлочный кокон, притороченный к
носилкам, — для верховного муфтия.
Гроб нетленный, пропитанный
смолами и бальзамами, теми же, что
и тело Ленина в мавзолее. Гроб
быстротлеющий, зараженный
специальным грибком, который за
считанные дни превращал и дерево,
и покойника в бесформенный прах.

Особое внимание Стрижайло привлек двухместный гроб-складень, напоминающий книгу с кожаным дорогим переплетом, на котором теснением было выведено

«Конституция Российской Федерации». От созерцания этого пафосного изделия его отвлек служитель. Двигая перламутровой челюстью, тот поинтересовался:

— Для себя выбираете или для друга?

— Для политического руководства страны, — парировал Стрижайло и отошел.

Он чувствовал, как сотрясаются его проснувшиеся молекулы, и каждое микроскопическое трясение усиливает вибрацию мира, готовит тектонический удар. Каждая корпускула плоти источала крохотный импульс света, и все они превращались в сияние, будто в груди

начинался восход, и звучал
ликующий стих «Румяной зарею
покрылся восток». Каждый
неисчерпаемый электрон его тела
посылал электрический импульс в
обмотку невидимого ротора, мощный
ток крутил сияющий вал, превращая
красную спираль возбужденного
«гена» в размытый огненный вихрь.
Гул приближался, свет становился
нестерпимым, распадались хрупкие
облочки ограниченного,
несовершенного разума, и в
проломы, как лава, врывался
восхитительный абсурд.

Дышлов в фиолетовом «бентли»,
выпучив ртутные глаза, мчался со
скоростью 210 по шелестящей

каталонской трассе. Влетал в Барселону, врезался в сталактит католического собора Гауди, разбиваясь в белую пудру, из которой, верхом на лазурном унитазе, выносился Арнольд Маковский. Свирепый, в медвежьей шкуре, грохотал в бубен, зажав коленями растрепанную голову женщины вице-спикера, вламываясь с хрустом в огромный, из красного дерева, гроб. Гроб начинал мигать, сверкал зеркальными зайчиками, проблесками лазеров, исполненный наркотической музыки, был дискотекой, где в разноцветных тенях качалось огромное павлинье перо, метался Верхарн, держа в зубах

бюстгальтер покойной принцессы Ди. Неподалеку Дышлов обхватил сзади розовые окорока «блоковской незнакомки», делал с ней такое, что остановились танковые заводы Урала, и не получающие зарплату рабочие, подняв красные знамена протеста, обомлело взирали. Маковский досматривал мюзикл «Город счастья», где главный герой раскрашивал темперой огромную женщину-снеговика, воздвигнутую в тундре усилиями Церетели, стремился дотянуться до шляпки с фиалками, из которых взирал рыжий немеркнувший «глаз вопиющего в пустыне». Мягкая полярная сова скользила над Вестминстерским

аббатством, несла в клюве дремлющего Верхарна, в поисках утеса, на который можно сбросить хрупкую, с мягким моллюском, раковину. Из треснувшей скорлупы начинали сочиться разноцветные соки, омывали нежную шею Дарьи Лизун с багровым рубцом от шнурка, и в живом, пахнущем огурцами белке беспомощно сверкал одинокий бриллиант, найденный археологами среди тазовых костей безымянного русского скелета. Эскадренный миноносец «Стремительный» таранил в борт авианосец «Саратогу», и над ними парили семена сиреневых одуванчиков, вылетающих из прически

домработницы Вероники
Степановны. Духи тьмы вырывались
из сырого подвала, превращались в
квадригу коней на фронте
Большого театра, и черный эфиоп в
лавровом венце гнал колесницу по
осенней Палихе, где в сумерках
темнели дома, чернели карнизы и в
нижнем окне, под оранжевым
абжуром стояла обнаженная
женщина, гладила грудь и живот.
Живот начинал надуваться, набухали
соски, выдавливался пупок, ноги
громадно раздвинулись, сквозь
косматый ворох открылось огромное
лоно, окруженное криптограммой
древних заветов. Стрижайло,
расплющенный космической

скоростью, раскрученный в
циклотроне, влетал в растворенное
лоно, как в туннель метро, где
навстречу, в блеске огней, рассыпая
искры, мчался состав. В
столкновении взрыва, разрушая друг
друга, превращались в слепящий
слиток, в атомный взрыв. И в оргазме
смерти, в бесцветном пятне
возникло прозрение. Полнота
безымянного мира, с которым он
слился, обретая абсолютное знание.
Выпадал обратно в трехмерное
пространство и время, унося
добытую истину.

Очнулся. Открытие
совершилось. Зачатие состоялось.
Проект, во всей простоте и

изяществе, был доступен разумению. Был безвозмездным даром все тех же духов, управлявших его судьбой. Крохотный эмбрион, похожий на нежного козлика, с мягкими рожками и смешными копытцами, начинал свой рост и пульсацию. Охранники Потрошкова наблюдали за ним. Один звонил по мобильному, докладывал шефу о завершении операции.

часть вторая.

«Сеятель»

глава десятая

Проект разрушения оппозиции и подавления олигархов был дан ему свыше, как скрижаль Моисею. В небесах зажегся проектор, жаркий пучок лучей ворвался в потрясенную душу, оставил огненный отпечаток. Так Гомеру был явлен замысел «Илиады». Так Петр Первый узрел план Петербурга. Так Королев во сне спроектировал корабль «Союз». План был гениален и прост, как геометрическая фигура, обладал совершенством кристалла. Но внутри каждой грани, в пределах, строго очерченных сверкающей линией, оставался неограниченный простор

для импровизаций, вдохновения,
непредсказуемого творчества.
Вероломство, обольстительный
обман, лицедейство, звериная
интуиция, холодный расчет служили
воплощению проекта, сладость
которого не сводилась к
материальной выгоде или
повышению статуса, но заключалась
в господстве над тонкими энергиями
бытия, в управлении стихиями мира.
Это переносило творца из
обыденного круга людей в область
иерархических духов, — ангелов,
пускай и падших. Он направился на
дачу к Дышлову, как диверсант,
оснащенный взрывчаткой,
отправляется в лоно врага.

Подмосковная дача была из тех, что выделяются деятелям Государственной думы, к числу которых принадлежал лидер компартии Дышлов. Высокий, не очень свежий забор был возведен еще в советское время. На участках елового леса стояли деревянные, советской постройки коттеджи, уступавшие своим видом и качеством помпезным дворцам новой знати, переселившейся из номенклатурных пиджаков в элегантные костюмы от «Версаче», из непрезентабельных «Волг» в толстозадые «мерседесы», из деревянных казенных дачек в беломраморные замки «позднерублевской архитектуры».

Шагая по тропинке к дому, Стрижайло весело, по-хозяйски оглядывал участок, как если бы его сторговал и примеривался обосноваться среди тенистых елей, в двухэтажном доме с флигелями и крыльцами. Участок был не просто обжит, но заселен многочисленной родней Дышлова, которая съехалась к нему из костромской деревни. Из дверей и окон на подходящего Стрижайло смотрело множество лиц, как смотрят они удивленно и пристально на проходящего улицей незнакомца, появление которого является крупным деревенским событием.

Жена, братья, снохи, зятья,

тести, тещи, девери, невестки, внуки и свояки создавали ощущение крестьянской семьи в общинную, достопыпинскую эпоху.

Простоволосые и в киках, бородатые и грудные, хворые и заспанные, трудолюбивые и праздные, они владели сообща хозяйством, и им еще предстояло делиться, рубиться топорами за каждую соху или курицу. Казалось, в доме и вокруг протекали крестьянские работы, домашние и огородные, от которых стоял шум и гвалт. Строгали табуретки, пряли шерсть, лудили корыта, ткали половики, сбивали бочки, стучали по наковальне. Здесь были горшечники, шорники, скорняки, плотники,

вязальщики метел, строгальщики топорищ, печники и кровельщики. Дом, еще минуту назад гремевший железом, орущий и стучащий, вдруг затих. Взира́л на Стрижайло множеством лиц, рты которых были слегка приоткрыты, а руки замерли налету, сжимая молотки, цепи и скалки. Эта была та, семейная часть КПРФ, которая примыкала к аграриям. Видно, в других домах проживали пролетарии и интеллигенция, а также представители академических кругов и армии, которые голосовали за компартию. С этой игривой мыслью Стрижайло подошел к крыльцу, по которому навстречу спускался

Дышлов.

Он был в спортивном костюме, в кроссовках, с голой грудью, на которой кудрявилась шерсть. Напоминал отдыхающего в санатории, который вразвалочку идет постучать мячом на волейбольную площадку. Его округлое лицо снеговика с носом-морковкой светилося радушием:

— Мозговому центру КПРФ — привет. Слушай анекдот. Стоит мужик на улице и голосует «леваков». Одна машина остановилась, он не поехал. Вторая остановилась, не поехал. Десятая, двадцатая, он все не едет. Подходит к нему другой мужик и спрашивает:

«Чего ты не едешь?»

А тот отвечает: «Голосую против всех!», — Дышлов радостно засмеялся, полагая, что анекдотом создал атмосферу свободного общения, раскрепостил стеснительного гостя. — Ну что, пойдём в кабинет, потолкуем.

Проходя сенями, горенками и коридорчиками, Стрижайло успел заметить, как в детской стригли «под горшок» беловолосого паренька, другой, наказанный, стоял в углу на горохе, третьего раскладывали на лавке, чтобы сечь лозой. В девичьей румяная девка вышивала на пяльцах, грудастая молодуха белилась перед зеркалом.

— Давай здесь присядем, чтоб никто не мешал, — Дышлов завел Стрижайло в кабинет и прикрыл дверь. Все стены были увешены фотографиями в дорогих рамках с изображениями хозяина, похвальными грамотами, вымпелами, лепными и металлическими эмблемами трудовых коллективов, армейских частей, научных институтов, где побывал Дышлов. На фотографиях он был изображен во главе демонстрации, на противолодочном корабле, в президиуме конгресса, во время инаугурации с Президентом, с канцлером Германии, с ансамблем лилипутов в пионерских галстуках, и

даже в водолажном костюме, где
сквозь выпученные окуляры
виднелись его ненасытные до зрелищ
глаза. В центре экспозиции, занимая
большую часть стены, красовался
портрет Дышлова кисти художника
Шилова, где мастерство
великолепного живописца придавало
Дышлову сходство с Сократом, —
озаренный лоб, могучие
мыслительные складки,
устремленный в бесконечность
взгляд.

Дышлов достал из мешочка
горсть жаренных тыквенных семечек,
насыпал перед Стрижайло:

— Угощайся. Хорошо для
действия желудка. Ну, какая

обстановка, рассказывай... — и, не позволяя Стрижайло раскрыть рот, стал говорить, одновременно ловко лущая семечки. — Кремль, по моим сведениям, очень встревожен. Президент собирал «ближний круг» и дал задание снизить поддержку коммунистов с сорока процентов до двадцати. Большое недовольство среди бюджетников, в научной и армейской среде, в малом и среднем бизнесе. Я встречался с американским послом Вершбоу и прямо сказал: «Если вы, используя свое влияние на Президента, не заставите его сменить пагубный курс, то на выборах коммунисты наберут не сорок, а все шестьдесят

процентов. Нам нужно еще подтянуть церковь и часть либеральной интеллигенции, которая разочаровалась в реформах, потому что кушать нечего. Ну, давай излагай, в чем твои идеи... — он хрустел семечками, ловко их расщеплял, выплевывал раздвоенную кожуру в ладонь, насыпая на столе аккуратную горку.

Стрижайло слышал, как за стенами кабинета подковывают коней, доят коров и стригут овец, а под окнами колют свинью, которая истошно визжала, принимая в сердце штык времен Германской войны.

— Главным элементом самой победоносной стратегии является

вопрос — где взять деньги. Ибо чем победоносней стратегия, тем она дороже стоит, — мягко, голосом терапевта, произнес Стрижайло. — Я хочу предложить вам способы добывания денег, в общей сложности до пятидесяти миллионов долларов, что обеспечит победу на выборах даже при полном вашем бездействии.

Дышлов округлил глаза, неразгрызенная семечка повисла у него на губе. Он воззрился на Стрижайло, который повел пальцем по стенам и потолку, молчаливо вопрошая, можно ли продолжать, не являются ли смоляные сучки одновременно «жучками».

— Здесь чисто. Ребята мои проверяли, — успокоил Дышлов.

Некоторое время молчали. Было слышно, как пилят бревна на продольные доски, дерут дранку и щиплют лучину. Пахло квасцами и несвежими шкурами, — это в огромных бочках кисли и дубились овчины.

— Первым источником денег, до двадцати миллионов долларов, может стать Рой Верхарн, у которого в Лондоне случаются истерики, и он только и ждет, куда бы потратить свои миллионы.

— Это невозможно, — Дышлов категорически отверг предложение. — Это не значит, что я

не хочу принять деньги Верхарна. Ленин принимал еврейские деньги и ездил в plombированном вагоне. Но если пресса узнает, что Верхарн финансирует компартию, от нас останутся доли процентов. Я не могу рисковать.

Было слышно, как бабы шинкуют капусту, мужики лениво перебрасывают вилами навоз, конюх, запрягая битюга, повторял «Тпрррр» и беззлобно ругался.

— Естественно, — тихо улыбнулся Стрижайло, — финансирование должно быть организовано так, чтобы не было непосредственной передачи денег Верхарна вам в руки. Для этого я

разработал оригинальную схему. В оставшиеся до выборов месяцы создается фиктивная политическая партия с экстравагантным названием, например, партия «Сталин» или «Товарищ Сталинград». Один-два представителя в регионе, банковские счета. В эту партию закачиваются деньги Верхарна таким образом, что «Сталин» их «отмывает», «сталинизирует», если угодно. Эта фиктивная партия поддерживает на выборах коммунистов, оплачивает из своего бюджета эфирное время, наглядную агитацию, прессу, все расходы по выборам, сама при этом не выдвигая кандидатов. Таким

образом, коммунисты получают на местах финансовую поддержку и добиваются успеха. На стыке партии «Сталин» и КПРФ должен стоять, по моему убеждению, ваш соратник Семиженов. Он искушенный коммерсант и обеспечит перетекание денег, получит желанную для себя ультралевую, «сталинскую» окраску, увеличит свой общественный вес и весомее будет смотреться в вашей главной партийной «тройке», усилив ее эффективность.

— Ты думаешь, Верхарн на это пойдет? — задумчиво произнес Дышлов, прислушиваясь, как его домочадцы солят огурцы, сушат грибы, квасят яблоки, отчего в

кабинет проникали терпкие вкусные запахи.

— Если вы даете «добро», я немедленно полечу в Лондон и сумею убедить Верхарна. Он ничего не потребует взамен, так велика его ненависть к Ва-Ва. Вы направите в Лондон своего банкира и партийного казначея Креса, и он проведет тайные переговоры с Верхарном об окончательной сумме и о способах перекачки денег.

— Это интересно. Буду думать, — глубокомысленно сказал Дышлов. Было видно, что возможность приобретения двадцати миллионов долларов сделала его принципиально другим, — по-

ленински прозорливым, по-
сталински беспощадным.

Мужики за окнами косили луг, точили косы, шелестели брусками. Бабы и девки сгребали зеленые копна. Молодые парни в потных рубахах метали стог, подавали вверх на деревянных навильниках сыпучие ворохи. Мужик с растрепанной бородой принимал охапки наверху, хлопывал вилами, проваливался в стог по колено.

Стрижайло видел, что Дышлов соглашается с его искусительным предложением, воображая, как громадная сумма долларов движется с Каймановых островов в партийную кассу КПРФ, проталкиваясь густым

зеленым месивом сквозь его расширенную аорту, жадно бухающее сердце, кровяные капилляры, отчего розово-белый цвет его щек менялся на нежно-зеленый, словно гемоглобин уступал место хлорофиллу, и Дышлов превращался в огромное луковичное растение, усваивающее солнечный свет, влагу и удобрения, подмешенные в почву щедрой рукой Верхарна.

Коварный план Стрижайло начинал осуществляться. В джунглях предвыборных проблем, в колючей чаще финансовых вопросов, в непроходимых зарослях политических уловок Дышлову была указана безопасная светлая тропка,

по которой он охотно пойдет своим разлапистым уверенным шагом. На этой розовой, в прозрачных тенях тропинке Стрижайло установит «растяжку» — тонкую струнку, прикрепленную к кольцу гранаты. Дышлов заденет струнку, и сотни жестоких осколков вопьются в его тучное, вальяжное тело.

— Есть второй источник финансирования, — Стрижайло потупил глаза, чтобы его предложение звучало интригующим, вкрадчивым. — Арнольд Маковский со своим «Глюкосом» желает участвовать в выборах. Хочет влиять на Парламент, хочет присутствовать в партиях. Он готов «купить» места в

ваших партийных списках, десять-пятнадцать мест, заплатив за каждое по два миллиона долларов. Тридцать миллионов Маковского и двадцать миллионов Верхарна, при широкой политической поддержке, сделают вас непобедимыми.

— Но ведь будет дикий скандал! Все скажут, — коммунисты торгуют списками, продают олигарху голоса обездоленных, выдают с потрохами нефтяному магнату интересы трудового народа! Нас сотрут в порошок! — нижняя губа Дышлова отвисла испуганно и враждебно, как если бы Стрижайло предлагал ему чашу с ядом. — Нет, это для нас невозможно.

— Я разработал операцию прикрытия, — произнес Стрижайло доверительно, мягко, как разговаривают с нервным недоверчивым пациентом. — Вы сделаете сенсационное заявление. Соберете прессу и расскажете о закрытом, строго засекреченном пленуме партии накануне распада СССР, когда партийные лидеры, предчувствуя катастрофу, готовились к многолетней «политической зиме». Они обратились к своим активистам, наиболее продвинутым в управлении, финансовой деятельности, банковской и промышленной политике, чтобы те внедрялись в новые экономические структуры. В

совместные предприятия, банки, кооперативы. Учились играть на бирже, овладевали маркетингом, становились менеджерами. «Учились торговать», как говорил Ленин. Активисты откликнулись на призыв партии и внедрились в банки, акционерные общества, коммерческие предприятия и заняли в них видные места. Разбогатели, стали «новыми русскими». Не все преуспели. Одни не сумели приспособиться, разорились, пустили пулю в лоб, спились. Другие «отвязались» от прежних начальников, сожгли партбилеты, стали олигархами, богачами новой буржуазной элиты. Третьи регулярно

платили членские взносы, чувствовали себя «агентами партии», заброшенными в тыл врага. К ним вы и обратитесь с призывом, — вернуть партийные долги, помочь своими капиталами коммунистам в трудный период предвыборной кампании. Так Ной посылал с ковчега голубей. Одни погибали в водной стихии, другие не возвращались, достигая желанной земли, но третьи прилетали обратно, неся в клюве зеленую ветвь. Вы должны обратиться к богатым «агентам партии», чтобы они возвратились на родной ковчег КПРФ и принесли в клюве золотую ветвь. На ваш призыв откликнутся пятнадцать-двадцать богатых людей

и открыто, на глазах у восторженного, благодарного народа, подарят партии каждый по два миллиона долларов, которые будут деньгами «Глюкоса». Этих законспирированных людей Маковского народ на руках внесет в Думу, как своих героев, славных «красных разведчиков», обманувших коварных олигархов, вернувших народу деньги.

Дышлов восторженно смотрел на Стрижайло, забыв разгрызть очередную тыквенную семечку, торчавшую в его крепких зубах.

— Ну ты даешь!

Было слышно, как в саду девки обирают малину, поют крестьянские

песни. Другие водили на лугу хоровод, краснея сарафанами, под которые норовил подлезть кудрявый пастушок-проказник.

Стрижайло видел, что Дышлов искусился на это головокружительное предложение, сулившее тридцать миллионов долларов. Уже думал, как их лучше потратить, — обклеить крупные города рекламными плакатами со своим изображением на фоне Кремля. Устроить по всей стране концерты песни и пляски с участием бессмертных, похожих на памятники Кобзона и Зыкиной. Закупить самые престижные телепрограммы, включая «Свободу слива» с

элегантным телеведущим Зябликом Штуцером, чья огромная голова и маленькие детские ножки обворожили страну, и та верила Зяблику, как Патриарху Московскому. Дышлов, околдованный сладкой мечтой, уже праздновал победу на выборах. Стоял с огромным букетом ромашек, которые преподнесли ему пионеры Мытищ, в венке из васильков, что возложили на его могучее чело ветераны Вереи. Давал интервью международным агентствам, иронично отзываясь о проигравших конкурентах. Забыл о Стрижайло. А тот, пользуясь этой мечтательностью, устанавливал среди бочек квашеной капусты и

мешков с овсом миниатюрное взрывное устройство с таймером и пульсирующим индикатором, который зловеще мигал в чулане, как глазок притаившейся крысы.

— Слушай, о чем я хотел тебя попросить, — Дышлов сильной ладонью подвинул по столу горстку семечек ближе к Стрижайло, что было знаком доверия и симпатии. — Я написал книгу «Русский взгляд», где в доступной, но и теоретической форме постарался объяснить понятие «русскости». Что есть русская политика, русская любовь, русская природа, русская дружба, русская песня, русская кухня, ну и, конечно, русская революция, русский

коммунизм. Хочу использовать эту книгу в предвыборной кампании. Где найти деньги на издание?

Стрижайло снова потупился, скрывая насмешку. Дышлову дышалось неуютно в разреженной атмосфере крупных идей, на высоте орлиных замыслов, и он поспешил снизиться туда, где было достаточно воздуха и тепла, и летали мошки, мотыльки и комарики. Заговорил о книге, которая выдавала в нем теоретика, и отрывки из которой «Русский квас» и «Русский веник» были опубликованы в главной партийной газете.

— Нет проблем, деньги уже имеются. Я и сам думал об этом,

когда читал ваши замечательные рецепты приготовления русского кваса — из хлеба, меда, хрена, ячменя, дубового листа, черной смородины, блинной муки, муравьиного спирта, козьего молока, молодых сыроежек, березовых почек, цветов одуванчика. Я подумал, что каждый из этих рецептов соответствует методике политической борьбы в Думе, на митингах, в пикетах, стачках и забастовках. В законспирированном виде демонстрирует разнообразие средств, с помощью которых коммунисты придут к власти. Деньги на издание есть. Мы издадим ее роскошно, на гербовой бумаге.

Привлечем для иллюстрации мастеров миниатюры из Палеха и Федоскино. Пусть ваша книга выглядит, как евангелие «русской идеи», священный завет национального самосознания.

Было видно, какое удовольствие доставили Дышлову эти слова. Он приосанился, расправил плечи, увеличился в размерах. Стал еще больше походить на свой портрет работы Шилова, словно вышел из рамы. Держал на ладони горсть семечек, которые собирался сеять на неоглядной русской ниве, зная, что некоторые из семян попадут на горячие камни и засохнут, другие будут склеваны птицами, третьи

задохнутся в терниях, но часть ляжет в плодородную влажную землю, и из них вырастут огромные оранжевые тыквы сокровенных русских знаний — о добре и зле, войне и мире, государстве и революции.

Снаружи ревела гармонь, пели величальную песню, играли свадьбу. Жених и невеста садились в украшенные лентами сани, мчались во весь опор по румяным снегам, и окрестность стонала и гикала от неистовой русской гульбы.

Стрижайло представлял себе роскошную, с разноцветными иллюстрациями книгу, которую он превратит в мину-ловушку. Передаст ее Дышлову, и та лопнет в его руках

смертоносным взрывом.

— Ну, теперь давай поговорим о конкретных мероприятиях избирательной компании, — деловито произнес Дышлов, доставая блокнотик и собираясь записывать. Этих блокнотиков у него было множество. Он записывал в них мысли интересного собеседника, содержание телепередач, прогнозы погоды, полюбившиеся анекдоты, выдержки из выступлений Президента и Папы Римского, а также некоторые абзацы из газеты «Оракул», — о различных аномальных явлениях. — Как думаешь, какие мероприятия следует провести.

Сквозь открытые окна было слышно, как крестьянские дети играют в лапту и «горелки», девки поют «коляды», парни, построив снежную крепость, берут ее штурмом, устраивают кулачные бои, суют под лед в прорубь церковного старосту.

— Нам следует предпринять серию совместных поездок в наиболее выигрышные точки, в сопровождении операторов ведущих телеканалов, чтобы ваши встречи тут же попадали в эфир. Я разработал перечень наиболее эффектных встреч, на которых вы предстанете державником, носителем левых взглядов, выразителем русской идеи.

За окнами освящали сельский храм, отпевали покойника, водили крестный ход в иссушенных засухой полях, вымаливая у Бога дождя. А так же дрались, копали колодец, пили водку, усевшись вокруг перед черным противнем, на котором золотились поджаренные караси.

— Вы должны присоединиться к «маршу голодных ученых», которые пойдут пешком от подмосковного Протвино к столице, требуя ассигнований на науку. Мы поможем ученым плакатами, сделаем для них из папье-маше макеты атомов, молекул, электронных микроскопов, синхрофазотронов. Вы встанете в колонну и будете говорить в камеру о

великой советской науке, которую разорили демократы. — Дышлов старательно записывал большими округлыми буквами. Было видно, что ему доставляет удовольствие равномерно покрывать бумагу гладкими ровными строчками. — Вы побываете на голодовке «чернобыльцев», ляжете рядом с ними на матрас, а мы позаботимся, чтобы камера снимала вас среди измученных лиц, и счетчик Гейгера показывал повышенную радиацию. Вы, лежа, обнимая одного из облученных, должны будете заклеить социальную политику власти. — Дышлов записывал, согласно кивал. Был похож на

старательного ученика,
выполняющего урок по
чистописанию. — Вы должны
побывать среди бастующих рабочих,
перекрывающих Транссибирку,
требующих выплату зарплаты. Вам
следует лечь на рельсы, чего так и не
сделал обманщик Ельцин. Мы
договоримся с машинистом
тепловоза, чтобы он замедлил ход и
остановил локомотив прямо у вашей
головы. Камера это будет снимать, а
вы из-под блестящего колеса станете
говорить о народном лидере, готовым
отдать за трудящихся жизнь. —
Дышлов чуть улыбнулся, удивляясь
выдумке талантливого
политтехнолога, в котором не

ошибся, приглашая на ответственную работу с высоким гонораром, — И, конечно, вы должны отстоять службу в церкви, приобщиться тайн, приять святое причастие. Камера будет фиксировать, как вы подходите под благословение, вкушаете тело Господне, пьете его мученическую кровь. Здесь вы будете молчать, но батюшка расскажет телекорреспонденту, что в церковной книге существует запись о том, как был крещен младенец Алексей Дышлов, покажет саму запись. Так вы станете вдвойне привлекательны для православных избирателей. — Дышлов хотел возразить, но передумал. Что-то подчеркнул в

блокнотике, быть может, запись о том, чтобы оставшаяся в селе Козявине родня подготовилась к приезду именитого родственника, привела в порядок родовой, запущенный дом. — И, наконец, вам следует совершить краткую поездку на Ближний Восток, в Палестину, в Рафаллу. Нанести визит осажденному Ясиру Арафату. Это резко повысит ваш престиж в мусульманских кругах, вызовет прилив энтузиазма среди наших башкир, татар и кавказцев.

— Вот туда нам летать не следует, — энергично заявил Дышлов. — Либо камнем башку пробьют, либо ермолку напялят у

стены плача. Сделают жидом, не отмоешься. А татары и так меня любят. Я им анекдот расскажу. Вот идут по дороге русский, чуваш и татарин. Нашли хорошую доску, дубовую, с дыркой. Стали спорить, кому достанется. Русский говорит, — кто быстрее скажет «Дырка в доске», тому и достанется. И начал частить: «Дырка в доске, дырка в доске, дырка в доске...» Чуваш за ним следом: «Тырком тоском, тырком тоском, тырком тоском...» А татарин сказал: «Дыр-доска» и взял себе доску. — Дышлов захохотал, и Стрижайло вторил ему, так заразителен и простодушен был его гогочущий смех, открывавший

крепкие, хорошо залеченные зубы с пломбами, которые поставил ему дантист 4-го управления Минздрава.

Снаружи провожали рекрута, плакали, целовались, пьяно пели. Новобранец едва держался на ногах. Поцеловал в засос девку и рухнул в телегу. Кони понесли, мать бежала вслед, а отец поднес к губам бутылку мутного самогона.

Список мероприятий был утвержден, и в каждое был заложен заряд с дистанционным взрывателем, который Стрижайло задействует легким нажатием кнопки.

Дверь в кабинет отворилась, и на пороге появилась старушка, кругленькая, в домашнем платке, на

нетвердых распухших ногах, в халатике, теплых тапочках, опираясь на палку. Ее лицо, болезненно-бледное, было красивым, наивным и старчески-милым, с бледно-голубыми блаженными глазками. Дышлов странно воспроизводил ее облик, укрупняя его в себе, делая мясистым и жилистым, словно этот облик из хрупкой стеклянной рюмочки перелили в грубый алюминиевый жбан.

— Вы уж Алешеньку не обижайте, — обратилась она к Стрижайло. — Он, Алешенька, добрый, открытое сердце. А на него столько напраслины наводят, столько дурного наговаривают, сердце у меня

разрывается. Как по телевизору услышу, что его чернят и ругают, ну, думаю, сейчас умру, сердце мое материнское разорвется. Он ведь мальчиком был каким, собаки не обидит, всем помогает. Соседку нашу, когда в овраг завалилась, сам на руках вынес и в дом принес. Он комсомольцем кровь сдавал, по три дозы. Он качели для сестренки сам смастерил, и очень они любили качаться. Я говорю: «Алешенька, брось ты свою политику, поживи для души» А он: «Нет, мама, народ не пускает»...

Стрижайло видел, каким нежным и беззащитным стало мясистое лицо Дышлова, как

потеплели его глаза, всегда тревожные и недоверчивые, а сейчас умильные и радостные. Между ним и матерью была тончайшая, из нежности и бережения, связь, в которой присутствовала печаль неизбежной разлуки, робкая надежда, что расставание случится не скоро, и они еще будут вместе, повторяя друг друга своими круглыми лицами, голубыми глазами, неуловимыми интонациями костромского деревенского говора.

— Мама, вы заходите, садитесь, — приглашал ее Дышлов, указывая на низенькое креслице с мягкой подушечкой, приготовленное специально для матери.

— Я ему говорю: «Алешенька, дом-то наш в Козявине стоит заколоченный. Как тетка Анна померла, так он и стоит брошенный. Надо бы его тебе на себя записать, привести в порядок, крышу покрыть, обновить. Ты ведь большой человек. Может, люди, которые тебя любят, поддерживают, захотят в нем музей твой устроить. Тетрадошки школьные твои выставить, туфельки махонькие, которые я сохранила, фотографии твои, какой ты был кучерявый, красивый. Ты бы дом-то у племянников выкупил, сделал ремонт. Может, меня перед смертью свозил. Чтобы я посмотрела, пока глаза видят, на нашу березу, на

которую ты лазил, и я все боялась, что сорвешься и в прах разобьешься, — она смотрела на сына с обожанием, боготворя ее, веря в его великую судьбу, предначертанный путь, который начался от родного дома, от белой березы и повел его все дальше и выше, до самых кремлевских звезд.

— Мама, да вы заходите, садитесь... — приглашал Дышлов. Стрижайло чувствовал живые нити, связывающие сына и мать, питавшие обоих нежностью и любовью. Их привязанность к родовому гнездовью, к неведомому деревенскому дому, отсыревшему среди дождей и ветров. Созерцание

этих хрупких связей, уязвимых и беззащитных, вызывали у Стрижайло не умиление, не сочувствие, а едкое и веселое раздражение. Эти робкие связи можно разрубить и рассечь, лишая Дышлова благотворных токов, делающих его неколебимым и сильным. Их можно пережать невидимым зажимом, как сонную артерию, прерывая живительный кровоток, наблюдая, как меркнут глаза Дышлова, как синеет и умирает его лицо. Диверсант и разведчик, Стрижайло проник в «святая святых» врага, разведкал его уязвимые точки, готов нанести смертельный укол.

Старушка повернулась, опираясь на палку, исчезла в дверях. Дышлов,

улыбаясь, печально смотрел ей вслед.

— Ну что ж, мы все проговорили. Если будет ваша команда, я готов приступить к исполнению, — Стрижайло поднимался, прощаясь. — Маковский и Верхарн должны наполнить партийную кассу.

— Действуй. Но только осторожно и осмотрительно, — сурово соблаговолил Дышлов, провожая Стрижайло к выходу.

Тот уходил, покидая дачный участок, а казалось, что идет за околицу многолюдной деревни, где гонят вечернее стадо, топят печи, усаживаются многолюдными семьями за просторный стол. Ставят

миску с похлебкой, черную сковороду с десятком запеченных яиц. По очереди тянутся деревянными ложками, подставляют под них пригоршни. И старейший в семье громко бьет по лбу нетерпеливого, нарушившего очередность мальчика.

Стрижайло извлек из кармана сотовый телефон. Нажал перламутровую кнопочку «2», используя ее, как взрыватель. Сзади грохнул огромный малиновый взрыв, полыхнуло раскаленное пламя. Деревня горела. Опаленные, бежали коровы. Летели обгорелые куры. Люди с воплями набегали на пожар, плескали из ведер красную слюдяную воду.

Стрижайло испуганно
обернулся, — огромное малиновое
солнце садилось в ели, и казалось,
весь мир бесшумно горит.

Он вернулся в свою уютную,
безлюдную квартиру в сиреневых
сумерках и, улегшись на диван,
испытывал неясное беспокойство,
щемящую неудовлетворенность.
Блестящее начало операции,
обольщенный, доверчивый Дышлов,
попавшийся во все, расставленные
ловушки, не доставляли ощущения
абсолютной удачи. Томили
тончайшая аномалия, неуловимый
сбой, мешавшие насладиться первой,
несомненной победой. Виной тому

была круглолицая, немощная, наивно-светящаяся женщина, мать Дышлова. Она открыла Стрижайло свою нежную, беззащитную любовь, сберегавшую сына среди злключений жестокого и беспощадного мира. Оба они, мать и сын, связанные робкой нежностью, поддерживали и спасали друг друга, отводя напасти, мечтая побывать когда-нибудь в родном селе, оказаться в родной избе, где каждый сучок в потолке, каждая зарубка на стенах напоминали о счастливых днях, о дружной многолюдной семье, когда вместе им было так хорошо. Он, Стрижайло, подглядел сокровенные связи, задумал их

уничтожить. Это было, как убийство спящего. Как отравление ребенка. Как донос на благодетеля, который приютил его в своем доме, обогрел, усадил за стол. Переживания, которые испытывал Стрижайло, напоминали давно забытые угрызения совести. Нарушали внутреннее равновесие, искажали геном. Красная, ядовито-горящая спираль чуть померкла, замедлила неустанное вращение, придававшее Стрижайло неуголимую страсть к переменам, к изощренным новациям, к ослепительному творчеству. Голубая, бледная тень, напоминавшая тающее облачко, вдруг наполнилось светом, затрепетала, словно голубой

язычок огня. Пробуждала ненужные и тревожащие воспоминания о бабушке, о ее чудной седой голове, о любящих нежных глазах. Так дает о себе знать ампутированная нога, наполняя оставшуюся от нее пустоту живыми биениями, сочным дрожанием мышц. Так вырванный с корнем язык вдруг начинает расти, выговаривая забытые несуразные слова.

Стрижайло прислушивался к «музыке молекул», замечая в ней едва уловимую фальшь. Как если бы в «Полете валькирий» Вагнера, напоминающем ревущий океан, обнаружилось несколько сверкающих капель из «Этюдов»

Шопена. Как если бы в истерической трансовой музыке «Нирваны» с Куртом Кобейном появилось несколько нот песни Пахмутовой «Надежда».

Это было опасно. Вносило разрушительную дисгармонию. Грозил разрушить план, обесценить случившееся озарение, перечеркнуть добытую в откровении истину.

Он поднялся, приблизился к заветному шкафчику из карельской березы, повернул нежно хрустнувший ключ. Ему открылось содержимое шкафчика, хлынули слабые ароматы пережитых наслаждений, тайных пороков, утоленных вожделений. Так пахнут ядовито-сладкие орхидеи,

превращающие питательные соки деревьев в тлетворные благовония распада.

На него смотрели фетиши любовных связей, предметы, хранящие память о женских тайнах и прелестях.

Протянут в шкаф руку. С закрытыми глазами перебирал легкий шелк, тонкие бретельки, изящные пряжки и пуговицы. Пальцы ощутили нежную кожу дамской туфли, заостренный носок, отточенный крепкий каблук. Извлек туфлю, оставленную на память немолодой, но все еще великолепной женщиной, директором банка, которую привез к себе после

пышного фуршета в «Президент-отеле». Смотрел на кожаное изделие, своим совершенством напоминающее скоростной перехватчик. Вспоминал, как выглядела сильная, с налитой икрой, обнаженная нога, пышное белое бедро, играющие жилки на щиколотке. Как опустилась на край кровати сбросившая туфлю стопа с красивыми пальцами и сочным вишневым педикюром.

Приблизил туфлю к глазам. Кожаная стелька внутри была чуть стоптана, с полустертым золотым клеймом фирмы «Габер». На каблуке была крохотная царапина. Заостренный носок был в легких

вмятинах, оставленных пальцами. Он вдыхал запах кожи, нежных лаков, едва уловимое благоухание, оставленное женской стопой, которое волновало его и дразнило. Терся щекой о теплую поверхность туфли, прикоснулся губами к изящному каблуку. Тронул языком золотое клеймо на стельке, почувствовав горьковатый, миндальный вкус, от которого заколотилось сердце. Он тер себе грудь туфель, слыша шелестящее, трескучее электричество, видел сквозь закрытые веки прозрачные сиреневые сполохи, окружавшие любовный фетиш. Задохнулся от страсти, наполняя туфлю своей

жаркой нетерпеливой плотью, которая заполняла все внутреннее пространство, пока ни полыхнул ослепительный бесшумный взрыв, превращая туфлю в светило, на которое он молился, испытывал нежность, обожание. Смотрел, как светило гаснет, отекает жидким драгоценным жемчугом.

Умиротворенный, с восстановленным равновесием, лег в постель и заснул. Видел сквозь сон, как парит в ночном московском небе красная, неоновая реклама, — дамская туфля и обвивающая ее саламандра.

глава одиннадцатая

Он летел в аэробусе в Лондон, в бизнес-классе, положив на грудь крахмальную салфетку, поднося к губам толстый стакан с виски. Перед ним на подносе красовались королевские креветки, подогнув мясистые хвосты, вытянув длинные усатые клювы. В иллюминаторе огромно и бело, как льдина, сияло крыло, дышали пышные, глотающие облака турбины. Еще в «Шереметьеве», в вип-зале он заметил казначея КПРФ Креса, его студенистое тело, строго-благожелательное лицо, розовые глаза, окруженные белыми свинными

ресницами. Издали сдержанно кивнули друг другу, предпочитая не общаться, зная, что обоих, в разных местах Лондона, в различное время поджидает один и тот же человек — Рой Верхарн. В хвостовых рядах аэробуса, в эконо-классе, сидели два молодых человека сдержанного вида. Один похожий на цыгана, смугло-лиловый, с обвислым носом. Другой, коротко стриженный, светлый, с холодными глазами вышибалы. Это были агенты ФСБ, сопровождавшие в Лондон Креса после того, как Стрижайло поведал Потрошкову часть своего авантюрного замысла.

Внизу, покрытая облаками,

Европа отдыхала от «холодной войны», наивно полагая, что Россия навсегда перестала быть империей, и русским танкам никогда не дойти до Эльбы и Одера. Стрижайло, глотая виски, тонко улыбался заблуждению сибаритствующего континента.

По странному совпадению в Лондон в тот же день прибывал Президент России Ва-Ва, на встречу с закадычным «другом Тони». Предусматривался визит Ва-Ва к британской королеве, у которой стремительно портился характер, причиной чего было невыносимое поведение принца Чарльза. Взрослый оболтус, скверными поступками и развратным нравом

толкнувший принцессу Диану в объятия исламского фундаментализма, не мог пережить известие, что она была беременна арабчонком. После ее смерти не занимался делами королевства, а только лошадьми и конюшней, до такой степени, что стал походить на горбоносого жеребца и при встрече с королевой производил фыркающий звук и брыкающий жест. Обо всем этом собиралась рассказать королева русскому Президенту, имевшему в династических и придворных кругах репутацию деликатного слушателя. Стрижайло забавляла мысль о двух параллельных переговорных процессах, — своего и Верхарна,

британской королевы и Президента Ва-Ва.

Переговоры с Верхарном должны были резко продвинуть его проект, — связать КПРФ с олигархом, перепутать их интересы, соединить деньги с политикой, ложь с истиной, глупость с гениальностью, демократию с преступлением. Этот великолепный коктейль он взбалтывал в стакане, глотая горькую смесь шотландского самогона и дубильных веществ.

Полет протекал на высоте 10 тысяч метров, со скоростью 850 километров в час, с температурой за бортом минус 22 градуса. Одна стюардесса, толкавшая тележку с

напитками, пахла духами «Палома Пикассо», а ее подруга благоухала «Л'Эр дю Тан». Под эти дивные ветерки он задремал, а проснулся над Ламаншем, — стальная туманная рябь, белые мазки пены с заостренными наконечниками кораблей, тусклое солнце Темзы и чешуйчатая земля, куда тяжеломерно снижался аэробус, доставляя в Хитроу груз, не имевший ни веса, ни цвета, ни запаха, — гениальный проект Стрижайло.

На автомобиле, который прислал Верхарн, он добирался в отель, застревая в пробках, среди красных двухэтажным омнибусов, старомодного вида такси, не тяготясь

простоями. С удовольствием рассматривая викторианские особняки, помпезные здания империи, памятники, музеи и банки. Водитель передал ему зазвонивший телефон:

— Приветствую вас, Мишель, — услышал Стрижайло торопливый, задыхающийся голос Верхарна, напоминавший стрекот сороки. — Нормально долетели?

— Рад слышать, Рой. Спасибо за машину.

— Я предлагаю поступить следующим образом. Вас привезут в отель. Вы положите вещи, отдохнете час, и та же машина доставит вас ко мне. Мы поговорим. Потом я отвезу

вас в отель, сделаю некоторые неотложные дела в городе, вечером приеду к вам, и мы продолжим разговор.

— Я в вашем распоряжении, Рой. Жду с нетерпением встречи.

Автомобиль остановился перед чопорным отелем «Дорчестер», у каменного подъезда, где служители в долгополых макинтошах приподняли цилиндры, приветствуя Стрижайло поклоном:

— Добрый день, сэръ.

Пропустили его к стеклянным поворотным дверям, сквозь которые Стрижайло проник в теплый, благоухающий холл. Все было великолепно, — мягкие паласы,

массивный ключ от номера с тяжелым набалдашником, бесшумный, вкусно пахнущий лифт с мелодичным звонком, роскошный номер с сумеречной таинственной спальней, светлым кабинетом, библиотекой, баром и пленительным видом на Гайд-Парк, где было тесно от пышных зацветавших деревьев.

Стрижайло, кинув саквояж на диван, прошелся пританцовывая по комнатам, испытывая удивительную легкость и безответственность. Одна империя, из которой он улетел, перестала доставать его своей изнурительной гравитацией, а другая, куда он прибыл, была не его, необременительна, не тяготила

сегодняшними проблемами и
вчерашним прошлым, — ни
Трафальгарской битвой, не
покорением Индии, ни хромым
Байроном, ни гомосексуальным
Уайльдом, ни мистическим
империалистом Кипплингом.
Гравитация этой империи была столь
мала, что он чувствовал себя, как
астронавт Армстронг на Луне,
перемещаясь легкими большими
скачками, словно кенгуру, — от бара
к дверям туалета, от сверкающего
стекла и фаянса к библиотечным
полкам, где стояли потрепанные
книги позапрошлого века. Сочинения
давно забытых романистов,
наполнявших номер прозрачным

дымом сгоревшей эпохи дирижаблей и пароходов.

Через час, сменив дорожное облачение на легкий светлый костюм и свободные туфли, небрежно повязав шелковый галстук и чувствуя себя Джорджем Брюммелем, исповедующим дендизм, он подкатывал к загородному замку Верхарна.

Каменные, с чугунной решеткой ворота. Солнечное, с цветниками и фонтаном подворье. У входа в замок зоркая охрана в пиджаках, с портативными рациями, расставила упругие ноги, сложила на животе сильные руки. Выделялся огромный угрюмый араб с синим, бритым

наголо черепом, служивший, как говорили, во французском Иностранном легионе, и холеный, упитанный дог с переливами черной шелковой шерсти. Протискиваясь бочком сквозь охрану, маленький, щуплый, с худым, искривленным тельцем, Верхарн открывал объятья, приветливо улыбаясь малиновым ртом, полным крепких кривых зубов. Обнимая его, Стрижайло испытал искушение сжать покрепче утлые плечи, чтобы почувствовать, как жалобно хрустнет косточка и раздастся замирающий вопль придушенного котенка.

— Замечательно, что прилетели, Мишель. Ну что вы там, в Москве —

совсем охуели? Будете выборы
выигрывать или брать власть? —
говоря это, Верхарн повел гостя в
замок, в прохладные, бесконечные
залы, гостиные, диванные, с
потертыми гобеленами,
потускневшими картинами,
рыцарскими доспехами, бегло
показывая Стрижайло свое
знаменитое жилище, ставшее ему
убежищем после бегства из
враждебной России. В этом замке,
баснословно дорогом и роскошном,
беглец укрылся от мстительного
Президента Ва-Ва, вместе с
очаровательной женой и детьми,
челядью, поварами, садовниками,
горничными, массажистами,

врачами, музыкантами, стрелками из арбалета, дегустаторами вин, настройщиками клавесина, приживалками, которые тот час потянулись к беспокойному, щедрому богачу, докучая ему нелепыми просьбами, пустыми заботами, дурацкими предложениями, завистливыми, голодными глазками неудачников и попрошаек.

— Ну, Мишель, рассказывайте московские новости!

Теперь они сидели на просторном каменном подиуме по другую сторону замка, откуда открывался божественный вид на туманные, зелено-голубые дали, где притаились тени королей и

разбойников, обитали в дубравах кельтские духи, прятались вольные стрелки Робин Гуда, двигался на тяжелом, облаченном в латы коне Ричард Львиное Сердце. Великолепный газон от самых ступенек замка снижался к прудам, в которых отражалось тусклое солнце, и несколько громадных деревьев были окружены черно-синими густыми тенями. На столе красовались два бокала с красным вином. Служитель принес мягкие, шитые серебром подушки, положил на удобные кресла. Сладкий ветер летел над замком, благоухая цветами, соком скошенных трав, прохладой близкого моря.

— Москва готовится к выборам. Кремль, партии, олигархи, спецслужбы, губернаторы — все охвачены предвыборной лихорадкой, — Стрижайло пригубил рубиновое вяжущее вино, наслаждаясь видом, где все, — голубые холмы, далекие дубравы, теплый туманный воздух с неясным проблеском птицы, каменные ступени, увитые плющом, чудесные дымчатые агавы, окружавшие замок, — все принадлежало Верхарну, и казалось необъяснимым, что всего этого ему недостаточно, что в этом райском лондонском предместье он так и не обрел душевного покоя, что его страстная,

честолюбивая, оскорбленная душа мчится в угрюмую, перевернутую вверх дном Россию, где столько крови и слез, — У коммунистов столь высоки шансы, что к ним начинают льнуть их недавние враги. Я говорил, что Маковский вознамерился стать Президентом, ищет у коммунистов поддержки.

Верхарн нетерпеливо и страстно передернул худыми плечами. Его желтоватое лицо раздраженно задергалось. Маленькие черные шарики глаз стали метаться, отыскивая среди разнообразия ближних и дальних предметов, передних и задних планов точку, на которую он мог бы опереться

архимедовым рычагом, чтобы перевернуть абсурдный мир, действующий не по его законам. Этой точкой оказался кончик носа Стрижайло, который ощутил горячее прикосновение огненных угольков.

— Арнольд Маковский мудака, у которого усыхают яйца. Его ненасытный рыжий ястребиный глаз стал слепнуть. Он утратил вкус к живой крови. У него вырвут глаз, залепят пластилином и посадят в клетку. Когда он начинал свой бизнес, он не уставал убивать. Он добывал нефть из трупов. Убитых конкурентов спускали под лед десятками в среднем течении Оби, и те всплывали летом в низовьях, под

негаснущим солнцем, с отрешенными лицами, верящими в справедливость. Маковский хотел взорвать меня, поднял на воздух мой «мерседес», и это был поступок воина. Теперь же он мечтает войти в закрытые клубы Европы, сесть за один стол с Рокфеллером и обрести респектабельность. Он заказывает дурацкие мюзиклы о «Городах счастья», помогает сироткам, берет на содержание писателей с обсосанными штанами, вместо того чтобы убивать, как это делают американцы в Ираке. Цены на нефть не должны опережать цены на донорскую кровь. Как только мстительный Ва-Ва поймет, что

Маковский становится для него конкурентом, он его уничтожит. Отберет месторождения, выколет глаз, посадит в клетку и повезет, как Емельку Пугачева, по ненавидящей, нищей России, зарабатывая себе на этом баснословный рейтинг...

Блаженный покой, окружавший замок, был обманчив. Восхитительные окрестности таили опасность. Укрывшийся на островах олигарх источал такую страстную ненависть, такое едкое нетерпение, что в кабинетах Лубянки перегорали лампочки, на даче Ва-Ва в Барвихе два раза тушили пожар, а у любимой суки Президента постоянно случались выкидыши. Предвещающая

гибель Маковского, Верхарн был сам обречен. К нему из Москвы засылались наемники, прорывались убийцы. Снайперы на крыше замка тихими одиночными выстрелами гасили угрозы.

— Я полагаю, Маковский намерен внедрить к коммунистам своих людей. Коммунистическое большинство в Думе будет контролировать власть, влиять на результаты последующих выборов Президента, — Стрижайло сделал осторожный глоток вина, не торопясь раскрывать Верхарну свой замысел. Пусть олигарх освободится от избыточного возбуждения, обретет способность воспринимать чужие

идеи, и лишь тогда он услышит о партии «Сталин», узнает о приехавшем на переговоры Кресе. — Повторяю, у коммунистов великолепные шансы.

— Если их влияние так велико, как вы утверждаете, пусть приведут на Красную площадь полмиллиона человек, поставят напротив Кремля и потребуют отставки Ва-Ва. Это будет конец режима. Армия перейдет на сторону народа, чиновники сами принесут Дышлову ключи от своих министерств. Скажите, если я подарю Дышлову миллион долларов, он приведет народ на Красную площадь? Они найдут среди своих людей сто человек, готовых умереть

за идеалы? Я выдам каждому гарантийную сумму по сто тысяч долларов, пусть штурмуют Спасские ворота. Для победы я готов пожертвовать все мое состояние. Хватит тратить деньги на премию «Триумф посредственности», которой заправляют два глухих графомана. Хватит финансировать «Ненавидимую газету», которая стала так скучна, что ее можно использовать в качестве мухомора. Довольно издавать «Коммерсанто Клаус», превращенный хитрым алкоголиком в источник вечной выпивки и закуски. Надо финансировать революцию!

— А вы не думаете, Рой, что Ва-

Ва откроет по стотысячной толпе
огонь из крупнокалиберных
пулеметов, как на площади
Тяньаньмынь? Расстреляет
смутьянов из танков, как сделал
Ельцин у Белого Дома?

— Ва-Ва — слабый,
изнеженный. Боится крови. Боится
своих и чужих страданий. Боится
власти. В свое время я слепил его из
слюны и кусочков глины. У него
прочность ласточкина гнезда. Он в
состоянии пролить дамские духи или
французское вино, но кровь
проливает Потрошков. Однако,
настал момент, когда тот не станет
проливать кровь за Ва-Ва. В этом вся
тайна.

— В чем тайна? — Стрижайло вспомнил о тонком ледяном сталактите, что хранился в его холодильнике. О хрупком ледяном световоде, соединявшем зрачок Потрошкова с бледным лицом Президента, куда была вморожена загадка их отношений. — В чем тайна? — повторил он вопрос.

Из голубого воздуха, над зеленым ароматным газоном возникла белая бабочка. Нежно, очаровательно кружилась, вычерчивая прозрачные иероглифы, приближаясь к подиуму, где они восседали. Раздался чуть слышный хлопок, разрывная пуля снайпера срезала крылья бабочки, растерзала

нежное тельце. Крылья опали, как оборванные лепестки. Белели на зеленой траве. Появился молчаливый охранник из Иностранного легиона, с синим черепом. Держал в руках легкую метелку и совочек. Смел останки бабочки. Унес, чтобы подвергнуть химическому анализу на предмет содержания яда. В газетах писали, что русские агенты выпускают в окрестностях замка бабочек с отравленной пылью, чтобы Верхарн надышался тлетворным воздухом, и у него стали распадаться печень и легкие.

— Публика знает о «кагэбистском» прошлом Ва-Ва, знает, что он работал в Восточной

Германии, в культурном центре, — начал повествование Верхарн, который не мог удержать в себе накопившиеся переживания и мысли и делился ими с московским гостем, одним из немногих, кто не предел его в трудный час. — Но никто не знает, чем он занимался в Германии. Его непосредственный начальник Потрошков добывал информацию о секретных работах биологов Гамбурга, преуспевших в клонировании и биотехнологиях. Эти ученые приезжали в Лейпциг на конгрессы и симпозиумы и любили посещать кабаре «Нахтигаль», где танцовщицы танцевали фривольные танцы. Ва-Ва переодевался в женское

платье, в трико, бюстгальтер и, прикидываясь прямой кафе-шантана, исполнял эротические танцы, соблазнял немецких ученых, благо его мужские гениталии были таких размеров, что даже в трико невозможно было установить его пол. Ученые приглашали пленительную танцовщицу за столики, иногда даже в номер, и Ва-Ва у пьяных, потерявших бдительность исследователей добывал бесценную информацию, которая тут же направлялась в геронтологические центры СССР, где работали над увековечением жизни Брежнева. Тогда-то и завязались сердечные отношения между

Потрошковым и Ва-Ва, которого шеф ласково называл — «танцовщица Дега»...

Из далеких кустов на пустое пространство газона выскочил серый кролик. Мягко скакал, прыгал из стороны в сторону, приближаясь к подиуму, смешно прижимал уши, припадал к траве, превращаясь в пушистый комочек. Снайпер сразил метким выстрелом казавшееся невинным животное, у которого под брюхо была подвязана граната. Мускулистый араб с синим черепом, с суровым лицом бедуина, выкатил на газон ручную тележку, приблизился к кролику, бросил безжизненную тушку в тележку и

увез в дальний флигель замка, где сапер обезвредил гранату.

— Когда распался Советский Союз и предатель Калугин выдал американцем всю агентуру КГБ, Потрошков и Ва-Ва чудом избежали ареста. Они осели в Ленинграде, где Потрошков пытался спасти секретную лабораторию по клонированию, а Ва-Ва, благодаря связям шефа, устроился гувернанткой в дом к мэру города Корнелию Лизуну. Благо девическая внешность, отсутствие на лице волосяного покрова позволяли играть роль девицы из хорошей семьи. Обязанностей у него было немного. Помогал по утрам одеваться супруге

Корнелия, пышной, вечно влюбленной даме, которая стала полнеть, и ей самой было трудно застегивать лифчик. Легкие пальцы Ва-Ва блестяще с этим справлялись. Помимо этого, он помогал омовению прелестной дочери Корнелия, школьницы Дарье Лизун, которая любила пошалить под душем, — зажимала между ног бриллиантовое кольцо матери и спрашивала гувернантку: «Я похожа на небесное созвездие?» Ва-Ва приходилось использовать весь такт разведчика, всю обходительность, когда он настойчиво и нежно извлекал драгоценность из стиснутых ног шалуньи. Третья обязанность

состояла в том, что он являлся в Смольный к Корнелию и омывал ему ноги в эмалированном тазике, делая массаж страдавшему подагрой мэру. Мэр при этом трещал без умолка, выбалтывая много ценных сведений — о нелегальной торговли цветными металлами, в том числе, конями Клодта и «Медным всадником» Фальконе, о продаже на запад картин из запасников Эрмитажа, о намерении вернуть великому городу имя «Санкт-Петербург» и, наконец, о тайном намерении Корнелия учредить в России конституционную монархию. Именно это сближало Корнелия с Потрошковым. Оба, тайно исповедуя идею

конституционно-монархического строя в России, хотели разделить страну на восемьдесят маленьких княжеств, с сохранением общего для всех монархического символа власти. Только так, полагали они, по отдельным ломтям можно было встроить Россию в Европу. Потрошков приказывал Ва-Ва приносить ему тазик с водой, в которой побывали больные ноги Корнелия. Он исследовал эту воду на предмет содержания в ней «разума ног», — субстанции, способной продлить умственные способности человека, у которого отказал головной мозг. Взяв пробы, эту воду выливали в сквере лаборатории, под

могучим каштаном, отчего никогда не болевшее дерево вскоре засохло...

Из тенистой дубравы на газон вынеслась золотистая лань, грациозная, с изогнутой шеей, чуткой головой, на которой солнечно светились малиновые глаза и торчали робкие рожки. Было видно, как в прыжках переливается ее светлый мех, волнуются темные, бархатистые пятна на бедрах. Лань приближалась к подиуму, игриво останавливалась, поворачивала женственную, увенчанную рожками голову. Вдруг обнаружилось, что темные пятна на бедрах были «поясом шахида», связкой пластита, а рожки являлись антеннами, принимавшими сигнал

взрывателя. Снайпер аккуратно, чтобы не повредить взрывчатку, разнес ей голову пулей, и она лежала, как слиток, на зеленой траве. Бритоголовый телохранитель выехал на мини-тракторе, лавируя прицепом. Переволок убитую лань в прицеп, отвез на кухню, где повара, по совместительству взрывотехники, обезвредили «пояс шахида», принялись готовить из нежного мяса рагу.

— После крушения Корнелия, когда того обвинили в намерении продать за границу подвесные мосты Невы, Ва-Ва, стараниями своего друга и покровителя Потрошкова, переехал в Москву и определился в

Управление делами Президента. Там курировал реставрацию Кремля, воссоздание двух императорских залов Андреевского и Екатерининского, взамен советского, сталинского. Мы с Потрошковым готовили эти залы для будущей коронации конституционного монарха, которого Потрошков, в виду прекращения династии Романовых, собирался клонировать из останков Николая Второго. Тогда я впервые познакомился с Ва-Ва. Однажды вечером, зайдя в Андреевский зал, я застал его сидящим на золотом троне, под горностаевым балдахином. Он пребывал в нирване, блаженно улыбался и грезил. Я

растолкал его: «Вы — монархист?» — спросил я его. «Конституционный», — был ответ. С этих пор я не упускал его из вида...

С зеркальных прудов, поднимая фонтаны солнца, взлетели казарки. Мощно, отливая изумрудом крыльев и золотом вытянутых шей, полетели над газоном, пропадая в тенистых кронах деревьев. Одна казарка покинула стаю, отвернула и стала стремительно приближаться, так что слышались слабые посвисты маховых перьев. Снайпер срезал ее. Раненная птица, перевертываясь, ударилась о землю, побежала по газону, волоча перебитое крыло. Бритоголовый, с синим черепом, араб спустил с

поводка дога. Собака, взбрыкивая лапами, мощно догнал подранка, перекусил ему шею, поднесла хозяину. Араб привычным движением вырвал из клюва птицы «головку самонаведения» с миниатюрным изображением Верхарна, выдавил из гузки микрозаряд взрывчатки.

— Когда мной был снят директор ФСБ за то, что уж слишком усердствовал в борьбе с чеченскими террористами, возник вопрос, кто сменит его на посту. Потрошков был слишком поглощен генетическими экспериментами по выращиванию цесаревича, и я не хотел его отвлекать. Мне пришла в голову

мысль назначить на должность Ва-
Ва. Молод, женственен, приверженец
конституционной монархии. Что еще
надо? Я не ошибся в выборе. Первое,
что сделал мой назначенец на посту
директора ФСБ, — спас от
преследования своего бывшего
покровителя Корнелия Лизуна,
которого уже готовились взять под
стражу, ибо на даче у него
обнаружили несколько пропавших из
«Летнего сада» мраморных
скульптур, а так же часть медного
маятника из Исаакиевского собора.
Ва-Ва организовал побег Корнелия в
Париж. Жена Корнелия
притворилась кормящей матерью,
пронесла в салон завернутого в

пеленки Корнелия и весь путь до Парижа кормила его грудью, а тот, ловко притворяясь младенцем, кричал «уа», чем страшно досаждал пассажирам...

Над прудом жарко сверкнула рыба. Зеркальный карп, в которого был вмонтирован боевой лазер, повел ослепительным смертоносным лучом по небу. Ветви деревьев, перерезанные лучом, падали и дымились. Луч приближался к подиуму, но снайпер упредил опасность. Пуля разбила вдребезги опасную рыбу, и она превратилась в солнечный взрыв, разбрызгивая кровь, икру и молоки.

— Однажды, когда Ва-Ва

удалось прекратить скандальное дело о вкладах «семьи» в «Бэнк оф Нью-Йорк», для чего женевской прокурорше Дельпonte была прислана «черная метка» в виде бриллиантовой жабы, похожей на госсекретаря США Олбрайт, я решил представить Ва-Ва Ельцину. Старик был в хорошем расположении духа, пил свои любимые духи «Шанель», и Ва-Ва, пользуясь тем, что «царь» под хмельком, забавлял его эротическими танцами, замотавшись в шаль Наины Иосифовны. Кончилось тем, что «царь» сослепу принял его за жену и с силой увел в спальню. Узнав о подмене, долго хохотал, тряс обессиленной

загогулиной, и в конце произнес: «Вот кому я мог бы завещать государство. Он всегда отдаст мне его обратно»...

На краешек рюмки, что стояла перед Верхарном, полная красного вина, присела оса. Вцепилась лапками, вращала стеклянными крыльями, пульсировала черно-желтым упругим тельцем. Было видно, что она готовится к атаке. Нацелилась на лысеющий череп Верхарна, в котором бушевал его страстный, неумный разум. Начала взлетать, превращаясь в гудящий вихрь. Пуля снайпера сбила осу, не повредив стеклянную рюмку, превратив зловредное насекомое в

горстку трухи. Появился невозмутимый араб с пинцетом. Промолвил: «Прошу прощения, сэр», достал из трухи платиновое, колющее жало с колбочкой смертельного яда. Отнес добычу в копилку драгоценных металлов, где уже скопилось множество подобных жал — свидетельства неудачных происков ФСБ.

— Увидев в Ва-Ва приемника Ельцина, я стал часто проводить с ним время. Много беседовал о конституционной монархии, когда величественный символ, не политически, но духовно, объединяет восемьдесят небольших русских княжеств, каждое из которых в

кратчайшее время достигает благополучия Люксембурга. Он соглашался со мною в том, что цесаревич, когда его создадут из костного вещества невинно убиенного монарха, должен воспитываться в лучших русских традициях, основой которых является русский язык. Выдающиеся писатели России должны будут взять на себя воспитания цесаревича. Сорокин научит его целомудрию русского языка. Пелевин передаст религиозный смысл русской речи. Ерофеев со своей глубинно-нравственной передачей «Апокриф» откроет цесаревичу тайны аллитераций, когда рокошующее «р»

звучит не как еврейская картавость, а как аристократическое русское «грассе». Ва-Ва обещал мне, что, став Президентом, введет в России конституционно-монархический строй. Тогда же я учредил литературную премию «Трюфель», которой награждаются русские златоусты...

Пока они беседовали, над замком прошел чудесный грибной дождик, от которого драгоценно засверкал зеленый газон, вслед уплывающей синей туче, над дубравами загорелась восхитительная радуга. Свежий воздух благоухал, трава переливалась бриллиантами. Внизу, в трещинах

влажных ступеней, на глазах стали расти грибы. Белые, как замша, круглые, как фарфоровые чашки, они были английской разновидностью русского «дедушкина табака». Набухали, покрывались темными точками, наливались нездоровой голубизной, светились изнутри болезненным светом. Появился невозмутимый охранник, держа в руках портативный пылесос для автомобилей. Включил. Поднося раструб к экзотическим грибам, быстро всосал их внутрь, где размещалось дегазирующее устройство, разлагавшее ядовитый зарин на безвредные составляющие. Еще одна попытка уничтожить

Верхарна была пресечена, о чем сообщил в Москву пролетавший над замком спутник.

— Как легкий сон, миновали спецмероприятия, с помощью которых Ва-Ва должен был выиграть президентские выборы. Взрывы домов в Москве и Волгодонске, когда он первым кидался спасать несчастных. Чеченская война с повторным уничтожением Грозного, когда он ходил в разведку со спецназом и едва ни взял в плен Басаева. Его беспосадочный перелет на дельтаплане из Барвихи в чеченскую столицу, когда он привез детишкам новогоднюю елку. Заплыв от мыса Дежнева через Берингов

пролив на Аляску, где он усыновил
новорожденного эскимоса.
Поглощение на глазах у сограждан
трехсот уральских пельменей, что
сделало его рекордсменом Гиннеса.
Единоборство с барсом на арене
Цирка имени Никулина в
знаменитом аттракционе «Мцыри».
Сидение на колокольне Троице-
Сергиевской лавры, где он поджидал
итогов голосования. С Потрошковым
мы поднялись на колокольню и
поздравили его с победой. Пили
шампанское, звонили в большой
колокол, и Ва-Ва восторженно
заявил, что этими звонами он
возвещает приближение
«конституционной монархии»...

С подиума было видно, как далеко у прудов движется по газону араб, держа на поводке дога. Собака обнюхивала траву, делала стойку. Охранник наклонялся, подрывал дерн, извлекал фугас. Клад заряд в заплечную торбу, чтобы позже отвести взрывчатку в безлюдные холмы, огласить окрестность взрывами.

— Однако Ва-Ва нарушил данную клятву. Однажды, во время поездки в Петербург, он увидел в Эрмитаже чепец Екатерины Великой. Ему захотелось примерить забавную деталь ночного туалета императрицы, помнящую бурную страсть Потемкина, неистовую

ревность Разумовского, пылкие поцелуи Орлова. Он проходил в чепце целые сутки, забывая снять даже в момент посещения кладбища, где был похоронен незадачливый Корнелий Лизун. Ношение чепца коренным образом изменило его мышление. Он почувствовал привлекательность абсолютной монархии, возмечтал сделаться единовластным повелителем страны, потребовал у Потрошкова, чтобы тот перестал называть его «танцовщицей Дега», а называл «матушкой императрицей». Начал реформировать российскую власть, отнимал права у регионов, повсюду расставлял своих наместников и

генерал-губернаторов, обошелся со свободной прессой, как Екатерина — с сочинениями Радищева и Новикова. Кончил тем, что объявил меня персоной нон-грата за то, что я упрекал его в деспотизме. Я вынужден был покинуть страну, поселился в изгнании. С тех пор он ищет моей смерти, а я, в свою очередь, поклялся избавить страну от тирана. Кто из нас победит, время покажет. Он хочет меня уничтожить, ибо я знаю его страшную тайну.

— В чем тайна? — повторил свой вопрос Стрижайло, зачарованный рассказом Верхарна, открывавшим истинную подоплеку отношений олигарха и Президента.

«Монархический проект», о котором много говорили в свое время и который потребовал перемещения огромной массы костей с Урала в Петропавловскую крепость, — этот проект оставался тайной пружиной и сегодняшней кремлевской политики. Необъяснимым образом переплетался с его, Стрижайло замыслом.

Бедуин с бритым черепом прохаживался по газону в непосредственной близости от подиума, держа в руках острый совочек с стеклянную банку. Всматривался под ноги. Быстро наклонялся, рыхлил траву, извлекал из-под нее дождевых червей,

фиолетово-розовых, вьющихся,
покрытых блестящей слизью.
Поддевал совочком, кидал в
стеклянную банку. Брызгал на них
химикатом, от которого вспыхивало
шумное пламя, червь сгорал дотла, а
вместе с ним токсины смертельных
болезней, которыми были заражены
черви. Так в считанные минуты были
уничтожены возбудители сибирской
язвы, оспы, чумы, гепатита,
тропической лихорадки, птичьего
гриппа, атипичной пневмонии, рака
молочной железы, рака матки,
церебрального паралича, вяло
текущей шизофрении и твердого
шанкра. Всем этим жутким букетом
заражали червей бактериологи ФСБ,

стараясь извести Верхарна. Только верный синеголовый араб и его служба в «Иностранном легионе» спасали Верхарна.

— В чем тайна? — повторил Стрижайло, глядя, как полыхает голубое пламя в банке, испепеляя очередного червя.

— Мои слова могут подтвердить балерина Колобкова и несчастная Дарья Лизун, которые сменяют друг друга в полнолуние на пороге президентской спальни. Ва-Ва, по их описанию, обладает женскими половыми признаками. У него отсутствуют яички. Он носит лифчик, пусть «первый номер». Имеет инфантильную матку. Кроме

того, у него налицо рудименты, — небольшой, состоящий из пяти позвонков хвост, покрытый светлым мехом, что выводит его родословную от ондатры. А также перепонки между пальцами правой ноги, что позволяет считать его дальним родственником кряквы. Я имею в сейфе фотографии всех этих несуразностей. Снимки храню в швейцарском банке с предписанием немедленно опубликовать их в газете «Газета» и на сайте compromat.ru, в случае моей насильственной смерти...

Услышав эти слова, глядя на близкий, болезненно-желтый череп Верхарна, покрытый редкими

черными волосками, Стрижайло, со всей ужасающей очевидностью, понял, что Верхарн будет убит, и не иначе, как ударом ледоруба, который вонзится в аристократически-тонкую кость, погрузится в мозг, выдавив из-под сверкающего острия капельки алой крови.

— Сейчас мне надо поехать в город, провести деловую встречу. Поговорим по дороге, Мишель. — Верхарн поднялся, оставив недопитую рюмку, отравленную прикосновением осы.

Они катили в бесшумном салоне могучего «мерседеса». Стрижайло сквозь стекла любовался сытым,

холеным городом, в котором застыло
каменное время империи.
Колониальные походы и военные
рейды, научные экспедиции и
морские странствия,
осуществленные пассионарным
народом моряков, ученых и пасторов.
Растревоженные империей
континенты присылали в Лондон
фиолетовых негров, шоколадных
арабов, лимонно-желтых малайцев,
темно-коричневых, в белых
тюрбанах, индусов, которые
восседали в красных двухэтажных
автобусах, взирая с высоты на
памятники в честь британских
побед. Терпеливо дожидались дней,
когда премьером Британии станет

выходец из республики Чад, а английская королева понесет от алжирца.

Ближе к Центру возникли пробки. Полисмены яростно махали жезлами, разгоняя автомобильный поток прочь с главных улиц.

— Проклятый Ва-Ва и здесь мне мешает жить, — злобно усмехнулся Верхарн. — Предполагается проезд королевы и Ва-Ва в открытой карете. Давайте выйдем, Мишель, переждем этот фарс. Продолжим наш разговор.

Они оставили машину и прогуливались в просторном Гайд-Парке, сопровождаемые неизменным арабом, в чьих руках была портативная рация. Громадные

платаны заслоняли небо. Вдоль чугунной решетки мчались последние, прорвавшиеся сквозь кордон автомобили. На газоне валялись праздные посетители парка. По тропкам фланировали влюбленные. По асфальтовым дорожкам мчались на роликах скороходы. Вдалеке, сквозь деревья, виднелась кавалькада наездников. Стрижайло говорил, пользуясь молчанием Верхарна, который выплеснул первый фонтан энергии и теперь недоумевал от собственного молчания.

— Существует способ помочь коммунистам на выборах. Ваши деньги, — их депутаты. Коммунисты

умеют быть благодарными. Их политический вес если и не станет залогом вашей безопасности, то поможет в приобретении оной. Победа коммунистов на думских выборах исключает победу Ва-Ва на президентских.

— Как технически я передам коммунистам деньги, чтобы это немедленно не превратилось в грандиозный скандал? — рассеянно спросил Верхарн.

— Есть оригинальный план. Создается бутафорская партия «Сталин», способная привлечь в свои ряды горстки красных радикалов, существующие во всех губерниях. Вы «закачиваете» деньги в «Сталина», а

«сталинисты» тратят их на предвыборную кампанию коммунистов, поддерживая последних на выборах. Таким образом, мы прячем ваши деньги в сталинскую шинель и получаем великолепную «прачечную», которой руководит грузин с усами. Вместе со мной в Лондон прибыл казначей КПРФ Крес, готовый обсудить с вами технологию «перекачки» денег.

Стрижайло увидел, как сумасшедшим блеском сверкнули глаза Верхарна. Его ум, утомленный недавней исповедью, вновь получил порцию дразнящей сыворотки. Вскипел возбуждением, готовый фонтанировать и творить.

— Понял вас с полуслова, — воскликнул он, заикаясь. Пытался догнать торопящуюся мысль, набросить на нее аркан, из которого та вырывалась. — Партия «Сталин» — моя давнишняя мечта. Понимаете, Мишель, «языкознание» — один из важнейших аспектов сталинизма, его квинтэссенция, мировоззренческий итог. Он пред смертью пытался преобразовать компартию авторитарного, марксистского типа в «партию лингвистов», о чем свидетельствует его бесподобная работа: «Вопросы языкознания». Стремился преобразовать гигантскую геополитическую империю Советов, основанную на

военной силе, органах безопасности, танковых армиях, на «империю русского языка», которую бы соединяли творения Пушкина, Бунина и Лескова, — «великий, могучий и свободный русский язык», который, по словам Маяковского, станет учить негр в каком-нибудь бантустане «только за то, что им разговаривал Ленин». Сталина умертвили не за «дело врачей», не за гонения на «космополитов». Его умертвили те силы в КГБ, которые предпочитали косноязычие красноречию, убогий стиль газеты «Правда» восхитительным песнопениям Блока, Есенина, Ахматовой! — Верхарн был

возбужден. К нему вернулось вдохновение, делавшее его гениальным. Стрижайло восхищался его неудержимой фантазией, уносившей творца к вершинам прозрения. Верхарн, как и он, Стрижайло, был носителем творческих духов, вселившихся в него из сырого подвала, из темной подворотни, из унылого чулана, превративших его немощную плоть во вместилище могучих энергий. Здесь, в Гайд-парке, эти энергии сверкали в его глазах, делая их всевидящими очами. Маленькие пятна румянца, как пунцовые розочки, как следы поцелуев в засос, пламенели на бледных щеках. — Мы

создадим партию «Сталин», как воплощение сталинской мечты и прозрения. Во всех регионах России отыщем учительниц русской словесности, молодых милых женщин, нуждающихся, получающих мизерную зарплату, но исповедующих священный культ русского языка. Я дам каждой из них большие деньги. Пусть они сменят свои фамилии на фамилию «Сталин». В каждом регионе, в каждой губернии и национальной республике появится свой Сталин. «Маша Сталин». «Катя Сталин». «Сара Сталин». «Фатима Сталин». Все они возглавят региональные отделения партии. Мы издадим

великую, незаслуженно забытую работу вождя «Вопросы языкознания», как главную книгу партии. Как ее манифест, ее символ веры. Привлечем для ее иллюстрации лучших художников-авангардистов, с которыми вы, Мишель, водите знакомства. Называйте мне их сейчас поименно!..

Стрижайло был захвачен неудержимой фантазией Верхарна. Не завидовал, но восхищался. Верхарн был той же природы, что и он сам. Неизвестно, в каком подвале гнездились «духи творчества», что вселились в детскую душу Верхарна, но то, что обитавшие в них обоих «духи» были из одной преисподней,

не вызывало сомнения.

— Я думаю, что эта великая языковедческая работа должна быть проиллюстрирована темой «русского мата», — импровизировал Стрижайло. — Ведь именно с криками: «Ура» и «Еби вашу мать!» — наши пехотинцы штурмовали рейхстаг. «Охуеть можно!» — восторженно воскликнул Гагарин, взлетев в Космос. Увидев взрыв атомной бомбы, академик Сахаров произнес: «Ни хуя себе!». «Ах ты, блядь!» — крикнул на Троцкого Сталин в сентябре 1926 года. «Уебываем отсюда по быстрому!» — таковы были слова Ленина, покидавшего с группой

единомышленников

партконференцию меньшевиков. «Вы у нас, бляди, попляшите!» — крикнул с трибуны ООН Никита Хрущев. Не даром веселый матершинник Косыгин, докладывая на партсъезде об успехах отечественной промышленности, якобы оговорившись, назвал пылесос «хуесосом».

Я думаю, что картинки на эту тему могли бы нарисовать художники Тишков, — непревзойденный певец влагалищ и прямой кишки. Сальников, чья великолепная экспозиция на тему «Пизда зеленая» обошла все экологические форумы мира. Люся Воронова сделала бы

несколько оригинальных
иллюстраций из цикла
«Примитивистская блядь». Ну а
замечательные художники Анзельм и
Совко, работающие на пару, могли бы
натолкнуть в нашу книгу множество
разнообразных хуев. В любом случае,
Рой, молодые учительницы-
славистски будут в восторге.

— Хорошо, — удовлетворенно
произнес Верхарн, вышагивая под
платанами Гайд-Парка. — А теперь я
поведаю вам тайну, которую никому
не открывал прежде и обладателем
которой я стал в пору, когда был на
вершинах влияния и власти. Все
спешили ко мне, кто с просьбой, кто
с доносом, кто с информацией.

Стрижайло чутко внимал, предвкушая услышать факты, меняющие представления о новейшей русской истории. И не ошибся.

— Действующий генерал ФСБ, не стану называть его имя, передал мне удивительную информацию. Никита Хрущев, обуреваемый завистью к Сталину, боясь разоблачений массового террора на Украине, к которому был причастен, произнес свой знаменитый доклад на XX съезде партии, разоблачая «культ личности». Там же, на закрытом пленуме, потребовал вынести тело вождя из мавзолея и захоронить в обычной могиле. Приказ надо было

выполнять. Но группа «чекистов», верных Сталину, нарушила указание Хрущева. В конструкторском бюро Королева был изготовлен специальный гроб, по технологиям межпланетного корабля. Сверхпрочная оболочка, режимы температуры и давления, а главное — источник радиоактивного излучения, убивающий все микроорганизмы, способные разрушить ткани тела. Этот гроб — уникальное изобретение нашей космонавтики. Человек может погрузиться в сон и десятки лет с остановленными функциями будет лететь в другие миры, пока ни поступит пробуждающий его сигнал...

— Я видел такой гроб, — воскликнул Стрижайло, вспоминая недавнее посещение магазинов Потрошкова. — Он сделан из титана, с маленьким иллюминатором из тугоплавкого горного хрусталя. С небольшими антеннами и нейтронными двигателями, меняющими траекторию гроба, то ли в Космосе, то ли в загробном мире, точно не знаю.

— Продолжаю рассказ, — сухо произнес Верхарн, не любивший, когда его перебивают. — Те же «чекисты», ответственные за погребение Сталина, вырыли у кремлевской стены могилу, а к ней подвели подземную трубу большого

диаметра, якобы для удаления дренажных вод. Один конец трубы упирался в могилу, другой выходил из-под земли у Москвы-реки, в районе Васильевского спуска. Когда ночью состоялся вынос Сталина из мавзолея и титановый гроб с вождем был опущен в могилу и засыпан землей, никто из правительства не подозревал, что через час верные люди проникли по трубе в могилу и вынесли саркофаг. Протащили под Красной площадью до Васильевского спуска, там извлекли на поверхность. Погрузили на небольшую баржу, по Москве-реке спустили до Оки, а там и до Волги. Гроб проследовал по воде до Саратова, был перенесен на

железнодорожный состав и через несколько дней тайно доставлен в Красноярск.

— Неужели Хрущев ничего не узнал? — дрожа от возбуждения, воскликнул Стрижайло.

— Говорят, когда узнал, то проник по трубе в могилу и там, под землей, ревел от гнева, проклинал «культ личности», грозил показать всем «кузькину мать». Но прошу вас, Мишель, не перебивайте меня. — Верхарн укоризненно посмотрел на Стрижайло, проходя под тенистым платаном, за которым виднелась ограда с пустынной, очищенной от автомобилей улицей. — В окрестностях Красноярска, на берегу

Енисея, еще по приказу Сталина, был построен подземный город. Высечен в гранитном монолите, где работали реакторы, вырабатывали боевой плутоний, из которого создавались ядерные боеголовки. Туда, в отдаленную штольню секретного подземного города, был доставлен гроб с телом Сталина. Тщательно укрыт, под кодовым названием «изделие ИС-53», «Иосиф Сталин, год смерти 53-ий». Этот гроб пребывает там и поныне.

У Стрижайло кружилась голова. Он начинал понимать гениальный замысел Верхарна. Отталкиваясь от его, Стрижайло, скромной идеи, этот замысел превращался в

космогонический проект.

— Партия «Сталин» должна провести свой учредительный съезд в Красноярске, в подземной штольне, у гроба вождя. Туда должны приехать из всех регионов учительницы — славистки — Маша Сталин, Катя Сталин, Сара Сталин, Фатима Сталин. Там, в качестве основного партийного документа, должна быть зачитана работа о языкознании и на ней принесена клятва верности «великому и могучему», не Советскому Союзу, но «русскому языку». Съезд должен проходить, как праздник русской поэзии, где в гулком пространстве гранитной штольни зазвучат стихи великих

русских поэтов, включая и Иосифа Бродского, за вычетом Евгения Евтушенко, чей антисталинизм вычеркивает его из списка поэтов, а его отвратительный стих «Наследники Сталина» писался сначала на идиш и лишь потом был переведен на косноязычно-русский...

Верхарн, знаток поэзии, учредитель премии «Трюфель», автор многих стихов, которые печатал под псевдонимом «Андрей Дементьев», был воплощением творческого гения. Он многого не договаривал, но Стрижайло угадывал между слов. Сталин, спасенный от тления, сохраненный в титановом

саркофаге, подлежал воскрешению. «Пробуждающий сигнал» разбудит от сна дремлющего генералиссимуса, как поцелуй царевича разбудил спящую в хрустальном гробу царевну. На учредительном съезде партии «Сталин» молодые, патриотически настроенные лингвистки станут подходить к титановому саркофагу и целовать его своими молодыми прелестными устами, вовлекая в священнодействие все новые сонмы приверженцев. Когда сила и страсть этого непрерывного коллективного поцелуя достигнет своей воскресительной силы, Сталин очнется. Встанет из гроба в триумфальном белоснежном кителе

с золотыми погонами генералиссимуса, с доброй улыбкой Отца, с мягким прищуром любящих глаз. Пустит ароматное колечко голубого дыма из ореховой трубки, подаренной ему на Тегеранской конференции Уинстоном Черчиллем. Неторопливо, с легким грузинским акцентом, поведает благоговеющим лингвисткам историю своей жизни, в которой было столько загадок, питавших мифологическое сознание современников.

Расскажет, был ли он сыном известного путешественника Пржевальского. Любил ли он, находясь в Туруханской ссылке, туземную красавицу, родившую ему

сына, который впоследствии стал митрополитом и преуспел в сбережении православия. Правда ли, что, посылая в Мехико Меркадера, самолично осмотрел ледоруб и попросил отважного чекиста: «Бей наверняка. Чтоб не мучился». Правда ли, что «съезд победителей» закончился праздничным банкетом, где большинство делегатов, носивших табельное оружие, выпили лишку, перессорились и перестреляли друг друга. Верно ли, что Вышинский на процессах требовал помиловать Бухарина, Зиновьева, Каменева, но те, испытывая вину перед партией, сами настояли на смертном для себя

приговоре. Верно ли, что Гитлер тайно побывал в Москве летом сорокового года, вместе со Сталиным они жили на Селигере, в рыбацьем домике, ловили судака и сазана, за ними ухаживала подруга Сталина Ева Баранова, которой увлекся Гитлер и тайно вывез в Германию, где она жила в «Вольфшанце» под именем Ева Браун. Что война между СССР и Германией явилась результатом этого похищения, чем напоминала Троянскую войну из-за прекрасной Елены. Правда ли, что, умирая в бункере Имперской канцелярии от яда, Ева Браун на русском языке прошептала: «Только тебя любила, Иосиф». Верно ли, что еврейский

режиссер Михоэлс вырвался из рук оберегавших его «чекистов» и кинулся под американский «студебекер» с криком: «Виват, Америка!». Правда ли, что Сталин сам выбирал места для высотных зданий, которые были построены на фундаментах древних церквей и по сей день сберегают Москву от нечистой силы. Верно ли, что в последний день февраля 1953 года Хрущев побывал на кунцевской даче, где Сталин раскрыл ему свой великий план упразднения СССР и создания «империи русского языка», предполагавший роспуск партии, органов КГБ, открытие «железного занавеса», а также переименование

всех крупных городов мира от Берлина и Варшавы, до Пекина и Ханоя, включая Москву, Новосибирск, Владивосток, которым будут присвоены имена великих русских писателей, — Пушкина, Лермонтова, Толстова, что превратит земной шар в культурное пространство русской литературы. И, наконец, правда ли, что Хрущев, ненавидящий литературу, узнав о грандиозной реформе, влил Сталину в бокал «хванчкары» ампулу стрихнина.

Все это пронеслось в голове Стрижайло. Политологическая затея с партией «Сталин», которая была им придумана с одной только

целью, — «перекачать» деньги
Верхарна в кассу КПРФ, — эта
нехитрая затея приобрела вид
вселенской мистерии, где не он,
Стрижайло, а Верхарн был
демиургом.

Так они гуляли по Гайд-Парку,
среди великолепных газонов, где
иногда попадались памятники
великого имперского прошлого.
Веллингтон, обнаженный, в
античном шлеме, с коротким мечем,
напоминавший Ахилла. Королева
Виктория, в окружении вельмож,
генералов и мореплавателей, с
толстеньким, аппетитным
капитаном Куком. Королевские
артиллеристы, чьи батареи стреляли

по Бомбею, Герату, Иоганесбургу и Севастополю. Стрижайло

ликовал, — его план соединить Верхарна и Дышлова вполне удался. А коварная интрига, для которой в Лондон был вызвал Крес, должна была состояться вечером в отеле «Дорчестер».

Внезапно за чугунной решеткой, на пустынной улице раздался треск моторов. На сверкающих мотоциклах, с воспаленно мигающими оранжевыми огнями, с седоками, облаченными в черные комбинезоны и белоснежные шлемы, возник кортеж. В окружении мотоциклистов двигалась открытая золоченая карета, запряженная

шестеркой лошадей. В карете восседали королева Елизавета и Президент России Ва-Ва. Карета была украшена барочной резьбой и позолотой. В хрустальных фонарях горели светильники. В золотых оглоблях гордо цокали холеные лошади в плюмажах из страусиных перьев. Форейтор был в мундире уланского полка викторианской эпохи. Хвосты лошадей были подвязаны розовым шелком. Такого же цвета лента украшала шляпу королевы. Такой же розовый шелковый бант красовался на рукаве русского гостя. Они беседовали, соблюдая этикет двора, не позволявший говорить о политике, а

только о милых пустяках:

— А правда ли, Ваше Величество, — вопрошал Ва-Ва, — что гвардейцы почетного караула перед Букингемским дворцом набираются исключительно из евнухов, для сего в графстве Йоркшир устроена особая ферма, на которой юношам, при достижении совершеннолетия, отрезают яйца?

— Мой друг, — скромно улыбнулась королева, — это такая же правда, как и то, что в вашей Москве на крещение все военные, включая Министра обороны, забираются в прорубь и сидят там до посинения яиц.

— Мне кажется, вы чем-то

озабочены, Ваше Величество, — чуткий к чужому горю произнес Ва-Ва.

— Есть чему огорчаться, мой друг. Принц Чарльз на глазах превращается в лошадь, пускай и породистую. Есть овес, спит стоя, а недавно явился во дворец босиком, и на ногах у него были подковы.

— Это странности незаурядной натуры. Его надо чаще выгуливать. Верю, что когда-нибудь он снова наденет ботинки.

Карета поравнялась с тем местом, где под платаном стояли Верхарн и Стрижайло. Верхарн и Ва-Ва увидели друг друга. Взгляды смертельных врагов встретились.

Стрижайло видел, как между ними протянулся острый, как жало, луч. Накаляясь ненавистью, стал фиолетовым, ярко-красным, побелел, превратился в слепящую линию, словно лезвие боевого лазера. На мгновение между врагами оказался огромный платан. Лезвие перерезало шипящее дерево, и оно, дымясь, брызгая соком, повалилось с оглушительным треском. Президент Ва-Ва легко выскочил из кареты, изящно перепрыгнул чугунную изгородь, встал перед Верхарном:

— Милостивый государь, вы требовали сатисфакции, — я к вашим услугам. Выбор оружия и дистанция боя остается за вами.

— Сударь, как джентльмен, я уступаю вам право выбора, — с достоинством поклонился Верхарн.

— Ты, хуй собачий, хочешь превратить Россию в конфедерацию? Не бывать этому, жид проклятый!

— Ты, лесбиянка поганая, заразила СПИДом балерину Колобкову и хочешь, чтобы тебя называли «матушкой императрицей»? А керосиновую тряпку в манду не хочешь?

Они скинули обувь, облачились в кимоно, упругими жестами подтянули пояса, устремились один на другого.

Ва-Ва поднялся на мысок, повел упруго-вытянутой, с напряженными

пальцами, ногой и нанес Верхарну боковой удар «маваси-кири», от которого у олигарха треснуло ребро, и потекла изо рта кровь. Хрипя от боли, Верхарн в прыжке развел ноги циркулем и разящим ударом «май-кири» хрястнул противника в грудь, отчего у Ва-Ва выпали из орбит глаза, повалила из ноздрей розовая пена. Тот превратился в размытый волчок и нанес пяткой калечащий, сокрушительный удар «ушира-кири» ненавистному олигарху, у которого лопнула печень и из ушей брызнула желтая жижа. Ответом был удар «ека-кири» в пах, где у Ва-Ва что-то жалобно треснуло, и раздался писк вылупляющегося птенца.

Президент Ва-Ва совершив кувырок, встал на колени и обстрелял Верхарна из пистолета «беретта», наполняя пространство летучими фонтанчиками гильз. Ответом была очередь из тяжелого «стечкина», от которой вокруг Ва-Ва взрыхлилась земля, словно прополз стремительный крот. Укрывшись за рухнувшим платаном, Ва-Ва шарахнул в Верхарна из гранатомета, отчего у статуи Веллингтона отскочила башка. Верхарн прицелился из «безоткатки» и разнес в прах памятник королевским артиллеристам, отчего Ва-Ва скрылся в известковой пыли.

Менялись виды оружия и

дистанция боя. Они залезли в танки и били друг в друга прямой наводкой, пока не израсходовали боекомплект. Потом громили один другого из установок залпового огня, так что на Пикадили вылетели все стекла, а на Даунинг-стрит в «Форин офис» отказали сливные бачки. Завязался воздушный бой между «Ф-15», где засел Верхарн, и «СУ-27», которым управлял Ва-Ва. Оба катапультировались с подбитых машин, глядя, как горящие самолеты, продолжая стрелять, обрушились в Ла-Манш. Не добившись преимущества обычным оружием, они сбросили друг на друга атомные бомбы, а потом места взрывов

посыпали спорами сибирской язвы. Обугленные, без рук и без ног, зараженные чумой и птичьим гриппом, страдая лейкемией, они превратились в две ненавидящие галактики. Стали сближаться из разных углов Вселенной. Катились, как два огненных колеса, пока ни столкнулись, превращаясь во вселенский взрыв. На месте взрыва образовалась гигантская «черная дыра», где погибло бесчисленное множество миров, и в бездне открылись «духи тьмы», из числа тех, что когда-то вылетели из подвала и вселились в душу Стрижайло.

Последний напрасно думал, что вселенская катастрофа навсегда

поглотила соперников. Они выпали из растерзанного мироздания, превратившись в две лобковые вши, и продолжали сражаться, шевеля цепкими лапками.

Стрижайло и араб из Иностранного легиона рассматривали их у себя под ногами, где, едва заметные, похожие, словно две сестры, бились лобковые кровососы.

— Который из них наш? — спросил Стрижайло у телохранителя.

— Как бы не ошибиться, — ответил араб. Готовился ногтем раздавить отвратительную, напавшую на его господина тварь, но не умел отличить Верхарна.

Внезапно соперники восстали во весь рост, слегка потрепанные, задыхаясь, отряхивая с одежды пыль.

— За сим позвольте откланяться, — церемонно произнес Ва-Ва. — Сожалею, что не удалось окончить наш поединок.

— К вашим услугам, сударь, в любое время и в любом месте, — щелкнул каблуками Верхарн.

Президент Ва-Ва легко перескочил изгородь, занял место в золоченой карете рядом с королевой Елизаветой.

— О чем мы говорили, Ваше Величество?

— Вы спросили, почему у шотландских девушек грудь всегда

несколько меньше, чем у английских.

— Должно быть, потому, что в неволе никто не достигает естественных размеров.

Карета укатила, звук мотоциклистов смолк. Улица постепенно заполнилась автомобилями, омнибусами. Верхарн утомленно сказал:

— Вечером мы встретимся в отеле «Дорчестер». Опять за свой счет придется ремонтировать сливные бачки в «Форин офис».

С этими словами он удалился, прикрываемый со спины преданным легионером.

глава двенадцатая

Стрижайло, переполненный впечатлениями, вернулся в отель. Смотрел из окна, как пышно и солнечно зеленеет Гайд-Парк, темнеют стволы огромных летних платанов и среди них, по дорожке, гарцует лошадь с наездником. Разделся, упал в глубокую, как морская пучина, постель и забылся тревожным клубящимся сном, чувствуя, как во сне совершаются таинственные перемены, — его разум заворачивают в хрустящую фольгу и готовятся сунуть в бездонную духовку, где работает таймер, отсчитывая время,

необходимое, чтобы зажарить и подать к столу его запеченный мозг.

Проснулся от сильного удара сердца, — сумрачный номер, вечернее, забрызганное дождем окно с металлическим блеском фольги. И тревожное ощущение, — пока он спал, мир неузнаваемо изменился, в нем исчезло несколько поколений, и он один, без сверстников и знакомых, оказался в чужом и враждебном времени.

Оделся, спустился в холл, где протекала оживленная вечерняя жизнь. В ресторанные залы на ужин стекалась публика, играл негромкий скрипично-фортепьянный дуэт. К подъезду, в дожде и блеске,

подкатывали автомобили. Привратники в цилиндрах кидались открывать дверцы, выпуская из машин достойного вида английских джентльменов, смуглолицых индусов в тюрбанах, арабских шейхов в белоснежных накидках, озабоченных и почему-то сутулых евреев в бархатных кипах. В диванной, за низкими столиками, пили кофе. В баре рыжеволосый, краснолицый, с выпученными глазами бармен, похожий на медную чеканку, артистично мешал коктейли. Верхарн возник по-английски точно, одетый небрежно, с изяществом, в черной рубашке без галстука, с золотым браслетом часов Jumping

Hours, по которым то и дело отслеживал время в различных столицах мира, где в краткосрочных кредитах крутились его сумасшедшие деньги.

— Вы знаете, Мишель, здесь, в Лондоне случаются мгновенные изменения погоды. Из Атлантики вдруг налетят туман, дождь, дуновения тяжелого мрачного ветра, от которого сжимается сердце, и начинаются необъяснимые тоска и тревога. У англичан эта тоска называется «сплин». Я думаю, именно в такие тягостные, мистические дни Шекспир писал свои трагедии. В такие дни казнили короля Карла и Марию Стюарт. В

такие дни Черчилль готовил свою знаменитую речь в Фултоне. Все наваждения английской истории и культуры объясняются этими прилетающими из преисподней порывами ветра. Вот и сейчас, мне так печально, так тревожно, Мишель, — они сидели в небольшой гостиной перед низким столиком, на который любезный слуга поставил две чашечки турецкого кофе и рюмочки коньяка. Гостиная была проходной, в обеих дверях появлялись и исчезали люди, шумели голоса, раздавалась негромкая музыка. — Это место в гостиной, от одних дверей к другим, я называю «русской тропой». Непрерывной

чередой здесь проходят люди из России, которые являются, чтобы попросить у меня денег. Им нужны от меня только деньги. Никто не спросит, как я живу, что у меня на душе, о чем мои мечты и печали. Только деньги. Меня в эти сумрачные лондонские вечера, когда дует атлантический ветер, и где-то в Северном море начинают тонуть корабли, и прибрежные маяки гаснут в густом тумане, меня вдруг посещает прозрение, — что все мы будем убиты. Вы, я, они, приезжающие просить у меня деньги. Некоторых убью я. Некоторые убьют меня. И всех нас убьет кто-то третий, неведомый,

насылающий этот мрачный туман. Сейчас они начнут появляться на «русской тропе», станут выпрашивать деньги, и я всем буду выписывать чек, как пропуск в ад.

Стрижайло испытал к нему мгновенную нежность, неизъяснимую печаль. Пережил их мучительное, непередаваемое сходство, делавшее их могущественными и всесильными, и одновременно обреченными и поверженными, отданными во власть неведомых исполинских сил, от которых примут свою смерть и гибель.

Его горькие размышления были прерваны появлением на «русской

тропе» первого странника.

Он был узнаваем, — высокий, слегка оплывший, с большой, курчавой, несколько вкривь посаженной головой, настороженным взглядом умных, недоверчивых глаз. Предводитель партии мелких, заношенных до дыр, интеллигентов, в свое время отказавшихся заниматься наукой, строить космические корабли, совершать открытия в области полупроводников и лазеров и вкусивших «сладкий наркотик свободы». С тех пор в их лабораториях открылись кавказские шашлычные, их наукограды превратились в вещевые рынки, их

советские костюмы истрепались до ниток, но и постаревшие, больные простатитом, они продолжали с обожанием слушать своего кудрявого витию, обещавшего «царство свободы». Теперь он шагал в интерьере лондонского отеля «Дорчестер», держа в руке сморщенное, прогнившее яблоко, — истлевший плод его наркотических фантазий. Присел на стульчик между Верхарном и Стрижайло. Не здороваясь, без обиняков, на птичьем языке заговорщиков, который давно был изучен агентами ФСБ, произнес:

— Один миллион. Стану президентом, отдам. За свободу нужно платить. Пуго платить

отказался. И поплатился.

Верхарн извлек чековую книжку. Крохотной платиновой ручкой сделал росчерк. Вырвал голубоватый листок. Протянул просителю. Тот схватил и спрятал, будто склевал. Поднялся и, не простившись, ушел по-английски, оставив на столе подгнившее яблоко, из которого высунулась любопытная головка червя, завербованного ФСБ.

В дверях показался еще один пилигрим, ступивший на «русскую тропу». И он был известен Стрижайло, как паста «Бленд-а-мед» или средство от кариеса. С фатовским лицом любителя устриц и дорогих проституток, в изящном костюме от «Сен-Лорана» и в носках

от «Ферре», он был калекой. У него не было левой руки, пустой рукав пиджака был подколот бриллиантовой булавкой. Зато правая рука была непомерно развита, бицепс и дельтовидная мышца раздували рукав. Кулак сжимал черную чугунную гантель, которая непрерывно работала, накачивая тело «правыми силами», что приводило к странной ассиметрии, — вся правая половина фигуры была совершенна, как у Аполлона, а левая являла вид жалкий, дистрофичный, как у узника Освенцима. Пилигрим присел, положив гантель на стол:

— Маковский просто сука. Обещал и не дал. Мы тебе помогали,

помоги и ты. В Москве хорошая проститутка берет тысячу долларов за ночь. До чего довели страну. Дай штуку на выборы.

Верхарн с печальным лицом понтифика, выдающего индульгенцию, подписал чек. Передал просителю. Тот ловко высунул из закатанного рукава совершенно здоровую левую руку, схватил желанную бумажку и скрылся. Стрижайло осторожно тронул забытую гантель. Она оказалась легкой, из пенопласта, выкрашена черной краской. Скатилась со столика и бесшумно упала на пол.

На «тропе» появилась женщина.

Тощая, с гибкой талией, ободранная, как весенняя кошка, поглядывала по сторонам шальными кошачьими глазами, в которых были неуголимая похоть, лживая обольстительность, страх получить палкой по гибкому хребту. Волосы были плохо вымыты, сквозь пудру розовели мелкие прыщики, а верхняя губа была раздвоена, обеими половинками приросла к носу. Эта «трегубость» еще больше придавала ей сходство с кошкой, хотя пахло от нее почему-то псиной.

— Помнишь, когда ты трахал меня в своем «мерседесе», я говорила тебе, что надо копать глубже, — обратилась она к Верхарну

так, словно вчера еще, задрав ноги, лежала на заднем сидении «мерседеса». — Надо быть диггером, чтобы докопаться до кремлевских истин. Я докопалась. Дай пол-лимона на издание книжки.

Верхарн безропотно подписал чек. Женщина схватила недопитую чашечку кофе, опрокинула в рот, отчего раздвоенная губа обнажила маленькие острые зубки. Ушла, тонкая, пленительная, а казалось, что у столика повалялся огромный потный кобель.

Стрижайло следил за теми, кто один за другим появлялся на этой «муравьиной тропе», в поисках денег. Пытался понять, кто из

просителей будет убит, а кто окажется засланным убийцей, держа под полой ледоруб, чтобы вонзить его в стеариновый череп Верхарна. Пока что все, кто входил и на минуту присаживался, несли на себе печать гибели. За каждым, когда он покидал гостиную, следовал ангел смерти, в фуражке с синим околышком, с пистолетом «ТТ» в руке.

Появился еще один странник с видом профессионального правдолюбца. Поминутно оглядывался, — не спешит ли навстречу камера НТВ, перед которой мог бы процитировать трактат о свободе, сочиненный им

после подавления «коммунистического путча». В сгоревшем Доме Советов, он вальяжно сидел в обугленных креслах, среди кровавых бинтов и стреляных гильз, разглагольствуя о демократических ценностях. Сейчас он был в трауре, в застегнутом до горла пиджаке, похож на баптистского пастора. Держал в руках фарфоровую нашлепку с портретом Галины Старовойтовой, которую сколупнул с могилы. Подсел к Верхарну:

— Знаешь, мне сегодня снилась Галина. Она была в подвенечном платье с открытой грудью. Звала меня с собой. Сказала, что там, где

она теперь проживает, ее сделали, наконец, министром обороны, и она присвоит мне звание «бригадного генерала». Не мог бы ты подкинуть миллиончика полтора, чтобы Россия окончательно стала либеральной?

Верхарн печально подписал чек. Передал траурному господину, который двумя руками засовывал драгоценную бумажку в подкладку пиджака, держа фарфоровый портрет Старовойтовой в зубах, но вместо лица убиенной мученицы с фарфора смотрело его собственное, благородное лицо с маленькой дырочкой во лбу.

Тропа, ведущая на «русскую Голгофу», не долго оставалась

пустой. Возник нервический человек, во рту которого сверкала латунная блесна, нарядная «золотая рыбка». Крючок впился в нижнюю губу человека, блесна трепетала, от нее тянулась упругая леска. Проследив ее направление, Стрижайло обнаружил спиннинг, на который она наматывалась. Спиннинг находился в руках Верхарна. Тот вращал катушку, осторожно подтягивая к себе добычу, так чтобы та не сорвался, не ушла, виляя хвостом, в глубокий омут.

— «Приплыла к нему рыбка, спросила: «Чего тебе надобно старче?»» Если ты, Рой, и впрямь толкаешь меня к безумной затее

баллотироваться в Президенты России, то, по крайней мере, выпиши миллиона два. Как жаль, что тогда, в Хасавюрте я попался на твой крючок. Ты думаешь, что я — акула политики, а я всего лишь копченый палтус, которым хорошо закусывать бочковое пиво.

Верхарн передал ему чек. Осторожно сматывал леску с катушки. Человек-Рыба, пританцовывая на удлинявшемся поводке, приблизился к дверям. Вильнул грациозно задом и исчез, утягивая в дождливый вечерний Лондон капроновую леску, — к набережной полноводной Темзы.

Упругой походкой горца в

гостиную вошел чеченец, рыжий, зеленоглазый, с изящной бородкой, в элегантном костюме, неотличимый от европейца. Лишь несколько неуловимых деталей выдавало в нем эмиссара Масхадова, — труба гранатомета, небрежно лежащая на плече, и спутница, известная английская актриса, влюбленная без ума в романтического повстанца, который в обычные дни держал ее в яме, а сейчас, закутанную в паранджу, тянул за собой на веревке.

— Аллах акбар, — сказал он, присев за столик. — Все, что ты мне дал в прошлый раз, мы израсходовали на теракт в Моздоке. Мы готовим покушение на Ва-Ва, а это, сам

понимаешь, дорогого стоит. Эта сучка, — он кивнул на замотанную в черную ткань фигуру. — Продала все свои драгоценности. Помоги обратиться в английский Парламент, может, дадут за нее выкуп?

Получив чек на три миллиона, чеченец поправил шелковый галстук, подтянул белую манжету с алмазом. Дернул веревку и увел безмолвную женщину к выходу, где служитель в цилиндре, открывая перед ним дверцу «бентли», произнес:

— Всего доброго, сэр.

Стрижайло испытывал необычайную тоску и печаль, словно в нем образовалась трещина, куда задувал холодный ветер Атлантики и

уныло гудел. Все, кто здесь появлялся, будут убиты. Об этом вещал печальный ветер. О том же предупреждал унылый дух преисподней, сидевший у него на затылке, как шелковистый шерстяной зверек с перепончатыми мышинными крыльями. Тянул из прокушенной венки сладкую кровь, выдувая на чутком носике розовый пузырек.

Неожиданно он вздрогнул. В дверях гостиной появилась зыбкая, двоящаяся фигура, напоминавшая колеблемую водоросль, оторванную от подводного камня, вяло плывущую по течению. На бледном, без единой волосинки, лице скопца блуждала болезненная улыбка, словно ему

только что причинили боль, и он жалел обидчиков, которые страдали столь сильно, что страдание вынуждало их делать зло. Это был Веролей, доверенное лицо Потрошкова, который привел Стрижайло в гольф-клуб «Морской конек», на свидание с могущественным шефом ФСБ. Его появление в гостиной лондонского отеля «Дорчестер» было необъяснимо, испугало Стрижайло. Веролей заплетающейся походкой, делая шаг вперед и два шага назад, ступил на «русскую тропу», приблизился и, не замечая Стрижайло, будто их не связывало знакомство, опустился на креслице

рядом с Верхарном:

— Наш общий друг просил передать, что он контролирует ситуацию с отправкой в Лондон наемных убийц. По-прежнему по закрытым каналам он передает в Скотланд-Ярд информацию, которая позволила англичанам перехватить на прошлой неделе мнимого бизнесмена из «Альфа-банка», мнимую валютную проститутку по кличке «Минет», а также маньяка-писателя, не устающего описывать истязания граждан с помощью колющего предмета, которым было поручено совершить на вас покушение. У всех у них были изъяты ледорубы, изготовленные по заказу

ФСБ на оборонном предприятии «Лед».

— Передайте нашему общему другу, что я ценю его усилия и умею быть благодарным, — ответил Верхарн.

— Еще он велел передать, что в работе биологической лаборатории наметился крупный прогресс. Наконец, удалось клонировать цесаревича с использованием костного вещества царских останков. Правда, пока что дофин имеет форму абсолютного шара, и его желеобразная консистенция заставляет ученых содержать его в водном растворе. Однако есть все указания на то, что наследник престола, в конце концов,

обретет устойчивую форму, во время коронации будет изъят из сосуда и предстанет перед подданными абсолютно сухим.

— Нельзя ли уже теперь приставить к нему группу писателей из русского Пен-клуба, чтобы они начинали свою наставническую деятельность? Биоинженеры и инженеры человеческих душ вместе могут положить начало новому совершенному человечеству, как мечтал об этом замечательный лингвист Иосиф Сталин. В качестве главного наставника я бы рекомендовал Андрея Битова. Обтекаемость его прозы наилучшим образом соответствует сферической

форме, в которой удалось синтезировать будущего конституционного монарха России.

— Я непременно передам ваши пожелания, — кивнул Веролей.

Стрижайло испытывал мучительное недоумение, таинственный страх, какой бывает во сне, когда идешь по зыбкой ряске, проваливаясь в глухую бездну. Веролей был таинственным вестником, явившимся с секретным посланием. Пославший его Потрошков был тем, кто озадачил Стрижайло грандиозным и губительным планом, в котором замышлялось погубление Дышлова, Маковского и Верхарна и сохранение

Президента Ва-Ва. Теперь же открывалась тайная связь Потрошкова с Верхарном, чья ненависть к Президенту Ва-Ва была всемирно известна. Либо ненависть эта была мнимой, либо мнимой была преданность Потрошкова Президенту.

Стрижайло вдруг захотелось оказаться в своей московской квартире, открыть морозильник, извлечь замороженный взгляд, брошенный Потрошковым на Президента. Методом спектрального анализа, исследуя под электронным микроскопом мельчайшие сколы сосульки, открыть глубинную природу их отношений, истинный

замысел Потрошкова, в который был включен и он, Стрижайло.

Дух его был смущен. Разум помутнен налетевшим на Британию норд-остом. В дождливой мгле туманного Лондона чудился зловещий подвох. Восхитительный и прозрачный замысел, который открылся ему, как прозрение, в храме священных товаров, среди электромобилей XXI века, унитазов в виде мраморных античных голов, самшитовых двуспальных гробов с грелками и массажерами, — в этом ясном, продуманном замысле мерещился другой, потаенный, недоступный его разумению, привнесенный иным всемогущим

разумом. Так в фильме «Блоу-ап»
вездесущий фотограф, наивно
озирающий мир сквозь
просветленную оптику, вдруг
обнаруживает в зарослях парка
таинственное пятно, лунное свечение
трупа. Увеличивая негатив,
всматриваясь в сплетение кустов,
видит покойника.

Это сравнение поразило его. Его
план не принадлежал ему
безраздельно. В нем сонно дремала
личинка другого замысла. Созревало
яичко, отложенное Потрошковым.
Червячок, питаясь его, Стрижайло,
энергией, сожрет изнутри его
замысел, оставит изъеденный
мертвый хитин.

— Еще наш общий знакомый просил передать, что денег на продолжение эксперимента не хватает. Хотя мировые цены на нефть неуклонно растут, а вместе с ними растут налоговые отчисления в бюджет, необходимы затраты на клонирование представителей новой элиты. Сделанные по эскизам художника Тишкова образцы «Человека-Печени», «Человека-Прямой-кишки» и «Человека-Хуя», потребовали непредвиденных затрат. Поэтому просьба, — если можно, немедленно перечислить пятнадцать миллионов долларов на счет чеченского банка «Джихад-интернейшнл», или, как в прошлый

раз, в банк «Шахид-корпорейшен».

Верхарн кивнул. Черкнул платиновой ручкой, отрывая чек. Пока писал, Веролей медленно поднял руку, и Стрижайло, ужасаясь, увидел в его медленной руке ледоруб, сверкающее разящее жало, направленное на желто-стеариновый череп Верхарна. Стрижайло готов был кинуться, перехватить руку, отвести смертельный удар. Но ледоруб исчез, превратившись в блик света. Рука Веролея проследовала дальше и почесала оттопыренное ухо. Он принял чек и не прощаясь ушел, колеблясь, как оторванная сине-зеленая водоросль, светящаяся на океанской волне.

Стрижайло был потрясен. Снаружи отеля, где на черном асфальте сверкали огни машин, и служители в макинтошах приподнимали цилиндры, выпуская из салонов респектабельных джентльменов и дам, — в безлюдном, ночном Гайд-Парке, среди шумящих платанов лежит бездыханное тело. И надо подняться, покинуть гостиную, бежать, что есть мочи, в дождливый парк. Отыскать мертвеца, заглянуть в бело-голубое лицо с заостренным носом, выпуклыми веками. Оpoznать, пока он ни исчез, унеся с собой тайну смерти, своей собственной и всех предстоящих смертей.

Стрижайло увидел, как в дверях гостиной появился Крес. В просторном, вольном костюме, в котором плавало и дышало студенистое тело, он напоминал медузу, приодевшуюся в модных бутиках. Поводил по сторонам розовыми глазами, словно всплыл из вечерних глубин, отражая перламутровый закат. Углядел Верхарна, подплывая к нему, распространяя вокруг запах сладкого одеколona. Радостно произнес:

— Вообразите, прямо с самолета, в номере решил принять ванную. Лег в чудесную теплую воду, пустил небольшую струйку из крана и заснул. Только сейчас проснулся.

Что бы это могло значить?

— Мы живем в эру водолея, — назидательно ответил Верхарн. — Вы по гороскопу рыба. Два этих знака предполагают в вашей жизни обилие воды. Паводок в Якутии, который смыл все ваши строительные объекты и сделал вас банкротом, — тому подтверждение. Наводнение в Краснодарском крае, после которого вы получили выгодные строительные подряды, лишь подчеркивает мою мысль. Что будете пить? Джин, виски, коньяк?

— Воду, пожалуйста.

Верхарн щелкнул в воздухе пальцами. К нему заспешили сразу два служителя в одинаковых

малиновых сюртуках с медными геральдическими пуговицами. Один, цыганского вида, смугло-лиловый, с вислым фиолетовым носом. Другой, блондин с короткой стрижкой и безжалостно-яркими глазами вышибалы. В обоих Стрижайло узнал агентов ФСБ, сопровождавших Креса в самолете. Сейчас между Верхарном и Кресом состоится разговор о финансировании КПРФ. Этот разговор будет записан и снят портативной камерой, расположенной в одной из геральдических пуговиц. Пленки с записями доставят в Москву, покажут по телевидению, что приведет к дискредитации компартии.

Обнаружит ее связь с олигархом-русофобом. Вскроет мнимость «левых», патриотических взглядов Дышлова. Таков был замысел Стрижайло, утвержденный и поддержанный Потрошковым.

Не следовало оставаться в гостиной, участвовать в переговорах Верхарна и Креса. Стрижайло поднялся, заглянул на минуту в номер, чтобы накинуть плащ. Прихватил длинный, остроконечный зонтик. Гонимый тревогой и страхом, вышел из отеля. Погрузился в черный, отсвечивающий ртутью и зеленью парк.

Деревья, тяжелые, сплошные,

наполненные холодной влагой, угрюмо шумели, сыпали брызги. Трава газона жестко шелестела, хватала за ноги. Стрижайло, гонимый необъяснимой тревогой, шагал по парку, в котором таилась отгадка пугающей тайны. Лежал неопознанный, подброшенный Потрошковым труп. Этот труп надлежало найти по фосфорному, едва различимому свечению, какое источают голубоватые ядовитые грибы или болотные гнилушки.

Заговор, который Стрижайло плел вокруг Дышлова, Маковского и Верхарна, вдруг обнаружил загадочное содержание, не замышлявшееся в первоначальном

проекте. Это неявное содержание сулило огромную опасность, вселяло страх. Сырой туман и пронзительный ветер Атлантики несли безумие, порождали головокружение и бред, и в этом бреде сквозила неясное предчувствие, пугающая догадка о возможной смерти, всех и его собственной. Он почти бежал, тыкая нераскрытым зонтом в газон, который казался топью, готовой его поглотить.

Далеко, сквозь стволы, что-то слабо забелело во тьме. Млечное, зыбкое, созданное из разбрызганной влаги, слоев холодного пара, завитков туманного бреда. Стрижайло устремился на свет. Парк

расступился, и в рыбьей молоке, в столбах голубого света, возник Букингемский дворец. Он был нереален. Фасады были сгустками цветного тумана. Дворцовые окна были проблесками дождя. Решетки и резные ограды казались порождением бреда. Дворец парил над землей и смещался по ветру. Его нанесло, как морской мираж. Он зацепился за ветки завитками и цветными волокнами. Дунет ветер, и наваждение растает. Реальными, среди иллюзорных порталов и бронзовых пушек казались одни гвардейцы, в медвежьих шапках, красных мундирах, с мушкетами на плечах. Это были знаменитые евнухи

из Йоркшира, где еще в юности их лишили семенников, используя для этого ножницы для стрижки овец. Впрочем, гольфики из лосиной кожи у них стояли торчком, что было не совсем характерно для евнухов.

Букингемский дворец и был трупом, затерявшимся в парке. Трупом великой империи, бредящей своим злополучным прошлым.

Он снова бежал под деревьями, вонзая в траву наконечник зонта. Тайна, которая начинала брезжить, заключалась в треугольнике отношений: «Верхарн — Президент — Потрошков». Чтобы разгадать опасную тайну, избежать смертельной угрозы, он должен был

воспользоваться своим креативным даром. Призвать на помощь поселившихся в нем духов, чтобы те своей неземной прозорливостью, сверхчеловеческой проницательностью вскрыли лукавый замысел. Но духи не помогали. Превратились в скопище шелковистых зверьков, вцепившихся в его шею и горло острыми зубками. Висели, как бархатистый воротник. Пили его живые соки, насыщались его страданием, вкушали его страхи. Усиливали их, впрыскивая в прокусанные вены струйки яда, от которого кружилась голова, умножалось безумие. Он бежал по ночному парку, увешенный

гирляндами пухленьких ушастых зверьков, сложивших за спиной кожаные перепонки.

«Как Потрошков, желая погубить Верхарна, оказался с ним связан династической идеей монархии? Как Потрошков, являясь слугой Президента, поддерживает дружбу с Верхарном, его лютым врагом? Как он, Стрижайло получил наказ Потрошкова сгубить Верхарна, если тот спонсирует лабораторию ФСБ? Как картины Тишкова, украшающие его, Стрижайло, квартиру, побуждают генетиков ФСБ конструировать новую элиту, в частности «Человека-Хуя»? И, наконец, что распирает гильфики

королевских гвардейцев, если там поработали ножницы для стрижки йоркширских овец?» — эти и другие вопросы роились в безумной голове Стрижайло, требовали немедленных прозрений. Но «духи прозрений» обернулись летучими зверьками с влажными мордочками и черными, как смородина, глазками, вцепились в горло, тянули сладкую кровь. И он, еще недавно — вместилище «духов творчества», превратился в пещеру — обитель летучих мышей.

Он вырвался из черного парка и оказался в призрачном свете озаренных строений, в которых узнал Парламент и Вестминстерское аббатство, — изощренная готика,

сталактиты спицей и хрупких арок,
цветные розетки витражей. На
башне, чуть затуманенные,
круглились часы «Биг Бена», —
матовая луна с черными стрелками,
графический циферблат. Часы
казались млечно-озаренной
воронкой, куда летели сгустки
тумана, мелькали заостренные
морды, перепончатые крылья.
Проникали в зал заседания,
усаживались в старинные кресла.
Шло заседание Парламента с
участием Пальмерстона, Дизраэли и
Гладстона. У всех троих под
сюртуками шевелились горбы, в
которых, как в саквояжах,
помещались сложенные крылья.

Гладстон терся крыльями о спинку кресла, издавая хрустящий звук. У Пальмерстона прохудился сюртук, и выглянуло кожаное, с тугими перепонками крыло. Дизраэли рассуждал о посылке дополнительной эскадры в Индию для подавления волнений, гневно размахивал крыльями, похожими на два огромных зонта.

В соседнем Вестминстерском аббатстве, в свете багровых лампад, кельтские боги в облачении англиканских священников совершали каннибальский обряд, — поедали молодую монахиню. Бедняжка, обнаженная, лежала на сатанинском алтаре, кельтские боги

подходили и, не касаясь руками, вгрызались в ее грудь и живот. Насытившись, покидали аббатство, летели в тумане над деревьями парка.

Стрижайло чувствовал проклятье империи, жуть англосаксонской расы, наводнившей мир распадом и скверной, от которых по сей день от Нила до Кейптауна, от Бостона до Филиппин рождались рыжеволосые уродцы с белыми глазами палачей. Те же вареные глаза белели у изваяний Ричарда Львиное Сердце и Кромвеля, восседавших на бронзовых конях, а также у отвратительного памятника Черчиллю, — похожий на древесную

жабу, премьер-министр прижимался спиной к огромному платану, весь забрызганный птичьим пометом.

Его окружали опасности. В магическом треугольнике: «Президент — Потрошков — Верхарн» таилась его гибель. Он был не в силах ее избежать, ибо не постиг ее суть. Суть была от него сокрыта, и вместо прозрения он был одержим безумием. Чувствовал, как сходит с ума, как гиблый атлантический туман набивается в его разум ядовитыми комьями. Упал на колени перед памятником Черчиллю и стал молиться «духам гибели», к которым, несомненно, принадлежал и Черчилль.

— Уинстон, Уинстон, что ждет меня впереди? Как мне избежать злой доли? — он молился нетопырям, заседавшим в Парламенте, умоляя вернуть ему силу прозрения. Молился людоедам в аббатстве, чтобы те открыли ему сокровенное будущее. «Духи гибели» должны были наградить его ясновидением, как наградили Шекспира, написавшего под их диктовку лучшие творения. — Уинстон, Уинстон, клянусь древесной жабой и крысой-альбиносом, что буду тайно отстаивать интересы англосаксонской расы. Ответь, что ждет меня впереди? — он протягивал к

памятнику умоляющие ладони, но в них упал сгусток лягушачьей икры. Стрижайло вскочил и в ужасе побежал.

Мчался по черному парку, сжимая в кулаке комок лягушечьей слизи, в котором гнездились мириады Черчиллей. Чувствовал, как в теплой ладони комок увеличивается, икринки с Черчиллями растут, готовы взорваться, выбросить в мир бессчетное количество лягушат, которые поскачут во все концы света, распространяя влияние англо-саксонской расы.

— Уинстон, Уинстон, пусть я уподоблюсь Шекспиру. Открой мне

грядущее!

Он бежал среди огромных платанов, которые проливали на него холодную душистую влагу. Сбывалось пророчество, согласно которому истина откроется ему не раньше, чем «Бирнамский лес пойдет на Дунсинан». Ужасно затрещали стволы, отламываясь от корней. Блеснули в коре огромные щепки и трещины. Одно за другим деревья отламывались от комлей и начинали шагать, размахивая ветвями, высыпая из крон мокрых ошалелых ворон. Весь парк уходил мимо лодочной станции, к туманным огням бегущих автомобилей.

Прожектор на газоне освещал

деревья голубыми лучами, в которых клубился туман и сыпался дождь. Вокруг огня, на мокрой траве сидели три ведьмы в ночных рубашках, растрепанные и ужасные, выставив под дождь голые плечи. Это были Мария Стюарт, принцесса Диана и Маргарет Тэтчер. С ужимками, мерзко гримасничая, они передавали друг другу труп мужчины, и каждая оскверняла его поцелуем. Разом исчезли, оставив ненамокшую траву, которая тут же начинала блестеть от дождя. «Земля, как и вода, рождает газы, и это были пузыри земли» — ошалело шептал Стрижайло, убегая от жуткого места.

Землекопы в скользких

комбинезонах и пластмассовых касках долбили траншею, в которой обнажались какие-то трубы и кабели. Один посветил фонарем, извлек из глины мутный череп, постучал о подошву сапога, оббивая грязь:

— Бедный Йорик, — произнес землекоп, выкидывая череп под ноги пробежавшему Стрижайло, который спотыкнулся, пнул мутный шар, услышав костяной звук.

Зверьки-кровососы окружили его шею мягким воротником, аппетитно чмокали, сыто ворочали шелковистыми тельцами. Их яды проникали в кровь, рождая галлюцинации. Мимо, с громким топотом, разбрасывая из-под копыт

траву, промчался тяжеловесный, закованный в латы конь. Ричард Львиное Сердце, со страшным оскалом, держал в руке отсеченную голову сарацина. Бритая наголо, лиловатая, с выпученными глазами, она принадлежала охраннику Верхарна, воину Иностранного легиона. Следом, безжалостный и упрямый, мчался Кромвель, ухватив за волосы отрубленную голову короля, которая, при ближайшем рассмотрении, оказалась головой Дышлова, с пуговицами глаз и морковкой носа. Раздался чавкающий липкий звук, — показалась огромная жаба, верхом на которой сидел Уинстон Черчилль,

прижимая к груди младенца. Завернутый в белые пелены, недвижимый, младенец был душой Стрижайло, которую после успенья демонический наездник нес в Ад.

Поскальзываясь на траве, в погоне за своей обреченной душой, Стрижайло помчался за Черчиллем, умоляя набегу: «Уинстон, Уинстон...»

Парк расступился, и он оказался на открытом месте, на пустом мосту через Темзу, соединявшем огненные кромки берегов, туманные рекламы, водянистые автомобильные фары. Словно колба с больной желтоватой спермой, светились часы «Биг Бена». Из мглистых кварталов, в дожде и

туманном свете, возносилось в небо самое большое в Европе «чертово колесо». В этом колесе, как в чертеже Леонардо, расставив ноги и руки, был распят Пол Маккартни, — медленно вращался, становясь вверх ногами, и Лондон взирал на колесование великого музыканта. Странно и призрачно возвышался стеклянный, озаренный изнутри небоскреб, в форме кукурузного початка, который воспринимался жителями Лондона, как самый большой в мире фаллос, — бездетные женщины стекались к нему, чтобы потереться о небоскреб животом, в надежде забеременеть.

Дождь припустился, хлестал

ледяными струями, которые разбивались на асфальте моста, как падающие сосульки. Стрижайло раскрыл зонт, подставляя продрогшие плечи под перепончатый купол. Жутко и порывисто дунуло, превращая дождь в ледяные стрелы. Зонт наполнился подъемной силой. Стрижайло, ухватившись за костяной набалдашник, оторвался от моста и взмыл. Мчался на хрустящих спицах, на черных перепончатых крыльях. Темза внизу блестела, словно каток, отражая замороженные огни. Из клубящихся небес вылетали остромордые нетопыри, складывали перепончатые крылья, устремлялись вниз. Пикировали к Темзе, ударяя

остроконечными мордами в лед. Пробивали звездообразные лунки, уходили под воду, как черные бакланы, ныряющие за рыбой. Мимо Стрижайло пронесся Гладстон, сложил крылья птеродактиля, ринулся вниз, исчезая в Темзе. Следом спикировал Пальмерстон с пеликаньим носом, протыкая молодой лед, проваливаясь в пузырящуюся глубину. Дизраэли, словно дух преисподней, шумя кожаными парусами, распространяя запах паленой шерсти, кинулся вниз. Канул подо льдом, оставив отверстие в виде шестиконечной звезды.

Стрижайло, увлекаемый несметными стаями духов, сложил

зонт, нацелился вниз отточенным наконечником и, не выпуская костяной набалдашник, устремился к Темзе. Удар был несильным, словно разбился хрупкий лед в бочке с водой. Осколки не больно царапнули по лицу, и он, из огромного ветряного неба, из ледяного дождя и ветра, оказался в банной горячей мгле с отсветами красных огней.

Это был Ад, разместившийся прямо под Лондоном. Попавшие в него души напоминали клиентов бани. Голые, застенчивые, топтались на пороге, пропуская вперед козлоногий обслуживающий персонал. Привратник Ада, вылитый телеведущий государственного

канала РТР, сортировал прибывающие души по разным отсекам, выдавая каждому мыльце, терочку и памятку на немецком языке. Стрижайло был направлен в «Департамент политологии», в его русский подотдел.

Сильный толчок по голым ягодицам впихнул его в огромную залу. Под сводами каменной кладки стояли инструменты мучений, пыточные станки, в которые были «заряжены» известные в России политологи.

Над каждым склонился козлоголовый мучитель. Эффектно выставив волосатую ножку с копытцем, зачитывал политологу его

прегрешения перед Господом и людьми. В этих списках значились бесчисленные обманы публики. Ложные прогнозы и неверные установки. Кражи денег, выделяемых на предвыборные кампании. Измена заказчику и перебегание к противнику. Сотрудничество сразу с обеими борющимися сторонами. Невежество и некомпетентность. Очернительство, стоящее порядочным людям репутации, а иногда и жизни. Вторжение в тайну интимных отношений. Создание общественной паники. Создание предпосылок для массового насилия. Оправдание кровавых событий в октябре 93-го года. Оправдание двух

чеченских войн. Обман общественности, связанный с дефолтом. Обман избирателей в связи с фальсификациями результатов голосования. Обман по поводу болезни Ельцина. Обман вокруг финансовых афер «семьи». Обман во время взрывов в Москве и Волгодонске. А также отвратительный сговор во время еще предстоящих выборов на Украине, когда вся прожорливая, лукавая кодла политологов разделится на два лагеря. Одна половина пойдет помогать Ющенко, а другая Януковичу. Провалив все на свете, выставив Россию в идиотском свете, сойдутся на тайный банкет в

гостинице «Балчуг», разделят баснословный барыш, нажрутся вусмерть, произнося бранные слова в адрес России и Президента Ва-Ва.

На железном стуле, прикованный по рукам и ногам, сидел политолог Марков. Палач в капюшоне хромированным зажимом раздвинул его жаркую пасть. Ухватив щипцами, вытянул до подбородка сизый, собачий язык. Вгонял в него огромный гвоздь, прибывая к дубовой колоде. Марков выпучил глаза, лишенный всякой возможности комментировать событие. Дергал прибитым языком, с которого уже не могла сорваться ни единая банальность.

По соседству, помещенный в бочку так, что из крышки высовывалась миловидная голова, политолог Никонов пытался вспомнить, сколько раз он менял точку зрения на сотрудничество России с Европой. Вспоминать ему мешали кипящие в бочке нечистоты, а также дознаватель в розовой маске олигофрена, который сжимал ему череп огромными клещами, теми, что выхватывают из горна раскаленный брусок. Клещи сдавливали миловидную головку, кости хрустели, из черепных швов выступал черный вар, а из открытого рта выползала красивая зеленоватая змейка.

Тут же пламенел сложенный из валунов очаг. Угли источали белый жар. Над углями вращался кремлевский политолог Глеб Павловский, подвешенный за пенис. Под тяжестью тела пенис утончался, вытягивался, становился тонким, как нить. Сочные ягодицы мученика приближались к углям, начинали румяниться, покрывались аппетитной корочкой. Два черта с рожками повязывали крахмальные салфетки, звенели столовыми приборами, требовали подлив и специй, готовясь полакомиться жареной человечинной.

Похожий на эфиопа палач засунул в задницу политологу Бунину

кузнечные мехи, раздувал, что есть мочи. Бунин расширялся, превращался в огромный шар, потрескивал, занимая все пространство Ада, пока ни лопнул. Из него вылетело множество мух, крылатых муравьев, божьих коровок и молей. Летели, распространяя слухи о неизбежной победе на выборах «Союза правых сил».

Два клоуна, гремя бубенцами, протягивали политолога Радзиховского сквозь игольное ушко, превращая в длинную дратву. Тут же вдевали в кривую иглу и накладывали грубый шов на покойника, которому патологоанатом сделал вскрытие, обнаружив заворот кишок. Кишки

стремились просочиться сквозь шов, Радзиховский их не пускал, отстаивая в нужном месте и в нужное время либеральные ценности.

Мускулистый работник в форме следователя ОГПУ орудовал с Сатаровым. Мял его, как пластилин. Распластывал на лавке. Ходил по нему сапогами, оставляя следы подковок. Сворачивал в валик. Мелко рассекал, как рассекают домашнюю лапшу. Снова скатывал в ком, вращая в огромных ладонях. Требовал признаний в создании ложной «национальной идеи России», которая была позаимствована у пигмеев Калахари, в результате чего

средний рост россиянина уменьшился на двенадцать сантиметров. Сатаров отпирался, оговаривал политолога Цыпко, а неутомимый следователь отщипывал от него пластилиновые комочки, лепил из них осликов, козликов, верблюжат, придавая каждому забавное сходство с Сатаровым.

В центре Ада, в багровых отсветах, среди скрежета железа, хруста костей, истошных воплей, кипел огромный чан с расплавленным свинцом. Поверхность свинца бугрилась пузырями, дергалась металлической пенкой. По пояс в свинце стоял политолог Макиавелли, ужасный

ликом, с рассыпанными волосами, жуткими бельмами. Подъемный крюк подцепил его за нижнюю челюсть, поддел из котла. Стало видно, что нижняя половина тела у него отсутствует, срезанная огнем. Он напоминал шахматную фигуру, с помощью которой чемпион мира Каспаров собирался выиграть чемпионат, намеченный на 2008 год.

На все это оторопело взирал Стрижайло, пока двое палачей в одеяниях папских нунциев ни схватили его под руки. Выкрикивая по латыни святотатства, поволокли к огромному деревянному винту, чтобы раздробить ему яйца. Он жалобно возопил, как смертельно раненный

заяц. Очнулся на заднем сидении кэба, который в дожде подкатывал к отелю «Дорчестер». Без сил, в состоянии обморока, опираясь на сложенный зонт, вышел и направился к карусельным стеклянным дверям. Привратник, приподняв цилиндр, произнес:

— Добрый вечер, сэр!...

В отеле продолжалась вечерняя жизнь. Звучал оркестр. В людном баре было накурено до синевы. В гостиной, где час назад восседали Верхарн и Крес, теперь сидели другие люди, и лишь пенопластовая гантель, закатившаяся под столик, напоминала о чередѐ недавних

свиданий. Стрижайло присел и потребовал у служителя виски. Служитель был в фирменном малиновом сюртуке с геральдическими медными пуговицами и, по всей видимости, действительно работал в отеле, не чета тем двоим, что были подосланы ФСБ. Стрижайло продрог и вымок. Нес в себе образы Ада, которые могли показаться плодами безумных фантазий, если бы ни свежая царапина на руке, оставленная корочкой льда, когда он с зонтом протыкал замерзшую Темзу.

Он чувствовал себя пещерой, на сводах которой были начертаны картины ужасных мучений и в

складках, вниз головой, висели гроздя ушастых нетопырей. Влил в себя стакан виски, который полыхнул рыжим пламенем, — не смысл, но еще ярче озарил ужасные фрески.

Существовало последнее и всегда помогавшее средство, спасавшее от адских помрачений, — женщины с их загадочной пластикой сфер и окружностей, в которые, по замыслу великого геометра, были заключены их груди, ягодицы, живот с обворожительным углублением пупка и восхитительным магическим треугольником, помещенным среди сдвинутых ног. Едва он подумал об этом, как в дверях, на «русской тропе» возникли две девушки, —

брюнетка с черно-стеклянными до плеч волосами и золотая блондинка, чья высокая прическа напоминала сияющий слиток. Обе были свежи, умыты, глазасты и обаятельны. Были похожи на стюардесс, которые идут по салону и быстрым наметанным взглядом подмечают, у кого из мужчин не застегнута ширинка, тут же ловкими нежными пальцами исправляя оплошность.

— Красавицы, куда летим? — поинтересовался Стрижайло.

— К вам в номер, — отвечали барышни.

— Стоимость авиабилета?

— 600 долларов за каждое место.

— Приготовиться к взлету.

Прихватив намокший зонт, он повел очаровательных девушек в номер. Уже в лифте ощутил, как свежо и вкусно, снегом и медом, пахнут их тела. Усадил на диван, предоставив в распоряжение мини-бар, заставленный восхитительными бутылочками с джином, виски, коньяком, сухими винами, шампанским, холодными банками с тоником, пепси и соком. Обе гостьи стали осваивать коллекцию бара, ловко разрывая пакетики с арахисом и сладостями. А Стрижайло отправился в ванную, совлек с себя сырую одежду, пустил из крана сочную шумную воду и лег в теплую

ванную, глядя, как покрываются серебристыми пузырьками его ноги, как теплый язык воды заливает дышащую грудь. Адская пещера по-прежнему пугала своими грубыми фресками, среди которых доминировал красный цвет, — распоротой плоти, черный — кипящей смолы, металлически-белый — расплавленного свинца. Дверь в ванную была приоткрыта, и он увидел, как гости, прикладывая к губам бутылочки с коньяком, появились в спальней, где был постелен ковер. Откинули пустые бутылочки и, встав на ковер, начали раздевать друг друга.

Совершали это радостно и

невинно. Сняли друг с друга жакеты, красивыми жестами кинули на кровать. Перебирали тонкими пальчиками, расстегивая пуговички на легких блузках, из которых у брюнетки мягко выпали продолговатые, смуглые, с фиолетовыми окончаниями груди, а у блондинки затрепетали млечно-белые, с розовой мякотью шары. Распустили молнии на бедрах, одинаковыми змееобразными движениями освобождаясь от коротких юбок, оставаясь, — брюнетка в белых, отороченных кружевом трусах, блондинка — в нежно зеленых «бикини». Сбросили туфли, упруго переступая узкими

стопами, пружиня пальцы. Синхронно, как парные танцовщицы, наклонились, освобождаясь от белого и нежно-зеленого. Брюнетка была смуглой, грациозной, с приподнятыми плечами, с тонкими полосками незагорелой кожи на груди и животе. Блондинка была шире в бедрах, с пышными плечами и шеей, вся нежно-золотистая, получившая свой загар на нудистском пляже.

Стрижайло, выглядывая из ванной, любовался этим целомудренным раздеванием. Испытывал не сладострастие, а освобождение и очищение. Темная энергия Ада отступала, вытесняемая

прелестной грацией и
обворожительной женственностью.
Ему стало вольнее дышать, —
бархатистые «летуны», перепончатые
«ушаны», вампирические духи
отваливались один за другим от его
шеи, переставали мучить. Кровь,
очищенная от ядов, стала полнее
поступать в мозг. Ему показалось,
что стало светлее, вода из крана
стала серебристей, зеркало
полыхнуло радугой, и две женщины в
его спальней, распустив по плечам
иссиня-черные и ярко-золотые
волосы, стояли, окруженные
сиянием.

Они осматривали одна другую
изумленно, с восхищением, словно

впервые увидали себе подобную. Не веря в чудо встречи, осторожно и нежно прикасались друг к другу, желая убедиться, что это не мираж, не плод восхищенного воображения. Ощупывали груди, сравнивали смуглые продолговатые формы одной с млечно-розовыми и округлыми — у другой. Приподымали грудь на ладони, приглашая полюбоваться. Блондинка не выдержала, поцеловала коричневый, с фиолетовым отливом экзотический плод, который ей предлагали. Брюнетка скользящей ладонью провела по животу подруги, касаясь золотистой полосы меха, словно приласкала пушистого зверька,

притаившегося внизу живота.

Стрижайло созерцал этот волшебный, совершаемый для него обряд, которым усмирялись «духи Ада», стирались в душе ужасающие фрески, адские наскальные рисунки, магические заклинания, где пророчилась его гибель. Исчезло мутное, как плесень, изображение Букингемского дворца с мрачными евнухами Йоркшира, — улетело в туманы Атлантики, паря над водами и пугая сбившихся с пути моряков.

Блондинка опустилась на ковер, гибко выгибая спину, забрасывая на плечи желто-сияющие волосы. Была видна ее шея, мягкий подбородок, приоткрытые губы. Грудь, как

розовые шары, колыхались, упиравшиеся в ковер колени мягко скользили, ноги с полными икрами и узкими стопами попеременно поднимались, как если бы она нежилась в теплом приливе. Темноволосая подруга опустилась рядом, гладила ей спину, покрывала поцелуями всю длинную гибкую ложбинку, поддерживала смуглой ладонью розово-белую грудь. Приникла к ее бедрам, рассыпав черные стеклянные волосы, и два их тела, смуглое и млечное, скользили рядом, будто играли и ласкались два морских существа, окруженные сиянием.

Адская пещера, наполненная

видениями, пустела и очищалась, словно в нее проникал дневной свет, изгонял наваждения ночи. Сгинули сцены шекспировских спектаклей Ковент-Гардена, — ополоумевший Бирнамский лес, идущий на Дунсинан, мерзкие кикиморы, похожие на болотные пузыри, землекопы, достающие из канализационной трубы череп королевского шута. Призраки больного воображения не выдерживали встречи с восхитительной красотой шаловливых женщин, подтверждающих правило, что малым грехом может быть осилён и искуплен грех тяжкий.

Красавицы были неистощимы на затеи. Блондинка легла на спину, разведя колени, открывая мирозданию свои восхитительные прелести, на страже которых находилась маленькая золотистая белка. Брюнетка наклонилась, прильнула животом, на котором пригрелся темный изящный соболь. Два пушистых зверька, золотистый и черный, играли, гонялись один за другим, сворачивались в гибкие завитки, обнимались. На миг замирали и вновь начинали свои неумные шалости, от которых Стрижайло становилось весело, как в детстве, когда во дворе он наблюдал игры котят.

То черный зверек одолевал золотистого, то верх брал ярко-огненный. Это символизировало смену ночи и дня, круговращение природных сил и явлений, перед которыми были немощны «духи ада». Вот и Черчилль, скользкий и мерзкий, как жаба, исчез в неизвестном направлении, выронив закутанную в пелены душу Стрижайло, которая, избегнув, Ада, вернулась в плоть. Вселилась в голое, лежащее в ванной тело, отчего слегка увеличился объем груди и поднялся уровень воды в ванной.

Было нечто античное, высоко поэтическое в играх красавиц, которые, казалось, сошли с рисунков

терракотовой амфоры, волшеб
возникли из стихов богоподобной
Сафо. Темноволосая лежала на
ковре, спрятав ладони в волосах,
разведя смуглые остроконечные
локти. Блондинка с льющимися
волосами, которые то и дело
перебрасывала через плечо, накрывая
ими подвижные лопатки, целовала
подругу туда, где у той находились
волшебные, пленительные места. Та
благодарно вздрагивала, закатывала
туманные глаза. Ее влажные губы
несвязно лепетали древне-греческий
стих, принадлежащий перу
Цветаевой древнего мира. После
каждого поцелуя на теле смуглянки
распускался нежный цветок,

превращая ее в клумбу с хризантемами, астрами, душистыми табаками, прелестными ромашками. Среди этого великолепия блондинка отыскала малиновый георгин с сочными лепестками. Припала к нему, стали пить его нектар, глотать пьянящую сладость, отчего георгин увеличивал соцветие, становился пышным, раскрывал малиновые лепестки.

Ад был посрамлен. Пропадали пугающие картины и мерзкие образы. Нетопыри с заостренными носами и перепончатыми крыльями, те, что пикировали на замерзшую Темзу, исчезали, словно в них попадали ракеты переносного

зенитного комплекса «Стрела», превращая гадов в мерцающую пыль. Гладстон, Пальмерстон, Дизраэли, — эти отродья англо-саксонской расы, были остановлены в их неудержимой экспансии. Без них Стрижайло стало намного легче.

Две барышни сидели теперь на ковре бок о бок и ухоженными пальцами с бирюзовым и платиновым маникюром гладили притихших зверьков, то у подруги, то каждая своего. В том, как они это делали, как зверьки выгибали свои гибкие меховые спинки, Стрижайло угадывал, что обе женщины были активистками «Общества охраны дикой природы», спасали и

сберегали зверьков, которым грозило истребление.

Последняя страшная фреска с Макиавелли и жутким деревянным винтом, к которому пытались подтащить Стрижайло папские нунции, — эти пугающие образы канули. Он был свободен и чист, избавлен от лондонского кошмара. Духи ада, что когда-то вселились в него из подвала и здесь, в Лондоне, ощутив себя на английской родине, попробовали овладеть его существом, теперь были укрощены. Заняли в его душе подчиненное место, откуда могли явиться только по зову Стрижайло.

Освобожденный, избавленный

от деревянного винта, сохраненный, как полноценная мужская особь, Стрижайло шумно поднялся из ванной. Сбрасывая на кафельный пол волны воды, направился в комнату к двум шаловливым гостям. Нес перед собой то, что на кораблях зовется «бушпритом», оковывается медью, предназначается для тарана враждебного корабля. Белокурая гостя со своими круглыми грудями и отрешенным лицом морской нимфы напоминала статую на носу фрегата. Стрижайло, не сбавляя хода, ударил в нее бушпритом, пронзая медным наконечником, буквально рассекая надвое. Продвигался неуклонно вперед, видя, как у богини

морей вылезают из орбит золотые глаза. Брюнетка в это время душила его поцелуями, сыпала на него летучее стекло черных волос.

На утро, из аэродрома «Хитроу», он вылетал в Москву. Сидя в могучем «боинге», потягивая из стакана пряный джин с тоником, он с удовлетворением думал, что поездка его удалась. Он продвинулся в реализации своего хитроумного плана. Замкнул Дышлова на Верхарна. Внушил тому мысль о создании партии «Сталин». Состыковал олигарха с «партийным банкиром» Кресом под скрытыми камерами агентов ФСБ. К тому же,

вдруг обнаружился загадочный, не принадлежащий ему аспект проекта, как таинственное ночное пятно из фильма Феллини, которое вскоре исчезло. Он попытается понять, чем было это неопознанное пятно, какую опасность, реальную или мнимую, таило в себе. Но думать об этом он станет дома, в Москве. Ибо в Лондон, провались оно в Ад, он больше не ездок.

глава тринадцатая

Как было условлено в прежние дни, нефтяной магнат Арнольд Маковский, отправляясь в свои сибирские нефтяные угодья, пригласил в путешествие Стрижайло. К этому времени магнат успел прочитать черновик мюзикла «Город счастья», у него имелись некоторые замечания, и он хотел, чтобы Стрижайло погрузился в атмосферу его «нефтяной империи», проникся подлинными впечатлениями, столь необходимыми для мюзикла.

В урочный час Стрижайло оказался на Успенском шоссе, где двигалась нескончаемая вереница

иномарок, каждая из которых обнюхивала выхлопную трубу впереди бегущей. Дом Маковского, напоминавший инопланетный корабль, как и в первый раз, восхитил Стрижайло. Глядя на его хрустальные галереи, округлые палубы, ажурные переходы, любуясь сверкающей опорой, которой он касался цветущего газона, Стрижайло вдруг подумал, что хорошо бы выселить Маковского из этого космического дворца и самому в нем поселиться. Громадный охранник с непомерным туловищем и маленькой головой просил подождать перед домом, и скоро по лестнице, напоминавшей трап, легко

сбежал Маковский, в белых брюках, спортивном джемпере, широколобый, с волевым носом римского патриция, с приветливой улыбкой негроидных губ.

— Наше путешествие не займет много времени. Я хочу принять участие в празднике «Золотой шаман», что проходит ежегодно в нашем «Городе счастья». Это главный, «имперский» праздник «Глюкоса», который я не могу игнорировать. Вам же будет полезно увидеть воочию наше северное чудо, — с этими словами Маковский направился через газон по тропинке, туда где краснели сосны и сквозь стволы тускло белел алюминиевый

фюзеляж самолета.

«Б-29», окруженный бором, был готов принять пассажиров. На алюминиевом корпусе, рядом с бортовым номером «44-8629» красовалась эмблема «Глюкоса», — рыжий глаз хищной птицы с жестоким зрачком, который точь-в-точь повторял правый глаз Маковского, дрожащий под рыжей бровью то ли от хохота, то ли от ненависти. «Глаз вопиющего в пустыни», — прошептал Стрижайло.

Поднявшись на борт, он не увидел белоснежного диспетчерского зала с мониторами, графиками, показателями нефтедобычи, ценами на нефть и бензин. Интерьер был

абсолютно иным. В нем размещался теннисный корт с подстриженной, вкусно пахнущей травой. Плавательный бассейн с лазурной водой, окруженный античными колоннами. Уютный ресторан в стиле «тропикаль».

— Мы приятно скоротаем полет и успеем обменяться идеями, — Маковский широким жестом предлагал Стрижайло пользоваться благами, при этом янтарный мерцающий глаз наблюдал, какое впечатление произвело на гостя убранство.

Сквозь прозрачные ромбы кабины с пилотами в форме американских ВВС, было видно, как

сложились и упали в разные стороны
окружавшие самолет деревья, как
хвойная подстилка стала
раздвигаться, будто на ней
расстегивали уходящую в
бесконечность молнию. Взревели
пропеллеры, машина разбежалась по
бетонной полосе и взлетела столь
мягко, что лишь слабо колыхнулась
бирюза в бассейне и попугай какаду
в ресторане «тропикаль» выругался
по-английски: «Шит!» и закачался на
золоченом кольце.

Они летели над Среднерусской
равниной, над летними лесами и
реками, и Маковский предложил
Стрижайло поиграть в теннис.
Облачились в шорты, вооружились

ракетками. Корт был зеленым, благоухал травой, ракетки были изящными, теннисные мячи великолепно отскакивали.

— Мне понравилось либретто мюзикла, — произнес Маковский, жонглируя мячом и ракеткой. — Отдаю должное вашей изобретательности. Но мне кажется, нужно усилить тему аборигенов, которые порвали с шаманизмом и стали, — кто раввином, кто православным батюшкой, кто муфтием. Мы воочию увидим этих обращенных. Затем, мне кажется, средствами музыки можно выразить красоту и мощь «либеральной империи». Я покажу вам место в

тундре, где берет начало «труба мира», по которой русская нефть омывает человечество, соединяя религии, культуры и расы, что соответствует тезису Достоевского о «всемирности русской души», синонимом которой является нефть. И, наконец, финальная сцена, где танцуют восемь шаманов, которые оказываются членами «восьмерки», — сама по себе остроумна. Но нужно учитывать, что на премьеру мюзикла соберется весь дипломатический корпус, а также действующий Президент Ва-Ва и его сатрап Потрошков. Нельзя ли этих двоих изобразить в мюзикле в виде аллегорических «теней прошлого»,

которые исчезают, как полярная тьма, при свете вечного дня, олицетворяемого корпорацией «Глюкос»?

Они сыграли несколько сетов, ловко перебрасываясь мячом. Маковский выиграл с небольшим перевесом, ибо, привыкнув играть в полете, умело пользовался тем, что мяч по ходу самолета летел быстрее, чем в противоположную сторону, к чему никак не мог приноровиться Стрижайло. К тому же, Стрижайло был неспокоен, на чеку. Чувствовал на себе взгляд рыжего, пылающего пронизательностью ока, которое просматривало его насквозь, стараясь обнаружить коварство.

Коварство присутствовало. Мьюзикл был ловушкой, куда заманивался честолюбивый, падкий на эффекты магнат. Чтобы уберечь свою тайну, стать непрозрачным для всевидящего ока, Стрижайло «блокировал» свой замысел. Выставлял навстречу разящему взгляду ложную цель, — яйцо Фаберже, недавно пополнившее коллекцию «Алмазного фонда». Когда взгляд Маковского вонзался в лобную кость Стрижайло, пытаясь прочесть его мысли, то сразу же упирался в яйцо. Малахитовое, окованное тончайшим золотом, усыпанное сапфирами и аметистами, оно поглощало взгляд, отчего у Маковского меркло око, и он начинал

моргать.

Разгоряченные и вспотевшие, они отправились в бассейн, напоминавший ионическое море с беломраморным античным городом. Присели у коринфской колонны с эллинскими надписями из Гомера.

— Мне показался блестящим ваш план по внедрению в КПРФ представителей «Глюкоса», — произнес Маковский, расположившись на мраморных ступенях подобно греческому философу. — Цена за одно депутатское место в два миллиона долларов вполне приемлема. Великолепна концепция библейских голубей, возвращающихся в родной

ковчег с оливковой ветвью
стоимостью в два миллиона.
«Учитесь торговать» — назидал
Ленин, призывая большевиков
вернуться к либеральной экономике.
А как бы вы отнеслись к идее
превращения КПРФ в либеральную
партию? Дышлов — вменяемый
человек, ему льстит появляться в
Европе в качестве просвещенного
гуманиста. Все толкают его в
сторону социал-демократии, а мы
пойдем дальше. Наши представители
в КПРФ преобразуют ее в
либеральную организацию,
оснащенную идеей либеральной
империи и всечеловеческого
братства, которое мы демонстрирует

в нефтяных «Городах счастья». Разработайте эту идею. Пусть КПРФ идет на выборы, как марксистская партия, а из выборов выйдет партией просвещенного либерализма, что освобождает нас от необходимости финансировать этот паршивый «яблочный джем» и обеды «японской кухни». А теперь приглашаю проплыть в бассейне дистанцию на скорость! — с этими словами Маковский кинулся в лазурную воду и мощно, красиво поплыл, поднимая бурун. Стрижайло отсчитывал время на больших песочных часах, украшенных меандром. После Маковского проплыл и он, дважды пересекая

бассейн, отталкиваясь от мраморных стенок. И здесь победил Маковский, ловко используя сложение скоростей, когда плыл по ходу движения самолета, и их разницу, когда плыл встречным курсом.

И постоянно, — во время разговора, и из бассейна, сквозь водяной бурун, — смотрел на Стрижайло яростный желтый глаз, вонзая в лобную кость всевидящий луч. Скрывая коварный замысел по поводу депутатских мандатов и трансформации марксистской КПРФ в либеральную партию, Стрижайло блокировал луч. Выставлял навстречу яйцо Фаберже, — из лазурита, с золотой крышкой в виде церковной

главки, которая, если ее открыть, начинала мелодично наигрывать: «Боже царя храни», при этом алмазы, усыпавшие лазурит, искрились, как стоцветная роса.

— Теперь не мешает и пообедать, — пригласил Маковский в ресторанный зал в стиле «тропикаль», где попугай какаду ругался, как английский боцман, требуя виски и надувную «герл».

Под крылом Б-29 тянулись холодные Уральские горы, начинались тюменские тундры. А на борту под пальмами им подавали плавники тунца, сваренных в молоке королевских креветок, жареное сердце быка и текилу, от которой в

иллюминаторах возникали неопознанные летающие объекты в виде отрубленных женских голов.

— Теперь о самом главном, — произнес Маковский, вылавливая серебряной ложкой в горячем молоке, среди золотистых колечек жира, розовую разваренную креветку, — К моменту президентских выборов вы подготовите доклад под условным названием: «Заговор Президента против России». Вы должны объединить все тенденции злосчастной политики Президента Ва-Ва, возвращающей Россию в эпоху мрачного абсолютизма. Подобно Ивану Грозному, он разгромил

регионы, покарал лучших губернаторов, одни из которых, подобно Курбскому, кинулись в бега, другие умерли под пытками, третьи томятся в монастырях, четвертые на коленях, с петлей на шее, приползли в Кремль и остались на должностях, как подневольные клерки. Подобно самодуру Павлу Первому он насадил дух солдатчины, расставил повсюду тупоумных силовиков, тешится парадами и праздничными дефиле, позволяя вороватым спецслужбистам отнимать у бизнесменов честно заработанную собственность. Он превратил прессу из гордой княгини в развратную шлюху, постоянно повторяя в узком кругу: «Какая

барыня ни будь, все равно ее ебуть»
Лучшим тележурналистам, таким,
как Сабик Швестор, Леонид
Парфенон и Герасимус Мизантропус,
прислана «черная метка» с
портретом телеведущего Карла
Сатанидзе, который без единого
выстрела умертвил Второй канал,
превратив его в тлеющий труп. В
Чечне он занят выведением особой
породы чеченцев, которые, чем
больше их посыпают вакуумными
бомбами и реактивными снарядами
системы «Град», тем интенсивнее
они размножаются, становясь
постепенно самым многочисленным
и образованным народом Европы.
Его примитивный, царско-советский

взгляд на империю представляет угрозу для свободных республик Прибалтики, Кавказа и Средней Азии, куда он стремится не допустить Америку, — оплот либерализма. Его нескрываемый антисемитизм проявляется в том, что лучших представителей российской интеллигенции, — певцов, писателей, юмористов, бизнесменов, политиков, он называет «жидами» и хочет обнести Барвиху, Горки и Жуковку новой «чертой оседлости», за которую нам будет запрещено выезжать. Это сулит превращение Российской Федерации в кровавую абсолютистскую монархию, к которой он все больше

склоняется, — порвал ее стыдливые «конституционные» трусики, обнажив страшное волосатое чудище. Доклад, который вы подготовите, будет размещен на десятках сайтов. Перепечатан зарубежными изданиями. Выпущен миллионным тиражом. Смысл доклада в том, что зарвавшегося деспота ждет трибунал в Гааге, где его посадят в одну камеру с уголовником Слободаном Милошевичем. Альтернативой этому гнусному правлению является «либеральная империя» и ее выразитель. Вы знаете, кто, — с этими словами Маковский выловил, наконец, розовую креветку, ловко очистил от панциря и сжевал мякоть,

так словно сначала раздел миниатюрного Президента Ва-Ва донага, а потом его проглотил.

Стрижайло остро, чутко внимал, связывая с докладом главную западню, какую расставит Маковскому. Янтарный глаз под рыжей воздетой бровью пытался распознать вероломство, и тогда по мановению «всевидащего ока» служители бросятся на Стрижайло, вырвут из застолья, засунут в мешок и с высоты десять тысяч метров выкинут из самолета. Лишенный спасительного зонтика из отеля «Дорчестер», он разобьется о русскую землю, которая никогда не была ему матерью, а только мачехой.

Сознавая опасность, мешая лучу прочитать сквозь лобную кость потаенные мысли, Стрижайло выставлял навстречу яйцу Фаберже, как если бы шли аукционные торги. Из розовой яшмы, усыпанное изумрудами, с огромным голубым бриллиантом, оно было полым внутри, и в глубине его чудом сохранилась сухая муха 1913 года рождения, случайно залетевшая в яйцо в момент, когда государь показывал его императрице. Муху не убирали специально, и ее присутствие увеличило стартовую цену яйца.

— Ну что ж, дорогой Михаил Львович, — Маковский поднялся из-

за стола. — Подлетаем к «Городу счастья». Приятно скоротали время, — он на мгновение замялся, желая что-то спросить. Не удержался, спросил: — А вы действительно считаете, что Ваксельберг провез яйца Фаберже через таможенную в своей кошонке, для чего побывал на знаменитой ферме в Йоркшире, где ему ампутировали его собственные яйца?

— Такая версия существует, — скромно ответил Стрижайло, — но я не берусь настаивать.

Самолет пошел на посадку и опустился на солнечной бетонной полосе, среди блеска воды, зеленого

мерцания тундры, из которой в
отдалении вырастали
фантастические силуэты «Города
счастья». Маковский вышел первым.
Спустился по трапу, шагнул на
красную дорожку, по которой были
рассыпаны ароматные ветки вереска.
Своей легкой спортивной походкой,
лишенной имперского величия,
двинулся по триумфальной дорожке.
Навстречу, под негромкие звуки биг-
бэнда потянулась вереница
именитых горожан, —
градоначальник, чиновники,
представители корпорации,
начальники служб, офицеры
гарнизона, духовенство, купечество,
земство, представители конфессий,

представители	национальных
меньшинств,	представители
сексуальных	меньшинств,
представители	думского
большинства,	ветераны,
интеллигенция, делегации	трудовых
коллективов, активистки	женского
движения, лидеры партий,	глава
чеченской	диаспоры, глава
азербайджанской	диаспоры, глава
таджикской	диаспоры, цыганский
барон, вор в законе,	местный
правозащитник, клоун,	горбун,
фигляр, карла, звездочет,	укротитель
змей и странный персонаж	
огромного роста, с ног до головы	
поросший шерстью, без тени	
одежды, идущий то на полусогнутых,	

то опираясь на кулак правой руки и отталкиваясь сразу двумя лапами, отчего становились видны его коричневые, мозолистые пятки.

Градоначальник нес перед собой серебряное блюдо с огромным золотым ключом от ворот «Города счастья», что входило в ритуал гостеприимства и заменяло старомодные «хлеб-соль». Маковский принял символический ключ, повернулся в сторону города и сделал вид, что открывает символические ворота. Затем обратился к встречающим с краткой речью.

— Среди человечества есть «золотой миллиард». Среди

«ЗОЛОТОГО миллиарда» есть «ПЛАТИНОВЫЙ миллион». Среди «ПЛАТИНОВОГО миллиона» есть «АЛМАЗНАЯ тысяча». Среди «АЛМАЗНОЙ тысячи» есть «НЕФТЯНАЯ сотня», — «ЧЕРНАЯ сотня России». Мы — черносотенцы русской «либеральной империи». Наши руки не в крови, а в нефти.

Ему поднесли фарфоровую чашу, полную маслянистой, с синим отливом нефти. Он совершил обряд омовения рук. Держал на весу почернелые руки, отекающие густой жижей. Встречающие подходили и целовали эти перепачканные длани, унося на губах, носах, подбородках темные сочные кляксы. Косматый

великан, замыкавший шествие, высунул огромный розовый язык и, сладко причмокивая, вылизал руки Маковского до белизны, после чего тому оставалось их слегка сполоснуть.

— Этот снежный человек пришел из тундры на огни нашего «Города счастья». Мы приняли его, как брата нашего меньшего, и теперь он работает в Интернет-кафе, — говоря это, Маковский теребил чудовище по загривку, напоминая праведника, к которому из дебрей являлись дикие звери. — А теперь я хочу познакомить вас с менеджером по связям с общественностью, госпожой Соней Ки, — Маковский

подвел Стрижайло к невысокой, прелестно сложенной женщине, — луновидное лицо с пунцовыми губами, иссиня-черные брови, широкие скулы, на которых маленькими пунцовыми цветками горел румянец. — Госпожа Ки — дочь местного шамана. Отец живет в первобытном стойбище, а его дочь окончила в Америке колледж, владеет тремя языками, изучила теорию общения Карнеги. Она уделит вам максимум внимания, — Маковский потрепал подбородок лунноликой красавице. — Мы осмотрим город, затем побываем на нефтяных полях, а вечером примем участие в торжествах «Золотой

шаман», которые состоятся в «Городе счастья», — с этими словами Маковский сел в черный «мерседес», а Стрижайло и очаровательная Соня Ки — в подкатившее представительское «вольво».

Ехали по городу, который казался огромной оранжереей. По всему периметру работали невидимые соленоиды, создававшие над городом незримый электромагнитный купол, который приводил к парниковому эффекту, — прозрачный слой нагретого воздуха отделял город от арктических ветров, не пропускал ледяные дуновения тундры, поддерживал субтропическую температуру.

Повсюду росли пальмы, цвели магнолии, пламенели соцветиями рододендроны. Благоухало, как в приморских парках Сочи, как в Батумском ботаническом саду. Архитектура была невиданной красоты, — строгая стеклянная геометрия в духе Ле Корбюзье и Миса Ван Дер Роэ. Изящная пластика в манере Нимейера. Фантазии на тему Сааринена. То стилизация под архитектурные направления всех времен и народов. То абстракции, напоминавшие раковины, медузы, фантастические растения. И повсюду, — на фасадах, над крышами, на воздетых мачтах красовалась эмблема «Глюкоса».

Магический треугольник и в нем —
немеркнущий вещий глаз.

Стрижайло хотел запомнить
зеркальные плоскости, в которых
отражались золотые пагоды,
островерхая готика, русское
многоглавие. Ни одно из строений не
повторяло соседнее, — дома-
дирижабли, дома-корабли, дома-
летающие тарелки. Все это
воспроизведут декорации мюзикла,
создав волшебную галлюцинацию.
Люди, которые шли по улицам, или
отдыхали под цветущими деревьями,
или сидели в открытых кафе, —
носили летние туалеты
фантастических фасонов, словно это
были артисты мюзикла, одетые по

эскизам Сен-Лорана, Юдашкина, Славы Зайцева.

— Наш город возведен на месте стойбища. Этот дом, напоминающий хрустальную пирамиду, построен на месте чума, где я родилась, — произнесла Соня Ки, указывая на прозрачную остроконечную башню, в которой струилась радуга. Стрижайло вдруг испытал влечение к ее близкому стройному телу. В строгом английском костюме, оно было пленительно, источало чуть слышные ароматы. Не те, синтезированные на парфюмерных фабриках Парижа, что вызывают у мужчин томительное напряжение в паху. А те, которыми пользуются

молодые колдуньи, посыпая волосы лепестками цветов, перекладывая одежду приворотными травами. От них у мужчин становятся тоньше мускулы, зорче глаза, и они готовы бежать без устали за развевающимися волосами волшебницы, за белизной ее голых ног.

Они подъехали к помпезному зданию, напоминающему американский Капитолий. На фронтоне золотом было выведено «Дворец Арнольда». Здесь, как объяснила Соня Ки, Маковский усыновляет младенцев, которые были названы в его честь именем «Арнольд».

Церемония проходила на открытом воздухе. Маковский стоял на ступенях дворца. Счастливые родительские пары подносили к нему новорожденных, разматывали ленты, раскрывали пеленки, чтобы великий благодетель мог созерцать своего названного сына. Маковский вешал на шею младенца золотой медальон со своим римским профилем. Передавал в дар родителем одну акцию компании «Глюкос», которая, по достижении мальчиком совершеннолетия, увеличивала свою стоимость в тысячу раз. Кроме того, семье выдавался памятный знак «усыновления», — запаянная в

стекло капля нефти, именуемая «слеза младенца», та самая, о которой говорил Достоевский. Рождаемость в «Городе счастья» была велика. Маковскому то и дело подносили очаровательных Арнольдиков, на которых тот взирал с гордым чувством Отца.

— А почему у вас негритенок? — изумился Маковский, обращаясь к двум, расово полноценным родителям, которые протягивали ему мальчика с уморительной черной мордочкой.

— У нас тут гостил Черномырдин, так супруга моя слишком на него загляделась, — ответил благодушный отец, принимая

акцию. — Мы рады с Дуняшей. В тундре на снегу нашего Арнольдика будет далеко видать.

Кортеж автомобилей кружил по городу, и Стрижайло испытывал все большее влечение и нежность к Соне Ки. В ее человеческом, очаровательном облике было нечто от фауны, населяющей окрестную тундру. Кротость и беззащитность оленя. Хищность и игривость росوماхи. Наивность и доверчивость полярной куропатки. Таинственность и непостижимость плещущей в озере рыбы. Он подумал, что эта сдержанная женщина в английском костюме, говорящая на всех европейских языках, на самом деле

является оборотнем. Кинется через плечо и покроется птичьими перьями, звериной шерстью или рыбьей чешуей.

Они остановились у местной синагоги, своей архитектурой повторяющей Храм Соломона, — цветные стекла, золотая кровля, изречения из Торы на еврейском языке. В синагоге протекал обряд обрезания. Два друга-нефтяника, крепкие русские парни, работавшие на буровой, решили принять иудаизм. Обряд исполнял местный раввин, в облачении, в кипе, из-под которой смотрело умудренное лицо ханта, порвавшего с языческим многобожием и нашедшего призвание

в служении грозному Богу пророков.

Оба нефтяника, торжественные и взволнованные, выложили объекты обрезания на ритуальные дощечки, которые оказались слишком малы для столь развитых русских богатырей. Чтобы привести объекты в соответствие с размерами дощечек, раввин то и дело поливал их холодной водой. Объекты на некоторое время сжимались и укорачивались, но потом вновь вырастали. Маковскому стоило немалого труда изловчиться, серебряным скальпелем коснуться объектов и отсечь ненужное. После чего новообращенным были подарены два короткоствольных

охотничьих ружья с эмблемами «Глюкос» и надписями: «Золотой обрез».

— Что побудило их принять иудаизм? — осторожно поинтересовался Стрижайло.

— Видите ли, — пояснила Соня Ки, — оба часто в обиходе использовали слово «жид». Постепенно им раскрылось духовное содержание этого слова. Они стали читать Тору и уверовали в Иегову.

Молодая женщина была сдержана и холодна. Но Стрижайло показалось, что между ними возникла неуловимая связь, сулившая сближение. Он не пытался это проверить. Лишь исподволь

взглядывал на прекрасное лицо северянки, похожее на белую луну. Вдыхал запах цветущего багульника, веющий от блестящих черных волос.

Кортеж переместился к православному приходу, где батюшкой служил другой хант, вылитая копия первого, облаченный в сиреневую ризу и епитрахиль. В храме проходило венчание. Молодожены, два молодые менеджера корпорации «Глюкос», Федор и Петр, полюбили друг друга и, проверив свои чувства, решили обвенчаться. Они стояли перед батюшкой, который держал над их головами жестяную корону и вопрошал:

— Федор, желаешь ли ты взять себе в жены Петра?

— Желаю, — вдохновенно отвечал Федор.

— Петр, желаешь ли ты взять в мужья Федора?

— Желаю, — был ответ.

Жених и невеста обменялись обручальными кольцами и поцелуями, для чего Федор приподнял на лице Петра кружевную фату.

С назидательным словом выступил Маковский:

— Мы в «Глюкосе» выступаем за семейные ценности, — сторонники крепких браков и незыблемых семей. Чтобы этот день

запомнила ваша семья, мы преподносим вам памятный подарок, — с этими словами Маковский протянул новобрачным изящную золотую скульптурку певца Бориса Моисеева. Певец стоял на четвереньках, откинув на спину фалды фрака. Под эти фалды втыкалась симпатичная платиновая авторучка. Когда она втыкалась, певец начинал петь свой шлягер: «Дитя порока»

— Не слишком ли далеко зашла либерализация семейных отношений? — боясь показаться неделикатным, поинтересовался у Сони Стрижайло.

— Свободы не бывает слишком

много, — отчужденно ответила Соня Ки. Но когда Стрижайло как бы случайно взял ее за грудь, ему показалось, что ей это было приятно.

Кортеж подкатил к мечети, где муфтий был хант, в чалме, в бархатном долгополом одеянии. В мечети совершалась необычная процедура. Молодая татарка, подпавшая под воздействие ваххабитов и переправленная в Чечню, к Шамилю Басаеву, где стала шахидкой, теперь вернулась домой. С огромным трудом удалось совлечь с нее «пояс шахида», который буквально сросся с ее животом. Только танец живота, плавные кругообразные движения пупка и

бедер заставили пресловутый пояс отслоиться от нежной девичьей кожи. Овладев искусством танца, она готовилась теперь стать стриптизершей в ночном клубе и прощалась со своими избавителями.

Местные мусульмане, — чеченцы, азербайджанцы, таджики, все имеющие иммиграционные карты, смотрели, как закрытая с головы до ног танцовщица кружится перед ними, развевает края паранджи, из под которой выглядывают гибкие босые стопы. Им всем не терпелось увидеть обольстительное тело красавицы. Маковский вошел в тот момент, когда под страстные звуки восточных дудок

танцовщица сбросила с себя покрывало и предстала во всей ослепительной наготе. Но, ужас, — на бедрах ее красовался «пояс шахида», жутко мигал красными, зелеными, желтыми индикаторами, готовый взорваться. Красавица с жестокими огненными глазами террористки подскочила к Маковскому, замкнула контакты проводков, идущих из пупка. Хлопнул взрыв. Но из разорванного бумажного пояса полетели не болты и гайки, а разноцветные конфеты, рахат-лукум, мармелад. Так простая хлопушка напугала неподготовленных зрителей.

Маковский от души смеялся.

Целовал у танцовщицы прелестные, с малиновым маникюром пальчики. Подарил ей великолепные французские туфли на стеклянных каблуках, которые в большой чести у стриптизерш.

— Если такое возможно, то мир в Чечне не за горами, — глубокомысленно произнес Стрижайло.

— Мы, девушки-ханты, умеем, вращая пупок, вызывать лунные затмения и ускорять вращение земли, — ответила Соня Ки. — Но нам за это никто не дарит французские туфли.

Осмотр города завершился красочным, впечатляющим действием,

во время которого выпускались на волю в тундру выращенные в питомнике детеныши местных народностей. На окраине города, где начиналась неоглядная тундра, в блеске озер, с розовыми пятнами цветущего багульника, собралось множество зрителей. Тут были представители экологических организаций, члены «Беллуны» и «Гринпис», зоологи, руководители биосферного заповедника, доценты и профессора, изучающие малые народы Севера. В тундру вывезли трейлер, с которого сгрузили легкие, ажурные клетки, где содержались подросшие детеныши. Выращенные в неволе, на особых кормах с

биодобавками, они достигли
возраста, когда их возвращали в
естественную среду обитания.
Покрытые мягким желтоватым
пушком, с умными, встревоженными
глазками, они были окольцованы, с
датой рождения. Жались по углам
клеток, пугаясь необычного
скопления людей.

Маковский обратился к
собравшимся с краткой речью:

— Когда мы, «Глюкос», пришли
в эти места, мы застали последних
представителей вымирающей
народности, которые добывали огонь
трением, использовали для
освещения рыбий жир и лечили
болезни ударами шаманского бубна.

Мы разработали целевую программу «Нефть в обмен на продолжение рода», согласно которой взяли́сь увеличить популяцию аборигенов в десятки раз. Сейчас мы выпускаем в тундру очередное поколение этих смышленных, спасенных от вымирания существ. Они освоятся на воле, привыкнут сами добывать себе корм. К их услугам за сто километров отсюда построено стойбище, чудесные чумы, капище с богами. Просьба к вам, жителям «Города счастья», — при встрече в тундре с убегающим от вас новоселом, не гонитесь за ним, не спускайте собак, не ставьте капканов и, упаси вас Бог, не используйте против них

огнестрельное оружие. В случае поимки существа, посмотрите на его кольцо и сообщите в местный научный центр номер экземпляра, дату и место кольцевания. Помните, либерализм — это свобода для всех.

С этими словами он подошел к клеткам, открыл дверцы, поманил обитателей. Те, привыкшие к неволе, не сразу покинули свои зарешеченные жилища. Лишь постепенно, увлекаемые кусочками сырой рыбы, грибами и ягодами, они выскочили и побежали в тундру. Сначала на четвереньках, потом приподнимаясь на задние лапки, ликуя и перевортываясь.

Все аплодировали, свистели,

улюлюкали. Один из членов «Беллуны» хотел было спустить с поводка борзую собаку, но Маковский строго ему пригрозил.

Распили шампанское. Стрижайло обратился с бокалом к Соне Ки, желая поздравить ее с приращением ее племени. Но увидел, что у девушки глаза полны слез.

— Ну что ж, — подошел к ним Маковский, — надеюсь, вы получили дополнительные впечатления для мюзикла? Теперь мы может лететь на нефтяные поля. Я покажу вам месторождение.

Вертолет вознесся в сияющую пустоту, как легкое пернатое семечко.

В круглых иллюминаторах
колыхнулась огромная, с отпечатком
солнца, Обь. Тундра, разноцветная,
свежая, напоминала чье-то
одухотворенное прекрасное лицо.
Стрижайло держал за грудь Соню
Ки, чувствуя, как восхитительно
наливается она от прикосновений.
Озера внизу были голубые, круглые,
как немигающие восхищенные очи.
Протоки напоминали дуги,
оставленные на земле небесным
циркулем, наполненные дрожащим
сверканием. Стрижайло касался
запястья Сони Ки с нежной голубой
жилкой, слыша, как бьется ее сердце.
Тундра была изумрудно-зеленой,
влажной и сочной. Через мгновение

становилась огненно-красной, дышащей. И тут же — золотой, с черными кружевами. И фиолетовой, с бело-серебряными разводами. Казалось, они летят над картиной Кандинского, которую тот рисовал, сидя на небе рядом с Господом Богом. Стрижайло гладил щиколотку Сони Ки, чувствуя ее маленькую сахарную косточку. Внизу, над голубой водой летели лебеди, ослепительно-белые, с длинными шеями. Горячая ладонь Стрижайло ощутила прохладу, когда под легкой тканью он коснулся колена Сони Ки, и она чуть прижала его пальцы вторым коленом. С черной извилистой речки взлетели утки,

оставив на воде серебряные борозды, мчались, как тени, пропадая среди многоцветья земли. Горячей ладони Стрижайло стало еще прохладней, когда он гладил чудесное выпуклое бедро Сони Ки, которое странным образом, — своей волнующей пластикой, — повторяло форму и пластику плывущей под вертолетом тундры. Стрижайло увидел, как по белесой равнине движется розовая тень, — стадо оленей, испуганное вертолетом, бежало во мхах, шарахнулось и исчезло в дымке. Пробираясь чуткими пальцами туда, где у Сони Ки был круглый, словно чаша, живот, мягкая ложбинка пупка, нежный, как зацветающий мох,

лобок, он вдруг понял, что сидящая рядом с ним лунноликая женщина была богиней тундры. Над ее разноцветными угодьями летел вертолет. Ее лебеди, как нарастаящий снег, сидели на ослепительно-синей воде. Ее розовые олени бежали по мелководью. Ее рыбы косяки мчались в холодных реках, оставляя след ветра. И он, Стрижайло, прикасаясь к ее чудесным, сокровенным местам, исполняет обряд поклонения языческой богини. Переходит к ней в услужение. Становится подобным летящему лебедю, плывущей рыбе, бегущему по тундре оленю.

Он увидел, как на поверхности тундры, среди цветowych абстракций, непредсказуемых узоров и линий, возник упрощенный чертеж дороги, срезанная бульдозером земля, гусеничные следы, отпечатанные на мшистых болотах. Возникла буровая, вагончики, несколько нефтяных «качалок», сосущих подземную гущу. Это напоминало шрам, уродующий прекрасное лицо.

— Это и есть месторождение «Глюкоса»? — изумленно спросил Стрижайло, сквозь гул винтов обращаясь к Маковскому.

— Ну что вы, — снисходительно улыбнулся Маковский. — Здесь ютится карликовая компания

«Зюганнефтегаз». Ее название происходит от фамилии одного коммунистического лидера, который приобрел ее для нужд КПРФ. Но потом за бесценок уступил Директору ФСБ Потрошкову, потому что от Саддама Хуссейна получил великолепную нефтяную скважину в Персидском заливе. Не знаю, что нужно здесь Потрошкову. От этого месторождения только один убыток. Я не хочу ссориться с ФСБ, поэтому не мешаю их деятельности. Наша компания там, впереди, — он указал в наплывающую даль, где что-то возникало на туманной земле, какой-то огромный, наложенный на тундру оттиск. По мере того, как они

приближались, Стрижайло узнавал этот знак. Как в пустыне Наска только из неба видны циклопические рисунки и знаки, оставленные на плато инопланетянами, так и здесь, в тундре, только с самолета и космического корабля можно было разглядеть этот гигантский, начертанный на земле символ, — зеленый треугольник и заключенный в него рыжий, всевидящий глаз с черным блестящим зрачком. Символ «Глюкоса», как тавро, был оттиснут на земле, указывая на принадлежность этих рек, озер и болот. Маковский прильнул к иллюминатору, нацелил вниз свое яростное ястребиное око, и два глаза,

узнав друг друга, одновременно моргнули.

Они опустились на вертолетной площадке, где их поджидал «джип» и встречала администрация. Инженеры в фирменной форме «Глюкоса» с изящной эмблемой «глаза», приветствовали хозяина, почтительно припадая к руке, как это делают прихожане, встретив любимого батюшку. Отпустив благословение, Маковский сказал, что доволен производительностью, обещал вознаграждение и заметил, что ему не нужен водитель, — он сам сядет за руль «джипа», покажет московскому гостю месторождение. Стрижайло, между тем, разглядывал

вахтенный поселок, напоминавший своей геометрией, радостно-яркими расцветками «кубик-рубик», где отдельные элементы могли меняться местами, оставаясь частью единой строгой конструкции. Здесь были жилые модули, похожие на дорогие и удобные кемпинги. Спортивный зал и бассейн. Ресторан и ночной клуб. А также небольшой сад с тропическими фруктовыми деревьями, и цветущими магнолиями. Редкие обитатели напоминали своим видом не измученных рабочих, а курортников Таиланда и острова Бали. Поселок, как и «Город счастья», был накрыт невидимым электромагнитным

куполом, заслонявшим поселение от арктических холодов. Увидев восхищение на лице Стрижайло, Маковский произнес:

— Когда здесь побывал Виктор Степанович Черномырдин, он сказал: «Здесь, бляха-муха, что работать, что ебаться — один апельсин. Они думают, мы здесь нефть добываем, а мы здесь плоды манго на хуй насаживаем». Итак, господа, прошу в машину, — с этими словами он аппетитно плюхнулся упругим задом в мягкое кресло «джипа».

Прекрасная бетонная трасса, безлюдная и прямая, не нарушала первозданной тундры. Лишь

подчеркивала необузданность дикой природы, окруженная пламенеющим кипреем, огненно-алым багульником, синими и золотыми цветами, чья красота была сотворена не для глаз человека, а для услаждения божественного взора. Стрижайло увидел, как из земли, — из цветов и низкорослых кустарников, — возникла труба, темная, небольшого диаметра, с чашечкой стеклянного прибора, в которой скрывался циферблат и красная стрелка. Они казались частью природы, напоминали стебель с хрустальным цветком. Труба тянулась вдоль трассы и скоро соединилась с другой трубой, более крупной. Ее стебель

вырастал из земли, окруженный чашечками застекленных циферблатов. Обе трубы срослись, словно растения, тонкое и потолще, с поблескивающими соцветиями. Третья труба, крупнее прежних, подымалась из небольшого голубого озера, окруженного цветущей осокой, вся в стеклянных чашечках, в каждой из которых трепетала красная стрелка. Зеркальная гладь вокруг трубы содрогалась мельчайшей рябью, как если бы в воду упало насекомое и теребило поверхность лапками. Машина мчалась по трассе, и вокруг, — из осоки и рыжих мхов, из цветущих болот и чистых озер, из медлительных темных речек и

зеркальных проток, — вырастали трубы, все толще, мощней, усыпанные соцветиями и плодами приборов. Сплетались, сливались, поднимались все выше, стремились все в одну сторону, где над порослью карликовых берез, над цветущими хлябями и волнистыми голубыми далями уходили в небо громадные туманные трубы. Свивались в тугие петли, выписывали в небесах мощные вензеля и иероглифы, огромно и туманно исчезали в солнечном блеске, в облаках, в белесой дымке северных небес. Трубы были живые, создавали вибрацию неба, были окружены туманными испарениями,

размытыми радугами.

— «Матка мира», — произнес Маковский. — Центр нефтяной либеральной империи. Пуповина, соединяющая Россию с земной цивилизацией. Об этом вы напишите в своем докладе: «Я видел центр мира. Осязал сокровенную «матку империи»».

Он остановил «джип» у подножия трубы, выпустил спутников из машины. Зрелище было столь впечатляюще, что Стрижайло, запрокидывая голову, следя глазами за черным хоботом, пропадавшим в небесах, оставил в покое грудь Сони Ки, позволив ей привести в порядок свой слегка нарушенный туалет.

— Русская идея — это нефть. Нефть — это свобода. Так русская идея, которую обычно противопоставляют либерализму, сопряжена с идеей свободы. Я осознал это теоретически, воплотил на практике, и теперь являюсь «либеральным императором», носителем русского нефтяного глобализма — Маковский приблизился к трубе, коснулся ее черного кожуха, и, казалось, мощь невидимых, гудящих в трубе потоков передалась ему. Он увеличился в размерах, набряк литой силой, укрупнился во всех своих мускулах, одухотворился лицом. Множество окружающих трубу циферблатов,

гирлянды стеклянных манометров,
пульсирующие индикаторы
задрожали, будто этим
прикосновением трубопроводы
повысили давление и пропускную
способность, ускорили бурлящий бег
нефти. — Отсюда трубы уходят во
все части света. Питают
цивилизации Европы, Китая,
Японии, насыщают неутолимую
нефтяную жажду Америки. Я могу
слегка перекрыть трубу, и исчезнет
вся автомобильная индустрия
Японии. Небоскребы Шанхая
обесточат и превратятся в мертвые
башни. Силиконовая долина в
Калифорнии примет вид умирающей
вологодской деревни. А в странах

Евросоюза начнутся массовые выступления трудящихся, замерзающих в своих фешенебельных коттеджах, — Маковский обнял трубу, прижался к ней грудью, на глазах вырос в три человеческих роста. Посмуглел кожей, стал бронзовым и литым, как памятник, пугая Стрижайло дрожью могучих мышц, яростным рыжим пламенем громадного ястребиного ока. — Нефть имеет космическое происхождение, ее цвет — абсолютная чернота первозданного Космоса. Свобода имеет космический смысл. Спектральная, разноцветная на своей периферии, свобода абсолютно черна в своей

непостижимой глубине. Вот почему нефтяная пленка переливается всеми цветами радуги. Бог сделал человека из нефти и сделал его свободным. Адам был негром, и первые поколения земных людей были черными. Бог был негром, и форма моих негроидных губ доказывает мое божественное происхождение, — он поцеловал трубу своими вывернутыми негроидными губами, словно пил из нефтепровода живительную прану, превращавшую его в великана. Огромный, под небеса, стоял среди труб, сжимая их громадными кулаками. Вязал из них узлы, выгибал фантастические петли, перекидывал из стороны в сторону,

бросая гудящую черную плоть в сторону туманного севера, другую на юг, где таинственно волновались холмы, третью в небеса, где призрачно вспыхивали бледные радуги, словно труба уходила в Космос и там питала другие миры и планеты. — Не все сохранили в себе божественную негроидную первобытность. Не все восприняли идею свободы, как абсолютную тьму. Не все поняли либеральную мистику «Черного квадрата» Малевича и сакральное содержание имени «Черномырдин». Многие утратили в душе бездонность черного Космоса, побелели настолько, что превратились в духовных альбиносов,

обременяющих землю своим
рабским сознанием и своей
неодухотворенной плотью. Их
отпадение от Бога Свободы, от
Абсолюта Тьмы необратимо, и они
должны быть пущены на
переработку, превращены в
первозданную нефть, чтобы Бог
предпринял вторую попытку создать
из них людей. Моя либеральная
империя — громадная фабрика по
переработке несостоявшегося
человечества, из которого выделяется
та его часть, что достойна
свободы. — Маковский вырос до
исполинских размеров. Его ноги
были столь высоки, что между колен
плыли легкие облака и летел табун

лебедей. Голова зияла в Космосе, как черное светило. Она закрыла собою солнце, превратив его в черное пятно, вокруг которого пылали острые малиновые протуберанцы, как во время полного затмения. Он перебирал трубы, словно струны гигантской арфы, извлекая громовые раскаты, рокочущие гулы, разрывавшие барабанные перепонки, и Стрижайло в этой циклопической музыке с трудом различал мистический мотив: «Черный ворон, что ты вьешься...» — Президент Ва-Ва — жалкий, ничтожный лилипут. Как-то я выкупил для него из Третьяковской галереи «Черный квадрат» Малевича, но он вернул

картину в музей, заявив, что предпочитает работы художника Шилова. Все нынешние политики, от Президента Ва-Ва до Дышлова, любят Шилова и ненавидят свободу. Президент Ва-Ва кощунственно имитирует идею империи и в узком кругу называет меня «жидом». Грозит отобрать у меня нефть. Но это просто смешно. Он думает, что посягает на олигарха, но посягает на Человеко-Бога, который неодолим, как неодолим Космос, неодолима прана черной космической нефти. — Маковский стал неотличим от гигантских труб. Слово его ноги вырастали из глубин планеты, сквозь тулово мчался нефтяной поток,

раскинутые руки уходили за океаны, и на их, как чаши весов, качались континенты. Голова погружалась в открытый Космос, и вокруг нее летели метеоры, проносились хвостатые кометы, бесчисленными бриллиантами горели миры и галактики. Он был громаден и неодолим, прекрасен и грозен черным ликом, с вьющимися до плечей волосами, в алмазной короне, как изображают Князя Мира. Держал в руках «Черный квадрат» Малевича, на котором, как на грифельной доске, пылающими буквами, на древнем языке было начертано: «Я — Князь Мира, и имя мое запечатано в глубине земли, и имя мое —

«Свобода», и имя мое — «Нефть», и цена за баррель превышает цену всего, что имели прежние земные цари и владыки».

Стрижайло испытал мистический ужас, как от встречи с Царем Преисподней. Был готов пасть ниц, целовать основание черных ног, вокруг которых трепетал нежный розовый кипрей и летала невесомая бабочка-тундрянка. Но сквозь немощь парализованного сознания, желание раболепствовать, подчиниться без остатка, стать рабом и прахом, — сквозь накрывающий его вечный мрак, возникла каверзная мысль, — что если ткнуть шильцем в кожух черной трубы, увидеть, как

жирным фонтанчиком захлещет нефть. Станет утекать из громадного тела, и оно начнет уменьшаться, морщиться. Упадет с небес ворохом мятого рубероида, пропитанного вонючим гудроном.

Словно почуяв угрозу, Маковский снизился на землю. Недоверчиво смотрел на Стрижайло своим рыжим немеркнувшим оком.

— Пожалуйста, используйте мои мысли в докладе, — сухо произнес Маковский. — Сейчас мы вернемся в вахтенный поселок. Я полечу на вертолете осматривать другие месторождения. А госпожа Соня Ки доставит вас на катере в «Город Счастья». Надеюсь, вам не повредит

прогулка по Оби.

глава четырнадцатая

Они плыли по Оби на великолепном прогулочном катере. За штурвалом стояла Соня Ки, прекрасная, с луновидным лицом, смоляными волосами, которые, как сорочье крыло, отсвечивали лазурью и изумрудом. Стрижайло чувствовал, как студеный ветер тундры давит ему на грудь, румянит щеки. Громадная река раскрывала необъятные дали с голубыми холмами, белыми отмелями, далекими кольцами серебра, из которых на мгновение выскакивала рыба голова, взидала на него, пришельца из дальних стран, и вновь погружалась в поток, где

неслись несметные стада осетров. Холодная роса сыпалась ему на лицо. Шумная белая рытвина тянулась за катером. Испуганные утки ошалело неслись, планировали на косых крыльях, подымали пенные буруны.

Стрижайло казалось, что кто-то зовет его из туманных разливов, выкликают из голубых холмов. Соня Ки слышала этот беззвучный зов, мчалась, стараясь успеть, перескакивала через водяные ямы на белом стремительном катере.

Стрижайло заметил, как вдали, на плоской зелени берега, возникли белесые треугольнички, темные полосы, соединяющие воду с сушей. Соня направила к ним катер, и

Стрижайло, по мере приближения, разглядел несколько островерхих чумов и черных лодок. Стойбище аборигенов, первобытное и восхитительное в своей наивной простоте, было разбито на речном берегу. Из него, безлюдного и недвижимого, несясь безмолвный зов. На этот зов устремлялся катер, мягко ударил носом в песчаную косу.

— Когда-то здесь жило много рыбаков и охотников, — произнесла Соня Ки, ступая на песок. — Теперь здесь остался только один шаман, — мой отец. Он умирает. Позвал меня и тебя, чтобы сообщить священную тайну.

Чумы были обтянуты оленьими

шкурами, из которых торчали высокие жерди, на вершине сквозили отверстия для дыма. Но дыма не было, очаги в жилищах не топились, и не было слышно плача детей, кашля стариков, вопля ссорящихся женщин и ругающихся мужчин. Лодки у воды лежали на боках, покрытые мхом, в дыры прорасти карликовые березки. Тут же на перекладинах для вяленья рыба болталось несколько усохших рыбьих голов и кривых скелетов, исклеванных дикими птицами. Воздетый на шест, с пустыми глазищами, долгоносый олений череп скалил желтые зубы. Все говорило о смерти, о забвении, об

исходе народа, который вместе со своими нартами, охотничьими снастями и амулетами ушел в небеса к туманному негаснущему солнцу.

— Вот чум отца. Он ждет нас, — Соня Ки указала на самый высокий чум, обтянутый серебристыми шкурами, на которых виднелись изображения дикого ворона, весла, остроги, глазастой рыбы и ветвистых оленьих рогов, — знаки волшебства и могущества, отмечавшие жилище шамана. Соня откинула полог, пропуская Стрижайло внутрь.

В чуме было сумрачно, сыро. Из отверстия в потолке падал сноп света, освещая каменный

закопченный очаг, висящий над ним железный таган, разбросанные по полу меховые куртки, кожаные, домашней работы, опорки, нехитрую утварь. На груди шкур, на спине, лежал хозяин чума, сморщенный коричневый старик, сложив на груди костлявые руки. Его седые волосы были сплетены в тугую косичку, на которой висел костяной амулет, а глаза, накрытые желтыми складчатыми веками, чуть приоткрылись, взглянув на вошедших. Над лежащим, прикрепленная к стенке, виднелась тушка полярной совы, висели большой кожаный бубен и маска из долбленого дерева, раскрашенная

цветной глиной, отороченная перьями диких птиц, с оскаленными зубами росوماхи. У изголовья стояло ведро с водой, и лежала глиняная, набитая зельем трубка. Это и был шаман, отец Сони Ки, чьи безмолвные заклинания слышал Стрижайло посреди широкой реки, торопился на встречу.

— Я ждал тебя. Просил духов не забирать меня в Долину Мертвых Рыб, пока ни увижу тебя и ни открою тайну черного молока. Тогда ты поднесешь к моей трубке Огонь Вечных Снов, я выкурю последнюю Трубку Жизни и уйду в Долину Мертвых Рыб...

Старик говорил чуть слышно, но

властно. Стрижайло словно оцепенел от тихого колдовского голоса, который управлял его волей, вызвал к себе из далекого огромного города, пронес на самолете Б-29 над Сибирью и таинственным магнетизмом притянул к песчаному берегу скоростной катер.

Соня Ки, между тем, совлекла с себя одежду менеджера нефтяной компании. Мелькнула обнаженным телом в снопе лучей. Набросила на плечи пушистую шкурку молодого оленя, не закрывавшую ей грудь. Схватила сухое крыло полярной куропатки и стала скакать по чуму, махая перьями, отгоняя от отцовского ложа столпившихся духов,

которые желали увести старика в Долину Мертвых Рыб. Вытесняла духов вверх, к отверстию в чуме, для чего подпрыгивала, взмахивая крылом куропатки, волнуя свои круглые груди.

— Мы жили здесь на берегах Большой Реки многочисленным и счастливым народом. У нас было столько оленей, сколько на небе звезд. Мы ели мясо и рыбу, и у наших женщин волосы блестели, как утренний лед, когда они мазали головы рыбьим жиром. А у наших мужчин была детородная сила, как у самцов оленя, когда они насыщались мясом и затворялись в чумах со своими женами, которые на ложе

любви кричали так громко, что им в ответ из тундры начинали выть волки. В трех днях пути стойбища было озеро Серульпо, что значит «Глаз большого оленя». Из этого озера текло черное молоко, которым можно было мазать лодки, чтобы в них не проникала вода, пропитывать стены чума, чтобы их не пробивал дождь, мазать раны, чтобы их не разъедали слепни и мухи. Из «черного молока» мы делали напиток, подогревая его в котле, пока он не превращался в голубой огонь. Мы глотали этот огонь, от которого наши глаза становились огромными и зоркими, как у Предводителя Сов. Мы видели из тундры большое

стойбище, из которого ты к нам явился, и вашего главного шамана, который залезал на вершину каменного чума с надписью «Ленин» и махал нам оттуда рукой. Раз в году, во время долгой ночи, черного молока на озере становилось так много, что оно загоралось, и тогда над тундрой стоял огонь до неба, вокруг начинал таять снег, зацветал ягель, просыпались лягушки, и на их кваканье прилетали журавли. Я любил приезжать на нартах к большому огню, смотреть издалека, как горит черное молоко в озере Серульпо, сушил на этом огне свои промокшие пимы и просил у духов благополучия для моего народа...

Стрижайло внимал рассказу, который звучал, как расшифрованная руна, как раскрытый звериный орнамент на бивне мамонта, как разгаданные значки на берестяном свитке. Соня Ки, оберегая их беседу, отгоняла духов, для чего накинута на плечи покрывало из перьев синей сойки и зеленого весеннего селезня. Летала по чуму, издавая птичьи крики, отвлекая духов своими белыми ягодицами. Делала вид, что садится на гнездо и высиживает яйца. Начинала бегать по чуму, прихрамывая, изображая раненную птицу, отвлекая духов от немощного отца.

— Однажды к нам, на берег

Большой Реки явились белые люди из вашего стойбища. Сказали, что ищут черное молоко, которое очень любят пить их железные олени и медные собаки, имеющие вместо ног быстрые колеса. А также железные птицы, у которых на крыльях сидят большие жужжащие слепни. Я не рассказывал им про озеро Серульпо, где черного молока так много, что оно само превращается в голубой огонь, от которого волки и росوماхи ходят на задних лапах по тундре и кричат, как глупые сороки. Белые люди не причиняли нам зла. Мы дарили им мясо и рыбу, а они в благодарность за это ебли наших женщин. От белых людей, которые

ночевали в моем чуме и называли себя «геологи», родились три моих сына и любимая дочь Соня Ки. Сейчас она выгнала из чума почти всех духов, кроме одного, который прикинулся алюминиевым чайником и ждет момента, чтобы увезти меня в Долину Мертвых Рыб. Еще белые люди научили нас играть в бильярд костяными шарами и выигрывали у нас много горностаевых, песцовых и куных шкур...

Стрижайло был заморожен повествованием, сладко-певучим, как «Гайавата», и туманно-заунывым, как «Калевала». Соня Ки услышала предупреждение отца, выкинула из чума чайник, который превратился в

испуганную собаку и с поднятым заливком умчался в тундру. Она сбросила оперенье птиц, надела на лицо деревянную, расписанную глиной маску с зубами россомахи и стала по-кошачьи изгибаться, выставляя белые ягодицы с нежным пучком цветущего мха. Издавала мяукающие вопли, от которых духи отпрянули от чума и сидели поодаль, прикинувшись, — кто скребком для очистки шкур, кто деревянным веслом, кто легкими нартами, кто старым бильярдным столом, где сукно склевали береговые вороны, падкие до азартных игр.

— Однажды в мой чум вошел белый человек, имя которого было —

Потрошков, что на нашем языке означает «Желудок нерпы». Он был добрый, красивый, его подбородок был, как кусок льда, в котором всеми цветами радуги переливается низкое солнце тундры. Он принес нам подарки, — календарь, который предсказывал затмение луны, приход весны, созревание ягеля и указывал время, когда спариваются олени, идет на нерест муксун, а с наших женщин сходит дурная кровь, после чего они садятся на снег, оставляют красные отпечатки, которые слизывают ездовые собаки, чтобы женскую кровь не украл злой дух. Он подарил нам биллиардный стол, покрытый зеленой кожей

неизвестного зверя, и выкатил множество белых шаров, выточенных из бивня мамонта. Мы играли в бильярд столько раз, сколько раз солнце касалось синих гор, а в промежутках глотали голубой огонь и смеялись так громко, что олени на ближних пастбищах, не выносящие смех человека, откочевали к озеру Серульпо. «Желудок нерпы», покуривая со мной глиняную «Трубку удачи», рассказал, что скоро на землю придет великий шаман и правитель, который не будет иметь ни рук, ни ног, а предстанет в форме большого белого шара, от которого всем людям станет хорошо и тепло. Этот белый шар, Шаман Солнца,

принесет в тундру добро. Построит много биллиардных, будет лечить наших женщин от бесплодия, пришлет по реке большую лодку с красивыми бусами, амулетами, и бубнами такой громкости, что их будет слышно на луне и в Долине мертвых рыб. Он сказал, что приход на землю белого шара задерживается из-за нехватки черного молока, которым надо напоить много железных собак, оленей и птиц, и тогда они на серебряных нартах привезут белый шар в тундру.

Он уехал в свое далекое стойбище, обещая снова вернуться. Мне так понравился рассказ о Шамане Солнца, имеющего вид

белого шара, что я решил открыть «Желудку нерпы» тайну озера Серульпо. Я взял кожу молодого оленя, очистил ее от меха и жира. Просушил на огне, так что она стала прозрачной, как рыбий пузырь. Медвежьей кровью нарисовал план озера Серульпо, ведущие к нему тропы и реки и передал это озеро в дар «Желудку нерпы», поставив внизу мою подпись в виде двух неполных лун, посаженных на острогу. Стал ждать возвращения «Желудка нерпы», чтобы передать ему в дар озеро Серульпо...

Было видно, что старик ужасно устал. Губы его едва шевелились. Веки наплывали на глаза, как два

камня, и он с трудом отодвигал их, чтобы видеть Стрижайло. Духи, чувствуя слабость шамана, осмелели и сошлись к его изголовью. Один играл костяным амулетом, другой пробовал расплести седую косичку, третий закопченным пером наносил на его лицо тени смерти. Соня Ки сорвала со стены кожаный бубен, принялась прыгать, бить ладонью, локтем, коленом, пяткой, головой, ударять бубном в свои ягодицы, живот, извлекая из тугой кожи множество грохочущих звуков, в которых чудился напев: «Увезу тебя я в тундру...». Духи, издавна любившие этот знаменитый советский шлягер, оставили старика

в покое, подняли свои песьи морды и тихонько стали подпевать голосами Лещенко и Кобзона.

— Когда сошли снега, и вскрылась Большая Река, и Соня впервые отдала молодой траве свою дурную кровь, я стал поджидать возвращения «Желудка нерпы». Играл сам с собой в бильярд, любовался на белые шары и думал, что выкопаю из потаенного места бивень мамонта, выточу из него большой билиардный шар, похожий на Шамана Солнца, буду толкать его кием, и наши женщины станут прикасаться к нему животами и беременеть, как молодые самки оленя.

Но вместо «Желудка нерпы» приехал другой белый человек, которого звали Маковский, что в переводе на наш язык означает «Черный квадрат». Он заночевал в моем чуме, взял себе под оленью шкуру Соню Ки, и бедняжка наутро едва могла поднять весло, чтобы осмотреть расставленные в реке сети. Он предложил мне выкурить большую стеклянную трубку, наполненную водой и черным порошком, изготовляемым из цветка по имени «мак», отчего и сам он звался «Маковский». От этого дыма голова становилась просторной, как тундра, земля выгибалась вверх, как высокая гора, а между двух ног

вырастала третья нога, все пальцы которой были сжаты в огромный фиолетовый кулак. Я махал этой третьей ногой с высокой горы, посылая приветы всем другим стойбищам и народом, и моя третья нога была такой большой, что на ней умещалось сто оленей и двести ездовых собак. Я так пристрастился к порошку по имени «мак», что, вымаливая его у «Черного квадрата». Взамен рассказал ему тайну озера Серульпо. На прозрачной шкуре молодого оленя медвежьей кровью нарисовал план озера, тропы и реки и передал ему запасы черного молока на вечные времена, скрепив моей подписью в виде двух горностаев,

попавших в одну петлю. Первую шкуру, предназначенную для «Желудка нерпы» я спрятал и никому не показывал...

Стрижайло зачарованно слушал. Перед ним разворачивался эпос, величественная космогония, где явления обыденной жизни превращались в символы мироздания. Сталкивались космические силы, встречались добро и зло, схватывались свет и тьма. Маковский, о котором ходили слухи, что первичный капитал был создан им с помощью наркоторговли, странным образом становился «Черным квадратом», а тот, в свою очередь, символизировал полярную

ночь. Потрошков, который по словам Верхарна, был занят выведением шарообразного человека, то есть «белого шара», ассоциировался с полярным днем. Таким образом, выстраивался космогонический дуализм, теодицея добра и зла, единство непроглядного мрака и негасимого света.

Соня Ки, как и в ночь потери девственности, махала деревянным веслом, но теперь в ее взмахх была сила и страсть созревшей женщины. Она отгоняла еловой лопастью сонмы духов, спускала их вниз по течению, давая возможность отцу досказать свой северный миф.

— Когда порошок «мак»,

данный мне «Черным квадратом» кончился, и голова моя уменьшилась до размера глиняного горшка, а третья нога отсохла, и вместо нее болтался сморщенный гриб-поганка, я понял, какое горе я принес моему стойбищу и моему народу. «Черный квадрат» пригнал на наши земли множество железных собак, волков, медведей, оленей, птиц с гудящими слепнями и стрекозами. Он прогнал нас с оленьих пастбищ, завладел нашими угодьями, осушил озеро Серульпо и вырастил на его месте огромные черные деревья, которые питались черным молоком и становились все выше и выше. Он разрушил наше стойбище, разломал

бильярд, увез в плен наш
свободолюбивый народ, который
почти весь вымер вдали от родимых
мохов и лишайников, лишь некоторые
сумели в неволе продолжить свой
род. Он построил на месте нашего
стойбища огромные стеклянные
чумы, где горели разноцветные
солнца и били волшебные бубны, под
звуки которых белые люди танцевали
ночи и дни. Рожденных в плену
наших детей они оковывали
волшебными кольцами, которые
лишали их воли, делали покорными и
бессильными. Они разучились пасти
оленей, охотиться и добывать рыбу.
Приходили из тундры к стеклянным
чумам, вымаливая объедки у белых

людей. Трех моих сыновей «Черный квадрат» взял в свое стойбище, поставил шаманами в услужении духов, которые запрещают ношение амулетов, колдовство на звериной крови, полет верхом на весле при свете синей луны. Мою любимую дочь Соню Ки он отправил в страну, где чумы уходят за облака и половина людей белого, а половина черного цвета, у одних лосиные головы, а у других собачьи хвосты, и все они говорят на языке злых духов, несущих людям беду. И вот я умираю на берегу Большой Реки, и плачу от мысли, что сгубил мой народ, и в Долине Мертвых Рыб никто не назовет меня шаманом...

Стрижайло упивался красотой первобытного повествования, ужасался безднам, которые раскрывал ему старик, исповедующий культ живой и мертвой природы. Но помимо восхищения и трепета у него возникало предчувствие, что старый шаман передает ему свое нечеловеческое знание, вкладывает ему в руки инструмент, которым станет пользоваться среди опасных хитросплетений политики, как шаман управлялся с бубном, острой и веслом среди первозданной природы.

Соня Ки, израсходовав остаток сил, прибегла к последнему

средству, — набрала в рот настой из мухоморов, веточек вереска и волчьей ягоды, брызгала на духов, которые недовольно чихали, терли лисьи глаза и носы мохнатыми лапками, позволяя старику завершить свою печальную повесть.

— Я ждал твоего прихода несколько лет. Знаю, что ты обладаешь силой менять ход вещей, повергать сильных и возносить слабых, ибо в тебе поселились духи из подземного чума, сообщают тебе знание и могущество. Ты должен совершить благодеяние моему народу, за что получишь благодарность от моей дочери Сони Ки. Вот тебе оленья шкура, где я завещал озеро

Серульпо белому человеку по имени «Желудок нерпы». Отнеси его в свое стойбище и передай истинному владельцу. Пусть отнимет у «Черного квадрата» обманом захваченные земли. Вернет на них наш народ, построит для него множество биллиардных, и каждому вновь рожденному подарит амулет в виде утки, оленя, муксуна, сделанный из волшебной смолы, именуемой «целлулоид», — с этими словами старик вытянул из-под головы свернутую оленью шкуру, желтую, как пергамент, на которой были начертаны письма и красовались две неполных луны, пронзенные острогой. — Теперь я выполнил мой

долг. Выкурю последнюю трубку жизни. Дочь, поднеси мне Огонь Вечных Снов.

Соня Ки несколько раз ударила один о другой два речных камня. Искры посыпались на клочок сухого мха. Затеплился огонек. Соня на ладони поднесла фитилек отцу, и тот закурил от тлеющего огонька глиняную трубку с пахучим зельем. Лежал на шкурах, вдыхая дурман прожитой жизни, который струйками зеленоватого дыма утекал вверх, туманил отверстие в потолке.

Погасла трубка, погасла жизнь старика. Шаман лежал недвижим. Духи гладили его цепкими лапками, проверяли пульс на запястье и шее,

заворачивали в оленьи шкуры.

Стрижайло и Соня Ки вынесли легкое тело из чума и понесли к берегу, где на отмели качалась лодка, выстланная мхом, украшенная звериными хвостами и птичьими перьями. Уложили шамана на шкуры, на душистые травы, на ветки карликовых берез. Не забыли снабдить в дорогу накуренной, прокопченной трубкой, ломтем оленьего мяса, вяленой рыбой. Оттолкнули лодку, и она мягко поплыла по течению, и было видно, как возвышается над бортами худое лицо старика, его сложенные костлявые руки. Плеснула рыба, с криком пролетела гагара. Лодка

удалялась в сияющий разлив, и над ней, едва ощутимые, летели духи, увлекая челн с шаманом в Долину Мертвых Рыб, — сумрачную неподвижную заводь, где белыми брюхами вверх лежали мертвые муксуны, осетры и белуги. И старый шаман, достигнув безмолвного омута, пойдет над мертвыми рыбами, не касаясь воды.

Стрижайло не мог скрыть волнения. Его взволновала не эпическая кончина старика, а рулон пергамента с неполными лунами, насаженными на острогу. Это было смертельное оружие, направленное в сердце Маковского. Возмездие,

которое искупит мгновения
раболепного страха и жалкого
безволия, когда он, Стрижайло,
словно карлик, задирает голову туда,
где выше облаков и гусиных стай,
ужасное, будто «черная дыра»
Вселенной, зияло лицо магната,
рокотал громоподобный голос,
выкликая полные ненасытной
гордыни слова о Человеко-Бог.
Кожаный свиток, который
Стрижайло передаст «Желудку
нерпы», поразит в самую сердцевину
«Черный квадрат», и тот побелеет,
как альбинос.

Так думал Стрижайло, провожая
в разлив усопшего шамана. Между
тем, Соня Ки готовилась исполнить

последнюю просьбу отца и вознаградить Стрижайло. Сбросила с плечей обрывок рыболовной сети и предстала во всей упоительной белизне, состоящая из млечных окружностей, словно несколько лун, больших и малых, подплыли одна к другой, создав подобье женщины. Большая луна лица. Две груди, словно млечные луны, в легкой розовой дымке. Окруженный лунным свечением круглый живот. Маленькие, круглые, с золотистым отливом, луны колен. Она взяла Стрижайло за руку, потянула его на холм, поросший сочными травами.

— Быстрее, — торопила она, помогая ему избавиться от излишних

рубашки и брюк. — Сделай мне лунное затмение.

Он упал на нее, и это напоминало высадку американца Армстронга на Луну. Погрузился в мягкий лунный грунт и начал совершать большие скачки, как если бы и впрямь на него воздействовало не земное, а лунное притяжение. Иногда он взлетал столь высоко, что она обхватывала его ногами, не давая улететь, вдавливала в поясницу пятки с такой силой, что у него перехватывало дыхание. Он проводил исследование загадочного спутника земли со всей тщательностью и упорством астронавта, — направлял свой щуп в глубокий кратер, брал

пробы в толще и на поверхности, подробнейшим образом исследовал Море Дождей, которое с земли казалось силуэтом лошади, запряженной в телегу, а на деле было пленительным, трепещущим животом с темным углублением пупка.

Луна лица кусала его. Луны грудей брызгали млечной влагой. Большая луна живота погружала его в дышащую мякоть, и он был готов превратиться в тень на сверкающей белизне, чтобы астрономы с изумлением разглядывали его в телескоп. Луны колен больно сжимали бока, и он не знал, какой из лун отдать предпочтение, в какую

вонзить заостренный флагшток со звездно-полосатым флагом.

Неожиданно Соня Ки сбросила его с себя, повернулась спиной, упираясь локтями и коленями в землю. Он увидел ее спину и ягодницы, сплошь покрытые отпечатками трав, на которых она только что возлежала. Их обилие, утонченный рисунок восхитили его. Это напоминало гербарий, возвращало в детство, когда, любознательный и усердный, он собирал по заданию любимой учительницы свою первую коллекцию. Отпечатки на лопатках и ягодницах Сони Ки умиляли его. Он не давал им померкнуть, делал все, что

было в его силах, дабы узоры и линии оставались рельефными, не погасли на розово-белой спине.

Здесь были изящные отпечатки осоки и ее цветущих метелок. Резной и прелестный папоротник с мохнатой нераспустившейся почкой. Мелкие и твердые листья брусники с завязями ягод. Крохотные листики карликовой березы и ее робкие веточки. Береза покрупнее, чьи изогнутые ветви и наивные свисающие сережки выдавали вид «плакучего» дерева. Были отпечатки хвойных растений. Можжевельника с пушистыми иглами. Елки с высоким прямым стволом и раскидистыми лапами, которые отпечатались

вместе с сидящей белкой и проворной сойкой. Огромная раскидистая сосна оттиснула свою пышную хвою вместе с гнездом полярной совы, из которого выглядывала глазастая недоверчивая птица с мохнатыми ушами и загнутым клювом. Здесь были представлены лиственные деревья, — липа, ясень и клен вместе дятлами и маленьким медвежонком, залезшим полакомиться молодыми побегами. Орешник отпечатался вместе с сохатым, который силился дотянуться до зеленых орехов. Дуб оттиснулся вместе с выводком кабанов, падких до желудей. Особенно эффектно выглядел

отпечаток финиковой пальмы и стаяй макак, решивших, не дожидаясь созревания, совершить налет на лакомые плоды. Банановые листья оставили на спине изысканный орнамент своих жилок, а гроздь бананов отпечаталась так, что их хотелось съесть, прямо здесь, на спине Сони Ки. Особенно поразил Стрижайло отпечаток африканского баобаба с могучим стволом и громадной кроной, на которой гнездилась колония птиц Марабу, и под которой отдыхало стадо утомленных слонов. Он занимался любовью с Соней Ки, а ему казалось, что продирается сквозь джунгли, как экспедиция Ливингстона, рассекая

отточенной сталью сплетения лиан и кустарников.

— Соня, может быть, хватит? — робко взмолился Стрижайло, всматриваясь в отпечаток гималайского эдельвейса, растущего на высоте трех тысяч метров выше уровня моря. — Может, на этом закончим?

Она оглянулась на него луновидным лицом с черными дугами бровей, под которыми пылали страстью черные глаза колдуньи. Глаза округлились, наполнялись желтизной, брызнули зелеными искрами. Вся она покрылась мелкой блестящей шерстью, серебристой, с серыми пятнами. Спина гибко

изогнулась, из нее вырос длинный
пушистый хвост, ударив Стрижайло
по губам. Соня Ки превратилась в
росомаху, издала мяукающий
истощный вопль, впилась
когтистыми лапами в землю,
изнемогая от неутолимой похоти.
Стрижайло почувствовал звериный
приток ярости, вонзился в нее, хотя
мешал изгибающийся хвост, которым
она колотила его по бокам. Он сам
превратился в урчащего, жутко
хрипящего кота, покрытого шерстью,
усатого, с зелеными зрачками.
Вцепился в близкий загривок
мокрыми клыками, драл когтями, а
она гибко скакала, мчала его на себе
по тундру, по цветущему багульнику,

алому кипрею, перескакивая ручьи, переплывая озера, а он рвал ее когтями, вонзался в нее, стараясь изнутри достать ее жаркую ревущую пасть с вываленным языком.

Внезапно она увеличилась, поднялась на высоких тонких ногах. Ее мех стал стеклянным, в розоватых пятнах. Змеевидный хвост сменился трепещущим пушистым отростком. Повернула к нему длинную шею, на которой жарко дышала голова молодой оленихи, пламенели восхищенные лиловые глаза, на нежных больших губах вздувался перламутровый пузырь. Он сам превратился в пятнистого оленя, неистового самца. Вставал на задних

ногах и сверху рушился на ее нежную спину, ударял, что есть мочи копытами. Вторгался своей твердой бушующей плотью туда, где в жаркой темноте дышало неоплодотворенное чрево, желая наполниться плодоносным бурлящим семенем. Они ревели, оглашали тундру любовными трубами. Ходили ходуном, разбрасывая копытами ягель. Он норовил ударить ее более отроостками великолепных рогов. Она прогибалась под его тяжестью и восхищенно редела.

Внезапно она сбросила мех и вся покрылась пышными перьями, мучнисто-белыми, с темной рябью. Раскрыла огромные крылья, из-за

которых обернулась голова полярной совы с золотым немигающим взглядом. Они сшибались в воздухе, он — самец неистовой северной птицы с желтым клювом, растопыренными когтями, бил ее тугими ударами, сшибал к земле, сипел растворенным клювом, в котором дергался заостренный язык. Она пыталась взлететь, подставляла растворенные веером перья, которые ломались от его ударов, тонко, истошно кричала. Упали в мох, среди красной брусники, янтарной морошки. Она растворила упругие крылья, распушила уши, а он впился в нее когтями, добираясь до горячей плоти. Разыскал среди пуха нежное

незащищенное лоно. Старался
попасть, влить драгоценное семя,
издавал торжествующий клекот и
стон.

Внезапно она сбросила перья и
покрылась блестящей ледяной
чешуей, скользкой, сверкающей.
Выскользнула из-под него и с
плеском упала в реку. Мчалась среди
подводных течений, ошалело вращала
яркими, в красных ободках, глазами,
хлюпала жабрами, растворяя алую
мякоть. Била плавниками, извивалась
хвостом. Он гнался за ней, ударяясь
костяной головой о камни,
распарывая о коряги чешуйчатый
бок. Хватал ее жабры костяным
озлобленным ртом. Бил ее плоско

хвостом, отчего жутко и слепо
вращались ее глаза. Чувствовал, как
переполняет ее икра. Розовые
неоплодотворенные сгустки,
заключенные в нежные пленки,
распирали ее белый живот.
Исполненный страстной энергии,
космической мощи, доставшейся из
черных небес и блистающих звезд,
он, как молния, прынул на нее,
ударил могучим телом, впрыснул под
окровавленный плавник жемчужную
струю молоки, окружившей обоих
лунным туманом.

Очнулся. Лежал без сил на
берегу Оби. Соня Ки плескалась в
воде, ополаскивалась, омывала пах и
живот. Упала розовой грудью на воду

и бесшумно поплыла, поднимая стеклянный бурун.

Он не знал, что это было. Не надышался ли зеленоватого дыма из глиняной трубки шамана? Не затмил ли ему глаза Огонь вечных снов? Слабой рукой пошарил вокруг себя. Обессиленные пальцы нащупали оставшуюся на траве шерсть росوماхи, отпечаток оленьего копыта, перо полярной совы, горстку рыбьей чешуи.

Они возвращались на катере в «Город счастья» по величавой Оби, под гаснущим небом тундры, с которого неохотно уходило солнце, раскатывая на горизонте длинную

зарю. В сумерках подплыли к городскому причалу, успев к началу праздника. Стрижайло хотел не пропустить торжества, посвященные «Золотому шаману», чтобы использовать зрелища городских гуляний в мюзикле. Первоначальный замысел мюзикла претерпел существенные изменения. Они были связаны с драгоценным приобретением, — лунным пергаментом, который передал ему умирающий шаман и который, словно спасаемое от врагов знамя, хранился на груди у Стрижайло.

Город был наполнен нарядной толпой, молодой, ожидающей увеселений. Напоминал приморский

парк в Сочи, где под душистыми магнолиями целовались влюбленные, на самшитовых аллеях, среди золотистых фонарей, раздавался женский смех, а из бесчисленных кафе, ресторанчиков, закусочных вкусно пахло дымом, и опытный гурман по этим запахам мог угадать скандинавскую, средиземноморскую, китайскую, африканскую кухни, предлагавшие обитателям города изысканные угощения.

Стрижайло и Соня Ки заглянули в отель, где сменили свои одежды, перепачканные береговой глиной и молокой. В коротенькой юбке и миллом «топике», не закрывавшем живот, Сони Ки казалась

школьницей, которая, робея и волнуясь, идет на свое первое свидание. Стрижайло не мог поверить, что за ней он гнался на совиных крыльях, отыскивая среди плотного пуха чувственную гузку. За ее скользким чешуйчатым телом мчался в холодных потоках, стремясь ударить под розовый воспаленный плавник. Через плечо Сони Ки была переброшена сумка, придававшая еще больше сходства со школьницей. Когда он попытался нежно и деликатно тронуть ее за грудь, она отчужденно сказала:

— Я на работе. В нашей корпорации действует закон о сексуальном домогательстве.

Они вышли в город, когда празднество уже началось. На центральной площади, в свете аметистовых прожекторов, из золотой чаши забил фонтан голубой нефти. Бурлил на своей вершине, подбрасывал стеклянный шар, из которого неслась сладостная песня двух неумолчных бардов Никитиных, деда и внучки. Они пели знаменитую песню: «Когда мы были молодые, фонтаны нефти голубые...», ставшую гимном корпорации «Глюкос». Люди подходили к фонтану, омывали нефтью лицо, брызгали друг на друга, превращаясь в лиловых негров с вывернутыми негроидными губами.

Заработали на всех углах

красочные автоматы, которые выдавали всем желающим цветную сладкую вату. Стоило приложить к автомату вживленный в лоб невидимый чип со штрих-кодом, и автомат выбрасывал пучок сладкой ваты, — ярко-алый, прозрачно-синий, бурно-золотой, травянисто-зеленый. Люди глотали эту невесомую сладость, некоторое время их лица окрашивались в галлюциногенные цвета ваты, напоминали разноцветные светильники, блуждающие по городу.

— Сладкая вата — это кушанье наших богов, которых Маковский превратил в автоматы и поставил на службу корпорации. Каждый, кто ест

цветную вату, некоторое время чувствует себя духом тундры, — произнесла Соня Ки.

Стрижайло был взволнован этими первыми впечатлениями, которые превратятся в мизансцены мюзикла, где непременно, вымазанные нефтью, с клочками цветной ваты в зубах, будут петь барды Никитины, дед и внучка.

По всему городу на открытых площадках выступали «звезды» эстрады, подвязались московские юмористы, разыгрывались аттракционы и шарады.

Внимание Стрижайло привлек веселый аттракцион под девизом: «Больше спорта — больше здоровья».

Разыгрывались призы в нескольких номинациях. В номинации «Пуговица» состязались здоровяки с великолепно работающим кишечно-желудочным трактом, — кто быстрее проглотит пуговицу и выдаст ее вновь «на гора». Поочередно к диск-жокею подходили мужчины и женщины. Быстро заглатывали металлическую пуговицу от мундира российской армии. Двигали губами, мускулами, глазами, всей перистальтикой, проталкивая пуговицу сквозь внутренние лабиринты и полости, пока она, ярко-медная, лучистая, ни выскакивала из растворенных ягодиц, ударяя в деревянную, с кругами

мишень. Диск-жокей с секундомером фиксировал время, точку попадания. Толпа восторженно ревела: «Очко!.. Очко!..». Первое и второе место поделили между собой уже знакомые Стрижайло однополые молодожены. Нацелили свои натренированные ягодицы так ловко, что пуговица попадала прямо в «десятку». Толпа кричала им «Горько!», награждала аплодисментами. Они смущенно целовались, уносили выигранную пуговицу, одну на двоих, чтобы в домашних условиях совершенствовать свое мастерство.

— Этот прием позаимствован у наших шаманов, — сказала Соня Ки. — В любом стойбище шаман

умел таким образом сбить налету пролетавшую гагару или оглушить пробежавшего оленя. Только вместо пуговицы использовался бильярдный шар, выточенный из бивня мамонта.

Стрижайло чувствовал тайную печаль Сони Ки, горевавшей об утраченном величии народа, покоренного безжалостными пришельцами.

Второе состязание в номинации «Сбитые сливки» заключалось в том, что спортсмены, в основном мужчины, должны были сбить молоко в сметану, засунув свои возбужденные «миксеры» в горшок с молоком. Желающих было много,

поначалу все выглядели молодцами, показывали толпе свои могучие вращающиеся инструменты, с которых стекало кипящее молоко, но через полчаса непрерывной работы выдыхались, сникали. Смущенно, под свисты и улюлюканье, покидали площадку, волокли за собой свои измочаленные приспособления. Их место заступали другие. Приз выиграли два друга-бурильщика, прошедшие накануне обряд обрезания. Освободившись от обременительной «крайней плоти», они приобрели дополнительную маневренность и подвижность. После часа «буровых работ», добились, наконец, желаемого

результата. Вытащили из кувшинов свои победоносные инструменты, на каждом из которых красовался белый ком сбитого масла, еще горячий, окутанный паром.

— Мой отец, да будет ему вольготно в Долине Мертвых Рыб, умел сбивать масло прямо в вымени молодых оленях. Оленихам это нравилось. Долго после этого они не подпускали к себе самцов и приходили к чуму отца. — Соня Ки печально взирала на двух поклонников Иеговы, показывающих толпе пронзенные, окутанные паром комки масла. Видимо, жалела, что наивный и доверчивый отец не запатентовал свое изобретение,

«Домино». Совершали рывок, сопровождая его диким криком. Но это ничем не кончалось, гвоздь по-прежнему оставался в доске, иногда чуть погнутый. После чего судья выпрямлял его с помощью кувалды. Триумфа неожиданно добились исполнительница «танца живота», та самая, которую удалось вырвать из рук чеченских террористов. Сохранив от прежнего занятия волю к поступку, наработав в танце скрытые внутри, «хватаяющие» мышцы, она легко выдрала гвоздь. Слегка сжимая бедра и пританцовывая, показывала его зрителям, совершая при этом круговые движение животом и пленительно улыбаясь.

— То, за что вы награждаете своих женщин титулом «олимпийского чемпиона», у нас могла совершить каждая девочка. Когда нужно было вырвать большие кованые гвозди из разошедшейся лодки, нас приглашали на берег Оби и отдавали лодку в наше полное распоряжение. Через час все гвозди лежали отдельной горкой, и все мы, при этом, оставались девственницами. Чего не скажешь о негритянке Ханге, которая потеряла целомудрие еще в утробе матери, — Соня Ки печально отвернулась, не желая принимать участие в ликовании завоевателей, отнявших у ее народа все самое прекрасное и

доброе.

Стрижайло запоминал, мысленно переносил увиденное в еще ненаписанный мюзикл, лишь слегка подправляя картины и зрелища, без чего вообще не обходится никакое творчество. Сам же страстно ожидал появления Маковского. Хотел насладиться видом высокомерного властелина, владеющего реками, тундрами, лебедиными и оленьими стадами, мечтающего о мировом господстве и не знающего, что его гибель находится на груди Стрижайло, где, подобно знамени разгромленного полка, хранится заветный пергамент, — его смертный

приговор, его неминуемая гибель.

Они подошли к аттракциону под названием: «Пещера духов». Построенный грот изображал мрачную скалу с черным входом, куда из освещенного пространства уводила узкоколейка с тележками, пропадая во тьме. Стрижайло и Соня Ки уселись на тележку, и их повлекло из-под оранжевых фонарей, бенгальских огней и ликующих фонтанов в мрачную преисподнюю.

Внезапно из мрака, озаряемый багровым пламенем, выскочило чудовище с кричащей, картавящей головой известного политика Жириновского. Только одна голова выдавала сходство, тело же политика,

лишенное одежд, было грязно-синего цвета, с распухшими женскими грудями, с дряблым животом, на котором блестело несвежее сало, с уродливыми венозными ногами, между которых болтался неопрятный пук седых волос, набитый объедками думской столовой. Чудовище что-то прокричало про Российскую империю, погубленную большевики, плюнуло в проезжавших мимо Стрижайло и Соню Ки и исчезло.

— Это наш Дух Гнилых Болот, что царил над мертвыми водами тундры, из которых время от времени всплывали пузыри мертвого газа, — произнесла Соня Ки, когда они снова погрузились в темноту. — Маковский

хитростью изловил этот дух и заставил работать в аттракционе на забаву пресыщенных обывателей.

Из мрака, озаренный мертвенным светом, возник громадный гриб. На толстой синюшной ноге, с головой депутата Гудкова, он бормотал проклятия в адрес лимоновцев, требовал повысить зарплату спецслужбам, при этом разрастался, переполнялся жижей. Страшно вскипел и лопнул, обрызгав Стрижайло и Соню Ки теплой, несвежей гущей.

— Это Дух Кислых Грибов, который помогал шаману изготавливать целебный настой для оленей, страдающих расстройством

желудка. Маковский выманил его из тундры на запах мертвой собаки, взял в плен, и теперь дух работает в аттракционе, как видите, забавный и не для кого не страшный.

Из черного провала прынула ярко-зеленая, чешуйчатая шея динозавра с маленькой костяной головой министра Зурабова. Шея переходило в тучное вислогрудое тулово, которое опиралось на гигантский хвост. Передние лапки цепко держали высохшее тельце пенсионера, а голова острыми зубами обкусывала неживое тельце, как обкусывают воблу любители пива. Динозавр шмякнул липким тяжелым хвостом и канул.

— Это Дух Пупырчатых
Вечерних Существ, который обитает
в тине застойных протоков. Кормится
душами утопленников,
предварительно доводя их до
самоубийства печальными снами и
предчувствием близких несчастий.
Маковский заманил его в сеть на
приманку в виде требухи убитой
коровы. Теперь этот дух работает в
аттракционере, а в перерывах между
работой занимается онанизмом,
мечтая о какой-то кудрявой
красавице, выкрикивая в момент
оргазма: «Кудрин... Кудрин!...»

Из непроглядного мрака
появился громадный скелет с
белыми, натертыми фосфором

костями, с желтым хохочущим черепом, как две капли воды похожим на главу Избиркома Вешнякова. Скелет вытягивал руку навстречу проезжавшей тележки, словно «голосовал», желая подсесть к пассажирам. Показывал им две урны, одну мусорную, другую погребальную, предлагая любую, на выбор. С диким хохотом провалился под землю.

— Это Дух Могильного Смеха и Предсмертного Обморока. Он стоит у изголовья сошедших с ума людей, наполняя их души кошмарами. Маковский заманил его на просмотр сериала «Дети Арбата», да так и не выпустил, сделав рабом аттракциона,

где тот не пугает теперь даже младенцев. После работы скелет отправляется в мясной магазин, покупает парную свинину и обклеивает им свои кости, желая нарастить плоть. Но свинина, подержавшись немного, начинает портиться и опадает, отчего дух горько вздыхает.

Из крошечной тьмы, в дымном пламени, выскочил великан, обросший шерстью. Прихрамывая, размахивая каменным топором, жутко скалился, щелкал зубами, приговаривая: «Контракт... Контракт...». Стрижайло решил, было, что это министр обороны Сергей Иванов, но затем признал в

нем снежного человека, которого заметил вчера на аэродроме в толпе встречающих. Соня Ки печально сказала:

— Это мой жених. Он сватался ко мне. Мы хотели уехать к далеким скалистым горам на берегу ледяного моря. Но Маковский прельстил его горстью бананов, и теперь бедняга, обольщенный искусителем, работает пугалом в аттракционе, получая за это шматок банановых корок.

Стрижайло посочувствовал двум влюбленным, в чью судьбу вмешался злой рок.

Они выехали на тележке из грота в яркий свет фонарей и фонтанов. Лицо Сони Ки, державшей

маленький бенгальский огонь, было печальным, и Стрижайло хотелось поцеловать ее хрупкие беззащитные пальчики, сжимавшие лучистую серебряную звездочку.

Кругом шло ликованье. Народ поедал сладкую вату, причем, в разных частях города выдавалась вата того или иного цвета. Поедающая ее толпа становилась лучезарно-синей, или огненно-зеленой, или драгоценно-алой, где каждый человек светился изнутри, как реклама «ночного клуба». Бесчисленные аттракционы, театральные подмости, эстрадные «ракушки» с певцами создавали ощущение вечного праздника. Не

верилось, что за пределами прозрачного купола, совсем близко, дует холодный арктический ветер, простирается ночная тундра с кваканьем черных лягушек.

Стрижайло вдруг изумленно увидел, что в воздухе, красным неоновым цветом, была выведена фамилия известного политолога: «ЦыПКО». Подумал, что политолог приехал в «Город счастья» по поручению «Литературной газеты» и «Фонда Горбачева», чтобы порассуждать с народом о пользе русского либерализма в сочетании с быстродействующим слабительным. Но, к счастью, это оказалось иллюзией, причем не страшной.

Фамилия политолога была всего лишь аббревиатурой вполне безобидных слов: «Центральный парк культуры и отдыха». Куда и повела его Соня Ки, задержав перед эстрадой, с которой пели знаменитые звезды.

— Это духи звуков, которых Маковский заманил, кого в ночной горшок, кого в бутылку с недопитыми виски, кого в дымоход остывшей трубы. Теперь они, некогда витавшие над тундрой, тешат слух местных меломанов, — поясняла Соня Ки, стараясь быть бесстрастным гидом. Но Стрижайло видел ее печаль, мучился ее скорбями.

На эстраду, под восторженный

рев зрителей, вышел певец по имени Иосиф, во фраке, с галстуком-бабочкой, с ног до головы увешанный рыбьими и мочевыми пузырями. Пузыри были высушены и являлись своеобразными резонаторами, усиливающими голос певца. Пока он пел, производя трескучий звук лопающихся пузырей, Соня Ки поясняла:

— Это Дух Кашля от Попавшей в Горло Рыбьей Кости. По натуре он беззлобен, но от его пения у женщин случаются выкидыши.

Следом выступала певица по имени Алла. Она была немолодой и совершенно голой. У подбородка ее висел полый череп медведя, а сзади,

к ягодицам, был приторочен пожелтый от времени череп лося. И тот и другой резонировали так, словно пение проходило в зале филармонии.

— Это Дух Звука Отрезанного Языка и Вырванных Ноздрей. Два черепа, которые певица носит с собой, сделаны из голов ее возлюбленных, которые сражались за право уснуть на ее животе и убили друг друга на поединке.

Третьим выступал певец по имени Филипп. Он был весь усыпан блестками, между ног у него болтался амулет, в виде резинового фаллоимитатора из магазина «Интим». Когда певец раскрывал рот,

оттуда вылетало множество мух, комаров, слепней и прочих крылатых существ, которых в тайге называют «гнуc». Весь сонм насекомых издавал заунывный звук, напоминавший римейк из репертуара латиноамериканских певцов.

— Это Дух Звука Пупочной Грыжи и Опущенной Матки. Певец долгие годы остается любимцем публики, которая хотя и уходит с его концерта, искусанная слепнями и комарами, но видит в нем секс-символ шестидесятых годов прошлого столетия, что позволяет лучше понимать вкусы и нравы исчезнувших поколений.

В заключение концерта

выступала певица по имени Лайма. Она открывала рот, и разверзалась мертвая тишина, так что становился слышен скрип ее высоких костылей, увитых гирляндами из горящих лампочек. Чем-то она напоминала новогоднюю елку, которую забыли убрать в январе, и она, осыпавшаяся, с лысым стволом, в мигающих лампочках, стояла на куче грязного мартовского снега.

— Это Дух Гробовой Тишины и Погасшего Солнца. Звуки мира влетают в нее и никогда не возвращаются обратно. Над ней беззвучно проносится кричащий косяк лебедей. В ее присутствии молча, с раскрытыми пастями,

дерутся самцы медведей. Первый взрыв советской атомной бомбы на Новой земле, совершенный в ее присутствии, прошел абсолютно беззвучно, хотя взрывная волна выбила окна в столице Норвегии Осло.

Стрижайло, пытаясь объяснить феномен поглощения звуков, предположил, что горло певицы является «черной дырой», в которой исчезает не только звук, но и свет, и всякая иная материя, включая все виды пищи, все разновидности мужских детородных органов, все типы архитектурных построек, от египетских пирамид до небоскребов Манхеттена.

— А кто из певцов понравился тебе больше других? — поинтересовался Стрижайло.

— Филипп, — подумав, ответила Соня Ки.

— Почему?

— Мне нравятся вылетающие из него разноцветные мухи.

Стрижайло не чувствовал себя сторонним наблюдателем. Он не просто искал сюжеты для мюзикла, не просто насыщался зрелищами. Он был соучастник. Живущие в нем сокровенные духи, что вселились когда-то в детстве, излетев из сырого подвала, были сродни духам тундры, которых закабалил беспощадный Маковский. Братские духи томились

в неволе, служили прихотям и извращениям магната, и он, Стрижайло, — вместилище духов подвала, — был солидарен с пленными братьями. Сострадал, был готов им помочь, извлечь из плена. Нанести по Маковскому сокрушительный удар.

Его внимание отвлекла торжественная громкая музыка, сочиненная все теми же дедушкой и внучкой Никитиными: «Фонтаны нефти голубые...» Среди огней и фейерверков возникла праздничная процессия. Нечто среднее между католическим шествием и карнавалом в Рио-де-Жанейро. Три бывших шамана, а ныне раввин,

священник и мулла, поддерживали носилки, украшенные позументами, с высоким сверкающим балдахином. Под балдахином возвышалась величественная, в три человеческих роста, фигура Виктора Степановича Черномырдина. Властный, непреклонный, изображенный скульптором в момент, когда говорил с Шамилем Басаевым или стрелял из гранатомета в убегающих медвежат, Черномырдин, весь черный, с негроидными губами, был покровителем «Города счастья» и одновременно тотемным животным компании «Глюкос». У подножья фигуры выпуклым золотом были выведены изречения Виктора

Степановича, с которыми тот обращался к народу: «Хотели на хуй, а получилось заебись» или «Ебешь, — города берешь, а выеб, — словно нищенку обокрал».

Перед изваянием Черномырдина счастливая пара родителей несла своего новорожденного негритенка, голенького и черного, как миска нефти, готовилась совершить жертвоприношение.

За балдахинном двигалась нескончаемая процессия, — градоначальник, чиновники, представители корпорации «Глюкос», начальники служб, офицеры гарнизона, духовенство, купечество, земство, представители

конфессий, представители
национальных меньшинств,
представители сексуальных
меньшинств, представители думского
большинства, ветераны,
интеллигенция, делегации трудовых
коллективов, активистки женского
движения, активисты «Беллуны» и
Гринпис», лидеры партий, глава
чеченской диаспоры, глава
азербайджанской диаспоры, глава
таджикской диаспоры, цыганский
барон, вор в законе, местный
правозащитник, клоун, горбун,
фигляр, карла, звездочет, укротитель
змей и все тот же снежный человек,
огромного роста, с ног до головы
поросший шерстью, без тени

одежды, идущий то на полусогнутых, то опираясь на кулак правой руки и отталкиваясь сразу двумя лапами, отчего становились видны его коричневые кожаные пятки.

В процессии танцевали румбу, фокстрот, рок-н-ролл, краковяк, вальс-бостон, рэп, ча-ча-ча, «уральскую ебалочку», «хуйли-хуп» и новомодный немецкий танец «пиздотенланд».

Достигнув центральной площади, процессия остановилась, и начался обряд жертвоприношения.

Черного младенца запихали в рот Виктора Степановича, который поглотил своего духовного сына, как революция поглощает своих детей.

Изваяние опустили на землю, и все три служителя, — раввин, батюшка и мулла, — извлекли ритуальные ножи, напоминая «мачете» и стали рассекать на части Виктора Степановича Черномырдина, который оказался огромным кремовым тортом с марципанами и орехами. В центре этого торта лежал живой негритенок, вторично рожденный на свет из чрева Черномырдина с помощью «кесарева сечения». Это символизировало вечное возрождение, победу торта над смертью. Рассеченный на множество кусков торт стал поедаться гражданами «Города счастья», что

символизировало их доленое участие в делах корпорации, — единство во множестве, частное в целом, ванильное в кремовом, прекрасное в отвратительном. Съевшие торт на мгновение умолкали, а потом принимались бормотать на незнакомом языке, который являлся родным языком Виктора Степановича и напоминал булькающие звуки в утробе объевшегося динозавра.

Соня Ки, в своей короткой юбочке, с целомудренной грудкой, чуть выпиравшей из «топика», с наивной сумкой через плечо, делавшей ее похожей на девятиклассницу, не притронулась к

торту. Что не укрылось от глаз наблюдательного Стрижайло.

— Вы не любите сладкого? — спросил он.

— Не ем говна, — сухо ответила Соня Ки.

Музыка зазвучала громче. Теперь она была психоделической и галлюциногенной. Стрижайло почувствовал, как сильнее запахли магнолии, олеандр, кусты чайных роз, словно воздух стал пропитываться благовониями, от которых голова шла кругом. Фонари разгорались все ярче, окруженные радужными кольцами, превращались в голубые и зеленые солнца, в малиновые и желтые луны, в

лиловые и сиреневые звезды, как на безумной картине Ван Гога.

— Постарайтесь не делать глубоких вздохов, — предупредила Соня Ки. — Под куполом из специальных форсунок распыляется легкий наркотик, производящий действие «веселящего газа».

Стрижайло и впрямь хотелось смеяться, говорить остроумные речи, рассказывать фривольные анекдоты. Чувствуя себя изящным кавалером, светским львом, душой общества, он потянулся к Соне Ки, пытаясь тронуть ее за бедро.

— Оставьте, сударь, — остановила его Соня Ки. — Вы не можете рассчитывать на взаимность.

У меня есть жених. Вам лишь бы посмеяться над бедной девушкой.

Счастливое головокружение сменилось чувством блаженства. Будто душа освободилась от плоти и витала в мирах, у разных народов именуемых «Раем», «Елисейскими полями», «Шамбалой», «Беловодьем», «Долиной розовых лотосов», а у арийских племен, — «Валгаллой». Стрижайло оказался именно в этом прибежище нибелунгов, вкушавших блаженство после земных страданий и героической смерти.

Сладкая вата под воздействием легких наркотиков обнаружила свою метафизическую природу. Отражая

бродившие в голове Стрижайло образы, приобретала вид арийцев, поселившихся в благодатном краю. Алый клочок ваты, показавшийся из автомата, вдруг превратился в Гитлера, — в коротких штанишках и гетрах, тот гонялся с детским сачком за бабочкой, и, едва поймав, тут же отпускал на свободу. Геринг возник из желтого пучка ваты, — притихший, с милой улыбкой, вырезал из бумажной салфетки журавликов и пускал их на солнце, тихо нашептывая «Люфтваффе». Гесс, голубой, как облако, строил песочный домик, чем-то напоминавший тюрьму Шпандау, но вместо узников в домике скрывался

нарядный фарфоровый черепок.
Риббентроп, изумрудный,
пронизанный солнцем, сидел на
лавочке и пускал из трубки забавный
мыльный пузырик, который летел по
ветру и попал в сачок пробежавшего
Гитлера. Гиммлер, розовый,
опушенный солнечным нимбом,
держал на коленях маленькую
еврейскую девочку, гладил ее по
головке, показывая на игравшего в
песочнице соратника, говоря: «Это
дядя Гесс. Он никогда не есть
маленьких еврейских девочек».
Пышный пучок сладкой ваты
фиолетового цвета стал Борманом,
который, не касаясь земли, держал
пиалку с компотом, извлекая

ложечкой вишни, и смешно чмокал, проглатывая ягоду. Скорцени, нежно-сиреневый, с золотыми полосками, раскачивался на качелях, как на стропах парашюта, и было видно по его мечтательному лицу, что он сочиняет стихи. Кейтель, серебряный и пушистый, как огромное летучее семечко, порхал в воздухе, держа за руку маршала Мантейфеля, напоминавшего чудесную зеленую водоросль в драгоценных перламутровых блестках. Тут же, на лужайке, зазывая в свой хоровод остальных, танцевали тирольский танец фон Бок и Гудериан, оба ярко-синие, как лазурит, приплясывая ногами в полосатых белоснежных

чулках. Чуть в стороне от всех, наблюдая своих счастливых, порвавших с земной юдолью соотечественников, сидела Лени Рифеншталь, прозрачно-голубая, как альпийский лед, и сладкая, как липовый мед, — молодая, с распущенными волосами, играла большой синеглазой куклой по имени «Лорелея»

Стрижайло грезил этими яркими, плавающими пятнами, которые плавали под куполом, словно нарисованные великолепным Шагалом на сводах храма.

— Вы дышите слишком глубоко, — с тревогой заметила Соня Ки. — У вас глаза красные, как у

похотливого зайца. Что вы нашли в этой Лени? Ни грудей, ни ягодич, — одни арийские кости.

Стрижайло, сладко опьянев, не обращал внимания на недобрую иронию Сони Ки. Он увидел, как из разных точек купола ударили аметистовые лазерные лучи. Заметались, заскользили, пересекались, отражаясь от бесчисленных зеркал. Ударяли в людские лица, превращая их в шаровые молнии. Наполнили город вспышками и всплесками огней, фонтанами бушующего цвета. Вскипела яростная, кипящая музыка, пробудившая страсть, неистовое желание танцевать, плескать руками,

крутиться, отрываясь от земли. Пить дразнящий воздух, глотать опьяняющий свет, впитывать огненный наркотик музыки. Толпа откликнулась на этот зов. Танцевала, металась в разноцветной мгле. Стрижайло сладострастно закатил глаза, стал вращать бедрами, змеевидно извиваться, подпрыгивать, вращаясь в прыжке, словно волчок, долго не опускаясь на землю. Наркотическое вещество побеждало гравитацию, превращало человека в птицу.

— Господин Стрижайло, — отвлекла его Соня Ки, — приближается кульминация праздника. Из-под купола в

атмосферу распыляется порошок, присланный Маковскому из Колумбии. Мы должны надеть это. — Она расстегнула висящую через плечо сумку и извлекла два противогаза. Ловко натянула один на голову Стрижайло, другой напялила на себя, став похожей на глазастую сову.

Стрижайло очнулся от наркотического опьянения. Жадно вдыхал очищенный воздух, возвращавший ему рассудок. Вокруг же творилось невообразимое. Обезумившая толпа, надышавшись психотропного дурмана, впала в экстаз. Люди срывали одежды, кидали вверх трусы, рубахи и блузки,

которые в лучах лазеров превращались в летящую плазму. Танцующие вождественно озирали друг друга, словно вкусили яблоко с дерева познания Добра и Зла. Обнаружив рядом с собой обнаженного соседа, загорались греховной страстью. Кидались в объятия друг друга. Падали наземь среди мерцающих вспышек, метущихся лучей, огненной музыки.

Оргия шла по всему городу. Множество женщин лежало на спине с высоко поднятыми ногами и множество мужчин вдавливало их так сильно в землю, что некоторые, растопив горячими спинами вечную мерзлоту, проваливались. Другие

женщины ползи на четвереньках, стеной, неся на себе разъяренных мужчин, являя нечто античное, дионисийское и неистовое. Иные мужчины сами валились на спину, втаскивали на себя обезумевших красавиц, которые скакали на них, сотрясая грудью, пока те ни падали замертво. Тогда наездницы меняли коней и вновь загоняли их до розовой пены. Были такие женщины, что предпочитали себе подобных. Было немало мужчин, которые не отвечали на заигрывание женщин и тянулись друг к другу. Среди них выделялись молодожены Петр и Федор, которые предпочли провести медовый месяц в «Городе счастья». Среди всей этой

плазменной толпы, блестящей
слюной и потом, был замечен
снежный человек. Надышавшись
колумбийского зелья, забыв о своей
невесте Соне Ки, он изловил в толпе
исполнительницу танца живота.
Первобытно и грубо кинул на землю
и вогнал в нее свой косматый
пальмовый ствол, исторгнув тем
самым вопль наслаждения из бывшей
шахидки.

На все это сквозь очки
противогаза взирал Стрижайло,
благодарный Соне Ки за то, что она
избавила его от позора, не позволила
превратиться в животное, сберегла
его целомудрие.

Теперь он мог бесстрастно

наблюдать экстатическое зрелище, помещая эту сцену в будущий мюзикл. Видел, как из тундры, по другую сторону прозрачного купола, сбежались аборигены. Сидели на корточках, смотрели на оргию, желтея в ночи круглыми испуганными глазами.

Внезапно музыка смолкла. Лазерные лучи перестали метаться. Слились в ниспадающий из неба столп света. В этом столпе возник Маковский, величавый, просветленный, источающий радушие, силу и власть, благоволящий к своим подданным. Стал спускаться по световой дороге из неба, гибко переставляя стопы.

Его рыжий пылающий глаз под
воздетой бровью сверкал
прозорливостью и всеведением,
внушал трепет, повиновение и
любовь. Маковский спустился к
людям. Стоял среди обнаженных тел,
некоторые из которых продолжали
содрогаться в последних сладостных
муках.

Стрижайло, видя пред собой
этого жестокого властелина,
закабалившего братских духов
тундры, принесшего несчастье
кроткому народу, населявшему берега
северных рек и озер, погубившего
шамана, который по наивности
открыл ему тайну черного молока,
оскорбившего милую и беззащитную

девушку Соню Ки, — Стрижайло испытал к Маковскому ненависть, неодолимое желание ударить. Кинулся с вытянутым кулаком. Нанес по корпусу мощный боксерский удар. Но кулак прошел сквозь Маковского, как сквозь светящийся воздух. Вытянутая рука была окружена волнами света. Маковский был нереальный, голографический, иллюзия цветовых сочетаний и оптических обманов.

Колумбийское зелье продолжало прибывать сквозь форсунки. Скоро большинство из тех, кто недавно ликовал, лежало без дыхания, погибнув от передозировки. Груды обнаженных тел в самых

непристойных и бесстыдных позах покрывали площадь. Некоторые не сумели разъять тела, разомкнуть объятья, погибли во время соития.

Из соседних улиц с металлическим рокотом стали выезжать оранжевые бульдозеры «ктерпиллер». Огромные зеркальные ножи, отточенные гусеницы, стеклянные кабины, в которых сидели бульдозеристы в форме американских морских пехотинцев, все без исключения негры. Литые, упитанные, с нашивками на руках, двигали рычагами. Бульдозеры стали сгребать тела, сдвигали в громадную груду, из которой свешивались руки и ноги,

виднелись оскаленные рты и изуродованные промежности.

Стрижайло остановил один из бульдозеров:

— Извините за беспокойство, сэр. Могу я вам задать один вопрос?

— Слушаю, сэр.

— Что сделают с этими несчастными?

— Их отвезут в тундру и закачают в пласт. Там они снова превратятся в нефть, Господь слепит из них новых людей, лучше прежних.

«Катерпиллер» двинулся, светя прожектором. Перед зеркальным ножом бугрились и перевертывались два молодожена Петр и Федор, чей медовый месяц оказался столь

краток.

глава пятнадцатая

В Москве Стрижайло, не ведая усталости, продолжал реализацию плана, который, подобно озарению, открылся ему в супермаркете Потрошкова, среди автомобилей, унитазов, гробов. Он действительно был «Сатана», — неодолимая ракета с разделяющимися боевыми частями. Один пуск, множество целей, столько же разрушительных попаданий.

В компьютере наведения, коим являлась его озаренная голова, уже находился Дышлов, — искусился на деньги олигархов, доверил Стрижайло проведение

избирательной компании. Там же находился Верхарн, увлеченный созданием партии «Сталин», вступивший в переговоры с банкиром КПРФ Кресом. В ту же систему целей попал Маковский, — не только согласился направить в партию своих представителей, но и был разоблачен Стрижайло, как узурпатор власти и собственности. Пергамент шамана с «нефтяной дарственной» делал корпорацию «Глюкос» нелегитимной, передавал всю нефть Потрошкову и его компании «Зюганнефтегаз».

Теперь наступал момент, когда следовало разрушить пресловутое «единство партии». Нащупать

трещины в глиняном горшке КПРФ, щелкнуть пальцем, чтобы горшок распался, и его содержимое, — киснувшие со времен СССР капустные щи пролились на пол. Этих трещин было две. Маленький, ревнивый честолубец Грибков, мечтающий оттеснить Дышлова и возглавить партию. И страстный неврастеник Семиженов, презирающий Дышлова за его сермяжность, видящий только себя во главе коммунистов. Стрижайло решил начать с Семиженова, обольщая, опутывая сладкими паутинками лести, рисуя блистательные, легко достижимые перспективы.

Теперь с Семиженовым они летели в Красноярск на учредительный съезд партии «Сталин», на изящном остроносом «фальконе», который Семиженов арендовал в парижском аэропорту «Орли», так как не доверял российским самолетам, имевшим обыкновение разваливаться в воздухе. Сидели с Семиженовым в удобных креслах в голове салона, неторопливо беседуя. Остальные спутники, — два партийных секретаря Забурелов и Хохотун, а также обольстительная женщина Баранкина, она же «мисс КПРФ», что на всех демонстрациях являла собой образ «коммунистической

девы» под алым знаменем, — те трое сидели в хвосте самолета, на удобных диванах. Француз-стюард, любезно улыбаясь, ставил на стол блюда с красной и черной икрой, мидии, спаржу, изыски средиземноморской кухни, бутылку «Камю», что делало предстоящий полет в Сибирь увлекательным путешествием.

— Я принял идею партии «Сталин», хотя по убеждению я — социал-демократ. Мы создадим эту большевистскую партию параллельно КПРФ, перетянем в нее всех радикальных коммунистов, очистив КПРФ от экстремистов, а потом я заберу у Дышлова

обновленную партию, переведу ее на социал-демократические рельсы, — Семиженов рассуждал, поглаживая свой великолепный черно-синий кок над бледным лбом, казавшийся крылом лесного ворона. Он уже давно воспринимал предложенный Стрижайло план, как свой собственный. Стрижайло радовался тому, что Семиженов инфицирован его коварными мыслями, что инфекция питается яростным честолубием Семиженова, его истерической неприязнью к Дышлову. — Сразу же после учредительного съезда я поставлю во всех регионах памятники Сталину, куплю на Москва-реке теплоход и

назову его «Сталин». Все заседания Политбюро новой партии мы будем проводить на воде, курсируя у кремлевских стен. Политической целью партии будет перенесение тела Сталина из красноярских катакомб в мавзолей, где два вождя займут подобающее им место.

— Поражен безграничностью вашей политической фантазии, — поощрял его Стрижайло, при этом мягко направляя его фонтанирующую мысль. — Но для этого необходимо предпринять несколько неотложных действий. Прежде всего, необходимо оторвать от Дышлова секретарей региональных парторганизаций. У вас есть деньги, есть обаяние, есть

притягательная сила интеллекта. Пусть каждый секретарь ежемесячно получает конверт с деньгами и знает, что эти деньги положили в конверт вы.

— Неужели вы думаете, что я пренебрег этим средством? Я скупаю секретарей, как скупают металлолом. Плачу персонально каждому, как за железо, медь, алюминий, или даже серебро или золото. Секретари должны хорошо питаться, прилично одеваться, ездить на достойной машине, позволять себе излишки, такие как поход в ресторан или ночной клуб. Вы думаете, те трое в салоне, что с вождением смотрят на бутылку

«Камю», едят на свои деньги? Во всех регионах мною открыты пункты по скупке секретарей. Скоро у Дышлова не останется союзников. — Семиженов засмеялся, растворяя малиновые яркие губы, в которых сверкнул ряд неправдоподобно-белых и ровных зубов. Такие зубы выпускал секретный завод в Германии, используя секретные технологии, употребляемые в ядерной энергетике. Такие вставные зубы имели члены «восьмерки» и лучшие представители «золотого миллиарда». В компартии только один Семиженов мог позволить себе иметь такие зубы, что выдавало его амбициозные планы.

— Второй момент, — мягко напоминал Стрижайло. — Хотя и состоялось в Лондоне свидание Верхарна и Креса, нельзя позволить, чтобы Крес контролировал деньги партии «Сталин». Вы их должны замкнуть на себя. Я не доверяю Кресу.

— Он украдет эти деньги и купит замок на Кипре, — Семиженов водил своими фиолетовыми цыганскими глазами, изображая презрение и иронию. — Он обкрадывает партию десяток лет, и если действительно, как вы говорите, Маковский готов платить Дышлову за каждое место в Думе до двух миллионов долларов, то Крес

украдет у Дышлова эти деньги и купит несколько километров Лазурного берега или десяток отелей и казино в Куршевеле.

— Но если на съезде КПРФ, где будут обсуждаться предвыборные списки, вы организуете верных секретарей, они выступят против Дышлова, торгующего местами в Думе, обвинят его в коррупции и соотрудничестве с олигархами, то съезд может потеснить Дышлова с первого места в списке и поставить туда вас, не так ли? — Стрижайло делал вид, что эта мысль пришла ему только сейчас, хотя задуманный план включал партийный переворот на предвыборном съезде, или, по

крайней мере, раскол, ослабляющий Дышлова и партию в целом.

— Вы читаете мои мысли, как если бы у меня на лбу бежала электронная строка, — захохотал Семиженов. — Все так и будет. Больше того, — Дышлов примет деньги Маковского, передаст их Кресу, тот сворует, а на съезде Дышлову предъявят ультиматум, после которого он не сможет включить в списки ставленников Маковского. Маковский потребует деньги обратно, но они уже, как сахар в чаю, растворятся в оффшорах. Маковский не простит такое беззастенчивое кидалово и пошлет к Дышлову снайпера. Это упростит

ситуацию и поставит проблему выбора нового Председателя КПРФ. Полагаю, вы поможете мне стать Председателем?

Стрижайло был восхищен. Семиженов был настоящий политик, допускавший в своей страстной игре физическое истребление противника. Он был «сталинец», тонкий стратег, беспощадный к своим конкурентам. От Сталина его отличал истеризм, неумеренное, нескрываемое честолюбие, пристрастие к внешним эффектам, которые «тайное» делали «явным», не позволяли нанести неожиданный смертельный удар с отсечением неудобных голов.

— Вы, как никто, достойны

занять первое место в партии. Хотя на него претендуют такие личности, как Грибков и Карантинов. — Стрижайло добивался того, чтобы желчное раздражение Семиженова обернулось истерикой, которая вскроет его потаенные замыслы. Если эти замыслы совпадают с его, Стрижайло, стратегией, их необходимо стократно усилить. Если же нет, их следует подавить и отвергнуть.

— Грибков, мелкотравчатый паразит, который подтачивает дерево, камень, человеческую кожу, все что угодно. Поселяется на чем-нибудь большом и сильном, а потом превращает это в труху. Он

испоганил столько политических организаций и партий, столько человеческих отношений, что его действие сравнимо с биологическим оружием. Мне он не конкурент. У меня есть мазь от грибковых заболеваний, — голубоватые белки Семиженова пожелтели от язвительности, словно в нем разлилась желчь. Было видно, как он ненавидит, как готов истребить объект ненависти. — А этот смехотворный Карантинов одной своей фамилией наводит на мысль о ВИЧ-инфекции. Он верен Дышлову до тех пор, пока тот силен. Как только тот пошатнется, Карантинов перебежит к более сильному. Он

перебежит ко мне. Я дам ему в управлении какую-нибудь отдаленную свиноферму, где бы он мог, соблюдая карантин, заниматься любимым делом и не передавать людям инфекцию. — Семиженов побледнел настолько, что его выбритые подбородок и щеки стали синими. Среди этой синевы и бледности кровенели малиновые губы, и весь он был похож на итальянскую маску «дель арте», пугающую своей ненатуральностью.

— Я разговаривал о вас с Потрошковым и с заместителем главы Администрации Чебоксаровым. Они о вас самого высокого мнения. Не впрямую,

намеком, но дали понять, что видят вас в числе претендентов на пост Президента. Особенно, если вам удастся обойти на думских выборах Дышлова, стать первой фигурой в КПРФ. — Стрижайло исследовал Семиженова, как это делают кардиологи, взрезая пациенту бедро, запуская в аорту зонд, проталкивая чуткую проволочку сквозь всю кровяную систему прямо в сердце.

— Они правильно рассуждают. Открываю вам первому, — я стану Президентом России. Брошу на это все мое состояние, все связи, все искусство политика. Мне будут нужны помощники. Приглашаю вас. Не будет недостатка в деньгах, будут

удивительные технологии, невероятные ходы. Ваш творческий ум, неиссякаемая энергия обеспечат вам после моей победы роль главного политолога власти. Соглашайтесь! — Семиженов, пылая очами, взбив вороненый кок, был похож на актера театра масок, где блещут клинки, не только из фольги и картона, и льется алая кровь, не всегда из вишневого сока. Он был сумасшедший, одержим идеей власти. Как и многие другие, стремился стать Президентом. Эти сумасшедшие наполняли политику едким безумием, превращали профессию Стрижайло в выгодное и беспроегрышное дело. Политология,

которой занимался Стрижайло, была видом психиатрии, которая не лечила безумцев, а стимулировала развитие болезни. В результате припадков, истерик, выбрасываний из окна, совершаемых в помрачении убийств один из безумцев становился Президентом, привнося в дела государства врожденное сумасшествие.

— Согласен вам помогать, — сказал Стрижайло. — Не присоединиться ли нам к товарищам, чтобы скрепить договор рюмкой «Камю»?

Впятером они разместились в уютном салоне, на мягких диванах,

вокруг стола, на котором появилась уже третья бутылка «Камю». Вечернее солнце взирало в иллюминатор своим медным ликом. Елена Баранкина сидела между двух секретарей, дразня их игривыми прикосновениями. Секретарь обкома Забурелов, длинноносый, с кольчатыми бачками, с раздвоенным подбородком и суровыми кустистыми бровями, подливал соседке коньяк. Сладостно причмокивал губами, когда она пила, закрыв свои выпуклые, в металлической пыли веки. Внезапно широко открывала колдовские мерцающие глаза, озирая всех изумленным зеленым взором.

Другой секретарь Хохотун, с манерами провинциального ловеласа, желая нравиться, то и дело поправлял артистические длинные волосы. Дул на перстень с черным камнем, напоминая скорее артиста, чем коммунистического секретаря. Стрижайло и Семиженов сидели напротив, уклоняясь от медных, бьющих в иллюминатор лучей, навстречу которым мчался остроносый «фалькон», стремительный и изящный, впиваясь заостренным клювом в русские пространства.

— Дорогие мои товарищи и собратья, — умиляясь столь приятному обществу и неповторимой

атмосфере радушия, произнес
Хохотун, отбрасывая со лба
артистические волосы и обдувая
вороненый перстень. — Давайте же
не просто поглощать этот напиток
богов, которым нас угощает
прекрасный хозяин. — Хохотун
благоговейно взглянул на
Семиженова. — Но будем
произносить наши тосты,
высказываясь в том духе, что и кто
желает получить в этой жизни.
Потому что мечтать не возбраняется
даже креветке, — он кивнул на
блюдо с розовыми креветками,
частично превращенными в
бесформенную грудку кожуры. —
Особенно, если креветка летит на

высоте десяти тысяч метров над нашей многострадальной землей, — ему понравилась собственная витиеватая речь, к которой благосклонно отнеслись остальные, а Елена Баранкина плеснула в воздухе пьяной рукой с перламутровым маникюром.

— Ты предложил, ты и мечтай, — прямолинейно, по-товарищески, сказал Забурелов, шевеля растущими на глазах бровями, двигая раздвоенным подбородком, к которому прилипла розовая чешуйка от креветки.

— Почему бы и нет? Почему бы и нет? — Хохотун поднял рюмку, с легким поклоном обращаясь к

присутствующим, как мастер застолья. — Что скрывать? Жизнь секретарей обкома — не мед и не сахар. Это не прежние времена, когда вся область лежала у твоих ног, и ты мог вызывать на ковер генералов, директоров заводов, прокуроров и судей. Ютимся в комнатухах с одним телефоном. Разъезжаем на старенькой «Волге», которую обгоняют иномарки. Зарабатываем простуды на митингах и демонстрациях. Дрогнем в пикетах. Да еще получаем плевки и подзатыльники от местных властей, среди которых, между прочим, есть и твои бывшие подчиненные, твои переметнувшиеся к врагу

товарищи. — Хохотун горько покачал головой, осуждая нестойких перебежчиков, перескочивших из партийных кресел в кабинеты новой власти. — Но бывает миг просветления, такой, как сейчас. И хочется помечтать, — он сделал вдохновенное лицо поэта, выходящего на сцену с поэмой в руках, и глядящего поверх голов куда-то ввысь, откуда снизошло на него вдохновение. — А что если обратиться к нашим замечательным пилотам, чтобы они изменили курс самолета и направили эту белоснежную птицу не в Сибирь, где нас ожидают митинги, демонстрации и партийные массы, а на юг, к

благословенному Индийскому океану, куда-нибудь в Таиланд, где отдыхают наши классовые враги, позволяя себе все, что ни придет в их пресыщенные умы. Чтобы мы жили в великолепном отеле, с лазурным бассейном, роскошными ресторанами, саунами, восточными банями, знаменитым тайским массажем. Часами смотрели на лазурный океан, попивая из высоких бокалов вкусные коктейли. Ходили на белые пляжи, где, не стесняясь своей наготы, подставляли лица и все прочее лучам тропического солнца. Катались на яхтах, занимались виндсерфингом. Вечерами играли в боулинг, посещали казино. Смотрели

эротические представления, а потом в лунную ночь, все вместе, взявшись за руки, без одежд, бежали в зеленое мерцание океана и окунали в него свои истосковавшиеся по ласкам тела, — Хохотун сладко закрыл глаза, как если бы теплая ночная волна уже плескала ему в живот, и рядом, обворожительная, как русалка, распустив по спине восхитительные волосы, стояла обнаженная Елена Баранкина.

Мечтания пришлись всем по вкусу.

— На недельку бы неплохо слетать, — поддержал товарища Забурелов, — Приятно жить не запретишь.

— А вы уверены, что не перессоритесь из-за меня, забыв про чувство коллективизма? — кокетливо засмеялась Баранкина, обворожительно мерцая зелеными глазами. — Мне будет трудно делить между вами мою любовь поровну, не оказывая никому предпочтения.

— Прекрасная мысль! — барственно соглашался Семиженов. — Сейчас позову первого пилота и прикажу сменить курс. Вместо Красноярска — Бангкок. Я там бывал не раз и сумею правильно выбрать отель на побережье. Можно «Хилтон», а можно «Интерконтиненталь».

— А вашу любовь между собой

поровну мы сумеем поделить, — пообещал Стрижайло Баранкиной, помня, как на банкете в особняке Семиженова на него нахлынуло вожделение, и он был готов овладеть пленительной женщиной с ногами топ-модели и с грудью парижанки, воздевшей знамя над революционной баррикадой. — Кто любит крылышки, кто ножки, кто белое мясо, кто грудку. Я же предпочитаю шейку и то, что у птицы зовется гузкой.

Все радостно засмеялись, сдвинули рюмки, — во исполнении мечты, за товарищество, за свободную любовь, которую в партийной среде еще на заре

советской власти проповедовала незабвенная Коллонтай.

— Теперь мне предоставьте слово, — Забурелов поднял рюмку, поводя зарослями бровей, собираясь с мыслями. И пока собирался, Стрижайло рассматривал его раздвоенный подбородок, усмотрев в нем сходство с небольшими ягодицами, как если бы на подбородке Забурелова, спиной к зрителям, присел голый человек. — Мы сейчас летим в город Красноярск, чтобы там образовать партию нового типа. Она должна быть действительно «нового типа», отлична от КПРФ. Должна быть партией солидных людей, с

которыми можно иметь дело и крупному бизнесу, и Администрации президента, и кругам за границей. Хватит нам нищету плодить, бомжатники разводить. Член нашей партии должен быть хорошо одет, ездить на приличной машине, принимать посетителей в достойном офисе, иметь красивую секретаршу, устроить банкет в честь партийного или государственного праздника. Наш лидер должен быть образованным, интеллигентным человеком, а не самоучкой и выскочкой, наподобие Дышлова. Он должен знать экономику, юридическое дело, литературу, как русскую, так и зарубежную, и тогда к

нам потянутся люди. А поскольку такой руководитель уже имеется, и именно его идеи легли в основание «партии нового типа», то я предлагаю выпить за нашего вождя, нашего лидера Семиженова — Сталина! Семисталина, который семи пядей во лбу!

Все смеялись по поводу удачного каламбура, тянулись к Семиженову. Тот не скрывал удовольствия, чокался, отправлял в свои малиновые губы властителя, в раздвинутый белозубый зев вождя вкусную рюмку «Камю».

«Фалькон», летящий навстречу сумеркам, мчался в зеленом меркнувшем небе над потемневшей

землей, где в редких деревнях и селениях начинали мерцать едва различимые огоньки. Стрижайло чувствовал, что пьянеет. И это ощущение лишь усиливало в нем веселье, иронию, тайное презрение к этим людям, что находились всецело под воздействием его чар, его оригинальных идей, его сумасбродных фантазий. Не ведая, выполняли его замыслы, озвучивали его мысли, воспроизводили его идеи. Неслись со скоростью девятьсот километров в час по той траектории, которую указал им Стрижайло. И их приземление будет его триумфом, его невидимой миру победой, и их сокрушительным поражением.

— Любезные соратники, —
Стрижайло изящно и скромно
поднял рюмку. — Мне выпала
высокая честь оказаться в одном с
вами обществе. Чем дольше длится
наше знакомство, тем больше я у вас
учусь. Учусь любить простой народ.
Понимать чаяния людей труда.
Стоять на страже их интересов. И
если надо, жертвовать ради них
своим благополучием, а иногда и
жизнью. Такие люди нужны нашей
многострадальной России. Они
помогут ей встать с колен. Не
сомневаюсь, вместе мы победим. Мы
создадим «партию нового типа»,
выиграем думские выборы и пойдем
на выборы Президента. И это не

громкая фраза, не возбуждение от выпитого коньяка, — я знаю, я убежден, что на президентских выборах мы одержим ослепительную победу. За Президента России Семиженова, товарищи! Ура! — он рывкнул счастливым солдатским рыком. Остальные вторили ему, проливали коньяк, чокались с Семиженовым, который вдруг побледнел так страшно, что щетина на его щеках стала фиолетово-синей, как грозовая, наполненная молниями туча.

Земля была черной, небо едва светилось. В иллюминаторе пролегла малиновая заря, похожая на ватерлинию. «Фалькон» проносил их

вдохновенные души над Сибирью.

— Что же мне сказать после столь замечательных слов? — Елена Баранкина, волнообразно качала рюмкой, проливая из нее драгоценную струйку. Взирала зелеными глазами молодой прекрасной ведьмы. — Я с вами навсегда. Я ваша сестра, ваша мать, ваша дочь. Я ваша коллективная жена и кормилица. Я вскармливаю вас моим молоком, как капитолийская волчица. — Она выпила и отставила рюмку. Глаза ее полыхнули разноцветным пламенем паяльной лампы, которой обжигают медную чеканку.

Услышав такие слова, оба

секретаря, Забурелов и Хохотун, положили свои головы на плечи Елены Баранкиной, обнимая ее за талию.

— Ты наша capitoлийская волчица! Ты — волчица КПРФ!

— Дай нам напиться от твоих сосцов!

— Сейчас, мои маленькие! Сейчас, мои хорошие! — Елена Баранкина расстегнула блузку, и две восхитительные, круглые груди затрепетали своей белизной. Забурелов и Хохотун потянули жадные, сложенные трубочками губы, хватая розовые соски, которые скрылись в секретарских устах, набухая и удлиняясь. — Пейте, мои

славные, на здоровье!

Хохотун и Забурелов ловко, с обеих сторон, раздевали Елену Баранкину, делая это привычно и профессионально, как чистильщики бананов. Снимали тонкие шкурки, обнажая шелковистый, слегка перезрелый плод.

— Мальчики, только юбку не помните... Аккуратненько ее положите...

В этом было нечто удалое, комсомольское, от молодежных организаций на черноморском берегу, от команды КВН, от стройотрядов, от мушкетеров, — «один на всех, и все на одного». Елена Баранкина, в пленительной

нагоде, лежала на диване, упирая вытянутую напряженную ногу в потолок «фалькона», а Хохотун, насыпав ей на лицо свои артистические волосы, время от времени дул на свой черный перстень и мучил ее, как захваченную в плен партизанку. Добивался признаний, но та не выдавала товарищей, скрывала пароли и явки, лишь иногда издавала жалобный стон. «Фалькон» летел над ракетной шахтой, затерянной в дебрях Сибири, и ракетчики в бункере на электронном табло вдруг прочитали странное слово «ебенать».

Место Хохотуна занял Забурелов, — пугал Елену Баранкину

страшными шевелящимися бровями, будто взял их на прокат для такого случая у покойного генсека. Елене Баранкиной было страшно, она беззвучно кричала, впивалась в волосатую звериную спину Забурелова перламутровыми коготками, а тот все глубже вдавливал ее в диван, все больше раздваивал подбородок, и Елене Баранкиной казалось, что ей на лицо присел энергичный колючий карлик, душит шершавыми ягодицами. «Фалькон» пролетал над сибирской деревней, где в вечерней избе, окруженный свечами, лежал покойник. Подвыпивший, утомленный долгим чтением,

пономарь, вдруг увидел, как
колыхнулось пламя свечей, покойник
в гробу улыбнулся и явственно
произнес «охуеть».

Семиженов, страдавший
прогрессирующей импотенцией,
распалился зрелищем истязаемой
жертвы. Покуда с ней оставался
мучитель, Семиженов целовал
дрожащую женскую щиколотку,
норовил оттеснить Забурелова и
куснуть беззащитную женскую грудь.
Но как только мохнатый истязатель
отпал, и Елена Баранкина закрыла
свой измученный пах
перламутровыми пальчиками,
Семиженов рухнул на нее, как
рухнет потолок вместе с лепниной

и люстрой. Белая маска его лица с черным коком и растворенными устами вампира изобразила триумф исцеленного импотента. Самолет пролетал над сталеплавильным комбинатом, где варилась танковая броня и кипели мартены. Сталевар, заглянувший в глазок, увидел, как из белого кипятка вдруг вылепился раскаленный, слепящий фаллос, и кто-то голосом горящего в танке наводчика прокричал «Блядище!»

Семиженов по-петушиному быстро разрядил свои вялые семенники, замахал крыльями, собираясь взлететь на забор, но передумал. Отсел к столу, взяв с тарелки зеленый листик спаржи.

Стрижайло радостно схватил в свои сильные руки размягченную, как пластилин Елену Баранкину. Стал лепить из нее греческую амфору, Триумфальную арку, молодую верблюдицу, Венеру Милосскую, Кондолизу Райс, нижнюю часть Мадлен Олбрайт, бюст вице-спикера Слиски, правую ногу Новодворской, золотую бабу у «Фонтана дружбы», самоходную артиллерийскую установку, кратер вулкана Этны. И когда огромный, уходящий в землю провал переполнился магмой, окутался дымом, вскипел розовой пеной, Стрижайло почувствовал себя Эмпедоклом. В белом облачении, с золотым венцом на челе, кинулся в

преисподнюю, сливаясь с Богом Огня. Самолет пролетал над факелом газа, трепетавшего над тундрой. Соня Ки, дремлющая в объятьях приезжего американского менеджера, очнулась. Ей показалось, что американец, не знающий ни бельмеса по-русски, вдруг отчетливо, без акцента произнес во сне слово «пиздота».

Пройдясь по первому кругу, пассажиры «фалькона» пригласили к Елене Баранкиной француза-стюарда. Тот не возражал, сказав «мерси». Стюарда сменил второй летчик, произнеся в финале «с ту». Ему наследовал первый летчик, спросив на прощанье «Кель кулер?» А потом и борт-инженер поставил

самолет на авто-пилот и галантно, с хорошими манерами, сделал свое дело, заметив «шерше ла фам». Отдыхавшие пассажиры не мешали французам, выпивали и закусывали. А когда последний француз покинул Елену Баранкину, все двинулись по второму кругу. Елена Баранкина, прижимая к себе косматого Забурелова, произнесла:

— Вам, ребята, далеко до французов. Берите не числом, а умением.

Стрижайло был уязвлен этим злым замечанием. Больше не лепил из разомлевшей Елены Баранкиной пластилиновых фигурок, а свирепо трахал, — не только ее, но вместе с

ней компартию в целом,
праздничные шествия, митинги,
партсобрания, членские взносы,
агитационные брошюры, газету
«Советская Россия», партийные
списки, партийную «тройку»,
семинары секретарей райкомов,
программу партии, думскую
фракцию коммунистов, а также
календарик Дышлова, где тот со
своим жизнерадостным лицом
снеговика поздравлял
соотечественников с Новым годом.
Все это придало его
заключительному рывку такую
ярость и силу, что самолет соскочил
с автопилота и взял курс на Китай.
Летчик ручным управлением с

трудом вернул машину на прежний маршрут. «Фалькон» пролетал над староверческой заимкой. Последний из староверов, убежавший от греховного мира и ожидающий в тайге «конец света», увидел, как в небе несется раскаленная крылатая колесница, в ней Блудница Вавилонская, окруженная четырьмя апокалиптическими зверями, предается разврату. Старовер перекрестился и лег в домовину, ожидая явление Антихриста.

В аэропорту Красноярска, под утренней сибирской зарей, москвичей встречали местные коммунисты и функционеры

новоявленной большевистской партии. Молодые учительницы русского языка и литературы, аспирантки, специалистки по лингвистике и филологии. Все держали в руках труд вождя по вопросам языкознания. Большинство уже сменили свои девичьи фамилии на гордую фамилию «Сталин». Среди встречавших находились Маша Сталин, Катя Сталин, Сара Сталин и Фатима Сталин, а так же представительницы многих регионов страны, получивших свое новое имя, как если бы вышли замуж за генералиссимуса. Предстоящий учредительный съезд и был помолвкой, венчанием,

бракосочетанием, где связанные священными узами партийцы становились членами единой семьи, единой церкви, единой сакральной организации, исповедующей культ большевистского пророка. Партия «Сталин», будучи едва образованной, должна была приобрести моментальное развитие, вызвать сенсацию, вобрать в свои ряды миллионы чающих возрождения СССР, не только в России, но и за границей, особенно в странах «третьего мира». Обилие в партии молодых и прелестных женщин делало ее привлекательной, рождало сходство с весталками, хранящими священный огонь большевизма.

Семиженов обходил строй встречающих девушек, деловито и сдержанно осведомляясь о приготовлениях.

— Банкет подготовили? — спросил он у Маши Сталин.

— На тысячу персон, — был ответ.

— Войска к параду готовы? — поинтересовался он у Кати Сталин.

— Участвует Сибирский военный округ, Шестая воздушная армия и корабли Енисейской флотилии.

— Рабочие коллективы готовы выйти на демонстрацию? — допытывался он у Сары Сталин.

— Не только рабочие, но и

пионеры и физкультурники. Транспаранты и флаги изготовлены в необходимых количествах.

— В каком состоянии находится тело вождя? — спросил он у Фатимы Сталин.

— Режим сохранения нормальный. Температура тела минус шесть градусов. Содержание в тканях бальзамов и смол шестьдесят процентов. Рост ногтей и волос остановлен. На шум, включая революционные песни и поэмы о Сталине, не реагирует.

— Хорошо, — удовлетворенно заметил Семиженов, проходя вдоль девичьих рядов, кое-кого похлопывая по румяным щечкам.

Кортежем, с патрульной машиной автоинспекции, не заезжая в Красноярск, по окружной дороге, сразу отправились к месту проведения съезда. Енисей, сжатый гранитными скалами, мощно катил свои стальные, с синими воронками и водоворотами воды. На скалах зеленела тайга. Они миновали шлагбаум с автоматчиками, покатили по бетонной дороге в скалах, пока не достигли секретного объекта, — подземного, укрытого в скалах завода, построенного по чертежам вождя, где действовали реакторы по производству урана и боевого плутония, тянулись конвейеры, на которых роботы лепили боеголовки

для межконтинентальных ракет.

Директор завода, скрытый коммунист-сталинец, встретил их у входа в громадный, ведущий в гору туннель.

— В пятьдесят шестом году мы тайно приняли на хранение тело вождя, укрывая его от агентуры Хрущева. Верили, что наступит день, когда Иосиф Виссарионович встанет из гроба и наведет в стране долгожданный порядок. Приветствуем вас, товарищи, на нашем комбинате, который всем коллективом вступает в партию «Сталин». Когда вы начнете формировать «боевое крыло», мы готовы вооружить его боеголовками,

ранцевыми боеприпасами и ракетами средней дальности.

Из глубины горы, по рельсам, выкатил электропоезд, точно такой же, как в московском метро, хромированный, сияющий. Все погрузились в вагон, который помчался вглубь гранитных скал, под землю, в гигантском туннеле, чьи своды позволяли утянуть под землю колокольню «Ивана Великого». Стрижайло, еще в Москве осведомленный о месте проведения учредительного съезда, сам активный участник мероприятия, был поражен циклопическим подземным сооружением, куда укрылись с земли великаны сталинской эры.

Поезд мчался в крошечной мгле и вдруг выносился на освещенные станции, точь-в-точь, как те, что поражали когда-то москвичей и гостей столицы своими мозаиками, майоликами, красочными витражами и фресками, на которых было отражено великое время. Стрижайло видел знакомых партизан, моряков, пехотинцев. Летящие самолеты, плывущие корабли, победоносные знамена, боевые эмблемы. На некоторых станциях поезд замедлял ход, и директор делал некоторые пояснения.

— Здесь работают реакторы, запущенные академиком Курчатовым, вырабатывающие атомную

взрывчатку для Четвертой и Пятой мировых войн. Недавно к нам приезжал внук академика, писатель Курчаткин, который был поражен деяниями своего деда.

Действительно, было чему удивляться. Все пространство, где работали секретные установки, было выполнено в виде павильонов ВДНХ, — колоннады, фронтоны, пагоды, мусульманские аркады. Сами реакторы помещались в центре фонтанов, где стояли золоченые девы в костюмах народов СССР, высились фаллические початки кукурузы, снопы пшеницы, фантастические клубни и злаки. Их размер объяснялся тем, что они мутировали

под воздействием радиации, достигая исполинских форм. Особенно поражал сноп ветвистой пшеницы, выведенный академиком Лысенко, содержащий в себе столько зерна, сколько производила вся Кубань.

Следующая станция напоминала платформу «Кропоткинская», — уходящие ввысь туманно-белые, словно лепестки лотоса, своды, мерное движение эскалаторов, вдоль которых стояли роботы с искусственными руками и чуткими пальцами, поворачивая в разные стороны оптические трубки и индикаторы. Их ловкие стальные фаланги лепили из серебристого

порошка боеголовки, которые обретали форму человеческих голов и бюстов.

— Этот порошок — обогащенный уран и плутоний. В электронное управление роботов введена программа скульптора Клыкова, по эскизам которого роботы изготавливают головы президентов и премьеров тех стран, по которым может быть нанесен ядерный удар.

Стрижайло вглядывался в текущие по конвейеру бюсты, угадывая в них головы Президента США Джорджа Буша, Премьера Великобритании Тони Блэра, Президента Франции Жака Ширака,

Премьера Италии Сильвио Берлускони. К своему великому удивлению вдруг увидел тонконосую, с узкой переносицей и характерными выпученными глазками, голову Президента Ва-Ва. Вся «девятка» плыла по конвейеру, готовая превратится в гигантские атомные взрывы, каждый из которых повторял головы незадачливых правителей мира. Появление среди них Президента Ва-Ва говорило о том, что в стране и ее военно-промышленном комплексе существуют силы, отождествляющие Президента Ва-Ва с врагами государства. Наводило на мысль, что не все в стране контролируется

Администрацией. Есть и другой, сокровенный центр власти, быть может, в кругах ФСБ.

Это открытие породило у Стрижайло тревогу. Как если бы в его безукоризненно продуманный и блестяще исполняемый проект была внесена загадочная поправка. Заложен неучтенный компонент, способный направить проект по другой траектории, привести к незапланированному результату. Так было в Лондоне, где ему померещился мертвенный лунный лик среди черных деревьев Гайд-Парка. «Блоу-ап» Антониони. Тайнственный экспромт. Проект в проекте. Невидимая личинка,

отложенная в туловище сытого теплокровного зверя, нашедшая в нем свою еду и жилище. Но не было времени для обдумывания. Поезд мчался в туннеле, замедляя бег у станций.

Теперь это были кварталы жилого подземного города, где обитали физики, инженеры, военные, обслуживающие ядерное производство. Дома были сталинской архитектуры, принадлежали «большому стилю», построены по проектам архитектора Жолтовского, являя собой образцы знаменитого «сталинского ампира». На улицах было много военных с золотыми погонами и орденскими колодками,

женщины и мужчины носили одежду послевоенных фасонов, строгую, аккуратную, трогательную.

— Большинство работников, однажды сюда спустившись, уже не поднимаются на поверхность. Трудятся, отдыхают, заключают браки и умирают здесь, под землей. У нас много лауреатов Сталинских премий, дважды и трижды «Героев социалистического труда», кому на родине устанавливают прижизненный бюст, — с этими словами директор указал на несколько небольших монументов, запечатлевших лики героев, перед которыми стояли сами живые Герои, кто с пышной курчатовской бородой,

кто в профессорской шапочке, а кто и просто вылитый академик Сахаров в молодости.

Тревога, посетившая Стрижайло, не проходила. Второй раз за время осуществления проекта, где все, казалось, подчинялось только его, Стрижайло, замыслу, — вторично возникал едва ощутимый сбой, говоривший, что не все выстраивается по его чертежам и схемам, существует второй, невидимый автор проекта, кто использует гений Стрижайло в своих интересах, вовлекая его в неведомую и опасную игру. Кто мог видеть врага в Президенте Ва-Ва, настолько серьезного, чтобы сбросит на него

атомную бомбу? Бен-Ладан, лидер мировых террористов? Чеченские «полевые командиры», управляемые Шамилем Басаевым? Или агенты ЦРУ? Или страны «оси зла», такие как Северная Корея, Иран и Судан? Кто был лютым врагом Президента Ва-Ва, скрывался под личиной друга и желал ему смерти?

Между тем, подземный состав пролетал сверкающие станции.

— В этом зале, — директор с заговорщическим видом указывал на великолепный, пышный интерьер, с множеством архитектурных излишеств, напоминавших кулинарные изделия, — кексы, пирожные, сахарные головы и

куличи. Подобная помпезность была характерна для сталинского архитектора Чичюлина, украшавшего города гигантскими «эклерами», «наполеонами», фруктовыми и шоколадными тортами. — В этом зале мы собрали боеголовки с тех ракет, которые подлежали уничтожению по договорам «ОСВ-1» и «ОСВ-2». Мы их не уничтожили, а перенесли сюда, откуда в любой момент они снова могут поступить на вооружение.

Тут только Стрижайло заметил, что в зале выставлено множество боеголовок, замаскированных под торты и куличи. Некоторые были посыпаны сахарной пудрой, другие

разукрашены розетками и вензелями из крема, на третьих красовались марципаны и орехи. Все они были выполнены в виде бюстов Эйзенхауэра или Кеннеди, Аденауэра или Брандта, Этли или Макмиллана, — тех, давно ушедших лидеров Запада, что в прежние времена олицетворяли врагов СССР. Эти бюсты стояли в нишах и на постаментах, словно являлись частью великолепного интерьера, хотя голова Кеннеди была щедро полита кремом, а глаза канцлера Аденауэра были залеплены дольками мармелада.

— Вы видите эту стройную колоннаду с коринфскими

капителями? — директор указывал на подземный храм, где мрамор колонн, цветы и листья аканфа создавали ощущение, какое возникает перед фасадом театра Красной Армии, построенного архитектором Алабяном в виде гигантской пятиконечной звезды, окруженной исполинскими колоннами, — Колонны — это ракеты дальнего действия, снятые с боевого дежурства в результате одностороннего разоружения. Мы не уничтожили их, а складировали под землей, на всякий пожарный случай. Они могут стартовать прямо отсюда и перелететь океан вместе с капителями, куда вмонтированы

боеголовки мощностью в десятки Хиросим. Кстати, строго между нами, — Театр Армии и по сей день является замаскированной стартплощадкой, откуда разом могут стартовать все колонны. При этом сам театр не разрушится, и в нем будет продолжаться спектакль.

Стрижайло поражался дальновидности ракетчиков, не пошедших на поводу у политического руководства страны, сохранивших ядерный щит Родины. Однако, этот отрадный факт укреплял подозрение, что во все времена, включая и нынешнее, существовал законспирированный параллельный центр власти, не подчиненный

легальному руководству.

Где сегодня расположен этот секретный центр? Кем он олицетворен? Кто, находясь в ближайшем окружении Президента Ва-Ва, действует против него?

Следующий зал, озаренный нежным свечением, чем-то напоминал остров Пасхи, — громадную кумирню со множеством идолов. Однако, вместо странных остроносых изваяний с длинными подбородками и высокими лбами, повсюду возвышались памятники Сталину. Бронзовые, гранитные, алебастровые, в долгополой шинели, в мундире генералиссимуса. Их было больше сотни, они стояли,

прижавшись друг к другу, словно множество близнецов, рожденных из единого материнского лона. Каждый слабо светился. Душа наполнялась мистическим восторгом и обожанием. Хотелось пасть ниц и молиться, — не за собственное благополучие, а за процветание Родины, как об этом поется в религиозной сталинской песне: «Была бы только Родина богатой, да счастливою, а выше счастья Родины нет в мире ничего...»

— Когда Хрущев начал развенчание Сталина и уничтожение его памятников, верные сыны государства привезли памятники Иосифу Виссарионовичу сюда. И не

только потому, что эти государственники были преданными сталинистами. Все памятники, по распоряжению товарища Сталина, были сделаны из обогащенного урана и боевого плутония. Так, в целях конспирации, было решено хранить, у всех на виду, стратегический запас ядерной взрывчатки. Сегодня, в случае необходимости, можно отделить от памятников голову вождя, загрузить ее в ракетоноситель, и мы увидим, как над Вашингтоном или Лондоном встанет гигантский, из раскаленной плазмы, памятник Иосифу Виссарионовичу.

Подземный поезд мчался, и

казалось, что он пролетает станции «Новослободская» со стеклянными витражами, «Проспект мира», похожий на драгоценный фарфоровый сервиз, «Комсомольскую», где на великолепных потолочных мозаиках, не испорченных фальсификаторами истории, изображен мавзолей с когортой вождей, — Сталин, Берия, Маленков, Молотов, Каганович. Стрижайло чувствовал дыхание великой эпохи, грандиозность замыслов и свершений.

— То что вы сейчас увидите, — с гордостью и таинственностью произнес директор, — является знаменитой «кузькиной матерью»,

которой пригрозил Хрущев в Организации Объединенных Наций. Это ядерный заряд самой большой в мире мощности, который мы могли бы сбросить в районе гренландских ледников и погрузить США в океан. Американцы отвлекли Хрущева от этой плодотворной идеи, подбросив ему через Аджубея мысль превратить СССР в житницу кукурузы. Так в очередной раз ЦРУ обыграло КГБ. Пускай вас не удивляет вид «кузькиной матери». По установившейся традиции, заряд обрел вид скульптуры, над которой работал знаменитый скульптор Вучетич. Мы в шутку называем его работу «Кузькина мать зовет».

Они медленно проехали громадный зал, среди которого стояла исполинская обнаженная дева, призывно раскрыв объятия, томно подзывая к себе возлюбленного. Этим возлюбленным мог бы оказаться североамериканский континент, если бы ни Хрущев, околдованный дьявольскими початками. «Кузькина мать» своими размерами и эстетикой затмевала «Статую Свободы», как процветающий сталинский строй затмевал гниющий Запад.

Поезд пронесся в полной темноте, достигнув гранитных глубин в самом центре Саян. Остановился у озаренной

платформы. Пневматические двери раскрылись, и Стрижайло вместе со всей делегацией вышел.

Зал поразил его. Он был выполнен, как мемориал, в темно-красных, торжественно-траурных тонах. Повсюду виднелись склоненные знамена, опущенное оружие, усыпанные цветами венки. Среди этого торжественно-печального великолепия возвышался ступенчатый, прозрачный кристалл, повторявший своими формами мавзолей. В глубине прозрачной хрустальной массы стоял гроб с телом Сталина.

глава шестнадцатая

Стрижайло всматривался в хрустальный кристалл, в котором, как в глыбе льда, окруженный прозрачными спектрами, лежал Иосиф Виссарионович Сталин. С первого взгляда Стрижайло ощутил мучительное волнение, необъяснимую нежность, таинственное обожание и влечение. Словно от вождя к нему протянулась невидимая нить света, загадочный луч, с которым неслась бесшумная весть, бессловесное послание. Казалось, Сталин долгие годы ждал его появления, терпеливо готовился к встрече, и теперь, когда она

состоялась, едва заметно, потцовски, улыбнулся.

Он был, как живой. Лицо, спокойное и величественное, с высоким лбом, на котором, словно границы эпох, отложились морщины. Крепкий, с горбинкой нос с распушенными седыми усами, накрывавшими верхнюю губу. На смуглых щеках чуть заметны оспины, словно прошелся град. Волосы серо-стальные, как слиток, с одиноко-отпавшим седым волоском. Руки сложены на груди, поверх военного кителя с краснозвездными золотыми погонами. На согнутых пальцах с сухими ногтями поблескивает маслянистая капля бальзама.

Воротник охватывает коричневую стариковскую шею с темным галстуком, на котором драгоценно, золотом, серебром и бриллиантами, сверкает «Звезда Победы». Весь его облик, знакомый, родной, вызывал у Стрижайло сыновье щемящее чувство, боязнь потревожить отца неосторожным движением, прервать его долгую думу. Вот-вот шевельнется рука на груди, в ней задымится вишневая трубка, мундштук утонет в усах, и над думающим лицом взовется голубоватая струйка, остекленеет в кристалле.

Стрижайло чувствовал, как между ним и Сталиным возникает

живая связь. Мириады молекул, из которых состоял Стрижайло, чутко замерли, обратились туда, где лежал в саркофаге великий вождь. Направили бесчисленные хрупкие лучики, как крохотные лазеры. В ответ, среди усопших молекул вождя отозвалась единственная, — та, что оставалась живой в луковице седого волоса. Как микроантенна, уловила сигнал. Вошла в контакт с молекулами Стрижайло. Выбрала ту, что располагалась на мочке уха среди восприимчивых нервных волокон. Между ними установилась хрупкая связь. Это была связь эпох, связь галактик, связь родственных душ, пробившая толщу пространства и

времени, преодолевшая разлуку отца и сына.

Между тем, вокруг саркофага происходило движение, готовилась церемония открытия съезда. Воздвигался помост, расставлялись кресла, вывешивались плакаты и лозунги. Среди присутствующих были октябрята с красными звездами, запевавшие серебристо и радостно «Летят самолеты, сидят в них пилоты...» Пионеры в красных галстуках, хором исполнявшие «Взвейтесь кострами синие ночи...» Ветераны войны с могучим песнопением «Вставай страна огромная...». Военные, делегированные из танковых частей

«Броня крепка и танки наши быстры...» Крестьяне из окрестных деревень с песней «Мы железным конем все поля обойдем...». Рабочий класс, с непреклонной верой в очах: «Владыкой мира станет труд...» Спортсмены в белых брюках и майках, пышущие здоровьем и молодостью: «Фискульт-ура! Фискульт-ура, ура, ура! Будь готов, когда настанет час бить врагов...» Авиаторы во главе с Чкаловым и Громовым: «И вместо сердца пламенный мотор...» Командиры гаубичных батарей и самоходных орудий: «Артиллеристы, Сталин дал приказ...» Бригада кузнечного цеха, отковавшая самую большую в мире

подкову: «Мы кузнецы, и дух наш молод...» Ученые, открывшие новый вид самого действенного в мире снотворного: «Любимый город может спать спокойно...» Землемеры с деревянными аршинами и миллиметровыми линейками: «Нам чужой земли не надо, но своей вершка не отдадим...» Все это множество вливалось в зал, рассаживалось на стулья и кресла. Маша Сталин и Сара Сталин управляли потоками, каждой делегации предоставляя заранее приготовленное место. Катя Сталин и Фатима Сталин стелили красную скатерть на стол президиума, ставили графин с водой, укрепляли

старомодный, довоенной
конструкции, микрофон.

Места в президиуме заняли
Семиженов, секретари Хохотун и
Забурелов. Елена Баранкина,
взволнованная, торжественная,
встала за спиной Семиженова с
красным знаменем. И над всем
таинственно сверкал прозрачный
кристалл, окруженный
мистическими радугами, среди
которых возлежал дремлющий вождь.

— Товарищи, — постучал
карандашом по графину Хохотун, —
мы должны выбрать Президиум
Съезда. Предлагаю голосовать
списком. Председатель Президиума
— товарищ Семиженов.

Председатель мандатной комиссии — товарищ Хохотун. Председатель счетной комиссии — товарищ Забурелов. Кто «за»?.. Кто «против»?.. Кто «воздержался»?.. Принято единогласно!.. Предлагаю открыть наш съезд!..

Зал разразился аплодисментами. Кто-то запел «В честь нашего вождя, в честь нашего народа...». Откликнулся другой конец зала: «Когда нас в бой пошлет товарищ Сталин...» Все накрыл торжественный хорал: «С песнями борясь и побеждая, наш народ за Сталиным идет...»

— Товарищи, — Хохотун, воздев ладонь, успокоил зал, — приступаем

к торжественной части нашего съезда, посвященной приданию товарищу Семиженову статуса «Иосиф Виссарионович Сталин», а так же назначению его на должность Председателя Политбюро, Председателя Совета Министров, Председателя Президиума Верховного Совета, с одновременным присвоением воинского звания «Генералиссимус». Кто за это, прошу поднять руки... Кто «за»?.. Кто «против»?.. Кто «воздержался»?.. Принято единогласно!..

Зал попытался было запеть ораторию «Мы сложили радостную песню о великом друге и вожде...», но поднялся Забурелов и

запрещающим жестом, наложив на губы перст, успокоил зал, добившись священнодейственной тишины.

Семиженов вышел вперед, замер перед залом, взволнованный, напряженный, с черным коком, с бледным бескровным лицом, на котором выделялась синева выбритых щек, пылали малиновые губы, фиолетовым блеском дрожали цыганские глаза. Его костюм от «Сен-Лорана» был безупречен, шелковый галстук от «Гуччи» отливал изумительными разводами, туфли от «Хьюго Босса» были сдвинуты пятками, с разведенными носами, будто Семиженов стоял в карауле. Рядом с ним таинственно

сверкал ледяной саркофаг в
прозрачными спектрами, среди
которых возлежал вождь.

Негромко заиграла музыка из
кинофильмов, написанная лауреатом
Сталинской премии композитором
Дунаевским. Под эту музыку из рядов
поднимались делегаты и шли на
сцену, полузакрыв глаза, как
замороженные, охваченные
лунатическим созерцанием,
погруженные в магические
сновидения. Октябрята, хрупкие,
нежные, подходили к саркофагу,
целовали прозрачный хрусталь,
словно стремились дотянуться сквозь
толщу до любимого дремлющего
лица. Выпивали из кристалла

таинственный свет. Несли на губах Семиженову. Целовали его ладонь, перенося невесомую субстанцию света от Сталина к Семиженову. Было видно, как у того вздрагивает под поцелуями рука, как вливаются в нее неведомые силы.

Октябрят сменили пионеры, за ними шли ветераны войны и труда. Припадали к ступенчатому кристаллу, покрывали беззвучными поцелуями, будто хотели растопить лед, дотянуться губами до дорого лица, оживить любовью и нежностью. Подходили к Семиженову, перенося на губах незримые капли света, драгоценную пыльцу восхитительного цветка,

опыляя и оплодотворяя Семиженова. Стрижайло видел, как совершается метемпсихоза. Лик Сталина в саркофаге медленно угасал и мерк, как если бы постепенно уменьшали в лампе силу тока, или в камине остывал светящийся уголь. Лицо Семиженова претерпевало изменения. Пропал эпатирующий черно-синий кок, сменившись седыми волосами. Бледные, с голубизной щеки посмуглели, на их выступили малые оспины. Малиновые, плотоядные губы померкли, их накрыли пышные седые усы. Цыганские фиолетовые, навывкат глаза приобрели золотистый оттенок, сузились в характерном

сталинском прищуре. Происходило магическое перенесение образа, претворение плоти, чудо преображения, совершаемое молитвенным дыханием множества верующих. Так художник с каждым мазком отнимает у натуры малую долю образа, переносит ее на холст, создавая портрет. Так пчелы, снимая с цветка капельку сладкого сока, несут ее в улей, сотворяя из нектара мед. Так предание и миф передаются из одного поколения в другое, обретая всякий раз немеркнущую красоту и величие.

Крестьяне, рабочий класс, творческая и научная интеллигенция приближались к прозрачной глыбе.

Припадали верящими устами, от которых хрусталь запотевал, как запотевает под стеклом икона. Начинал подтаивать и сочиться влагой, как мироточивый, намоленный образ. Люди отходили от саркофага бережно, вытянув губы, будто несли в них глоток драгоценного напитка. Приближались к Семижену, припадали к руке, вливали драгоценный эликсир. Точно так же поступали экипажи танков, расчеты самоходных орудий, летчики боевых эскадрилий. С каждым поцелуем от Сталина к Семижену передавалась таинственная сущность, менявшая образ Семиженина. Перевоплощала в

Сталина, награждала величественными чертами сходства. Исчез новомодный костюм от «Сен-Лорана», галстук от «Гуччи». Вместо них появился серый парадный френч с малиновыми галунами и золотыми погонами генералиссимуса. Вдоль брюк к полу ниспадали вишневые лампасы. Семиженов утратил напряженную, неестественную позу, обрел мягкую, чуть грузную осанку вождя, чья левая рука была по обыкновению согнута в локте, а на шее, под подбородком переливалась алмазная звезда.

Семиженов изумлялся этому перевоплощению, хотя сам был к нему причастен. Пригласил для

совершения магического ритуала знаменитых магов и чародеев, алхимиков и антропософов, прославленную ведьму Сибири, могущественного колдуна Тибета, не позабыв включить в состав спиритуальной бригады специалистов по пересадке органов, биоинженеров, а также театральных костюмеров и парикмахеров. И все же явленное чудо изумляло его. Рождало не чувство всемогущества, но недоумение по поводу зыбкости образов и их подобий, эфемерности человеческих сущностей, которые можно снять, как пальто. Будто человек — это всего лишь грим, а не прожитая в сражениях жизнь, не

судьба, неповторимость которой оплачена слезами и кровью.

С последним лобзанием, с которым припала к саркофагу Сара Сталин, понесла его к Семижену на пылающих любовью и верой устах, хрустальный кристалл погас, будто из него ушло солнце. В сумрачной глубине неявно проступал неразличимый контур. Но вместо Семижени теперь стоял великий Вождь и Отец народов, от которого исходило солнечное сияние.

— Товарищи, — торжественно, с прерывающимся дыханием, произнес Хохотун, — слово для доклада предоставляется товарищу Иосифу Виссарионовичу Сталину!

Зал восхищенно поднялся, рукоплескал, счастливо улыбался, тянулся навстречу лучам, словно поле подсолнухов. Вождь спокойно, привычно внимал, одаривая своих обожателей животворной энергией, без которой те не смогли бы построить социализм, выиграть войну, посадить лесозащитные полосы, возвести университет на Ленинских горах.

— Товарищи, — вождь слабо приподнял ладонь, и воцарилась такая тишина, что стало слышно, как торкает ножками эмбрион в лоне у Кати Сталин, которая приехала на съезд, невзирая на четвертый месяц беременности, — к нам в ЦК

приходят письма с мест, в которых коммунисты спрашивают товарища Сталина, почему в руководящих органах партии оказались перерожденцы и зазнайки, оторвавшиеся от партийных масс, не слушающие голос рядовых коммунистов, погрязшие в самодовольстве и шапкозакидательстве. Что может ответить на подобные письма товарищ Сталин? Грош цена таким руководителям, которые почивают на лаврах, делают вид, что участвуют в партийной работе, а на деле преисполнены зазнайства и очковтирательства. Место им на свалке истории, где уже находятся

такие перевертыши и предатели, как Троцкий, Бухарин, Зиновьев, Каменев и другие ренегаты и враги народа, ставшие добровольными агентами иностранных разведок. Теперь к ним присоединился Дышлов, о котором не зря говорят, что он заразился мелкобуржуазными предрассудками и использует партию, как орудие в достижении своих мелкобуржуазных целей. Будьте уверены, товарищи, что мы очистим наши ряды от перерожденцев и врагов народа, сохраним партию Ленина-Сталина, как партию рабочего класса. С нами великое учение Маркса-Энгельса, светлый гений Ленина,

несокрушимая мощь народа и армии, объединившихся вокруг своего генералиссимуса и вождя!..

Сталин пошел с трибуны на свое место в президиуме, а зал поднялся и наполнился оглушительными аплодисментами, здравицами в честь любимого Сталина, возгласами: «Дышлова к ответу!». «Если враг не сдается, его уничтожают!». «Да здравствует партия Ленина-Сталина!».

Вождь твердо и неторопливо поднялся на трибуну мавзолея, увлекая за собой остальных членов Президиума. Окружив вождя, они странным образом изменили свой облик. Хохотун стал похож на

Лаврентия Берия, поблескивая
пенсне. Забурелов стал вылитый
Ворошилов с маленькими
подвижными усиками. Елена
Баранкина превратилась в Семена
Буденного, распушив грозные усы.
Маша Сталин выглядела, как
Вячеслав Молотов. Катя Сталин
напоминала Анастаса Микояна. Сара
Сталин — Лазаря Кагановича.
Фатима Сталин — одновременно
Жданова и Маленкова. Все стояли на
трибуне, сплотившись вокруг вождя.

По площади двигались
нескончаемые толпы, пламенели
знамена, волновались транспаранты,
портреты руководителей партии и
правительства, венки и букеты

цветов. Над площадью плыл огромный серебряный дирижабль, неся портрет вождя, увитый розами. Взволнованный молодой голос, усиленный страстным мембранным звучанием, выкрикивал в микрофон цитаты из произведений Сталина, в разные годы вдохновлявшие советский народ на подвиги и свершения.

«Металл есть основа основ всей промышленности». «Кадры решают все». «Искусство принадлежит народу». «Важнейшим для нас является кино». «Жизнь стала богаче, жить стало веселей». «Враг будет разбит, победа будет за нами» «Будет и на нашей улице праздник».

Стрижайло был прекрасно осведомлен, каким способом была воссоздана праздничная демонстрация. Из лепнины, что украшала станцию метро «Октябрьская», был извлечен «рог изобилия». Символизируя плодородие и обилие Родины, он выталкивал из себя алебастровые яблоки, груши, виноградные гроздья, груды плодов и ягод. Этот рог был помещен в мощнейшее экстрасенсорное поле, создаваемое двумястами сильнейших магов и спиритов, которые, накурившись кальяна из корней одуванчика, превратили алебастровый горн в пульсирующую матку истории. Вслед

за яблоками, арбузами, тыквами, кабачками, капустой цветной и кольраби, дынями и огурцами из горна стали появляться ряды физкультурников, колонны демонстрантов, шеренги солдат, вереницы танков, батареи на конной и гусеничной тяге, сводный отряд барабанщиков, над которыми с ревом, оглушая пропеллерами и турбинами, неслись армады самолетов, с гигантским, как летящая гора, бомбардировщиком, где сидел в кабине Василий Сталин. Этот «рог изобилия» был доставлен на съезд, демонстрируя волшебное воскрешение истории.

Теперь у подножья мавзолея

двигалось шествие, где перемежались демонстрации и парады разных лет. Наивные и восторженные, тридцатых годов, со стахановцами, передовиками труда, полярниками и челюскинцами. Грозные, kloкочущие, с требованием расстрелять предателей, с уродливыми чучелами Троцкого и Зиновьева, с портретами товарища Ежова. Парад сорок первого года с затуманенными полками, вслед которым несло сталинское: «Дорогие братья и сестры, к вам обращаюсь, друзья мои...» Парад сорок пятого с белоснежным всадником, несущимся, как ангел, навстречу победоносным полкам, с

гвардейцами в касках, швыряющими к ногам вождя штандарты дивизий «Адольф Гитлер» и «Мертвая голова». Сталин на трибуне казался то молодым, жизнелюбивым, в белом холщевым сюртуке. То смертельно утомленным, в военной шинели. То умиротворенным, успокоенным, в белом кителе с лучезарным «Орденом Победы». Шествие завершилось, унося ворохи цветов и медь оркестра на Васильевский спуск. Действо переместилось в Георгиевский зал Кремля, где проходил великолепный прим в честь Победы.

Среди беломраморных стен, золотых начертаний, под горящими,

словно солнца, люстрами были накрыты столы. Вздыхались бокалы. Разгоряченные люди, — маршалы, генералы, герои полей и заводов, великие труженики и радетели — славили вождя, который уже произнес исторический тост за русский народ и теперь улыбался, устало и мудро взирая на соратников. Стрижайло оказался в той части зала, где собрались деятели культуры. Все изрядно выпили, наелись икры и балыков, чувствовали воодушевление и удивительную раскрепощенность, какая была в тот победный год, после великих напряжений и нескончаемых жертв.

Певцы Бунчиков и Нечаев как

всегда ссорились, отнимали один у другого вкусную колбаску, называя друг друга «тонкоголосыми евнухами». Лемешев и Козловский, напротив, помирились после долгой размолвки, причина которой крылась в том, что Козловский, исполнявший партию Онегина, выстрелил в Лемешева, исполнявшего партию Ленского, не из бутафорского дуэльного пистолета, а из трофейного «вальтера», едва ни уложив беднягу на месте. Балерина Уланова что-то нашептывала певице Барсовой, обе недружелюбно поглядывали на Зару Долуханову, к которой приставал какой-то подвыпивший генерал. Михалков

сочинил неприличную басню про Черчилля и рассказывал ее смеющемуся Ираклию Андроникову. Симонов, Сурков и Твардовский выпивали «на троих», заманивая в свое общество Шолохова, но тот отнекивался, уверяя, что давно не пьет. Артист Черкасов целовал руку Любви Орловой, и та пеняла ему, что не может понять, где он настоящий — Паганель или Иван Грозный. Все веселились, окружали Стрижайло своей именитой толпой, тянули к нему бокалы с шампанским.

Но Стрижайло было невесело. Он испытывал странную печаль. Казалось бы, затея его вполне удалась. Партия «Сталин» была

блистательно создана. Генералиссимус вдалеке стола под горящей хрустальной люстрой был Семиженовым, который чудесным образом перевоплотился в Иосифа Сталина. Но почему так печально на сердце? Отчего страдает душа? Какую неясную весть несет ему день грядущий?

Стрижайло чувствовал, как в мочке уха слабо ноет и трепещет молекула, — та, что породнилась с луковкой сталинского волоса. Эта луковка звала к себе. Стрижайло покинул пир. Сквозь золоченые двери, огибая маршала Жукова, ударяющего «под микитки» маршала Рокоссовского, перешел в соседнее

помещение, где в глубоком подземелье, в угасшем саркофаге, покоился истинный вождь. Одинаединственная живая молекула в корневище седого волоса сохраняла чувствительность среди бессчетного множества усопших молекул. Она вошла в сокровенную связь с молекулой Стрижайло, что слабо трепетала в мочке горячего уха. Стрижайло вдруг получил возможность погрузиться в дремотную память вождя, прочитаты запечатленные в ней эпизоды огромной жизни, узнать тайну судьбы, которая была зашифрована мифом, искажена льстивыми летописцами, подправлена

прилежными цензорами. Переместившись в молекулу Сталина, став луковкой волоска, он читал его память, испещренную таинственными письменами, которые звучали, как тихая грузинская песня «Черная ласточка».

Сталин поведал ему, что был сыном известного путешественника Пржевальского, — покидая их горную саклю, тот подарил матери невысокую изящную лошадь, и мать на вопрос соседей: «Чья это лошадь?» отвечала: «Лошадь Пржевальского». Находясь в Туруханской ссылке, он влюбился в молодую якутку, которая мазала черные волосы рыбьим жиром,

вплетая в них красную ленту. Она
родила сына, которому перед
побегом из ссылки он надел на шею
самодельный, выточенный из
моржовой кости крестик.
Впоследствии юноша со странной
грузинско-якутской внешностью
принял сан, пережил гонения на
церковь, стал митрополитом и в
жесткие дни сорок первого года
добился свидания с отцом, —
предъявил ему рукодельный крестик,
после чего вдвоем, ночью, в пустом
Успенском соборе, при одной свече,
они молились за спасение России.
Монах ушел на фронт, и погиб в
окопе с панфиловцами, останавливая
иконой атаку немецких танков.

Отправляя в Мехико чекиста Меркадера, самолично осмотрел ледоруб, хромированный, с клеймом завода «Серп и молот», попросил разведчика: «Бей наверняка, в висок. Чтобы Лев Давыдович не мучился». После «Съезда Победителей», всем составом делегатов, состоялся выезд на речку Клязьма, где был устроен праздничный банкет. Делегаты, носившие табельное оружие, выпили лишку, перессорились и перестреляли друг друга, и он, огорченный, ходил между убитых и сам закрывал им глаза. Вышинский на процессах «троцкистов» требовал помиловать Бухарина, Зиновьева и Каменева, предлагая им от имени

Сталина вернуться на партийную работу, но те, испытывая жгучую вину перед партией, сами настояли на смертном для себя приговоре. Адольф Гитлер тайно побывал в Москве летом сорокового года, вместе со Сталиным они жили на Селигере, в рыбацьем домике, ловили на «кружки» и на «донку» судака и сазана. За ними ухаживала возлюбленная Сталина, деревенская красавица Ева Баранова. Гитлер увлекся девушкой, тайно, с помощью Шелленберга, вывез в Германию, где она жила в «Вольфшанце» под именем Ева Браун. Война между СССР и Германией явилась результатом этого похищения, чем

напоминала Троянскую войну из-за прекрасной Елены, о чем Сталин поведал Рузвельту во время ялтинской конференции. Умирая в бункере Имперской канцелярии от яда, Ева Браун на русском языке прошептала: «Только тебя любила, Иосиф», о чем сообщил на допросе оберштандартенфюрер СС Отто Вайс. Еврейский режиссер Михоэлс в последние месяцы жизни страдал психическими расстройствами, выколол себе на груди «Статую Свободы», призывал США войти в состав СССР в качестве отдельной республики. Когда мимо проезжал «студебекер», он кинулся под колеса с криком: «Виват, социалистическая

Америка!», и погиб, как «красный еврей». Во время проектирования высотных зданий в Москве Сталин сам выбирал места для закладки, которые совпадали с расположением древних церквей, — и по сей день они оберегают Москву от нечистой силы. В последний день февраля 1953 года Хрущев был вызван на кунцевскую дачу, где Сталин раскрыл ему свой план упразднения СССР и создания «империи русского языка», предполагавший роспуск партии, органов КГБ, открытие «железного занавеса», а также переименование всех крупных городов мира от Берлина и Варшавы, до Пекина и Ханоя, включая Москву,

Новосибирск и Владивосток, которым будут присвоены имена великих русских писателей, — Пушкина, Лермонтова, Толстого, что превратит земной шар в культурное пространство русской литературы. Хрущев, ненавидящий литературу, узнав о грандиозной реформе, влил Сталину в бокал «хванчкары» ампулу стрихнина, смотрел, как «падаю я на ковер, как летит в воздухе хрустальный бокал, расплескивая отравленное вино».

Стрижайло стоял над сумрачным саркофагом, испытывая сладостную печаль, неразрывное слияние с вождем, щемящее сострадание к бессловесному

человеку, который передает ему свою сокровенную тайну. Он, Стрижайло, поместился в луковице волоска, прочитывает письма великой судьбы, продлевает в себе великую жизнь.

Почувствовал, как кто-то невидимый протянул к саркофагу могучую руку. Проник сквозь кристалл к безмолвному телу. Коснулся холодного лба. Выдрал седой волосок с последней живой частицей. Пронес волосок сквозь гранитные катакомбы на воздух и свет, где на красных горах росли зеленые кедры, в теснинах гремел Енисей. Сдул с ладони седой завиток, и тот, подхваченный ветром,

полетел над рекой, опустился в блестящие воды.

Стрижайло почувствовал, как его скрутило, ввергло в воронку, понесло в пузырях и брызгах. Мельчайший, незримый, он несся среди бурунов и всплесков. Мимо проносились огромные рыбы, хлюпали днища кораблей. Он ударялся о гранит, опускался на дно, выплескивался под немеркнувшее небо Севера. Пропадал, задыхался, испытывал ужас, предавал себя во власть неведомых грозных сил, пока впереди ни открылся необъятный простор. Нежная синева океана. Туманное серебро полярных льдов. И тогда он испытал блаженство,

успокоение страстей, исчезновение страхов. Превращался в необъятную синь, где сливались земля и небо, и витало чудное бессловесное слово.

глава семнадцатая

В Москве Стрижайло посвящал свое время реализации грандиозного замысла, данного ему, как прозрение. На предстоящих выборах в Думу должны быть разгромлены коммунисты и подавлены олигархи, стремящиеся отстранить Президента. Замысел, как бульдозер «катерпиллер», сияющим ножом расчистит политическое пространство, и среди обломов уничтоженных партий, мусора растоптанных репутаций будет возведено величественное здание новой архитектуры. Президентские выборы подтвердят полномочия

Президента Ва-Ва, великого
преобразователя, сокрушителя
либерализма, творца новой,
небывалой страны. Ум Стрижайло
пылал, как глыба обогащенного
урана. Идеи вырывались, как
солнечные протуберанцы, порождая
магнитные бури, от которых у
противников случались инсульты, а у
сподвижников усиливалась эрекция,
в седые волосы возвращался пигмент,
начинали работать уснувшие участки
мозга, ответственные за
инфернальное творчество. Среди
неусыпных трудов, беззастенчивых
авантюр, блистательных
аттракционов его не покидала
странная тревога, тайная

неутоленность, загадочная
неполнота, которую не заполняла его
фонтанирующая деятельность.

«Блоу-ап» Антониони, когда в
темных деревьях Гайд-Парка ему
померещился синий лик мертвеца, —
едва ощутимый просчет, словно в
чертеж проекта чьей-то умелой
рукой был внесен незаметный
дефект, грозящий крушением
конструкции.

Странная,
необъяснимая боль, которую он
испытал на даче Дышлова, когда
деревенская мать целовала
ненаглядного сына, а он, Стрижайло,
готовил им обоим погибель.
Содроганье и ужас, которые испытал
в «Городе счастья», когда

сверкающий нож сгребал холодные трупы, и их загоняли в пласт, чтобы превратить в первосортную нефть, — не свойственное ему сострадание. И, наконец, во время недавней поездки в Красноярск, среди урановых боеголовок, выточенных по эскизам скульптора Клыкова, он обнаружил бюст Президента Ва-Ва, — намек на иной, помимо кремлевского, могущественный центр власти, нахождение которого было неизвестно.

Все это внушало тревогу, создавало ощущение, что блестящий проект, напоминавший ракету с множеством разделяющихся боевых частей, имеет сбой, коррекцию координат. Взрывы, уничтожая

заложенные в бортовой компьютер объекты, уничтожат еще один, не включенный в перечень целей.

Однако это не мешало Стрижайло наращивать успех операции. Теперь он сидел в «люксе» ярославской гостиницы, напротив Грибкова, который абонировал великолепный номер, заказав в апартаменты обед. Наутро Грибков собирался принять участие в крестном ходе, от стен отдаленного монастыря, что подчеркивало его близость к православию, усиливало популярность среди верующих патриотов. Предстояло раннее пробуждение, поездка на автомобиле в монастырь, долгое шествие по

лесам и лугам, среди молитв и песнопений. Теперь же он наслаждался обстановкой богатого номера, предвкушением вкусного обеда. Маленький, щуплый, с некрасивой умненькой головой, на которой кривился вялый рот и бегали темные встревоженные глазки, слушал Стрижайло, исполнявшего роль дьявола-искусителя:

— А вы уверены, что Дышлов сдержит обещание и оставит вас в лидирующей «тройке» партийного списка? Что в последний момент перед выборами он ни откажется от вас в пользу преданного клеветы Карантинова или какого-нибудь кубанского «батьки» Кондрата? Ведь

Дышлов вероломен, и частью его стратегии является постоянный обман союзников, умелое «кидание» тех, в ком видит конкурентов. Он вас будет морочить до последнего момента, а потом выдавит из списка, и вы окажетесь просто на улице.

— Я, как политик, допускаю любое развитие событий, включая и это. Однако я не стал бы делать эту версию главной. Слишком многое меня связывает с коммунистами, — осторожно ответил Грибков. Умные бегающие глазки зыркали из круглой головки, словно чуткий зверек недоверчиво выглядывал из дупла. Ожидал подвоха, скрытой ловушки, клюва и когтей хищной птицы.

Многие годы перебегая из партии в партию, испытывая унижения, вращаясь среди сильных, ярких политиков, Грибков привык к постоянным опасностям, был начеку. Высовывался наружу ровно настолько, чтобы успеть юркнуть в норку, едва мелькнет косая тень совиного крыла.

— Дышлов вас ревнует к партии. Вы — несомненный кумир, новый лидер, интеллектуальное лицо КПРФ. Ваша экономическая программа легла в основу партийной политики. Ваше умение держаться на телевидении, убедительно и страстно полемизировать делает вас лучшим оратором партии. Ничего этого нет у

Дышлова. Он паразитирует на вас, пьет ваши соки. Как только он почувствует, что напился, или что члены партии вас, а не его видят лидером, он немедленно с вами расправится. Вы станете ждать, когда это случится? Смиренно примите позор изгнания?

— Мы с Дышловым нужны друг другу. У нас симбиоз, от которого выигрывает каждый и вся партия в целом. Он не станет пилить сук, на котором сидит, — Грибков старался быть рассудительным, но глазки его дергались фиолетовыми лампадками ненависти. Он ненавидел Дышлова, который уступал ему в интеллекте, утрачивал популярность, используя

аппаратную хитрость, чтобы
удерживать партийную власть,
манипулировал секретарями, умело
ослабляя всякого, кто выбивался
вперед. Эта ненависть, горячая, как
бензин, воспламеняла натуру
Грибкова. Питала мотор,
сконструированный Стрижайло.
Двигала план подавления
коммунистов.

— Вы — символ русского
патриотизма. За вас проголосуют
патриоты, близкие к церкви,
монархисты, русские бизнесмены, —
все те, кто никогда не проголосует за
коммунистов. Находясь в КПРФ
рядом с Дышловым вы, несомненно,
облагораживаете генсека, делаете его

более привлекательным, скрадываете своей академической респектабельностью сермяжные повадки Дышлова. Но, тем самым, вы оставляете без лидера огромные слои русских патриотов, которые просто не пойдут на выборы, заруют свои голоса в песок. По-христиански ли это? Вправе ли мы зарывать свой талант в землю?

— Если Дышлов заметит малейшую самостоятельность, грозящую его лидерству в партии, он немедленно приведет в действие маховик аппаратного подавления. Я буду уничтожен. Вся моя сложная стратегия взаимодействия с КПРФ пойдут прахом, — было видно, что

Грибков боится, но эта боязнь не скрывает жгучую страсть, не останавливает болезненное нетерпение, которым отличались все властолюбцы. Как и прочие, кого коснулось болезненное безумие, он мечтал о президентстве. Видел себя избранным Президентом России.

— Вам необходимо вырваться из дурной гравитации Дышлова. Вы уже давно не куколка, вы бабочка. Вам нужно распороть стесняющий вас кокон и вылететь на свободу, чтобы люди увидели великолепный орнамент ваших крыльев. У вас блестящее будущее. За вас проголосует народ. Вы с блеском пройдете в Думу и создадите там

свою фракцию. Эта фракция станет основой будущей партии. Долгожданной партии патриотов России. Пусть «красные» патриоты движутся на выборы своей колонной, вы же возглавите колонну «белых». Убежден, вас поддержит Церковь. Ваши выступления с требованием передать церкви земельные наделы вызвали огромный резонанс в Патриархии и среди приходского духовенства. Нужна только смелость и воля.

— Вы же знаете, я не из трусливых. Воли мне не занимать. Иначе, после стольких неудач, я бы давно ушел из политики, — маленькая головка Грибкова

заострилась, набрякла на упругой шее, которая переходила в тщедушное тельце. Но и зыбкое тело, и напряженная шея, и целеустремленная упрямая головка складывались в неодолимый вектор, какой бывает у сперматозоида, выпущенного в яростный горячий полет к желанной цели. Стрижайло понравилось сравнение, но он испугался, что Грибков может прочесть его мысли.

— Я, политолог, исследую вашу ситуацию, исследую статистику, риски. Убежден, что ваш выход из компартии накануне выборов будет для вас беспроигрышный. Вас поддержит власть, желающая

ослабить коммунистов. Вы получите мощную поддержку телевидения, значительный финансовый ресурс. Повторяю, это вопрос воли и энергии.

— Люди это ни поймут, как предательство?

— Люди это поймут, как отважный политический шаг. За вами устремятся миллионы избирателей, особенно если правильно построить предвыборную кампанию. Когда вы примите решение, я вам готов помогать. Готов служить мостом между вами и Администрацией Президента. Готов провести тайные переговоры с Потрошковым. Более того, я вижу

последовательность комбинаций, в результате которых вы становитесь Президентом России. Вряд ли есть человек, более достойный, чем вы.

Стрижайло увидел, как зарумянились щеки Грибкова. Темные глазки утратили выражение страха, испустили два страстных, нетерпеливых луча, которые тут же погасли, прикрытые белыми веками.

Стрижайло не продлевал разговор. Тонкие яды, которые он впрыснул в Грибкова, медленно расплывались по кровеносной системе, вызывая у больного жар.

В «люкс» постучались. Красивая официантка в короткой юбке, переступая длинными ногами,

вкатила тележку с обедом. Среди супниц и соусниц возвышалась бутылка коньяка.

— Отличное зрелище, — засмеялся Грибков, проведя рукой по выпуклым ягодицам женщины, просовывая ладонь между круглых колен. Официантка жеманно хихикнула. — Ну что ж, — обратился Грибков к Стрижайло, — выпьем за все прекрасное. А то ведь завтра пост, вериги, источник святой воды, — потянулся к бутылке, продолжая оглаживать женские ноги.

Утро было чудесным, летним, сияющим. Они мчались на «мерседесе» из Ярославля по

восхитительной дороге, на которой лежали голубые тени деревьев, а окрест расстилались хлебные нивы, синие холмы, туманные рощи с шатровыми колокольнями сельских церквей.

Крестный ход отправлялся от старого монастыря, по проселкам, от храма к храму, где предполагалось служить молебны, вдохновляя «честным крестом» православных обитателей полупустых селений. Грибков намеревался проследовать с крестным ходом часть пути, до первого села, где его будут ждать журналисты и телекамеры. Сфотографируется среди молящегося люда, даст интервью местной и

столичной прессе, а потом покинет процессию, сядет в «мерседес» и уедет в Ярославль, где у него намечалась встреча с бизнесменами.

— Думаю, мы вместе уедем, — сказал он Стрижайло. — Вряд ли у вас хватит терпения участвовать во всем турпоходе.

Они сменили дорогую одежду на затрапезное платье, обулись в поношенную обувь, оставили в гостинице дорогие часы и галстуки и, готовые к пиар-акции, внешне не отличаясь от обеднелого провинциального люда, обсуждали в машине непомерную стоимость телевизионного времени в связи с приближающимися думскими

выборами.

Вышли из машины у монастыря и проследовали пешком сквозь небольшие ворота в толстенной краснокирпичной стене, напоминавшей боевую крепость. Монастырь был древней обителью с кельями, соборами, ракой преподобного, с паломниками, которые отдыхали на зеленой траве, уложив на землю свои торбы, подорожные сумы, страннические посохи.

Грибков направился к собору, где шла заутреня, и перед входом истово, трижды осенил себя крестным знаменiem. Не глядя по сторонам, надеялся на то, что виден,

заметен, что его православная сущность не подвергается сомнению.

— Смотри-ка, да это Грибков, — ахнула рядом немолодая богомолка в белом платочке. — Он наш, православный, за него по церквям молятся...

В просторном прохладном соборе, со следами недавнего, не до конца преодоленного запустения былолюдно, торжественно. Монахи в черном пели в хоре, поправляли накренившиеся хрупкие свечи, били поклоны перед иконами, украшенными полевыми цветами. Служил настоятель, сухощавый, с заостренной седой бородой монах, чья темная мантия развевалась, как

бесшумные крылья. Стрижайло почтительно стоял в сторонке, делая набожное лицо, стараясь не встречаться взглядом с прихожанами, чтобы те не разглядели в глазах веселой иронии и игривости, вызванной созерцанием Грибкова. Привыкший находиться в президиуме на виду, тот прошел вперед, к алтарю, чтобы попасться на глаза настоятелю. Каждый раз, когда начинали креститься и восклицали: «Благословен Бог наш...», он твердой щепотью бил себя в лоб, в живот, махал от правого плеча к левому. Быстро, деловито сгибался в поклоне. Стрижайло подумал, что ритуал предвыборной кампании

включал в себя, как составную часть, ритуал богослужения, а, значит, сама компания была видом религиозного таинства, в котором он, Стрижайло, являлся жрецом, не меньшим, чем этот изможденный монах в клобуке и мантии.

Службы кончилась, народ повалил наружу. За храмом, на зеленой луговине были расставлены столы. Лежала снедь, — буханки хлеба, груды огурцов, помидоры, банки с домашним компотом, миски с малиной. Богомольцы окружали столы, вкушали нехитрую пищу, подкрепляясь в дорогу.

— Отведайте, — Грибков откусил сочный огурец, громко,

аппетитно жуя. — Здесь вам в «люкс» обед не закажут.

— А вы молодец, как зеленый огурец, — пошутил Стрижайло, отмечая артистизм Грибкова, который, к удовольствию странниц, мелко крестил плоды земные, прежде чем отправить их в рот.

И уже гремели колокола, звучали песнопения, — из церковных врат появлялось духовенство, начинавшее крестный ход. Впереди выступал игумен, торжественно-легкий, медлительно-плавный, в черном облачении, окруженный братией, над которой развевались малиновые и золотые хоругви, вздымались иконы Спасителя и Богородицы. Монахи

несли кресты, чашу святой воды, дымные кадила. Настоятель макал в чашу кропило, взмахивал по сторонам, рассылая солнечные брызги. Богомольцы ловили на лицо драгоценную влагу, подхватывали псалмы, становились в процессию, которая медленно выплывала из монастыря в город.

Стрижайло залюбовался архаической красотой шествия, напоминавшего оперные сцены «Хованщины», религиозные картины Нестерова.

Грибков шагнул в толпу, осенив себя крестным знамением. Кто-то узнал его, вручил тонкую свечечку. Он благоговейно нес перед собой

бледный огонек, опустив глаза долу, зная, что многие, узнав его, смотрят.

Стрижайло с интересом рассматривал текущее шествие. Впереди, окруженный монахами, ступал игумен, на плечах которого темнели чугунный кованые вериги с пудовым крестом и цепями, — ноша, которую при жизни носил преподобный, символ страданий и святости. За черными монахами выстраивались прихожане монастырского храма, благостные, синеглазые, с открытыми поющими ртами. Несколько крепких молодцов с бритыми головами, «разбойников благоразумных», жертвующих на церковь после ночных набегов.

Несколько городских чиновников, демонстрирующих единство церкви и власти, по виду, бывших советских работников. Два или три казака с лихими усами, лампасами и газырями, парадно, напоказ крестившихся. Следом тянулась нестройная, разноцветная, поющая толпа, состоящая из мужчин и женщин, старух и детей, кормилиц с младенцами на руках и хромающих на костылях инвалидов, убогих и юродивых, нищих и побирušек. Все множество провинциального люда, под колокольные звоны и песнопение выступавшее в странствие, — то ли повторяя крестный Христов путь, то ли

совершая исход из плена в поисках обетованной земли. Стрижайло не понимал их стремлений. Витавшее в толпе благоговение не захватывало его. Он высматривал Грибкова, — тот шел невядалеке от монахов, поместив себя среди местной знати, сосредоточенный, точный, выполняя роль, которую предложил ему Стрижайло, — роль православного патриота, привлекательную для будущих избирателей.

Шагнул в толпу, оказавшись среди немолодых, умильно поющих женщин и сутулого бородатого мужчины с кожаной сумой через плечо.

— Батюшка наш, отец игумен,

не верижки тащит, а наши с вами грехи, — вздохнула одна из женщин, адресуя свое замечание Стрижайло и тем самым принимая его в свой круг.

Процессия шла по городку, с деревянными домами и палисадниками, убогими вывесками и обветшалыми дорожными знаками, с рынком, лотками, милицейской машиной, из которой выглядывало скучное лицо милиционера, с обывателями, пялящими на процессию сонные глаза. Городок был убогий, сюда не дохлестнула сверкающая волна московской жизни. Здесь жили бедно, ели плохо, думали вяло, и единственно, чем был отмечен городок среди окрестных

провинциальных селений, — монастырь с ракой преподобного, труждающейся и обремененной братией, которая раз в году отправлялась с крестом по окрестностям. Стрижайло иронично представлял себя, идущего среди богомольцев, принимавших его за единове́рца, не ведавших, что они нужны ему для краткого, одномоментного действия, после которого в газетах и на телевидении появится Грибков, осеняющий себя крестным знамением среди духовенства и набожной паствы.

«Странно, — подумал Стрижайло. — Либералы, во многом евреи, оставили себе право

заниматься финансами, технологиями, авангардной политикой и культурой, отдав патриотам, как правило, русским, строительство храмов, перенесение мощей, крестные ходы и молебны. И русских это устраивает, — в России все больше часовен и крестных ходов, все меньше заводов, лабораторий, дивизий». Эта мысль не огорчила его, а лишь усилила иронию по отношению к женщине с увядшим лицом, в долгополой юбке и стоптанных туфлях, благоговейно взиравшей на монаха в веригах.

Процессия вышла за город, спустилась к реке с шатким деревянным мостом, под которым

купались лупоглазые мальчишки, воззrivшиеся на процессию, как водяные зверьки. Перевалили по проселку высокий берег и вдруг оказались среди дивных, волнистых пространств, зеленых, золотых, голубых, где хлебные нивы перемежались с лугами, на солнечных холмах темнели дубравы, в разные стороны растекались дороги и тропы, и каждая судила восхитительную встречу, наивную радость, негаданное чудо. Настоятель, передавший вериги спутнику, двигался навстречу процессии, окунал кисть в серебряную чашу, которую поддерживал отрок, кропил народ.

Люди, попадавшие под солнечные брызги, преображались, начинали улыбаться, покрывались счастливым румянцем, шептали слова благодарности. Монах бодрым шагом проходил мимо Стрижайло, быстро, зорко взглянул из-под темного клобука, махнул кропилом, обдал блестящим ворохом. Прوماхнулся. Лишь одна капля попала на лицо Стрижайло. Он почувствовал ее попадание, как слабый сладкий ожег. Водяная брызга из чаши мерцала на его щеке, как радужная росинка. Стала погружаться в него, впитывалась, расточалась крохотным облачком теплоты и света. Он чувствовал проникновение в свою

плоть капли святой воды, и его плоть, состоящая из чутких молекул, дрогнула, насторожилась, обратила против крохотной росинки все свои живые корпускулы и частицы. Не принимала каплю, пыталась ее отторгнуть. Медленно отступала, давая дорогу крохотной радуге, продвигавшейся в глубь его тела, все ближе к сердцу.

Шествовали час, или больше. Вошли в село с большой белой церковью, над которой круглились аляповатые синие главы. В ограде зеленело кладбище с крестами, жестяными венками, с несколькими старыми, из черного мрамора надгробиями. Приходской священник

облобызался с настоятелем. Стояли в прохладной прозрачной тени церкви, служили панихиду по всем усопшим, кто покоился в поросших могилах, под кустами начинавшей краснеть бузины, под высокими березами, где в плакучих вершинах качались и кричали грачи. Стрижайло разглядывал надгробье с обломком черно-мраморного креста, на котором было выведено: «Суди мя, Господи, не по грехам моим, а суди мя, Господи, по милосердию Твоему». Испытывал странное недоумение, сладостное непонимание, благодатную печаль, слушая тягучие песнопения, вдыхая кадильный дым. Усопшие, навсегда

покинувшие землю, бесследно
исчезнувшие, оставались в поле
зрения поющих монахов,
взмахивающего кадилом священника,
молящихся богомольцев. Были не
прахом, не пустотой, а живой явью,
дорогой и важной тем, кто покуда
еще жив, не ушел под корни бузины,
не превратился в дуновение ветра и
крик грача. Эта забота живых о
мертвых, связь умерших и тех, кто
еще оставался среди света и воздуха,
волновали Стрижайло, в чем-то его
укоряли. Он чувствовал движение
крохотной радужной капли,
опускавшейся в дышащее,
изумленное сердце.

От церкви двинулись на

середину села, где были выставлены столы, навалены огурцы, краюхи хлеба, огородные дары, стояли бутылка кваса. Деревенский люд угощал богомольцев, — лобызались, обменивались новостями, вели богоугодные разговоры. Зрелище этого чистосердечного гостеприимства и бесхитростного братания умиляло Стрижайло. Он изумлялся в себе этому умилению, несвойственной сентиментальности, которые сменили недавнюю иронию и отчужденность.

Грибков, еще до входа в село, надел вериги. Зацепил за плечи грубые кованые крюки, навалил на щуплую грудь тяжеленный кованый

крест. В цепях, в железных слитках
выглядел странно, нелепо.
Чувствовал свою нелепость,
смущался. К нему подлетели
журналисты, — несколько
телекамер, несколько протянутых
диктофонов, блокноты, шустрые
репортеры, какая-то тощая, в помаде
и мини-юбке девица.

— Почему вы надели вериги?

— Потому что власть — это
тяжкая ноша, но в этой ноше есть
святость и посвящение, — сурово,
как инок, ответил Грибков.

— Вы уверены, что на выборах
православная церковь поддержит
вас?

— Нашей святой православной

церкви не безразлично, кто правит Россией, — православный, или католик, или американский мормон, или сатанист. Церковь во все времена была со своим народом, — потупив глаза, отвечивал Грибков.

— Верующих не отпугнет, что вы ассоциируетесь с безбожными коммунистами?

— У верующих есть глаза, и они увидят, кто безбожник, а кто верует во Христа, — Грибков поправил а плечах вериги, обернул лицо к синим церковным главам и перекрестился перед телекамерами.

Посверкали вспышки аппаратов, померцали телеобъективы. Журналисты погрузились в машины

и веселым ворохом укатили. Грибков отдал вериги молодому монаху, подошел к Стрижайло:

— Ну что, можно и назад, в Ярославль?

— Поезжайте, я вас догоню, — ответил Стрижайло, испытывая к Грибкову нечто, похожее на презрение, хотя тот выполнил все его предписания, вел себя безукоризненно, давая заготовленные ответы на заготовленные вопросы.

Грибков, поджаренный и вспотевший на солнце, сел в «мерседес» с кондиционером и укатил, распугивая деревенских кур. А процессия, подкрепившись от даров земных, тронулась в путь,

увлекая за собой Стрижайло, не желавшего расставаться с необычными, овладевшими им переживаниями.

Путь под палящим солнцем был утомителен. От башмаков над процессией поднималась пыль. Пот заливал лицо. Голоса певчих то обрывались в бессилии, то страстно и истово зывали к небу.

— Батюшка сказал: «Сходи крестным ходом, помолись Богородице, тогда и родишь», — произнесла идущая рядом молодая красивая женщина, в долгополом смиренном платье, больших башмаках, повязанная платком.

— У меня желудок болит. Как

схожу крестным ходом к источнику, поплюю водицы, мне на полгода здоровья хватает, — отозвалась болезненная долгоносая женщина, похожая на галку, — прихрамывала, опираясь на деревянную палку.

— Мы Господу не одни грехи несем, но и достоинства наши, — строго заметил высокий худой старик с солдатской выправкой.

Стрижайло с удивлением внимал, — не звучащим речам, а необъяснимым, новым для него состояниям. Народ, всегда существовавший для него, как объект обольщения, обмана, который можно было испугать, раздражить, возбудить необязательным посулом,

неподтвержденным наветом — этот народ был больше не подвержен его влияниям. Был обращен к чему-то невидимому, восхитительному и благому, что давало ему силы и питало надежды. И этот народ доверчиво принял его к себе, не спросил о роде-племени, повел по дивной русской земле, накормил плодами, окропил святой водой, окружил песнопениями и молитвами.

Странники выходили под палящее солнце, окунались в глубокие прохладные тени. Напоминали племя, снявшееся с насиженных мест, устремленное в неведомые дали, где надеялось

обрести благоденствие. Шли женщины с детьми на руках, старцы, опираясь на посох, суровые мужчины, изможденные в трудах и лишениях, нежные девы и отроки. Их вел упорный, ведающий пастырь, — прокладывал маршрут по одному ему видимым звездам, слушая лишь для него одного звучащий голос, заглядывая в книгу с письменами, смысл которых был ведом лишь ему одному. Стрижайло, изнемогая, испытывая жажду, доверял пастырю в черном клобуке, не разделял себя с верящими, ожидающими чуда странниками. Шел краем горячего пшеничного поля со стеклянным блеском колосьев, радостно углядев

на стерне мохнатый голубой василек. Пересекал сочную луговину с клейкими красными цветами, белая бабочка пролетела у его лица, и ему показалось, что он уловил благоухание ее медовых крыльев. Перебредали мелкий ручей, черпая башмаками воду, и он наклонился, подхватил на ходу сладкую горсть воды, остудил горячие губы. Чувствовал, как что-то приближается, — вокруг, среди озаренной природы, вдалеке, среди туманных далей, и в душе, где становилось все светлей, свободней. Видно, капля святой воды, одолевая сопротивление неодухотворенных молекул, прокладывала себе путь к

сердцу.

Он вдруг увидел невдалеке, через несколько голов, в нестройной, бредущей толпе, старушку, — маленькая, с веселым лицом, сияющими глазами, чудной улыбкой. На голове была шляпка из белой рисовой соломки. Сухое легкое тело облекала белая блузка. Плотная юбка спускалась почти до земли. В этой старушке Стрижайло узнал вдруг бабушку, — ее французская шляпка украшала седую голову. Ее милые, любящие глаза смотрели на него с обожанием. Ее восхитительная улыбка озаряла лицо. Он испытал радостный испуг, головокружение, в котором исчезло реальное время, а

возникло иное, сокрытое, в котором существовала иная жизнь, где бабушка не умирала, где ее утлый гроб не пропадал в чреве крематория, где над грязно-белой трубой не взлетал бесформенный серый дым. В этой жизни бабушка продолжала существовать, любила его, называла: «Мой милый, мой милый Мишенька!». Испытывая сладкий обморок, он кинулся к бабушке, пробираясь через бредущий люд. Но ее след простыл. Он двигался в толпе, спрашивая богомольцев: «Не видали старушку, в белой соломенной шляпке, в шелковой блузке?» Но повсюду был ответ: «Не видали». И он смирился с мыслью,

что это был тепловой удар, солнечная галлюцинация, или капля святой воды достигла сердца, и случилось видение бабушки.

Впереди, на горах, возник отдаленный храм. Парил, не касался земли, бело-голубой, прозрачный. Казался реющим облаком. Слабо колыхался в дуновениях ветра. Был миражом, который оторвется от солнечной земли и растает. Стрижайло тянулся на его прозрачную синеву. Храм имел цвет прозрачной голубой спирали, что была едва заметна в его геноме, затмеваемая красной, огненной половиной. Теперь же, во время странствия, среди поющих

богомольцев, в окружении полевых цветов и колосьев, голубая спираль стала увеличиваться, наполнялась цветом и силой. Была храмом, парящим в холмах. Молитвенным ожиданием, вселившимся в сердце. Ему казалось, что наряду с очевидной, жадно проживаемой жизнью, исполненной страстями, неутолимой гонкой, бурными наслаждениями и бессердечной игрой ума, существует иная, потаенная жизнь, ему неведомая, в которой, тайно от себя, он проживал иные события, совершал иные поступки, исполненные любви, смирения, кроткой веры и обожания. Эта вторая жизнь по-прежнему

оставалась неведомой, но была где-то рядом. Стоило совершить усилие, вырваться из цепких объятий разума, и он переместится в иную плоскость, в иную глубину, и сон станет явью, а явь отодвинется в неправдоподобный сон. Вокруг него возникнут другие люди, зазвучат другие голоса. Тайное станет явным, а казавшееся явью сгинет, как наваждение. Это было сладко, мучительно. Его существо напряглось, превратилось в поле сражения. Одна половина сражалась с другой, красная с синей. Две спирали, две жизни соперничали, будто в небе, под солнцем, слетелись две крылатых силы, били друг друга крыльями, сражались за его душу.

Песнопения, нестройные,
истовые, летели над толпой, как
прозрачный огонь, разносимый
ветром, — от головы шествия, где
ступали монахи, блестел крест,
дышало дымом кадило, к хвосту,
состоящему из пестро одетых
богомольцев, светлых платков,
букетиков полевых цветов.
Возносился рокочущий голос:
«Миром господу помолимся...»,
множество рук нестройно взлетало,
народ на ходу клал поклоны, и это
напоминало поле колосьев, над
которым катился ветер. Стрижайло
видел, как крестится крепкий
сутулый старик, ударяя щепотью в
коричневый лоб, впалый живот, в

твердые деревянные плечи. Вдруг захотел повторить эти таинственные движение, которыми охватывалось человеческое существо, помещалось в невидимое, опечатанное крестом пространство, где совершалось великое таинство. Стал поднимать руку, слагая троеперстие. Но рука вдруг наполнилась тяжестью, плечо и локоть захрустели, будто стали ломаться, мышцы утратили гибкость, окаменели, и весь он наполнился страхом и неестественной болью, словно тело ужаснулось предстоящей ампутации, вторжению острой стали. Так ужаснулись составляющие его молекулы. Встрепенулись сонные духи, дремавшие, как летучие мыши,

вниз головами, прицепившись к темным стропилам его сумеречного бытия.

Испуганно опустил руку, боль и ужас пропали. Снова стал поднимать, и каждая частица, из которой он состоял, завопила, брызнула красной иглой, и он задохнулся от этой множественной, колющей боли. Крест отторгался, пространство, в котором он пребывал, оставалось незамкнутым. В нем прозрачно метались перепончатые тени разбуженных и ожесточенных духов.

— Одному тебе не совладать, помощь нужна, — услышал он голос. Оглянулся, — подле него шел сухонький старичок, изможденный,

почти бесплотный, в длинной застиранной и залатанной ряске, в потертой скуфеечке, из-под которой ниспадали белоснежные волосы, светились дивные васильковые глаза. — Не бойся ехать во Псков. Не бойся садиться в ладью. Не бойся плыть на остров. Приходи ко мне, помогу, — и исчез. Только мелькнул во ржи василек, взволновалась белоснежная рожь.

Это был обморок, солнечное наваждение, видение утомленного разума. Божественный старец, как и бабушка, явился из забытого детства, из альбома Билибина, из картины Нестерова, из оперы Мусоргского. Это было чудесно, и это было

опасно. Дарило необычайные впечатления и грозило разрушить весь строй бытия, привести к катастрофе.

Он шагал, изнемогая, среди паломников и богомольцев, черпая пыль башмаками, отирая горячий пот, отгоняя от глаз фиолетовые круги и разводы.

Его борения были замечены. Рядом появился игумен, по-прежнему легконогий и бодрый. Поддерживал под локоть молодого мужчину в камуфляже, с бледным, не принимавшим загара лицом, по которому пролег уродливый шрам. Быть может, след чеченской пули или шального осколка, просвистевшего в

Аргунском ущелье. На богомольце висели вериги. Кованные, смугло-коричневые крюки, зацепились за плечи. К спине, свисая на цепях, прилепилась литая плита. На грудь навалился огромный, со следами кузнечного молота, крест, натертый до коричневого блеска от бесчисленных прикосновений и поцелуев.

— Надень, понеси немного. Полегчает, — сказал игумен и стал помогать военному освободиться от чугунной ноши. Тяжелый, грубый металл с зазубринами и вмятинами ударов, угрюмый, нарочито суровый, источал таинственный свет, будто в мертвенных слитках поселилась

одухотворенная сила, пропитала металл, сделала невесомым, преобразила неживую материю в животворящую субстанцию. Столько молитв и всенощных бдений, благодатных явлений и несказанных чудес совершалось над этими чугунными слитками, столько благоговейных губ касалось креста и цепей, столько богооткровенных видений запечатлелось на грубом железе, что оно утончилось, стало прозрачным, источало дивный свет.

— Надень-ка, — повторил игумен, держа навесу вериги. Стрижайло вытянул шею, просовывая голову сквозь цепи. Сузил плечи, подставляя их под

железные крюки. Напряг спину, ощутив лопатками давление плиты. Распрямился, принимая на грудь огромный рубленый крест. И вдруг задохнулся, словно горло сдавила могучая пятерня. Сердце стало жутко взбухать в груди, хлюпать, биться. В голову ударила красная дурная струя, будто лопнул сосуд. Глаза стали вылезать из орбит, брызгать огненными слезами. В желудке возникла нестерпимая резь, такая, что он захрипел и рухнул в пыль дороги, лицом в колючую придорожную траву. Ему казалось, что он умирает. В нем набухало, шевелилось, протискивалось наружу сквозь горло огромное чешуйчатое

тулово, пульсировало гигантскими мышцами, проталкивало скользкое тело. Из раскрытого рта, плюющего пеной, начинала показываться мерзкая костяная башка с крохотными свирепыми глазками.

Он потерял сознание. Очнулся, лежа на спине, на чьих-то руках. Вериги держал испуганный монах. Женщина брызгала на платок из бутылки воду, отирала Стрижайло испачканные пеной губы. Игумен строго, печально смотрел на него.

Стрижайло поднялся. Едва шевеля ногами, двинулся в процессии, постепенно отставая, перемещаясь в хвост. Наконец, совсем отстал. Устало присел на

обочине. Смотрел, как в солнечной пыли удаляется крестный ход. Слушал, как замирают в полях песнопения. Ужасался тому, что с ним случилось. Закрыв веки, видя сквозь них фиолетовое солнце, всматривался в себя. Видел, как внутри разошлась рваная трещина, уродливей, чем шрам от чеченской пули, глубже, чем рубец от шального осколка.

Вечером в Ярославле, растерзанный, соединился с Грибковым, который успел провести большую пресс-конференцию с местными журналистами, был пьян, возбужден и развязан. Потащил

Стрижайло в «ночной клуб», куда влекли его неуголимая похоть и раздувшийся от долларов бумажник. Стрижайло не противился, — трещина в душе была невыносима, разлад, произведенный прикосновением к святости, был сродни помешательству. Ночной клуб, где царствовала обнаженная женская плоть, тлетворная сладкая похоть, был местом исцеления, мастерской Реставратора, который красной липкой слюной, огненной губной помадой, скользким потом стриптиза склеивал разломанные души.

Зал стриптиза был погружен в шевелящийся, похотливо дышащий

сумрак. На подиуме, как упавший из неба луч, сверкал хромированный шест. Лазерные вспышки вонзали молниеносные щупальца, ударялись о белый металлический стержень, рассекали зал голубыми лезвиями. Дышала, ахала, блудливо постанывала музыка. На подиум вышла длинноногая блондинка, чьи грудь и живот были прикрыты легкомысленными красными кружевами. Ослепительно улыбалась, вышагивала вокруг шеста, победно переставляла подрагивающие ноги в стеклянных туфлях. Мотнула белыми волосами, сильно повернула плечо, сбросила прозрачный красный покров, упавший на подиум, как

лепестки мака. Осталась в розовом лифчике и тончайших трусиках, не закрывавших сильные бедра, округлые ягодицы, играющий мускулистый живот.

Грибков сидел вместе со Стрижайло в первом ряду за столиком, на котором поблескивали коньячные рюмки. Радостно воззрился, облизнул губам жадным языком. С сиплым, спазматическим хохотком произнес:

— Да здравствует союз патриотов и коммунистов!..

Женщина выхаживала у шеста, терлась об него спиной. В нее вонзались голубые стрелы лазеров, пробивали насквозь, будто она была

прозрачна. Сдавила на груди
перемычку лифчика. Улыбнулась, как
фокусница. Вывалила наружу
могучие полушария, затрепетавшие
на свету. Сумрак, вязкий, как вар,
восхищенно взревел. Грибков тонко и
радостно взвыл с болезненным
хохотом:

— За единую и неделимую!..

Женщина маршировала у
хромированного стержня. То
двигалась строевым шагом, то
приседала, раздвигая сильные ноги,
прикрывая шелковый треугольник
трусов долгопалой ладонью. Прodelа
руки под розовые боковые тесемки,
вращая бедрами, совлекала трусы.
Выскользнула из них, большая,

яровая, с золотистой шерстью лобка. Раскрутила на пальце розовые трусы, метнула их в лицо Грибкову. Тот задохнулся, ослеп. Хватал губами душистый шелк, покрывал поцелуями. Громко, со свистом, втягивал воздух, словно курильщик, задыхаясь от пьянящих благовоний:

— Недра принадлежат народу!.. — бормотал он, как безумный, разведя рот в длинной блаженной улыбке. По-кошачьи терся о прозрачную красную ткань.

Женщина, блистая наготой, ухватила за шест, пропустила меж бедер. Сжимая ляжками, сделала крутой поворот, согнув ногу в колени, блестя стеклянным

каблуком. Казалось, она насажена на сверкающую ось, которая нисходит из неба, пробивает ее влажные шарообразные груди, пылкий живот, выходит из промежностей сквозь жаркие бедра, погружается в глубь планеты. Медленно вращалась, повторяя вращенье земли. Зал аплодировал. Грибков тянулся на ее влажное тело, вдыхал поднятый ею ветер, рукоплескал. Высовывал по-собачьи язык, словно хотел издалека лизнуть ее груди и бедра:

— За природную ренту!.. — сомнамбулически выговаривал он свои предвыборные лозунги, будто охватившая его страсть выдавливала мешающие, бесмысленно-мертвые

речения, израсходованные на митингах и пресс-конференциях, в экономических статьях и диспутах, освобождая место животной жадности, кипящим страстям, неуголимому влечению.

Женщина кинулась на сверкающий шест, обвилась, повисла вниз головой, касаясь волосами подиума, скрестив ноги. Груды свешивались к земле, гибкое тело извивалось, кожа казалась стеклянной от пота. Она была похожа на змею, обвивающую Древо Познания Добра и Зла. Грибков, искусившийся, пораженный змеиным укусом, утратил рассудок. Тянул к восхитительной дьяволице

руки, выкрикивая:

— За слом олигархического капитализма!..

Женщина соскользнула с шеста. Приблизилась к краю подиума, — туда, где сидел Грибков. Повернулась спиной, выставив выпуклый зад, открывая потаенные прелести. Просунула между ног сильную пятерню с перламутровым маникюром, разведя пальцы длинными лепестками. Повернулась лицом. Присела на корточки, бесстыдно растворив бедра. Грибков ошалело воззрился на ее близкие, выпуклые промежности, золотистую шерсть лобка, мощные бедра, круглые костяные колени.

Обезумевший, с выпученными глазами, достал из портмоне две зеленых купюры, метнул танцовщице между ног. Та ловко перехватила, мягко скомкала. Уже двигалась по подиуму шагом триумфатора, окруженная лазерными вспышками, гладкая, блестящая, вылизанная языками похоти, наслаждаясь властью над самцами, которые гудели и ворочались во мраке, сипло дыша и хрипя.

Стрижайло чувствовал, как сближаются кромки трещины, расщепившей его естество. Трещина оставалась, но в ней начинала дышать розовая туманная мгла, словно дым от шелковых сгоревших

покровов. Ему все еще было худо, но святость, которой он неосторожно коснулся, отступала и удалялась. Великий Реставратор выпустил на подиум прекрасную блудницу, и та блеском своей наготы исцеляла его, напускала в рану розовый терпкий туман.

Прислужница, обнаженная по пояс, с целомудренными девичьими грудками, возникла из сумрака, поставила перед ними две рюмки коньяка. Положила книгу, состоящую из толстых негнущихся страниц, с красным сердцем на обложке и надписью: «Крейзи-меню». Грибков жадно выпил коньяк, перелистывал книгу услад, перечень греховных

удовольствий, указывая пальцами на те наслаждения, за которые был готов платить.

— Если не стану Президентом России, то стану президентом стриптиз-клуба, — произнес он бессвязно-безумную шутку. Встал, колыхнувшись, из-за стола. Направился за служительницей в лабиринт переходов и комнат, в каждой из которых царствовал свой грех, пребывала своя искусительница, ворожила своя обнаженная ведьма и чародейка.

Посреди комнаты, в красном озарении, стоял стеклянный стул. Играл тягучий, медовый блюз. Из-за портьеры показалась обнаженная

женщина с распущенными чернильными волосами, пышными плечами и бедрами, выпуклоголубыми грудями. Танцуя, поворачиваясь на каблуках, отбрасывала на спину сыпучие волосы. Уселась на стул, расплющив о стеклянное сидалище полные ягодицы. Раздвинула колени, манила к себе Грибкова. Тот сбросил пиджак, на четвереньках, изображая собаку, пополз. Высунул язык, повизгивал, крутил загривком, и впрямь напоминая похотливого кобелька. Пролез под стеклянный стул, запрокинув лицо. Жадно, безумно созерцал примятую промежность, напоминавшие

большую, прилипшую к стеклу улитку, у которой открывался и пульсировал чувственный зев. Издал стонающий вопль, впился губами в стекло, стал целовать и вылизывать недоступную улитку сквозь прозрачную преграду.

Стрижайло смотрел на блудницу, чья пухлая спина была охвачена адским свечением. На Грибкова, елозившего ногами, мусолившего языком стеклянную плоскость. Чувствовал, как смыкаются кромки трещины. Разлом наполнялся розовой мягкой пеной, напоминавшей клюквенный мусс. Множество клейких пузырьков соединяло края разлома, как если бы

искусный Реставратор склеивал трещину слюной похотливой ведьмы, чьи сине-черные волосы струились с белых плеч.

Они перешли в соседнюю комнату, уставленную тропическими растениями. Посредине возвышалась округлая ванна, похожая на фаянсовую, с перламутровым переливами, супницу. В ней дрожала вода, струилась, взбухала бившими из стенок бурунчиками. Джакузи с теплой водой, под высоким изумрудным абажуром, окруженная пальмами, вечнозелеными листьями, казалась миниатюрной лагуной, куда из зарослей выйдет стыдливая островитянка, из тех, кто пленял

Гогена своей первобытной прелестью. И впрямь, из листвы появилась смуглая обнаженная женщина с длинными, заостренными грудями, узкой талией и выпуклыми, овальными бедрами. У нее были яркие белки, розовые возбужденные ноздри, фиолетовые губы, в которых при улыбке сверкала белизна. Множество смоляных косичек украшали голову. На запястьях блестели серебряные кольца. Низ живота от бедра к бедру покрывала густая растительность, будто это была набедренная повязка. Женщина перенесла напряженную ногу через край джакузи, медленно окунула, приглашая любоваться, как нога

покрылась множеством серебряных пузырьков, будто это был кипящий нарзан. Подзывала к себе Грибкова. Тот бестолково, суетливо разделся, обнажив тщедушное тело, тощие ребра, неправильные ноги. Женщина поместилась в ванной, как в перламутровой раковине. Мягко плескала водой, которая светилась зеленоватым солнцем тропиков. Грибков бурно плюхнулся в ванну. Стал ловить под водой ее игривые стопы, хватал за лодыжки. Ее ноги лежали у него на плечах. Стрижайло видел узкую мокрую стопу, темноватые твердые пятки. Грибков разглаживал под водой темную водоросль, пышно разросшуюся на

женском животe. Смуглянка смеялась, притягивала к своей груди его мокрое лицо, позволяла целовать соски, похожие на спелые виноградины. Плеснула из флакона клейкую гущу, и вся ванна вспенилась, покрылась пышными хлопьями. Хохотали, кидали друг другу в лицо сбитые сливки. Грибков вдруг нырнул, спрятался в пене, долго не появлялся. Лишь выглядывала из ванной женская голова с косичками и твердые сухие колени, среди которых утонул Грибков.

Стрижайло созерцал прелести
африканской волшебницы,
превратившей Грибкова в невидимую

рыбу. Чувствовал, как исцеляется от перелома его раненная сущность. Как сдвигаются кромки болезненной трещины, скрепленные твердеющим веществом, еще полужастывшим, непрочным, но заполнившим роковую пустоту, соединившим его распавшуюся сущность. Реставратор прикладывал к перелому примочки из душистых тропических листьев, горячие раковины, отшлифованные морем гальку. Накрывал поврежденное место пышной водорослью, которую подносила ему чернокожая ведунья.

Они перешли в соседнее помещение, оббитое черным бархатом. Маленькое креслице без

ручек стояло под высоким торшером, куда привратница усадила Грибкова. Из бархатной тьмы, лунно-белая, огромная, вышла женщина, по виду еврейка, пышная, парная, словно из бани, с белым распаренным телом, висящими млечными грудями, наплывами мягкого жира на животе и тучных ногах. Ее черные кудри великолепно валились на плечи, миндалевидные глаза влажно мерцали, алые губы были пленительно приоткрыты, и она стыдливо заслонялась, словно купальщица, на которую из зарослей смотрят блудливые старцы. Музыка была восточной, как во дворцах царя иудейского. Танцовщица вращала

тазом, поднимала пленительно-полную ногу, колыхала тяжелыми, оплывшими на живот грудями. Приблизилась к Грибкову, повернулась полной спиной, села ему на колени, вдавив в кресло. Он задыхался под тяжестью пышных телес, пробовал выбраться. Казалось, на него сошла снежная лавина, погребла под собой. Еврейка освободила его, полузакрыв выпуклые глаза, танцевала, переступала с носка на носок. Вновь подошла, села на Грибкова верхом. Приподняла груди и приплюснула ими с обеих сторон голову Грибкова. Он утонул, как если бы на него надели квашню теплого

душистого теста. Вертелся, отбивался, старался вырваться. Жрица отняла огромные груди от его потрясенного лица. Отошла на полшага. Выгнулась назад, делая мостик. Черные кудри упали на пол. Груды огромно и мягко сползли по бокам. На животе образовалась влажная складка. И открылось ее темное чрево, да так широко, что стала видна розовая матка, а за ней Крымский мост, и дальше Октябрьская площадь с памятником Ленина, Люсиновская улица, переходящая в Варшавку, и белые березняки «Домодедова», застекленное здание аэропорта, взлетное поля с голубыми

посадочными огнями и громадный лайнер «Америкэн эйрлайнс», берущий курс на Шеннон, через Атлантику, в аэропорт имени Кеннеди.

Грибкова больше не было видно. Лишь торчали из необъятного лона, как из пасти кита, тощие ноги в плохо зашнурованных штиблетах. Стрижайло ликовал. Он был исцелен. Целостность его натуры была восстановлена. Коснувшаяся его ненароком святость была преодолена. Духи, вселившиеся в него из темного подвала, торжествовали. Устроили маленький праздничный ужин, поедая ошипанного кладбищенского

вороненка. Черный Космос над головой был полон бриллиантовых звезд, и в небе грозно и восхитительно вращалась рубиновая спираль, как символ торжествующего творчества.

часть третья.

«Жнец»

глава восемнадцатая

Наступил долгожданный день, когда Председатель Центризбиркома Черепов объявил о начале предвыборной агитации. Его мертвенная, выточенная из желтой кости голова с голубыми карбункулами в глазницах появилась на экране. Замотавшись в черный плащ с алой подкладкой, он возвестил о начале священнодействия, под названием «Выборы». За неделю до этого он отправился в Африку на «сафари», в сопровождении двух кенийских колдунов углубился в скалистые горы, где из снайперской винтовки

размозжил голову косматому кенийскому козлу. Подвязав к шесту тяжелую тушу с рогами, с которых на каменную тропу стекала черная кровь, они добирались до лагеря, останавливаясь по пути и совершая обряд «испития крови». Поочередно припадали к ране, высасывали из пробитой головы кровавый мозг. Опьянев, долго танцевали под зеленой луной. Изображали козлиную страсть, блеяли, ударяли друг в друга лбами, а потом колдуны, разодрав на Черепове одежды, яростно толкали его в голые ягодицы крепкими, как каменные топоры, орудиями любви, отчего Черепов самозабвенно выкрикивал наизусть

статьи «Закона о выборах».

Козла на самолете транспортной авиации доставили в Москву. Прямо с взлетного поля в инкассаторском броневике с мигалкой переправили в ресторан «Метрополь», в распоряжение главного повара. Шкура, свернутая в рулон, была отделена от туловища и направлена скорняку, а козел был разрублен на части, и над каждой трудились лучшие повара Москвы. В Центризбиркоме, в главном компьютерном зале, где стояли терминалы электронной системы «ГАС «Выборы»», состоялся ночной пир. Голые члены избиркома поедали козлиное мясо, произносили

африканские заклинания, мазали козлиным жиром компьютеры и огромные, во всю стену, экраны, окропляли образцы бюллетеней соусом из козлиной крови. Черепов, вдохновенный, получая на время выборов неограниченные полномочия, сравнимые лишь с президентской властью, укреплялся в своем намерении провести честные и свободные выборы, для чего съел козлиные семенники, слегка обжаренные, посыпанные корицей и красным перцем. Исполненный мощью, сверкая голубыми камнями, он замотался в черный батистовый плащ с алым подбивом и дал интервью государственному

телеканалу «Россия». Так страна узнала о начале выборов, о вкусе козлиных яиц, о дате рождения композитора Шнитке, о способе приготовления ткемали, о гипотезе исчезновения динозавров, о методах лечения артрита, о пирсинге светской львицы Дарьи Лизун и о том, «как упоительны в России вечера». С этого момента в стране началась предвыборная агитация.

Зашевелились, полезли из всех углов, двинулись в разных направлениях большие деньги. Алчные журналисты и телеведущие с озаренными лицами ждали приближения денег, записывая в очередь на эфир тщеславных

кандидатов от партий. Как клопы из продавленного дивана, полезли политтехнологи, представители пиар-компаний, мастера компромата, профессиональные лжецы и доносчики, «разведчики замочных скважин», «поэты сальных простыней». Звезды шоу-бизнеса с порочными лицами подряжались к партийным лидерам на агитационные гала-концерты, эстрадные турне, политические гастроли, готовя деревянные лопаты, чтобы ловчее было сгребать шелестящие ворохи долларов. Губернаторы получали тайные депеши из Центра с директивами поддерживать на выборах верных

Кремлю мздоимцев, неудачливых
ментов и разведчиков,
респектабельных бандитов, агентов
нефтяных и стальных корпораций.
Подразделения ФСБ ставили
«жучки» в офисах политических
партий, «наезжали» на неудобных
спонсоров, запугивали строптивых
кандидатов, раздавали киллерам
пистолеты с глушителями. У
политиков, вчера еще сонных и
пресных, отрастали хвосты и копыта,
по-волчьи светились глаза,
появлялись трескучие интонации в
голосе, будто в горло им вшили
отрезки иерихонской трубы. Народ
послушно выстраивался в
бесконечную очередь к специально

построенному верстаку, куда закладывалась голова, и плотник в клеенчатом фартуке вбивал в нее длинный железный гвоздь. И над всем царил великолепный, с голубыми карбункулами, Черепов, развевая черно-алый плащ, поворачиваясь на высоких каблуках, отчего звенели его серебряные шпоры мальтийского рыцаря.

И вновь повторилось. Выпрыгнула и с хлюпаньем шлепнулась жаба демократии. Пробежала, цокая коготками и поводя усиками, крыса народовластия. Прокатил свой белый навозный шар скарабей правового государства. Прокричала птица-выпь

свободного волеизъявления.
Прогромыхала, впряженная в
упряжку из ста двадцати тысяч
жужелиц «большая Берта». Луна
обросла зеленой собачьей шерстью.
На бюллетенях Ямало-ненецкого
автономного округа проступил лик
задушенного подушкой Тараки. Тонко
застонала во сне Наина Иосифовна.
На здании «Альфа-банка» вырос
громадный, ядовитый гриб. В глаз
президента Буша попала пылинка,
оторвавшаяся от кобчика
абиссинского павиана и
перенесенная ветром через
Атлантику. История человечества
продолжалась, и ей управлял добрый
карлик, поселившийся в гольфике

гимнописца Сергея Михалкова, потомственного дворянина и добродушного бонвивана.

Стрижайло приступил к реализации своей изощренной программы, — к добиванию коммунизма, пользуясь для этого технологиями переработки сена в силос. Его проект ничем не напоминал жестокий гитлеровский план «Барбаросса», когда уничтожали советские города и селенья, расстреливали «жидов и комиссаров», готовились снести Москву и Ленинград и на их месте устроить водохранилища. Проект был далек от ельцинского расчленения СССР, запрета компартии, расстрела

из танков красных баррикадников Дома Советов. КПРФ являла собой ботву, высухавшую на грядках, из которых выкопали и унесли картофельные клубни. Ботвы было много, она была вялой, на ней сидел Дышлов, покуривая «козью ножку» былого величия, рассказывая односельчанам безобидные анекдоты и байки. Однако приказ Потрошкова подразумевал уничтожение ботвы, освобождение огорода под новые культуры и гряды. Стрижайло отнимет у Дышлов «козью ножку», прогонит с ботвы, а блеклые стебли сожжет. И многие смогут вдохнуть сладкий, упоительный дым утрат.

Предстояло совершить вместе с

Дышловым несколько агитационных поездок, в сопровождении журналистов и телекамер. В реестр этих важнейших мероприятий входил «Марш нищих ученых», к которому присоединится Дышлов и пройдет несколько километров вместе со светилами науки, протестующими против нищенского финансирования. «Голодовка чернобыльцев», участие в которой в течение двух-трех часов примет Дышлов, требуя для ликвидаторов выплаты льготных пособий. «Перекрытие Транссибирской магистрали», куда выйдут разгневанные рабочие и, вместе с Дышловым, будут настаивать на ликвидации

задолженности по зарплате.
«Молебен во славу России» в
скромной приходской церкви на
Старой Смоленской дороге.
Посещение родовой деревни
Козявино, где в отчем доме, у
заросшего крыльца Дышлов скосит
бурьян, поправит резной наличник,
выпьет чай за деревянным столом,
где чаевничало несколько поколений
трудолюбивых и рассудительных
Дышловых. В заключении поездки в
губернском городе состоится
презентация замечательной книги
Дышлова «Русский фактор», которую
взялись проиллюстрировать
изысканные художники Палеха. Все
сюжеты будут тщательно отсняты,

сложатся в телевизионный фильм, режиссуру которого возьмет на себя Никита Михалков. Фильм покажут на государственном телеканале, что вызовет громадный резонанс и повысит привлекательность лидера коммунистов.

Стрижайло тщательно готовился к турне, раздавая направо и налево изображения Джорджа Вашингтона, выполненные на зеленом фоне. Неистощимый в коварстве, неутомимый в изобретательности, он все свое время посвящал встречам.

Посетил спортивный клуб, где практиковались различные виды спорта, — баскетбол, волейбол, гандбол и нацбол. Встретился с

любителями нацбола, молодыми парнями в кожаных куртках, с красно-черно-белыми эмблемами на рукавах, просил о содействии, и спортсмены обещали помочь. Принес ящик коньяка в мастерскую, где из папье-маше и пенопласта создавались муляжи и манекены, оставил мастерам несколько эскизов, по которым просил изготовить необходимые изображения. В баре отеля «Мариотт» посидел с железнодорожником одного из участков Транссибирской дороги, изучая вместе с ним расположение запасных путей и тупиков. Поужинал в ресторане «Кабанчик» с батюшкой приходской церкви, которую

намеривался посетить Дышлов, и поинтересовался, нет ли в церковной книги записи о крещении будущего лидера коммунистов. В институте Курчатова, облачившись в скафандр, консультировался со специалистами, можно ли добывать из тела облученных чернобыльцев обогащенный уран и отправлять его в Иран на атомную электростанцию Бушер. Встретился с художником Куликом, засунувшим голову коню под хвост, так что снаружи оставались непролезающие уши, — художник дергался, издавал истошные вопли, конь бил Кулика по ушам своим возбужденным хоботом, а рядом стояла табличка с надписью:

«Куликовская битва». Напоследок нанес визит к модному тележурналисту Карапузову, с которым водил давнее знакомство.

Карапузов оправдывал свою фамилию, — был кругленький, с толстыми щечками, глазами-монетками и маленьким румяным ротиком, хорошо приспособленным для воздушных поцелуев, трубочек сладкого коктейля и длинных ядовитых плевков. Прежде чем сделать блестящую журналистскую карьеру, он перепробовал множество профессий. Работал в морге гримером, придавая покойникам воодушевленный, радостный вид. Подвизался на собачьей живодерне,

поддавливая бездомных животных на
отточенные крюки. Сам становился
подопытным пациентом в
экспериментальной клинике, где
опробовал на себе препараты,
изгоняющие кишечных паразитов. В
память о пребывании в клинике он
создал телепрограмму «Момент
глистины», которая очень скоро
превратилась в рафинированное
блюдо интеллектуалов и
правдоискателей. Стрижайло
заручился поддержкой именитого
журналиста, оставил ему
спрессованные зеленоватые пачки,
видя, как ловко заработали,
затрещали пухленькие пальцы,
словно автомат для пересчета купюр.

Настал черед первой поездки. Автомобильный кортеж из комфортабельной «аудио» и громоздкого «джипа» охраны примчал Дышлова и Стрижайло на сотый километр Симферопольского шоссе. Они вышли, присев в тени придорожных дубов, стали ждать «марш ученых». Престижные автомобили, чтобы не смущать оголодавших ученых, отъехали вдаль. Телекамера лежала на траве, оператор покусывал травинку. Охрана отдыхала под дубом. Дышлов, энергичный, в хорошем расположении духа, знал, что скажет ученым, с чем обратится в

нацеленные телекамеры. Заготовив на этот случай несколько бодрых, непримиримых речений, поглядывал на трассу, где неслись тяжеловесные трейлеры, размытые скоростями иномарки, струился миражами асфальт.

— Положение в отечественной науке просто невыносимо, — произнес Дышлов, сурово сдвигая брови. — Доходит до того, что ученые на свои деньги покупают батарейки, чтобы проводить в лабораториях эксперименты. И после этого мы хотим, чтобы не тонули подводные лодки и не падали самолеты, — он возмущался, но не гневно, не в полную мощь, не

расходуя на возмущение запасы энергии, которые станет тратить в момент телесъемки. Разминался, разогревался, как это делает спортсмен перед состязанием, сообщая мышцам гибкость и эластичность.

— На прошлой неделе я ходил к Президенту. Ставил вопрос о финансировании науки. Говорю: «Если так будет продолжаться, Россия опять вернется к лучине, и мы потеряем все, что наработали за годы советской власти». Соглашается, кивает головой, заверяет, что возьмет вопрос на контроль. Но я же знаю, что ничего не сделает. Будет выполнять команду

из-за океана, где заинтересованы в удушении российской науки, — Дышлов презрительно выставил нижнюю губу, выражая свое отношение к безвольному, слабому Президенту, случайно оказавшемуся на вершине власти, не идущего ни в какое сравнение с ним, Дышловым, упорным, трудолюбивым политиком, национальным лидером, который рано или поздно займет свое место в Кремле.

Стрижайло с тайным удовольствием взирал на его упитанное, уверенное лицо, усвоившее властно-снисходительное выражение. Дышлов был уверен в своем положении крупнейшего

политика страны, в статусе лидера сильнейшей политической партии. Народная поддержка, многолюдные митинги, обожание толпы наделяли Дышлова витальной энергией, питательными калориями, от которых его мясистое бело-розовое лицо казалось изделием мясомолочного комбината. Но при этом, в глубине его светлых глаз таилась постоянная неуверенность, темная точка настороженности, как если бы он что-то тщательно прятал в себе от посторонних глаз, старательно утаивал, и вся его внешняя бодрость и жизнелюбие казались мнимыми.

— Так, — он посмотрел на свои

ручные, в платиновом корпусе часы. — Еще минут тридцать, не меньше. Ладно, слушай анекдот, — награждая Стрижайло дружеским, панибратским хлопком, Дышлов поудобнее устроился на траве. — Старый сперматозоид учит молодого. «Ты, как только тебя выпустят, беги со всех ног, чтобы первому оплодотворить яйцеклетку. Как увидишь впереди что-то темное, так мчись на него и вонзайся. Понял?» — «Понял», — отвечает молоденький. Вот его выпустили вместе с другими, мчится что есть мочи. Видит впереди что-то черное. С разбегу бьется головой и отскакивает. Еще раз бьется и

отскакивает. Спрашивает это черное: «Простите, вы яйцеклетка?!» А ему отвечают: «Нет, я — кариес!», — Дышлов, дождавшись, когда у Стрижайло начнет раздвигаться в улыбке рот, громко, заразительно захохотал. Стрижайло вторил ему, зная, что своим смехом доставляет ему удовольствие.

Он предвкушал предстоящее действие, как режиссер предвкушает премьеру. Его театром была горячая лесная опушка у накаленного шоссе, по которому мчались трейлеры с крымскими помидорами, иномарки с самодовольными богачами, ищущими отдохновения на курортах, потертые грузовички, на которых чеченские

террористы перевозили оружие и взрывчатку. Одна часть артистов, еще невидимая, приближалась в стекленеющем воздухе. Главный актер готовился к выходу, примеряя на лицо маски величия, гнева, печали. Зрителями были невидимые духи, которые угнездились в душе Стрижайло, как летучие мыши, — прицепились вниз головами к его ключицам, плечам, подбородку, сгрудились бархатистыми тельцами, выпучили блестящие черные глазки.

— Идут, — сказал оператор, выплевывая травинку, поднимая с земли телекамеру. Охранники настороженно вскочили.

Далеко на шоссе, в струящемся

воздухе что-то забелело, задрожало, напоминая мираж пустыни, когда над барханами в жидком стекле возникают бедуины в белых накидках, изразцы минаретов, пальмы над синей водой. Дышлов вышел из тени на солнцепек. Одернул одежду, откашлялся, крепче установил ноги и выпятил грудь. Стал похож на певца, готового при первых звуках рояля выдохнуть сочный басовитый звук.

— Ты, главное, ученых, ученых снимай, — обратился он к оператору, зная, что основным объектом съемки будет он сам, его проникновенные, обличительные слова.

Белесое скопление на шоссе

приближалось. Превращалось в горстку людей в белом, нестройно семенящих по обочине, что-то несущих в руках. Стрижайло вглядывался, стараясь понять, насколько верно был выполнен его художественный заказ, какая наглядная агитация была вручена ученым, совершающим «марш протеста».

Группа семенящих людей приближалась. Были отчетливо видны их белые халаты и шапочки, спецодежда стерильных лабораторий, которая делала демонстрантов похожими на санитаров и одновременно на пациентов, — такими усталыми,

болезненными выглядели ученые. Одни из них несли транспаранты: «Науке — достойное финансирование!» «Голодный ученый — позор России!» «Подайте милостыню на отечественную науку!» Другие держали в руках сделанные из папье-маше муляжи, символизирующие отрасли научных исследований. Невысокий, всклокоченный астроном с безумными глазами нес «галактику» — огромный спиралевидный завиток, держа его на голове, как Зевс. Другой астроном, тощий и стеблевидный, подламываясь на ходу, нес картонную раскрашенную комету, цепляя хвостом соседей.

Рядом вышагивал упрямый, замкнутого вида физик, взвалив на плечи синхрофазотрон. А его коллега воздевал увеличенную в миллионы раз «элементарную частицу», открытую на этом синхрофазотроне. Биологи влекли на себе большие, ярко расцвеченные макеты, — «вирус СПИДа», напоминавший Гайдара, «раковую клетку», похожую на Чубайса, «птичий грипп», — вылитый министр экономики Греф. Замыкал процессию сутулый ученый, специалист по «звездным войнам». Нес наперевес «лазерную пушку», и казалось, что этим экзотическим оружием он конвоирует всю процессию, гонит ее по этапу, чтобы

сдать в «Матросскую тишину». Стайка журналистов сопровождала ученых. Газетчики, фоторепортеры пили на ходу «кока-колу», жевали «дирол без сахара», выдували на губах забавные пузырьки.

— Ну что, пошли, — произнес Дышлов и уверенно шагнул навстречу процессии, всем своим непреклонным видом выражая поддержку протестующим, уверенный, что его поддержка желанна и благотворна. Зашагал среди демонстрантов, выбрав место между кометой и элементарной частицей.

— Как вы расцениваете «марш голодных ученых»?.. — увивались

вокруг него журналисты, — Что могут сделать коммунисты, чтобы увеличить финансирование науки?.. За кого на выборах будут голосовать российские ученые?.. — они тормозили Дышлова. Оператор пятился, захватывая в объектив утомленных демонстрантов, раскрашенные макеты и уверенное, непреклонное лицо Дышлова, который грозно рокотал упитанным басом:

— Антинародный режим превращает науку в бедную нищенку!.. Уборщица в коммерческом банке получает втрое больше, чем академик!.. Советская наука была передовой в мире, а

теперь ученые на свои деньги покупают пробирки для опытов!.. Еще несколько лет такого финансирования, и от науки останется большой скелет, который Чубайс повезет в Давос, чтобы отчитаться перед своими хозяевами за проделанную работу... На выборах ученые проголосуют за нас, коммунистов, которые запустили в Космос Гагарина, создали ядерный щит, победили туберкулез!..

Стрижайло шагал в стороне, наслаждаясь спектаклем, который сам срежессировал, выбрал декорации и актеров, написал текст пьесы. Из проносящихся машин с удивлением выглядывали

дальнобойщики, миллионеры и вооруженные ваххабиты. Впереди, подступая к обочине, приближались заросли ольхи.

— Когда мы выиграем выборы и займем ведущее место в Думе, мы примем «Закон о науке», возвращающий ученым ведущее место в обществе. Мы добьемся бюджетного финансирования в таком размере, чтобы снова заработали наши физические и биологические лаборатории, чтобы ученые не уезжали за океан, а работали на благо России!.. — Дышлов порозовел от волнения, вошел во вкус, чувствовал себя ведущим политиком, любимцем масс, защитником отечественной

науки. Заросли ольхи приближались. Стрижайло испытывал мучительное нетерпение, которое было нетерпением шелковистых глазастых демонов, облепивших его кости, обложивших горло меховой горжеткой. — Я сам работал в науке, знаю, сколько «элементарных частиц» могли бы открыть наши ученые, будь у них достойное финансирование...

Процессия приблизилась к зарослям. Семенили ученые в белых халатах. Колыхались транспаранты. Странно и значительно смотрелись скульптуры из папье-маше. Грозно, в окружении деятелей науки, выступал Дышлов, позируя перед телекамерой.

Внезапно заросли ольхи
покачнулись. Завеса кустов
распахнулась. Выскочили
спортсмены в черных рубашках,
мастера нацбола. Стали забрасывать
Дышлова помидорами, кульками с
майонезом, пластилиновыми
чернильными бомбами. Снаряды
попадали в Дышлова, пятнали
одежду жидко-красным, липко-
белым, чернильно-синим. Нацболы
при каждом попадании воздевали
кулаки, выкрикивали: «Дышлов —
предатель народа!» «Дышлов —
подстилка Кремля!». «Дышлов —
фарисей и Иуда!». Заляпанный
чернилами и майонезом, с красной
помидорной кляксой на лице,

Дышлов заслонялся, пытался увильнуть от попаданий, нырял в гущу ученых. Но его настигали разноцветные бомбы. Камера жадно фиксировала траектории металлических снарядов, ужас на лице Дышлова, растерянность охраны.

Помидор попал в «лазерную пушку», и та сработала. Огненный луч полоснул проезжавший мимо трейлер. Из рассеченного короба посыпались коровьи туши, свиные заливки, битые куры, ощипанные гуси, замороженные индейки и один страус, который перевернулся в воздухе и встал на свои длинные ноги прямо перед Дышловым. Астроном в испуге выронил

«элементарную частицу», и та ударила в проезжавший «джип», где сидели чеченские боевики с грузом взрывчатки, которая ударила страшным взрывом. Взрывная волна расколола циклотрон, и вращавшиеся в нем электроны буквально изрешетили проезжавшую «вольво» с политиком либерального толка, отстрелив самую либеральную часть его тела, что дало повод прокуратуре возбудить уголовное дело по статье «терроризм». Растерянные биологи выронили «вирус СПИДа», «раковую клетку», и плазмодий «птичьего гриппа», которые мгновенно, с помощью ветра, распространились по окрестностям, положив начало

массовым эпидемиям.

Последним, кто не удержал свое лепное изделие, был взлохмаченный астроном. Он выпустил из рук «галактику». С чудовищным свистом, раскручивая спираль, «галактика» пронеслась над окрестными лесами, срезая вершины, жутко сверкнула над подмосковными городами и умчалась в Мироздание, заняв место в отдаленном участке Вселенной под названием: «Туманность коммунизма». Через минуту воцарилась страшная тишина. Среди деревьев мелькали белые халаты убежавших ученых. Валялись на шоссе обугленные туши зверей и птиц.

Опустошенные эпидемиями, молчали окрестности. И только Дышлов и страус стояли друг против друга в пятнах майонеза и чернил, над ними мерцала жестокая спираль галактики, и оператор водил телекамерой, снимая место трагедии.

Охранники усадили потрясенного Дышлова в автомобиль и стремительно укатали. Стрижайло весело шел по обочине где-то между Серпуховом и Подольском, вдыхая запах чудесного разнотравья. В нем все ликовало, в том числе, и подвижные зверьки с заостренными мордочками, облепившие плечи, грудь, подбородок. Они утратили

внешность мохнатеньких демонов, приняли вид ответственных прокурорских работников. В синих мундирах и серебряных эполетах сидели за широким столом, слушая Генерального Прокурора Устинова, который делал доклад о борьбе с коррупцией.

Дышлов не был обескуражен случившимся. Видеозапись находилась в руках Стрижайло, который выберет из нее все, что годится для предвыборного фильма: «Всегда с народом», а лишнее выкинет. В фильм не попадут хулиганствующие нацболы, оскверненный майонезом и

томатным соком костюм генсека, ужасная катастрофа, случившаяся на Симферопольском шоссе между Серпуховом и Подольском.

— Провокаторы олигархов!.. Наймиты Кремля!.. Если бы ни телекамера, ни свидетели, я бы кости им переломал!.. — Дышлов грозно шевелил кустистыми бровями, давая понять, что с ним шутки плохи.

Следующая, задуманная Стрижайло поездка намечалась в Тулу, где вторую неделю проходила голодовка «чернобыльцев». Власть лишила их льготных выплат, и больные, доведенные до отчаяния ликвидаторы залегли на матрасах в одном из «домов культуры», обещая

умереть от голода по вине бесчестных чиновников.

— Поедем, поддержим мужиков, — настраивался на поездку Дышлов, и его мясистое лицо, умело управляя мимикой, выражало одновременно непримиримое осуждение власти и чувство солидарности с голодающими «чернобыльцами».

Они ехали в Тулу тремя машинами. Впереди комфортабельная «вольво» с душистым прохладным салоном. Сзади тяжеловесный «джип» с верной охраной и телеоператором. И в хвосте машина дезактивации, с фиолетовой мигалкой, красной

полосой, начиненная шлангами, пенными препаратами, смывающими растворами, предназначенными для работ в зоне радиоактивного заражения. Все участники поездки были оснащены индивидуальными дозиметрами, а также «счетчиком Гейгера», для замеров радиационного фона.

Дышлов был в приподнятом настроении, чему не мало способствовали прекрасная погода, восхитительные среднерусские дали с дубравами, блеском озер, белыми храмами, а также последние «рейтинги», согласно которым коммунистов поддерживало до тридцати пяти процентов

избирателей.

— Мы должны использовать этот момент, — рассуждал он вслух, настраивая Стрижайло на серьезный лад. — Должны оправдать доверие избирателей. Меня принимают везде на «ура». Полные залы. Губернаторы приглашают на закрытые встречи, говорят: «Мы с вами, действуйте». Военные, командующие округов, заверяют: «Мы вас поддержим. Берите власть». Сейчас мы должны сложить все усилия, — коммунисты, патриоты, профсоюзы, мелкий и средний бизнес. Уверен, нам это удастся, — убеждаясь по выражению глаз Стрижайло, что тот вполне проникся серьезностью момента,

Дышлов позволил ему немного расслабиться: — Что такое «валенки», знаешь? Это проросшие, поседевшие мужские носки! — Дышлов громко захохотал, вдавливаясь в мягкое кресло, гасившее колыхания плотного сытого тела. — Слушай еще анекдот. На армянском коньячном заводе «Арарат» выпустили три новых марки коньяка. «Ара очень рад», «Ара рад до смерти», «Ара ничему не рад» — захохотал, давая выход обильным жизненными силами, благодушному настроению, предвкушению классовых битв.

Перед въездом в Тулу сделали в лесочке небольшой привал. Дышлов

совлек с себя пиджак и брюки, рубаху и трусы. Стоял голый, переминаясь сильными волосатыми ногами, ничуть не стесняясь своей наготы, внушительного инвентария, окруженного обильной рыжей шерстью. С помощью охранников облачался в специальную рубаху, выложенную свинцовой фольгой. Надевал трусы, утяжеленные пластинами свинца, сберегавшими семенники в условиях губительной радиации.

— Давайте-ка выпьем красное «Мукузани», — произнес Дышлов, натягивая штаны и пиджак. — Хорошо выводит из организма нуклиды.

Охранники раскупоривали бутылки грузинского «Мукузани», разливали по фарфоровым пиалам. Все пили красное густое вино, создававшее вокруг каждой живой молекулы розовое зарево, в котором меркли злокозненные частицы.

— Эхо Чернобыля, — печально произнес Дышлов, погружаясь в салон «вольво». Стрижайло, соучаствуя в печальных переживаниях, прикрыл глаза, чтобы в них не обнаружились веселый блеск и едкая ирония. Демоны, притаившиеся в глубинах его души, наставили смышленные мордочки, терпеливо дожидаясь зрелища, которое им приготовил Стрижайло.

В Туле, в Доме культуры
арматурного завода, они встретились
с голодающими «чернобыльцами». В
фойе, на затоптанном полу, у
замызганных стен были брошены
тюфяки. На скомканных одеялах
лежало семь голодающих.
Измощенные, больные, страшные,
они казались узниками нацистских
концлагерей, — костяные черепа,
глазища в провалившихся глазницах,
неопрятная щетина, из которой
выступали заостренные носы и
выдавленные скулы. Костлявые
пальцы лежали на груди, как
выползшие на берег раки. Над
головами были приклеены
плакатики:

«Не убил Чернобыль, убьет власть». «Дайте деньги на пересадку костного мозга». «Правительство страшной радиации». Один казался плоским, сухим и желтым, как вяленая вобла, — так его иссушила и провялила невидимая радиация. У другого под небритым подбородком раздувался фиолетовый зоб, в котором скопились изотопы, и казалось, болезненное вздутие было окружено фиолетовым свечением. Третий, белый, как мел, страдал малокровием, в каждом из его кровяных телец торчала крохотная стрелка смертельного попадания, будто из горящего реактора вылетел чудовищный купидон с натянутым

луком, рассылал бессчетные послания смертоносной любви. Некоторые из голодающих дремали, другие впади в обморок, третьи тихо бредили, четвертые отрешенно смотрели в потолок с потеками ржавчины, и над ними в тусклом свете люминесцентных ламп витали видения.

Четвертый взорванный блок, как гнилой зуб, светился внутри расплавленной магмой, и в мутном металлическом небе, словно ангел смерти, висел вертолет. Пожарные кидались с брандспойтами на ядовитое пламя и, уже убитые насмерть, продолжали сражаться, и у мертвых пожарных были румяные

лица, как после весеннего пляжа. Шахтеры долбили штольню, подбирались под днище реактора, и над их головами, прожигая бетон, медленно опускался огромный пылающий уголь спекшегося урана. Солдаты химзащиты в скафандрах кидались на обломки графита, поддевали лопатой, неслись, что есть мочи к контейнеру, стряхивая гибельный сор. Выходили из реакторной зоны, сдирая скафандр, хлюпающий от горячего пота. Вертолетчики пикировали на зияющий зев, входили в туман радиации, сбрасывали в жерло болванки свинца, которые превращались в блеклый дым,

вызывавший рвоту и сиплый кашель. Бульдозеристы сдвигали ковшами сломанные балки и фермы, и светящийся воздух, который они вдыхали, наполнял их прозрачной смертью. В могильники свозили убитых лошадей и коров, сбрасывали мертвые туши. Бетоновозы, вращая миксеры, пятились к краю могильника, заливая убитых животных жидким бетоном. Ночью над станцией качалось ядовитое зарево, сносимое ветром, в лесах шевелилась трава от убежавших жуков, стучали копыта спасавшихся лосей и оленей, кипела река от обезумевших косяков. «Чернобыльцы» лежали на своих

тюфяках, и над ними носились тени умерших товарищей.

В фойе, бодрой походкой моряка, упирая в пол расставленные ноги, вошел Дышлов. Его сопровождали охранники, телеоператор и Стрижайло, который молниеносным взором режиссера оценил декорации сцены и действующих на ней актеров. Один из охранников портативным «счетчиком Гейгера» стал измерять фон на стенах, на полу, возле матрасов. Дышлов обходил голодающих, пожимал им руки. Одни сами протягивали худые дрожащие пальцы. У других он брал бессильные ладони, осторожно

сжимал, позволяя оператору снимать рукопожатия. У третьих, находящихся в обмороке, заботливо поправлял одеяла.

— Здравствуйте, товарищи... Компартия знает о вашей мужественной акции протеста... Политически и духовно мы с вами... Власть должна ответить за бесчеловечное обращение с лучшими гражданами страны, не пожалевшими здоровья и самой жизни ради спасения страны... — сурово, сквозь стены, он обращался к представителям власти. Смягчая взгляд, переводил его на лежащих людей. — Мы сделаем все, чтобы правительство вас услышало и

выполнило свои обязательства перед «чернобыльцами»...

Охраннику с радиометром удалось выявить самое безопасное место, с края от лежащих, недалеко от полосатого засаленного матраса, где распластался худой человек с впалой грудью, черным беззубым ртом, в котором что-то слабо сипело и вздрагивало. Другой охранник внес надувной матрас, включил насос и быстро его надул, отчего на резиновом топчане выступили желтые радостные подсолнухи. Третий охранник прикрепил в головах матраса красное знамя и предвыборную эмблему КПРФ. Дышлов сбросил туфли и лег на

матрас, незаметно сдвинувшись к краю, подальше от соседа.

— Мы — государственники, — вещал он, вытянувшись на матрасе, сжимая кулак, в то время, как оператор снимал его, водя объективом по соседним матрасам, лицам голодающих, по красному знамени. — Когда государство в беде, мы кидаемся на амбразуры, как герой Александр Матросов, как героини-«чернобыльцы», закрывшие своей грудью сбесившийся реактор. Но мы требуем от государства, чтобы оно видело в нас своих сыновей...

Голодающие напряженно слушали, стараясь уловить суть речи. У лежащего рядом с Дышловым

«ликвидатора» задрожал подбородок, мучительно заблестели глаза, задвигался на костлявой шее кадык.

— Сегодня в России бесчеловечная власть олигархов, — продолжал Дышлов, гневно сдвигая брови, поправляя над своей головой кумачовую ткань, — Пойдет ли сегодняшний россиянин защищать миллиарды «Альфа-банка», нефть Алекперова, оффшорные зоны, куда утекают средства народа?..

Лежащий рядом «ликвидатор» пытался приподняться, преодолевая боль, хотел повернуться к Дышлову. Его черный беззубый рот жадно ловил воздух.

— Я сам не новичок в науке и

технике. Участвовал в ликвидации нескольких аварий. Знаю, что такое опасность, что такое смерть. Хочу вас заверить, товарищи...

Лежащий человек, наконец, повернулся к Дышлову и издал хриплый клекот и истошный вопль:

— Сука!.. Продажная блядь!.. Приехал выпаться на наших костях!.. Нажиться на наших слезах!.. Чтоб ты сдох со своей партией!.. — он тянулся к Дышлову, пытался достать его костлявой рукой, вцепиться в горло. Его черный рот сипел и булькал, изрыгал проклятья. Вместе с проклятьями изо рта летело радиоактивное пламя, дула ядовитая пыль, мчались языки огня. Рот

превращался в жерло «четвертого блока», откуда стреляли в Дышлова спекшиеся куски урана, вихри смертельной радиации. Было видно, как кожа Дышлова покрывается румяными волдырями, он на глазах лысеет, на горле у него вздувается фиолетовый радиоактивный зоб. — Убывай отсюда, сука драная!..

Камера снимала истерику «чернобыльца», крики других голодающих, подушки, летящие в голову Дышлова. Самого Дышлова, который вскочил с надувного матраса. Успевая содрать со стены красное знамя, убегал, комически напоминая знаменосца.

Торопливо покинули Дом

культуры. Уселись по машинам и бросились опрометью из города. Доехав до первого леска, свернули на проселок.

— Их можно понять, — бормотал Дышлов. — Нервы измотаны... Долговременные последствия радиации...

Он снял с себя одежду, в которой могли скопиться радиоактивные пылинки. Совлек свинцовые трусы и рубаху. Охранники отнесли одежду в сторону, полили бензином и зажгли. Дышлов, голый, подошел к машине дезактивации, из которой уже вытягивали шланг с раструбом. Химик в белой спецовке и респираторе направил раструб на

Дышлова, забрасывая хлопьями пены. Скоро Дышлов скрылся в густой белой массе, обретя полное сходство со снеговиком. Химик поливал его из шланга водой, смывал хлопья. Стрижайло, наблюдая издали, со смехом подумал, что теперь Дышлов напоминает Афродиту, рожденную из морской пены.

Через полчаса, чисто вымытый, розовый, освобожденный от радиации, о чем свидетельствовал молчащий счетчик Гейгера, Дышлов облегченно уселся на заднее сиденье «ВОЛЬВО».

— Мне кажется, мы должны извинить наших товарищей по

борьбе. Ведь главное дело сделано, у нас есть материал для телесюжета.

Стрижайло кивал, успокаивал Дышлова. А сам хохотал, незримо закатывался до колик, до нервного обморока. Вместе с ним хохотали демоны. Они утратили вид бархатистых остроносых зверьков. Чинно расселись вокруг старинного стола, — члены русского Пен-клуба, достойные писатели, иные лысые, иные с благородными пейсами. Внимали своему председателю Андрею Битову, который, чуть шепелявя, делился впечатлениями от поездки на Франкфуртскую ярмарку.

Очередная поездка в

предвыборном турне Дышлова была связана с Транссибирской дорогой. В придорожном рабочем поселке закрылся гидролизный завод. Построенный при Советах, оснащенный первоклассным оборудованием, гордость военно-промышленного комплекса, завод был приватизирован, дважды менял собственника, подвергался силовому захвату, был обанкрочен, достался заезжему коммивояжеру, который вывез все ценное оборудование, запасы стратегических материалов, обрубил медные и алюминиевые провода, выломал из пола каменные плиты, выставил стеклянные окна и бесследно исчез в земле пророков,

где превратился в правоверного иудея, употребляя кошерную пищу. Жители поселка, среди которых было немало ударников труда, передовиков производства, заслуженных рабочих, председателей месткома, секретарей первичных организаций, депутатов в местные советы, — трудолюбивые жители поселка вдруг обнаружили на месте родного завода огромную руину с пустыми окнами и холодными сквозняками в мертвых цехах. Целый год им не платили зарплату, детишки плакали от голода, жены остервенело бранили мужей, мужья от растерянности пили дешевую водку, пока, по тайному наущению

Стрижайло, ни решили перекрыть Транссибирку, — рубить сук, на котором столько лет безбедно сидели.

Стрижайло оплатил изготовление транспарантов и красных флагов. Сам придумал лозунги: «Трансибирка — дорога смерти!». «Деньги на стол!» «Платите зарплату рельсами!» «Шпалу в суп не положишь!». Явившись вместе с Дышловым в поселок, тайно встретился со знакомым железнодорожником, с кем проводил время в баре отеля «Мариотт».

— Завтра, в четырнадцать двадцать через твой участок пройдет

экспресс «Владивосток-Москва».

Народ ляжет на рельсы. Переведи стрелку на второй путь, чтобы состав прошел мимо. Мы произведем съемку, уберем людей, и снова откроешь движение.

— Хорошо в Москве погуляли. Я мужикам рассказывал, какие напитки пил. Только ко рту подносишь, а уже в виски бьет. Одно слово, — «виски». У вас в Москве — «Мариотт», а у нас народ мрет, — железнодорожник был под-шафе, настроен философично, хотя и дружелюбно. Принял в подарок бутылку скотча «Тулламор дью», обещал в точности выполнить наказ.

На другой день после полудня к

разъезду стал подтягиваться народ. Распухшие от пьянства, небритые мужики с дикими, нетрезвыми взглядами. Женщины, все как одна низкорослые, с длинными ручищами и осевшими задами, как если бы всю жизнь таскали в ручную камни. Сопливые ребятишки, мал мала меньше, в несуразных обносках. Молодежь с гнилыми зубами, с бутылками пива в руках. Разворачивали на насыпи лозунги, поднимали красные флаги. Две колеи уходили в разные стороны, сливаясь в солнечную струну, пропадая в синих холмах Сибири.

Появился Дышлов, крепко ступая по шпалам, исполненный

чувства социальной справедливости и классового негодования. Его приветствовали одобрительным гулом. Секретарь партячейки в красный мегафон прокричал:

— Ура товарищу Дышлову!.. Но пасаран!..

Перекрывая его мегафонные возгласы, мимо пронесся состав, проволакивая цистерны с черными потеками жира. Бесконечный, грохочущий хвост, пахнувший нефтью и сталью, тянулся в Китай, исчезая в далеких предгорьях.

— Товарищи, мы не рабы! — выкликал в мегафон очередной оратор. — Пусть отдадут наши деньги, а иначе мы эту дорогу

разберем к ебене Фене! — ему одобрительно хлопали. Мужики поплеывали на мозолистые руки, словно собирались разбирать рельсы. Женщины ненавидяще смотрели вдаль, где скрылся владелец завода, унеся с собой заводскую кассу. Мимо, заглушая митинг, пронесся состав, груженный пиленным лесом. Бесконечные платформы с сибирским кедром, мелькая кругляками, мчались в Японию, наполняя солнечный воздух запахом сладкой смолы.

— Русский мужик долго запрягает, да быстро едет! — гудел в мегафон еще один выступающий. — Мы не забыли революционные

традиции прошлого. Да здравствует Ленин! Да здравствует Дышлов! Да здравствует Советский Союз!..

Его поддерживали одобрительным гулом. Молодежь озорно свистела. Несколько пустых пивных бутылок полетело на насыпь и разбилось о рельсы. Мимо промчался состав из длинных стальных контейнеров, — в Европу утекали русские алмазы и никель, золото и пушнина.

Митинг проходил на насыпи, оставляя пути свободными. Оператор водил телекамерой. Стрижайло незаметно управлял операцией, подавая знаки устроителям митинга. Демоны, обитавшие в теснинах

души, сидели на корточках. Их милovidные мордочки были прикрыты колдовскими, ритуальными масками африканского племени Нгомо. Вырезанные из коры баобаба, расцвеченные яркой глиной, глазастые, с намалеванным красным ртом и белым скорпионом на лбу, маски придавали демонам вид сувениров в лавках Зимбабве. Стрижайло забавлял их наряд, их склонность к метаморфозам.

Дышлов забрал микрофон, обратился к народу, направляя рокочущий металлический звук:

— Наши отцы строили заводы, открывали рудники, прокладывали дороги, создавая могучую индустрию

Родины. Отказывая себе в последнем, наш народ создавал станки и машины, обустроивал города и индустриальные центры. И когда промышленность стала работать на народ, увеличивать его благосостояние, производить все больше автомобилей, телевизоров, холодильников, воры и грабители присвоили себе эти заводы, разграбили, увезли за кордон наворованное... — Дышлов говорило вдохновенно, с пятнами гнева на лице, с играющими желваками. Был похож на Кирова, любимца рабочего класса. Народ гудел, заражался его непримиримостью, видел в нем вожака. — Мы не рабы Гайдара,

Чубайса и Ельцина!.. Наша партия вместе со всем народом создавала промышленность Родины, и теперь всем народом мы вернем себе наше богатство, заставим грабителей раскошелиться, посадим их на цепь и будем морить голодом, пока не вернут награбленное... — народу нравилась мысль о сидящих на цепи олигархах. Нравилось представлять ненавистного Гайдара в ошейнике, перед пустой миской и грудой обглоданным костей. Мужчины воздевали черные жилистые кулаки. Женщины тянули к Дышлову малых детей, чтобы тот их благословил на борьбу. — Будет и на нашей улице праздник, товарищи. Мы вернемся в

наши прекрасные цеха и получим честно заработанные деньги. Купим нашим женам красивые платья. В дни заслуженного отпуска всей семьей, с детьми и отцами-инвалидами поедem в санатории на побережье Черного моря в наши чудесные здравницы... — толпа восхищенно ахнула. Мужчины зашевелили пальцами, будто пересчитывали зарплату. Женщины оглаживали свои поношенные блузы и юбки, будто это были разноцветные шелковые платья. Седовласый инвалид, тяжело опиравшийся на костыли, первый раз за десять лет улыбнулся. — Сейчас, товарищи, в знак протеста мы ляжем

на рельсы Транссибирской магистрали, по которой грабители и оккупанты отправляют за рубеж русскую нефть, древесину, алмазы. Я лягу вместе с вами, не то что Ельцин, который обещал лечь на рельсы, а сам улетел развлекаться в Америку...

Дышлов решительно, смело шагнул на колею, улегся на нее так, что блестящая рельса проходила у него под затылком, рождая мысль о хрустящем звуке и рокоте отточенного колеса. Народ повалил на шпалы, стал укладываться. Стрижайло следил, чтобы люди улеглись на одной колее, оставляя другую свободной, — ту, по которой смышленный железнодорожник

направит экспресс «Владивосток — Москва». Оператор снимал драматический момент, — лежащих рабочих, усевшихся на пути женщин, плачущих детей. Рядом с Дышловым улегся седовласый инвалид, уложив костыли, радостно обращаясь к соседу:

— Мы вам верим, товарищ Дышлов. Помогите добить гадину.

Стрижайло смотрел на часы. «Ролекс» показывал «четырнадцать — пятнадцать». Оставалось пять минут до подхода поезда. Он вглядывался в голубые пространства Сибири, из которых, невидимый, приближался состав.

— Давай, мужики, запевай

песню...

— «Вихри враждебные веют над нами...»

— Слов не знаем...

— «Артиллеристы, Сталин дал приказ...»

— Давай народную: «Эх, мороз, мороз...»

И все, кто лежал на рельсах, и сидящие на шпалах бабы, и вдохновенный Дышлов, ухватив рукой теплую рельсину, и инвалид с блаженным лицом, ощущая силу и единство товарищества, запели, сначала нестройно, а потом все крепче и слаженней:

— Эх, мороз-мороз, не морозь меня, не морозь меня, моего коня...

Вдалеке, среди голубых горизонтов, возникла слабая тень. Отделилась от хвойных лесов, от таежных предгорий там, где далекая насыпь создавала плавный изгиб, и рельсы сливались в неразличимую дугу. Стрижайло следил за скачущей стрелкой, за туманной, размытой пространством тенью.

— Моего коня белогривого, у меня жена эх ревнивая... — гремел народный хор.

Стрижайло различал состав, — тонкую подвижную линию, повторявшую изгиб насыпи в том месте, где уже мерещилась сталь дороги, еще не разделенная на четыре блестящих струны, слитая в

единый солнечный блеск.

— У меня жена эх красавица, ждет меня домой — эх, печалится...

Состав напоминал длинную членистую гусеницу с толстой яркой головкой, из-под которой струились солнечные паутинки. Состав приближался, смутно угадывалась лобовая часть тепловоза, окутанные дымкой вагоны.

— Я вернусь домой на закате дня, обниму жену, напою коня... — люди на рельсах пели. Дышлов раскрывал свои мясистые губы, не зная слов, выдыхал ревуший звук. Инвалид, порозовев от волнения, тянул дребезжащим старческим голосом.

Стрижайло торопил оператора снимать. Знал, что состав промчится по соседней колее, и надо снять крупным планом комическое лицо Дышлова на рельсах и несущиеся, безопасные, режущие колеса.

Состав налетал, лобовая часть тепловоза сверкала стеклами, краснела, белела яркими мазками. Стрижайло с изумлением увидел, что это была ритуальная маска африканского племени Нгомо, глазастая, с красными намалеванными губами, белым скорпионом на лбу. Демон в маске, излетев из души Стрижайло, исполненный могучей энергии, мчал состав. Отстранил Стрижайло от

управления операцией, взял на себя главенство, исполняя демонический замысел. Это было ужасно. Демоны вышли из-под контроля. Увлечлись бесовским театром, который задумал Стрижайло. Стали играть в нем свою сатанинскую пьесу.

— Эх, мороз, мороз...

Стрижайло видел, что состав мчится по той колее, на которой лежали люди. Либо железнодорожник упился «Туллмордью» и забыл передвинуть стрелку. Либо демоны завладели диспетчерским пультом и мчали тепловоз на лежащих людей. Стрелка летела по циферблату, и на кончике ее сидел крошечный смеющийся

демон. Другой сатанинский дух, могучий и яростный, в ритуальной маске африканского колдуна, гнал состав на людей.

— Прочь с колеи!.. — завопил Стрижайло, хватая за шиворот увлекшихся певцов, — Раздавит к ядерной матери!..

Люди очнулись, престали петь. С ужасом глядя на приближавшийся состав, соскакивали с рельсов, кубарем скатывались с колеи. Женщины отбрасывали детей, с визгом бросались следом. Девки и парни визжащими клубками покидали шпалы. Дышлов, оглядываясь потрясенными лицом, хватая губами воздух, карабкался

через рельсы. Инвалид, потеряв костыли, умоляюще тянул к нему руки. Стрижайло схватил Дышлова за тугие плечи, вырвал его из-под самых колес. Страшные массы железа навалились с громом и воем. Отточенные колеса рубанули по инвалиду, превращая в ворох красных костей и скомканного хлюпающего тряпья.

Состав умчался. Сотрясалась насыпь. Из-под насыпи смотрело множество испуганных лиц. Были разбросаны транспаранты и флаги. На блестящих рельсах лежало кровавое месиво белых костей и тряпок. Оператор снимал изуродованный труп, известковое

лицо Дышлова, повторявшего:

— Не виноват... Он сам лег на рельсы...

Стрижайло был на грани обморока. Демоны, населявшие его дух, чинно расселись в амфитеатре Совета Федерации. Были сенаторами, решавшими дела государства. Перед ними выступал спикер, похожий на мохнатого, преданного спаниеля.

глава девятнадцатая

Стрижайло самозабвенно работал с Дышловым, но не выпускал из вида другие направления всеобъемлющего плана, открывшегося ему, как озарение. Следил за Семиженовым, который развертывал в регионах партию «Сталин», создавая ячейки вокруг все новых и новых однофамильцев великого вождя. Контролировал поступление денег Верхарна на счета этой партии, с последующим перетеканием их «красному банкиру» Кресу, спонсору КПРФ. Тайно подпитывал честолубие Грибкова, побуждая создавать

собственное патриотическое движение, избавляясь от изнурительного контроля коммунистов. Успевал заниматься «мюзиклом» для Маковского, — прослушивал музыкальные партии, просматривал мизансцены, оценивал декорации и костюмы. Писал политологический доклад о созидательной роли русских олигархов, о «либеральном патриотизме», парламентской республике, Президентом которой подразумевался Маковский. Изредка, избегая личных встреч, тайными звонками или через «верного человека» Веролея, сообщал Потрошкову о положении вещей,

получая в ответ устные поощрения и «платежки» на крупные денежные суммы, Бог весть из каких общественных фондов.

Между тем, избирательная кампания вырвалась из тесного кокона, распускала над Россией свои великолепные крылья, превращая страну в бабочку между трех океанов. Убили первых кандидатов в депутаты, — одного застрелили в ночном клубе на испуганной проститутке. Другого растворили в цистерне серной кислоты, о чем свидетельствовали две золотых запонки, найденные на дне зловещего сосуда. Третий объелся на банкете пельменями, которые

обладали предательской способностью страшно расширяться в желудке.

Судебными решениями были сняты с дистанции первые неудачники, — один не точно указал количество родинок на теле, утаив две незначительные в самом интимном месте, что выяснилось при тщательном медосмотре. Другой поплатился за связь с криминалом, — выставил свою кандидатуру, находясь в колонии строго режима за изнасилование малолетних. Третий, очень перспективный и деятельный, оказался давно умершим, что засвидетельствовала экспертиза

захоронения, эксгумация останков, сличение их с ДНК заявившего о себе кандидата.

Прошли первые перестрелки из автоматического оружия между «Партией пенсионеров» и «Партией жизни». В очередной раз сгорела штаб-квартира одного из либеральных объединений, где среди обугленной мебели и испепеленной литературы был обнаружен труп, кажется собаки. Вовсю заработал «административный ресурс», — сразу в нескольких психиатрических больницах пациентов прекратили кормить, пока те не выдвинули в едином порыве кандидата от «Единой России».

Защелкал своими безупречно
белыми зубами аллигатор
демократии. Раскрыл свой
величественный клюв попугай
народовластия. Ускорила свой бег
черепаха гражданского общества.
Выпала и стала прихорашиваться
грыжа патриотизм. Обнаружила себя
предстательная железа честных
выборов. Карлик в гультфике Сергея
Михалкова почувствовал
предвыборное беспокойство,
выглянул, желая дать интервью, чем
произвел громадный переполох в
семье автора нескольких гимнов,
«красного дворянина» и бонвивана.

Дышлов оправился после
недавней трагической поездки на

Транссибирскую магистраль, где под поездом погиб инвалид. Судебное разбирательство не коснулось его, — выяснилось, что сам инвалид был причиной инцидента, он же оказался зачинщиком демонстрации, он же на свою пенсию изготавлял транспаранты и флаги, он же был виновником того, что рабочим полгода не платили зарплату. Дышлов вздохнул с облегчением, чему способствовало поступление на счета «красного банкира» Креса тридцати миллионов долларов от пятнадцати богачей, которые, как голуби Ноя, налетались среди потопа приватизации и теперь возвращались в коммунистический ковчег, неся в

клювах зеленую ветвь
нефтедолларов. Все они были
включены в предвыборные
партийные списки КПРФ, и их
утверждение на предстоящем
партийном съезде было делом
аппаратной техники.

Очередная агитационная
поездка Дышлова намечалась в
сельский церковный приход, где
коммунистический лидер отстоит
обедню, причастится, и как бы
случайно выяснится, что «коммунист
номер один» был в детстве крещен,
что вызовет энтузиазм и поддержку
православных избирателей,
посрамит тех, кто называет
современных коммунистов

атеистами и безбожниками.

Они мчались на северо-запад среди теплого ветра просторных полей, озаренных лесов, розовых, убежавших проселков. Дышлов исподволь складывал пальцы щепоткой, украдкой тренировался, осеняя себя крестным знамением.

— Все-таки мы недостаточно задействует фактор Бога в нашей предвыборной агитации, — глубокомысленно обратился он к Стрижайло.

— Совершенно с вами согласен. Тем более, что наши противники из «партии власти» активно используют магию, колдунов и прочую нечистую силу против нас, коммунистов. Мне

кажется, в канун выборов мы должны отслужить большой молебен для укрощения и посрамления нечистой силы, которая прочно угнездилась во многих избирательных комиссиях. Да и Председатель Центризбиркома Черепов, как известно, водит дружбу с африканскими демонами и вампирами.

— Слушай анекдот про вампиров, — оживился Дышлов. — Сидит старый вампир в парке и смотрит на женщину, которая присела недалеко на скамейке. Подходит молодой вампир и спрашивает: «Ну, дед, что сидишь? Давай действуй, прокусывай венку». «Нет, — отвечает старик, — совсем я

стал плох. Зубов нет. Сижу и жду, когда у нее начнется менструация». — Дышлов захохотал, блестя зубами, обнаруживая завидное жизнелюбие и бойцовские качества. Так весело и небесполезно беседуя, они скоро очутились на месте.

Церковь стояла посреди села, аляповатая, выбеленная, с наивными ярко-синими куполами и желтыми крестами. От нее исходило тепло, какое исходит от русской печки, и хотелось прижать ладони к ее нагретым кирпичам. Навстречу вышел батюшка, тот с кем Стрижайло, в нарушении всех постов, отужинал в ресторане

«Кабанчик». Батюшка был из бывших десантников, дюжий, с голубыми диковатыми глазами, управлял приходом, как ротой. Прикрикнул на церковную старостиху, бестолково, как курица, побежавшую прочь от подъехавших великолепных машин:

— Отставить! Слушай мою команду! — послал ее в церковь, куда перепуганная старуха поспешила короткими перебежками. — По делу, али на богомолье? — строго обратился он к приехавшим, оправляя на себе белую, с голубым отливом ризу, сознавая свое великолепие и охотно позируя перед телекамерой.

— Мимо путь пролег. Как не

заглянуть в святое место? Иль мы не русские? — ответил Дышлов с былинной иносказательностью древнего богатыря, объезжавшего отдаленные заставы.

— Отца и Сына и Святого Духа, — одобрительно произнес священник, благословляя Дышлова, который, не усвоив до конца урок, подошел под благословение, сделав книксен.

— Воинственный атеизм и безбожие навсегда ушли из политики нашей партии, — вещал Дышлов под телекамеру, слегка вспотев от несвойственной ему обстановки. — Мы осудили гонение на священников и разрушение церквей. Я, к примеру,

верующий, как и многие другие мои товарищи. Иисус Христос, как известно, был коммунистом, был за равенство, справедливость, любовь. Я сейчас заканчиваю работу под названием: «Русский коммунизм», где большое место уделяю христианству. Когда мы придем к власти, церковь займет достойное место в строительстве нашей духовности, и мы оградим ее от тоталитарных сект. — он говорил твердо, демонстрируя единство церкви, народа и партии.

Батюшка одобрительно внимал, стараясь, чтобы его косматая борода, серебряная епитрахиль попали в объектив телекамеры, и этот

духовный обмен мнениями был запечатлен на фоне родного прихода.

Из церкви показалась церковная старостиха, неся перед собой ящик с прорезью, напоминавший избирательную урну. Точно такой же ящик нес за ней подросток, облаченный в ризу. На первом ящике было аккуратно выведено: «На ремонт храма». На другом: «На свечу». Дышлов сделал знак охраннику. Тот вытащил толстый бумажник, сунул в щели обоих ящиков по стодолларовой бумажке.

— Таких и не видывали, — изумленно ахнула старушка.

— В город поедешь, там есть «обмен валюты», — пояснил

Дышлов, не уставая, где только возникала возможность, сеять просвещение.

Из церкви показался хромой псаломщик в засаленном облачении. Нес толстую, в клеенке, тетрадь. Раскрыл на заранее отмеченном месте, передавая священнику. На тетради было начертано: «Книга церковных записей».

— Тут я обнаружил некую информацию, о крещении некоего младенца Алексея Дышлова, — произнес батюшка, тыкая твердым пальцем в замусоленную страницу, где уверенным почерком дежурного по части была сделана запись. — Не вы ли это будете?

— Все тайное становится явным, — благоговейно вздохнул Дышлов, заглядывая в желтые листы церковной летописи, позволяя оператору направить объектив на сокровенные строки. — Как во сне помню, — эти синие купола, кресты. Батюшка меня в воду ставит, а я его за бороду трогаю... — Дышлов умиленно смотрел на синие луковицы, проросшие желтыми крестами, в которых носились стрижи. Теперь, когда был обнаружен и запечатлен факт крещения, можно было идти в церковь, где начиналась служба. Под звон колоколов, негромкий и бледный, в сопровождении охраны и

оператора, Дышлов вошел в храм.

Народу было немого, — опрятные, в летних платочках старушки, несколько немолодых мужчин, бритоголовый здоровяк из окрестной «братвы», «разбойник благоразумный» неременный во всяком храме. Дышлов, войдя, стал здороваться с прихожанами за руку:

— Как здоровье? Как огороды? Колорадский жук не замучил? Смородина должна хорошо уродиться, — прихожане робели, протягивали руки, лепетали про недороды и дорогие комбикорма. Бритоголовый, на вопрос Дышлова, какая обстановка в районе, охотно ответил:

— Хорошая в натуре, конкретно.

— Добра вам всем и мира в ваших домах, и да будет у вас достаток и благоденствие в семьях, — произнес Дышлов, усваивая пастырский тон, полагая, что именно так приличествует вести разговор с прихожанами. Принял в руку зажженную охранником свечу, расставил ноги, приготовился к долгому стоянию.

Потекла служба, длинная, смиренная, кроткая, с нестройными, водянистыми голосами хора, с выцветшими росписями на стенах, с вялыми букетиками полевых цветов, с лампадками и свечами, трогательно и наивно мерцающими в пыльном

солнце. Стрижайло, набравшись терпения, оглядывал убранство храма, немногочисленных прихожан, священника, который вдруг врывался в эту смиренную благодать рокошующим бурным голосом командира десантных войск.

Дышлов стоял, сжимая свечу, сосредоточенный, строгий, сознавая важность мероприятия, выстраивая на лице соответствующее моменту выражение. Привыкший большую часть жизни просиживать на пленумах и съездах, президиумах и заседаниях фракций, на юбилейных вечерах и праздничных концертах, на панихидах и «круглых столах», он при всяком удобном случае

подтверждал свою включенность в общественную жизнь, соседство с именитыми политиками и актерами, чтобы хоть раз в телекадре мелькнуло его лицо публичного деятеля, представителя государственной элиты. Казалось, его антропология, — широко расставленные ноги, крепкие ягодицы, натренированная спина, — была приспособлена для многочасовых сидений и стояний, а лицо удивительным образом принимало выражение, приличествующее обстановке. Истовое и мистическое, когда пели государственный гимн. Исполненное печали и сострадания, когда

хоронили какую-нибудь очередную знаменитость. Небрежную шутливость, когда назойливые журналисты просили прокомментировать высказывания Президента. Гневную непримиримость на протестных митингах. Сейчас он старался изобразить погруженность в вечность, сопричастность божественным тайнам, глубокое смирение, какое, по его мнению, должно овладевать человеком в церкви.

Стрижайло, едва вошел в церковь, почувствовал легкое удушье, как если бы в горле у него стала набухать опухоль. Это духи,

заселившие дыхательные пути, пищевод, коронарные сосуды, стали раздувать бока, потревоженные иконами и лампадами, святостью намоленного пространства. Давали понять Стрижайло, что крайне недовольны обстановкой, где в деревянном иконостасе блекло светились лики Спасителя и Богородицы, Николая Угодника и Архангела Михаила, хор то и дело восклицал: «Господи, помилуй...», а на полустертой фреске Страшного суда ангелы, распушив крылья, сбивали копьями отвратительных черных бесов, ввергая их в ад. Стрижайло помнил происшествие на Транссибирской дороге, когда духи

вышли из-под контроля и сами овладели ситуацией. Изменили ход задуманной им комбинации, направили тепловоз на несчастного инвалида, раскромсали его на ломти. Такое больше не могло повториться. Он контролировал духов, не позволял выходить за пределы своего тела, хотя это и причиняло некоторое неудобство, — как рассерженные коты, духи надували загривки, что стесняло дыхание.

Служба тянулась бесконечно. Сноп света из высокого окна медленно перетекал по церкви, как в солнечных часах. Стрижайло погрузился в оцепенение. Рассеянно думал о деньгах, обильно, в виде

«черного нала», поступающих ему в руки. О великолепных особняках на Успенском шоссе, в районе Жуковки и Барвихи, которые он начал присматривать для себя. О газетном компромате, рассказавшем о губернаторе-педофиле. Об утреннем звонке Потрошкову, который разговаривал медовым, сахарным голосом, будто подбородок его переливался нежным румянцем цвета вишневой зари. О Карапузове, который взял предоплату, обещав разместить в своей программе «Момент Глистины» предлагаемый Стрижайло сюжет. Он словно дремал стоя, окруженный песнопениями, свечами, кадильным дымом, который

вдыхал, желая досадить духам, не выносившим благоуханий ладана. Полагал, что эти запахи подействуют на демонов как дурман, и лишат их активности.

Распахнулись царские врата, и священник, величественный, в белом облачении, похожий на мартовский сугроб с проблеском голубого льда, вышел, неся перед собой золоченую чашу. Держал двумя руками, как древко знамени. Отрок в ризе принял у батюшки чашу, поставил ее на подносик, держал навесу. Прихожане нестройно запели. Потянулись к чаше, сложив на груди крестом руки. Приобщались Святых Тайн, вкушая тела и кровь Господни. Батюшка

черпал из чаши частицы просфоры, пропитанные кагором. На блестящей ложечке подавал прихожанам, и те осторожными губами хватали розовую мякоть, глотали капельки красного вина.

Дышлов, копируя движения прихожан, сложил на груди толстые руки, неудобно ухватив себя за плечи. Стал в череду старушек, большой, неловкий, среди платочков, деревенских блузок, остроносых старушечьих лиц. Оператор снимал причастие, опрокидывающее ложные представления о свирепой антибожественной природе современного коммунизма. Стрижайло радовался тонкой

комичности происходящего,
очевидной театральности действия.
напряженной беспомощности
Дышлова, неумело имитирующего
благоговение. Одновременно
контролировал демонов, которые
рвались наружу. Накрывал их
непроницаемым колпаком, а они
бились, как мухи под крышкой
прозрачной хлебницы.

Дышлов приблизился к батюшке. Тот, позируя телеоператору, осенил Дышлова крестом. Окунул в чашу ложечку, вылавливая пшеничную частицу. Понес к вытянутым губам Дышлова, топорща снежное, блистающее облачение.

Стрижайло почувствовал, как из

груди вверх, к горлу протискивается скользкий упрямый комок. Проник в рот. Цепко пролез в носовую полость. Причиняя острую боль, вырвался из уха наружу. Тенью облетел бородатую голову батюшки, скользнул под локоть и, обнаружив на мгновение черное, с пухлыми щечками лицо, выпуклые чернильные глаза и фиолетовый язык, толкнул батюшку под руку. Тот охнул, выронил чашу. Она упала на каменный пол. Красное вино разлилось по истоптанным плитам. В вине лежали розовые хлебные ломтики. Прихожане в ужасе отступили. Священник рухнул на пол огромным телом. Двигая по камням

бородой, стал выпивать, слизывать с пола разлитые дары. Страдальчески выпучил глаза, хлюпал губами. Оператор снимал разлитое вино, опрокинутую чашу, растерянного Дышлова, прихожан, которые бормотали, крестясь:

— Не принимает Господь коммуниста!.. Грех-то какой!.. Ироды красные, избивали православных христиан!..

Охранники уводили Дышлова из церкви. Оператор, гибкий, как барс, ступал следом. Стрижайло чувствовал, как демон влетел в ухо, протиснулся сквозь дыхательные пути в глубину легких. Теперь сообщество демонов сидело за

круглым столом в студии программы «Времена», окружая ведущего Познера. Тот, только что совершив свой богопротивный поступок, весело объяснялся с гостями студии, хвалил Америку. Трепетал всеми плавниками и жабрами, напоминая крупную скользкую рыбу, выпрыгнувшую из Гудзона.

Опрокинутая чаша с дарами угнетающе подействовала на Дышлова. Он сетовал Стрижайло, что его преследует рок неудач:

— Может быть, это козни ФСБ? Власть использует против меня административный ресурс?

— Нам нечего бояться, —

успокаивал его Стрижайло. — Телекамера находится в наших руках. Отснятые кассеты в наших руках. Мы сделаем великолепный фильм, а все неудачи останутся за кадром. Что касается некоторых накладок, их можно было предвидеть из гороскопов, которые я составлял перед нашими путешествиями. В одном случае Уран вошел во взаимодействие с Нептуном, и они пробудили темные силы ночной воды. В другом случае Марс вышел на пересечение с Плутоном, и их встреча в созвездии Лебедя породила свечение аметистов и сердоликов. В третьем случае Луна встала на одну линию с Меркурием и Сатурном, и

это вызвало задержку месячных извержений у женщин, рожденных под знаком Овна в год Тигра и Гиппопотама.

Дышлов успокоился, тем более, что приходили известия о поступлениях в партийную кассу, — взносы представителей крупных компаний, делегированных в коммунистические депутаты.

— Ладно, слушай анекдот. Приходит беременная женщина к врачу на обследование. Доктор ощупывает, просвечивает живот. Обеспокоено говорит: «Сложный случай. Ребенок лежит в свернутой позе, очень неудобно рожать» — «Как же быть?» — плачет будущая

мать. Доктор задумался, глядя на живот: «Кто по национальности отец ребенка?» — «Еврей» — «Ну тогда выкрутится», — и Дышлов жизнерадостно засмеялся.

Очередным мероприятием, носившим агитационный характер, была презентация книги Дышлова «Русский фактор», где автор развивал свои оригинальные взгляды на русскую историю и на русский национальный характер. Книга была умелой компиляцией из трудов Карамзина, Ключевского, Соловьева, Костомарова, с добавлением статей неизвестных авторов — о русском аспекте советской истории и о роли «русского» в современном

оппозиционном движении. Чтобы превратить выход книги в эффектное событие, стараниями Стрижайло были привлечены миниатюристы из Палеха, снабдившие книгу изумительными иллюстрациями. Выполненные в характерной, иконописной манере, с обилием алого, лазурного, золотого и зеленого, эти миниатюры делали книгу драгоценной, создавали синтез политического, исторического и эстетического. Для пущего изящества часть текстов была переведена на древнеславянский, иврит и английский, а также выполнена рельефно-точечным шрифтом слепых по «технологии Брайля». Налицо был

художественный проект, привлекавший внимание прессы, арт-критиков, ценителей истории и полиграфии. Был приглашен дипкорпус, академические круги, духовенство, несколько наиболее значимых представителей «Общества слепых». Куратором проекта стал известный арт-критик по прозвищу «Танкист», ибо его фамилия была созвучна фамилии фашистского фельдмаршала бронетанковых войск, успешно воевавшего в Африке. Как полагали, арт-критик трагически погиб во время захвата террористами театра на Дубровке, в память о чем на Крымском мосту была открыта мемориальная стелла. Сенсацией же

являлось то, что арт-критик выжил, его не взяли ни отравляющий газ зарин, ни пуля разбойника. Теперь, на презентации, бледный, в черном мундире танкиста, с серебряными черепами в петлицах, он являл собой блестящий пример бессмертия.

Презентация проходила в респектабельном помещении газеты «Аргонавты и фрукты». Несколько великолепных экземпляров книги лежало в президиуме. Дышлов, румяный от удовольствия, перелистывал мелованные страницы с драгоценными иллюстрациями. «Илья Муромец побивает печенегов у стен Киева». «Святые Дмитрий Донской и Александр Невский

спасают Русь от захватчиков». «Иоанн Грозный сокрушает Казанское ханство». Эти миниатюры с обилием нимбов, алых плащей и воздетых мечей напоминали иллюстрации к летописи, в которой Дышлов, подобно Нестору, описывал события так, будто сам разбивал голову поганого Жидовина, пронзал копьем магистра Ливонского ордена, поджигал пороховую бочку под стенами Казани. «Вольница Степана Разина». «Отсечение головы Емельяну Пугачеву». «Декабристы на Сенатской площади». Эти лубочные изображения мятежей и восстаний прошлого объясняли народные истоки русской Революции,

обнаруживали народность самого Дышлова, его бунтарскую натуру, сочетание стихии крестьянских восстаний с аристократическим рационализмом декабристов. «Выступление Ленина на броневике». «Народ строит домны Магнитки». «Сталин на параде сорок первого года». Эти миниатюры напоминали иконы. Первая — «Въезд Христа в Иерусалим». Вторая — «Покрова Святой Богородицы». Третья — «Несение креста». Сама стилизованная, архаичная манера иллюстраций делала революционные преобразование Страны Советов неотъемлемой частью тысячелетней истории России, а Дышлова —

преемником великих «красных вождей», хранителем исторических заповедей. «Знамя Победы над Рейхстагом» напоминало икону «Богоявление». «Полет Гагарина в Космос» был интерпретацией иконы «Вознесение Ильи Пророка». «Освоение Целины» выглядело, как «Притча о сеятеле». Дышлов в этой части книги выглядел, как современник и участник грандиозных событий, — карабкался на горящий купол Рейхстага, сквозь свист турбин выдыхал в микрофон: «Поехали!», сидел за штурвалом красного целинного комбайна. Последний раздел книги был посвящен нынешней оппозиционной

борьбе, в которой Дышлов представлял народным вождем. Миниатюра «Двуглавый Дракон — Горбачев и Ельцин» напоминала икону «Георгий Победоносец», где на алом жеребце, в золотом шлеме и пурпурном плаще Дышлов поражал копьем двухголовую мерзкую тварь, свившуюся у кремлевских ворот. «Восстание 93-го года» выглядело как «Церковь воинствующая», с обилием лиц, летящими ангелами, пылающим белым Дворцом, на фоне которого Дышлов воздевал красный стяг. Венчала книгу иллюстрация «Все на борьбу с антинародным режимом», — красочное многолюдное шествие у Кремля с

Дышловым во главе.

Эту книгу, изданную на деньги олигарха Маковского, перелистывал в президиуме Дышлов, готовый давать автографы, когда в зал доставят пачки с основным тиражом.

В зале, уже переполненном, стояли на штативах телекамеры, мерцали вспышки фотографов, умненькие барышни-журналистки приготовили блокноты и диктофоны. В первых рядах сидели именитые гости. Историк, редактировавший книгу, сторонник божественного происхождения России. Раввин в кипе, своим присутствием демонстрирующий отсутствие в книге антисемитизма и ксенофобии.

Слепой профессор, обнаруживший зрительные нервы на кончиках пальцев. Представители посольств, подтверждавшие, что в лице Дышлова они имеют дело с политиком мирового масштаба. Известный богослов дьякон Куратор, отнюдь не выкрест, а остзейский немец, как и Патриарх Редигер. Много других гостей, — депутатов Думы, коммунистических активистов, литературных и художественных критиков, пожелавших поучаствовать в презентации, а потом всласть выпить и закусить на фуршете. Стрижайло замешался в толпе на дальних рядах, ничем не выдавая свою

главенствующую роль, исподволь, жестами, рассылая сигналы помощникам в разных концах конференц-зала.

Торжество открыл куратор проекта «Танкист», великолепный в своем черном беспощадном мундире, с пистолетом «вальтер» на худом бедре, с тангентой у стиснутых губ:

— Пусть никого не обманывает красочность оформления. Это танк, который расписали от гусениц до пушки художники Палеха. Бомбардировщик, закамуфлированный мастерами Хохломы. Авианосец, выполненный в эстетике жестовских подносов. Межконтинентальная ракета,

обернутая в домотканые рушники и красочные платки. Но когда прозвучит команда: «Ахтунг, ахтунг, панцер!...» вы убедитесь, что значат «танковые клинья» и «ковровые бомбежки»! — он выкинул в знак приветствия руку, серебряные черепа в петлице непримиримо сверкнули, а нашивка за ранение, полученная при захвате «Норд-Оста», вспыхнула, как улыбка героя.

Вторым взял слово профессор истории:

— Мы имеет дело с трактатом о всемирной истории, которая является русской историй. По новейшим исследованиям археологов, текстологов, математических

лингвистов, археологов, антропологов и специалистов по спектральному анализу, неандертальцы и кроманьонцы были русскими. Господь вначале сотворил Россию, а уж затем все остальные народы и царства. Давид и Соломон, выходцы из-под Витебска, были русскими, как впрочем, и пророки, и все остальные евреи. Греческая цивилизация в ее спартанской и афинской разновидностях была типично русской цивилизацией, как впрочем, и империя Александра Македонского, выходца из Поволжья. Этруски, прародители Рима — это русские, населявшие в ту пору Европу и Северную Африку. Римские

императоры от Августа до Марка Аврелия были не просто славянами, но русскими, выходцами из сегодняшней Липецкой области. Карл Великий и Фридрих Барбаросса были русскими предками новгородских и тверских князей. Китайцы и индусы — это русские, претерпевшие некоторые антропологические изменения, но сохранившие расовый тип, о чем свидетельствуют пробы ДНК, взятые у Дэн Сяопина и Индиры Ганди. Не стану углубляться в теорию, но предлагаемая книга — есть еще одно подтверждение о внеземном происхождении России, которая является проекций Рая на

Среднерусскую равнину, — историк задышался от волнения, боясь быть непонятым, то и дело доставал из кармана какие-то черепки из древних курганов и кости из усыпальниц.

Раввин с хитрым видом, поглаживая косматую бородку, заметил:

— Если все евреи — русские, то и все русские — евреи, о чем говорит история Хазарского каганата, простиравшегося до вологодских лесов. Русское слово «шлем» — это еврейское «шалом». Строка из «Слова о полку Игореве» — «Шеломами вычерпать Дон» свидетельствует о том, что рать князя

Игоря состояла из евреев. Именно поэтому «холокост» — глубоко русская проблема.

Дьякон Куратор, потупив глаза, не желая вступать в полемику с ненавистным раввином, произнес:

— «Несть ни русского, ни иудея». Но я бы, уважаемый раббе, поостерегся жонглировать словом «холокост», которое в некоторых легкомысленных устах звучит, как «хула-хуп».

Именитый слепой, открыв книгу, касался иллюстраций чуткими пальцами и говорил:

— Автор сей изумительной книги — «красный», а слог его «серебряный», а живописцы

поистине «золотые». Желаящий видеть, да видят, ибо на каждом пальце у нас всевидящее око, прозревающее не только цвета материального мира, но и цвета духовные.

Стрижайло сделал тайный знак помощникам, и в зал стали вносить пачки со свежеотпечатанным тиражом, прямо из типографии, пахнущие медовыми и пряными красками. Раскрывали обертку, расхватывали тяжелые, с тисненными обложками книги, направлялись к Дышлову за автографом.

Стрижайло видел, как красотка-журналистка из влиятельной газеты «Коммерсанто Клаус» раскрыла

книгу, стала перелистывать драгоценные страницы, прикусив от наслаждения перламутровые губки. Оператор направил телекамеру через ее плечо на книжные развороты, фиксируя изображения. Илья Муромец в богатырском величии над синим Днепром с белыми храмами и золотыми главами Софии Киевской. В блеске славы, похожий на ангела, князь Дмитрий Донской, выступает в поход, окруженный несметным войском. Молодой и прекрасный царь Иоанн нацелил блистающий взор на горящие мечети Казани.

И вдруг, после изысканных миниатюр, исполненных утонченной кистью, как будто упал на страницы

шмоток грязной сырой штукатурки. Огромная, грубо нарисованная задница в рыжих свиных волосках с торчащими из ягодиц ушами, и надпись: «Наш Дышлов». Следующая картинка, нарисованная в духе расхристанных и вульгарных комиксов, — похожее на окорок, мясистое, носатое лицо Дышлова с редкими зубами и выползающими из рта тараканами: «Что ни слово, то таракан». И дальше на мелованных страницах, сплошь, один за другим комиксы «о жизни и деятельности коммуниста товарища Дышлова».

Журналистка охала, ужасалась, хохотала, перелистывала книгу,

позволяя оператору снимать и комиксы, и ее хохочущее лицо.

Далее в книге следовало. Дышлов, начальник ГУЛАГа, гонит колонну полосатых «зэков». Дышлов, исполнитель приговора, расстреливает в затылок несчастных заключенных. Дышлов, организатор голодного мора, сгребает лопатой груды скелетов. Дышлов, командир заградотряда, стреляет из пулемета в спину штрафбату. Эти жестокие комиксы сменялись чередой излишеств, которым предавался коммунист номер один. Дышлов пирует за роскошным столом, а за окном просит подаяние голодная девочка. Дышлов входит в свой

роскошный трехэтажный дворец, отделенный стеной от трущоб и бараков. Дышлов плещется в бане, окруженный обнаженными куртизанками.

Отдельно следовала серия комиксов, вменяющая Дышлову предательство, ренегатство и трусость. Дышлов во время ГКЧП бежит из Москвы и прячется в родной деревне Козявино. Дышлов во время восстания 93-го года, обнимая Ельцина, обращается в мегафон к народу с требованием разойтись. Дышлов в холуйской позе посылает Ельцину поздравление с победой на выборах. Дышлов с протянутой рукой стоит в приемной Президента Ва-Ва.

Книгу завершала картина, на которой изображалась избирательная урна. В ней, ужасный ликом, оскаленный, с высунутым языком, сидел Дышлов, вытягивал наружу волосатые ручища, вырывал бюллетень у худой измученной женщины. И надпись: «Бойтесь попасть в такую пасть!»

Вся серия была выполнена лихо, брутально, производила сильное впечатление. Народ, стеная, захлебываясь хохотом, валил к Дышлову, подсовывая книги для автографа. Сделав две или три подписи, Дышлов обнаружил жуткую подмену, побагровел, стал отталкивать отвратительные

фолианты. Неловко отстранил наглого репортера из «Аргонавтов и фруктов». Тот случайно ударил стоящего рядом депутата Думы. Депутат, увертываясь от удара, угодил коленом в челюсть философу. Философ, не понимая, откуда пришел удар, засадил оплеуху послу Мальты. Посол, потеряв очки, махнул наугад и разбил нос культурному атташе Германии. После этого началась всеобщая свалка.

Летали кулаки. С женщин сдирали одежду. Те, в свою очередь, норовили оскопить мужчин. Валились телекамеры. Активисты компартии раскручивали над головами стулья и метали в толпу.

Пролилась первая кровь. Раненых и убитых становилось все больше. Санитарки едва успевали выносить из-под огня изувеченных. В полевом лазарете хирурги ампутировали без наркоза руки и ноги, извлекали из черепов осколки.

Арт-критик «Танкист», оказавшись в гуще потасовки, решил, что повторяется ужас «Норд-Оста». Был не в силах вторично пережить мучений захвата и плена, выхватил «вальтер» и застрелился, как подобает герою. Дьякон Куратор и раввин, сцепившись, душили друг друга. Дьякон сипел: «Вы нарушаете конфессиональный мир», на что раввин, выпучив от удушья глаза,

лепетал: «Вы душитель иудаизма». Историк восторженно глядел на битву, выкликая: «Мы — русские! С нами — Бог!» Именитый слепой, раскрыв книгу, ощупывал чуткими пальцами изображение задницы и вопрошал: «Это что? Это что?» Стрижайло приблизился и произнес ему в ухо: «Это жопа». Драка стала стихать лишь после того, как распорядитель, перекрикивая вопли и стоны, объявил: «Водка остывает, господа!» Продолжая сражаться, толпа повалила в банкетный зал.

Охрана, прикрывая собой потрясенного Дышлова, вывела его через черный ход, и они укатили.

Стрижайло осматривал поле

битвы, растерзанные книги с комиксами, осколки фотообъективов, дамские трусики, выпавшую челюсть известного антрополога, который перенес ее к себе из черепа австралопитека. Испытывал ликованье. Великий спектакль удался. Восхитительная подмена совершилась. Честолюбие было посрамлено. Гордыня унижена. Репутация подорвана. Несчастье одного составила счастье многих. Человеческая природа в очередной раз обнаружила свою отвратительную сущность. Демоны, населявшие душу Стрижайло, ликовали вместе с ним. Теперь они являли собой думскую фракцию

«Единая Россия». С почтением и подобострастием слушали своего лидера, напоминавшего пучок усохшей мочалки. Тот приоткрывал соратникам план окончательного изгнания коммунистов из Думы.

Предстояла еще одна встреча с Дышловым. Быть может, последняя, на которой Стрижайло продемонстрирует партийному лидеру фильм, составленный по материалам недавних поездок.

Представление, им задуманное, предполагало великолепную интригу, демоническую игру, психологический экстаз, после которого общение с Дышловым

казалось невозможным. Оно было ненужным, ибо план, разработанный Стрижайло, уже осуществлялся помимо его собственной воли. Как самоходный комбайн, захватывал в мотовило все новые и новые колосья, выстригал ниву, оставляя от престижа компартии срезанную стерню. Предвкушая наслаждение, готовясь пережить катарсис, как во время слушания «Концерто Гроссо» Генделя, он повез кассету с видеофильмом на дачу к Дышлову.

Дом, перед которым он оказался, как и в первый раз, напомнил ему средневековый терем из множества пристроек, прирубов, крылечек, переходов и галерей. В

этом деревянном коробе собралась вся, переехавшая из Козявина родня, наполнявшая дом и весь окрестный участок звуками крестьянских работ. Слышал скрип тележных колес, удары цепов на току, щелканье пастушьего бича, стук мельничных жерновов.

Родственники Дышлова, — братья, племянники, дядья, кумовья, зятья, сваты, невестки, тетки, снохи, золовки, — натолкались в тесную зальцу, где стоял большой телевизор «Панасоник» и видеомаягнитофон. Часть родни поместилась на лавках, другая застенчиво теснилась по углам, оставив на время свои сенокосы, рубку поленьев,

изготовление пряжи, засолку капусты, квашение яблок, стрижку овец, оскопление жеребцов, вязанье чулок, отбеливание холстов, дойку коров, а так же игры в догонялки, салочки, лапту, городки и горелки. Последним в зальцу вошел Дышлов, ведя под руки свою престарелую, синеглазую матушку, едва переставлявшую немощные ноги. Усадил перед телевизором в удобное креслице, и она радостно и наивно улыбнулась Стрижайло, благодарная за участие в судьбе любимого сына. Седая, прозрачная, была похожа на пепельный одуванчик с нежной голубой сердцевинкой.

— Ну, давай, показывай, что мы

там испекли, — Дышлов барственно, но и простодушно, грубовато, но и приветливо приглашал Стрижайло начать просмотр. Уселся подле матери, нежно прикрыв своей сильной толстой ладонью ее хрупкую, полупрозрачную руку.

Фильм назывался: «Наш лидер», начинался маршевой музыкой. На первых же кадрах лицо Дышлова, волевое, грозно-прекрасное, с сильными жестами лидера и народного трибуны, было окружено свечением, словно высеченное из самоцвета. Родня тихо ахнула, гордясь своим знаменитым сородичем, восхищаясь фамильным сходством, которое вынесло их

крестьянские родовые черты на обозрение мира.

Далее следовали протестные демонстрации, оппозиционные шествия, — по Москве, Петербургу, Красноярску, Владивостоку, с обилием красных знамен, транспарантов. Этот протестующий вал приемами умелого монтажа переходил в «марш голодных ученых». Дышлов, окруженный профессорами в белых халатах, потный, непреклонный, уверенно шагал по солнцепеку, среди огромных молекул и «элементарных частиц», циклотронов и спиралевидных галактик, с намерением дойти до намеченной

цели, добиться от властей финансирования отечественной науки.

— Какой же ты, Алешенька, молодец! Всегда с людьми, с народом, не оставляешь нашего человека! — восторженно произнесла мать, с обожанием глядя на любимого сына.

— Смотрите, мама, чего уж, — смущенно отозвался Дышлов, польщенный материнской похвалой.

Следовали кадры общения Дышлова с простыми людьми. С шахтерами в касках, когда лицо коммунистического лидера было выпачкано угольной пылью. С учителями, когда лидер указкой

показывал школьникам, куда впадает река Волга. С военными, когда политик-патриот демонстрировал новобранцам, как нужно собирать автомат «калашников». Среди этих встреч особенно эффектно выглядела голодовка «чернобыльцев», в которой принимал участие Дышлов. Лежал на матрасе среди изможденных «ликвидаторов», сам немощный, побелевший, протягивал товарищу по голодовке бутылку воды.

— Как же мучают людей! Так фашисты не мучили, — охнула мать. — Ты, Алешенька, не отступай, не сдавайся, люди тебе большое спасибо скажут.

— Не я один борюсь, —

скромно заметил Дышлов. — Вся партия, весь народ не сдаётся, — было видно, как он дорожит похвалою матери, как рад, что в своих хворях и немощах она получает целительные впечатления.

На экране возникали сцены классовых битв. Драка с ОМОНОм, когда молодые активисты партии лезли на щиты и дубинки, прошибая кордон врагов. Пикеты у Думы и на Горбатом мосту, когда шахтеры колотили о мостовую касками, а домохозяйки стучали ложками в пустые кастрюли. Среди столкновений картинно и убедительно выглядел Дышлов, вместе с возмущёнными рабочими

перекрывающий Транссибирку. Суровые, плохо выбритые лица трудящихся, красные флаги, Дышлов вместе с протестующим человеком укладывается на рельсы, и рядом, неловко, отодвигая костыли, ложится рассерженный инвалид.

— Ты, Лешенька, герой. Ты за народ страдаешь. Люди тебя не оставят, — произнесла мать, сияя голубыми глазками. Вся светилась любовью к сыну, гордостью за его благие деяния.

Далее шли сюжеты, свидетельствующие о союзе «красных» и «белых», коммунистов и православных. Над колонной демонстрантов, рядом с алым

знаменем колыхалась церковная
хоругвь, люди несли портреты
Сталина и православные иконы,
«красный поп» в черной рясе и
скуфейке благословлял крестом
коммунистический митинг.
Уместным, прекрасно
смонтированным выглядело
посещение Дышловым
православного прихода. Вот он
подходит под благословение
дородного батюшки. Вот тот в храме
с горящей свечей. Вот, сложив на
груди руки крестом, движется в
череде прихожан принять святое
причастие.

— Бог, он с теми, с кем правда.
Алешенька. Кто за правду стоит, тот

Богу угоден, — мать взволнованно подняла хрупкую прозрачную руку, словно собиралась перекрестить набожного праведного сына.

Внушительно смотрелся Дышлов на фоне памятников отечественной культуры. У стен Изборской крепости, вглядываясь в разливы озер. У храма «Покова на Нерли», по пояс в луговых цветах. У «Царь-колокола», сам такой же могучий и громогласный. Перед памятником Пушкину, словно вел с великим поэтом молчаливый диалог. Логично возникал сюжет презентации эпохального труда «Русский фактор». Интеллигенция, духовенство, политическая элита

пришли отдать должное историческому мышлению Дышлова. Прекрасно смотрелись миниатюры Палеха, где золотом, киноварью и лазурью были окрашены сцены битв, трудов, великих озарений.

— Ты, Алешенька, всегда любил книжки читать, — умилялась мать. — Учительница Мария Петровна, бывало, мне скажет: «Ваш Алеша писателем будет». Права была Мария Петровна.

— Не такой уж я великий писатель, — скромничал Дышлов, — Есть и получше меня.

В завершении фильма представлял отчий дом Дышлова в родной деревне Козявино, —

старинные, подгнившие венцы, покосившееся крыльцо, молодая крапива у ветхого забора.

Свидетельство исконного, народного происхождения, истинности и неиспорченности корней. Камера скользила по стенам избы, линялым наличникам, резному оконцу светелки, уходила к высокому коньку и дальше погружалась в бездонное небо с легким облачком и парящими птицами.

Родня ликовала, аплодировала, как в сельском клубе. Мать целовала сына. Дышлов был польщен, утолен, покрылся румянцем довольства.

— Ну, ты создал продукт, — благодарил он Стрижайло. — Такой

показать не стыдно. Давай договариваться с НТВ, платим по высшей таксе, пусть прокрутят фильм. И по региональному телевидению. Высокий пропагандистский эффект.

Все благодарили Стрижайло. Мать потянулась к нему, обняла, поцеловала своими блеклыми губами:

— Хороший вы человек. Алешеньку моего в добром свете показали.

Дышлов взглянул на часы:

— Давай поглядим новости. Я вчера выступал на симпозиуме стран СНГ. Покажут, нет, интересно?

Стрижайло извлек из

видеомагнитофона кассету. Переключил «Панасоник» на обычное телевещание. Включил в тот момент, когда диктор Второго, правительственного канала с заговорщической улыбкой произнес:

— А сейчас мы покажем фильм «Наш лидер», о председателе КПРФ Дышлове. Фильм снят группой энтузиастов при поддержке активистов компартии.

— Как? Уже сразу в эфир пошел? — изумился Дышлов, жестом останавливая многочисленную родню, которая собиралась вернуться к своим крестьянским трудам, — ткать половики, полоть огороды, драть лучину, печь пироги,

настаивать квас, лепить горшки, стягивать ободами бочки, а так же играть на гармошке, дуть в дуду, бренчать на балалайке, гудеть на сопелке, стучать деревянными ложками. — Давайте поглядим еще раз.

Все благоговейно воззрились на голубой экран. Под знакомую маршевую музыку возник энергичный мужественный заголовок: «Наш лидер». И сразу же сменился грязной, зеленоватой тьмой, из которой, как из подвальной плесени, стало выступать огромное, во весь экран, лицо Дышлова, — мясистое, brutальное, в складках и рытвинах, с крупными порами кожи,

злыми кабаньими глазами, приоткрытыми плотоядными губами, в которых виднелись редкие нечистые зубы. Так мог снять только мастер, мизантроп, патологоанатом, знаток мрачной светотени, создатель театральных масок. Лик производил гнетущее впечатление. Казалось, он всплыл из темного омута, переполненный трупными газами, разбухший от внутреннего разложения. Созерцавшие телевизор родственники в ужасе отпрянули, будто в комнате обнаружился утопленник.

Разгневанные массы народа что-то крушили, ломали, выкрикивали ругательства, кидали куда-то комья

грязи. По обочинам шоссе двигался «марш ученых», профессора в белых халатах несли дурацкие, слепленные из папье-маше «элементарные частицы», циклотроны, галактики. Дышлов, позируя, бодро вышагивал рядом, как вдруг на колонну налетели лихие парни, стали швырять в Дышлова мятыми помидорами, гнилыми луковицами, чернильными бомбами. Залепили ему лицо кремовым тортом, угваздали одежду майонезом. Дышлов постыдно убежал, прятался за спины ученых, но его настигало возмездие, — ударялся о сморщенный лоб мокрый томат.

— Боже правый, Алешенька, да

что же это такое! — застонала мать, закрывая руками бледно-васильковые глазки.

На экране продолжали лютовать страсти. Голодные домохозяйки стучали ложками в пустые кастрюли. На стреле подъемного крана качался свергаемый Дзержинский. Разгневанные люди штурмовали помпезное парадное, сбивали со стен золоченые буквы: «Центральный Комитет Коммунистической Партии». Дышлов укладывался на цветастый матрас рядом с голодными «чернобыльцами», и один из «ликвидаторов», с провалившимися щеками, черным беззубым ртом,

набрасывался на него, тянулся худым кулаком, извергал матерную ругань и проклятия.

— За что? За что? — обезумев, выкрикала мать. — Ты же добра им хотел!..

Дышлов, потрясенный, окаменев, смотрел на экран, откуда неслись в него истребляющие потоки радиации.

Показывали многолюдное шествие, транспаранты, флаги. Дышлов выступал впереди, как вожак, неся букет тюльпанов, увлекая за собой протестный марш. Изящный, ловкий монтаж, и марш превратился в группу рабочих, идущих вслед за Дышловым на

железнодорожную насыпь.
Устанавливали красные флаги,
ложились вслед за Дышловым на
рельсы. Инвалид неловко
устраивается, укладывает седую
голову на стальной двутавр.
Издалека, из синих сибирских
холмов, надвигается состав.
Расцвеченная ритуальная маска
тепловоза приближается, народ
бежит с насыпи, Дышлов, что есть
мочи, работает ногами и локтями,
скатываясь под откос. Свирепый
состав проносится по голове
инвалида, врезая в кровавую плоть
отточенные колеса, оставляя на
шпалах жуткое месиво костей.

— Воды мне дайте, воды! —

умоляла мать, хватаясь за сердце, но окружавшая ее родня остолбенела, заморожено, с ужасом смотрела на колдовской экран.

Следовали кадры, на которых Дышлов принимал в пионеры детей, повязывал красные галстуки. Мерно, важно переступал, двигаясь к мавзолею. Возлагал цветы на могилу Сталина. К этим коммунистическим вереницам была умело подмонтирована вереница прихожан, среди которых топтался Дышлов. Сложив на груди руки, благостно приближался к священнику, собираясь вкусить святых даров. Вытягивал губы, тянулся к золоченой чаше, которая вдруг упала из рук

священника, расплескала вино на каменные плиты у ног Дышлова. Священник с жалобным воплем упал, стал пить священный напиток у самых подошв Дышлова. Испуганные прихожанки набожно крестились, произнося: «Господь не принимает коммуниста... Нельзя молиться за царя Ирода... Государя-мученика кровь пролилась...»

Мать не стонала, не плакала. Сидела, прикрыв рот худенькой щуплой рукой. С ужасом взглядывала на беспощадное мерцание экрана.

Презентация книги «Русский фактор» была снята скупно, без толпы гостей. Крупно показали дорогую, с золотым теснением обложку,

покрытую характерной росписью Палеха. И сразу — отвратительную, розово-желтую задницу с надписью: «Наш Дышлов». Дальше шли комиксы «о жизни и деятельности коммуниста товарища Дышлова». Узники ГУЛАГа, погоняемые надзирателем с лицом Дышлова. Расстрел арестантов, где Дышлов-охранник сует стреляющий наган в затылок несчастного. Дышлов во время путча избегает опасности, прячась под столом в родной деревне Козявино. Дышлов во время восстания 93-го года совершает предательское выступление по телевидению и отзывает народ с баррикад. Дышлов униженно

поздравляет Ельцина с победой на выборах. Дышлов жметя к стенке в приемной Президента Ва-Ва. И, наконец, избирательная урна с притаившимся в ней, отвратительным и ужасным Дышловым, который отбирает у измученной женщины избирательный бюллетень. Крупная, во весь экран, надпись: «Бойтесь попасть в такую пасть!»

— За что они тебя так, Алешенька!.. За что тебя так ненавидят!.. Злые люди!.. — обморочно, хватаясь за сердце причитала мать.

С экрана тонкий, взволнованный голос скопца вещал:

— Среди прочих групп населения особой поддержкой коммунист Дышлов пользуется у представителей сексуальных меньшинств. Благодарные за явные и неявные услуги, среди которых подготовленный коммунистами законопроект, разрешающий в России однополые браки, — областные и районные гей-клубы, салоны лесбиянок и трансвеститов решили взять под опеку родовое гнездо Дышлова в его деревне Козявино. Бесхозная фамильная изба была выкуплена рядом состоятельных граждан нетрадиционной ориентации, приведена в порядок, и теперь в ней

открывается музей знаменитого земляка. Открытие музея ознаменовано заключением первого в области однополого брака, который и состоялся в деревне Козявино в доме-музее Дышлова. Сюда приехали «молодые» и их друзья, что теперь, как мы надеемся, станет доброй традицией.

Показали внутренность дома, наполненного полуголыми, напомаженными и набеленными трансвеститами. Виляя толстыми ягодицами, гомосексуалисты целовались, присев на кровать, где «когда-то спал молодой Алеша Дышлов». Две потрепанные лесбиянки терлись животами о

русскую печь, которую «так любил вместе с матерью затапливать маленький Алеша». Порочно кривляясь, обнажая телеса, в разноцветных париках и бюстгальтерах, бисексуалы заполонили крыльцо, «откуда уходил на комсомольскую работу Алексей Дышлов». Наводнили сени и горницу, метили углы срамными поцелуями, садились задками на стол, «за которым собиралась большая и дружная семья Дышловых».

Раздался тонкий страдальческий крик:

— Нет!.. Нет!.. — мать Дышлова в невероятном страдании, преодолевая немощь, вскочила с

креслица, потянулась к сыну. — Алешенька мой!.. Алеша!.. — не дотянулась и бездыханная рухнула на пол. Родня выключила телевизор. Обступила старую женщину. Дышлов щупал ей пульс, обнимал мертвую мать, беспомощно приговаривая:

— Мама, вы что?.. Не надо...

Однако этой последней сцены Стрижайло уже не застал. Покидал усадьбу, торопясь к машине. В душе его звучал «Кончерто Гроссе» в том месте, где виолончели создавали сияющий поток света, который возносился в мироздание, превращаясь в бесцветное, ослепительное ликование. Духи покрыли его тело шелковистыми

меховыми тушками сплошь от шеи до
пят. Вцепились коготками в кожу,
выискивая свободное место.
Размножались, извергая из себя
маленьких мокрых детенышей.
Стрижайло видел, как демон
раскрыл промежности, обнажил
розовое лысое брюшко. Из него
проклюнулась острая мордочка,
натужно вылез слипшийся детеныш.
Тут же выпустил коготки и вцепился
в кожу Стрижайло. Он стоял весь в
живой шевелящейся шубе, похожий
на Верку Сердючку, пахнущую
чесноком и туалетной водой.
Притоптывал большой дамской
туфлей и по-блядски напевал: «Все
будет хорошо!»

глава двадцатая

Через несколько дней состоялось погребение матери Дышлова. Стрижайло, после показа по второму каналу ужасающего пасквиля на коммунистического лидера, сжег все мосты и предстал перед Дышловым, как диверсант, коварный обманщик, агент Кремля и убийца матери. Их контакт был невозможен. Однако Стрижайло мучительно влекло присутствовать при погребении, — увидеть воочию разрушительные последствия своей деятельности, насладиться последним актом трагедии, узреть разрушенного, с разорванным

сердцем Дышлова, утратившего способность вести предвыборную борьбу. Он испытывал необъяснимое влечение, коренившееся в каждой возбужденной молекуле, наркотически требующей раздражающих и сладострастных эмоций. Отправился на кладбище, нацепив защитные очки, приклеив бородку, облачившись в длинный, до земли балахон и высокий черный цилиндр, что соответствовало облику кладбищенского служащего или погребального агента.

Кладбище волновало его, как огромный, на открытом воздухе музей, где каждое надгробье с именем, отчеством и фамилией, с

датой рождения и смерти, было этикеткой, а сами экспонаты находились в земле, все тщательно уложенные, на одном уровне, в размеченном и упорядоченном хранилище. Еще кладбище напоминало раздевалку в бане, где люди сбрасывали свои одежды, а сами, голые, одинаковые в наготе, уходили в парилку, где навсегда исчезали в загадочном непроглядном тумане. Незримые покойники обнаруживали себя еще одним странным образом, — кладбищенские деревья вырастали из могил только до определенной высоты, а потом начинали засыхать, словно мертвецы препятствовали их

росту, тянули обратно в землю их соки.

Заранее обнаружив вырытую могилу, у которой отдыхали перепачканные глиной копатели, Стрижайло занял место среди кустов, железных оградок, памятников, надеясь на свою неузнаваемость. Наконец, показалась процессия. Впереди один из родственников, что помоложе, нес фиолетовую крышку гроба. Следом, на высокой каталке помещался простой, оббитый фиолетовой материей гроб, из которого выглядывали белые оборки и желтоватое лицо с заострившимся, типично дышловским носом.

Каталку двигал сам Дышлов, сутулый, подавленный, шагая осторожно, будто боялся неловким движением потревожить сон матери. За ним, наполняя кладбищенскую аллею, шествовала вся деревенская родня в черных платочках, одутловатых пиджаках, разномастных блузках и кофточках, в застегнутых на горле, с негнущимися воротниками рубахах. Все лица обладали чертами фамильного сходства, с характерными дышловскими носами, лобастые, провинциально упертые, синеглазые, будто в каждом лице, молодом и старом, мужском или женском, обитал сам Дышлов, слегка

расфокусированный и размытый. Процессию замыкала небольшая группа соратников, среди которых был Семиженов, Грибков, Карантинов и партийный банкир Крес. Последний нес венок. Карантинов держал за ручку цветочную корзину.

Стрижайло вглядывался в Дышлова. Тот осунулся, кожа на щеках обвисла и пожелтела, утратила здоровый, малиново-белый, кисельно-молочный цвет. Глаза растерянно блуждали по сторонам и опять беспомощно останавливались на лице покойницы. Было видно, что он разрушен. Смерть матери его подкосила, отсекала от питавшего

родового поля, лишила таинственных животворных энергий, которыми мать, пока жива, заслоняет и сберегает любимое чадо. Лишенный этого защитного покрова, он был беззащитен и уязвим, как земля, если бы она вдруг утратила свою атмосферу, и любая прилетающая из Космоса частица наносила ей сокрушительные разрушения.

Этого и добивался Стрижайло. На это была направлена его кропотливая, лукавая деятельность. В свой первый визит к Дышлову, в его толстокожей натуре, в непрошибаемом панцире мнимых и наигранных чувств Стрижайло обнаружил нежный живой участок,

где дышала неподдельная искренность, робкое упование, пульсировал родничок, соединявший его с природным, естественным, живоносным. Эта была любовь к матери, обожание, страх потерять. Именно в этот родничок и прозрачный ключик бухнул грязный булыжник порочащего телефильма. Эту нежную эластичную пуповинку, наполненную волшебными соками, перерезало острое лезвие. Удар, который вынашивал Стрижайло, был направлен не в Дышлова, а в его страдающую, хворую мать, которая своей смертью вырвала сердце у сына. Он, Стрижайло, был убийцей матери Дышлова. Признавался в этом

себе. Испытывал тайное наслаждение, какое испытывает снайпер от своего точного, с огромной дистанции, попадания.

Процессия достигла могилы. Сгрудилась вокруг каталки. Было видно, как прощается родня, — наклонялись, закрывали собой фиолетовый гроб, припадали к выпуклому, среди белых оборок, лицу. Подошел и Дышлов, наклонился и долго полулежал на гробе, не отрывая лба от материнского лица.

Стрижайло вдруг почувствовал странную легкость, как если бы его тело утратило часть веса, а воздух вокруг приобрел удивительную

прозрачность. Природа переживала священный миг, когда исчезало сотворенное Богом существо, и все вокруг, — воздух, трава, деревья, цветы, столпившиеся люди, капли воды, комок земли с розовым червем, — все обретало сакральную светоносность и прозрачность.

Могильщики сняли с каталки гроб, опустили на землю, где были постелены веревки. Упираясь ногами, приподняли на веревках гроб и стали опускать в могилу, где скрылся последний фиолетовый лоскут.

Стрижайло ощущал
кристаллическую прозрачность
мира, сквозь которую проходил луч

света, соединявший его зрачок с отдаленным лицом Дышлова. Могильщики ухватили лопаты, стали ссыпать в яму землю. И сквозь шорох и стук падающей на гроб земли раздался болезненный вскрик:

— Мама, родная!..

Это в невыносимой муке, прощаясь с матерью, крикнул Дышлов. С этим криком что-то невидимое, бурное и трепещущее ринулось на Стрижайло сквозь прозрачность воздуха. Сильно толкнуло, обдало ветром, словно по лицу ударило огромным тугим крылом. Луч света, пронизывающий кристалл, изогнулся, переломил траекторию. Окруженный

тончайшими спектрами, соединил
зрачок с бесконечной открывшейся
далью.

Это длилось мгновение, и в это
мгновение его личность разделилась,
взбурлила, одна половина кинулась
на другую. Схлестнулись, как две
встречных бурных волны,
перебрасывая одна через другую
кипящую пену. Казалось, вся его
плоть являет собой поле сраженья,
где каждая молекула сражается с
другой. словно две рати в крохотных
шлемах, с копьями, в блестящих
доспехах, напали одна на другую,
наполнив небо бессчетными
разящими стрелами. Так на иконе
изображалась схватка тверичей с

новгородцами. И эта раздвоенность бытия, битва, которую нес в себе, испугала Стрижайло. Торопливо, почти бегом, покинул кладбище. Сорвал с себя маскирующие очки и бородку, сбросил погребальный балахон. Погрузился в «фольксваген». Прервал «Дона Базилио», пустившегося, было, рассказывать, как перевернулся КАМАЗ и задавил гулявшую старушку. Стрижайло резко его оборвал, направил шофера домой.

Он двигался среди изнурительных, однообразных растяжений и сжатий, напоминавших перистальтику, которая проталкивала

автомобильный поток сквозь
перегруженные магистрали. Не
замечал окрестностей. Был захвачен
посетившим его переживанием.
Световая линия, преломившаяся в
прозрачном кристалле, указывала не
просто иной вектор судьбы, но
обнаруживала саму эту иную судьбу,
иную сокровенную жизнь, которую
он проживал наряду с жизнью явной.
Присутствие этой второй, неведомой
жизни, где все эти годы существовал
он, неведомый себе самому, с
неведомыми, случавшимися с ним
событиями, неведомыми встречами и
переживаниями, — это открытие
впервые поразило его во время
крестного хода, где он двигался

вместе с Грибковым. Там явился ему таинственный белогривый старец с деревянным посохом, произнес загадочную фразу: «Не бойся ехать во Псков. Не бойся садиться в ладью. Не бойся плыть на остров». Приглашение в город, где он никогда не бывал, приглашение на остров, о котором никогда не слышал, было приглашением в иную жизнь, где он существовал уже долгие годы, и где ему предстояла чудесная встреча с самим собой.

Эта «иная жизнь» казалась восхитительной. Казалась освобождением от «жизни нынешней», где все вдруг стало тягостным и постылым, обременяло

похотями, изнурительной игрой ума,
бессмысленностью встреч,
нескончаемым и бесцельным
творчеством, от которого всякий раз
оставался опадающий пепел
израсходованного фейерверка,
обескураженные и несчастные люди,
их болезненные вскрики, подобные
тому, что недавно раздался на
кладбище. Оттолкнуться от
«нынешней жизни», пролететь
сквозь прозрачный кристалл в
окружении невесомых спектров,
обнаружить «иную жизнь» и в ней
себя самого, иного, освобожденного
от страстей и похотей мира,
наделенного просветленным
восхитительным знанием, — это

желание было столь велико, «иная жизнь» казалась столь достижимой, что Стрижайло был готов немедленно направить машину на вокзал, к вечернему поезду во Псков и, повинувшись указанию старца, устремиться в «иную жизнь».

Он услышал лающий голос, пропущенный сквозь мембрану милицейского мегафона, настигающие всплески красно-фиолетового огня, ноющее завывание сирены. Истошный металлический голос требовал, чтобы «фольксваген» остановился. Шофер затравлено припарковал автомобиль, сзади надвинулась пульсирующая, разъяренная погоней милицейская

машина. Кто-то вышел из нее и стал подходить, — сейчас последует лживое отдавание чести, вкрадчивое требование предъявить документы, водитель ненадолго перейдет в милицкий «форд», сунет в багровые лапы автоинспектора положенный оброк, и они продолжат маршрут.

К «фольксвагену» приблизилась не милицмейская форма, а темный пиджак, не к дверце водителя, а к его, Стрижайло, стеклу. Наклонилась голова, и Стрижайло узнал скопческое, безволосое лицо Веролея, на котором дрожала болезненная, извиняющаяся улыбка, как если бы кто-то причинил

Веролею боль, и ему было стыдно за жестокого обидчика, наносящего вред своей собственной ожесточенной душе. Появление Веролея было подобно появлению в океане планктона, состоящего из мельчайших водорослей, рачков и креветок, за которыми следовал огромный кит.

— Дорогой Михаил Яковлевич, простите ради Бога за этот экстравагантный способ вас окликнуть. Не могли бы вы последовать за мной и пересесть в другую машину. Там вас ждут.

Стрижайло безропотно повиновался, догадавшись о приближении какого кита

свидетельствует эта гибкая водоросль, блуждающая в океанских течениях. Перешел в белый милицейский «форд», где его поджидал Потрошков.

Они сидели на задних креслах, в то время, как водитель и Веролей прогуливались возле машины, охраняя их безмятежную беседу.

— Увидел вас, и не мог не окликнуть, — произнес Потрошков, хитро мерцая глазами, не требуя, чтобы Стрижайло уверовал в эту нечаянную встречу. — Так редко встречаемся, что, случайно увидев вас, не мог отказать себе в удовольствии перемолвиться парой слов.

Стрижайло

исподволь

рассматривал сидящего рядом с ним человека, генерала армии, могущественного директора ФСБ, влиятельнейшего человека страны, чей невзрачный гражданский костюм, вкрадчивая, блеклая речь не свидетельствовали о богатстве и власти, о жестокости и казуистике разума. Лишь одна деталь длинного, с вислым носом, лица говорила о приверженности Потрошкова тайным учениям и культам, о магическом даре, с помощью которого он повелевал пространством и временем. Если во время первого их свидания в гольф-клубе «Морской конек» Стрижайло

был поражен его подбородком, на котором играли все цвета радуги, все оттенки и переливы, какие встречаются на крыльях тропических бабочек и в пламени горящих металлов, в горных самоцветах и рудах и в спектральных вспышках галактик, то теперь его подбородок принимал формы всевозможных геометрических тел. Господство над цветом дополнялось господством над пространственными фигурами, что бывает лишь у великих архитекторов, обладающих даром живописи. Сейчас его подбородок являл собой правильный куб, блестяще-бесцветный, отражающий своими безупречными гранями свет

вечернего города.

— Отдаю должное вашему конспиративному дару. В темных очках и бородке, закутанный в долгополый плащ, вы были похожи на факира, выкликающего кладбищенский дух. Вы не могли не прийти на кладбище и не взглянуть на Дышлова. Так великий скульптор, поставив статую на площади города, приходит и тайно любуется на свое творение. Так архитектор, построивший дворец или храм, тайно бродит вокруг, не в силах оторваться от любимого детища. Так летчик-бомбардировщик, разрушив до основания город, стремиться оказаться среди развалин, чтобы

взглянуть на дело рук своих. Дышлов — это развалина, над которой пролетел ваш грандиозный бомбовоз...

Стрижайло заворожено смотрел, как меняет свою пластику подбородок Потрошкова.

Кристаллизуясь в геометрические фигуры, он демонстрировал бесконечные комбинации форм, из которых состояло мироздание. Божественные законы, сотворившие Вселенную, были послушны Потрошкову, который извлекал их из атласа стереометрических изображений, преобразуя по их подобию нижнюю часть лица. Это производило на

Стрижайло гипнотическое
воздействие. Его разум был
вморожен в эти совершенные
объемы, подчинялся навязанной
конфигурации. Теперь подбородок
Потрошкова являл собой идеальную
сферу, отливавшую стеклянным
блеском, как если бы ее в
невесомости выдул искусный
стеклодув. Стрижайло чувствовал
себя помещенным в эту сферу, как в
таинственную икринку.

— Вы настоящий виртуоз. Я не
ошибся в вас. Вы проводите
операцию по устранению
коммунистических остатков, как это
делает гинеколог после аборта,
выскабливая лоно. За вашу работу вас

наградят деньгами,
правительственными наградами,
престижными назначениями. Я
рассказал о вас Президенту, он
устроит вам аудиенцию...

Стрижайло, усыпленный игрой
волшебных поверхностей, сквозь их
таинственный блеск, испытывал
сложные переживания, которые
переливались из образа в образ,
перетекали из объема в объем.
Рождали сладость повиновения и
одновременно тревогу, связанную с
утратой свободы. Теперь его
беспокоило чувство, что он
подвластен навязанной воле,
преобразовавшей его из
совершенного куба в совершенную

сферу. Ему было жаль расставаться с кубом, хотя присутствие в сфере, лишенной жестких углов и граней, было комфортней.

— Во время ваших вояжей, ваших провокационных комбинаций, вам удалось выявить множество поразительных подробностей, которые вы тут же пускали в дело. Корректировали с их помощью план, создавая все новые и новые вариации. Часть ваших открытий уже воплощена в проекте, другие ожидает момента, когда станут детонаторами новых спектаклей.

Чего стоят откровения, добытые вами у старого шамана, позволяющие уличить Маковского в подлоге и

отобрать у него нефтяные поля в пользу нашей скромной компании «Зюганнефтегаз». А кому, кроме вас, могла прийти гениальная догадка, что в самой фамилии «Маковский» содержится слово «мак», сырье для героина, который впрыскивается в атмосферу «Города Счастья», приводя к бесследному исчезновению огромной массы русского населения, — оказывается, его закачивают в пласт для получения высокосортной нефти. Гениальны ваши прозрения о существовании антироссийского англо-саксонского заговора, ведущего свою историю от Ричарда Львиное Сердце, Кромвеля, Черчилля и

реализуемого сегодня Америкой. Чтобы добыть эту потрясающую информацию вам, как рискующему жизнью разведчику, пришлось летать над Темзой на зонтике и опускаться в преисподнюю англо-саксонского ада. Пришлось скакать верхом на Соне Ки под негаснущими небесами русского севера, после чего вы, в рыбьей чешуе, оленей шерсти, птичьих перьях, нашли в себе силы отправиться в логово Маковского и продолжить работу. Ваш прозорливый гений подсказал вам, что всякий большой проект является частью другого, невидимого, а тот, в свою очередь, включен в еще более крупный, скрытый от глаз. «Блоу-ап»

Антониони — отличный образ, когда случайно обнаруженный труп свидетельствует не о смерти, а о потаенной огромной жизни, вход в которую нужно найти. Вы правы, мои отношения с Верхарном, не исчерпываются тривиальной враждой, а несут в себе громадное, неясное для вас содержание...

Теперь подбородок Потрошкова превратился в сверкающий гладкий цилиндр, поверхность которого отливала стекляннным блеском. Стрижайло оказался в этом цилиндре, как в стеклянной банке, куда огородники, забавы ради, помещают золотой цветок кабачка, оплодотворяют его, дожидаясь

развития завязи, которая превращается в сочный плод, занимая всю внутреннюю поверхность банки. Точно так же Потрошков обнимал его своей волей и психикой, помещая в заколдованное пространство своего внутреннего мира, где царили недоступные Стрижайло знания. Он был прозрачен для Потрошкова, очевиден в своих ухищрениях. Сам же Потрошков оставался загадкой. Был явлением высшего, нежели Стрижайло, порядка, и это порождало чувство зависимости и тревоги, беспомощности и протрации.

— Я понимаю, мой друг, вы

устали. Людям свойственны мгновения слабости. Вот вы превратили себя в седой волосок Иосифа Сталина, и, как крохотная корпускула, движетесь в необъятном потоках Енисея. Вот, изнемогая от немощи, возлагаете на себя чугунные бремена, непосильные вериги и падаете под их тяжестью. Вам хочется покинуть поле битвы, уйти в «иную жизнь». Но вы преодолеете слабость, выдержите испытания, совершите подвиг, закончите уникальный проект. Дождемся выборов, и пусть ученые напишут трактат об этом уникальном политологическом проекте, в результате которого из Российской

истории был окончательно устранен коммунизм. Ведь вам предстоит разработать меры, с помощью которых мы отменим празднование 7-го ноября. Вам предстоит руководить уникальной операцией выноса Ленина из мавзолея. И, наконец, вы обеспечите снятие с кремлевских башен рубиновых звезд и водружение на их месте сапфировых морских коньков...

Подбородок Потрошкова превратился в правильный конус, точно соприкасаясь с остальным лицом заостренной вершиной. Конус казался выточенным из стального метеорита, обладал колоссальной тяжестью, и лишь чудом держался на

нижней челюсти, как если бы пребывал в мощном магнитном поле. Стрижайло чувствовал магнитные силовые линии, пронизывающие все его существо. Чувствовал воздействие Потрошкова, который обладал невероятной притягательной силой, — обольщал, очаровывал, лишал индивидуальности, превращал человека в прихотливый продукт своей чудодейственной воли.

— Мы победим на выборах, выпьем в победную ночь шампанское, и я первый скажу вам: «Свободны. Исчезайте в «иную жизнь». Не бойтесь ехать во Псков. Не бойтесь садиться в ладью. Не бойтесь плыть на остров». Вы,

должно быть, не знаете, о каком острове идет речь. Посреди полноводного Псковского озера находится остров Залит, где сорок лет проживал в своей келье чудесный старец. Его святая звезда светила из озерных туманов на всю Россию, и всякий мечтал припасть к его старенькой рясе. Четыре года, как его не стало, но могила его святая. На ней творятся чудеса, исцеляются люди, прозревается будущее. Наш уважаемый Президент задумал побывать на острове, но когда сел в ладью, случилась буря, поднялись огромные волны, остров заволокла непроглядная мгла, и катер Президента не мог причалить.

Вернулся ни с чем обратно. Видно, не угоден был старцу этот визит Президента...

Подбородок Потрошкова обрел изысканную форму параболоида, в котором трепетал луч света. Это напоминало колкую световую иглу, застывшую в хрустальной чаше. Стрижайло, зачарованный видоизменением форм, неутомимым превращением объемов, тем не менее, испытал глубинную тревогу, рожденную упоминанием о Президенте. Неясное, тревожащее, беспокойное чудилось Стрижайло в этом упоминании. Скрытая тайна отношений Президента и Потрошкова, та что заставила его в

клубе «Морской конек» перехватить взгляд Потрошкова, брошенный на Президента Ва-Ва. Прозрачный световод, похожий на мартовскую сосульку, был спрятан в домашнем морозильнике, требовал тщательного изучения. Но только не теперь, не сейчас, когда он сам, подобно световому лучу, трепетал в овальной глубине параболоида.

— Предстоит съезд компартии, на котором Дышлову будет нанесен последний удар. По вашей просьбе я послал сотрудников в Лондон, где они записали и отсняли встречу Верхарна с Кресом. Возьмите кассету и отнесите ее Карапузову. В своей программе «Момент

глистины» он иногда выполняет наши скромные поручения...

В подбородке Потрошкова раскручивалась бесконечная спираль, олицетворяя идею вечного развития. Была образом хороводов, которые водили во Вселенной галактики. Являла символ циклотрона, в котором раскручивалась и набирала световую скорость частичка атома, прежде чем выстрелить в мироздание. Стрижайло и был той частичкой, которую раскручивала могущественная воля Потрошкова, готовилась метнуть в бесконечный Космос. И он был послушен, благодарен, испытывал благоговение, видел в нем Повелителя и Отца.

— Теперь мы расстанемся, чтобы скоро встретится вновь, — с этими словами Потрошков передал Стрижайло видеокассету, и тот, как лунатик, покинул белый милицейский «форд», пересел в свой темно-синий «фольксваген».

Это предполагало продолжение кропотливой работы с телевидением. Как тонкому профессионалу, Стрижайло было известно, что эта зеленоватая стеклянная призма в районе «Останкина», с высоким шприцем, пронзающим московское небо, с недавних пор превращена в филиал ФСБ. Усилиями Потрошкова здесь развернута биологическая

лаборатория по выращиванию секретных цветных червей, способных продуцировать особые электромагнитные поля. Каждое из этих полей, воздействуя на психику человека, порождает реакции, управляющие душой. Эти тонкие «пси-поля», модулируя электромагнитную волну передатчиков, смешиваются с информационными потоками телеканалов, уносятся в мир, порождая в нем грандиозные вихри, психологические бури, повергая целые регионы в коллективное безумие, или необъяснимый восторг, в ожидание конца света или предчувствие грядущего Мессии. Эти

удивительные эффекты, вначале опробованные на животных, затем на заключенных, затем на космонавтах, в конце концов, получили массовое распространение. С их помощью власть управляла строптивым, непредсказуемым народом, все еще помышляющим о «национальной идее», а потому особо восприимчивым к воздействию «пси-излучения».

Принцип модулирования был чрезвычайно прост. В студию, во время передачи, биологи в белых халатах и масках приносили банку червей и ставили ее так, чтобы она не попадала в кадр. Излучение наполняло студию, проникало в душу

телеведущих, операторов, режиссеров, всех участников передачи. Пропитывало помещение, оптику, микрофоны, режиссерские пульта, проникало в тяжеловесные кабели передатчиков, наполняя останкинскую иглу мерцающим призрачным светом. Срываясь с вознесенного острия едва различимым фонтанчиком ужасов.

Каждый вид червей выводился по особой методике, с помощью особых кормов. Их окраска объяснялась цветом выделяемых газов. Каждая полупрозрачная, извивающаяся особь напоминала неоновую трубку, в которой разноцветно и призрачно светился

газ. Некоторые из огромных, горящих в московском небе реклам, те, что слегка пульсировали, производя на зрителя галлюциногенное воздействие, были ничем иным, как выращенными в той же лаборатории громадными червями, воспроизводящими наименование фирм: «Самсунг», «Макдональдс», «Икея», «Рамстор».

В студию программы новостей биологи в скафандрах заносили банку водянистых голубоватых червей, выращенных на трупах бомжей, на обезображенных телах чеченских террористов, на неопознанных фрагментах тел из ростовской криминалистической

лаборатории. Ставили сосуд поодаль, наблюдая, как извиваются студенистые существа, наполняя помещение призрачной голубоватой смертью. Очаровательная дикторша с перламутровыми губками, изящным маникюром, сжав теплые колени, с возбуждающей тяжестью переполнявших бюстгальтер грудей, начинала информировать о происшествиях в мире. С экрана в квартиры телезрителей валились трупы, падали четвертованные тела, хлюпали утопленники, шмякали обгорелые мертвецы, залетали дети с разбитыми головами и матери с рассеченными чревами. Отдельно, как экспонаты коллекции,

преподносились выколотые глаза, разорванная печень, лежащие на клеенчатой подстилке аккуратно отрезанные мужские гениталии. Страна впадала в ужас, который был благоприятным фоном для проведения «реформы ЖКХ».

В студию поп-музыки заносили банку, в которой клубками свивались огненно-красные черви, с мучнистыми головками и заостренными зеленоватыми хвостиками. Их выращивали на постельном белье, принадлежавшем престарелой, одутливой поп-звезде, десятки лет демонстрирующей публике свои венозные ляжки. Белье хранило следы непомерной

похотливости, привлекавшей
молодые музыкальные дарования.
Желая преуспеть в шоу-бизнесе, они
совершали ритуальное восхождение
на ее любовное ложе. Черви в банке
извивались, как певицы и танцоры из
«Фабрики звезд». Телеведущие
непроизвольно начинали с силой
сжимать и разжимать колени, доводя
себя до исступления. Население
страны впадало в сексуальное
безумие. Школьники пятых классов
насиловали соседок по партам.
«Зэки» мастурбировали в
бесчисленных зонах. У ведущих из
«Школы злословия» сквозь
утомленные хрипловатые басы
прорывался русалочий смех. А лидер

либерал-демократов в Думе застревал в деревянной трибуне, норовя проткнуть ее тесные дубовые доски. Этот сексуальный угар служил благоприятным фоном для проведения «монетизации льгот», когда министр здравоохранения казался возбужденным детородным членом, — впрочем, не человеческим, а птички-колибри.

Черви едкого, цыплячьего цвета, пугающие своей желтизной, перетянутые черными колечками, как на трико у цирковых жонглеров, выделяли газ истерического беспричинного хохота. Стеклопанная реторта с этими вьющимися особями устанавливалась в студиях во время

юмористических программ. Черви выращивались на сложном экстракте, куда входила увлажненная перхоть юмориста с армянской фамилией, капельки жира с лысины толстенького одессита, ушная сера задорного хохмача, с добавлениями мышинового помета, лягушачьей икры и гормональных вытяжек из гипофиза гамадрила. Черви, похожие на ярко-желтые ползучие стебли, производили неотразимое воздействие на основную массу населения. Люди ржали, гоготали, истерически смеялись часами, днями, неделями, оставляя свои занятия, предаваясь безудержному, беспричинному смеху. Падали на

спину и конвульсивно дергали ногами и руками хлебобобы в полях и сталевары у мартен. Заразительно смеялась мать, потерявшая ребенка. Хохочущие «омоновцы» били палками хохочущих демонстрантов. Бандит, содрогаясь от смеха, приставлял паяльную лампу к смеющейся груди пытаемого. Министр обороны со смехом обходил гогочущий строй колченогих солдат. Министра иностранных дел, дергаясь, как от колик, подписывал передачу Китаю очередной порции приграничных островов. Смеющийся священник отпевал улыбающегося в гробу покойника. Вся страна от океана до океана, умирая от голода,

замерзая в домах, просовывая голову в петлю, приставляя к виску пистолет, безудержно гоготала под воздействием желтого дурмана, источаемого кольчатыми «червями смеха». Именно, лопааясь от смеха, народ согласился на десятикратное повышение цен на бензин, на передачу лесов и водоемов в частные руки, на размещение американских морских пехотинцев вокруг российских ядерных объектов.

Другие разноцветные черви, — металлически-бронзовые, жемчужно-мерцающие, туманно-лиловые, — выставлялись в банках во время ток-шоу, телевизионных игр, телесериалов, историко-

политических хроник, пробуждая в зрителях чувство ненависти, отупения, хмурого дебилизма, бессмысленного ажиотажа.

Особые черви, изящных размеров, нежно вьющиеся, бесцветно прозрачные, с крохотными вскипающими в телах пузырьками, с миниатюрными золотистыми глазками, выставлялись в студии в те моменты, когда транслировались обращения Президента. Его интернет-беседы с населением страны. Сюжеты о посещении школ и приютов, гарнизонов и синагог.

Эти элитные экземпляры вскармливались питательной смесью, включавшей лоскутки

потертой горностаевой мантии, зеленую патину «Медного всадника», трусики красавицы Дарьи Лизун с каплями коктейля «шампань-кобер», щепотки гипса, взятые в травмапунктах у несчастных танцоров Большого театра, получивших травмы от балерины Колобковой. Вся смесь излучала призрачный люминесцентный свет, какой бывает в подземных бункерах и на болотах среди тлетворных гнилушек. Пахла же смесь сладковатой одурью оттаявших моргов в районе Ханкалы и Моздока. Черви бесцветно мерцали и переливались в священном сосуде, у дикторов и комментаторов в голосе

начинали звучать эротическая нежность и благоговение, а все общество испытывало прилив верноподданных чувств, столь сильный, что многие, особенно в провинции, становились на четвереньки и начинали подвывать по-собачьи.

Вот в такую организацию, зная ее истинное устройство, отправился Стрижайло. Передал видеокассету ведущему программы «Момент глистины», самым названием указывающей на тип червей, украшавших студию.

— Мне звонили. Задание будет выполнено, — радостно чмокнул губками Карапузов, ловко выхватив

из рук Стрижайло пачку зеленых портретов с Бенджамином Франклином.

В урочный час Стрижайло, поставив перед собой толстый стакан виски со льдом, включил телевизор и стал внимать.

Вначале следовали морализаторские сюжеты, на которые Карапузов был мастер. Показали егеря Талдомского охотхозяйства, мрачного, кряжистого мужика, который забеременел и родил ребенка. Малыш был на редкость миловиден, тянулся к матери, которая раскрывала свою волосатую грудь и кормила чадо появившимся молоком из черного,

непомерно разбухшего соска. Карапузов хлопал глазками, охал, упоминал о егере то в мужском, то в женском роде, а потом задался богословским вопросом, можно ли крестить такого младенца и не является ли он плодом запретной любви немолодого егеря и лесного кабана.

Затем следовал сюжет о том, как военные следопыты города Ржева отыскали в болотах немецкий танк «Тигр». Извлекли из донного ила и обнаружили в танке нерасстрелянный боекомплект и забальзамированного, превратившегося в торфяную фигуру немецкого генерала. В танке удалось

запустить мотор, и он своим ходом дошел до областного центра, где был превращен в монумент немецко-русской дружбы. Генерала же следопыты передали в местную среднюю школу, где учитель истории, касаясь Второй Мировой войны, использовал его, как наглядное пособие. Карапузов задавался риторическим вопросом, не следовало ли, для полноты исторической правды, поставить рядом с немцем и русского генерала, который был найден в болотах годом раньше и находился в местном краеведческом музее.

Третий сюжет был посвящен Мстиславу Ростроповичу, который

когда-то бегал по Белому Дому с «калашниковым». Теперь на этот уникальный, сохраненный для истории музыки автомат итальянские мастера натянули струны, превратив его в концертную виолончель, на которой великий музыкант исполнил ряд произведений Вивальди. При этом автомат стрелял короткими очередями, а жена музыканта Галина Вишневская, облаченная в бронежилет, принимала шальные пули и только побрякивала. Карапузов восхищался прочностью супружеских уз и тонко иронизировал по поводу «концерта для автомата с оркестром».

Наконец, последовал

долгожданный сюжет, при виде которого Стрижайло прекратил отпивать виски и отставил хрустальный стакан с золотистым напитком.

Возникла панорама Гайд-парка с чугунной решеткой, вековыми платанами, памятниками Веллингтону и артиллеристам Ее Королевского Величества. Появился узнаваемый отель «Дорчестер» с парадным подъездом, стеклянной крутящейся дверью и привратниками в длинных камзолах и высоких старомодных цилиндрах. Холл с экзотическими персонажами в индийских тюрбанах, аравийских накидках, с магическими надрезами

на черных африканских лицах. Камера переместилась в диванную, где на длинном канапе сидел Рой Верхарн, длинноголовый, с лысеющим черепом, длиннорукий, сутулый, похожий на богомола. Жестикулировал, принимал с подноса винную рюмку, которую подносил ему вислоносый, цыганистого вида служитель, в сюртуке с бронзовыми фирменными пуговицами. Стрижайло узнал переодетого агента ФСБ, с которым вместе летел в Лондон на «Боинге». Второй агент, с жестоким лицом вышибалы, был невиден, — он и делал съемку скрытой камерой, вмонтированной в бронзовую

пуговицу.

Камера показала длинный проход в диванной, с ковром, именуемым «русской тропой». По этой муравьиной тропе, один за другим, двигались узнаваемые персонажи.

Кудрявый пилигрим с ассиметричным лицом и тревожными шизоидными глазами держал в руке сморщенное гнилое яблоко. Однорукий ловелас с бриллиантовой булавкой и огромной, гипертрофированной правой ручищей, в которой держал гантель, неумоимо культивируя в себе «правые силы». Женщина, ободранная, словно кошка, с

раздвоенной верхней губой, своей «трегубостью» еще больше напоминая похотливое гибкое животное. Правдолюбец-либерал в погребальном, до горла застегнутом сюртуке, с фарфоровым портретом Галины Старовойтовой, который сколол с надгробной плиты. Нервический, с ошпаренными глазами человек, губа которого была проколота рыболовным крючком, тугая леска тянулась к Верхарну, и тот играл человеком, как рыбкой. Светлобородый чеченец с гранатометом на плече, в сопровождении чахоточной английской актрисы, которую он ненадолго выпустил из зиндана. Все

они попадали в скрытую камеру, напоминая Стрижайло о странных днях, проведенных в «Дорчестере», о туманном видении Букингемского дворца и двух лесбиянках, не попавших в кадр. Как, впрочем, не попал в него Веролей, пособник Потрошкова, по чьему наказу была произведена секретная съемка.

И вот возник долгожданный Крес, «красный банкир», пресловутый казначей партии. Студенистый, в необъятном костюме, в вялых колыханьях, похожий на плывущую медузу, приблизился к Верхарну, протянул для рукопожатия пухлую руку. Некоторое время камера показывала их немое

изображение, когда оба беззвучно открывали рты, чокались рюмками. Затем появился звук:

— Я готов перевести партии двадцать миллионов долларов по схеме, которую мы оговорили. Меня вполне устроит ваш счет на Кипре. Думаю, Дышлова он тоже устроит, — Верхарн буравил собеседника темными пронзительными глазками, обнажая в улыбке два заячьих резца.

— Это и есть секретный счет партии, из которого будет производиться реальное финансирование выборов, — отвечал Крес, мягко, комплиментарно кивая головой, в предвкушении большого гешефта.

— Надеюсь, я не выгляжу человеком, симпатизирующим коммунистам? Я хочу усиления компартии потому, что оно ведет к ослаблению Президента, — строго, безапелляционно произнес олигарх.

— Совершенно справедливо, — поддакнул Крес. — Закон сохранения энергии. Там взял, здесь прибавил.

Голоса исчезли, потонув в неразборчивом шуме. Видно, мимо проходила группа приезжих из Бирмы, шелестя шелками, ожерельями из ракушек, в каждой из которых сохранялся шум моря. Стрижайло ликовал, — один этот фрагмент разговора оправдывал всю поездку в Лондон. Был развернутой

эпитафией на каменном надгробье компартии. Звук появился снова:

— Я не требую от компартии никаких отдельных услуг, — говорил Верхарн, повелительно глядя на заискивающего «красного банкира», — Кроме одной. Если в Москве произойдет очередной теракт, — взорвется какой-нибудь аквапарк, или трибуна на рок-фестивале, — не включайтесь в истерию по поводу «чеченских террористов». Перенесите ответственность на неспособного Президента, отказывающегося вести разумные переговоры с Масхадовым. Уверяю вас, Масхадов вполне вменяем, ним нужно вести

переговоры.

— Да хоть бы и с Басаевым, — бурно согласился Крес, чувствуя, как тридцать миллионов долларов, выплывают из темноты. Словно морской лайнер, великолепно озаряя мир, заходят в порт, то есть, в его кошелек.

Голоса потонули в металлическом звяканье, монотонных ударах, гулких вскриках, какие оглашают ночные джунгли. Это мимо прошли приезжие из бывшей Британской империи, кажется, из республики Чад, — звенели монистами, постукивали по барабану, притоптывали голыми пятками. Стрижайло не верил своим

ушам. Эта запись устанавливала связь компартии с чеченскими боевиками, что не просто подрывало популярность коммунистов на выборах, но и служило поводом для возбуждения уголовного дела о пособничестве Дышлова террористам.

— Вы можете ручаться, что Дышлов сдержит обещание и использует мой транш для борьбы с Президентом? — Верхарн испытующе рассматривал Креса, который все больше расплывался по канапе, как оттаявший холодец. Надвигался на собеседника своей студенистой массой. — Дышлов мягок, поддается влияниям.

— Дышлов у нас в руках, — самодовольно усмехнулся Крес, сжимая кулак. — Как вы думаете, кто оплачивает ему счета? Расходы на строительство дачи? На тайные увлечения женщинами? На проживание в дорогих заграничных отелях и обеды в великосветских ресторанах? Я контролирую Дышлова. Являюсь его личным кассиром, как в свое время вы контролировали Бориса Николаевича. Типичная схема, — банкир и политик, — Крес подмигнул, заколыхался от самодовольного смеха, превратившись в смеющуюся медузу.

Голоса утонули в тяжеловесных

стуках, утробном реве. Это через гостиную двигались приезжие индусы из Мадраса, проводя огромного слона. На спине его качалась кибитка, в ней сидели музыканты в тюрбанах, выставив длинные голосистые трубы. Слон топал, гулко ревел, подымая хобот.

— А Дышлов контролирует партию? — спрашивал Верхарн. — Как велик его авторитет в рядах коммунистов после стольких упущенных возможностей? Стольких политических поражений?

— Дышлов умелый аппаратчик, хороший оратор, тонко играет на настроениях рядовых коммунистов и обездоленных избирателей. Он

может хорошо выступить, бросить революционную фразу. А много ли надо нашему избирателю, у которого сосульки на потолке и таракан в тарелке? Помани, и он за тобой побежит, как собачка — доверительно, как своему, отвечал Крес. Достал из кармана реквизиты своего банка в оффшорной зоне, передал Верхарну. Тот внимательно прочитал реквизиты, сунул в нагрудный карман:

— Через три дня переброшу деньги. Надеюсь, они помогут нам в общей борьбе.

Сюжет завершился. Карапузов, кипя возмущением, раздувал пухлые щечки, гневно морщил карамельные

губки:

— И после этого за Дышлова пойдут голосовать? За человека, который берет грязные деньги от олигарха, обокравшего всю страну?.. Эти деньги не жгут вам руки, товарищ Дышлов?.. В то время как русские парни гибнут в чеченских горах, защищая Россию, человек, называющий себя патриотом, предательски, за спиной окровавленной армии, вступает в переговоры с террористами?.. Вы станете голосовать за предателя?.. Лицемер, который разыгрывает «карту бедных», делая вид, что защищает интересы бедных, сам есть с золотых тарелок золотыми

ложками, парится в саунах с дорогими проститутками, тайно возводит дворец на Клязьменском водохранилище... Простой народ, ты пойдешь голосовать за миллионера? Пойдешь голосовать за того, кто называет тебя «собачонкой», презирует тебя, пользуется твоими голосами, чтобы продавать их олигархам и чеченским бандитам!..

После этого обличительного текста возникли кадры демонстрации, — Дышлов, непреклонный, с красным бантом, похожий на Эрнста Тельмана, шел во главе колонны.

Стрижайло схватил стакан с виски, чокнулся с телеэкраном, на

котором крупно розовело, улыбалось
мясистое лицо коммунистического
вождя:

— Ваше здоровье, дорогой
товарищ! — и его охватило ликование
победителя, опрокинувшего навзничь
соперника.

Уже на другой день после
передачи Карапузова
правительственный телеканал
показывал сцены, где коммунисты,
возмущенные ренегатством
Дышлова, сжигали свои партбилеты,
рвали портреты вождя. А один
ветеран войны облился из бутылки
бензином и с криком: «Партия
предателей!.. Будь проклят,
изменник!..», поджег себя,

превратившись в бушующий факел. В другом сюжете показали, как Дышлов, выступая на митинге, подвергся нападению толпы, в него плевали, кидали тухлыми яйцами. После этих унижительных кадров выступил Дышлов на фоне своего думского кабинета. Несчастный, исхудавший после смерти матери, деморализованный и больной, что-то жалобно бубнил в камеру — о «провокации», об «административном ресурсе Кремля». И вид у него был обреченный, как у лобастого бычка, которого ведут на бойню.

«Кто забил бычка оппозиции?» — веселился Стрижайло, еще и еще

раз наполняя стакан виски
«Бушмиллс», привезенными из
Лондона.

Приближался съезд
коммунистов, на котором предстояло
утвердить избирательные партийные
списки. Партия, в пропорции
полученных на выборах голосов,
проводила в Думу своих депутатов.
Участие в списках было предметом
ожесточенной борьбы и
скрупулезных подсчетов,
честолюбивых интриг и невидимых
миру партийных скандалов.
Заключался сложный
компромисс между московским,
вельможным руководством,

провинциальными лидерами и районными активистами. Пирамидальная иерархия партии отражалась в партийных списках, а затем в думской фракции, — ударного отряда коммунистического парламентаризма. Оказаться в партийном списке, а затем и в Думе, означало переехать из убогой, тошнотворно-унылой провинции в Москву, в лучи славы, в восхитительное столпотворение московской политики, — пресс-конференции, внимание дотошных журналистов, встречи с Президентом, поездки с парламентскими делегациями по миру, вольготное жалование,

автомобили, бесплатные квартиры. Ощущение своей необходимой и значительной роли, ради которой в дни избирательной компании приходилось до одури колесить по проселкам, встречаться с бестолковым раздраженными народом, наскребать деньги на телевыступления и публикации, выдерживать свинское давление беззастенчивой администрации, волноваться и нервничать — удастся ли втиснуть свое имя в тесные, капризные списки, прежде чем их вынесут на обсуждение ревнивых и непреклонных товарищей. Съезд предстоял ожесточенный, шансы коммунистов на выборах были

великолепны, богатство, которое предстояло делить, заслуживало того, чтобы хвататься за топоры, как это бывало в крестьянских хозяйствах во время раздела имущества.

Накануне съезда Стрижайло провел две встречи. Первая, с Семиженовым, состоялась в кафе «Пушкин», рано утром, когда в элитное заведение на Тверском бульваре заскакивали крупные бизнесмены, депутаты «комильфо», знаменитые журналисты, — только для того, чтобы на виду у всех выпить чашечку кофе стоимостью в небольшой загородный домик, эффектно пошуршать свежим

номером «Коммерсанта-клаус» и умчаться в сверкающем автомобиле делать дальше несметные деньги, вершить несусветные подлости, морочить головы одуревшим людям. Кафе было смугло-коричневым, душистым, с вышколенной прислугой. Дубовые стены, столы и стойки были настолько пропитаны ароматами кофе, что казалось, стоять отпились кусочек сухого дерева, кинуть в кипяток, и перед тобой окажется чашечка пенистого «каппучино» или дурманящего «эспresso».

— Нет, вы только подумайте, — кипел негодованием Семиженов, отражая черно-стеклянным коком

свет дождливого московского утра. — Мало того, что этот Крес засветился в передаче Карапузова, и нам теперь не отмыться перед избирателями за связь компартии с олигархами. Мало того, что вероломные отношения с Верхарном, главным врагом Президента, обрушат на наши головы весь административный ресурс, всю мстительную мощь ФСБ. Этот поганый жулик, пресловутый «красный банкир» увел у меня двадцать миллионов долларов, которые должны были пойти прямо на счета партии «Сталин». Он направил этот поток в свой оффшор на Кипре, и теперь легче отыскать

Атлантиду, чем эти деньги. Он вор, проходимец, и, будь моя воля, я поставил бы его на счетчик и сам заплатил киллеру.

Стрижайло умело управлял негодованием Семиженова, как оператор управляет реактором, не доводя его до взрыва, поддерживая заданный уровень ненависти:

— Вы столько сделали за это время. Ваша партия «Сталин» превращается в реальную политическую силу. За вас многие секретари областных организаций, многие члены ЦК. Не позволяйте этому самодовольному Дышлову, этому вороватому Кресу манипулировать собой. Вы

работаете, как вол, а они направляют заработанные вами деньги себе в оффшор.

— Я знал, что они воруют, знал, что околпачивают своих избирателей и гребут на их наивности миллионы. Но этот случай переполняет чашу. Пора дать бой. Пора перестать таскать из огня их каштаны, — выпуклые голубые белки Семиженова наливались дурной кровью, и было видно, как слепо он ненавидит Дышлова.

— На предстоящем съезде вы сможете стать лидером Партии и отправить в отставку Дышлова. Делегаты съезда возмущены отвратительной подставкой Креса.

Возмущены намерением Дышлова протащить в избирательные списки, за счет партийных активистов, двадцать представителей Маковского и Верхарна. Вы должны воспользоваться этим и сбросить Дышлова. Объединить усилия КПРФ и партии «Сталин» и выиграть выборы. А потом ничто не помешает вам выдвинуть свою кандидатуру на президентских выборах от всех лево-патриотических сил.

— Я думал об этом, — яростно ненавидя, произнес Семиженов. — Что нужно для этого делать?

— Во время съезда, когда станут обсуждать списки, вы должны хлопнуть дверью. Выступить с

разоблачительной речью и увести ваших сторонников со съезда. Пусть меньшая, верноподданная часть делегатов остается с Дышловым. Вы проведете свой параллельный, альтернативный съезд. На самом видном, самом эффектном месте. Да хоть в Кремле. Если не удастся в Кремле, то напротив Кремля. На Москва-реке. Арендуйте теплоход, назовите его «Сталин», плавайте напротив Кремля, афишируя на всю Москву свой «сталинский» съезд.

— Я думал об этом! — закипал ненавидящей радостью Семиженов.

— Простите, что вам еще принести? — официант склонил над ними свою красивую породистую

голову.

— Еще две чашечки «эспрессо». Если можно, отпилите для заварки вон тот завиток над стойкой, — ответил Стрижайло.

— Будет сделано, — ответил официант и отправился к стойке отпиливать тоненьким лобзиком душистый завиток.

Вторую предсъездовскую встречу Стрижайло провел с Грибковым. Тщательно готовился к встрече. Прежде, чем уговаривать маленького заносчивого Грибкова восстать против Дышлова, учинить на съезде бунт и увести «на сторону» амбициозную группу сторонников,

Стрижайло готовил почву. В цветочный горшок накопал земли из тенистого участка двора, куда забегали бездомные собаки, чтобы нервно задрать заднюю ногу и брызнуть ядовитой оранжевой струйкой. В эту почву, богатую солями, добавил органических удобрений, добытых на подмосковной ферме, где скопился избыток навоза. Этот состав, содержащий массу питательных веществ, гарантировал ускоренный рост. Был исходным материалом для политической группы, а в последствии и для парламентской фракции, которую возглавит Грибков. Способствующие быстрому

вырастанию компоненты были тщательно отобраны и добавлены в почву в строгих пропорциях, описанных в древних алхимических трактатах. Сюда входило некоторое количество пенистого монастырского кваса, отражая участие во фракции православных и патриотических сил. Пупырчатая куриная шкурка с подмосковной птицефабрики, символизирующая союз с отечественным товаропроизводителем. Перетертый в муку гипсовый бюстик Столыпина, говорящий о монархических и державных стремлениях. Несколько красных ниток из генеральского лампаса, связывающих фракцию с

военными кругами. Пепел
сожженной странички из
брежневской «Целины», что
соединяло фракцию со всем
положительным, что заключал в себе
советский период. Эти
составляющие тщательно замешали в
почву, которая была увлажнена,
согрета, многократно взрыхлена и
промята, и из которой Стрижайло
слепил круглый пористый шар. В
этот плодоносный шар, подобный
тому, что катит перед собой
скарабей, Стрижайло заложил
крохотную мучнистую личинку с
едва заметной рыжей головкой,
сонную, недвижимую, выведенную в
его политологическом «Центре

эффективных стратегий». Эта личинка продолжит дремотное существование в сердцевине шара, покуда скарабей ни пропитает свою сферическую ношу каплями пахучих выделений. Тогда личинка проснется, станет бурно поглощать питательные вещества, совершит стремительный рост. Эту сферу, напоминающую живую, заряженную бомбу, Стрижайло покрыл пленкой рыбьего клея, что сообщало изделию прочность, не препятствуя проникновению воздуха. Любуясь своим творением, Стрижайло положил его в маленькую сафьяновую коробочку, где обычно хранятся перстни, и отправился на

встречу с Грибковым.

Встреча проходила в зале игровых автоматов, коими был оснащен великолепный холл гостиницы «Орленок». Место, где когда-то собирался цвет комсомола, ударники строительных отрядов, молодые университетские интеллектуалы, герои афганского похода, — теперь это место сверкало восхитительными устройствами. Автоматы ненасытно поглощали деньги, отзывались пленительными музыкальными переливами, высыпали в руки счастливица горсть звенящих монет, показывали неудачнику насмешливый красный язык. Здесь же сновали изящные, в

обольстительном макияже,
зараженные СПИДом проститутки.
Пылала вывеска стриптиз-бара.
Расхаживали атлеты с бирками
«секьюрити». Ненароком появлялись
чеченцы-хозяева, озирая клиентуру
тяжелым басаевским взглядом.
Стрижайло и Грибков сидели за
столиком за рюмками аперитива.
Грибков только что проиграл
демоническим автоматам две сотни
долларов, выиграл пятьсот рублей,
верил в свою политическую звезду,
которая, выложенная из алых
неоновых трубок, пылала в паху у
неоновой же красавицы при входе в
стриптиз-бар.

— Сейчас самое время

совершить решительный шаг, —
внушал Грибкову Стрижайло. —
После всех ужасных разоблачений
общество разочаровалась в старом
коммунистическом руководстве.
Партия рассыпается. Только вы
можете удержать ее от распада.
Время — отстранить Дышлова.
Время показать, что у партии есть
новый, молодой лидер, отважный
интеллектуал, глубокий экономист,
православный человек, друг военных
и церкви, выдвиженец академиков и
бизнесменов. Это вы — дорогой
Грибков. Совершите поступок,
которого от вас ждет история.

— А где гарантии? —
осторожничал Грибков. — Я сделаю

заявление на съезде, а делегаты меня не поддержат. И это будет губительный для меня фальстарт.

— Дышлов висит на волоске, — Стрижайло убеждал робкого духом Грибкова. — Его все ненавидят. Я знаю, Семиженов хочет устроить скандал на съезде, хочет расколоть компартию. Зачем вам отдавать компартию этому выскочке Семиженову? Партия пойдет за вами. Вы — символ возрождения, выстраданный патриотами лидер.

— А если я выйду из зала, и за мной никто не последует, а просто захлопнется дверь, и я останусь навсегда вне политики? — Грибков колебался. Предстоящий съезд

партии виделся ему, как огромный игровой автомат, куда ему предлагается вложить весь политический капитал. Автомат мелодично проглотит накопленное состояние, и из него высунется красный мокрый язык Дышлова. — Мне нужны гарантии.

— Гарантии есть. Вы получите полмиллиона долларов на личные расходы, а после создания альтернативной политической группы вам откроют широкое финансирование. Об этом вы узнаете из Администрации Президента. Кроме того, от меня лично вы получаете магический шар, который обеспечивал могущество египетским

фараонам. Он свяжет вас с учениями древних жрецов, управлявших половодьями Нила, как вы управляете половодьями народного недовольства.

С этими словами Стрижайло извлек сафьяновый коробок. Открыл и преподнес Грибкову магическую сферу. Покрытая рыбьим клеем, она стеклянно блестела, таинственно светила, излучая тонкие, сокрыты в ней энергии, — мистическую красоту монархизма, нетленность «красной идеи», сияние монастырских куполов, энергию и предприимчивость молодого русского бизнеса, занятого выращиванием кур на Глебовской

птицефабрике. Шар был стеклянный и одновременно живой, просвечивал сокровенной, дремавшей в нем жизнью.

— Уговорили, — Грибков принял дар, спрятал коробочку с шаром в карман. — Выпьем за наш рискованный план. Вы правы, — это мой Тулон. И пусть в конце будет Святая Елена. Вся наша жизнь — игра!

Они выпили. Стрижайло откланялся. Видел, как нервно озирается Грибков, разрываемый противоречивой страстью, — сразиться один на один с автоматом или погрузиться в бархатную тьму стриптиз-бара, где сверкает

огненный шест и вокруг извивается
обнаженная женщина-змея.

глава двадцать первая

Наступил решающий день партийного съезда. В гостиничном комплексе «Измайлово», в конференц-зале все было готово для приема делегатов. Перед входом в громадный кристаллический корпус, на тротуаре стояли две противоборствующие группы демонстрантов, разделенные милицейской цепью. При появлении очередной группы делегатов раздавался крик, свис, вздымались плакаты и транспаранты. Одна группа, под красными знаменами, состоящая из активных, рассерженных старух, скандировала:

«Ды-шлов!.. Ды-шлов!.. Ка-пэ-эр-эф!.. Ка-пэ-эр-эф!..». Размахивала красными флажками и портретами лобастого Председателя. Другая группа, собранная из молодых проправительственных наймитов, озорная и отвязанная, счастливо орала: «Дышлов-хуишлов!.. Дышлов-хуишлов!..». Держала длинное полотнище, на котором лихой кистью, налезая один на другой, были намалеваны шаржированные лики Маркса, Энгельса, Ленина, Дышлова, Маковского и Верхарна. Делегаты, вобрав головы в плечи, торопились пройти это бурное скопление, побаиваясь и тех и других.

Стрижайло загримировал себя под провинциального интеллигента, в поношенной кепке, мятом, застегнутым на все пуговицы пиджаке, в галстукe восьмидесятиx годов, изменив черты лица с помощью накладных скул и носа. Явился на съезд, как тайный демиург, управляющий упоительным зрелищем, священным ритуалом, на котором предстояло совершить жертвоприношение, — забить жертвенного «бычка оппозиции». Серый кристаллический корпус отеля напоминал скалу, с расселинами, уступами, глубокими трещинами, как на иконах изображают горные кручи. Флажки,

портреты, цветы в руках демонстрантов были ритуальными символами, призванные заговаривать духов, незримая битва которых разгоралась перед входом в отель. Скандирование, яростные свисты, притопывания вызывали вибрацию небесных сфер, из которых излетали стремительные духи, сшибались перед входом в гостиницу, старались захватить в свое сражение идущих на съезд делегатов. Стрижайло явственно видел, как из раскрытых старушечьих ртов, выкликающих хвалу компартии, вылетали красные, стрекочущие скворцы, а из хохочущих глоток наймитов выносились белобокие сороки. Сталкивались в

воздухе, выклеывали друг у друга глаза, яростно верещали. Роняли на головы проходящих делегатов красные перья революции, липкие белесые кляксы контрреволюционного переворота.

Предстоящий съезд обещал быть спектаклем, который игрался сразу по двум пьесам, с двумя исключаящими друг друга финалами, с двумя драматургами, одним из которых был Дышлов, написавший сценарий по испытанным образцам прежних советских съездов, а другим был Стрижайло, знаток священных мистерий, храмовых действий, культовых ритуалов, способных

управлять ходом времени, менять направление истории.

Проскользнув бестелесной тенью сквозь стеклянные двери, Стрижайло очутился в многолюдном холе, где шла регистрация делегатов.

Глаза разбегались от множества именитых людей, делами которых гордилась страна. Здесь были крепыши-шахтеры и силачи-сталевары, отмеченные наградами Родины. Генералы и адмиралы великой армии и флота, участвующие в глобальной стратегии. Командующие округами и боевыми группировками, нависшими над Европой. Командиры атомных крейсеров, бороздящих мировой

океан. Комдивы мобильных ракет, превращающих мировые столицы в дымные котлованы. Среди делегатов выделялись знаменитые артисты, великолепные музыканты, авторы неповторимых романов, величественных ораторий и опер. Архитекторы, построившие великолепные города в пустынях и тундрах. Ученые, совершившие мировые открытия. Инженеры, создавшие невиданные машины. Врачи, сделавшие уникальные операции и победившие ужасные эпидемии. Среди гостей партийного съезда слышалась английская, французская, испанская речь. Мелькали африканские и азиатские

лица. Китаец обнимался с ангольцем. Немец жал руку мексиканцу. Индус, как старому знакомому, улыбался американцу. В холле было тесно от сильных тел, светло от широких улыбок, шумно от товарищеских восклицаний.

Стрижайло продвигался в тесноте, среди радостного многолюдья, успев разглядеть светлое, с белоснежной улыбкой, лицо Гагарина. Сухое, с шальными глазами и лихими казачьими усами лицо Шолохова. Услышал слабый стук растворившейся форточки. В холл с улицы потянул сквознячок. От его дуновения стали сморщиваться и усыхать крепкие тела и веселые

лица, блекнуть мундиры и осыпаться ордена и медали. Вся шумная, властная толпа стала вдруг уменьшаться, свертываться, таять. Генералы и маршалы, ударники и герои, просветители и поэты уменьшались в росте, превращались в лилипутов и карликов, метались взад и вперед, стараясь ускользнуть от губительного сквозняка. Становились крохотными, едва различимыми, как муравьи. Поблескивающей муравьиной цепочкой устремились в дальний угол холла, скрывались в узкую щель в полу, пропадали бесследно. В холле, вместо блистательной элиты страны, сновали невзрачно одетые

представители областных партиячек, руководители «красных уголков», главы ветеранских организаций, — обитатели дома для престарелых, где устраивался праздник с концертом самодеятельности, калорийным обедом и раздачей скромных подарков.

Не освоение целины, не перекрытие Енисея, не выход в Космос, не революция в Африке, не термоядерные электростанции волновали участников съезда, а утверждение избирательных списков, в которых честолюбивые, нервные делегаты мечтали обрести свое место. Стрижайло улавливал эти нервные токи, которые толкали

неуклюжее колесо партийного съезда, раскручивая его в заданном направлении. Неузнанный, выдавая себя за секретаря сельского райкома партии, Стрижайло вошел в зал и уселся на скромном заднем ряду.

Зал был просторный, тускло освещен. Под потолком витал сумрак. На сцене, озаренный, стоял белый, надувной бюст Ленина, удобный тем, что его можно было в свернутом виде приносить на собрание и накачивать с помощью велосипедного насоса. Если сквозь прокол воздух начинал выходить, бюст опадал, и ленинские черты начинали искажаться и плыть, то на сцену выходил главный идеолог

партии и насосом восстанавливал давление в бюсте. В случае демонстраций и шествий, наполненный метаном, бюст взлетал над толпой и плыл, как красивое облако. Однажды он сорвался с нитки и улетел за восемьдесят километров, приземлившись в районе Дмитрова, выиграв соревнование по запуску воздушных шаров на дальность.

В зале занимали места делегаты. На первых рядах уселись члены ЦК, видные деятели и секретари обкомов. Подальше, на почтительном удалении, повинуюсь неписанной субординации, — вся прочая партийная масса. Отдельно

восседали полтора десятка ставленников Маковского и Верхарна, с похожими холеными лицами богачей и менеджеров, в одинаково-скромных пиджаках, по случаю съезда купленных на вещевых рынках. Среди делегатов Стрижайло углядел «мисс КПРФ», обворожительную Елену Баранкину, рядом с ней суровых, похожих на телохранителей Хохотуна и Забурелова, мучительно влюбленных в красавицу. Небольшой дружной группой держались Маша Сталин, Катя Сталин, Сара Сталин и Фатима Сталин, — весь молодой актив радикальной сталинской партии, приглашенный на съезд в качестве

гостей. Было много прессы, в проходах и у сцены стояли телекамеры, фотографы щелкали вспышками, журналистки брали интервью.

Никто не знал, что в различные места зала, стараниями Стрижайло, были внедрены самые известные экстрасенсы и маги, рекламируемые журналом «Оракул». Пан Олесь, колдун из Карпат, останавливающий взглядом облака. Элеонора, потомственная колдунья из цыганского рода, наводящая порчу и помрачение. Терентий Арнольдович, магистр магических наук, знаток восточных практик, выпускник калифорнийского ведического

колледжа. И, наконец, бабушка Марфуша из вологодской деревни Костыльки, владеющая искусством телепортации. Все они выдавали себя за делегатов из малонаселенных районов страны, имели при себе составленные Стрижайло программы, вносящие тайные поправки в сценарий съезда.

Стрижайло видел наполненный зал, выделяя в рядах черно-стеклянный, нахохленный кок Семиженова и маленькую, с пылающими ушами, головку Грибкова. Зал был заминирован, съезд нес в себе взрывную силу. Горшок партии только казался целым, на деле же был составлен из

непрочных черепков, готовых рассыпаться при слабом толчке.

Последовала чопорная процедура избрания руководящих органов съезда, после чего на сцене, за длинным, под красной скатертью столом, оказались Дышлов, Семиженов, Грибков, Карантинов. Но не было Креса, которого тщетно искал Стрижайло, и след которого волокнистой курчавой линией протянулся по синему небу, куда-то за Москву, на юго-запад, в сторону далекого Кипра.

— Товарищи... — Дышлов с трибуны начал доклад. Стрижайло пристально изучал его исхудалое, без обычного румянца лицо, отыскивая

на нем следы измождения, неизжитой боли, духовного разрушения. Все это присутствовало в Дышлове, как результат подрывной работы, проведенной Стрижайло. Но присутствовали так же неизрасходованная воля, упрямая решимость провести партийный съезд, как опытный лоцман проводит груженую взрывчаткой баржу сквозь рифы и мели в безопасный порт. Дышлов следовал разработанному сценарию, играл привычную, достойную пьесу в лучших традициях аппаратного партийного реализма. Стрижайло, как режиссер-модернист, играл свою пьесу, использовал экстравагантную

режиссуру, вел съезд к иной, им задуманной цели. Один съезд, — два режиссера. Два сценария, — один завершающий взрыв.

— Товарищи, мы проводим наш съезд накануне думских выборов в решающий период отечественной истории, демонстрируя единство наших рядов, консолидацию наших сил, которая поможет объединить ряды патриотов и коммунистов, «красных» и «белых», «левых» и «правых». Только такое единство обеспечит нам внушительную победу на выборах и заставит власть изменить свой антинародный курс... — уверенный тон речи, устоявшиеся формулировки,

привычная очередность фраз
подействовали на зал, как бетонный
раствор, цементируя делегатов,
превращая их в неколебимый
монолит. Не позволяя монолиту
окаменеть, Стрижайло привел в
действие методики режиссера
Мейерхольда, заставлявшего актеров
ходить по канату ногами вверх.
Направил экстрасенсорный сигнал
магу и чародею Терентию
Арнольдовичу, приглашая его
использовать ведические знания.

— Товарищи, на нас лежит
историческая ответственность
оправдать ожидания народа и
сложить наши усилия в направлении
победы, которую ожидает от нас

народ... — Было видно, как из темной части зала, из кресла, где притулился калифорнийский магистр, протянулся к сцене прозрачный розовый луч, нащупал на трибуне Дышлова, уперся в широкий лоб, образовав вишневое пятнышка, как от лазерного прицела. — Наш народ, — продолжал Дышлов, поглощая корой головного мозга корректирующий импульс, — наш народ, мать его ети, какой-то дурной народ. Вот, скажем, в моей родной деревне Козявино, был пастух Митрофан. Так он с телками жил, и, к чести его будь, сказано, ни одной в нашем стаде нетели не оставалось...

Зал загудел, зашевелился.

Многие складывали ладони трубочкой, приставляли к ушам, нацеливали на трибуну, пеня на плохую акустику, порой искажавшую смысл слов.

— Товарищи, международная обстановка по-прежнему противоречива, отмечена небывалым наступлением американского империализма в различных районах мира, что чревато новым всплеском борьбы народов за свою независимость, — переживший миг помрачения, во время которого язык был отсечен от текста доклада и подключен к реликтовым участкам головного мозга, Дышлов обрел дар рационального мышления, уверенно,

с тайной угрозой в адрес империализма, читал доклад. — Во время моей поездки в Ирак, по личному приглашению Саддама Хуссейна, за неделю до начала американской агрессии у меня состоялся интересный разговор с иракским лидером... — Калифорнийский чародей Терентий Арнольдович, знаток гималайских практик, обладавший способностью дистанционно воздействовать на чакры, направил корректирующий луч к трибуне и невольно вонзил его в кобчик Дышлова. Там находился реликтовый мозговой узел, доставшийся в наследство от динозавров. Дремлющий в обычные

периоды жизни, сжатый мясистыми
ягодицами во время бесчисленных
партконференций и думских
слушаний, этот центр, под
воздействием луча, был разбужен.
Ударил сквозь спинной мозг в голову
Дышлова ослепительной
молнией. — Саддам Хуссейн мне и
говорит: «Хули ты церемонишься со
своими партийцами. Оторвал бы им
бошки, как это делаю я со своими
педерастами из БААС. Особенно
мудакам Семиженову и Грибкову.
Они у тебя полные мудаки...»

Зал наполнился ропотом.
Послышались негромкие вскрики.
Множество записок потянулось в
президиум с просьбой разъяснить

эту часть доклада. Дышлов, переживший затмение, вынырнул на свет Божий. Почувствовал, что пока нырял в темноту, в зале произошла перемена, партия уходит из-под контроля. Собрал воедино всю свою волю, авторитет многолетнего лидера, густые интонации голоса, жест пламенного трибуна, морщину мыслителя, яростную непреклонность взгляда, и снова овладел ситуацией.

— Товарищи, сегодня мы должны утвердить предвыборные списки, которые составлены с учетом нового расклада сил в обществе. На нашу сторону переходят не только самые широкие слои

угнетенного населения, но и церковь, и военные, и, что очень важно, отечественный бизнес. Мы должны объединить усилия... — Терентий Арнольдович, которому однажды удалось усилием воли сбить над Атлантикой «боинг», направил разящий луч в «солнечное сплетение» Дышлову. Там находилась особая кладовая, реликтовая память, хранилище анекдотов, которые Дышлов слышал во множестве еще со времен комсомольской юности, пересказывал в кампаниях и застольях, а потом откладывал в хранилище выше пупка, где скопилось множество забавных историй. Иногда, во время икоты,

когда живот содрогался, тот или иной анекдот выскакивал из кладовой и украшал беседу с единомышленником или противником, придавая непринужденный характер. Вот и теперь луч потревожил хранилище анекдотов, извлек недавно услышанную зарисовку. — Повторяю, товарищи, мы должны объединить усилия. Вот, к примеру, объединились «Русское национальное единство» РНЕ и «Гринпис». Совместно они выдвинули лозунг: «Бей жидов, спасай китов»...

Зал взревел. Антисемитски настроенная часть делегатов бурно

аплодировала. Другая, состоящая из подлинных интернационалистов, закричала: «Позор!». Небольшая часть делегатов, занятая в экологическом движении, бурно обсуждала, — можно ли достигнуть верно поставленных природоохранных целей столь радикальными средствами. Другими словами, допустимо ли сбережение китов за счет массового истребления евреев.

Дышлов, чувствуя нестерпимое жжение в районе пупка, сходя с ума от обилия шумящих в голове анекдотов, сошел с трибуны и опустился в кресло президиума. Семиженов и Грибков злобно на него

взирали. Карантинов, верный соратник, стучал по графину с водой, призывая зал успокоиться. Объявил начало прений по докладу. Список выступавших был подобран заранее и состоял из сторонников Дышлова.

Первым выступил делегат далекой Амурской области. Он вытащил на трибуну стеклянную банку с формалином, где находился двухголовый эмбрион, скрючив ножки и ручки. И хотя формалин изрядно деформировал трупик, было видно, что существо обладает желтой кожей, а все четыре глаза имеют узкий, китайский разрез.

— Товарищи, — делегат указывал на заспиртованный

экспонат, — заселение китайцами
исконно русских земель в Приамурье
приобретает угрожающий характер.
Для увеличения поголовья китайцев,
последние стали рожать двухголовые
особи, что вдвое увеличило их
процентный состав. В то время как
наши женщины по-прежнему рожают
одноглавых. Прошу сохранить меня в
партийном списке, чтобы я с
думской трибуны мог поставить
вопрос о демографии Дальнего
Востока...

Вторым выступал делегат из
Костромской губернии, рассказав,
что в их районе на овсяное поле
прилетает «летающая тарелка».
Вместе с партийным активом он

организовал наблюдение за космическими пришельцами, но был ими схвачен, взят на борт «тарелки». Там над ним проводили эксперименты, брали пробы крови, изучали внутренние органы, а потом отпустили, оставив на теле странную татуировку.

— Я вам сейчас покажу, — делегат стал раздеваться, сбросил одежду. Голый, худой, с тощими ребрами, показал надпись, сделанную старо-славянскими буквами: «Не балуй!» — Это, товарищи, предупреждение, полученное от братьев по разуму. Прошу оставить меня в списках, чтобы я мог донести послание до

самых широких масс...

Третьим выступал представитель Маковского, один из директоров банка, надевший пиджак на голое тело, грубые туфли на босу ногу, засаленную кепку бомжа, что подчеркивало его близость к народу:

— Дорогие товарищи, мы, представители крупного бизнеса, никогда не сжигали свои партбилеты, храним их в бронированных сейфах, покуда вновь ни придут «наши». Делегированные нашей партией, мы были внедрены в святая святых современного капитализма, знаем его уязвимые точки и будем способствовать его низвержению. Пока что мы

принесли в КПРФ накопленные ценности и отдаем их на алтарь нашей победы. Прошу оставить нас в партийных списках...

С этими словами он снял с головы кепку, положил на край сцены и кинул в нее массивный золотой перстень с сапфиром, который просверкал в сумерках зала, как вечерняя звезда. С мест поднимались представители крупного бизнеса, все в пиджаках на голое тело. Шаркая разношенными башмаками, подходили к сцене, кидали в кепку, — кто платиновый браслет, кто слиток золота, кто яйцо Фаберже, кто бриллиантовое, времен Екатерины Великой, кольцо. Кепка

сияла, окруженная драгоценным заревом. Зал, затаив дыхание, взирал на несметные сокровища.

Стрижайло, замороженный великолепием своей собственной режиссуры, очнулся. Подал экстрасенсорный сигнал бабушке Марфуше из вологодской деревни Костыльки, обладавшей даром телепортации. Бабуся, невзрачная на вид, из тех, что торгуют грибками на колхозных рынках, зажгла под белесыми бровками два рубиновых огонька. Брызнула красной росой в президиум, где сидел кипящий от негодования Семиженов. Его вороненый кок наполнился ртутным свечением, по лицу пробежали синие

сгустки плазмы. Теряя самообладание, источая болезненное электричество и высоковольтные разряды, он вскочил:

— Дышлов, ты предатель! Продал партию олигархам за нефтедоллары! Ты — изношенная перчатка на руке Президента! Ты обманщик народа! При тебе партия превратилась в баптистский молитвенный дом! На тебе кровь зарезанного тобой инвалида! Тебя, а вместе с тобой и партию, проклинаяют «чернобыльцы»! Господь Бог не принимает тебя, опрокидывает чашу, которую ты хотел коснуться нечистыми губами! Где деньги, которые я добыл для

партии? Где проходимец Крес? Я покидаю этот закупленный на корню съезд и ухожу создавать партию нового, сталинского типа! Кто за Дышлова, — оставайтесь в этом тухлом зале! Кто за Сталина, — за мной!

Рубиновые глазки вологодской колдуньи буравили Семиженова, побуждая совершить акт телепортации и перенестись на Москва-реку, где его ожидал под парами белоснежный теплоход «Сталин». Алчная ведьма направила глазки на кепку, полную драгоценностей, и совершила телепортацию золота и бриллиантов к себе в вологодскую деревню, в

укромный уголок за печку.

Между тем, Семиженов менял обличье. Пропал его возбужденный декадентский кок, исчез фирменный модный костюм, изменилось выбритое до синевы лицо разгневанного цыгана. Появились седые усы, прищуренный взгляд, мундир генералиссимуса с золотыми эполетами, пепельные волосы. На трибуне стоял Сталин, чуть согнув нездоровую руку, покуривая душистую трубку. Величественно, молча, оставляя голубые дымки, прошествовал прочь из зала. За ним порывисто устремились «мисс КПРФ» Елена Баранкина и два ее обожателя Хохотун и Забурелов.

Пылко встали Маша Сталин, Катя Сталин, Сара Сталин и Фатима Сталин. Множество других делегатов, чуть ни ползала, покинуло съезд, оставляя растерянного Дышлова среди поределых союзников.

— Товарищи, товарищи, послушайте анекдот... — кричал он вслед уходящим, переполненный до краев смешными историями. — Грибков, поддержи меня... — обратился он к своему единомышленнику, дико взиравшему на происходящее. — Ты верен партии, партия верна тебе... Только вместе, в общем строю, патриоты и коммунисты...

Стрижайло, тонко чувствующий переломные моменты спектакля, послал экстрасенсорный сигнал Элеоноре, потомственной волшебнице, правнучке цыганского барона и ночного колдуна, своими порчами, пожарами и землетрясениями наводившего ужас на всю Румынию. Красавица Элеонора, блистая монистами, приоткрыла румяные уста и выдохнула прозрачный синий огонь. Длинное пламя пролетело сквозь зал, жарко опалило Грибкова. Тот почувствовал знойную похоть, устремился к выходу, восклицая:

— Церковь не простит тебе, Дышлов, расстрел государя-

императора!.. Мы не можем голосовать за царя Ирода!.. Земельная рента, — вот путь, на котором мы сокрушим олигархов!.. Я пытался внушить тебе теорию христианского социализма, а в ответ слышал марксову теорию прибавочной стоимости!.. Теперь я вынужден без тебя нести мою ношу!.. — с этими словами, под магнетическим взглядом цыганской волшебницы он превратился в жука-скарабея. Черно-синий, с металлическим блеском, он катил перед собой мучнистую священную сферу, пробираясь через зал в долину фараонов, к берегу Нила, где расцвел белый лотос его успеха и где из

навозной сферы родится богиня его долгожданной славы. Было слышно, как цокают по полу его твердые лапки, как ударяет в шар маленький темный рог. Немалое число делегатов покинуло съезд вслед за Грибковым, который оправдал закрепившуюся за ним кличку: «Тот еще жук».

Дышлов, заламывая руки, истерически выкрикивал анекдоты про «жидов» и беспомощно носился по сцене. Надувной бюст Ленина, которого коснулось пронзающее пламя Элеоноры, дал свищ и начал спускаться. Черты лица исказились. Могучий гладкий лоб сузился и покрылся дебильными складками. Одна щека обвисла, и нос вяло, как у

индюка, упал на подбородок. В черепе образовалась вмятина. Вместо патетического вождя, украшавшего партийные съезды, со сцены смотрел одноглазый, с вислыми щеками, колдун, рожденный фантазией Диснея. Зал роптал, испуганно взирал на вождя: «Ленина подменили!.. Ильича испортили!.. Все подстроено!.. Не желаем!..»

Дышлов последним усилием воли остановил в себе бешенное извержение анекдотов, задохнувшись на фразе: «А Рабинович говорит...». Понимая, что спасти партию может только жертва, когда, избавляясь от малого, удавалось сохранить

большее, Дышлов решил пожертвовать представителями олигархов и исключить их из списков.

— Товарищи, — обратился он к миллионерам, одетым в костюмы простолюдинов, — Исторический момент требует от нас взвешенных решений. Большинство съезда полагает, что еще не настал момент кооптации в наши ряды законспирированных коммунистов, которые с риском для жизни, в тылу классового врага добывают деньги для партии. Поэтому вы правильно поймете меня и покинете съезд до следующих выборов в Думу.

Миллионеры сердито ворчали,

огрызались:

— А денежки наши верните...

— А кепочку-то с драгоценностями пожалуйста назад...

— За тридцать миллионов долларов вполне можно башку потерять...

Поднимались один за другим. В поношенных пиджаках и стоптанных башмаках тянулись к выходу. Тихо матерились, доставая мобильные телефоны. Звонили в корпорации и банки, сообщая о нанесенной обиде.

Верный Дышлову Карантинов один не изменил сотоварищу. Как мог, успокаивал зал, отвечал на записки, вел прения. Заметив, что надувной бюст Ленина

катастрофически теряет воздух, достал из-под стола компрессор, специально припасенный для подобного случая. Подсоединил к бюсту, включил. Бюст стал наполняться, обретал привычные, родные черты, — гениальный лоб, ласковый прищур, трогательный клинышек бороды.

Карантинова отвлек делегат с Поволжья, сообщивший в прениях, что местный умелец, член партии, изобрел прибор, удалявший волосы из ноздрей. Реализация изобретения могла наполнить партийную кассу. В доказательство выступавший достал пучок соломы, поджег и сунул в волосатую ноздрю, отчего в зале

запахло паленым.

Компрессор, между тем, продолжал работать, раздувая бюст. Ленин постепенно превратился в гигантский шар с вылупленными глазами, раздутыми щеками, пухлыми губками. Жутким образом напоминал Гайдара, отчего делегатов пробрал леденящий страх, столь сильный, что кто-то тихо завыл.

Стрижайло приступил к завершающему действию. Послал экстрасенсорный импульс пану Олесю, колдуну из Карпат, обладающему разящей способностью взгляда, — останавливал облака, сбивал крылатые ракеты, просверливал дыры в броне

толщиной в пять сантиметров. Пан Олесь, поймав сигнал, набряк, как боксерский мускул. Используя свое волшебство, усилием воли перебил кабель, подающий в зал электричество. Свет погас. Зал оказался в полном мраке. Делегаты онемели, как умолкают канарейки, когда на клетку набрасывают полог.

— Есть здесь кто? — раздавались голоса.

— Да куда ты прешь в темноте!..
Наконец, первая оторопь стала проходить. Замелькали зажженные спички, затрепетали огоньки зажигалок. На трибуне появился фонарик. В его робком скользящем луче мелькало несчастное лицо

Дышлова, суеющийся Карантинов, белесый, неимоверно увеличенный бюст, который перестал раздуваться, ибо компрессор, утратив электропитание, сам собой отключился.

Стрижайло достал заготовленный прибор ночного видения. Наблюдал в инфракрасном излучении, как зеленоватые, водянистые, похожие на личинок, сидят в креслах делегаты. В них, размытые, как на рентгеновских снимках, просвечивают скелеты, наполненные пищей желудки, наполненные страхами и сомнениями мозги.

Это был финал мистерии,

мистический конец съезда,
эпическое завершение коммунизма,
который уходил из-под солнца под
землю, в мрачную катакомбу, в
пещерное существование, в вечную
тьму. Коммунисты подымались с
кресел, выстраивались в проходах.
Держа свечки, облаченные в
островерхие балахоны, медленной
вереницей шли вслед за Дышловым.
С тихими песнопениями
погружались в пещеры. Были
монахами, схимниками, обитателями
подземелий, где, спрятанные от
человеческих глаз, таились
подземные храмы, ютились тесные
кельи, писались кумранские
рукописи, чертились наскальные

изображения. Все дальше, все глубже к центру земли продвигалась вереница подвижников. Туда, где в свете огарка, на стене пещеры, рукой первобытного художника был нарисован мамонт, голые человечки кидали первобытные дротики. Огарок погас, измученные уходом под землю коммунисты топтались во мраке. Дышлов, как Моисей, ведущий их в обетованное подземное царство, остановил свой народ и приказал добывать огонь трением.

Между тем, на Москва-реке по синему разливу плыл белый теплоход «Сталин». Здесь проходил альтернативный съезд Семиженова,

напоминавший праздник на воде. Звенела музыка, лилось шампанское. Делегаты, верные Семиженову, танцевали с длинноногими девушками, приглашенными из «Метрополя». «Мисс КПРФ», восхитительная Елена Баранкина, отплясывала рок-н-ролл с двумя лихими ухажерами Хохотуном и Забуреловым. Сияя молодостью, прелестные, жизнелюбивые, стояли на палубе Маша Сталин, Катя Сталин, Сара Сталин и Фатима Сталин, любовались Кремлем, розовым, в зеленоватой воде, отражением, красотой и величием соборов, на которых вечернее солнце зажгло золотые нимбы. На корме, в

удобном креслице, сидел Сталин, скрестив ноги, положив локти на поручне, в той позе, в какой запечатлел его фотограф во время Тегеранской конференции. Покуривал заветную трубку, голубой дымок летел за корму, в сторону Кремля, окружая его затейливыми колечками. Когда над Москвой-рекой полыхнул праздничный фейерверк, и разноцветные букеты распустились над теплоходом, превратив воду в драгоценные клумбы, Маша Сталин, Катя Сталин, Сара Сталин и Фатима Сталин не удержались, сбросили платья и, в купальниках, литые, стройные, как на фотографиях Родченко, кинулись в разноцветную

воду. Поплыли, поднимая блестящие руки, оглядываясь на любимого вождя. Сталин на корме ласково им улыбался. Вынул трубку, обратился к стоящему рядом Молотову:

— Хорошо плывут девчата...

Грибков, в обличье скарабея, проволоч драгоценный навозный шар через всю Москву, благополучно преодолевая скопления машин, толпу в подземных переходах, уберегая свою ношу и себя самого от неосторожных, не глядящих под ноги прохожих. Затруднение возникло на Поклонной горе, куда он пытался вкатить глянцевитую сферу. Упираясь рогом, придерживая шар передними

лапками, толкаясь что есть мочи четырьмя задними, он стремился к вершине. Скользкий шар вырывался и скатывался вниз. Грибков еще и еще раз повторял попытки. Напоминал себе Сизифа с камнем. Наконец, подъем был преодолен. Он прокатил шар мимо иглы Церетели, на которую был насажен другой жук, беспомощно шевелящий ножками. Обогнул Пантеон. Успокоился лишь тогда, когда миновал синагогу.

Отпустил шар. Скинулся через левое плечо, сбрасывая обличье жука и вновь превращаясь в человека, — в успешного политического деятеля, в лидера патриотов и любимца церкви, только что совершившего блестящую

политическую комбинацию,
открывавшую путь к вершинам
успеха.

Стоял, глядя на сферу, в которой
что-то дышало, трепетало,
увеличивалось в размерах. Это
взростала его будущая слава.
Просыпалась Изида его успеха.
Нарождалась богиня его
преуспеяния. Тихо улыбался,
напоминая себе изображение
фараона на стене пирамиды в
Долине Мертвых.

глава двадцать вторая

Занимаясь разгромом КИРФ и уничтожением Дышлова, Стрижайло не просто зарабатывал большие деньги. Не только наслаждался умопомрачительными комбинациями и упоительным творчеством, в которых ему не было равных. Он испытывал мессианское чувство. Сладкое и ужасное знание, что его деяниями руководит демиург истории. Что воля его — есть проявление гегелевского Духа, который посещает человечество, облакаясь в грандиозные свершения, крошечные войны, географические и научные открытия, а потом покидает

землю, улетучиваясь в таинственный звездный туман, унося с собой страсти, мечты и слезы исчезнувших поколений.

Он был садовником, явившимся в сад коммунизма не в пору его белоснежного весеннего цветения, не в осенние дни золотого плодоношения, а в пору позднего листопада и холодного инея. Сметал опавшую листву в бесформенные прелые кучи, поджигал и смотрел, как в голых стволах в предзимнюю синь улетает дым испепеленного коммунизма.

Эта миссия пугала и вдохновляла его. Он являлся орудием рока, инструментом исторического

фатума. Коммунизм, явившийся в мир в виде воздушного бестелесного призрака, превратил континенты в вулканы и землетрясения, сделал человечество орудием божественной воли, которое усилиями миллионов страдающих, ненавидящих, верящих в чудо людей, строило новую землю и новое небо. Когда постройка казалась законченной, вместила в себя победоносный огнедышащий Дух, этот Дух стал слабеть и меркнуть, покидая великолепные хоромы. Так выглядит опустевшая раковина, из которых исчез моллюск. Так выглядит сталинское метро, существуя без Сталина.

Стрижайло ощущал себя тем,

кто пришел в обезлюдившее помещение, где еще держалась тень прежнего владельца. Перед тем, как впустить в дом другого жильца, открыл форточку, изгоняя затхлый воздух. Он проветривал помещение. Был уборщиком, сгребавшим в совок оставшийся мусор. Был милосердным врачом, явившимся в хоспис, где страдал безнадежный больной, чтобы совершить милосердный акт эвтаназии.

Борясь с остатками бездеятельного, почти бездыханного коммунизма, он, быть может, был последним коммунистом земли. Завершал великую синусоиду, начинавшую свое восхождение от

Сен-Симона и Маркса, достигшего в своей амплитуде сталинских светносных высот, на ниспадающем склоне отмеченную уродством Горбачева и Ельцина. Теперь, исчезая навек, синусоида коммунизма вспыхнула на осциллографе истории его, Стрижайло, жизнью.

Это было восхитительно и ужасно. Делало его подобным Богу, в период, когда Бог умирает.

Издалека, не приближаясь к Дышлову, он следил за тем, как тот погибает. После «катакомбного съезда», о котором издевательски писали газеты, после вымарывания из списка олигархических

ставленников, Дышлов напоминал несчастного пса, попавшего под колеса трейлера. Отброшенный, с перебитым хребтом, лежал на обочине, глядя тоскливо, как мимо проносятся дымные громады.

Через несколько дней после злополучного съезда к нему в кабинет явился представительный господин с холеным, надменным лицом, в галстук от Сен-Лорана, с золотым портсигаром, из которого он извлек и, не испросив позволения, закурил сигарету.

— Очень сожалею, товарищ Дышлов, что наш альянс не состоялся, и мы не смогли быть друг другу полезны. Как говорится, Бог

располагает... — Дышлов узнал в посетителе одного из злосчастных олигархических претендентов, директора банка, который в одежде бомжа, в грязной засаленной кепке выступал на партийном съезде. — Что ж, придется отложить проект до лучших времен и держать наши партбилеты в бронированных сейфах. Однако чтобы все выглядело по-джентльменски, и мы расстались друзьями, вам придется вернуть тридцать миллионов долларов, что поступили от «Глюкоса» и других корпораций в вашу партийную кассу. Сделка не состоялась, и деньги нужно вернуть.

— Боюсь, что это

невозможно, — сурово, оттопырив губу, произнес Дышлов, вспоминая, как сидящий перед ним господин, с плохо выбритым лицом, в поношенном пиджаке на голом теле, в растоптанных башмаках, снимал кепку и клал ее на край сцены, призывая делать пожертвования. — Деньги ушли на предвыборные нужды партии. Теперь их едва ли удастся извлечь из наших разветвленных партийных организаций. Они стали оружием нашей будущей победы на выборах.

— Видите ли, товарищ Дышлов, в бизнес-сообществе это называют «кидаловом». Такого рода действия наносят не столько материальный

ущерб, сколько подрывают сам дух и букву сообщества. Превращают его в сборище криминальных ханыг. Быть может, вам не известно, но такого рода деяния пресекаются в нашем сообществе самым решительным образом.

— Что вы имеете в виду?

— Кидалу в начале предупреждают, а потом, если он оказывается глух к предупреждению, его ставят на счетчик.

— Что значит, «ставят на счетчик»?

— Ему говорят, что времени на раздумье у него остается ровно три дня. Через три дня, если деньги не будут возвращены, может появиться

снайпер.

— Вы мне угрожаете?

— Ни Боже мой. Поскольку вы теперь становитесь очень богатым человеком и входите в наше сообщество, я посвящаю вас в тонкости нашего уклада, без учета которых уклад распадется.

— Повторяю, деньги ушли в организации и там уже потрачены на агитационные цели. Давайте я вам расскажу анекдот...

— Видите ли, организации, которые мы представляем, — это очень солидные фирмы с очень солидными людьми. Не все дожили до наших дней. Некоторые, самые алчные, кто забыл о тонкостях

уклада, были поставлены на счетчик, и счетчик сработал, — господин поднял руку, обнажил запястье с массивным золотым браслетом и часами под хрустальным стеклом с несколькими циферблатами. — Время пошло, товарищ Дышлов. Через три дня мы ждем возвращение денег.

— Я вынужден буду позвонить в ФСБ...

— И еще. Среди ваших делегатов затесалась довольно гнусная старушенция, которая сперла кепку с драгоценностями. Поверьте, эти вещи достались нам не даром, а добывались в великих трудах. Пусть бабуся вернет драгоценности, а кепку

возьмет себе.

Господин поднялся и, дымя сигаретой, покинул кабинет, оставив Дышлова с нерассказанным анекдотом в душе, что было невыносимо.

После ухода гонца Дышлов потребовал к себе Креса. Но «кассир партии» Крес пропал еще за несколько дней до съезда и с тех пор не объявлялся. Его искали в роскошной московской квартире, на великолепной даче в Барвихе, в доме любовницы на берегу Клязьменского водохранилища, в испанской резиденции в окрестностях Малаги, на излюбленных курортах Франции и Швейцарии, в оффшорном банке на

Кипре. Безрезультатно. Деньги, которые поступили на его зарубежный счет от Верхарна и Маковского, по свидетельству доверенного источника, бесследно исчезли, а сам банк перестал существовать. Московская квартира, дача в Барвихе, испанская резиденция были проданы, и фамилия «Крес» в многочисленных акционерных обществах и дочерних фирмах больше не значилась. Как не значились тридцать миллионов долларов, поступивших от олигархов.

Это известие ужаснуло Дышлова. Страшная догадка посетила его. Крес, верный соратник, преданный друг, трудолюбивый и

экономный банкир партии, украл деньги. Порвал с политической борьбой, «отвязался». Сделал пластическую операцию, удалив с подбородка и щек пласты жира. Сел на диету, сбросив десятка два килограммов. Обрел иную внешность, сменил фамилию, навсегда растворился в финансовых потоках мира. Где-нибудь на Копакабана греется в дивных лучах нежаркого солнца. Лежа в шезлонге, пьет легкий бразильский коктейль, глядя, как, играя пышными бедрами, вываливая из лифчика смуглые шары, шествует по пляжу белозубая креолка, отстукивая на мокром песке ритмы самбо.

Через три дня после визита неприятного господина с золотым браслетом и несколькими циферблатами в хрустальных часах машина Дышлова, подъезжавшая к даче, попала под обстрел. Автоматчик скрывался в кустах на обочине. Умело пущенная очередь пришлась по колесам. Пробитые скаты спустили, и машина криво съехала в кювет. Охрана из «джипа» высыпала на асфальт, запоздало рассылая из пистолетов слепые выстрелы. Автоматчик, подготовив отходы, скрылся в подмосковных лесах, как он скрывался еще недавно в лесах Аргунского ущелья, выслеживая Масхадова и Басаева.

Выстрелы были предупредительными, но предупреждали о многом. Дышлов был потрясен. Втрое увеличил охрану. Перестал появляться на митингах и пресс-конференциях. Выезжая с дачи, ложился на дно представительского «мерседеса». Даже в рабочем кабинете не снимал бронежилет. Безднадежно набирал номер мобильного телефона, по которому еще недавно отзывался воркующий голос Креса. Теперь же партикулярный дамский голос извещал: «Набранный вами номер не зарегистрирован».

На интернет-сайте «Компромат.ру» появился перехват телефонного

разговора двух анонимов, в котором говорилось, что «сука Дышлов спиздил тридцать миллионов долларов», и что его, «кидалу вонючего», приговорили к смерти, для чего уже нанят киллер, служивший снайпером в спецподразделении ГРУ.

Именно в это время к Стрижайло позвонил Веролей, — сине-зеленая водоросль в таинственном омуте ФСБ. Пригласил на встречу с Потрошковым.

Встреча состоялась в прелестном ампирном особнячке, каких немало в тесных переулках между Пречистенкой и Арбатом.

Снаружи, изящно и со вкусом отреставрированный, с белыми колоннами, янтарным фасадом, чугунным черным балконом и семейным гербом на фронтоне, внутри он был наполнен ультрасовременным дизайном, картинами андеграунда, японской электроникой и итальянской сантехникой. Такие особнячки, пережившие пожар Москвы, помнящие Грибоедова и Пушкина, были облюбованы ФСБ для своих многочисленных конспиративных резиденций. Почтительный служитель с деликатными глазами майора провел Стрижайло в комнату, где навстречу поднялся Потрошков.

Одетый небрежно, как представитель богемы, в бархатном сюртуке с перламутровыми пуговицами, без галстука, но в шелковым артистическом шарфе, закрывавшем грудь и часть подбородка, Потрошков напоминал маркиза, каких рисовал на своих декадентских картинах художник Бенуа. Комната была без окон, с одной задрапированной стеной и с тремя другими, стерильно белыми, без отвлекающих изображений. Офисный стол и несколько простых и добротных стульев составляли убранство. На столе размещалась звукозаписывающая аппаратура, лежали фотокамеры, находилась

раскрытая тетрадь для заметок и несколько ручек «Паркер».

— Вы прекрасно выглядите, — воскликнул Потрошков, беря Стрижайло за обе руки, как это делают друзья, радуясь долгожданной встрече. — Успех способствует превосходному самочувствию, а у вас оглушительный успех. Зрелище Дышлова, увлекшего коммунистов в карстовые пещеры, где они разглядывали изображение мамонта, — это само по себе заслуживает наскальных рисунков, — он хохотал, сжимая запястья Стрижайло горячими ладонями, и тот чувствовал себя уловленным, испытывал жжение,

словно в запястья вливалась жаркая властная сила. — Поздравляю вас...

Подбородок Потрошкова был погружен в шелковый шарф, занавешен тонкой тканью, и было невозможно понять, как видоизменяется этот чувствительный орган, связывающий хозяина с таинственными проявлениями мироздания. Что-то слабо просвечивало, меркло и гасло сквозь полупрозрачную ткань, словно под ней бежала безостановочная электронная строка, насыщенная загадочными знаками, из тех, что украшали вход в супермаркет.

— Нет, я не ошибся в вас, мой друг, когда пригласил вас в

помощники, а теперь, не боюсь сказать, и в соратники. Проект, который вы разработали и столь блистательно реализуете, лишь в малой степени политологический. Технологии, которые вы задействовали, лишь условно можно назвать политехнологиями. Это высокая метафизика, утонченная магия, оккультная практика, без которых невозможны историческое творчество, перекодирование мира, завершение в истории грандиозной эры коммунизма. Вы — Харон, перевозящий Дышлова через Стикс в Долину Мертвых Рыб...

Стрижайло было лестно. Но как всегда, помимо обычных

человеческих чувств, — почтения, повиновения, восхищения, он испытывал к Потрошкову мистическое благоговение, как к существу, имеющему одну с ним природу, но более совершенному, рафинированному, приобщенному к непостижимым тайнам, которые делали Потрошкова существом высшего порядка.

— Явление коммунизма — есть проблема высокой теологии, как и его увод из истории. Только религиозное сознание, мистическая проницательность и оккультная практика, воздействующая на историю в целом, пригодны в борьбе с коммунизмом. Вы обладаете этими

свойствами и вам одному под силу совершить проводы коммунизма. Мы не враги коммунизма, мы служащие из бюро ритуальных услуг, которых наняла сама история. Совершая проводы коммунизма, мы сделаем это без кощунства, с уважением к великому покойнику...

Тонкая материя шарфа мерцала, словно под ней беззвучно летали прозрачные существа, какие собираются вечером на открытой веранде над абажуром горячей лампы.

— В первые минуты нашего с вами знакомства в гольф-клубе «Морской конек» вы произнесли гениальные слова. Вы предложили

оторвать компартию от ее метафизической основы и лишить ее сакральных энергий. Предложили отменить религиозный коммунистический праздник 7-го ноября. Лишить коммунистов их священных мощей, убрав из мавзолея прах Ленина. Устранить каббалистические символы коммунизма, рубиновые красные пентаграммы, что и поныне светят над Москвой. Теперь, когда до выборов в Думу остается не больше двух недель, нам предстоит совершить эти три ампутации, после которых коммунисты исчахнут и окончательно проиграют на выборах.

— Но это невозможно! —

воскликнул Стрижайло. — Это приведет к восстанию коммунистов и поддерживающего их электората. Даст Дышлову новые силы, вернет ему роль мессианского лидера!

— Для этого я вас и позвал, — Потрошков подошел к задрапированной стене и отдернул гардины. Открылась прозрачная плоскость, сквозь которую виднелась уютная гостиная с сервированным столом и двумя стульями, где все было приготовлено к обеденной трапезе. — Через несколько минут здесь появится Дышлов. Мы будем обедать, и я надеюсь, что добьюсь от него согласия на проведение этих трех ампутаций. Вы наблюдайте за

нашим общением. Ибо вам, — а кому же еще? — предстоит лишиться коммунистов их метафизических, сакральных основ.

В этот момент в гостиную вошел Дышлов. Стрижайло отшатнулся от прозрачной стены, боясь, что будет узнан.

— Не тревожьтесь. Нас не видно. Стекло поляризовано. Вы сможете слышать и видеть, оставаясь незамеченным.

Они смотрели, как Дышлов оглядывал комнату. Подошел к столу и тронул ложку, желая убедиться, что она серебряная. Встал перед зеркалом и сделал несколько мимических упражнений, изображая

на лице строгую сдержанность, непринужденное дружелюбие, печальную снисходительность, — выбирал подходящую маску, с которой намеревался начать общение с Потрошковым. Что-то не понравилось ему в собственном лице. Приблизил его к зеркалу и стал выдергивать из ноздри волосок.

— Я пошел. Если пожелаете, можете фотографировать или записывать беседу, — Потрошков кивнул на лежащую аппаратуру и скрылся в дверях. Через минуту появился за стеклянной стеной, радостно шагнув навстречу Дышлову.

Они уселись за стол, официант с мускулатурой мастера рукопашного

боя принес коктейли в высоких стаканах, закуску, состоящую из морских растений и животных. Трапеза началась, и Стрижайло мог слушать беседу.

— Должен выразить соболезнование по поводу кончины вашей почтенной матушки. Больно терять близких. Хочется в тишине и уединении пережить горе. Но тут бесконечные общественные пертурбации, всякие съезды, интриги. Вижу, как вам тяжело, — Потрошков сделал скорбное лицо, печально прикрыл глаза, всем видом показывая, как сопереживает, сочувствует, осуждает интриганов. Дышлов был тронут, почувствовал

доверие к властному собеседнику:

— Видите ли, моя матушка — наивный и простой человек. Ее ранило всякое дурное слово, произнесенное в мой адрес. Злодеи сделали все, чтобы этим способом причинить ей страдание. Она умерла, увидев, как оскверняют наше родовое гнездо, глумятся над фамильным домом. Я знаю негодяя, который осуществил злодеяние. Пусть не сомневается, у меня длинные руки.

— Если вы поручите мне докопаться до истоков злодеяния, я назову вам исполнителей и заказчиков.

— Благодарю, — ответил

Дышлов, отпивая глоток коктейля.

— Замечательный коктейль, не правда ли? Этот рецепт привез мне нелегал внешней разведки, несколько лет проживший в Панаме, наблюдая за движением военных и гражданских грузов через панамский канал.

— Нельзя ли узнать рецепт?

— Только для вас. Берешь триста грамм гаванского рома. Смешиваешь с двумя долями джина. Медленно взбалтываешь и, по мере смешивания, добавляешь одну долю вишневого крушона. Ставишь в тень и выдержишь около трех часов. Затем выжимаешь несколько долек ананаса и по вкусу доливаешь

молодой коньяк или бренди. Несколько кусочков льда с одновременным добавлением кипящего пунша способствуют образованию легкой пенки. Дашь отстояться напитку около двух часов и затем вливаешь сто грамм первосортной водки. Поджигаешь и ждешь, когда высота пламени уменьшится вдвое. Гасишь пламя, выжимая в сосуд плод манго. Немного портвейна, немного шотландского виски, три-четыре доли белого аргентинского вина. Ждешь, пока отстоится. Немного лепестков роз и ложечка меда горных пчел. Ставишь напиток на медленный огонь и доводишь до

неполного кипения. Затем по вкусу шампанское, немного текилы, церковный кагор. Оставляешь на ночь у открытого окна, лучше на лунном свете. Утром, с добавлением апельсинового сока, разливаешь по стаканам, укрепляя на кромках засахаренные лимонные дольки.

— Как называется? — изумленно спросил Дышлов, осматривая драгоценный стакан и касаясь языком нежно-желтого лимонного полумесяца.

— «Коктейль нелегала».

— Мы тоже, когда жили в Козявино, солили капусту. Тоже, скажу вам, рецепт. Берешь капусту и мелко-мелко шинкуешь...

— Я знаю, — мягко перебил его Потрошков — Так мы выявляли внедренных иностранных агентов. Притворяется русским крестьянином или фермером. Прокалывался, когда спросишь его рецепт квашения капусты. Ни хрена не знает.

Дышлов испытывал облегчение. Встреча, которая вначале казалась опасной, сулила неприятности и подвохи, теперь превращалась в беседу двух друзей и гурманов, любителей деликатесов, знатоков экзотических рецептов. Самое время было перейти к анекдотам, повеселить Потрошкова.

— Слушайте, есть такой анекдот. Встречаются американский

и русский разведчик. «Иван — говорит ему Джон, — Верно ли, что в ФСБ работают одни мудаки...»

— Это верно, — опять перебил Потрошков. — Теперь же, когда между нами установились доверительные отношения, я обращаюсь к вам, как к разумному человеку, гражданину своей страны, просвещенному интеллектуалу, тонко чувствующему веяния времени. Видите ли, мы собираемся отменить празднование 7-го ноября, как абсолютно неактуальный день октябрьского переворота. Собираемся предать земле прах Владимира Ульянова-Ленина, выполняя его последнюю просьбу, —

похоронить, как православного, крещеного человека. И, наконец, хотим убрать с кремлевских башен рубиновые пентаграммы, заменить их сердоликовыми морскими коньками. Знаю, это может вызвать волнения среди вашего электората. Не допустите волнений, не омрачайте гражданский мир, окажитесь на высоте исторического момента...

Дышлов ошеломленно смотрел, как если бы ему в лоб, между глаз ударили кувалдой, и в выпученных от боли глазах лопнул сосуд, и красное зарево заливало остановившийся мир.

«Бычок оппозиции, — думал

Стрижайло, глядя сквозь стеклянную стену. — Так вот кто забьет бычка оппозиции...»

— Вы не можете не понимать, что время компартии невозвратно прошло. Она будет усыхать, уменьшаться, превращаться в горстку сонливых отрешенных стариков, которые станут приходить на костылях в свои «красные уголки», и вы сами, в конце концов, превратитесь в директора дома престарелых, окруженного мумиями и скелетами. Я желаю вам другой доли. Обеспечу почетное отступление, при котором вы не потеряете честь, сохраните образ «красного философа»,

«коммунистического летописца». Займете кафедру истории в каком-нибудь известном провинциальном университете. Станете читать лекции по новейшей истории, где найдут свое место события 91-го, 93-го года. Будете писать книги, выступать на симпозиумах, ездить на международные форумы. К вам будут обращаться журналисты, как к крупнейшему эксперту. Вы избавите себя от социальных и политических поражений, которые неизбежно ждут компартию. Уважаемый мэтр, коммунистический гуру, профессор, академик, вы будете жить на красивой вилле, рядом с родовым гнездом, которое мы поможем

восстановить во всем его
первозданном благородстве. В
России сохранятся два мемориала, —
Шушенское, где в наивной простоте
и целомудрии зарождался русский
коммунизм, и Козявино, где русский
коммунизм благородно и
просветленно закрыл глаза...

— Невозможно... — прошептал
Дышлов, вращая непонимающие, в
бельмах, глаза. — Меня проклянут,
как предателя...

— Вас проклянут, как предателя,
если вы не примите мое
предложение и станете цепляться за
тонущую обреченную партию,
большая часть которой уже на дне.
Вы не представляете, какой океан

компромата прольется на вас. Перед тем, как идти на нашу встречу, я заглянул в ваше досье и ужаснулся тому, что приготовили для вас мерзкие писаки, продажные телеведущие, беспринципные политехнологи, политические киллеры, профессиональные отравители колодцев. Одни только пленки с вашими банными шалостями, где вы один, как русский богатырь, сражаетесь с пятью разгневанными голыми амазонками. Или фотографии вашей строящейся дачи, которая не уступает загородному дворцу Бориса Николаевича Ельцина. Или документы, по которым ваша фирма

«Зюганнефтегаз» перешла под контроль ФСБ. Сведения о принадлежащей вам сети отелей и кемпингов в Ростовской области, которые используются для сексуальных развлечений и оргий. Интервью с матерью-одиночкой из сибирского города Усть-Кут, которая рассказывает, как вы ее соблазнили, она родила от вас, а вы отказываете ей в материальной помощи. Запись вашей беседы с Ельциным, где вы называете его крупнейшим русским политиком. Запись вашей беседы с Горбачевым, где вы присягаете на верность социал-демократическим идеалам. Это только несколько капель из того водопада, который

прольется на вашу упрямую голову...

— Ничего этого нет...

Фабрикация... Я выдержу клевету...
Но не предам партию... — Дышлов
шатался, как шатается бычок,
оглушенный кувалдой. Его
выпученные голубые глаза видели
мир в красном цвете, — красный
Потрошков, красная скатерть на
столе, красные тарелки и ложки,
красный стакан с коктейлем,
наполненный его, Дышлова, кровью,
которая хлещет из перерезанного
горла.

— Вам не придется
выдерживать клевету. Люди, которые
передали партии тридцать
миллионов долларов взамен мест в

партийных избирательных
списках, — это очень серьезные
люди. Они создавали свои
корпорации с помощью пластита,
снайперской винтовки и яда
диоксина. Они очень рассердились
на вас, потеряв свои деньги.
Состоялась закрытая встреча на
вилле у Маковского, где вас
приговорили к смерти. Несколько
дней назад вашу машину обстреляли.
Это было последнее
предупреждение. Вас должны убить
сегодня, сразу же после нашей
встречи. Снайперы посажены по
всему маршруту от этого особняка до
вашей дачи. Только мое
вмешательство удерживает их от

исполнения приговора. Если вы откажетесь, я умываю руки. Больше не смогу контролировать этих необузданных, свирепых людей...

Дышлов взглянул в окно, за которым толпились близкие фасады, крыши, слуховые окна, и в дождливой дымке чудился слабый проблеск вороненой стали, тусклый лучик прицела.

— За что вы меня мучаете? — возопил он, закрывая лоб ладонями, как если бы ждал попадания пули. — Разве я не был вам полезен все эти годы? Разве нарушил данное слово? Изменил договору?

Стрижайло было жаль Дышлова. Он сострадал, видя, как сильный,

успешный, с благополучной судьбой человек разрушается точными тупыми ударами. Потрошков орудовал грубой кувалдой, выбивая из Дышлова волю. Выколачивал стержень, на котором держалась личность. Вышибал шкворень, на который были нанизаны судьба и характер. Воля являлась движущей силой истории, в которой действовали бесстрашные беспощадные люди, отломившие от мира шестую часть суши, покрасившие ее в красный цвет. Воля гнула земную ось, заставляя мир вращаться в сторону коммунизма. Иссеякание коммунизма было иссеяканием воли вождей, последним

из которых был Дышлов. Приведенный на заклание, качался под ударами тупой кувалды, которая выбивала из него остатки воли, и они шмякали в подставленный таз, как кровавые сгустки израсходованного коммунизма.

— Разве я отказывался сотрудничать? Нарушал обязательства? В самый разгар перестройки, когда выкормыш вашего Андропова, пятнистый олень Горбачев вовсю раскачивал рогами, наставленными ему Раисой Максимовной, ко мне на Старую площадь пришел человек с Лубянки. Предложил давать информацию о хромом черте Александре Яковлеве,

у которого я в то время работал. Я согласился, и с тех пор союз нашей партии и ваших секретных органов был скреплен моим честным словом, и я его не нарушил ни разу...

Дышлов, заискивая и ненавидя, умоляющее и с угрозой взирал на Потрошкова, а тот размахивался и бил кувалдой в шерстяной телячий лоб, отчего у телка вздрагивали уши, выпучивались дурные глаза, выступала липкая кровь.

— Когда в начале 91-го вы затевали свой мерзкий путч, свой фальшивый переворот, готовились передать власть Ельцину и будоражили партию, — ваши люди поручили мне подготовить «Слово к

народу», которое должно было стать предвестником путча, его мнимой идеологией, фальстартом восстания. Я выполнил ваше задание, создал документ, написанный, как «Слово о полку Игореве». И ваш путч, ваш дворцовый переворот приобрел черты восстания народа и партии...

Дышлов умолял о пощаде, надеялся продлить свою жизнь. Взывал к милосердию, указывал на былые заслуги. Но тупая кувалда выбивала из него остатки воли, той самой, что была «волей к власти», двигала вождями коммунизма вопреки страшному сопротивлению мира, наперекор истории. Сотворяла громадное, цвета пролитой крови,

государство.

— В августе 91-го, когда вы готовили путч, вы попросили меня, как и многих руководителей партии, покинуть Москву, уехать в отпуск на юг, чтобы оставить партию без руководства, парализовать ее действия. Я выполнил ваше указание. В Сочи на пляже слушал тупые директивы ГКЧП, смотрел на дрожащие руки Янаева. Когда вернулся в Москву, все уже было кончено, Ельцин взял власть. Ваши люди устроили мне тайную встречу с Ельциным, где мы договорились с ним о сотрудничестве...

Стрижайло сквозь стеклянную плоскость наблюдал «закланье

бычка». «Жертвенный телятя» своей смертью освящал проводы коммунизма. Своей кровью орошал рождение загадочной эры, еще не имевшей имени. Стрижайло видел, как в эмалированный таз падают кровавые сгустки, и в каждом умирает деяния великих людей, яростных и беспощадных вождей, восставших своей мистической волей против энтропии истории. Шмоток красной печени был революцией 17-года, когда горстка отважных мыслителей решилась взять власть в огромной рыхлой империи, поволокла ее против течения истории. Обрезок аорты с брызгающей красной жижей был

расстрелом царя, который являл собой «жертвенного агнца» гибнущей белой империи, ритуальная казнь в Ипатьевском доме «перекодировала» историю, задавала ей иные параметры.

Розовый разрубленный кусок сухожилия был коллективизацией, когда железные грабли сгребали крестьян в колхозы, конвоиры сажали в подводы сутулых бородачей, и обозы раскулаченных под бабьи вопли тянулись на сырую зарю, навеки пропадали в Сибири. Стрижайло чувствовал, как за стеклянной стеной мучается Дышлов, но это мучался и умирал коммунизм в лице его последнего

униженного вождя.

— Когда либералы с вашей помощью взяли власть на глазах изумленного, онемевшего народа, разве не ваши люди дали мне задание ни под каким видом не позволить народу очнуться, восстать против горстки узурпаторов? Разве не я делал все, чтобы не объединились «белые» и «красные», коммунисты и монархисты? Не моими усилиями тормозилось создание партии «белых» патриотов? Разрушались все «конгрессы», «фронты» и «соборы», на которых провозглашался конец гражданской войны, примирение «красных и белых духов», либералы и Ельцин объявлялись врагами

России?..

Потрошков мучил Дышлова, иссекал из него кровоточащие ломти, но при этом не испытывал вожделения. Был не палач, а жрец, приносящий священную жертву. Отнимал у коммунизма последнюю возможность возродиться, отсекал от истории. «Перекодировал» мир на другой загадочный лад, заставляя развиваться по таинственным законам, начертанным значками и символами на воротах супермаркета.

— В 93-ем, когда ваша власть качалась на волоске, и Ельцин впал в безумный запой, и армия колебалась, готовясь перейти на сторону народа, и миллион человек собирался выйти

на улицы Москвы и с иконами двинуться в Кремль, — ваши люди приехали ко мне на квартиру, просили, чтобы я выступил по телевидению, призвал народ оставаться дома. Мы мчались на вашей служебной машине в Останкино, я призвал народ не выходить на улицы, разобрать баррикады, и на утро Грачев направил танки к Дому Советов, расстрелял баррикадников, которые сражались под имперскими, андреевскими и советскими флагами...

Потрошков священнодействовал, орудую жреческими инструментами. Каждый жест был жестом

ритуального танца, отображал тот или иной кабалистический символ, украшавший вход в супермаркет. Врезал ли он булькающую аорту, протыкал ли острием пузырящиеся розовые легкие — он делал это с любовью к тельцу, с благоговеньем к жертвенной твари, которая была избрана богом на перекрестке великих эпох.

— Разве не я, по вашему настоянию, удерживал народ от бунта? Заявил, что «Россия исчерпала лимит на революции»? Переводил энергию народного бунта в тупиковые парламентские процедуры, иницилируя всевозможные «импичменты» и

«референдумы»?..

Стрижайло видел, как в эмалированный таз падает фиолетовая печень тельца. Это была индустриализация, когда миллионы людей возводили великие заводы и домны, рыли каналы и шахты, а другие миллионы разрушали церкви, учиняли голодные моры, окружали города из бараков километрами железной «колючки». Со стуком упала в таз нога с заостренным копытцем, из которой торчала ослепительно-белая кость. Это были процессы 37-го года, когда Сталин отправлял на расстрел своих друзей и соратников, без жалости и пощады расправляясь с теми, кто уклонялся

от линии партии. Соскользнул с ножа и шлепнулся в таз окровавленный глаз тельца, бело-розовый, с голубым остекленелым зрачком. Это был парад 41-го года, пурга в ноябре, танки с крестами, горящие от пушек «панфиловцев», и Сталин оставался в Кремле под грохот зениток, управлял обороной Москвы, держа в рабочем столе пистолет на случай прихода немцев. Стрижайло признавал, что за стеклянной стеной, невидимая миру, происходит смена эпох, совершается заклятие «красного тотемного зверя».

— Разве вы забыли выборы 96-го года, когда я победил Ельцина с

перевесом в 10 процентов? Об этом говорили наши наблюдатели на избирательных участках, зарубежные аналитики, математики американских университетов, изучавшие алгоритм голосования. Об этом говорили офицеры ФАПСИ и наши источники в Администрации Президента. Лубянка просила меня признать победу Ельцина, не тревожить общество, не выводить народ на улицы. Я пожертвовал победой ради общественного спокойствия. Не дожидаясь официальных итогов выборов, направил Ельцину поздравление...

Потрошков уничтожал волю Дышлова. Добирался в нем до

сокровенного, под сердцем, вместилища, где у великих вождей и властителей пульсировала неукротимая жаркая сила. Побуждала совершать завоевания, низвергать царства, создавать империи, распространять религии, творить небывалую, не предсказанную пророками историю. Пока под сердцем вождя дышала тайная капсула, государство расширяло границы, рвалось в океан и Космос, утверждало на других континентах «красную веру». Потрошков добирался до тайной капсулы, засовывая Дышлову в чрево окровавленную руку.

— Вы забыли, как в Думе, во

время утверждения на посту премьер-министра Черномырдина, моя, самая многочисленная фракция поддержала этого ненавистного народу воротилу, который вместе с Ельциными расстрелял Дом Советов, поспешествовал террористу Басаеву, по сговору с чеченцами, останавливал победоносные русские войска, осуществил грандиозное разворовывание несметных богатств страны, передав их в руки проходимцев и негодяев? Пусть вы заплатили мне за это деньги, но урон, нанесенный партии, не измерялся миллионами...

Дышлов был сломлен. Но жестокая рука Потрошкова шарила в

его внутренностях, нащупывала сокровенную колбу, где таились остатки воли, чтобы сжать и расплющить.

— А после дефолта, когда этот смехотворный болванчик, мерзкий «киндер-сюрприз» распотрошил кошельки у миллионов одураченных граждан, ушел в отставку, и Ельцин собирался заменить его Примаковым. Если бы мы не утвердили Примакова, пошли на роспуск Думы, то мог возникнуть долгожданный вакуум власти, режим зашатался и народ, как в 93-ем мог выйти на улицы. Вы уговорили меня утвердить «красного» Примакова и, тем самым, спасти режим. Вы не считаете это

проявлением лояльности, верности
данному мною слову?..

Стрижайло наблюдал
разделявшие телячьей туши. В таз
падало черно-лиловое, с обрубками
трубок сердце, — совещание в Ялте,
когда под грохот штурмующих
русских армий Сталин забирал у
союзников половину земного шара,
привинчивал континенты к
победоносной «красной империи».
Шершавый бледно-розовый язык,
вырезанный из гортани, изогнулся
страдальческим полумесяцем, —
атомный проект СССР, когда в горах
Казахстана взрывались заряды,
дымились ядовитые кратеры, плыли
по небу гигантские медузы, и

смертоносные вихри перевертывали танки, оплавливали самолеты. Розово-желтые семенники, опутанные сетью сосудов, — карибский кризис, когда советские ракеты тянулись заостренными клювами к центрам Калифорнии и Техаса, и Хрущев обменивался с Кеннеди молниями телеграмм, каждая из которых торопила конец света. Стрижайло видел, как покидают Дышлова остатки воли, и он готов испустить «красный дух».

— Вы требовали от меня, чтобы фракция коммунистов ратифицировала договор с Украиной, по которому Россия навеки теряла Крым, Севастополь, отказывалась от

территориальных претензий, что открывало Украине дорогу в НАТО. Я выполнил вашу просьбу, объясняя людям мой шаг «национальными интересами» России.

Потрошков поднимался на цыпочки, воздевал руки, в которых сверкали клинки. В узких панталонах, в бархатном шитом камзоле, в кружевной белоснежной рубашке, он был тореадор, танцующий перед носом обезумевшего от боли быка.

— Разве не я по первому требованию передал ФСБ нашу крохотную партийную фирму с единственной нефтяной скважиной «Зюганнефтегаз», чтобы вы

получили плацдарм для наступления на владения Маковского? Разве я не был союзником в вашей борьбе с олигархами?..

Потрошков раскрывал алый плащ перед сипящим быком, увлекал за собой ослепленного зверя. Проводил его отточенный рог у своего бедра, виртуозно уклонялся от встречи. Нацеливал блестящую шпагу в бычий хребет, где под ребрами билось воспаленное сердце.

— Разве я по вашему требованию не устранял из партии самых дееспособных, талантливых, готовых сражаться с режимом, оставляя послушную серую массу, что привело к вырождению партии, к

иссяканию творческих сил, к отчуждению от партии молодежи, интеллигенции, армии?..

Эмалированный таз был переполнен иссеченными органами. Хлюпали легкие. Плавал разрезанный, с остатками пищи желудок. Искривлено торчало ребро. Это были войны советской империи по утверждению коммунистической веры. Краснозвездные танки громили дворцы в Будапеште. Десантники в синих беретах патрулировали улицы Праги. Спецназ в предместье Кабула штурмовал восточный дворец, у стойки золоченого бара добивал президента Амина. Стрижайло сквозь стеклянную стену наблюдал

разделку бычка. То, что звалось коммунизмом, расчлененное и бесформенное, наполняло эмалированный таз.

Дышлов тоскливо умолял Потрошкова:

— Вы требуете от меня невозможного. Пусть меня лучше убьют. Ваши службы не знают пощады, им чужда благодарность. Разве не вы давали мне санкцию на контакт с олигархом Маковским? Разве не ваш агент Веролей связал меня с олигархом Верхарном?..

Потрошков видел, как страдает Дышлов, как его лоб покрывают капли холодного пота, как дрожат его пальцы, силясь схватить стакан.

— На колени!.. — вдруг страшно взревел Потрошков. — На колени, сука поганая!..

Он вдруг непомерно увеличился. Стал похож на громадного спрута с толстыми пупырчатыми щупальцами. Колыхался над Дышловым. Тот упал на колени. Из Потрошкова ударили лучи аметистового света, словно зажглись прожектора. В их ослепительном ртутном свете, парализованный, стоял на коленях Дышлов. Черное пупырчатое щупальце протянулась к нему, залезла в открытый рот. Проникло по пищеводу в желудок, нащупало мочевой пузырь с остатками воли. Выдернуло наружу и шмякнуло в

эмалированный таз.

— Последний раз спрашиваю, готовы ли вы дать согласие на отмену 7-го ноября? Вынос из мавзолея мумии Ленина? Снятие с башен красных звезд? Спрашиваю, — да или нет?

— Да, — пролепетал Дышлов.

Прожектора погасли. Щупальца осьминога исчезли. Потрошков помогал Дышлову подняться:

— Вот и ладно, и славно... Ничего страшного, батенька... Все будет хорошо, мой голубчик...

Дышлов, сотрясаясь, рыдал. По круглому крестьянскому лицу бежали крупные слезы.

глава двадцать третья

Заклание «бычка оппозиции» произвело на Стрижайло угнетающее впечатление. Дышлов вызывал сострадание и одновременно отвращение. Он был предатель, но такой же, как Иуда, чье предательство было космогонической неизбежностью, без которой не восторжествовал бы Иисус Христос. Дышлов был предатель не по собственной воле, а по воле фатума, который через предательство Дышлова устранял из истории человечества коммунизм. Расчлененный бычок, — грудинка, ливер, мясо на ребрах, свернувшаяся

кровь, язык и глаза, — все было отправлено в продовольственный магазин, принадлежащий Потрошкову, раскуплено обывателями, не знавшими, что из остатков коммунизма они готовят свои бульоны, бифштексы, холодцы, котлеты и шашлыки. Так всякое новое время питается остатками отживших эпох, что превращает людей в историкофагов.

Теперь, добившись от Дышлова предательства метафизических основ коммунизма, следовало приступать к их устранению из потока истории. Стрижайло решил начать с истребления «красной цифры календаря», — 7-го ноября, когда

коммунистами замышлялось традиционное протестное шествие, столь необходимое в последние предвыборные дни. День Революции, транспаранты и флаги, тысячные толпы на улицах, — все это было демонстрацией силы, прибавляло коммунистам несколько процентов на выборах. Надлежало вырезать эту дату из годового календарного цикла, как вырезают из вены крохотный больной участок, сращивая разрезанные концы, возобновляя живой кровоток.

Стрижайло подробно изучил историческую хронологию. Если 7-го ноября 1917 года состоялся залп «Авроры», штурм Зимнего Дворца и

победила большевистская революция, то 8-ого ноября 1617 года ополчение Минина и Пожарского окончательно разгромило поляков и освободило Москву. Гришка Отрепьев был сброшен с колокольни Ивана Великого, заряжен в пушку, которая пальнула им в сторону Москва-реки. Этот залп открыл путь новой династии Романовых, в последствии столь беспощадно истребленной большевиками. Празднование 8-го ноября, взамен устранившегося 7-го было метафизическим реваншем Романовых над Ульяновым-Лениным, что позволяло в скором будущем приступить к эвакуации

Ленина из мавзолея.

В «Центре эффективных стратегий» Стрижайло содержал отдел, где работали астрологи, звездочеты, авгуры и маги, способные ускорять или замедлять ход времени. Редкостные специалисты умели, подобно Иисусу Навину, останавливать в небе солнце и другие светила, что было равносильно изменению календарных основ. Особенно пристально в свете изотерических знаний изучалась теория относительности Эйнштейна, регулирующая переход пространства во время и обратно. Стрижайло обратился к специалистам отдела, и

те, производя мозговую атаку, согласились помочь, обещая совершить акт аннигиляции одной триста шестьдесят пятой доли календарного цикла. Положение планет солнечной системы благоприятствовало замыслу. Нептун входил в поле Сатурна. Юпитер начинал тонко взаимодействовать с Венерой. Плутон складывал свою гравитацию с Марсом. А стремительный Меркурий гасил нежелательные флюктуации в распределении гравитационных полей. Местом проведения операции была выбрана открытая ротонда на берегу Москва-реки, на территории Парка Культуры. Время операции —

три часа ночи, когда планеты входили в гравитационный резонанс.

Стрижайло слегка опоздал к началу действия и явился в ротонду, когда все уже было готово. Осенняя ночь брызгала холодным дождем. Из Нескучного сада веяло опавшей листвой. Река, охваченная гранитом, бежала черная, ветряная, с отражением злых огней. Туманно, словно гроздь сталактитов, висел в стороне Крымский мост. Напротив высилось тяжеловесное здание Штаба с одиноким горящим окном, за которым генерал разрабатывал план захвата Масхадова. Сквозь прогалины сумрачных зданий, озаренная, сияла церковь в

Хамовниках, похожая на
глазированный изразец. Призрачно
золотились главы, чуть краснело
оконце, — горели лампы над
лежащем в приделе покойником.
Недалеко от ротонды в ночном
сумраке замерли аттракционы, —
карусели, американские горки,
водопады, качели.

Ротонда, мучнисто-белая,
продуваемая ветром, являла собой
магическую часовню. Тесно, на
ковриках, укутанные в плащи, в
высоких балахонах, сидели
звездочеты, и на их колпаках,
вышитые серебром, переливались
кометы и звезды. По окружности
ротонды, повторяя ее внутренний

контур, была выложена шелковая белая лента, поделенная на триста шестьдесят пять отрезков, и один, соответствующий 7-ому ноября, был выделен красным, словно крохотный, кровеносный сосудик.

— Эта окружность, с легкой руки Бахтина, именуется «хронотопом», — пояснял главный астролог, в средневековой мантии, бархатной шапке, с большим старинным циркулем, которым он тщательно измерял деление окружности. — Я топаю вдоль шкалы времени, повторяя движение земли вокруг солнца...

Середина ротонды была сплошь уставлена часами разных размеров и

разновидностей. Настольные, настенные, каминные, ручные, карманные, башенные, песочные, водяные, с маятниками, колокольчиками, с выскакивающей кукушкой, с шествующими рыцарями, луковицей, электронные, атомные, биологические, без циферблата и стрелок, — все они тикали, шелестели, дрожали минутными и секундными стрелками, издавая звуки, напоминающие стрекот бесчисленных цикад и кузнечиков.

— Это мировой хронометр, разделяющий непрерывное время на отдельные временные корпускулы, — продолжал пояснять астролог.

Нахохленные звездочеты с горбатыми носами и загнутыми вверх подбородками молча и настороженно внимали. — При определенных условиях можно извлекать частицы из потока времени и, тем самым, ускорять последнее. Или же, напротив, добавлять частицы, что растягивает и замедляет время. Самые крупные отрезки времени нарезают кремлевские куранты на Спасской башне и «Биг Бен» на башне английского парламента. Нашу операцию мы начнем с боя курантов ровно в три часа ночи...

На балюстраде ротонды стояла фотография Альберта Эйнштейна в затейливой рамке, сплошь усыпанной

морскими ракушками и нарядными камушками, какие продают в сувенирных лавках на приморских базарах.

— Образ Эйнштейна необходимо присутствует при всех операциях со временем. Согласно теории относительности, воздействие на время сказывается на пространстве, увеличивая или уменьшая последнее. Если переход времени в пространство осуществляется удачно, на рамке загораются огоньки и Эйнштейн высовывает язык...

Среди тикающих часов возвышался кубический алтарь, накрытый пологом. Подле него стоял

знаменитый авгур, вавилонский гадатель, персидский кудесник, халдейский волхв. Босой, в рубище, с противогазной сумкой чрез плечо, лохматый и лобастый, с безумными блестящими глазами, он напоминал Алексея Венедиктова с «Эха Москвы». В его первобытном облике дышала истовость кудесника, одержимость повелителя звезд.

— Под пологом содержится бог времени Хронос, который будет извлечен лишь в самый последний момент, перед истреблением 7-го ноября...

Закончив свой краткий экскурс, астролог покинул Стрижайло и вернулся в ротонду, продолжая

топать по кругу, измеряя старинным циркулем «хронотоп».

Стрижайло стоял на ветру, чувствуя, как на лицо оседает невидимая роса. На душе было тревожно, мучили дурные предчувствия. С его благословения затевался эксперимент, грозивший поменять устройство Вселенной. Совершалась попытка повернуть историю вспять, управлять временем, вопреки первоначальному замыслу Бога. И это выглядело, как богоборчество. Извлекая крохотный кирпичик мироздания, он рисковал разрушить весь Космос. Выхватывая из круговорота времен, крохотную корпускулу, рисковал поколебать

незыблемость причинно-
следственных связей, в результате
которых сложился существующий
мир, его, Стрижайло, присутствие в
этом мире, — все могло измениться,
разрушиться, увлекая мир в хаос.

Он боялся, что в три часа ночи,
когда прозвонят куранты, случится
непоправимое. Исчезнут набережная
реки, Крымский мост, здание Штаба,
церковь в Хамовниках, аттракционы
Парка Культуры, и вокруг, вместо
Москвы, возникнет другая
реальность, иной ландшафт. Быть
может, пирамиды, или небоскребы,
или горы Большого каньона, или
полярные льды. Над головой вместо
темных туч распахнется звездное

небо, но орнамент звезд будет иной, устрашающий, как на другом континенте, или на другой планете, с жутким огненным рисунком неизвестных созвездий.

Но одновременно с дурными предчувствиями, страхом катастрофических перемен вновь зазвучала тема «иной жизни», которая скрывалось в нем под наслоениями явного, данного в ощущениях бытия, как подземная река скрывается под толщью пород. Эта «другая жизнь», замурованная в очевидные, внешние формы, просилась наружу. Ждала сотрясения, которое расколется тяжкие слои существования, и глубинный

поток вырвется на свободу, станет из тайного явным. Стрижайло ждал катастрофы, торопил удар магических сил, который разбросает изуродованные обломки Вселенной, и в открывшейся пустоте просияет восхитительная, желанная сущность. Ждал своего преображения.

Он услышал странные завывания, тихие плачи, медлительные тягучие песнопения. Звездочеты, сидящие на молитвенных ковриках, издавали булькающие, горловые звуки, от которых сжималось сердце. Так звучат пустые тростники, в которых летит ветер. Камни, в которые просачивается и замерзает вода.

Песчаные барханы, на вершине которых крутится солнечный вихрь. Звездочеты мерно раскачивались, наклоняли расшитые звездами колпаки, похлопывали ладонями в каменный пол ротонды. Эти магические песнопения и ритмические хлопки создавали колебания мира, вибрацию времени, сотрясение пространства. Им откликались погребенные в песках руины Вавилона, могильники древней Ниневии, каменистые долины Иудеи, по которым бродили народы. Перед путниками волшебным образом расступались потоки, падала с небес благодатная манна, и в каждом неопалимом цветке звучал голос

Бога, и в каждой перламутровой ящерице жил дух накаленных пространств, и в каждой лазурной змейке струилось неуловимое время.

«Иная жизнь» всплывала в нем, еще неявная, затуманенная, как сновидение, в котором мерещились восхитительные, посеребренные снегом поля, заячьи следы в розовом зимнем саду, голубой сладкий дым, летящий из кирпичной трубы, и какая-то чудная женщина с любимым лицом, укутанная в платок, встречает его на крыльце, а он, счастливый и легкий, движется через сад, переставляя красные охотничьи лыжи, большие, как лодки, наступает лыжей на черное сухое соцветье, и

оно ломается, рассыпает по снегу легкие семена. Эти виденья просачивались в глазницы вместе со слезами нежности и любви, и Стрижайло боялся спугнуть эти таинственные переживания, которые при неосторожном чувстве или неловкой мысли могли улетучиться, как молитвенная благодать.

Звездочеты раскачивали колпаками, превращая хлопки ладоней в непрерывный вибрирующий гул. Астролог, развевая плащ, все быстрее переставлял свой магический циркуль, напоминая землемера, измеряющего орбиту земли. Небо над ротондой избавлялось от туч, становилось

прозрачней. Сквозь легкую дымку возникали розовые нежные луны, голубые и лиловые полумесяцы, окруженные кольцами и коронами алые и золотые планеты. Над ротондой встала волшебная, аметистовая звезда с развеянным серебристым хвостом, медленно плыла, оставляя радужный след.

— Гаспар!.. — воскликнул астролог. Стрижайло, заморожено взирающий на одухотворенные небеса, вспомнил, что этим именем звали одного из волхвов, увидевших Вифлеемскую звезду.

Он ждал приближение чуда. «Иная жизнь» была той подлинной, долгожданной реальностью, что

скрывалась под коростой
неодухотворенных, бессмысленно
прожитых лет. Невидимая миру,
неведомая ему самому, протекала
подлинная, с огромными событиями
и восхитительными впечатлениями
жизнь, исполненная нежности,
благоговения и любви. Он силился
дать ей выход. Ждал, что она
проявится, как из сухой, мертвой
луковицы вдруг начинает
проявляться живой сочный стебель,
изумрудный побег, на котором
распускается драгоценный алый
цветок.

— Мельхиор!.. — воскликнул
астролог, переставляя циркуль,
продолжая бег по орбите, напоминая

всадника на фантастическом
деревянном коне. Стрижайло, как
сквозь сон, вспомнил, что это имя
носил другой волхв, ступавший по
ночным озаренным холмам за
серебряной Вифлеемской звездой.

Ротонда под ударами
звездочетов гудела, словно огромный
бубен. Тикали, шелестели и звенели
многочисленные часы. Вибрация
мира касалась всего сущего,
пребывающего во Вселенной. Всякая
планета, молекула или атом
колебались, готовы были сместиться,
стремились занять иное
расположение и место. Планеты и
луны переливались всеми цветами
радуги, как морские раковины.

Вокруг звезд возникли прозрачными голубые ореолы, будто их окружала волшебная атмосфера, и каждая мерцала в прозрачном легчайшем зареве. Все двигалось, дышало, меняло свои очертания, будто во Вселенной витал творящий невидимый дух, преображал и сотворял ее заново.

Стрижайло видел, как перед его глазами возникали и пропадали разноцветные точки, мерцающие пылинки, проносились тонкие, как паутинки, траектории. Воздух трепетал, наполнялся легкими спектрами, дышащими пернатыми радугами. Это трепетали потревоженные частицы мироздания,

проносились невесомые корпускулы света, дрожали натянутые нити времени. На эти перемены пространства и времени откликалась душа. Молекулы, из которых он состоял, пребывали в возбуждении, увеличивались, сталкивались, производили чуть слышный звук, источали едва различимый свет. Его руки прозрачно светились. Он чувствовал, как приподнялись на голове волосы, пропитанные невидимым электричеством. Тело покалывало от тончайших иголок, будто кожа хотела распасться, плоть освобождалась от материальных субстанций, одухотворялась и облагораживалась. И сквозь

одухотворенную, облагороженную
плоть просвечивала иная
сущность, — прозрачная голубая
сердцевина, в которой, словно в
коконе, созревал волшебный плод.

— Балтасар!.. — воззвал
астролог, развевая бархатный плащ,
нарекая по имени третьего волхва,
что двигался по священным холмам
за серебряной кометой.

Пространство трепетало, как
крыло перламутровой бабочки. В
воздухе проносились прозрачные
сплохи. Река переливалась
волшебными отражениями. Здание
Штаба было в мелькающих зайчиках
света, будто над ротондой вращался
зеркальный шар, посылая через реку

таинственные письма, разбегавшиеся по фасаду. Церковь в Хамовниках стала прозрачной, и в ней стоял не гроб с мертвецом, а купель, в которой светился дивный младенец. Крымский мост, недавно голый и дикий, теперь был увит цветами, пышными зарослями, как один из садов Семирамиды, и с него в реку опадали ручьи и соцветья. Аттракционы на набережной были в скользящих лучах, и казалось, в каждом играет нежная музыка. Стрижайло тянулся на разноцветные лучи, на нежные вспышки, ожидая чуда преображения.

Внезапно, издалека, по реке донесся звенящий перелив. В тихом

городе было слышно, как куранты на Спасской башне начали свою хрустальную прелюдию, прежде чем ударить размеренным гулким боем. С первыми драгоценными звуками персидский авгур и вавилонский гадатель тряхнул своим рубищем, сверкнул из-под диких бровей неистовым взглядом. Засунул в противогазную сумку голую изможденную руку и вытащил оттуда горсть зерен. Пшеница светилась у него на ладони, как горсть золота. Дико извиваясь, топая в пол ротонды голыми, в струпьях, ногами, авгур приблизился к хронотопу, — туда, где краснел кровеносный сосудик, отмечая дату 7-ое ноября.

Наклонился и высыпал гость зерна,
закрывая золотой сыпучей горкой
красную метину.

Летели над ветряной
разноцветной рекой чудесные
переливы курантов. В небесах
переливались радуги, волшебной
танцевали светила и луны,
бесцветно-прозрачный ангел в
стрекозином блеске крыльев нес
Вифлеемскую звезду, убыстрял,
направлял туда, где, невидимая за
холмами Нескучного сада,
находилась Шуховская башня.
Звездочеты прекратили камлание,
сдернули островерхие колпаки,
сидели с обнаженными головами,
лысые, с остатками седых прядей,

горбоносые, с загнутыми
подбородками, охваченные
священным ужасом.

И уже начинали бить куранты,
отламывая от времени длинные доли,
которые, как дирижабли, плыли в
московском небе, с одинаковыми
интервалами. Наполнявшие ротонду
часы забили, зазвенели, истошно
замелькали стрелками, которые
мчались по циферблатам, сливаясь в
тени.

С первым ударом курантов
авгур, развевая лохмотья, кинулся к
алтарю и содрал полог. Алтарь
оказался клеткой, в которой
встрепенулся петух, золотой, как
слиток, с алым горящим гребнем,

изумрудными отливами крыльев. Это был бог Хронос, своими ночными криками возвещавший смену поколений и царств, царей и народов, урожаев и засух, войны и мира, любви и ненависти, жизни и смерти, возвещая незыблемость единого непрерывного времени, над которым был властен.

Со вторым ударом курантов авгур открыл клетку, просунул длинные худосочные руки, схватил петуха за бока и извлек наружу. Петух пламенел гребнем, мерцал раскаленным оком, распускал потоки горячего света. Авгур нес его по ротонде к золотистой горке зерна.

С третьим ударом курантов,

когда пробило три часа ночи, и Петр в своем малодушии отрекся от Спасителя, авгур поднес петуха к насыпанной горсте пшеницы. Петух, он же Хронос, стал бить клювом в зерна. Глотал пшеницу, дрожал золотым зобом, склевывал одну триста шестьдесят пятую долю календарного цикла. Там, где была красная метина, день большевистского праздника, теперь виднелся разрыв. Авгур, отпустив петуха, соединял разомкнутый круг, смазывал его эликсирами, волшебными маслами, скрепляющими мазями.

Поглощенное Хроносом время тут же превратилось в пространство.

Петух стал расти, разбухал, наполнял
золотым тучным телом ротонду,
Парк Культуры, всю Москву, покуда
ни лопнул, разбрасывая по
Вселенной золотистые перья,
изумрудные и алые брызги.
Послышался гулкий хлопок, какой
совершает самолет, перепрыгнувший
звуковой барьер. От звука сотряслась
ротонда. Рамка, окаймлявшая
портрет Эйнштейна, замерцала
радостными огоньками, какие
бывают на елочной гирлянде.
Великий ученый, подтверждая
переход времени в пространство,
высунул ненадолго язык.

И тут же сами собой
включились и заработали все

аттракционы Парка Культуры.
Помчались вагонетки по
американским горкам, совершая
умопомрачительные виражи. Хлынул
водопад, увлекаая падающую ладью.
Завертели карусели со сказочными
животными, изображавшими знаки
Зодиака.

Стрижайло стоял потрясенный,
так и не дождавшись преображения.
«Иная жизнь» отступила,
погрузилась в непроницаемые
глубины. Смотрел, как раскачивается
громадная люлька качелей, и в ней
молча, строго сидят звездочеты.

Наступил долгожданный для
коммунистов день 7-го ноября.

Желая принять участие в протестном революционном шествии, массы людей стали стекаться к Октябрьской площади.

Ветераны, активисты, представители райкомов, боевые комсомольцы, совсем еще юные, недавно испеченные пионеры. Несли свернутые флаги и транспаранты, прикрепляли к пальто красные банты, вынимали из нагрудных карманов портретики Сталина, запасались бумажными цветами и разноцветными шариками. Выходили из метро, высаживались из автобусов, направлялись к заветному месту сбора. Но случилось невероятное, — отсутствовало не только место, но и

время праздника. 7-ое ноября, всегда наступавшее сразу вслед за 6-ым, теперь не существовало. Вместо него образовалась пустота, незримая прозрачная преграда, в которую утыкались манифестанты. Ударялись о невидимую преграду, как бабочки о стекло. Слышались глухие удары. Люди получали несильные толчки в лоб, в грудь, оторопело останавливались. Некоторые, особенно активные, из офицеров-отставников и боевых комсомольцев, начинали стучать в невидимую стену кулаками. Один отставник, из десантников, разбежался и ударил в преграду лбом, отчего раздался глухой стук, и на лбу ветерана

вздулась красная шишка. Другие, нервничая, колотили в стеклянную стену древками транспарантов и флагов. Но это не помогало. Стена была непрошибаемой. 7-ое ноября отсутствовало, будто дьявольская сила вырвала из календаря красную дату с корнем.

Однако вместо пропавшего 7-го ноября за стеной обнаружило себя 8-ое ноября. Скопившиеся перед преградой коммунисты с удивлением смотрели, как за прозрачной толщей бодрыми рядами движется рать. Воины в картонных шлемах, выкрашенных бронзовой краской, размахивали деревянными мечами, колыхали фанерными щитами, на

которых красовались узоры из серебряной фольги. Пушкари катили орудия, искусство слепленные из папье-маше. Ополченцы с приклеенными бородами нестройно несли копья с пенопластовыми наконечниками. Величаво выступало духовенство. Исполненное значительности, вышагивало купечество. Степенно следовало земство. Вместе с русскими стрельцами, чье вооружение составляли секиры из кровельной жести, в шествии подвизались полудикие народы Поволжья, — калмыки в лисьих шапках, черемисы, мордва и меря в домотканых холстах, с цепами и косами на плечах. Среди

ополчения, на открытом постаменте, запряженном шестеркой лошадей, возвышались Козьма Минин, Дмитрий Пожарский и мэр Москвы Юрий Лужков. Все трое картинно поднимали руки, осеняли себя крестными знаменьями, указывали перстами туда, где находился Кремль, занятый поляками, оккупированный Лжедмитрием.

Шествие было красочным, радовало глаз, будило патриотические чувства. Коммунисты из-за стеклянной преграды заворожено смотрели на многолюдное толпище. Снова пытались пробиться, отскакивали от стены. Самые сообразительные, —

секретари райкомов и активисты, —
решили не идти на прямой приступ,
а обойти преграду. Стали
перемещаться от Октябрьской
площади, вдоль Садового кольца, в
сторону Серпуховской, где стена
неожиданно обрывалась, и они
смогли слиться с ополчением.
Постепенно вся масса коммунистов
выстроилась в патриотическую
колонну. Шагала со стрельцами,
пушкарями и ратниками,
объединилась с купечеством,
духовенством и земством. Все
вместе, валом, с иконами и
хоругвями, потекли за Москва-реку в
сторону Кремля.

Они были вознаграждены

красочным зрелищем, которое происходило на Васильевском спуске. Здесь разыгрывались свержение и казнь предателя Гришки. Чучело Отрепьева, изготовленное в театральных мастерских, затащили на колокольню Ивана Великого и под свист и улюлюканье сбросили на брусчатку Ивановской площади. Потом зарядили в чугунную, набитую порохом пушку и пальнули в сторону Москва-реки. Чучело полетело, смешно размахивая руками, выкрикивая голосом Буратино «Партия — наш рулевой». Плюхнулось, поплыло вниз по реке, с тем чтобы вскоре попасть в Оку,

далее в Волгу, а уж там, даст Бог, и в Каспийское море.

Толпа на Васильевском спуске от души веселилась. Ее бесплатно кормили сбитнями, угощали водкой и квасом. Чудо-повара испекли огромный, во всю Красную площадь, блин, в который пытался завернуться мэр Лужков. Над ним махали лопатами, забрасывали красной икрой.

— За Русь-матушку!.. — поднес к губам чарку боевой генерал, еще недавно хромавший в коммунистических шествиях. — Прав Никита Михалков, не может Русь без царя!.. — и выпил за монархию.

После устранения из календаря революционного праздника «7-ое ноября» метафизическое поле, питавшее стоицизм коммунистов, заметно ослабело. Открывалась долгожданная возможность вынести из мавзолея тело Ленина. Стрижайло в мельчайших подробностях разработал ритуал, где не могло быть второстепенных деталей, ибо все касалось сокровенных сущностей истории. Уникальность идеи состояла в том, что Ленин из мавзолея отправлялся не в землю, а в Космос. Не на Волковское кладбище Санкт-Петербурга, где завещал себя похоронить, а на космодром

«Плесецкий», где его ожидала ракета. Статус похорон не понижался, а повышался, что должно было успокоить ревнителей, готовых скорее умереть, чем позволить забальзамированному телу покинуть усыпальницу на Красной площади.

Накануне выноса по правительственному телеканалу выступил Председатель компартии Дышлов. Он стоял на Красной площади, перед мавзолеем, в свете студеного осеннего дня, окруженный стальным мерцанием брусчатки, на фоне розово-черного мавзолея. Когда говорил, из его энергичных губ вырывалось облачко пара, — знак горячей веры в праведность

произносимых слов:

— Ленин — не является достоянием одной России. Он принадлежит всему человечеству, всей Вселенной. Убежден, если бы к 24-ому году, к моменту смерти Ильича, советская Россия располагала космическими кораблями, то Политбюро приняло бы решение отправить тело Ленина в Космос, чтобы он воссиял над всеми народами мира... — Стрижайло, смотревший телевизор, радовался, с какой искренностью Дышлов воспроизводил его, Стрижайло, аргументы, будто они явились результатом долгих раздумий, проистекавших в коллективном

разуме партии. — Только благодаря беспрецедентному давлению на власть со стороны нашей партии удалось добиться от нынешних бездарных правителей России этого решения. Выделен специальный ракетоноситель, подготовлен космический саркофаг, выбрана для этой цели недавно открытая в астероидном поясе планета, которой присвоено имя «Ленин». В этом факте признание несомненных заслуг перед человечеством вождя мирового пролетариата. И что интересно, товарищи, эта планета своей формой, своими уступами чем-то напоминает мавзолей. Таким образом, Ленин в буквальном смысле

становится светилом, путеводной звездой для землян... — Стрижайло радовали элементы импровизации в речи Дышлова, что указывало на то, как глубоко он воспринял идею перезахоронения, какой глубокий отклик она нашла в его потрясенной, требовавшей утешения душе. После ужасной сцены, когда Потрошков подавил его волю и обрек на бездействие, у Дышлова вновь появилась крупная цель, он снова был в центре исторического процесса, мог влиять на него, подтверждать свой статус крупного общественного деятеля. — Мы консультировались с учеными, которые заняты сохранением тела

Владимира Ильича, уберегают его от естественного распада. Они сказали, что, несмотря на титанические усилия, на чудодейственные эликсиры, бальзамы и смолы, естественный распад продолжается и в условиях земли, увы, необратим. Лишь в Космосе, в условиях невесомости, при полном вакууме, возможно сохранение биологических тканей. Ученые с радостью восприняли идею космического захоронения. Готовы и впредь с помощью телескопов и радиолокаторов следить за сохранностью тела Ленина... — Стрижайло ничего не знал о переговорах Дышлова с учеными и

мысленно похвалил его за глубокую проработку темы. — Там, на удаленной планете, Ленин как бы утратит свою материальность, превратится в чистый свет, нематериальный дух, великую всеобъемлющую идею. Станет центром ноосферы, замкнув на себя все великие достижения человеческой мысли от Аристотеля до Королева, — Стрижайло оценил великолепно́й пассаж, говоривший о том, что если даже Дышлов покинет пост партийного лидера, он будет прекрасным профессором на кафедре обществоведения, или директором музея-заповедника в Шушенском, куда его определит

Потрошков. — Поэтому, товарищи, призываю вас завтра, в 10 часов утра прийти на Красную площадь и принять участие в космическом вознесении Ленина, которое будет транслироваться всеми телекомпаниями мира. Гагарин был послан Лениным в Космос, проложил человечеству дорогу в космические дали. Теперь по этой, проложенной Гагариным дороге, движется Ленин...

Выступление кончилось на патетической ноте. Сменилось пафосным исполнением песни «Ленин всегда живой...» Стрижайло больше не сомневался, что вынос Ленина состоится при одобрении

самых яростных ленинцев и обойдется без эксцессов.

На другой день было ветряно, морозно, по брусчатке летела колючая пурга, множество красных флагов хлопало и трепетало у стен Кремля. К мавзолею стекались толпы, несли венки, цветы. То и дело раздавались вопросы, ни отложат ли запуск ракеты в связи с погодными условиями, какой климат царит на планете «Ленин», можно ли взять в качестве сувенира пуговицу с ленинского пиджака.

На трибуну мавзолея, впервые после поражения коммунизма, был открыт доступ. На ней собрались представители
всех

коммунистических партий, чтобы проводить в космический полет основателя русского коммунизма. Их выступления напоминали исторические речи, произнесенные над гробом вождя Сталиным, Троцким, другими большевиками, в лютую январскую стужу 24-го года. Первым говорил Дышлов, без шапки, по-ленински стискивая в кулаке кепку, страстно и рокочуще прочитал напутственный стих:

*Лети, мой звездолет, к планете
«Ленин»,
Мы никогда не встанем на
колени...*

Вслед за ним выступал неистовый, неукротимый Виктор Анпилов, слегка пародируя свою куклу, которую еще несколько лет назад демонстрировало НТВ. Он прочитал стихотворение, в котором были такие слова:

*Товарищ Ленин, так уж вышло,
Что нас возглавил не ты, а
Дышлов.*

*Но мы и дальше будем рубить
сплеча,*

*Не отдадим Дышлову кепку
Ильича...*

Следом выступала Нина Андреева, укутанная поверх шубы в

большую черную шаль:

*Пусть моя траурная шаль
Не навевает о Ленине печаль.*

Я не Дышлов и не тупица,

Чтобы принципами

поступиться...

Егор Лигачев, бодрый,
малиновый на холодном ветру,
напоминая слегка подмороженный
бурак, представлял КПСС, последний
десяток борцов когда-то могучей,
пятнадцатимиллионной партии:

*Пусть в новом поднебесном
мавзолее*

Тебе, Ильич, лежится веселее.

*А Горбачева с Ельциным в
придачу*

*Мы переправим к сатане на
дачу...*

Последним выступал
Семиженов, тщательно сверяя свое
нынешнее облачение с фотографией,
на которой Сталин у гроба Ленина, в
распахнутой шубе, свитере, с
заиндевелой шевелюрой, выдавливал
из себя скупые слова:

*Среди предательских речей и
заявлений*

*Бороться, Дышлов, мы с тобой
не перестали.*

Пусть рядом с планетой

«Ленин»

Откроют планету «Сталин»...

Эти выступления, напоминавшие праздник поэзии, прерывались ликующими возгласами толпы, здравицами в честь Ленина, Дышлова, Семиженова.

Следом на трибуну вывели глубокого старца, с трудом переставлявшего подагрические ноги, скрюченного и перекошенного он невзгод. Это был последний представитель тех, когда-то многочисленных счастливых, которые «Ленина видали». Старец долго молчал, вздыхал перед микрофоном, пока Дышлов ни

наклонился к нему и ни помог:

— Папаша, расскажи при каких обстоятельствах, ты Ленина видал.

— В гробу я его видал, — вымолвил старец, который на самом деле был недобитым, столетним белогвардейцем из армии Деникина.

Затем состоялся торжественный вынос тела. Представители коммунистических партий скрылись в глубине мавзолея. Некоторое время над площадью стояла тишина, в которой хлопали флаги. Затем из громкоговорителей брызнула ликующая песня «На пыльных тропинках далеких планет останутся наши следы...» Чугунные двери распахнулись, и на плечах

коммунистов показался стеклянный гроб. Сквозь прозрачную крышку пенилась белая ткань, над ней виднелась выпуклая желтоватая голова, странно розовели сложенные на груди руки. Этот гроб, через семьдесят лет выплывавший из мрака на свет, странным образом напоминал кондитерское изделие, накрытое прозрачным колпаком, — волнистые узоры белого крема, желтоватый марципан, засахаренные мандаринные дольки.

Толпа нахлынула, но ее оттеснила цепочка дружинников из «Трудовой России» с красными повязками на рукавах. Гроб плыл над головами к артиллерийскому лафету.

Сквозь стекло слабо мерцала на лбу Ленина капелька бальзама, словно слезинка смолы, излившаяся из сосны.

Саркофаг установили на лафете среди темно-алых живых цветов, заиндевелых венков, красно-золотых лент с надписями, в которых райкомы и обкомы КПРФ желали Ленину счастливого полета, мягкого приземления, заверяли в преданности и любви.

За лафетом выстраивалась процессия. Ученый из «Института мозга», прижимая к груди, нес огромную банку с формалином, в которой, словно в аквариуме, плавал мозг Ленина, — так же, как и само

тело, он отправлялся в космическую ноосферу, где ему было уготовано место среди великих идей и мыслей. Далее ступали комсомолки и комсомольцы, боевой отряд КПРФ, которые несли алые подушечки. На них лежали — подлинник «Завещания Ленина», взятый из партийного архива. Фотография больного Ленина в Горках. Металлическая шпилька, принадлежавшая Надежде Константиновне. Костяной гребень из прически Инессы Арманд.

Величаво, потупив глаза, с обнаженными головами, с лысинами и остатками седых волос, шествовали преподаватели

марксизма-ленинизма, — несли в руках полное собрание сочинений Ленина. Большинство из них давно оставило кафедры. Некоторые преподавали богословие в духовных семинариях. Особенно выделялся епископ в золотом облачении, когда-то защитивший диссертацию на тему: «Свет ленинизма и тьма поповщины». Он нес третий том сочинений, где среди редколлегии значилось и его имя.

Процессия выстроилась, и лафет с гробом, прикрепленный к бронетранспортеру, медленно двинулся через площадь. Путь пролегал через Васильевский спуск, Каменный Мост, Новокузнецкую,

Садовое кольцо, — к Павелецкому вокзалу, где уже стоял под парами мемориальный паровоз, тот самый, что в далекий январь 24-го привез из Горок бездыханное тело вождя. Теперь, соединяя цепь времен, тот же паровоз должен был доставить вождя в Архангельскую область, на космодром «Плесецкий».

Триумфальное шествие двигалось по Москве, вовлекая в себя воодушевленных жителей. Машины ГАИ, расплескивая по фасадам оранжево-голубые сполохи, прокладывали путь лафету. Встречные автомобили, провожая Ленина в космическое странствие, гудели сиренами. Из банков,

министерств, муниципальных учреждений высыпали чиновники и клерки и восторженно махали. Из игорных домов, ночных клубов и «казино» выбегали завсегдатаи, прервав азартные улады, и бежали за лафетом, благоговейно взирая на желтоватое недвижимое лицо, понимая, что видят его в последний раз. Приезжие иностранцы и гости столицы старались поближе протиснуться к процессии, неустанно мерцали фотовспышками. Среди толпы можно было разглядеть представителей всех партий, всех общественных движений, правозащитников, артистов театра «Современник», режиссеров

Табакова и Марка Захарова, сенатора Маргелова, феминистку Машу Арбатову и ветерана «Альфы» Гончарова. Было много азербайджанцев с вещевых и продуктовых рынков, желавших положить голландские цветы и шашлыки на железный лафет. Чеченские террористы, забыв об осторожности и отложив проведение теракта, снимали папахи. Продавцы и покупатели супермаркетов «Рамстор», «Икея», «Метро» отвлекались от оптовых и розничных распродаж, оставляли на время храмы торговли, чтобы отдать дань уважения отцу русской революции. На краю тротуаров, скрестив

стройные ноги, стояли девушки, приехавшие специально из Химок, чтобы проститься с «прадедушкой Лениным». Звучали выступления звезд эстрады, которые, отказываясь от гонораров, подымались на помосты, сооруженные по пути следования. Престарелый, но все еще держащийся на ногах Лещенко исполнял шлягер семидесятых годов «И Ленин такой молодой, и новый октябрь впереди...» Кобзон, рыдая от воспоминаний, разевал огромный, десятилетиями незакрывавшийся зев: «Ленин всегда живой...» Молоденькая самочка из телепередачи «Поющее мясо» исполняла милую песенку: «Хочу

такого, как Ленин». Тысячи корреспондентов бежали перед процессией и следом за ней, выставляли фотокамеры, диктофоны, телеобъективы, мохнатые набалдашники, надеясь, что вдруг случится чудо, и они услышат от Ленина какой-нибудь краткий тезис. Крупнейшие телекомпании мира, включая Си-Эн-Эн, вели прямой репортаж из Москвы, и весь мир мог видеть лицо мирового вождя, на котором застыла печальная, всепрощающая улыбка человека, летящего к звездам. При въезде на Садовое кольцо мерцала красно-золотой этикеткой огромная рекламная бутылка нового пива

«Ленин».

Внезапно из толпы на проезжую часть выскочил человек. Немолодой, щуплый, в поношенном пальто, в очках, с пепельной, черно-седой головой. Воздел руки, загораживая путь транспортеру:

— Люди!.. Остановитесь!.. Это обман!.. Дышлов лжет!.. Отбирает у нас Ленина!.. Вас обманули, люди!.. Руки прочь от Ленина!.. — его глаза сквозь окуляры тоскливо блестели. Обращался к толпе, к водителю «бэтээра», к представителям партий и общественных организаций. — Дышлов предатель!.. Он хуже Каплан!.. Люди, не дайте себя обмануть!..

Но толпа недовольно шумела, не желала слушать. Женщины кидали на лафет конфетти. Молодежь пускала петарды. Шнур, солист группы «Ленинград», весело и талантливо матерился. Марк Захаров отвернул гордое античное лицо. Дышлов, слыша обвинения в свой адрес, презрительно улыбался, приглашая людей не обращать внимания на выходку пожилого, неумняемого человека, в котором он узнал писателя Бушина, всегда укорявшего его в оппортунизме.

Бородатый человек видел, что на него не обращают внимания. Опьяненная толпа, захваченная ликованием, не желала внимать

голосу правды. Как во все века, предпочитала быть обманутой. В его измученном сердце фронтовика и пламенного публициста взывала огромная страшная истина, жгла нестерпимая боль. Ленин был беззащитен перед обманутыми, желающими увеселений людьми. Коммунистические идеалы были безжалостно попорчены предателями народа и партии. Голос писателя был слаб, заглушаем музыкой, воплями толпы, истошным ревом Кобзона. И желая привлечь обезумевший народ, раскрыть ему страшную правду, он прибег к последнему средству. Выхватил из кармана бутылку с бензином, неловко облил себя с ног

до головы, чиркнул спичкой и поджег. Живой факел метался на мостовой перед лафетом. Из огня высовывались руки, неся крик:

— Люди, очнитесь!.. Не отдавайте Ленина!..

Появились пожарные в касках. Направили на самосожженца металлический раструб, из которого повалила густая пена. Писатель, наполовину сгоревший, упал, погребенный в пышных хлопьях, слово в сбитых сливках. Обгорелое тело унесли, путь очистился, процессия устремила к Павелецкому вокзалу.

Увитый венками паровоз с платформой принял драгоценный

груз. Взревел на прощанье, и, окутанный паром, работая масляным шатуном и начищенным кривошипом, тронулся в дорогу. Кочегар, чудом сохранивший после реформы ЖКХ навыки обращения с котлами, подбрасывал уголек в топку.

По пути следования на узловых станциях к поезду выходили делегации, — купечество с хлебами, духовенство с молебнами, градоначальники с земством. Желали засвидетельствовать почтение, оказать высшие знаки внимания. Из окрестных сел являлись ходоки, клали на платформу челобитные с жалобами на злоупотребления, с предложениями об улучшении основ,

о создании приютов и ремонте дорог. Всех выслушивали, всем воздавалось по их званию и усердию.

В предзимних ночных полях было не видно ни зги. В опустевших деревнях давно, стараниями Чубайса, погасли «лампочки Ильича». Лишь кое-где тускло розовели окна, затянутые бычьим пузырем, за которыми теплилась лучина, и девушка сучила пряжу, напевая о своей горькой доли. Зато в огромном количестве на насыпь выходили из лесов голодные волки. Их изумрудные злые глаза воспринимались машинистом, как зеленый огонь светофора, и паровоз мчался на север сквозь великую

русскую мглу, осыпая заснеженные перелески красными искрами.

На космодроме на старте уже возвышалась ракета. Окруженная синими елями, охваченная стальными опорами, она казалась огромным ледяным бивнем. Сквозь иней, затуманенная, просвечивала строгая надпись «Ленин». Генералы космодрома, испытатели, военные сопровождали стеклянный гроб к месту старта, где бесшумный лифт вознес саркофаг с вождем к вершине ракеты, погрузил в грузовой модуль. С командного пункта было видно, как среди голубых далей, под холодным вечерним небом, одиноко и дивно белеет ракета, где уже

находится великий космонавт,
открывший человечеству галактику
коммунизма, по спирали которой,
подчиняясь законам диалектики,
развивался весь XX-ый век.

Генералы запросили
американскую систему ПРО, может
ли быть осуществлен внеплановый
запуск русской ракеты, не собьет ли
ее американская антиракета с
Аляски. В ответ, в манере гангста-
рэпа, слышали голос американского
командующего:

*Мы ведь тоже здесь про Ленина
слыхали,*

*Книги Ленина читали и листали.
Он был красный босс и любил*

шалаши.

*Мы тоже ленинцы и его
кореш.*

*Потому что мы черные парни,
Потому что мы черные парни...*

Это было разрешение на старт. Оператор повернул ключ. Ракета окуталась белым паром. Засверкал, замерцал ослепительный белый огонь. Ракета медленно стала возноситься на пылающем факеле. Прянула ввысь на огромной жаркой метле. Устремилась в зеленое небо, превращаясь в ослепительную звезду. Покидая атмосферу, прошла сквозь прозрачное перистое облако, превратив его на мгновение в дивную

радугу, словно засветился розовым, голубым и зеленым батистовый платок. Это был прощальный воздушный поцелуй, посланный Лениным Земле.

Было видно, как в раскаленной реактивной струе вслед за ракетой несутся конные армии, неистовые тачанки, несметные, под красными знаменами толпы. Как вслед за вождем покидают землю устремленные в труды и сражения поколения мечтателей и героев. И последним, кто вслед за ракетой устремлялся в несказанное райское будущее, был публицист Бушин, сгоревший на Садовом кольце. Невесомый, с восхищенным лицом,

окруженный золотистым нимбом, летел, выставив черную бороду, развевая полами изношенного пальто, и за его спиной трепетали алые крылья ангела.

Стрижайло и Потрошков наблюдали в телескопы полет ракеты. В огромное увеличительное стекло был виден звездный мерцающий Космос и небольшой астероид, своими уступами и неровностями действительно напоминавший мавзолей. По странному стечению обстоятельств эта небольшая планета «Ленин» находилась рядом с другим, недавно открытым астероидом, носившем имя балерины Колобковой.

Стрижайло в телескоп видел, как приближается к планете космический корабль. Как запускаются на нем тормозные двигатели, похожие на паяльные лампы. Как снижается корабль на озаренную солнцем планету. Но очевидно сказалось недостаточное финансирование космической отрасли, — спуск корабля произошел неточно. Во время касания с планетой последовал сильный удар. Корабль раскололся, Ленин вывалился из саркофага. Было видно, как неловко лежит на боку выброшенное тело, воздев руки, словно Ленин обращался к солнцу, умоляя о защите.

Солнце откликнулось на мольбу. Огненные лучи, не встречая атмосферы, стали опалять лежащего Ленина, испаряли бальзамы, иссушали пропитанную эликсирами кожу. Высохла и исчезла капелька масла на высоком ленинском лбу. Ленин уменьшался в размерах, ссыхался, становился плоским. От него оставались только кости, обтянутые сухим пергаментом кожи. Пылевая буря посыпала усохшее тело прахом, словно сахарной пудрой. Войдя в тень Земли, планета стала остывать, и тело Ленина покрылось кристаллами аммиачного льда. Светилось на темной планете, как светится в арктической ночи

вмороженный в льдину тюлень. Планета вышла из тени, и снова огненное дыхание Солнца опалило недвижимое тело.

Быстрые смены температур, радиация, пылевые бури очень скоро превратили кожу и кости в дымчатый отпечаток, какой палеонтологи встречают на кремне, где замечен оттиск странного скелета, — большой клюв, когтистая птичья лапа. Быть может, астронавты будущего, высадившись на астероиде, обнаружат на грунте отпечаток человеческого тела, и возникнет теория о космическом происхождении человека, о явлении земного человека из Космоса, что, в

приложении к истории русского коммунизма, не далеко от истины.

Проведя немало часов за телескопами, Стрижайло и Потрошков убедились, что операция по удалению Ленина из мавзолея завершилась успешно. Потрошков обнял Стрижайло.

— Вы гений, мой друг. Смотрите, что я вам покажу, — он извлек из кармана небольшую костяную пуговицу.

— Что это? — изумился Стрижайло.

— Пуговица с брюк Владимира Ильича. У меня есть слабость, — собираю пуговицы великих людей. В моей коллекции есть пуговицы

Гарибальди, Николая Второго, Гесса, артиста Гердта. Не моли бы вы подарить мне свою пуговицу?

— Завещаю пуговицу с гульфика, — засмеялся Стрижайло, проверяя на всякий случай, застегнута ли у него эта деликатная часть туалета и не похож ли он на премьера Касьянова, который, узнав об отставки, вышел к прессе с незастегнутой ширинкой.

Между тем, опустевшему мавзолею не позволили пустовать слишком долго. Словно боялись, что очнувшиеся коммунисты попытаются вернуть на Красную площадь тело вождя. Зная о дефиците выставочных площадей в Историческом музее,

Потрошков распорядился открыть в мавзолее экспозицию древнего Египта, перенести из запасников мумию одного из египетских фараонов. Что и было сделано. Мумия с выступавшими берцовыми костями лежала, как экспонат, к ней допускали посетителей музея. А первые лица государства, не боясь, что их заподозрят в симпатиях к Ленину, получили возможность в дни национальных торжеств подниматься на мавзолей. Восхождение совершалось под музыку из оперы Верди «Аида», что косвенным образом указывало на размещение в мавзолее египетской мумии.

После устранения календарной даты «7-ое ноября» и выноса тела Ленина из мавзолея сравнительно простой операцией выглядело снятие с кремлевских башен рубиновых звезд.

Группа альпинистов и скалолазов поднялась на островерхие шатры и отвинтила огромные золоченые гайки на золоченых болтах, удерживающих звезды. Ночью над Кремлем, в лучах голубоватых прожекторов, появились грузовые вертолеты. Нависли над башнями, вращая стеклянно-сверкающими винтами. На звезды были накинута петли. Синхронно, все разом, вертолеты стали набирать

высоту и сняли звезды с шатров. Медленно, выдерживая дистанцию, поплыли над Москвой, неся под брюхом рубиновые, продолжавшие светить звезды.

Бомж, проснувшийся в на скамье Нескучного сада от рокота винтов, разомкнул слипшиеся веки. Увидел в черном небе медлительно плывущие красные звезды, оставлявшие гаснущий розовый свет. В том месте, где проплывала звезда, небо бледнело, мелело, словно из него утекала невесомая субстанция, оставляя бесцветную муть. Бомж подумал, что ему снится пьяный сон, перевернулся на другой бок и заснул, завернувшись в лохмотья.

Вертолеты ушли за Москва-реку, в сторону Юго-запада. Звезды превратились в рубиновые капли, в крохотные красные искры. Исчезли среди ночных миганий, туманных реклам, бессчетных московских огней.

Через некоторое время вертолеты вернулись, неся под фюзеляжами двуглавых морских коньков, изготовленных из сердоликов. Нависли над кремлевскими башнями в свете прожекторов. Умелые скалолазы завинтили на золоченых болтах тяжелые золоченые гайки.

Утром москвичи увидели над Красной площадью воздетых

коньков. Развернув в разные стороны лошадиные головы, скрутив в спирали ребристые драконьи хвосты, коньки были прозрачны, светились мертвенным жемчужным светом. В них перетекали странные пузырьки, будто шло непрерывное выделение газов. Люди гадали, что означают эти таинственные существа, всплывшие из бездонных глубин русской истории.

глава двадцать четвертая

Наступил долгожданный день выборов, совпавший с первым снегопадом. Народ огромной, заваленной снегом страны пробирался к избирательным урнам. Люди, ослепшие от пурги, утопали по колено в сугробах, шли на запах пирожков, которые раздавались бесплатно на избирательных участках. Добирались, опираясь на посохи, разматывали башлыки, сбрасывали наполненные снегом шубы, съедали пирожок и шли к столам, за которыми сидели милостивые пожилые женщины, выдававшие бюллетени. Одними

глазами и легким движением губ давали понять избирателю, что тот получает индульгенцию о прощении грехов, в том случае, если проголосует за партию власти, «Единую Россию». Тут же указывали на автограф Папы Римского, заверившего индульгенцию перед тем, как впасть в кому. Этого малозаметного нарушения не могли углядеть многочисленные наблюдатели, присланные на участок политическими партиями и общественными организациями, Евросоюзом и ОБСЕ. Первые и вторые были подкуплены и не следили за ходом выборов. Вторых и третьих опоили водкой с тмином, и

они на ломанном русском языке флиртовали с игривыми девками, румяными от мороза, засланными администрацией.

Избирательная компания катилась вслед за солнцем из одного часового пояса в другой, накатываясь на страну, как весна. Ни один человек не был обделен вниманием Председателя Центризбиркома Череповым, чьи голубые карбункулы в костяной голове сверкали в этот день особенно проникновенно и дивно. Избирательные урны вертолетами доставлялись в самые отдаленные стойбища, где в голосовании принимали участие не только малые народы Севера, но и

тюлени, моржи, небольшие киты и те из белых медведей, кто поддерживал «Единую Россию». Урны проникали сквозь тюремные стены и железные засовы. Воры в законе и рецидивисты, насильники и людоеды, видя в кандидатах от «Единой России» остававшихся на свободе товарищей, голосовали за них, желая им депутатского иммунитета. Психлечебницы наполнялись воплями восторга, ибо вместо уколов и активной терапии шизофреникам и невротикам приносили урну, и они опускали в нее бюллетени, покрытые красочными рисунками, — галлюциногенные бреды, связанные

с «партией власти». На подводные лодки и в ракетные шахты, в секретные бункеры и изолированные гарнизоны вносили красочную, оббитую шелковыми оборочками урну. Обрызганная духами, с изящным депутатским значком, урна напоминала даму — вице-спикера от «партии власти». Одичавшие от одиночества солдаты норовили засунуть в щель вместе с бюллетенем всю руку, отдавая голоса «Единой России».

Страна повальной демократии, выстрадав свободу, шла выбирать, шатаясь от голода, с обезумевшими глазами. И уже поступали известия из сельских районов, что несколько

избирателей по пути к урнам были загрызены волками, а из городов-миллионников сообщалось, что целые кладбища проголосовали досрочно, а это увеличивало процент явки и повышало шансы на победу «партии власти».

Стрижайло был лично зван Потрошковым в здание Центризбиркома, наблюдать за ходом голосования. Он был главный герой и гений избирательных технологий, кому «партия власти» была обязана своей неизбежной победой с результатами, обозначенными до начала голосования на электронном, алмазно-сверкающем табло. Компьютерный зал был выполнен,

как молельня, в которой совершался религиозный обряд. Подобно часовням антропософов, повторяла черепной свод главы Центризбиркома, который специально для этого сделал томограмму мозга, передав дизайнером снимок своей головной полости.

С потолка свешивалась вяленая туша кенийского козла, добытого на сафари Череповым. Стены и компьютеры были вымазаны высохшей козлиной кровью. Внутренности козла были съедены сотрудниками избиркома на жертвенном ритуальном поедании, а выделанная скорняками шкура пошла

на переплет нового издания «Конституции Российской Федерации».

Стены были выложены плоскими экранами, по числу регионов, с контурами территорий. Над каждым горели цифры запланированных заранее результатов голосования. На огромном экране была электронная карта страны, на которой, по мере голосования, цветными пятнами станут высвечиваться зоны партийных побед и поражений, где синий цвет соответствовал «Единой России», красный — КПРФ, зеленый — «Яблоку», оранжевый — СПС, фиолетовый — ЛДПР. Здесь и висели

алмазно-сверкающие результаты голосования, ради которых двигались в снегах и буранах миллионы людей, еще не ведая о божественной предрешенности их суверенного выбора, об электронных цифрах, горевших, как бриллиантовые созвездия Космоса.

Центральное место в часовне занимал суперкомпьютер электронной системы ГАС «Выборы», — российский хай-тек, соединяющий демократию и электронику, свободу и спецслужбы, суверенный выбор и голубые карбункулы Черепова. Этот белый, словно из родосского мрамора, компьютер лишь слегка был

обрызган кровью кенийского козла. Возвышался на алтаре, словно языческое божество, в электронных недрах которого скрывался вездесущий и всеведающий дух. В компьютер из бесчисленных источников, через космическую связь, спутники, подземные волноводы, многоканальные кабели и радиоантенны поступали сигналы с избирательных участков страны. Результаты суммировались, перепроверялись, кодировались, защищались от случайных или умышленных вторжений, гарантировали абсолютную достоверность. Это был эталон точности, неподкупности,

бесстрастной и объективной истинности.

Однако между компьютером и поступающим извне сигналом существовало промежуточное устройство. Достаточно сложный блок, через который проходили сигналы. Этот блок размещался на полированной длинной доске, где в строго продуманной последовательности присутствовал ряд элементов. Приходящий извне сигнал, содержащий сведения об итогах регионального голосования, пропускался через прозрачную ванну, наполненную серной кислотой, куда были опущены электроды из платины, не поддающиеся

кислотному воздействию. Прошедший сквозь ванну сигнал поступал в почечный камень умершего бразильского колдуна, в пористый, кирпичного цвета нарост, образованный за долгие годы жизни в сельве реки Амазонки. От камня сигнал подавался на высушенную лапку пятнистой африканской лягушки, любимого зверя нигерийских колдуний, врачующих от бесплодия и выкидышей. Далее сигнал процеживался сквозь осколок железо-магнитного метеорита со следами спор и уснувших вирусов, — свидетельство загадочной внеземной жизни. И, наконец, передающие провода, выходя из метеорита,

соединялись с полковником ФАПСИ Шабалкиным, абсолютно голым, лежащим на доске лицом вверх. Пухлый, с розовым, безволосым телом, мягкими щеками и широко раскрытыми голубыми глазами, Шабалкин выполнял ответственное задание ведомства, готовясь получить за него звание генерала. Электрические проводки, исходя из метеорита, погружались в его ягодицы и там мягко соединялись со слизистыми оболочками ануса. Другие проводки выходили из-под языка и погружались в компьютер. Таким образом, сигнал, прежде чем попасть в систему ГАС «Выборы», просачивался сквозь сложную

систему предварительных фильтров.

Надо добавить, что голый полковник Шабалкин имел на своих чреслах особое приспособление в виде медного, ярко начищенного рычага, соединенного с причинным местом. Этот рычаг позволял регулировать поступавшую в Шабалкина информацию и чем-то напоминал стойку бара с пивным аппаратом, — бармен, давя на рычаг, мог регулировать струю пива, падающую в подставленную кружку.

Все эти детали вызывали у Стрижайло живейший интерес, ибо он впервые был допущен в столь секретное место.

— Господа, — представил его

Потрошков собранию именитых гостей, среди которых присутствовали первые мужи государства. — Михаил Львович Стрижайло своим несравненным гением заслужил того, чтобы именоваться «Его Высочество, главный политолог двора Его Императорского Величества».

Стрижайло был смущен столь лестной характеристикой. Хотел, было, изящно отшутиться, обращаясь к вельможам. Но в это мгновение часовня наполнилась мистическим дымом, замелькали стробоскопы, запульсировали цветные лампы, забегали световые зайчики, и в часовне показался верховный жрец,

Председатель
Черепов.

Центризбиркома

Он был великолепен. В шелковом до пят халате, опоясан широким кушаком, из-под которого торчал длинный, усыпанный камнями кинжал. Ноги его были обуты в восточные чупаки с загнутыми носами, сплошь расшитые бисером и стеклянцем. На голове красовалась пышная чалма, из которой торчало павлинье перо. Он выглядел, как сарацин. Бледное, с костяным блеском лицо выражало грозное торжество и мистическое благоговение. Голубые карбункулы в глубоких глазницах прекрасно и пугающе переливались. От них

исходили лучи, попадавшие на зеркальный шар, отчего в часовне мело голубой пургой.

— Именем сокровенного высшего Духа, — воскликнул Черепов, простирая к компьютеру растопыренную, усыпанную самоцветами пятерню, — именем демонов Назраила и Супермаила, духов Соли, Воды и Огня, запечатанных в Соловецком камне, силой всевидящего Зрака Ночи и всеслышащего Уха Тишины, да свершится таинство свободного волеизъявления российских граждан. Тех, кто достиг половозрелости, и тех, кто пребывает в отроческой невинности, и тех, кто в

младенческом неведении, и кто в зачаточном состоянии материнской утробы, а так же тех, кто в коме и клинической смерти, в гробовой тьме и под могильной плитой, кто ушел от нас, оставив прах костей своих, имеющих по новому законодательству право голоса. Ибо с помощью «чипов», «штрих-кодов» с потаенным числом зверя, сиречь кенийского козла, всякий и после конца живота своего имеет доступ к избирательным урнам. Что стало возможным благодаря молекулярной инженерии и биотехнологии, разработанным в «Центре изящной словесности имени Мариетты Чудаковой», в «Ваганьковском

правозащитном комитете имени
Сергея Адамовича Ковалева», в
спецлаборатории ФСБ имени Юрия
Андропова... А. Мень!.. — так,
возгласив имя знаменитого богослова
и толкователя Александра Меня,
завершил свое слово Черепов.
Закрутился на месте в свете
мигающих ламп. Создавалась
иллюзия, что на секунду Черепов
исчезает, выхваченный из часовни
демоном Назраилом, а потом
возвращается стараниями демона
Супермаила.

Началась мистерия, совпавшая с
началом голосования на Камчатке и
Сахалине. Сквозь часовню
проследовали Духи Регионов,

демонстрируя геральдику городов и губерний. В лазерных вспышках замелькало множество осетров, белуг, карасей, пескарей, а также орлов, ястребов, воробьев, снегирей, а также медведей, оленей, моржей, соболей, что выдавало тайну тотемных животных, от которых ведут свое происхождение тверичи, вятичи, вологжане и астраханцы. Вслед за ними часовня наполнилась различными средствами истребления и орудиями производства, подтверждавшими воинственность и трудолюбие обитателей Торжка, Ржева, Себежа и Изборска. То были секиры, алебарды, пищали, мечи, рогатины, косы, цепи, вилы,

стамески, отвертки, гаечные ключи и гвозди разных размеров. Их сменили образцы флоры таких земель, как Смоленск, Ростов, Иркутск или Вязьма. Тут были кедры, сосны, березы, капуста, помидоры, морковь, свекла, соленые огурцы, маринованные грибы, моченая морошка и варенье из крыжовника и черной смородины. Стрижайло был несколько удивлен, когда неистовый дух одного поморского городка продемонстрировал пальму, негритянскую ритуальную маску и зулусское копье, что подтверждало прозрение писателя-помора Личутина, указывающего на глубинное родство поморов и негров.

Голосование в восточных
регионах страны шло без
существенных нарушений.
Электронные карты Сахалина,
Приморья, Хабаровского края
покрывались разноцветными
пятнами, как щеки стыдливой
красавицы, что указывало на
партийные предпочтения
избирателей. А в часовне, перед
главным компьютером, проносились
Духи Партий, вздымая эмблемы
своих политических организаций.
Коммунисты, голые и красные, как
стручки перца, просверкали серпом
и молотом. Духи «Яблока»,
бесцветные, как плодовые черви,
пронесли блюдо неспелой

«антоновки». «Союз правых сил» был представлен одноруким карликом, который сжимал в единственной, правой руке слепленную из папье-маше гантель. Либеральные демократы несли огромного крикливого попугая, чьи разноцветные хвостовые перья были испачканы свежим гуано. «Партия власти» натянула над головой шкуру неубитого медведя, на которой «стригущий лишай» в двух местах съел шерсть, образовав плеши, напоминавшие свастику и могоновид.

Все духи ударялись о главный компьютер, превращались в цветной дым и рассеивались.

Мистерию завершали Духи Средств Массовой Информации, которые делали выборы религиозным ритуалом, а демократию — религией, столь же мистической, как культ Озириса и Изиды.

Первыми вылетели ведущие «Школы злословия», обнаженные, стремительные, как фурии, создавая за своими играющими лопатками и ягодицами неистовые вихри. Обе были покрашены бронзовой краской, какой покрывают кладбищенские оградки, Дуня — с серебристым оттенком, Толстая — под цвет золота. С характерной мимикой, что-то непрерывно друг другу доказывая, подбежали к прозрачной ванне с

серной кислотой, кинулись опрометью в раствор, превращаясь в шипящие пузыри, как таблетки «Терафлю». Полностью растворились, отчего в ванне некоторое время плавала два пенных пятна, — серебристое и золотое.

За ними, как изящный божок, выскользнул Савик Шустер. Он был похож на милую улитку, высовывал из ракушки небольшие ручки и тут же прятал, как прячет улитка чуткие рожки при первых признаках опасности. Из ракушечного завитка, как из крохотного репродуктора, доносилось: «Свободу слова ограничивает время, я, Савик Шустер, Кулистиков, Сенкевич и еще

какая-то сука из Администрации Президента». Он тоже кинулся в ванну с кислотой и, прежде чем исчезнуть, издал звук, какой издает устрица, когда на нее капают лимонным соком.

Ведущий программы «К барьеру» Соловьев бежал так, будто спасался от преследующих его Жириновского и Хазанова, при этом старался быть ироничным, объективным и импозантным, что ему плохо удавалось, ибо весь он был прострелен пулями, изувечен бейсбольными битами, искусан и исцарапан дуэлянтами, которых он умел раздражить, ловко стравить, а потом сам же и становился жертвой

разъяренных слюнявых бультерьеров. Добежал до ванной, кинулся в кислоту, превращаясь в шипенье, и полковник Шабалкин почувствовал, как сквозь голое тело пробежал злой электрический импульс, слабо крикнул.

Степенно, с благожелательно-печальной улыбкой, прошествовал ведущий программы «Времена» Владимир Познер. Он был похож на баптистского пастора, что-то тихо и безостановочно говорил про Америку, цитировал Джефферсона, обнаруживал глубокое знание нравов и обычаев вологодских крестьян, призывая их к цивилизации и просвещению. Не находил должного

отклика. С тихой всепрощающей улыбкой кинулся в ванну с кислотой, как Эмпедокл в Этну. Сквозь облачко пузырьков прощально прозвучало: «Такие уж у нас времена, мать вашу».

Последним из богов явился профессор Беляев, который вел на НТВ прогноз погоды. Он был закутан в плащ из грозовых облаков. На голове его, похожий на чалму, был навьючен циклон. Он был весь мокрый от промчавшегося ливня. Между ног у него висела большая сосулька. Со странной блудливой улыбкой он обещал солнечную погоду, хотя отлично знал, что надвигаются обкладные дожди. Из ванной, куда он кинулся, как

дельфин, прозвучал булькающий голос: «В апреле вода, в мае трава, друзья мои». «Сей в грязь будешь князь, милостивый государь». «Век солнца не видать, твари паршивые».

Магический ритуал завершался, что открывало путь к состязательному голосованию, в которое постепенно, с востока на запад, включалось все околдованное население России. Региональные электронные карты покрывались пятнистым узором, словно вырастали разноцветные мхи и лишайники, ядовитые грибы и плесневидные образования, — под воздействием демократических преобразований страна истлевала, превращаясь в

перегной истории.

Стрижайло, увлеченный
мистическим зрелищем,
вдохновленный высокими похвалами,
передвигался среди политического
бомонда, вступая с гостями в краткое
общение.

Кремлевский политолог
Петропавловский, с круглой
кошачьей головой, масляными
глазками и льстивой улыбкой, умело
скрывал неприязнь и зависть:

— Это ваш триумф, любезный
друг. Архетипы русского народа, —
такие, как Баба Яга, Кощей
Бессмертный, Змей Горыныч,
Соловей Разбойник,
воспроизводимые в лидерах

политических партий, конечно же, дают ключ к управлению выборными процессами. Но ваши методы метафизической войны с политическим противником, — устранение Ленина из мавзолея, исключение из календарного цикла 7-го ноября и, наконец, замена морских звезд на морских коньков, — это, безусловно, политологическое ноу-хау. Теперь вы займете место среди главных кремлевских советников. Прошу меня не забыть. Готов работать с вами на правах преданного ученика, — в любезных масляных глазах Петропавловского был потаенный блеск вороненого ствола,

а обворожительная улыбка говорила о намерении убить. Стрижайло чувствовал исходящую от него смертельную опасность:

— Ценю ваши шутки. Я по-прежнему учусь у вас. Ваш учебник политической демонологии — моя настольная книга. Лешие, Домовые, Водяные, Кикиморы, Одноглазые Лиха, — вы блестяще классифицировали состав Государственной Думы. Что касается моей будущей работы, скорее всего, я уеду в Колумбийский университет читать курс лекций по политической астрологии и оккультной гастрономии.

Нейтрализовав ненависть

соперника, Стрижайло оставил Петропавловского наедине с его иллюзиями и подозрениями.

Между тем, в восточных регионах завершалось голосование. Первые порции бюллетеней уже подвергались обработке. Пятнистые узоры делали Сахалин похожим на тритона, Камчатку — на саламандру, а Приморье и Хабаровский край — на уссурийских тигров. Но эти пятна указывали на нежелательные итоги голосования. На некоторое преимущество коммунистом и либерал-демократов, что заставило Черепова перейти к активным методикам. Он приблизился к доске, на которой были установлены ванна

с кислотой, почечный камень бразильского колдуна, сухая жабы лапка, магнитный метеорит и, наконец, голый полковник Шабалкин, сквозь которого проходили потоки электронной информации. Черепов ухватился за медный начищенный рычаг, сопряженный с причинным местом полковника, слегка потянул. Голый полковник вскрикнул, в его голубых глазах появились слезы страдания, пухлый живот раздулся, но итоги выборов на Сахалине сравнялись с электронным числом, сверкавшим над картой. Точно таким же образом, под крики полковника, все восточные регионы уложились в

заданные пропорции. Коррекция была произведена, и Черепов потечески погладил вспотевший лоб Шабалкина, потрепал его по загривку.

Стрижайло любезничал с влиятельным чиновником Администрации Президента Чебоксаровым. Элегантный фат, веселый затейник, умный и беспощадный политик, Чебоксаров прислушивался к покрикиваниям полковника:

— Не правда ли, напоминает крик иволги? Быть может, вам намекал Потрошков, — сразу же, вслед за думскими выборами и выборами Президента, мы начнем

грандиозные реформы, цель которых превратить российское общество в образование абсолютно нового типа. Мы должны дать миру ассиметричный ответ. Восполнить траты, причиненные стране в результате губительной «перестройки», катастрофической ельцинской революции, что отбросили нас на сто лет назад. Кристалл русской государственности, который мы тайно выращиваем в наших секретных лабораториях, засверкает неожиданно для мира, который увяз в архаических противоречиях «Север-Юг», «Запад-Восток». Мы вновь заявим себя, как уникальную

цивилизацию на перекрестке миров, в центре исторического развития. Ваша гениальность, дорогой Стрижайло, ваш уникальный опыт будут востребованы в самом начале этих грандиозных реформ. — Чебоксаров смотрел на Стрижайло весело и испытующе, с ироничной улыбкой на сластолюбивых устах и с жестоким выражением выпуклых фиолетовых глаз. Его слова можно было расценить, как шутливый экспромт, над которым он приглашал посмеяться, или как приглашение в сакральный заговор, из которого не возможно уйти.

— «Перекодирование мира», о котором намекал Потрошков, — с

той же легкомысленной улыбкой и непреклонным, ведающим взглядом, ответил Стрижайло. — невозможно без изменений в системе «Пространство-Время». После распада СССР мы потеряли пространство, но, парадоксальным образом, выиграли время. Необходимо конвертировать это стратегическое время в динамичное развитие, да так, чтобы великий Эйнштейн высунул свой собачий язык. Соединение принципов конституционной монархии и генной инженерии — в этом искусство политики.

Они пожали друг другу руки и разошлись, как заговорщики.

Стрижайло чувствовал на ладони обжигающий страстный ожог.

Волна голосований, как заря, накрывала районы Восточной Сибири. Красноярский край, по убеждению знатоков, был эталонным. Указывал, как будут выглядеть итоги по всей стране. Однако, на текущий момент «красноярский расклад» не соответствовал ожиданиям. То ли не учли миллион зэков, погибших во имя Потанина на строительстве «Норильскникеля», то ли действующий губернатор и главы районных администраций превратились в Красноярские столбы и не использовали до конца

административный ресурс, но итоги голосования нуждались в коррекции. К ней и приступил Черепов, сверкая из-под чалмы голубыми карбункулами. Приблизился к полковнику Шабалкину. Тот умоляюще лепетал языком, под который уходил электрод. Сжимал ягодицы, куда, извиваясь, углублялся передающий кабель:

— Не очень сильно, пожалуйста... — умолял Шабалкин.

— Хочешь стать генералом, терпи, — строго приказал Черепов. Грациозным движением бармена, наливающего в кружку темный «Гиннес», потянул медный рычаг. Шабалкин возопил, в его паху

возникла вольтова дуга, и запахло паленой шерстью. Черепов держал рычаг до тех пор, пока результаты голосования ни сравнялись с бриллиантовыми показателями на электронном табло. — Тебя же просили ничего не есть накануне голосования, — раздраженно произнес Черепов, воротя нос от несчастного полковника. Верный присяге, тот стоически выполнял роль проводника электричества.

Стрижайло в это время общался со спикером Совета Федерации. Толстощекий, страстный, щетинистый, он то и дело высовывал мокрый красный язык, что делало его похожим на терьера. Всем своим

собачьим видом он выражал преданность и обожание к Президенту, который подобрал бездомного зачумленного песика среди мусорных бачков, принес в дом, накормил, согрел, одел в модную собачью жилетку, сделав домашней собачонкой. В благодарность та захлебывалась от любви к благодетелю, грозно рычала на всякого, кто не разделял этой любви:

— Я так рад, что мы вместе, в одной команде. Мы должны теснее сплотиться вокруг нашего Президента. Это чудо, что в России, в этот трагический момент истории, появился наш Президент. Не устаю

любоваться им. Вы поймете меня, бывают такие моменты, когда он выступает перед Федеральным собранием, или на коллегии ФСБ, или на пресс-конференции, — мне хочется его лизнуть, куда-нибудь в шею, или за ухом. Не правда ли, вы испытываете нечто подобное?

— Мне знакомо это чувство, — соглашался Стрижайло. — Особенно, если я перед этим принял дозу «Виагры». — Это последнее заявление вызвало у спикера радостную реакцию, — быстрое высовывание красного языка, дрожание пухлых, заросших щетиной щек. Он был основатель немногочисленной, но

жизнелюбивой Партии «Виагры», члены которой брали от жизни все.

Коррекция результатов голосования продолжалась. Новосибирская область, населенная научной и технической интеллигенцией, неохотно поддерживала «партию власти», полагая, что та виновата в разгроме сибирской науки и производства, в результате чего в циклотронах поселились тараканы, а оборонные заводы, отданные под контроль ЦРУ, были остановлены на профилактику до конца XXI-го века. Карта региона напоминала пятнистый камуфляж. Черепов весело и осторожно работал с Шабалкиным, перемещая рычаг.

Шабалкин истошно орал, а Черепов ласково и укоризненно говорил:

— Не лю-у-бишь!.. — и давил на медный рычаг.

Банкир Пужалкин, в своем обычном облачении волжского купца-старообрядца, в костюме-тройке, с карманными часами «луковицей», шевелил окающими губами в окладистой бороде. Дружелюбно, как со своим, разговаривал со Стрижайло, покручивая ему пуговицу на пиджаке.

— Господь тебя одарит за твою богоугодную деятельность, а я, со своей стороны, окажу скромное и посильное даяние. Отпишу твоему

«Фонду» сто тысяч зеленых за труды по искоренению жидов и коммунистов. Без Бога — ничего, а с Богом — все и даже больше. Вот я давеча отлил для храма свечу толщиной с колонну Большого театра, так она в собор не влазит. Пришлось стену разбирать. Зато гореть будет целый год. А как ты думаешь? Все делаем, чтобы «свеча не погасла».

— Вам реквизиты «Фонда» сейчас передать? — поинтересовался Стрижайло.

— Зачем нам, милый, реквизиты. Мы не американцы поганые. Мы по-русски, по-божески, из полы в полу, — отвечивал

Пужалкин и полез в штаны, заправленные в сапоги «бутылками», доставать куль денег.

Шабалкин кричал, разбрасывая вокруг себя электрические разряды. Его пах светился, как высоковольтные изоляторы в грозу. Там потрескивало, мерцало. С проводов падали убитые током вороны. Черепов орудовал рычагом, внося исправления в симпатии и антипатии соотечественников, не всегда верно осуществлявших свой суверенный выбор. Тюмень фрондировала, ибо не все нефтяные олигархи слепо выполняли волю Администрации Президента. А Маковский и вовсе приказал

персоналу «Глюкоса» голосовать за Кандидата «Против Всех», который был выставлен на площади «Города счастья» в виде огромного чучела шамана, набитого мхом, с медвежьим черепом на груди и громадным бубном. За капризы и чудачества Маковского расплачивался верный офицер Шабалкин. Он кричал полярной совой, ревел оленем, завывал росوماхой, хлюпал осетром. Стрижайло со щемящей нежностью подумал о Соне Ки, которая микроскопической вспышкой была отмечена на электронной карте, напоминавшей своими пятнами цветущую тундру.

Стрижайло, окруженный

всеобщим вниманием, чувствовал себя превосходно. Это был его день, его праздник. Все признавали его заслуги, его превосходство. Два министра — Обороны и Иностранных дел, всегда неразлучные, не устававшие в узком кругу повторять, что война — есть продолжение политики, — старались хоть чем-то угодить Стрижайло.

— Не хотели бы вы присутствовать при распиливании российских стратегических бомбардировщиков и атомных подводных лодок, которое осуществляется в рамках американской программы «Российской армии — самое

современное оружие восемнадцатого века», — предлагал Министр Обороны, своей хромотой немного напоминая Геббельса. — Знаете, очень трогательное зрелище. Военные летчики и моряки рыдают, когда их великолепные машины разрезают автогеном и кладут под пресс. Некоторые кончают самоубийством. Иные сходят с ума. Но большинство охотно надевают кивера, берут мушкеты и поступают в Кремлевский полк. Лишь единицы переходят на службу в американскую армию, чтобы летать на бомбардировщиках Б-2 или плавать на лодках класса «Лос-Анджелес».

— А как у вас с предстательной

железой? — чуткий к чужим недугам, спрашивал Министр Иностранных дел. — Я узнал замечательное средство лечения. Индусы подарили мне экстракт из слоновьего кала. Его надо заваривать и пить перед завтраком, — хоть и не душист, но очень полезен. После этого следует раскалить плоский камень и сидеть на нем, преодолевая боль, прогревая больное место. Этому меня научили арабы. Затем хорошо ввести в задний проход небольшого размера анаконду, головой вперед, чтобы она осуществляла внутренний массаж железы, — так поступают в Бразилии. Затем пригласите на ночь

пять-шесть девушек, лучше из хороших семей, лучше таитянок. Они не позволяют застояться вашей простате. Но перед этим хорошо использовать стимулятор фирмы «Дженерал-моторс», с платиновой насадкой. Его мне подарили в Хьюстоне. Как поется в популярной песне: «Первым делом, первым делом стимулятор, ну а девушки, а девушки потом...»

Стрижайло был готов к галантному ответу, но в это время предсмертным криком возопил Шабалкин. Черепов тянул штурвал, доворачивая неповоротливый лайнер выборов на заданный курс.

Голосовали последние регионы

к западу от Урала. Энтузиазм выборов охватил Псковскую, Смоленскую и Тверскую области. Сообщения о незначительных нарушениях то и дело поступали в Центризбирком. В одной из деревень избирательную урну, у которой было выпилено дно, установили на льду реки над прорубью. Бюллетени пролетали урну, попадали в прорубь, и их уносило течением. В другой деревне избирателей встречал местный милиционер, отбирал паспорта и сам голосовал за всех односельчан, объясняя, что «так надо». Еще на одном участке местный плотник, не желая сорить на пол, кинул в урну непогашенный

окурок, отчего дотла сгорел весь участок, скотный двор, школа, контора местного самоуправления, десять домов деревни, соседнее село, часть райцентра, где, к счастью, никто не пострадал. Нарушений было много, но они не вызывали особых возражений у наблюдателей из Евросоюза. Кроме одного, когда вместо урны использовался еловый, обтянутый кумачом гроб, который, по окончании голосования, захоронили вместе со всеми бюллетенями и умершим ветераном войны. На могильном камне ветерана были выбиты такие слова: «Мной остановлены пруссы и готы, но меня доконали льготы».

Наконец, голосование было закончено. Ярче вспыхнуло бриллиантовое созвездие на электронном табло. Убедительно победила «партия власти». С огромным отставанием следовали поверженные коммунисты. Третье место заняли либерал-демократы. «Яблоко» и Союз Правых Сил набрали смехотворные проценты голосов, которые были еще уменьшены жестокосердным Череповым, надавившим медный рычаг, отчего Шабалкин взревел изюбрем и впал в кому. В тот же миг погасли разноцветные лампы и стробоскопы. Исчезла туша вяленного кенийского козла. Черепов

скинул облачение сарацина.
Пространство, напоминавшее
часовню, озарилось ослепительным
светом хрустальных люстр,
превращаясь в великолепный
банкетный зал. Можно было
праздновать победу.

Со слезами восторга все
принялись обниматься, покрывать
друг друга поцелуями счастья.
Спикер Совета Федерации рыдал
взахлеб, глядя на медальон с локоном
Президента. Оба министра —
Обороны и Иностранных дел, —
застыли в безмолвном многочасовом
поцелуе, начало которого засек
банкир Пужалкин, раскрыв
серебряную луковицу часов.

Политолог Петропавловский выщипывал у себя из ноздри волосок и пускал по ветру. Чебоксаров бил себя по щекам, стараясь сделать больно, и смеялся. Потрошков прижал к груди Стрижайло и произнес:

— Это ваша победа, мой друг. Самая важная после сорок пятого года!...

Повсюду стреляли пробки шампанского. Золотая влага кипела в бокалах. Столы под белыми скатертями ломились от яств, среди которых выделялись засахаренные красные звезды, снятые с кремлевских башен и залитые вишневым желе с марципанами.

Широко распахнулись двери, и под скрипки и виолончели «Виртуозов Москвы» в банкетный зал вошла вся фракция «Единой России». Четыре носильщика, — Грызлов, Пехтин, Володин и Олег Морозов, — подпирая плечами поручни, внесли огромный, бело-розовый торт. Остановились перед изумленным Стрижайло. Из торта поднялась вице-спикер Государственной Думы Слиска. На ее груди, как снег на ветках цветущей яблони, лежал сладкий крем. Она легонько стряхнула пышные хлопья и, стоя на одной ноге, как Дюймовочка, прочитала хвалебный стих:

*К моей груди прижала бы
Стрижайло бы.*

*Кто он, врагу вонзивший жало?
Он — Стрижайло!*

Спрыгнула с носилок. Обваляв Стрижайло кремом, побежала куда-то, оставляя на паркете следы автомобильных покрышек.

В банкетный зал впорхнуло множество полуобнаженных красавиц, которых делегировала «Фабрика звезд». Свежие, пылкие, целомудренные, они первым делом кинулись к полковнику Шабалкину, приводя его в чувство. Нежно, с поцелуями, вынимали у него из-под языка уже ненужный электрод.

Другие, пользуясь вазелином, извлекали из ягодиц обгорелые проводки. Третьи свинчивали медный рычаг, освобождая полковнику утомленные промежности, из которых торчал его многострадальный болт с полусорванной резьбой. Весталки покрывали изношенный болт прозрачными кремами и маслами, похлопывали шаловливыми ладошками. Подняли Шабалкина с доски. Подошедший Потрошков вручил ему генеральские погоны, прилепил клеем «Момент» прямо к голым плечам. Смешливые красавицы губной помадой рисовали ему лампасы от округлых бедер вдоль

полных, слегка кривоватых ног. Вознагражденный Шабалкин скашивал счастливые голубые глаза на плечо, стараясь разглядеть полевые генеральские погоны.

Стрижайло почувствовал, как кто-то нежно и крепко ухватил его за руки и понес вверх, к люстре, под лепной потолок, будто собирался живым вознести на небо. Это были две московские красавицы и светские львицы Дарья Лизун и балерина Колобкова. Обе мечтали танцевать со Стрижайло, обе шептали ему на ушко милые непристойности, обе напоминали о минутах сладчайших свиданий. Некоторое время они танцевали

втроем под потолком, как залетевшие из летнего сада белокрылые бабочки. Обе красавицы пахли нектаром, цветами, теми ароматами, какими благоухают клумбы в чертогах Святого Петра.

Их заставил приземлиться звук охотничьего рожка. Негромкий, призывный, он побудил все собрание расступиться, прижаться к стенам. Двери распахнулись, и вошел Президент Ва-Ва.

Тонкий, изящный, он казался утомленным и слегка растерянным. На бледном миловидном лице теплился слабый румянец. На тонких губах играла рассеянная улыбка. Нежно-голубые глаза блуждали по

сторонам до тех пор, пока ни усмотрели балерину Колобкову и Дарью Лизун. Его взгляд успокоился, — обе были верны ему. Бедра обоих украшали пояса целомудрия с золотыми замочками, а золотые ключики хранились в шкатулке Президента. С тех пор, как Стрижайло видел его на зеленом газоне Гайд-парка, где тот сражался с олигархом Верхарном, Президент не слишком изменился. Пожалуй, слегка возмужал, на щеках пробивался первый пушок. Он находился в том прелестном возрасте, когда отрок откладывает русские народные сказки и переходит к чтению Жюль Верна.

Потрошков взял Стрижайло за руку и подвел к Президенту Ва-Ва.

— Я хотел представить вам человека, таланту которого мы обязаны этой ослепительной победой. Полагаю, на предстоящем этапе борьбы, когда нам необходим абсолютный успех на президентских выборах, Михаил Львович Стрижайло не откажет нам в содействии.

Стрижайло в знак согласия и благоговения склонил голову. Президент был смущен, не находил, что сказать. Видимо, ему показалось странным, что от Стрижайло знакомо пахнет фиалками и гиацинтами, как и от его любимых

наперсниц. Помолчав, он произнес тихим голосом:

— Не кажется ли вам, что «Черный квадрат» Малевича напоминает бюджет Российской Федерации? — и пошел вдоль стен, у которых стояли придворные, — дамы присели в своих кринолинах, мужчины мели плюмажами пол, спикер Совета Федерации все высовывал красный язык, норовил лизнуть высокий каблук президентской туфли, шелковый бант на сиреневом узком камзоле.

А Стрижайло испытывал странную печаль, подобие сладкой меланхолии и мучительной нежности, — к Президенту Ва-Ва, ко

все еще голому генералу Шабалкину, к молоденьким дамам из «Фабрики звезд», которые тихонько прибрали для своих домашних коллекций почечный камень бразильского колдуна, лапку африканской лягушки, магнитный метеорит с вирусами неизвестных и неизлечимых заболеваний. Он знал, что кончается огромный период его жизни, страстный, греховный и творческий, и он стоит на пороге «иной жизни», которая манит его волшебными горизонтами. Выборы завершились, и он был совершенно свободен. Прощался с абсурдистским, но все еще привлекательным миром. Перед тем,

как его покинуть, решил посетить штабы политических партий и увидеть, как те переживают окончание выборов.

Штаб «Яблока» напоминал Имперскую канцелярию в мае 45-го года. Повсюду валялись пустые бутылки. Дымился и остывал пепел сожженных документов. Изможденная девица пыталась застрелиться из водяного пистолета. Охранники, до конца сохранявшие верность лидеру, теперь поспешно сбрасывали мундиры, переодевались в гражданское платье и тихо ускользали. Сам лидер отрешенно сидел за фортепьяно и наигрывал «собачий вальс», чем-то

напоминавший «Гибель богов» Вагнера. Кудрявый мальчик с лицом старика, он был раздавлен поражением. Перед ним на рояле стояла тарелка с надкусанной антоновкой, из ржавой сердцевины высовывался сочный червячок и самозабвенно слушал музыку. Тут же лежал арбалет с отравленной стрелой. Так покидают мир души честолюбивых неудачников. Перед тем, как попасть в Валгаллу, им предстоит пятьсот дней скитаться по пустыням российской политики, где их станут жалить скорпионы неутолимой зависти и тарантулы недостижимой мечты.

В штабе «Союза Правых Сил»

Стрижайло застал иную картину. Лидер, которого он помнил по лондонскому отелю «Дорчестер», где тот явился на «русской тропе», однорукий, с левым пустым рукавом, с гантелями в здоровой правой руке, — этот неунывающий жовиальный мужчина пил теперь душистый «Хенесси», держал на коленях худенькую японку, которая тонкой кистью рисовала на его щеке иероглиф вечного блаженства. Из левого рукава торчала абсолютно здоровая рука, а гантель из папьемаше догорала в камине. Он просматривал расписание авиарейсов на Канарские острова и время от времени принимал по

мобильнику поздравления друзей, — с удачным завершением политической карьеры, сделавшей его одним из самых богатых людей России.

В штабе либерал-демократов было много толстозадых девиц, десантников, подследственных бизнесменов, отпущенных под подписку о невыезде. Грохотала музыка, удушающе пахло одеколоном «Жириновский». На высоком насесте сидел огромный попугай какаду, стряхивал с хвоста свежий помет. То и дело расширял разноцветное оперение, щелкал загнутым клювом и, жутко грассируя, бранил коммунистов.

Печальнее всего было в штабе последних. Штаб размещался в доме престарелых, где в инвалидных колясках молча сидели пожилые пенсионеры с мертвенным лицами. Держали в руках календарики с портретом Дышлова и вкладывали в газету «Советская Россия». Дышлов с монотонным постоянством разбегался и страшно бился головой о стену, издавая тупой звук кувалды. На лбу его взбухла фиолетово-розовая шишка, но он не унимался и с машинным постоянством продолжал совершать свои жуткие упражнения. Стрижайло не мог на это смотреть и поспешил прочь из дома престарелых.

Приближаясь к Кремлю, видя, как водянисто переливаются в небе двуглавые морские коньки, он вдруг заметил на набережной Москва-реки медленно бредущего Сталина. Генералиссимус был понур, едва переставлял ноги. Ухватился за гранитный парапет. Одежда стала соскальзывать с него, как мокрая известка. Упали на асфальт шинель, парадный китель, фуражка, седые усы. Слезла скользкая маска лица, и вместо Сталина на набережной, на холодном ветру, стоял Семиженов, голый, с большим пупком и рахитичными ногами, которыми зябко семенил в темной луже.

Уже подходя к дому, в

замоскворецком переулке увидел Грибкова, который только что сменил обличье скарабея на человеческую внешность. Перед ним круглился большой мучнистый шар, стенки которого набухали и шевелились. Образовалась рваная трещина. Наружу высунулась, стала увеличиваться, росла белая жирная личинка, перетянутая кольцами хитина. Опиралась на хвост, который все еще находился в комке навоза. Голова же с клещевидными челюстями возвышалась над Грибковым, норовя укусить. Тот испуганно приседал, вжимал голову в плечи:

— Ты кто?.. Ты кто?.. —

вопрошал он чудовище.

На личинке разорвался хитин. Из него просунулось очаровательное бархатистое тельце, голова с темными стеклянными глазами, растворились огромные, смугло-коричневые крылья с голубыми и кремовыми пятнами. Огромная, великолепная бабочка траурница накрыла Грибкова шатром своих крыльев.

— Ты кто? Ты кто? — лепетал Грибков.

— Я — твоя смерть!.. Я — Рогозин!.. — ответила траурница.

Стрижайло вернулся домой, утомленно упал в кровать и заснул, ожидая на утро проснуться в «иной

ЖИЗНИ».

часть четвертая.
«Мельник»

глава двадцать пятая

Утром он проснулся с чувством освобождения, как после детской болезни с жаром, бредом, чудовищными кошмарами. Все это было позади, все сгинуло. Даже духи тьмы, угнездившиеся в его плоти, притихли, или вовсе покинули пещеру тела, улетучились бесшумным перепончатым роем. Он рассматривал карту Пскова, читал чудесные имена старинных порубежных городов — Гдов, Изборск, Порхов, от которых веяло кольчугами варяжских дружин, зелеными городищами и крепостями. Синее Псковское озеро соединялось

с Чудским и даже на карте казалось студеным, пенным у берегов, лазурным в сердцевине. Крохотные Толбенские острова, крупцы суши, были окружены синевой. К ним стремилась его душа. К ним звал неведомый старец. В них притаилась «иная жизнь», которую ему предстояло открыть. Стрижайло собирался немедленно ехать. Прикидывал, какие вещи он должен с собой прихватить. Какими припасами обзавестись, чтобы в канун зимы, очутившись на островах, не пропасть среди льдов и буранов, под раскаленными ночными небесами, где алмазно сверкают созвездия его новой судьбы.

Его отвлек звонок в дверь. На пороге стоял Веролей, мучительно улыбаясь, как если бы признавал всю неуместность своего появления, умолял о прощении:

— Без телефонного звонка... Столь бестактно... В сей ранний час... — лепетал он, и его бескровное лицо скопца, не ведавшее прикосновения бритвы, источало болезнетворное свечение, каким светятся ночные медузы и обрывки океанских водорослей. Стрижайло вдруг ощутил странный ожог, словно медуза коснулась его холодными, обжигающими щупальцами. Это был «поцелуй смерти», сигнал, прилетевший из бездонных глубин,

где обитает Демон Погибели, вестником которого был Веролей. И мелкие демоны, поселившиеся в душе Стрижайло, разом проснулись, раздули шерстяные бока, растворили черные немигающие глаза. — Мне велено вас пригласить... Машина внизу...

Стрижайло и не пытался возражать. Был парализован вестью из черной сердцевины земли, которой принадлежала его душа. Послушно стал собираться.

У подъезда стоял «мерседес», похожий на черную раковину, отражавшую переливы неба, разноцветные фасады, проблески проезжавших машин. В душистом

полутемном салоне его ждал Потрошков. Он был в модной, молодежного покроя куртке, его грудь закрывало пышное шелковое жабо, в котором тонул подбородок, — загадочное чувствовалище, с помощью которого Потрошков управлял мирозданием.

— Вы сказали, что после выборов я буду свободен, — подавлено произнес Стрижайло.

— Работа сделает вас свободным, — усмехнулся Потрошков.

— Вы сказали, что после выборов я смогу уехать.

— Я в вас нуждаюсь. Кроме вас мне не на кого опереться.

— Я очень устал, — отрешенно сказал Стрижайло, действительно испытывая опустошенность.

— А разве я выгляжу отдохнувшим? Разве те, кто посвятил себя Государству Российскому, могут сейчас отдыхать?

— Я уеду, — безнадежно сказал Стрижайло.

— Я вас не держу. Просто приглашаю на прогулку. Хочу вам кое-что показать.

— Я утомлен впечатлениями.

— Там, куда мы едем, находится близкое вам существо.

— У меня нет близких существ. К счастью, я абсолютно одинок.

— Это не так. Обещаю встречу с

очень дорогим для вас существом...
Поезжай, — приказал Потрошков
водителю, — В супермаркет...

Они промчались через город, где
все еще висели агитационные
плакаты и лозунги. Кое-где на
фасадах виднелись беглые,
начертанные спреями надписи:
«Единая Россия» — иуды». «КПРФ
— козлы». «Жирик — жид».
««Яблоко» — жопошники». «СПС —
пидеры». С рекламных щитов
смотрели жизнеутверждающие
физиономии партийных лидеров,
большинство их которых истлевало в
мусорном баке истории. Пересекли
Кольцевую дорогу, и за обочиной
запузырились фантастические

сооружения, напоминавшие
огромные легкие, возбужденные
гениталии, наполненные воздухом
кишки, пульсирующее сердце. Это
были знаменитые магазины
Потрошкова, громадные
супермаркеты, где Стрижайло
пережил озарение, и ему открылся
проект, непосильный для обыденного
разумения, — плод гениального
прозрения, ниспосланного
божеством. Теперь проект был
реализован, и архитектура
дирижаблей, «летающих тарелок» и
надувных «даблоидов» вызывала в
нем угнетающие воспоминания,
чувство разочарования и вины.

— По-моему, вы здесь были

однажды. Не волнуйтесь, я не предлагаю вам дешевую распродажу устаревших унитазов, вышедших из моды автомобилей или гробов с кондиционером и трехразовым питанием, — сказал Потрошков, когда «мерседес» остановился перед порталом, напоминавшем растворенное женское лоно. Над ним вздувался голубой живот беременной великанши. Выше круглились набрякшие соком груди. И повсюду, — на плавных вздутиях, складках, телесных углублениях виднелись таинственные знаки, загадочные иероглифы, фантастические руны, в которых скрывался сакральный смысл. —

Супермаркет — лишь видимость нашей деятельности, маскирующая сущность, которая находится на нижних горизонтах строения, — сверхсекретная биологическая лаборатория ФСБ, куда имею честь вас пригласить.

Стрижайло испытал болезненное возбуждение. Словно попал в тревожащее поле, в котором затрепетали его живые молекулы, напряглись и удлинились клетки, и все биологические процессы стали происходить интенсивнее и иначе, подвергаясь принудительному воздействию поля.

Они вошли в супермаркет, в просторный объем, наполненный

шелестом кондиционеров,
душистыми и теплыми ветерками,
мягким рассеянным светом, где все
казалось искусственным,
лабораторным, синтезированным.
Двигались эскалаторы, тихими
звонами привлекали внимание
рекламные объявления, трепетали
разноцветные табло, оповещавшие о
новых марках автомобилей, скутеров,
снегоходов. Стрижайло устремился,
было, на эскалатор в ту часть
торгового центра, где еще недавно
его взор пленяли сиреневые и
золотистые «бентли», находился
античный амфитеатр, где
концентрическими полукружьями,
словно сенаторы в Совете

Федерации, размещались унитазы всех форм и расцветок, а погребальный отдел изумлял обилием гробов, столь комфортных, с такими системами жизнеобеспечения, что верилось в существование загробной жизни с ее проблемами комфортного жилья. Однако Потрошков направил его в противоположную сторону, к отдаленной стене, сплошь испещренной письменами, как загадочный манускрипт. У стены стояла охрана, — дюжие молодцы с разбухшими от пистолетов подмышками, спиральками проводов на толстых загривках, торчащими из кулаков усатыми рациями. При их

приближении стена бесшумно
раздвинулась, и они оказались в
холле с лифтами, один из которых
раскрылся, пустил в свою
зеркальную кабину.

— Вам часто приходится
слышать, что нынешняя власть не
видит перспективы развития,
отказалась от планов, не имеет
стратегии. Погружена в
сиюминутные нужды и
бессмысленные перманентные
«реформы», напоминая
«перманентную революцию»
Троцкого, — произнес Потрошков,
нажимая светящуюся кнопку, после
чего лифт стал стремительно и
невесомо падать, рождая

головокружение, как при падении с небоскреба. — Еще говорят, что у нынешней России нет «национальной идеи», что мы не строим космические корабли, океанские авианосцы, города в Заполярье. Сейчас вы увидите, в чем состоит стратегическое развитие России и ее «национальная идея». Добро пожаловать в русское будущее, — пока он произносил эту тираду, лифт, казалось, достиг центра земли и остановился с торможением, при котором кровь отхлынула от мозга и возникло легкое помрачение, уже не оставлявшее Стрижайло. — Добро пожаловать в секретную

лабораторию ФСБ.

Они очутились в длинном, уходящем вдаль коридоре, столь протяженным, что его завершение выглядело, как тонкая светящаяся щель. Источники света отсутствовали, отовсюду исходило ровное мертвенно-алюминиевое свечение, будто светились стены, пол, потолок, и это усиливало головокружение. Вдоль коридора с обеих сторон возникал ряд дверей, без ручек, с набором кодов, идентификаторами личности, сверяющими сетчатку глаза, тембр голоса, отпечатки пальцев. Пахло озоном, как в больницах, где установлены ультрафиолетовые

генераторы. Но иногда сквозь свежесть альпийских лугов прорывался запах мочи, парной плоти, терпкой спермы, и эти запахи пугали Стрижайло.

Внезапно одна из дверей распахнулась. Из нее вышел человек в белом халате и медицинской шапочке. Стрижайло с изумлением узнал художника Тишкова, чьи картины висели у него дома.

Но вместо кисти у художника в руках был пинцет, в котором пламенел лепесток влажной плоти, а вместо художественной блузы грудь его закрывал клеенчатый фартук с брызгами крови.

— Взгляните, — он поднес

пинцет к глазам Потрошкова. —
Замечательный результат.
Синтезирована девственная плевра.
Из лепестка розы и яйцеклетки
балерины Колобковой. Можно
наладить массовое производство и
поставлять в магазины «Все для
свадьбы» и в «Салоны для
новобрачных». — Тишков поцеловал
целомудренно светящийся лоскуток
и снова скрылся в дверях.

— Мы привлекаем для работы в
лаборатории известных художников,
поэтов, музыкантов, — сказал
Потрошков. — Молекулярные
сочетания подобны рифмам, нотам,
цветовым гаммам. Люди искусства
своими прозрениями открывают путь

биологам и генетикам.

Стрижайло чувствовал, как возбужден его «геном», — та его часть, что представлена алой спиралью. Винтообразно вращается, сочно краснеет, будто невидимое поле, витавшее в стенах лаборатории, питает молекулы возбуждающей силой.

Потрошков остановился у одной из дверей. Приблизил к оптическому опознавателю расширенный, с фиолетовым блеском и красными сосудиками глаз. Тихо щелкнул замок, двери раздвинулись. Они оказались в просторной кафельной комнате, где стояли деревянные стеллажи, сплошь уставленные

стеклянными банками. Банки были
окрыжены осциллографами,
мониторами, датчиками,
самописцами. Множество гибких
трубок и проводков погружалось в
банки, наполненные нежно-
золотистым раствором, сквозь
который пролетали цепочки
серебристых пузырьков. Проводки и
трубки создавали целые заросли, как
в аквариуме, и в этих зарослях,
наподобие странных морских
существ трепетали, вздрагивали,
исходили легкими судорогами ломти
живой плоти. То, что она живая,
подтверждалось сочностью
субстанции, тончайшими
переливами, телесной дрожью,

выделением пузырьков. Но пластика и формы этих образований были строго геометрическими, воспроизводили образы стереометрии, — кубики и призмы, эллипсоиды и сферы, цилиндры и параболоиды, а также различные сочетания перечисленных фигур, что напоминало коллекцию наглядных пособий в кабинете начертательной геометрии.

— Это эксперименты по выращиванию абстрактной биомассы. Каждая из этих фигур — суть ломтики коровьего, козьего, куриного, рыбьего мяса, добываемые не из реальной коровы, курицы или рыбы, а через биологический синтез.

Если снять фонограмму молекулярных биений того или иного фрагмента, легко можно угадать его прообраз в мире животных, — Потрошков приблизился к одной из банок, где колыхался золотистый ломоть в форме тетраэдра. Включил монитор, на котором забегало множество разноцветных гармоник. Направил их в синтезатор, пустил звук. В стерильной, кафельной лаборатории раздался горластый крик петуха, какой несется по утрам с деревенских дворов, когда на забор вскакивает яростная, золотистая птица, оповещающая окрестность о своей любовной победе.

Стрижайло слышал, как

трепещет его собственная плоть, распадается на отдельные кубики, параболоиды, тетраэдры, как если бы из нее нарезали фигурки супового набора. И от этого было страшно и сладостно.

Перед входом в другое помещение Потрошков тоном терпеливого экскурсовода, стараясь быть предельно понятным, пояснял Стрижайло:

— Здесь группа молодых генетиков поставила весьма дерзкий эксперимент по воскрешению динозавров. Видите ли, они полагают, что эволюция видов — это великая драматургия природы, несравненная режиссура Господа

Бога. Поэтому в существующие животные виды был привнесён генетический материал наиболее известных современных режиссёров и драматургов, чтобы они совершили толчок в генетических цепочках природы, и обратная волна эволюции вынесла на поверхность исчезнувших динозавров.

С этими словами Потрошков приложил к датчику растопыренную пятерню. Отпечаток всех пяти пальцев привёл в движение запор, и дверь растворилась. То, что открылось глазам Стрижайло, повергло его в ужас. Комната напоминала «живой уголок», где были собраны фантастические

химеры. Пахло так, как пахнет в зоопарке, в птичнике, на звероферме.

В большой, подвешенной к потолку клетке, на насесте сидело существо, — наполовину ворон, наполовину режиссер Марк Захаров. Безволосая голова, характерный загнутый нос, угрюмый взгляд круглых мерцающих глаз, — все это принадлежало режиссеру, но туловище с прижатыми черными крыльями, перистый, испачканный пометом хвост, крепкие когтистые лапы, впившиеся в насест, — все это было от ворона. Человеко-птица ненавидяще смотрела на вошедших, напрягала сильные ноги, распушила перья, отчего клетка слегка

покачивалась, а вместе с ней
покачивалась растерзанная и
наполовину склеванная тушка мыши.

Стрижайло стало не по себе. Его
плоть содрогнулась, словно по ней
пробежала синусоида
электрического тока. Это была волна
эволюции, толкнувшая вспять
генетическую память клеток, и они
последовательно пробежали всю
шкалу превращений, открытую
некогда Дарвиным. И явилась
догадка, что Дарвин во время
кругосветного путешествия на
«Бигле» попал на остров химер, где
ему и открылась великая
драматургия природы.

Тут же на полу была сооружена

собачья будка, из которой тянулась цепь, крепилась к ошейнику, а тот, в свою очередь, был застегнут на горле второй химеры. Круглая, улыбающаяся, с оттопыренными ушами голова режиссера Табакова была посажена на туловище гончего пса, гладкошерстое, рыжее, с мускулистыми лапами и чутким, вьющимся хвостом. Существо не тяготилось своей двойственностью. Собаке, проникшей в человеческую природу режиссера Табакова, было комфортно, как комфортно было режиссеру Табакову передать часть своей личности энергичному гончему псу. Страстность, нетерпение, предвкушение погони,

ожидание властного окрика и охотничьего рожка, который затрубит в осенних, пронизанных пургой перелесках, и гончая, вывалив жаркий язык, оглашая поля заливистым лаем, помчится по чернотропу, настигая верткого, обезумевшего от ужаса зайца.

Стрижайло чувствовал, как перекачивается волна эволюции, и его сущность скользит по ней, как на виндсерфинге, перелетая с вершины на вершину, и он на мгновение становится то домашним котом, то американским бизоном, то нарядной рыбкой в коралловом рифе, то болезнетворной бактерией. Наблюдавший за ним Потрошков мог

остановить волну, закрепить его на том или ином эволюционном отрезке. Поместить в оболочку животной твари, сохранив при этом самосознание человека. Он испытал сострадание к режиссеру-собаке. Хотел, было, погладить. Но гончак перестал улыбаться, заворчал и оскалил зубы, решив, что Стрижайло посягает на обглоданную до белизны, лежащую перед будкой кость.

Чуть поодаль размещался большой, наполненный аквариум. На дне был речной песок. Из декоративного каменного грота вылетали серебряные пузыри, насыщая воду кислородом. Зеленые водоросли валлиснерии струились к

поверхности. В аквариуме плавала странная рыба, голова которой принадлежала режиссеру Галине Волчек, а туловище, сразу за голыми женскими грудями, было покрыто чешуей, снабжено розоватыми плавниками и раздвоенным упругим хвостом. Водяная химера плавала в тесном аквариуме. Внезапно изгибала тело, ударялась чешуей о каменный грот, — видно ее беспокоили водяные паразиты. Подплывала к стеклу, пялила на Стрижайло выпуклые тупые глаза, беззвучно шевелила губастым ртом, словно репетировала сцену из спектакле в театре «Современник». При этом за ушами у нее

раскрывались красные жабры и выскакивали пузыри.

Стрижайло ужаснул вид человека-рыбы. Не потому, что этот гибрид женщины и карася был страшен сам по себе. Но оттого, что здесь, в этом аквариуме, окончательно рушилась иллюзия о свободе личности и «гражданском обществе». Генетики ФСБ изобрели ужасные формы подавления, когда фрондирующая личность помещалась не в тюрьму, не в концлагерь, где за ней сохранялись минимальные права числиться человеком, — но заключалась в гигантскую темницу пройденных эволюционных отрезков, в казематы

эволюционного прошлого, где человек вновь становился пескарем, стрекозой или лишайником. Плавающая в аквариуме Волчек была замурована в толщу эволюции, откуда не было выхода. Но она не признавала драмы случившегося. Репетировала какую-то пьеску. Стрижайло захотелось окунуть руку в аквариум, тронуть ее голубоватые груди, чтобы узнать, сохранила ли она теплокровность, или же, подобно рыбам, имеет температуру среды обитания. Подавил в себе невольное желание. Видел, как опрокинулась автокормушка, из нее в аквариум посыпались розовые червячки. Волчек подплыла. Широко раскрыв

рот, стала глотать червячков.

По соседству на металлическом подносе был насыпан перегной, валялись гнилушки, пахло тленом и сыростью. Возвышался небольшого размера, гнилой пенек, какие во множестве встречаются в мокрых лесах. На пеньке был выращен гриб. Ножка гриба, погруженная в прелую древесину, блеклая и кривая, тянула кислые соки. Шляпка, перепончатая, напоминавшая воротники средневековых испанских дам, была покрыта едва заметной ядовитой росой. Над воротником шевелилась, хлопала глазами голова театрального режиссера Райкина-младшего. Стрижайло сразу узнал его по

щербатому рту, изможденному лицу, синеватым теням на бескровных щеках. Режиссер переживал муки творчества. В нем созревали споры, — мельчайшей пудрой покрывали перепонки шляпки, хрящевидные уши, влажную, лысеющую голову. Было видно, что созревание требует от гибрида всех духовных и физических сил. Он извивался, пробовал шутить, копировал своего знаменитого отца — родоначальника современных юмористов и комиков. Стрижайло понимал, что видит перед собой не каприз научной фантазии, не генетическую шутку ученого, а опытный образец оружия нового

типа. Созревшие споры с помощью ветра, или насекомых, или специальных контейнеров-спороносителей будут рассеяны в атмосфере, перенесутся через океаны и континенты и превратятся в бесчисленных юмористов и хохмачей, вызывающих у населения планеты судороги и колики смеха. Превратят человечество в хохочущую, одуревшую от смеха массу. В таком, непрерывно хохочущем человечестве остановится развитие, заглохнут мыслительные процессы, исчезнут достижения науки и культуры, и люди в течение одного поколения превратятся в дебилов и вырожденцев. Эта «смехотронная

бомба» развяжет войны нового поколения, где тысячи крохотные, синхронно сюсюкающих Жванецких и миллионы безостановочно говорящих Задорновых подорвут основы цивилизации. Вид гриба был устрашающ. Стрижайло подумал, что следует немедленно подготовить доклад в ООН о запрете этого оружия массового поражения, заключить между странами договор о его нераспространении. Но что тогда случится с баснословными гонорарами халтурщиков из передачи «Аншлаг»? Над этим предстояло думать и думать.

— Вы не утомились? —
заботливо поинтересовался

Потрошков. — Обычно возле этого гриба меня охватывает сонливость. Быть может, экстракт этой поганки мы используем в качестве снотворного. Уже ведутся переговоры с Брынцаловым.

— Я не устал, — отозвался Стрижайло, понимая, что любезность Потрошкова мнимая. Экспозиция гибридов должна травмировать психику, обезоружить и парализовать волю, после чего будет предпринято мощное психическое воздействие.

Его внимание привлекла большая цветочная кадка, наполненная влажной землей, из которой произрастало африканское

дерево с косматым стволом, похожим на мохнатую медвежью лапу. Шерстяной ствол был пропитан сыростью, из него тянулся сочный темно-зеленый стебель с дивным, нежно-фиолетовым цветком орхидеи. Растение-паразит сосало из дерева соки, питалось чужой плотью. Чашечка цветка сладко благоухала, нежно дурманила, пленяла ненатуральной изнеженной красотой. Из этой чашечки, окруженная тычинками, выступали голова режиссера Виктюка, розовая шея, полные плечи, взволнованно жестикулирующие руки. Полуцветок, получеловек, неспособный самостоятельно добывать

питательные соки земли, он тянул их из чужого древесного тела, перерабатывая в эфемерную красоту. Стрижайло с мучительным любопытством наблюдал его телодвижения, жеманную мимику, всплески небольших изящных рук. Цветок-гомосексуалист действовал на него завораживающее. Затягивал в свое пленительное извращение. Стрижайло казалось, что он, вдыхая аромат орхидеи, начинает менять пол. У него растут груди, исчезает в паху обременительный отросток. Пугаясь, он провел ладонью в промежности, убеждаясь, что все на месте. Но болезненное воздействие продолжалось. Он менял

сексуальную ориентацию, до такой степени, что захотелось наброситься на Потрошкова, резко нагнуть, чтобы была видна поясница и пухлые ягодицы, и грубо, по-тюремному «опустить», как поступают уголовники в камере. С усилием преодолел наваждение. «Ни за что!», — приказывал он себе, спеша прочь от цветка-извращенца.

Однако, то, что он увидел, не принесло облегчения. Драматург Радзинский, рыжий, крашеный хной, с лицом, похожим на кожаный чулок, хохотал, скалил зубы, дико подвывал, исходил мелкими судорогами и смешками. Пугал революцией, возвратом большевизма,

доказывал злой абсурд русской истории. Но при этом имел только верхнюю половину туловища. Чуть ниже пупка туловище обрывалось, и возникала абсолютная пустота. Было неясно, на какой биологической основе развился гибрид.

— Не удивляйтесь, — угадал его недоумение Потрошков. — Этот, по-своему замечательный тип выращен на основе микроорганизма, то ли амебы, то ли инфузории-туфельки. Наведите микроскоп чуть ниже его пупка, и вы увидите материнский организм.

Стрижайло отказался от микроскопа, любезно протянутого Потрошковым. Ему было страшно. А

что, если этим микроорганизмом является спора «сибирской язвы»? Что если именно из Радзинского изготавливают порошок белого цвета и в конвертах отправляют в Госдепартамент США? Что если этот слегка истерический, но, в общем, безобидный театрал является порождением Аль-Каиды? А если так, то как соотносятся Потрошков и Бен Ладен? Все эти вопросы были ужасны, требовали разрешения, но мало было одной интуиции, нужна была доказательная база.

— Нет, нет, — успокаивал его Потрошков. — Религиозным терроризмом здесь не пахнет. Просто мы хотим воскресить исчезнувший

вид динозавра, и все это не более, чем приближение к заветной цели... Посмотрите сюда...

Стрижайло повернул голову и увидел большой стеклянный террариум. За стеклом были разложены валуны, осколки кремня. Сверху светила обогревающая лампа, создавая в террариуме ровный жар. На этом искусственном солнцепеке лежало огромное окаменелое яйцо динозавра, белое, гладкое, с прилипшими частицами древних пород. Стрижайло увидел, как по белой оболочке яйца пробежала неровная трещина. Выломался фрагмент, как откалывается от стены штукатурка. Сквозь неровную дыру, в

густой слизи, протолкнулась седая голова режиссера Любимова, утомленная, с тяжелыми веками, складчатой стариковской кожей. Опираясь локтем о край скорлупы, он пытался вылезти наружу, как вылезают провалившиеся в канализационный люк бомжи. Это стило ему громадных усилий. Зоб тяжело дышал. На губах вздувался болезненный пузырь. Птенец доисторической рептилии вылезал из яйца, воскрешенный через тысячи лет после вселенской катастрофы, возвращая мир во времена, когда в гигантских хвощах и папоротниках, среди горячих болот раскрывало зубатую пасть безобразное

чешуйчатое чудище, оглашало леса диким хрипом и скрежетом. Режиссер Любимов напрягал локоть, но скорлупа под локтем обломилась, и он рухнул вглубь яйца и затих, не имея достаточных сил вытащить бронированное тело и длинный чешуйчатый хвост.

Стрижайло вдруг стало дурно. Зловонье террариума, гнилостный запах птенца заставил содрогаться желудок. Он беспомощно прислонился к кафельной стене.

— Вам дурно? Воды? — обеспокоился Потрошков. —
Пойдемте отсюда. Это всего лишь малая часть лаборатории.

Они опять оказались в

бесконечном коридоре, в матовом свете, среди запечатанных дверей. За ними мучалась живая материя, в которую вторгался своевольный человеческий разум, играя на клавиатуре природы легкомысленный диксиленд, отчего содрогалось сотворенное Богом мироздание.

— Теперь вы видите, на что направлены наши усилия, — говорил Потрошков, прогуливаясь со Стрижайло по коридору. — Это требует колоссальных затрат. Негодяи упрекают ФСБ в том, что мы перехватываем собственность олигархов и присваиваем ее. Но это злобредная ложь. Каждая капля

нефти, отнятая у олигарха, каждый, вырванный из цепких олигархических лапок алмаз идут на содержание лаборатории. Мы остро нуждаемся в средствах. Кстати, о чем вам поведал старый шаман на Оби, перед тем, как уйти в Долину Мертвых Рыб?

Стрижайло вдруг догадался, что цель этой пугающей прогулки в том, чтобы добыть у него сокровенный пергамент, где старый кудесник нарисовал карту озера Серульпо, обозначил месторождения «черного молока», передал подземные кладовые белому человеку по кличке «Желудок нерпы», кем являлся Потрошков. Он был готов передать

Потрошкову скобленную оленью шкуру с рисунком, начертанным кровью росوماхи. И тогда наступит долгожданная свобода, Потрошков отпустит его, перестанет преследовать.

— Я готов передать пергамент. Этим документом подтверждается ваше право на владение тундрой в среднем течении Оби с месторождениями нефти, которая отказана в пользу компании «Зюганнефтегаз». Я почти подготовил доклад, в котором Маковский обвиняется в подделке документов, лжесвидетельстве, в соращении несовершеннолетней девушки по имени Соня Ки, в

производстве наркотиков на маковой основе и распространении их среди коренных народов тундры. А также в массовых убийствах, совершаемых в «Городе счастья», что является по отношению к беззащитным туземцам вторым холокостом. Кроме того, я почти подготовил мюзикл, который расскажет обо всем этом общественности языком музыки и танца. Я готов немедленно передать пергамент, в ближайшие дни опубликовать в Интернете доклад и осуществить премьеру мюзикла в Большом театре на новой сцене, — Стрижайло говорил все это быстро, страстно, поглядывая с опаской на высокие двери, ожидая, что одна из

них раскроется, и художник Тишков схватит его и повлечет на операционный стол, где ему вскроют живот.

— То, что вы говорите, мой друг, очень важно, — благосклонно произнес Потрошков. — Я буду вам благодарен за ваше усердие. Но главное, зачем я вас сюда пригласил, состоит совершенно в ином.

Они приблизились к дверям, перед которыми стояла охрана. Офицеры ФСБ, облаченные в стерильно-белые комбинезоны, с короткоствольными автоматами, с приборами ночного видения на лбу, на случай, если погаснет свет.

Потрошков произвел операцию идентификации, — приблизил к окуляру немигающий глаз, приложил к пластине растопыренную пятерню,дохнул в металлическую трубку, определяющую химический состав выдоха. Двери раскрылись, и они со Стрижайло шагнули под высокие своды зала, напоминавшего церковь. Бело-голубые, как мартовский снег, стены. Странные архаичные изображения, среди которых угадывался Христос, апостолы, распятие, дерево, символы древних христиан, — рыба, копье, чаша. В овальных нишах были начертаны те же загадочные значки и иероглифы, что испещряли фасад супермаркета.

Посреди зала простирался деревянный помост, на котором возвышались высокие прозрачные сосуды, наполненные золотистым раствором. В каждом, озаренный светом, окруженный проводами и трубками, находился орган человеческого тела, розовый, живой, пронизанный кровеносными сосудами, дышащий. Это зрелище расчлененной человеческой плоти, где каждая часть существовала отдельно, не нуждаясь в другой, слабо пульсировала, совершала обмен веществ, впрыскивала на экран монитора синусоиды и импульсы, казалось, о чем-то думала, что-то переживала, — это

фантастическое зрелище испугало Стрижайло.

— Вы правы, это выглядит устрашающе, как всякая великая истина, если с ней сталкиваешься впервые. Выдающийся генный инженер Тишков, когда его впервые посетило прозрение и ему удалось из заусеницы на большом пальце вырастить всю руку, включая плечо и ключицу, он едва ни сошел с ума. Только занятия живописью, его знаменитые «даблоиды», позволили ему восстановить душевное равновесие, хотя многие из посетителей его выставок сошли с ума, — так говорил Потрошков, проводя Стрижайло по священному

залу, останавливаясь перед тем или иным сосудом и при этом неторопливо повествуя.

— Эта лаборатория имеет давнюю историю, быть может, столь же давнюю, как и история христианства. Хотя современный, строго научный отрезок исчисляется тремя десятками лет. Все началось во время «Шестидневной войны» на Ближнем Востоке. Как вы знаете, полк советских истребителей прикрывал небо над Каиром, и на всем пространстве над Суэцким каналом и Синаем шли интенсивные воздушные бои с переменным успехом и немалым количеством жертв. Однажды над Синайской

пустыней израильский «Мираж» сбил наш «Миг-17», летчик катапультировался, а машин упала на раскаленные камни Синая и сгорела. Евреи засекли место падения летчика и направили мобильную группу для его пленения. Пилот, майор ВВС, скрывался в горах, умирал от жажды, видел близко от себя колесящие патрули евреев и, спасаясь от них, укрылся в незаметной расщелине. Вначале она казалась обыкновенным углублением, но потом ход под землю расширился, и летчик оказался в просторной пещере с подземным пресным ручьем. Это позволило ему скрываться в подземелье несколько

дней, пока окрестности ни покинула израильская поисковая группа. Питаясь сухим пайком, осматривая с помощью карманного фонаря стены подземелья, он обнаружил, что они испещрены знаками и наскальными рисунками, а в складках и нишах стен находятся пергаментные свитки и глиняные дощечки с какими-то рисунками и схемами. Будучи любознательным человеком, имея много свободного времени, он скопировал некоторые из этих изображений, взял из каменной ниши один из свитков и пронес их на себе через пустыню, переплыл Суэцкий канал, пока ни попал на передовые позиции египтян. В

Москве, в Управлении Генерального штаба, он показал свои зарисовки и кусок пергамента со странными значками. Опытные офицеры разведки заинтересовались находками, отдали манускрипт на расшифровку...

Потрошков подвел Стрижайло к стеклянному сосуду, где в растворе слабо колыхался человеческий желудок, напоминая розоватого моллюска, дремлющего в океанских течениях. Обрезки пищевода, начало кишечника, складчатая мускулатура, перевитая голубыми и красными сосудами, — все было живым, трепетало, направляло в датчики и золотые, вживленные клеммы

множество электрических сигналов, которые разноцветными синусоидами и мгновенными всплесками летели по экрану монитора. Стрижайло, приблизившись к сосуду, ощутил сжатие в животе, несильную желудочную колику. Будто его желудок вступил в контакт с экземпляром, что плавал в стеклянной колбе. Два желудка узнали друг друга, обменивались сигналами, о чем-то говорили друг с другом. Стрижайло изумлялся этой способности органа жить самостоятельной жизнью, минуя его, Стрижайло, волю и разум. У желудка было самосознание, он был

личностью. Общался с другой, подобной себе личностью, обмениваясь переживаниями и мыслями.

— Я испытываю то же, что и вы, — произнес Потрошков, прижимая ладонь к животу. — И знаете, что интересно и что до сих пор не находит своего объяснения? Если электронные сигналы желудка перевести в музыкальный ряд, то мы услышим музыку одной из знаменитых мировых опер. Желудок поет, обладает великолепным бельканто, — Потрошков повернул регулятор света, направив на плавающий желудок пучок золотистых лучей. Включил

синтезатор. Из динамика донеслись величественные звуки оркестра и грозные звучания оперы Вагнера «Тангейзер».

«Так вот, что означают беспокоящие нас урчания, столь неприятные для постороннего слуха! — изумленно думал Стрижайло. — На самом деле, это высокая музыка, и нужно лишь услышать ее чутким слухом. Теперь понятно выражение, когда об истинном таланте говорят, что он пишет «нутром». «Нутряная музыка» — это и есть «музыка сфер», услышанная гением среди неразборчивых урчаний своей возбужденной утробы...»

Они шли дальше, и Потрошков продолжал повествование:

— Добытые летчиком находки, — странные рисунки, значки, клочок пергамента, — попали в КГБ, где над ними трудились лингвисты, гебраисты, специалисты по наскальным изображениям. Стало понятно, что значки являют собой криптограмму, тайнопись, на дешифровку которой были брошены лучшие силы шифровальщиков внешней разведки. Невероятными усилиями, благодаря гению шифровальщиков старой школы, которые раскрыли коды германских подводных лодок Второй мировой войны, удалось частично

раскрыть содержание манускрипта. Это был отрывок древнееврейского текста, в котором говорилось о «втором христианстве», о «тайном знании Иуды Искарота», творящем круговорот органов живой плоти, превращающем глаз в пяту, а язык в плодоносящий член. В рисунках и схемах манускрипта были обнаружены модели длинных молекул, из которых изымались частицы, соответствующие современному понятию «ген». Что позволяло создать из одной овцы целое овечье стадо, из одного воина — целое войско, из камня — хлеб, из воды — вино. Приводились приемы магических упражнений и

вещественных смещений, что на современном языке означает трансмутацию, трансформацию видов, метемпсихозу, когда становится возможным воскрешать мертвых, вселять в стадо свиней злых духов, ходить по морю, как по суше, совершать зачатие без участия мужчины. Эта частичная расшифровка показалась аналитикам разведки столь важной, что они заявили руководству о необходимости добыть из пещеры другие манускрипты и заняться тщательным изучением текстов. Так возникла идея направить на Синай секретную экспедицию КГБ, состоящую из боевого подразделения, археолога,

антрополога, богослова Загорской духовной академии и художника, тогда еще сравнительно молодого карикатуриста Бориса Ефимова...

Теперь они приблизились к сосуду, где помещалась человеческая печень, гладко-черная, глазированная, с перламутровым отливом, с нежным вздрагиванием сочных тканей. Стрижайло почувствовал в правом боку толчок, будто его собственная печень дрогнула и затрепетала, обнаружив «брата по разуму», единове́рца. Стремилась вырваться из оболочки плоти, чтобы оказаться с близким существом, исповедоваться, говорить без умолку. Поведать тайну

одинокое существование в каземате
тела, где суверенные,
свободолюбивые сущности завязаны
в одно мучительное нерасчленимое
целое. Лишены свободного
существования в мире, откуда были
изъяты, помещены в тюремную
камеру. Та печень, что существовала
свободно, в стеклянном сосуде, звала
к себе другую, плененную. Обе они,
вырвавшись на свободу, переливаясь
темными глазированными боками,
как два морских котика, станут
резвиться в бескрайнем океане
жизни.

— Если вам угодно послушать
музыку печени, извольте, —
Потрошков осветил печень

красноватым волнующим светом. Включил синтезатор, и под белыми сводами зала зазвучал энергичный «Полет шмеля» из оперы Римского-Корсакова «Сказка о царе Салтане». Стрижайло слышал, как его собственная печень подыгрывает из утробы, создавая едва ощутимую жужжащую вибрацию.

— Секретная экспедиция КГБ высадилась на Синае, — продолжал Потрошков, убавляя звук шмелиных крыльев. — Надо было обнаружить пещеру по неточным приметам, составленным героическим летчиком. Они блуждали по безводью, с грузом снаряжения и боеприпасов. На второй день у

карикатуриста Бориса Ефимова
случилась «болезнь
путешественника», и он не мог идти.
Разрываемый на части, он корчился
на камнях, умоляя офицера: «Убейте
меня... Не могу идти...» Но офицер
приказал товарищам нести на руках
несчастного, дурно пахнущего
карикатуриста, ибо в пещере надо
было скопировать наскальные
рисунки, чем-то напоминающие
шаржи Кукрыниксов. Дело
осложнилось тем, что израильтяне
снарядили такую же экспедицию и
тоже искали пещеру, — видно из
отдела КГБ произошла утечка, или
там находился внедренный агент
«МОССАДа». Дважды группы

сталкивались в скоротечных боях, желая истребить одна другую. Внезапно наш отряд, отрываясь от преследования, набрел на пещеру. Заминировали подходы, выставили охранение, спустились под землю. Надо было торопиться. Карикатурист Борис Ефимов, все еще страдая животом, делал копии рисунков. Археолог извлекал из каменных ниш пергаментные свитки, обрабатывал специальным скрепляющим раствором, упаковывал в мешок. Антрополог обнаружил в дальнем углу пещеры скелет человека, рядом каменную чернильницу, бронзовую палочку для письма. Сделал обмеры, взял пробы костной муки. Пора было

уходить. Когда поднялись на поверхность, завязался бой с израильской группой. Гремели пулеметы, взрывались гранаты, израильтяне по рации вызвали самолет, и «Симбад» пикировал на пещеру, поливая залегших разведчиков из пулеметов и пушек. Спасла темнота. Под сверкающими звездами библейской пустыни наша группа просочилась сквозь окружение, предварительно взорвав пещеру, чтобы израильтянам не досталась тайна подземелья. Опережая события, скажу, что командиру группы было присвоено звание Героя Советского Союза, а лингвиста, разгадавшего тайну

текста, наградили Ленинской премией, и то, и другое, разумеется, в закрытом варианте...

Теперь они проходили мимо реторты, где, окруженное трубками, разноцветными проводками, оплетенное тончайшими нитями, пульсировало тяжелое красное сердце. Казалось, оно мерно качается в гамаке, исполненное сладостной сонной неги. Алая трубочка, погруженная в мясистую ткань, неплотно вживленная, иногда давала течь, и в прозрачно-маслянистый раствор, окружавший орган, впрыскивалась кудрявая красная струйка, держалась мгновение и таяла. Стрижайло почувствовал

ужасное сердцебиение. Его собственное сердце готово было выпрыгнуть из груди. Рвалось навстречу своему подобию, не ведавшему рабского заточения в черной катакомбе грудной клетки. Охваченное прочными ребрами, погруженное в вечную тьму, божественный, любвеобильный орган, предназначенный для чистого созерцания, мистического богопознания, был обречен биться о стены, хлюпать в отвратительной сырости, изнывая в непосильных рабских трудах, как поэт Мандельштам, брошенный в казематы НКВД.

— Когда мне бывает печально, я

прихожу сюда и слушаю музыку сердца, — произнес Потрошков. Повернул регулятор, и под белыми сводами, обладавшими великолепной акустикой, зазвучала «Волшебная флейта» Моцарта. Потрошков мечтательно закрыл глаза, упиваясь счастливой музыкой.

— Шифровальщики КГБ работали над привезенными свитками, — продолжал рассказ Потрошков. — Шифр был столь хитроумным, что предполагал у того, кто засекретил тексты, знание тензорного анализа, а ведь тексты писались две тысячи лет назад. Наконец, титаническая работа ученых была закончена, и все были

поражены результатом. Перед ними было свидетельство о Христе, написанное Иудой Искаротом, — «Евангелие от Иуды», как его нарекли аналитики. Оно начиналось словами, напоминавшими рев боевой трубы и сладкозвучное пение флейты: «Я, Иуда Искарот, любимейший и вернейший из апостолов, свидетельствую заблудшему в любоддеяниях миру истину, дарованную мне в Гефсиманском саду через сладчайший поцелуй Господа нашего Иисуса Христа. Лобзаю этим Иисусовым поцелуем всех сынов Божиих и весь тварный богосозданный мир, возвращая ему

первородную чистоту и безгрешность...» Далее следовал рассказ, который поражал воображение богословов КГБ и получил в их кругу наименование «Второе христианство», — закрытое вероучение, запечатанное две тысячи лет в синайской пещере и открытое миру в тот час, когда это стало насущным для мира, что и подтверждает промыслительный характер истории...

Внимая фантастическому повествованию, Стрижайло усваивал его изумленным разумом. Но внушение, которому он подвергался, охватывало не только ум, но и все существо, любую клетку и молекулу.

Таинственное поле, в котором он пребывал, заставляло каждую живую частицу, каждое кровяное тельце или пульсирующую корпускулу воспринимать и усваивать внушаемое Потрошковым знание. Словно в каждой частице и клеточке был свой ум, свое отдельное самосознание, и весь его организм становился вместилищем огромной, внушаемой извне мысли.

Они стояли перед сосудом, где находился человеческий мозг. Складчатые, белесые сгустки были похожи на серый ком пластилина, в котором пестрели красные прожилки, голубые и фиолетовые пупырышки, золотистые пленки.

Складки мозга были таковы, что напоминали плотно свернувшегося змея, подтверждая библейское суждение, что ум человеческий — источник искушений, гордыни, злокозненных помышлений, — всего того, чем был характерен змей-соблазнитель.

Стрижайло почувствовал, как под черепом набрякла, напружинила мускулы свернувшаяся анаконда. Оба мозга что-то страстно прошипели друг другу. Так встречаются в краткие минуты свидания осужденный преступник и тот, что находится на свободе, — пришел навестить в тюрьму незадачливого сотоварища.

— Трагедия разума в том, что он

берет на себя мыслительные функции, отказывая в них печени, сердцу, берцовой кости, роговому веществу волоска или ногтя. Помните, как в Красноярске, в подземном атомном городе вы отождествили себя с волоском Иосифа Виссарионовича Сталина? Такое случается, но люди отказываются в это верить. Мозг трагичен. Встречаясь с непознаваемым, обречен на крушение. Вопиет об этом, — Потрошков включил синтезатор, и стены лаборатории огласил душераздирающий вопль. Голос Шаляпина, с придыханием и истерическим стоном, исполнял

арию царя из оперы Мусоргского «Борис Годунов»: «Я царь еще!.. И не было пощады!.. Страшная рана зияет!..»

— «Евангелие от Иуды» содержало в себе удивительное повествование, ошеломляющее учение. В нем были общеизвестные, из четырех канонических евангелий, сведения, — о непорочном зачатии и рождении Иисуса Христа, об искушении Христа в пустыне, о Нагорной проповеди и десяти евангельских заповедях, о чудесах, творимых Христом, о въезде в Иерусалим и о Тайной Вечере, с последующим Распятием и Воскрешением. Однако было и

абсолютно иное. Оказывается, Иуда Искарот был любимым учеником Иоанна Крестителя и от него узнал о явившемся в мир Мессии. Когда Иоанн был схвачен Иродом и брошен в темницу, Иуда совершил попытку освобождения любимого учителя, но тот отказался покидать темницу. Сказал, что будет обезглавлен, и просил Иуду украсть у палачей его отрубленную голову. Когда Иродиада принудила танцевать перед Иродом свою обнаженную дочь Саломею, за что получила от проклятого царя голову Иоанна Крестителя, Иуда украл мертвую голову, скрылся с ней в окрестностях Иерусалима и пять дней провел наедине с головой.

Голова святого пророка повелела ученику искать Иисуса, ибо тот ждет его во исполнение божественного замысла. Голова научила Иуду тайнописи, к которой тот прибегнет, получив от Иисуса сокровенное знание. Иуда похоронил голову в старом колодце и явился к Иисусу, который приблизил его к себе, как никого. Только ему одному Иисус открыл тайну непорочного зачатия и роль архангела Гавриила. Только ему объяснял принцип превращения камня в хлеб, воды в вино, воскрешения Лазаря, изгнания бесов из человека и перенесения их в поганую плоть свиньи. На Тайной Вечере Иисус, глядя на учеников

своих, сказал: «Все вы любимы, но один возлюбленный. Ему передам великую тайну, и будет он наречен «Передаватель»». В канонических евангелиях, стараниями позднейших церковных цензоров, эти слова переиначены и переведены, как «Предатель». В Гефсиманском саду, перед тем, как воины схватили Иисуса, он призвал к себе Иуду и поцеловал его. Во время краткого поцелуя, среди ночных кипарисов и благоухающих цветов, передал ему сокровенное знание и велел спастись. Иуда, скорбя, что не сможет проводить Учителя в последний, крестный путь, повиновался и исчез. Он распустил

слух о своем самоубийстве, указал дерево, на котором, якобы, совершил повешение. Но когда люди явились к этому «иудиному дереву», они не нашли ни мертвеца, ни веревки, а только прикрепленную к стволу записку: «Исчезаю, чтобы явиться». Вот он и явился через две тысячи лет нашим разведчикам, нашедшим в синайской пещере скелет Иуды, тайные пергаменты и инструменты, коими были начертанные криптограммы и рисунки на стенах, где томящийся в укрытии евангелист старался воспроизвести сцены земной жизни Христа...

Они продолжали кружить по лаборатории, переходя от сосуда к

сосуду, где жили самодостаточные органы, вкушая свободу, позволявшую напрямую, минуя остальной организм, общаться с Божеством. Потрошков задержался перед банкой, в которой, похожая на боксерскую перчатку, содержалась женская матка. Мощный эластичный мускул нежно розовел, пропитанный алым соком, чувственно удлинялся и сокращался. Хотелось просунуть в него руку, ощутить теплую замшевую ткань внутри. Стрижайло испытал легкое головокружение, как если бы падал вниз на качелях. Внизу живота, в груди, в затылке возникло сладостное недомогание. Таким образом откликнулись на матку его

рудиментарные женские
признаки, — недоразвитые соски,
ущербно невыявленные гениталии,
участок мозга, который у мужчины
дремлет, а у женщины находится в
постоянном возбуждении и нацелен
на поиск самца. На экране монитора
плескались разноцветные
синусоиды, — то почти замирали, то
пускались в неистовый танец.
Потрошков прибавил в банке
освещение, пустил громкость, и
Стрижайло услышал страстное
меццо-сопрано, исполнявшее арию
Кармен из знаменитой оперы Бизе:
«У любви, как у пташки, крылья, ее
нельзя никак поймать...» Так
упоительно пела матка, и оставалось

понять, каким образом подслушал напев великий композитор, к какому месту своей возлюбленной он приложил чуткое ухо.

— Иудино учение состояло в следующем, — продолжал Потрошков, убавляя свет в сосуде и убирая громкость, — «Десять библейских заповедей», явленных Моисею и проповедуемых Иисусом, а также «заповеди блаженства», изреченные Христом в Нагорной проповеди, удерживали человечество от самоубийства благодаря Христовой очистительной жертве, на которой основалось христианство, — смягчало нравы, вносило в животную сущность людей просветленный

образ Неба. Однако, к концу второго тысячелетия нашей эры, то есть, к нашим с вами дням, мистический свет Христа Распятого стал ослабевать, улетучиваться, возвращая человечество в состояние животного помрачения, похотливого жестокосердия. Две Мировые войны, ужасы тоталитарных режимов, глобальная цивилизация денег, языческий культ наслаждений, аморальное потребление говорят о том, что христианство завершает свой исторический путь, — грядет Конец Света, сокрушение греховного мира. Но Иуда предостерегает нас не воспринимать Апокалипсис, как окончание земной истории, а лишь

той ее части, что связана с христианством. С «Первым христианством», — уточняет он. Вслед за «Первым христианством» наступает «Второе христианство». Начинает осуществляться тайное учение Христа, которым он наградил в Гефсиманском саду любимого ученика, припав к нему устами. Это учение — о возможности человечества избавляться от грехов не с помощью молитвенного стояния и мучительного, всегда неполного самоусовершенствования, но методом генного конструирования, искусственного сотворения богоподобного безгреховного человека. Другими словами, Христос

наделяет человечество функциями самосототворения, отдавая ему тот инструмент, которым доселе пользовался только сам Бог. Именно это «Второе христианство» легло в основу генной инженерии. Превратило ее из биологической науки в метафизическое учение, в продолжение великой религии, берущей начало от Христа. Кстати, первым биоинженером был архангел Гавриил. Он явился деве Марии с цветком дивной розы, коснулся девы и осуществил «непорочное зачатие»...

Стрижайло казалось, что в него закладывают громадные плиты. Тесанные, как при строительстве

пирамиды, бруски. Один на другой, все выше. К остроконечной вершине, устремленной в бесцветное небо, где пылает безымянное слепое пятно. Так входило в него сокровенное знание. Не в разум, а во все существо. Не, как мысль, а как всеобъемлющий дух. Вместилищем знания становилась всякая клетка, словно крохотная живая скрижаль, несла в себе новые заповеди.

Теперь в сосуде плавали легкие, которые были похожи на кружевную материю, источавшую бесчисленное множество пузырьков. У Стрижайло перехватило дух. Он вдруг стал задыхаться. Ибо его дыхательная система на мгновение перестала

работать и вся отдалась общению со своим подобием в банке. И в этом удушье мелькнула мысль, — а что если его собственная двойственность, «явная» и «неявная» жизни, два «гена», алый и синий, один — свирепый и яростный, другой — смиренно-печальный, подтверждают учение о «Первом» и «Втором» христианстве. О возможности преображении. О преодолении греховной субстанции через генное конструирование. Он приведен сюда Потрошковым, чтобы лечь на операционный стол к художнику Тишкову, и тот тончайшей иглой умертвит порочный «ген», даст волю добру и свету.

— Вы правы, художник Тишков, которого в миру знают, как автора «даблоидов», на деле является членом-корреспондентом Академии медицинских наук и ведет в лаборатории тематику «непорочного зачатия», — Потрошков прочитал его мысли. Попадая в невидимое поле, они считывались и переносились на экран множеством разноцветных гармоник, словно кто-то ткал половик, вплетал красочные волокна. — Послушаем, какие мелодии звучат в легочной системе, выращенной на ткани пенициллиновой плесени в космическом пространстве, еще на приснопамятной станции «Мир».

Легкое касание пальцев, и зазвучала слезная, трагическая ария горбуна из оперы Верди «Риголетто». Стрижайло услышал, как слабо заклокотали его легкие, подхватывая мелодию, и некоторое время под сводами звучал дуэт.

— Рисунки и схемы, воспроизведенные карикатуристом Борисом Ефимовым и выделенные из священных текстов двухтысячелетней давности, являются изображениями «длинных молекул» с участками, которые следует удалить, чтобы избавиться от того или иного «греховного гена», — Потрошков отвел Стрижайло от сосуда с легкими, которые продолжали

беззвучно, в виде разноцветных гармоник, исполнять знаменитую арию. — Если мы хотим исполнить заповедь: «Не убий», мы должны удалить у человека ген, побуждающий к убийству. Если желаем соблюсти заповедь: «Не укради», вычленим частицу, делающую человека вором. Выстригая из молекулы ген похоти, добиваемся исполнения заповеди: «Не прелюбы сотвори», и человек перестает развратничать. «Не сотвори себе кумира» — избавляемся от гена стяжания, идолопоклонства, честолюбия, неумного творчества, и человек обретает духовную прозрачность, слышит голоса

ангелов. Такие опыты стали производиться в секретной лаборатории КГБ еще во времена Андропова, и есть версия, что преждевременная смерть Юрия Владимировича стала результатом неудачного эксперимента, когда из его почки попытались удалить «ген», мешающий соблюдать заповедь: «Аз есмь Господь Бог твой: да не будут тебе бози инии, разве Мене». Кстати, были и удачные эксперименты. Так, например, у карикатуриста Бориса Ефимова был удален ген старения, и талантливый график может жить теперь до двухсот семи лет, с последующим пролонгированием. Среди генетиков его зовут

«Иммортель», или по-русски:
«Бессмертник»...

Стрижайло почувствовал, как больно набухло в штанах. Как напряглись промежности, вытесняемые наружу жаркой тревожащей силой. Понял причину обременительного возбуждения. В сосуде, перед которым он оказался, был помещен мужской член во всем агрессивном великолепии. В состоянии, которое было описано Пушкиным в «Гаврилиаде». С сочными семенниками, набухшим упитанным телом, увенчанный перламутровой шляпкой, он был похож на указующий перст. Видимо так выглядели придорожные знаки

весной 45-го года, указывающие победоносным советским войскам путь на Берлин.

— Послушаем, что нам споет этот Элвис Пресли, — Потрошков привычным жестом повернул регуляторы света и звука. Сосуд наполнился разноцветными вспышками, молниями лазерных лучей, какие бывают на сценах рок-фестивалей. Вместо ожидаемой старомодной арии грохнул яростный рок-н-ролл «Вива Лас-Вегас». Банка с раствором вскипела от могучих прыжков, которые сопровождались ударами гитары о сцену, поломкой микрофона и свирепыми конвульсиями красавца-великана.

Стрижайло казалось, что ему в штаны запрыгнул неистовый жеребец, встает на дыбы и ржет. Нужно было поскорей покинуть опасное место, дабы обезумивший мустанг ни унес его в бескрайние прерии. Потрошков не препятствовал, вывел его из лаборатории в коридор, где Стрижайло мог облегченно вздохнуть.

— Теперь, когда ваша психика получила закалку, а разум воспринял основы вероучения, я перейду к завершающей фазе нашего разговора, — Потрошков вел Стрижайло по бесконечному белому коридору, который является душе,

только что покинувшей тело. Стрижайло не мог понять, умер ли он и теперь переселяется в Долину Мертвых Рыб по белесой тундре, или ему еще предстоит умереть, чтобы еще раз оказаться на берегу огромной реки, где поджидает его незабвенная Соня Ки. — Помните, в первое наше знакомство в гольф-клубе «Морской конек» я упомянул о «Плане России». О грандиозном проекте, имеющем целью переиначить государственное устройство России, весь ее социум, весь вектор ее развития, намекал на биоинженерные основы «Плана», на новую идеологию и национальную идею. Национальная идея России воспроизводит великие прозрения

славянофилов, утверждавших, что Второе Пришествие состоится в России. Оно действительно здесь состоится, но не в виде Огненного Христа, ступающего по испепеленному миру, а в виде «Второго христианства», о котором упомянуто в свитках. Национальная идея России состоит в создании совершенного человечества методами генной инженерии, путем вытравливания из человека генов греха и порока. Лаборатория, которую я вам показал, занята этой работой. Уже сконструирована новая национальная элита взамен прогнившей и коррумпированной. Все эти органы, которые вы только

что видели, — суть представители
новой элиты, безгрешной,
светоносной, музыкально-
возвышенной, преданной Родине и ее
Государю. Государь, освобожденный
от обременительных функций
обычного человека, лишенный
органов, примитивно-
функциональных форм, являет собой
образец телесного и духовного
совершенства. Он, родоначальник
новой династии, венценосец новой
монархии, создан усилиями генных
инженеров на основе яичек бабочки-
аполлона и генных клеток, добытых
из костной муки апостола Иуды. Вы
— первый из посторонних, кого я
впускаю в эти двери...

Потрошков остановился у входа, перед которым выстроился взвод автоматчиков. Произведя идентификацию зрачка, отпечатков пальцев, газового состава дыхания, он, помимо этого, сделал экспресс-анализ крови, измерил температуру тела, произнес несколько слов для звукового тестирования и ответил «детектору лжи» на несколько вопросов из русской истории. Двери раскрылись, и они оказались в тронном зале.

Пространство повторяло собой интерьер кремлевского дворца, выполненного по эскизам художника Ильи Глазунова. Среди имперской геральдики, в золоченых рамах

висели портреты Великих Князей, Царей, Императоров, занимавших на протяжении веков русский престол. Суров и величественен был Василий Третий. Темен и угрюм Иван Грозный. Просветлен и сосредоточен Алексей Михайлович. Яростен и пылок Петр Великий. Благодушна и величава Екатерина Вторая. Надменен и презрителен Павел. Строг и сух Николай Первый. Спокоен и тверд Александр Третий. Смирнен и кроток Николай Второй. Посреди зала возвышался золоченый трон под пологом из меха горноста. На троне, укрепленный шелковыми лентами, стоял просторный хрустальный сосуд, наполненный

бесцветным раствором, в котором плавал шар. Возвышался над поверхностью на одну треть, другие две трети утопали в растворе. Нежно-жемчужный, мягко дышащий, шал слабо пульсировал, колыхался, как поплавок. Был похож на огромную икринку, в которой протекало таинственное созревание.

Стрижайло, как только вошел, ощутил исходящее от шара излучение. Оно было теплым, нежным и ласковым. Несло в себе некую весть, безмолвное слово привета. Приглашение к собеседованию, к рассмотрению великих вопросов. К исследованию проблем мироздания и совершенного

мироустройства, государственного строения и народного уклада, где забота о подданных, радение о их благополучии не должны заслонять заботу об их просвещении, о нацеливание их душ в познание высших смыслов и богооткровенных истин.

Все это испытал Стрижайло так, как если бы шар обнял его, поместил в свою сердцевину, и оттуда открылись безграничные просторы Вселенной, стали доступны все, добытые человечеством знания, все этические и религиозные истины от древности до наших дней.

— Его Величество находится в возрасте цесаревича, и его регентом

является Президент Ва-Ва. Он был хорошим регентом, разделял философию «просвещенного абсолютизма», был готов к передаче власти. Однако в последний год с ним случились нежелательные перемены. Под воздействием ли членов «восьмерки», или в результате властных инстинктов, он раздумал в ближайшее время осуществить переход России к монархии. Усомнился в вероучении «Второго христианства». Дошел до того, что поставил под сомнение переводы священных манускриптов и существование евангелиста Иуды. Это создает громадные проблемы. Ставит под угрозу «План России».

Угрожает существованию лаборатории. Я обращаюсь к вам, гениальному политологу, мастеру великолепных импровизаций, чтобы вы помогли вернуть Президента Ва-Ва к прежним воззрениям. Если он не способен вернуться, то следует ослабить его на предстоящих президентских выборах настолько, чтобы он не смог препятствовать реализации «Плана». Или же вовсе ушел с политической сцены России...

Шар слабо колыхался в хрустальном сосуде. От него исходило благодушие и веселая игривость. Он был дитя, не достигшее совершеннолетия. Ему

было в пору резвиться, проказничать в теремных покоях, перелистывать книжки с картинками из русской истории. А ему уже сулили государственные труды и заботы, попечение об огромном заблудшем народе, отказавшемся от веры прадедов, дедов, отцов, пребывающем на распутье истории. Стрижайло все это чувствовал, испытывал к шару сострадание, как, быть может, испытывал бы его к несчастному царевичу Дмитрию, играющему в неведении на лужайках старого Углича. Или к царевичу Алексею, гуляющему на дворе губернаторского дома в Тобольске. И такая жалость, печаль, такое

нежелание пускаться в придворные заговоры и дворцовые перевороты овладели Стрижайло, что он, очнувшись от оцепенения, воскликнул:

— Никогда!.. Я выполнил все обязательства!.. Я чист перед вами!.. Вы мне обещали свободу!.. Дайте мне ее, или можете передать меня художнику Тишкову, — пусть извлечет мои органы для своих отвратительных опытов!..

— Я знал, что вы станете отказываться, — произнес Потрошков. — Не буду настаивать. Но прежде, чем вы скажете последнее слово, я покажу вам еще одно помещение... — он уводил

Стрижайло из тронного зала. Августейший шар мягко дышал ему вслед. Был похож на полную летнюю луну. У Стрижайло возник странный соблазн подойти и мягко ткнуть шар пальцем, чтобы ощутить упругую оболочку.

Они вошли еще в одну комнату, меньше прежних. В ней стоял деревянный верстак, высилась стеклянная банка. В мутноватом растворе слабо шевелилась прозрачная оболочка, напоминавшая виниловый пакет. Внутрь пакета проникали проводки, трубочки, в которых медленно двигались пузырьки, сочились алые, фиолетовые, желтоватые растворы.

Окруженный проводками и трубками, в пакете плавал человеческий эмбрион. Большая лобастая голова, выпуклые закрытые веки. Крохотные уши, носик, губы. Ножки и ручки скрючены, прижаты к животу, куда прикреплялась синяя пуповина. Отчетливо выделялись набухшие яички с крохотной пипеткой. Эмбрион жил, совершал обмен веществ, наращивал вещество щуплого, голубовато-розового тела.

— Что это? — спросил Стрижайло, пугливо вглядываясь в недоразвитый плод.

— Это ваш сын.

— Что вы сказали?

— Видите ли, — пояснил

Потрошков, — тогда, в гольф-клубе «Морской конек», вы пили шампанское, которое разносили официанты. На пустом бокале остались следы ваших губ и небольшое количество вашего генетического вещества, достаточное для биологического синтеза. В качестве базовой клетки была взята икринка палтуса, в нее был внедрен ваш «ген», и вот уже пять месяцев, как развивается эмбрион. Развитие идет нормально. Мальчик обещает быть здоровым и крепким. Вам пора подыскивать имя.

Стрижайло потрясенно взирал на эмбрион, который приходился ему сыном. Испытывал изумление, страх,

отвращение. И одновременно — пугливое влечение, мучительную нежность, нежданное чувство отцовства. Не любив никогда ни единой женщины, не помышляя о семье, рассматривая женщин единственно, как предмет наслаждений, как сорную яму, куда сбрасывал мусор истерических состояний, дурную энергию израсходованных мыслей и чувств, он вдруг ощутил возможность стать отцом. Иметь подле себя родное беззащитное существо, которому сможет передать все огромное богатство мыслей и чувств, ощутить бескорыстную любовь, бесконечное обожание.

Он тянулся к стеклянной банке, где в целлофановом пакете, созревал его сын, его Павел, — так почему-то нарек его Стрижайло, обнаружив в крохотном носике, выпуклых губках, точеных ушках черты фамильного сходство, свое подобие, свою драгоценную копию.

— Предлагаю вам договор, — произнес Потрошков. — Вы соглашаетесь мне помочь. Ведете под моим руководством предвыборную президентскую компанию, и при ее окончании я передаю вам сынишку Пашу. Биологи обеспечат нормальные роды и послеродовой уход. Если же нет, — я немедленно отключу питание, и ребенок

погибнет в чреве матери. Ибо прозрачный пакет, который вы видите, — это разросшаяся оболочка икринки палтуса.

«Значит, моя жена — палтус? — отрешенно подумал Стрижайло. — Но разве это имеет значение, если мой сын, мой Паша, находится в руках этого изощренного злодея? Разве я могу пожертвовать жизнью беззащитного крохотного существа, в котором течет моя кровь, пусть и смешанная с рыбьим жиром?»

Он с ужасом видел, как рука Потрошкова тянется к проводкам. Готова их оборвать, после чего прекратится колыхание эмбриона, движение капель в трубке, слабые

сотрясения крохотного сердца.

— Вы согласны? — повторил Потрошков.

— Да... — слабо пролепетал Стрижайло.

— Вот и умница, хороший мальчик, — мягко засмеялся Потрошков, убирая руку.

Они покинули комнату, очутились в коридоре. Два дюжих санитаров в белых халатах и шапочках вели под руки юную деву. Закрыв глаза, босоногая и прекрасная, с распущенными волосами, она была облачена в ночную сорочку. Ее нежные белые руки были схвачены санитарями. Сонно, вяло переступала, как лунатик по краю

крыши. Открылась дверь, и деву увели в одну из лабораторных комнат.

— Вы можете несколько дней отдохнуть, — сказал Потрошков. — Потом можете заняться Маковским. Опубликуйте разоблачительный доклад, сыграйте мюзикл. Позднее, когда приблизятся президентские выборы, мы с вами встретимся и обсудим стратегию.

Стрижайло услышал в отдаленном конце коридора нарастающий гул. Обернулся, — по коридору, бурно вращая крыльями, в золотистом плаще, с развеянными черными волосами, мчался архангел Гавриил. Держал в руках восхитительную алую розу.

Пронесся, не касаясь пола, обдавая
вихрем открытого Космоса,
распространяя сладостные ароматы
рая. Остановился перед помещением,
куда увели сонную деву. Ринулся и
исчез сквозь стену.

глава двадцать шестая

Сознание Стрижайло было потрясено. Казалось, он начитался ужасных сказок, насмотрелся жутких фантастических фильмов, нагляделся устрашающих снов, и они не исчезали, он жил в этих снах. Перемещался по Москве, двигался по улицам и площадям, не избавляясь от мысли, что под этими площадями и улицами проложен бесконечный коридор, существуют бесчисленные залы и комнаты, где расставлены прозрачные сосуды. Подобно ужасным плодам, созревают органы человеческого тела, — дышат легкие, булькают почки и печень,

содрогаются в конвульсиях желудок и сердце, и при этом поют арии из опер. На золоченом троне, под горностаевым балдахином, мягко светится шар, — он же Государь всея Руси, дофин, цесаревич, кому уготовано царствование.

Еще большее впечатление произвело на него учение о «Втором христианстве». Оно выглядело, как гигантский проект, рассчитанный на несколько тысяч лет, заложенный в историю человечества самим Господом Богом, который и был единственно-великим политологом. Определял ход времен, разыгрывал бесконечную смену сценариев, где менялись исторические и культурные

эпохи, философские и этические системы, — неуклонно двигали человечество в predetermined направлении. И от этого захватывало дух. Он, мастер политехнологий, казался себе исполнителем божественного замысла, пророком, через которого Бог являет миру свою провиденциальную волю, соучастником Бога в его историческом творчестве.

Облученный в подzemелье таинственным полем, испытав перед стеклянными банками сотрясение всех своих органов и телесных частичек, он пребывал в непреходящем возбуждении. Его молекулы продолжали бушевать,

вскипали, сталкивались друг с другом в противоборстве. Словно в организме шла война, одна его часть восстала на другую. Было ощущение, что в нем боролись две личности, два «гена», и это каким-то образом было связано с учением о «Втором христианстве». Возникла еретическая мысль о том, что в нем жили одновременно две души, — одна тянула его в погибель, а другая тщетно стремилась в рай.

И среди этих фантастических, ужасных и сладостных переживаний, одно наполняло его острой болью, слезной жалостью и любовью, чувством беспомощности и ущербной зависимости, — его сын,

взращаемый в целлофановой матке, эмбрион, зародившийся из икринки палтуса и его, Стрижайло, генетической частицы. Его созревающее отцовство дарило ему незнакомые прежде чувства, переливы тончайших состояний, где ошеломляюще звучали такие слова и понятия, как «семья», «брак», «наследник». Все его действия зависели теперь от этого беспомощного, безгласного, но такого любимого существа, чей выпуклый лоб, крохотный носик, сжатые кулачки и скрюченные ножки повторяли его, Стрижайло, черты, формы его сильного, чувственного тела. И хотелось тот час отправиться

в «Рамстор», в рыбный отдел, чтобы увидеть ту, которая подарила ему сына, и которую он должен отныне считать своей женой и подругой.

В громадном продовольственном магазине продавались не просто продукты питания, не столько белки, жиры и углеводы, сколько разнообразные, бесчисленные в своих оттенках вкусовые впечатления. Изысканные гастрономы, изучавшие раздражители слизистых оболочек рта, нервные окончания гортани, сладострастные трепеты языка и губ, предлагали покупателям мясо рыб и животных, изделия из муки и овощей, напитки, подливы и соусы

таким образом, чтобы каждый продукт создавал неповторимое вкусовое ощущение, непередаваемое гастрономическое вожделение. Этих впечатлений было столько, что, будучи переведенные в музыкальные образы, они складывались в грандиозную симфонию Шостаковича, не написанную, а лишь замышленную, — «Двенадцатую, гастрономическую».

Войдя в магазин, проходя сквозь вереницы серебристых тележек, в которых покупатели толкали к кассам «оргазмы желудка», Стрижайло поспешил в рыбный отдел, где надеялся найти ту единственную, которая являлась ему

женой.

Рыбный отдел дышал женственностью и той таинственной напряженной страстью, с какой невеста ожидает появления жениха. Среди мелкого влажного льда, усыпанные кристаллическим блеском, лежали семги, огромные, серебряные, как зеркала, с белыми мягкими животами, изумленными золотыми глазами. Царственно-прекрасные, пленительно-обнаженные, напоминали русских цариц, как их рисовали Боровиковский и Левицкий, — пышные груди, обнаженная шея, величественная осанка, нега лица. Хотелось припасть губами к этой

белизне, к влекущей нагоде, усыпанной бриллиантами, выступающей из парчовых корсетов. Но Стрижайло оставался к ним равнодушен. Не было среди них той единственной, которая подарила ему сына.

Тут же выставляли напоказ свою блистательную, чуть холодную красоту пятнистые кумжи, изящные форели, надменные белуги. Породистые красавицы, утонченные в интригах. Придворные фрейлины, ненасытные в сладострастии. Светские львицы, мстительные в любви. Они смотрели на Стрижайло жадными, играющими глазами. Их совершенные формы, призывные

декольте, обнаженные запястья, выступающие из корсетов соски влекли и кружили голову. Но Стрижайло лишь бегло оглядел их великолепный строй, не находя среди них своей избранницы, посланной ему судьбой.

Треска холодного копчения, изящно перетянутая в талии воощенной тесьмой, отливала смуглой бронзой, как мулатка в «бикини» под солнцем Карибов. Ставрида, иссиня-лиловая, в вороненом доспехе, была похожа на амазонку, чьи прелести прикрывала тончайшая сталь, крепкие бедра стискивали разгоряченные конские бока, яростные ягодицы месили конский круп, а развеянные кудри

плескали в потоках яростной битвы, где смерть является продолжением любви, а удар копья вызывает предсмертный стон сладострастия. Они взирали на Стрижайло нетерпеливо и вожаденно. Глаза, туманные от яростной поволоки, выдавали в них мазохисток. Но Стрижайло были неприятны эти откровенные знаки внимания. Он искал ту, с которой пойдет под венец, кто стыдливо и преданно станет смотреть на него из-под прозрачной фаты.

Озерные рыбы, — белый, добродетельного вида судак, упитанный карп, похожий на домовитую, средних лет бабенку, и

худощавый лещ, веселый, болтливый, падкий до сплетен. Со всеми было хорошо завести нехитрую связь по соседству, когда добропорядочный муж покидает дом, а шаловливая хозяйюшка зазывает тебя к столу, ставит домашний борщ, наливает стопочку водки и ведет в неубранную спальню, еще не остывшую от обязательных супружеских ласк. Так весело щипать соседку за голые бока, кусать за розовое ушко, чувствовать, как брыкает она тебя тугими пятками, и в ее серебряном смехе возникает птичий клекот страсти.

Но все это в прошлом, — все бесчисленные грешки случайных совокуплений. Теперь он ищет ту, кто

стыдливо и робко, повинувшись его настоянием, покорно взошла на брачное, убранное цветами ложе и подарила ему сына, — дитя любви.

Среди прочих рыб он усмотрел прекрасную и неистовую в любовных утехах кефаль, напомнившую обворожительную Дарью Лизун. Полногрудая, белобрюхая нельма породила болезненное и сладостное воспоминание о Соне Ки, — случайная, но такая трогательная и мучительная связь. Другие рыбы, извлеченные из темных глубин океана, — с большими ртами и сочными губами Моники Левински, с пышными ненасытными бедрами Мадонны, с синими, венозными

ляжками Аллы Пугачевой, — плод вожделения растленных юношей. Все они не трогали его, не заставляли напрягаться его детородный плавник, принадлежали изжитому, хоть и греховному, но преодоленному прошлому. Не к ним стремилась его душа.

Внезапно в толпе вельможных и августейших особ, среди вероломных красавиц и наглых куртизанок, легкомысленных соблазнительниц и флиртующих проказниц он увидел ту, к которой стремилась душа. Рыбапалтус, невзрачная, в темном невыразительном облачении, с печальным выражением бледного лица, с бесцветными кудряшками,

убранными под серый платок, в долгополом платье, скрывавшем очертания тела. Она опалила его своим видом, повергла в смятение, породила слезную нежность и робкую мольбу. Она была той, что продлевала его род, наградила преданной и печальной любовью, доверчиво открыла свое сокровенное лоно, окружила спасительной и хранящей женственностью. Он испытал обожание и жалость, из которых складывалось его влечение. Подумал, что если он вдруг умрет, как она, оставшись вдовой, беззащитная, лишенная жизненной опоры, — как станет она сражаться с невзгодами жестокосердного мира?

Одна, без кормильца, без главы семьи и защитника, будет растить сына?

Так он стоял в рыбном отделе «Рамстора», не решаясь окликнуть свою суженную, которая, не видя его, погрузилась в горестное созерцание. Бессловесно молил Бога, чтобы Тот защитил ее и сберег среди грядущих потрясений и бурь. Дал себе слово никогда не обидеть ее дурным помышлением или словом, не притрагиваться к холодцу из рыбы-палтуса, не хлебать ухи, не делать бутерброда, не прикасаться к жаренному, копченому, заливному из этой печальной и ненаглядной рыбы, столь скромной на вид, и столь

щедрой душевными качествами.

Предстояло совершить еще одно исследование, которое он откладывал каждый раз «на потом», словно боялся открытия, которое перевернет его жизнь. Речь шла о луче света, что хранился в его морозильнике. Об отрезке световода, в котором заледел взгляд Потрошкова, брошенный на Президента Ва-Ва в достопамятный вечер на зеленой лужайке гольф-клуба «Морской конек». Все эти месяцы хрупкая сосулька хранилась в его холодильнике, содержала остановившийся спектр лучей, застывшую информацию о моментально сверкнувшей мысли,

молниеносно мелькнувшем чувстве.

Дома он открыл высокий холодильник фирмы «Дженерал моторс», стараниями домработницы Вероники Степановны сплошь заполненный продуктами, напитками и приправами. В морозильнике, закутанном в белую шубу инея, среди кубиков льда, заледепелой клубники и ломких зеленых листиков мяты он обнаружил заветную сосульку, переливавшуюся нежно-зеленым и розовым. Аккуратно переложил в длинную соусницу, забросал кубиками льда и, укутав в шерстяной свитер, повез в «Центр эффективных стратегий», где находилось нужное

для исследования оборудование.

В специальном кабинете, где исследовалась подлинность денежных купюр, прослушивались записи компроматов, фабриковались порносюжеты с участием ведущих политиков, Стрижайло поместил в спектрометр длинный хрусталик луча. Пока тот ни растаял, исследовал нежные волокна света, расщепляя на цветные составляющие световой пучок. Окрашенный эмоциями, пучок давал представление о чувствах, которые испытывал к Президенту Потрошков, когда тот своей изящной походкой шел подавать балерине Колобковой песцовую шубу.

В пучке доминировал огненно-красный импульс, свидетельствующий о яростной, лютой ненависти. Стрижайло казалось, что в окуляре спектрометра трепещет кровеносный сосудик, вырванный из страдающей плоти. Там же присутствовал сине-зеленый всплеск, — признак затаенного вероломства и готовности предать. Изящная ниточка ядовитой сине-зеленой водоросли всплыла из пучины потрошковской души. Вращая регулятор прибора, Стрижайло обнаружил ярко-желтую составляющую, — синоним страха, желания затаиться и спрятаться.

Фиолетово-черный отсвет

указывал на изнурительную, дурную зависть, от которой в сосудах живая кровь превращалась в чернильный сок испуганной каракатицы. И, наконец, голубая, с белым отливом струйка возвещала о торжестве, которое испытывал носитель коварного замысла, веря в неизбежный успех.

Стрижайло был поражен гамме злых чувств, что вызывал Президент Ва-Ва у Потрошкова, который повсюду демонстрировал свою верноподданность, обожание, почти раболепие.

Световой луч таял, источался, опадал водяной росой. И надо было успеть снять с него модуляцию

мыслей, — волна эмоций, подобно радиоволне, несла в себе моментальный мыслительный оттиск.

Стрижайло поместил сосульку в декодирующее устройство. Дешифрованные мысли превратились в последовательность обрывочных фраз: «Что б ты сдох, уничтожу тебя... Ты — шут, над которым смеются, но скоро будет тебе не до смеха... Думай, что я твой слуга до гроба, но в гроб ляжешь ты, а не я... У нашего Мокея было три лакея, а теперь Мокей — сам лакей...»

Стрижайло был потрясен. Догадка, мелькнувшая в Лондоне, о

существовании тайного заговора, «проекта в проекте», труппа в Гайд-Парке, как в фильме Антониони «Блоу-ап», — эта догадка подтверждалась. Потрошков замышлял истребление Президента Ва-Ва. Вовлекал в свой заговор Стрижайло, что сулило ужасные переживания, — государственный переворот, танки на улицах, ночные аресты, камеру пыток, где шипящей паяльной лампой станут добывать у него имена заговорщиков, и он, сквозь кровавые слезы, оговорит друзей и знакомых.

Надо бежать, немедленно, не заходя домой, сломя голову, в глухие леса и берлоги. Забиться под коряги

и пни, чтоб ни одна душа не разыскала его в глухомани. И пусть они истребляют друг друга, вгоняют иглы под ногти, выкалывают глаза, дырявят танками фасады дворцов и храмов.

Но сын, беззащитный, любимый, в стеклянном сосуде, перевитый проводками и трубками, — своим побегом Стрижайло обречет его на гибель. Жестокий Потрошков отключит питание. Крохотное тельце, не успев взрасти, превратится в комочек мертвой материи. Увы, он никуда не уедет. Станет слепо выполнять приказы Потрошкова, жестокого шефа ФСБ.

Стрижайло сидел без сил перед

хитроумным прибором, где блестела череда разноцветных капель, в которые превратился растаявший луч.

Надлежало выполнять указания Потрошкова, среди которых фигурировало истребление Маковского. И как это часто случается, мысль о человеке, постоянное обращение к его образу, возымело отклик, — телефонный звонок Маковского:

— Вы задерживаете публикацию доклада, — холодным, слегка раздраженным голосом говорил Маковский. — Полагаю, настало время придать его гласности.

Коммунисты разгромлены, хотя я потерял на этом десятки миллионов долларов. Надвигаются президентские выборы, и мне нужно оповестить общество о том, что я собираюсь в них участвовать. После отъезда за границу Верхарна, я являюсь несомненным лидером крупного бизнеса. У меня поддержка большинства губернаторов, которые нуждаются в поставках нефтепродуктов. Средний и мелкий бизнес, как поросята, кормятся у корыт крупных корпораций. Интеллигенция получает от меня гранты и премии, и готова сочинять в мою честь поэмы и мюзиклы. Демократическая партия США

смотрит на меня, как на своего представителя в России. Моя нефтяная империя — показатель того, как нужно распоряжаться остатками советской экономики. Простонародье видит во мне прекрасного хозяина, и я обещаю людям распространить на всю Россию методы успешного управления. Либеральная империя, которую я провозгласил, обеспечит мне поддержку традиционалистов. Я снова начну собирать отторгнутые земли на Кавказе, в Средней Азии и Прибалтике, насаживая их на нефтяную и газовую трубу. Я тороплю вас с публикацией доклада в «Интернете», после чего начнется

грандиозная пиар-кампания по моему выдвижению. И где там ваш мюзикл? Торопитесь! Надеюсь, я выражаюсь понятно?

— Понятнее не бывает, — ответил Стрижайло, вспоминая, как Маковский, громадный, выросший до небес великан, грохотал с высоты своими похвальбами и угрозами, и черные жгуты труб дрожали в его кулаках, как струны ужасной арфы, вселяя в Стрижайло унижительный ужас.

Он с новой силой возненавидел Маковского. Подобно другим олигархам, тот превратил страну в кладбище. Пусть он, Стрижайло, станет выполнять указания

Потрошкова. Но они совпадают с его,
Стрижайло, внутренним
убеждением.

В несколько дней он завершил доклад. Сопроводил его комиксами шаловливого рисовальщика Сальникова, известного иллюстрациями к скандальным порнотекстам. Ввел доклад в Интернет, садистски воображая, как увидит его Маковский.

Могущественный хозяин нефтяной корпорации «Глюкос» Арнольд Маковский восседал в своем загородном дворце в районе Успенского шоссе, просматривая утренние сводки о мировых ценах на

нефть, о торгах на фондовых биржах, о потерях американцев в Ираке, о колебании мировых валют, о тщетных попытках американских властей воспрепятствовать отмыванию криминальных денег, о еще одном неудачном покушении на главу РАО ЕЭС, которого в шутку называли «красноголовый сукин сын». На столе Маковского лежало приглашение на вечернее представление в Большой театр, где давалась премьера мюзикла «Город счастья», — огромный, в косматой шкуре шаман, сотрясающий бубном, чье лицо с рыжим яростным оком напоминало лицо Маковского, что вызывало у олигарха мрачное

удовлетворение и потаенное тщеславие. Несомненный триумф мюзикла должен был сложиться с шокирующей откровенностью политологического доклада, и все вместе давало старт президентской компании ослепительного и всемогущего магната.

Маковский включил интернет и на сайте «Центра эффективных стратегий» стал искать доклад Стрижайло, который должен был появиться сегодня утром и носил строгое, убеждающее название: «Одна Россия, одна свобода, один Президент, — Маковский».

Доклад был найден. Строгая графика надписи радовала и

успокаивала глаз. Лишь слегка удивил вопросительный знак в конце надписи, что, возможно, являлось психологической уловкой опытного политолога и социального психолога, который не хотел с первых строк навязывать свой взгляд, предлагал читателям самостоятельно приблизиться к желанному выводу. Далее следовали великолепные фотографии сибирской тундры, ленты рек и протоков, планетарная панорама Оби, ажурные буровые вышки, солнечно-кристаллическая архитектура домов, и фотопортрет Маковского, — властно-доброжелательное, строго-просветленное лицо рано

умудренного человека, чей жизненный путь, исполненный трудов и раздумий, делал его национальным лидером и народным радетелем.

Маковский пристально, с легкой печалью и благоговением к себе самому рассматривал снимок, соглашаясь с тем, что в лучшие свои минуты он выглядит именно так, — когда обстоятельства позволяют чуть прикрыть правый, огненно-рыжий, ястребиный глаз, и лицо утрачивает выражение алчной беспощадности и жестокой целеустремленности.

Название доклада повторялось, и под ним стоял подзаголовок: «Заговор олигархов».

Маковский вначале не обратил внимания на этот странный подзаголовок, начиная читать следующий за ним текст. Там были такие фразы: «Испытывая патологическую ненависть к центральной власти, желая превратить Россию в груды маломощных территорий, Маковский организовал вокруг себя представителей крупного бизнеса, готовя России изощренную геополитическую казнь». «Перехваты телефонных разговоров, видеозаписи скрытой камерой дают понять, на какие преступления готовы пойти олигархические круги, ставя целью ослабить нынешнего

Президента, вплоть до его физического устранения». «Желая обесточить центральную власть, вампирически ослабить Президента, олигархи прибегают к искусству колдунов и шаманов, которые совершают над фотографией Президента магические обряды, — колют его булавками, поливают кошачьей желчью, пропитывают рыбьим жиром и поджигают». «Заговор Маковского представляет серьезную угрозу для безопасности России и требует немедленной реакции власти». Под текстом следовала лихая цветастая картинка рисовальщика Сальникова, — на длинном столе лежал голенький,

пузатенький Президент Ва-Ва.
Вокруг столпились олигархи,
включая Маковского, Верхарна,
«красноголового сукина сына»,
«еврейского гуся лапчатого». Они
втыкали в пузико Президента
энтомологические булавки, поливали
из соусниц нечистотами, прижигали
лысенькую головку и детскую
пипиську фитилем зажигалки.

Маковской не мог поверить. Еще
и еще перечитывал ужасные фразы.
Протирал глаза. Закапывал в них
лекарства. Надевал окуляры.
Промывал моющей жидкостью экран
компьютера. Фразы были все те же.
Отвратительный рисунок дразнил
ядовитыми красками. Это

напоминало донос, гнусное издевательство, отвратительную непотребную шутку. «Пакостник, хотел надо мной посмеяться? Да я тебя в пласт запрессую и выдавлю каплю сырой черной нефти!» — бешено взъярился Маковский.

Принялся читать дальше. Вторая часть доклада называлась: «Маковский — отец геноцида», и пестрела подобными фразами: ««Глюкос», очищая территорию под нефтяные поля, организовал геноцид против малых народов Севера, что позволяет говорить о повторении холокоста в наши дни». «Стойбища чумов сносились бульдозерами «ктерпиллер», а взятые в плен

туземцы превращались в рабов, использовались вместо ездовых собак, вывозились на Большую Землю, пополняя цирки и зоопарки». «Молодежь туземцев спаивалась водкой и насильственно обращалась в иудаизм». «Охранники «Глюкоса» проводили массовое изнасилование туземных девушек, после чего последние, не выдержав позора, топились в Оби». «Перечисленные злодеяния вполне квалифицируются, как «преступления против человечности» и находятся в компетенции Гаагского трибунала». Текст венчала обличительная иллюстрация в жанре комикса. В нарты были впряжены два десятка

маленьких кривоногих северянин, что есть мочи, обливаясь слезами, тащили вальяжного, напыщенного Маковского, который погонял их длинной палкой.

«Предатель! — свирепел Маковский. — Пустил его в святая святых, открыл ему двери корпорации, а он нагадил... Привяжу его в тундре к четырем кольям на растерзанье росомахам и тундровым воронам...»

Третья часть доклада называлась: «Маковский — насильник несовершеннолетних». Здесь поражали следующие сентенции: «Девочка девяти неполных лет по имени Соня Ки,

попав на развратное ложе
Маковского, испытала все виды
сексуальных извращений. Обладая
половой неполноценностью,
Маковский заставлял бедняжку
прикидываться полярной совой,
дикой росوماхой, самкой оленя и
рыбой белугой, что позволяет
обвинить развратника в
скотоложстве, то есть в
преступлении против жизни». Далее
следовали срамные картинки, на
которых голый Маковский, забыв
всякий стыд, занимался любовью с
растрепанной птицей, обезумевшей
росوماхой, неистовой самкой оленя,
с рыбой белугой, чью икру он жадно
намазывал на свой детородный

плавник.

«Мерзавец соблазнил Соню Ки! — задыхался от ревности Маковский. — Ибо только во время любовных утех она могла поведать ему интимные тайны наших с ней отношений. Что ж, они оба заслужили смерти. С привязанными к ногам булыжниками, они будут брошены в Обь, и пусть их ищут в Долине Мертвых Рыб»

«Мошенничество, неуплата налогов — так стал богатым», — таково было название следующей части, где вопиющие обвинения были выражены виртуозно. «Опоив наркотическим зельем шамана, выманил у него документ на

владение нефтяными полями». «Подделал даты и подписи, обманным путем закрепил за собой месторождения нефти, принадлежавшие фирме «Зюганнефтегаз». «Использовал преступные схемы для увода прибыли за границу и неуплаты налогов, чем нанес колоссальный урон государству, повлекший за собой вымирание населения». «Прокуратура, допросив свидетелей, обнаружит сколько конкурентов было устранено Маковским в процессе создания корпорации «Глюкос»». На картинке, в лучших традициях бессмертного карикатуриста Бориса Ефимова, был

изображен пьяный шаман, лежащий на шкуре, и каверзный Маковский, запустивший руку шаману в чресла, извлекающий грамоту с картой озера Серульпо.

«Мерзавец, я замочу тебя в пропитанную нефтью шкуру и подожгу. Ты будешь гореть, как смоляной факел, а я при свете факела стану читать выдержки из твоего доклада, слыша, как трещат твои сгорающие сухожилия!» — так вынашивал в себе святую месть Маковский, не умевший прощать измены, безжалостный в мщении.

Заключительная часть доклада называлась: «Города смерти». Глаза Маковского обжигались, натываясь

на фразы, подобные этим: «Если копнуть тундру, то в мерзлоте откроются тысячные захоронения, ибо пресловутые «Города счастья» являются на деле фабриками смерти». «Владея не только нефтяными месторождениями в Приобье, но и маковыми плантациями в Афганистане, полями конопли в Колумбии, Маковский травил наркотическим дымом тысячи обитателей «Городов счастья» с последующим закачиванием их в нефтяной пласт, что позволяло ему увеличивать добычу нефти ежегодно на четыре процента.» «Города, расположенные по среднему и нижнему течению Оби

вполне могут называться — Освенцим, Майданек и Трешлинка, являются «черными дырами», где бесследно исчезает население России». И картинка, — под куполом «Города счастья» идет веселое празднество, танцует толпа, из форсунок в кровле впрыскивается наркотический газ, люди замертво падают, и могучие бульдозеры сдвигают ножами горы недвижимых тел.

«Я посажу тебя на иглу. Сдохнешь от передозировки...» — распалялся неистовой ненавистью Маковский. И эта раскаленная ненависть, от которой закипала и дымилась кровь, превращалась в

леденящий ужас, от которого замерзали жилы. Этот ужас был всеохватывающим. Волны ужаса накатывались извне на великолепный дворец, словно по Успенскому шоссе мчались черные машины с агентами ФСБ, приближались к воротам дворца. Ужас веял из-под земли, словно там двигался железный «крот», прокладывал туннель под фундамент дома, и по этому туннелю бежали люди в камуфляже и масках, сжимая автоматы. Ужас низвергался с высоты, будто из неба приближался вертолет в блеске винтов, пуская реактивные снаряды в окна его кабинета. Ужас давил изнутри его помраченного разума, словно

проснулись все генетические страхи, — от древних библейских гонений, еврейских избиений в Толедо, инквизиционных костров в Германии, погромов в Одессе, газовых камер в Польше. В нем кричал убитый Михоэлс и замученный Мандельштам, изгнанный Иосиф Бродский и обмененный на Корвалана Анатолий Щаранский, ненавидимый всеми Гайдар и всеми обижаемый Радзиховский. Доклад в Интернете предвещал неизбежную гибель. Говорил об ужасном, подписанному ему приговоре.

Надо было спастись. Бросить все, — имение, драгоценности,

недвижимость, включая спрятанную
в сейфе личность. Опрометью
бежать в сосновую рощу, где,
заправленный, стоит самолет.
Исторический «Б-29», мировая
реликвия, бортовой номер 44-8629, с
женским именем «Энола Гей». Пусть
упадут бутафорские сосны,
расстегнется искусственный чехол
травы, и машина, жужжа винтами,
взмлет. Покинет проклятую страну,
где каждый голубой детский взгляд
пышет ненавистью, где жадные руки
Потрошкова тянутся к его богатству.
Они не дотянулись до заграничных
банковских вкладов, до ценных
бумаг, до оффшорных зон, до
купленных вилл на берегу

Средиземного моря. Прощай,
немытая Россия, страна
неуплаченных налогов и бесконечных
выборов, где каждый новый
Президент ужасней
предшествующего, а каждая женщина
— наполовину рыба, или самка
оленья, или седая полярная сова, и
даже у непревзойденной красавицы
балерины Колобковой, когда она
танцевала голой на лужайке его
дворца, обнаружился тонкий
крысиный хвостик.

Маковский вскочил, уронив на
пол пригласительный билет на
вечерний мюзикл. Выбежал из
дворца. Пересек заснеженную
лужайку, где в каждом отпечатке

подошвы проступала зеленая трава. Добежал до сосновой рощи, где в заиндевелых деревьях светлел алюминиевый самолет. Забрался в кабину. Не нуждаясь в пилоте, запустил поочередно каждый из четырех двигателей. Пропеллеры мощно ревели, раздувая вершины сосен, предвещая могучий взлет.

Маковский нажал на кнопку, заставлявшую упасть на стороны красные смоляные стволы, раствориться искусственный дерн, под которым скрывалась бетонная взлетная полоса. Кнопка не сработала. Сосны, окружавшие фюзеляж и крылья, стояли недвижно, — шевелили

заснеженными кронами, роняя белую пыль.

Он снова жал на кнопку, но она бездействовала. Он выскочил, вооружившись топориком и лопаткой. Что есть силы саданул стоящую перед крылом сосну, надеясь услышать хруст прорубаемого пенопласта. Но топор ударил в древесину, в надколе блеснула сочная белизна. Сосна была настоящей.

Схватил лопатку, копая снег, надеясь продрать искусственный зеленый палас, добраться до бетонной полосы. Но лопатка уходила в еще незамерзшую землю, утыкалась в корни деревьев. Под

разбросанным снегом жарко
краснели листья брусники.

Маковский понял, что проиграл.
Понуро, забыв выключить двигатели
самолета, побрел обратно к дворцу.
Он был в ловушке. Сопротивление
было бессмысленно. Следовало
привести себя в порядок и
отправиться в Большой театр на
мюзикл, повинувшись судьбе.

Театральная площадь перед
белокаменными колоннами кипела
толпой. Падал снег, вокруг фонарей
пылали фиолетовые нимбы,
роскошные автомобили с шипеньем
подкатывали к подъезду, оставляя на
снегу смоляные следы. Из салонов

высаживались великолепные дамы в шубах и вечерних платьях. Величественные господа, многие из которых являли цвет московской элиты, протягивали дамам руки. Шествовали под колонны, бело-голубые, мистические, над которыми грозно и великолепно летела квадрига Аполлона.

Гардероб благоухал духами, сверкали бриллианты, пленяли декольте. На пальцах мужчин вспыхивали дорогие перстни. Вместе с номерками выдавались бинокли с перламутровой отделкой. Расхватывались афишки, на которых указывалось, что мюзикл «Город счастья» собрал в себе лучше

артистические силы, — музыка сэра Элтона Джона, декорации Михаила Шемякина, костюмы шиты в «Доме высокой моды» Юдашкина, режиссер постановщик Виктюк, текст песен написал впавший в детство Андрей Вознесенский, используя редко встречающиеся рифмы, такие как «Ау-уа» и «Мяу-яу».

Стрижайло занял место в бельэтаже, напротив золоченой ложи, где должен был появиться Маковский. Золотые ярусы, хрустальное солнце поднебесной люстры, алый бархат кресел напоминали времена империи, когда вельможи двора, цвет аристократии собиралась в святилище, чтобы

насладиться красотой и величием имперского духа. Мюзикл, как говорили о нем рецензии, соединял в себе традиции русского классического балета, великой оперной культуры и одновременно демонстрировал эстетику новой «Либеральной империи», о которой возвещал главный прототип мюзикла Арнольд Маковский. Публика, заполнившая ряды, вся, как один, встала, когда в ложу, освещенный лучами прожектора вошел Маковский, стройный, в черном фраке, с бледным артистическим лицом. Аплодисменты приветствовали его, как если бы он был Президентом России.

Стрижайло направлял бинокль на Маковского, отмечая на его властном лице следы тревоги, отпечатки тягостных раздумий, явившихся после прочтения доклада. Ему стоило больших трудов сохранять самообладание, и все-таки на мертвенно-красивом, похудевшем от волнений лице хищно сверкал ястребиный рыжий глаз, всевидящий, беспощадный, суля врагам жестокую расправу и смерть.

Люстра померкла, растаяла в высоте, как тает блеск испепеленного салюта. Публика смолкла. В тишине зазвучала элегическая, задумчивая музыка, под которую в теплом летнем саду

танцуют утренние мотыльки.
Занавес поднялся, началось первое
действие.

Московская средняя школа, с
нелепыми черными партами,
ужасающими портретами Пушкина,
Горького, Маяковского. Скромный
еврейский мальчик Мак в бархатном
костюмчике, с трогательным бантом
на худенькой шее, сидит за партой и
рисует на белом листе бумаги. В то
время, как его одноклассники курят и
хулиганят в туалетах, пишут на
стенах непристойности, хватают за
грудь рано созревших девиц, поют
под гитару дурацкие туристические
песни, мечтатель Мак, презирая
турпоходы и уроки военной

подготовки, грезит о «Городе счастья». Там все любят друг друга, дома напоминают «летающие тарелки», в райских вольерах соседствуют волки и антилопы, бизоны и львы, дети северных народов ханты и манси учатся читать по книге Шалом Алейхема. Эти мечты Мак воплощает в рисунках, где синим карандашом изображает сказочные города. Эти образы, подобно грезам, возникают на огромных экранах, — выдумка Михаила Шемякина. Внезапно появляются марширующие шеренги, — то ли нацисты, то ли войска НКВД. Ужасны ряды марширующих чернорубашечников.

Зловещи их выкрики «Уа-ау» Звучит «Хорст Вессель», и «Вместо сердца пламенный мотор», в аранжировке Элтона Джона. Боевики набрасываются на Мака, жестоко избивают, разрывают рисунки с дивными голубыми городами, которые, как перья убитой синей птицы, реют в безвоздушном пространстве.

Первое действие вызвало восторг зрителей. Рукоплескали, обменивались восторженным шепотом. Известный композитор Журбин, пытавшийся поставить на Бродвее свои антисоветские мюзиклы, не выдержал и закричал: «Брависсимо!». Арт-критик по

прозвищу «Танкист», пытавшийся покончить собой и чудом избежавший смерти, в черном мундире, с рукой на перевязи, не удержался при звуках «Хорста Веселя», вскочил и выбросил руку вперед.

Стрижайло направлял бинокль не на сцену, где танцевали, пели, скользили в разноцветных лучах, а на ложу, где находился Маковский. Тот оставался встревоженным, бледным, но казалось, воспоминания нежной юности, целомудренные мечтания и несправедливо перенесенные обиды отвлекли его от горькой реальности. Страхи постепенно уступали место элегическим переживаниям. И это

радовало Стрижайло. Ибо он, а не сладострастный Виктук, был истинным режиссером спектакля. И действие этого спектакля переносилось со сцены в зрительный зал, в золоченую ложу Маковского.

Второе действие переносило зрителей в комсомольский лагерь на берегу Черного моря, — серебристо-шелковая ткань использовалась Шемякиным для изображения морского разлива. Нудистские комсомольские пляжи позволяли режиссеру Виктуку воссоздать сцены однополой любви. Под музыку латиноамериканской песни «Голубка» в интерпретации Элтона Джона юноша Мак знакомится с

прекрасной аргентинской девушкой
Глюкос, племянницей Че Гевары.
Она танцует румбу, развевая перед
лицом восхищенного юноши
кружевное платье, изящно
сконструированное эротоманом
Юдашкиным. Молодые люди
влюбляются друг в друга,
целомудренно и возвышенно, что
великолепно, через символику
воздушных поцелуев, воссоздано
Виктюком. Вместе они хотят
посвятить жизнь избавлению
человечества от бедности,
несправедливости, смертельных
болезней. Мак рассказывает Глюкос
о своих «голубых городах». Из сырого
песка они возводят на морском

берегу фантастические башни, великолепные дворцы, лучезарные храмы. Он целует ее, она отдается ему среди этих райских «городов любви».

Зарифмованные Вознесенским эротические стоны звучат как: «Эу-эу» и «Ой-ой». Внезапно налетает буря. Голубая шелковистая ткань становится черной. Чудовищная морская волна падает на песчаный город, уносит Глюкос. Та бьется в чернильных складках материи, беспомощно зовет. Мак кидается в пучину, хочет спасти любимую девушку. Но она, увы, утонула. Он выносит ее из моря, кладет бездыханное прекрасное тело там, где еще недавно был их

«райский город». Мак исполняет «Песнь вечной разлуки», похожий на одинокого лебедя, потерявшего ненаглядную подругу.

Эффект второго действия был ошеломляющим. Публика плакала, рукоплескала и снова плакала. Дамы в соболях отирали слезы серебристым мехом. Мужчины не отрывали бинокли от глаз, чтобы не были заметны их скупые слезы. Литературный критик Немзер, обычно осуждавший явления модерна, на этот раз в рукоплесканиях разбил себе в кровь ладони. Другой литературный критик Баасинский, член иракской партии БААС, нашедший, после крушения

Саддама Хусейна, прибежище в России, не находил слов и только молитвенно выкрикивал: «Аллах Акбар». Стрижайло не отрывал глаз от Маковского. Олигарх почти избавился от первоначальных неуверенности и тревоги. Правдивая история его любви к аргентинской красавице вернула ему ощущение таинственной и бесконечной жизни, в которой ему была дарована любовь, нефть и высший пост в Государстве Российском. Он окреп телом, гемоглобин вернулся в его властное лицо, рыжий ястребиный глаз озира́л театр, словно присматривался, в кого из декольтированных дам можно было вцепиться когтями и унести в

лесное гнездо.

Действие третье — Мак понимает, что «Город счастья» можно построить только кропотливым трудом. Фантазия художника Шемякина воссоздает в декорациях «мировую деревню» — образ философа Маркузе, — где русские избы перемешаны с небоскребами Манхеттена, а равнины Нью-Йорка водят хороводы с русскими девками в рощах Рязани. В память о безвременно ушедшей возлюбленной Мак открывает кооператив «Глюкос», с помощью которого устанавливает в избах русских крестьян тайваньские компьютеры, связывая вологодскую и

костромскую глухомань с мировой цивилизацией. Звучит оркестровка Элтона Джона на мотив «Во поле березонька стояла...». Виктюк и здесь умудряется засунуть «нечто» туда, куда не положено. Рязанский пастушек, став добычей дюжего раввина, исполняет короткий стих Вознесенского: «Уы-уы». Но этот созидательный процесс прерывает путч ГКЧП, во время которого танки маршала Язова давят ветхие избы и хрупкие компьютеры. Дым танковых двигателей летит прямо в зал, заставляя падать в обморок пугливых дам. Кутюрье Юдашкин наряжает солдат-путчистов в плащи из вороньих перьев и шлемы с

жестокими черными клювами. Исполняется «танец маленьких воронят». Элтон Джон удачно интерпретирует трагическую песню: «Черный ворон, что ты вьешься...» Мак, оказавшись в центре путча, спасает Президента Ельцина, за которым гонятся жестокие чекисты. Мак помещает Президента в багажник своего старенького «форда» и вывозит из окружения под носом «гэкачепистских» ищеек. Благодарный Ельцин, вылезая из багажника с бутылкой «Рэд лейбл», целует Мака, дарит нефтяные поля Сибири и назначает своим тайным преемником, о чем и говорит со знаменитого танка. Модельер

Юдашкин набрасывает на плечи Ельцина тогу римского императора, надевает на голову золотой венец цезаря. Исторический танк, по замыслу художника Шемякина, расписан голубыми фиалками.

Зрители, как один встали. Рукоплескали герою «либеральной революции» Маковскому, который, смущаясь, приподнялся в ложе и скромно поклонился. Несколько дам из партера сорвали с себя бриллиантовые украшения, метнули своему кумиру, и тот ловко подхватил блистающие подарки. Критик Архангельский, видом помор, с окладистой русой бородой, в косоворотке, не избавившись от

родового «оканья», прилюдно крестился, повторяя: «Слава Тебе Господи, вернулась-таки на Русь большая литература и музыка.» Другой критик Валентин Курбатов, тайно, вместе с монахом Зеноном, перешедший в католичество, тихо переглядывался с послом Ватикана, викарием и членом ордена иезуитов. Стрижайло испытывал знакомое сладостное предвкушение, сладострастное томление. Населявшие его демоны уселись вряд на длинном насесте, выставив внимательные мохнатые мордочки, нацелили немигающие круглые глазки, терпеливо следили за ходом спектакля, как если бы не знали его

финал. Демоническое томление, вернувшееся к Стрижайло, заслонило недавние страхи, угрызения совести, мучительное сознание того, что через него, Стрижайло, в мире действует зло. Зло, облеченное в ризы великого искусства, становилось красотой. Той активной, спасающей силой, которая побудила министра МЧС Шойгу однажды, во время разрушения аквапарка «Трансвааль», когда на морозе бежали обнаженные девушки, воскликнуть: «Красота спасет мир».

Действие четвертое — Мак, владелец компании «Глюкос» обходит свои северные нефтяные владенья. Повсюду царят разруха,

упадок, — поваленные буровые, рухнувшие дома. Художник Шемякин удачно использовал в декорациях мотивы «Герники» Пабло Пикассо. Из развалин, на свет фонарика, выходят одичавшие люди, уродливые алкоголики, аморальные преступники, — кто в буденовках, кто в касках с красной звездой, кто с серпом в руках, а кто с молотом. Хотят растерзать Мака, сделать из него строганину. Жутко звучит музыка Элтона Джона на мотив песни: «Замучен тяжелой неволей» Мак не боится угроз, проповедует разбойникам свою заповедную мечту о «Городе счастья». Говорит, что вместе, объединенные в корпорацию,

исповедуя либеральные ценности, они построят среди полярной тьмы хрустальный город, о котором мечтала аргентинская девушка Глюкос. Вдохновленные его мечтой, аборигены отрекаются от пороков, избирают «свободный труд свободно собравшихся людей». Бригады строителей и нефтяников, подбадривая себя стихом Вознесенского: «Эх, ма-Холмогоры, Хохлома», восстанавливают разрушенную цивилизацию Севера. Мак выбирает из местных хантов наиболее продвинутых и делает их православным священником, муфтием и раввином. Юдашкин облакает их в простые, вольно

спадающие ткани, на которых
нашиты лазурный крест, серебряный
полумесяц, золотая Звезда Давида.
Приходит старый шаман, завернутый
в бересту. Он поверил Маку и хочет
открыть ему тайное место, где
залегает самая лучшая в мире нефть.
Ударяет в бубен, бьет ногой в
поросшую ягелем тундру,
выкрикивая заклинания Андрея
Вознесенского: «Кры-Кры!» Из
земли вырывается нефтяной фонтан,
задуманный Виктюком, как
огромный плодоносящий фаллос.
Летит в небеса, наполняя небо
восхитительным салютом,
преображая черную нефть в
хрустальный светоносный «Город

счастья».

Стрижайло видел, как Маковскому в ложу принесли шампанское, и он жадно выпил один, затем второй бокал, гася жар разбуженных желаний. Олигарх окончательно освободился от подозрений и страхов. Его оставила мания преследования. Он больше не боялся могущественного Потрошкова, ибо превосходил его могуществом. Не боялся ничтожного политолога Стрижайло, который по-прежнему рабски ему служил, — за его, Маковского, деньги нанял лучших в мире художников, композиторов и поэтов, и они восславили его в веках. Спектакль

превратился в праздник большого искусства. Ни у кого не оставалось сомнений, что совершается великое таинство, — в Россию возвращается дух творчества и красоты. Изгнанный жестокостями большевизма, найдя себе вторую родину в Голливуде и на Бродвее, теперь дух Татлина и Стравинского, Марка Шагала и архитектора Мельникова, Мейерхольда и Хлебникова вернулся на родину, как возвращаются после долгой зимы журавли к родным озерам и рощам. Критикесса Наталья Иванова вытянула из ноги редактора Чупрынина жилу, натянула ее на гибкую ветку орешника и пустила из лука «стрелку купидона» в ложу

Маковского, который тут же, через охранника, послал ей чек на 100 тысяч долларов для установки памятника «Детям Арбата». Критикесса Алла Латынина, подобно Иродиаде заставляла танцевать перед ложей Маковского свою рыжеволосую дочь, требуя взамен сахарную голову фашиствующего писателя Проханова, на что Маковский послал ей наличными 200 тысяч долларов для прохождения курса лечения от экземы и старческого слабоумия.

Пятое действие — выборы Президента России. Проходят дебаты между прежним Президентом, выходцем из спецслужб, и Маком, на

чьей стороне симпатии большинства избирателей. Дебаты протекают в формате телепередачи «К барьеру». На стороне действующего Президента — офицеры ФСБ, скинхеды, «охотнорядцы», юмористы, певицы из «Фабрики звезд». На стороне Мака — молодые банкиры, цвет интеллигенции, нежные еврейские девушки, правозащитники и «солдатские матери», чьи сыновья никогда не служили в армии. Дебаты ведет известный судья собачьих боев, безрукий и безногий, у которого бультерьеры и члены ЛДПР отгрызли конечности. Дебаты проходят с блеском, противники кидают друг в

друга помидоры, пакеты с майонезом, кремовые торты. Казалось, Мак, под натиском спецслужб, начинает уступать. Но тут мистически является душа аргентинской девушки Глюкос, надевает на голову действующего Президента ведро с заварным кремом, и победа достается Маку.

И в этом действии блистал Элтон Джон, используя «музыку молчания» — ни одной музыкальной фразы. Поэт Вознесенский задействовал стихотворные монологи с доминантой: «Бля-бля». Юдашкин облачил действующего Президента в латы пса-рыцаря из кинофильма Эйзенштейна «Александр Невский»,

а Мак был явлен в лучезарном доспехе русского князя. Виктюк включил в сцену дебатов настоящих самцов изюбрей, которым под хвосты впрыснули скипидар, а также лидера ЛДПР, который плевался, мочился, издавал желудком дурные звуки, что побудило некоторых экзальтированных дам кинуть ему из партера чайные розы.

Заключительное шестое действие — «Город счастья», воплощенная мечта Мака. Хрустальный купол, как греза художника Шемякина, защищает город от лютой полярной ночи. Звучат попури на темы песен Бориса Моисеева, изящно

аранжированные Элтоном Джоном. Счастливые люди в прозрачных бикини «от Юдашкина» гуляют среди цветущих деревьев, хотя по другую сторону купола минус 30 градусов. Начинается празднество. Батюшка, муфтий и раввин служат общий экуменический молебен, время от времени, — находка Виктюка, — сливаясь в тройственных объятиях. Молебен сменяется танцем восьми шаманов. «Грызть-грызть» — звучат языческие стихи Вознесенского. Облаченные в шкуры, в масках с клыками росомахи, шаманы скачут, бьют в бубны, созывают ударами все население города, всех счастливых и

свободных людей. Внезапно удары бубна смолкают. Шаманы сбрасывают шкуры, и все видят, что это «восьмерка» крупнейших мировых лидеров, приехавших в «Город счастья», и среди них Президент России Мак. Он улыбается дорогим гостям, дарит им ценные подарки из Алмазного фонда, и все поют «Оду либеральных ценностей» на мотив песни «Комбат-батяня». Повсюду в небе сверкают эмблемы «Глюкоса», горит, выложенное алмазными звездами, волшебное слово «либерализм».

Стрижайло не сводил бинокль с Маковского, испытывая чувство, какое испытывает взрывник, глядя на

заминированный мост, — четкая графика конструкций, ажурные фермы, мощные надолбы опор, но через секунду все комкается, лопается, оседает в грязном взрыве, разлетается в мутном дыму. Маковский в ложе был великолепен. Встал в нетерпении, готовясь услышать овации. Был статен, прекрасен, возвышался до потолка, касался черной волнистой шевелюрой хрустальной, еще не зажженной люстры, которая вот-вот вспыхнет, окружив его гордое чело бриллиантами.

Шли последние секунды мюзикла. На сцене Мак, подхваченный вселенскими силами,

начинал возноситься, парил на серебряном аэростате, был выше всех земных президентов, выше всех смертных. Сам становился небесным светилом, бессмертным богом, перед которым пали ниц все народы. Изюбри ревели в вожделении. Лидер ЛДПР смешно и противно лопнул от зависти, забрызгав сидящих в партере дам. Мак возносился, сбрасывая клубы облаков, накрывая землю спасительным покровом. Посылал человечеству огромный, в виде радужного мыльного пузыря, воздушный поцелуй. Внезапно свет на сцене погас. Раздался истошный крик. Свет вспыхнул. Ни «Города счастья», ни хрустального купола, ни

изюбрей, ни шаманов. Озаренная прожектором в пустоте болталась клетка, в ней, как жалкая канарейка, метался Мак, и на клетке надпись: «Матросская тишина».

Зал ахнул от неожиданности. В темном зрительном зале вспыхнул прожектор. Его лучи ударили в ложу Маковского. В пятне слепящего света было видно, как в ложу входят люди в масках с автоматами, хватают Маковского. Тот пробовал возражать, говорил, что станет жаловаться, будет звонить к Президенту, в Страсбург, в ООН. Его грубо заковали в наручники и вывели из ложи.

Вспыхнула люстра. Зал гудел, как задымленный улей. Дамы падали

в обморок. Мужчины звонили по мобильным телефонам к адвокатам. Иные заказывали билеты на зарубежные рейсы. С некоторых капало на пол. Ужас охватил публику, полагавшую, что все они уже под арестом. Супружеские пары прощались, предчувствуя долгую разлуку. Ряд бизнесменов протягивал запястья, чтобы шерифам было удобнее набросить наручники. Некоторые торопились оформить явку с повинной.

Стрижайло покидал Большой театр. Вдыхал студёный, синий, московский воздух, слыша, как вкусно хрустит под башмаками подмороженный снег.

глава двадцать седьмая

Победа над Маковским, театрализованная казнь олигарха, успех демонической режиссуры не радовали Стрижайло. Он страдал, испытывал чувство вины, гадливость к себе, — к той своей сущности, которой овладели демоны, — многочисленные едко пахнущие зверьки, пачкающие ядовитым пометом сокровенные глубины души. В нем присутствовали и боролись две силы, «две души». Одна, демоническая, доминирующая, определявшая его поведение. Другая, — подавленная, неразвитая, слабо дышащая, но дававшая о себе

знать постоянным напоминанием о детстве, о бабушке, о чудесном времени, проведенном в доме на Палихе, где когда-то, в черном сыром подвале, он продал душу дьяволу. «Две души» соответствовали «двум жизням», которые он проживал. Явную, наполненную беспощадным яростным творчеством, к которому принадлежал недавний мюзикл, погубивший Маковского. И тайную, «иную», где происходили таинственные события, совершались неявные деяния, случались встречи, подобные сновидениям.

Жить одновременно двумя жизнями становилось невозможно. Раздвоение было нестерпимо. Аорта,

питавшая сердце, взбухала, словно в ней бурлили два встречных потока крови. Создавали тромб, готовый разорвать сосуд. Он решился на отчаянный шаг, — отправиться на Палиху, в дом своего детства. Спуститься в сырой подвал и там осенить себя крестным знамением, чтобы населявшие его демоны посыпались наружу, скрылись в той скважине, откуда когда-то вышли. Так Иисус исцелил больного, одержимого бесами, пересадив демонов из души человека в свиную плоть, а затем утопив в пучине.

Он отправился на Палиху, где за годы его отсутствия произошли необратимые перемены. Словно

опустилась суша, унеся под воду множество домов, деревьев, дворов, песочниц, аляповатых скульптур, ржавых козырьков над подъездами, оранжевых абажуров в вечерних окнах, обитателей милой и наивной Атлантиды, где прошло его детство. Взамен всему появилось семейство новых, несоразмерно больших домов, магазинов, автомобильных стоянок с мытыми иномарками, энергичных, с чужими лицами, самодостаточных людей, казалось, принадлежавших к другому народу, приплывшему из-за далеких морей. Однако, дом его сохранился, хотя и пережил обновление, — был перестроен, снабжен ребристой коробкой лифта,

увеличил этажи, изменил
расположение окон. Так меняет
образ престарелой дамы «подтяжка»
морщин и складок, косметические
ухищрения, из-под которых немощно,
умоляюще проглядывает старинное,
неустранимое лицо.

Стрижайло, робея, волнуясь,
приблизился к дому. Вошел во двор,
присыпанный снегом, с
наклоненными голыми деревьями.
Поднял глаза к окошку на четвертом
этаже и испугался, — вдруг за
мутным стеклом забелеет, задышит,
словно маленькое серебряное
облачко, бабушкино лицо, — всегда
смотрела на него, провожая в школу,
махала, посылала воздушные

поцелуи, — вдруг совершится чудо, и время промчится вспять по световому лучу, и он, мальчик, худенький, с вытянутых лицом, голубоватыми тенями у глаз, стоит во дворе, и бабушка смотрит на него из окна, улыбается, беззвучно шепчет: «Мишенька мой ненаглядный».

Стоял зачарованный, охваченный воспоминаниями, которые плыли на него, выныривали из-за углов, выскальзывали из подъездов, ниспадали из окон. Приближались к лицу, щекотали переносицу и беззвучно лопались, как сосуды невесомого света.

Как чудесная тень, пробежала девочка Элла с расчесанными на

пробор волосами, милыми косами, юркая и веселая, словно белка, дразня его ранним женским кокетством, и хотелось поместить лицо в душистый воздух, сквозь который пронеслось ее легкое тело. Вслед за ней возник долговязый, с тощими кривыми ногами мальчик Гога, медлительный и печальный, который вызывал неясное сострадание и мучительное предчувствие того, что он скоро умрет. В окнах дома, отражавших тусклое холодное небо, появлялись и исчезали лица мужчин и женщин, полузабытых, с голосами, которыми они окликали играющих во дворе детей, и среди них — полная

черноволосая еврейка Сара, которая вдруг возникла в окне совершенно голая, с огромными грудями, пухлым животом и черным глубоким пупком. Он вспоминал игры, которыми полнился двор, — звонкий тугой удар футбольного мяча о кирпичную стену, бешеный бег по сухому пустырю, когда гнался за рыжей соседкой, страстно стремясь догнать, ударить, свалить, коснуться губами ее блестящих желтых волос, драка в углу двора, когда пришлые хулиганы били его, а он не хотел уходить, не желал уступать и просить пощады, пока кто-то ни выглянул из окна, грозным криком ни спугнул хулиганов. Двор, перестроенный,

переиначенный, без каменного фонтана, по краям которого росли высокие ароматные маки, без огромных ясеней, на которых осенью появлялись щеглы и свиристели, без деревянных скамеек, где они собрались поздними летними вечерами, мальчики и девочки, под золотыми окнами, не в силах расстаться, упиваясь очарованием нескончаемых ночных разговоров, — двор окружал его волшебными образами, напоминавшими отражение в озере, чуть размытое дуновением ветра. И казалось возможным вернуться в исчезнувшее чудесное время, оборванное странным и диким поступком, —

«нисхождением в ад», в черный, населенный духами подвал, где он был схвачен ужасным моллюском, опутан липкими щупальцами, пропадал в преисподней и, спасаясь, дал клятву ужасному существу служить ему верой и правдой, если оно вернет ему жизнь. Эта детская мольба погубила его, отдала душу во власть жестоких непознанных сил, от которых он теперь стремился избавиться, — отправить их назад в преисподнюю, вернуться в оборванное, пресеченное время, начать свою жизнь с остановленного мгновения.

Подъезд, где он когда-то жил, с тяжелой грубой дверью на жесткой

пружине, которая звонко хлопала за спиной, — этот подъезд был теперь перестроен, снабжен красивой дверью с домофоном, не позволявшим войти постороннему. Стрижайло притаился, дожидаясь жильца, который проведет его внутрь. Вскоре такой появился. Молодой господин в модном длинном пальто с кожаным портфелем клерка, прошествовал мимо, остановился у заветных дверей, прижал магнитный ключ. Дверь растворилась. Стрижайло вслед за модным пальто проник в подъезд. Сделал вид, что у него развязался шнурок. Нагнул, позволяя господину сесть в лифт и

уехать наверх. Медленно встал. Все те же дубовые перила напоминали о времени, когда он входил в подъезд и, испытывая ужас перед черным подвалом, мчался, хватаясь за спасительные желтые поручни. Темный прогал подвала был тут же, неразличимый, невнятный, полный ужасных видений. Стрижайло шагнул туда, где в детстве из тлена и мусора веяло древними ужасами, первобытными кошмарами. Почувствовал, как поселившиеся в нем демоны насторожились, молча нацелили мордочки, наострили чуткие кожаные уши, уставились чернильными немигающими глазами. Стрижайло волновался,

продвигался в темную глубину подвала, готовясь осенить себя крестным знамением, ожидая, что бурная светоносная сила ворвется в грудь, станет метаться, словно шаровая молния, выжигая расплодившихся тварей, изгоняя огнеметом наружу. Плотным роем, свистя нетопыриными крыльями, они устремятся в черную щель, откуда дует сквозняк преисподней. Сделал несколько шагов, ожидая увидеть вход в бездну. Но вместо черной пещеры перед ним была цельная, аккуратно выбеленная стена, без дверей и прогалов. Подвал был замурован, скважина в бездну заложена. Он вдруг испытал

огромную усталость и немощь. Словно духи выпили из него всю живую энергию, мстя за несостоявшийся бунт. Оживленно заерзали жирными боками, удушая шелковистыми тучными тельцами.

Понурый, опечаленный, катил по Москве в «фольксвагене», рассеянно слушая информацию об аресте Маковского. О том, что тот помещен в привилегированную одиночную камеру «Матросской тишины», с телевизором, усиленным питанием, ежедневными визитами следователей, которые требуют от олигарха признательных показаний. Эти вести не радовали Стрижайло.

Привносили в его смятенную душу дополнительное чувство отчаяния, — он, тот, через кого в мире действует зло. Тот, кому не поможет крестное знамение. Он — та самая свинья, в которую Господь вселил злых демонов, освобождая от них чью-то исцеленную душу. Ему же, Стрижайло, с жуткой начинкой внутри, один путь, — броситься в море и сгинуть.

Образ моря заставил вспомнить о рыбе-палтусе, ненаглядной жене, которая одна способна его утешить. Прижать к груди его истомленную голову, позволить выплакаться, облегчить измученную совесть. Захотелось немедленно оказаться в

рыбном отделе «Рамстора», узреть свою ненаглядную.

Магазин был все так же великолепен, с огромным объемом пустого синего воздуха под стеклянными перекрытиями, с бесконечным разнообразием животной плоти, обитающей на земле, в воде и в небе, которую Господь укутал в шерсть, чешую и перья, сделав прельстительной для человеческого чрева.

Стрижайло поспешил в рыбный отдел, где семги и осетры, белорыбицы и белуги, ставриды и скумбрии напоминали петербургское общество, в котором каждая рыба блистала своими нарядами,

остроумными замечаниями,
пленительными взглядами,
обмахивала прелестную шею и
обнадеженную грудь китайским
веером, посылая кавалерам
куртуазные знаки. Он искал среди
дам знакомые и родные черты рыбы-
палтуса, ее грациозную шею,
прелестное чело, божественные
локоны у висков, как у Натальи
Гончаровой, но, увы, любимая
отсутствовала. Не было ее среди
фрейлин у ампирных колонн. Не
была в зимнем саду, где любезничали
с дамами два кавалергарда. Не было
у клавесина, где дочь известного
камергера исполняла романс. Он
кинулся из угла в угол, спрашивая,

где она. Все только коварно улыбались, намекая, что видели ее в экипаже действительного статского советника, уносившего вероломную даму на Васильевский остров, где сверкали инеем ростральные колоны, и в окнах дворца на набережной, куда подкатил экипаж, упали тяжелые шторы. Стрижайло ревновал, не находил себе места. Спросил у продавщицы:

— Скажите, у вас нет палтуса?.. Ведь в прошлый раз был?..

— Раз на раз не приходится, — ответила умудренная женщина, глядя на Стрижайло с нескрываемым состраданием.

Он с трудом выносил ее

жалеющий, все понимающий взгляд. Делал вид, что рассматривает ассортимент рыбных консервов, копченостей, балыков и котлет. Внезапно вздрогнул. Среди салатов из морской капусты, розовых королевских креветок, атлантических мидий и устриц вдруг увидел прозрачный пластмассовый сосуд с рыбным студнем. В желеобразном холодце, погруженный в студенистую массу, смотрел на Стрижайло глаз, рыжий, огненный, злой, вычерпанный из глазницы вместе с глазным яблоком, немигающим черным зрачком. Глаз был знакомый, угрожающе-зоркий, кричащий. На сосуде был ценник в виде штрих-кода

и надпись: «Глаз вопиющего в пустыне». Не было сомнений, — это был глаз Маковского, вырванный из его гордой головы, замороженный в холодец, выставленный в «Рамсторе», в рыбном отделе, в расчете на то, что Стрижайло его увидит. Это было ужасно. Было продолжением дьявольских козней. Все те же вездесущие демоны, не пожелавшие возвращаться в бездну, увели его любимую женщину, подсунул жуткий глаз, — фарфоровое, с кровяными сосудами яйцо, рыжий, пышущий ненавистью зрак. Он повернулся, заспешил к выходу, едва ни толкнув молодую женщину в шубке, катившую перед

собой серебристую тележку. Добежав до выхода, развернулся и снова возвратился в отел, желая получше разглядеть «вопиющий глаз», который мог стать уликой в сотворенном злодеянии. Но глаза не было.

— Простите, — обратился он к продавщице, — здесь у вас только что был глаз в холодце, но не рыбий, а ястребиный... Где же он?..

— Ястребы, которые в пучинах гнезда вьют, суть рыбы и морские гады есть. Прочие же, аки черви, холодцам не подвержены и числу их несть, — ответила продавщица, и ушла, оставив на прилавке древнюю книгу об обитателях царства вод.

Зазвенел мобильный телефон, который и не мог не зазвенеть. Стрижайло приложил к уху нарядного пластмассового зверька и услышал голос Потрошкова:

— О, повелитель морских стихий, о, любимец муз, о, непревзойденный сочинитель мюзиклов, немедленно бросайте все ваши рыбные пристрастия и приезжайте в «Матросскую тишину», где я вас жду с нетерпением.

Голос смолк, и на экране телефона появился заключенный в треугольник, вырванный глаз Маковского.

У тупого, бесконечно-длинного

здания «Матросской тишины», перед входом поджидал его мясистый, затянутый в кожаное пальто человек с улыбающимся экземным лицом. Стрижайло подумал, что это палач, щипчиками и пинцетом выхватывающий из узников показания. Стараясь быть любезным и, одновременно, приглядываясь к Стрижайло, — куда бы половчее воткнуть иглу, стукнуть ломиком, щипнуть кусачками, встречающий чиновник пустил Стрижайло в мрачную обитель. Повел по бесконечным переходам, накопителям, коридорам, сквозь железные двери и решетки, автоматические замки и телекамеры

слежения, мимо охранников с кобурами, наручниками и резиновыми дубинами, мимо их нездоровых одутловатых лиц и маленьких пристальных глазок, сквозь лабиринты, где пахло железом, машинной смазкой, карболкой, пищей и чем-то еще, что выделяет из себя распадающаяся плоть, распространяя в воздухе болезнетворное страдание.

В небольшом кабинете, неожиданно уютном среди атрибутики «казенного дома», с телевизором, удобным диваном, его встретил Потрошков. Оживленный, в прекрасном расположении духа, был одет в сутану и черную широкополую

шляпу, словно падре, готовый исповедовать грешника.

— Как хорошо, что вы явились, мой друг. Для меня стало потребностью видеть вас. Сейчас я отправлюсь в камеру Маковского и буду с ним разговаривать. Мне необходимо, чтобы вы слышали наш разговор.

— Для меня это невозможно, — испугался Стрижайло, — Я не могу встречаться с Маковским после того, что я сделал. У меня просто нервы не выдержат.

— Вам нет нужды, мой друг, отправляться к нему в камеру. Вы будете наблюдать нашу встречу по этому телевизору. У Маковского в

камере установлен точно такой же, который круглосуточно работает, как система наблюдения. Садитесь на диван, вам принесут виски со льдом. Вкушайте и слушайте. Все, как на ладони, — он включил телевизор. На цветном экране возникла тюремная камера. В кубическом объеме размещались удобная, нетюремная кровать, ширма, за которой скрывались принадлежности туалета, стол с разложенными книгами, стена, украшенная ковром. Все это вместе напоминало не тюремное узилище, а комнату женского общежития, скромно и аккуратно убранную.

Из угла вышел и попал в поле

зрения объектива Маковский. Стрижайло был поражен его видом. Похудевший, сутулый, облаченный в спортивный костюм, он был похож подранка. Один глаз закрывала черная перевязь. Гордый римский нос понуро обвис. На щеках виднелась невыбритая щетина.

— Где его глаз? — шепотом спросил Стрижайло.

— Видите ли, я и сам задаюсь этим вопросом, — ответил Потрошков, складывая перед грудью руки молитвенным жестом. — По некоторым сведениям, глаз был облит желатином, поставлен в холодильник, и из него был приготовлен холодец. Как говорится

в писании: «Аще око соблазняет тебя, вырви и око с корнем. Ибо лучше одним оком смотреть в небо, чем двумя в ад». Думаю, он поступил, как настоящий католик.

— Боже мой, — прошептал Стрижайло.

Потрошков, мягко волнуя сутану, покинул кабинет. Через минуту появился в камере узника, что засвидетельствовал цветной экран телевизора, на котором возникло католическое облачение Потрошкова и испуганно-озлобленное, дерзко-надменное лицо Маковского.

— Сын мой, — произнес Потрошков, повторяя руками молитвенный жест, присаживаясь к

краю стола, — После последнего нашего свидания у тебя было достаточно времени подумать о душе. Признайся во всем, и станет легче. Освободи душу от тягостных умолчаний, и свет истины наполнит твое сердце.

— Проклятый инквизитор! — воскликнул Маковский, сверкая на ненавистного гостя единственным глазом. — Ты мучаешь меня, добиваясь не истины, а моих счетов в швейцарском банке. Я жив, покуда храню секреты. Как только ты станешь обладателем счетов, ты отправишь меня на костер, как отправил Джордано Бруно. Ты вырвал мой глаз, но и оставшимся я

вижу всю твою низость. Презираю тебя. На твоей совести гибель тысяч гугенотов, толедских евреев, Жанны Д'Арк, Яна Гуса и других, лучших людей своего времени, которых вы называли еретиками.

— Сын мой, не упорствуй. Обратись душой к святому престолу, на котором восседает архипастырь, понтифик Иоанн Павел Второй, лишенный рассудка, который выбила из него пуля турецкого террориста. Он спрашивал меня о тебе, шлет свое благословение, готов передать тебе индульгенцию всего за четыре миллиарда долларов, которые ты хранишь в сейфах швейцарского банка. Не заставляй меня звать

экзекуторов и силой вынуждать купить священную индульгенцию. Ты опоил колдовским зельем из спелого мака наивных аборигенов Севера, насаждал среди них ислам, иудаизм и еретическое православие. Ты растлил и лишил девственности юную дикарку Соню Ки. Устраивал бесовские игрища в вертепе, богохульно именуемом «Городом счастья». Прибегал к волхованию, магии, шаманским камланием и гаданию на сырой нефти. Покайся в грехах и прими индульгенцию, сын мой. Иначе придут экзекуторы.

— Ты посадил меня в темницу, думая сломить мой дух. Но я, как Нельсон Мандела, выйду отсюда

Президентом России. Народ разберет по кирпичикам стены твоей тюрьмы и вынесет меня на руках. И тогда ты пожалеешь о каждом слове, которое сейчас произнес. У тебе не останется клеточки, куда бы я ни вонзил раскаленную иглу, — мстительно воскликнул Маковский.

— Мне больно слушать тебя, сын мой, — смиренно произнес Потрошков, поднимаясь. — Я оставлю тебя на время. Пусть разум вернется в твою помраченную, безглазую голову, — Потрошков покинул камеру. Через минуту появился в кабинете у Стрижайло: — Вот сукин сын, тяжело расстается с деньгами, — плюхнулся на диван,

снимая шляпу.

Стрижайло мучаясь, смотрел на телеэкран, понимая, что играемый Потрошковым спектакль был продолжением мюзикла, проставленного им, Стрижайло. Его изысканную режиссуру подхватил другой, жестокий маэстро, перенеся действие из позолоченного помпезного зала в камеру «Матросской тишины», которая была филиалом прославленного театра. Увидел, как в камере растворилась дверь, и ввалилась толпа мужиков. Бритые, узколобые, в майках или голые по пояс, с мощными бицепсами, с татуировкой на груди и плечах, они обступили Маковского.

Сплеывали ему под ноги, ухмылялись, обнажая золотые фиксы:

— Что, сука, девочек портишь? Сирот на иглу сажаешь? Мы этого шибко не любим. По воровским законам быть тебе «петухом»...

Маковский пятился, отталкивал их руками, но они навалились на него, сорвали одежду, обнажили белое, сдобное, холеное тело, на котором, как на женщине, не было ни одного волоска.

— А ну, падла, кричи петухом!..

Мощный удар в живот заставил Маковского согнуться. Мускулистые лапища скрутили ему руки. Чей-то зловонный потный зад прижал к

кровати его голову. В жутком начавшемся действе один уголовник сменял другого. Спускал брюки, хватал Маковского за толстые бедра, толкал тощими жилистыми ляжками. Хрипел, бился в судороге, вяло отпадая, уступая место другому неуголенному мужику. Маковский стenal, бился, силился освободиться от жестоких обхватов. Но его угощали тумаками, и крики, которые он издавал, напоминали рев овцы, лай собаки, клекот взлетевшего на забор петуха. Мужики насладились. Сплевывая на истерзанное голое тело, подтягивали портки, выходили один за другим, напоминая бригаду лесорубов, хорошо потрудившихся на

делянке.

Стрижайло был потрясен. В мюзикле дописывались ужасные сцены. Первоначальный восхитительный замысел с привлечением лучших талантов мира повлек за собой инфернальное продолжение, которое таилось в недрах спектакля, в недрах его растленной, проданной дьяволу душе.

— Полагаю, теперь из него можно сделать не только холодец, но и бульонные кубики «Кнорр», — произнес Потрошков. Сигнал с лица насмешливую мину, сменив ее на скорбное выражение, приличествующее падре. С этим выражением появился в камере

несчастливого, который сидел на кровати, сжав дрожащие колени, отирая мерзкие плевки.

— Сын мой, страдания, которые посылает Господь, служат нам к исправлению. Прости этих грубых, недалеких людей, ибо не ведают, что творят. Ты же прими индульгенцию из рук понтифика, который после попадания в его голову пули турецкого террориста, заговорил на всех языках, какие обрело человечество после сокрушения Вавилонского столпа. Сей библейский сюжет указывает на могущество Бога, карающего нас за гордыню. Вот индульгенция, — Потрошков вынул из-под сутаны

грамоту с латинским текстом и папской митрой, подложил голому, всхлипывающему Маковскому, — Распишись в получении с указанием счетов в банках Швейцарии, Нью-Йорка и Кипра.

Маковский, с трудом перенесся больной зад с кровати на стул, расписался в положенной перед ним бумаге, занеся в нее аккуратный столбец банковских реквизитов.

— Ну, теперь ты доволен? Оставишь меня в покое? — рыдающим голосом обратился он к падре.

— Ты искупил лишь первую часть грехов. Осталась другая. С помощью чернокнижников, прибегая

к магии мексиканских колдунов, принося кровавые жертвы Астарте и Гекате, ты обманул наивного сына тундры, верховного шамана. Просветленный старец уже приближался к истинам католической веры и был готов передать несметные запасы «черного молока», что таятся под водами священного озера Серульпо, наместнику Бога на земле, чья скромная, но благословенная фирма «Зюганнефтегаз» является оплотом католицизма в Заполярье. Опоив шамана маковым настоем, обманно называя зелье «святой водой», ты выманил у него «дарственную» нефть озера Серульпо, подсунул ему

подложный пергамент, где подделаны все отпечатки пальцев, копыт и плавников, завладел не принадлежащим тебе богатством. Настало время его вернуть. Откажись от месторождений в пользу «Зюганнефтегаза». Подпиши документ, — с этими словами Потрошков извлек из-под сутаны бумагу, положил перед Маковским.

Тот гневно ее отринул. Видно не вся его гордыня была вырвана из самолюбивого тела вместе с окровавленным оком. Не все представления о кротости и смирении затолкали в него уголовники своими возбужденными пестиками, на которых то там, то сям

синели татуировки: «Я самый сладкий», «Лучше в вас, чем в таз», «Я медведь, хочу в берлогу». Маковский вскочил, забыв, что он голый. Эффектно выбросил руку, указывая Потрошкову на дверь:

— Этому не бывать. Мою нефть будет отстаивать Европа, 6-ой Американский флот, Демократическая партия США. Я обвалю нефтяной рынок и вызову мировой энергетический кризис, который не переживет твой подлый «фээсбэшный» режим. Россия видит во мне мученика, а в тебе палача и наследника ГУЛАГа. Русские люди придут к тюрьме, чтобы поклониться новомученику, и выберут меня

Президентом. Уж тогда, поверь, я кину тебя в камеру уголовников, которых перед этим три дня будут кормить «Виагрой», и они пророют в тебе туннель больше, чем туннель под Ла-Маншем.

— Я ненадолго уйду, — смиренно опустил глаза падре. — Надеюсь, в мое отсутствие ты предашься благочестивым размышлениям, — с этими словами Потрошков вышел. Через минуту появился у Стрижайло. — Похоже, этот сукин сын вместо страдания вкусил наслаждение. Что ж, ошибка больше не повторится.

Стрижайло видел на экране голого Маковского, который,

казалось, вернул себе былую непреклонность. Отвергнув мерзкие предложения, изгнал искушителя. Его мученический венец на глазах превращался в царственный.

Внезапно раздался звук бурлящей воды. Из стен камеры, сквозь невидимые трубы ударило множество струй. Маковский отшатнулся, забегал. Камера быстро заполнялась водой. Он скакал, кричал, разбрызгивал воду, которая достигла колен, паха, груди. Он вскочил на кровать, на какой-то момент напомним княжну Тараканову с картины Сурикова. Вода и здесь подбиралась к горлу. Он переплыл к столу, встал на него, но

бетонный объем камеры заполнялся водой, и теперь под потолком торчала его одноглазая несчастная голова.

Внезапно в воде вспыхнул свет. Стали видны серебристые, летящие сквозь воду пузыри. Зеленели вьющиеся водоросли. Темнел декоративный, усыпанный ракушками грот. Камера превратилась в аквариум, в котором плавал Маковский. Подводная съемка позволяла видеть его голые ноги, волосатый пах, дышащий живот, растопыренные, гребущие пятерни. Он был похож на тритона, обитавшего в аквариуме. Видимо, вода имела приятную, комнатную

температуру, потому что Маковский скоро успокоился и даже испытывал некоторое удовольствие от водной среды, целящей его истерзанные ягодицы.

Вдруг из угла выскользнула небольшая головастая рыбка с полосатым тельцем и твердыми плавниками. Несколько раз метнулась туда-сюда, блеснула чешуей. Молниеносно ринулась на Маковского и вцепилась в бок. Укус был столь силен, что рыбка выдрала кусочек плоти, вода вокруг ребра окрасилась розовой мутью. Маковский взвыл, не столько от боли, сколько от ужаса перед неизвестным подводным существом,

ударившем, словно пуля.

Вторая рыбка, подобная первой, метнулась к Маковскому и впилась в икру. Были видны ее острые зубы, выпученные злые глаза. Вырвала клочок мяса и дергалась, трясла хвостом, силясь проглотить, открывая зубастый уродливый рот. Маковский истошно орал, поджимая ноги, стараясь уклониться от невидимого, терзающего мучителя.

Третья рыбка, как крохотный блестящий снаряд, метнулась из угла и впилась ему в пах. Брызнула кровавая муть, рыбка запуталась в густой шерсти, драла ее, пучила злобные золотые глаза.

Пираньи, — а это были именно

они, — доставленные в количестве трех экземпляров из устья Амазонки, — лакомились Маковским, как он когда-то лакомился деликатесами. Оставляли на теле больные надрезы, вырывали фонтанчики крови, будто в тело попадали подводные пули, и оно вздрагивало от точных попаданий. Маковский обезумел, единственный глаз жутко вылез из орбиты, рот непрерывно кричал, глотая воду.

Наконец, сеанс пытки завершился. Вода стала быстро спадать. Маковский очутился в мокрой, с лужицами на бетонном полу, камере. Изнуренно присел на хлюпающую кровать. Безумно

смотрел, как входит к нему папский нунций в черной сутане и широкополой шляпе.

Потрошков, огибая лужицы, стараясь не замочить край облачения, подошел к стулу, постелил клееночку и уселся. Оглядывал узника с нескрываемым состраданием.

— Видите ли, в устье Амазонки работает секретная экспедиция ФСБ. Ученые-биологи изучают пыльцу ядовитых растений и яд тропических змей, чтобы изготавливать препараты, с помощью которых устраняются политические оппоненты. Этих рыбок прислал мне начальник экспедиции, уверяя, что эти особи уже прикармлины

человечиной. Им скормили ученого по фамилии Сутягин, который хотел передать врагу результаты исследований. Сейчас я убедился, что рыбкам не чуждо людоедство, — в руках Потрошкова оказалась стеклянная банка с водой. Он поднял с пола двух бьющихся на мелководье пираний и кинул в банку. Третью ловко выпутал из кудрявого лобка олигарха и присоединил к остальным. — Полагаю, вы стали сговорчивей, — он вынул из-под сутаны документ, коим подтверждалось право собственности фирмы «Зюганнефтегаз» на месторождение Серульпо. Протянул Маковскому

золотую ручку. Тот обреченно, навесу, чтобы не намочить документ, подписал, мгновенно лишившись какой бы то ни было роли на мировом рынке нефти, передав эту роль Потрошкову.

— Если бы не ваше благоразумие, вас бы уже продавали в «Зоомагазине» в отделе «рыбий корм», — беззлобно пошутил Потрошков. — Дело осталось за малым.

— Что еще? — взмолился Маковский.

— Мне нужны гарантии, что вы не прибегните к реваншу. Вы должны подписать «Акт о полной и безоговорочной капитуляции».

— Разве я не подписал? —

Маковский был жалок, мокрое нагое тело было искусано пираньями, мокрая тряпица, прикрывавшая вырванный глаз, жалко обвисла. Но оставшееся око нет-нет, да и мерцало фиолетовой ненавистью, ртутной зарницей мщения. И опытный Потрошков не мог не заметить этих признаков неукрошенной гордыни.

— Сейчас вы возьмете бумагу и под мою диктовку напишете покаянное письмо народу, которое завтра опубликуют газеты. Отречетесь от философии «либеральной империи», от воинствующего либерализма, от намерений стать Президентом.

Попросите прощение у народа за причиненный ему ущерб.

— Никогда! Вы можете отнять у меня состояние, но не репутацию! Я готов остаток дней провести в тюрьме, но как либерал, как певец либеральной империи. Пусть таким меня запомнят потомки!

— Они вас запомнят другим. Сейчас я уйду из камеры, и из нее выкачают воздух. Вы окажетесь в полном вакууме. Это значит, что прежде чем вы задохнетесь, из вашей пустой глазницы ползет жидкий мозг, ваши изнасилованные кишки станут выдавливаться из заднего прохода, лицо исказится настолько, что вы станете похожи на уродливую

жабу. Таким вы запомнитесь потомкам.

— Диктуйте, — вяло сник Маковский, принимая от Потрошкова золотую ручку, принимаясь писать под диктовку.

Стрижайло было невыносимо созерцать это униженное лицо недавнего красавца и властелина. Это он, Стрижайло, был повинен в унижении величия, в осквернении чести, в поругании достоинства. Грехи, которые искупал Маковский своими страданиями, ложились на Стрижайло и требовали для своего искупления еще больших страданий.

— «Я, недостойный, жид проклятый, обуреваемый алчностью,

похитил принадлежавшие русскому народу богатства, проедал, пропивал, тратил их на распутных девок, вкладывал в игорные дома, наркотики, торговлю оружием и человеческими органами, обрекая Россию-матушку на голод, мор, лютую гибель, за что с «Лобного места» прошу у русских людей прощения и готов принять от них мучительную казнь...» — монотонным голосом, каким учитель словесности диктует упражнения, вещал Потрошков, и Маковский послушно писал. — «Мучительную казнь...» Написали?.. «Я, урод, исчадие ада, выродок человеческий, ненавидя все русское, хотел привести

на святую Русь «новых хазар», чтобы
те разрушили храмы, осквернили
русских дев, поставили в центре
Москвы семисвечник вечной Хануки,
в чем признаюсь и каюсь, и готов в
каменоломнях искупать вину,
добывать камень для ремонта
памятника на Мамаевом кургане
«Родина-мать зовёт»... Написали?..
«Этим письмом отрекаюсь от
дьявольских заблуждений,
именуемых «либеральной
империей», от безумной мысли стать
Президентом России. Прошу
посадить Чубайса на электрический
стул, подключив всю мощь атомных
электростанций. А из кожи
Абрамовича прошу сделать

футбольный мяч, чтобы
национализированная команда
«Челси» могла пинать его на
стадионе «Локомотив»...
Написали?.. «А еще, имея
возможность много думать и
чувствовать, я в корне изменил
мировоззрение и стал коммунистом.
Прошу принять меня в члены КПРФ,
которая нуждается в обновлении, и
которую вместо Дышлова могу
спокойно возглавить...» Написали?..
Теперь подпись, число... Хорошо...

Стрижайло видел, как с каждым
написанным словом уменьшается
Маковский. Съезживается его тело.
Ноги отрываются от пола и
свешиваются со стула. Пальцам все

труднее сжимать ставшую тяжелой ручку. К концу покаянного письма он превратился в едва различимого гнома, что присел с края бумажного листа, выронив пишущий инструмент. Потрошков действовал продуманно, ловко, в согласии с законами природы, по которым ничто не исчезает в мире, но лишь меняет размер. Пережив пору расцвета и доминирования, под воздействием вредных условий, вид уменьшается настолько, что становится почти незаметным. Так гигантские ящеры не исчезли, но превратились в крохотных ящериц, живущих в корнях травы Стрекозы-исполины, затмевающие солнце в

каменноугольных лесах,
превратились в невесомых
прозрачных стрекозок. Великаны
Бамиана, от голоса которых
низвергались лавины и осыпались
ледники, измельчали настолько, что
стали современными людьми.
Олигархи, однажды появившиеся в
России, уже не исчезнут, но станут
столь бедными и мизерными, что над
ними возьмут шефство бомжи, —
станут показывать их крохотные
голые тельца в переходах метро и
выклянчивать у прохожих
милостыню.

С этим открытием из области
теории эволюции Стрижайло
покинул «Матросскую тишину»,

зная, что назавтра все газеты мира
напечатают историческое отречение.

глава двадцать восьмая

Страдания Дышлова, причиной которых был он, Стрижайло, страдания Маковского, подведенного к последней черте его же, Стрижайло, ухищрениями, породили не радость, не упоение успехом, не злорадное торжество над поверженным противником, но страдание, мучительное сомнение, чувство того, что прежде ему было неведомо и, по-видимому, именовалось грехом. Привносило в его жизнь небывалую муку, намного превышавшую телесную боль. Это был вид психического заболевания, разрушавший таинственные,

управлявшие жизнью системы,
которые одной своей частью
помещались в Стрижайло, а другой
управляли мирозданием.
Повреждение этих систем в
результате совершенного Стрижайло
греха нарушало ход светил,
космические закономерности,
грозило уничтожением бытия.
Страдание Стрижайло было
страданием Мироздания, страданием
Бога, и это было невыносимо.

И как результат неутихающей
муки, явился рост «второй души»,
«второго гена», прежде задавленного
и поверженного, напоминавшего
слабый голубой фитилек, над
которым возвышался, грозно

извивался огненно-красный червь. Теперь же этот «второй ген» возрос, наполнился золотым блеском, приобрел упругость спирали, которая своим встречным вращением противодействовала господству красного вихря. Их противоборство, схватка двух вихрей, двух встречных вращений приводили к остановке жизни. Два волчка, алый и золотой, стремительно вращались в разные стороны, приводя к неподвижности. Жизнь остановилась, но при этом стремительно таяла, расходуя себя в этом встречном кружении.

Он лежал на диване с закрытыми глазами, и ему казалось, что в его груди скачут, грызутся, бьют

друг друга копытами два коня, — пылающе-алый и светоносно-золотой, — их оскаленные ржущие головы, развеянные хвосты и гривы, секущие копыта. Вьются, сплетаются в раскаленный клубок, убивают друг друга, источая пульсирующее красно-рыжее зарево, и его грудь, как поле битвы, сотрясается от ударов жестокой схватки.

Это было невыносимо. Требовалось развести в разные стороны эти безумные вихри. Погасить раскаленные полюса, между которыми пульсировала «вольтова дуга» замыкания, пылало ало-золотое зарево, где плавилась и сгорала жизнь.

Испытанным средством было
вожделение. Пробуждение похоти,
которая давала выход сгусткам
жизненной плазмы, освобождала
плоть от неразрешимых
противоречий, окунала в землю
молнию безумного электричества.
Женщина была громоотводом, куда
улетали разрушительные заряды,
тонули кошмарные фантазии,
рассыпались невыносимые для
разума загадки, гасли неопознанные,
прилетавшие из других миров
объекты. Женщина была «черной
дырой», куда мужчина сбрасывал
обременительную субстанцию,
побуждавшую его стать
сверхчеловеком. Стрижайло

вознамерился прибегнуть к испытанному средству спасения, — решил разбудить в себе похоть.

В глубине кабинета находился шкафчик из карельской березы, — вместилище драгоценной коллекции. В нем хранились сувениры любви, фетиши любовных усад, охотничьи трофеи, добытые в страстных гонах, хитроумных засадах, смертельных поединках. За каждым фетишем присутствовала женщина, — ее обнаженное тело, блеск оскаленных зубов, влажная краснота языка, рассыпанная грива волос, белая, попавшая в свет лампы нога, розовая, окруженная тенями грудь. Если коснуться фетиша, прижать к губам

кружевной бюстгальтер, изящную остроносую туфельку, гибкий, охватывавший талию пояс, то мгновенно явятся их обладательницы. Ноздри задрожат от жарких запахов. Слух наполнится стонами, шепотами. Сердце забухает, загрохочет в груди, перегоняя кровь из больной головы, где тут же станут умирать и чахнуть неразрешимые вопросы бытия, — в пах, где начнет возрасть упрямый стебель, выше и выше, становясь гигантским деревом, в поднебесной кроне которого сидят волшебные птицы с павлиньими перьями и золотыми глазами.

Предвкушая сладострастные переживания, Стрижайло поднялся с

дивана и стал приближаться к шкафчику. Так, должно быть, восточный султан приближается к резным дверям гарема, где в опочивальне, под прозрачными балдахинами, чутко дремлют пленительные наложницы, обожаемые жены, очаровательные полонянки, готовые проснуться от шороха, окружить повелителя своей прелестной наготой.

Он отворил янтарные створки. Приоткрылась темная глубина, где слабо светлели принадлежности дамского туалета, брелки и цепочки, оброненные пуговицы и забытые брошки. Были готовы превратиться в их обладательниц, опьянить

Стрижайло горячей белизной, русалочьим смехом, прикосновением теплых губ и нежных пальцев. Но из темной глубины, как из жуткой расщелины, вырвались фурии, неистовые амазонки, косматые разъяренные ведьмы. Стали носиться по комнате, ударяясь о потолок и о стены. Цеплялись за люстру, кидались на Стрижайло, норовя вцепиться отточенными когтями. Поволокли на диван, прикручивая ремнями. Забивали ему рот душными волосами, сдирали с треском одежду, брызгали в глаза ядовитой слюной. Его кабинет превратился в адскую катакомбу, в камеру пыток, где он получал воздаяния за совершенные

грехи. Все женщины, с которыми он прелюбодействовал, вовлекал в распутство, терзал своей похотью, явились к нему, чтобы мстить.

Разъяренная поп-звезда, озаренная огнями рамп, с волосами, похожими на гриву кобылицы, плеснула ему в пах ковш кипятка, отчего покрылись волдырями его срамные места, и ошпаренная плоть вырвала из него нечеловеческий рев боли, от которого поп-звезда хохотала, обнажая свои вставные фарфоровые зубы.

Дама из «Фонда Карнеги», обычно аристократическая, с манерами английской леди, теперь

напоминала разъяренную самку шакала. Хрипела от ненависти, выкрикивала сквернословия, сбрасывала с языка желтую зловонную пену. Ухватила тяжелый молоток и с размаху ударила по воспаленному семеннику, разбивая всмятку, так что брызнула кровь, смешанная с незрелым семенем. Стрижайло на мгновение потерял сознание, которое вернул ему адский вопль торжества, излетевший из дымной пасти высокопоставленной дамы.

Телеведущая, управляющая основными инстинктами, обычно похожая на изумленную ангорскую кошку, теперь была сущей ведьмой.

Выгнула горбатую спину, рассыпала седые, полные перхоти волосы, колыхала высохшими, как кожаные чехлы, грудями, скрежетала желтыми зубами. Держала над Стрижайло шипящий бенгальский огонь, милую сыпучую звездочкою. Когда звезда прогорела, оставив красную раскаленную проволоку, ведьма ввела ее в канал, из которого Стрижайло извергал порочное семя. Боль, которую он испытал, была такова, что он взорвался ревом, затрепетал жуткими конвульсиями, попытался разорвать стягивающие его ремни, за что получил от телеведущей оглушающий удар под дых.

Торжествующую ведьму сменила маленькая, скромная, как улитка, писательница. Вкрадчиво, словно сестра милосердия, подоткнула под Стрижайло простынку, взяла тонкий блестящий скальпель. Приговаривая: «Ах, ты мой масенький, мой шалунишка», взрезала ему детородную плоть по всей длине, как разрезают огурец, и как огурец же посыпала солью, складывая рассеченные половинки. Стрижайло издал звук, с каким в бурю падают столетие дубы. Звук был столь ужасен, что обитатели дома замерли, прислушиваясь в тектоническому трясению. А писательница, как скромный слизнячок, отползла в

сторонку, высовывая из ракушки рогатые антенки.

Банкирша, соблазненная им на фуршете в «Президент-отеле», пополнившая коллекцию фетишей черной остроносой туфлей фирмы «Габер», теперь орудовала этой туфлей. Засовывала отточенный, с металлической набойкой каблук в нежное место среди ягодич. Каблук проникал в сокровенную глубину, раздирал чувствительные оболочки. Стрижайло хрипел от боли, умолял о пощаде. Но вслед за каблуком в него погружалась вся туфля, а вместе с ней и нога, по щиколотку, по колено. Банкирша поднимала его на могучей ноге, вращала, как циркачка. Туфля

высверливала в нем жуткую воронку боли, от которой он терял рассудок.

Он пробовал звать на помощь, грозил насильницам жестокой расправой, ссылаясь на знакомства и связи, косноязычно молился. Разъяренные женщины слушали его угрозы и сквернословья, пока одна из них, вице-спикер Думы, огромная, с толстым крупом, ни села ему на лицо душными тяжелыми ягодицами, и в его кричащий рот, фыркающие ноздри, расплющенные глаза хлынула горячая едкая жижа, от которой он захлебнулся.

Женщины водили вокруг него неумомимый хоровод, тот самый, какой изобразил Матисс, когда на

синем лугу танцуют красные, как стручки перца, ведьмы. То одна, то другая прерывала танец, выходила из хоровода и принималась изощренно мучить Стрижайло, причиняя все новые и новые страдания. Словно Бог, сотворяя человека, одновременно выдумал для него бесконечные формы мучений, приберегая их на случай своего гнева. Они мучили его тем же, чем он раньше добывал для себя наслаждения. На каждый оттенок его былых вожделений они находили изощренный мучительный ответ. Выпускали ему в пах муравьев и кусающих сороконожек. Вываливали груды червей, которые впивались в

нежные мякоти, превращая их в
зловонную гниль. Заражали его
болезнями, от которых он исходил
мутной жижей, испытывая
нестерпимые рези. Его грибовидный
отросток покрывался язвами,
мерзкими нарывами,
перламутровыми опухолями, на
которые мстительные ведьмы
взирали с торжествующим
злорадством.

Когда Стрижайло почти уже
умер, не различал в какофонии боли
отдельных нот и звучаний, из
хоровода выскользнула Дарья Лизун.
Голая, с кристалликами
бриллиантов, воссоздавших на ее
чудесном теле созвездие Кассиопеи,

она приблизилась танцующей
походкой, напевая
сомнамбулическую мелодию
«Нирваны». Задумчиво разглядывала
распростертого перед ней,
бездыханного Стрижайло. Взяла
молоток, оставленный
предшественницей, гвоздь «сотку»,
каким прибивают кровельный
шифер, и хладнокровно вогнала
гвоздь в яйцо Стрижайло, отчего
политолог на мгновение вернулся к
жизни, чтобы через секунду
окончательно умереть. Вместе с ним
умер и весь институт отечественной
политологии. Последним скончался
Мигранян, путая армянские и
турецкие слова, которыми пытался

обосновать необходимость
авторитарного режима в России.

Пока жестокий гвоздь проходил
сквозь нежный розовый семенник,
убивая Стрижайло, тот слышал
знакомую музыку «Тангейзера»,
которой был заряжен его мобильный
телефон. Будучи мертвым, он все же
протянул к тумбочке руку, доставая
играющий органчик.

— Слушаю, — слабо произнес
он, давая знать о себе из
преисподней, куда проникла
вездесущая радиоволна «Билайна».

— Здравствуйте, мой дорогой, —
раздался жизнерадостный голос
Потрошкова. — Через минуту к вам
поднимется Веролей. Отвезет в

удивительное место, где я вас уже поджидаю.

Изнемогая от пережитых мучений, Стрижайло был рад Веролею. Этот странный человек, напоминавший прохладную сине-зеленую водоросль, вяло плывущую по теплой маслянистой воде, подействовал на него, как компресс из целебных растений, — комок из сырых стеблей прикладывают к истерзанным ягодицам, ошпаренному паху, содранным слизистым оболочкам, и боль угасает, и возникает умиление, благодарность к сердобольному лекарю.

— Вы мне так помогли, —

только и мог вымолвить Стрижайло, усаживаясь в машину рядом с Веролеем, пожимая его вялую, чуть влажную руку. Как в тихом обмороке, под действием анестезии, смотрел на мелькающий за окнами город, с трудом узнавая Кремль, каменные скрижали Нового Арбата, запорошенную снегом Триумфальную арку, Поклонную гору с танками, на каждом из которых был снежный сугроб. Лишь на Успенском шоссе, среди заиндевелых сосен, пришел в себя и окончательно уверовал в реальность окружавшей его действительности. Хотя и не надолго.

Машина скользнула в высокие

ворота виллы, и он оказался перед знакомым дворцом Маковского, напоминающим «летающую тарелку». Гигантская и в то же время невесомая конструкция, охваченная светящимися кольцами и поясами, почти не касалась земли. Держалась на хрупком черенке, тонком отростке, готовая порвать связь с землей и на столбе синей плазмы, окруженная ртутным паром, унести в тусклое небо, осыпая сосен ворохи талого снега.

Перед входом его ждал Потрошков. Жизнерадостный, смешливый, приобнял Стрижайло, как душевного друга, ввел с мороза в теплый благоухающий вестибюль.

— Решил вам приготовить сюрприз. Мы продолжаем общаться с господином Маковским, находя полное взаимопонимание. В наше последнее свидание в «Матросской тишине», испытывая к вам безграничное уважение и признательность, он подарил вам свое имение, — этот замечательный дворец, напоминающий космический ковчег, на котором на нашу грешную землю прилетели пришельцы. Пришельцы-олигархи один за другим покидают планету, оставляя свои звездолеты нам, грешным землянам. Все документы на право владения оформлены. Теперь вы — хозяин дворца, —

Потрошков широким, одаряющим жестом повел вокруг, передавая в собственность обомлевшего Стрижайло все великолепие интерьеров, где дорогие пластики, драгоценные сплавы, редкие породы дерева, разноцветные яшмы и мрамор лишь подчеркивали космическую архитектуру ковчега. — Осмотрим помещение, где вы сможете принимать элиту, среди которой занимаете теперь одно из самых почетных мест.

С этими словами Потрошков подвел Стрижайло к лифту, и они начали осмотр дворца так, как если бы Потрошков знал все его закоулки и интимные уголки.

Ковчег по периметру
опоясывали стеклянные обручи,
прозрачные пояса, ярусами
поднимаясь к вершине. Нижний ярус
был наполнен нежным зеленым
свечением и являл собой
великолепную оранжерею. Снаружи,
за стеклом был мороз, поблескивал
снег, а здесь было влажно, тепло, как
в тропическом лесу, высились
косматые стволы пальм, извивались
лианы, тянули пушистые лапы
араукарии, цвели олеандры и
орхидеи. В этих зеленых кущах
сочились ручьи, перелетали
экзотические бабочки, ноздрям было
сладко от медовых благоуханий,
душистых испарений, и глаз

останавливался на алмазной капле, висящей на пернатом листе.

Второй стеклянный пояс являл собой аквариум, нежно-зеленый, серебряный, с разноцветными камнями, колючими кораллами, струями драгоценных пузырей, среди которых мелькали ослепительные стаи рыб, вспыхивали изумрудные, алые, золотые сполохи, ползали по песку розовые крабы, переливались перламутровые раковины, слабо шевелились актинии, и внезапно проносилось пылающее существо бездонных глубин, похожее на шаровую молнию. Снаружи падал снег, дул ледяной ветер, а здесь протекала восхитительная жизнь

кораллового рифа, как сновидение.

Третий пояс был царством птиц. Трепетали крохотные колибри, засовывая тонкие клювы в чашечки цветов. Раздували зобы пятнистые хохлатые удоды. Сидели на суках огромные, стоцветные попугаи. Расхаживали у искусственных озер длинноногие журавли и цапли. Особенно великолепными на фоне снежной белизны казались величавые павлины, распускавшие изумрудные хвосты, в которых горели светильники и лампы таинственного божества.

Стрижайло не верил, что это великолепие принадлежит теперь ему. Оно было чуждо ему. Не его

замысел лежал в основе ковчега. Не его прихотям и причудам служили стеклянные пояса, куда была собрана земная жизнь, чтобы унести ее в беспредельный Космос, на иные планеты, если землю накроет потоп.

Потрошков вел его по внутренним покоям дворца. И здесь не покидало ощущение, что хозяин готовился улететь с Земли, собирая в ковчег свидетельства земной цивилизации, чтобы предъявить их обитателям других миров, пополнить коллекции инопланетных музеев.

В винном погребе на полках лежали запыленные и замшелые бутылки итальянских и французских вин, все виды коньяков, шампанских,

пьянящих напитков, с помощью которых земляне пытаются дотянуться до звезд, раздвинуть возможности разума, обнаружить скрытые от постижения миры. В огромной библиотеке были собраны книги народов и царств, — заключенные в растресканную кожу рукописные священные тексты, новомодные, в нарядных суперах бестселлеры, глянцевые журналы, которые рядом с манускриптами древности казались заветами последних времен. На стенах висли картины Возрождения, барбизонцы, импрессионисты, русские передвижники, «Мир искусств», полотна авангарда, и среди них, в

стеклянном колпаке, с датчиками влажности и температуры, выделялся «Черный квадрат» Малевича, как священный образ непознанного мироздания, куда умчится с земли реактивный звездолет. Коридоры и галереи были увешаны оружием, — от каменных боевых топоров, скандинавских мечей и арабских сабель, до мушкетов и штыков наполеоновской армии, «шмайсеров» и ППШ времен Второй Мировой. Странно и загадочно сиял медный компас с подводной лодки Маринеску, потопившей немецкий транспорт «Вильгельм Густлов» с пятью тысячью отборных подводников. В гостиной в

стеклянных шкафах красовалась посуда всех времен и народов, — греческие глиняные амфоры с меандром, обожженные месопотамские горшки для хранения семенного зерна, дивные бокалы голубого венецианского стекла, нежные сервизы севрского фарфора, китайские вазы и русский хрусталь, гератские бутылки и блюда, сияющие бездонной лазурью.

Все это принадлежало ему, Стрижайло, но не доставляло радости. Это напоминало облачение, снятое с убитого. Драгоценность, добытую мародером. Если он обоснуется в этих роскошных покоях, ему будет являться призрак

Маковского, станет тянуть измученные руки, запрещая касаться заповедных предметов.

Они вошли в «охотничью комнату», где были собраны трофеи хозяина, добытые в африканской саванне, сибирской тайге, в сельве Амазонки, на ледяном побережье Антарктиды. В углу, на кривых задних лапах стояло косматое чучело медведя с блеском белых клыков, кожаным носом, с проседью в черной шерсти. Из стены высовывалась горбоносая голова сохатого, увенчанная тяжелой костяной короной. Нежная антилопа словно выскакивала из зарослей тростника, наклонив острые, витые

рога. Повсюду скалились волки, лисы, гепарды, смотрели злыми стеклянными глазами гиены, росوماхи и рыси. Башка буйвола была, как живая, с влажными расширенными ноздрями, огромным костяным полумесяцем. Слоненок недоуменно свил хобот в вопросительный знак. Стрижайло с опаской, тайным содроганием рассматривал отсеченные звериные головы, шерстяные оболочки, из которых удалили мускулы, сердца, дышащие легкие, заполненные опилками и пенькой. Вдруг взор его ужаснулся, натолкнувшись на чучело. Отлетел и вновь устремился на искусное изделие, — женщина

выламывалась из стены, голая по пояс, умоляюще протягивая руки. Ее полные белые груди казались живыми и теплыми, на выпуклом мягком животе темнела выемка пупка, смоляные блестящие волосы были закручены в косу, на луновидном лице светился нежный румянец. Это была Соня Ки, прелестная дочь шамана, подарившая Стрижайло столько нежности и любви. Смерть настигла ее в момент, когда она сбрасывала с себя обличье полярной совы, превращаясь в речную рыбу. На плечах ее еще сохранялось мягкое оперенье, а на бедрах начинала появляться перламутровая чешуя. Узкие глаза

были полны темных слез. Руки умоляли о пощаде. Приоткрытые губы шептали имя любимого человека. Она поплатилась за свое вероломство, изменив жестокому властелину, который столь страшно отплатил ей за ее краткую связь со Стрижайло. Едва не лишившись чувств, испытывая такую боль и вину, словно в сердце его воткнули раскаленную спицу, Стрижайло поспешил покинуть «охотничью комнату», боясь увидеть среди умерщвленных животных других знакомых и близких.

Теперь они сидели в уютном баре. Перед ними стояли высокие граненые стаканы с молочным

коктейлем, и Потрошков говорил тихим исповедальным голосом, предлагая Стрижайло истины, которые невозможно было обсуждать, а только принимать на веру.

— Я говорил вам, мой друг, что в Синайской пещере было открыто, а потом усилиями лучших криптографов расшифровано «Евангелие от Иуды Искарота». Суть тайного учение о «втором христианстве» в том, что своим поцелуем в Гефсиманском саду Иисус передал любимому ученику тайный завет, — когда иссякнет в людях свет жертвы Христовой и завершится «первое христианство»,

само человечество, по поручению
Господа, займется
усовершенствованием рода людского.
Исправлением порч и греховности,
выведением нового богоподобного
человечества через преображение
плоти, изживание первородного
греха, что достижимо методами
генной инженерии. В тексте это
названо «перенесением сущностей»,
«вкушанием частиц», «сотворением
нового в старом, иного в данном,
винного в водяном, хлебного в
каменном, непорочного в порочном».
Поцелуй Иисуса преобразил Иуду,
наполнив его неизреченным Логосом
нового учения, которое было
неиссякаемым светом, нетленной

мыслью, непреломляемым лучом. Преображение коснулось всей личности Иуды, сделав его Сыном Сына Божьего, а также каждого его отдельного атома, который нес в себе поцелуй Христа, как частица, не подверженная распаду. После смерти Иуды в глубине синайской пещеры атомы его преобразенной плоти излетели из расщелины, разнеслись по миру вместе с ветром, водой и солнечным светом. Вошли в состав людских эмбрионов, вторично оплодотворив уже оплодотворенные утробы, из которых в разные времена, в разных краях земли рождались от разных матерей Дети Иуды. «Иудино племя», состоявшее

из великих властителей, чьи земные
радение были направлены на
соединение пространств и народов,
сочетание умов и глаголов для
грядущего «Иудина Царства»,
охватившего пределы земли. Такое
Царство и будет местом, где
восторжествует «второе
христианство», обретется
богоподобное человечество...

Стрижайло внимал, как
внимают откровению, не подвергая
услышанное сомнению и анализу.
Его душа была потрясена зрелищем
чучела Сони Ки, в смерти которой
был повинен он, его легкомысленное
увлечение, бездумная любовная
история, стоившая жизни милой

доверчивой девушке. Испуганный и сотрясенный разум обнаружил в себе пустоту, которая наполнялась таинственными словами. Так стены и своды пещеры покрываются письменами и знаками, наскальными рисунками и волшебными рунами. Потрошков был жрецом и художником, украшавшим своими иероглифами сумрачную душу Стрижайло. Подбородок Потрошкова напоминал экран телевизора, млечно-белый, с искрящейся пустотой, с проблеском сигналов, пробегающими трепетными линиями. Еще не было изображения, но оно приближалось, мутно проступало. Стрижайло,

варварскими ордами, был иудин отпрыск, ибо вливал в горнило одряхлевшего великого царства молодую свирепую кровь еще не включенных в цивилизацию народов. По многим свидетельствам преобразенную молекулу воспринял в лоне матери будущий Карл Великий, воссоздавший блеск и могущество Рима. Фридрих Барбаросса, направивший орды германцев на покорение востока. В поздние времена Франция обнаружила в себе целую ветвь иудиных отпрысков, к которым смело можно причислить Карла IX, гонителя гугенотов, Людовика XIV, «короля солнца», Наполеона,

покорителя мира. В Англии таковыми несомненно являлись Кромвель и Уинстон Черчилль. В Германии — Бисмарк и Гитлер. В Америке — Джордж Вашингтон, президент Рузвельт, и как ни странно, чернокожий певец Поль Робсон. В России «иудина молекула» залетела в княжеский род московских великих князей через оплодотворенное лоно Софьи Палеолог, приобщив к великому племени Ивана IV, Петра I, а в нашу эпоху — Ленина, Сталина и Максима Горького. Помните, в Красноярске, у саркофага усопшего Сталина вы наблюдали, как остывшее тело вождя покинула последняя живая частица,

луковка седого волоска, улетев в бездонный разлив Енисея? Это улетела в бескрайние пространства жизни бессмертная молекула, «христов поцелуй», чтобы вселиться в чью-то, еще несотворенную плоть...

На экране подбородка, из голубой млечности, словно лунные пятна, появлялись изображения. Величественный лик римского императора в золотом венце. Яростный предводитель гуннов, с рассыпанными по плечам волосами. Основатель династии Меровингов в диадеме с сапфирами. Германский король с рыжей, как огонь, бородой. Их сменяли властители Франции, —

камзолы с кружевными манжетами и плюмажем на шляпах, полевой сюртук и военная треуголка. Стрижайло узнавал английских правителей, которых видел совсем недавно в ночном дождливом Гайд-Парке, — воинственного Кромвеля и брюзгливого Черчилля. Вашингтон и Рузвельт и черный, с красным языком, Поль Робсон напоминали изображения на майках, какие продаются в недорогих бутиках для поклонников хип-хопа. Бисмарк и Гитлер, оба в профиль, воспроизводили изображения на немецких почтовых марках. Иван IV был скопирован с парсуны. Петр Первый — с мозаики Ломоносова

«Полтавская битва». Ленин был работы художника Жукова. Сталинский профиль был взят с медали «За победу над Германией». Максим Горький — тот самый, что и поныне украшает «Литературную газету». Упоминание Потрошкова о том или ином представителе «иудина племени» тот час переводилось в изображение, и Стрижайло казалось, что подбородок превращает мысль Потрошкова в голографическую картинку, которую можно вращать и увидеть, как подстрижены волосы на затылке фюрера, какой жировик набух за ухом Фридриха Барбароссы.

Картинки возникали и таяли, и это напоминало сон с открытыми

глазами или лунатическое шествие по карнизу небоскреба. Учение, которое он слышал, порождало безволие. Он понимал, что приобретаемое знание лишает его сладкой мечты — перенестись в иную, сокровенную жизнь. Навсегда оставляет в жизни нынешней, где властвуют демоны, захватившие в плен его душу.

Каждое слово Потрошкова порождало легкую вибрацию, — это вздрагивали округлыми шерстяными тушками населившие его духи тьмы.

— «Иудино племя» прочерчивает в истории отчетливый след, являя нам деятелей властных и могучих, собирателей земель,

устроителей царств. Все народы, все земные пределы, все бытующие в человечестве знания и умения должны слиться в единую мировую чашу, в которой вскипит огненное и лучезарное «Второе Христианство». Мы отыскиваем этих отпрысков боготкровенного апостола по царственным венцам, великолепным дворцам и храмам, великим походам, грандиозным битвам. Иногда и по плахам, массовым казням, пожарищам и погромам. Иногда же хроники и свидетельства очевидцев, народные предания и волшебные сказы указывают нам, как внезапно тот или иной владыка, — кесарь или король, народный вождь или

полководец, в самый яркий момент своего боготкровенного творчества обретал черты праотца. Словно молекула, залетевшая в его плоть из синайской пещеры, раскрывала свое сокровенное происхождение, награждая ее носителя чертами Иуды. Так позднеримский писатель, участник битвы с варварами, свидетельствует, как несущийся во главе варварской конницы белокурый и голубоглазый Атилла, в кожаных доспехах, звериных шкурах, свирепо рассекающий ряды легионеров, вдруг преобразился в седле. Превратился в прекрасного смуглолицего иудея с фиолетово-черным взором, смоляными кудрями, алым

огнедышащим ртом. В седле скакуна мчался апостол Иуда, неся на острие копья сверкающий «поцелуй Христа». Рассказ гугенота, уцелевшего после Варфоломеевской ночи, повествует о Карла IX, который с балкона дворца расстреливал из мушкета несчастных иноверцев, мужчин и женщин, выбегавших в нижнем белье на улицы ночного Парижа. После очередного удачного выстрела, когда сраженная пулей пышногрудая женщина упала на мостовую, прикрывая телом младенца, на балконе дворца вместо короля вдруг возвысился прекрасный темнокудрый еврей с любящим вдохновенным лицом, и в стволе

мушкета цвела алая благовещенская роза. Президент США Рузвельт, немощный, в инвалидной коляске, в «овальной комнате» Белого дома ждал сообщения о результатах спецоперации, когда «летающая крепость» Б-29, бортовой номер 44-8629, приближалась к Хиросиме, неся на борту атомную бомбу «Малыш». Когда заряд накрыл Хиросиму и командующий Тихоокеанского флота доложил об успехе, президент из немощного англосакса превратился в красавца Иуду. Яростный, великолепный, пылая очами, поднялся с инвалидной коляски, поцеловал воздух алыми губами, посылая воздушный поцелуй

в Хиросиму, возвещая эру атомных бомб и «меченых атомов», где каждый взрыв, каждый дымный взорванный кратер, — божественный цветок Мироздания. В русском фольклоре, в монастырских списках, в пересказах иностранных послов есть свидетельства дивных преобразений, когда в облике царей и правителей проступал их великий пращур. Иван Грозный, явившись в Новгород, устроил резню, — топил вольнолюбцев в Волхове, рубил посадским головы на плахах у Святой Софии, бросал в костры отроковиц и младенцев, саблями рассекал на куски строптивых купцов. Стоял на мосту,

обезумевший, в рыцарских латах, с окровавленной саблей. Смотрел, как под мостом проплывает плот, и на нем корчатся посаженные на кол мятежники. Преобразился ликом, обрел черты прекрасного иудея, посылал казнимым воздушный поцелуй, и те отвечали мертвеющими губами. Петр Первый в застенке, подняв на дыбы тщедушного сына, приказал его бить хлыстом, вышибал из щуплого тела клочки кровавого мяса, подносил к окровавленным ребрам пук горячей соломы. Когда царевич отдавал Богу душу, царь внезапно скинул камзол, сбросил парик. Возвысился под мрачные своды, обратившись в

красавца-еврея со смоляными кудрями. Наклонился к сыну, целуя его последним лобзанием, и царевич с дыбы откликнулся на поцелуй словами: «Люблю тебя, отче...»

Стрижайло пребывал в болезненном возбуждении, напоминавшим горячечный бред. Все его тело жгло, будто в сосудах перемещался огненный червь, вторгался в ту или иную часть тела, накаляя ее изнутри. Снаружи выступала болезненная сыпь, воспаленная краснота, водяные волдыри, какие бывают, если хрястнуть крапивой или вкусить ядовитых грибов. Червь был невидим, но отчетливо ощутил

СВОИМ ВВИНЧИВАНИЕМ И
проникновением в суставы и печень,
в изнемогающее сердце и набухший
мозг, где пульсировал готовый
разорваться сосуд. Так действовали
слова Потрошкова, который не
уставал свидетельствовать о
чудесных преобразования, где в разные
времена и царствования являлся
народам Иуда. Так, по утверждению
Потрошкова, он явился весной сорок
пятого года в бункере Имперской
канцелярии, где Гитлер сбросил
военный френч, содрал с верхней
губы усы, стянул с черепа косую
челку и предстал в абсолютно
неарийском образе древнего
иудея, — в таком виде и засунул

ампулу яда в улыбающийся рот Евы Браун. Произнося знаменитую речь в Фултоне, возвещавшую начало «холодной войны», Черчилль вдруг лопнул, как перезрелый патиссон, и из него восстал библейского вида, смуглый, страстный семит, закончивший речь на kloкочущем арамейском языке. Ленин, приехав из-за границы на Финский вокзал, поднялся на броневик, взывая к восставшему пролетариату, и уже на четвертой фразе в туманном воздухе на мокрой броне возвышался неистового вида зелот с перевязью на смуглой лбу, голый по пояс, играя мускулами, держа в руках пергаментный свиток, где

«Апрельские тезисы» были зашифрованы халдейской криптограммой. Сталин превратился в Иуду на глазах Судоплатова, когда тот сообщил, что отточенный ледоруб Меркадера пробил черепную коробку Троцкого. Максим Горький на трибуне Первого съезда писателей, провозглашая метод социалистического реализма, вдруг стал похож на того обворожительного Иуду, которого на фреске «Тайная вечеря» изобразил бессмертный Леонардо. Был, впрочем, и конфуз, случившийся с Ельциным, — желая повторить пафосную сцену на Финском вокзале, он тоже залез на танк. Однако превратился не в

великолепного, дивного ликом Иуду, а в худосочного, облупленного, с утлым тельцем и мохнатенькой бородкой политолога Радзиховского.

Стрижайло чувствовал в себе движение червя, упругие конвульсии, катившиеся по кольчатому телу, сгустки перистальтики, ядовитые соки, жалящие изнутри нежную плоть. Был близок к обмороку.

— Откуда вы все это знаете?.. Откуда в вас сокровенное знание?.. — прошептал он, обращая к Потрошкову пылающее лицо.

Воздух вокруг Потрошкова остекленел. По нему побежала рябь. Образ Потрошкова заструился, как отражение, стал распадаться. И

вместо шефа ФСБ, его
партикулярного пиджака, дорогого,
но скромного галстука, узкой
макушки, которая расширялась в
мясистые сизые щеки и кожаный,
похожий на кошель подбородок,
вместо сизого вислого носа и
зеленых каменных глаз вдруг явился
иной облик. Смуглая атласная кожа
прекрасного молодого лица. Гордый
орлиный нос пылкого иудея.
Вьющиеся, с вороньим отливом
волосы. Алые губы, в которых
жемчужно блестели зубы.
Совершенное в пропорциях тело,
едва прикрытое легкой накидной.
Иуда во всей неукротимой энергии и
апостольской страсти, вероучитель,

хранитель заветов, носитель великих тайн, возник перед Стрижайло. С любовью и неотступным бдением взирая на него пылающими месопотамскими очами. Прикладывал к его горящему лбу перстень с магическим камнем, на котором был иссечен знак рыбы. Стрижайло ахнул и лишился чувств.

Очнулся через минуту в объятьях Потрошкова, который заботливо поддерживал его голову, вливал в омертвелые уста молочный коктейль:

— Отпей, мой друг, сей напиток премного полезен. Способствует унятию трясений и дурного жара в распаленных суставах. А так же подвигает к успокоению

воспламененный мечтаниями разум,
равно как и изнуренные неусыпным
бдением чувства.

Они покинули дворец,
облачились в шубы и прогуливались в
сосняках по расчищенным
тропинкам, которые снежной
белизной и свежестью напоминали
густую сметану, в которую воткнули
ложки. В отдалении сквозь красные
стволы просвечивал алюминий
самолета. Но они не приближались к
нему, кружили по лесу. В соснах, в
сизо-зеленой хвое скакали птицы.
Клесты с розоватыми грудками
долбили загнутыми носами сосновые
шишки, лакомились вкусными

семенами. Свиристели веселой стаей, хохлатые, пышные, оглашали воздух нежными посвистами. Снегири, красные, круглые, как яблоки, перелетали низко над снегом, поражая взор сочетанием белизны и алого цвета. Щеглы, шустрые, нарядные, с золотом, изумрудом на перьях, шумно рассаживались по ветвям, роняя снежную пыль. Дятлы долбили стволы, превращая их в тамтамы, в красных колпачках, похожие на кардиналов. Стрижайло радовался обилию птиц, успокаивался от недавних треволнений.

— Тебе нравятся птицы? Я специально распорядился завести в

эту рощу несколько популяций, выведенных в генетической лаборатории. Они разнообразят твои прогулки, сделают твое новое владение еще более привлекательным. — Это сообщение раздосадовало и испугало Стрижайло. Его окружали птицами, созданными в лаборатории ФСБ. Одни из них могли быть живыми, подслушивающими устройствами, другие — биологическими бомбами, третьи — пернатыми гипнотизерами, использующими свои переливы и щебеты для внушения заданных мыслей. — Я тебе доверяю, мой друг, как ни одному из моих сотрудников. Не потому, что у меня в заложниках

находится твой сын. А потому, что твое дарование начинает сверкать лишь в сочетании с моими возможностями. Тебе я открыл тайну «Второго Христианства». Тебе показал лабораторию, сотворяющую совершенного человека. Ты видел Бокс 76-УФ, куда на сияющих крыльях влетел архангел Гавриил, специалист по непорочному зачатию. Теперь я открою тебе нечто большее...

Над ними уселась сойка, раскрыв крылья такой синевы, что захватывало дух от этой мистической лазури, той же, что и цвет ангелов на рублевской «Троице». Сойка смотрела на Стрижайло круглым

блестящим глазком, передавая изображение на спутник, а с него в таинственные штабы разведки.

— Наш Президент, еще вчера приверженец конституционной монархии, регент будущего монарха, чья идеальная форма напоминает сферу, а разум превосходит интеллекты выдающихся ученых мира, — Президент Ва-Ва, к великому моему сожалению, эволюционирует в сторону абсолютизма. В нем проявились дурные наклонности его бабушки, которая была секретарем комсомольской организации завода «Электросила» и прославилась своим деспотизмом. Он уже

сокращает расходы на генетическую лабораторию. Высказывает сомнения по поводу династической правомочности цесаревича. Манкирует обязанностями регента и в свою последнюю с ним встречу рассказывал о казни Людовика VI и Николая Второго, о дворцовых переворотах, стоивших жизни Петру III и Павлу I и так перепугивал цесаревича, что тот стал терять сферическую форму, превращаясь в эллипсоид. Одним словом, есть серьезные основания считать, что Президент готов совершить династический переворот, отрешить цесаревича от престола и самому стать самодержцем всея Руси. Этого

нельзя допустить. Цесаревич заканчивает курс обучения, наращивает последние хромосомы, и нужно три-четыре года, пока он ни созреет для власти. За это время Президент Ва-Ва должен быть ослаблен настолько, что потеряет всякую привлекательность в глазах элит и народа, и ему предпочтут цесаревича, совершенного разумом и идеального телосложением. Мы должны ослабить Президента Ва-Ва...

Тропинку перелетел сизоворонок, осыпал снег с хвои, вцепился лапками в сук, поворачивая по сторонам гладкое, с отливом тельце, надувая на горле нежный,

усыпанный рябью зоб. Стрижайло смотрел на него с опаской, предполагая, что это безоболочное взрывное устройство, замаскированное птичьими перьями. Радиоимпульс замкнет расположенный в горле взрыватель, грохнет направленный взрыв, ударит в тропу кумулятивной струей.

— Предстоит компания по выборам Президента. Нам не нужен другой Президент. Нужен этот, но только ослабленный. Компанию следует провести так, чтобы она напоминала балаган, в котором Президент выглядел бы клоуном в окружении шутов и уродцев. Пусть он выигрывает выборы, но народ станет

над ним потешаться. Существует проект компании под условным названием: «Смех и слезы». Тебе поручается разработать ту его часть, что связана со «смехом». Мы должны подобрать для него таких конкурентов, провести их дебаты столь смехотворным образом, чтобы выборы выглядели, как шапито. Ты, мой друг, мастер цирковых представлений...

Стайка милых звенящих синиц уселась в сосну, наполнив ее мелкими драгоценными искрами, золотыми, зелеными, голубыми. Сновали, перелетали, ловко шарили клювами в слоистой коре, отыскивая сонных личинок, уснувших на зиму

бабочек. Но и в этом чудился коварный обман, — всей стаей порхнут на Стрижайло, уколут тонкими клювами, впрыснут быстродействующий яд, от которого остановится сердце. Его найдут замерзшего на тропе среди милых снующих синичек.

— Я произвел предварительный подбор претендентов, добился от них согласия баллотироваться. Это известный гробовщик, владелец огромной сети погребальных контор, имеющий соответствующую фамилию — Гробман. Крупнейший фармацевт, продавец «веселящего газа» Бренчанин. Известная всем либералка японского происхождения,

с талией ядовитой осы Хакайдо. Небезызвестный аграрник Карантинов, друг нашего несчастного Дышлова, не рискующего участвовать в выборах. Либеральный демократ Золушкин, который так и не научился писать и в ведомости для зарплаты ставит против своей фамилии отпечаток пальца. И, наконец, неунывающий вице-спикер Совета Федерации Матронов, у которого при слове «Президент» случается поллюция. Все они пойдут на выборы. Тебе же, мой друг, следует подготовить их программы, разбить на пары и устроить дебаты так, чтобы в их окружении Президент выглядел

дураком, на голову которого надели ночную вазу. Такова концепция той части проекта, что подпадает под формулу «Смех»...

На тропинку просыпалась стайка желтогрудых овсянок. Птицы выглядели сытыми, неторопливо бежали впереди прогуливающихся, неохотно взлетали и вновь, с мелодичными переливами, опускались на снег. Стрижайло слушал их птичьи голоса, тонкие посвисты, и в них звучало гипнотическое увещание: «Соглашайся!.. Мы просим тебя, соглашайся!..»

— Ты согласен, мой друг? — спросил Потрошков, испытующее

глядя ему в глаза.

Загипнотизированный,
лишенный воли, подчиняясь
сладостным птичьим внушениям,
Стрижайло ответил:

— Согласен.

— Спасибо. Весной я пришлю в
твою рощу сотни певчих птиц, чтобы
они превратили твои леса в райские
кущи. Лаборатория занята их
клонированием.

Стрижайло ничего не ответил.
Представил, как в душистом летнем
воздухе немолчно поют птицы, и
крохотная, с дивной грудкой
малиновка, раскрывающая тонкий
клювик, есть ручная граната Ф-1,
изящно обернутая в оперенье. А

певучий, с дрожащим зобиком соловей, есть безоболочное взрывное устройство, начиненное головками от гвоздей.

Бродя по тропинкам, они оказались у самолета. Алюминиевый старомодный гигант, окруженный соснами, тускло отсвечивал белизной снегов и неярким зимним солнцем. Они поднялись на борт, повесили шубы на изящные гнутые вешалки и оказались в уютной гостиной. Стрижайло помнил, что в первое и во второе посещение бомбардировщика интерьер был иным. Но это не удивило его, было частью непредсказуемой

действительности, в которую он был погружен и частью которой являлся сам.

С дивана им навстречу поднялся господин, которого тот час узнал Стрижайло. Это был Человек-Рыба, с кем встречались в Лондоне, в отеле «Дорчестер», на «русской тропе», где Рой Верхарн принимал посланцев из далекой России и подписывал им чеки на войну с ненавистным Президентом Ва-Ва. Тогда сей jovialный господин причислил себя к незнатному, но достойному роду палтусов, чем немало удивил Стрижайло этим странным родством. Теперь же, пожимая руку Человеку-Рыбе, он оказался в родственных с

ним отношениях. Случилась так, что ненаглядная, нежно любимая, подарившая ему сына жена доводилась господину сестрой, а тот, в свою очередь, являлся ему шурином. Возраставший в банке младенец являлся господину племянником, сам же он доводился ребенку дядей. Это открытие страшно взволновало Стрижайло. Перед ним стоял его родственник, жизнелюбивый, преуспевающий, источал радушие благополучного, успешного бизнесмена.

— Ну, как наши осетры? — обратился к господину Потрошков, потирая с мороза руки.

— Не все дошли до

нерестилища, но икра обещает быть отменной, — был ответ.

— Меня интересуют не только осетровые и лососевые, но и сиговые.

— Видите ли, снасть оставляет желать лучшего. Ячея не тех размеров, да и прочие средства лова не те, что желательно.

— На глубинах используйте невода, а на мелководье блесну. Если случится подледный лед, не брезгуйте и мормышкой.

— Я это понимаю. По нынешним временам и окунь — рыба, и плотва — не птица. Ежели бы грузила потяжелее, да леску подлиннее, тогда и улов настоящий и

барыш соответствующий.

Стрижайло слушал эти странные фразы, напоминавшие разговор двух купцов, один из которых доставлял в Москву обозы с мороженной и слабо засоленной рыбой, а другой в торговых рядах предлагал покупателям отменный товар, добытый в морях, озерах и реках. На деле же это был разговор конспираторов, использующих секретные коды, позволявшие им скрывать какую-то опасную тайну.

— Послушайте, — вмешался в их разговор Стрижайло, боясь показаться невежливым, но не умея совладать с обуревавшими его чувствами. — Полагаю, вы знаете о

нашем родстве, — он коснулся руки Человека-Рыбы, и в этом жесте была беспомощность и мольба о сострадании. — Знаете, как я люблю вашу сестру. Все ее родственные связи для меня священны. Она говорила о вас, говорила, как вы благородны, чутки к чужому несчастью. Как в детстве вы любили плавать в бассейне «Москва» и часами просиживали перед пустой раковиной, слушая шум моря. Я хочу вас спросить, как наш мальчик? Мой сын и ваш племянник? Я давно о нем ничего не знаю.

— Не тревожьтесь, — мягко ответил Человек-Рыба. — Поверьте, он в хороших руках. Ему ничего не

грозит. За ним превосходный уход, и по мере вырастания, он получит отменное воспитание. Я принимаю в его судьбе живое участие. Мы говорили с сестрой и согласились, что ему следует дать гуманитарное образование. Он окончит Оксфорд по курсу античной истории, станет археологом и займется исследованием Атлантиды. Рой Верхарн обещал определить его в этот элитарный английский университет, а мои друзья в Италии — включить его в состав экспедиции. Мы отвезем его в аквариуме в Тирренское море, выпустим на свободу, и пускай, пользуясь наличием жабр, он

совершает погружения на большие глубины, где скрывается тайна Атлантиды, — затопленные амфитеатры и храмы, утонувшие галеоны, несметные богатства загадочной цивилизации древних.

И столько уверенности, знания законов и норм, доброжелательной силы и родственного тепла было в словах господина, что Стрижайло вдруг успокоился. Уверовал в благополучный исход всего. В счастливую звезду сына.

— Я вижу, вы знакомы, и даже больше, — произнес Потрошков. — Тем легче вы сработаетесь. Господин Рыба. — Потрошков теперь всецело обращался к Стрижайло, посвящая

его, насколько это было возможно, в свои конспиративные замыслы, — Господин Рыба дерзает стать Президентом России и имеет для этого веские основания. Его предвыборная стратегия основана на террористической угрозе, исходящей от чеченцев. По мере того, как ты, мой друг, организуешь дебаты претендентов, от которых страна станет покатываться со смеху, господин Рыба организует теракты чеченцев, но не настоящие, а мнимые, которые сам же и будет прекращать. Страна, на несколько часов повергнутая в ужас, каждый раз будет избавлена от кошмара смелыми действиями господина

Рыбы. Будет ему благодарна, отдаст за него свои голоса. Рой Верхарн, с которым дружен господин Рыба, связан с чеченским подпольем в Москве через известного эмиссара, который столь жесток, что содержит в зиндане полюбившую его английскую актрису. Чеченское подполье на время замкнулось на господина Рыбу и готово участвовать в предвыборной кампании. Если вверенная тебе стратегия является стратегией «смеха», то стратегия господина Рыбы является стратегией «слез». Хочу, чтобы вы доверяли друг другу и по мере надобности делились сведениями. Я же помогаю обоим, надеясь на неиссякаемые

кладовые творчества, которыми вы располагаете. Что и обеспечит осуществление плана под названием «Смех и слезы» — с этими словами Потрошков отступил на шаг, словно предоставлял им абсолютную свободу действий.

Стрижайло понимал, что, наконец, начинает обнаруживать свою сокровенную глубину первоначальный замысел Потрошкова, тщательно укрытый во множество оболочек, защитных слоев, отвлекающих комбинаций. Так мумия фараона обернута множеством плотных покровов. Спрятана в золоченый, повторяющий ее очертания гроб. Помещена в

каменный, высеченный из глыбы саркофаг. А тот внесен в глубину гигантской пирамиды, создающей у людей представление о фараоне, как о космическом существе. И никто не думает, что в сердцевине всего покоится бездыханная плоть с иссохшими гениталиями, и в провалившихся глазницах лежат искусственные, вырезанный из лазурита глаза. Об этом плане он догадывался, пережив в Лондоне озарение, подобно герою кинофильма «Блоу-ап». Об этом плане давал понять спектральный анализ взгляда, брошенного Потрошковым на Президента. Но вся его полнота открылась только

теперь. Следовало тут же обратиться за уточнениями, углубиться в детали, добиться большей полноты и достоверности. Но разум Стрижайло все еще был помрачен. В нем присутствовали боль и тревога. Боль за сына, тревога за его судьбу. И он вновь, как безумный, обратился к Человеку-Рыбе:

— Не правда ли, я могу вам верить? Жизнь мальчика в неопасности? Он действительно подает надежды, столь очевидные, что его определяют в Оксфорд?

— Не в Кембридж же! — добродушно усмехнулся Человек-Рыба.

— Вы считаете, что наличие

жабр не создаст ему трудностей в молодежной среде?

— Напротив, он сможет заниматься сексом в воде.

— А вы уверены, что Атлантиду следует искать именно в Тирренском море?

— Мой друг и мой родственник, мы обсудим это с вами в нашу следующую встречу, — мягко прервал его Человек-Рыба. — Сейчас я вынужден вас покинуть. Чеченским беженцам, размещенным в одном подмосковном профилактории, привезли партию гранатометов, и я должен расписаться в получении.

Стрижайло не помнил, как оказался в автомобиле Потрошкова,

который остался во дворце, желая, как он сказал, получше подготовить дом для нового владельца. Машина мчалась по Успенскому шоссе среди белых хрустальных вспышек. Постовые милиционеры и агенты спецслужб, гулявшие по обочинам, брали под козырек.

глава двадцать девятая

Он был несвободен, находился в невидимой клетке, в перекрестье бесчисленных лазерных лучей, которые отсекали его от свободы. Его гений пребывал в плену. Но и в плену оставался гением. Так в сталинской «шарашке» работали ученые и конструкции, создавая «оружие победы». Творчество заставляло их забыть о свободе. Их насильно заставляли работать, но насилие действовало в том же направлении, что и творчество, и свобода переставала быть абсолютной ценностью. Он выполнял порученное Потрошковым задание с тем же

блеском, как если бы был свободен. И только испытывал ноющую, едва ощутимую боль, не в себе, а где-то рядом, — так болит пустота, где еще недавно была ампутированная нога. Так томится душа, у которой отобрали свободу.

Однажды он проезжал через Центр, мимо Манежа и застрял в продолжительной пробке. Опустив тонированное стекло, наблюдал, как вдоль белого фасада Бове, лепного фриза и колоннады, стоят гибкие лестницы. По ним лазают проворные люди в фирменных комбинезонах, опутывают Манеж сетями, машут шестами, пугая воробьев и голубей. Воробьи и голуби срывались с

карнизов, летели, запутывались в сетях, а ловцы извлекали их из тенет, сажали в просторные клетки.

— Что делаете? — спросил Стрижайло у одного из ловцов, сострадая пойманным птицам. — Зачем птиц губить?

— Кто ж их губит? Это они здание хорошее губят, гадят и штукатурку обклеывают. Вот мы их всех словим, отвезем в Калужскую губернию и там выпустим. Пущай живут на здоровье. Мы же не живодеры какие. Наша фирма «Гринпис», — и он показал Стрижайло нашивку с эмблемой знаменитой экологической организации.

Все эти недели он встречался с претендентами на президентскую роль, готовил их предвыборные программы, репетировал дебаты. От дебатов отказался лишь сам Президент Ва-Ва, деликатно сославшись на занятость, и Человек-Рыба, объяснив свой отказ врожденной немотой. Остальные согласились с предложенной ролью. Не надеялись выиграть выборы, но само участие в них оговаривали выгодами для себя. «А что я с этого буду иметь?» — звучал неизменный вопрос. Теперь, когда репетиции были закончены, программы озвучены, отведенное для дебатов

эфирное время было включено в сетку вещания, Стрижайло наносил последние визиты своим подопечным, чтобы выяснить, каковы их требования, какую мзду они хотят получить за участие в выборах.

Он нанес визит гению кладбищенских ритуалов, монополисту в производстве гробов, чья универсальная, на все вкусы, продукция поразила воображение Стрижайло во время памятного посещения супермаркета. Господин Гробман, — так странно и метко именовался претендент на президентское кресло, — принял его не в печальном офисе с траурными лентами и погребальными урнами,

не на краю смиренного кладбища с трогательными оградками и бумажными веночками, не в столярном цехе, где хмельные мужики точат, стругают, сколачивают тесовые оболочки для опочивших соплеменников. Гробман принял его в стеклянной диспетчерской вышке на краю летного поля, которое начиналось за воротами огромного светлого цеха, принадлежащего в свое время прославленному авиационному заводу.

Теперь на стапелях закладывалась серия сверхсовременных летающих гробов, а на аэродроме проводились летные испытания образца на предмет

чрезвычайных обстоятельств, вынуждавших пилота — покойника катапультироваться. Гробман, моложавый, энергичный, с волевым просветленным взглядом первооткрывателя и конструктора, напоминал великих авиаторов прошлого, — Туполева, Лавочкина, Мясищева, в моменты их озарения. Окруженный инженерами, дизайнерами, пилотами, он являл собой пример неиссякаемой энергии, веры в торжество техники, принадлежал к поколению технократов новой волны, которые использовали в сфере услуг великие достижения космической и авиационной промышленности. Все,

что прежде служило войне, экспансии, оголтелой имперской политике, теперь было поставлено на службу человека. Воплощался давнишний, казавшийся демагогическим лозунг коммунистов: «Все во имя человека, все на благо человеку». Опытный образец летающего гроба стоял на старте, обтекаемый, с изящными линиями истребителя, красно-золотой, с лучистой прозрачной кабиной и упругими стреловидными крыльями. Пропеллер отсвечивал солнечным металлом. На фюзеляже игривым танцующим шрифтом было выведено «ГРО-1». В соседнем цеху на стапелях, на разных стадиях

готовности, находилось несколько подобных изделий. Первое — с решетчатой корзиной шпангоутов и люлькой для покойника. Второе — с навешанными крыльями и частично закрепленной обшивкой. Третье — с завершенными оболочкой и плоскостями, наполняемое электронным оборудованием. И четвертое, почти готовое, блестящее красно-золотым лаком, с бортовой надписью, проходившее последнюю наладку приборов.

— Число миллиардеров в России неуклонно растет, и, соответственно, растут запросы и качество услуг, — с нескрываемой гордостью за свое детище произнес

Гробман, щуря глаза, любуясь летательным аппаратом, как, должно быть, любовался Туполев первым гражданским реактивным самолетом Ту-104.— Казалось, совсем недавно мы освоили модель — аналог гоночной машины «Формула-1», развивающей скорость на шоссе до 300 километров в час. А так же — комфортабельной двухместной яхты, способной на автопилоте пересечь Атлантику. И вот вам, пожалуйста, новый шедевр. Стоило мне опубликовать рекламу в журнале «Афиша», как портфель заказов переполнился. Хорошо работать в богатой стране, — он радостно потер энергичные ладони, словно желал

прижизненного благополучия своим клиентам.

— Я слышал, что вас одолевают просьбами зарезервировать место для захоронения на планете, куда вашими гениальными усилиями было доставлено тело Ленина. Это действительно так? — Стрижайло, зная слабость Гробмана, решил восхититься его уникальным проектом «Ленин», благодаря которому тот стал почетным сотрудником НАСА. — Чем объяснить это желание современных миллиардеров составить соседство вождю мирового пролетариата, отменившего частную собственность?

— Мое мнение таково, —
глубокомысленно ответил Гробман,
для которого этот вопрос был не
менее актуален, — видите ли, Ленин
экспроприировал всю частую
собственность России, объявив ее
государственной и общенародной.
Его последователи заставили
вкалывать народ на протяжении
семидесяти лет, преумножая эту
собственность. Когда же она стала
огромной и бесценной, ее отобрали у
народа, раздали небольшому
количеству нынешних миллиардеров,
которые не могут не испытывать
благодарность к Ильичу,
положившему основу их
баснословному богатству. Поэтому от

наших алмазных, нефтяных, алюминиевых, лесных и сталелитейных олигархов я получаю заказы на саркофаги и ракетные рейсы к астероиду «Ленин». А один из них, не стану называть его имя, потребовал, чтобы его саркофаг сначала побывал на астероиде балерины Колобковой, а уж потом перелетел на астероид Ленин. Думаю, он тайно влюблен в балерину и мечтает наставить Президенту рога. Что ж, о вкусах не спорят. Это будет стоить ему удвоения расходов.

— Если можно, несколько слов о ваших дальнейших планах. От них, я слышал, кружится голова, — уподобляясь льстецу-журналисту,

выспрашивал Стрижайло.

— Вам я слегка приоткрою завесу профессиональной тайны, — доверительно произнес Гробман. — Видите ли, новейшие достижения биоэнергетики доказывают, что существует «фантом человека» — энергетический отпечаток личности, который продолжает жить после смерти. Обычное погребение имеет дело только с мертвым телом, не обращая внимание на этот «фантом». А ведь он-то и является истинным покойником. Мой футурологический проект сводится к тому, что мертвец сжигается в мартене, его плоть переходит в сталь и продолжает жить в теле железных машин, — кораблей,

автомобилей, танков, а «фантом» выделяется и с помощью громадных зеркал направляется в отдаленные участки Вселенной. Таким образом, неограниченно увеличиваются кладбищенские площади, совпадая с размерами Вселенной. Земной человек транслируется в иные миры, о чем провидчески написал поэт Маяковский в стихотворении «На смерть Есенина»: «Вы ушли, как говорится, в мир иной». Мой добрый приятель критик Лев Данилкин, работающий в «Афише», предложил озвучит проект. Но я сказал ему: «Рано, Лева, рано». Но он не оставляет меня в покое.

— Грандиозно, — неподдельно

восхитился Стрижайло, обнаружив в Гробмане сходство с собой, — та же необузданная фантазия, не отличавшая мечту от реальности.

— Теперь прошу меня извинить, мы приступаем к летным испытаниям, — сказал Гробман и повернулся к свите конструкторов и инженеров.

Стрижайло видел, как к самолету подкатывает автокар, на котором покоится длинная капсула, очертаниями повторяющая человеческое тело. Так деревянный, расписной футляр мумии повторяет ее голову, сложенные на груди руки, вытянутые, с заостренными стопами ноги, — все деревянное, убранный

золотом, исписанное иероглифами, с широко раскрытыми голубыми глазами, устремленными в бесконечность. Небольшая лебедка подцепила капсулу и бережно перенесла ее в кабину летательного аппарата. Авиационная прислуга, они же авиагробовщики, закрепляли покойника внутри самолета, закрывали кабину, отгоняли погрузчик. Летящий гроб, обретя наполнение, точный, четкий, прошедший обдув в аэродинамической трубе, был устремлен в небо, дерзновенно и гордо приподняв красно-золотой фюзеляж.

— Взлет и посадка

автоматические — пояснял Гробман. — Фигуры высшего пилотажа введены в программу компьютера, вершиной которого, как вы можете догадаться, является «мертвая петля». В нашем случае роль пилота исполняет умерший бомж, на смерть которого в течение недели никто не откликнулся. Умер, как бомж, а хоронят, как Абрамовича...

Операторы дистанционно запустили мотор. Солнечный вихрь образовался на заточенном фюзеляже. Бодрый металлический звук наполнил пространство, оглашая его дерзновенной одой неукротимому человеческому духу. Самолет

качнулся, легко покатил. Сбрасывал с плоскостей стеклянный блеск. Легко оттолкнулся от бетона и прынул ввысь. Изящный аппарат демонстрировал торжество одухотворенной мечты, не желающей смириться с окончанием бытия, прекращением творчества, с распадом безжизненной плоти, погруженной в сырую могилу. И после смерти человек стремился в небеса, наслаждался скоростью, светом, полетом.

— Секрет нашего коммерческого успеха и огромной раскупаемости нашей продукции в том, что мы как бы не замечаем факт смерти. Предлагаем человеку бессмертие, за

которое тот готов платить сколь угодно большие деньги. Мы обращаемся с мертвецом, как с живым. Создаем для него сервис, — сауны, массажи, сопровождаем в аквапарки и турпоездки. Устраиваем просмотры телесериалов, включаем в телевизионную игру «Миллион», смешим юмористической программой «Аншлаг». Иногда мы отправляем нашего клиента на дискотеки и в «ночные клубы». Одного клиента посмертно приняли в партию «Единая Россия» и добились, за некоторую, сравнительно небольшую плату, включение его в политсовет партии. Люди, всю жизнь проходившие по

земле, после смерти хотят летать. Вот и летайте, крылатые мои...

Гроболет сделал круг над аэродромом и взмыл свечей, исчезая на солнце. Стрижайло чувствовал, как упивается пилот этим отвесным воспарением ввысь, сбрасывая гравитацию, освобождаясь от угрюмого притяжения, сверля высоту, ввинчиваясь в бесконечность. Достигнув вершины, машина опрокинулась вниз, завертелась веретеном, свалилась в крутой штопор, раздирая кромками небо, расшвыривая брызги света. Пилот в счастливом падении, бесстрашно ждал столкновения с землей, предвкушая ослепительную вспышку,

в которой исчезнет плоть, превратится в бесконечный свет. У самой земли самолет вышел из штопора, набрал высоту и стал делать «бочки», крутые виражи, и Стрижайло представлял, как появилась на лице мертвеца счастливая улыбка безумия, упоительного сладострастия, сотрясая восхищенное тело судорогой наслаждения. Самолет ушел от аэродрома, развернулся и воющим вихрем стал разгоняться. Взмыл, охваченный стеклянным свечением, сделал «мертвую петлю», и пилот в этой восхитительной спирали, на секунду теряя вес, парил в невесомости. Счастливо озира

вставшую на дыбы землю, белоснежные, с отблеском солнца, поля, туманные дороги, дымы огромного розового города и прозрачную радугу, охватившую кабину.

— Есть поступки, на которые человек не решается при жизни, но готов совершить после смерти. Один клиент всю жизнь ненавидел соперника, желал ему гибели. И только после того, как умер, позволил себе совершить на врага покушение, разумеется, не без нашей помощи. Подстерег его на трассе, в районе Жаворонков, привел в действие фугас, и только по счастливой случайности джип не

попал под взрывную волну. ФСБ расследовало покушение, исполнитель был обнаружен и арестован. Однако в процессе судебного разбирательства, благодаря умелым действиям адвоката Резника, которого наняла наша фирма, обвиняемый был освобожден под залог и похоронен. Иногда, обслуживая клиентов, мы сталкиваемся с такими юридическими казусами, что их в состоянии разрешить только Международный суд в Страсбурге...

Пока он говорил, картина в небе резко изменилась. Из-за белого кучевого облака выскользнула еще одна машина, черно-желтая, хищная,

яростно накинута на ликующий, беспечно кружащий гроболет. Стала пикировать на него под углом, направляя тонкие иглы пушечных очередей. Промажнувшись, иглы ушли в пустоту, а красно-золотая машина, истошно взыв, отвернула от разящей погони. Черно-желтый стервятник, такой же гроболет, с опытным ассом-покойником, не оставлял преследование. В плавном вираже, срывая крыльями кудрявую бахрому, зашел противнику в хвост и снова из огнедышащих трубок запульсировали, заскользили тонкие лучистые трассы, проходя совсем близко от красно-золотого фюзеляжа. Вот где пригодилось искусство

высшего пилотажа, которым обладали оба соперника. Машины то взмывали на параллельных курсах, почти касаясь брюхами. То распадались в плавных отворотах, будто теряли интерес друг к другу. Ревя и сверкая пропеллерами, шли в лобовую атаку, и Стрижайло ужасался тому, что ни один из пилотов не уступит другому, и они столкнутся, превращаясь в пылающий рыхлый взрыв. Наконец, черно-желтому гроболету удалось зайти в хвост сопернику, поймать пульсирующим пунктиром вертящуюся машину. Снаряды обрубили плоскость, срезали киль, вспороли обшивку фюзеляжа. За

гроболетом потянулась прозрачная струйка дыма, гуще и гуще, превращаясь в черный жирный шлейф.

— Катапультируйся! — азартно крикнул Гробман, прикладывая ладонь к бровям и на секунду превращаясь в Бровмана. — Что, жить надоело?

Вопль его словно был услышан. Из охваченной дымом машины выстрелила похожая на семечко частица. Отстала от падающего гроболета. Над ней раскрылся шелковый нежный купол, под которым качалась фигурка. Парашют стал снижаться, а сбитая машина рухнула за лес, оглашая окрестность

тугим ударом. Победитель сделал торжествующий круг, победно покачал крылом, как торжествующий небесный гладиатор, и ушел на соседний аэродром. Парашют медленно, чудесным цветком, парил в синеве.

— Молодец парень, просто золото, — облегченно произнес Гробман, довольный результатом испытаний, который приближал новую серию летающих гробов к прилавку. — Кстати, об этой модели пронюхали высокопоставленные персоны, обладающие возможностями промышленного шпионажа. Я получил заказ от главы Счетной Палаты, от Председателя

Верховного Суда, от Министра экономического развития, и, как это ни покажется странным, от митрополита Смоленского и Вяземского. И что уж совсем удивительно, наш особо уважаемый клиент, бывший мэр Санкт-Петербурга, похороненный в специально оборудованном склепе, состоящем из сауны с девушками, комнаты отдыха в стиле рококо и плавательного бассейна с живыми осетрами, вдруг пожелал сменить место погребения и сделал заказ на эту, еще не поступившую в серию, модель...

Парашют тем временем мягко приземлился, накрыв спасенного

пилота белой шелковой пеной. К нему уже мчались машины скорой помощи с фиолетовыми отблесками.

— Скажите, — обратился Гробман к ассистенту, — этот бомж может быть использован вторично?

— Конечно, — любезно ответил ассистент. — Это бомж многоразового использования.

В Стрижайло, между тем, боролись разные чувства. Его не могли не восхищать чудеса изобретательности, плоды неукротимого творчества, достижения человеческого трудолюбия и новаторства. Но он отчетливо видел свое сходство с Гробманом, одержимость бесами,

превращавшими в непрерывную игру
все самое святое и сокровенное,
кидавшими на карусель удовольствий
саму смерть, извлекавшими выгоду
из человеческих слабостей,
строивших благополучие и достаток
одних на глупостях и заблуждениях
других. В данном случае, воздушные
потоки, носившие по небу гробы,
превращались в потоки финансовые,
омывавшие Гробмана, как море
омывает дельфина. И стараясь
спастись от удушающей тоски, от
приступов помешательства,
сопровождавших массовое
размножение в нем бесов, когда из
замшевых, натужно упругих самок
вылезали липкие ушастые детеныши

с розовыми коготками и мокрыми заостренными носами, — стараясь заслониться от катастрофического бытия, он вызвал образ бабушки, своей заступницы и избавительницы. Вспомнил, как в детстве она водила его в Тимирязевский парк, в чудесные тенистые дебри. Раскладывала на теплой земле пестрый плед, они усаживались в прозрачной тени огромного клена. Бабушка читала, в белой соломенной шляпке, в очках, строго держа старинную книгу, а он, притворяясь спящим, сквозь тонкие отверстия глаз следил за бабушкой. Сжимая ресницы, помещал бабушку в пернатые радуги. И теперь казалось,

стоит чуть больше сжать веки, вызвать ресницами прозрачные спектры и радуги, и из них возникнет бабушка, ее милое родное лицо, седые волосы, соломенная парижская шляпка.

— Что ж, перейдем к главному, — Гробман вернул его в явь. — Поговорим о том, зачем вы ко мне явились. Я согласился участвовать в этом вселенском балагане, — в президентской гонке, хотя вы прекрасно понимаете, что не Президент меня уроет, а я, в конце концов, его закопаю. Однако, я согласился, разумеется, за определенную услугу.

— Нет такой цены, какую бы мы

ни заплатили. Что вы просите?

— Я хочу, чтобы все рождающиеся в России младенцы поступали в мое монопольное ведение, в том смысле, что я буду иметь исключительное право на их захоронение в будущем. И хотя рождаемость, как известно, падает, то есть, младенцев все меньше и меньше, но смертность растет, то есть, заказов на мою продукцию все больше и больше. Вы можете мне это обеспечить?

— Ничего нет проще, — ответил Стрижайло, чувствуя, как рождаются в нем отвратительные несметные твари, набиваясь в дыхательные пути, в пищевод и в печень. — Усилиями

«Единой России» мы проведем в Думе закон. Думаю, депутат Исаев с его заботой о правах граждан сможет озвучить законопроект. К лету в метрику каждого новорожденного будет ставиться штамп, передающий его прах, в случае смерти, в ведение «Гробманкорпорейшн».

— По рукам, — рассмеялся Гробман, и они ударили ладонь о ладонь, как два купца-старообрядца.

Вторым претендентом на президентский пост, к кому направил свои стопы Стрижайло, был известный фармацевт, миллиардер Бренчанин. В советское время прозябавший в барак,

предприимчивый и расторопный паренек, первый свой заработок он сделал на том, что подбрасывал яд на помойках и в крысиных углах, истребляя бездомных собак и кошек, выводя крыс из подвалов. Когда рухнул коммунизм, а вместе с ним вся фармацевтическая промышленность, снабжавшая недорогими и действенными лекарствами живущий в рабстве народ, Бренчанин решил заполнить вакуум в аптеках, предлагая больным пенсионерам и страждущим ветеранам все тот же знакомый ему препарат, перекладывая его из больших неопрятных пакетов с отвратительной, крест на крест

перечеркнутой крысой в
красивенькие коробочки с
изображением цветка и бабочки.
Коробочки раскупались
моментально, барыш от реализации
был баснословный, хотя в районах
сбыта резко возросла смертность и
странно участились случаи
отравления стариков. С тех пор
случилась масса событий, вознесших
Бренчанина на вершину
коммерческого успеха. К ним следует
отнести чудесное излечение
Бренчаниным тогдашнего
Президента России от рассеянного
склероза, которому удачливый
фармацевт прописал все тот же
сильно действующий препарат,

настоянный на муравьином спирте. Президент ожил и на радостях расстрелял из танков Парламент. В результате Бренчанин стал обладателем крупнейших фармацевтических фабрик, разветвленной сети аптек, учредителем премии «Умри здоровым», издателем гламурного журнала «Спид», содержателем детских приютов, где у детей-сирот, если те шалили и не слушались воспитателей, брали для пересадки органы. Бренчанин превратился в героя светских хроник, слыл весельчаком, славным малым, «плейбоем» и замечательным другом, о чем свидетельствовала его дружба с

Гробманом.

Поговаривали, что назревает слияние концерна «Бренчанин и сыновья» и «Гробманкорпорейшн». Но Бренчанин энергично опровергал слухи. К нему-то, по предварительной договоренности с Потрошковым, и направился Стрижайло, чтобы получить окончательное согласие баллотироваться.

Дворец Бренчанина выделялся огромной чугунной решеткой, напоминавшей ограду Летнего Сада, где черный чугун великолепно контрастировал с золотом орнамента. Из-за деревьев возвышался дворец, чья крыша была

позолочена и сияла, как кровля пагоды, источая над лесами и долами мистический свет солнца. Липовая аллея, по которой его вели к парадному крыльцу, была уставлена золотыми скамейками, а на ветвях, среди снега, сидели затейливые золотые птицы. Перед дворцом, в центре заснеженной клумбы возвышалась огромная золотая чаша, над которой склонила голову золотая змея, — магический символ фармацевтики. Из приоткрытого змеиного зева, несмотря на легкий мороз, капала густая зеленоватая влага, быть может, тот самый яд, которому Бренчанин был обязан своему восхождению.

Хозяин встретил его в вестибюле, приветливый, вальяжный, облаченный в халат золотого шитья с поясом, сплетенным из золотых нитей. Затейливый сияющий головной убор напоминал митру. От Бренчанина исходило сияние, он был окружен нимбами, — то ли патриарх, то ли апостол Петр у врат Рая, но сам воздух вокруг него был нежно-золотистого цвета, будто в нем реяли бессчетные золотые пылинки.

— Прежде чем начать разговор, покажу вам мое скромное жилище, — произнес Бренчанин, видя, как ослеплен и зачарован гость. — Это будет аргумент в предвыборных дебатах. Пусть знают,

чего может достичь простой рабочий парень с окраины, если он трудится от зари до зари, ведет здоровый образ жизни, любит стариков и детей, — с этими словами Бренчанин повернулся и начал восхождение по золотым степеням, картинно опираясь на золотые перила. Его халат лучился, как риза. Митра драгоценно горела, как луковица часовни.

— Эти ступени и перила я заказал после реализации моей программы: «Инвалидам Чернобыля». Мой препарат, изготовленный из тибетских полыней, жира гренландских китов и костной муки динозавров, прекрасно

выводит из тела нуклиды. Конечно, не все ликвидаторы были охвачены программой, но кое-что, как видите, удалось сделать. «Мы рождены, чтоб сказку сделать чернобылью...» — добродушно пропел он, поднимаясь на второй этаж.

Там, при входе в гостиную, на стене висело огромное зеркало. Помещенное в золотую раму из сияющих листьев, цветов, диковинных плодов, оно отразило Бренчанина во всем его великолепии, словно к волшебному стеклу поднесли огромное пылающее паникадило. Он поправлял свою божественную ризу, ту же затягивал драгоценный кушак, поправлял на

голове царственный венец.

— Когда я смотрю в это зеркало, я всегда вспоминаю Тарковского. Нет, не ценила своих гениев Страна Советов. Он умер в изгнании, в глубокой ипохондрии, которую я бы мог исцелить, обратиться он ко мне, — его доброе лицо изобразило искреннее сожаление о безвременной утрате отечественного кинематографа. — Впрочем, если вам интересно, — это бесценное зеркало я сумел заказать после внедрение в клиническую практику средства от детского рака. Столько бедняжек умирало в мучениях, едва успев родиться. Я предложил препарат, совершивший революцию в

лечении детского рака. Вытяжка из подорожника, приготовленная на волжской воде. Моим именем хотели назвать детский онкологический центр, но я отказался. Благodeяния должны быть невидимы...

Он прошел в гостиную, приглашая за собой Стрижайло, и эта огромная зала поразила своим золотым убранством. Повсюду стояла золоченая мебель, на камине красовались золотые часы, ножки торшеров были из чистого золота. Лепнина на белоснежном потолке своим праздничным золотым сиянием создавала ощущение императорского дворца. В этом доме царил культ золота. Оно несло в себе

религиозный смысл. Здесь ему поклонялись. Это золото, как показалось Стрижайло, было живым, источало энергию, взывало, силилось о чем-то поведать. Хозяин дома находился с ним в живом молитвенном взаимодействии, что-то испрашивал у драгоценного металла, что-то сулил. Был жрецом, поклонявшимся могучему лучезарному божеству.

— Эта гостиная появилась, как памятник фармацевтике, которая оказалась способной предотвращать на ранних стадиях инсульты и инфаркты. Миллионы людей гибли от сердечно-сосудистых заболеваний, не подозревая, что исцеление «так

близко, так возможно». Я предложил таблетки, приготовленные из тертого красного кирпича, меда и семян одуванчика, придающих лечению легкость и воздушность. Вчерашние инфарктники после курса лечения стали принимать участие в олимпийских играх для инвалидов, в которых Россия устойчиво держит первое место. Был один пациент — легкоатлет, который никак не мог стать олимпийским чемпионом. Но когда получил инфаркт, принял дозу моих таблеток, то стал олимпийским чемпионом среди инвалидов...

Стрижайло не мог избавиться от ощущения, что находится в таинственном храме. Такие храмы

существовали в культуре майя и ацтеков, где поклонялись священному металлу, имеющему солнечное происхождение, обладающему властью над людьми и природой, управляющему ходом светил, возникновением и падением царств. Он вдруг подумал, что Ленин был великим богоборцем не потому, что гнал церковников и проповедовал научный атеизм, а потому что желал отменить деньги, имеющие золотой эквивалент, пытался опрокинуть Золотого Тельца, святотатственно предложил изготавливать из золота унитазы, за что и был смертельно ранен террористкой Каплан, которая

состояла в тайной секте золотопоклонников и стреляла в него золотой пулей.

Они перешли в трапезную, где был приготовлен к обеду стол. Золотые супницы и соусницы, золотые тарелки и блюда, вилки, ножи и ложки с золотыми рукоятями, украшенными изображением звериных и птичьих голов, перевитые лианами и змеиными хвостами. Подле каждого прибора стояли золотые кубки, из которых исходило нежное зарево. Стрижайло подумал, что священные напитки и яства, которые они станут вкушать, будут припудрены легчайшей золотистой пылью, насыщенные магическими

золотыми лучами.

— Эти превосходные ювелирные изделия, эти бесценные сервизы я приобрел, когда мне поручили наладить поставку в аптеки лекарств по льготным ценам. Льготники, как вы знаете, нуждаются в недорогих и действенных препаратах на все случаи жизни и смерти. К таким препаратам относится мазь из солидола, спасающая при болях в суставах, а так же таблетки из мела, которые помогают каждому, кто достиг семидесятилетнего возраста. Надо лишь регулярно принимать их перед завтраком, если он есть, и немедленно отменять, если

температура тела опустится ниже комнатной...

Стрижайло зачарованно смотрел на царскую посуду, и из каждой тарелки и блюда, из каждой вазы и кубка беззвучно взывал «льготник», — ветеран войны или заслуженный пенсионер, после жизни, прожитой в трудах и боях, превратившийся в чистое золото.

Бренчанин водил Стрижайло по просторному дому, не преминув заглянуть в ванную с огромной золотой лоханью и золотыми кранами, в туалет, где по-ленински золотой, и по-византийски царственный стоял восхитительный унитаз. В гараже, бесчисленно

отраженный в зеркальных стенах, окруженный зарей, разместился золотой «Роллс-Ройс». И повсюду, — на тарелках, унитазах, корпусе автомобиля можно было увидеть клеймо самой высшей пробы.

— Теперь же я вас отведу туда, где почти никто не бывал. Если угодно, это моя молельня, где я благодарю судьбу за ее ко мне благосклонность. Фармацевтика — это не наука, а религия с богами, в которых нужно верить и которым следует приносить регулярные жертвы и воздавать постоянные почести, — лицо Бренчанина исполнилось благоговения, и он стал похож на Верховного Жреца,

переступающего порог кумирни.

Стрижайло шагнул за ним следом и ахнул от обилия огненно-золотых лучей, пылающей желтизны, раскаленного, невыносимого для глаз сияния. В овальном зале на постаментах возвышались золотые статуи богинь. Полуобнаженные, в туниках, в изящных позах, в каких эллины изображали муз, золотые женщины то ли танцевали, то ли прислушивались к звукам невидимых кифар и свирелей, исполненные грациозной неги, любовного томления. Бренчанин преобразился, сложил молитвенно руки, двинулся по кругу, припадая устами к ногам сияющих статуй, благодарно и истово

целуя золотые стопы богинь.

Стрижайло, щуря глаза, чтобы не ослепнуть, следил за губами молящегося, которые касались надписей, выбитых на слитках. С изумлением увидел, что сияющие красавицы носят имена самых опасных и смертельных болезней. Золотые кумиры были возведены в честь этих болезней, которые составили благополучие Бренчанина, питали его славу, умножали богатство. Сияющие девы носили имена — «Гнойный аппендицит», «Туберкулез», «Рак желудка», «Паранойя», «Птичий грипп», «Атипичная пневмония», «Фиброма предстательной железы», «Инфаркт

миокарда», «Почечный камень», «Энцефалит», «Болезнь Боткина», «Болезнь Паркинсона», «Базедова болезнь», а так же «Диарея» и «Расстройство желудка». Богини, числом шестнадцать, образовывали замкнутый круг болезней, в котором вращалось несчастное человечество, и откуда Бренчанин вырывал его с помощью настойки крапивы, таблеток хлористого кальция и бальзама из капустных улиток, используемого, как внутривенное. Стрижайло, оказавшись в этом замкнутом и смертельно опасном кругу, испытал священный трепет и непреодолимое желание поклониться могущественным

богиням, повелевающим немощами человеческими. Его посетило ощущение, что он уже где-то видел подобное капище, испытывал схожие чувства. Вдруг его осенило, — все это напоминало фонтан «Дружба народов», где золоченые девы сомкнули круг, заманивая в него посетителей Сельскохозяйственной выставки. Это подобие испугало его. Открыло истинный смысл ВДНХ, задуманный коммунистами, как духовный центр Религии Будущего, где новые сорта злаков и корнеплодов, элитные породы скота и птицы служили жертвенным сырьем для «фармакологии коммунизма», излечивающей все

болезни, в том числе и социальные.

Он изнемогал. Бесы не отпускали его. Размножались, как огромная неизлечимая болезнь. И старясь спастись, заслониться от наваждений, он вновь вспомнил бабушку. Как водила его морозным январским днем в Третьяковку, — синий снег, янтарные пятна солнца, кирпично-красный, нарядный фасад Третьяковки, и внутри, в благоухающем тепле — дивное множество любимых картин. «Аленушка». «Три богатыря», «Незнакомка», «Явление Христа народу». Бабушка истово и чудесно рассказывает ему о картинах, он любит бесконечно ее милое,

взволнованное лицо, седые, на прямой пробор, волосы и картину в золоченом багете, на который серый волк нес на спине царевича.

Бабушка исчезла. Кружилась голова. Воздух в кумирне трепетал и звенел, как золотая фольга. Мельчайшие частицы золота витали в воздухе. Он их вдыхал, они наполняли сияющей пудрой легкие, першило горло, выстилали пищевод и желудок. Его прямая кишка изнутри была золотой, и этим чудом он был обязан богиням, которые благоволили ему. И чувствуя это пугающее благоволение, чувствуя близость обморока, он стал наклоняться, повторяя движения

Бренчанина, желая поцеловать подножье фигуры, на котором было выбито по-русски: «Менингит», а ниже — латинский аналог. Прерывая поклон, в кумирню ворвался разъяренный бульдог, взревел и оскалился. Стрижайло увидел, что зубы у бульдога золотые, из пасти пышет жар, словно внутри у собаки кипит раскаленный тигель, выплескивая на поверхность капли жидкого золота.

— Не волнуйтесь, он не кусается. Бережет зубы, — Бренчанин потрепал по загривку златозубого кобеля. — Теперь же, перед тем, как мы отправимся к столу, я хотел бы уточнить, что мне

будет за мое участие в выборах. Как вы понимаете, Президент является моим пациентом, а не я его. Иду навстречу вашим желаниям исключительно из чувства патриотизма. Но все-таки, что я буду с того иметь?

— А что бы вы хотели? — слабо произнес Стрижайло, едва приходя в себя. — Для нас нет невозможного.

— Видите ли, — Бренчанин доверительно коснулся руки Стрижайло, — моя компания разработала великолепные препараты, исцеляющие такие заболевания, как чума, проказа, сибирская язва, оспа, тропическая лихорадка. К сожалению, этих

болезней почти нет в нашем обществе. Я знаю, в Министерстве обороны имеются запасы бактериологического оружия, способного заразить большие массы населения всеми этими болезнями. Нельзя ли подвергнуть заражению некоторые регионы, чтобы эти болезни сначала распространились, а затем, с помощью моих препаратов, эпидемии будут свернуты? Я говорил с военными. Они не возражают, но необходимо разрешение с самого верха.

— Что ж, это выполнимо. Подготовьте список регионов, которые должны будут подвергнуться заражению, и болезни, которые вам

предпочтительны. Распишите средства доставки, — распыление с самолетов, отравление водоемов или разбрасывание зараженных насекомых и крыс.

— Крысы, конечно крысы! — воскликнул Бренчанин. — Я слишком хорошо знаю повадки этих зверьков. Если сделаем дело, обещаю поставить на какой-нибудь московской площади памятник Золотой Крысе. Будет называться «Крысная площадь», место гуляний москвичей.

Приобняв Стрижайло, Бренчанин повел его к обеденному столу. За ними брел оскаленный пес, и казалось, что он проглотил все

скифское золото.

Последовал еще один визит к амбициозному претенденту, которым на этот раз оказался аграрник Карантинов, соратник Дышлова по компартии. После трескучего провала на думских выборах Дышлов не рисковал выдвигать свою кандидатуру на выборах Президента, затаился и готов был выставить вместо себя «меньшого брата», тем более, что Карантинов, — партийная кличка «Тарантино» — умел держаться перед телекамерами, сыпал солеными крестьянскими шутками, пощипывал сексуальных телеведущих, особенно темнокожую

дочь африканского вождя, которая только постанывала от мужицких щипков. И хотя Карантинов после думского провала слегка дистанцировался от политики и занялся переработкой сельхозпродукции, благо имел собственную фабрику под Москвой, — но охотно согласился на предложение Стрижайло, разумно заметив, что какие же могут быть президентские выборы без кандидата левых сил.

Стрижайло отправился на подмосковную фабрику, где находился Карантинов, чтобы разузнать о цене, которую мог запросить аграрник за свое участие в

выборном шоу.

Фабрика была построена по немецкой технологии, выжимала соки из овощей, мариновала плоды, делала соусы и приправы. Карантинов находился в помещении, откуда был виден конвейер с земными плодами, над которыми трудились работницы. То одна, то другая женщина поднимала с конвейера особо полюбившийся ей плод и показывала Карантинovu, желая доставить ему удовольствие. Однако Карантинов почти не реагировал на эти знаки женского внимания. Сидел в кресле, выложив на столик свои крестьянские руки, и опытный мастер трудился над его

ногтями, делая маникюр. Орудовал
пилочками, ножничками,
миниатюрными лопаточками, —
удалял заусеницы, придавал ногтям
аристократическую форму, покрывал
прозрачным розоватым лаком. Дело в
том, что Каратинов, как только узнал
о предстоящей роли, резко изменил
свой образ простецкого деревенского
парня, который и на гармошке
сыграет, и бабенку хлопнет по
ягодице, и со знанием дела поговорит
о надоях и поголовьях. Он решил
выступить перед соперниками в
образе английского аристократа,
породистого англосакса. Изучал
хорошие манеры, учился повязывать
галстук, посещал модный бутик

«Европа», выбирая элегантные костюмы и сорочки. И, в конце концов, так заигрался, что стал называть себя — «принцем Чарльзом», и к месту и не к месту упоминал о «королеве-матери».

Вот и теперь, отдавая свои персты во власть маэстро, едва увидев Стрижайло, он произнес:

— Королева-мать просила уделить вам некоторое время, не столь великое, чтобы нарушить этикет Виндзорского дворца, где у меня назначена встреча с герцогом Монако. Видите ли, мы участвовали в встречи августейших особ Европы, решив образовать своего рода династический клуб. В него входят

не только представители правящих династий, такие, как я, или князь Люксембургский, или королева Голландии, или князь Лихтенштейна. Но и потомки Габсбургов, Гогенцоллернов, Бурбонов, Валуа, Каролингов и Капетингов. К нам охотно присоединились потомки царей Румынии и Болгарии, отпрыски литовских Гедиминовичей, потомки польского короля Владислава, король Испании, итальянские отпрыски Витторио Эммануила, ну и, конечно, выморочная ветвь Романовых, погрязших в спорах о престолонаследии и вносящих в наш дружественный кружок дух

соперничества и династических войн... — Карантинов умолк, позволяя Стрижайло проникнуться возвышенным аристократизмом услышанного. Любовался блеском полированных ногтей, над которыми трудился маэстро.

Женщина у конвейера подняла над головой и стала показывать Карантинovu большую желтую тыкву, желая порадовать аграрника видом зрелого, упитанного плода. Но Карантинов надменно отвернулся, не желая замечать тыквы, которая возвращала его в деревенское прошлое.

— Королева-мать, идя навстречу наивным и ревностным обожателям,

которых не счесть среди подданных английской короны, позволяет им присылать во дворец различные диковинные плоды, выращенные в тех или иных странах Британского содружества наций. Кстати, она собственноручно готовит из тыквы замечательный кисель и поразительно душистое варенье, которым так любила лакомиться бедная принцесса Диана, — при этих словах Карантинов печально вздохнул, изображая на лице сдержанную грусть, ибо, как и все члены королевской фамилии, умел управлять эмоциями. — Наш династический клуб проводит большую культурно-историческую

работу. Мы устраиваем пикники где-нибудь в Альпах, или во фьордах Норвегии, или в живописных предгорьях Карпат. Играем в гольф и крикет. Совершаем автопробеги на «бентли». Путешествуем на яхте по островам Средиземного моря. И постоянно посещаем родовые дворцы и замки, места погребений королей и царей, не давая забыть Европе об эпохе великих монархий...

Женщина подняла с конвейера огромный кочан капусты и показала его Карантинову, желая обратить внимание не только на зеленую, спрессованную из листьев голову, но и на свои белые аппетитные руки и пышные, переполнявшие сорочку

груди. Однако усилия ее были тщетны.

— После того, как от вас поступило известное предложение, не скрою, я был смущен. Как всегда в подобных случаях я посоветовался с королевой-матерью, и она сказала, что я должен принять предложение. Видите ли, в случае моей победы на президентских выборах в России, возникает совершенно иная геополитическая ситуация в мире. Под скипетром нашей династии окажется не только Британское содружество наций, но и СНГ, а это больше половины всей земной суши. Если подтянуть сюда Китай и некоторые страны Латинской

Америки, где еще чтут испанскую корону, то мы возьмем в окружение США и положим конец их отвратительному господству. Как истинный представитель Старого Света, я ненавижу этих хамов, которые истребили индейцев, бизонов, установили рабство, сбросили на Хиросиму атомную бомбу, заразили человечество СПИДом, с помощью продукции Голливуда разрушили традиционное искусство, а с помощью Диснейленда опрокинули традиционные религию и мораль. Мы должны остановить Американского Хама. Мое избрание положит начало новой организации

человечества, которое не будет нуждаться в проамериканской ООН, в этой вашингтонской марионетке Кофи Анане. Кстати, однажды у меня с ним вышел конфуз, над которым смеялась королева-мать. Как-то мы зашли с Кофи Ананом в бар, и я попросил: «Кофе черный». Он решил, что таким образом я решил его оскорбить и обвинил меня в расизме...

Дородная крестьянка подняла высоко огромную свеклу, держа ее за пышную ботву. Так палач-якобинец на Гревской площади воздел над толпой отрубленную голову несчастной Марии Антуанетты. Этим жестом крестьянка

предостерегала Карантинова об опасностях, подстерегающих династии, и одновременно приглашала полюбоваться на свои великолепные груди, продавившие сосками тонкую кофточку. Карантинов остался безучастен. Его сердце переполняла любовь к другой, безвременно ушедшей. Эта любовь и печальная нежность были столь велики, что он не мог не поделиться ими со Стрижайло, который умел был прекрасным слушателем.

— Скажу откровенно, королева-мать недолюбливала принцессу Диану. Не сразу согласилась на нашу помолвку, словно предчувствовала, — наш брак не

станет счастливым. Он и не был счастливым, он не был даже браком. Живя со мной, принцесса Ди оставалась девственницей. Она просила меня: «Чарльз, не касайся меня. Я хочу перед Богом сохранить целомудрие». Я шел ей навстречу. Любил ее, но как дочь или младшую сестру. Мы совершали прогулки верхом, читали вслух ее любимую «Алису в стране чудес», раскрашивали картинки с изображением бабочек и цветов. Бывало, подойдет ко мне и спросит: «Чарльз, а верно, что Лоуренс Аравийский недолголюбивал арабов? А мне они почему-то нравятся». Она пала жертвой своих симпатий к

этому вероломному племени, которых Господь сотворил из песка Сахары, обвалял нефтью и вдохнул в них ненависть к евреям. Однажды, молодой арабский миллиардер, плейбой и беззастенчивый денди, пригласил ее на яхту, дал покурить кальян, в который был замешан наркотик. Принцесса Диана заснула, а он во сне овладел ею. Потом она говорила мне: «Представляешь, Чарльз, я сплю, и мне снится, что я превратилась в белую верблюдицу, и на мне скачет свирепый бедуин». Одним словом, она забеременела. В ней возрастал эмбрион араба. Британской королевской династии, всей англиканской церкви грозил

позор, — у принцессы родится незаконный ребенок, араб, мусульманин, который после рождения пройдет обряд обрезания. Я просил ее избавиться от ребенка, обещая лучших гинекологов мира. Ее ответ был таков: «Я не могу убить младенца в моем чреве. К тому же, чувствую, что он будет великим арабским правителем, который, наконец, объединит всех арабов в Халифат и сокрушит государство Израиль». Что мне оставалось делать?..

Женщина на конвейере нетерпеливо подняла огромный продолговатый кабачок, напоминавший гениталии слона.

Потрясала, как булавой, изо всех сил стараясь отвлечь Карантинова от горестных переживаний, вернуть к простым крестьянским ценностям, бесхитростным отношениям полов. Все тщетно.

— Я решил открыть мое горе королеве-матери, тем более, что возникала прямая угроза династии. Королева-мать взглянула на меня жестоким взглядом, как только она это умела, и сказала: «Ты знаешь, как действовать». Я отправил принцессу в Париж, где в то время проходила всемирная выставка детских игрушек. Нанял доверенного человека, который следил за исправностью ее автомобиля. Тот

перерезал тормозные шланги и сообщил папарацци, что на выставке детских игрушек принцесса Ди сделает сенсационное сообщение. Папарацци, как ошалелые бесы, гнались за принцессой, пока один на лимузине ни подрезал ее. Шофер затормозил, но тормоза бездействовали. Машина ударилась в столб, и принцесса погибла. Вместе с ней, разумеется, погиб ребенок. Я тут же прилетел в Париж, и хирурги тайно извлекли из нее пятимесячный плод арабченка, и я распорядился похоронить его на мусульманском кладбище. С тех пор я несчастен. Горе мое неутешно. Королева-мать старается меня утешить. Вчера

застала меня в кабинете, где я созерцал портрет моей ненаглядной Ди. Положила руку мне на голову и тихо произнесла: «Чарльз, из всего этого ты должен извлечь урок. Какая барыня ни будь, все равно ее ебуть...»

Карантинов умолк, не обращая внимания на женщину, которая поочередно поднимала в воздух связки моркови, пучки укропа, корневища хрена, кривые, как ятаганы, огурцы, красные помидоры. Стрижайло было жаль женщину, жаль Карантинова, жаль безвременно погибшую принцессу, жаль неродившегося арабченка, жаль королеву-мать. Ему было жаль и себя,

попавшего в зависимость от бесов, вынужденного им служить. Только бабушка, ее милое родное лицо, лучистый любящий взгляд сулили возможное избавление. Трепетная, торопливая, она входила в комнату, где он лежал в болезни, испытывая ужас приближавшегося жаркого бреда. Клала на пылающую голову мокрое полотенце, прижимала к горящему лбу прохладную легкую руку, повторяя: «Мой милый Мишенька!».

— «Принц Чарльз» — это прекрасная находка, — сказал Стрижайло. — Вы собьете с толку своих оппонентов. Перенесете дебаты с овощной делянки и

молочной фермы в покои Виндзорского замка и Букингемского дворца. У вас огромный шанс на победу. Чем бы мы могли отблагодарить вас за ваше участие?

Карантинов вдруг преобразился. Утратил аристократический лоск, манеры принца, надменность осанки и голоса. Снова превратился в деревенского мужичка, крепкого, как желудь, хитроватого и прижимистого:

— Сами видите, какую работу выполняю. Мать ее-королеву ети! Что за это прошу? Немного. Поговори, слышь, в Администрации Президента, чтобы выкинули из председателей КПРФ Дышлова,

чтобы не говорил, что не вышло. Пусть, слышь, поставят меня. Я не подведу. Буду консультироваться с вами, советоваться. Стану руководителем думской фракции, так чтобы, слышь, машина с мигалкой...

— Будет тебе мигалка, — устало произнес Стрижайло, покидая перерабатывающую фабрику. Женщина у конвейера держала в руках два сросшихся картофельных клубня с упругим отростком, напоминавшие одну характерную деталь человеческого организма.

глава тридцатая

Стрижайло чувствовал, что попал в огромную западню, откуда нет выхода. Пространство, в котором он жил, имело таинственную конфигурацию, не позволявшую переместиться изнутри вовне. Мир был так устроен, что куда бы он ни бежал, он вновь возвращался к исходному месту. Луч света, вырвавшись из точки, попадал в невидимую систему зеркал, искривлялся и в результате множества отражений, возвращался в исходную точку и в ней исчезал. В этом пространстве бегун, сорвавшись со старта, бежал, что есть мочи, но

достигал не желанного финиша, а вновь оказывался на старте. Пуля, выпущенная из ствола винтовки, летела к цели, но таинственным образом, совершив траекторию в искривленном пространстве, попадала стрелку в спину. Это было пространство Ада. То, которое открыл Лобачевский, создав знаменитую геометрию «пересекающихся в бесконечности параллельных прямых». Лобачевский открыл «геометрию Ада», а Стрижайло жил по законам этой геометрии, жил в Аду.

Существовал лишь слабый намек на иное, неискривленное бытие, долетавший в чудовищный лабиринт,

где плутала его заблудшая, страдающая душа, — бабушка, мысль о ней, запоздалое чувство вины, слезная нежность, беззащитная, умоляющая любовь.

Тогда, в детстве, в черном подвале, в скважине, соединяющей «мир солнца» и «мир тьмы», он попал во власть жутких духов, выпивавших невидимыми присосками его слабую жизнь. Вымаливал себе освобождение, отдавал духам все самое дорогое, — коллекцию марок и фантиков, любимый, стоящий на окошке цветок, нарядные, купленные бабушкой ботинки и в последний момент, ужаснувшейся,

совершающей злодеяние мыслью, — и саму бабушку. Духи приняли от него эту жертву. Бабушка вскоре умерла, а он, вместе с немногочисленной родней проводив ее в крематорий, стараясь не глядеть, как гроб уходит куда-то вглубь, в «геенну огненную», где пылают негасимые печи, — больше никогда не бывал на месте ее погребения. Дальняя родня так и не удосужилась взять урну с прахом, который, по прошествии времени, был развеян в туманных окрестных рощах. С тех пор, подхваченный загадочным, грозно-восхитительным вихрем приключений, успехов, свершений, он почти не думал о бабушке. Только

теперь, когда вихрь пригнал его в огромный лабиринт Ада, превратившись в железный сквозняк, он, погибая, вспомнил бабушку, выхватывал из прошлого ее спасающий драгоценный образ. Решил отправиться в окрестности Москвы, где в рощах еще витали частицы ее непогребенного праха.

Кольцевая дорога была огромным желобом, в котором мчались жестокие сгустки плазмы, мерцали отточенные кромки металла, взрывались мутные, охваченные гарью вспышки. Здесь не могла уцелеть ни единая живая частица, ни самая малая капля жизни. Крематорий в Николо-

Архангельском, куда стекались траурные катафалки и погребальные, с печальным людом автобусы, был местом истребления, машиной смерти, откуда вылетали безмолвно стенающие, опаленные души, с которых соскоблили зажаренную плоть. Здесь, на этой фабрике холокоста, не было признаков преображенной жизни, волшебной метемпсихозы, где душа, ныряя из одной формы бытия в другую, совершает бесконечное странствие к Богу. Стрижайло поспешил оставить эту фабрику пепла, направил «фольксваген» прочь от города, подальше от Кольцевой дороге. Пробивался в снегах по узкому

шоссе, все ближе к Лосиному Острову, где туманный лесной массив высылал вперед прозрачные перелески и рощи, казавшиеся голубыми тенями среди сверкающих снегов.

Внезапно, недалеко от дороги, он увидел березу. Легкая, как фонтан света, она возносила сияющий ствол, из которого сыпались ввысь, опадали к земле бесчисленные блестящие струи. Вся розовая крона была покрыта инеем, переливалась, сверкала, словно великолепная люстра. Стрижайло радостно ахнул. Береза была бабушкой, которая после смерти приняла образ чудесного дерева. Через многие годы их

свидание состоялось на снежном сияющем поле.

Он приказал шоферу остановиться. Вышел из салона и, как был в легких туфлях, перескочил обочину, пошел к березе, взрывая рыхлый снег.

Приблизился, оказался в прозрачном сверкании, в прохладном светящемся воздухе, в котором переливались хрусталики драгоценного света. Словно кто-то обнял его, положил на лоб невесомую чудесную руку. Это была, несомненно, бабушка. Ее присутствие угадывалось по столь знакомому, направленному на него обожанию, нежности, бесконечной

любви. Он был окружен этой любовью, отделен от жестокого мира. Над ним витал покров сверкающих воздушных ветвей, белый ствол был живой и телесный, в глубине древесных волокон скрывалась бабушка, ее душа, ее молчаливая нежность.

Береза имела непередаваемое сходство с бабушкой, — с ее кружевной вуалью, с лучистой серебряной сединой, с сиянием, которым было окружено ее любящее лицо. Это было дерево, но в нем, преображенная, ставшая частью божественной бессмертной природы, пребывала бабушка. Она была Берегиней, спасавшей от горестей и

напастей мира. Была иконой, на которой в чудесных нимбах и прозрачных радугах угадывался ее незабвенный лик.

Стрижайло прислонился горячим лбом к древесному стволу, слыша едва уловимые биения бабушкиного сердца. Бессловесно молил о спасении, просил прощения, каялся во всех совершенных грехах, умоляя избавить от пут неотступного Ада: «Прости!.. Спаси!.. Сбереги!..» И в ответ, из глубины дремлющего дерева, из сияющей кроны донеслось бессловесно: «Я не в силах помочь... Я сама в плену... Но знай, спасение будет... Мой милый, мой милый Мишенька...»

Он целовал белый ствол.
Испытывал облегчение,
благодарность, надежду. Поднимал
глаза ввысь, где сквозь розовые ветки
нежно сочилась лазурь. Береза слабо
трепетала, осыпала сверкающую
росу на его плачущее лицо.

После свидания с бабушкой,
получив надежду на избавление,
Стрижайло продолжал обход
претендентов на президентскую
роль, не позволяя силам Ада угадать
в нем мерцающую точку надежды.

Следующим претендентом,
согласившимся на участие в
предвыборном шапито, была
женщина-политик японского

происхождение по фамилии Хакайдо. Она принимала его в типично японском доме с бамбуковыми перегородками, на тростниковых циновках, среди писанных на шелке изображений горы Фудзи. На полу стояло множество тарелочек с восточными деликатесами, баночки соевого сока, флакончики с пряностями, на спиртовке грелась водка сакэ. Хозяйка, страшно худая, изможденная страданиями, неутешными размышлениями о судьбах своей далекой, подвергшейся атомной бомбардировке родины, ловко орудовала деревянными палочками. То и дело хватала с

тарелочек какую-нибудь изысканную снедь, быстро проглатывала, запивая рюмкой теплой сакэ.

— Вам, конечно, интересно узнать, что заставило меня согласиться на это рискованное предложение, — произнесла она голосом, привыкшим давать интервью отечественным и зарубежным журналистам. — Для этого мне придется кратко изложить вам мою жизнь...

Она ловко ущипнула палочками живого, извивающегося червячка, окунула в мисочку с соевым соком и изящно запихнула себе в рот, тут же запив огненным японским напитком.

— Мы родились с братом по

имени Косимото в префектуре
Хоциява в небольшом городке
Мурасака, что на севере нашего
острова Хокайдо. С детства мы
слышали рассказы взрослых о наших
«северных территориях»,
отторгнутых свирепыми и
полудикими русскими. Об островах
Курильской гряды, — Шикотане,
Итурупе и Кунашире. Вместе с
братом Косимото мы выходили на
берег острова Хокайдо и смотрели в
океан, где в ясную погоду виднелись
очертания наших японских островов,
находящихся под гнетом русских
оккупантов. Думали, как вернуть
наши священные земли, вокруг
которых в благодатном океане

водятся в изобилии кальмары, трепанги, гребешки, вкусные и полезные рыбы, столь необходимые нашему народу, на голову которого русские сбросили атомные бомбы. Мы поклялись с братом посвятить свои жизни освобождению наших священных островов...

Дама ухватила палочками блестящего жучка, который отчаянно шевелил ножками. Макнула в мисочку с соусом и отправила в рот, где жучок хрустнул и умолк. Рюмочка сакэ проводила его в последний путь.

— Мы с братом Косимото еще в школе узнали, что теплое течение Курасиво, огибая остров Хокайдо,

несет свои воды к острову Итурупу. Мы сделали плот, сели на него и, питаясь водорослями, мелкими рачками и дождевой водой, чудом избежав встречи с жестокими русскими пограничниками, достигли острова. Целовали священную землю, на которую впервые за полвека ступила нога японца. Здесь нас обнаружили русские пограничники и погнались за нами с овчарками. Мы вынуждены были расстаться с братом и спастись по отдельности. Я не сомневалась, что брат Косимото, настоящий самурай, ускользнет от преследования тупоголовых и жестоких русских, и мы с ним снова встретимся. Но

встреча, увы, произошла не скоро, и долгие годы мы провели в разлуке...

Дама опечалилась и с выражением утраты, палочками, как птица клювом, схватила живого лягушонка, смешно дергающего лапками. Утопила его в соевом соусе и проглотила, не прожевывая. Было видно, как лягушонок, проходит сквозь длинное пульсирующее горло, вздувая бугорок. Это напоминало питание цапли. Рюмка сакэ способствовала прохождению пищи сквозь пищевод.

— С этого момента начались мои злключения, когда я одна, без брата Косимото, во враждебной стране, спасалась от погони. Сначала

я спряталась в трюм отплывающего на Сахалин корабля. Трюм завалили живыми кальмарами, и я целые сутки пролежала среди мокрых шевелящихся животных, которые обвивали мои бедра своими щупальцами и норовили пощекотать усами самые интимные места. На Сахалине я выбралась из-под груды кальмаров и перебралась в трюм другого судна, идущего на материк. На меня вывалили добрую тонну крабов, и они стали хватать мои нежные девичьи груди костяными клешнями, сдавливать мое лицо своими колючими панцирями. Шрамы, которые вы видите на моих щеках, это следы того ужасного

путешествия. В Находке, куда пришел корабль, я освободилась от питательных, но ужасных крабов, перебралась на поезд, состоящий из красивых белых вагонов, в одном из которых я незаметно укрылась. Каково же было мое удивление, когда мне на голову стали валиться массы красной икры, погребая под собой. К тому же, стала резко понижаться температура. Так в холодильнике, по горло в икре, я доехала до Хабаровска, где мне удалось выбраться и пересесть на платформу другого железнодорожного состава. Мне не дали отдохнуть и стали заваливать огромными бревнами свежеспиленного леса. Погребенная

под тяжелыми бревнами, я сплющилась, и с тех пор у меня совершенно плоские груди и деформированное тело. В Иркутске, где разгружали древесину, я с трудом перебралась на другой состав, надеясь передохнуть от напастей. Но в круглый, напоминающий бочку контейнер, куда я укрылась, налили жидкий бетон, а чтобы он не застыл, контейнер стали вращать. Целые сутки я провела в жидком бетоне, в постоянном вращении. С тех пор у меня немного кружится голова. В Тюмени, куда мы приехали, меня залили сырой нефтью. В Екатеринбурге на меня навалили груды кирпича. В Ярославле я

перемещалась в цистерне с серной кислотой. И только под Москвой, на станции «Семхоз» мне удалось сойти с поезда и познакомиться с одним молодым русским слесарем. Он на руках принес меня в свою мастерскую, долго обрабатывал напильником, обкалывал зубилом, бил молотком, выпрямляя. Он решил, что я диковинный, невиданных размеров гвоздь. Так я добралась до Москвы, где решила заняться политикой, ставя себе две цели. Отыскать моего любимого брата Косимото. И, добившись высоких правительственных постов, способствовать передачи Японии наших исконных островов...

Она ненадолго прервала рассказ. Зацепив палочками комочек болотной тины, ополоснула его в соевом соусе, слегка давясь, проглотила. Ее узкие глаза закатились, обнаружив мертвенные желтоватые белки. Только рюмочка сакэ вернула ее к жизни, позволила продолжить повествование.

— Меня сразу же пригласили в партию «Союз правых сил» популярные политики Борис Немцов и Анатолий Чубайс. Оба хорошо смотрелись, как хорошо смотрится черное на красном. На Чубайса то и дело устраивали покушения, и он совсем стал, как говорят русские, «долбанутым». Немцова то и дело

проливали фруктовым соком и он, что называется, «не просыхал». Вся партийная работа легла на меня. В мою обязанность входило кричать чайкой, чему я научилась в детстве, на любимом острове Хокайдо, слушая голоса морских птиц. Как только открывался партийный митинг, или начиналось телевизионное выступление у Зяблика Шустрого, я начинала кричать чайкой. Крик был протяжный, непрерывный, и люди могли его выдерживать не более трех минут. После чего они сходили с ума. На митингах тысячами вступали в ряды нашей партии и тут же отдавали свои кошельки. На

телевидении оппоненты начинали рыдать, катались по земле, а Зяблик так выворачивался наизнанку, что умудрялся трагически кусать себе локти. Короче, моя партийная карьера шла вверх. Но я ни на минуту не переставала искать своего утраченного брата Косимото и очень любила смотреть кинофильм «Брат»...

Дама ухватила деревянным пинцетом небольшую, уползавшую из блюдца улитку. Сунула в соевый соус. Поднесла к глазам, рассматривая перламутровую пленку слизи. Открыв рот, быстро кинула в глубину привлекательного моллюска, промочив горло сакэ.

— Я чувствовала присутствие брата где-то здесь, рядом, в огромной Москве. И чувство меня не обмануло. В городе объявился дерзкий и отважный разбойник, который наводил ужас на всех богачей. Он носил кличку «Япончик», и за его поимку милиция назначила премию в один миллион долларов. По самурайскому почерку я догадалась, что это мой брат Косимото, который взял себе кличку «Япончик». Он ограбил сразу двести пятьдесят банков, в том числе и Центральный банк, раздав деньги инвалидам Чернобыля и вдовам погибших шахтеров, что вызвало «дефолт» и разорение «среднего класса». Затем

он ограбил «Алмазный фонд», раздав все драгоценности пенсионерам, сиротам и матерям-одиночкам. Фонд опустел, что вынудило миллиардера Ваксельберга положить в него несколько яиц Фаберже, чтобы было на что смотреть. Затем он украл все колонны Большого театра, подперев фронтон с Аполлоном обычными бревнами, что вызвало великий конфуз. И хотя бревна тут же побелили, но все же театр закрыли на ремонт. Я радовалась подвигам брата, мечтала его увидеть. Боялась, как бы отвратительная русская милиция, не соблюдающая права человека, его не поймала бы...

Дама окунула палочки в

миниатюрный аквариум, где в свете крохотной лампочки мелькали разноцветные рыбы мальки. Проворно схватила рыбешку с выпученными от ужаса глазками и схрумкала, чуть скосив лысоватую голову, смакуя лакомство. Затем небольшими глотками, желая продлить удовольствие, выпила водочку. И только потом продолжала:

— Мне стало известно, какой коварный план для поимки моего брата придумали спецслужбы. Они пригласили всю элиту Москвы на кинопросмотр нового фильма режиссера Сакурова, японца, о чем свидетельствует его фамилия. Фильм был посвящен нашему японскому

императору Хирохито. По замыслу спецслужб, как только начнется фильм и на экране появится император, находящийся в зале Япончик, из уважения к божественному императору, должен будет встать, чем и обнаружит себя. Тут его и арестуют. Я пошла на просмотр в надежде увидеть брата и раскрыть ему замысел спецслужб. Но в толпе народа, которую возглавлял Никита Михалков, не могла его разглядеть. Как только начался фильм, и наш восхитительный император появился на экране, один человек в зале поднялся из кресла и склонился в почтительном поклоне перед императором. Это был мой

брат, я узнала его. Крикнула жалобной чайкой. Но агенты набросились на него, заковали в наручники, повели через зал. Единственное, что он успел, так это пнуть ногой телеоператора ФСБ, попытавшегося его заснять...

Велико было горе рассказчицы. Но недаром она была из семьи самурая. Ни один мускул не дрогнул на ее красивом, изъеденном серной кислотой лице. Палочками она схватила пробежавшего мимо муравья, сунула в соевый соус. Обсосала, вытянула из крохотного тельца вкусную эссенцию и осторожно выплюнула пустой чехольчик хитина. Запила сакэ.

— За время пребывания в России, я заметила странную особенность русских властей. Они предпочитают все важное и ценное хранить за границей. Так, например, они хранят за границей весь свой валютный запас. Они перевели за границу цвет своей научной интеллигенции. Следуя этой загадочной практике, они переслали за границу моего брата «Япончика», стали содержать в американской тюрьме. Там он познакомился в Госсекретарем Союза России и Беларуси Павлом Павловичем Бородиным, дружба с которым скрашивала брату тюремные дни. Павел Павлович любил лепить из

хлебных мякишей осликов и козликов, а потом их съедал. Еще Павел Павлович любил рассказывать разные истории о Борисе Николаевиче Ельцине. Так, по рассказам Павла Павловича, Ельцин был только наполовину человек, а наполовину кабан. Нижняя его половина была сплошь покрыта щетиной, а ноги кончались копытами, что хорошо было заметно в бане. Борис Николаевич, бывало, рассердится на Коржакова, да и давай хрюкать. В Германии он ел из корыта, которое ставил ему на пол канцлер Коль. Ну и пил он, конечно, как свинья. Обо всем этом брат написал мне в письме. Я стала

хлопотать о его переводе обратно в Россию...

Пролетавшая мимо мошка была ловко схвачена рассказчицей, и не пальцами, а все теми же палочками, которыми та владела в совершенстве. Попробовав мошку на зубок, дама макнула ее в соевый раствор и съела. Даже не стала жевать, только запила рюмочкой теплой водки.

— Теперь Япончик в Москве, в «Матросской тишине», сидит в одной камере с олигархом Маковским. Маковский одноглазый, все время плачет и твердит о какой-то Соне Ки. Говорит, что сам вырвал у себя тот глаз, который смотрел в Ад. Оставил тот, который смотрел в небо.

Говорит, что один могущественный человек обещает прислать ему вставной стеклянный глаз. Они подружились с братом, спят в одной кровати...

Дама горестно замолчала, а Стрижайло смотрел на ее доброе лицо, напоминавшее своими шрамами, рубцами и скорбными тенями судьбу Квантунской армии. Ему было безумно жаль эту одинокую женщину, столь много пострадавшую из-за святой любви к попранной родине. Ему хотелось помочь ей, уберечь от напастей.

— Что вы хотите получить за свое участие в президентской компании? — спросил он, заметив,

как пристально она наблюдает за маленьким тараканом, пьющим капельку соевого сока.

— Спасибо, что спросили об этом. Хочу две вещи. Чтобы моего брата освободили из тюрьмы и отправили на наш любимый остров Хокайдо. И чтобы Россия вернула нам хотя бы два Курильских острова из четырех. Для этого я нашла способ, не унижительный для России. Пусть Россия позволит, как и в случае со своим золотым запасом, вывести острова в Японию. Для этого трудолюбивый японский народ готов копать грунт на Кунашире и Итурупе и баржами переправлять его на Хокайдо. Уже через десять лет

острова будут наши. Лыщу себя надеждой, что мы с братом проведем счастливую старость на одном из этих, перевезенных в Японию островов.

С этими словами она схватила палочками таракана, проглотила, не запивая сакэ. Окаменела, как статуя Будды, иссеченная ветрами и бурями... Стрижайло понял, что свидание окончено. Поднялся и, пятясь в поклонах к дверям, покинул бамбуковую хижину.

Следующим претендентом, к кому направил свои стопы Стрижайло, был представитель либерал-демократов, правая рука

Жириновского, инвалид Золушкин. Пример стоицизма и мученичества, пылкого идеализма и служения партии, Золушкин принял Стрижайло в русской бане, куда проводили политолога охранники. Он восседал в парилке, свесив с полки голые ноги, весь блестящий, окруженный стеклянным сиянием, скашивая залитые потом голубые глаза то на раскаленные камни, то на медный ковшик, окруженный множеством флаконов с банными специями. Стрижайло, которого втолкнули в парилку, с опаской устроился голым задом на горячих досках, чувствуя, как веет от камней неистовой огненной силой. Такой же

неистойой, нечеловеческой силой веяло от самого инвалида Золушкина.

Некоторое время они молча наблюдали друг друга. Золушкин был могучего сложения, лысый, с узким выпуклым лбом, приспособленным для ударов. Его мускулистое, испещренное шрамами тело украшало множество татуировок. Драконы, хищные птицы, голые женщины, церкви, мечети и пагоды, якоря, летающие кометы, знаки Зодиака, игральные карты. Среди этих изображений отчетливо читалось несколько надписей, выполненных в эстетике агитационных плакатов. С правого плеча до локтя было выведено:

«Жириновский — это круто!». Через грудь от соска к соску было начертано: «Владимир Вольфович, ты — сокол!». На сексуальном отростке, находящемся в полувозбужденном состоянии, читалось: «Вольфыч, не ссы!». Инвалид Золушкин отер пот с рыжих бровей и сказал:

— Ну что, братан, сперва поддам, а потом перетолкуем о политике, — черпнул медным ковшиком из ведра. Легонько швырнул на камни. Ужасно взорвалось, вскипело, тучи огненных духов метнулись под потолок, а потом ринулись на Стрижайло, сдирая с него заживо кожу. И сквозь

пламя и пар смотрели на него немигающие, голубые глаза инвалида Золушкина. — Понимаю, братан, твой интерес. Вольфыч предупредил, чтобы все тебе, типа, рассказал, как попу Гапону на исповеди. Сперва слушай, как я в партию пригреб, и мы с Вольфычем стали корешами... — инвалид снова черпнул ковшом, капнул в него из флакончика, метнул на каменья, и в клубах шумящего пара упал на Стрижайло срубленный эвкалипт. Погибая в огне, он вдыхал маслянистый дух экзотического дерева.

— Пришел к Вольфычу: «Хочу, говорю, типа, в твою партию. Твоя

поляна по мне, быки у тебя в порядке, телки клевые, живешь по понятиям. Все в натуре, как у людей. Давай, принимай». А Вольфыч говорит: «Сперва пройди испытание. Докажи свою верность либеральной демократии». — «Что за базар, говори, что делать». — «Сможешь вбить себе в голову гвоздь «сотку», станешь кандидатом». Что за дела! Беру «сотку», молоток и сам себя тремя ударами вьебашил гвоздь в мозг. До сих пор сидит, не мешает думать, — инвалид ткнул пальцем в лоб, на котором среди морщин виднелась шляпка гвоздя. Схватил ковшик, черпнул, капнул из другого флакончика и плюхнул на камни. Те

на секунду потемнели, затем побелели, саданули в потолок жутким адским туманом. Словно крючья рвали Стрижайло, добираясь до кишок, до печени и селезенки. Но в воздухе пахло медом, словно адские цветы источали нектар, привлекая огненных бабочек.

— Ну, стал я кандидатом в члены ЛДПР, блин. Непруха, роста нету. Говорю об этом Вольфычу: «Типа, что за дела?» Отвечает: «Прыгнешь с двенадцатого этажа без парашюта, приму в партию». А хули? Сиганул. Маленько помялся, вишь, двух ребер нет. Но в партию вошел, натурально, — инвалид Золушкин показал на вмятину в боку, где явно

не хватало нескольких ребер. Капнул в ковшик из флакончика, ошпарил камни. Стрижайло показалось, что у него сварились глаза, стали белые и твердые, как у вареной рыбы. Но, ослепнув, вдыхал обожженными ноздрями дивный запах жареного ячменя, хотя и выдыхал синее адское пламя.

— «Вольфыч, говорю, мне карьера нужна. Говори, что делать. Может, в Думе, типа, кого отпиздить?». — «Ладно, Инвалид, — это он мне такую кликуху дал, — столкнешься на полном ходу с самосвалом, сделаю тебя помощником депутата Митрофанова». Ни хера себе! Пошел

на трассу. Увидел, идет на полной скорости, типа, КАМАЗ с кирпичами. Разбегаюсь и навстречу. Ударились натурально. У меня шесть открытых переломов, а у гребаного КАМАЗа только радиатор лопнул. Но ничего, стал работать, типа, с Митрофановым, мяч ему в жопу! — инвалид Золушкин показала шрамы на руках и ногах. Метнул на камни ковш с благовониями, и у Стрижайло, сглотившего пар, покрылся волдырями язык, хотя в воздухе пахло горными полынями, добытыми на плоскогорьях Тибета.

— Работаем с Митрофановым, делаем большую политику. Он поет тенором, а я жопу его охраняю.

Прихожу к Вольфычу: «У меня у самого, говорю, жопа, как Спасские ворота. Давай, типа, еще задание». — «Возьми, говорит, гранату «эфку», вырви чеку, засунь себе в задний проход и сиди, пока ни пройдет мимо депутат Юшенков. Тогда встань». Все сделал, как Вольфыч велел. Где Юшенков, ты знаешь, а у меня вместо жопы американский протез. Зато стал я депутатом Госдумы, — инвалид Золушкин приподнялся, показав Стрижайло великолепный титановый зад, из которого торчала золотая выводящая трубка. И Стрижайло вдруг озарило, отчего у Золушкина в рядах ЛДПР было прозвище: «Титан мысли».

От следующего ковшика у Стрижайло на руках и ногах слезли ногти, но перед тем, как отключиться, он услышал запах фиалок, отдавая должное вкусам инвалида Золушкина.

Очнулся оттого, что по его спине водили циркулярной пилой, из-под которой летели фонтаны брызг. Это Золушкин охаживал его вениками, нависая жутким узколобым лицом с сияющими голубыми глазами. Приговаривая:

— Я, типа, Вольфычу говорю: «Ты — сокол или мандавошка?». А он мне, в натуре, отвечает: «Ляжешь под танк, отвечу». Я лег. Видишь, живот, как вафля? След от трака

остался...

Они сидели в предбаннике, попивая квас, отекая горячими струями, так что под каждым на полу темнела лужа. Стрижайло было жаль себя. Жаль инвалида Золушкина. Жаль гвоздь «сотку», для которого не нашлось клещей. До слез было жаль депутата Митрофанова, которому в задницу просто так, беспричинно, хотели затолкать футбольный мяч. А вместо этого затолкали в задницу Золушкина ручную гранату, от которой пострадал человек либеральных воззрений. Было жаль Жириновского, поставленного, наконец, в тупик бесхитростным вопросом простого русского

парня, — сокол он или лобковая вша. Ему хотелось отговорить Золушкина от участия в президентских выборах, которые были всего лишь уморительным фарсом, коварной затеей Потрошкова. Но жалость не находила выхода. Он был не свободен. Кожа его пузырилась, содранная прутьями веника. Глаза белели, как у вареной щуки. Вместо языка, занимая всю гортань, набухло огромное матерное слово. С ужасом вспоминая запах фиалок, он косноязычно произнес:

— Жириновский, конечно, сокол, только очень маленький, с множеством ножек. Будем избираться в Президенты. Ты, типа,

чего просишь? Чего, в натуре, желаешь?

— Много не прошу, — ответил инвалид Золушкин. — Пусть меня пацаны посадят в штольную, где взрывают атомную бомбу, и кнопку нажмут. Хочу поглядеть, что получится, — и мелькнув титановым задом с золотым патрубком, исчез в парилке.

Стрижайло не пришлось отдыхать от экстравагантных персон, внесенных в список конкурентов нынешнему Президенту Ва-Ва. Следующий визит состоялся в Совет Федерации, к Спикеру, который не просто возглавлял партию

«Счастливого бытия» или в просторечии «Партию Виагры», но и дерзал с высоты своих политических успехов участвовать в президентских выборах. Участие это было специфическим. Он уже огласил свою полную поддержку нынешнему Президенту, желал ему триумфальной победы на выборах, а себе позорного поражения, намереваясь таких образом содействовать становлению новой русской государственности. Он обожал две вещи — Президента Ва-Ва и виагру, именем которой назвал не только свою жизнелюбивую партию, но и намеревался дать это имя новой столице государства. Для

столицы уже было выбрано место, — где-то между Барвихой и Жуковкой.

Он принял Стрижайло в своем кабинете, пылкий, жарко дыша. То и дело высовывал красный влажный язык, трепеща поросшими красивой щетиной щеками, похожий на нетерпеливого терьера, учуявшего где-то близко, в осоке, плавающую утку. Этой уткой был Президент России Ва-Ва. Его обожествлял Спикер, для которого служение своему кумиру было религией, источником жизни. Этот источник питал его организм, способствовал росту карьеры, взращивал на щеках великолепную щетину.

Весь кабинет Спикера был

установлен и увешен изображениями Президента. Тут красовались купленные за бешеные деньги картины сребролюбивого художника Дмитрия Врубеля: «Времена года», где двенадцать изображений Президента соответствовали календарному циклу. Особенно удачным был портрет под названием «Осень Президента», где Ва-Ва, абсолютно голый и синий, стоит на лесном пеньке, словно мокрый бурундучок, и его унылые чресла прикрывает желтый кленовый лист. Во множестве стояли скульптуры, большие и малые, изображавшие Президента то в виде Петра Первого, скачущего на жеребце, то в образе

Геorgia Победоносца, поражающего из седла Змея Сепаратизма. То в форме утюга, — работа скульптора-абстракциониста. На столе, вылепленный из гипса, белел слепок изящной руки Президента, протянутой для поцелуя. В золоченой рамке, на розовом бархате, был выставлен локон Президента, который случайно, на балу, обронила балерина Колобкова, а следующий за ней Спикер тут же подобрал. Привлекал внимание след Президента, который тот оставил на чеченской земле, когда прилетел на самолете в Грозный, высунул ногу, сделал один единственный шаг по покоренной территории и тут же

улетел обратно. Особую гордость Спикера составляла коллекция головных уборов, которые удосуживался носить Президент. Тут были пилотка подводника, стратосферный шлем летчика, кираса гвардейца Измайловского полка, тюрбан эмира Бухарского, женская шляпка с Монмартра и кипа, простая и безыскусная, роднившая ее хозяина со всем остальным, измученным холокостами народом.

Спикер знал о цели визита. Потому сразу же принялся излагать Стрижайло свою жизненную позицию.

— Совет Федерации — копилка народного опыта и кладезь

губернских познаний, из которых произрастает ветвистое древо российской государственности. Мы собираемся регулярно, где бы кто ни управлял, в каком краю или округе, или области, или, говоря стародавним языком, губернии, и встречи наши проходят в единодушии и во взыскании лучших подходов к управлению нашей евразийской страны, начало которой можно узреть из этого окошка, а скончания ей и края не видно. Ежели вам интересно узнать, как мы проводим время, то извольте, — мы пьем зеленый чай и настой «золотого корня», употребляем выжимки из пантов, иными словами, из рогов

молодого олешка, лакомимся корешками женьшеня и нюхаем сено из горных алтайских трав. Ходим на прогулку в парк Сокольники, играем в нарды, шашки и шахматы, разгадываем ребусы и кроссворды, читаем журнал «Медведь» и подглядываем, если кто проявляет интерес, в щелку дамской комнаты. Мы реформировали Совет Федерации так, чтобы от каждой волости или губернии к нам являлся самый шустрый скороход, веселый острослов, смышленный гадатель, силач и прыгун, отчего здесь, в этом здании на Большой Дмитровке, собирается замечательное общество, которое все вступило в мою партию

«Счастливого Бытия». В знак глубокой друг к другу симпатии и доверия мы кормим один другого из серебряных ложечек виагрой на сладком сиропе, приумножая тем самым радости жизни. И всей этой реформе, поистине петровской, всем этим смелым подходам, мы обязаны одному человеку, — нашему Президенту...

Со Спикером что-то случилось. Лицо его приняло идиотское выражение, глаза закатились, из раскрытого рта побежала слюна. Он задергался, сжимая колени, покраснел, и у него случилось семяизвержение. Трепетал несколько секунд. Облегченно выдохнул,

опустив усталые плечи. Лицо его стало доверчивым, беззащитным и слегка растерянным, как у мальчика, у которого случилась поллюция. Он был очень мил, непосредственен, взглядом умолял его извинить. Рылся в поисках носового платка, чтобы утереть им вовсе не нос, а совершенно иное место. Через минуту был способен продолжать разговор.

— Видите ли, «Партия Виагры» не возлагает на своих членов никаких обременительных обязанностей. Кроме одной, — научиться получать наслаждение от жизни. В сегодняшней Москве это так возможно. Столько удивительных

ресторанов, милых уголков, очаровательных заведений, и в каждом свои особая кухня, особая культура поглощения яств, которые рекомендовал нам член нашей партии журналист Михаил Кожухов. К сожалению он умер на Борнео, объевшись жуков-плавунцов. Однако вернемся к приятному. Например, вы можете позавтракать японскими дарами моря, включающих живых пиявок Хуцю. Пообедать восхитительным аргентинским стейком «качавес». Поужинать за рыбным итальянским столом, запивая рыбу «маринго» вином, добытым из амфор затонувших римских галеонов. А ночью, если вы

не спите и предаетесь утехам в
ночном клубе на борту корабля
«Валерий Брюсов», вы можете
вкусить еду для гурманов, —
мороженую ляжку молодой алеутки и
носовую ткань алеута средних лет.
Одних креветок в Москве
насчитывается две тысячи пять
видов, и каждый у нас на учете. Еще
мы увлекаемся массажем, —
тибетским, русским, тайским,
еврейским, мордовским, эфиопским,
военно-морским, воздушно-
десантным, национал-
социалистическим, беломоро-
балтийским, огуречно-земляничным,
религиозно-философским. Вам
могут массировать мускулы, или же

полушария мозга, или предстательную железу, или почки, или двенадцатиперстную кишку или верхнее небо рта, или нижнюю внутреннюю поверхность семенника. Среди членов Совета Федерации есть изумительные массажисты. Своим массажем они могут проникнуть в лоно беременной женщины и там отмассажировать у младенца мочки ушей. Еще мы любим размышлять о том, что станем делать, когда, благодаря виагре, достигнем практического бессмертия. Сколько полезных вещей мы сможем совершить. Будем сажать деревья, помогать сиротам, изучать иностранные языки, собирать значки

в честь юбилейных дат российской истории, устраивать «Праздники города», «Праздники региона», «Праздники области», «Праздники поселка». В каждой деревушке будем избирать свою «Мисс». Например, «Мисс Жуковка», «Мисс Барвиха», «Мисс Николина Гора», «Мисс Горки-2». Устроим показ коллекций большой моды, на который пригласим балерину Колобкову, несравненную Дарью Лизун и нашего обожаемого Президента...

Произнеся слово «Президент», спикер издал короткий стон. Колени его стали сжиматься и разжиматься. Глаза расширились и увлажнились. Рот приоткрылся и принял форму,

когда произносится протяжный звук: «О». Бессильно отпал на спинку кресла, и было видно, как потемнели от влаги его брюки. Семязвержение было столь сильным, что лишило Спикера дара речи. В кабинете запахло свежими огурцами, карболкой, бензином «Аи-95», морской тиной и чем-то еще, напоминающем запах горелой пластмассы.

— Извините, — пробормотал Спикер и пошел переодеваться. Через несколько минут вернулся, умытый, с расчесанными волосами, в свежих, полосатых брюках.

— Что я собирался вам сообщить? Ах, да, съезд нашей

партии «Счастливого Бытия» принял решение заказать художнику Шилову, тоже члену «Партии Виагры», — заказать мой портрет. Мы стали думать с художником, в какой обстановке, среди какого ландшафта я стану ему позировать. На фоне римского Колизея. На фоне вашингтонского Капитолия. На фоне египетских пирамид. В алтаре Храма Христа Спасителя. Рядом с «Черным квадратом» Малевича. У могилы Пушкина. У могилы Лермонтова. У могилы Толстого. У могилы Шолохова. На «Ближней даче» Сталина. На трибуне мавзолея. На циферблате кремлевских курантов. Наконец, решили, что на Канале

Гранде в Венеции, в гондоле, в одежде венецианского дожа шестнадцатого века. Это было упоительно. Я сидел в изящной гондоле в бархатном берете, в камзоле золотого шитья, в туфлях с бантами и серебряными пряжками. Художник Шилов поставил мольберт на площади Святого Марка. То и дело отгонял голубей, которые норовили добавить белил в его палитру. Он рисовал вдохновенно, привлекая внимание знатоков живописи, которые обращались к нему: «Скажите, вы, случайно, не Филиппино Липпи?». Я позировал и одновременно наблюдал скольжение легких гондол по зеркальной глади

канала. И знаете, кого я увидел? Спикера Государственной думы, обнимавшего в гондоле хорошенькую венецианку. Лидера ЛДПР, в галифе, с маузером, целовавшего в засос молодого пажа. Там был глава кремлевской Администрации, незаметно, как ему казалось, пускавший струйку в канал. Там были два неразлучных министра — Оборона и Иностранных дел, оба в женских сорочках, в позе сросшихся цветов. Внезапно появилась большая гондола, на которой гребли сразу несколько мускулистых гондольеров. На ладье был великолепный царственный балдахин. И знает, кто под ним возлежал на шитых шелками

подушках? Несравненная балерина Колобкова в прозрачном пеньюаре и наш красавец, наш обольстительный кавалер, наш Президент...

Поллюция была столь сильной, что в кабинете запотели окна. Превратившись на секунду в обморочного идиота с трясущимися щеками, стенающим ртом, Спикер дергался в кресле, как в танце святого Вита. Из него во все стороны летели брызги белка. Стрижайло слегка отодвинулся, чтобы не попасть под этот бешеный ливень. Извиняясь, прикрывая пах каким-то законопроектом, Спикер поспешил удалиться, долго пропадал и явился осунувшийся, в новых штанах.

Стрижайло понял, что долго он так не выдержит.

— Вы знаете, есть очень хорошая прорезиненная спецодежда, — произнес он, стараясь быть вежливым. — Впрочем, в ней нет необходимости, если в вашем гардеробе столько штанов. Теперь же я хотел поинтересоваться, какое вознаграждение желали бы вы получить за ваше участие в выборах?

— Вы знает, я ни в чем не нуждаюсь. Главное богатство, здоровье, мне обеспечивает виагра. У меня нет недостатка в друзьях и поклонников. Чего бы я желал, так это, следуя традиции скифов, быть

похороненным в одном кургане, не пережив его ни на час, быть погребенным в высоком степном кургане вместе с моим Президентом...

При этом слове, имевшем для Спикера необъяснимый эротический смысл, он стал дергаться. Рот стал произносить все гласные звуки подряд, будто он изъяснялся на древнем праязыке. Он вызывал кого-то, стоя на опушке первобытной дубравы, чувствуя приближение дивного языческого божества, и вся Большая Дмитровка внимала этому прославляющему гласу.

Стрижайло не стал дожидаться финала. Быстро вышел, слыша, как

что-то мягко шлепнуло в стену кабинета, и запахло нерестилищем.

Прямо у выхода из Совета Федерации он столкнулся с Человеком-Рыбой. Тот образовался из зайчиков света, капелек талой воды, сиреневых бензиновых испарений, золотой пудры, летящей с куполов Храма Христа Спасителя и чего-то еще, эфемерного, быстротечного, что появляется в московском воздухе в конце февраля, как предвестье скорой весны. Человек-Рыба радостно схватил Стрижайло за пуговицу пальто и потянул в стоящий рядом «мерседес» с мигалкой.

— Я подкарауливал вас, чтобы взять в заложники. Сейчас мы едем в детский оздоровительный лагерь, где вы увидите затейников нашего предвыборного шоу «Смех и слезы». Вы, как я знаю, готовы смешить, я же хочу, чтобы это был смех до слез.

Они уселись на заднее сидение салона, и всю дорогу Человек-Рыба оживленно болтал. Зная особый, мучительный интерес Стрижайло, утолял его рассказом о сестре, милой, измученной переживаниями, страдающей неврозами рыбе-палтус. Она, чтобы поправить здоровье, покинула Москву в это невыносимое межсезонье и отправилась в круиз по Средиземному морю, чтобы хоть

немного отдохнуть и развеяться среди голубых дивных вод и чудесных городов Южной Европы и Северной Африке. Она просит суженного не волноваться, с ней все хорошо. Обещает привезти из Афин бутылку ракии, из Каира — кальян, из Барселоны — мулету, из Неаполя — кусочек лавы, которой была засыпана Помпея. Пусть пепел извержений и катастроф не коснется их семейного счастья. Если же вдруг он услышит, что на круизном лайнере вместе с ней находится Артем Троицкий, этот несносный жуир и обольститель, пусть не верит злым языкам, все это — дурные шутки «Плейбоя».

Так, в разговорах о душевном и трогательном, они достигли места в Подмосковье, где был указатель: «Детский оздоровительный центр «Колобок»». Свернули в чудесный хвойный лес.

В глубине ельника, под шатрами хвои виднелось затейливое строение лесного детского лагеря с резными зверушками и уморительным, улыбающимся колобком, над которым потрудился художник-сказочник. Однако, у ворот их встретили не массовики-затейники, а бородатые чеченцы в камуфляже, перепоясанные пулеметными лентами, держа наперевес ручные пулеметы. Они улыбались Человеку-

Рыбе золотыми зубами, в шутку приставили к виску Стрижайло холодное дуло, на неправильном русском сказали шоферу: «Проезжай, сука». Машина въехала на территорию сказочного городка, и тут Стрижайло ждала непредвиденная встреча. Ему навстречу вышел эмиссар Масхадова, все той же легкой походкой горца, рыжебородый, зеленоглазый. Но вместо изысканного костюма, в котором тот предстал перед Стрижайло в Лондоне на «русской тропе», теперь его ладное тело облегал камуфляж, на бедре висел «стечкин», в кулаке был зажат конец измызганной веревки, на которой,

как и в отеле «Дорчестер» моталась изможденная английская актриса, безумно влюбленная в героя гор.

— Аллах акбар, — произнес эмиссар и так дернул веревку, что актриса захрипела в удавке, и сквозь предсмертный сип можно было уловить: «Мой дарлинг».

— Не удивляйтесь, — развеял недоумение Стрижайло Человек-Рыба. — Они неразлучны. Актрису пригласил на международный кинофестиваль Никита Михалков. А наш чеченский герой сопровождает ее в качестве секретаря. Ночью, как обычно, держит в яме, а днем водит за собой и заставляет обнюхивать посетителей на предмет взрывчатки.

Чеченец кивал, подтверждая справедливость сказанных слов. Пнул актрису, заставляя ее обнюхать Стрижайло. Та поводила разбитым носом, но ничего не обнаружила. Эмиссар раздраженно дернул веревку, и романтическая англичанка захрипела от удушья, успев вымолвить: «Ай лав ю».

— Пройдемте, я покажу вам оздоровительный центр, — пригласил Человек-Рыба, пропуская Стрижайло вглубь территории.

Здесь всюду играла молодая жизнь, все дышало здоровьем. В ворота въезжали тяжелые грузовики в сопровождении инспекторов ГАИ. Из них выгружали ящики с оружием,

взламывали. Блестели смазкой новенькие «калашниковы» и гранатометы. Их тут же раздавали бородатым обитателям пансионата. Те расхватывали автоматы, стреляли вверх, кричали «Аллах акбар». Человек-Рыба снисходительно посмеивался:

— Ну, прямо, как дети! Говорю им: «Почитали бы лучше». Ни в какую...

На прекрасно оборудованном стрельбище на позицию выбегали чеченцы в маскхалатах. Перевертывались, в кувырке стреляли по мишеням, изображавшим солдат федеральной армии. Ловко их поражали.

— Эта игра называется: «Шалуны-перевертыши». Некоторые совершают кувырок в облиии человека, а встают в обличье ичкерийского волка. Но не всем пока удастся...

На позицию с короткими интервалами выскакивали гранатометчики в зеленых повязках. С колен пускали заряды в макеты «бэтээров» и БМП, расшибали вдребезги.

— Это игра называется «Метание колобков». Победитель достаивается поцелуя прекрасной балерины Колобковой...

На специально оборудованной площадке старательные минеры

закладывали заряд под макет высоковольтной вышки, под ферму моста, под отрезок железнодорожной колеи.

— Это упражнение называется у нас: «Сделай сам». Здесь собрались победители соревнований из разных уголков страны. Из Волгодонска, Каспийска, Владикавказа, с улицы Гурьянова в Москве. А сейчас я покажу вам ансамбль девушек, исполняющих «танец живота».

С этими словами Человек-Рыба провел Стрижайло внутрь помещения, где в спортивном зале несколько девушек под страстные мелодии востока исполняли волшебный танец. В коротеньких

юбках, в нарядных лифчиках, так великолепно и страстно двигали животами с темными впадинами пупков, что Стрижайло невольно залюбовался этими волнообразными движениями, которые, казалось, сообщали вращение самой планете. Они начинались где-то под девичьими подбородками, пробегали по гибкой шее, достигали девичьей, вполне сформировавшейся груди, заставляли вращаться обольстительный живот, перетекая в круговые движения бедер, ног, голых упругих ступней. Прелесть обнаженных девичьих животов оттеняли нарядные пояса, сплошь увитые проводками, с мигающими

лампочками таймеров. Сами танцовщицы, совершая кругообразные движения, перебирали, словно четки, тонкие проводки, нажимали маленькие цветные кнопки.

— Эти девушки будут участвовать в концертах с большим скоплением народа, — пояснял Человек-Рыба, любуясь одалисками. — Их станут приглашать на закрытые вечеринки, которые любят устраивать представители властной элиты. И в Государственную Думу, после «Правительственного часа». Ну и, быть может, в Священный Синод, если того пожелают иерархи

церкви...

Пока длились эти ненавязчивые пояснения, Стрижайло вдруг с изумлением обнаружил, что одна из танцующих девушек была никто иная, как Фатима Сталин, та самая прелестная, пылкая функционерка, которая готовилась возглавить региональное отделение партии «Сталин» и куда-то исчезла после бесславного провала Семиженова. Теперь она самозабвенно крутила животом, то ускоряя вращение земли, то легонько его замедляя.

Когда танец кончился, и девушки с блестящими от пота животами, вышли из круга, Стрижайло приблизился к Фатиме Сталин, сжал

ее нежную худую ладонь и произнес:

— Как вы здесь оказались? Какой рок вас сюда привел? Почему я ничего не слышал о вас после нашей красноярской встречи?

И ответ был таким:

— Когда стало ясно, что партия «Сталин» больше не существует, и в политике взяли верх недобитые троцкисты-бухаринцы, я была на грани самоубийства. Рухнула мечта о воссоздании великой «красной империи» от Индии до Франции, от Кубы до Мозамбика, как до этого рухнула идея Святой Руси, православной «белой империи». Ни православие с бездуховными священниками и смиренной паствой,

ни выродившаяся «красная номенклатура», продавшая страну за пачку американских долларов, больше не способны к собиранию великих пространств. А без этого я жить не могу. Мне мало пространства величиной с песочницу, мало толстовских «трех аршин» земли для могилы. Мне нужна планета, галактика, мироздание. И я искала прорубь на Москва-реке, куда бы можно было кинуться и погибнуть. Уже нашла эту прорубь с черной бегущей водой, которая готова была принять меня в свой непроглядный холод. На краю проруби стояли и о чем-то беседовали известный философ,

богослов, исламский метафизик
Гейдар Джемаль, поражавший
красотой и величием своего бритого
черепа, и его молодой друг, русский
художник Калима, терский казак,
недавно принявший ваххабизм. Они
говорили о исламском возрождении,
которое соберет воедино великие
пространства, населенные
мусульманами в новый великий
халифат, куда войдут Индонезия,
Малайзия, Пакистан, Индия, Иран,
Афганистан, Узбекистан,
Таджикистан, Казахстан, Киргизия,
Татарстан, Башкортостан,
Азербайджан, весь Северный Кавказ,
Турция, Ирак, Сирия, Палестина,
Эмираты и Саудовская Аравия, вся

Северная Африка, Косово и Албания, вся заселенная мусульманами Европа, вся Северная Америка, где черное население исповедует учение Пророка, а также обширные территории Вологодской, Костромской, Тульской, Тверской и Вятской губерний, где коренным населением стали выходцы с Северного Кавказа, построившие в каждой деревне мечеть. Речь пламенного метафизика настолько меня увлекла, что я оставила мысль о самоубийстве и вся отдалась построению великого халифата. Теперь меня зовут не Фатима Сталин, как я когда-то звалась, а Фатима Бен Ладен, в честь великого

борца с неверными. Я поехала в Эр-Рияд и прошла месячный курс обучения основам ваххабизма. И вот я здесь, танцую, и скоро под нашу музыку будет танцевать все человечество.

— Кто твои подруги? — пролепетал Стрижайло, видя, как страстный румянец загорелся на смуглых щеках девушки. — Они тоже строительницы халифата?

— Я не знаю их имен. Знаю, что они много страдали. Их вымышленные имена таковы. Эльза — в честь замученной полковником Будановым Эльзы Кунгаевой. Сажи, — в честь великолепной «красной пассионарии» Сажи

Умалатовой. Асет, — в честь дикторши программы «Страна и Мир» Асет Вацуевой... Простите, — девушка виновато потупилась, — Больше не могу с вами оставаться. Нас приглашают в костюмерную. Там мы примерим новые «пояса Шахеризады», очень красивые, шитые бисером и жемчугами, с мигающими лампочками, напоминающими новогоднюю елку, которую я так любила в детстве.

С этими словами она покинула Стрижайло. А того подхватил Человек-Рыба. Вместе они досмотрели пансионат, где впечатляла детская библиотека с одной единственной книгой

«Господин Гексоген» и мешками какого-то белого вещества.

На прощанье их обняла чуткая англичанка с веревкой на шее. Задыхаясь от удушья, она, как гусь, просипела своему возлюбленному: «Кис ми». Машина несла их обратно в Москву. Стрижайло, не слушая говорливого родственника, погрузился в глубокое раздумье.

глава тридцать первая

Стрижайло была проделана кропотливая подготовительная работа, где каждому претенденту подыскивалась роль, писались предвыборные программы, создавался привлекательный образ. Президент Ва-Ва уклонился от дебатов и как бы выпал на время из поля зрения. Лишь прокручивались по телевидению давнишние кадры, — сверкающий альпийский снег, по склону скользит изящный слаломист, — Президент Ва-Ва. Борцовский ковер в спортивном зале, мускулистые борцы в белых кимоно, невысокий, пластичный спортсмен

укладывает на лопатки всех, один за другим, соперников, — Президент Ва-Ва. Не было среди участников дебатов и Человека-Рыбы. Когда завершит свои потешные состязания очередная пара конкурентов, а затем последует пугающая картина мнимого террористического акта, Человек-Рыба явится среди шутих и петард, ненатуральных дымов и поломанных фанерных щитов, как спаситель и ревнитель порядка. Такова была общая концепция, названная Потрошковым «Смех и слезы». Над ее исполнением изрядно потрудился Стрижайло.

И вот настал день дебатов. В первой паре состязались глава

погребального концерна Гробман и владелец фармацевтического гиганта Бренчанин. Дебаты вел известный телеведущий Соловейчик в формате своей обычной программы «Дай в глаз». Телестудия сияла прожекторами и лазерными вспышками. Площадка состязаний напоминала боксерский ринг. В качестве болельщиков были приглашены студенческая молодежь, пациенты психиатрической клиники, курсанты школы милиции, прибывшие из Подмосковья проститутки и несколько пенсионеров-льготников, получающих бесплатные лекарства и имеющие право на бесплатное

захоронение. В качестве экспертов явился весь цвет отечественной юмористики, едва поместившийся на судейских скамейках. Здесь были Жванецкий, Карцев, Задорнов, Гальцев, Петросян, Леон Измайлов, Аркадий Арканов, Регина Дубовицкая, Клара Новикова, Шендерович, Шифрин. Все они давились от смеха, хихикали, пощипывали друг друга, искали один у другого блошек, попукивали, чесали плешки, грызли вкусные орешки, скалили зубки.

С первым ударом гонга на ринг вышел Гробман, весь в черном бархате, с серебряным шитьем, бледнолицый и печальный, как жрец,

отправляющий печальную процессию к месту погребения. Стрижайло, наблюдавший дебаты по телевизору, залюбовался костюмом, который был исполнен по его эскизам Славой Зайцевым. Второй удар гонга, — и появился ликующий Бренчанин, в алом, с золотыми позументами и кантами, источающий волны здоровья и успеха. Стрижайло мысленно похвалил себя за фасон, выбранный в коллекции Юдашкина. Третий удар, — и на ринг вышел Соловейчик, в черном фраке и бронежилете, вооруженный электрошоком и газовым баллончиком, с лицом, которое

защищала решетка хоккейного вратаря. Это была спецодежда ведущего программы «Дай в глаз».

Зал взревел, разразился аплодисментами, смехачи стали выдувать на губах гуттаперчевые пузыри, плевались жвачкой, Жванецкий шлепнул на физиономию Карцева горячий блин.

— Начинаем состязание претендентов, — патетически воскликнул Соловейчик. — Первому говорить выпал жребий господину Гробману, который вначале предъявит претензии предвыборной программе оппонента, а потом изложит свою собственную программу. Прошу!.. — и он на

всякий случай отошел в дальний угол ринга, где его не могли достать кастет или финка рассерженного участника дебатов.

Гробман сделал шаг вперед, и его черный бархатный плащ, расшитый звездами, пауками и кабалистическими символами, шевельнулся, словно по залу пробежало дуновение вечности:

— Я обвиняю моего уважаемого оппонента господина Бренчанина в мерзком, подлом обмане, за который бьют морду. На страданиях несчастных больных он зарабатывает столько денег, что ест на одноразовых золотых тарелках, после чего покрывает ими кровлю своего

загородного дворца. Обман этого проходимца заключается в том, что он предлагает больному гриппом таблетку, которая излечивает его от недуга, но при этом заражает воспалением легких. Несчастный ищет лекарство, которое излечивает его от воспаления легких, но тут же заражает менингитом. Средство от менингита снимает болезнь, но заражает пациента энцефалитом. Несчастный бежит к Бренчанину за лекарством, которое спасает от энцефалита, но сразу же заражается лейкемией. Больной вылечивается от лейкемии, и получает рак мозга. Тратит последние сбережения на борьбу с опухолью, избавляется от

нее, но заражается гриппом. И все начинается сначала, — воспаление легких, менингит, энцефалит, лейкемия, рак мозга, и, о счастье, снова грипп, перетекающий в воспаление легких. Двигаясь по этому замкнутому кругу заболеваний и исцелений, напоминающему кармический круг бесчисленных воплощений, больной не умирает до тех пор, пока не истратит всех своих сбережений, денег родственников, заимствований у близких и дальних знакомых, государственных и профсоюзных субсидий. И все это превращается в золото, которое вы видите на одежде этого мерзкого обманщика и мучителя!..

Зал взвыл от негодования. Курсанты милиции свистели в два пальца. Проститутки Подмосковья трясли медицинскими справками, удостоверяющими проверку «на СПИД». Пенсионеры-льготники вышвыривали таблетки пищевой соды, купленные в аптеках Бренчанина, как средство от атеросклероза. Задорнов ударил головой в живот Леона Измайлова, и тот пролил миску простокваши на костюм Петросяна.

— А что вы можете предложить народу такого, за что он выбрал бы вас в Президенты? — крикнул из своего угла Соловейчик, не решаясь приблизиться к конкурентам,

слишком хорошо зная, чем это грозит.

— Извольте, — был ответ Гробмана, который имел на этот случай подготовленную Стрижайло программу. — Мой оппонент допустил в прессе ряд лживых заявлений, будто бы я делаю мой бизнес на вымирающем населении. Якобы, чем больше народу умрет, тем мне выгодней. Сие обман, как и все, что исходит от этого «отравителя колодцев». Я не заинтересован в смертности нашего убиваемого медикаментами населения. Я заинтересован в многочисленном, здоровом, трудолюбивом народе, ради которого я выдвигаюсь в

Президенты с «Программой сплошного перезахоронения мертвых». Вы спросите, в чем суть «Программы»? Отвечу. С годами, десятилетиями, веками гробы, эти обитатели мертвых, истлевают, и несчастные оказываются среди голой земли, претерпевая все, связанные с этим неудобства. Холод, сырость, воздействие червей, микробов, мелких грибов, доставляющих покойнику массу беспокойств, простите за каламбур. Моя «Программа», рассчитанная на все нынешнее столетие, предполагает замену истлевших гробов новыми, стойкими, прошедшими специальную пропитку и обработку,

изготовленными из новейших материалов. Перезахоронение — та долгожданная национальная программа, о которой мечтали. Она потребует новых производств, научных школ, тысячи и тысячи рабочих мест, инвестиций из-за рубежа и рационального использования нефтедолларов. И вот что важно. Именно в зонах повышенной смертности, где царят безработица, пьянство, преступность, разрастаются кладбища, — именно там мы обеспечим занятость населения, развернем современные производства, основанные на «хайтеках», добьемся удвоения

ВВП...

Зал замер, ошеломленный грандиозным замыслом, до которого не смог дойти тривиальный ум нынешних заскорузлых министров, ограниченных депутатов, самого Президента, и который предлагался теперь этим волевым, дерзновенным предпринимателем в черно-серебряном облачении, посланным, казалось, в Россию из звездного Космоса.

— Мы начнем с перезахоронения скифских курганов, усыпальниц древнерусских князей и святых. Великолепно и торжественно пройдут перезахоронения русских царей и цариц. За ними черед

«красных вождей», усопших коммунистических лидеров. Только представьте, как возвышенно, в соответствии с православной традицией, с отпеванием, с участием самого Патриарха, мы перезахороним Ивана Грозного, Алексея Михайловича, Петра Великого. Как поучительно, в атмосфере исторических чтений, пробуждающих интерес к родной истории, состоятся перезахоронения Екатерины Великой, Павла Первого, всех трех Александров. Полагаю, что нам не обойтись без перезахоронения останков последних Романовых, которые были погребены в спешке, в некачественных гробах,

при расхищении половины
отпущенных на церемонию денег. А
что будут стоять перезахоронения
Хрущева, Брежнева, Андропова,
Черненко? Какие торжества увидит
Москва, как это взбодрит ветеранов,
как поможет вспомнить завоевание
коммунистической эры, которую, к
сожалению, люди типа Бренчанина,
мажут в черный цвет. Мы переведем
отечественный автопром и авиапром
на изготовления гробов новейшей
конструкции, с электронной
начинкой, с современным сервисом,
абсолютно безопасных, с
возможностью в любой точке
России, на любой глубине не
чувствовать себя одиноким, общаться

со всеми, кто покойтся в этих
модернизированных,
конкурентоспособных гробах, какие
бы столетия или социальные барьеры
их ни разделяли. Мир мертвых
становится источником
благополучия для живых.
Воспрянут заглохшие отрасли
промышленности. Оживятся города и
селения. Усилится обмен идей и
товаров. Ускорится создание
гражданского общества.
Правоохранительные органы
очистятся от коррупции.
Благотворительность станет
общественной нормой. Расцветут
искусства. Дизайнеры, модельеры,
стилисты войдут в каждый дом.

Футбольные клубы России станут чемпионами УИФА.

Продолжительность жизни увеличится до восьмидесяти лет, и страна благополучно перескочит через демографическую яму...

Ликованью не было предела. Люди славили будущего Президента. Курсанты милиции показывали всем свои чистые руки. Проститутки отдавали деньги на перезахоронение Екатерины Великой. Пенсионеры-льготники мечтали принять участие в перезахоронении Андропова, который был строг, но справедлив. Юморист Шифрин целовал в засос Шендеровича, приговаривая: «Наконец-то, сладость моя!...» И

только Бренчанин в своем ало-золотом облачении презрительно улыбался.

— А что скажет на все это наш уважаемый фармацевт? — кричал в металлический рупор Соловейчик, осмелев и покинув свой угол. — Если ли ему что ответить на этот, поистине исторический вызов?

Бренчанин сделал эффектный шаг вперед, так что пурпур и золото его облачения помпезно колыхнулись, создав ощущение чего-то имперского, царственного:

— Мне просто смешно, — язвительно обратился он к Соловейчику, не удостоивая соперника взгляда. — Я не

антисемит, скорее, напротив. Но подумайте, разве может стать Президентом России человек с фамилией Гробман, который, к тому же, имеет двойное гражданство и в израильском паспорте значится, как Бровман? Разве может в нашей православной стране, где всякое обещание и договор скрепляются не юридическими бумагами, а крестоцелованием, — разве может стать Президентом отъявленный лжец и мошенник, который морочит вам головы о перезахоронении Ивана Грозного и Леонида Брежнева, а сам заключил контракт с американцами на перезахоронение Арлингтонского кладбища? Теперь вы понимаете в

какую землю он закопает денежки русского народа, достоянием которого останутся истлевшие гробы? Вы хотите иметь такого Президента?

Зал ахнул от возмущения, указывая пальцами на злого обманщика. Молодые милиционеры достали пистолеты и прицелились в голову Гробмана. Проститутки извлекли презервативы и норовили натянуть их на голову осквернителя святынь. Пенсионеры — льготники стучали костылями, выкрикивая: «Верните наши вклады!». Клара Новикова вцепилась в волосы Регины Дубовицкой, стянула с нее парик, и все увидели, что у Регины

неправильной формы череп, и она подстрижена наголо, как скинхед.

— И это еще не все! — Бренчанин взмахом алого плаща и блеском злата остановил бушующий зал. — Этот Гробман, что в переводе означает «Человек Гробов», — этот человек могил и истлевших костей намеревается потревожить прах великих правителей, забывая зловещий опыт советских археологов, потревоживших могилу Тимура. Неуемное любопытство некрофильского профессора Герасимова привело мир ко Второй мировой войне. Это вынудило Сталина весной 45-го года срочно вернуть прах Тимура в его прежнюю

усыпальницу, что и положило конец
кровопролитию. Гробман хочет
вскрыть могилу Ивана Грозного, и
нам снова придется пережить
покорение Казани, — о, бедный
Шаймиев! — пытки в
Александровской Слободе,
опричнину и великую смуту. Он
хочет вскрыть могилу Петра, и ваши
дети будут гибнуть в Полтавской
битве, штурмовать Нарву и строить
среди болот еще один, никому не
нужный Петербург, откуда ползет
вторая волна «чекистов». Он хочет
перезахоронить Екатерину Великую,
а мы получим, вместо безобидного
коммуниста Дышлова, свирепого
Емельяна Пугачева, который будет

пострашнее Шамиля Басаева. Он обещает перезахоронить Брежнева, а вы согласитесь, чтобы на ваших кухнях дни и ночи рассказывали анекдоты про генсека, про «сиськи-масиськи»? И, наконец, он хочет перезахоронить Черненко, а это означает, что опять появится болтун Горбачев с его долбаной перестройкой, и что мы будем делать?

Вопрос был риторический, но задел всех. Никто не хотел перестройки, не желал повторения Горбачева и Раисы Максимовны. Менты стучали ногами. Проститутки кидали вверх трусики. Пенсионеры-льготники взревели: «Горбачев —

Иуда!». Аркадий Арканов
немотивированно двинул в челюсть
Гальцева, и тот жалобно пропел:
«Ведь мы подводники, мы силачи...».

Гвалт сумел прекратить
Соловейчик, дунувший в жестяную
иерихонскую трубу. Было видно, что
его симпатии на стороне Гробмана:

— А вы-то что предлагаете? —
запальчиво обратился он к
Бренчанину. — Есть у вас позитивная
программа?

— Позитивная программа
есть, — Бренчанин засунул руки в
пурпурно-золотые одежды и извлек
огромную таблетку, величиной с
канализационный люк, такую же
ребристую, поделенную на ровные

фрагменты. — Эту пилюлю я преподношу нации, как мой президентский подарок. Это универсальное средство от всех болезней, — физических, душевных и социальных. Лечит самые страшные эпидемии, включая сибирскую язву и оспу, не говоря об инфлюэнце и легкого расстройства желудка, а также рак и СПИД. Надкусываете, запиваете чаем, а остальное прячете в холодильник. Если у вас паранойя, шизофрения, бреды, меланхолия или депрессия, другими словами, если вы спятили, — надкусываете пилюлю, чувствуете облегчение, а остатки прячете в холодное, затененное

место. Если вас поразили социальные болезни, — наркомания, пьянство, склонность к насилию и воровству, если вы играете в игру «Миллион», или «Угадай мелодию», если читаете Акунина и смотрите сериал «Менты», надкусите пилюлю, запейте чаем, лучше зеленым, и спрячьте остаток в какое-нибудь укромное место, чтобы кошка не утащила или бабушка не выбросила. Учтите, таблетка абсолютно экологически чистая, приготовленная на утренней росе альпийских лугов из экстракта трав и корней, которые я не могу вам назвать. В дополнение к перечисленным эффектам, она

способствует росту волос на всех частях тела, выведению родинок и бородавок, устраняет косоглазие и плоскостопие, улучшает взаимоотношения с соседями, способствует карьерному росту, спасает от порчи, увеличивает доходы, повышает сексуальную привлекательность, предотвращает от случайной беременности, помогает договариваться с инспектором ГАИ, способствует безболезненному восприятию реформ Грефа-Кудрина, а в случае, если вы попадаете под статью о неуплате налогов, вдвое снижает сроки тюремного заключения... — Бренчанин демонстрировал таблетку,

поворачивая ее к залу разными сторонами. Восторг людей был столь велик, что проститутки стали бесплатно отдаваться молодым милиционерам, пенсионеры-льготники не препятствовали этому и только добродушно ворчали: «Ишь ты, шалуны...» Жванецкий и Карцев влезли в одни штаны и скакали, изображая сиамских близнецов.

— Лжец! — возопил Гробман, чувствуя, что победа от него ускользает. — Это обычное слабительное! Я дал кусочек таблетки нашей дворовой вороне. Она проглотила и превратилась в жуткий зловонный вулкан. Летала, истерически каркая, над районом,

замарала жидкими выбросами около сотни автомобилей, среди которых был «шестисотый» мерседес префекта Юго-Восточного округа.

Бренчанин молча ударил Гробмана в ухо. Тот, оглушенный, послал ответный удар. Прوماхнулся, и кулак попал в хоккейную маску Соловейчика. Наученный горьким опытом арбитр, схватил электрошок, желая утихомирить грубияна, но вместо Гробмана послал разряд в Бренчанина. Тот жалобно крикнул, призывая на помощь союзников. Те стали срываться с кресел в разных концах зала, кидались на ринг, заслоняя своего кумира, попутно мстя Соловейчику за бесцеремонное

обращение с электрошоком. Его били ногами, возили по рингу за волосы, мочились, засовывали в зад отобранный баллончик с газом, отчего Соловейчик раздулся, словно воздушный шар, взмыл к потолку и оттуда, прилипнув к своду и покачиваясь, смотрел, как разворачиваются события.

А разворачивались они ужасно. Молодые менты стреляли наугад из пистолетов, прокладывая себе путь в центр ринга, где Клара Новикова занималась кик-боксингом с Региной Дубовицкой, обе, голые, катались в раскисшей грязи, нанося друг другу жестокие удары. Проститутки, словно фурии, носились по залу, то

отдаваясь пенсионерам, то
принимаясь тормозить за
причинные места Задорного,
Гальцева и Леона Измайлова,
почему-то особенно почитаемых
«жрицами любви». Два претендента
то вырывались из клубков в
растерзанных одеждах, — черно-
серебряном плаще и пурпурно-
золотой туникой, — стараясь
прикрыть срамные места. На них
сразу же набрасывались юмористы,
проститутки и молодые менты,
закатывая в асфальт, окуная в деготь,
вываливая в перьях, выгружая
КамАЗы плодородной земли, засевая
газонной травой. Исход битвы,
казалось, был решен, когда в зал на

бреющем ворвалась эскадрилья летающих гробов. Жужжа винтами, грозно сверкая фюзеляжами, они поливали поле брани свинцом, сея среди сторонников Бренчанина смерть и ужас. Однако, фармацевту удалось выправить линию фронта и сохранить равновесие, когда в зал, проламывая стену, вошла когорта золотых тяжеловесных дев. Мощной поступью, наступая золотыми ногами на опрокинутых юмористов, проституток и милиционеров, они колесили по залу, отыскивая среди тел вероломного и продажного Соловейчика. Наконец, золотая богиня, олицетворявшая сифилис, углядела несчастного под потолком,

сбила его метким плевком жидкого золота, после которого незадачливый судья долго мотался по кожным диспансерам.

Стрижайло наблюдал
состязание по телевизору и на время
так увлекся смехотворным
идиотизмом президентских дебатов,
что даже возрадовался, когда самые
нетерпеливые из населявших его
душу демонов, устремилась наружу,
чтобы принять участие в
сатанинском действе. Приняв образ
нетопырей и ушанов, с
перепончатыми крыльями, с
огромными восхищенными глазами,
бесовские твари носились над полем

брани, приветствуя писком каждую затрещину, которой награждал Петросян Задорного, каждый тумак, который получал в упругую попку Жванецкий. Да и нельзя было равнодушно взирать на эту потасовку юмористов, сводивших мелкие корпоративные счета.

Внезапно картинка на экране пропала. Через секунду возникла другая, — огромный, переполненный зал рок-фестиваля, метущиеся лазерные вспышки, остервенелая группа, где лохматый ударник лупил в барабан, гитарист ошалело мотал немытыми патлами, пианист, лысый, с черной бородой Карабаса-Барабаса, впивался костлявыми пальцами в

клавиши. Юноши в зале вскидывали вверх кулаки. Множество девушек, встав с места, сомнамбулически раскачивались, качая над головой руками, полузакрыв глаза, испытывая несравнимое наслаждение, будто к их эрогенным зонами прикасались нежным хвостиком куницы.

Внезапно Стрижайло увидел Фатиму Бен Ладан. Она стояла среди других девушек, лунатически закрыв глаза, мерно колыхая обнаженным животом, на котором трогательно, как поплавок, всплывал и пропадавал темный пупок. Ее сильные груди облекал шелковый, раскрашенный цветами и листьями лифчик. Вьющиеся волосы рассыпались по

смуглым голым плечам. Бедро украшал нарядный пояс, весь усыпанный мигающими разноцветными лампочками, которые, казалось, воспроизводили своими миганиями жаркую музыку, вращение девичьего живота, биения ее опьяненного сердца. Пальцы, усыпанные кольцами, ухоженные, с красивыми ногтями, перебирали восточные четки, — жемчужны, нанизанные на нить, сходившиеся к нарядному, бирюзового цвета, шарiku.

Стрижайло вглядывался в лицо девушки. Утонченная, с длинными бровями, огромными ресницами, оттенявшими закрытые веки, она

казалась спящей и видящий дивный сон. Она видела халифат от теплых изумрудных морей, в которых рождался жемчуг, до ледовитого иссиня-черного океана, вдоль которого шли вереницей белые медведи. Из золотых песков, из цветущих садов, из еловых таежных дебрей, из сиреневых тундр поднимались минареты мечетей, искрились изразцы медресе, и люди, разных рас и наречий, славили всевышнего Бога, научившего их устами святого Пророка, праведно жить, умирать. Тело девушки, исполненное прелести и красоты, источало цветение молодости, обещало всякому, кто его созерцал,

земные наслаждения и улады. Но
лицо было одухотворено неземной
мечтой, озарено несбыточной
надеждой на исполнение вещей
пророчеств о временах, когда люди
соединятся в единый вселенский
народ, создадут единое земное
царство, в котором будет царить
добро, и каждому в душу будет
смотреть любящий лик верховного
правителя и божества. Ради этой
мечты она когда-то хотела вступить в
партию «Сталин». Ради нее же
теперь она поступила в услужение к
сильным суровым людям, научившим
ее исполнять ритуальный танец
живота, означавший единство
Вселенной, носить мигающий «пояс

Шахеризады», напоминающий
детскую новогоднюю елку,
перебирать жемчужные четки, где
каждая жемчужина означала
священную мысль, и пальцы,
перебирая теплые ядрышки, все
ближе подбирались к бирюзовому
заветному шару.

Стрижайло заморожено следил
за ее смуглыми перстами,
перебрасывающими по нитке ядра
жемчуга. Вот осталось четыре, три,
две жемчужины. Пальцы нежно
коснулись последней, перекинули ее
вдоль нити, сжали бирюзовое зерно.

Раздался ужасный взрыв.
Слепящая вспышка
распространилась по залу,

расшвыривая и испепеляя
пространство. Летели обрубки ног,
кровавые ошметки тел.
Перевертывались горящие кресла.
Пронеслась оторванная,
продолжающая петь голова солиста с
желтыми оскаленными зубами и
развеянными горящими волосами.
Желтой кометой промчалась
раздавленная гитара. Повсюду
кричали, стонали, падали. Ползли,
поддерживая разорванные животы.
Волочили перебитые конечности.
Дым, кровь, непрерывный визг и
стенание, среди которых, не
разрушенная взрывом, работала
телекамера, показывая то убитого, с
мучительной улыбкой юношу, то

ободранную, кровоточащую девушку. И среди горящих полов, разбегающихся людей камера вдруг остановилась на поломанном, со струйками дыма, кресле, где лежала оторванная кисть руки, сжимавшая жемчужные четки.

Уже через несколько минут в новостной программе передавали о совершенном террористическом акте, о «чеченском следе», о сотнях убитых и раненных. Показывали мужественных пожарных, спасателей, работников ФСБ, и среди них — деятельного, властного Потрошкова, раздававшего приказы, ликвидирующего последствия ужасного взрыва. И не было нигде

Человека-Рыбы, не было обещанной потехи, шутих, фейерверков, а было злодеяние, кошмар, преступление. И в опросах, что делали репортеры у прохожих на улицах, звучало: «Где Президент? Почему он не обеспечивает нам безопасность?»

Стрижайло тщетно пытался дозвониться до Человека-Рыбы. Тщетно пытался поймать по телефону Потрошкова. Только под вечер их соединили:

— Это ужасно... — услышал Стрижайло измученный голос Потрошкова. — Ужасная ошибка... Вместо холостых зарядов положили настоящий фугас... Будем искать виноватых... Где господин Рыба, не

знаю... Забился в тину... Об одном тебя прошу, дорогой, продолжай дебаты... Мы не должны идти на поводу обстоятельств... Будем сражаться за наше будущее... Ведь у всех у нас есть дети, — и на этом мимолетном замечании их разговор оборвался. Стрижайло остался наедине со своими страхами и подозрениями.

Однако, приближались дебаты между второй парой претендентов, — аграрником Карантиновым и выдвиженцем либерал-демократов Золушкиным. Формат передачи «Дай в глаз» по-прежнему казался наиболее

подходящим для дискуссии. Телеведущий Соловейчик, искусный стравливатель, начинавший, как устроитель собачьих и петушиных схваток и боев без правил, опять был в центре общественного внимания. Во время прошлых дебатов бронежилет не уберег его от перелома бедра, а хоккейная маска не защитила от сотрясения мозга. Поэтому теперь поверх модного фрака он надел рыцарский доспех XVI века и напялил танковый шлем времен Второй мировой войны, не раз спасавший танкиста вермахта при ударе о броню «тигра».

В качестве народных болельщиков были приглашены

рыбаки подледного лова, литейщики завода «Серп и молот» и отставные чекисты-андроповцы. На скамейке экспертов расселась интеллектуальная элита, безупречная в оценках и утонченных вкусах. То были — киновед Дондурей, режиссер Дыховичный, драматург Радзинский, критик Вульф, чье очаровательное косноязычие дополнялось незаурядностью ума, академик Капица и литературовед Мариетта Чудакова, вполне оправдывающая свою фамилию непрерывными экстравагантными выходками.

Гонг, чем-то напоминающий удары Биг Бена, ознаменовал

появление на ринге Карантинова. Это был истинный денди. Его одежда не подпадала под стереотипы «высокой моды» для аристократов, но поражала изяществом и той небрежностью, какую могут позволить себе лишь принцы крови. Это и был истинный принц Чарльз, благожелательный, снисходительный, в черном фраке, где одна фалда была намного длиннее другой. Белую манишку украшал фиолетовый артистический бант, а в золотистые, прекрасно причесанные волосы был вколот гребень с сапфиром. Он раскланялся и стал в стороне, воплощение благородства, знатности и независимости.

Последовали новые звоны, похожие на удары в рельсу, какими в зоне сзывают на работу зэков. Под звуки била вышел Золушкин, косолапый, сутуля спину, опустив до земли могучие руки, поглядывая из-под косматых бровей диковатыми, близко посаженными глазами. На нем были галифе, тельняшка, малиновая блуза, подаренная телеведущим Дибровым. На ногах, загибая носы вверх, красовались турецкие чувяки времен геноцида армян. Нагло ухмыляясь, повернулся спиной к залу, и все увидели, что на ягодицах в галифе был сделан широкий вырез и тусклым металлом отсвечивал титановый зад.

В рыцарском доспехе, с жестяной трубой, возник Соловейчик, своим видом создавая впечатление средневекового турнира, на котором роль Прекрасной дамы играла Мариетта Чудакова.

— Итак, продолжаем состязание самых влиятельных и отважных политиков, рискнувших составить конкуренцию нашему Президенту, — загудел из глубины железных масс Соловейчик, как если бы он был Диогеном, сидящем в бочке. — Жребий открыть дебаты выпал уважаемому аграрнику Карантинову, известному своими коммунистическими взглядами. Хотелось бы услышать, господин,

или, правильное, товарищ
Карантинов, вашу критику
программы оппонента и
собственную положительную
программу, поверив в которую, народ
сделает вас Президентом. Прошу, —
и он отступил в дальний угол и встал,
похожий на экспонат музея готики.

— Называйте меня просто —
Чарльз, — мило, снисходя с высот
аристократизма до вульгарного
Соловейчика, произнес Карантинов,
слегка покашливая в ладонь, которую
облегала белоснежная перчатка.
Другая перчатка была небрежно
заткнута за кушак. — Что до критики
оппонента, я перенесу ее на весь тот
уклад, из которого вышел уважаемый

мною господин Золушкин, вовсе неповинный в том, что родился в корыте, рос в сарае, а мужал и набирался разума в мордовской колонии строгого режима. — Открытость и благожелательность тона сделали свое дело. Рыбаки подводного лова перестали насаживать мотыля на мормышки, литейщики «Серпа и Молота» оторвались от чтения библии, чекисты-андроповцы, помнящие вклад Карантинова в восстановление памятника Дзержинскому, сдержано заплодировали. — Я могу упрекнуть господина Золушкина, членов его почтенной фракции и тех граждан, кто поддерживает их на выборах, в

недостатках хороших манер. Они нарочито делают вид, что чужды правил хорошего тона. Например, излюбленная манера их талантливой лидера — схватить за волосы какую-нибудь даму и волочь ее вдоль рядов в Государственной Думе, покуда из бабы ни хлынет вода. Еще огорчает манера их лидера, — проходя вдоль рядов, харкнуть какому-нибудь депутату в морду. Что-то в этом есть от верблюда, от «кэмел», не правда ли? Еще они все дурно выражаются, и если бы мне пришлось записывать фразы, которые позволяют себе господин Золушкин и его коллеги по партии, то получились бы одна азбука Морзе. Кстати, принцесса Ди,

по которой продолжает скорбеть мое сердце, только раз в жизни позволила себе употребить матерное слово, когда королева-мать окончательно ее достала. Старуха кого хошь доведет...

Произнесенная негромким голосом речь произвела самое благоприятное впечатление среди экспертов.

— Поосто очааватеино, пьесно и оигенаино... — восхитился критик Вульф. Драматург Радзинский сардонически хихикнул, вырвал из ноздри волосок и пустил по ветру. Академик Капица поймал волосок, положил под микроскоп и произнес: «Очевидно, но невероятно. Волос из

паха носорога». Мариетта Чудакова достала средневековый японский веер и стала подавать условные знаки staleваром «Серпа и Молота», среди которых у нее были знакомые. Киновед Дондурей вынул из своего уха нос режиссера Дыховичного и попросил не мешать слушать.

— Перехожу к позитивной части моей программы, — Карантинов, благородный, аристократичный, повторяя в чем-то телеведущего Молчанова, когда тот, в расцвете своего дарования, приглашал в передачу «До и после полуночи» обнищавших великих князей, ставших куртизанками баронесс, незаконных детей принцев крови, и

от передачи вкусно пахло старым сундуком, где истлевали корсеты и кружевные панталоны столетней давности. — Я хочу выступить с единственной общенациональной инициативой, о которой так талантливо говорила литературовед Мариетта Чудакова. Мы должны в кратчайший, отпущенный нам историей срок благоустроить все туалеты России, ибо их вид и внутренне содержание отбрасывают нас к середине XIV века, в то время, когда Европа стремительно приближалась к ватерклозету. Мы должны утеплить, облагородить и обезопасить наши отхожие места, особенно те, что вынесены на улицу

за черту города или в Заполярье, а так же являются местом общего пользования в казармах, колониях и университетах. Необязателен евроремонт, но хотя бы побелка, господа! Хотя бы побрызгать их одеколоном «Жириновский»! Хотя бы снабдить переносными фонариками, с помощью которых заблудившиеся могут подавать сигналы бедствия. Уловив эти сигналы спасатели Шойгу вызволят попавших в беду, когда температура на улицах минус тридцать градусов, или, скажем, паводок, или сход лавин. К слову сказать, принцесса Ди всегда пользовалась карманным фонарикам. Бывало, подстережет в

темных коридорах Букингемского дворца королеву-мать, приставит зажженный фонарик к своему подбородку и таким образом изобразит привидение. Королева-мать начинает визжать, и это, как вы понимаете, налагало отпечаток на их отношения...

Соловейчик, поддавшись обаянию услышанного, вышел из своего безопасного угла. Гремя доспехом, приблизился к Карантинову, желая обнять. Но неожиданно Золушкин ринулся вперед, разевая гневную пасть:

— Слышь, братан, ты охуел? — эти слова были обращены к сопернику. — На понт не бери!.. Мы,

в натуре, с понятиями!.. Мы с пацанами таких гномов в жопу ебли конкретно!.. Мужики, — обернулся он к залу, — он вам репу чешет!.. Никакой он не Чарли Чаплин, а Тарантино, аграрник вшивый. Он в деревне с козой живет, ее называл Ди!.. — Золушкин разодрал на груди тельняшку, и все увидели синюю наклку: «Владимир Вольфович, ты сокол». Это было нарушением этикета, попранием благородных манер, игнорированием правил хорошего тона. Аристократы не прощают подобного, особенно в присутствии дам, одна из которых, Мариетта Чудакова, прятала за веером свое очаровательное

испуганное лицо. Карантинов разбежался, обогнул рыцаря в доспехе и что есть мочи врезал в лоб ненавистному хаму. Тот перевернулся, отлетел и ударил титановым задом в средневековый доспех Соловейчика. Раздался звон, — два металла, две исторические эпохи, две технологии встретились в этом столкновении. Доспех сплющился и больно зажал Соловейчика. Титановый зад сиял, как летающая тарелка, наводя ужас на зрителей и одновременно порождая восторг.

— Непоутоимо, воушебнo, — ахал критик Вульф. Драматург Радзинский хохотал сардонически,

делал себе щекотку подмышками, изображая «гримасу истории». Киновед Дондурей плакал от избытка чувств, — полез в карман, чтобы достать платок и вытереть слезы, но вытащилдохлуюмышь. «Очевидно, но невероятно» — изумлялся академик Капица, наблюдая, как Дондурей вытирает слезы мертвой мышью. Режиссер Дыховичный вставил нос в ухо Мариетты Чудаковой, и та трепетала, как цветок, к которому прилетела колибри.

— Позитивную часть программы!.. — выкрикивал из доспеха Соловейчик, требуя, чтобы Золушкин вел дебаты по

правилам. — Где ваш позитив? — доспех сжимал его, лишая голоса, и его писк воспринимался Золушкиным, как оскорбление. Разбежался и с полуоборота саданул титановым задом, так что Соловейчик превратился в тонкую прокладку между двумя слоями листовой стали.

Зал больше не мог оставаться в стороне от происходящего. Не было равнодушных. Рыбаки подводного лова кинули блесны, цепляя за нижнюю губу чекистов-андроповцев. Литейщики завода «Серп и Молот» отбросили библии, достали кувалды и кинулись на защиту чекистов. Мариетта Чудакова бурно дышала,

обмахиваясь веером, чувствуя, как нос Дыховичного все глубже проникает в ее чувственную плоть. Карантинов фехтовал легкой шпагой, уклоняясь от ударов титанового слитка, слышались его английские возгласы, звяк металла, свирепый рык Золушкина: «Вольфыч, добить гада или сделать инвалидом детства?». Литейщики кувалдами пытались вернуть средневековому доспеху первоначальную форму. Сплюснутым листам придавали вид куба, сферы, цилиндра, раскатывали в плоскость, протягивали в стальную проволоку. И какую бы форму ни принимал многострадальный металл, из-под кувалд слышался писк

Соловейчика: «Граф Монтекристо был отчаянный забияка и дуэлянт... Однажды он вызвал на дуэль писателя Александра Дюма... Дрались зонтиками на вершине Эйфелевой башни... Обоих сдуло ветром... С тех пор вошли в обыкновение схватки писателей с героями их произведений... Примером тому Фандорин...» Удар кувалды заставил его замолчать, но не надолго. Что вызвало изумление у академика Капицы: «Очевидно, но невероятно. Кувалдой его не взять».

Все гремело, звякало, искрило. Источало дым, напоминало металлургический цех, где множество людей дружно трудились

над железной поковкой, изготавливая из нее то ли щит, то ли меч.

Стрижайло наблюдал схватку по телевизору, высасывая из стакана охлажденные виски. Он увлекся. Ему нравилась метафора происходящего, напоминая гениальные кадры Эйзенштейна из «Александра Невского», когда звякающие доспехи псов-рыцарей уходят под лед. Лед был в стакане виски. Доспех был в студии «Останкина». Эйзенштейн был еще дальше и не мог претендовать на авторские права. В чудесному опьянении Стрижайло видел, как населявшие его душу демоны вылетают на свободу,

принимают образ разноцветных попугаев и с отчаянными криками носятся над полем битвы, сверкают радужным оперением, норовят клюнуть то Мариетту Чудакову с торчащим из уха странным предметом, то чекиста-андроповца, вытаскивающего крючок из губы. Стрижайло было хорошо, как прежде. Он художник. Если угодно, он создал римейк Эйзенштейна. Если угодно, — римейк Пикассо с его «Герникой», где Соловейчик похож на обезображенную лошадь — жертву войны, и одновременно на саму войну, погубившую лошадь.

Внезапно картинка на экране погасла, сменилась другой. Возник

знакомый стеклянный объем
аэропорта «Домодедово». Залы
ожидания. Стойки для регистрации.
Рестораны, бары, многолюдье.
Приятно-мелодичный голос
приглашал пассажиров на посадку.
Диктор ненавязчиво и элегантно
рекламировал сервис аэропорта,
удобства и безопасность полетов,
страны и континенты, куда уносятся
белоснежные лайнеры с эмблемами
авиакомпаний мира. Телекамера
показала стойку регистрации
пассажиров, оживленную очередь,
улетающих на отдых в Турцию
россиян. Среди очаровательных
женщин, успешного вида мужчин
Стрижайло вдруг увидел знакомое

лицо, — чеченка Асет, что взяла себе имя телеведущей «Страна и мир», та, которую он видел в подмосковном оздоровительном лагере. Она была вся в темном, голова замотана в тугую, до бровей, повязку. Прекрасные длинные, как у лисицы, зеленые глаза жарко блистали. В одной руке она держала авиабилет, а другой перебирала жемчужные четки, на которых драгоценно блестело зерно темно-зеленой яшмы.

Голос диктора убеждал летать из аэропорта «Домодедово», который позволял перенестись из мглисто-простудной, мартовской Москвы к белоснежным пляжам Анталии, к лазурным теплым морям. Казалось,

нельзя было устоять и не полететь,
когда умная телекамера показывала
просторный салон самолета,
обворожительных стюардесс,
разносящих фруктовые соки,
улыбающихся пассажиров, —
жизнелюбивого пухлого ребенка с
большой целлулоидной куклой,
молодую пару с обручальными
кольцами, совершающую свадебное
путешествие, чопорного,
снисходительного бизнесмена. Среди
пассажиров, нетерпеливо
ожидающих взлет, — снова Асет,
длинноглазая, страстная,
преисполненная таинственной,
горькой силы, перебирающая
жемчужные четки. Ее лицо, угрюмо-

прекрасное, заволакивало
Стрижайло. Хранило в себе какую-то
больную тайну. Быть может, ее жених
погиб в отряде горских повстанцев
под огнем русской артиллерии. Или
брат был схвачен во время
бесчисленных «зачисток» и
бесследно исчез. В ее лице не было
мстительности, а устремленность
куда-то ввысь, где ждали ее
любимые, и куда она должна
взлететь на этом огромном крылатом
лайнере.

Голос диктора провожал
самолет в небо, желал пассажирам
счастливого полета. Камера, словно
она летела вослед самолету,
показывала удаляющийся фюзеляж,

разведенные крылья, необъятную синеву. В этой синеве, заслоняя самолет, возникла белая вспышка. Превратилась в красно-рыжее огненное облако с кудрявой копотью, из которой падал длинный липкий огонь, черные ошметки.

В том месте, куда они падали, их уже поджидали пожарные машины, спасатели в оранжевой униформе. Переворачивали листы обгорелого алюминия, клали на носилки остатки тел. На грязной земле, среди растаявшего снега лежала целлулоидная, с раскрытыми глазами кукла. На остроконечном куске металла, окруженные ядовитыми струйками дыма, висели

мусульманские четки с зеленым зернышком яшмы.

И опять не было Человека-Рыбы. И опять повсюду мелькал деловитый, энергичный Потрошков. И опять прохожие на московских улицах ужасались, винили Президента, требовали суда над чеченцами, над хозяевами аэропорта, над силовиками и даже над самим Президентом.

К вечеру Стрижайло связался с Потрошковым:

— Опять перепутали?.. Опять случайно заложили фугас?.. — орал он в трубку, — Вы преднамеренно убиваете людей!.. Отказываюсь с вами сотрудничать!..

— Заткнись, сука, — прозвучал жестокий голос Потрошкова. — Ни хера не смыслишь в делах государства. Политолог от политика отличается так же, как «Ваше Превосходительство» от «Вашего Величества». Будешь делать, что прикажу. А то пойду в лабораторию и выкину на хер из банки твоего головастика, пусть извивается на полу идохнет без кислорода... Ну ладно, ладно, шучу... Вторые дебаты прошли блестяще. Приступай к третьим, последним. И впрямь «Смех и слезы»... — Последовал тихий смешок и следом влажный всхлип.

глава тридцать вторая

Стрижайло чувствовал, как приближается что-то ужасное, — огромное и кровавое. И он был частью этого ужасного, — огромного и кровавого. Это ужасное касалось Москвы, России, всей земли. Землю забинтовывали в красные хлюпающие бинты, сквозь которые булькало, вздувалось, сочилось. Ему снились кошмары. Из мглы надвигалась большая целлулоидная кукла с выпуклыми голубыми глазами. Ее тело становилось мягким и зыбким, в голове открывались розовые нежные жабры, вместо ног извивался гибкий пятнистый хвост, и

это был его сын, помещенный в стеклянную банку. Он хотел обнять банку, но руки его погружались во что-то пушистое и пернатое, и это было чучело Сони Ки, покрытое опереньем полярной совы. Он бежал от этого чучела, петляя в соснах, отталкиваясь от земли, поджимая ноги, которые превращались в стойки шасси. Он был самолет, ровно, мощно летящий в морозной синеве. Чувствовал, как у него в фюзеляже, в выпуклом животе, заложен заряд. Нежные женские пальцы двигались по жемчужным четкам, приближаясь к янтарной светящейся ягоде, нажимали ее. Заряд взрывался, распарывал ему

брюхо, и оттуда сыпались какие-то книги, какие-то бронзовые канделябры, гербовые печати, и среди этих ворохов возникала Мариетта Чудакова. Голая, неистовая, оседлала литейщика с завода «Серп и Молот», погоняя его мозолистыми крепкими пятками.

Он просыпался с криком и лежал с грохочущим сердцем. Понимал, что погиб. Было неоткуда ждать избавления. Бабушка, единственное, любившее его существо, была в плену у березы, существовала безгласно в сплетении древесных волокон. И его удел, — слепо и тупо, с покорностью раба, выполнять приказанья Потрошкова,

который накинуд ему на шею веревку и тянет куда-то, в красный дымящийся омут. Над омутом — крохотные разноцветные лампочки, как елочная гирлянда.

Третья пара претендентов, вступавших в дебаты, состояла из очаровательной, хрупкой Хакайдо и спикера Совета Федерации. Соловейчик, в гипсе, в шейном корсете, под капельницей, выехал на инвалидной коляске, дуя в клаксон.

— Господа, — игриво рассказывал он, — как известно, знаменитый русский преобразователь Столыпин был большой насмешник и забияка. Как-

то раз, встретив Плеве, он намеренно назвал его Струве, за что и был вызван на дуэль, которая не состоялась благодаря вмешательству Витте...

На этот раз зал наполняла публика, приглашенная с «Площади трех вокзалов», — торговцы наркотиками из Таджикистана, русские беженцы из Казахстана, поморы с Терского берега, несколько старушек-блокадниц из Петербурга. Скамейку экспертов занимал цвет литературы. Бок о бок, похожие на выводок тетеревов, сидели — Сорокин, Пелевин, Акунин, Виктор Ерофеев, Татьяна Толстая, Дмитрий Быков.

Все недавно вернулись с Франкфуртской ярмарки, где случился небольшой конфуз — Татьяну Толстую и Дмитрия Быкова поселили в одном номере, и Быков выходил к обеду в шелковом халате Татьяны Толстой, а та совсем не появлялась из номера, ссылаясь на мигрень.

Хакайдо впорхнула на ринг, опоясанная самурайским мечем, с осиной талией, в черном трико, в черной накидке, на которой ярким шелком был вышит портрет ее брата «Япончика». Выхватила меч, описала в воздухе сверкающий вензель и воткнула клинок перед самой инвалидной коляской, так что

Соловейчик затрепетал, не спуская глаз с белой сияющей стали.

Спикер вбежал на ринг, высунув красный влажный язык, мордатый, щетинистый. Его тело облежала стеганая попонка, какие носят благородные спаниели, хозяйева которых заказывают собачьи туалеты у модельера Альбани. В передних лапах он нес нефритовое блюдо с виагрой. Добежав до коляски, поднял заднюю лапу и побрызгал колесо, оставляя пахучую метку.

— Дамы и господа, — возгласил из инвалидной коляски Соловейчик, как если бы приглашал посетить травматологический пункт. — Наши дебаты, наши схватки бультерьеров,

наши петушинные бои без правил
продолжаются. И сейчас со своей
критикой нынешнего правления, со
своими идеями по
совершенствованию нашей жизни
выступит обворожительная Хакайдо,
дивная, как ветка сакуры, теплая и
терпкая, как рюмка сакэ, бурная, как
цунами, лучезарная и недостижимая,
как гора Фудзи, — так приветствовал
Соловейчик восточную красавицу, не
выходя за пределы своих
представлений о Японии.

Хакайдо смиренно поклонилась,
сложив молитвенно руки. Схватила
самурайский меч, острый, как
безопасная бритва, и единым
взмахом сбрила спикеру часть

щетины, из-под которой проявилась розовая сытая щека, вскормленная на виагре. Такое начало вызвало в зале оживление. Таджики-наркоторговцы закурили травку. Поделились косячками со старушками-блокадницами, и те, курнув, стали негромко читать стихи Ольги Бергольц. Беженцы из Казахстана протягивали Соловейчику виды на жительство, умоляя не выдворять их из страны. Поморы Терского берега, в большинстве своем староверы, стали петь по крюкам псалом, где патриарх Никон назывался Антихристом.

— Я понимаю, как трудно мне, восточной женщине, воспитанной в

японских традициях, снискать расположение у граждан страны, от былого могущества которой остался только «о, великий, могучий русский язык». Я вынуждена вести дебаты на языке, который впервые услышала в тринадцать лет, когда потеряла невинность с одним заезжим русским мореплавателем. Утомленный любовным экстазом, он произнес: «Суши весла». Я же подумала, что он хочет есть и, как была в одних носочках, побежала готовить ему «суши».

Это было сказано специально для экспертов. Писатели, в основном, филологи, привнесшие в русскую литературу, взамен смысла и истины,

блестящее знание синтаксиса и орфографии, заерзали на скамье. Сорокин дал понять, что он бремениен новым романом, и Пелевин стал тотчас же делать ему УЗИ матки. Татьяна Толстая слегка подвинулась и вытеснила Дмитрия Быкова с лавки, тот упал на пол, но тут же вскочил и пересел к ней на колени. Акунин все это время любовался своими новыми, купленными во Франкфурте ботинками, в которых отсутствовали шнурки, и теперь, называя Виктора Ерофеева «шнурком», пытался продернуть его в дырочки своей немецкой обуви.

— Я представляю здесь

интересы бизнес-элиты страны, которая дала и еще даст невиданный разгон всей русской жизни. Бизнес-элите страны в скором времени придется сесть в тюрьму, и я выступаю с критикой пенитенциарной системы России. Мой невинно-пострадавший брат Япончик сидит в «Матросской тишине» и посылает мне на волю малявы, из которых я могу судить об ужасном положении, в каком находятся недавние олигархи, а ныне узники казематов. К их числу относится олигарх Маковский, подвергаемый постоянным истязаниям. В процессе допросов у него изъяли глаз, сделали из него

холодец и скормили ему самому, взамен же вкатили в глазницу стеклянное подобие глаза. Будучи соединенным с мозгом, оно позволяет следователям считывать мысли и добиваться признательных показаний. Два раза в неделю Маковского отдают на растерзание извращенцам-уголовникам, которые прозвали его «Матильдой». Ему в камеру наталкивают огромное количество блох и клопов, которые нещадно его кусают, а когда он хочет помыться, вместо мыла ему предлагают кирпич, а вместо воды слабый раствор серной кислоты. Его пытаются ежедневным прокручиванием телепрограммы:

«Как стать миллионером», одновременно сообщая об аресте счетов его компании «Глюкос», чье богатство перешло в собственность фирмы «Зюганнефтегаз». Библиофил, утонченный ценитель текстов Сорокина и Пелевина, знаток Татьяны Толстой и Дмитрия Быкова, страстный поклонник Акунина и Ерофеева, он получает распечатки выступлений лидера «Родины» Рогозина, где тот ужасным языком разгневанных масс требует смертной казни всем олигархам путем прилюдного изъятия сердца. Узнав, что Маковский с детства не любил русские народные сказки, следователи приносят ему в камеру

чучело странного существа, — ни то женщины, ни то птицы, ни то рыбы, сопровождая показ чучела записями крика совы и рева изюбря. Похожим испытаниям подвергался в бруклинской тюрьме секретарь Союза «Россия — Белоруссия» Павел Павлович Бородин, но разве можно сравнить тюрьмы в странах с гражданским обществом с застенками тоталитарных режимов? Я призываю олигархов вложиться в благоустройство российских тюрем. Чтобы в них были сауны, турецкие бани, фитнес-залы, культурно-оздоровительные центры, рестораны японкой кухни, ночные клубы, боулинг, серфинг, тайский массаж,

прогулки на «феррари» с возлюбленной, встречи с любимыми писателями, теми, что украшают собой скамью экспертов, пока еще ничем не напоминающую скамью подсудимых...

С этими словами Хакайдо отступила на шаг, взмахнула мечом и сбрила щетину с другой щеки спикера, отчего тот, не утратив сходство с собакой, просто поменял породу, — из спаниеля превратился в бульдога.

Симпатии зала были на стороне необыкновенной женщины, совмещавшей в себе обходительность гейши и мужество самурая. Таджикиские наркоманы

проталкивали кокаин сквозь
воспаленные ноздри до самой
печени. Старушки-блокадницы
перестали скрывать свой возраст и
оказались незатейливыми
мошенницами средних лет,
обраставшими ветеранскими
льготами. Русские беженцы из
Казахстана целовали землю Родины,
распахнувшей им свои материнские
объятия. Поморы Терского берега
стали забрасывать невод в синее
море, искусно обкладывая ячеей
сидящих на лавке писателей. Среди
последних царило необычайное
оживление. Беременность Сорокина
оказалась внематочной, и Пелевин
бережно заталкивал крохотный, с

горошину, плод обратно в матку. Акунину удалось, наконец, зашнуровать обувь, к несчастью, одним Ерофеевым два ботинка, и это мешало ему подняться. Дмитрий Быков отсидел колени Татьяне Толстой, легко перескочил ей на плечо, и так они сидели — Афина Паллада и сова на ее плече.

— А в чем, позвольте узнать, прекрасная иноземка, состоит положительная часть вашей программы? — любезно, насколько позволяли многочисленные переломы и вывихи, поинтересовался Соловейчик. — Нам в России, как хлеб, нужен позитив.

— Не стану лукавить, — скромно потупилась Хакайдо. — Еще недавно я полагала, что проблему «северных территорий» моя страна могла бы решить, используя царящую в России практику все вывозить из страны. Мне казалось, что силами Тихоокеанского флота, используя дешевую рабочую силу дальневосточников и бесплатный труд моряков, можно было бы перевести на Хокайдо два этих небольших острова, как вы перевезли в Америку свои золотовалютные запасы или переправили в западные университеты цвет отечественной науки. Однако, теперь более

оптимальным мне видится другой вариант, так же основанный на вашей укоренившейся практике укрупнения регионов. Я не буду настаивать на присоединении Кунашира и Итурупа к Японии. Напротив, стану добиваться присоединения Японии к России, с включением ее в состав дальневосточного региона. У вас в России есть Смоленщина, Псковщина, Рязанщина, пусть будет Японщина. Когда мы сольемся, тем самым укрупнив регион, мы проведем референдум по отделению региона от России. Таким образом, Японщина станет самостоятельным государством, граничащим с

Иркутской областью. Это и есть моя положительная программа...

Женщина виртуозно взмахнула мечом, извлекая из трепещущего металла и рассеченного воздуха мелодию самурайской песни: «Когда подует священный ветер...». Зал выслушал эту песню стоя. Таджики сосредоточенно кололись одноразовым шприцем, передавая его из рук в руки. Мошенницы предлагали беженцам из Казахстана за небольшую плату в кратчайшие сроки оформить российское гражданство. Поморы обложили писателей сетью и колотили веслами по воде, стараясь загнать в невод Татьяну Толстую, которая

безмятежно нежилась в бирюзовых волнах, белея животом и грудью. Дмитрий Быков хотел оповестить подругу о грозящей опасности, но набрал в рот воды. Акунин разрешил, наконец, проблему шнурков, разорвав Ерофеева надвое, по половинке на ботинок. И оба Ерофеева, два раза в неделю, вели на канале «Культура» программу «Апокриф», каждая вдвое короче прежней. Сорокин носил под сердцем плод, не желая признаться, кто же отец ребенка. Пелевин трогательно заботился о будущей роженице, настаивал на «кесаревом сечении» и был готов усыновить ребенка.

— А теперь мы слушаем

известного государственного мужа, искушенного в радениях о пользе Отечества и столь же славного в делах многотрудного управления, сколь и в оздоровлении природы человеческой, о чем свидетельствует сия нефритовая чаша, наполненная различными корешками и иными целебными злаками... — с такими льстивыми словами Соловейчик обратился к Спикеру, приглашая его на поединок.

Поглаживая себя по щекам и не находя щетины, Спикер, тем не менее, не терял присутствия духа. Привыкнув управляться с восьмьюдесятью сенаторами, многие из которых были инопланетянами, а

одна, смазливая вдовица, слыла тувинской ведьмой, Спикер не стал подыскивать выражения:

— Что у нас, нет своего молодца, который поднимет Россию с колен, не прибегая к помощи иностранцев, к тому же, баб, к тому же, желторожих японок? Есть такой человек! Знаете, кто он?..

Хакайдо язвительно наблюдала за соперником, чья собачья попонка «от Альбани» равнялась годовой пенсии чернобыльца. Агенты японской разведки, глубоко проникшие во все слои российского общества, уведомили ее о странности Спикера, у которого одно упоминание о действующем

Президенте вызывало бурное
семязвержение. Хакайдо взирала на
соперника, красиво отставив тонкую
ногу на высоком каблуке, и когда тот
патетически воскликнул: «Я
спрашиваю, вы знаете имя человека,
способного поднять Россию с
колен?», умная японка негромко
сказала:

— Это наш Президент.

Спикер подпрыгнул, будто его
подстрелили. Задергался, затряс
конечностями. Лицо побагровело и
приняло идиотическое выражение.
Глаза закатились, а между ног стал
бурлить ключ непонятного
происхождения. Спикер рухнул и
лежал, сотрясая колени. Соловейчик

подрулил на инвалидной коляске и стал азартно считать:

— Один... Два... Три...

Четыре...

Спикер справился с неожиданным оргазмом. Вяло поднялся. Стоял, качаясь, пытаюсь понять, кто сыграл с ним злую шутку. Постепенно самообладание вернулось к нему. Он заговорил, сначала негромко, а потом все яростней, убедительней, как это делал на заседании Верхней Палаты:

— Мы не забыли многострадальной Цусимы, подвигов «Варяга», героев Порт-Артура... Мы давали отпор японцам под Халхин-Голом, расчихвостили Квантунскую

армию. Этот народ, облученный американской атомной бомбой, объевшийся трепангов и морской капусты, присылает к нам какую-то бабу, чей брат, криминальный авторитет, бросает тень на честнейшего представителя нашей политической элиты Павла Павловича Бородина, уверяя, что в бруклинской тюрьме его женили на негре. А знаете ли вы, кто действительно был женат на негре и даже написал об этом увлекательный роман? Вы знаете, кого я имею в виду?

— Нашего Президента, — тихо произнесла Хакайдо.

Так падают дубы, опрокинутые

ураганом. Спикер издал рев слона, зовущего любимую самку. Его трясло, будто к нему подключили ЛЭП-500. Он рыдал, грыз пол ринга, пытался ухватить оскаленными зубами колесо инвалидной коляски. Вокруг него начинало темнеть озерцо, на которое тут же стали слетаться дикие утки. Соловейчик, ловко увертываясь от сладострастных укусов, считал:

— Один... Два... Три...

Четыре... Пять...

Истощенный поллюцией, черный и опавший с лица, Спикер поднялся. Слепо оглядывая зал. Искал, откуда налетает беда, кто поражает его копьем. Бормотал невнятно, путая слова. Подхватил из

нефритового блюда пару корешков, стал жевать, поглощая живительные соки. Постепенно голос его окреп. К нему вернулась осанка. Он взмахнул рукой, распугав уток, которые с недовольным кряканьем улетели на останкинские пруды.

— В случае моей победы я объявляю массовый прием в партию «Счастливого Бытия», или проще в «Партию Виагры». В ней все равны, — бомж и олигарх, педофил и монах, еврей и цветущий одуванчик, больной сифилисом и министр Кудрин. Это партия «земного рая», к которому нас так и не привел коммунизм, но построить который стремится человечество. Находясь в

этой партии, мы будем приятно беседовать, переименовывать улицы, ставить рекорды Гиннеса, обучаться кройке и шитью, беря уроки у Наины Иосифовны Ельциной, и кушать «корешки счастья». Когда «вершки наслаждения» не хотят, а «корешки счастья» не могут жить по-старому, наступает время больших преобразований. Нерентабельные отрасли экономики, такие как угледобыча и сельское хозяйство, мы преобразуем в сферы услуг, где вчерашние шахтеры станут дамскими парикмахерами и поэтами, а крестьяне Калужской губернии станут разводить на птицефермах колибри и продавать этих милых

птичек в страны Юго-Восточной Азии. Членство в партии дает право на посещение кинотеатра «Фитиль», Храма Христа Спасителя, музея Революции, ресторана «Козерог», где блюда готовятся по рецепту безвременно подавившегося жуком-плавунцом журналиста Михаила Кожухова. При входе в ресторан вы вместо пропуска достаете высушенный член эфиопского павиана и называете имя человека... Догадались кого?

— Нашего Президента, — бесстрастно произнесла Хакайдо.

На этот раз эманация была такой силы, что отбросила Спикера к канатам ринга и увлекла за собой

вместе с семенем сами семенники, предстательную железу, обе почки, печень, селезенку, желудок, двенадцатиперстную кишку, правое легкое, левое полушарие мозга. Спикер напоминал выпотрошенную рыбу. Соловейчик торжествующе досчитал над ним до девяти и выкрикнул: «Аут». И тут же получил в ухо от старого помора, который ценил тишину и из всех криков уважал только крики чаек. Соловейчик воскликнул: «Позвольте!», но таджики всунули ему в рот кальян с героином, и тот отключился. Беженцы из Казахстана, обманутые плутовками, винили во всем Соловейчика, заманившего их в

ловушку, и били его кулаками, пинали ногами, приговаривая: «За Байконур!... За целину... За Семипалатинск!.. За Павлодар!..»

С писателями была беда. У Сорокина отходили воды, и Пелевин скалил зубы, готовясь перекусывать пуповину. Оба Ерофеева выползли из немецкой обуви Акунина и стремились срастись, переживая не лучшие творческие времена. Татьяна Толстая указала на порог Дмитрию Быкову, и тот мстительно обозвал ее «кысю дранной». Хакайдо торжествовала победу, размахивала самурайским мечем и рубила в капусту остатки Спикера.

Стрижайло с ужасом наблюдал действие, режиссером которого являлся и имел все основания радоваться успеху. Но вместо радости был ужас. Даже демоны, во множестве излетевшие из души и принявшие образ великолепных стрекоз, с изумрудными, коралловыми, золотыми телами и шелестящими прозрачными крыльями, даже они, неистово взмывая над побоищем, не вызывали эстетического наслаждения. Ибо он знал, что будет. И действительно, картинка исчезла, показав напоследок фиолетовую, с перламутровыми глазами стрекозу, изогнувшую туловище, вцепившуюся

лапами в голову Акунина.

Телекамера показала вход в метрополитен, куда устремлялась непрерывная толпа. Возникло, как бы случайно, лицо молодой чеченки, — Эльзы, взявшей имя в память о замученной полковником Будановым Эльзы Кунгаевой. В черном длинном пальто, с длинным, смуглым лицом, на котором сверкали яростные, влажные глаза, она держала обе руки в небольшой муфте из темного, блестящего меха. Камера проводила ее к эскалатору, некоторое время озидала вестибюль, и Стрижайло никак не мог понять, какая же это станция метро, — то ли «Проспект

Мира», то ли «Семеновская». Камера спустилась вниз, на платформу, и Стрижайло понял, что это «Новослободская», — пышные стеклянные витражи, букеты, цветы, экзотические листья, мимо которых, не замечая их красоты, торопились озабоченные пассажиры. На платформе, в ожидании поезда, стояла густая толпа. Объектив сразу же отыскал девушку, — она стояла, прижавшись к витражу, словно не желала сливаться с толпой, испытывая к ней брезгливость. Ее темные брови почти срослись, тонкий нос делил лицо на две правильные длинные доли. И это лицо выражало муку, нетерпение,

ожидание чуда, когда божественная сила унесет ее молодую жизнь прочь с этой грешной земли, где люди терзают друг друга, где ревет день и ночь артиллерия, разнося в прах люльки, застолья, людские тела, и где уродство преступного мира может исправить только священная месть, после которой душа, вознесясь в лазурь, вкусит вечное блаженство.

У него возник панический порыв — звонить в Управление метрополитена, предупредить, предотвратить террористический акт. Но он не знал телефона. Все совершалось секундами, единственное, что ему оставалось, —

это с ужасом ожидать неминуемую катастрофу.

К платформе из туннеля подлетел сияющий поезд. Вначале выдавил густую массу людей, а затем точно такое же количество жадно проглотил. Стрижайло видел, как входят в вагон молодые смешливые барышни, развязные бестолковые юноши, степенные дамы, значительного вида мужчины, и всех заглатывают резиновые губы вагона. Торопливо подоспел какой-то офицер, тучный, сутулый, чем-то напомнивший полковника Буданова. И вслед за ним страстно, стремительно, перед сдвигающейся дверью, устремилась чеченка.

Влетела в вагон, как черная хищная птица. Двери сомкнулись, поезд скользнул в туннель.

Камера не отводила взгляда от овального туннеля, куда умчался состав. Чего-то терпеливо ждала.

Стрижайло, словно зрачок его переместился в камеру, оцепенело смотрел на овальную тьму туннеля, электронные часы, выбрасывающие ломанные цифры, на край платформы, где начинал скапливаться народ. Внезапно изображение задрожало, выпало из фокуса, будто в объективдохнул жаркий воздух. В туннеле что-то забелело, забурлило, и наружу дунул пышный огненный шар, волнистый

клубящийся. Полетел, расширяясь, захватывая перрон, опаляя стоящих людей. Казалось, из туннеля вылета огромная женская голова с развеянными огненными волосами. И эта голова была головой молодой чеченки, скалилась, жутко мерцала, разбрасывала вокруг космы пламени. Туннель померк. Через минуту из него стали появляться люди, — шатались, держались за стены, волочили один другого, обугленные, в истлевших одеждах, с красными волдырями вместо лиц. И опять были пожарные машины, бегали очумело спасатели, умная камера показывала деятельного Потрошкова, который первый прибыл на место взрыва, как

мог, помогал пострадавшим,
обеспечивал следственные
мероприятия.

Стрижайло пережил долгий
обморок и вернулся из него не в
реальную жизнь, а в сумеречное
безвременье. Словно душа умерла, и
он медленно погрузился в тусклые
недвижные воды, сквозь которые мир
казался остекленелым, бесцветным,
потерявшим свои звуки и краски. Как
в тусклом сне, он внимал
захлебывающимся репортерам,
истерическим комментаторам,
которые ставили под сомнение
компетентность «силовики» и
самого Президента. Тупо созерцал

кадры исковерканных вагонов,
разбросанных тел, неистовых
депутатов, язвительных
правозащитников, обезумевших от
страха горожан. Эта сумеречность
длилась днями. Он не откликался на
звонки, на электронные сообщения,
был окружен тусклыми недвижными
водами.

Некоторое оживление
наступило, когда в программе «Дай в
глаз» показывали, — уже не дебаты,
а просто интеллектуальную дуэль
двух соперниц, — балерины
Колобковой и красавицы Дарьи
Лизун, что вносило в предвыборную
кампанию элемент придворной
интриги, милой куртуазности и

преlestного эротизма. Телеведущий Соловейчик был вывезен на ринг в больничной каталке, с поднятой на растяжках загипсованной ногой, с катетером мочевого пузыря и искусственной вентиляцией легких. Не взирая на это, вел состязание, как всегда иронично и четко.

Обе дамы доказывали, кто из них милее Президенту Ва-Ва. В доказательство своей интимной близости они приводили пикантные подробности его эротических прихотей. Колобкова утверждала, что прежде чем взойти на любовное ложе, они должны с Президентом Ва-Ва около часа пролежать в ванной с рыбьим жиром, прослушать

замечательную песню Макаревича: «Новый поворот, что он нам несет, пропасть или взлет...» И только после этого, не давая умолкнуть песне, они бежали в спальню под балдахин и предавались краткой, длиной в тридцать огненных секунд, любовной страсти, после чего Президент вскакивал на стол и кричал по-петушиному. Дарья Лизун сообщила, что перед тем, как предаться любви, Президент Ва-Ва прикидывался покойником, изображая умершего жука, подняв вверх руки и ноги, а она, по его настоянию, изображает птицу, которая хочет склевать жука. Тормошит, ударяет носом в живот, в

пах. Жук остается недвижим. Постепенно птица теряет к нему интерес, отворачивается. И тут Президент оживает, набрасывается на неосторожную птицу и овладевает ею. Через тридцать секунд, голый, стоит на столе и кричит по-петушиному.

Состязание, как всегда окончилось потасовкой. Соперницы били друг друга по щекам, рвали волосы, норовили выдрать глаза. Упали в грязь и с визгом катались, заталкивая друг другу в рот смесь коровьего помета и озерного ила. В конце концов, досталось и Соловейчику. Его отключили от искусственной вентиляции легких.

Затолкали в задницу оба пуанта, в которых явилась на ринг балерина Колобкова. Дарья Лизун умело переломила ему вторую ногу. Обе красавицы, рыдая и обнявшись, ушли с ринга, виня вероломного Президента Ва-Ва и его тотемную птицу — торопливого в любви петуха.

Последовал еще один террористический акт, в ресторане «Козерог», где на стене в черной раме висел портрет журналиста Кожухова, поедающего жуков-плавунцов. Стрижайло, как в дурмане, видел входящую в ресторан чеченку по имени Сажи, — в честь «красной пассионарии» Сажи

Умалатовой. За столиками московские гурманы из высшей знати поедали пауков-птицеловов, помет австралийских гагар с медом горных пчел, мясо тушканчиков, умерщвленных в момент совокупления. Взрыв разнес вдребезги ресторацию. И среди обугленного интерьера опять священнодействовал Потрошков, являвшийся на помощь людям в самые отчаянные моменты истории.

И странно было Стрижайло видеть на следующий день Президента Ва-Ва, который нанес визит не в госпиталь Бурденко, где находились в реанимации жертвы ужасных терактов, а в клинику

Склифосовского, где в
травматологическом отделении
лежали танцоры Большого театра,
танцевавшие партию с балериной
Колобковой и получившие переломы
позвоночников, поднимая тучную
красавицу. Тут же при смерти
находился и телеведущий
Соловейчик, которому Президент Ва-
Ва вручил звезду «Героя России», а
тот передал Президенту один из
пуантов, другой же оставил себе на
память.

Стрижайло жил, как во сне. А,
быть может, это и был затянувшийся
сон. Ему виделась огромная
остроконечная гора. По склонам

вьется дорога. По серпантину спускается с горы бесконечная вереница девушек. Все в черном, с полузакрытыми лицами. Сквозь темную ткань накидок чуть заметно мерцают лампочки поясов. Девушки чередой нисходят в долину, где туманятся города. И в этих городах, то там, то здесь, сверкают тусклые вспышки взрывов, словно моргают глаза.

Стрижайло вышел из своего забытья от невыносимого чувства боли. Такого страдания он не испытывал вовек. Боль причинял не какой-нибудь отдельный орган или часть тела. Не обезумивший рассудок или помраченная душа. Это не было

состраданием, когда душа
откликается на боль другого
человека, или гибнущей природы,
или обреченного народа, или
приговоренного к закланию
человечества. Эта была вселенская
боль, как если бы болело все
Мироздание, во всей своей полноте,
включая и его самого. Казалось, в
Мироздании находится центр боли,
громадная опухоль, источник
страшной болезни, которая
расходится волнами по всей
Вселенной, захватывая каждую
частицу, корпускулу света, живую
клетку. От этой боли было
невозможно спастись. Ее не лечили
медикаменты, не избавляли

заговоры. Ибо любой уголок мира, куда ты желал укрыться, любая гранула или капля лекарства были отравлены болезнью. В центре мира, где согласно вероучению находился Бог, его строгий и благой лик, окруженный нимбом, в центре мира содрогалась переполненная болезнью огромная опухоль, распространяя в бесконечность волны невыносимой муки. И спастись от нее можно было только одним, — убить себя.

Стрижайло раскрыл окно, из которого пахнуло мартовской сыростью, московским больным туманом. Внизу тускло краснел фасад Третьяковской галереи,

торчала кремлевская башня с двуглавым морским коньком, виднелся край набережной с серым раскисшим льдом, с бегущими черными людьми, похожими подсолнечную шелуху. Поднялся на подоконник, стал клониться наружу, желать упасть и разбиться о тротуар, усыпанный осколками сосулек. Но неодолимая сила ухватила его сзади, не пускала. И он понял, что это демоны не позволяют ему умереть. Его смерть лишила бы их удобной, обжитой обители, вынудила искать новый дом, что было сопряжено с хлопотами и осложнениями. Было бессмысленно искать смерти, ибо на защиту его жизни поднялись демоны,

и он больше не распоряжался собственной жизнью.

Так обморочно шли его дни. Он чувствовал вселенскую опухоль, которая заняла место Бога, и ей бессмысленно было молиться, бессмысленно было ее хулить. Сотворенный Господом мир был безобразным полипом, отвратительным наростом, где все сгнивало и источало болезнь.

Так встретил он день президентских выборов. Не включал телевизор, чтобы не видеть злых карбункулов Председателя Центризбиркома Черепова, идиотских физиономий претендентов, обреченных на

проигрыш. Не слышать бессмысленных опросов граждан и птичьего щебета политологов. И так все было ясно, — победит Президент Ва-Ва. Но его победа будет частью отвратительного смехотворного балагана предшествовавших дебатов. Частью страшных терактов, потрясших Москву. Отныне Президент станет носить маску, половина которой будет корчиться от гомерического смеха, а другая — рыдать слезами ужаса. «Смех и слезы», — как выразился Потрошков, вовлекая Стрижайло в адскую комбинацию.

В сумерках он услышал жужжащий, вибрирующий звук

мобильного телефона, все недели и месяцы безгласно пролежавшего на столе. Это был «секретный», законспирированный телефон, по которому в редких случаях звонил из Лондона Верхарн. Стрижайло взял телефон, но услышал не блеющий, дребезжащий голос Верхарна, а бодрый, насмешливый — Потрошкова.

— Ну, хватит скрываться! Хватит не подходить к телефону! Ну, устал, ну огорчен, я понимаю. Спускайся вниз, жду тебя у подъезда, — в этом ироничном дружеском голосе был жестокий приказ, которого невозможно было послушаться. Было всепроникающее знание, от которого

невозможно было укрыться. Потрошков проникал в его дом через секретные телефоны, электрические розетки, водяные краны, тонкий дребезг оконных стекол. Он присутствовал в его собственной голове, как постоянная угроза и страх, и считывал его мысли в самый момент их зарождения.

В машине у подъезда его охлопали большие теплые руки Потрошкова, будто лепили заново его оплывшую, утратившую формы фигуру.

— Зачем?.. — тихо простонал Стрижайло, вспоминая дунувший из туннеля шар, похожий на огромную женскую голову, оторванную руку с

мусульманскими четками,
растерзанные, обгорелые трупы.

— Видишь ли, это форма
перекодирования общественного
сознания. При подобных потрясениях
в голове человека сгорает несметное
количество нейронов, и образуется
пустота, «белый лист», на котором
можно писать новые тексты,
формулировать новые коды. Пока не
стерты старые, новым идеям не
пробиться ни в одну отдельную
голову, ни в общественное сознание в
целом...

Машина тронулась и покатила
сначала по переулку, где в синем
воздухе уже загорались желтые окна,
а затем по набережной с чугунной

решеткой и мутно-серым льдом, где у
полыньи в вечерней мгле темнели
сырые вороны.

— Всем огромным идеям,
которые нисходили на человечество,
предшествовала «перекодировка», —
воздействие ужасом. Испепеление
шлаков истории, реликтовых
представлений, стирание прежней
памяти. Новая идея стоит перед
костным человечеством, как
странник перед запертыми воротами
города. Ему не достучаться. Нужна
стенобитная машина, которая
вышибет ворота. «Второму
Христианству», о котором я тебе
говорил, необходимо открыть врата.
«Первое Христианство» истлело,

завалив человеческое сознание гигантскими кучами мертвых понятий. Их не разгрести, не переработать. Их можно только испепелить. Ужас — это огнемет истории, стенобитная машины новый идей. Нам предстоит великая «перекодировка», свидетелем которой ты станешь...

Они выехали на Новокузнецкую, тесную, многолюдную, в блеске от витрин и реклам, переливах драгоценного света, и катили к Центру, не стараясь протиснуться сквозь вязкое месиво автомобилей.

— Гитлер террором «перекодировал» сознание немцев, открыл врата национал-социализму,

триумфально овладевшему
Германией. Сталин «большим
террором» «перекодировал»
патриархальное сознание русских,
дал дорогу ослепительной «красной
идее». Американцы сбросили на мир
две атомных бомбы,
«перекодировали» сознание
«индустриального человечества»,
открыли дорогу «технотронной эре».
«Второе Христианство»,
провозвестниками которого являемся
мы с тобой, предполагает
«перекодировку». Ее первые этапы
ты наблюдал в последний месяц.
Достигнутые результаты блестящи,
но главные результаты еще впереди.

— Будут еще теракты? — слабо

спросил Стрижайло.

Машина выехала на Большой Каменный мост, весь покрытый чешуей, как спина огромной блестящей рыбы. Миновала «Ударник», расплескивающий разноцветное пламя. Стала спускаться к Кремлю, стиснутая со всех сторон стеклами, лакированным металлом.

— Удар должен быть нанесен в самую сердцевину «человечности», чтобы лишить человечество его определяющих черт, освободить его от «человечности», которая во многом является синонимом «Первого Христианства». «Преступление против

человечности», сформулированное
Нюрнбергским процессом, — это
попытка ветхого,
христианизированного мира
защититься от грядущих изменений.
Мы должны совершить
«преступление против
человечности», чтобы расщепить
ядро мира и вызвать взрыв
колоссальных энергий, который
реализует «Второе Христианство». В
«Евангелии от Иуды» сказано: «И
пронзим матку мира, и рассечем на
части плод ее, дабы матка перестала
рожать, и плод являлся не через
женское лоно, но через дух и
материю»...

Они обогнули черно-красный во

тьме, влажный, словно сырая губка, Кремль. Двигались вдоль Пашкова дома, напоминающего вазон, без цветов, полный серого снега. Приближались к Манежу.

— Я перечитываю то место «Евангелия от Матфея», где описывается избиение младенцев царем Иродом. Этим актом Ирод пытался предотвратить наступление «Первого Христианства». Совершил «преступление против человечности», ударив в ядро сокровенных представлений о материнстве, деторождении, продолжении рода. Это он первый «пронзил матку мира, рассек плод на части, дабы матка перестала

рожать». Однако, он препятствовал появлению «плода, рожденного не через женское лоно, но через дух и материю», чем и было рождение Христа. Мы же, «пронзая матку и рассекая плод», открываем дорогу «Второму Христианству», где каждый рожденный не из лона, будет Христос, где непорочное зачатие будет реализовано методами генной инженерии, в лаборатории, которую я тебе показал...

Не понимая, пугаясь, чувствуя приближение вселенской беды, Стрижайло жался в угол салона, подальше от ужасного человека, во власти которого находился. Его первоначальный, занимательный,

основанный на игре и сребролюбии замысел — получить побольше заказов на проведение думских выборов, — у коммунистов, у олигархов, у кого угодно еще, — внезапно, после встречи с Потрошковым, обрел характер стратегического плана. В ловушку ловкой интриги попадало множество жертв, накрывалась единой сетью целая стая неосторожных птиц.

В Лондоне, в ночном Гайд-Парке, его посетило предчувствие, что в недрах остроумного плана таится иной, сокровенный проект, касавшийся Президента Ва-Ва. Когда этот проект обнаружился, как мертвец в гениальном «Блоу-ап», и

он все последние месяцы работал над программой «Смех и Слезы», он вдруг почувствовал, что в сердцевине этого плана брезжит еще один, тщательно скрываемый, смысл которого казался чудовищным, разрушавшим все представления о Боге, человечности, бытие. К этому ужасающему проекту хотел его привлечь Потрошков. Стрижайло казалось, что он проваливается в пропасть, и каждый уровень пропасти таит в себе еще более глубокий провал, в бездну, в преисподнюю.

Они миновали библиотеку Ленина с подсвеченными колоннами. Достигли Манежа, похожего на

длинный, нежно-белый мазок. Свернули к Арбату и остановились у особняков, где располагался архитектурный музей.

— Давай проверим, как работают экологические организации города, — сказал Потрошков, выходя из машины.

Они прошли во внутренний двор музея, где, освещенные лампами, стояли плетеные из прутьев клетки, наполненные голубями. Птицы расхаживали в клетках, оживленно клевали зерно, пили воду, поднимая клювы и дрожа перламутровыми зобами. У клеток орудовали люди в фирменных комбинезонах с надписями «Гринпис» на спине.

Стрижайло вспомнил, что видел этих рабочих у Манежа, когда те взбирались по шатким лестницам к лепному карнизу, махали шестами, гоняли голубей, которые взлетали и попадали в легкие, развешенные повсюду тенета.

Сейчас эти люди запускали длинные руки в клетки, хватали трепещущих птиц, вытягивали их наружу. Один держал птицу с прижатыми крыльями лапками вверх. Другой, в свете лампы привязывал к розовым лапкам небольшой темный шарик. Птицу выпускали, и она с хлопаньем крыльев улетала.

— Что они делают? — спросил

Стрижайло, глядя в темно-синий квадрат ночного московского неба, куда уносилась очередная птица. — Месяц назад я видел этих ловцов у Манежа. Они сказали, что отвезут птиц в Калужскую губернию, чтобы голуби не разрушали фасад.

— Теперь, когда голуби погостили в Калуге, их привезли обратно. Ты спрашиваешь, что делают эти защитники живой природы? Они привязывают к птичьим лапкам шарики с горючей смесью. Птицы полетят к любимому Манежу, усядутся на лепнину, забьются под перекрытия. Шарик загорится, и Манеж будет охвачен огнем. Помнишь, как княгиня Ольга

отомстила древлянам и сожгла их столицу Итиль? Мы изучаем родную историю, готовы воспроизвести ее лучшие эпизоды.

— Для чего поджигать Манеж?

— Скоро закончится голосование. Объявят первые итоги президентских выборов. Президент покинет свой кабинет в Кремле, перейдет Красную площадь, в свой предвыборный штаб, где ему объявят о триумфальной победе. Так пусть же эту победу осветит зарево горящей Москвы.

Очередная птица взлетела. Потрошков провождал ее ликующим взором. Он был похож на Нерона, отдающего преторианцам приказ

поджечь Рим.

— Я пойду, — обморочно произнес Стрижайло. — Мне не здоровится.

— Увидимся через несколько дней.

Стрижайло вернулся домой. Не зажигая свет, включил телевизор, дожидаясь новостную программу. Однако, последовал внеочередной, экстренный выпуск. Взмолнованный диктор сообщал о пожаре в Москве. Горело здание Манежа. Огонь быстро распространялся по деревянным перекрытиям, по всему ветхому зданию. Казалось мистическим совпадением, что пожар начался в момент, когда Председатель

Центризбиркома Черепов объявил о завершении голосования. Одна камера показала белый фасад Бове, озаренный багровым светом, струи огня, брызгающее пламя, горящих птиц, заключенных в огненные шары. Другая камера, установленная на крыше ГУМа, обзревала Красную площадь, Кремль, и разгоравшееся розовое небо с островерхими башнями, куполами соборов. Создавалось ощущение, что пылает Кремль, его дворцы и палаты. Пожар навевал древний ужас, будил реликтовую память о нашествии Наполеона, о походе Тахтамыша, спалившего Москву, о древних нашествиях и палах.

Стрижайло заворожено смотрел. Чувствовал, как «перекодируется» мир. Как частицы мироздания, из которых состоит бытие, начинают метаться, сталкиваться, складываются в фантастические узоры, словно к ним поднесли магнит, и он вытягивает их в дуги, кривые линии, эллипсы, концентрические окружности, среди которых присутствует невидимый центр, откуда мир подвергается смертельным воздействиям.

Через пятнадцать минут экстренный выпуск повторился. Он был посвящен одному — пожару Манежа. Огонь уже охватил все здание. Рушились балки, ворохи

красных искр летели во все стороны, засыпая окрестные дома, Александровский сад, гостиницу «Москва». Было ощущение, что Манеж пропитан горючими смолами, пропитан бензином. Повсюду из него вырастали букеты огня. Вторая камера показала Кремль. Над резными контурами башен, стен, церковных куполов и колоколен струились малиновые языки, лизали «Ивана Великого», Большой Кремлевский Дворец, озаряли брусчатку страшным багровым отсветом. И из Спасских ворот на брусчатку вышел Президент Ва-Ва.

Он был один, невысокий, тонкий в талии, с непокрытой

редковолосой головой, в коротком пальто. Сначала показался просто тенью, выскользнувшей из огромной арки. Но потом, ступив на брусчатку, сам стал отбрасывать тень. Эту зыбкую тень создавал пожар, поднимавшийся за спиной Президента. Он шагал по красным камням, словно по горящему морю. Казалось, вот-вот он и сам загорится, исчезнет в малиновом вихре. Ему на голову сыпались искры, под ноги падали обгорелые птицы. За ним по брусчатке гнались кольчатые красные змеи. Над ним звучали слова проклятья. Ему самому и управляемой им стране сулили гибель, — голод, мор, разоренье.

Он был выбран Господом, чтобы через него осуществилась небесная кара. Маленький, одинокий, он был проклят. В московском небе, где носились ошалелые птицы, и бушевал летучий огонь, со всех крестов, колоколен возглашалась анафема. Вырастая из-за кремлевской стены, огромный, с ужасным лицом, развеянными до плеч волосами, высился Иуда. Беззвучно хохотал, указывал перстом на маленького приговоренного человечка.

Президент Ва-Ва пересек площадь, скрылся в здании штаба. Стрижайло, потрясенный, выключил телевизор, забился лицом в подушку.

В конце апреля, когда солнечная Москва, была похожа на дивный, готовый распуститься бутон, состоялась инаугурация Президента. Стрижайло наблюдал ее, находясь на своей новой загородной вилле, по коридорам которой бродил призрачный дух прежнего владельца, пугая Стрижайло своим печальным видом. Сидя перед телевизором и созерцая готовый к торжеству Кремлевский Дворец, Стрижайло обнаружил, что вся церемония была исполнена по эскизам художника Шемякина к опере Чайковского «Щелкунчик». В первую очередь это касалось туалетов и мундиров, в

которые облачились высокие гости. Например, глава Центризбиркома Черепов был в тяжелых, до бедер, ботфортах, сделанных из хоботов африканских слонов, а верхнюю половину его мускулистого тела облегал камзол из рыбьей чешуи. Крупный чин Администрации Президента Чебоксаров был в розовых чулках, что делало его похожим на фламинго. Руки в лайковых, по локоть, перчатках сжимали два пышных веера, которыми он постоянно обмахивался, что довершало сходство с экзотической птицей. Банкир Пужалкин, стремящийся одеваться «по старому стилю»,

подчеркивающий свою исконную русскость, на этот раз был в сюртуке, сделанным из дубовых, выгнутых наружу дощечек, что создавало подобие бочки, где можно было квасить капусту или солить огурцы. Это впечатление вовсе не разрушала торчащая из дощечек бородатая голова и висящая снаружи бочки массивная золотая цепь. Спикер Совета Федерации, столь удачно выступивший на выборах, был в длинном желтом плаще, фиолетовом галифе, изумрудно-зеленой островерхой шляпе, с вилком капусты под мышкой. Все это было прорезинено, с учетом того, что во время инаугурации слово

«Президент» должно было звучать многократно. Оба министра, — Обороны и Иностранных дел, — были стянуты общим блестящим поясом с бронзовой пряжкой, носили зеленые колготки, парики из водорослей, располагали шотландской волынкой, в которую попеременно дули, расширяя перед собой огромный пузырь из бычьей кожи. Патриарх был в золотом облачении, но не из парчи, а из сетчатой, прозрачной ткани, напоминавшей рыболовную сеть, в которую была уловлена странная рыба, всплывшая вдруг из тихого омута. Все гости находились не во внутренних покоях Дворца, а были

подвешены в удобных люльках по всему помпезному фасаду, на разных высотах, согласно «табелю о рангах». Слегка покачивались, ничем не напоминая стрельцов, которых Петр Великий развесил по стенам Новодевичьего монастыря перед окнами царевны Софьи.

Верхом на двуглавых морских коньках проскакали церемониймейстеры в фазаньих плюмажах, возглашая: «Президент Российской Федерации!». Появился Президент Ва-Ва, изящный, безупречно одетый. Его костюм был выполнен в стиле гжельского фарфора, белый, с голубыми листьями и цветами. Он был похож

на кувшинчик для разливания сливок, с заостренным носиком и овальной ручкой, чтобы удобно было наклонять над чашкой, заправляя утренний кофе. Что он и сделал, целуя Конституцию, — массивную книгу в переплете из кожи кенийского козла. Кофейный переплет Конституции слегка побелел после клятвенного поцелуя, будто в него пролилась млечная струйка.

После присяги состоялся парад. Ветер слегка раскачивал гостей на фасаде. Президент стоял на крыльце, забыв убрать свисавшую с носика каплю сливок. Парад демонстрировал новые образцы

техники и новые виды войск, взамен устаревших и уже не нужных модернизированной российской армии.

Парад открывали электробритвы модели «Филипс», и хотя комплектующие части доставлялись из Англии, но сами грозные машины собирались на отечественных оборонных заводах. За ними шла колонна вибраторов, но не тех, что демонстрировались в салонах «Интим», а новейшей конструкции, с более глубоким проникновением и с расширенным захватом, что делало их незаменимым «оружием поля боя». Двигались миксеры, угрожающе вращая насадками,

готовые превратить в коктейль
любого противника. Стройно,
выдерживая ряд, прошли
электрические зубные щетки,
незаменимые для «зачисток», как
точечных, так и массовых. Чайники
«Тефаль» и кофеварки «Сименс»
поражали своей пластикой и
неограниченным боевым ресурсом.
Президент, отдавая честь могучему
оружию Родины, прижал к виску
ладонь. Капля сливок сорвалась с
носа и упала на брусчатку
Ивановской площади, где ее тут же
слизнул журналист из «кремлевского
пула». Парад техники завершили две
электрические сенокосилки из
эскадрильи «Русские витези»,

которые на бреющем полете пронесли над Кремлем, и Министр обороны, гордясь результатами военной реформы, послал пилотам воздушный поцелуй.

Вслед за техникой двинулись президентские кавалергарды, выпускники секретной биоинженерной лаборатории, — великолепные кентавры с головами бравых усачей, с могучими крупами орловских тяжеловозов. Некастрированные, они гарцевали на ходу, с могучими, набухшими семенниками. Им сопутствовали кинологи, полулюди полусобаки, самых разных пород, среди которых выделялись кривоногая такса с

мужественным лицом сапера, и здоровяк с головой кавказской овчарки, — оба отличились во время чеченской войны, обезвредив множество фугасов в Аргунском ущелье. Дальше шли элитные подразделения. Боевые пловчихи — русалки в камуфляже, с декольте, шлепая в такт по брусчатке раздвоенным кожаным хвостом. Мастера подводного плавания, не нуждавшиеся в аквалангах, ибо за ушами у них пульсировали сочные жабры. Трехголовые десантники, каждый из которых заменял троих бойцов, что позволяло малым числом добиваться максимальных боевых результатов. Мотострелки являли

собой гладкое, лишенное конечностей тело, с одним торчащим указательным пальцем, что позволяло бойцу перекатываться по земле, уклоняясь от попаданий, и стрелять, оставаясь неуязвимым для противника. Парад замыкали небольшие подразделения, еще не получившие обкатку в сражениях, лишь недавно сформированные в недрах биолоборатории. Они выглядели, как нарезанная кубиками морковь, шарики из дыни, пирамидки из свежих огурцов и цилиндрики из мякоти яблок. Все браво промаршировали мимо Президента, и тот не удержался, ухватил шарик марширующей дыни и

сжевал. Процессию замыкало странное и по-своему великолепное существо с телом зебры, головой страуса, крыльями стрекозы и хвостом, который был ничем иным, как кустом цветущих китайских роз, выраставших прямо из задницы полосатой твари.

Парад прошел великолепно, если не считать маленького казуса. Одна из электрокосилок снизилась настолько, что, пролетая над Тверским бульваром, напрочь отстригла вершины деревьев, включая и макушку трехсотлетнего дуба, под которым когда-то гулял маленький Пушкин.

Парад завершился салютом и

фейерверком. В небо взлетали бесчисленные букеты и хлопья цветной сладкой ваты. Пока они парили в небе, их клевали птицы, а когда падали на землю, то служили лакомством для счастливых москвичей.

Стрижайло не мог оставаться ночью в огромном пустынном дворце, напоминавшем таинственный звездолет, по отсекам которого бродит дух пришельца иных миров, погибшего в соприкосновении с земной реальностью. Он накинул пальто, вышел в сырой, ветряный воздух, под ночное, с московским заревом небо,

в котором шумели сосны. Снег сошел, земля мрачно чернела, ногам было скользко. Он направился в сосновую рощу, где, окруженный деревьями, стоял самолет с бортовым номером «44-8629» и женским именем «Энола Гей». Так звали мать пилота, сбросившего на мир атомную бомбу, «перекодирующую» человечество. «Бомбардировщик-мать» родил из лона младенца, который, упав на японский город, сотворил «иное небо и иную землю».

Трап стоял у борта. Стрижайло поднялся, отворил дверь, оказался в мягко озаренном салоне. В пилотской кабине светилась приборная доска, — красные,

голубые, зеленые индикаторы, циферблаты приборов, множество кнопок и тумблеров. В салоне был удобный стол, окруженный диваном и креслами, лежали теплые пледы, стоял стакан с минеральной водой, из которой излетали пузырьки. Казалось, здесь его ждали, готовились к его появлению.

Стрижайло присел на диван, глядя, как в иллюминаторе, в темноте чуть брезжит алюминиевое крыло, близкий сосновый ствол, в который почти упирались лопасти пропеллера. Ему вдруг неодолимо захотелось спать. Он прилег на диван, накрыл себя пледом, прислушиваясь к едва ощутимым

биениям самолетного корпуса, в который ударяли ветка сосны, капли весеннего дождя. Погрузился в дремоту, которая были ни сном, ни явью, а странным созерцанием плывущих в сознании таинственных темных потоков.

В этих потоках возникла светлая точка. Качалась, колебалась, словно отражалась на волнах высокая звезда. Стала разгораться, увеличиваться. Из светлого пятна стали изливаться мягкие золотистые круги, расширяясь, захватывая все большее пространство. Казалось, идет созревание яйца, возвращение зародыша, от которого исходят животворящие силы. Внезапно в

центре яйца возник старец, уже знакомый Стрижайло, являвшийся ему во время крестного хода, посещавший его в сновидениях. Он был небольшого роста, в заношенном длинном подряснике, опирался на деревянный посох. Голову его накрывала потертая скуфейка, из-под которой мягко рассыпались белоснежные волосы. Лицо было строгое, тихое, с внимательными голубыми глазами, в белой бороде и усах виднелись шепчущие губы. Его опоясывала тонкая, набранная из разноцветного бисера подвязка, будто в талии он был перехвачен тонкой радугой. Старец явился то ли из глубин мироздания, то ли из его

сонного, грезящего сознания. Встал перед ним и сказал:

— Не бойся лететь во Псков...
Не бойся плыть на остров...

— Я не боюсь, — отозвался Стрижайло, не словами, а сонной, грезящей мыслью.

Старец повернулся, направился в кабину. Отставил посох, прислонив его к приборной доске. Уселся в кресло пилота, протянул руки к тумблерам. Стрижайло видел, как загораются на доске световые табло, мигают индикаторы. Услышал рокот запущенного двигателя. Второй, третий, четвертый. Салон дрожал, так что стоящий на столе стакан с водой стал медленно скользить и

смещаться.

Стрижайло видел, как упали на обе стороны деревья, и открылась длинная туманная полоса, отмеченная фиолетовыми, убегающими вдаль огнями. Вспыхнул прожектор, озаряя мокрый бетон, насыщая его блеском и серебром. Самолет побежал, грозно рокоча пропеллерами. Разогнался, взлетел. Стрижайло успел подхватить падающий стакан, в котором продолжали кипеть пузырьки.

В иллюминаторе сверкала ночная Москва, — черный бархат с россыпями алмазов, с драгоценным жемчужным шитьем, как плащаница с чьим-то восхитительным,

божественным ликом.

Самолет шел в высоте над темными пустотами, в которых, как обрывки светящихся водорослей, проплывали неизвестные города и селенья.

«Куда мы летим?» — думал Стрижайло, глядя на старца, чьи руки сжимали штурвал, рассыпанные по плечам волосы мягко светлели, и весь он был окружен прозрачным сиянием и был слегка прозрачен.

«Боже мой, — думал Стрижайло, — Кто я? Зачем явился на землю? Что мне отпущено? Чьей властью вознесен в небеса?»

Не было ответа. «Летающая крепость» шла над русской

равниной, и пилот в скуфейке и рясе,
опоясанный радугой, вел самолет.

часть пятая.

«Пекарь»

глава тридцать третья

Он очнулся от яркого солнца. В иллюминаторе был лучезарный свет. Самолет снижался над ослепительной синей водой, по которой бежал сверкающий ветряный блеск. Среди воды, коричневый, окруженный белой пеной, состоящий из уступов, виднелся остров, тесно уставленный домами. По озеру к острову, крохотная, похожая на семечко, шла лодка, — казалась недвижимой, распушив за кормой пенную белизну. Берег озера, овальный, ярко-зеленый, с синими гривами, был прорезан волнистой рекой, впадавшей в

озерный простор. Тянулась дорога, крохотные, бежали машины, кое-где виднелись деревенские избы.

Пилот в скуфейке посадил самолет у самой воды, раздувая пропеллерами влажные синие цветы, сплошь покрывавшие берег. Стрижайло видел, как в озере, растревоженная винтами, выгибается и трепещет вода. Старец вышел из кабины, захватил посох. Отворил дверь наружу, пощупал посохом воздух, словно проверял его на прочность, и без трапа мягко, раздувая подрясник, канул в цветы. Стрижайло, изумленный, последовал за ним, опускаясь, как на парашюте, в распахнутые свежие травы, в

чудесные синие цветы, благоухающие душистыми соками. С изумлением заметил, что самолет, пробежавший по берегу, не потревожил колесами цветы и травы, не оставил следа. Вокруг шасси не был сломан ни один хрупкий стебель.

Старец, не оглядываясь, зная, что Стрижайло ступает следом, направился к берегу, где тихо качалась лодка. Подхватил подрясник, чтобы не замочить, приоткрыв стоптанные башмаки. Поднял с днища весло. Стрижайло успел вскочить в шаткую, играющую на воде ладью, вокруг которой тихо хлюпало озеро, посылало в глаза бесчисленные вспышки света,

которые бежали неутомимой беззвучной чередой. Маленький, щуплый, с развеянной бородой, опоясанный тонкой радугой, старец, из пилота превратившись в кормчего, замахал веслом, посылая лодку в озеро.

«Как странно, как чудесно», — думал Стрижайло, испытывая сладкий испуг, головокружение от чистого ветра, пахучей воды, необъятной природы, в которой летели холодные душистые дуновения, сверкали бессчетные вспышки, ударяли в утлую лодку крепкие волны, и вставал впереди коричнево-золотой, уступчатый, с расселинами и оползнями,

окруженный взволнованной синевой, остров, будто нарисованный иконописцем, решившим изобразить сушу посреди океана.

Промокший от холодных брызг, восхищенный чудесным плаванием, Стрижайло смотрел, как приближается рыжая круча, как бегают по берегу собака, как блестят стекла деревенских домов, и над кручей розовеет корова, словно старается разглядеть, кого Бог прислал на остров.

Лодка ударилась в берег, засела в песке. Старец легко перескочил через борт, оглянулся на Стрижайло веселыми голубыми глазами. Произнес:

— Обожди здесь, — семена, похожий на птичку, пошел в гору, помогая себе суковатой, стертой до блеска палкой, светясь радужным пояском.

Стрижайло остался стоять под откосом, у плещущей воды, где валялись заржавелые цепи, изъеденный ржавчиной якорь, деревянный скелет сгнившего баркаса. Вдалеке на берегу темнела пристань, кто-то ходил по ней. Там круча опадала, по спуску к причалу вела дорога. Толпились избы, белела колокольня. Стрижайло изумлялся тому, как был перенесен на этот загадочный остров посреди сияющих вод, в котором было нечто от детских

забытых сказок про остров Буян, от
протяжных бабушкиных
взволнованных чтений про остров
Патмос, где пророку было явлено
будущее грешного мира. Стрижайло
озирался, робел, восхищался,
предчувствуя ждущие его перемены.
Старался угадать, кем являлся
синеглазый поводырь, чей посох,
когда тот поднимался в гору, шуршал
о тропинку, осыпая мелкие камушки.

Старца все не было. Стрижайло
решил идти ему вслед, найти его на
горе. Пошел, упираясь в тропу, видя,
как над кручей появляются крыши
домов, застекленные окна. Когда
поднялся, оказался на улице,
уставленной избами, крашеными

заборами, рублеными банями, подле которых белели поленицы, сочился из банных труб сизый дым, пахло вениками, берестой, скотиной. Какая-то сильная, пышногрудая женщина с загорелым лицом прошла за забором, неся на руках свернутые белые ткани.

Стрижайло пошел по селу, по жесткой мураве, по утопанной земле, на которой поблескивали черепки побитой посуды. Навстречу попалась старуха, сгорбленная, в вязаной шапке, в теплых валенках, согревавших слабые ноги. Взглянула подслеповатыми глазами.

— Скажите, — обратился к ней Стрижайло. — Вы не видели, куда

прошел старец?

— Что за старец? — недовольно переспросила старуха.

— Такой невысокий, борода, как снег, в рясе, с пояском из бисера. Опирался на палку. Глаза такие голубенькие. И вокруг как бы воздух светится.

— Отец Николай, что ли? — задумалась старуха. — У него поясок из бисера. Говорят, сам Иоанн Кронштадский носил.

— Да, да, отец Николай! — обрадовался Стрижайло.

— Он два года, как помер. Вон его могила на кладбище, — старуха кивнула на ограду, сквозь которую начинали распускаться деревья,

серебрились оградки, белели и краснели кресты. Затрясла головой, теряя к Стрижайло интерес. Побрела вниз по улице.

Сквозь ворота он вошел на кладбище. Сразу у входа увидел высокую, обложенную камнями могилу, простой деревянный крест. Из могильной земли обильно пробились крокусы, белые, желтые, голубые, превращая могилу в трогательную, нарядную клумбу. На кресте, застекленная, висела фотография, — знакомый белобородый старец в скуфейке, в рясе, опоясанный пояском, опирался на посох. Смотрел на Стрижайло добрым внимательным взглядом. И

он понял, что с ним случилось чудо. Волшебный старец был посланцем другого мира. По наущению свыше привел на волшебный остров.

Он стоял у могилы, окруженный зеленым туманом распускавшихся кладбищенских деревьев, сквозь которые мерцала озерная синь. Чувствовал необычайный прилив тепла, нежности, безмолвной ласки, которые изливались на него. Эта была нежность живого, любящего его сердца. Ее источником была не могила, нежность изливалась не из глубины земли и разноцветные крокусы, а ее средоточие находилось выше, на уровне креста, где прозрачно сгущался воздух, и что-то

брезжило, трепетало, дышало, посылая ему теплые волны. Это поразило его, увлажнило глаза. Было удивительно и неправдоподобно, чтобы кто-то столь чисто и благодатно любил его, взрослого, плотоядного, изъязвленного грехами и пороками, сластолюбца, циника, бессердечного игрока, не ведавшего сострадания и сочувствия, — чтобы кто-то любил его во всем его несовершенстве и гибельном падении. Обнимал, прощал, шептал утешающие, исполненные нежности слова.

Все странно смешалось в нем, расплылось, то ли от близких слез, то ли от струящегося над могилой

воздуха. В душе проходило борение. Демоны, попав в напоенное чудным светом пространство, испуганно встрепенулись, нахохлились, недовольно расширили раскормленные холеные тушки, и он ощутил это, как удушье. Теплые струи проникали в него, проливались в кровь, окрашивали ее в золотистый цвет. Демоны, пугаясь этой божественной теплоты, впрыскивали в кровь чернильную муть, темные душные яды, от которых наступала немощь. Он как бы раздвоился, его суть распалась на две половины, которые противоборствовали, проникали друг в друга. Одна старалась вытеснить другую, и он

был полем брани. Он был, как весенняя луна, одна половина которой дивно серебрилась, словно круглое зеркало, а на другой, погруженной в мрак, темнели провалы и пропасти. Не в силах выдержать этой брани, он вышел с кладбища, оставив позади источник благодатного тепла.

Шел по улице, вдоль тесных, с маленькими огородами домов. В обе стороны выгибалась в небо суровая бескрайняя синь, от которой кружилась голова. Остров, высокий и крутой с одной стороны, снижался, переходил в отмель, узкую, уходящую в озеро косу, у которой чернели сараи, склады, темнела пристань,

круглились бортами просмоленные баркасы и лодки.

На лавочке, перед крашеным палисадником, сидел старик, смолил сигарку, щурился в озеро, где сыпались и бежали бессчетные блески. Ноги старика были в стоптанных валенках, тело укутано в теплую стеганку, на голове белесая фуражка, а руки, державшие сигарку, и лицо, обращенное к озеру, были коричневые, морщинистые, с древесными трещинами, зазубринами, напоминали колоду, на которой долгие годы рубили, колотили, строгали, высекая рубцы и метины.

— Здравствуйте, — поклонился

Стрижайло.

— Здорово, коли не шутишь, — отозвался старик. Вглядывался в него против солнца, — Чтой-то раньше тебя не видел. Ты, часом, ни ученый? Ни по рыбным делам?

— По рыбным, — ответил Стрижайло, удивляясь старику, угадавшему в нем странную зависимость от водяных существ, — рыбы-палтуса, странствующей в теплых морях, эмбриона в банке, выраставшего из рыбьей икринки, Человека-Рыбы, так странно исчезнувшего, не пославшего о себе весточки.

— Рыбы в озере мало стало, — старик пускал в Стрижайло сладкий

синий дымок. — Раньше в это время в Псковском озере снеток валом шел. Скотину снетком кормили, в Москву, к кремлевскому столу отправляли. Летом лещ был, что твой противень, килограмм на шесть. Зимой подо льдом окунь, плотва, ерш, прямо мороженных на рынок возили. А теперь — худо. Мужики здесь, на Псковском, почти не ловят. В Чудское на путину ушли. Отчего, скажи, рыба пропала? Атом ее погубил, или удобрения с полей потравили, или от наших грехов уплыла?

— Скорее всего, от грехов.

— И я так думаю. От грехов человеческих и рыба, и птица, и зверь бежит. Скоро земля пустой

станет, один грех на ней расти будет, — старик был философ, много что повидал на веку. Теперь он сравнивал нынешнюю и былую жизнь, которые были явлены ему этой озерной синевой с бегущими вспышками солнца. Лодки, корабли и баркасы, сновавшие по озеру, не оставили следов на воде, но нарезали множество глубоких морщин и линий на коричневом лице старика.

— Вы сказали, рыбаки в Чудском, на путине? Когда вернутся?

— А сегодня, к обеду. Вчера из озера гонец пришел, сказал, чтоб встречали. Вон бабы бани топят, чистые рубахи мужикам готовят. В магазине с утра всю водку

разобрали, — старик кивнул на свой дом с палисадником, за которым пробегала крепкая, простоволосая женщина. Торопилась к бане с дымящей трубой, и на лице женщины было радостное нетерпение, жадное бабье ожидание, предвкушение долгожданной встречи.

Стрижайло поклонился старику и пошел дальше, к спуску, вдыхая студень ветер, запахи свежей травы, в которых таяла струйка выпущенного стариком табачного дыма.

Спустился к воде, пахнувшей свежестью, водорослями, рыбьей молокой, и уселся на прохладный розовый валун, вслушиваясь в тихие

плески, посвисты, крики далеких чаек. Отмель клином погружалась в озеро, чуть просвечивала сквозь синеву, исчезала в разводах ветра. Далеко, через пролив, снова всплывала песчаным клином, переходя в плоский соседний остров, сплошь поросший травой, безлюдный и недоступный, ярко-зеленый. Его появление на острове по-прежнему казалось чудесным, требовало поступков и мыслей. Но ничто не побуждало к поступкам, и хотелось сидеть среди плесков и посвистов, без мыслей, без воспоминаний, отдаваясь на волю безымянной возвышенной силы, перенесшей его на синее Псковское

озеро.

Он услышал за спиной мычанье, бабьи крики, шуршанье песка. Наверху, перед спуском топталось несколько коров, невысоких, плотных, раздраженно мычавших, — мотали хвостами, мерцали глазами, в которых отражались все те же озерные блески. Женщины из соседних домов выгоняли скотину на улицу, беззлобно покрикивали, понуждали хворостинками выйти коров из палисадников, присоединиться к небольшому стаду. Другие животные с тревожным мычанием, подходили с отдаленного конца улицы, теснили собравшихся, сгоняли на спуск. Коровы шумно

повалили вниз, рассекая копытами дорогу, трясли пустым выменем, заполняя берег красно-рыжими телами, глазастыми головами, мотающимися рогами.

Из стада к воде вышла небольшая, золотистая корова. Нюхала воду, вглядывалась в соседний зеленый остров, шевелила большими влажными ноздрями, всасывая ароматы далекой недоступной травы, жадно облизывая языком большие мягкие губы. Стала входить в озеро, по колено, по грудь. Оглядывалась на стадо, протяжно мыча. Другие коровы шли следом, наполняли отмель дышащими боками. Оседали по брюхо в воду,

расталкивая вокруг водяные круги. Передняя корова забрела по горло, так что над водой возвышалась одна рогатая голова и тонкая полоска золотого крестца. Поплыла, мягко, плавными толчками, гоня перед собой стеклянный бурун. Другие коровы следовали за ней, погружались в озеро, начинали плыть, удаляясь от берега, наполняя студеную синеву горячими красно-золотыми телами.

Стрижайло с изумлением смотрел на уплывавших коров. Зрелище было прекрасным, — густая лазурь, рогатые красные животные, стеклянные буруны, расходящийся пенный след. Все было волшебным,

подтверждало таинственность
промысла, что привел его на остров,
где покоится дивный старец,
деревенский философ рассуждает о
вселенском грехе, обитают
плавающие коровы, которые, — все
можно ожидать, — вспенят вокруг
себя озеро, расправят широкие
красные крылья и всем алым стадом
улетят в небеса.

Коровы медленно удалялись,
краснея среди синевы. Достигли
соседнего острова. Выбредали из
озера, отекая солнечными ручьями,
поджидая отставших. Издалека через
пролив доносилось их мычание.
Стадо вышло на берег и ушло в
зеленую глубину острова, где было

обилье травы, растаяли среди солнечной зелени. Восхищенный, умиленный, Стрижайло поднялся с камня, побрел по берегу.

Обошел остров по узкой кромке, под песчаной кручей, где длинные, прикованные цепями, наполовину в воде, лежали лодки, круглились разноцветные валуны, вылизанные волнами, испачканные птичьим пометом. И все не мог оторваться от синевы, — густая в середине озера, дальше, вдали, она превращалась в голубой белесый туман, сливалась с небом. Где-то там, невидимые, двигались челны рыбаков, шумели паруса, стучали моторы, приближались к родному берегу.

По отвесной тропинке поднялся на гору и очутился вновь у знакомого кладбища, похожего на зеленое, опустившееся на остров облако. По другую сторону улицы стояли дома, среди них — крохотная, покосившаяся избенка с ветхим крылечком и подслеповатыми оконцами. На крыльце появилась худая немолодая женщина, по виду монашка, в долгополом облачении, темном платке. Улыбнулась с крыльца.

— Здравствуйте, — поклонился ей Стрижайло.

— Ангела Хранителя, — ласково, с чудесной улыбкой на выцветшем лице отозвалась

женщина, — А я видела, как вы к батюшке Николаю на могилку ходили.

— Хорошо у него на могиле, не грустно.

— А батюшка негрустный был, радостный. Бывало, выйдет из келейки, — монашка обернулась на домик, — обопрется палочкой о крыльцо и смеется. Солнышку смеется, птичкам, цветам. Любил все Божье. А сами откуда?

— Из Москвы.

— В Москве греха много. Батюшка Николай за Москву молился, чтобы ее Господь простил, не насылал гневную чашу. Да вы зайдите, гляньте на келейку.

Вслед за женщиной, наклоняя голову, чтобы не удариться о притолоку, Стрижайло вошел в избушку и почувствовал, как в ней тесно, как его большое сильное тело заняло почти все пространство крохотной горницы.

Вся комнатка была завешана образами, от крупных, в старинных серебряных и медных окладах, стоявших на божнице, до тех, что помельче, отдельно и складнями висящих по стенам. Перед иконами горячо, красные, зеленые, золотые, пламенели лампы. Ярko горели свечи, трепетали, жарко таяли, и казалось, что здесь недавно молились, — такой душистый стоял

дух, такое озарение царило во всех уголках молельни. Много место занимала высокая, застеленная кровать. В ногах висела поношенная, латанная-перелетанная ряска, та, в которой к Стрижайло явился старец. В головах стоял знакомый, суковатый посох, отшлифованный стариковской рукой. На спинке пестрел узорный, шитый бисером поясок, как нежная радуга. Казалось, старец, помолившись, ненадолго вышел и сейчас вернется, ласковый, белобородый, с васильковыми глазками, весь в лучистых морщинках.

Стрижайло почувствовал в келье тот же, что и на кладбище, прилив

теплоты, близких слез, присутствие кого-то, кто бескорыстно и нежно любит его, прижимает к груди, принимает со всеми изъятиями и пороками, как ненаглядного сына.

— Может, хотите помолиться? — спросила монашка. — Батюшка вместе с вами молиться станет. Вас обоих Бог быстрее услышит. Не стану мешать, — и вышла, тихо притворив дверь.

Стрижайло растерянно, взволнованно осматривал келью. Тесный дощатый столик с зарубками и потертыми метинами, за которым старец вкушал свои скудные трапезы. Конторка, застеленная истертым

бархатом, на котором лежали медный крест и раскрытая церковнославянская книга. Над столом — фотография, где в ряд стоят три молодых чернокудрых монаха с истовыми вдохновенными лицами, быть может, один из них — старец в молодые годы. Стрижайло стоял, окруженный лампадами и свечами, и ему казалось, кто-то чуть слышно его подталкивает, направляет в него едва ощутимые удары тепла и света, понуждает к чему-то. «Молись!» — угадал он бессловесный приказ, исходящий из низкого, в сучках, прокопченного потолка. Робея, опустился на колени, прямо перед сияющими, чеканными

образами, где в серебряных нимбах темнели коричневым два глазастых лика — Богородицы и Младенца. Не зная, ни единой молитвы, стал молиться. Не знал, кому молится. Не знал, о чем просит. Просил, чтобы его пустили туда, где нет муки и ужасов жизни, сняли с него заклятье, развязали затянувший душу невыносимый узел, освободили его и очистили, взяли на себя непосильную ношу, окружили чистой женственностью и любовью, не оставляли одного, а хранили вокруг него этот дивный свет, материнскую нежность, всеобъемлющую, всепрощающую любовь.

Стоя на коленях, чувствовал, как

чьи-то незримые губы вдувают в него тепло. Прикоснувшись к виску, вливают нежные волны света. Тепло и свет проникали в душу, омывали сердце, орошали каждую живую частичку, и она начинала трепетать и светиться.

Он словно видел себя внутренним взором. Все множество составлявших его корпускул, весь сонм роящихся молекул, все бессчетные росинки жизни пришли в движение. Сталкивались, превращаясь в едва различимые разноцветные взрывы. Исчезали, оставляя после себя микроскопические искры. Меняли цвет, из красного становясь

голубыми, зеленым, золотыми. Создавали радужные узоры, как на бисерном пояске старца. Казались крохотными планетами, на которых зарождалась жизнь, появлялось цветенье, селился одухотворенный разум. Окна светелки превратились в витражи, составленные из разноцветных стекол. Дробились, переливались, складывались в неповторимую мозаику, фигуры калейдоскопа. Держались мгновение и вновь рассыпались, чтобы сложиться в изменчивую восхитительную геометрию. Ему казалось, что его существо переживает изменение, претворение. Плоть теряет прежние свойства и

качества, просветляется, становится воздушней и легче. Из частиц и молекул строится новое тело, новый неведомый образ. Но вдруг на это недостроенное тело, невоссозданный образ налетали темные вихри, рушили, рассыпали. Вместо золотисто-лазурных потоков начинал клокотать и струиться огненно-красный, жестокий.

Это было невыносимо. Молитва его иссякала. Летела ввысь, почти достигая желанного предела, откуда доносился радостный ответ, выстраивая орнамент исцеленных светоносных частичек. Но потом молитва опадала, словно раненая птица, стремилась к земле. Темные

вихри смывали чудесный орнамент, разноцветные бусины с искрами драгоценного света меркли, и в каждой появлялась темная сердцевина, больная червоточина, словно в нее вползал крохотный, умертвляющий червь.

Он встал, шатаясь. Вышел на крыльцо, где стояла монахиня.

— Не могу молиться, — произнес он бессильно. — Не могу, — пошел прочь, чувствуя на себе испуганный, сострадающий взгляд женщины.

Вышел на кручу, где огромная, устрашающе-темная, вздулась озерная синева. Раскаленно и дико в пепельных небесах горело солнце.

Медленно плыло косматое облако, похожее на бегущего зверя. Боренья его продолжались. В душе сшибались две силы, порождая трясенья во всем его существе, фиолетовые кольца в глазах. Казалось, за него сражаются две неистовые стихии, выхватывают одна у другой, раздирают на части. Вот одна стихия овладела им, завернула в светоносный ослепительный вихрь, помчала в небеса. Но другая настигла, вырвала, замотала в чернильную тьму и ринулась вниз, готовая кануть в черную озерную синь, скрыться на дне. Ему казалось, он умирает. Вместе с ним умирает земная жизнь, блекнут травы, всплывают белыми

брюхами вверх задохнувшиеся рыбы, рушатся птицы, изнемогают от страшных болезней живущие в избах дома. Само солнце начинало меркнуть, на него наползала косматая туча, будто его заглатывал огромный лохматый зверь.

— Господи!.. — возопил Стрижайло и упал на колени перед самым обрывом, — Не оставляй!.. Без Тебя ничего не могу!.. Спаси, Господи!..

Туча нашла на солнце. Край огненно вспыхнул, словно пробежала раскаленная молния. Из-за тучи на озеро упали пышные голубые лучи. И сквозь этот шатер лучей что-то прянуло сверху, стремительное,

светоносное и пернатое. Ударило в Стрижайло то ли разящим копьем, то ли зубчатой молнией. Острие прошло внутрь, и что-то взрезало, вспоролло. Он испытал несусветную боль, словно ему рванули внутренности. Они стали содрогаться, словно их вырывали с корнем. Глаза выдавливались из орбит, так что стал виден весь горизонт вокруг, — небо и вода были красными, земля и стоящие на ней дома — пропитаны кровью. Из рта его вдруг повалила пена, и вырвался звериный нечеловеческий рык. Он стал сотрясаться, задыхаться. Заполняя весь пищевод, все горло, всю полость рта, выскальзывая из разорванных

губ, стал выдавливаться, толчками
выпучиваться толстый змей,
мускулистый, черно-кожаный, с
зеленым глянцевитым отливом.
Вываливался, удлинялся, бесконечно-
огромный, как труба нефтепровода.
Гибко изгибался, сваливался под
откос, осыпая камни. Полз к воде,
неся впереди узколобую костяную
башку, в которой горели два
рубиновых глаза. Ухнул в воду и ушел
на дно, разваливая озеро надвое,
исчезая в кипящих волнах. Головы
его не было видно, а хвост все еще
находился внутри Стрижайло,
высверливая растерзанную плоть. И
когда выскользнул узкий, гибкий,
заостренный хвост и, вильнув по

откосу, ушел в озеро, Стрижайло, падая, успел заметить, как далеко в озеро уходит пенный след, оставленный громадным туловом.

Он лежал без сил на откосе. Ему казалось, что у него вырвали нутро, — все болело, хлюпало, как после жутких родов. Из ноздрей и ушей лилась кровь. Губы были разорваны. Во рту был отвратительный вкус, будто он разжевал кусок серы.

Забывался, опять приходил в чувство. Боль стихала. Казалось, рана в утробе начинает заживать. С великим трудом поднялся, сполз с откоса к озеру. Держась рукой за край лодки, встал на колени,

нагнулся к воде и промыл слипшиеся глаза, отер окровавленные губы. Набрал воды в рот и долго полоскал, а потом, подцепив пригоршню, пил озерную воду, остужая израненное нутро.

Поднялся. Облако ушло далеко за озеро, открыв солнце. Пенный след от змеиного тулова растворился, и по озеру безмятежно бежали огни. И он вдруг ощутил необычайную легкость, радостную невесомость, будто оказался на планете, где нет притяжения, и телу больше не нужно изнывать под бременем костной, неодухотворенной материи. С глаз будто спали бельма, и мир засверкал, как в детстве, во время счастливых

утренних пробуждений, — дивная, ликующая синева озера, бесконечная божественная лазурь неба, изумрудно-зеленая трава на откосе, драгоценный песок, где сверкали золотые, различные все до последней песчинки. Валуны, еще недавно тусклые, блеклые, обнаружили нежные, дышащие цвета, — розовый, голубой, смугло-коричневый. Камни были живыми, одухотворенными, как живой и одухотворенной была рыбацкая лодка, бегущие по озеру волны, каждая из которых имела свою душу, свои восхищенно растворенные очи. И все это было обращено к нему, славilo его появление в мире, где он

только что появился на свет, родился заново, был исполнен любви. Не зная слов благодарности, не умея славить своего Спасителя и Творца, он, исполненный благоговения, опустился на колени и поцеловал огромный розовый камень, который слабо отозвался на его поцелуй.

Преображение, которое он пережил, было подобно волшебной реставрации, когда тусклая, покрытая вековой копотью картина, испытавшая порчу и разрушения, вдруг явлена на свет в первоначальный дивных тонах, с сочными первозданными красками, прорисованными линиями, неискаженным сюжетом. Все его

органы чувств обострились, приобрели сверхчеловеческую восприимчивость. Его слух улавливал те только плеск ближних волн, ударяющих в лодку и камень, но и легкие, прозрачные звоны далеких плесков, набегающих один на другой по всему простору озера, отчего вся вода сладко пела, мелодично звучала, каждая капля переговаривалась с другой, несла по всему голубому разливу чудесную весть. Его ноздри жадно вдыхали воздух и улавливали не только ближние запахи, — просмоленной лодки, стекающего с откоса дыма, но и сочной запах рыбьей икры от далеких невидимых нерестилищ, и

пряный аромат синих цветов на озерном берегу, в которые опустился его самолет, и сквозь студеную свежесть озерного ветра — чуть слышный, теплый запах невидимого коровьего стада, что паслось на соседнем острове. Его глаза приобрели звериную остроту и зоркость, и он различал далекую реющую над водой чайку, — ее косые заостренные крылья, оранжевый загнутый клюв и круглые рыжие глаза, выскивающие среди волн добычу.

Он проследил волнистый полет чайки, отпустил ее, перевел глаза к горизонту, и в сгустившемся фиолетовом тумане, там, где вода

сливалась с небом, различил скопление темных подвижных масс. Его зрачки улавливали бесконечно далекие, рассеянные пространством лучи и легко складывали их в изображение. Это двигались, выплывали из фиолетового тумана медлительные ладьи, отягченные баркасы, низко осевшие озерные суда под парусами. Удаленная флотилия покидала Чудское озеро, вплывала в Псковское, возвращалась с путины на остров. Он чувствовал через огромную пустоту медленный ход нагруженных ладей, натянутую, залатанную парусину, наполненную пузырящимся ветром, еще невидимых рыбаков, их стремление к

родному селу.

На откосе появились женщины, молодые, пожилые, совсем старухи, множество детей, — все смотрели в озеро, тянулись навстречу далекой флотилии, страстно торопили ее приближение. Стрижайло, обрета в преображении дар ясновидения, угадывал бабьи переживания. Молодые торопились увидеть своих ненаглядных, обнять их худые, утомленные тела, испытать крепость и жадность их нетерпеливых объятий. Те, что постарше, радовались возвращению хозяина, кормильца, добытчика, несущего в дом достаток, — обильный улов сулил деньги, обновы, гостинцы и

лакомства детям. Пожилые женщины радовались возвращению сыновей, которых озеро милостиво отдавало обратно, не сглотнуло черным зевом распахнувшейся бури, как иных, незадачливых, кому не помог домашний образ Николы Угодника, покровителя рыбаков и мореходов. Стрижайло чувствовал, как в сияющей пустоте, от острова к лодкам и обратно, несутся беззвучные сигналы, которые подают друг другу любящие, истосковавшиеся люди. И прочитывая эти бессловесные послания, он благоговел, благословлял, радовался их предстоящей встрече.

Флотилия приближалась. Лодки шли тесной армадой, паруса выгибались. На синей воде, окруженные легчайшим сиянием, темные челны и косые, натянутые ветром ткани казались видением древности, — варяжской дружиной, славянским воинством, картиной Рериха. Стрижайло сладко чувствовал свою связь с этой седой стариной. Был одним из них, стоял в челне, прикрываясь щитом, на котором алый лев воздел когтистые лапы. На носу, вырезанная из смолистого дерева, красовалась волшебная дева. На парусе яркими земляными красками была начертана руна. Бородатый богатырь в шишаке

взирал из-под косматых бровей на солнечную кручу.

Флотилия подходила к острову. Отчетливо виднелись лодки под парусами, стеклянные буруны, солнечная рябь на бортах, сидящие в лодках люди. Другие лодки, без парусов, без рыбаков, глубоко осевшие, были привязаны к первым, и за ними по озеру расходился далекий след. Стрижайло взирал на флотилию, словно это были его земляки. Он был один из них, родился на острове, весь век провел вместе с ними в трудах, рыбных ловах, в бореньях с суровой стихией, — тянул из глубин тяжелые невода, коптил и солил рыбу, завозил

на остров дрова, косил на далеких
угодьях сено, рубил на кручах тесные
избы, шел за благословением к
святому старцу. А зимними ночами,
когда озеро мертвенно цепенело во
льдах, смотрел на ослепительные,
раскаленные звезды, на
великолепный разноцветный узор.

Стрижайло увидел, как от
медлительной флотилии отделились
две моторки, ринулись к острову,
описывая на воде широкие пенные
дуги. Ушли за выступ, где на пологом
берегу находился причал,
размещались дощатые склады.
Женщины на круче отпрянули,
скрылись, побежали на спуск. Туда
же заторопился Стрижайло. Две

моторки причалили, рыбаки, оба тощие, длинные, загорелые до черноты, в резиновых сапогах, натужно вытянули лодки на берег. Не позволяя женам себя обнимать, бросая на ходу короткие суровые фразы, направились к складам, растворяя ворота. Весь берег был полон народа, — женщины, дети, старики. Всем селом встречали артель, неделю пропадавшую вдали от острова, на изнурительной путине. Собаки скакали и лаяли. Слетелись чайки, истошно носились над пристанью. Из церкви вышел священник и, не приближаясь, смотрел на народ. Наконец, из-за мыса показалась флотилия, — вялые,

полуопавшие паруса, осевшие борта, длинная вереница баркасов, в которых стояли рыбаки, двигали рулями, управляли парусами, причаливая к деревянной пристани, к мосткам, прямо на песчаный берег, шумно врезаясь килями в сырой песок. Все наполнилось гвалтом, криками, снующими худощавыми людьми, чьи руки были натружены и натерта о весла, рули, капроновые веревки, а лица с провалившимися щеками были черны от загара, какой появляются на сверкающих, отражающих солнце водах.

К парусникам и моторкам были привязаны грузовые баркасы с уловом. Мелкая рыба-снеток,

наполнявшая ладьи до краев, была похожа на сплошной серебряный слиток, от которого вверх поднимался столб света. Рыба покрупнее, — лещи, язи, окуни, — золотисто-белая, лежала на носилках, фиолетово переливалась, окруженная черным смолистым деревом. В двух лодках покоились самые большие рыбыны, — яркие, как зеркала, лещи, и черные скользкие налимы с устрашающими приоткрытыми пастьми и змеиными хвостами. Едва причалив, рыбаки стали грузить улов на носилки, переносили в склад, где в сырой темноте, под опилками, медленно таяли запасенные с зимы бруски

льда. Другие мужики выволакивали на берег сырые невода, огромные, оплетенные сетью кольца, волокни, развешивая для просушки на кустах и деревьях.

Стрижайло, в своем ясновидении и любви, воспринимал их тяжкий труд, как великое, вмененное им творчество, совпадающее с замыслом Всевышнего. Бог сотворил это великолепное синее озеро, запустил в него золотых и серебряных рыб, воздвиг посреди вод суровую кручу, поселил на ней упорных трудолюбивых людей, всю жизнь, из поколения в поколение, выполнявших вмененную им свыше

волю — неутомимо трудиться среди половодий и льдов, за что и послан был в их среду святой праведник, над могилой которого брезжит перламутровый свет. Не случайно старец привел его на этот благодатный, отмеченный Богом остров, где его оставили исчадия ада, и пришло освобождение, а вместе с ним и желание остаться здесь навсегда, разделить с этими людьми их долю, стать, как они, и тем самым исполнить волю Всевышнего.

Тут же, на берегу, он мысленно дал обет поселиться на острове и прямо сейчас, с этой минуты, войти в рыбацкую артель. А так как никто из рыбаков не был ему знаком, и

бригадир, высокий сутулый мужик в клеенчатом фартуке сипло на кого-то кричал, понуждая тащить носилки с рыбой в ледник, Стрижайло приблизился к рыбакам, волокущим сети и ухватился за мокрую вервь. Рыбак в мятом картузе, с жилистой шеей, с худым закопченным лицом и васильковыми сияющими глазами покосился на него, давая место в очереди мужиков, тянущих тяжелый невод.

Они волокли сырые, пахнущие глубинами и рыбьей молокой гурты, раскладывая их на берегу, цепляя за ветки кустов, оплетая прибрежные камни. Берега не хватало, и они развешивали сети на церковной

ограде, сквозь которую виднелся мучнисто-белый храм со священником, и выше деревенская улица с бегущей собакой и темные избы с сидящими на лавках старухами. Весь остров был оплетен сетями и колыхался в сырых тенетах, как фантастическая уловленная рыба.

— Ну что ты, как не живой, мать твою, — сердито рявкнул на Стрижайло синеглазый рыбац, когда тот споткнулся, заглядевшись на диковинную картину. Стрижайло не обиделся на суровый окрик, улыбнулся мужику, любил его и благодарил за этот окрик, уравнивающий их обоих.

Убрали крупную рыбу в сарай. Мелкую оставили в грузовых баркасах, собираясь завтра везти в Псков, на рынок, а чтобы не начала портиться, засыпали рубленым льдом, который прибавил сверканья бело-серебряным слиткам. Накрыли баркасы брезентом, чтобы чайки не клевали улов, и устало побрели от причала вверх, в село, где дружно топились бани, празднично сверкали вымытые окна, бегали расторопные женщины. В дома вернулись хозяева, кормильцы, и всяк, и стар и млад, старался им угодить.

Стрижайло никто не звал в гости. Он не напрашивался на постой, не думал, где будет ночевать,

где станет снимать жилье. Счастливый, бродил по острову, наблюдая, как темнеет вечерняя вода, какой глубокой синевой наполняется озерная даль, и низкое солнце разделяет озеро надвое оранжевой горящей бороздой. Остров казался родным, таинственно знакомым, — он узнавал его разноцветные валуны, черные под откосом лодки, дымы из труб, запах водяной травы и молоки от развешанных сетей. Словно он родился на острове, в младенчестве был увезен, а теперь вернулся на обетованную землю, которую больше никогда не покинет. Он поселится в монашеской келейке, где красно от лампад, висит на стене латаная

ряска, светится на спинке кровати радужный пояс. Станет ухаживать за святой могилой, слушать тайные голоса, внимаю великому вероучению, которое поведает ему старец в безгласном общении. И душа, освобожденная от адских начертаний, наивная, верящая, постепенно наполнится великим знанием, устремится в творчество, которое не будет прихотью извращенного разума, но сотворчеством с Богом.

Дойдя до низкой оконечности озера, он увидел, как в синей воде алым клином плывет коровье стадо. Плавно, качая красными головами, мерцая глазами, неся на рогах отсвет

солнца, животные возвращались домой. Подплывали к отмели, толкая перед грудью слюдяные буруны. Доставали ногами дно. Вставали, выбредая на берег. Стекланные, отекая ручьями, с набухшим выменем, шли в гору, возвещая ревом о своем приближении. Навстречу выбегали хозяйки, открывали ворота, пускали в глубь дворов, где тот час же начинали звенеть подойники, млечные струи ударяли в край ведра, пенились, нежно звенели.

Проходя по вечерней улице, Стрижайло услышал звяк распахнувшегося окна. Из избы показалась стариковская голова, и дребезжащий голос окликнул:

— Эй, ученый, а ну заходи!
Посиди вместе с нами!

Стрижайло радостно и послушно вошел в дом. В сумерках за столом сидела семья. Знакомый старик, с кем днем философствовал о делах промыслительных. Старуха, повязанная светлым платком. Хозяин, тот самый рыбак, что ругнул его за нерасторопность, в белой чистой рубахе, отпаренный и отмытый, с влажными, гладко причесанными волосами. Его жена, статная, полногрудая, с уложенной на голове косой. Двое ребятишек, мальчик и девочка, русые, востроглазые, в нарядных рубашках.

— Садись, — подвинулся

хозяин, подставляя свободный стул. — Поработали, теперь отдохнем.

На столе стояла просторная миска с вареной рыбой, большая сковорода с жареными лещами, другая — с яичницей-глазуньей. В глубокие тарелки были наложены соленые огурцы, квашеная капуста. В хлебнице круглилась ржаная краюха. Блестела бутылка водки, граненые мокрые от водки стаканчики. Еда была почата, яишня и печеные лещи порушены. Бутылка была наполовину пустой.

— Давай, ученый, за все доброе и хорошее, — хозяин, сияя васильковыми глазами на темном,

прокопченном лице, наполнил стопки. — Чтоб хорошо пошла, — лихим взмахом опрокинул стопку в рот, зажмурил глаза, давая огненной струе пролиться в глубь души. Выпили старик со старухой, дружно охнув. Выпила хозяйка, махнув у глаз белой рукой. Выпил и Стрижайло, испытав беззвучный удар света. Сразу же посветлело в сумеречной избе, стали видны фотографии на стенах в самодельных рамках, кружевные салфетки на тумбочке, высокая, с подушками, кровать, белая печь, на которой светились два золотых кошачьих глаза. Было ему хорошо в рыбацкой избе, среди ставших родными людей, угощающих

его яишной и рыбой,
подкладывающих ломоть ржаного
хлеба, плещущих водку в стакан.

Он пил, не пьянея, лишь
чувствуя, как разгорается в избе
таинственное ночное солнце, и
становятся видны смоляные сучки в
потолке, рыбья чешуйка на полу у
печки, капелька сока на домашнем
цветке.

— Давай споем, — хозяин
выгнул грудь, отер ладонью губы, —
Давай, ученый, подхватывай. Вобрал
шумно воздух. Выпустил его долгим,
неожиданно тонким и певучим
звуком:

— *О-зе-ро глу-бо-о-о-ко, бе-лой*

ры-бы мно-ого..

Хозяйка радостно
встрепенулась, устремляясь к мужу
большим сильным телом, отражая
его худой изможденный лик в своем
светлом широком лице:

*— Бе-ла ры-ба щу-у-ука да бе-
ла-я белу-у-уга...*

Старик со старухой попытались
выпрямить сутулые спины, углядев в
своих поблекших лицах следы былой
красоты и молодости. Словно
попросили пустить их в песню.
Запели, вливая в песню свои
дребезжащие голоса.

— Бе-ла ры-ба щу-у-ука, бе-лая
бе-лу-у-га,

Дайте мне, по-дайте-е, вы шел-
ко-вый не-е-вод...

Мальчик с девочкой радостно и
счастливо наблюдали за взрослыми,
открывали шепчущие рты, повторяя
беззвучно слова песни. А потом,
набравшись храбрости, процвели
чистыми, упоительно-нежными
голосами, от которых восхитились
лица поющих:

— Дай-те мне, по-да-а-айте вы
шелко-вый не-о-овод,

Вы-лов-лю, вы-ло-влю бе-е-лу-ю

ры-ы-бу...

Они пели бесконечную песню, долгую, как разводы ветра на озерной воде, как ход рыбьих косяков, как невода, утонувшие в синей пучине. Стрижайло, не зная слов, вторил, любя и благословляя, чувствуя, как из всех поднимает на огромном колесе в бесконечное небо, откуда видны все самые далекие земные дали.

Кончили петь. Сидели молча, слушая, как отлетает песня в ночное озеро. Хозяин наполнил стопки. Выпив искрящийся огнем стакан, Стрижайло почувствовал, как восхитительно и сладко

проваливается в небытие. Успел подумать, что, должно быть, именно так падает под стол опьяневший на пиру богатырь.

Проснулся от волнистого летучего света. Лежал на высокой кровати в светелке. По потолку и по стенам бежала солнечная рябь близкого озера. Испытал мгновенную радость пробуждения, младенческое ликование, когда каждое утро дарило ощущение беспричинного счастья. Бодро встал, вышел на воздух. Озерная синь вздувалась, расчесанная солнечными гривами. Кричали утренние чайки. Трава под ногами была зелена и росиста. За крышами изб, — там, где находилось

кладбище с могилой старца и его незатейливая келья, воздух переливался росой, — поднимались два радужных невесомых фонтана. Стрижайло, чувствуя легкость и свежесть, пошел вдоль домов по улице.

Увидел, как за забором, в темном сарае растворились ворота. Из них, наклонив голову, вышла корова. Шевелила ноздрями, вдыхала запахи вод и далеких вкусных трав. Толкнула рогами калитку палисадника, протиснулась на улицу. Обдавая Стрижайло запахами хлева и молока, пошла по дороге к отмели, издавая протяжное мычание. Из других домов выходили коровы,

озирались в озеро, прислушивались к мычанию во дворах. Качая пустым выменем, шли на спуск.

Стрижайло шагал следом по песчаной, изрезанной копытами дороге. На отмели собиралось стадо, пило воду, сочно хлюпало опущенными мордами, нетерпеливо, множеством темных, мерцающих глаз вглядывалось в зелень соседнего острова. Тут же была причалена лодка, прорезавшая носом песок. В ней лежали весла, жестяной ковшик, на днище блестела вода.

Коровы медленно забредали в озеро, распуская по воде широкие голубые круги. Розовые, рыжие, красные, отражаясь в синеве

длинными, волнистыми
отражениями. Поплыли, выстаиваясь
в алый клин, держа над водой
дышащие рогатые головы, толкая
перед грудью прозрачные пузыри.

Стрижайло, не желая их
отпускать, сел в лодку, оттолкнулся
от песка, вставил весла в деревянные
уключины и стал грести вслед за
стадом. Коровы плыли, оглядываясь
на него, пуская в середину своего
косяка, окружая лодку сильными
горячими телами. Он двигался в
ладье среди плывущих коров, и то ли
пас среди вод это волшебное стадо,
то ли оно захватило его в свой плен и
влекло прочь от острова.

Над ним кружили чайки. Его

обступали сильные, горячие звериные тела. Обдувал студеный, вкусно пахнувший ветер. Коровы держали путь не к соседнему зеленому острову, а в открытое озеро. Песчаная круча с избами удалялась. Чуть мерцали два радужных световых столба. И они пропали.

Теперь они плыли в открытом озере, среди синего ветра. Древнее, восхитительное, из первобытных преданий и мифов, было в этом плавании среди бескрайних вод. Стрижайло чувствовал, как приближается чудо, переносящее его в долгожданную «иную жизнь», в которой открывалось для него подлинное бытие, небывалое

творчество. Когда остров скрылся, передняя корова взбурлила воду, распростерла могучие, в красном оперении, крылья, шумно взмыла, роняя солнечные водопады. За ней взлетела вторая, третья. Все стадо рывками, бурля, оставляя водяные ямы, поднималось из озера, набирало высоту, и скоро розовый косяк исчез из вида. Он был один, среди бесконечных вод, в счастливом озарении, понимая, что чьей-то благодатной волей перенесен в «иную жизнь».

глава тридцать четвертая

Пробуждение было чудесным, с янтарным солнцем на белой печи. Оконце, заледенелое, голубое, было в листьях волшебных папоротников, в резных отпечатках великолепных снежных растений. Всю ночь мело и гудело, забрасывало стекла колючим снегом. Теперь этот снег завалил избу под самые наличники и сверкал, переливался, — превратил березу в ослепительную драгоценную люстру, набился в кусты шиповника искристой белизной. Его взгляд радостно восхитился этой утренней красоте, переместился под потолок избы, где слабо раскачивалась

голубоватая беличья шкурка, на узкий стол, заваленный книгами, на угол за печкой, где стволами вниз висела старенькая двустволка и, прислоненное к перегородке, стояло «клеймо», — железный молоток, которым он, лесной объездчик, ударял в гулкие древесные стволы. И пока оглядывал наполненную светом избу, краешком глаза видел ее, — близкое, на пестрой подушке лицо, еще спящие, но уже дрожащие от света глаза, круглый зайчик солнца, подбиравшийся к ее чистому лбу, рассыпанным по подушке светлым волосам, круглому, из-под теплого одеяла, плечу. И такую нежность, такой прилив силы и радости

испытал он в это драгоценное, данное ему богом утро, что захотелось навсегда запомнить и этот синий блеск за окном, и ее чудесное любимое лицо на подушке, и этот прилив молодого, необъятного счастья.

Из горячей глубины одеяла, где вытянулось ее прелестное жаркое тело, он высунул ноги в холодные, веющие у половиц сквозняки. Сенник, освобожденный от тяжести, тихо прозвенел множеством сухих стеблей. Сунул ноги в валенки и только потом, чувствуя студеной, за ночь остывший воздух, облачился в брюки, рубаху, толстый вязаный свитер. Пошел, поскрипывая к

дверям, где висели шубы и шапки.

— Ты куда? — услышал он ее голос, умиливший его сонной невнятиностью.

— Поваляйся еще. Пойду, снег отгребу от дома.

Набросил ушанку и шубу. В темных, звонких от мороза сенях подхватил из угла деревянную лопату. Вышел на хрустнувшее крыльцо в холод, блеск, ослепнув от великолепия. Стоял, вдыхая жгучий сладкий воздух, привыкая к сверканью.

С березы, белой и яркой, медленно осыпалась, тихо переливалась небесная роса. Сквозь розоватую, усыпанную инеем

вершину, ярко и густо сияла лазурь, сгущавшаяся до черноты.

Тропинка, ведущая от крыльца к калитке, была вся завалена снегом. Колья забора в белых мазках переливались разноцветными искрами, и с них с недовольным стрекотом взлетела сорока. Он следил полет длиннохвостой птицы над деревней с пышными хвостами дымов. Над дорогой, по которой уже прошел трактор, расчистив снег. Над кирпичной, в розовом инее церковью с покосившимися куполами. Над туманом невидимой, текущей под откосом реки, которая не замерзала зимой, кипела невидимыми ключами, текла темно-латунная,

солнечная, в белых берегах. И такая полнота и радость вновь охватили его, что ему захотелось запомнить и описать весь этот чудный морозный день, ниспосланный ему, как драгоценный божественный дар.

Сунул лопату в снег, поддел его. Он был сухой, сыпучий, нетяжелый, с тончайшими пластинами инея. Кинул снег в сторону, расчищая тропинку. Снег просыпался на нетронутые сугробы, и легчайшая пыль заблестела, засверкала на солнце. Он снова поддел лопатой, кинул снег выше. Белесая пыль, наполненная множеством разноцветных снежинок, повисла у лица, оросив его сочной прохладой, и

солнце на мгновение оказалось в радужном тумане, окруженное спектральными кругами. Вновь метнул лопату, теперь уже прямо к солнцу, и воздух вокруг затрепетал, драгоценно задрожал, стоцветно задышал, и сквозь этот мерцающие радужный туман просвечивала деревня, и далекое, выгнутое поле со стогами, и голубоватый лес, и белое размытое светило, окруженное кругами и кольцами радуг, неведомое, восхитительное, спустившееся из бескрайнего Космоса и вставшее над березой.

Это казалось волшебством, которым его наделили. Нежданным чудом, которое было ниспослано

Этим синим морозным утром. Обычной деревянной лопатой он создавал космические видения, лучистые радуги, перламутровые кольца. Преображал Вселенную, зажигая рядом с привычным солнцем другие неведомые астрономам светила, огромные стоцветные фонари, которые горели несколько секунд и гасли, оставляя на лице чудесную прохладу, а в расширенных зрачках — ликование.

Он расчистил тропинку до калитки, и сквозь нее, — туда, где на обочине дороги лежала бахрома сдвинутого трактором снега. Восхищенный, с горящим лицом, проложив тропку в сияющем

спектрами мироздания, вернулся в избу, оставив свой деревянный астрономический инструмент в ледяных снях.

В избе он увидел свою ненаглядную Машу. Убрала постель, поставила на керосинку большую сковороду, куда порезала вчерашнюю вареную картошку. Покрошила лук, полила подсолнечным маслом. В избе пахло керосиновой гарью, вкусным жаревом, сковородка шипела. Рядом с ней, на табурете стоял толстобокий закопченный чайник, из носика курилась струйка пара. Она была обута в маленькие трогательные валенки, делавшие неслышными ее шаги. Толстый

вязанный свитер спускался почти до колен, оставляя незакрытыми темные рейтузы. Светлые волосы были собраны в пук и перевязаны ленточкой, при взгляде на которую у него нежно сжалось сердце. Ее лицо, радостное, свежее, со смеющимися глазами и неисчезнувшим после сна румянцем, обратилось к нему:

— Весь в снегу! Дед Мороз! Чем ты там занимался?

— Зажигал новые светила и звезды, чтобы сегодня ночью в небе горело сто новых лун и планет, и ты могла любоваться.

— Значит, завтрак ты заработал. Вот только заработала ли я?

Каждый раз, накрывая на стол,

она волновалась, удалось ли кушанье из скромных деревенских продуктов. Городская барышня, «мамина дочка», она с трудом осваивала роль деревенской хозяйки. Смотрела тревожно и умоляюще, а он подсмеивался над ее тревогами и радениями. Нахваливал недоваренную картошку и недосоленные щи, восхищался бледно заваренным чаем.

— Что в печи, все на стол мечи! — грозно играя бровями, приказал он, усаживаясь на табуретку, так что слева сквозь оконце была видна чудесная снежная синь с горячим солнцем на кольях забора.

Ели по-деревенски, со сковороды, по очереди цепляя вилками чуть обжаренную картошку, дольки мягкого, разомлевшего лука.

— Ты прекрасно справляешься. Настоящая жена лесника. Вот погоди, на следующий год наготовишь варенья, насолишь грибов, нашинкуешь капусты. Только пальчики облизывай! — вдохновлял он ее.

— Тебе правда нравится? — наивно вопрошала она.

Ему нравилось все, — и как она прибирала старую, оставшуюся от прежней хозяйки избу. Как красиво распределила перед печью разнокалиберные чугунки и горшки,

поставил в уголок ухваты, совки для углей, кочергу, обгорелую лопату, на которой сажали в печь доморощенные хлебы. Его трогало, как она обустривает их гнездо, перебирая в сундуке старушечью рухлядь, блеклые ленты, отсырелые сарафаны, полуистлевшие венчальные наряды. Как вешала на окошки чистые занавески, а в простенках, где висели деревенские фотографии со строгими лицами русских крестьян, — свадьбы, погребения, солдатские проводы, семейные посиделки, — на оставшееся свободное место повесила две своих акварели. Царицынские пруды, где они

познакомились, и пышный букет сирени в стеклянной вазе. Подобно деловитой птице она строила гнездо — для него, для себя, для кого-то еще, кто ему лишь мнился, а ожидался ею и отчетливо виделся. Требовал уюта, тепла, надежного гнездовья.

— Теперь до обеда жить можно, — похлопал он себя по животу. — Пора в лес. Лесники, небось, заждались, — видел, как от его похвалы просияло ее милое родное лицо. И опять упоительная мысль, — он все это непременно опишет. И масляно-черный блеск сковороды с остатками картошки, и красно-белый узор вязаного свитера,

под которым выступают ее небольшие плотные груди, и устремленный на него взгляд ее любимых глаз, в которых, среди блестящих точек, отражается его лицо, оконце, полное синего снега, постеленная на половицах матерчатая цветная дорожка.

Она надела поверх свитера овчинную безрукавку. Натянула шапочку с шерстяным помпоном. Просунула ладони в маленькие пестрые рукавицы. Он облачился в брезентовый плащ с овчиной поддевкой, нахлобучил косматую шапку, взял с печки брезентовые варежки, выложенные изнутри мехом. Кинул в рюкзак «клеймо», и,

забросив полупустой мешок за спину, пропустил Машу из избы в сумрачные сени, в которых одиноко горел ослепительный, пробившийся сквозь щель луч. Они прихватили стоящую у стены пару коротких, широких охотничьих лыж, лакированных, темно-красных, с прилипшими после вчерашней прогулки пластинками прозрачного льда. Вышли на яркий свет.

Солнце стояло в березе, окруженное розоватым сиянием. Ветки поместили светило в круглую, льдистую корзину, вокруг мерцали, парили бесчисленные бесшумные искры. По накатанной дороге пробежала лохматая заиндевелая

собака, роняя с высунутого языка хлопья пара. Протопал сосед в валенках, в рыжих клееных калошах, неся сумку, в которой блеснула горлышком бутылка водки. Неся на плече лыжи, они прошли по слюдяной дороге с ребристым следом гусеничного трактора. Достигли проулка между огородами, уводящего из деревни на близкий холм, где темнели заиндевелые суровые ели. Поставили лыжи на снег, и он помог укрепить в ременных петлях ее осыпанные снежной пудрой валенки. Сам встал на красные широкие лыжи, похожие на заостренные деревянные лодки.

— Буду пробивать лыжню, а ты

ступай за мной след в след, — легко толкнулся, чуть подпрыгнул на красных полозьях, продавливая снег, видя, как сыпучая струйка скользнула по лакированной лыжи. — Побежали! — и вертко, сильно, хлопая красными плоскостями, проваливаясь и яростно выскакивая из глубины, побежал, проминая рыхлую дорогу, зная, что она испуганно, радостно смотрит ему вдогон.

Был полон неукротимых звериных сил. Мышцы его мощно, слажено двигались, толкая ловкое искусное тело по целине, в которую врезались красные острия. Он хлопал ими, выпарывал пышные клинья,

трамбовал плоскостями, прорываясь
сквозь студеный воздух. Чувствовал,
как стало жарко под плащом, как
покрылись испариной работающие
спина и живот. Представлял, как она
любуется им. Хотел выглядеть в ее
глазах неутомимым, стремительным,
привыкшим к этому лихому
звериному бегу. Утомился, встал,
задыхаясь, окруженный паром.
Оглянулся, — она далеко отстала,
топталась, бултыхалась в
разворошенном снегу. Упала,
пыталась подняться. Он не спешил
на помощь. Любовался, любил ее,
такую трогательную, смешную,
неумелую, в узорном свитере, среди
волнистых снегов.

Они преодолели пустое взгорье, приблизились к поросшей лесом горе. У подножья, прорезая снег до зернистой обкатанной гальки, шумно гремел ручей. Брызгал, рокотал, переливался каменистым дном. Свисавшие кусты были в стеклянных сосульках, причудливых наледях, отражали солнце, близкий снег. Запаянные в стекло, зеленели растения. Ветки, колеблемые водой, ударяли одна о другую и звенели.

Они стояли у ручья, и он жадно созерцал и мысленно хотел описать две своих близких красных лыжи, нависшие над бегущей водой. Отяжеленную, в ледяной трубке ветку, которая нагнулась к ручью, и

ее мотало течением. Высокую, над ручьем осину, с зеленым стволом и разъятой пустой вершиной, из которой бил, сиял, сладко кружил голову синий прожектор такой напряженной, завораживающей силы, что душа втягивалась, всасывалась в эту синюю бездну, откуда неслась беззвучная молвь, вещала о чем-то великолепном, ожидающем его сначала в земной жизни, а потом и в жизни небесной.

Она опасливо установила лыжи на обледенелых камнях. Сняла варежку и черпнула из ручья. Поднесла к губам пригоршню, из которой быстро падали яркие капли. Втянула воду, сморщив лоб и изогнув

золотистые брови, — так холодна, до зубной ломоты, была вода. Отряхнула руку, собираясь надеть варежку.

— Набери еще, — попросил он. Она набрала. Он приблизил губы к ее розовой, полной воды ладони, на которой виделся узор пересекающихся линий. Стал пить вкусную, обжигающую воду, и когда пригоршня обмелела, поцеловал розовую холодную глубину ладони, чувствуя, как слабо шевелятся ее замерзшие пальцы. Подумал, что и это опишет в своем рассказе, который рождался тут же, среди озаренных полей.

Их путь следовал на гору, в мелколесье, среди которого

возвышалась огромная могучая ель, с дремучими ветвями, черно-зелеными, в искристом, как сахар, снегу. На заостренной вершине краснели шишки. Длинные, смолистые, ледяные на вид, они дымно горели в синеве, недоступные в своей высоте, и он, поднимаясь в гору, приветствовал знакомое дерево, каждый раз торжественно встречавшее его на пути в лесные уголья. Она тоже смотрела на шишки, волновавшие ее малиново-красными, с фиолетовым отливом, гроздьями.

— Ты знаешь, о чем я подумала, — они остановились среди голубых теней, чтобы она могла отдохнуть. — Когда уезжала к

тебе из Москвы, мои родители ужасались. Куда? К кому? Бросаю училище, уютную квартиру, порываю с друзьями, подругами. Отказываюсь от театров, от выставок, от престижных знакомств. А я иду сейчас, смотрю на эту великолепную ель и думаю, что она прекрасней всех спектаклей и вернисажей, всей праздничной городской иллюминации. Хочу видеть ее каждый день. Хочу запомнить во всей красе, чтобы через много лет, в старости, чтобы ни случилось с нами, какие бы напасти на нас ни свалились, мы бы вспомнили эту нашу прогулку, нашу молодость, волю и это чудесное дерево,

посаженное на горе только для нас с тобой.

Он не ответил, взволнованный ее искренностью, в которой присутствовали наивное восхищение, стремление удержать быстротечный, ускользающе-прекрасный миг, предчувствие неведомых и неизбежных печалей. Но это все после, далеко, не сейчас. А теперь — эта лесистая, с синей тенью гора, дымно-зеленое, великолепное дерево, и шишки на вершине, как огненные лампы.

Они прошли мелколесье, огибая по глубоким сугробам кусты орешника, на которых, отвердевшие от мороза, висели сережки, — первое

дуновение тепла, пар истаивающих
снегов, и они удлиняться, умягчаться,
покроются душистой нежной
пыльцой. Пробрались сквозь заросли
и вышли на простор огромного
волнистого поля. Радостно-
солнечное, необъятно-прекрасное, —
от него захватывало дух и глаза
разбегались, не в силах наглядеться
на озаренные дали. Далеко, повсюду
сверкало. Крутились прозрачные,
полные блеска вихри, солнечные
метели были похожи на веселящихся,
танцующих духов. Стояли стога,
соломенные, отливающие гладким
золотом, клеверные, темно-розовые в
глубине и седые. Наст скользил,
отливал глазурью, иногда

проваливался под лыжей, как хрустящая вафля. Из-под наста торчали черные и высохшие зонтичные цветы, сплошь засахаренные, покрытые хрупким инеем. Иней успел осыпаться, и под мертвым соцветием лежали розовые и зелено-голубые блестки.

Ему нравилось направлять лакированную красную лыжу к корявому стеблю с мертвым, запорошенным соцветием. Лыжа ударяла в стебель, тот хрустел и валился, иней осыпался, и мгновение в воздухе дрожало сверкающее подобье цветка, рассыпалось по насту легчайшим разноцветным порошком.

Поле не было пустым. В нем обитал поднебесный солнечный дух. Переносился из края в край, словно облетал свой необъятный чертог. Прозрачно мчался по далекой дороге крутящимся серебристым столбом. Перелетал к туманному, слабо голубевшему лесу. А то вдруг нападал на них, идущих через поле, охватывал вихрем, посыпал блеском, словно целовал в розовые лица. Уносился прочь, оставляя на щеках тающий, влажный ожег, заставляя изумляться, что это было, кто, стремительный, обжигающий, захватил их в свои объятия, окружил светоносной пургой.

Ему хотелось описать это поле

во всей его необъятной одухотворенной красоте и каждую его малую часть, в которой присутствовал свой знак, своя малая мета. Множество мышинных следов металось от одного корявого стебля к другому. Волнообразной цепочкой бежали лисьи следы с чуть заметными оттисками когтистых звериных лап и слабой тенью внутри каждого отпечатка. Стайка щеглов, черно-желтых, с красными метинами, перелетала среди зонтичных цветов. Верткие птички цеплялись за стебли вниз головами, клевали, сорили семенами, а потом с тихим посвистом снялись и растаяли в блеске.

Поле казалось ему белым чистым листом, на котором кто-то невидимый, наблюдавший за ними из неба, напишет рассказ, — о их молодости, любви, чуде их пребывания в мире, где им уготовано столько обожания и творчества.

— Подожди, — остановил он ее там, где выпуклое поле достигало своей высшей кривизны и переходило в длинный пологий спуск. — Смотри, что будет, — побежал, сильно толкаясь, слыша шипенье наста, видя, как перед лыжами возникают облачка снежной пыли. Убежал далеко, оглянулся на нее, одиноко стоящую. Легкий след тянулся от нее к нему, связывал их

тончайшей тесьмой. Чувствуя, что она смотрит на него с высоты, стал подпрыгивать на лыжах, продавливая тяжестью наст, ломая сухую коросту. Двигался по полю, вытаптывая огромные неровные буквы. Остановился с колотящимся сердцем, оставляя сзади сделанную лыжами надпись, — «Маша». Оглянулся. Видел, она прочитала надпись, машет рукой. Он был рад своей выдумке. Посвятил это поле ей. Начертал на снегах ее любимое имя. Когда снег растает и зазеленеет трава, ее имя прорастет полевыми цветами, — сначала весенними, белыми, потом желтыми, в середине лета — голубыми, а на исходе лета —

пышно-красными.

Они приблизились к лесу, где солнце гасло, и на опушке синела волнистая тень, над которой поднимался голый печальный осинник с редкими елками, и тянулось лесное болото. Осенью, в сумерках, под ненастным дождем, он проходил это болото в пожелтевших, поломанных тростниках, среди которых чернела тяжелая вода, навевавшая печаль и уныние. Словно в болоте обитал лесной томительный дух, распространявший вокруг тоскливую тревогу и страх. И хотелось поскорей миновать заколдованное место, выйти в чистое поле.

Сейчас болото было завалено снегом, с торчащим тростником, рыжим, поломанным буранами, среди которого виднелась сизая наледь. Было колко, льдисто. Хотелось въехать в шуршащие заросли, стукнуть лыжей в ледяной пузырь, ощутить в глубине дикую, незамерзшую воду. Болото и теперь, с корягами и поваленными осинами, тревожило и пугало, будто дух не оставил гиблого места, притаился в путанице мертвых стеблей и веток.

Его слух обостренно ловил чуть слышные звоны и шорохи. Глаза всматривались поверх тростниковых метелок, стараясь распознать присутствие неведомого существа.

Ноздри по-звериному втягивали воздух, ощущая присутствие невидимой жизни.

— Ты что? — спросила она, изумляясь его чуткой стойке. Он не успел ответить. Посреди болота зашелестело, завздыхало. Хрустнули ветки, нагнулись и растворились тростники, и навстречу им вышел лось, огромный, черно-фиолетовый, парной, с тяжелой рогатой башкой, на которой мощно красовалась костяная корона. Выпуклые глаза с черным блеском угрюмо и строго взирали. Горбатый кожаный нос с широкими ноздрями дышал букетами пара. Шерсть на боках была влажной, коричневой, слегка

дымилась, а на загровке и могучейшее казалась седой от инея. Он царственно и строго смотрел на пришельцев, незвано нагрянувших в его сокровенное урочище, где среди тростников темнели сырые проталины его лежек, где снег был пробил сердцевидными копытами, и откуда ночами, под разноцветными раскаленными звездами он тихо дремал, слушая шелест стеблей.

— Боюсь, мне страшно! — воскликнула она. Услышав человеческий голос, зверь повел мохнатыми ушами, вздохнул. Медленно развернулся, переставляя длинные жилистые ноги, и ушел в глубину болота. Все стихло. Дух

показал им свое воплощение и исчез. В одном месте под тяжестью зверя лед треснул, копыто просекло наледь, и на поверхность вытекала и пузырилась черная болотная вода.

Они шли просекой вглубь леса. Прогал, заваленный снегом, был в пятнах солнца, напоминавших желтки. Хотелось подойти к этой глазуни, подцепить руками солнечную метину. От высоких елей на просеку ложились студёные тени, и, попадая в этот густой сладкий воздух, упоительно было вновь подставить лицо горячим лучам. Он шел впереди и словно демонстрировал ей свои владенья, — куст бузины с замороженными

твердыми почками, готовыми при первом тепле взорваться пахучими резными листьями. Прямую гладкоствольную сосну с красной жаркой корой и маленькой дымчатой кроной, — такие в старину шли на мачты фрегатов, — без единой извилины, сплошное стремление ввысь. Мягкие белые кочки, возникшие на месте брусничника, и если разгрести снег, то под слоем мерзлого наста вдруг радостно, ярко возникнут алые листья брусники. Он испытывал гордость, посвящая ее в лесные тайны, раскрывая чудеса своих владений. Это был его лес, его болото, его лось. Он ей дарил эти видения, веря, что они дороги ей, как

и ему.

Она словно угадала его мысли:

— Там, в Москве, каждый день случалось столько событий, — встречи, звонки, маленькие успехи, маленькие огорчения, которые быстро потом забывались. День прошел, и не вспомнишь. А здесь событий совсем мало, но каждое — на всю жизнь. Как мы вчера любовались огромной, над деревней зарей, — ее на всю жизнь запомню. Или как ты позвал меня к колодцу, показал ведро воды, в котором плавал месяц, мы играли отражением месяца, который ударялся о стенки ведра, пили ледяное его отражение. Или этот

лось, — такое не забыть никогда.

— Главное событие — это то, что мы с тобой вместе, любим друг друга, и это никогда не забыть, — когда он говорил это, из-за елок вылетела сойка, высоко и бесшумно полетела над просекой. Он следил за ее полетом, угадывая не взглядом, а обожающим чувством, бирюзовые крылья, розовую грудку, и в груди — крохотное, часто стучащее сердце, птичью жизнь, данную ему, как откровение.

Потянуло сладким дымом, слышались отдаленные удары топора, залиvistый вой бензопилы. Они вышли на лесосеку, овальную поляну, еще недавно поросшую

сквозным березняком. Все березы были срезаны, вокруг пней желтели опилки, снег был утоптан. В разных частях поляны стояли аккуратные дровяные поленицы, круглились срезы. Бригада пильщиков из Мордовии прибирала делянку. Горели костры, съедая сучья. Огонь, бледный на солнце, колыхался, трещал, прожигал снег до земли, коптил белизну. Сизый дым валил к вершинам. Пильщики отдыхали, сидя на бревне. Тут же стояла запряженная в сани лошадь, тянула из соломенного вороха золотистые соломины.

— Эва, лесной объездчик пожаловал, — саркастически

заметил лесник Сашка Одинокоев, заметив его появление. В шапке набекрень, в телогрейке на одной пуговице, в больших стоптанных валенках, он был уже навеселе. Смолил сигарку, щурил бледные синие глаза, и все вызывало в нем иронию. — А я, пымаешь, мужикам говорю, доставай вторую бутылку. А мордва — народ жмотный, каждую бутылку, пымаешь, хитростью из них добывай.

— Чего хитростью, — резонно заметил бригадир, перекладывая большие брезентовые рукавицы поближе к костру. — Сейчас объездчик работу примет, можно вторую, третью.

— До трех умеешь считать, а ртов, пымаешь, восемь, без объездчика. Он много не выпьет, — эти слова не казались обидными, не имели целью умалить чье-либо достоинство. Просто Сашка Одинокоев чувствовал тщету человеческого бытия, презирал деньги, работу, женщин. Был вечно во хмелю, что не мешало ему ловко бегать на лыжах и колотить из разболтанной двустволки зайцев. — Ну че, пымаешь, сидим. Айда замерять.

Маша осталась подле саней, гладила лошадь по большому шелковистому носу, что-то приговаривала. Лошадь, перестав

есть соломучу, понуро слушала. Пильщики с бригадиром, Сашка Одинокое, и он, лесной объездчик, как по старинке звалась его должность, направились к поленицам, принимать работу.

Лесник прикладывал рулетку к березовым поленицам, обмерял высоту, ширину, длину, исчисляя кубатуру. Заносил цифру химическим карандашом в замусоленную тетрадку. Пильщики ревниво следили, будто им было жаль расставаться с ровными, красиво уложенными поленьями, — плодами их тяжких трудов — среди замерзшего леса, где они орудовали бензопилами, уперев шест, толкали

покачнувшееся дерево, с треском, шумом валили в снег, обкалывали тяжелыми топорами сучья, кряжевали длинный ствол, сносили белые, с черными метинами баклажки в аккуратные поленицы. Сашка Одинокоев понимал значение момента. Был строг, сурово нахмурил брови, начальственно оттопырил нижнюю губу.

— Ты мерь-то по-божески, — заискивающе просил бригадир.

— Рулетка меру знает. На ней, пымаешь, литры проставлены, — отвечал лесник.

Это значило, что в итоге обмеров он укажет заниженное число кубометров, что позволит

пильщикам продать неучтенные дрова крестьянам соседней деревни, получив за это дополнительный барыш. За что лесникам, — Сашке Одинокovu, Витьке Ратникову, Сережке Полунину, в чьем квартале была произведена рубка, будет выставлено угощение. Все эти хитрости были известны ему, лесному объездчику. Он смотрел на них сквозь пальцы, прощал лесникам утайку. Шел следом за Одинокovým и лупил, что есть силы, чугунным клеймом в березовые торцы, выбивая на дереве пятиконечную звезду.

Обошли все поленицы. Сосчитали полученную кубатуру. Одинокov произвел нехитрые

арифметические действия, — сложение общей работы и вычитание утаенных дров.

Лесорубы остались довольны, краснолицые, синеглазые, с золотистой щетиной, вся кряжистые, ухватистые мужики, натрудившиеся всласть, наставившие по всей поляне дровяные башни, запалившие сладко пахнущие костры, вокруг которых просел закопченный снег.

— Приглашаю перекусить, — произнес бригадир, отступая с тропки, давая ход Сашке Одинокovu. Тот начальственно зашагал впереди бригады к саням, где Маша все еще вела с лошастью загадочный, только им обоим понятный разговор.

Из-под соломы в санях достали две бутылки водки, магически булькнувшие, породившие этим звуком нетерпение присутствующих. Всех, кроме Сашки Одинокова, который равнодушно, будто и не прозвучал под ухом этот призывный звук, осматривал полированное топорище, ковырял валенком талый снег, отворачиваясь от лесорубов, которые тут же, в санях сооружали нехитрый стол. Достали завернутый в тряпицу брусок сала, розового, с мраморными прожилками мяса, с янтарной задубелой кожицей. Один резал сало, другой кромсал краюху стылого хлеба, третий устанавливал миску соленых огурцов,

пересыпанных крошками льда.

Бригадир крепким желтым зубом сорвал с бутылки алюминиевую пломбу. Его товарищ подставил единственный на всех граненый стакан. Бригадир со священным выражением лица наполнил стакан до верху, так что вздулась поверхность. Бережно протянул Одинокovu. Тот рассеянно осматривал вершины деревьев, костры, лошадиную голову, словно думал далекую от этих мест думу. Взял стакан огромными заскорузлыми пальцами. Закрыв глаза и растворив зев, стал лить густую синеватую от мороза водку, дергая небритым кадыком.

Опустошил стакан, вдруг раскрыл огненно-яркие синие глаза, словно узрел чудо. Страхнул из стакана капли, возвращая его бригадиру. Хватанул лепесток сала, стал ошалело жевать.

Второй стакан достался ему, лесному объездчику, и он не мог отказаться, не мог нарушить священный ритуал. Отпил полстакана, ощутив гортанью густую, как глицерин, сладко-ядовитую водку. Вернул остаток, впился зубами в твердый лепесток сала, обсасывая жилки. Мужики пили по кругу, молча, как глухонемые, передавая друг другу ритуальный стакан, кидая на солому пустые бутылки, сначала

одну, потом другую.

— Барышню свою угости, — строго сказал Одинок.

— Нет, нет, я не стану, — испугалась Маша, прячась за лошадь.

— Больше останется, — нелюбезно отозвался Одинок.

Стояли, жевали хлеб с салом. Молча прислушивались к тому, как водка достигает самых потаенных глубин. И когда дошла, заговорили все разом, громко, не слушая друг друга, оглашая поляну яростным гвалтом. Говорили о делянке, где мало было дровяного леса, а все больше никудышный хворост. О бензопилах, у которых быстро тупились цепи, — хреновая сталь. О

расценках, которые в летошном году были выгоднее, чем в нонешнем. О какой-то бабке по кличке «Девятый Дьявол», которая больно дорого берет за постой.

— Вы, пымаешь, мордва — мужики работающие, а выработка у вас херовая, прямо скажу. В летошный год из Чувашии мужики приезжали, они шибче работали.

— Не говори, чуваша лес валить не могут, только колодцы рыть, — крутил головой бригадир. — Мордва и лес валит, и колодцы роет, и печи кладет.

— Вы, пымаешь, мужики подходящие, но по выработке слабже чувашей.

Он почувствовал, как ярко, стеклянно вспыхнуло у него в голове. Разум, находившийся доселе внутри поляны в окружении деревьев, костров, мужиков, вдруг расширился, и все, что было вовне, стало внутри. И гудящие мужики, и вялый огонь костров, и множество тропок, натоптанных от пенька к пеньку, и стоящая рядом с лошадью Маша. Все поместилось в его необъятном разуме, все это он обнимал и любил. Видел, что она смотрит на него с восхищением. Восхищается его умением общаться с этими деревенскими мужиками, пить вместе с ними водку, говорить на одном с ними грубоватом и

выразительном языке, делить вместе с ними труды и праздники.

Солнце садилось за березы, превращалось из белого, дневного, в малиновое, вечернее, окруженное зеленью небес. В ближней деревне, у бабки «Девятый Дьявол», уже дожидались щи, картошка, стояла на холоде водка. Туда направились захмелевшие пильщики и лесник Одинокое, добирать недопитое. Они же с Машей уселись в сани, уложили на солому лыжи. Один из лесорубов взялся их отвести до дома и попутно заглянуть в магазин, чтобы к «беленькой» добавить «красненького». Дернул вожжи, и сани, разваливая снег, покатились с

просеки на близкую дорогу.

Они полулежали на соломе за спиной возницы, чувствуя касание друг друга. Возница, захмелев, бормотал, принимался петь мордовскую песню, взбадривал лошадь понуканием: «Ну, пошла!» Лошадь бодро бежала, фыркала, дула на обе стороны паром. Набегу приподняла хвост, вываливая на белый снег коричневые, окутанные паром комки. Солнца уже не было видно. Елки стояли густо-синие, тенистые, лишь на вершинах сочно краснели шишки. Было упоительно катиться по лесной знакомой дороге, чувствуя ее близкое живое тело. Неповторимость, драгоценность

длинного дня. Томительная сладость в предчувствии творчества. Оно все откладывалось, накапливая в душе картины и образы, которым предстояло перелиться в рассказ. В этот рассказ перельется проплывающий мимо шатер огромной ели с алыми лампадами шишек. И гладкий, голубоватый блеск дороги, которая кажется стеклянной, светящейся, и на этой бирюзовой дороге от саней остаются два слюдяных мерцающих следа, — две их судьбы, две линии жизни, каждая из которых повторяет малейший изгиб другой. Не исчезнут, когда растают снега, или когда дорога зарастет лесом и когда их уже

не будет на этой прекрасной земле. Где-то, в несказанном краю, все будет голубеть вечерняя лесная дорога, — блещут лошадиные подковы, клубится овчина на полушубке мордвина, и оба они, обернувшись вспять, смотрят на нежные стеклянные струнки, вылетающие из-под скользких полозьев.

Вошли в избу, полную сумерек. Лампочка под низким нитяным абажуром осветила убранство дома, — цветной половик, белую печь с чугунами, шкурку белки, которая колыхнулась от растревоженного воздуха.

— Сейчас разогрею обед, —

сказала она.

— Я не голоден. Сало и хлеб были такими вкусными. Я лучше лягу, вздремну. Встану и печь затоплю.

Бег на лыжах, пьянящий лесной воздух, жаркий стакан водки, — от всего этого чудесно кружилась голова. Уйдя за печку, сбросил одежду и ухнул в холодную, ненагретую глубину постели, мгновенно засыпая, унося в сон радостную мысль: «Она здесь, рядом. Проснусь и увижу ее».

Еще во сне он ощутил, как что-то нежно касается его лица. Так бегают по закрытым векам зайчик света, щекочет губы колеблемая

ветром травинка. Приоткрыл
глаза, — Маша сидела перед ним на
стуле, держала раскрытый,
освещенный лампой альбом,
рисовала карандашом его, спящего.
Поднимала на него глаза, переводила
на лист бумаги, делала несколько
штрихов, опять поднимала. Он
чувствовал эти взгляды, как
невесомые касания, после каждого
из которых он терял бестелесную
часть своего облика, переносимого
на бумагу. Это была магия
позирования, которая всегда его
беспокоила. Он уклонялся от ее
настойчивых просьб посидеть часок,
чтобы она могла нарисовать его
портрет. Теперь она застигла его

спящим, пользовалась его
неподвижностью.

— Не притворяйся, вижу, что не спишь. Еще потерпи минутку, — она торопилась закончить эскиз.

— Такое ощущение, что я — блюдечко с вареньем, а ты вычерпываешь меня чайной ложкой.

— Должна же я сделать портрет для твоей будущей книги. У меня нарисована наша изба, деревня, зимний лес, сорока на заборе, собака на дороге, старая церковь, лыжи, ведра, чугушки, шкурка белки под потолком, а твоего портрета все нет.

— Как и самой книги.

— Она непременно появится, и в ней будут мои рисунки. Ты

напишешь рассказ или повесть про наше житье-бытье, а я это житье-бытье нарисую. Как ты назовешь свою книгу?

— Однажды я видел русский печной изразец двухсотлетней давности. На белом кафеле синей глазурью были изображены поля, деревни, дорога, по которой идет отрок в шляпе, несет на плече тросточку и на ней кулек. И внизу надпись: «Иду в путь мой». Так и назову мою книгу.

— А меня ты возьмешь в свой путь?

— Уже взял. Ты же видишь, идем.

Он выбрался из-под одеяла,

прервав ее рисование. В избе было холодно. За день тепло источилось через щели в половицах и трещины в старых венцах. Предстояло топить печь, чтобы к ночи стало сухо и душно и до утра от печки исходило ароматное живое тепло.

Он выскочил в сени, чувствуя, как холод схватил его за плечи. Не зажигая свет, в сарае нащупал поленицу и, нагрузив себя колотыми, с острыми гранями, поленьями, торопливо вернулся в избу. Обрушил поленья на железный лист перед печью.

— Посмотри, — воскликнула она, наклоняясь над ворохом дров. К одному из поленьев, чудом уцелев,

прицепилась спящая бабочка. Еще осенью, в преддверии холодов и буранов, крапивница влетела в сарай, пронесла своих хрупкие крылья в тесную щель поленицы и замерла там, стиснутая морозами, превратившись в черный муаровый треугольник с омертвелыми лапками. — Ты мог ее раздавить.

Осторожно отцепила бабочку от полена. Рассматривала ее на ладони. Бережно перенесла к сундуку и сдула бабочку на дощатую крышку.

Топором он отколупнул и отодрал кусок бересты. Сунул в печь, окружив бересту твердыми, в кристалликах инея дровами. Поджег бересту, которая затрещала, стала

сворачиваться, покрываясь чадным огнем, источая дегтярный, вкусный дым. Поленья неохотно принимались гореть. Он подкладывал свитки бересты, видя свои протянутые в печь, освещенные руки. Дрова загорелись, жарко, пышно, озаряя кирпичный, черный от копоти под. Он поправлял поленья кочергой, радуясь малиновым отсветам на полу и на стенах.

В этот час во многих избах топили печи. Незанавешенные окна были красными от пылающих печей. Заслоня огонь, колыхались тени людей. Ему нравилось священнодействовать у печи. Нравилось чувствовать себя

мужчиной, хозяином, хранителем
очага, возжигающим священный
огонь. Она заворожено смотрела на
пламя. Ее лицо утончилось. Глаза не
мигали. В них дрожали красные
блески. Губы слегка шевелились,
словно она творила заговор,
произносила заклинания. И эти
заклинания были все о том же, —
пусть дух огня и лесного дерева
сбережет их любовь. Огонь соединял
их в нераздельное целое, как днем
соединяла их студеная вода ручья,
волшебная поднебесная ель,
чудесное бескрайнее поле, могучий
лось — дух священных болот, — и
две драгоценных паутинки,
излетающие из-под санных полозьев.

Печь дышала жаром, а в углах избы оставался холод, и оконца были затянуты сизой наледью. Но уже начиналось кружение воздушных масс, и беличья шкурка под потолком раскачивала фиолетовым хвостом.

— Пусть протопится печь, а мы погуляем, — предложил он, набрасывая шубу. Кинул в полукруглый, пылающий зев еще несколько поленьев. Прихватил в сенях дровяные санки, оставшиеся от прежних хозяев. Вместе вышли на хрустящее, как ксилофон, крыльцо. Воздух был жгучий, как нашатырь. Небо, высокое, звездное, переливалось, дрожало, разноцветно вспыхивало. По нему пролетала тень

дыма, и казалось, звезды заслоняют крылья огромной бесшумной птицы. Береза, полная звезд, казалась незажженной люстрой, в которой слабо трепещут розовые, зеленые, голубые хрусталики.

— Давай прокатимся на саночках кленовых, — он приобнял ее, пропуская в калитку, слыша, как санки, задев за забор, ударили, словно звонкая клавиша.

Дорога, тускло-сизая, мглистая, накатанная за день множеством колес и полозьев, уходила в гору, за деревню, в открытое поле, откуда дул ночной неприветливый ветер. Уже прошел, похрустывая, последний вечерний автобус, ледяной, с

печальным желтым огнем. Дорога была пустой. Они шагали в гору, глядя, как в одних домах пышут красные зевы горящих печей, в других скромно теплятся розовые и оранжевые абажуры, а в третьих, с уснувшими хозяевами, черно-фиолетовые окна отражают ночь.

Они поднимались по дороге, и санки, из гнutoго тяжелого дуба, с железными полозьями, тянули назад, позвякивали на наледях.

— Только ты не разгоняйся, как в прошлый раз. Мне было страшно, — просила она, оглядываясь вниз, под гору, где осталась деревня.

— Садись и молись, — сказал

он, устанавливая санки на дороге загнутыми полозьями вниз к деревне.

— Саночки, миленькие, добренькие, не опрокиньтесь, не сбросьте нас в сугроб, — она усаживалась, боязливо упиралась валенками в дорогу, чувствуя, как неустойчиво играют под нею санки. — Ты крепче меня держи.

Он уселся сзади, прижал ее к груди. Натянул заледенелую веревку. Несколько раз толкнулся валенками, направляя санки по накатанной дороге, слыша, как они начинают стучать на ледышках, убыстряют бег, рокочут и гремят от скорости.

— Боюсь, — ахнула она, откидываясь ему на грудь, и он сжал

ее в своих объятьях.

Сани мчались, звеня и подскакивая. Было страшно и сладостно. Ветер резал лицо. Звезды колыхнулись, превратились в длинные искры, словно их сметало с небес. Они мчались, охваченные небесным огнем, высекая изо льда голубое и зеленое пламя. Казалось, в сани запряжен неистовый, невидимый дух, который мчит их с земли, возносит в небо к близким, ослепительным звездам. Полозья толкнулись о лед, перестали звенеть, и они вознеслись над горой, над спящей деревней, над старой, покосившейся колокольней, над пустынным полем, где мерцало

начертанное любимое имя, над болотом, где в сухих тростниках спал огромный таинственный зверь, над поляной, истоптанной лесорубами. И обнимая ее в небесах, среди пылающих звезд, он любил ее, ликовал, благодарил Кого-то за дарованное ему чудо.

Сани скатились с горы, постукивая и скрипя остановились на дороге почти у самой калитки. Вошли в дом, оставив в сенях свой волшебный летательный аппарат. В избе по стенам и потолку скользили красные тени, в печи догорали дрова, осыпали угли, дышали сухим звенящим теплом. Он скинул шубу и ушанку, стал молча ее раздевать, —

снял шерстяную шапочку, полную снежной пыли. Тулупчик с курчавым воротником, в котором еще держался студёный воздух. Длинный просторный свитер, под которым дышали ее взволнованные груди. Помог ей скинуть маленькие ладные валенки. Она молчала, на него не смотрела, и он торопливо совлек с нее рубашку, подняв легкий ворох почти под потолок с черными сучками, а потом мягко кинув его на стул. Она стояла босая на пестром половике. Свет из печки летал по ней, озарял всю от узких чутких ступней до рассыпанных волос, словно кто-то прозрачный трепетал красными крыльями, припадал к ней,

целовал лицо, небольшие, с заостренными сосками груди, золотистый клинышек внизу живота, круглые стиснутые колени. Он боялся смотреть на нее, боялся этой яви, казавшейся неправдоподобной. Она была доступна, принадлежала ему нераздельно, находилась в его доме, ее целовал принадлежащий ему огонь, ее узкие чудесные стопы стояли на матерчатом, принадлежащем ему половике, над ее головой темнели принадлежащие ему, похожие на чернослив сучки, и он боялся воспользоваться этим даром, пугался этой ослепительной наготы, этой ошеломляющей доступности.

— Замерзнешь, иди туда, — приоткрыл он занавеску, пуская ее за перегородку, где стояла кровать. Она скользнула во тьму, и он успел рассмотреть ее маленькую, исчезающую за занавеской пятку.

Разделся и стоял перед печью, чувствуя, как жарко давит ему на грудь огонь, как лижет живот и колени. Их разделяла зыбкая занавеска, хрупкая перегородка, за которой притаилась она, и он брег эти последние мгновения, отделявшие восхитительный прожитой день от бесконечной счастливой ночи. Шагнул, выходя из света. Оглянулся на пустой половик, где только что находились его

ступни, а теперь танцевали красные отсветы.

Под одеялом он обнимал ее острые плечи, гладил маленькие твердые соски, касался ладонью живота, опущенного снизу шелковым ворсом. Ладони скользили по ее прохладным бедрам, по не успевшим согреться коленям. Она не откликалась, испуганно замерла, словно ее, заколдованную, положили рядом с ним, и ничто не заставит ее очнуться. Прикасался губами к ее неподвижному телу, словно искал на нем заповедное место, где бился таинственный ключик жизни, прикосновение к которому может ее разбудить. Целовал ей глаза и воздух

вокруг ее зарытых глаз. Целовал шею, стремясь отыскать пульсирующую робкую жилку. Целовал нежную выемку ключицы, где всегда бился теплый живой родничок. Она пробуждалась, словно он вдыхал в нее жизнь. Чары, околдовавшие ее, отступали. Увеличились и заострились соски, как набухшие почки. Слабо дрогнул от его прикосновений живот. Сжатые колени распались. Она открыла глаза, ярко блеснувшие в темноте, и произнесла:

— Поцелуй меня сильно...

Больше не было в нем робости, береженья, а нахлынула неистовая душная сила, которая огромно

расширила сердце, накалила напряженные неуправляемые мышцы. Опрокинула на нее, и он утопил ее в мягкой глубине сенника, где зазвенели, зашелестели травяные сухие ворохи.

— Люблю тебя...

Слепо, страстно он врывался в нее, хотел исчезнуть в ней, перестать быть собой, перенести в нее свою раскаленную плоть, расплавиться в ней и пропасть. В закрытых глазах под веками трепетали огромные чаши света. В них мелькали виденья прожитого дня, будто кто-то выхватывал их из исчезнувшего недавнего времени, продлевал их жизнь, возвращал на мгновение.

Остроконечные красные лыжи
вонзались в ослепительный снег,
ломали сухой цветок, и в воздухе
переливалось облачко инея,
повторявшее очертанье соцветья.
«Люблю!..»

Вода в ручье с ледяной синевой
переливалась, дрожала, стеклянно
омывая донный зеленый камень.
«Люблю!..»

Лед пробит сердцевидным
лосиным копытом, и булькая,
пузырясь, вытекает на свет черная
болотная вода. «Люблю!..»

Вялое пламя костра, и в огне
изгибается, закипает соком ветка
лесной бузины, и почки, пред тем,
как сгореть, набухают и лопаются,

выпуская резные листья. «Люблю!..»

Наслаждение, которое он испытывал, было слепотой, где исчезала реальность, и возникало безмерное, падающее вниз пространство, куда они летели, превращаясь друг в друга, меняясь лицами, теряя свои очертания. Становились безымянной, безликой вспышкой света, какую оставляет на небе сгорающий метеор, вовлекая в земную жизнь образы иных миров. Под его стиснутыми веками непроизвольно возникали изображения прошлого, будто он пролетал над своей прожитой жизнью, от младенчества, и раньше, где его зародившаяся жизнь была жизнью

его родителей, прабабок, дедов, бесконечно удалявшейся в прошлое родни.

Доска школьной парты, испещренная отливающими бронзой каракулями, которые он наносил, такая перо в фарфоровую чернильницу. Темный уголок двора с тенистой крапивой, в корнях которой волшебным переливается черепок разбитой чашки. Чудесная веранда просторного дома, где он никогда не был, с гнутой качалкой, высоким стройным буфетом, за стеклами бело-розовые горы с далеким голубым ледником. Бородатые, родные лица, старомодные сюртуки, бронзовые чиновничьи пуговицы с

двуглавым орлом.

Эти видения таинственно врывались в его восхищенный, обезумевший от страсти рассудок, словно нарушались законы времени, и он двигался вспять по тонкой струне, той, что истекала из-под санного полоза. Ему была страшна, удивительна возможность ей обладать. Сжимать до боли в объятьях. Извлекать из нее вздох, похожий на всхлип. Чувствовать, как она кусает его губы. Как он проникает в ее лоно, укрываясь в ней, становясь ею. Смотрит из нее изумленными, восторженными глазами, но видит ее же, — близкое, раскаленное, окруженное тенями

лицо, край шелестящей сенной подушки.

Взрывы страсти были похожи на вспышки огненной плазмы, что толкают ракету, сообщая ей немыслимую стремительность. Эти взрывы со скоростью света уносили его туда, где он еще не был, и где предстояло ему побывать. В своем прозрении он начинал узнавать картины, которые не мог объяснить, но с которыми ему в будущем придется столкнуться.

Азиатский город с лепными строениями, кишаций рынками, с гигантским, похожим на хвощ минаретом. На проезжую улицу выносят и стелют ковры, —

шерстяной, домотканый орнамент,
темно-багровые ромбы, кресты.
Человек в шароварах, в блеклой
накидке раскатывает корявый черно-
красный рулон. Вся улица в
восточных коврах. И по этим
гофрированным, неровным узорам,
распугивая кричащих людей,
проносятся толстые, с грубым
протектором колеса, мелькает
зеленая, в грязных потеках броня.

Шелестящие плюмажи
тропических пальм, желтая туча,
словно облако жаркого пара. В
пальмах, зарывшись носом в
красноватую землю, сухо светясь
фюзеляжем, торчит самолет, —
обломанные крылья, мятые лепестки

пропеллеров. По дороге идет пехота, изможденные, азиатские лица, шарканье сотен ног, у командира под шлемом измызганный бинт с оранжевым грязным пятном.

Изумрудная, пронизанная солнцем вода, серая сталь корабля, шелестящая пена с легчайшей радугой брызг. Уступы брони, стволы тяжелых орудий, вращенье сетчатых, воздетых к небу антенн. Вдалеке, как туманная, осевшая на море туча, — громада авианосца, похожего на тающий айсберг. Грохочущая, рвущая небо струя промчавшегося самолета.

Его страсть к любимой была чудом, отрицающим законы бытия, переносящим его в иные измерения,

где он проносился со скоростью света по огромным орбитам, созерцал иные миры, озарялся сиянием космических радуг и возвращался в тесную горенку, на звенящий сенник, к ее неразличимо-близкому, обожаемому лицу.

— Люблю!.. — много раз, в ее неслышащее горячее ухо вдыхал он не слово, а свою неистовую страсть. И все смещалось, рушилось, менялась симметрия мира. Все выстраивалось и вращалось вокруг сверкающего столпа. Он проносился как ливень сквозь ее отрешенное, похожее на серебряную маску лицо, сквозь ее жаркое темное лоно. Был молнией, жгутом огня, проливался в

ее бездонную глубину, оттуда открывались бесконечные пути, вставали ночные солнца, и он, населяя их бессчетными жизнями, становился подобием Бога.

Ударился о невидимую преграду, чувствуя, как бурно опустошается душа, покидает гибнущую плоть вместе с разноцветными зрелищами. Недвижный, бездыханный, лежал в темных волнах безымянного прилива, который колыхал его опустошенное, без чувств и без мыслей, тело.

— Ты где? — тихо спросила она, и он почувствовал пальцы на своем лбу. Не было сил отвечать. Он был неживой, бесчувственный, как

выброшенная из глубин океана, погибшая в шторме рыба, что вяло колышется в ночном прибое, среди разорванных водорослей. — Ты где, милый?

Ее пальцы тихонько скользили по его волосам, касались закрытых век, стиснутых губ, шелестели у самых ушей. Теперь она оживляла его, возвращала жизненную прану, которую он вдохнул в нее, перед тем, как погибнуть. Ее волшебством душа, покинувшая тело, возвращалась в свою обитель. Чувства вновь обретались, — так слетаются на ветку испуганные, отлетевшие было птицы. Вначале вернулся слух, — он слышал, как за перегородкой, в печи

с нежным шелестом осыпаются угольки, а совсем близко, в придавленной их головами подушке позванивают сухие травинки, стебли клевера и тимopheевки. Затем он стал чувствовать запахи, — сладковатого березового дыма, нагретых бревенчатых стен, и рядом — головокружительные волны ее живых восхитительных запахов, которое источало ее взволнованное горячее тело. Потом постепенно вернулось зрение, — чуть приоткрыл веки и увидел наверху, где перегородка не доставала потолка, длинную, трепещущую, малиновую полосу, — меркнувший свет прогоравшей печи. Чуть повел зрачками, — шкурка

белки с пушистым, аметистового цвета хвостом, вращалась на нитке, овеваемая ветерками, а вокруг в потолке, неподвижные, темные, как глаза у иконописных святых, чернели сучки.

— Где ты был? — спросила она.

— В каких-то волшебных странах, в несуществующих пространствах. В которых мне еще предстоит побывать при жизни, или переселиться в них после смерти.

— Я была там с тобой?

— Не знаю. Мне казалось, что перед тем, как туда попасть, мы слились, превратились в какое-то диво, которому были открыты эти миры.

— Ты можешь их описать?

— От них осталась разноцветная тень. Даже не тень, а тень тени. Даже и этого не осталось, — только чувство, что я там побывал, но что это было, не знаю.

— Может быть, Рай?

— Рай — это здесь, в нашей избе. А то — выше Рая. Ему нет описания.

— Мы с тобой вместе совсем недолго, меньше года. А кажется, прожита огромная жизнь, где каждая малость превращается в драгоценное чудо. Так будет всю жизнь, до смерти? Ты чувствуешь, что все драгоценно?

— Да.

— Помнишь, какая была погода, когда я приехала в твою деревню, чтобы нарисовать последний снег? Какие сырые, сочные, светящиеся облака летели по небу, а на черной земле лежали последние снежные гривы, и если сунуть в них руку, то почувствуешь тысячи мокрых колючих зерен, и каждое зерно излучает крохотную вспышку?

— Помню.

— А помнишь, как ты подошел к моему мольберту, заглянул, а я испугалась, — это было так неожиданно, ты был такой большой, в сапогах, с ружьем, как из тургеневских «Записок охотника». И

сказал: «Мне кажется, снег чуть-чуть голубее».

— Он был и впрямь голубой.

— А помнишь, как мы спустились ночью к реке, ты укрепил на березовом полене две горящих свечи и пустил по воде? Мы смотрели, как уплывают свечи, окруженные туманными нимбами, и я думала, — это мы с тобой, плывем в неведомом темном потоке, исчезаем за поворотом реки?

— Свечей уже не было видно, а воздух за поворотом слегка светился.

— Помнишь, как к тебе в гости пришел лесник Сергей Полунин, достал из кармана кулек конфет, из-за пазухи вынул бутылку рябиновки,

и мы пировали, а потом играли в карты?

— Ты огорчалась, когда проигрывала, а Полунин радовался, как ребенок, и все приговаривал: «Бери крести, ступай жених к невесте».

— А наша первая ночь, когда шел весенний дождь, и мы не спали, и я смотрела на тебя и изумлялась: «Боже, неужели это возможно?» Когда стало светать, мы вышли из дома, спустились к реке. Заря бесшумная, желто-малиновая. Река, как латунь. Вдоль реки, в предрассветных тенях, белыми купами цветет черемуха. И по всей реке, далеко, близко, поют соловьи.

— Помню зарю, белые купы, сладкий холодный ветер, и оглушительные, из каждого цветущего дерева, соловьиные трели.

— Для чего нам все это дали? Для чего показали? Чтобы потом отобрать? Разлучить, увести в разные жизни, чтобы мы их проживали отдельно?

— Что может нас разлучить? Война, чума, злые наветы? Мы с тобой неразлучны.

— Иногда мне кажется, что наш Рай, наша любовь не имеют конца. Мы всегда будем молодые, красивые. Вокруг нас будут чудесные снега, синие леса, открытые свету поля, по которым мы будем ходить в

солнечных метелях или в теплых дождях, и всегда над нами будет мягко кружиться этот чудный беличий хвост, и в печи будут звенеть угольки. Но иногда мне чудится, что нас подстерегает что-то ужасное. Еще далеко, за всеми горизонтами, но оттуда оно уже нас углядело, взяло на прицел, протягивает невидимые жадные щупальца, и мы обречены.

Он не ответил. Ему мерещились те же страхи. Они находятся в прозрачном облаке света, как внутри одуванчика. А вокруг, очень близко, за тонкой преградой колышутся страшные тени, топчут жуткие уроды, кошмарные чудища, отвратительные мерзкие рожи.

Жестоки, коварны, одержимы
безумьем. Рвутся к ним, тянут цепкие
кожаные лапы, ударяют в мембрану,
он видит, как выгибается от ударов
непрочная стенка. Прорвется, и все
ненасытное толпище бросится и
станет терзать. В этом неистовом
сонмище чудились какие-то мундиры
чиновников, позументы и усатые
мышинные рыльца, загнутые птичьи
носы. Какие-то голые ведьмы в
чешуе и седых волосах. Какие-то
колдуны и шаманы, дудящие в дудки.
Скачут на сатанинском балу, корчат
рожи, творят непристойности. А они
вдвоем окружены прозрачным
сиянием, опушены одуванчиком
света, беззащитные, хрупкие.

— Есть эта жизнь, которой нас одарили, наш Рай, наша любовь. А есть другая жизнь, где-то рядом, где столько зла и опасностей. Одно неосторожное движение, неверный жест или слово, и мы потеряем наш Рай. Будем выброшены в грозное бытие, где нас разлучат, а порознь нам и не выжить. Я не знаю, как тебя охранить. Только нежностью и любовью.

Он увидел, как по малиновой полосе, у потолка мелькнула стремительная тень. Пропала. Через мгновение вновь пронеслась вдоль бахромы света. Что-то живое, бесшумное, словно чистый дух, носилось по избе за перегородкой, и

он не мог понять, чем оно было. Некоторое время малиновая щель слабо трепетала, пропуская за перегородку последние отсветы тлеющей груды углей. Вновь тень, быстрая, как призрак, мелькнула у потолка. На доску, у самой перегородки, села бабочка. Раскрыла свежие, красно-коричневые, в черных и белых метинах крылья, замерла, словно божественное видение. В зимней избе, среди трескучих морозов, непроглядных снегов, отогрелось в тепле, ожила и теперь летала по дому.

— Видишь? — спросил он чуть слышно.

— Вижу, — зачарованно

смотрела она.

— Это ангел. Но не тот, с огнедышащим мечем, изгоняющий из Рая, а Хранитель, Ангел Милый, что сберегает наш хрупкий Рай.

Бабочка исчезла. Замерла где-то в теплом углу, среди мягкой тьмы, когда прогорели в печи последние угли. Он засыпал, обнимая под одеялом свою милую, и она сладко, сонно шевельнулась в его объятьях.

Он проснулся среди ночи, словно почувствовал слабый толчок. Было темно, тепло. Маша тихо дышала. В избе, за перегородкой, за бревенчатой стеной, над потолком и заваленной снегом крышей что-то творилось, свершалось. Наполняло

мир безымянной тревогой. Он тихо поднялся, сунул босые ноги в валенки, набросил на голые плечи шубу, нахлобучил шапку и из теплой избы, сквозь ледяные сени, вышел наружу.

И ахнул. Все вокруг, — и земля, и небо, — было пронизано светящимися потоками, разноцветными частицами света. Будто в атмосферу влетала микроскопическая пыльца, возгоралась, превращалась в цветные ливни, вспыхивающие букеты, фантастические цветы. Береза, огромная и просторная, была стеклянной. По ее прозрачным стволам от корней к вершине

струились волны света. Розовые, синие, зеленые, они проникали в крону. Каждая веточка нежно вспыхивала, усыпанная крохотными огоньками, будто на дерево уселись мириады светляков, — мигали, перемещались, наполняли крону таинственным мерцанием.

Высоко над березой стояла луна, не золотая, а красная, с малиновой сердцевинкой и нежно-голубыми краями. Вокруг нее расширялись радуги, как если бы она трепетала и волновала пространство. Рядом светил полумесяц, изумрудно-зеленый, как лист с тончайшими остриями, почти окружавшими звезду, похожую на синий алмаз.

Несколько солнц с фантастическими лепестками и протуберанцами, в багровых коронах, в жгучем золотом оперении, рассылали вокруг завихрения, огненные вихри, которые отрывались от светил и неслись в мироздание, как летучее пламя. В стороне недвижно застыла комета, серебряная, чистая, с длинным лучистым хвостом, который, загибаясь, доставал до березы, словно запутался в хрупких ветвях. Все небо волновалось, колыхалось, словно полог, который кто-то держал за углы и несильно встряхивал. Волны разноцветного света катились по небу, опадая к разноцветным снегам.

Это было фантастично и дивно. Казалось, в мир заброшены таинственные семена, которые пустились в рост. Мир был окраплен волшебной живительной силой, преображавшей его. Что-то близилоь, было готово явиться, возвещало о своем приближении. С восторгом и испугом он наблюдал знамение небес. Явилась догадка, что утром деревянной лопатой он бросал искрящийся свет, зажигая дневные светила, и теперь они были явлены ему в ночном небе. Казалось, Вселенная славит кого-то, кто должен явиться в мир, и этот «кто-то» был близок ему, был его порождением.

Сверкнуло

ослепительное прозрение, что этот «кто-то» есть его сын, которого он зачал сегодня. Она, его любимая, несет в своем чреве плод, и небеса ликуют, предвещают его появление.

Деревня была все та же, и неузнаваема. Дом напротив, тракториста Васьки Алпатова, который спал мертвым сном, после того, как весь день свозил с полей ледяные стога, и не знает, что крыша его избы золотая, как буддийская пагода, а окна в доме переливаются, как витражи готического собора. Рядом дом учительницы Анны Петровны, чье оконце светилося до поздней ночи и недавно погасло, и сугроб у ее крыльца кажется грудой

сапфиров, из которой исходит в небо тихое зарево. Черная колокольня с проржавелым железом и кривым крестом казалась покрытой алыми лепестками роз, и крест горел, как новый.

Дорога казалась застывшим водопадом, в котором световоды струили голубоватые потоки. Кто-то спускался с горы. Он смотрел, как спускается неведомый путник, и сердце его ликовало, исполненное любви и всеведения. Он знал, что путник идет к нему, несет ему чудную весть. Человек приближался, и радость от его приближения была непомерной. Это был святой старец, в темной ряске, в поношенной мятой

скуфейке. Борода его развевалась, глаза сияли, он улыбался. В одной руке у него был страннический посох, в другой он держал разноцветный фонарь, в котором горела свеча, рассылая во все стороны цветные лучи.

Небо волновалось, летели цветные корпускулы. Казалось, на березу уселась огромная радужная бабочка. Луны, светила и солнца были нарисованы божественной кистью на ее распростертых крыльях.

Старец с ним поравнялся, ласково посмотрел. Не сказал ни слова, только качнул фонарем, приглашая за собой. Он заторопился,

заскользил по дороге. Старец свернул в проулок мимо дома кузнеца Агапитова, вдоль избы сельсовета, за которым стояла засыпанная снегом беседка и начинался откос.

Под откосом было бело, искрились снега, в которых, черно-лиловая, текла река. Старец оглянулся, посвятил резным фонарем и шагнул под откос. Бесшумно поплыл по воздуху, как космонавт, оставляя радужный след. Он поспешил за старцем, любуясь, как тот плывет в невесомости, перевортывается фонарем, улыбается, манит. Шагнул под откос и рухнул. Полетел в крошечную тьму, осыпая лавины снега, чувствуя, как

плотные массы набиваются в рот и глаза, гасят кометы и луны, и вокруг смыкается темная, поглотившая его буря. Крикнул, зовя на помощь, и очнулся.

Стрижайло сидел в кресле бомбардировщика «Б-29», в сосновой роще, среди близких ночных деревьев. Кабина пилотов была пустой. Окруженное стволами сосен, светилось алюминиевое крыло. Вдалеке сквозь деревья, виднелся озаренный дворец, его новая вотчина.

Все могло показаться сном, — путешествие на остров, чудесный старец, райская деревня, — все походило на наваждение, если бы ни

защемленный дверью пучок голубых
цветов, — тех, что сочно цвели вдоль
озера, у которого сел самолет.

глава тридцать пятая

Он не знал, чем это было, какое смещение случилось с его рассудком, что он выпал из реальной действительности, переместился в «иную жизнь», а потом вернулся обратно. Зрелища, лица, события, которыми он был окружен в «иной жизни», забылись, как забываются сновидения. Но они давали знать о себе таинственной нежностью, сладким влечением и печалью, связанной с их исчезновением. Пока он перемещался из одного мира в другой, чтобы прожить в нем несколько восхитительных дней, а потом вернулся обратно, он понял,

что на это ему потребовалось целых четыре месяца. В Москве стоял конец лета с ровной сухой жарой, воздух был фиолетовый, с первыми признаками едва заметной желтизны, и люди на тротуарах и в машинах, измученные душным городским летом, казались воодушевленными, — готовились к отпускам, кто на подмосковной даче, кто в турецкой Анталии, а кто на великолепных курортах Таиланда.

То, что он побывал в «иной жизни», не вызывало сомнения. Он был исцелен, демоны его покинули, его дух был свободен и искал возвышенных занятий и добродетельных поступков.

Раздвоение бытия на два мира, на две несовместимых жизни не казалось трагичным. Ибо он верил, что когда-нибудь обе жизни сольются. Та, потаенная, исполненная чистейшей красоты и благоговения, привнесет в эту жизнь высший смысл и святость, что освободили его от страшного недуга.

Свое исцеление он не выстрадал, не добился тяжкими духовными трудами, стоянием на молитвах, совершением непосильных монашеских подвигов. Оно было дано ему, как дар, как ниспосланная благодать. Но это не освобождало его от раскаяния, от сознания совершенных грехов. Вся его прежняя

жизнь была грехом, злодеянием, причинила страдание множеству людей. И этот грех требовал искупления, искоренения порочных остатков, сохранившихся в его жизненном укладе.

Он начал с того, что решил разрушить свой «Фонд эффективных стратегий» и главное его детище «Мобил», — банк данных о множестве видных персон, их слабостях, свойствах характера, порочных наклонностях, уязвимых привычках, что давало возможность воздействовать на них, подчинять своей воле, причинять зло, а если надо, то и уничтожать.

Он приехал в особняк, где

размещался «Фонд» и, прихватив молоток, взбежал по лестнице мимо изумленных охранников, не видевших его несколько месяцев. В отдельной комнате, где когда-то размещался барский кабинет, и хлебосольный вельможа принимал у себя цвет Москвы, молодого Пушкина, снискавшего знаменитость Грибоедова, — теперь располагался «суперкомпьютер». В нем хранился электронный образ современного общества, — банки, корпорации, преступные синдикаты, тайные кружки, кремлевские интриги и заговоры, дворцовые перевороты и политические убийства.

Стрижайло стоял перед

белоснежным компьютером, в чьем черепе скрывался злокозненный, исполненный чудовищных замыслов мозг. Размахнулся молотком и ударил в череп. Черное железо молотка раскроило кость, озарилось фиолетовой вспышкой, проникло в чуткую мякоть, где стали метаться бесшумные разряды, как в теле электрического ската. А когда вырвал молоток из пролома, оттуда полетели темные смерчи, бессчетные духи, омерзительные и ужасные твари. Полуптицы-полунасекомые с перепончатыми трескучими крыльями, заостренными клювами и колючими усиками, с ядовитыми жалами и отравленными шипами.

Пернатые и хитиновые, отливая металлическим блеском, они были похожи на стрекочущие механизмы, встреча с которыми грозила немедленной смертью. Так вылетают из трухлявого пня крылатые муравьи. Так покидают разворошенное гнездо разъяренные осы. Так вырываются из старой церкви заселившие ее нетопыри, когда священник служит очистительный молебен и кладет крестное знамение.

Мерзкие чудища, треща перепонками, шумным роем заметались по комнате, заставив Стрижайло присесть и сжаться, чтобы не быть изжальеным. Обнаружили открытую форточку и

темной верещащей струей устремились на улицу. Стрижайло смотрел им вслед. Видел, как они сворачиваются в спираль, вытягиваются в дымный шлейф. По улице проезжал огромный лакированный «лендкрузер», принадлежавший министру здравоохранения Зурабову. Духи погнались за ним, проникли внутрь, скрылись под лакированной оболочкой. Джип стал раздуваться, стал огромным, как дом. На нем дико засверкала «мигалка», он рванулся, взревел сиреной и умчался, чтобы фигурировать в вечерней хронике самых страшных дорожных аварий.

После всего случившегося тихо,

без всякого скандала, особняк покинули обитавшие в нем звездочеты, маги, африканские колдуны, эвенкийские шаманки, отравители колодцев, насылатели болезней, гадатели по облакам. Почувствовав, что в результате разрушения «Мобила» исчезли базы данных, они обыденно, шаркая чувяками, запахивая полы домашних халатов, ушли с насиженного места, оставив слегка загаженные помещения, номер «Коммерсанта» за 13 марта 2004 года и лежащий на нем презерватив, абсолютно новенький, ненадеванный.

Предстояло еще одно действие, которое он вынашивал в себе и

лелеял. Он пригласил своего адвоката и попросил переоформить права собственности на принадлежащий ему дворец, прежнюю вотчину Маковского, чтобы собственником стал приют беспризорных детей, любой, по усмотрению адвоката. Адвокат принялся, было, деликатно его отговаривать, но Стрижайло резко его оборвал, сказав, что платит ему деньги за советы юридического, а не морального свойства. Смягчившись, попросил его за дополнительную плату заняться подбором воспитателей и учителей для сирот, чтобы опытные педагоги учили детей рисованию, ваянию, читали самые лучшие детские книги,

вели уроки музыки, танца, дабы впоследствии из них выросли будущие русские Гагарины, Петровы-Водкины, Мельниковы, маршалы Жуковы, и они составили цвет будущей элиты России. Говоря все это, он испытывал нежность и умиление, которые овладевали им каждый раз, когда он думал о детях. Нежность к детям была у него отцовской, иногда счастливой и мягкой, иногда острой до слез.

Именно в таком состоянии, думая о детях, почему-то связывая с ними образы радуги, разноцветного воздуха, волшебного свечения небес, он сидел в своей замоскворецкой

квартире, когда в дверь позвонили.

На пороге стоял Веролей. Улыбнулся своей вымученной улыбкой, рождая странное ощущение чего-то нестойкого, зыбко-водяного, сопряженного с образом плывущей водоросли. Стрижайло подозревал, что в основе его имени лежит понятие «вероломный», даром, что он был посланцем Потрошкова, коварного эфэсбэшника, чья суть — вероломство и обман, а маска — коварное обольщение. Но на этот раз появление Веролея не вызвало у Стрижайло тревогу, а, напротив, необъяснимое сочувствие и сострадание. Было видно, что этот человек страдал каким-то тайным

недугом, мучился собственным
несовершенством, жил в
таинственном раздвоении, что
доставляло ему постоянную боль.

— Простите, ради Бога, —
Веролей топтался в дверях, готовый,
если обнаружится малейшее
недовольство хозяина, повернуться и
исчезнуть, как исчезает тень
промелькнувшей рыбы, всплеск
водяной травы. — Я без звонка...
Счел благоразумным не звонить...
Нет особой причины... Если
помешал, ухожу...

— Нет, нет, — ввел его в дом
Стрижайло, впервые почувствовал
его самоценность, которая прежде
скрывалась за ролью секретного

порученца, а теперь была очевидна, обнаруживала себя страданием. — Я абсолютно свободен. Даже, кажется, думал о вас.

— Не удивительно, я думаю о вас постоянно. Простите мне мою откровенность, но вы единственный человек, в котором я встречаю сочувствие. Вижу вашу живую душу, нуждаюсь в общении с вами, пусть мимолетном. Мне надо вам кое-что сообщить, единственно вам. Быть может, потом я не буду иметь возможность. Вот я и решился.

— Очень рад, проходите, — Стрижайло под руку ввел нежданного гостя в кабинет, усадил в удобное кресло, налил ему и себе

крепкого чая в чашки саксонского фарфора.

— Видите ли, — Веролей благодарно отхлебывал чай, испытывая наслаждение не столько от благородного напитка, сколько от несвойственной ему роли гостя, а не «посланца по казенной надобности», каким воспринимало его большинство людей. — Окружающие склонны видеть истоки моей фамилии в слове «вероломный», но это заблуждение. На самом деле «Веролей» — это сокращенное «Верность Ленину». Такое имя мне дал Потрошков, мой куратор, шеф и, я вам открою тайну моего происхождения, — мой генный

инженер. Ибо я был выращен в
спецлаборатории ФСБ по
специальному заданию Потрошкова в
стеклянной вазе, куда налили три
литра воды, доставленной с Белого
моря. Отцовская клетка была взята
из предстательной железы Юрия
Владимировича Андропова и
привита к клеточной ткани морской
капусты, научное название которой
«анфельция», и которая в изобилии
водится по всему побережью Белого
моря. В каком-то смысле, я являюсь
потомственным чекистом, обладаю
склонностью к рискованным
авантюрам. Но с другой стороны я, в
известном смысле, — помор с
характером этого северного,

одаренного народа, к которому принадлежал Ломоносов. Вот почему многим мой характер кажется противоречивым, подверженным смене эмоций. Действительно, когда я прохожу мимо здания на Лубянке и вижу мемориальную доску Юрию Владимировичу, меня охватывает сыновья гордость, и я сияю от счастья. Но когда я прохожу мимо магазина «Дары моря» и вижу мелко нарезанную морскую капусту, мне кажется, я умираю от горя, вижу мою замученную, изрубленную мать. Кстати, однажды я заметил вас в рыбном отделе «Рамстора», вы смотрели на палтуса горячего копчения, и у вас было выражение

несказанной муки...

Стрижайло сострадал сидящему перед ним человеку. Ему стала понятна природа его тайного мучения, неизбывной неуголенности, изъедавшей душу тоски. Он был сотворен из двух несовместимых видов материи. Предстательная железа конфликтовала с растением моря. Больной чекист-реформатор не сочетался с богатой йодом водорослью, которую шторм отрывает от донных камней, выбрасывает на берег, и скользкие ленты истлевают на берегу, давая приют многочисленным рачкам и улиткам. Он знал, что синтез таких противоречивых начал возможен

через внутренний взрыв, великое прозрение, небывалое чудо, которые дает любовь и святая жертва. Веролея обошло откровение, и он обречен до смерти нести в себе трагическую двойственность.

— Должен заметить, что во время моего вырастания в вазе ко мне приходил Потрошков, мы оставались одни, и он мне зачитывал материалы антитроцкистских процессов, где перечислялись злодеяния Троцкого и его клики. Он не раз упоминал знаменитое ленинское высказывание об «Иудушке Троцком», говорил, что я должен хранить верность Ленину и никогда не забывать этого

ленинского определения. Одним словом, я вырос антитроцкистом, и чекист Меркадер, зарубивший Троцкого ледорубом, и художник Сикейрос, совершивший покушение на Троцкого, являются моими кумирами. Когда я вышел из лаборатории и в расцвете сил начал карьеру в ФСБ, Потрошков приблизил меня к себе и дал понять, что впереди меня ожидает спецзадание, которое принесет мне славу, не меньшую чем у Меркадера, и звезда «Героя России» воссияет у меня на груди...

Стрижайло слушал сидящего перед ним человека, который вдруг начинал морщиться от боли, как если

бы его мучило воспаление предстательной железы. Но потом глаза его начинали сиять восхищением, будто он пел дивную поморскую песню: «И где кони?», в которой раскрывалась космогония северных славян. Он не понимал до конца Веролея, не понимал, что заставляет того исповедоваться. Видел в нем беззащитного одинокого человека, нуждавшегося в сочувствии.

— Несколько дней назад Потрошков открыл мне суть спецзадания, во имя чего я вызревал в банке с морским рассолом, сквозь который пропускали слабый электрический ток и импульсы

ультразвука, модулированного голосом Юрия Владимировича и шумом беломорского прибоя.

Суть задания в следующем. Я должен встретиться с литейщиками завода «Серп и молот», теми, что принимали участие в теледебатах между аграрником Карантиновым и членом ЛДПР Золушкиным. По эскизам Потрошкова из лучшей стали они отольют ледоруб, точно такой, каким был умерщвлен Троцкий. Инструмент отшлифуют, покроют никелем, положат в сафьяновый футляр. Я повезу этот футляр в Лондон, вместе с ним явлюсь в загородный дворец Верхарна, преподнесу ему этот подарок

Потрошкова. А когда он станет рассматривать золотую вышивку на подкладке футляра, возьму ледоруб и пробью ему череп, как это сделал герой Советского Союза товарищ Меркадер, устраняя злейшего врага нашей Родины. После этого я проживу едва ли минуту. Телохранитель Верхарна, араб Ахмет, служивший во французском Иностранном легионе, выпустит в меня обойму своей «беретты». И я никогда не узнаю, буду ли награжден Звездой Героя, или же мой подвиг останется неотмеченным и забытым...

Стрижайло казалось, что Веролей ищет смерти. Ждет

благословенную пулю, которая прекратит его страдания. Рассечет две плохо сросшиеся половины его существа, и они с облегчением расстанутся. Одна полетит к Кремлевской стене, где покоится прах таинственного масона, загадочного чекиста, смертельно больного Генсека, замышлявшего перестройку. Другая помчится на студеной Север, где серебрится дранка на старинных шатрах, гуляет в приливе семга, благоухает по всему берегу выброшенная из моря анфельция.

— Верхарн должен умереть, ибо он поставлял Потрошкову чеченских «черных вдов», которые совершили

теракты в метро, в самолете, на рок-фестивале, в ресторане «Козерог». Уничтожив Верхарна, Потрошков уничтожит свидетеля. Однако уже подготовлен еще один теракт, страшнее всего, что было. Я подслушал разговор эмиссара Масхадова, большого друга Верхарна, когда тот орал на свою возлюбленную, английскую актрису: «Ты, сука поганая, — кричал он милой женщине, натягивая ошейник. — Не хочешь жрать пшеничную кашу, будешь жрать мертвых детей. Скоро мы убьем такое количество детей, что русские войска в ужасе убегут из Чечни и сделают Аслана Масхадова

Президентом России. Мы будем убивать их тысячами, и земля станет красной от детской крови. Уже подготовлены отборные моджахеды. Они нападут, как буря, как карающий меч Аллаха. Детские головы, отсеченные этим мечом, покатаются, как бесчисленные бильiardные шары. Так и быть, я дам тебе поглотить отрезанную детскую ручку, а то у тебя от пшенной каши жопа высохла». С этими словами он кинул ей на пол куриную косточку. Та пролепетала: «Сенкью» и стала ее грызть. Не знаю, где и когда совершится теракт, но он будет ужасен. Потрошков замышляет нечто, что он называет «перекодировкой

мира», и это будет неслыханное злодеяние. Я это вам сказал потому, что вижу в вас отважного, деятельного, гуманного человека. Попробуйте предотвратить теракт и спасти детей. Не выведенных в колбе, а настоящих, жизнь которых может быть прекрасной и долгой...

С этими словами Веролей поднялся, поклонился и с мучительной улыбкой на зеленоватом лице ушел от Стрижайло. Было слышно, как опускается лифт.

Стрижайло посылал ему вслед луч своего ясновидения, опережая время, прозревая еще не случившееся.

Видел, как Веролей выходит из лифта, покидает парадное, садится в служебную машину с номером ФСБ. Мчится по Москве в медном воздухе в сторону Рогожской заставы, где на заводе «Серп и молот» рабочие священнодействовали с тиглем, проливая в форму слепящую жилку металла. В форме, остывая, прозрачно-красный, пламенел ледоруб. Отливку шлифовали, рассыпая шелестящие брызги, затачивали острие. Окунали в ванную с зеленоватым раствором, где на синюю сталь ложился зеркальный покров. Сияющее изделие укладывали в драгоценный футляр с алым сафьяновым ложе́м. По бархату

разбегались золоченые письма и узоры, — дарственная надпись Верхарну. Огромный «боинг» летел над Европой, и футляр с ледорубом медленно проплывал над Варшавой, Берлином, сворачивал к Ла-Маншу, снижался над дождливым Лондоном.

Из аэропорта «Хитроу» лимузин помчал Веролея в загородное поместье Верхарна, где тот был радушно встречен хозяином. Слегка моросило. Газон, идеально подстриженный, сверкал изумрудом. С прудов взлетали казарки. Огромные деревья величественно темнели в дожде, из-за них то и дело выскакивали грациозные лани. Верхарн раскрыл футляр,

внимательно осмотрел ледоруб.
Пошутил: «Но я ведь не Лев
Давыдович?.. А что здесь написано?»
Отложив ледоруб, склонился к алой
подкладке, на которой золотая нить
вывела красивую надпись:

*Когда металл пронзает мерзкий
череп,*

*Тогда в Москве свершаем мы
вечерю.*

*Пускай тебя бросает в жар и
холод,*

*Тебя благословляет «Серп и
Молот».*

Пусть дело делается грубо,

На то и сталь святая ледоруба.

Верхарн, усмехаясь, поворачивал к Веролею свое беличье лицо, намереваясь о чем-то спросить. Но страшный удар уже прошибал его желтоватый череп, и наружу, из-под хромированного острия, била вишневая кровь. Могучий араб с коричневым лицом бедуина выхватил из-под мышки вороненую многозарядную «беретту» и в тигрином прыжке, стремясь на помощь своему господину, выпустил в Веролея семь пуль, которые одна за другой пробили зыбкое тело, вырвались из красных воронок и, слегка деформированные, полетели в

сырой туман, снижаясь и застревая в газоне.

Все это видел Стрижайло в своем ясновидении, слыша, как затихает в подъезде стук остановившегося лифта.

После ухода Веролея его обуяло смятение. Упоминание о детях, которых постигнет несчастье, упоминание о Потрошкове, желавшем «перекодировать мир», повергли его в панику. Черное острие было направлено Потрошковым из «этой жизни», где властвовало беззаконие и жестокость, в «иную жизнь», где воздух светился волшебной красотой, в райском небе

плавали чудесные планеты и луны, и где обитала драгоценная душа, источавшая благоговение и нежность. В этот благословенный мир, куда ему предстояло вернуться, и где ждал его дивный младенец, — был направлен гарпун Потрошкова. Овладевший им ужас побуждал к действию. Он должен был сам, не полагаясь на спецслужбы, находившиеся в подчинении у злодея, отыскать отряд чеченцев и обезвредить его. Как? На это укажут обстоятельства и благой дух, чье покровительство он ощущал. Собрался и кинулся в город, пахнувший арбузами и спелыми дынями, женскими благовониями и дорогими табаками, тлетворной

смертью и бензином марки Аи-101, куда Абрамович распорядился добавлять жасмин.

Не объясняя шоферу цели поездки, он направил «фольксваген» за город, в детский оздоровительный центр «Колобок», где полгода назад располагался боевой лагерь чеченцев.

Он надеялся увидеть резные домики, затейливые теремки, смешную фигуру деревянного колобка, но ничего этого не было. Прежние строения были сметены, шло бурное строительство замка. Архитектор с седыми артистическими кудрями разворачивал чертежи и что-то

любезно пояснял хозяину, который хоть и был, по виду, чеченец, но не дикий необузданный горец, а цивилизованный бизнесмен в костюме от «Альбани», с манерами аристократа.

— Простите великодушно, — прервал их разговор Стрижайло. — Здесь, кажется был оздоровительный центр, отдыхали детишки...

— Сударь, теперь это частное владение, — холодно прервал его собственник замка и, обращаясь к архитектору, продолжал. — Я же просил вас выполнить турецкую баню из камня, взятого из старых православных церквей. Говорят, намоленный камень дольше

сохраняет тепло.

Стрижайло помчался обратно в Москву, надеясь оповестить о возможном теракте общественность, власти, представителей прессы.

Он явился в Кремль, в Администрацию Президента, где просил аудиенцию у видного чиновника. Но навстречу ему вышел любезный чеченец, представился: «Ахмед Арбиевич», после чего Стрижайло стал пятиться и таким образом вновь оказался на Красной площади.

Отсюда было не далеко до Государственной думы. Он решил посетить Комитет по безопасности, чтобы поведать о страшной угрозе.

Его принял в комфортабельном кабинете депутат — чеченец, внимательно заглянул в ошеломленные глаза и произнес:

— Слушаю вас, дорогой.

Бессмысленно было начинать разговор. Стрижайло покинул Думу, спустился в подземный супермаркет на Манежной площади, где намеревался купить какую-нибудь забавную детскую игрушку, сам не ведая, для кого. В отделе детских игрушек, среди заводных машинок, крохотных роботов, говорящих по-английски кукол, его встретил продавец — чеченец в фирменном пиджаке и галстук-бабочке. С любезным поклоном спросил:

— Чего изволите? Из Японии поступила партия изумительных роботов. Маленькая девочка Хакайдо говорит своему брату Япончику, как разрубить самурайским мечем русского захватчика и освободить Сахалин.

В смятении Стрижайло стал метаться по городу, заскакивая в кинотеатры, игорные дома, стриптиз-бары, рестораны. И повсюду его встречали чеченцы, — иные в дорогих пиджаках, иные в смокингах, а некоторые в черных, как у генерала Дудаева, шляпах.

Это было невыносимо. Казалось, Москва захвачена чеченцами, которые лишь

прикидывались продавцами, бизнесменами, депутатами и чиновниками. На деле же были законспирированными боевиками, держали под прилавками гранатометы, в ящиках столов фугасы, носили под смокингами «пояса шахидов».

Он решился обратиться в ФСБ, в отдел по борьбе с терроризмом, надеясь, что не все чекисты слепо подчинены Потрошкову, есть среди них бойцы невидимого фронта, защищающие государство. Робея, боясь разочароваться, позвонил по телефону доверия и тихо произнес: «Салам алейкум!», и услышал в ответ доброжелательное: «Алейкум

салам!». Желая убедиться в невозможном, сдавленным голосом выдохнул: «Аллах акбар!», и последовало воодушевленное восклицание: «Аллах акбар!».

Обращаться было некуда. Не с кем было поделиться ужасным подозрением. Измученный, разочарованный, надеясь на духовное отдохновение, он вошел в нарядную, классической постройки, церковь, заставленную образами, расцвеченную лампадами. Навстречу вышел священник в золотом облачении, молитвенно сложив руки. Посмотрел взглядом ласкового пастыря и с легким горским акцентом спроси: «Что привело тебя

ко мне, сын мой?»

Его охватила безысходность. Его попытка одолеть зло провалилась. Проходя по Большой Бронной мимо синагоги, одержимый безумным сарказмом, он решил заглянуть, уже зная, что увидит чеченца, перелистывающего священную Тору. Но ошибся, — раввином служил еврей. Рыженький, симпатичный, с бегающими веселыми глазками, хитро оглянулся по сторонам, приблизил к уху Стрижайло надушенную бородку, шепнул: «Вы — таки от Ахмада Хаджи Кадырова?» — «А хрен его знает, откуда я» — устало ответил Стрижайло, упал в подъехавший

«фольксваген» и вернулся домой.

Тянулась долгая, московская ночь, когда открытое окно не приносило прохлады, а только тревожные шелесты автомобилей и горькие запахи сохнувшей листвы. Стрижайло лежал в кабинете на диване, и его преследовали галлюцинации. Видел чью-то огромную картину времен Ренессанса. Сквозь тяжелую золоченую раму мерцала ночная Москва. В ней творилось избиение младенцев. Воины в медных шлемах, в накидках, врывались в дома, отнимали у кормящих матерей плачущих детей, рубили их мечами,

насаживали на копья. Матери, полуобнаженные, с млечными грудями, валялись в ногах у воинов, молили о пощаде, но те отталкивали их сандалиями, кропили их головы кровью убитых младенцев. Среди неистовой казни, жуткого избиения гарцевал на коне суровый Царь в багряном плаще, в золоченом венце, с лицом Потрошкова. Это он подвиг воинов на избиение. Он искал среди груды растерзанных тел того единственного младенца, который был ему нужен, но который оставался невидим. Скрывался от палача в «иной жизни», ход в которую знал лишь один Стрижайло. По ночной Москве скакал свирепый

всадник в царском венце, отыскивал Стрижайло, чтобы тот под пыткой указал ему ход в «иную, заповедную жизнь».

Раздался звонок, и это был Царь, ворвавшийся на жеребце в подъезд, доскакавший по лестнице до квартиры Стрижайло.

На пороге стоял не царь, а бомж. Волосы его были спутаны и косматы. В них, как в сорочье гнездо, были вплетены травинки, древесные веточки, птичьи перья, семена растений и трав. Лицо до бровей заросло бородой, как у собаки, с вислыми космами, о которые сломался бы любой гребень. Уши были полны земли, и казалось, из

них пробивается побег растения. Руки с нестриженными черными ногтями поросли жесткой звериной шерсткой, то и дело тянулись к голове, вылавливая докучавшую вошку, выпутывая из волос жучка или кузнечика. Одежда задубела от высохшего пота, глины, иных выделений, пахла тленом, сырыми пнями, поганками и чем-то еще, больным и звериным, чем пахнет нора барсука. Но в этом зверином облике, в повадках лесного животного, готового при малейшему шорохе убежать, Стрижайло чудилось нечто знакомое. Он вглядывался в тревожные глаза человека, в его заросший шерстью рот.

— Человек-Рыба! — воскликнул Стрижайло, узнавая в бомже исчезнувшего кандидата в Президенты, партнера по операции «Смех и слезы». — Где вы пропадали? Где вас носило, Человек-Рыба?

— Я вовсе не Рыба... И вовсе не Человек... Я тот, кого должны были убить, и кто чудом избегнул смерти за счет превращения в обитателя лесного урочища, где егеря, встречаясь со мной, называли меня: «Мишка в сосновом лесу»... — сиплым голосом отвечивал бомж. Жадно водил носом, принюхиваясь к запахам кухни.

— Да вы проходите, —

заторопился Стрижайло, тронутый переменами в облике еще недавно жизнелюбивого господина, преуспевающего политика, в недавнем прошлом спикера Думы, секретаря Совета Безопасности, друга Верхарна и Масхадова, любителя народных афоризмов, английского виски и кавказских шашлыков. — Горячего чая?.. Еды?.. «Блэк лейбл»?

Все это было принято гостем немедленно. Он ел ненасытно, руками, скрежетал зубами, вылизывал консервные банки, кинулся под стол, когда уронил куриную кость и урча сгрыз ее на полу. Набивал едой не только брюхо,

но и защечные мешки, и карманы брюк, рукава изношенного пиджака, словно собирался снова залечь в берлогу, медленно расходуя добытую пищу. Когда холодильник Стрижайло опустел, а из рукавов гостя торчали ноги копченой курицы, из карманов — нарезка семги, из копны волос выглядывала ветчина, а из расстегнутого гультфика высовывалась пачка пельменей, Человек-Рыба остановился в поглощении пищи. После увещеваний хозяина перешел в кабинет, двигаясь, где на четвереньках, а где, упираясь в паркет кулаком одной руки, как гамадрил. Уселся в плетеное кресло,

готовый при малейшей опасности кинуться в окно и исчезнуть, уцепившись за лиану.

— Рассказывайте, дорогой друг, что с вами стряслось, — просил Стрижайло, понимая, что ночной визит неслучаен и гостю есть, что поведать.

— Меня похитили, — произнес Человек-Рыба. При ужасном воспоминании его стал бить колотун. Содрогалось лицо, тряслись руки, дергался живот. Казалось, он пережил контузию. Из уха выпал желудь. Из волос вылетела птица-трясогузка, уселась на книжный шкаф, где стояла китайская ваза, раздраженно заверещала,

недовольная тем, что ее потревожили. — Когда я выезжал из оздоровительного детского центра «Колобок», мою машину остановил милицейский патруль. Милиционеры-оборотни выволокли меня из «мерседеса», пересадили в свой автомобиль, натянули на голову мешок и повезли Бог знает куда. Я лишь успел понять, что это чеченцы. Они говорили на языке гор и несколько раз упоминали имя «Аслан». Меня привезли в квартиру где-то на окраине Москвы, приковали наручниками к батарее, и потянулись дни ужасного плена, где я спал на тюфяке, видел рядом свирепые кавказские лица и смотрел

большой телевизор, стоявший на полу в абсолютно пустой комнате. Там я наблюдал за дебатами и пережил весь ужас, связанный с операцией «Смех и слезы», — гость дико захохотал, распугивая спрятавшихся в бороде лесных муравьев и жуужелиц. А потом заплакал чистыми детскими слезами, которые повисли на усах, как лесная роса. — Меня жестоко обманул Потрошков. Чеченские девушки, которых он мне представил, по его словам были молодые танцовщицы из хореографической группы «Аргунские красавицы». Якобы, они должны были репетировать композицию о недавней чеченской

войне, которая, слава Богу, закончилась, стала лишь горьким воспоминанием. Я собирался повести этот ансамбль в Европу, чтобы убедить Европарламент, ПАСЕ, другие европейские институты, что в Чечне налаживается мирная жизнь, и девушки получили возможность давать концерты. Теперь-то я знаю, какой ужасный концерт разыграл Потрошков. Какую страшную участь уготовил этим прелестным горянкам. И я поддался на этот обман!..

Он забился в истерике. Его тело стало сотрясаться от кашля. Испуганные трясением, из карманов пиджака, из-за пазухи стали выбегать

бурундучки, лесные мыши, поползли улитки. А из дырки в пиджаке выскочила кукушка и три раза прокуковала, что сделало его похожим на деревенские ходики, благо настенные часы и впрямь показывали три часа ночи.

— Все время, пока шли эти злосчастные дебаты и девушки из ансамбля «Аргунские красавицы» взрывали метро, самолеты, дискотеки и рестораны, я сидел в кандалах. Терпел издевательства охранников, которые играли в нарды на мою одежду, заставляя раздеваться донага. Не задолго до выборов ко мне вдруг явился Потрошков. Сначала любезно справился, не нуждаюсь ли

в чем, не жмут ли наручники, не слишком ли жесткая подстилка, на которой я сплю. Потом приступил к делу. Сказал, что у меня есть выбор. Либо я отказываюсь от предложения, которое он мне сделает, и тогда меня ждут мучения. В конце концов, мой обезображенный труп вылавливают из Москва-реки напротив Кремля, и вся мировая общественность начинает утверждать, что это дело рук коварного Президента Ва-Ва. Убоявшись сильного конкурента, он убил его, и теперь этот страшный труп — свидетельство его преступления. Ему никогда не стать Президентом, а путь его лежит прямехонько в Гаагу, в трибунал, где

уже томится Милошевич, вождь незадачливых сербов. Пока он все это мне говорил, я смотрел на его подбородок и видел ужасные картины. Вы знаете, в его подбородок методами генной инженерии имплантирован особый кинескоп, на котором воспроизводятся мысли, картины, возникающие в его мозгу. На этом подбородке, пока он говорил, я видел пытки, которым меня могут подвергнуть. Эти дикие охранники вбивали мне в печень огромный гвоздь. Чайной ложечкой с отточенными краями вычерпывали мне глаза. Сдирали кожу с руки по самое плечо, так что она слезала, как лайковая перчатка, а они окунали

мою красную, с анатомическими мышцами, руку в соляной раствор. Они засовывали мне в задний проход шланг и компрессором надували меня до размеров бегемота, а потом протыкали шилом кишечник, и я с жутким свистом спускал воздух. Наконец, они подвешивали мне в пах безоболочное взрывное устройство, поджигали бикфордов шнур и смотрели, как приближается к моим гениталиям шипящий огонек...

Должно быть, эти видения, проступавшие на студенистом подбородке Потрошкова, были столь устрашающе, с такой явью вновь посетили Человека-Рыбу, что он упал в обморок. Пережил клиническую

смерть. Его тело стало стремительно остывать, и все паразиты, питавшиеся его горячей кровью, потеряли к нему интерес. Бесчисленные блохи, клещи, комары, прочие кровососы стали покидать его остывающее тело, выползали, выскакивали из его волос и одежды. Стрижайло отмахивался, не позволяя отвратительным тварям перепрыгивать на его собственное, сытое, с питательной кровью тело.

— Но он сказал, что у меня есть выбор. Есть блестящая перспектива, если я приму его предложение, — Человек-Рыба пришел в себя. Тепло стало возвращаться в его члены. Кровь побежала быстрее. Кровососы,

разлетевшиеся, было, по комнате, стали вновь возвращаться в привычную для них среду обитания, — клещи заползали за воротник, комары впивались в незащищенные участки кожи, блохи стаями запрыгивали в бороду и усы. — Он сказал мне: «Ты известный для чеченцев человек. Они благодарны тебе за Хасавюрт. Они верят тебе. С моей помощью они готовят захват детей, большого количества, — десятки, сотни, тысячи. Не где-нибудь в обнищавших русских городках, где и детей-то уже не осталось, а на юге, может быть, в курортном приморском лагере, или в родильном доме, или в школе в день

начала учебного года, где будет много детей, родных, учителей. Такой захват вызовет шок во всей России. Начнется безумие. Террористы будут измываться над детьми, мучить их, может, нескольких даже убьют. К ним станут засылать переговорщиков. Они всех отвергнут. Потребуют только тебя. Ты, рискуя жизнью, жертвуя собой ради несчастных детишек, отравишься к ним. Войдешь в захваченный дом и выяснишь, чего же они хотят. У них будет одно единственное требование, — пусть к ним явится Президент Ва-Ва. Мы знаем с тобой, Президент Ва-Ва — трус, безвольная тряпка, всегда увиливает от

опасностей. Так было с погибшей подводной лодкой «Курск», когда он пытался спрятаться. Так было с захватом в Москве «Норд-Оста», когда он, как страус, спрятал голову в песок. Но сейчас перед лицом всей страны, когда детишек поднимают за ноги и бьют головой о стену, он не посмеет отсидеться. Поедет и войдет к террористам. Когда он войдет, случайно сработает взрывное устройство, и Президент Ва-Ва погибнет. Ты выводишь спасенных детей, рыдающих и благодарных матерей, благословляющих тебя учителей. Народ видит в тебе избавителя и героя. Ты становишься Президентом России, без выборов,

без идиотского пиара, — простыми волеизъявление благодарного народа. Вместе с тобой мы правим государством. Осуществляем наш стратегический план «Россия», спасаем и оздоравливаем нацию путем генных технологий. Выбирай, — либо мучительная смерть и труп в Москва-реке, либо служение Родине, величественная судьба спасителя страны и народа». В этот момент Потрошков преобразился. Стал огромным, почти до небес. Его кожа стала молодой и смуглой. Черные, блестящие волосы ниспадали до плеч. Гордый иудейский нос говорил о незыблемой воле. Алые губы шептали заклинания

на неведомом языке. Это был Иуда Искарот, ведающий концы и начала...

Рассказывая это, Человек-Рыба вновь пережил мистический ужас. Страх был столь велик, что, оставаясь живым, он уже начал тлеть. Весь покрылся грибами-поганками. Отдельные части тела стали светиться, как болотные гнилушки. А из уха, раскрывая спираль, превращаясь в резной лист, полез папоротник, готовый зацвести фиолетовым колдовским цветом.

— Что мне было делать? Разумеется, я согласился. Попросил, чтобы меня расковали. Потрошков милостиво разомкнул наручники. Я

больше не был связан с этой проклятой батареей. Ночью, когда кавказские стражи уснули, я растворил окно, спустился по водосточной трубе и кинулся в бега. Мчался по ночной Москве, сам не знаю куда. Выбрался к какому-то вокзалу, уже не помню к какому. Дождался первой утренней электрички и ехал, боясь, что меня настигнут. Сошел наугад, когда замелькали подмосковные леса. Бросился со станции в рощу. Минуя поселки, уклоняясь от дорог и троп, забивался все глубже в лес и остановился, когда меня окружила сплошная чащоба. Стояла весна, пели птицы, расцветали лесные

цветы, и я, наконец, почувствовал себя в безопасности. Решил, что я не выйду из леса, останусь здесь навсегда. Вырыл себе землянку под вывороченной корягой. Устроил ложе из веток и еловых лап. Пищей мне служили корешки, луковки, сладкие стебли и питательные почки, которые я научился отличать от ядовитых. Иногда мне удавалось найти гнездо, и я с жадностью съедал птенцов. Иногда ловил мышь или проглатывал лесную жужелицу. Я жил, как Маугли. Оброс шерстью, научился лазать по деревьям, видел в темноте. Угадывал по запаху пробежавшего в стороне ежа или севшего на вершину рябчика. Признаюсь, мне было не

легко, но я чувствовал себя в безопасности. При этом постоянно думал о Потрошкове, о страшном, задуманном им злодеянии. Однажды на мою берлогу набрел местный лесник. Его звали — Сашка Одинокоев, старый, больной, под хмельком, он поинтересовался, не партизан ли я, скрывающийся от немецких карателей. Стал рассказывать, что война давно закончена. Гитлер застрелился. Сталин умер. Советский Союз из-за плешивого пятнистого пустобреха распался. Хохлы отобрали Крым. Русских повсюду гнобят. Ельцин пропил страну, не закусывая. А нынешний Президент похож на

трясогузку, — верещит без умолку и трясет жопкой. Я сдружился с простодушным лесником. Он иногда приносил мне огурцы, помидоры, плавленный сырок, колбаску, вынимал початую бутылку, и мы с ним толковали о пользе муравьиного спирта, который помогает от ревматизма, если им натираться, но ни в коем разе не пить. Однажды он пришел не один, а с молодой женщиной и мальчиком, которые собирали грибы. Я показал мальчику поляну, где росли изумительные боровики и красноголовики. Мальчик обрадовался, стал их собирать, и я вдруг увидел, что он поразительно похож на вас. Конечно, это

совпадение, но оно заставило меня думать о вас. Я вдруг понял, что вы — единственный человек, который может остановить злодеяние, спасти тысячи невинных детей, пресечь путь злу. Я решил вернуться в Москву и отыскать вас. Женщина, — ее звали Мария, — пригласила меня в избу, где она живет со своим милым отроком. Дала котомку с едой. На стене избы я увидел портрет, — молодой спящий мужчина, цветастая подушка, край белой печи, — замечательный портрет, и мужчина на подушке тоже напомнил мне вас. Это лишь увеличило мою решимость явиться к вам и поведать о жутком, задуманном злодеянии. За мною

следят. Агенты Потрошкова повсюду. Но вы должны спасти детей, предотвратить избиение, не допустить жуткую «перекодировку» мира. Обратитесь к прессе, в ООН, к Папе Римскому, в Голливуд. Сделайте что-нибудь...

Человек-Рыба был страшно взволнован. Его волнение способствовало выделению тепла, которое нагрело скрытый в волосах муравейник. Начался преждевременный вылет крылатых муравьев. Мириады насекомых появлялись из зарослей головы, выползали на окончания волосков, раскрывали крылья и взлетали. Весь кабинет был в мелькании летающих

муравьев. Тут же из усов и бороды гостя вылетело несколько больших стрекоз с синими и изумрудными туловищами. Шелестя слюдяными крыльями, они стали носиться по кабинету, хватая налету муравьев. Усаживались на письменный стол, книжный шкаф, фарфоровые вазы, подсвечники, поедая добычу.

Стрижайло был поражен услышанным. Поражен явлением лесного человека, столь гармонично вписанного в экологию леса.

— Но как я узнаю, где готовится преступление? — спросил он растерянно. — Что это за место на юге России?

— Не могу вам точно сказать, —

ответил гость. — Когда Потрошков говорил о каком-то многолюдном селении, я смотрел на его подбородок. Там, на зеленоватом экране, отчетливо виднелась надпись: «Беслан... Школа № 1... Улица Коминтерна». Где это, я не знаю. Вам предстоит узнать. Еще на подбородке возник какой-то пожилой мужчина в черной шляпе, с орденскими ленточками на груди. Какая-то молодая женщина с розовым цветком в петлице. Какой-то маленький мальчик с портфельчиком, на который был наклеен смешной желтый утенок. Теперь я ухожу. Ищейки Потрошкова могут нагрянуть в любую минуту.

Прощайте...

Человек-Рыба походкой лесного зверя прокрался к окну. Растворил, осторожно выглядывая. Убедился, что улица пуста. Кинулся головой вниз и исчез верхом на лиане. Стрижайло обморочно смотрел ему вслед.

Остался один, в ночи, потрясенный услышанным. Весть о предстоящем злодеянии царя Ирода подтверждалась тремя независимыми источниками. Он сам слышал мимолетную фразу Потрошкова о преступлении «против человечности», которое тот замышляет. Свирепый эмиссар Масхадова произнес крошечную

фразу об «отсеченных детских головах, которые покатаются, как бильiardные шары». Человек-Рыба пренебрег смертельной опасностью, чтобы поведать об ужасной угрозе. Эта угроза касалась не только неведомых детей. Она направила заостренный гарпун в «иную жизнь», где оставалась любимая женщина и любимый сын, свидание с которыми было столь желанно. Человек-Рыба таинственным образом оказался в райской стране, где — просека с летящей сойкой, окруженной прозрачным сиянием, глухое болото с фиолетовым лосем, деревенский дом с белой печью, половиком и картиной, на которой он, Стрижайло,

спит и видит божественный сон. Все вместе побуждало к свершению подвига. Искупительному деянию, которым бы он искупил смертельный грех прошлой жизни, очистился от прежних пороков и, тем самым, исполнил замысел Бога, изгнавшего из него змея.

«Беслан... Бугуруслан... Бугульма...» — вертелись в уме названия. Он залез в интернет и быстро нашел искомое, — Кавказ, Северная Осетия, Беслан.

Сомнений не было. Там, 1-го сентября, в день начала школьных занятий, сатанинская воля Потрошкова замышляла злодеяние, которым перевертывались

представления человечества о добре и зле. Туда лежал его путь.

глава тридцать шестая

Поезд, на котором добирался Стрижайло, прибыл во Владикавказ ранним утром, когда далекие горы еще розовели в заре, и на них лежали чудесные синие тени, — то ли горный снег, то ли последний сумрак ночи. Привокзальная площадь напоминала восточный базар — многолюдье, смуглые черноволосые женщины с сочными губами и лиловыми, навывкат глазами, усатые, с синей щетиной мужчины, запах вянущих цветов, перезрелых, отекающих соком фруктов, лотки, музыка, лубочные изображения Святого Георгия, карусель машин, и

над всем — высокий перламутровый отблеск, какой бывает на морской раковине. Стрижайло взял такси, — «жигуленок» с продавленными сидениями и огромным тяжелым возницей, едва помещавшемся в тесной машине.

— Где-то я вас видал, — тут же заметил тучный, плохо побритый шофер, ловко крутя баранку, — Вы не племянник Тагира Кучкарова? Очень похожи. Куда вас в Беслане?

— Мне в школу, к началу занятий.

— В Первую школу? Во Вторую? Я Первую школу в Беслане кончал, — таксист, исполненный утреннего благодушия, непременно хотел

обнаружить хоть какую-нибудь общность с пассажиром, справедливо полагая, что все люди на земле связаны близким или дальним родством, или хоть раз где-нибудь да встречались.

Беслан оказался сразу в окрестностях Владикавказа, — чистый, зеленый, умытый, с влажными тротуарами, по которым двигалось много нарядных людей, — молодые женщины, дети, с букетами цветов, с ранцами и портфелями. Все были воодушевлены, выходили из подъездов, вовлекались в общее, в одну сторону, движение. Из окна автомобиля Стрижайло увидел надпись на стене дома: «Улица

Коминтерна», что соответствовало примете, сообщенной Человеком-Рыбой. Испуганно дрогнуло сердце. Пророчество начинало сбываться. Такси остановилось перед школой, чей двухэтажный фасад желтел среди деревьев. На площадке было пестро от букетов, снующих школьников, звучали бравурная музыка, пронзительный, усиленный мегафоном голос.

— Я эту школу кончал в одна тысяча девятьсот шестьдесят втором году, — произнес таксист, принимая деньги, любовно оглядывая невзрачный, чуть подновленный фасад.

Стрижайло, робея, страшась

немедленного осуществления пророчества, прошел за ограду на просторную площадку, где готовилась праздничная церемония. Густая толпа родителей окружала площадку, оставляя свободное место, на которое матери выпускали первоклашек, — совсем еще маленьких мальчиков и девочек. Выпуская материнские руки, те пугались, растерянно топтались, но их тут же подхватывали более старшие, вели, выстраивали в ряды. Ученики роились, перебежали с места на место, шалили. Создавали подобие шеренг, которые тут же рассыпались, что вызывало неудовольствие властной немолодой

женщины с мегафоном, командующей построением.

Это трогательное и бестолковое скопище, обилие букетов, нарядных костюмчиков, красивых платьев вдруг успокоило Стрижайло. Здесь, на школьном дворе, происходило извечное, вмененное всеми живому действо, — обучение новых, вступавших в жизнь поколений. Передача заветов, приемов и правил жизни, которые стараниями педагогов переносились из рода в род, из века в век, поддерживая существование племени и народа. Он вдруг вспомнил себя, — свое первое появление во дворе московской кирпичной школы, куда привела его

бабушка. Свое волнение, пугливое нетерпение, бабушкино торжественное, полное гордости и умиления лицо. Это воспоминание окончательно развеяло сумеречный страх, безумное ожидание. Слава Богу, все оказалось надуманным, угроза — мнимой, и его скоропалительная поездка на юг в душном поезде с полубессонным бредом искупалась сейчас видом милых шаловливых детей, исполненных торжества родителей, желтоватым, очень простым, без прикрас, фасадом школы, деревьев, длинной пристройки с высокими окнами, где, видимо, размещался бассейн или спортивный зал.

Он дождется, когда выстроятся, наконец, ряды, возрастая от крошечных, с большими головами, первоклашек, до десятиклассников, почти уже юношей и девушек, исполненных свежего, пленительного обаяния. Прозвучит приветственная речь директрисы, властной матроны с мегафоном. Побегут первоклашки дарить учителям свои букеты. Резко и призывно раздастся звонок, увлекая детей в широко распахнутые двери школы. Матери и отцы, иные с грудными детьми, бабушки и дедушки, помолодевшие и упоенные, станут покидать школьный двор. А он отправится в какой-нибудь

ресторанчик, в кавказскую харчевню все с тем же лубочным Святым Георгием на стене. Съест шипящее, смуглое мясо, запивая красным вином. И мир вокруг покажется осенним натюрмортом, — золотисто-фиолетовым, как спелая дыня, лежащая рядом с гроздью винограда.

Успокоенный, он рассеянно и умиленно рассматривал людей, их ярко выраженный расовый облик. Словно во всех этих женщинах, мужчинах и детях был отпечаток единого лика, — их праотца. С большими глазами, черным блеском волос, смугло-румяной кожей, с величественной статью прекрасный

наездник доскакал до кавказских гор, поразил копьем кольчатого змея и остался здесь жить, дав потомство породистых красивых людей.

Он переводил взор с лица на лицо и вдруг увидел рядом худого сутулого старика в черной широкополой шляпе. На пиджаке у него пестрела орденская колодка, худая шея высовывалась из просторного ворота плохо разглаженной рубашки, впалые щеки светились мелкой седой щетиной. Стрижайло замер, как замирают, услышав гул высокой, начинавшей сходить лавины. Этот старец был явлен на подбородке Потрошкова, как смутное изображение замышляемого

злодеяния. Сверхчеловеческий разум злодея обладал способностью заглядывать в будущее. Выхватывал из него еще несуществующие образы.

Стрижайло вел по толпе глазами и вдруг увидел молодую пышную женщину в тесном сиреновом платье, под которым высоко вздымалась грудь с проступавшими сосками и выпуклый живот с углублением пупка. Черные волосы женщины стягивала усыпанная блесками косынка, а в петлице красовался искусственный, розовый цветок мальвы с темными тычинками. Это был второй знак беды, упомянутый Человеком-Рыбой в его сомнамбулическом повествовании.

Гул сходящей лавины приближался. Воздух начинал дрожать и вибрировать. На солнце легла мутная тень.

Стрижайло вел глаза, обреченно догадываясь, что через секунду увидит. Маленький мальчик в брючках, в пиджачке, в трогательном галстучке с трудом держал непомерно большой портфель, на котором была приклеена аппликация, — ярко-желтый утенок с раскрытым клювом и смешными выпученными глазами. Знаки беды были собраны, выстроены в последовательность, в которой стремительно осуществлялось будущее. Обессилив, с

остановившимся сердцем, он чувствовал неотвратимую неизбежность событий.

На школьный двор, вынырнув из-за угла, вломился тяжелый грузовик, крытый тентом. Уродливо, как в гримасе, вывернул колеса. Двери кабины раскрылись, выскочило трое, все в камуфляже, черных масках с прорезями, в которых бешено блестели глаза. Размахивая автоматами, побежали в разные углы двора. Из-под тента выпрыгивали люди, пятнистые, как тритоны. Упруго ударяли ногами в землю, стреляли в воздух, издавая визги.

«Случилось...

Роковое,

смертельное...» — отрешенно подумал Стрижайло, чувствуя, как косо сместился мир, срезанный невидимой бритвой. Ввергаясь в слепую неизбежность, он бессильно оцепенел.

Налетчики мчались по двору, охватывая кольцом, били поверх голов очередями:

— Бляди!.. Суки ебаные!.. В башку стрелять будем!..

Наваливались на людей, пинали детей ногами, били прикладами. Гнали к открытым дверям школы. И уже раздавался нечеловеческий женский вопль, поднимался детский плач, неслись визги. Ряды школьников ломались, их сметало

к школе, в дверях была давка. Девочку в разорванном платье вытаскивали из-под ног. Женщина с грудным младенцем упала на землю, ее поднимали, волокли за собой. Очереди били по верх голов, расшибали стекла первого этажа, оставляли на штукатурке рыхлые дыры.

— Пидорасты ебанные!.. — перед Стрижайло вырос камуфлированный стрелок, — ноги расставлены, в черной маске — белки, наполненные розовой кровью, один рукав пуст, в другой — автомат дрожащим стволом вверх, рассылает пульсирующий грохот. Воздух, разрываемый пулями, ударял в лицо Стрижайло. Эти тугие

пощечины повергли в ужас. Он согнулся, закрыл затылок ладонями, побежал, гонимый очередями, мешаясь с другими людьми, — с их визгом, воем, растерзанной одеждой, обезумевшими лицами. Дети падали, взрослые их подхватывали, вносили в растворенные двери, заполняя высокое пространство спортивного зала, в окна которого светило чистое спокойное солнце.

Стрижайло оказался в зале, стиснутый многолюдьем. Толпа, набившаяся в помещение, бурлила, вскипала, толкалась о стены. Люди все прибывали, закупоривали двери, вламывались в зал, подгоняемые криками и стрельбой. Толпа была

жаркой, сильной, насыщена
инстинктами, — страхом,
материнством, животной жаждой
жить, яростным ропотом и
стенанием. Казалось, она очнется от
первого ужаса, расширится,
проломит стены и разбежится,
наполняя воздух криками гнева,
воплями поруганной плоти.
Стрижайло был готов метнуться
обратно, уповая на силу и крепость
ног, стремительность бега, на удачу,
которая сопутствовала ему всю
жизнь и не могла оставить в этом
кавказском городке, куда привела его
фантастическая, невыполнимая
мысль, — помешать роковому
свершению, неборимому

дьявольскому замыслу. Он стал пробираться к окну, но его не пускали. Было тесно от разгоряченных женских и детских тел, которые источали душные запахи страха.

В зал, расталкивая толпу, втиснулся террорист, заорал, стараясь перекричать истошные вопли. Поднял автомат, выпуская в потолок длинную очередь. Стихло. Кое-где попискивали малые дети.

— Всем сукам — к стенам!.. Середку очистить!.. — орал сквозь маску губастый рот, наркотически блестели белки. — Буду пузо дырявить! — он косноязычно кричал, шагая в толпе, распахивая ее на две

стороны. Шел широко, ударяя кулаком в попадавшихся людей, долбя в потолок, рассыпая медные блески.

Толпа, ахнув, распалась. Освободила пустое пространство, крашенные доски пола, по которым шагал террорист. Притиснулась к стенам с высокими окнами. Стрижайло хотел укрыться среди стенающих тел, стать незаметным, заслониться от свирепой пальбы, от безумных наркотических глаз. Чувствовал, как иссякает энергия толпы, как подчиняется она жестоким приказам. Перестает быть толпой, распадаясь на множество отдельных, страшущихся жизней,

среди которых была и его, Стрижайло.

В двери вбегали террористы с тюками и сумками. Кинули у входа, стали распаковывать. Извлекали завернутые в полиэтилен свертки, связки проводов, коробки. Все это тянули, раскатывали, пробрасывали по залу провода, ловко вставляли их в пакеты и ящики. Шло минирование зала. Люди ошалело, заморожено смотрели, как их окружают взрывчаткой, укрощают их истерику, порыв к свободе, возможность протеста и бунта. Взрывчатка оказывалась в самой гуще детей, среди портфелей, пиджачков, девичьих блузок. От нее отступали,

пятились. Толпа притискивалась к стенам, сдавливалась, ограниченная вьющимися на полу красными, зелеными, серыми проводами, свертками полиэтилена, сквозь который желтела похожая на замазку взрывчатка.

— На пол!.. Сесть!.. — командовал все тот же истерический боевик. Схватил за ворот мужчину, рванул вниз, усадив на пол. Надавил ладонью на стриженую макушку мальчика, вдавил в пол. — Крысы, на пол!.. — вел стволом по головам, и толпа опускалась, бессильно опадали, как огромное изнемогающее животное, которому подрезали поджилки.

В торцах зала на стенах висели две баскетбольные корзины. К ним боевики старались подвесить взрывчатку. Забрасывали провода, промахивались, нервничали, снова забрасывали. Выбрали из толпы нескольких подростков. Понукая автоматами, погнали к корзинам. Те словно обрадовались поручению. Осчастливленные доверием, подхватили двое одного, подняли верх, и тот ловко закрепил в корзине упаковку с зарядом. Стрижайло отметил, с каким прилежанием действуют подростки, как хочется им услужить захватчикам, добиться их благодарности, этой услугой отвоевать себе жизнь и свободу.

Стрижайло сидел на полу, окруженный народом. Две девушки-старшеклассницы тесно прижались одна к другой, напоминая двух испуганных, темноглазых козочек. Молодая мать, выставив из-под юбки разбитое в кровь колено, прижимала к груди голову сына. Закрывала ладонью его лицо, спасая от ужасных зрелищ. Сквозь пальцы с обручальным кольцом затравленно мерцали детские, полные слез глаза. Повсюду были ошеломленные, с дрожащими губами лица, — вздохи, сдавленные стоны, невнятный ропот. В разных местах зала вдруг начинали плакать дети. Вопль обрывался, мать прерывала крик поцелуем.

Теперь, когда казавшееся невозможным случилось, и нависшая лавина сошла, перемолов и изувечив это солнечное сентябрьское утро, и он оказался внутри невозможной, неправдоподобной реальности, сулившей нарастание ужаса, и завершающий, неизбежный кошмар, — Стрижайло старался умерить охватившую его панику. Пытался обрести равновесие, способность наблюдать и оценивать.

Захватчиков было два или три десятка. Налет был совершен с приемами волчьей стаи, нападающей на бестолковое стадо, когда хищники, воздействуя страхом и рыком, направляют стадо в загон, где

оно, стиснутое и напуганное, оказывается в полной власти захватчиков. В зале действовал десяток боевиков. Другие мелькали за окнами, занимая оборону снаружи. Третьи сновали в школе, иногда появлялись во внутренних дверях спортивного зала, опять исчезали, перетаскивали тяжелые тюки. Взрывчатку устанавливали не наугад, а так, словно заранее знали планировку зала, — вдоль стен, под подоконниками, на баскетбольных корзинах, на подвесном металлическом тросике, от корзины к корзине, вдоль всего потолка. Взрыв, если он случится, произойдет по всему периметру зала, обрушит

стены и кровлю, растерзает все скопившее множество. Мысль, что незащищенная плоть, мягкотелые женщины и хрупкие дети будут разорваны огнем и железом, вновь повергла Стрижайло в панику, приблизила обморок.

Тот, кто расслоил зал надвое, и в ком играло жаркое бешенство, пошел через головы сидящих, наступая бутсами на руки и ноги, вызывая крики боли. Приблизился к окну и ударом ствола разбил стекло, осыпая осколки на сидящих.

— Зачем? — спросил сидящий старик, тот самый, кого первым углядел в толпе Стрижайло, уже без шляпы, со стриженной седой

головой, с колодками, ядовито пестревшими на пиджаке. — Зачем бить? Ремонт был.

— Заткнись, кобель старый!.. Мы тебя не замочим, а твои замочат!.. Газом потравят, как Гитлер жидов!.. Тебя, мудака старый, от газа спасаю!.. — он шел от окна к окну, ногами расшвыривая мешавших детей. Ударял в стекло, водил стволом, звеня осколками, осыпая острые клинья на детские головы. Стрижайло видел, как мальчик схватился рукой за щеку, из-под ладони обильно текла кровь.

Снаружи стреляли. Боевики, окружавшие школу, вели беспорядочный огонь. Рассылали

очереди по окрестным дворам, вдоль
улицы, обстреливали
железнодорожную насыпь, по
которой медленно проходил состав, и
машинист тепловоза с удивлением
смотрел из кабины.

Все было продумано и
просчитано. Обнаруживало план.
Говорило о замысле, который
родился не у этих подвижных,
организованных, слаженно
действующих исполнителей, а в
чьей-то другой голове. Прозорливая,
беспоощадная, холодная, она
управляла не этим захватом, а
громадными пластами событий, о
которых не ведали люди в
лягушачьей униформе. Стрижайло

узнавал эту голову с холодными глазами, бледным, чуть влажным лбом, тяжелым подбородком, наполненным разноцветной слизью. Ему казалось, Потрошков наблюдает за всем по незримому световоду, отсчитывает по хронометру время.

В зале появился однорукий боевик с приколотым рукавом. Медленно шел вдоль сидящих, останавливался, тыкал стволом автомата:

— Ты!.. Ты!.. Ты!.. — указывал на мужчин, приглашая встать и выйти. — Ты!.. — он ткнул в Стрижайло, задержав на нем выпуклые, словно выдавленные из прорезей глаза. — Ты кто? Осетин?

Русский? — спросил он.

— Зачем захватили людей? — спросил Стрижайло.

— Вы не люди, вы крысы. Людей в Чечне убивают, такие, как вы, крысы. Чего сидишь, выходи!..

Осторожно переступая через сидящих, стараясь не задеть провода, Стрижайло вышел на пустое место. Вместе с ним поднялось восемь мужчин, растерянных, понурых, стыдящихся своей беспомощности и пугливости.

— Туда, — однорукий указал на внутреннюю дверь. — Принести столы, стулья, разный шультуль-мультиуль. Заложить окна. Бойницы оставить. Будем ваших ментов

мочить! — и погнал их из зала.

Покинув зал, они оказались на первом этаже школы, в длинном коридоре с рядом дверей, за которыми размещались классы. Из дверей то и дело появлялись тритоньи мундиры, боевики тянули провода, тащили свертки, продолжали минировать здание. Дверь в «учительскую» была приоткрыта. За столом, в полуобороте, сидел человек без маски, с круглой лобастой головой, крепким носом, холодными насупленными глазами. На его руках красовались щегольские кожаные перчатки без пальцев. На столе, стволом в разбитое окно, лежала

снайперская винтовка. Боевик брал ее, прицеливался в окуляр, гладил спусковой крючок и, не сделав выстрела, возвращал винтовку на стол. Рядом стояли две женщины, обе в черном, с занавешенными лицами. Над пелериной, прикрывавшей нос и рот, виднелись глаза, длинные, блистающие, наполненные слезным блеском. У обоих в руках были пистолеты, белые холеные пальцы с маникюром сжимали вороненую сталь. Их талии уродливо охватывали пояса с набитыми карманами, из которых торчали провода, и казалось, — это из внутренности, цветные жилки вен и артерий, бандажи и катетеры. Красота и

свежесть молодых глаз и уродство бандажей создавали впечатление патологии, которую болезненно отметил Стрижайло. Женщины что-то страстно и гневно говорили боевику за столом, видимо, по-вайнахски. Указывали пистолетами в сторону спортивного зала. Боевик хмуро слушал, иногда резко огрызался. Брал винтовку, целился и снова откладывал.

— Бабы детей жалеют. Наших детей не жалели, — однорукий конвоир растворил дверь в класс. — Крысы, работать!.. — толкнул стволом мужчину в белом костюме, в сиреневой рубашке и цыплячьего цвета галстук. Еще недавно,

собираясь на праздник, тот выглядел франтом. Теперь же костюм был замызган, волосы спутаны, на щеке виделась царапина. Они вошли в класс, примериваясь к тому, что бы могло послужить материалом для баррикад.

Класс был приготовлен к занятием, стены покрашены, на окнах цветы, аккуратные ряды учебных столов и стульев. На стенах, застекленные, в рамках, висели портреты писателей, — Пушкин, Лермонтов, Толстой, Достоевский, Чехов. Хрестоматийные, знакомые лица воспринимались Стрижайло не как создатели великих творений, а как напоминание о школе, об уроках

литературы, о преподавателе, похожем на разночинца, с костлявыми пальцами в фиолетовых чернилах. И в этот сентиментальный мир ворвалась свирепая, сокрушительная сила, испепеляя тонкие переживания и наивные чувства, делая портреты неуместными и нелепыми.

— Берем, — обратился к Стрижайло мужчина в белом костюме, хватаясь за край стола, — Бежать надо. Все равно всех убьют.

Стрижайло ухватился с другого конца. Пятясь, потянул стол из класса. Минуя учительскую, где все еще спорили о чем-то женщины и боевик в перчатках, внесли стол в

спортивный зал. Держа навесу, над головами сидящих, водрузили на подоконник, заслоняя плоскостью часть проема.

— Бежать надо, — повторил мужчина в белом, всматриваясь в окно. На дворе было пусто. Из-за угла соседнего дома выглядывали какие-то люди. Боевики из окон школы посылали короткие очереди, заставляя наблюдателей прятаться.

Другие мужчины затаскивали столы, сооружали баррикады в окнах, закладывая проемы книгами, которых было в изобилии в застекленных шкафах. Стрижайло прочитал на обложке — Новиков-Прибой, «Цусима». И опять

болезненно изумился
несоответствию двух миров, один из
которых, беззащитный и утлый, был
пронзен другим, остервенелым и
жутким.

В зале, среди разместившихся на
полу людей, сквозь детские плачи
начинали раздаваться нежные
курлыканья, переливы, музыкальные
перезвоны. Это наигрывали свои
мелодии мобильные телефоны.
Видно, весть о захвате школы уже
разнеслась по городу, и
встревоженные жители искали своих
близких. Женщина в сиреневой
косынке извлекла из сумочки
звонивший телефон, ткнула в
клавишу, запричитала:

— Ой, Рима, это я, Лариса!.. Такой ужас!.. Нас захватили!.. Не знаю, кто захватил!.. Гошечка рядом со мной!.. — она гладила по голове бледного черноволосого мальчика, — Да сделайте же вы что-нибудь!..

К ней подскочил боевик, вырвал телефон, швырнул на пол:

— Пулю в башку захотела, сука? Щенку твоему руку отрежу! — мальчик отшатнулся, беззвучно заплакал, дрожа губами. Слезы его ярили захватчика. — Заткнись, щенок! — больно ударил мальчика по уху, тот упал на грудь женщины, а она заслонила его своим полным локтем. — Всем слушать! — кричал боевик, воздев автомат. — У кого

мобильники, кидайте на чистый пол!.. Даю пять минут!.. У кого найду мобильник, расстрел на месте! — пустил в потолок очередь, осыпая прах.

Из сидящей толпы полетели мобильные телефоны. Падали, скользили по полу. Боевик ногой подталкивал их в кучу. Их было много, маленьких, темных, напоминавших морские раковины. Перламутровые, глазированные, в кожаных чехольчиках, они продолжали звенеть, озарялись голубоватыми вспышками. Стрижайло вытащил свой мобильник, кинул в общую груду. Боевик подскочил к телефонам и

стал их давить каблуками. Телефоны хрустели, как раздавленные ракушки, в каждой из которых погибал моллюск, излетала малая загубленная жизнь.

Боевик, давивший телефоны, давал выход кипящему бешенству, природой которого была опасность, возможная скорая смерть, абсолютная власть над толпой, раздражавшей его своими жалостливыми, скулящими звуками. Мальчик, которого он ударил, продолжал беззвучно плакать, бледный, жалкий, причиняя боевику страдание видом своей худой синеватой шеи. Его хотелось раздавить, как мобильную

безделушку, чтобы треснули хрящики
шеи и исчез источник раздражения.

— Заткнись! — боевик выдохнул
из маски душную ненависть. —
Заткнись, говорю! — вытянул
сильную руку, приставил тяжелый
ствол автомата к трясущейся голове
ребенка. Рука дрожала, готовая
нажать на спуск. Через зал,
скользящим шагом, словно
чернокрылая птица, кинулась к нему
опоясанная взрывчаткой женщина.
Приставила к его виску пистолет.
Что-то визгливо выкрикнула. Так они
стояли секунду, — боевик приставил
автомат к детской голове, женщина,
сверкая длинными злыми глазами,
уперла пистолет в черную маску

боевика. Тот отвел автомат, плюнул. Пошел прочь, невнятно ругаясь. Женщина качала головой, шла вдоль рядов, вглядываясь в детей, издавая странный звук тоскующей птицы. Казалось, ее лоно, опоясанное пластиком, жалобно откликалось на страдание детей.

Понукаемые безруким, Стрижайло и другие мужчины продолжали перетаскивать мебель для строительства баррикад. Вместе с франтом в белом наряде протащили ношу мимо учительской, где женщины продолжали что-то шумно втолковывать снайперу, бранились и спорили. Другие носильщики застряли в дверях, пытаясь

протиснуть неудобный стол. Когда Стрижайло с напарником уже были в зале, в коридоре грохнули два взрыва. Тугая волна пролетела сквозь дверь, толкнула в грудь. Стрижайло выпустил стол, больно ударивший в ногу. Выглянул в коридор. Там висела пепельно-розоватая дымка, — гарь взрывчатки и кровавая роса. На стене были две огромные красные кляксы с прилипшей жижей. Красная слизь была на полу, потолке, разбрызгалась по всему коридору. Валялись обрывки мокрых черных одежд, женская туфля, в которой кровенела оторванная стопа. Бесформенные, словно попавшие под поезд, лежали груды костей и мяса. Пахло мясными

рядами, где навалена парная говядина. В дверях учительской стоял снайпер. Руки в обрезанных перчатках сжимали крохотный пульт, которым он подорвал «шахидок». Тут же корчились на полу раненные носильщики. Один из них, усатый осетин, жалобно выл, поддерживая перебитую руку. Другой, одутловатый и лысый, лежал навзничь, мелко тряся, изо рта текла кровь.

— Чего вылупился, блядь, — произнес снайпер беззлобно и тихо. — Хочешь, тебя подорву? — на его лобастом, в горном загаре лице блуждала улыбка блаженства. Стрижайло отпрянул обратно в зал, подсел к другим на пол.

Подумал, — прошло достаточно времени, чтобы о захвате узнали в городе. Уже бьют тревогу в милиции. Подтягивают солдат. Выезжают «бэтээры», неся на борту спецназ. Уже создан штаб, где генералы планируют штурм. Полетели шифровки в Москву, телефонные звонки Президенту. В новостных программах радио и телевидения появились сообщения о теракте, сбивчивые версии, подсчет террористов, заложников. Скоро к школе подтянутся боевые отряды, прогрохочут танки, раздастся рокочущий вопль мегафона, начнутся переговоры. И, быть может, удастся убедить террористов освободить

детей, оставить в заложниках взрослых, и библейская бойня не состоится.

Так думал он, вслушиваясь в редкие очереди, которыми захватчики отгоняли зевак. Не было танков. Не было «альфы» в титановых шлемах. Не было мегафонов. «Силовики», которыми управлял Потрошков, и захватчики, совершившие налет по его указанию, были на равных. Встроены в план Потрошкова, получали команды из единой, непревзойденной в кошмарных замыслах головы, — готовили убийство детей.

Становилось жарко. Солнце широкими косыми потоками

проливалось в зал, светило на сидящих людей, медленно перемещалось по детским головам, словно выжигало их. Дети просили пить. Матери накрывали детские головы носовыми платками, косынками. Обращались к захватчикам за разрешением пойти в туалет и напоить детей. В ответ раздавался рык, вытягивался в сторону просившей вороненый ствол автомата.

Боевики непрерывно перемещались по школе, устанавливали минные ловушки, устраивали амбразуры у окон, переносили амуницию и взрывчатку. Взмокли, поснимали черные,

обтягивающие головы маски, некоторые совлекли камуфлированные куртки, оставшись в майках. Стрижайло их мог рассмотреть. Это были молодые мужчины, сухощавые и подвижные, с наметанными взглядами и движениями спецов, умевших обращаться с оружием и зарядами. Действовали так, словно школа была им знакома. Все их действия были расписаны, подчинены продуманной схеме. Каждый имел свое место, свою работу. Их расовый тип отличался от черноволосых, сочных, волооких осетин. Они были худы, длиннолицы, рыжеватой масти, некоторые почти белесы, почти

славянского вида. Изъяснялись между собой на непонятном горском наречии, к заложником обращались по-русски, с характерным кавказским косноязычием. Они были ингуши или чеченцы, и у всех было похожее выражение лиц, — деятельное, озабоченное, направленное мимо страдающих заложников, к какой-то, им одним понятой цели, к которой они стремились, не желая видеть в заложников подобных им людей, а лишь необходимый и обременительный материал, который служит достижению цели. Так погонщики обращаются с коровьим стадом, направляя животных на

бойню, уже не жалея, не скупясь на удары и окрики, торопя на заклатие.

Стрижайло сидел на горячем свету, окруженный изнывающими от солнца детьми. Некоторые обморочно раскрыли рты, другие погрузились в сонную неподвижность, третьи вздрагивали, удерживая всхлипы. Тонко светился металлический тросик, пропущенный через весь зал, от одной баскетбольной корзины к другой. На равных расстояниях на тросике весели кульки, соединенные проводами. Провода опутывали заряды, подвешенные к корзинам, спускались вдоль стен к полу, змеились у плинтусов под окнами,

среди сидящей толпы. Сходились все в одно место, где на стуле, один, восседал боевик, бритый наголо, носатый, с рыжей бородкой. Держал толстокожий ботинок на педали, напоминавшей автомобильный насос. Это был взрыватель, — нажатием башмака приводилась в действие вся система зарядов, способных превратить пространство зала в огненный ад.

Стрижайло услышал, как внутри школы прозвучали выстрелы. Сначала одиночные, затем очереди, и снова несколько одиночных. Появился боевик, которого Стрижайло окрестил: «Однорукий». Без маски, с короткой, боксерской

стрижкой, с лицом, на котором была смещена ось симметрии. Нос съехал на сторону, губа наплыла на губу, наискось проходил уродливый шрам. Следы одного большого ранения, унесшего руку, исказившего лицо, поселившего в злых зеленых глазах неисчезающую подозрительность и тревогу.

— Давай ко мне! — приказал он Стрижайло, подымая его с полу, — Слышь, двигай сюда! — отыскал он в толпе осетина в белом костюме. Погнал обоих из зала, толкая в спину стволом.

В школьном коридоре все так же стоял запах парного мяса, кровенели на стенах кляксы, прилипла слизь.

Но останки женщин были убраны. В углу, накрытая брезентом, высилась груда, из-под грубой ткани на пол вытекал черный, густеющий ручей.

Дверь в учительскую была открыта. «Снайпер», — так окрестил Стрижайло боевика в учительской, — без куртки, в армейской зеленой майке, стоял и разговаривал по мобильнику.

— На хуй мне ваш мэр-педераст!.. Пусть сюда явятся два педераста Дзасохов и Зязиков, мы им в глаза посмотрим. Мы, блядь, не шутки шутим. Через сорок минут пусть оба педераста придут. И никакого, блядь, штурма, — здесь будет атомный взрыв! — захлопнул

створку телефона, удовлетворенно улыбнулся. Стрижайло заметил на столе, где лежала винтовка, рядом с букетом цветов, — маленький пульт с кнопкой, — тот, которым были взорваны женщины.

— Давай, козлы, шевелись. — «Однорукий» указывал автоматом на дверь, ведущую в класс. У порога лежали два осетина, которых накрыла взрывная волна. Усатый, с перебитой рукой, и лысый, одутловатый, с окровавленным ртом. Оба были мертвы. Во лбах чернели пулевые отверстия, под затылками блестели лужи, красные, как компот. В классной комнате у стены, завалившись, лежали другие четыре

носильщика. По стене была прочерчена дырчатая бахрома от пуль. Стекали мазки крови. Из застекленных рам воодушевленно, вдохновенно смотрели — Пушкин с бакенбардами, Толстой с патриархальной бородой, Чехов пенсне и галстук-бабочке, Достоевский с запавшими висками. Они не замечали происшедшего, были погружены в «разумное, доброе, вечное», ради чего их принесли в этот солнечный класс. И это усиливало ужас случившегося, перемещало его в область помешательства.

— Зачем убили? — спросил конвоира осетин в белом.

— Любопытный, да? Федералы должны узнать, что мы не в нарды играть приехали. Наши женщины уже в раю с Аллахом. А ваши мужики сдохлыми крысами на помойке. Тащите их на второй этаж и выкидывайте на хуй из окон.

Окна первого этажа были зарешечены, и тела можно было выкинуть лишь чрез окна второго этажа, свободные от решеток.

Стрижайло наклонился над молодым красивым мужчиной, у которого в приоткрытых губах сиял золотой зуб. Ухватил за мускулистую волосатую руку с часами, продолжавшими идти уже двадцать минут, после того как их хозяин

умер. Рука была теплой, эластичной в плече. Но когда Стрижайло потянул, голова стала откидываться, из-под спины обильно полилась кровь, так что Стрижайло едва успел отскочить, чтобы ручей не запачкал туфлю.

— Не так, — произнес напарник. — Станем, как мясники, — он осмотрел свой белый костюм, представляя белую ткань, залитую кровью. — Надо дверь снять с петель. Будут носилки.

Вдвоем, не без усилий, они сняли с петель дверь, на которой была табличка «4-А класс». Положили на пол рядом с убитыми. Переволокли мужчину с золотой

фиксой, так что спина его закрыла табличку. Конвоир с любопытством наблюдал за ними, не мешал, не понукал. Видно, ему было интересно, сумеют ли они перенести тела, не испачкавшись кровью.

— Берись! — сказал напарник. Он впереди, Стрижайло сзади, — подняли тяжелую ношу, держась за углы, понесли. Убитый чуть колыхался при движении. Из него на дверь продолжала натекасть кровь. Пролилась на пол, оставляя дорожку капель.

Ступая по лестнице, Стрижайло приподнимал свой край носилок, чтобы тело не соскользнуло. Боялся, что накопившаяся под спиной кровь

разом хлынет на него.

На втором этаже они внесли убитого в класс, — точное подобие первого. Лишь на стенах висели портреты знаменитых ученых, — Ломоносов с кудряшками, Мичурин в мягкой шляпе, Павлов в маленьких очках, Курчатов с холеной бородой. Все они многозначительно, едва ли ни с одобрением, смотрели, как появляются визитеры, — опускают дверь с мертвецом на ученический стол, открывают окно.

Со второго этажа был виден пустой школьный двор, на котором лежали оброненные букеты. Железнодорожная насыпь с зелеными касками солдат, осторожно

выглядывающих. Улица, по которой на огромной скорости промчался военный «джип». Какие-то гражданские, возбужденные люди, вооруженные, перебежавшие, представлявшие собой отличную мишень.

Стрижайло стоял у окна, вдыхая горячий воздух, не прячась, напоказ, ожидая, что из-за насыпи ударит короткая вспышка, и прилетевшая пуля погасит этот слепящий свет, сухое поблескивание двора с букетами, все пережитое в эти несколько ужасающих часов, избавит от неминуемого, предстоящего кошмара, в который, как в воронку, всасывается вся его яркая, неистовая,

не имеющая объяснения жизнь.

— Что выставился, козел! —
окрикнул его «Однорукий», —
Давай, вали жмурика!

С напарником Стрижайло
приподняли со стола дверь,
положили одним концом на
подоконник. Двинули из окна.
Приподняли другой край. Мертвец
мягко соскользнул, шлепнулся о
землю, издав резиновый звук. Дверь
была пустой. На ней открылась
табличка «4-А класс», розовая и
мокрая. По наклону, на улицу
продолжали сбегать две резвые
красные струйки.

— Они нас тоже убьют, —
произнес осетин, когда они

спускались на первый этаж. — Или бежать сейчас, или они нас кончат.

То же самое они проделали со вторым убитым, маленьким, коротконогим толстячком, у которого из-под рубахи выглядывая волосатый живот с пупком, а на расстегнутой груди висела нетолстая золотая цепь. Внесли на второй этаж. Стрижайло заметил, что люди в отдалении наблюдают за ним, указывают руками.

Второй мертвец упал вслед за первым, издав похожий, гуттаперчевый звук. Теперь они лежали у стены, один на другом, в нелепых позах. Стрижайло, вместо страха и отвращения, испытал

недоумение, — еще два дня назад он был в своей великолепной квартире, наливал себе в толстый стакан золотистый виски, ставил в проигрыватель диск с любимым Скарлатти. Фортепьяно в сочетании с легким опьянением вызывала световые галлюцинации, — бег солнца по воде. А теперь он — член похоронной команды, и у стоящего рядом с ним осетина на белом пиджаке пятно брусничного цвета.

— Надо прыгать. Не высоко. На мужиков приземлимся нормально. Иначе кончат обоих, — произнес осетин, когда они спускались по лестнице, и конвоир приотстал.

Они перенесли еще троих,

вываливая их в окно, как кули. Люди снаружи ждали их появления. Кто-то смотрел в бинокль, — Стрижайло заметил две колючие белые вспышки.

Когда, уставшие, они поднимали наверх последнего мертвеца, лысого, сначала контуженного, а потом добитого боевиками, осетин сказал:

— Ты как хочешь, я буду прыгать. Может, и не убьют. А здесь и так замочат.

Стрижайло подумал, что напарник прав. Второй этаж был весьма высок, но падение могла смягчить гора мертвецов. А там, виляя, уклоняясь от выстрелов, можно кинуться за угол, взобраться на насыпь, укрыться среди солдат,

которые станут стрелять, прикрывая беглецов. Но что-то мешало решиться. Тот огромный, наполненный детьми и женщинами зал, от которого исходила таинственная гравитация боли. Он не мог ее одолеть, был ею затянут, — уже тогда, когда торопился по вечерней Москве на поезд полный предчувствий. Ехал в вагоне среди лесов и равнин, приближаясь к загадочной зоне. Катил на такси, вовлекаемый в незримый поток, рассматривая южные домики. Бежал по двору, сметаемый стрельбой и криками. Всасывался в зал, мешаясь с безумной толпой. Эта гравитация боли не пускала его, принуждала

остаться. Он не ответил осетину.

Они поднялись на второй этаж. Под одобрительными взорами знаменитых ученых затащили на подоконник край двери, где торчали ноги в заостренных туфлях и сиреневых нелепых носках. Конвоир отвлекся, — прислонил к стене автомат, что-то доставал из кармана единственной рукой. Дверь наклонилась, сбрасывая вниз рыхлое тело. И следом на подоконник вскочил осетин, мелькнули обтянутые белыми штанами ягодицы, и он провалился вниз. Было слышно, как что-то хлюпнуло. Не подходя близко, Стрижайло видел, как бегущий появился на пустом дворе,

пересекал его прытким бегом. Однорукий схватил автомат, оттолкнул Стрижайло, стал бить с руки вслед беглецу, подымая вокруг солнечные фонтанчики пыли. Прوماхивался. Белый костюм мелькнул на зеленой насыпи и исчез. Несколько выстрелов прозвучало издалека, пули проверещали высоко над крышей.

— Бежать хотел, крыса! — охранник приставил горячий ствол автомата к горлу Стрижайло. Рваные губы его тряслись, шрам наполнился свекольно-фиолетовым цветом. — С пулей в башке побежишь!

— Оставь его, — раздался голос в дверях. Там стоял Снайпер, в

перчатках, спокойный, ироничный. — Один сбежал, хорошо. Пусть федералам расскажет, сколько у нас их баб и щенков. А то уже врать начинают. Говорят по телевизору — сто тридцать шесть заложников. А тысячу не хотите, собаки?

Однорукий убрал автомат. Матерясь, отвел Стрижайло в зал, пихнул в скопление заложников.

Он снова сидел в толпе, среди непрерывного шевеления, плачей и возгласов, окруженный множеством голов, на которые лилось одуряющее, жгучее солнце. Было ощущение, что он оказался среди библейского племени, которое изгнали с насиженных мест, ввергли в

пустыню, где оно изнемогает от жажды и пекла. Опустилось, обессиленное, на бархан, в ожидании мучительной смерти. Еще возникало ощущение перрона, во время войны и нашествия, где множество беженцев, обездоленных детей и женщин, ждут эшелон, не веря, что он придет, обреченно всматриваясь в накаленную до блеска колею.

Боевики менялись у амбразур, поправляли непрочные баррикады. Менялся и тот, кто контролировал все, соединенные проводами заряды, держал стопу на педали взрывателя. Лысого, с бугристой головой и толстым затылком, сменил щуплый, почти юнец, с бегающим взглядом и

рыжеватыми усиками.

Заложники страдали от жажды, от невозможности пойти в туалет. Женщины упрашивали конвоиров позволить им встать и выйти, показывали на плачущих детей. Их грубо обрывали, грозили автоматом, некоторых, пытавшихся встать, толкали на место ногой. Наконец, Снайпер, выглядевший главным начальником, распорядился отводить заложников небольшими группами в глухую, без окон, раздевалку, где им позволялось под присмотром конвоиров совершать мучительное действие. Когда туда, наконец, был отведен Стрижайло, все уже было залито мочой, покрыто

испражнениями. Было невозможно дышать. Женщины, с которыми его отвели в раздевалку, не глядя на Стрижайло, приседали, громко журчали и булькали. Возвращались в зал, оставляя на полу мокрые следы.

В груди мобильных, на которых потоптался конвоир, время от времени начинал звонить уцелевший телефон. К нему тот час подбегал террорист, давил башмаком, добивал подранка. Гасил голубоватое зеркальце, огоньки светящихся кнопок. Стрижайло показалось, что он слышит свой телефон, — несколько фраз сентиментальной неаполитанской мелодии. Кто-то разыскивал его в мироздании.

Конвоир, в пятнистых брюках, в рубахе с мокрыми подмышками, подошел и ударом каблука оборвал этот неопознанный зов.

Ближе к вечеру, когда солнце исчезло, и небо закрыла туча, на дворе перед спортивным залом загудел мегафон. Лающие, рокошующие звуки катились в душном воздухе, проникали в зал, создавая неразборчивое эхо. Это было неожиданно. Было свидетельством того, что снаружи о них знают и думают, ищут с ними связь, желают помочь.

Стрижайло в металлическом рокоте различал отдельные фразы:

— Доставить гуманитарную

помощь... Детей и женщин...
Питьевую воду и продовольствие...
Хорошо известный доктор Рошаль...

В зал пришел Снайпер, держа
возле уха мобильник. Не
высовываясь, не подходя к окну,
выглядывал во двор, слушал
вибрирующие звуки.

— Какого хуя ты прислал
матюгальник? — услышал
Стрижайло, — Я тебе сказал,
никаких переговоров с педерастами.
На хуй мне этот жид из Москвы?
Давай Дзасохова и Зязикова. Они
что, перебздели? Предупреждаю,
здесь будет гора трупов! — отключил
телефон. Смотрел на заложников
блуждающими, незлыми глазами,

словно любовался доставшимся ему богатством.

Мегафон умолк. Непрерывное голошение в зале не позволяло слышать звуки снаружи. Лишь иногда гудел автомобильный двигатель, или слышался стук проходящего по насыпи поезда, или звенел пролетающий в стороне самолет.

Он увидел, как террорист извлек из кармана штанов легкий, из зеленого шелка, платок. Расстелил на свободном пространстве, под металлическим тросиком с висящей бомбой. Положил автомат. Опустился на колени и стал совершать намаз, — застывал, заслоняя ладонями лицо. Стремительно падал вниз, касаясь

платка лбом. Замирал в благоговейном поклоне. Вновь распрямлялся, закрыв глаза. Что-то беззвучно шептал, заслоняя лицо ладонями. В толпе молились заложницы. Снимали с груди ладанки и серебряные крестики. Целовали, воздевая мокрые от слез глаза. Возносили молитвы, принуждая молиться детей. Стрижайло казалось, что на небесах существуют два разных бога. Один в чалме, в бархатном зеленом халате, величественный, как Верховный муфтий. Другой — в золоченой митре, белобородый, в сияющей ризе, как патриарх. К обоим возносятся молитвы. Боги

выслушивают их, степенно обдумывают. Обращаются один к другому. О чем-то благожелательно переговариваются. Космос поделен между божествами, и каждый управляет своим участком, — дарил избавления, обрушивает гнев. Ведет переговоры с соседним богом, достигая компромисса, стараясь не допускать между собою конфликта.

Изнывая от жажды, обессилив от гнетущих переживаний, Стрижайло осматривал сидящих рядом людей. Молодой мужчина с синеватой щетиной тоскливо водил глазами, прижимал к себе двух детей, мальчика и девочку. Обнимая их худенькие плечи, чувствуя свою вину

и беспомощность, а те доверчиво и страстно жались к отцу. Прямая в спине, худая женщина, по виду, учительница, собрала вокруг себя старшеклассниц и что-то им тихо нашептывала. Девушки сбросили от жары блузки и платья, остались в трусах и лифчиках, были похожи на пляжных красоток, и одна из них слегка улыбалась. Крупная, пышная женщина с заплаканным лицом обнажила смуглую грудь и кормила младенца, придерживая двумя пальцами смуглый сосок.

Внезапно, поодаль, Стрижайло углядел маленького мальчика. Тот расстегнул пиджачок, сдвинул на сторону аккуратный маленький

галстук, старался поймать дующие из разбитого окна ветерки. Рядом лежал большой портфель, и на нем желтела аппликация, — смешной утенок с раскрытым клювом. Это был тот самый мальчик, который странно был явлен ему в Москве, как предвестник несчастья. Другой таинственный знак, — старик с наградными колодками, — где-то немощно лежал, невидный в густой толпе. Женщину с искусственной мальвой он не заметил среди заложников.

Стрижайло и мальчик встретились глазами. Его поразило детское лицо, — бледное, нежное, с приподнятыми изумленно бровями и

большим чистым лбом, оно выражало недоумение. Словно он не понимал, кому понадобилось причинять ему страдание. Где дорогие и милые люди, которые еще недавно окружали его нежностью и любовью, снаряжали торжественно в школу, повязывали, словно взрослому, галстук, укладывали в кожаный, пахнущий вкусно портфель нарядные книжки, целовали, горделиво вели по улице. Теперь этих милых людей не было рядом. Все ужасало и мучило, пугало непосильными для детского разума страхами.

Стрижайло вдруг показалось, что мальчик похож на него, — того,

наивного, болезненно-робкого, кого любила и лелеяла бабушка и кого запечатлела детская фотография. Стена их дома на Палихе, бабушка с обожающим, чудным лицом и худенький мальчик, испуганный и напряженный.

Стрижайло издалека улыбнулся мальчику. Тот благодарно улыбнулся в ответ. Они обменялись молчаливыми улыбками, установили между собой немую близость. Стрижайло не мог понять, он ли своей улыбкой утешает и поддерживает мальчика, или тот, улыбнувшись, возвращает Стрижайло стойкость и надежду на избавление.

Быстро темнело. Туча, застлавшая небо, была окрашена

снизу оранжевой зарей, от которой стены зала приобрели медные отсветы. Множество людей, притулившихся на полу, полуобнаженных, с распущенными волосами, казались первохристианами, которых гонители поместили в сердцевину медного быка, — уже было сложено кострище, медь начинала накаляться. Металлический трос с зарядами, баскетбольные корзины с укрепленными бомбами отливали жестокой краснотой, не меркнувшей в сумерках.

Люди, изведенные за день, томимые жаждой, ложились на пол, прижимали к себе детей. Казалось, в

темноте укладывается и горестно
вздыхает огромное измученное
существо, быть может, корова в
последнюю ночь перед бойней.
Стрижайло смотрел, как
расплываются в сумерках мутно-
белые лица, чувствовал вокруг себя
множество теплых, полуобнаженных
тел, от которых исходили волны
тревоги. Где-то близко, положив под
голову портфельчик, прилег мальчик,
мысль о котором рождала в
Стрижайло болезненную нежность и
сострадание.

Боевики затихли у бойниц.
Сквозь приоткрытую дверь
слышались их голоса, светился
огонек сигареты.

Он лежал на полу, засунув под голову локоть, и разум его, потрясенный дневными переживаниями, получил, наконец, возможность объять происшедшее в целом. Обнаружить в жестоком хаосе скрытую логику. Логика заключалась в том, что это он, Стрижайло, был повинен в случившемся. Его неумный темперамент, необузданное творчество, гениальная страсть к аттракционам и мистификациям запустили крошечный план. Казавшийся вначале политическим спектаклем, план превратился в финале в языческую гекатомбу, жертвоприношение жестокому богу,

чудовищный религиозный акт. С того далекого дня, когда в гольф-клубе «Морской конек» он встретился с Потрошковым и получил от него лестное предложение, он шаг за шагом продвигался в анфиладе расширявшихся проектов и замыслов. Включал в них все новые идеи, испепелял репутации и судьбы, достигал ошеломляющих результатов. Разгром компартии Дышлова и близких ему соратников. Свержение Маковского и разорение его нефтяной империи. Лукавый обман Верхарна с его последующим убийством. Грандиозный аттракцион думских выборов, похожих на карусель, где верхом на жирафах,

верблюдах и жабах мчались по кругу кумиры и герои толпы, падая поочередно в грязную жижу, и он, Стрижайло, хохотал при каждом падении. Президентские выборы — смесь крови и патоки, в которых мазали себя карикатурные лидеры, на потеху публике, и жуткий пожар Манежа, в отблесках которого обреченно ступал по брусчатке маленький человечек. Все это мчалось, расширялось, захватывало все новые пласты и объемы. Пока ни превратилось в обезумившую толпу детей и женщин, среди которых бежал он сам, подгоняемый пулями, помраченный творец и художник.

Вслед за первым открытием его

посетило второе. Все, что творилось в зале, задумано духами тьмы исключительно для того, чтобы вернуть свою власть над ним. Изгнанные из души божественным старцем, застигнутые врасплох ангелами света, они опомнились и возжелали вернуться. Чудовищный змей, изошедший из него и канувший в озеро, не пропал бесследно, а вновь явился. Протиснул в зал глянцевитое могучее туловище. Стремился в обитель, откуда был изгнан, — в его, Стрижайло, душу. Боевики несли в себе все признаки духов, — та же злая энергичность, дружная согласованность во зле, преуспевание в причинении боли.

Иногда вместо лиц у них обнаруживались заостренные, мохнатые мордочки с выпуклыми чернильными глазами, под камуфляжем угадывалась бархатистая шерсть, руки, сжимавшие автоматы, превращались в косматые лапки с костяными загнутыми коготками. Их предводитель Снайпер был типичный нетопырь, что многие годы провел в душе Стрижайло, в области между горлом и грудной клеткой, и покинул обжитое место с диким визгом ошпаренной твари. Змей опоясал спортивный зал удушающим кольцом, которое совпадало со жгутами проводов, натянутым тросиком, обернутыми в

целлофан взрывными устройствами. Мускулистое туловище и чешуйчатый хвост пролегли среди несчастных детей и женщин, костяная узколобая голова с рубиновыми глазками почти смыкалась со зловонным хвостом. Между ними оставался зазор, — небольшое пространство внутри педали-взрывателя, на который наступила стопа террориста. Захват заложников, мучение тысячи людей были поводом для духов вновь вселиться в Стрижайло. Вернуть утерянное могущество. Превратить Стрижайло в орудие сатанинского творчества.

Так думал он, лежа на полу, слыша снаружи высокие, глухие

раскаты приближавшейся грозы. Было темно и душно. Где-то рядом, среди скопившихся тел, ребенок жалобно произнес:

— Мамочка, пить...

И в ответ — шепчущий, дрожащий голос:

— Потерпи, Ларисочка, утром будет водичка...

Его вдруг посетила ослепительная догадка. Все, происходящее вокруг, — мнимость, оптический обман. Наваждение, когда волнуемые слои атмосферы преломляют световые лучи, и возникает оптика странных видений, несуществующих миражей. Точно так же потревоженное сознание

преломляет исчезнувшее прошлое, привносит его в настоящее, наполняя библейскими сновидениями, античными образами. Все это не более, чем странная линза, искривляющая время. Разум успокоится, линза растает, и пугающая мнимость сменится привычной реальностью. Он очнется в своем уютном доме, где задремал на диване, глаза увидят красивый, полный книг шкаф, китайскую вазу с аистами, бронзовую танцовщицу из буддийского храма, картину художника Дубоссарского, напоминающую громадный лубок, и он станет вспоминать загадочное, посетившее его сновидение.

У самого лица протопал башмак террориста. Щека ощутила вибрацию пола, а ноздри уловили зловонье потной ноги. Мнимой была надежда на мнимость. Реальной была адская, им самим сконструированная реальность.

Эта реальность была грандиозна. Соизмерима с моментом происхождения жизни. С переходом от растений к животным. С выходом рыб на сушу. С исчезновением динозавров. С возникновением из приматов человека. Жизнь, видоизменяясь, достигла пограничной черты, за которой начинался качественно новый период. «Перекодирование» мира, о

котором говорил Потрошков, завершало то человечество, к которому принадлежала «Илиада», Евангелие, открытие Колумбом Америки, победа над фашизмом, выход Гагарина в Космос. Все это оставалось в прошлом. На смену устаревшему, архаическому человечеству являлось новое, порывающее с категорией «человечности». Задуманное избиение было направлено в матку «человечности», где соединялись мать и дитя, человеческий род и любовь, познание и благо, вера и богооткровение. Готовое совершиться имело целью разорвать пуповину, связывающую человека с

Христом. Оторвать человека от категорий добра и ввергнуть в новое, без Христа, бытие, основы которого уже созданы в секретной лаборатории Потрошкова. Этот отказ от «человечности», разрыв пуповины, предполагавший кровавый ужас, совершался в присутствии Стрижайло, благодаря его деянием, почти что его руками.

Эта мысль была непосильна, как непосильна мысль о бесконечности Вселенной. Однако, она повлекла за собой иную, вдохновенную. Смысл его появления здесь — в том, чтобы не дать совершиться «перекодированию». Среди предстоящего ужаса и пролития

крови не утратить «человечности». Защитить в себе Христа. Не Христос в своем безграничном могуществе защитит его от безумного мира. А он защитит Христа, поместив в свое сердце в момент, когда кругом будет литься кровь, и жестокие воины станут искать среди изрезанных трупов святого младенца. Не найдут в глубине его любящего верного сердца.

Это открытие было восхитительным. Возвращало всю полноту смысла. Делало его героем, чей удел — божественный подвиг, который и должен стать искуплением всех былых грехов. Дивный старец спас его душу, не

оговаривая это спасенье никакой благодарностью. Но благодарностью за спасение станет героический подвиг, — спасение Христа, сбережение спасенного Христом человечества.

С этой ошеломляющей мыслью, объяснявшей весь ход мировой истории, Стрижайло уснул.

Проснулся от грохота, треска. В окне полыхали молнии. Туча вспыхивала косматыми синими клубами. Дул резкий, мокрый ветер. Во время вспышек окно блестело множеством водяных струй. До лица долетали брызги. Люди проснулись, поднимали головы, хватали пересохшими губами влажные

сквозняки. Напоминали огромное лежбище моржей, где самки, окруженные детенышами, поднимали тревожно головы. Ливень перехлестывал подоконник, мочил пол. От окна в зал натекал плоский ручей, который во время молний дергался ртутью. Люди подползали к ручью, жадно припадали губами. Вода быстро таяла. Так у водопоя скапливаются изнывающие от жажды животные, хватают языками драгоценную влагу. Ручей приблизился к Стрижайло. Мальчик, лежащий рядом, проснулся, потянулся к воде. Стрижайло уступил ему место. Мальчик подполз к ручью, припал маленькими губами к

плоской, растекавшейся воде и стал пить. Стрижайло испытывал к нему отцовскую нежность, мучительную любовь. Смотрел, как он пьет.

глава тридцать седьмая

Проснулся в воодушевлении, исполненный мессианства. За окном с осколками выбитого стекла было солнечно, с утра начинало припекать. От ночного ливня не осталось следа. Водяной ручей на полу был выпит. Люди вокруг, искавшие следы ночной влаги, напоминали животных на краю высохшего водоема. Его мессианство заключалось в сбережение «человечности», как признака, позволяющего людям называться людьми. Посвященный в мистическую тайну перекодирования истории, он один мог взять на себя миссию спасителя, — не поддаться

ужасному параличу и не позволить другим впасть в безвольную духовную немочь. Окружавшие его люди были племенем, идущим по безводной пустыне, а он был их пастырь, ведущий соплеменников в обетованную землю. Так думал он о себе, испытывая мучительную жажду, стараясь телесную муку одухотворить сознанием подвига.

Толпа, изнемогая, шевелилась, издавала непрерывный тягучий стон. Стрижайло чувствовал, как томится и мучается жизнь, как испаряется из нее драгоценная влага, как иссыхают тела, становясь тоньше и немощней. Носы у людей заострились, губы обесцветились и покрылись серой

коростой. Глаза лихорадочно блестели. И повсюду слышалось: «Пи-и-и-ить». Этот звук напоминал тоскливый крик птицы, у которой разорили гнездо. Было невыносимо ощущать страдание стольких людей, медленную гибель детей и женщин.

По залу расхаживал молодой боевик, коротко стриженный, с рыжеватой челкой и зелеными насмешливыми глазами. Держал наперевес тяжелый автомат. К нему протягивались умоляющие руки, и очередная мать просила:

— Разреши сходить в умывальник... Ребенок погибнет...

Тот улыбался, не злобно, а скорее приветливо отвечал:

— Пусть подышает.

Мальчик, которого Стрижайло ночью поил из ручья, смотрел черными вопрошающими глазами. Уверовал в то, что избавление может прийти от большого, незнакомого человека, уступившего ему место у водопоя.

— Как тебя зовут? — спросил Стрижайло мальчика.

— Руслан.

Имя прозвучало, как из чудесной пушкинской сказки, вызвав у Стрижайло нежность и обожание. И он вдруг сладостно, с прозрением блаженного, подумал, что это его сын.

Явился из «иной жизни», где

когда-то они были вместе, окруженные картинами рая, от которых осталось память неясного восхитительного сновидения. Он не мог объяснить, где и каким был этот неправдоподобный рай, как черноглазый мальчик перенесся из одного времени в другое, как оказался в этом удручающем скоплении несчастных. Но был убежден, что это его сын, его появление неслучайно, означает, что здесь, в заминированном зале, сойдутся, наконец, две жизни, — «та» и «эта». Осторожно, с благоговением протянул руку. Погладил мальчика по блестящим волосам. Тот благодарно, радостно

поднял на него маленькое, истомленное лицо.

На вторые сутки плена заложники были обезвожены, все реже поднимались с мест и уходили в темную раздевалку, откуда начинало тянуть теплым смрадом. Но те кто, забирал детей и скрывался в импровизированном туалете, возвращались оттуда с пластиковыми бутылками, в которых желтела жидкость. Сначала Стрижайло удивился, откуда в бутылках напиток, но потом, с болезненным изумлением, догадался, что это моча. Бутылку пускали по рукам, измученные жаждой дети пили, словно это была прохладная фанта.

Не хотели расставаться с бутылкой, и тогда приходилось ее отбирать у ребенка, и он начинал плакать.

Стрижайло догадывался, что вокруг захваченной школы стянуты войска, создано оцепление, ведутся хитросплетения переговоров, бушует истерика на радио и телевидении. Множество возбужденных, эксцентричных политиков стремятся сюда, чтобы перед телекамерами и солдатскими цепями продемонстрировать свою жертвенность, народолюбие, беззаветное служение людям. И среди этих истерических воплей и отталкивающих безумств свершается задуманный Потрошковым план,

требующий того, чтобы этих безумств было больше, истерика нарастала, а захваченные в плен дети и женщины испытывали все больше мучений.

К полудню, когда жара стала невыносимой, и многие, почти раздетые, прижимались к полу, обморочно дышали открытыми ртами, словно рыбы в иссыхающем пруду, — за окнами вновь зарокотал мегафон.

— Груз гуманитарной помощи...
Вода и детское питание...
Международных организаций...
Пропустить на территорию школы...

На эти металлические звуки, доносящиеся из чрева железного

робота, вышел Снайпер. В руке его был мобильник:

— Убери матюгальник, понял?.. Раздолбаю из гранатомета... Если пошлешь этих московских пидоров, уложу их прямо на дворе... Ты знаешь мое требование, — ко мне Президента России... Пусть берет президентский самолет и пиздярит сюда... В противном случае, к вечеру перестреляю половину заложников... Не надо им никакой воды и питания... Они объявили сухую голодовку и требуют приезда Президента...

Он захлопнул шкатулочку телефона и насмешливо оглядел лежбище страдающих людей. И это

не была насмешка садиста, а ирония профессионала, превосходящего в своем мастерстве растерянных дилетантов.

Стрижайло чувствовал, как высыхает его тело, как испаряются бесчисленные частицы влаги, и от умерших клеток остаются сухие оболочки. Каждая клетка, умирая, источала корпускулу страдания. Казалось, высыхают глаза, спекаются внутренности, истлевают легкие, из обугленного рта вырывается синий огонь, и скоро он превратится в плоский, обтянутый кожей скелет, один из тех, что оставляет за собой бредущее по барханам племя. Но чем невыносимей была плотская мука,

тем восторженной становился дух. Словно жар порождал просветленный бред, в котором сияло посетившее его ночью прозрение. Он — пастырь, разделяет со своим народом мученическую судьбу. В глубине любящего сердца прячет Христа, — не выдает мучителям, спасает Спасителя, сберегает его от второго распятия.

В этом просветленном бреду становилось несомненным, что рядом с ним находится сын, чудесным образом перенесенный из «иной жизни» в «эту». С этим чудесным перенесением кончилась двойственность его бытия, две их жизни встретились на перепутье

истории, вместе, отец и сын, совершают вселенский подвиг.

Осторожно, чтобы не спугнуть это похоже на молитву знание, он обратился к мальчику:

— Пить хочется, правда?

— Да, — кивнул мальчик, облизав пересохшие губы, и на его тонкой шее вздулась синяя жилка.

— Сейчас бы к нашему ручью пойти, под гору. Там вода чистая, сладкая, прозрачная. Каждый камушек виден.

— К какому ручью? — спросил мальчик, поднимая большие, черные, окруженные длинными ресницами глаза.

— Или к колодцу. Помнишь, как

пошли ночью, достали ведро, а оно полно звезд? Вода в ведре чуть колышется, звезды плещутся, а мы любимся. Мама сказала, — нельзя пить студеную воду, горло заболит. А я сказал, — если со звездами пить, не заболит. Мы выпили, и не заболело. Ты помнишь?

— Не помню, — мальчик серьезно смотрел на него, и эти вопрошающие темные глаза казались прекрасными, ненаглядными и родными.

— А как мы летом шли по лугу, и он был весь в цветах, и когда подходили к кусту, — такой чудесный куст, весь перевит вьюнками, — из него вылетел коростель. Большой,

красный, ноги висят, крылья хлопают суматошно, и ты закричал: «Птица!.. Птица!...»... Помнишь?

Мальчик внимательно
вглядывался, — не в лицо
Стрижайло, а в тот летний
сказочный луг, по которому,
окруженные бабочками, шмелями,
сладкой пыльцой, шли три любящих
друг друга человека, смотрели, как
летит над травами красная, с
коричневыми крыльями птица,
падает в далекие цветы.

— Помню, — сказал мальчик, и глаза его слабо дрогнули, словно увидели восхитительный мир, куда уводил его из этого страшного зала большой, светловолосый человек,

уступивший ему ночью драгоценный глоток воды.

— Вот и вспомнил, и слава Богу! — восхитился Стрижайло. — А помнишь, как мы взяли дровяные санки, я посадил вас с мамой и тянул по мокрому снегу? Все блестело, сочилось, под полозьями бежала вода, а мама слепила мокрый снежок и кинула мне в спину?

— Помню, — кивнул мальчик.

— Мы снова туда вернемся. Санки старые, я их подправлю, и мы с тобой поедem в лес за дровами, и я покажу тебе барсучью нору.

— Это где? — спросил мальчик, и казалось, на его бледном худеньком личике слабо расцвел румянец.

Стрижайло испытал к нему такую отцовскую нежность, бережение, благодарность за избавление от свирепой безысходности мира, что захотелось прижать сына к груди и опять оказаться в райском краю, где было им так хорошо.

— А помнишь, наша береза морозным утром, словно ослепительная хрустальная люстра, и мы стояли под ней, и нам на лицо осыпалась прозрачная сияющая роса? — говорил он, окружая сына той божественной красотой, которая одна способна спасти обезумевший, готовый погибнуть мир. — Наше поле в сверкающих метелях, по

которому шли на красных охотничьих лыжах, пересекая заячьи и лисьи следы, и ты подцепил ладонями наст, показал мне отпечаток лисьей стопы, лежащий у тебя на ладонях... И то лесное болото, в котором живет седой задумчивый лось, и когда мы осенью в морозящем дожде подошли к болоту, из него навстречу вышел лось и золотистый тонконогий лосенок... И та чудесная просека, зимой заваленная снегом, с тяжелыми обледенелыми елями, а летом вся в цветах, то в желтых, то в белых, то в синих. Каждый раз, когда мы появлялись на просеке, над нами пролетала бирюзовая сойка, окруженная розоватым сиянием...

Деревенская бабка, по прозвищу «Девятый дьявол», с виду похожая на Бабу Ягу, а на деле смешливая, добрая. Поманила тебя и угостила домашним пирогом с яблоками, который тебе очень понравился...

— Пирог был с урюком, — сказал мальчик, — и с абрикосами.

— Да, да, с абрикосами, — согласился Стрижайло, ликуя оттого, что память сына была острее, чем у него, удерживала множество забытых подробностей. — А помнишь, как ночью пришли к реке и спустили на нее выточенную из полена ладью, на которой горели три свечи, — ты, мама и я? Ладья медленно плыла по течению, скрывалась за поворотом,

где слабо светился воздух, и оттуда взлетела проснувшаяся дикая утка?.. А помнишь наш Новый год, когда ты был совсем еще маленький. Мама сказала, что сейчас придет Дед Мороз, принесет подарки. Мы вышли на дорогу встречать деда Мороза. Небо было волшебным, с множеством лун и светил, оранжевых, зеленых и синих. Над дорогой стояла высокая, с серебристым хвостом, звезда. Казалось, она плывет, и под этой звездой по дороге шел Дед Мороз, — с посохом, с развеянной бородой, с сумой за плечами, опоясанный радужным ремешком. Нес тебе волшебный подарок... Помнишь,

сын?

— Помню, — ответил мальчик и положил ему голову на грудь. Так они и сидели, обнявшись.

Стрижайло вернулся из своего сладостного забытья, услышав топот ботинок. Боевики выбегали в зал, становились у выхода с автоматами наготове. Стрелки у бойниц оживились, высматривали сектор обстрела. Снаружи воздух наполнился железной вибрацией, в которой стали возникать неразборчивые слова, словно их с трудом и неполностью произносили металлические губы:

— Обеспечить безопасность...
В ответ на ваши требования...

Бывший Президент Ингушетии...
Обеспечить неприкосновенность...

В зал из помещения школы пришел Снайпер, вновь зачехленный в камуфлированный мундир, подтянутый, чисто выбритый. Вслушивался в металлические вибрации, казался взволнованным и воодушевленным. Стрижайло видел, как распахнулась дверь, ведущая на школьный двор, и в зале появился статный, в легком светлом костюме человек. Смуглое, твердое лицо украшали темные, с проседью усы. Лицо было знакомо. Потратив мгновение, Стрижайло узнал в нем Руслана Аушева, недавнего Президента Ингушетии, чей военный

подвиг в Афганистане был отмечен
Звездой Героя Советского Союза, и
чья нескрываемая солидарность с
Дудаевым снискала ему стойкую
неприязнь в Кремле. Оказавшись в
зале, стиснутый боевиками с
автоматами, увидев обширное
пространство, заполненное
полулежащими, измученными
людьми, он растерянно остановился.
Некоторое время топтался, словно
колебался, не повернуть ли ему
обратно, к растворенным наружу
дверям, покинуть это гиблое место.
Его глаза встретились с глазами
Снайпера. Оба пошли навстречу друг
другу, обнялись сильным мужским
объятием. Усы Аушева, когда он

целовался со Снайпером, появлялись то с одной, то с другой стороны от его головы.

Они были совсем близко от Стрижайло. Тот видел грубые, солдатские бутсы боевика и изящный дорогие туфли Президента. Камуфлированный, перетянутый ремнями мундир террориста и элегантный, модный костюм Аушева. Они были противоположны друг другу, но их соединяла необъяснимая близость, потаенное родство, неявная симпатия, что делало их встречу сложной смесью противоборства и солидарности, вражды и братства.

Они что-то говорили друг другу на вайнахском. Аушев сокрушался,

огорченно мотал головой. Снайпер на чем-то настаивал, не грубо, но с почтением, что не мешало ему оставаться непреклонным.

— Как ты мог в это влипнуть? — произнес Аушев по-русски, и было видно, что он искренне огорчен, хотя и понимает, что укоризна его опоздала. — Они использовали тебя. Будут показывать всем твой труп, а сами останутся в тени.

— Аллах все видит, кто на свету, а кто в тени. Мы с тобой не боялись смерти.

— Напиши своей рукой, что я должен им передать, и постарайся сберечь детей. Мы с тобой не святые,

но с бабами и с детьми никогда не сражались.

— Пойдем, я напишу этим крысам послание...

Они удалились в школу, сопровождаемые боевиками, которые теснились в дверях, держа автоматы стволами вверх.

Стрижайло понимал, что этот визит — лишь один из множества эпизодов, случающихся ежеминутно вокруг захваченной школы. Не меняет общего хода дел, который, по замыслу беспощадного демиурга, ведет к кошмарной развязке. И его, Стрижайло, воля и вера, его духовный подвиг будут востребованы в ужасный заключительный момент,

где ему предстоит спасти не только этих изнывающих детей и женщин, но и все человечество. Отдельные эпизоды, не влияющие на конечный итог, не интересовали его. Не интересовали страсти политиков, ложь журналистов, беспомощность силовиков, кликушество соглядатаев. Он больше не был политологом. Освободился навсегда от болезни извращенного разума, азарта развратного игрока, порочной страсти художника. Он был блаженный, духовидец, мученик, выбранный небом для вселенского подвига.

Через некоторое время Аушев и «Снайпер» вернулись в зал. Аушев

держал в руке исписанный лист, бегло, на ходу, читал.

— Пусть ко мне не суются, — Снайпер говорил раздраженно. — Не нужны ни жида, ни японки, ни московские придурки. Пусть явится сюда Президент. Если мужик, а не тухлая рыба, пусть обменяет себя на детей и женщин.

— Думаю, он не явится. Ты наивен. Я жалею, что ты в это ввязался.

— Аллаху виднее, — мрачно ответил Снайпер.

— Позволь мне увести с собой пару десятков людей. — Аушев повернулся к толпе, наблюдавшей множеством затравленных глаз.

— Возьми десяток, — Снайпер усмехнулся, будто сочувствовал слабости мужественного человека. — Десять человек — встать, на выход!

Стал тыкать наугад в сидящих людей, нетерпеливо их подгоняя. Те быстро подымались, торопились выбраться из толпы, отделиться от пленных, размежеваться с ними, оторваться от страдающего скопища. Женщины, дети, подростки, совсем малютка на неустойчивых кривых ножках. Снайпер отсчитал десяток, а люди продолжали вставать, стремились на пустое пространство зала, цеплялись за тех, кому повезло.

— Назад!.. Сука, назад!..

Пристрелю!.. — «Снайпер» отталкивал, бил, кричал. Схватил за плечи хрупкую девочку, которая вцепилась в синюю юбку женщины и истошно визжала.

— Моя дочь!.. Умоляю!.. Богом прошу, отпусти!.. — женщина упала на колени.

Снайпер плюнул, перестал трясти худые девичьи плечи. Обратился к Аушеву:

— Бери одиннадцать. Нам оставшихся хватит.

Смотрели один на другого. Что-то дернулось в лице боевика, какая-то больная нервная жилка. Шагнул к Аушеву. Обнялись, как обнимаются последний раз в жизни. Аушев

статной походкой военного направился к выходу. За ним послушно, словно купленные на невольничьем рынке рабыни, засеменили заложники. Девочка, перебирая босыми ступнями, не отпускала синюю материнскую юбку.

После этого в зале наступила дурная обморочность. Солнце сквозь окна зажигало на полу длинные квадраты, на которых, как на раскаленных листах, поджаривались люди. Почти не слышалось плача, умолкли стоны. Обезвоженные тела выделяли тихие яды, умертвляющие снотворные, действие которых приводило к галлюцинациям и снам наяву. Стрижайло знал, что не спит,

видел рядом с собой притихшего сына, но одновременно с явью глаза его созерцали галлюцинацию. Ему казалось, что перед ним блестящий алюминиевый диск, покатый к краям. В центре, расставив ноги, стоит Ельцин, а вокруг, удерживаясь за полы его пиджака, боясь соскользнуть с диска, разместились Дышлов, Семиженов, Грибков, Карантинов, «мисс КПРФ» Баранкина, партийные секретари Забурелов и Хохотун, красный банкир Крес. Диск вращается, как в аттракционе, сбрасывает наездников, а они цепляются, что есть мочи, за неподвижного Ельцина, у которого странно, словно у рычащего медведя,

перекошен рот. Еще ему виделась большая улитка, несущая на горбе спиралевидную раковину, сквозь которую нежно просвечивает розовое, влажное тело. Улитка ползет по беломраморной коринфской колонне на фоне ослепительной средиземноморской лазури. Рожки у улитки завершаются золотыми ядрышками, дивно переливающимися, и он знает, что это не улитка, а Иоанн Богослов на Патмосе, за несколько минут до Откровения.

Его привели в чувства голоса боевиков, засевших у амбразуры. В них слышались раздражение и злость. Видно, на вторые сутки у

захватчиков стали сдавать нервы.

— Надо поторопить федералов, — говорил один, полураздетый, с мускулистыми руками, в зеленой косынке. — Каждый час мочить десять баб и щенков. Нас на измор берут.

— Хочешь стрелять, стреляй, — успокаивал его другой, чьи рыжеватые усы потемнели от пота. — Вон куры на дворе ходят. Тренируйся на курах.

Тот, что был в косынке, прицелился, чуть поводил автоматом, выстрелил. Раздалось истошное кудахтанье раненной птицы, которое оборвалось после второго выстрела.

— Сними на видак, деньги

получишь, — насмешливо сказал усатый.

— Щенков замочить с десяток и выкинуть федералам. Тогда поторопятся, — зло отозвался напарник в зеленой косынке.

Время измерялось огромными солнечными часами, перемещавшими огненные квадраты по стенам зала. Лежа в слепящем свете, на раскаленной сковороде, Стрижайло ощущал течение времени, как длинный мучительный ручей, истекавший из обезвоженного тела, над которым вяло колыхались видения иссыхающей памяти.

В зале появились два боевика, похожие на братьев, — оба

горбоносые, с короткими толстыми шеями, накаченными мускулами на голых руках. «Лифчики» с магазинами были надеты на блестящее от пота тело. В автоматах торчали двойные рожки, перемотанные синей изолентой. Они подошли к молодому охраннику, что-то тихо сказали. Тот радостно замотал стриженной головой, его зеленые смеющиеся глаза обратились на лежащих людей. Все трое медленно двинулись, разглядывая заложников, и над их головами паутинкой лучился металлический тросик с подвеской зарядов.

Остановились, стали на кого-то показывать, манить рукой:

— Давай, вставай, выходи!.. Да не ты, не тебе говорят!.. Ты вставай, дура!..

Из лежащего скопища поднялась женщина. Переступая босыми ногами через головы, вышла на пустое пространство. Стрижайло узнал в ней женщину с мальвой, которая была неясно явлена на дисплее Потрошкова, а потом оказалась на школьном дворе, среди нарядных учеников и родителей. С момента захвата Стрижайло искал ее среди пленных, связывая с ней какую-то невнятную надежду, какую-то возможность, способную изменить роковой ход событий и принести избавление. Старик с

наградной колодкой и мальчик с желтым утенком были в зале, а женщина с мальвой отсутствовала. И это создавало ощущение неполноты, незавершенности в системе обозначенных символов. Оставляло зазор в последовательности событий, куда могло вильнуть время, не подчинившись злой логике Потрошкова, и тогда сатанинской замысел рухнет.

Теперь женщина обнаружилась. Стояла перед боевиками, босоногая, все в том же сиреневом платье, помятом, с темными от пота подмышками, с влажными пятнами под пышной, с выпуклыми сосками грудью, с туго обтянутым животом,

на котором виднелась выемка пупка. У плеча красовалась розовая матерчатая мальва с темными тычинками. Волосы были отброшены на спину, схвачены сзади прозрачной бисерной лентой.

— Куда? Зачем? — спросила женщина.

— Тебе повезло, — косноязычно объяснял боевик, — Командир сказал, пойдешь на свободу. Бумагу понесешь.

Стрижайло видел, как вспыхнуло радостью лицо женщины. Как воодушевилась она, стала оправлять помятое платье, прихорашивалась, оглаживала плечи, укрепляла на плече матерчатый

цветок. Искала и не находила зеркала. Не оглядывалась туда, где только что сидела среди обреченных людей.

— Давай, давай, губки еще покрась, — похлопал ее по спине боевик. Молодой, зеленоглазый малый весело захихикал. Стрижайло не верил удаче. Женщина обнаружилась, как третий, завершающий символ, как недостающая сторона треугольника, создавая устойчивую фигуру, способную устоять перед жестокой логикой замысла, изменить ход событий, принести избавление. Радуюсь, веря в невероятную удачу, смотрел, как боевики уводят

женщину в школу, где в учительской за письменным столом сидел лобастый захватчик, писал на бумаге послание, предназначенное для федералов.

Казалось, время слегка изменило свое направление. Отклонилось от натянутого тросика, образуя с ним острый угол, выбирая иной вектор. Зазор, отделявший голову змея от чешуйчатого хвоста, увеличился. Педаль, на которую наступила нога боевика, расширилась, прогал между контактами взрывателя стал больше.

Стрижайло лежал в забвенье. Ему представлялась босоногая женщина в сиреневом платье,

усыпанном мальвами, розами, лилиями, с черными распущенными волосами, в которые вплетены виноградные лозы. Величаво ступает по прохладным травам, перебредает ручьи, как «Весна» Боттичелли. И за ней шествует ликующие спасенные толпы, несут на руках младенцев, уходят в чудесную голубоватую дымку.

Очнулся через час или два, когда квадраты солнца сместились, и он оказался в горячей душной тени. Дверь, ведущая в школу, растворилась. В нее втолкнули женщину. Она сделала несколько шатких шагов и остановилась. Сиреневое платье висело клочьями.

Вывалилась белая, в кровавых
ссадинах и засосах грудь. Голые
плечи были в малиновых отпечатках,
оставленных жадными пальцами.
Губы вздулись, искусанные и
разбитые. Лицо было расплющено
ударами. Волосы путаными космами
валились на спину и грудь. Она
поддерживала драное платье, и на
сиреневой бахrome, упавшей почти
до пола, розовел изжеванный цветок
мальвы. Казалось, на ногах у нее
надеты красные чулки, — из-под
платья по коленям и икрам сочилась
живая кровь. Шатаясь, как пьяная,
описывая кренделя, она двинулась к
своему месту в толпе. Дотянула и
упала, скрылась среди голов и тел. И

там, где она упала, раздались женские причитания и вопли.

Стрижайло замер в тоске. Спасение было мнимым. Изнасилованная женщина с мальвой сулила не избавление, а неизбежную гибель.

К вечеру, когда солнце ушло, и в воздухе повисла рыжая, горчичная духота, и зал напоминал огромный лазарет, где тихие стоны сливались в изнурительный, волнообразный звук, и над головами то там, то здесь возникала пластиковая бутылка с мочой, передавалась из рук в руки, — в зал ворвались разъяренные боевики. Стали пинать людей, били наотмашь, выкрикивая:

— Суки, кричите!.. Орите, бляди ебаные!.. Чтобы вас услышали ваши кабели!.. А ну, орите громче!..

Толпа заголосила, сдавленно запричитала.

— Громче, суки!.. Пусть вас в Москве услышат!.. Ваш ебанный Президент пусть услышит!.. — боевики вбегали в толпу, раздавали удары ногами. Вой усилился, переходил в визги боли и ужаса.

— Громче, суки!.. Визжите, будто вас в жопу ебут!.. — боевики направляли стволы автоматов над головами сидящих, выпускали долбящие очереди. Выстрелы мешались с ревом и воплем обезумевших женщин, детей,

которым казалось, что их начинают расстреливать. Некоторые пытались подняться, но их кулаками забивали обратно вниз. Зал ревел, сотрясался от тысячи криков. Жуткий ор раздвигал потолок и стены. Казалось, энергия ужаса подорвет заряды, и всех поглотит гигантский взрыв.

Стрижайло, окруженный вопящими детьми, видел у стволов бледные трепещущие пузыри, проблески гильз. Кричал со всеми, захлебываясь спазмой, раздирая глотку нечеловеческим, хлещущим наружу страхом. Обнимал обомлевшего сына, прятал его голову у себя на груди, с единственной

истерической мыслью, — подставить себя под ревущие автоматы, заслонить от терзающих пуль его хрупкое тело.

Боевики отступили, испугавшись звериного воя, который издавала страшаясь плоть, не желавшая умирать.

Постепенно крики стали слабеть. Превращались в хрипы и стоны. Люди сникали, лишённые сил. Голошенья сменялись заунывным, жалобным плачем, в котором была покорность судьбе. Толпа всхлипывала, шевелилась, наполняя духоту запахами ужаса, зловонными выделениями желез, набухших от предсмертного страха.

Среди утихших людей одна девочка продолжала биться, издавая кошачьи визги. Сучила босыми ногами, терла друг о друга колени, выгибала гибкую спину, хватала воздух скрюченными пальцами. Ее лицо исказила уродливая гримаса. Губы выталкивали желтую пену. Глаза затмили голубоватые бельма. Звук, который из нее исходил, был смесью завываний и визгов, какие раздаются в дремучих лесах, и сиплого мужицкого хрипа, какой издает разъяренный пьяница. Как рессору, ее сгибала невыносимая боль, в крике было нечеловеческое страдание.

Молодой боевик, глядя на ее

судорогу, заражался этой
эпилептической энергией.

— Кончай визжать!.. — навис
над девочкой, готовый ударить
ногой. — Кончай блевать!..

Ее страдания были
заразительны, передавались
охраннику, порождая ответное
страдание. Его зеленые глаза
болезненно выпучились, в них
трепетало бешенство. Губы
открылись, словно из них вот-вот
хлынет пузырящаяся желтая
жижа. — Сучка, заткнись,
пристрелю!

Он приставил ствол к ее
полуобнаженной девичьей груди,
дрожащей от храпа. Был готов нажать

на спуск.

Стрижайло чувствовал, что охваченный помрачением боевик, обезумивший за два дня пребывания среди невероятных людских страданий, готов надавить крючок, пресечь перетекающий в него поток сумасшествия. Вскочил, поднимаемый необъяснимым возбуждением. Встал перед боевиком, отодвинув ногой нацеленный ствол.

— Ты опомнись, брат!.. Ты — человек!.. Тебя мать родила!.. У тебя есть сестра, невеста!.. Ты в Бога веруешь!.. Ты — не злодей, я вижу!.. У тебя глаза человечесьи!.. Сделай добро сейчас, тебя Бог потом наградит!.. — он торопился говорить.

Хотел своим возбуждение отвлечь разъяренного террориста от девушки, обратить его гнев на себя.

Боевик зверски смотрел. Приставил к его горлу прохладный ствол. Дуло упиралось в кадык, в бурлящую вену, туда, где klokотали несвязные, умоляющие слова.

— Ты — Божий человек!.. Твою душу вижу!.. Ты добрый!.. Тебя мать родила!.. Хочешь, убей меня!..

Глаза боевика безумно блуждали. Очередь готова была разорвать кипящую вену, перерубить kloкочущее горло. Потом в глазах его мелькнуло осмысленное выражение, словно он очнулся от наркотического сна. Выдохнул тяжело. Опустил

автомат. Побрел прочь.

Девочку на полу удерживали женщины, вытирали тряпицей бегущую пену.

Ночь не принесла прохлады, а лишь залепила глаза синей глиной, словно на лицо еще при жизни наложили посмертную маску. Стрижайло в темноте нащупал голову сына.

— А мы уедем, куда ты говорил? — тихо спросил мальчик. — Дед Мороз даст мне мороженное и водички?

Стрижайло поцеловал сына. Опустился рядом с ним на пол. Видел, как слабо теплится его близкое лицо. Забылся тревожным

СНОМ.

Ему снились загадочные планеты и на них — белесые скалы, вершины которых ярко серебрились, а у подножья лежала густая тень. Щербины озаренных кратеров и темные впадины мертвых морей. В черно-белых, как негатив, видениях начинали проступать цвета. Какие-то колеблемые ярко-багровые волосы, выступавшие из синих расщелин. Вдруг сжимались в тугие пучки, темня от накопившихся соков, и вновь распадались на зыбкие вялые космы цвета брусники. На камнях ярко желтели огромные цветы с едкими жгучими лепестками, как громадные подсолнухи. Если

наступить на них ногой, они тут же сжимались, стискивали ногу, принимались жадно сосать. Высились стройные, совершенной формы кристаллы с блестящими гранями, в которых переливались яркие спектры. Было очевидно, что кристаллы живые, перемена цветов означает мыслительный процесс, от которого в спящем разуме возникало болезненное напряжение. Он знал, что оказался в той части отравленной Вселенной, где обитали демонические силы Космоса, рождались духи зла. С далеких ядовитых планет мчались к земле, вторгались в земное пространство, вселялись в людей, порождая

многообразные формы зла. Он старался их удержать, окружал землю защитной, непроницаемой для зла оболочкой. Окутывал ее светящейся атмосферой своей нежности и любви. И в этом бестелесном покрове застревали отточенные гарпуны, гибли пришельцы иных миров. Но при этом он чувствовал, что в его распростертое тело впились множество заостренных наконечников.

Просыпался, поднимал голову, оглядывая зал. Люди казались валунами причудливой формы. Если приглядеться, то угадывались каменные изваяния, изготовленные в какой-то загадочной мастерской, где

неведомые камнетесы вырубали гранитных идолов. Их не успели поднять и поставить в капище, и они остались лежать на земле.

Рядом слышался женский смех, вначале тихий, потом все громче. Перерос в истерический хохот, захлебываясь, перетекая в клеткот. Медленно стих, — женщина во сне потеряла рассудок, узрела чудовищные карикатуры, и пока они корчились в ее потрясенном сознании, она хохотала.

Среди спящих вдруг поднялась туманная фигура. Неразличимая в темноте, легкая, танцующая, была похожа на светлое привидение. Переступала через лежащих,

приближаясь к Стрижайло. Стройная девочка в белой рубаше с серебристыми, светящимися ногами, плыла над толпой, как призрак лунного света. Проплыла совсем близко. Стрижайло рассмотрел ее бледное красивое лицо, плотно закрытые веки. Ее танец во сне был пугающим и пленительным. В ней жили потусторонние силы, позволявшие двигаться, не касаясь земли. Покружила по залу в лунатическом балете на глазах недремлющих боевиков. Вернулась на место и легла, исчезнув среди спящих подруг.

Стрижайло видел, как одиноко, подобно истукану, сидит

бритоголовый боевик. Не смыкая глаз, держит на педали башмак. Зазор под его каблуком слабо светился синеватой плазмой, будто каблук был выточен из урана, и из него исходила радиация.

Стрижайло оглядел лежащих в забытьи заложников, которым снились сочные дожди, прохладные водопады, чудесные фонтаны, прозрачные, полные воды сосуды, в которых преломлялась холодная радуга. Лег и снова уснул.

И привиделась ему бабушка с ее милым, обожающим лицом, когда приближалась к его детской кровати, где он приходил в себя после изнурительной, с бредом и жаром,

ангины. Несла пиалу, полную
вкусной, прохладной сладости, —
компот из сушеных яблок и слив,
изюма и кураги. Он припадал губами
к фарфоровому краю, пил и не мог
напиться чудодейственный
целительный отвар. Бабушкино лицо
превращалось в лицо его милой
Маши, — легчайшее свечение на
переносице между золотистых
бровей. Маша стоит у лесного ручья.
Почерпнула в пригоршни ледяную
воду. Ее ладони розовые, с нежными
разводами линий, как на крыле
бабочки. Сквозь пальцы летят
солнечные капли, и он пьет из ее
ладоней божественную, сладкую
воду. Жена исчезала в светлом

тумане. Вместо нее приближалась женщина неземной красоты, в бирюзовой накидке такого небесного света, словно на плечах у нее были два крыла лесной сойки. Тихо улыбалась, протягивала цветок мальвы, в котором до краев переливалась чистейшая влага. Он испытывал благоговение, дивный восторг, благодарно припадал губами к цветку и пил драгоценный напиток. Женщина превратилась в сойку. Вспорхнула, блеснув лазурью. Полетела над елями, где горели багряные смоляные шишки. Они с Машей оттолкнулись красными лыжами от белых снегов и полетели за сойкой в восхитительную синюю

даль.

Он проснулся с ощущением ясности и прозорливости. Воздух был прозрачен, с легчайшей голубизной, какая присутствует в оптических прицелах и в окулярах прецизионных фотокамер. Его рот был каменный зев печи, откуда летело дрожащее пламя. Но в глазах была ясность, будто на них наложили волшебные линзы, позволявшие видеть не только то, что располагалось вокруг, но и за стеной зала, по ту сторону двора и насыпи, в ближних и дальних кварталах. Его ясновидение позволяло озирать обширное пространство вокруг, будто он вышел из собственного тела и

поднялся в высоту, подобно шару-зонду.

С высоты он видел школу с пристройкой зала и пустым квадратным двором, на котором валялись засохшие букеты цветов и убитая курица с распростертыми крыльями. Под окнами школы лежали убитые люди, — те, кого он два дня назад вываливал из окна. У толстячка в расстегнутой рубаше, на голой груди блестела золотая цепь. У другого под черными усами рот был раскрыт, и виднелись зубы. Все они, пролежавшие на жаре в нелепых, разбросанных позах, увеличились в размерах, распухли, казались надувными, и на их лицах, как

металлические капли, застыли мухи. За изгородью школы, за кустами и деревьями, у соседних домов было много солдат, — как бусины, рассыпались по окрестным дворам их каски. Тут же притаились ребристые бронетранспортеры, скопились небольшие группы спецназа в шлемах и бронежилетах. Цепь милиционеров в отдалении удерживала толпу, которая давила, выгибала цепь. Немолодая женщина истошно кричала, колотила кулаками в бронежилет не пускавшего ее милиционера. За насыпью с пустой, тускло блестевшей колеей, стояли два танка. Их двигатели работали, выбрасывая сизую гарь, на травяном

дерне виднелись содранные гусеницами борозды. Чуть дальше, в соседних кварталах, наблюдалось повышенное движение гражданских машин. Подъезжали и уезжали иномарки с мигалками, из них выходили и вновь скрывались в салонах военные и гражданские, не решались приблизиться к толпе, к оцеплению, школе. Тут же, укрывшись в соседних дворах, скопилось множество машин скорой помощи, краснели бруски пожарных машин. А дальше, в округе, мирно зеленели сады, в двориках сочно пестрели клумбы, мчалось вдаль голубое шоссе, полное автомобилей, с соседнего аэродрома взлетал белый

лайнера. По мере удаления от школы ощущение тревоги рассеивалось. И совсем исчезало там, где великолепно, в солнечной дымке, голубые, с прозрачными льдами, тянулись горы. Своими вершинами, тенями, озаренными пиками говорили о какой-то иной, присутствующей в мироздании истине, иной, недоступной людям задаче.

Все это видел Стрижайло, сидя у стены, в переполненном зале, глядя, как истощенная женщина заталкивает сухой сосок в спекшиеся губы младенца, как пожилой мужчина обморочно лежит, открывая воздуху костлявую, в седых волосах

грудь, как сын, положив под голову портфельчик с желтым утенком, смотрит немигающими иконописными глазами.

Снаружи стал потрескивать воздух, словно его сдирали металлическим скребком. В металлизированном пространстве зазвучал мегафон, отчетливо, разборчиво, направляя в окна вырезанные из жести слова:

— Находящимся в школе!.. Разрешите вывезти трупы!.. Направляем к вам грузовик с открытым кузовом и двух бойцов МЧС!.. Без оружия!.. Не стреляйте!.. Разрешите вывезти трупы!..

Это обращение касалось

засевших у амбразур стрелков, а также тех, кто лежал под окнами и именовался «трусами» и в ком почему-то была нужда у окружающих школу военных. Апелляция к «трусам» была лишь формой прикрытия, позволявшей приступить к реализации плана. За два удушательных дня план дозрел, как дозревает на солнце зеленый помидор, превращаясь в алый, наполненный брызжущими соками плод. Так думал Стрижайло, вслушиваясь в мегафон, откуда летели жестяные слова и буквы, вырезанные ножницами из кровельного листа.

На звук мегафона в зал вошли

Снайпер и Однорукий.

— Может, дать пару очередей, чтоб заткнулись? — Однорукий повернул к окну большое ухо, заросшее рыжими волосками. — Тянут время, собаки.

— Пусть забирают, — ответил «Снайпер», который выглядел утомленно. — От трупов вонь идет, дышать нечем. Есть начинаешь, мухи летят прямо в рот. Пусть забирают. Время на нас работает.

— Я бы им нашу «муху» послал. Пусть им в рот влетит, — недовольно произнес Однорукий.

Снайпер достал мобильник, потыкал торчащим из перчатки пальцем. Произнес:

— Забирайте трупы... Грузовик подавайте задом... Водитель и еще человек... Будете дурить — расстреляю двадцать заложников... Устанете трупы возить...

Снайпер ушел, а Однорукий недовольно качал головой, безжалостно смотрел на издыхающее безвольное стадо.

Стрижайло жадно слушал. Прозорливость не покидала его. Казалось, исстрадавшееся тело избавилось от излишней плоти, и среди обычных органов чувств, подавленных страданиями, отрылось еще одно чувство. Прежде неведомое, оно позволяло видеть невидимое, угадывать среди множества зрелищ и

звуков упрятанную в них сердцевину, которую не замечали обычные чувства, отвлекаемые на второстепенные раздражители.

Он видел шумных, перебегавших у оцепления мужчин, невоенных, в обыденной одежде, вооруженных охотничьими ружьями, которые возбужденно и бестолково кричали, привлекая к себе внимание боевиков. Видел двух женщин, прорвавшихся сквозь милицейскую цепь, — устремились на школьный двор, за ними погнались милиционеры в бронежилетах, схватили за руки, поволокли обратно, что вызвало у боевиков скептические смешки. Видел, как по улице ошалело

промчался, попадая в поле огня, военный джип, водитель не справился с управлением, саданул деревянный забор, от которого полетели доски. И на это боевики у бойниц отреагировали смешками и плевками на пол. Но среди этой бестолковой суеты, множества выставленных напоказ зрелищ, он, своим теменным всевидящим оком, заметил, как в слуховом окне соседнего дома возникла тень. Если ее увеличить, усилить разрешающую способность оптики, выделить из множества изображений ее единственную, то, как в фильме Антониони «Блоу-ап», можно разглядеть сферический шлем

спецназовца, притороченный к шлему прибор ночного видения, слабую стеклянную вспышку снайперского прицела и легкий матовый луч, скользнувший по вороненому стволу. Стрелок незаметно от всех обосновался в глубине слухового окна, осторожно выискивал неизвестную цель, и Стрижайло, пользуясь даром ясновидения, стремился эту цель обнаружить.

Он сидел спиной к стене, лицом к переполненному залу, но теменное око позволяло видеть происходящее на школьном дворе. Туда медленно, пятясь, выбрасывая дымки гари, въезжал грузовик. Борта кузова были

отброшены. В кузове, расставив ноги, стоял пожилой лысоватый мужчина в камуфлированной, мешком сидящей форме. Приподнял руки с большими рабочими ладонями, показывая, что они пусты, при нем нет оружия. На досках кузова лежали брезентовые носилки. Было видно, что мужчина боится. Второй человек, тоже немолодой, сидел за баранкой, осторожно вкатывал машину во двор, на открытое место, где десятки автоматов и гранатометов могли превратить его в факел.

Стрижайло досадовал на эту помеху, отвлекавшую его чувствительный, ясновидящий орган от главного объекта. Спецназовец в

слуховом окне был невидим для обычного глаза. Но теменное око различало твердое, над поднятым козырьком шлема, лицо, прищуренный глаз с воздетой, как у тетерева, бровью. Другой глаз был прижат к прицелу. Стрижайло стремился провести геометрический луч сквозь стеклянную трубку, вдоль ствола, в солнечное пространство двора, к той точке, в которую луч вонзался.

Грузовик пятился, колыхал опущенными бортами. Мужчина в кузове, сохраняя равновесие, держался за крышку кабины. Второй высовывал из кабины голову, оглядывался на школу, соображая,

как лучше ему приблизиться к фасаду, где лежали убитые заложники.

Стрижайло вел геометрический луч из зрачка снайпера. Сквозь стеклянный прицел. Вдоль вороненого ствола. В слуховой проем. Через солнечное пространство двора. Луч достигал спортивного зала, сквозь разбитое окно проникал внутрь и косо, под небольшим углом, касался баскетбольной корзины. Вонзался в подвешенную взрывчатку, в прямоугольный, обмотанный полиэтиленом кулек, от которого тянулись провода, — вниз, к восседавшему на стуле

бритоголовому боевику, и вдоль стального тросика с другими подвешенными зарядами.

Луч, прочерченный Стрижайло от прицела к баскетбольной корзине, не исчезал. Продолжал светиться в пространстве. Казалось, в том месте, где линия прочерчивала воздух, начинали накаляться крохотные частицы, вскипали беспокойные молекулы воздуха. Они были красного цвета, словно кровяные тельца. На всем протяжении луча трепетали, сталкивались, будто это был тончайший сосудик, в котором пульсировали кровяные клетки.

Грузовик приблизился, неловко наехал на куст. Водитель подал

вперед, чтобы еще раз повторить маневр. Стоящий в кузове человек нервничал, подвинул ногой лежащие носилки.

Стрижайло смотрел на луч, переполненный кровяными тельцами. Вслушивался в близкое, за стеной пространство двора, и в другое, огромное, захватывающее далекие горы, высокое синее небо, черный безвоздушный Космос с бриллиантовыми звездами, все бесконечное Мироздание. Слышал, как проходит в мироздании трещина, словно отламывается огромный кусок сотворенного Богом мира, шатко качается, готов обвалиться. И эта начавшаяся оползень мира,

данная ему в ощущении, была столь грандиозна, что парализовала его. Сидел, окаменев, упираясь ладонями в пол, слушая тектонический разлом Вселенной.

— Находящимся в школе!.. — голосом робота заговорил мегафон. — Просьбе не стрелять!.. Дайте убрать трупы!.. Работники МЧС без оружия!..

И как бывает в горах, когда слабый звук голоса приводит к сходу лавины, так металлический речитатив мегафона породил сползания гигантских массивов Вселенной. Они начали отрываться от основ, нарушая физические и божественные законы, стали

рушиться.

Стрижайло увидел, как в глубине чердака, из дула винтовки вырвалась струя раскаленного газа. Раскрылась в желто-голубое соцветие. В цветке образовался фиолетовый кратер. Из него проклюнулась пуля, — латунное, буравящее воздух острие несло на заостренном конце ярко-красную капельку плазмы. Все это было явлено в замедленном времени, ибо гибнущее пространство Вселенной останавливало время, позволяя отчетливо наблюдать его отдельные кванты.

Пуля выходила из чердачного сумрака, озарялась солнцем,

становилась золотой. Ее вращение порождало вокруг крохотные голубые вихри, за ней клубился турбулентный след растревоженного пространства. И пока она озарялась солнцем, Стрижайло увидел Рим, — фонтан «Треви», каменных, позеленевших от сырости богов океана, фантастических рыбин, морских чудовищ. Все они изрыгали шумящие водопады. Вода в фонтане рябила, сквозь рябь блестело множество белых монеток. Какой-то юноша опустил в фонтан руку, норовил подцепить монетку.

Пуля летела над школьным двором, позолоченная, как церковный купол, совершенная по

форме и свинцовая по содержанию. От нее расходился дрожащий клин, словно пуля сбрасывала изящное покрывало. Пролетала над букетом осенних золотых шаров, которые засохли и осыпали часть пожухлых лепестков. И пока летела над букетом, Стрижайло увидел Париж, — остров Сите с готикой собора, каменных уродцев на кровле, розетку разноцветного витража. Сена текла мутная, коричневая. Под парапетом набережной на волнах качался брошенный в реку журнал. На развороте голая женщина колыхалась в волне и казалась живой.

Пуля преодолевала ту часть двора, где лежала убитая курица,

окруженная ворохом рассыпанных перьев. Голова птицы была свернута на бок. Мертвый глаз мерцал, как ягода черной смородины. Гребень пламенел на серой земле. Стрижайло увидел Лондон, — зеленый газон Гайд-Парка, черный масляный блеск памятника Веллингтону. Мимо обнаженного героя с коротким мечом следовали степенные всадники, мужчина и женщина, в одинаковых синих картузах. У мужчины во всю щеку багровело родимое пятно.

Пуля летела мимо грузовика, который остановился у школы. Работник в камуфляже прыгнул из кузова, тянул за собой носилки, пугливо, с брезгливостью,

оглядывался на мертвецов.
Стрижайло видел Мадрид, —
тесную, окруженную дворцами
площадь, чугунный отсвет брусчатки,
конную статую короля Альфонса. У
постаменты девушка в белом платье
улыбалась, придерживала
раздуваемую ветром фату. Юноша в
черном костюме самозабвенно
фотографировал невесту.

Пуля подлетала к спортивному
залу, проникала в оконный проем,
выпадала из солнца, обретая цвет
накаленной латуни. В оболочке с
термическими радугами кипела
капля свинца, оставляя за пулей
шлейф свинцовых паров. Стрижайло
видел Нью-Йорк, — тенистые,

уходящие ввысь небоскребы,
слюдяными плоскостями
отражавшие небо. В коричневом
воздухе, среди лиловых бензиновых
паров, в витрине ювелирного
магазина сверкали бриллианты.
Тощий хасид с куделями у висков, в
широкополой шляпе, наклонился к
витрине, разглядывал бриллианты.

Пуля летела в зале, приближаясь
к баскетбольной корзине. Пользуясь
залипшим, почти неподвижным
временем, слыша, как, сметая
галактики, сходит лавина Вселенной,
Стрижайло потянул к себе
оцепенелого, сонного сына. Сунул
себе за спину, закрыл собой, слыша
слабый изумленный стон.

Пуля вонзилась в заряд, вырвала из обертки куски целлофана. Стала погружаться в вязкую, как замазка, взрывчатку. Лавина сошла, возвращая времени сумасшедший стремительный бег.

глава тридцать восьмая

Он почувствовал одновременные тугие удары гигантской боксерской перчатки, бившей в левую и правую скулы, в лоб, под-дых, под разными углами в живот. Эти тупые удары плющили лицо, разрывали внутренние органы, сотрясали мозг. Перед тем, как исчезнуть, моментальным взором увидел бегущую цепь взрывов, — от баскетбольной корзины, вдоль стального троса, по периметру зала, вдоль окон и стен. Красные, расширяющиеся шары, охваченные туманом, выгибали стены, поднимали кровлю. По всему

пространству, как на батуте, взлетали, перевертывались, парили в нелепых позах люди. Глаза запомнили младенца в белой рубашке, раскрывшего крохотные пухлые ручки, словно летящий амур на плафоне особняка, и бритого боевика с оскаленным ртом и выпученными глазами, взлетающего ногами вверх. Было множество других фантастических зрелищ, запечатленных зрачками, проскользнувших в глубину подсознания, где они смешались с реликтовой памятью о Всемирном потопе и падении Тунгусского метеорита. Он потерял сознание.

Беспамятство продолжалось

секунды. Очнулся, расклеивая глаза. Все было в красном цвете, словно смотрел сквозь красные очки. Кругом горело, обваливалось, падали искореженные фермы, шевелились раздавленные тела. Люди ползли, мычали, ошалело трясли головами. Были похожи на неподвижные брошенные куклы, на обугленные, с содранными одеждами манекены.

Близко от него слепо и молча ползла женщина. У нее были оторваны ступни. Торчали белые кости, хлестала кровь, тянулся липкий горячий след. Из-под рухнувшей фермы виднелось несколько детских тел, неподвижных, пропустивших сквозь

себя острую арматуру. Обгорелое железо было окружено нежной плотью, обрывками легкой ткани. Другие тела были грудami навалены друг на друга, и эти груды содрогались, оседали, из-под них пытались выбраться окровавленные, иссеченные осколками люди, бессвязно стонали. Он увидел, что рядом лежит оторванная голая рука, и пальцы с почернелыми ногтями слабо сгибаются и разгибаются. Тут же находился ребенок, без головы, голые плечи, со странным изяществом приподнятая рука, остаток хрупкой шеи, — напоминал разбитую фарфоровую статуэтку. В зале вихрями носилась желтая гарь,

химическое зловонье, запах парного мяса. Посреди зала, охваченный дымом, в тлеющей куртке стоял боевик, шатался. За ногу его ухватился мальчик, вцепился в камуфляж, как собачонка, и оба они колыхались в дыму.

Стрижайло тупо водил глазами, не испытывая эмоций. Его сотрясенный мозг не мог связать случившееся в целостную картину, которая распадалась на множество красных лоскутьев, драных ломтей, зазубренных осколков. Почувствовал, как что-то шевелится у него за спиной. И острая, пробуждающая мысль, — его сын спасен, уцелел среди ужасного взрыва. Он,

Стрижайло, закрыл собой хрупкое тело сына, которое силится выбраться из-под придавившей его тяжести. С этой озаренной мыслью вновь потерял сознание.

Когда снова пришел в себя, кругом все визжало, верещало, выло. Среди огней и дымов метались дикие тени, раздавались звериные хрипы, истерические вопли. Стучали тяжелые автоматные очереди. В зал снаружи влетали жгучие трассеры, разбивались о стены, выносились в противоположные окна. Люди выскакивали из проломов наружу. Легкие, как козы, гибкие, как кошки. Нырjali в окна, словно там была глубокая вода. Заскакивали на

подоконники, будто легкие прыгуны, и исчезали в солнечном дыму. Другие ползли к окнам, не в силах подняться. Тянули руки, а их обгоняли, через них перепрыгивали, иногда наступали, отталкиваясь от немощных спин. Там, куда выпрыгивали испуганные проворные юноши и стремительные визжащие девушки, слышались удалявшийся крик раненных зайцев, непрерывное голошение, грохот очередей.

Стрижайло озирался, прижимая сына к груди, заслонял рукой его темную блестящую голову. Не давал смотреть на обезображенные тела, на ползущих изувеченных раненных. Боевики, — те, что остались

живы, — стреляли наружу из полуразрушенных бойниц, что-то орали друг другу. Из школьного здания слышались очереди, грохотали короткие взрывы. Стрижайло улавливал среди канонады краткие паузы. Когда очередная волна стрельбы взбухла и пошла на убыль, подхватил сына, подтащил к развороченному окну. Вспрыгнул на подоконник, с силой вознес сына к себе, вместе выпрыгнули на школьный двор. Поднял легкое тело мальчика, прижал к груди, помчался неловкими большими скачками, вжимая голову, стремясь пересечь пустоту двора.

За спиной удалялось горящее,

рыкающее здание, из которого мчались пули, резали проблесками воздух, дымно чертили землю. Стрижайло обгонял рыхлую, с трясущейся грудью женщину, в спину которой вонзилась пуля, вылетела из живота, как красный воробей, и женщина рухнула. Навстречу бежали бойцы в сферических шлемах, милиционеры в бронежилетах и касках, мужчины в гражданской одежде, вооруженные дробовиками. Стрижайло видел, как бегущий впереди юноша наткнулся на удар картечи, остановился, мотая руками, опрокинулся навзничь, и его голый живот бурлил фонтанчиками крови. Стрижайло бежал среди встречного

ливня пуль, отыскивая пустоты, проныривая в них с драгоценной ношей. Под ногами мелькнула убитая курица, жухлый букет цветов. Он перепрыгнул черед длинноногую, недвижно лежащую девочку. Добежал до угла, откуда выносилась группа солдат, вслепую грохоча автоматами. Уклонился от этого жуткого смерча. Заслонился углом кирпичного дома, куда впилась пуля, окруженная красной пылью. Попал в чьи-то объятия, которые затащили его за безопасный выступ стены, подхватили мальчика, повлекли их все дальше от пронизанного пулями двора, на улицу, где двигался транспортер. За его кормой,

синхронно переступая на носках, как в каком-то жутком балете, двигался спецназ, — шлемы, доспехи, упругие полусогнутые ноги, поднятые стволы. Стрижайло поразили вид этой гибкой сороконожки, и он в третий раз потерял сознание.

Явь, в которую он вернулся, была представлена все той же улицей, на которую вкатывали воспаленные, с фиолетовыми мигалками, кареты скорой помощи. Санитары выхватывали носилки, клали на них полуголых обожженных и покалеченных детей. Накладывали скороспело повязки, втыкали шприцы, подвешивали капельницы. Загружали носилки в машины, и те,

истошно воя, мчались среди палисадников и низких домов.

Толпа мужчин и женщин, молодых, пожилых, клубилась, порываясь кинуться туда, где грохотало, свистело, слышались визги. Родителей не пускали военные, оттесняли от угла. Оттуда по одному, группами выбегали дети, босоногие, в растерзанной одежде, — иные в мелких порезах, других, обессиленных, выносили на руках ополченцы и милиционеры, сами обезумевшие, с потрясенными лицами. Опускали ношу на траву. Родители голосили, искали своих детей, наполняли воздух непрерывным стенающим звуком:

«О-о-а-а-у-у-ы-ы!». Старуха с растрепанными волосами металась среди носилок, не находила внука, рвала седые космы.

Огибая скопище, стараясь не задеть людей гремящей сталью, двигался зеленый танк, покачивая пушкой. Другой танк выехал из-за насыпи и уже посылал в школу скрежещущие удары.

К Стрижайло, сидящему на земли, санитары подтащили носилки. Медсестра наклонилась:

— Ложитесь... Пожалуйста... Вам надо в больницу...

— Где мальчик? — спросил Стрижайло, глядя на свои окровавленные руки.

— Вы весь в порезах...

Разрешите, я выну стекло...

Действуя пинцетом, сестра вытаскивала из лица Стрижайло мелкие стекла. Это причиняло короткую режущую боль.

— В больнице вам сделают перевязку.

— Мне не надо в больницу. Где мальчик?

Поднялся, отошел от носилок. Его не стали преследовать. В носилки сразу же опустили бездыханную девушку, чья шея была вытянута, как у птицы, которой свернули голову.

Стрижайло медленно приходил в себя. По-прежнему в его

оглушенной голове стоял гул. Уши, как горячим воском, были залеплены воплями. В глазницы затолкали кровавые тампоны. Но в раздавленном, полубезумном сознании присутствовала задача, — «осмыслить». Эта установка цепляла и стягивала кромки изуродованного разума, собирала его из осколков, воссоздавала целостность мира.

Во-первых, он больше не волновался за мальчика. Тот был жив и спасен. Скорее всего, его отыскиали и увели счастливые родители, а «образ сына» был спасительной и благословенной фантазией, которая помогла не сойти с ума, спасла жизнь чужому ребенку.

Во-вторых, причиной побоища стал выстрел неизвестного снайпера, засевшего на чердаке, меткой пулей разбившего заряд в баскетбольной корзине. Переговоры, на которых настаивали захватчики, с самого начала были обречены на провал. В стане федералов существовали силы, заинтересованные в кровавом штурме, в «избиении младенцев»

В-третьих, был реализован метафизический план Потрошкова, состоялась бойня детей, осуществилось ритуальное пролитие детской крови, окропивший новый период русской истории, после чего Россия станет именоваться — «Россия, детской кровью умытая».

В-четвертых, в нем, в Стрижайло, пропущенном через ад, в его контуженой голове и потрясенном духе, сохранилась «человечность», не произошло «перекодирование» мира. Он уцелел, как «человек христианский», — вначале совершил ужасный грех, затем пережил раскаяние, и, наконец, принес искупление. Теперь, в продолжение искупления, ему надлежало поведать миру ужасную тайну, которой он обладал. Вскрыть сатанинский замысел, который ему открылся.

Он смотрел сквозь проемы домов, как поднимается дым, похожий на торжествующий черный

дух, которому принесена кровавая жертва. Школа была алтарем, где остывали тела убитых, засыхала на стенах кровь. Но он был жив, в рассудке, сохранен божественной силой для духовного подвига, который готовился совершить.

Он брел по улице Коминтерна, среди оцепления, прорвавшихся к школе жителей, фиолетовых вспышек, близкой автоматной и оружейной стрельбы. Ему попался телерепортер, который с плеча вел телекамерой, снимая панораму растревоженной улицы. Был строен, облачен в журналистский жилет со множеством карманов, из которых торчали блокноты, кассеты, запасные

аккумуляторы. Выглядел эффектно, с той небрежной элегантностью, которая отличает профессионалов в моменты наивысшего напряжения.

— Простите, — обратился к нему Стрижайло. — Вы из какой компании?

— НТВ, — ответил репортер, рассматривая иссеченное осколками лицо Стрижайло.

— Мне это подходит. Хочу сделать сенсационное заявление.

— Секунду... Снимаю... — репортер навел объектив, слегка присел, придвигаясь вплотную. Стрижайло стал говорить:

— Я, Стрижайло Михаил Львович, политолог, специалист по

предвыборным технологиям и политическому пиару, волею роковых обстоятельств оказался в Беслане, в школе № 1, где по моим прогнозам должен был состояться невиданный по жестокости террористический акт. Его замыслил, подготовил и реализовал с помощью чеченских и ингушских боевиков шеф ФСБ Потрошков, в целях нанесения непоправимой травмы человеческим представлениям о добре, христианской этике, общечеловеческой морали. По замыслу Потрошкова, такое травмированное человечество, с разрушенным комплексом «человечности», будет готово принять

любую форму правления, в том числе и «биологический фашизм», к которому готовит Россию Потрошков. В Москве, в районе Химок, там, где расположены крупные супермаркеты, находится подземная биоинженерная лаборатория, в которой создается биологический материал для будущего человечества. Уже выведена путем генного скрещивания будущая элита России, которая в ближайшее время выйдет на свет и сменит прогнившую элиту наших дней. Уже возвращается верховный правитель, конституционный монарх, в виде сферы, обладающий сверхинтеллектом. Возведение на

престол «царя-шара» произойдет одновременно с низложением нынешнего, законно избранного, но абсолютно никчемного Президента Ва-Ва. Регентом молодого царя станет, разумеется, Потрошков. Я, Стрижайло Михаил Львович, находясь в полном рассудке, прошедший через ад Беслана, готов подтвердить вышеизложенное перед любым трибуналом, в стенах Государственной Думы, в Священном Синоде или в Европарламенте. Готов дать показания Генпрокуратуре или самому Господу Богу на Страшном суде. Теперь же я отправляюсь в Москву, чтобы оповестить общественность о совершенном

злодеянии.

Стрижайло поклонился репортеру, получив в замен сочувствующую улыбку и заверение о немедленной передачи в Москву сенсационной телезаписи.

Он миновал несколько улиц, удаляясь от побоища, и нашел, наконец, колонку. Пустил шумную, сверкающую струю, погрузил в нее черствые губы и пил, жадно, страстно, обливая водой грудь, вымокая, переполняясь холодной сладостью, от которой в глазах возникала студеная синева, остывали раны, иссохшее тело наливалось силой и свежестью.

Утолив казавшуюся неутолимой

жажду, опьянев от воды, он отправился в ту часть города, где можно было поймать машину и уехать в аэропорт.

Самолет, на котором он улетал в Москву, взмыл в вечернем гаснущем небе, и в иллюминаторе на мгновение проплыли тенистые горы, багровая, шершавая равнина и скопление домов, среди которых, невидимая, находилась разгромленная школа. Там дымились руины, из-под камней и обугленных балок извлекали мертвецов, укутывали маленькие детские тела в серебристую фольгу. Отдельно у стены выкладывали трупы боевиков, — Снайпера, у которого

вместо лица чернела рыхлая дыра. Однорукого, которому выстрел гранатомета вырвал бок. Бритоголового, с рыжей бородкой ингуша, державшего ногу на педали, — у него был проломлен череп при ударе о потолочную балку. Стрижайло, испытывая опустошение и усталость, погрузился в мучительное созерцание под рокоты двигателей, создававших грозную музыку, напоминавшую «Гибель богов». Ему виделись огромные протуберанцы огня, красные слепящие вихри, которые сливались в пылающее колесо. В это колесо влетали, мучительно изгибались, заламывали руки обнаженные люди.

Их закручивало, опаляло, вовлекало в круговое движение, словно духи зла подвергали их колесованию. Багровое адское колесо катилось по земле, не отставая от самолета. Но в центре этого пыточного колеса, куда ввергались бессчетные людские души, — там, где должна была проходить ось рокового вращения, — дивно голубел лепесток прозрачного света. Такая синева бывает у первых подснежников, колеблемых ветром весны. Такая лазурь присутствует в крыле лесной сойки. В такой несказанный свет была облечена прекрасная Дева, что явилась ему в воспаленном бреду, поднесла к иссохшим губам чудный цветок с

напитком. Эта синева была его, Стрижайло, душой, уцелевшей среди зверства и бойни, исполненная веры, любви.

В Москве, на Лубянке, в просторном кабинете шефа ФСБ все говорило о великой преемственности спецслужб. В чопорных рамах, словно в фамильной галерее, висели портреты Дзержинского, Менжинского, Ягоды, Ежова, Берия, Меркулова, Серова, Семичастного, Андропова, Чебрикова, Крючкова, Бакатина, Галушко, Баранникова, Барсукова, Степашина, Ковалева, Путина. Хозяин кабинета Потрошков распорядился не вывешивать свой

портрет среди великого сонма, полагая что, негоже действующему руководителю помещать свой образ в канонический иконостас исчезнувших героев. Он покинул рабочий стол и сидел в мягком кресле, в строгом черном костюме, который придавал ему сходство с лютеранским пастором. Его подбородок была занавешен шторками, на которых красовалась эмблема Художественного театра, — чеховская чайка. Перед ним мерцал широкий плоский экран, на котором Стрижайло, иссеченный осколками, шевелил запекшимися губами:

— Готов дать показания Генпрокуратуре или самому Господу

Бога на Страшном суде. Теперь же я отправляюсь в Москву, чтобы оповестить общественность о совершенном злодеянии...

Экран погас. Стоявший рядом полковник госбезопасности произнес:

— Наш оперативник, работающий под крышей НТВ, вовремя перегнал эту запись в Москву. Полагаю, он заслуживает поощрения.

— Никто из отличившихся не будет обойден вниманием руководства. Кстати, вы связались с «Интеллидженс Сервис», чтобы они создали нашему агенту Веролею более сносные условия содержания?

А то поместили его в камеру к гомосексуалистам, а он, как мы знаем, не выносит, когда его обходят с тыла.

— Наш резидент в Лондоне связался с шефом «Интеллидженс Сервис». Веролей переведен в отдельную камеру, и ему уже делают целебные клизмы.

«Интеллидженс Сервис»,
Странные существа — эти люди,
«Интеллидженс Сервис», задумчиво
произнес Потрошков, глядя на
погасший экран. — Они полагают,
что живут в мире, где происходит
вечная схватка Добра со Злом, и
встают на сторону Добра. Но они не
знают, что схватка давно уже

происходит между одним Злом и другим. Вставая на сторону мнимого Добра, они содействуют Злу. Если мыслить диалектически, то отсутствие в мире Добра, которое заменено одним Злом, делает невозможным существование самого Зла. Нет ни Добра, ни Зла, только сгустки энергии разной интенсивности. Молекулярные связи разной степени сложности. Мне казалось, что Стрижайло обладает высокой сложностью соединения молекул. А он, как и все остальные, — просто сумма песчинок. Рассыпьте его!

— Какой прикажете выбрать метод?

—

Используйте
быстродействующий яд муравьев,
который прислали нам наши агенты
— энтомологи из дельты Амазонки.
Вступая во взаимодействие с
живыми клетками, он тут же
распадается и не оставляет следов.

— Будет сделано, — ответил
полковник, подумав, что за
плотными шторками с чеховской
чайкой, на сверхчувствительном
подбородке шефа возник большой
черный муравей с ядовитыми
жвалами и нежном орнаменте на
хитине, напоминающем свастику.

В Москве, во Внуково
Стрижайло был встречен шофером

«Доном Базилио». Несказанно обрадовался, увидев в толпе его круглое лицо с плутоватыми глазами, шевелящиеся веселые усики, клетчатую кепочку на белесой голове.

— Михаил Львович, Боже мой, что это за царапины у вас на лице? — вглядывался он в поврежденное лицо Стрижайло. Тому была приятна эта обеспокоенность и забота.

— Ерунда, порезался при бритье, — легкомысленно отмахнулся Стрижайло.

Было приятно очутиться в салоне знакомого «фольксвагена», ощутить замшевую мягкость обивки,

вдохнуть душистый запах
освежителя, поймать губами
прохладную струйку кондиционера.
Был чудесный, поздний, московский
вечер. В теплом воздухе мчались
водянистые огни, блуждали
аметистовые вспышки, над шоссе
светили оранжевые, как апельсины,
фонари. Стрижайло предвкушал свой
уютный дом, теплую ванну с
ароматной пеной шампуня и
забвение на удобном диване, с
выключенным светом, с негромкой
музыкой, действующей, как целебное
снадобье.

Они достигли Кольцевой
дороги. Но вместо того, чтобы,
нырнув под эстакаду, устремиться по

Ленинскому проспекту, «Дон Базилио» сделал правый поворот, погнал машину на Кольцевую.

— Почему не прямо? — удивился Стрижайло.

— Ленинский проспект перекрыт, Михаил Львович. Крупное ДТП. Я ехал, едва пробился. Там «сааб» столкнулся с «фордом»-микроавтобусом. Тот, бедолага, перелетел на встречную полосу, и в него втемяшилось пять или шесть машин. Черт знает, что делается! Лучше пообедем.

— Как знаешь, — отозвался Стрижайло.

Они катили по шелестящей трассе, среди летучих огней,

окруженные осенними рощами. Сквозь темные кущи просвечивали окна удаленных кварталов. Теплый сумрак, таинственные огни рождали воспоминания о детстве. О дворике на Палихе, где увядали на клумбах душистые табаки и в окнах, словно одинаковые луны, светили оранжевые абажуры.

Машина затормозила, встала у бордюра.

— Что там? — рассеянно спросил Стрижайло.

— Да вроде бы колесо подпустило, — обернулся «Дон Базилио», и как-то странно, как показалось Стрижайло, взглянул выпуклыми кошачьими глазами.

Сзади подкатила черная глянцеви́тая машина с тревожно-пылающим «маячком» причалила почти вплотную. Из машины вышли двое, приблизились к «фольксвагену». Один отворил заднюю дверцу, наклонил гладко выбритое, резко отесанное лицо, состоящее из твердых углов и граней.

— Господин Стрижайло?

— Да.

— Ни могли бы вы выйти из машины? Вам просили передать пакет.

Стрижайло стал подниматься с сидения, видя, как мчатся мимо летучие огни, как тянется вдаль оранжевое ожерелье фонарей, как

странно смотрит на него «Дон Базилио». Человек с отесанным лицом помогал ему выйти. Стрижайло почувствовал его крепкое объятие, от которого стало вдруг душно. В шею слабо кольнуло, после чего возникло странное изумление, — мир стал расплываться, разбегаться в разные стороны, словно из него убирали огни, деревья, пролетавшие автомобили, лицо «Дона Базилио». В освободившемся центре возник на мгновение большой муравей с голубоватой свастикой на хитине. Потом наступила бесцветная пустота.

Тяжеловесный «мерседес» с затемненными стеклами достиг пересечения Кольцевой дороги с Ленинградским шоссе. Повернул к Химкам, где в ночи призрачно сияли «храмы торговли», — гигантские супермаркеты, напоминавшие космические города. Над входом мерцали надписи, похожие на тексты забытых скрижалей. «Мерседес» мчался мимо спящих поселков, дачных коттеджей, городов-спутников, туда, где начинались рощи и поля Подмосковья. Свернул на пустынную дорогу, которая вела к огромной подмосковной свалке, — промышленному полигону, жадно поглощавшему отходы гигантского

города. Сквозь охранный пост машина проникла на территорию объекта, покатила по «бетонке» среди призрачных, туманных огней.

На полигоне шло непрерывное шевеление. Урчали моторы, светили прожектора, озаряя рыхлое пространство свалки. То и дело подъезжали мусоровозы, вываливали очередную грудку отходов, на которую надвигался бульдозер. Блестящим ножом ровнял кучу мусора, сминал гусеницами сочащиеся жижей отбросы. Над свалкой в ночи метались оглашенные стаи птиц. В лучи прожектора попадали иссиня-черные растрепанные вороны и серебристо-белые, орущие чайки.

Усаживались на груды привезенного мусора, выклеывали остатки пищи. Неохотно взлетали, когда в блеске гусениц надвигался бульдозер.

«Мерседес» остановился у края «бетонки». Вышли люди, и один, с лицом каменного гостя, сделал знак бульдозеру остановиться. Люди обошли «мерседес», открыли багажник и вытащили мертвое тело. Ухватив мертвеца за плечи и щиколотки, тяжело понесли и кинули возле мусорной кучи. Подали знак бульдозеристу. Тот двинул вперед огромный, тускло синеющий нож, стал сдвигать гору отбросов, наваливая на лежащее тело. Когда труп исчез под отбросами, бульдозер

накатил и стал трамбовать, вдавливать пористый рыхлый сор. Люди уселись в «мерседес» и укатили, поднырнув под сетчатую, сквозную стаю черно-белых птиц, оглашавших свалку тоскливыми криками.

Тело Стрижайло было стиснуто гнилью и мерзостью. Облеплено отбросами, объедками, остатками изделий, израсходованных гигантским мегаполисом, который превратил нарядные обертки и изящные наклейки, разноцветные коробки и банки, деликатесы и лакомства в бесформенный хлам, подлежащий разложению и распаду. Спину Стрижайло облепил

недельной давности номер газеты «Московский комсомолец» в трупных пятнах гниения. Грудь оказалась облепленной пищевыми отходами, что остались от банкета, на котором Глава Правительства потчевал американских гостей из финансовых мировых кругов. К лицу прилип презерватив, использованный проституткой, обнаружившей у себя признаки СПИДа.

Бульдозер затрамбовал мертвое тело в глубину свалки, двинулся дальше, светя прожектором. И тело, оказавшись в мокрой глубине, стало сразу же разлагаться. Составляющие его молекулы начали разбегаться,

покидали плоть, мириадами рассыпались, мешаясь с другими молекулами. Торопились расточиться в бессчетном множестве других безымянных молекул, впитаться в почву, перейти в грунтовые воды, испариться в воздух. Тело разрушалось, переставая быть, и из этого тела, неподвластная тлению, исходила душа. Бестелесная, чистая, устремлялась желанный рай.

Они шли втроем по сияющему снежному полю, — он, жена и их ненаглядный сын. Красные лыжи скользили по солнечному насту, огибали сухие зонтичные цветы, с которых сыпался иней. На одном цветке сидел разноцветный щегол, —

птица русского рая. Обклевывал
семена, ронял на снег, осыпал с
цветка драгоценную солнечную
пыльцу.

часть шестая.

«Едок»

На курортах Таиланда собрался цвет российского общества, покинувшего предзимнюю, с холодными дождями, Москву, чтобы насладиться роскошными пляжами, лазурным океаном, плодами и утехами тропиков. Одни из русских вельмож поселились в великолепных отелях с видом на океан. Другие укрылись в крохотных элитных гостиницах, окруженных цветущими зарослями. Тут можно было встретить Спикера Совета Федерации, большого любителя

морских червей, укреплявших
потенцию. Чиновника
Администрации Президента
Чебоксарова, обожавшего окунуться в
шипящую пузырями джакузи сразу с
несколькими красавицами. Здесь
был Председатель Центризбиркома
Черепов, предпочитавших знойным
женщинам застенчивых
целомудренных мальчиков. И
советник Президента по
информационной политике Ясперс,
большой умелец использовать в
любовных затеях хлыст и
электрошок. Иногда выходил на свет
банкир Пужалкин со своей
старообрядческой бородой, с голым
большим животом и полинезийской

царевной с золотым кольцом в носу и бриллиантом в лобке. Был здесь и шеф ФСБ Потрошков, ценитель изощренных тайских массажей, когда искусница пускала в ход не только горячие наэлектризованные персты, но и фиолетовые, набухшие от нежности соски, и алый сладострастный язык, и смуглый горячий живот. Находился здесь и исчезнувший «красный банкир», пресловутый казначей партии Крес, чей выбор мог показаться странным, — вместо привычных красоток из варьете и стройных топ-моделей он уединился в отеле с огромной уродливой негритянкой с вывернутыми ногами, вздутым

животом и слюнявым, дурно пахнущим ртом.

Все они встречались на вечеринках, пили дивное вино, играли в рулетку, а днем лежали в шезлонгах, созерцая лазурь океана с белым, как лебедь, лайнером.

В океан, где небо сливалось с водой, возникла стена тумана. Приближалась, твердела, превращалась в стеклянную литую волну. По верхней кромке волны сверкал и метался огонь, словно лезвие меча. В черной гуще вскипающих вод вспыхивали фиолетовые молнии, бурлила жуткая плазма. Бесшумно, огромно волна подлетала к берегу. В водоворотах

кружился супертанкер, переломленный надвое, с хлещущей черной нефтью. Перевертывалась выхваченная из пучины беспомощная стая китов. Подводная лодка «Лос-Анджелес», вырванная из глубин, крутила винтами, перевертывалась, как огромная кегля. В волне метались глубоководные чудища, неизвестные рыбыны, ужасающие осьминоги и каракатицы. Впереди волны летел Ангел в пурпурных одеждах, с лучами гнева Господня, рвущимися из его уст и очей. Этот гнев был ослепителен, как меч, и черен, как мрак. Люди поднялись из шезлонгов, подошли к океану и глядели, как отступает вода, и на

песке переливаются крохотные
креветки и крабы. Смотрели, как
приближается из океана волна.

Афанасово-Торговцево
июль 2005 года